НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 60 ЛЕТ СПУСТЯ

Россия, Германия, Европа

политология **социология** философия **история**



БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

Неприкосновенный Запас

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 60 ЛЕТ СПУСТЯ

Россия, Германия, Европа

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА • 2005

УДК 94(100)"1939/45"
ББК 63.3(0)-08
П 15

Редактор серии
Илья Калинин

Второе, исправленное и расширенное издание специального выпуска журнала «Неприкосновенный запас» (№ 2—3(40—41)/2005, совместно с журналом «Osteuropa»)

Редактор-составитель второго издания
Михаил Габович

Редакторы-составители первого издания:
Михаил Габович, Антон Золотов, Илья Калинин
(журнал «Неприкосновенный запас»)
Фолькер Вайксель, Манфред Заппер
(журнал «Osteuropa»)

П 15 **Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа.** — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 784 с., ил.

Настоящий сборник представляет собой второе, исправленное и расширенное издание специального выпуска журнала «Неприкосновенный запас», подготовленного совместно с берлинским журналом «Osteuropa». Авторы сборника, представители самых разных научных дисциплин и профессий (философии, истории, социологии, антропологии, права, музыковедения, литературоведения, киноведения, журналистики), анализируют развитие памяти о Второй мировой войне в России, Германии и других странах за последние десятилетия. Особое внимание уделяется определению памяти как особого предмета научного изучения и осмысления.

В оформлении обложки использована картина «Сбитый ас» Александра Александровича Дейнеки (1899—1969)

ISSN 1813-6583
ISBN 5-86793-405-5

УДК 94(100)"1939/45"
ББК 63.3(0)-08

© Авторы, переводчики, фотографы, 2005
© Михаил Габович, ред.-сост., 2005
© Новое литературное обозрение, 2005

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Сборник, который вы держите в руках, — второе, исправленное и расширенное издание специального выпуска «Неприкосновенного запаса» (2005. № 2—3 (40—41)), подготовленного совместно с берлинским журналом «Osteurora». Успех номера, приуроченного к 60-летнему юбилею конца Второй мировой войны, превзошел все наши ожидания: тираж русского издания полностью разошелся в течение полутора месяцев, заказы на него продолжают поступать со всей России и со всего мира. Успех нашего тематического номера подтвердил два важных наблюдения: во-первых, война (конкретно — Великая Отечественная) по-прежнему остается для большинства россиян животрепещущей темой, предметом острого интереса и центральным историческим событием, по меньшей мере, XX века. Во-вторых, тема памяти и отношения к прошлому, как уже отмечалось во введении к первому изданию, в России до сих пор лишь изредка осознается как отдельный предмет общественного обсуждения и научного исследования. Несмотря на всплеск интереса к этой теме в юбилейном 2005 году, серьезные публикации в этой области до сих пор можно перечесть по пальцам.

Оба описанных обстоятельства побудили издательство «Новое литературное обозрение» выпустить спецномер «НЗ» в более долговечном книжном формате. Надеемся, что дискуссия о формах и механизмах памяти, набирающая обороты в связи с «военной» темой, не заглохнет и в ближайшие годы и предлагаемая вашему вниманию книга сможет послужить материалом к этой дискуссии.

* * *

Настоящий сборник — не точная копия специального выпуска «НЗ». Во втором издании не воспроизводятся тексты из постоянных рубрик журнала «Новые институции», «Обзор журналов» и «Новые книги» (все они доступны на сайте www.nz-online.ru в разделе «Архив»), равно как и сокращенный вариант интервью с блокадником, полностью вошедшего в книгу «**Память о блокаде: свидетельства очевидцев и историческое сознание общества**», которая сейчас готовится к печати в «Новом издательстве». В ряд статей авторами и редактором были вне-

сены мелкие исправления. Статья Павла Поляна публикуется с новым постскриптумом. Статьи Ильи Кукулина и Доротеи Редепеннинг, которые в первом издании были напечатаны со значительными сокращениями, в настоящем сборнике публикуются полностью. В сборник вошли три текста, не представленных в журнальном варианте: статья Изабель де Кегель о репрезентации Великой Отечественной войны в современном российском кино, написанная специально для нашего совместного выпуска, которая по техническим причинам не была включена в журнальный вариант, статья юриста и писателя Бернхарда Шлинка «Роль права в преодолении прошлого» и статья Ирмелы Хиджия-Киршнерайт о политике прошлого в послевоенной Японии (обе впервые опубликованы в специальном выпуске журнала «Leviathan», посвященном преодолению прошлого). В результате включения в сборник последнего из этих текстов его географический охват расширился за пределы Европы; тем не менее было решено сохранить первоначальное название, поскольку основное внимание по-прежнему уделяется европейским странам, и прежде всего России и Германии.

* * *

Составитель искренне благодарит Александра Бикбова и Сергея Штыркова за ценные замечания по оформлению статьи Мориса Хальбвакса и введению к ней, а Александра Дмитриева — за исправление неточностей в переводах статей Йорга Эхтернкампа и Хельмута Кёнига. За помощь в работе над переводами статей Ирмелы Хиджия-Киршнерайт и Доротеи Редепеннинг выражаю признательность, соответственно, Александру Чанцеву и Марине Гайкович. Спасибо также Клаусу Неллену (журнал «Transit», Вена) и Бодо фон Грайффу (журнал «Leviathan», Берлин) за разрешение на публикацию переводов статей, впервые опубликованных в их изданиях.

Редакции журналов «Неприкосновенный запас» и «Osteuropa» выражают особую благодарность Институту имени Гёте за финансовую поддержку, позволившую представить наш совместный выпуск в ряде российских городов и обсудить его с широким кругом представителей местных научных, студенческих и интеллектуальных сообществ. Своим успехом номер обязан во многом именно этому сотрудничеству. За великолепную организацию мероприятий мы благодарим Гюнтера Хазенкампа, Симону Фогт, Лизу Величко, Василия Кузнецова (Москва), Елену Шишкину (Новосибирск), Ирину Щербакову (Екатеринбург), Эвелину Бирюкову (Пермь), Светлану Аверкину (Нижний Новгород) и других сотрудников и партнеров Гёте-института, а также Ольгу Погонину, менеджера по связям с общественностью журнала «НЗ».

Михаил Габович,
шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас»

ВВЕДЕНИЕ

Специальный выпуск журнала «Неприкосновенный запас», который вы держите в руках, является уже вторым совместным проектом с берлинским ежемесячником «Osteurora». Над этим выпуском, выход которого приурочен к 60-й годовщине конца Второй мировой войны в Европе, редакции двух изданий работали в течение года. Как и в предыдущий раз, этот специальный выпуск выходит одновременно на русском и немецком языках.

Выпуская в свет этот номер, наша объединенная редакция не предлагает пересмотреть историю самой войны. Собранные нами статьи посвящены скорее послевоенной истории СССР/России, Германии и других европейских стран. Поэтому в первую очередь речь пойдет о сегодняшнем дне. О том, что сегодня, 60 лет спустя, осталось в памяти от того страшного времени. О том, как функционировала политика памяти в течение этих 60 лет. О том, как трансформировались объем, содержание и структуры памяти, как память становилась ареной политической борьбы и весомой ставкой в геополитической игре. О том, как отдельные фрагменты прошлого вытеснялись в глубь общественного и индивидуального сознания, а на их месте создавались «новые» воспоминания, как вытесненное вновь всплывало, и подчас в сильно преображенном виде. О том, как прошлое живет в настоящем, отбрасывая свою тень в будущее. О том, как вытеснение из социальной памяти травматичных моментов прошлого соседствует с их продуктивной исторической проработкой. О коллективной памяти и об отношении людей к своему и чужому прошлому. О функциях памяти и о формах ее воплощения в литературе, кинематографе и музыкальных произведениях, монументальных мемориалах и архивах, устных и письменных свидетельствах, правительственных и неправительственных организациях и, наконец, в средствах массовой информации. О сегодняшних «войнах памяти», разворачивающихся как между отдельными странами, так и между отдельными социальными группами.

Россия и Германия в отношении памяти о войне вписаны в разные контексты. В ФРГ тема памяти и отношения к прошлому уже не первое десятилетие находится в центре всех общественных дискуссий. Для ее обсуждения выработался особый словарь. Каждый год выпускаются сборники и монографии, посвященные этой теме, память о войне становится предметом выставок и документальных фильмов. Кроме того, Германия включена в общемировой процесс смены историцистского подхода к прошлому — интересом к памяти и «наследию» (см. статью Пьера Нора в этом номере), а также в общий обмен символов памяти (см. статью Андреаса Лангеноля). В сегодняшней Германии историк, занимающийся XX веком, имеет больше шансов на получение профессуры, если он исследует память о прошлом, а не пишет о том, «как было на самом деле». На право голоса в хоре воспоминаний претендуют самые различные общественные группы — от бывших узников концлагерей до немцев, изгнанных после войны из Восточной Европы.

В России этот процесс только начинается, она еще очень слабо участвует в интернационализации памяти. (Необходимостью воссоздать этот контекст и объясняется включение в русский вариант нашего совместного выпуска ряда теоретических и исторических статей, не вошедших в немецкий выпуск.) Память о Великой Отечественной войне еще редко осознается как вопрос, не совпадающий с изучением истории войны и признанием ее «государственного значения». Предлагаемые историками новые трактовки военной истории зачастую воспринимаются как «осквернение памяти».

В науке и в интеллектуальной среде интерес к этой теме возрос в самые последние годы и даже месяцы: многие журналы посвятили или собираются посвятить ей специальные выпуски, развиваются проекты по исследованию устной истории и исторической памяти поколения нынешних школьников. Однако многие группы жертв и участников войны так и не обрели права на свой собственный голос — или стали приобретать это право только тогда, когда уже мало кто из них мог им воспользоваться. Инвалиды, остарбайтеры, жители оккупированных районов, немногие из уцелевших в лагерях уничтожения и доживших до наших дней евреев и узников других национальностей — их память и память о них по-прежнему находятся на периферии общественного представления о войне. До сих пор не погребены тела сотен тысяч павших солдат. Но главное — голос воевавшего народа, голоса ветеранов войны по-прежнему узурпирует верховная власть. На создание виртуальной реальности «нашего славного боевого прошлого», к которой и будут апеллировать готовящиеся празднества по случаю 60-летия Победы, тратятся средства, не сопоставимые с теми, что идут на повседневные нужды победивших ветеранов. Сегодня, так же как и в советское время, память о войне скорее служит легитимации

политического режима, нежели имеет непосредственное отношение к самой войне. Контроль над прошлым оказывается необходимым условием контроля над настоящим.

В Германии процесс осознания своей вины за преступления проходил далеко не так гладко, как это часто представляют, и до сих пор не завершен. Десятилетиями из общественного сознания вытеснялась тема Холокоста — уничтожения нацистами евреев Европы, половина из которых были советскими гражданами. Только совсем недавно рухнул миф о «чистоте» германской армии — гитлеровском вермахте, ставшем не только слепым орудием, но и сознательным субъектом «войны на уничтожение» на Восточном фронте.

Тем, кто не устает напоминать о чудовищных преступлениях нацистского режима, противостоят те, кто желает «нормализовать» немецкую историю и приглушить разговоры о коллективной ответственности, подчеркивая то обстоятельство, что «и немцы были жертвами». В ходе дискуссий о бомбежках немецких городов союзнической авиацией стало ясно, что нацистские преступления занимают в семейной памяти немцев гораздо меньшую роль, чем собственные страдания в последние военные и первые послевоенные годы. Объединением Германии и экономическим кризисом воспользовались неонацисты и национал-популисты, укрепившие свои организационные структуры, в первую очередь, на востоке страны. Тем не менее сегодня в Германии ни официальные лица, ни сколько-нибудь влиятельные общественные группы уже не пытаются отрицать особую вину гитлеровского режима и всех институтов национал-социалистического государства. Никому и в голову не придет вести разговор о прошлом с одной только восклицательно-победоносной интонацией.

Речь, конечно, не может идти о прямом сравнении памяти о Великой Отечественной войне в России с памятью о Второй мировой войне и Холокосте в Германии или об извлечении каких-либо прямых и общеобязательных уроков из истории послевоенной Германии. Никто и ничто не отменит исторические факты: чудовищная война 1939—1945 годов была развязана гитлеровской Германией, а Советскому Союзу принадлежит главная заслуга в победе над национал-социализмом. Тем не менее и в России есть свое непроработанное и в этом смысле непережитое и незажившее военное прошлое.

В преддверии юбилея было прекращено расследование расстрела польских офицеров в Катыни. Пакт между Гитлером и Сталиным «выпал» из памяти общества так же, как и террор, проводившийся советскими оккупационными властями на аннексированных территориях в Восточной Европе. Забыты советские военнопленные — жертвы двух диктатур, «освобожденные» из гитлеровских лагерей для того, чтобы мгновенно оказаться в сталинских. Забыт, наконец, тот режим несвободы, который был установлен в результате победы над Германией в

оккупированных советскими войсками странах Восточной Европы, что по-прежнему осложняет сближение между Россией и странами бывшего «соцлагеря».

Чтобы стереть белые пятна на карте памяти и заново обдумать свое отношение к прошлому, имеет смысл прислушаться к другому — не важно, бывшему противнику или союзнику. Вторая мировая война стала определяющим событием в истории Европы XX века. Чтобы залечить нанесенные ею раны, необходим общеевропейский обмен между существующими традициями памяти. Мы надеемся, что этот совместный выпуск станет нашей репликой в таком диалоге.

Фолькер Вайксель,
Михаил Габович,
Манфред Заппер,
Антон Золотов,
Илья Калинин,
Ирина Прохорова

ЧТО ТАКОЕ КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ?

Два знаменитых автора, тексты которых представлены в этом разделе, — классики исследования памяти и отношения людей к своему прошлому. Кроме того, с темой этого номера они связаны и своей собственной биографией.

Французский социолог Maurice Halbwachs (Морис Хальбвакс, точнее — Альбвакс, 1877—1945) известен, прежде всего, как представитель дюркгеймовской школы социологии и автор знаменитого труда «Социальные рамки памяти» («Les cadres sociaux de la mémoire»), вышедшего в 1925 году и до сих пор не переведенного на русский язык. Книга положила начало новому научному направлению — социологическому исследованию памяти, и на ее основе или в более или менее явной полемике с ней выросли практически все новые подходы к этой теме, разработанные за последние 80 лет. Если Хальбвакс, ученик Анри Бергсона, в своей трактовке коллективной памяти двигался от философского осмысления через психологическую трактовку к социологическому исследованию, то в последние годы наиболее интересные подходы к изучению памяти возникают на пересечении этих дисциплин и, в особенности, на стыке с нейробиологией. Некоторые из результатов этого взаимного оплодотворения представлены в статье Харальда Вельцера применительно к памяти о Второй мировой войне.

Над темой памяти Хальбвакс продолжал работать все последующие годы — вплоть до 1944 года, когда, через два месяца после его избрания профессором Коллеж де Франс, он был депортирован немцами за помощь своему сыну — участнику Сопротивления. Хальбвакса последним поездом увезли в концентрационный лагерь Бухенвальд, где он и умер 16 марта 1945 года. Книга «Коллективная память» («La mémoire collective») была составлена из разных найденных в его архиве рукописей и вышла в свет посмертно —

сперва в журнальном варианте, а в 1950 году отдельным изданием. Текст этот очень долго воспринимался как дополнение к «Социальным рамкам памяти», и только с публикацией в 1997 году критического издания, основанного на работе с авторским архивом, стало ясно, что вошедшие в него статьи были задуманы не только как конкретизация социологической теории памяти и ответ критикам, но и как достаточно радикальный пересмотр собственной концепции. Главная новация этой книги заключается в том, что если ранее Хальбвакс исходил из существования довольно жесткой иерархии социальных групп — семейных, классовых, религиозных, — которые извне навязывают индивиду рамки памяти, то в последних текстах он гораздо больше внимания уделяет процессу формирования собственно индивидуальной памяти как результату взаимодействий человека в составе различных социальных групп. Тем самым он отчасти порвал с дюркгеймовской традицией и предвосхитил некоторые из попыток пересмотреть его теорию, предпринятых уже в послевоенный период. Предлагаемый текст может читаться как самостоятельная работа, отражающая взгляд Хальбвакса на взаимоотношения между памятью и историей, особенно актуальный в связи с 60-летием конца войны, когда во всей Европе осуществляется трансформация представлений о ней, движение от живых воспоминаний к историческим обобщениям.

Theodor Wiesengrund Adorno (1903—1969), один из наиболее ярких представителей так называемой Франкфуртской школы, в связи со своим еврейским происхождением в 1934 году был вынужден покинуть Германию, в которую он вернулся только в 1949-м. В 1950 году вышла книга «Исследование авторитарной личности», основанная на проведенных им совместно с американскими коллегами исследованиях (русский перевод: *Адорно Т.* Исследование авторитарной личности / Под общей редакцией В.П. Култыгина. М.: Серебряные нити, 2001). В этой работе на стыке эмпирической социологии и психоанализа выработана теория о связи между определенным типом личности и склонностью общества к фашистскому и иным типам авторитарного режима. В публикуемом нами выступлении Адорно применяет эту теорию к послевоенной Западной Германии, точнее — к проблеме вытеснения прошлого и ответственности за него. Впервые подробно проанализированное им понятие «проработка прошлого» прочно вошло в словарь немецких дискуссий о нацизме и Холокосте, наряду с такими терминами, как «преодоление прошлого» и «культура памяти». Предлагаемый текст не только отражает всю сложность и нелинейность процесса расстава-

ния с нацистским прошлым в ФРГ, но и стал важной вехой на пути к этому преодолению. Для молодого поколения немецких «шестидесятников», взбунтовавшихся против своих «нацистских» отцов и требовавших построить государственную идеологию на искреннем отрицании национал-социализма и покаянии за его грехи, Адорно стал одной из наиболее значимых интеллектуальных фигур, хотя он всегда возражал против тех насильственных методов, которые стали применять наиболее радикальные из его левых «последователей». Таким образом, текст выступления Адорно, посвященный проработке прошлого, по замыслу редакции, связывает теоретическую дискуссию о природе памяти с историческим изучением памяти о Второй мировой войне в послевоенной Европе. **[НЗ]**

Морис Хальбвакс
КОЛЛЕКТИВНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Мы еще не привыкли говорить (даже метафорически) о групповой памяти. Кажется, что такое свойство, как память, может существовать и сохраняться только в той мере, в какой оно привязано к индивидуальному телу или сознанию. Однако допустим, что воспоминания могут выстраиваться двумя разными способами: они или выстраиваются вокруг определенного человека, рассматривающего их со своей собственной точки зрения, или распределяются по большому или малому сообществу, становясь его частичными отображениями. Другими словами, индивиду доступны два типа памяти. Но в зависимости от того, соотносится ли он с той или другой из них, он занимает две совершенно разные и даже противоположные позиции. С одной стороны, его воспоминания вписываются в рамки его личности или его личной жизни, и даже те из них, которые он разделяет с другими, рассматриваются им лишь с той стороны, с которой они затрагивают его в его отличии от других. С другой стороны, в определенные моменты он способен вести себя просто как член группы, вызывая в памяти и поддерживая безличные воспоминания в той мере, в какой они затрагивают его группу. Эти две памяти часто проникают друг в друга; в частности, индивидуальная память может опереться на память коллективную, чтобы подтвердить или уточнить то или иное воспоминание или

Перевод осуществлен по второму изданию 1967 года (*Halbwachs M.* La mémoire collective. Paris: Les Presses universitaires de France, 1967), но без вставленных его редакторами подзаголовков и с учетом исправлений, отраженных в критическом издании 1997 года (*Halbwachs M.* La mémoire collective / Nouvelle édition critique établie par G. Namer. Paris: Albin Michel, 1997), однако без указания восстановленных по рукописи и не вошедших в первые издания фрагментов и разночтений.

даже чтобы восполнить кое-какие пробелы, вновь погрузиться в нее, на короткое время слиться с ней. И тем не менее она идет по собственному пути, и весь этот внешний вклад постепенно усваивается и встраивается в нее. Коллективная память же оборачивается вокруг индивидуальных памятей, но не смешивается с ними. Она развивается по собственным законам, и даже если иногда в нее проникают и некоторые индивидуальные воспоминания, они видоизменяются, как только помещаются в целое, которое уже не является сознанием личности.

Рассмотрим теперь индивидуальную память. Она не вполне изолирована и закрыта. Чтобы воскресить в памяти собственное прошлое, человеку часто приходится обращаться к чужим воспоминаниям. Он полагается на опорные точки, существующие вне его и установленные обществом. Более того, функционирование индивидуальной памяти невозможно без этих инструментов — слов и идей, не придуманных индивидом, а заимствованных им из его среды. Это не меняет ничего в том обстоятельстве, что мы помним только то, что сами видели, чувствовали, думали в определенный момент времени, то есть наша память не смешивается с памятью других. Она ограничена достаточно узкими пространственными и временными рамками. Ограничена и коллективная память, но ее границы иные. Они могут быть как гораздо более тесными, так и гораздо более широкими. За время моей жизни та национальная группа, к которой я принадлежу, стала сценой известного числа событий, о которых я говорю, что помню их, при том, что узнал о них только из газет или со слов тех, кто непосредственно в них участвовал. Они занимают место в памяти нации. Но сам я не был их свидетелем. Вспоминая о них, я вынужден полностью полагаться на память других, которая в этом случае не восполняет и не укрепляет мою собственную память, а становится единственным источником того, что я могу о них рассказать. Зачастую я знаю о них не больше и не иным образом, чем о древних событиях, имевших место до моего рождения. Я ношу с собой багаж исторических воспоминаний, который могу увеличивать при помощи разговоров или чтения. Но это заимствованная память, она мне не принадлежит. В национальном сознании эти события оставили глубокий след не только потому, что они изменили общественные институты, но и потому, что связанная с ними традиция по-прежнему весьма жива в той или иной части группы — в той или иной политической партии, провинции, профессиональном классе или даже в той или иной семье и в сознании некоторых людей, лично знавших свидетелей этих событий. Для меня это понятия, символы; мне они пред-

ставляются в более или менее популярной форме; я могу представлять их себе; но я никак не могу помнить о них. Какой-то частью своей личности я связан с группой так, что ничто из того, что в ней происходит, пока я к ней принадлежу, и даже ничто из того, что волновало и преобразовало ее до моего вступления в группу, полностью мне не чуждо. Но если бы я хотел полностью восстановить воспоминание о таком событии, потребовалось бы сопоставить все его деформированные и частичные отражения среди членов группы. Напротив, мои личные воспоминания целиком принадлежат мне и находятся во мне.

Таким образом, в самом деле существуют основания различать две памяти, одну из которых можно, если угодно, назвать внутренней, а другую — внешней, или же первую личной, а вторую — социальной. Говоря еще точнее (с только что указанной точки зрения): автобиографическая память и историческая память. Первая использует вторую, поскольку, в конце концов, история нашей жизни является частью истории. Но вторая, естественно, шире первой. К тому же она представляет нам прошлое лишь в сокращенной и схематичной форме, в то время как память о нашей жизни представляет гораздо более непрерывную и густую картину.

Если согласиться с тем, что мы знакомы изнутри только с нашей личной памятью, а с коллективной — извне, между ними в самом деле возникает резкий контраст. Я помню Реймс, потому что жил там целый год. Я также помню, что Жанна д'Арк была в Реймсе и что там был коронован Карл VII, потому что я слышал или читал об этом. Жанну д'Арк так часто представляли в театре, в кино и так далее, что для меня действительно не составляет никакого труда представить ее в Реймсе. В то же время я прекрасно знаю, что я не мог быть свидетелем самого события: я здесь ограничен прочитанными или услышанными словами — воспроизведенными через века знаками, которые и есть все, что доходит до меня из этого прошлого. То же самое относится ко всем известным нам историческим событиям. Имена, даты, формулы, сжато представляющие длинную череду подробностей, иногда анекдот или цитата — вот эпитафия давних событий, столь же краткая, общая и бедная смыслом, как и большинство надгробных надписей. Дело в том, что история и впрямь похожа на кладбище, где пространство ограничено и где все время приходится находить место для все новых могил.

Если бы социальная среда существовала для нас лишь в виде таких исторических записей, если бы, говоря шире, коллективная память содержала только даты (привязанные к событиям, опреде-

ляемым в общих терминах) и абстрактные определения или напоминания о событиях, она бы оставалась для нас довольно внешней. В наших огромных национальных обществах многие люди проживают жизнь, не соприкасаясь с общими интересами тех, кто читает газеты и обращает какое-то внимание на общественные события. Даже если мы не изолируем себя до такой степени, сколько бывает периодов в нашей жизни, в которые, будучи поглощенными чередованием дней, мы не обращаем внимания на «события». Позже нам, возможно, придет в голову выяснить, какие заметные события произошли в тот или иной период нашей жизни. Что произошло в мире в 1877 году, когда я родился? Это год 16 мая, когда политическая ситуация менялась со дня на день, год истинного рождения Республики. У власти был министр де Брольи. Гамбетта в том году объявил [президенту Франции Мак-Магону. — *Примеч. пер.*]: «Вы должны подчиниться или сложить с себя полномочия». В том же году умирает художник Курбе. Виктор Гюго публикует второй том «Легенды веков». В Париже достраивают бульвар Сен-Жермен и начинают прокладывать авеню Республики. В Европе все внимание сосредоточено на русско-турецкой войне. Осман-паша после долгой и героической обороны вынужден сдать Плевну. Таким образом я восстанавливаю обстановку, но это очень широкие рамки, в которых я ощущаю себя крайне затерянным. Несомненно, с этого момента меня подхватил поток жизни нации, но я едва ощущал, что меня несет этот поток. Я был словно пассажир на корабле. Перед его глазами проплывают берега, его поездка проходит внутри этого пейзажа, но предположим, что он погружен в размышления или в разговор с попутчиками: тогда он лишь время от времени станет обращать внимание на то, что происходит на берегу; позже он вспомнит поездку, не вдумываясь в подробности пейзажа, или же он проследит ее маршрут на карте и в таком случае, возможно, что-то вспомнит, а что-то уточнит. Но между путешественником и той страной, мимо которой он проплывал, не было настоящего контакта.

Некоторым психологам, возможно, покажется, что исторические события — это вспомогательные средства нашей памяти и они не играют иной роли, чем единицы времени, указанные на часах или в календаре. Наша жизнь протекает в едином непрерывном движении. Но когда мы вновь обращаемся к тому, что протекло таким образом, у нас всегда есть возможность распределить его различные части по единицам коллективного времени, которые мы находим вне себя и которые извне накладываются на все индивидуальные памяти именно потому, что они не происходят ни из од-

ной из них. Определенное таким образом социальное время — совершенно внешнее по отношению к тому времени, которое переживается сознанием. Это очевидно, когда речь идет о часах, отсчитывающих астрономическое время. Но так же дело обстоит и с датами на циферблате истории, соответствующими наиболее значительным событиям национальной жизни, о которых мы порой не знаем в тот момент, когда они происходят, или значение которых мы осознаем лишь позже. Выходит, что наши жизни расположены на поверхности обществ, они повторяют их движение и испытывают на себе последствия их сотрясений. Но то или иное событие занимает свое место в ряду исторических фактов лишь через некоторое время после того, как оно происходит. Стало быть, мы можем привязать различные фазы нашей жизни к событиям национального масштаба лишь задним числом. Это лучшее свидетельство того, насколько искусственную и внешнюю операцию мы совершаем, обращаясь к делениям коллективной жизни, будто к опорным точкам. И это наиболее наглядно показывает, что, сосредоточивая внимание на индивидуальной или на коллективной памяти, мы на самом деле исследуем два различных предмета. События и даты, составляющие сам материал групповой жизни, для индивида могут быть только внешними знаками, к которым он может обращаться, лишь покидая рамки своего «я».

Разумеется, если бы материалом коллективной памяти были только серии дат или списки исторических фактов, она бы играла лишь весьма второстепенную роль в закреплении наших воспоминаний. Но это в высшей степени узкая концепция, не соответствующая реальности. Именно поэтому нам оказалось трудно представить коллективную память в таком виде. Однако необходимо было это сделать, поскольку эта концепция согласуется с общепризнанным тезисом. Чаще всего память рассматривают как сугубо индивидуальное свойство, которое возникает в сознании, ограниченном собственными ресурсами, изолированном от других и способном вызывать, либо по желанию, либо случайно, те состояния, через которые оно прошло ранее.

«Описывая свою жизнь в 1835 году, — замечал Стендаль, — я совершаю в ней множество открытий... Сохранившиеся куски фрески не датированы; мне приходится отправляться на поиски дат... С момента моего прибытия в Париж в 1799 году даты не вызывают сомнения, поскольку моя жизнь переплетена с событиями из газетной хроники... В 1835 году я обнаруживаю облик и причины событий» («Жизнь Анри Брюлара»). Даты и те исторические

или национальные события, которые они представляют (а именно это имеет в виду Стендаль), могут быть или, по крайней мере, казаться абсолютно внешними по отношению к нашей жизни; но позже, размышляя о них, мы «многое обнаруживаем», «обнаруживаем причины многих событий». Это можно понимать по-разному. Когда я перелистываю справочник по новейшей истории и перебираю различные французские или европейские события, сменившие друг друга с даты моего рождения, в первые восемь или десять лет моей жизни, у меня действительно возникает ощущение внешней рамки, о существовании которой я тогда не знал, и лишь теперь я учусь вписывать свое детство в историю моего времени. Но, если я таким образом извне освещаю первый период моей жизни, моя память в ее индивидуальном измерении практически не обогащается и мне не удается пролить свет на мое детство, в нем не возникают и не проявляются новые предметы. Дело, несомненно, в том, что я тогда еще не читал газеты и (даже если в моем присутствии упоминали те или иные факты) не вмешивался в разговоры взрослых. Сегодня я могу составить себе представление, но представление неизбежно абстрактное, о тех общественных и национальных обстоятельствах, которыми наверняка интересовались мои родители, но у меня не осталось непосредственных воспоминаний об этих фактах, как и о тех реакциях, которые они должны были вызвать у моих родных. Да, мне кажется, что первым национальным событием, проникшим в ткань моих детских впечатлений, стали похороны Виктора Гюго (мне тогда было восемь лет). Я вижу себя рядом со своим отцом, мы поднимаемся накануне к Триумфальной арке на площади Этуаль, где был воздвигнут катафалк, а на следующий день наблюдаем за шествием с балкона на углу улицы Суффло и улицы Гэ-Люссак. Получается, что до этого момента ни одно потрясение не дошло от той национальной группы, к которой я принадлежал, до меня и узкого круга моих забот? Однако же я был в контакте с родителями, а сами они подвергались множеству влияний; отчасти они были теми, кем были, потому что жили в определенную эпоху, в определенной стране, при определенных политических и национальных обстоятельствах. В их привычном облике, в общей тональности их чувств я могу и не найти следа определенных «исторических» событий. Но во Франции периода в десять, пятнадцать или двадцать лет после поражения 1870—1871 годов, несомненно, царила уникальная психологическая и социальная атмосфера, которой не было ни в одну другую эпоху. Мои родители были французами той эпохи, и именно тогда они переняли некоторые из тех привычек и характерных черт, ко-

торые и позже были частью их личности и которые должны были рано привлечь мое внимание. Таким образом, речь идет уже не о датах или фактах. Конечно, историю, даже новейшую историю, зачастую сводят к серии чересчур абстрактных понятий. Но я могу дополнить их, могу заменить идеи образами и впечатлениями, рассматривая картины, портреты, гравюры того времени, думая о выходящих тогда книгах, поставленных пьесах, о стиле эпохи, о тех шутках и том типе юмора, которые тогда любили. Но не следует воображать себе, будто эта картина не так давно исчезнувшего мира, воссозданная такими искусственными средствами, станет тем немного фальшивым фоном, на который мы станем проецировать профили наших родителей, и будто он является чем-то вроде «проявителя» для нашего прошлого. Совсем напротив, если мир моего детства в том виде, который я нахожу в своих воспоминаниях, так естественно вписывается в те рамки, которые мне удается восстановить, изучая недавнее прошлое историческими методами, то происходит это потому, что этот мир и сформирован этими рамками. Я обнаруживаю, что, если бы я мог достаточно сильно напрячь внимание, я бы мог в своих воспоминаниях об этом маленьком мире найти образ той среды, внутри которой он располагался. Теперь выделяются и соединяются многие рассеянные детали, возможно, так хорошо знакомые, что мне раньше не приходило в голову связать их друг с другом и искать в них смысл. Я учусь различать в облике моих родителей и всего этого периода то, что объясняется не личной природой существ, не теми обстоятельствами, которые могли возникнуть в любое другое время, а национальной средой того времени. Мои родители были людьми своего времени, как и все люди, как и их друзья, и все взрослые, с которыми я тогда соприкасался. Когда я хочу представить себе, как тогда жили, как думали, мои мысли обращаются именно к ним. Именно поэтому новейшая история интересует меня совсем иным образом, чем история прежних веков. Конечно, я не могу сказать, что помню все подробности событий, поскольку знаком с ними только по книгам. Но эта эпоха, в отличие от других, живет в моей памяти, поскольку я был в нее погружен, и многие мои воспоминания о том времени попросту являются ее отражением.

Таким образом, даже когда речь идет о детских воспоминаниях, лучше не различать личную память, якобы воспроизводящую наши прежние впечатления такими, какими они были, которая не простирается за пределы узкого круга нашей семьи, школы и друзей, и другую память, которую можно было бы назвать исторической, в которой содержались бы только национальные события, о

которых мы тогда не могли знать. Получилось бы, что одна память позволяет нам проникнуть в некую среду, в которой и так уже протекала наша жизнь, но мы просто не отдавали себе в этом отчета, а другая давала бы нам доступ только к нам самим или к «я», расширенным только до границ той группы, которая заключает в себе жизнь ребенка. Наша память опирается не на выученную, а на прожитую историю. Под «историей» здесь следует понимать не хронологическую череду событий и дат, а все то, что отличает один период от других и о чем книги и рассказы, как правило, дают нам лишь весьма схематичное и неполное представление.

Нас могут упрекнуть в том, что мы лишаем ту форму коллективной памяти, которой оказывается история, того безличного характера, той абстрактной точности и той сравнительной простоты, которые и делают из нее рамки, на которые может опереться наша индивидуальная память. Если ограничиваться тем впечатлением, которое произвели на нас те или иные события, в чем же тогда различие между отношением наших родителей к событиям, которые потом получат историческое значение, или даже нравами, оборотами речи и образами действий, с одной стороны, и всем тем, что занимает нас в детстве, но не войдет в национальную память, с другой? Как в таком случае ребенок может по-разному оценивать последовательные части той картины, которую развертывает перед ним жизнь, и, главное, почему его должны поражать те факты или черты, которые привлекают внимание родителей, способных сравнивать их со множеством других ориентиров во времени и пространстве? Войну, мятеж, национальную церемонию, народный праздник, новый способ передвижения, работы, преобразующие улицы города, — все это можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, это уникальные в своем роде факты, меняющие жизнь группы. Но, с другой стороны, они распадаются на серию картинок, проходящих сквозь индивидуальные сознания. Если детское сознание удерживает в памяти лишь эти картинки, то они будут выделяться своей уникальностью, своим блеском, своей силой; но то же самое можно сказать и о многих картинках, не соответствующих событиям такой важности. Ребенок ночью прибывает на вокзал, переполненный солдатами. Сила его впечатления не будет зависеть от того, приехали ли они с фронта, или собираются туда, или просто проходят учения. Чем издалека казался грохот пушек под Ватерлоо, если не смутными раскатами грома? Такое существо, как младенец, ограниченный своим восприятием, вынесет с такого спектакля лишь хрупкое и недолговечное воспоминание. Чтобы прикоснуться к исторической реальности, стоящей за

этой картинкой, ему необходимо выйти за пределы своего «я», усвоить точку зрения группы, увидеть, как тот или иной факт стал памятной датой потому, что проник в круг национальных забот, интересов и пристрастий. Но с этого момента данный факт перестает смешиваться с личным впечатлением. Мы вновь входим в соприкосновение с исторической схемой. Так все-таки, скажут нам, мы должны опираться именно на историческую память? Ведь именно через нее этот факт, внешний по отношению к моей детской жизни, все же накладывает свой отпечаток на тот или иной день, тот или иной час, и, вновь сталкиваясь с этим отпечатком, я вспоминаю тот день или час; но сам отпечаток — поверхностный, сделан извне, без связи с моей личной памятью и моими детскими впечатлениями.

В основе такого описания остается представление о том, что сознания (мысли) отделены друг от друга столь же четко, сколь и организмы, являющиеся их материальными носителями. Каждый из нас в первую очередь является и большую часть времени остается замкнут в самом себе. Как в таком случае объяснить, что он коммуницирует с другими и согласовывает свои мысли с их мыслями? Приходится признать, что возникает своего рода искусственная среда, внешняя по отношению ко всем этим индивидуальным сознаниям, но охватывающая их, — некие коллективные время и пространство и коллективная история. Именно в таких рамках встречаются мысли (впечатления) индивидов, что подразумевает, что каждый из нас временно перестает быть самим собой. Вскоре мы возвращаемся в нас самих, привнося в свое сознание извне готовые опорные точки и системные единицы. К ним мы привязываем наши воспоминания, но между этими воспоминаниями и этими опорными точками нет никакой тесной связи, никакой общности существа. Именно поэтому эти исторические и общие понятия играют здесь лишь крайне второстепенную роль: они подразумевают, что уже существует автономная личная память. Коллективные воспоминания накладываются на воспоминания индивидуальные, обеспечивая нам гораздо более удобный и надежный контроль над последними; но для этого необходимо, чтобы уже существовали личные воспоминания. Иначе наша память действовала бы впустую. Так, несомненно, был день, когда я познакомился с тем или иным товарищем, или, как говорит господин Блондель, день, когда я впервые пошел в лицей. Это историческое представление; но если я внутренне не сохранил личного воспоминания об этом знакомстве или этом дне, это представление повиснет в воздухе, эти рамки останутся незаполненными и я ничего не вспом-

ню. Так что может показаться очевидным, что в каждом акте воспоминания присутствует специфический элемент — само существование самодовлеющего индивидуального сознания.

Но можно ли в самом деле проводить различие между, с одной стороны, некой лишенной рамки памятью или памятью, которая для сортировки своих воспоминаний располагает лишь словами языка и несколькими понятиями, заимствованными из практической жизни, и, с другой стороны, историческими или коллективными рамками без памяти, то есть рамками, не конструируемыми, не реконструируемыми и не сохраняемыми в индивидуальной памяти? Нам так не кажется. Как только ребенок перерастает возраст чисто чувственной жизни, как только он начинает интересоваться значением тех образов и картин, которые он видит перед собой, можно говорить о том, что он мыслит вместе с другими и что его мышление делится на полностью личные впечатления и различные течения коллективной мысли. Он уже не замкнут в самом себе, поскольку его мышление теперь располагает совершенно новыми перспективами, и он чувствует, что не один обводит их своим взглядом; однако он не вышел из своего «я», и, чтобы открыться этим рядам мыслей, общим для членов его группы, он не обязан опустошить свое индивидуальное сознание, поскольку под каким-то аспектом и в каком-то отношении эти новые переживания, обращенные вовне, всегда затрагивают то, что мы называем «внутренним миром человека», то есть они не полностью чужды нашей личной жизни.

Стендаль в детстве с балкона того здания, в котором жил его дед, наблюдал за народным бунтом, разразившимся в Гренобле в начале Революции: Днем черепиц. «Я вижу эту картину как нельзя лучше, — писал он. — С тех пор прошло, быть может, 43 года. Раненный штыком в спину шляпник шел с большим трудом, поддерживаемый двумя мужчинами, на плечи которых он опирался руками. Он был без верхнего платья, его рубашка и его китайчатые или белые штаны были окровавлены. Рана, из которой обильно лилась кровь, находилась внизу спины, примерно напротив пупка... Я видел, как этого несчастного этаж за этажом поднимали по лестнице дома Перье (его подняли на шестой этаж). Естественно, это воспоминание — самое отчетливое, оставшееся в моей памяти с тех пор» («Жизнь Анри Брюлара» — «Vie de Henri Brulard». P. 64). Это и впрямь картина, но она находится в центре народной и революционной сцены, свидетелем которой стал Стендаль: позже он наверняка часто слышал рассказы о ней, особенно в то время, когда

этот мятеж представлялся началом весьма бурного периода, моментом, имеющим решающее значение. В любом случае, даже если в тот момент он не знал, что этот день войдет по крайней мере в историю Гренобля, непривычное оживление улицы, жесты и комментарии родителей оказались достаточными, чтобы он понял, что значение этого события шире, чем круг его семьи или квартала. Таким же образом, в другой день в этот же период он видит себя в библиотеке, слушающим своего деда, выступающего перед большим количеством людей. «Но почему собрались все эти люди? По какому поводу? Об этом картинка молчит. Это всего лишь картинка» (Ibid. P. 60). Однако сохранил бы он воспоминание об этом, если бы, как и День черепиц, эта картинка не вписывалась в рамки его интересов того времени, которыми он уже входил в более широкое течение коллективного мышления?

Возможно, что воспоминание не сразу подхватывается этим течением и что пройдет некоторое время, пока мы поймем смысл события. Главное, чтобы тот момент, когда приходит понимание, наступил достаточно быстро, когда воспоминание еще живо. Тогда именно от самого воспоминания в некотором роде расходится лучами его историческое значение. Мы уже поняли по поведению присутствовавших при поразившем нас событии взрослых, что оно было достойно запоминания. Если мы его помним, значит, мы чувствовали, что окружающие нас люди взволнованы им. Позже мы лучше поймем почему. Поначалу воспоминание уже находилось в потоке, но задерживалось каким-то препятствием, оставалось слишком близко у края, было запутано в прибрежной траве. Многие течения мысли таким образом проходят через сознание ребенка, но лишь со временем они увлекают с собой все то, что им принадлежит.

Я помню (это одно из первых моих воспоминаний), что перед нашим домом на улице Гэ-Люссак, там, где сейчас находится Институт океанографии, рядом с монастырем располагалась небольшая гостиница, в которой остановились русские. Они в меховых шапках и тулупах сидели на крыльце со своими женами и детьми. Может быть, несмотря на странность их одеяния и вида, я бы не стал так долго обращать на них свое внимание, если бы не заметил, что прохожие останавливаются, и даже мои родители вышли на балкон, чтобы посмотреть на них. Это были сибиряки, которых укусили бешеные волки и которые на некоторое время устраивались в Париже, чтобы лечиться у Пастёра в Высшей нормальной школе. Я впервые услышал это имя и впервые понял, что существуют ученые, которые делают открытия. Впрочем, я не знаю, в какой

мере я понимал то, что слышал об этом. Может быть, я всецело понял это лишь позже. Но я не думаю, что это воспоминание осталось бы в моем сознании с такой отчетливостью, если бы по случаю этого впечатления мои мысли не обратились бы уже к новым горизонтам, к неведомым областям, в которых я чувствовал себя все менее и менее одиноким.

Эти случаи, когда, в результате того или иного потрясения социальной среды, перед ребенком вдруг приотворяются створы того узкого круга, в котором он был заключен, эти внезапные проявления политической, национальной жизни, до уровня которой он, как правило, не поднимается, довольно редки. Когда он начнет участвовать в серьезных разговорах взрослых и читать газеты, у него будет впечатление, будто он открывает неизведанную землю. Но это будет не первый раз, когда он входит в контакт с более широким кругом, чем его собственная семья или маленькая группа его друзей и друзей его родителей. У родителей свои интересы, у детей — другие, и существует много причин, почему граница между этими двумя зонами мышления не нарушается. Но ребенок общается и с категорией взрослых, которых привычная простота восприятия сближает с ним, — например, с прислугой. С ними ребенок общается с удовольствием, компенсируя ту сдержанность и молчание, на которые родители его обрекают во всем, что «не по его годам». Слуги иногда открыто говорят в присутствии ребенка или с ним, и он их понимает, потому что они часто выражаются, как большие дети. Почти все, что я понял о войне 1870 года, о Коммуне, о Второй империи, о Республике, мне стало известно со слов пожилой няни, полной суеверий и предрассудков, которая без сомнений принимала ту картину этих событий и режимов, которую нарисовало народное воображение. Через нее до меня доходила невнятная молва, словно круги, расходящиеся в среде крестьян, рабочих, простых людей. Когда это слышали мои родители, они пожимали плечами. В эти моменты мои мысли часто дотрагивались если не до самих событий, то по крайней мере до тех социальных групп, которые они взбудоражили. В моей памяти до сих пор вместе с моими первыми впечатлениями возникают эти первые исторические рамки моего детства. Во всяком случае, именно в такой форме я впервые представил себе события, произошедшие незадолго до моего рождения, и пусть сегодня я понимаю, сколь неточными были эти рассказы, я не могу отменить того, что тогда я всмотрелся в этот мутный поток — некоторые из тех смутных образов до сих пор остаются изогнутыми рамками для тех или иных моих воспоминаний о том времени.

Ребенок также находится в контакте со своими дедушками и бабушками, и через них он дотрагивается до еще более отдаленного прошлого. Дедушки и бабушки сближаются с детьми, возможно, потому, что по разным причинам ни те ни другие не интересуются современными событиями, которые притягивают внимание родителей. «В сельских обществах, — говорит Марк Блок, — довольно часто бывает так, что, пока отец и мать заняты в полях или тысячью домашних работ, за маленькими детьми присматривают "старики" и именно от последних они в такой же и даже большей мере, чем от родителей, наследуют самые разные обычаи и традиции»[1]. Бабушки и дедушки, пожилые люди, конечно, тоже люди своего времени. Пускай ребенок не сразу замечает это, не различает в своем деде персональные черты, то, что попросту объясняется его возрастом, и то, чем он обязан тому обществу, в котором он жил, в котором сформировался и отпечаток которого он несет, все же он смутно чувствует, что, входя в дом своего деда, в его квартал или в город, в котором тот живет, он попадает в иную сферу, которая тем не менее не чужда ему, потому что она слишком хорошо согласуется с фигурой и образом действий наиболее пожилых членов его семьи. В глазах последних, и он это осознает, он в какой-то мере занимает место своих родителей, какими бы они были, если бы остались детьми и не углубились полностью в жизнь и общество настоящего. Как ему не интересоваться, словно близко затрагивающими его событиями, всем, что теперь вновь возникает в рассказах этих стариков, которые забывают о временной дистанции и, поверх настоящего, связывают прошлое с будущим? Таким образом, в его памяти фиксируются не только факты, но и прежние образы действий и мыслей. Иногда жалеешь, что недостаточно воспользовался этой уникальной возможностью вступить в прямой контакт с периодами, о которых теперь узнаешь уже только извне, из истории, из картин, из литературы. В любом случае, зачастую фигура пожилого родственника выделяется в нашей памяти не как немного стертый внешний образ, но с объемностью и красочностью персонажа, находящегося в центре целой картины, структурирующего и сгущающего ее, именно в той мере, в которой она в каком-то роде насыщена всем, что он поведал нам о том или ином периоде и об обществе прошлого. Почему из всех членов своей семьи Стендаль сохранил столь глубокое воспоминание прежде всего о своем дедушке, почему он рисует нам столь живую картину,

[1] *Bloch M.* Mémoire collective, traditions et coutumes // Revue de synthèse historique. 1925. № 118—120. P. 79.

вспоминая именно этого человека? Не потому ли, что для него он представлял уходящий XVIII век, потому, что он был знаком с некоторыми из «философов» [Просвещения. — *Примеч. пер.*] и что через него ему удалось поистине проникнуть в то дореволюционное общество, связь с которым он постоянно подчеркивает? Если бы личность этого старика не связалась рано в его сознании с трудами Дидро, Вольтера, Д'Аламбера, с родом интересов и чувств, которые возвышались над горизонтом маленькой, тесной и консервативной провинции, он не был бы тем, кем он был, то есть тем из родственников, кого Стендаль больше всех уважал и любил. Возможно, он бы помнил его столь же точно, но он не занимал бы такого места в его памяти. Облик его деда для него во всей своей полноте отражается именно в XVIII веке, но в живом XVIII веке, который по-настоящему охватила его мысль. Коллективные рамки памяти не сводятся к датам, именам и формулам, а, напротив, представляют течения мысли и опыта, в которых мы находим наше прошлое только потому, что оно ими пропитано.

История — это не все прошлое, но она и не все то, что остается от прошлого. Или, если угодно, наряду с письменно зафиксированной историей существует живая история, которая продолжается или возобновляется через годы и в которой можно обнаружить большое количество прежних течений, казавшихся иссякшими. Если бы было не так, имели бы мы право говорить о коллективной памяти и какую услугу могли бы оказать нам рамки, существующие уже только в виде исторических понятий, голых и безличных? Группы, внутри которых раньше вырабатывались концепции и дух, некоторое время властвующие над всем обществом, вскоре сходят со сцены и уступают место другим, к которым, в свою очередь, на время переходит власть над нравами и которые формируют мнение согласно новым моделям. Тот мир, который мы еще рассматриваем вместе с нашими дедушками и бабушками, как будто внезапно исчез. Поскольку у нас почти не остается воспоминаний, выходящих за рамки семейного круга, об отрезке времени между тем, что закончилось задолго до нашего рождения, и периодом, когда нашими мыслями овладевают современные интересы нации, все происходит так, как будто и в самом деле наступил перерыв, во время которого мир пожилых людей постепенно стирался, в то время как картина наполнялась новыми персонажами. Однако предположим, что нет такой среды, нет такого прежнего состояния мысли или чувств, от которого не осталось следов, и даже не только следов, а всего, что необходимо для его временного воссоздания.

Мне кажется, что в компании моих бабушек и дедушек я воспринял последние отголоски романтизма. Под романтизмом я понимаю не только художественное или литературное движение, но и особую чувствительность, вовсе не совпадающую с расположениями чувствительных душ конца XVIII века, но и не слишком отчетливо отличающуюся от них, чувствительность, отчасти распылившуюся в легкомыслии Второй империи, но наверняка более стойко продолжающую существовать в несколько отдаленных провинциях (и именно там я застал его последние следы). Но ведь мы вполне свободны восстановить эту среду и воссоздать вокруг нас эту атмосферу, в частности при помощи книг, гравюр, картин. Речь здесь идет в первую очередь не о великих поэтах и их лучших сочинениях. Они, несомненно, производят на нас совсем иное впечатление, чем на современников. Мы в них многое обнаружили. Но есть журналы того времени, есть вся эта «обычная» литература, в которых в некотором роде заключен этот дух, который проникал во все и проявлял себя в самых разных формах. Когда мы листаем эти страницы, нам кажется, что мы вновь видим пожилых родственников, которым были присущи те жесты, выражения, позы и костюмы, которые воспроизводят эти гравюры, нам кажется, что мы слышим их голоса и вновь обнаруживаем те самые выражения, которыми они пользовались. То, что эти «Семейные музеи» и «Живописные журналы» сохранились, это, несомненно, случайность. К тому же можно было бы и не брать их с полки, не открывать их. Но если все же я вновь открываю эти книги, если я нахожу эти гравюры, эти картины, эти портреты, то не потому, что, движимый ученым любопытством или вкусом к старине, я беру эти книги в библиотеке или рассматриваю эти картины в музее. Они хранятся у меня или моих родителей, я обнаруживаю их у друзей, они притягивают мой взгляд на набережных, в витринах антикварных магазинов.

Впрочем, помимо гравюр и книг, прошлое оставило множество следов в сегодняшнем обществе. Иногда эти следы видны, иногда мы их видим в выражении лиц, в облике помещений и даже в образах мыслей и чувств, бессознательно сохранившихся и воспроизводимых теми или иными людьми в той или иной среде. Обыкновенно мы не обращаем на это внимания. Но достаточно вглядеться, чтобы обнаружить, что современные обычаи зиждутся на более древних слоях, которые тут и там выходят на поверхность.

Иногда приходится идти достаточно далеко, чтобы обнаружить островки прошлого, сохранившиеся, по-видимому, без изменений, так что внезапно кажется, что тебя перенесли на пятьдесят или

шестьдесят лет назад. В Австрии, в Вене, однажды в гостях у семьи банкира у меня возникло ощущение, что я нахожусь во французском салоне примерно 1830 года. Это были не столько внешний декор или обстановка, а достаточно своеобразная светская атмосфера, то, как образовывались группы, что-то немного условное и размеренное и как будто отражающее «старый режим». Мне также довелось — в Алжире, в регионе, где европейские поселения были немного разбросаны и куда можно было добраться только на дилижансе, — с любопытством наблюдать за типами мужчин и женщин, которые показались мне хорошо знакомыми, потому что они напоминали тех, которых я видел на гравюрах Второй империи, и я представлял себе, что в своем уединении эти французы, поселившиеся там тотчас после завоевания, а также их дети все еще жили представлениями и обычаями той эпохи. Во всяком случае, эти две картины, реальные или воображаемые, в моем сознании соединялись с воспоминаниями, которые возвращали меня в похожую среду: пожилая тетушка, которую я без труда мог представить себе в таком салоне, старый отставной офицер, живший в Алжире в начале колонизации. Но подобные наблюдения можно с легкостью делать и не покидая Франции, или Парижа, или города, в котором мы всегда жили. Хотя за полвека облик города сильно изменился, в Париже есть немало районов, и даже немало улиц и кварталов, выделяющихся на фоне остального города и сохранивших прежний характер. Впрочем, и жильцы походят на квартал или дом. В каждую эпоху существует тесная связь между привычками, духом группы и обликом тех мест, в которых она живет. Существует Париж 1860 года, образ которого тесно связан с обществом и обычаями того времени. Чтобы вызвать его в памяти, недостаточно искать таблички на домах, в которых жили и умерли некоторые знаменитые персонажи той эпохи, или прочесть историю преобразований Парижа. Именно в сегодняшнем городе и населении наблюдатель найдет множество прежних черт, особенно в тех заброшенных зонах, в которых нашли приют мелкие ремесла, а также, до сих пор в некоторые дни или вечера народных гуляний, в Париже лавочников и рабочих, который изменился меньше остального. Но еще проще, быть может, обнаружить прежний Париж в тех или иных маленьких провинциальных городах, из которых еще не исчезли типы, костюмы и обороты речи, с которыми во времена Бальзака можно было столкнуться на улице Сент-Оноре или на парижских бульварах.

Наши дедушки и бабушки наложили свой отпечаток даже на круг наших родителей. Раньше мы этого не замечали, потому что

были чувствительны в первую очередь к тому, что отличает одно поколение от другого. Наши родители шли впереди нас и вели нас в будущее. Наступает момент, когда они останавливаются и мы их обгоняем. Тогда мы должны обернуться к ним, и нам кажется, что теперь ими вновь овладело прошлое и они смешались с его тенями. Марсель Пруст на нескольких волнующих и глубоких страницах описывает, как сразу же после смерти его бабушки ему стало казаться, что его мать своими чертами, своим выражением и всем своим видом вдруг стала отождествляться с только что умершей и представляла ему ее образ, будто сквозь поколения в двоих существах воспроизводился один и тот же тип. Идет ли речь просто о феномене физиологической трансформации? Если мы обнаруживаем наших бабушек и дедушек в наших родителях, только ли в том дело, что наши родители стареют и освободившиеся на возрастной шкале места быстро занимаются, поскольку движение по ней не останавливается? Но может быть, это связано с тем, что наше внимание сменило свое направление. Наши родители и наши дедушки и бабушки представляли в наших глазах две разные и четко отделенные друг от друга эпохи. Мы не замечали, что наши дедушки и бабушки были в большей мере вовлечены в настоящее, а наши родители — в прошлое, чем нам казалось. К моменту, когда я пробудился посреди людей и вещей, с войны 1870 года прошло десять лет. Вторая империя в моих глазах представляла давнюю эпоху, практически исчезнувшее общество. Сегодня меня от Первой мировой войны отделяют от двенадцати до четырнадцати лет, и я предполагаю, что для моих детей общество до 1914 года, которое они не знали, подобным же образом уходит в прошлое, которое кажется им недоступным их памяти. Но для меня эти два периода непрерывны. Это одно и то же общество, несомненно, преобразованное новым опытом, быть может, лишенное некоторых прежних забот или предрассудков, обогащенное более молодыми силами, в какой-то мере приспособленное к изменившимся обстоятельствам, но то же самое. В моем восприятии, как и в восприятии моих детей, несомненно, есть большая или меньшая доля иллюзии. Наступит время, когда, глядя вокруг себя, я обнаружу лишь немногих из тех, кто жил и мыслил со мной и как я до войны, когда я пойму, как я иногда осознаю с тревогой, что на мое поколение надвинулись новые поколения и что то общество, к которому я теснейшим образом привязан, сменяется обществом, стремления и обычаи которого мне во многом чужды. А мои дети, сменив перспективу, удивятся, когда вдруг обнаружат, что я так далек от них и что моими интересами, представлениями и воспоминаниями я столь бли-

зок к моим родителям. Мы с ними, несомненно, окажемся под воздействием противоположных иллюзий: я буду не так далек от них, поскольку мои родители не так далеки от меня; но в разном возрасте и в разных обстоятельствах нас поражают то различия, то сходства между поколениями, то замыкающимися в себе, то снова сходящимися и смешивающимися.

Таким образом, как мы только что показали, жизнь ребенка в большей мере, чем ему кажется, погружается в социальную среду, через которую он входит в контакт с более или менее отдаленным прошлым и которая как бы является рамками для его наиболее личных воспоминаний. Его память позже сможет опереться в гораздо большей степени на живое прошлое, чем на письменно зафиксированное. Если поначалу он не отличал эти рамки от тех состояний его сознания, которые в них ложились, то постепенно в его уме произойдет разделение между его маленьким внутренним миром и окружающим его обществом. Но, раз эти два типа элементов поначалу были тесно сплавлены, раз они представлялись ему частями его детского «я», нельзя сказать, что позже все те из них, которые соответствуют социальной среде, предстанут перед ним как абстрактные и искусственные рамки. Именно этим живая история отличается от исторического описания: в ней есть все необходимое, чтобы стать живыми и естественными рамками, на которые может опереться сознание, чтобы сохранить и вновь обрести образ своего прошлого.

Но теперь мы должны сделать следующий шаг. По мере взросления ребенок более отчетливо и более продуманно участвует в жизни тех групп, к которым он сперва принадлежал, не отдавая себе в этом отчета. Как не измениться в результате его представлению о прошлом? Как его новым представлениям о фактах, мыслях и идеях не оказать обратного воздействия на его воспоминания? Мы много раз повторяли: воспоминание в весьма значительной мере является реконструкцией прошлого при помощи данных, полученных в настоящем, и к тому же подготовленной предшествующими реконструкциями, которые уже сильно видоизменили прежнюю картину. Конечно, если бы память напрямую связала нас с тем или иным нашим прежним впечатлением, воспоминание, по определению, отличалось бы от тех более или менее точных представлений о прошлом, которые становятся результатом наших размышлений, опирающихся на рассказы, свидетельства и признания других. Но даже если некоторые воспоминания можно вызвать столь прямым образом, невозможно отличить те случаи, когда мы

2. Заказ № 1423.

так поступаем, от тех, в которых мы воображаем прошлое. Таким образом, мы можем называть воспоминаниями многие представления, по крайней мере отчасти основанные на свидетельствах и умозаключениях. Но в таком случае доля социального или, если угодно, исторического в нашей памяти о нашем собственном прошлом гораздо больше, чем мы думали. Ибо с детства, общаясь со взрослыми, мы научились различными способами восстанавливать и уточнять многие воспоминания, которые в противном случае мы бы зачастую полностью или частично утратили.

Здесь мы, несомненно, сталкиваемся с уже упомянутым возражением, которое достойно близкого рассмотрения. Достаточно ли восстановить историческое представление о событии, которое, конечно, имело место, но от которого у нас не осталось никакого впечатления, чтобы произвести воспоминание о нем? Например, я знаю, потому что мне об этом сказали, и, если подумать, мне представляется несомненным, что был день, когда я впервые пошел в лицей. Однако у меня нет никаких личных и непосредственных воспоминаний об этом событии. Может быть, из-за того, что я очень много дней подряд ходил в этот самый лицей, все эти воспоминания смешались. Может быть, я в этот первый день был взволнован. «Я ничего не помню, — говорит Стендаль, — о тех периодах или моментах, когда я испытывал слишком глубокие чувства» («Жизнь Анри Брюлара»). Достаточно ли мне восстановить исторические рамки этого события, чтобы я мог сказать, что я воссоздал воспоминание о нем?

Конечно, если бы у меня на самом деле не было никакого воспоминания об этом событии и если бы я довольствовался тем историческим представлением, которым меня хотят ограничить, следовал бы такой вывод: пустые рамки не могут наполниться сами по себе; здесь имеет место абстрактное знание, а не память. Но, не помня конкретного дня, можно помнить определенный период, и нельзя сказать, что воспоминание о периоде есть просто сумма воспоминаний о нескольких днях. По мере того как воспоминания удаляются, мы привыкаем думать о них как о целом, на фоне которого иногда выделяются некоторые из них, но это целое охватывает и многие другие элементы, и мы не можем отличить один от другого или все их полностью перечислить. Так, проучившись по очереди в нескольких школах и каждый год поступая в новый класс, я сохранил общее воспоминание обо всех этих возобновлениях занятий, включающее тот день, когда я впервые пошел в лицей. Таким образом, я не могу сказать, что помню этот день, но не могу сказать и то, что не помню его. К тому же историческое пред-

ставление о моем поступлении в лицей не является абстрактным. Во-первых, с тех пор я прочел некоторое количество достоверных и вымышленных рассказов, в которых описываются впечатления ребенка, впервые приходящего в новый класс. Очень может быть, что, когда я их читал, мое личное воспоминание о схожих впечатлениях слилось с описанием в книге. Я помню эти описания, и, может быть, именно в них сохранилось все, что осталось от моего преобразованного таким образом впечатления, и именно по ним я его восстанавливаю, сам того не осознавая. Как бы то ни было, насыщенное таким образом представление уже не является простой схемой без содержания. Добавьте к этому, что о моем первом лицее я знаю и припоминаю больше, чем его название или место на карте. В то время я там бывал каждый день, несколько раз бывал там и с тех пор. Даже если бы я там больше не бывал, я побывал в других лицеях, я водил в них собственных детей. Я помню многие черты той семейной среды, которую я покидал, когда шел на занятия, поскольку с тех пор я остался в контакте с родными: это не семья вообще, а живая и конкретная группа, образ которой естественным образом входит в ту картину моего первого похода на занятия, которую я таким образом восстановил. В таком случае, разве можно не согласиться с тем, что, размышляя о том, каким должен был быть наш первый урок, нам удается воссоздать его атмосферу и общий вид? Это, несомненно, неустойчивая, неполная и, главное, восстановленная картина: но сколько воспоминаний, кажущихся нам точными и подлинными, тоже почти полностью сфабрикованы на основании ложных узнаваний, рассказов и свидетельств! Пустые рамки не могут сами по себе произвести выразительное и точное воспоминание. Но здесь рамки наполнены личными размышлениями и семейными воспоминаниями, и воспоминание становится образом, погруженным в другие образы, обобщенным образом, перенесенным в прошлое.

Кроме того, если я хочу собрать воедино и уточнить все те из моих воспоминаний, которые могли бы помочь мне восстановить фигуру и личность моего отца, каким я его знал, совершенно ни к чему перебирать исторические события, имевшие место за время его жизни. Однако если я встречу знавшего его человека и тот сообщит мне о нем неизвестные мне до сих пор подробности и обстоятельства, если моя мать расширит и дополнит картину его жизни и осветит некоторые из тех ее частей, которые до сих пор были мне неясны, разве у меня не возникнет ощущение, будто я возвращаюсь в прошлое и расширяю целую категорию моих воспоминаний? Это не просто ретроспективная иллюзия, как если бы

я нашел письмо от него, которое мог бы прочитать при его жизни; эти новые воспоминания, соответствующие недавним впечатлениям, не просто прибавляются к другим, по-настоящему с ними не смешиваясь. Преобразуется вся совокупность воспоминаний о моем отце, и теперь они кажутся мне более соответствующими реальности. Мой образ отца все время менялся — не только потому, что при его жизни к старым воспоминаниям добавлялись новые: изменился и я, то есть изменилась моя точка зрения, поскольку раньше я занимал внутри семьи другое положение, но главное — поскольку я принадлежал к другой среде. Мне могут сказать, что тем не менее существует один образ моего отца, который из-за своей аутентичности должен преобладать над другими, — тот, который зафиксировался в моем сознании к моменту его смерти. Но сколько раз представления об аутентичности успели измениться к этому моменту? Да впрочем, смерть, которая кладет конец физиологической жизни, не может внезапно остановить ход мыслей, развивающийся в присутствии того, чье тело исчезает. Еще некоторое время мы представляем себе его так, будто он еще жив, он остается тесно связан с нашей повседневной жизнью, мы воображаем себе, что бы он сказал или сделал в тех или иных обстоятельствах. Личность человека сильнее всего притягивает внимание родных тотчас после его смерти. Но именно тогда его образ оказывается и наименее определенным, он постоянно видоизменяется по мере того, как мы вспоминаем разные периоды его жизни. На самом деле образ ушедшего никогда не застывает. По мере того как он уходит в прошлое, он меняется, потому что некоторые черты стираются, а другие всплывают, в зависимости от точки зрения, то есть от тех обстоятельств, в которых мы находимся, когда обращаемся к нему. Все то новое, что я узнаю об отце, а также о тех, кто был с ним связан, все мои новые суждения о той эпохе, в которую он жил, все мои новые мысли о нем, возникающие по мере того, как я приобретаю лучшие навыки сопоставления и накапливаю термины сравнения, побуждают меня подправлять его портрет. Таким образом, прежний образ прошлого медленно распадается. Новые образы перекрывают старые: наиболее близкие к нам по времени родственники становятся посредниками между нами и нашими дальними предками, так что мы о последних знаем только то, что первые нам о них рассказывают. В разные периоды я вхожу в разные группы. А ведь именно с точки зрения этих групп я рассматриваю прошлое. Поэтому неизбежно по мере моего вовлечения в эти группы и участия в их памяти мои воспоминания обновляются и пополняются.

Правда, это предполагает два условия: с одной стороны, сами мои воспоминания, какими они были до вступления в эти группы, не должны были быть одинаково ясными во всех своих аспектах — как будто до тех пор я их еще не вполне заметил и понял; во-вторых, воспоминания этих групп должны быть как-то связаны с теми событиями, которые образуют мое прошлое.

Первое условие выполнено в связи с тем, что многие из наших воспоминаний восходят к периоду, когда, за недостатком зрелости, опыта или внимания, смысл многих фактов, природа многих предметов или людей оставались нам лишь наполовину непонятными. Если угодно, мы были еще слишком вовлечены в группу детей, но при этом частью нашего сознания принадлежали к группе взрослых, хотя последняя связь была еще довольно слабой. Отсюда некоторые переходные эффекты светотени: то, что интересует взрослого, поражает и нас, но часто лишь потому, что мы чувствуем, что этим интересуются взрослые. Эти вещи остаются в нашей памяти загадкой или проблемой, которую мы не понимаем, но чувствуем, что она разрешима. Иногда в тот момент мы даже не замечаем эту неопределенность, эти зоны неясности, однако мы их не забываем, потому что они окружают наши наиболее ясные воспоминания и помогают нам переходить от одного к другому. Когда ребенок засыпает в своей кроватке, а просыпается в поезде, он успокаивается тем, что и там, и здесь он оставался под наблюдением родителей, хотя он и не может уяснить себе, как и почему они действовали в промежутке. Это неведение или непонимание имеет разные степени интенсивности, и мы никогда не достигаем ни тотальной ясности, ни совершенно непроницаемого мрака.

Сцена из нашего прошлого может показаться нам такой ясной, что уже никогда не потребуется видеть в ней ни больше, ни меньше того, что становится таким отчетливым в этот момент. Но достаточно встретить человека, который в ней участвовал или был ее свидетелем, достаточно ему напомнить или рассказать об этой сцене, и мы уже не столь уверены в том, что не можем ошибиться в подробностях, в относительной важности частей или в общем смысле событий; ибо совершенно невозможно, чтобы два человека, видевшие один и тот же факт, рассказывая о нем некоторое время спустя, воспроизвели его одинаково. Обратимся снова к жизни Анри Брюлара. Стендаль рассказывает нам, как он с двумя друзьями выстрелил из пистолета по Древу братства. Речь идет об очень простой череде сцен. Но его друг Ромен Коломб, снабжающий рукопись примечаниями, находит ошибки в описании каждого момента. «Солдаты почти нагнали нас, — пишет Стендаль, — мы

скрылись через такие-то ворота дома моего деда, но нас было очень хорошо видно. Все смотрели в окна. Многие из жильцов зажгли свечи». «Ошибка, — пишет Коломб, — все это произошло спустя четыре минуты. Мы тогда все трое уже были в доме». «Он и кто-то другой (может быть, Коломб) вошли в дом и укрылись у двух пожилых и очень набожных модисток». Прибывают офицеры. Пожилые янсенистки лгут, говоря, что они провели там весь вечер. Примечание Ромена Коломба: «Только А.Б. (Стендаль) вошел к госпожам Кодэ. Р.К. (он сам) и Мант убежали по чердачному проходу и таким образом добрались до Гранд-Рю». Стендаль: «Когда мы уже не слышали офицеров, мы вышли и поднялись к проходу». Коломб: «Ошибка». Стендаль: «Мант и Трейяр, которые были проворнее нас (Коломб: «Трейяра с нами не было»), на следующий день рассказали нам, что, когда они добрались до ворот Гранд-Рю, оказалось, что они охраняются двумя стражами. Они стали говорить о ласковости девиц, с которыми они провели вечер. Стражи не задали никаких вопросов, и они сбежали. Выслушав их рассказ, я так живо представил себе эту сцену, что я бы не смог сказать, не мы ли с Коломбом вышли, разговаривая о ласковости этих девиц». Коломб: «На самом деле Р.К. и Мант поднялись на чердак, где Р.К., страдающий простудой, наполнил рот лакричным соком, чтобы его кашель не привлек внимание обследующих здание. Р.К. помнит коридор, по которому можно было выйти на служебную лестницу, выходящую на Гранд-Рю. Там они увидели двух людей, которых приняли за полицейских, и начали спокойно, как дети, говорить о тех играх, которыми только что забавлялись». Стендаль: «Когда я пишу эти строки, перед моими глазами встает Древо братства. Моя память делает открытия. Мне кажется, я вижу, что дерево монастыря было окружено стеной высотой в два фута, покрытой строительным камнем, а сверху на ней была железная решетка высотой в пять или шесть футов». Ромен Коломб: «Нет». Небесполезно было наблюдать на этом примере, какие части рассказа, казавшиеся до тех пор столь же ясными, как и другие, вдруг видоизменяются, становятся темными и неопределенными и даже сменяются своей противоположностью, как только другой свидетель сопоставляет свои воспоминания с нашими. Воображение Стендаля восполнило пробелы его памяти: в его рассказе все кажется одинаково правдоподобным, один и тот же свет играет на всех стенах; но когда рассматриваешь их под другим углом, обнаруживаются трещины.

Наоборот, в памяти нет и абсолютной пустоты, то есть областей нашего прошлого, настолько вышедших из памяти, что ни одна из тех картинок, которые мы на них проецируем, не может заце-

питься ни за какое воспоминание и остается простым вымыслом или историческим представлением, которое так и остается для нас внешним. Мы ничего не забываем. Но это утверждение может быть понято по-разному. По мнению Бергсона, прошлое целиком остается в нашей памяти таким, каким оно было для нас; но некоторые препятствия, в частности функционирование нашего мозга, мешают нам вызывать в памяти все его части. В любом случае образы прошлых событий в нашем сознании предстают завершенными, как печатные страницы книги, которые можно было бы раскрыть, пусть даже их уже не раскрывают. На наш взгляд, напротив, остаются не какие-то готовые образы, сохранившиеся в подземных ходах нашего сознания, но в самом обществе содержатся все сведения, необходимые для того, чтобы восстановить ту или иную часть нашего прошлого, о которой мы имеем неполное или нечеткое представление или которая даже казалась нам полностью ушедшей из нашей памяти. В самом деле, почему, когда мы случайно вновь встречаемся с теми, кто участвовал в тех же событиях или был их свидетелем одновременно с нами, когда нам рассказывают или мы другим путем обнаруживаем то, что тогда происходило вокруг нас, мы восполняем эти очевидные пробелы? Дело в том, что то, что мы принимали за пустое пространство, на самом деле было всего лишь несколько неопределенной зоной, от которой наша мысль отворачивалась, потому что она находила в ней слишком мало следов. Теперь же, когда нам с точностью указывают дорогу, которой мы следовали, эти следы снова проступают, мы связываем их между собой, они сами углубляются и соединяются в тропинки. Стало быть, они существовали, но они были более отчетливы в памяти других, чем в нашей собственной. Несомненно, мы производим реконструкцию, но эта реконструкция проходит по линиям, уже намеченным и начертанным другими нашими воспоминаниями или воспоминаниями других. Новые образы возникают на основании того, что в этих других воспоминаниях без них оставалось неопределенным и необъяснимым, но тем не менее было реальным. Так, когда мы осматриваем старые кварталы большого города, мы испытываем особое удовлетворение, если нам рассказывают историю этих домов и улиц. Все это — новые для нас представления, но вскоре они становятся привычными, потому что они согласуются с нашими впечатлениями и без труда вписываются в пейзаж. Нам начинает казаться, что этот пейзаж и сам по себе смог бы произвести их, а наши представления являются лишь развитием того, что мы уже видели. Дело в том, что встающая перед нами картина была нагружена смыслом и этот смысл оставался нам не-

понятен, хотя мы о нем догадывались. Природа тех людей, с которыми мы жили, должна быть раскрыта и объяснена нам в свете всего нашего опыта, приобретенного в последующие периоды. Новая картина, проецируемая на уже известные факты, помогает нам обнаружить в них немало черт, которые, в свою очередь, становятся частью этой картины, придавая ей более ясный смысл. Таким образом, память обогащается с чужой помощью, и как только привнесенные в нее извне элементы укореняются, они уже больше не отличаются от остальных воспоминаний.

Чтобы память других могла таким образом укрепить и дополнить мою память, необходимо также, как уже было сказано, чтобы эти чужие воспоминания не были лишены связи с теми событиями, которые составляют мое прошлое. В самом деле, каждый из нас является членом нескольких групп, больших и меньших. Но если мы остановим внимание на самых больших группах, например на нации, хотя наша жизнь и жизнь наших родственников и друзей включена в ее жизнь, нельзя сказать, чтобы нация как таковая интересовалась индивидуальными судьбами каждого из ее представителей. Допустим, что национальная история является достоверным изложением наиболее важных событий, преобразовавших жизнь нации. Она отличается от локальных, региональных, городских историй тем, что учитывает только те факты, которые касаются всех граждан или, если угодно, граждан в качестве представителей нации. Чтобы история, понятая таким образом, даже если она очень подробна, помогла нам сохранить и восстановить память о чьей-либо индивидуальной судьбе, надо, чтобы рассматриваемый индивид был исторической личностью. Конечно, бывают моменты, когда все люди, живущие в той или иной стране, забывают свои интересы, свои семьи, те ограниченные группы, пределы которых обыкновенно образуют их горизонт. Бывают национальные события, которые одновременно видоизменяют жизнь каждого. Они редки. Тем не менее они предоставляют всем жителям страны опорные точки во времени. Но обычно нация слишком далека от индивида, чтобы он считал историю своей страны чем-либо кроме очень широкой рамки, с которой его личная история соприкасается лишь в очень немногих точках. Во многих романах о судьбе той или иной семьи или человека почти не имеет значения, в какую эпоху протекают описанные события: роман не утратил бы свое психологическое содержание, если бы персонажей перенесли из одного периода в другой. Разве внутренняя жизнь не становится интенсивнее по мере того, как она отдаляется от тех внешних условий, которые выходят на передний план историчес-

кой памяти? Действие многих романов и пьес помещается авторами в период, отдаленный от нас многими веками, — не является ли этот прием чаще всего способом отстранения от рамок актуальных событий и осознания, до какой степени игра чувств независима от исторических событий и сохраняет одинаковые черты сквозь века? Если под исторической памятью мы понимаем ряд событий, воспоминания о которых хранит национальная история, то не она ли, не ее ли рамки являются основной частью того, что мы называем коллективной памятью?

Но между индивидом и нацией существует много других, более ограниченных групп, которые тоже имеют свою память и трансформация которых гораздо более прямо воздействует на жизнь и сознание их членов. Когда адвокат вспоминает те дела, которые он защищал, а врач — больных, которых лечил, когда каждый вспоминает тех товарищей по цеху, с которыми он был связан, не проникает ли он намного глубже, когда сосредоточивает внимание на всех этих фигурах, и не вспоминает ли при этом собственные мысли и заботы, связанные с его прежним «я», с судьбой его семьи, с его привязанностями, то есть со всем тем, что составляет его историю? Конечно, это всего лишь одна из сторон его жизни. Но, как мы уже говорили, всякий человек одновременно или по очереди погружается в несколько разных групп. К тому же каждая группа дробится и сужается во времени и в пространстве. Внутри каждого сообщества развиваются оригинальные коллективные памяти, хранящие в течение некоторого времени воспоминания о событиях, имеющих значение только для них, но тем более касающихся их членов, чем их меньше. В большом городе просто заставить забыть себя; жители же деревни непрестанно наблюдают друг за другом, и память их группы точно регистрирует все те действия, которые находятся в поле их зрения, потому что поведение каждого воздействует на все это маленькое общество и способствует его изменению. В такой среде все индивиды мыслят и вспоминают вместе. У каждого, вероятно, своя точка зрения, но она так тесно связана и сообщается с точками зрения других, что, если его воспоминания стираются, ему достаточно встать на точку зрения других, чтобы исправить эти воспоминания.

Из всего вышесказанного следует, что коллективная память не совпадает с историей и что выражение «историческая память» выбрано не очень удачно, потому что оно связывает два противоположных во многих отношениях понятия. История — это, несомненно, собрание тех фактов, которые заняли наиболее важное

место в памяти людей. Но, будучи прочитанными в книгах, изучаемыми и заучиваемыми в школах, события прошлого отбираются, сопоставляются и классифицируются, исходя из потребностей или правил, которые не были актуальными для тех кругов, которые долгое время хранили живую память о них. Дело в том, что история обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память. Пока воспоминание продолжает существовать, нет необходимости фиксировать его письменно, да и вообще как-либо фиксировать. Поэтому потребность написать историю того или иного периода, общества и даже человека возникает только тогда, когда они уже ушли так далеко в прошлое, что у нас мало шансов найти вокруг себя многих свидетелей, сохраняющих о них какое-либо воспоминание. Когда память о некой череде событий перестает поддерживаться какой-либо группой, которая в них участвовала или испытала на себе их последствия, которая была их свидетелем или услышала живой рассказ о них от первых участников или наблюдателей, когда эта память распыляется по нескольким индивидуальным сознаниям, затерянным в новых обществах, которые уже не интересуются этими событиями, потому что они для них определенно являются внешними, — тогда спасти эти воспоминания можно, только письменно зафиксировав их в форме связного рассказа — ведь слова и мысли умирают, а тексты остаются. Если необходимым условием для существования памяти является то, чтобы вспоминающий субъект, индивид или группа, имел ощущение, что он непрерывным движением плывет вдоль по течению своих воспоминаний, — разве тогда история может быть памятью? Ведь нарушена связь между обществом, читающим эту историю, и группами, прежде бывшими свидетелями или участниками тех событий, о которых в ней рассказывается.

Конечно, одна из задач исторической науки может заключаться как раз в том, чтобы навести мосты между прошлым и будущим и восстановить прерванную преемственность. Но как восстановить коллективные течения мысли, которые набирали силы в прошлом, если мы можем влиять только на настоящее? Историки ценой кропотливого труда могут найти и сделать доступными некоторое количество фактов, считавшихся бесповоротно утраченными, особенно если им удается найти неизданные мемуары. Тем не менее можно ли сказать, например, что, когда в начале XIX века были опубликованы «Мемуары Сен-Симона», французское общество вновь по-настоящему вступило в живой и непосредственный кон-

такт с концом XVII века и концом Регентства? Что из этих «Мемуаров» вошло в учебники по истории, которые читает достаточно большое количество людей, чтобы на их основе возникали коллективные настроения? Эффект от подобных публикаций сводится к тому, чтобы дать нам понять, насколько мы далеки от писавшего и от тех, кого он описывает. Чтобы разрушить барьеры, отделяющие нас от этой эпохи, недостаточно того, что несколько разрозненных людей посвятили чтению этих мемуаров много времени и внимания. Такое изучение истории — удел нескольких специалистов, и даже если бы существовало общество читателей «Мемуаров Сен-Симона», оно определенно было бы слишком ограниченным, чтобы повлиять на широкую публику.

Историческая наука, стремящаяся восстановить факты как можно более подробно, становится эрудированной, а эрудиция — удел меньшинства. Если же она, наоборот, стремится сохранить тот образ прошлого, который, возможно, еще присутствует в сегодняшней коллективной памяти, она удерживает из него лишь то, что по-прежнему интересует наше общество, то есть в целом довольно мало.

Коллективная память отличается от истории по меньшей мере в двух отношениях. Это непрерывный ход мыслей, и в его непрерывности нет ничего искусственного, поскольку из прошлого такая память сохраняет только то, что еще живет или способно жить в сознании той группы, которая ее поддерживает. Она, по определению, не выходит за пределы этой группы. Когда некий период перестает интересовать последующий период, то мы имеем дело не с одной группой, забывающей часть своего прошлого, а, на самом деле, с двумя группами, сменяющими друг друга. История разделяет череду веков на периоды, как сюжет трагедии распределяется по нескольким актам. Но в то время как в пьесе от одного акта к другому продолжается одно и то же действие, с одними и теми же персонажами, остающимися вплоть до развязки верными своему характеру, чьи чувства и страсти развиваются в одном непрерывном движении, — в случае истории возникает впечатление, что от одного периода к другому обновляется все: интересы, направление мысли, способы оценки людей и событий, а также традиции и перспективы на будущее. И если может показаться, будто воспроизводятся одни и те же группы, то это представление связано с эффектом наследования прежних внешних определений, связанных с географическими названиями, административными делениями и некой общей социальной природой. Но совокупности людей, составляющие одну и ту же группу, принадлежащую к двум следую-

щим друг за другом периодам, сравнимы с двумя звеньями, соприкасающимися противоположными концами, но не соединенными ничем другим и не составляющими на самом деле единого тела.

Вероятно, с первого взгляда в последовательности поколений не видно достаточного основания для того, чтобы их преемственность была прервана именно в этот момент, а не в другой, поскольку рождаемость из года в год почти не меняется, так что общество похоже на нити, изготовленные путем накладывания друг на друга в одинаковой последовательности рядов волокон животного или растительного происхождения, или скорее на ткань, полученную путем перекрещивания всех этих нитей. Хлопчатую или шелковую ткань можно разделить, и линии раздела будут соответствовать краю определенного мотива или рисунка. Обстоит ли так же дело и с чередой поколений?

История, помещая себя вне групп и над ними, не колеблясь, вводит в поток фактов простые деления, место которых зафиксировано раз и навсегда. Делая это, она следует не только дидактической потребности в схематизации. Похоже, что она рассматривает каждый период как целое, во многом независимое от предыдущей и последующей эпох, потому что он выполняет некую задачу — добрую, злую или безразличную. Получается, что, пока эта задача не выполнена, пока те или иные национальные, политические, религиозные ситуации не возымели все заложенные в них последствия, как молодые, так и старые люди, невзирая на разницу в возрасте, замыкаются в едином горизонте. Как только задача выполнена, как только возникают новые задачи, новые поколения уже находятся по другую сторону вершины от предыдущих. И хотя есть несколько запаздывающих, молодые увлекают с собой даже часть старшего поколения, которое прибавляет шагу, как будто боится отстать. Напротив, те, кто находится по разные стороны этого раздела, даже если они очень близки к разделяющей их черте, оттого не видны друг другу лучше, чем если бы они находились ниже — одни на одном склоне, другие на другом, то есть одни в прошлом, а другие в том, что уже перестало быть прошлым, или, если угодно, на более отдаленных друг от друга точках на извилистой линии времен.

В этой картине не все неточно. Глядя издалека и в целом, с точки зрения наблюдателя, не входящего в те группы, за которыми он наблюдает, можно распределить события таким образом, соединяя их в последовательные и обособленные совокупности, приписывая каждому периоду начало, середину и конец. Но история, интересующаяся в первую очередь различиями и противопоставлениями,

так же как для наглядности она сосредоточивает и переносит на одну индивидуальную фигуру черты, распределенные по представителям всей группы, переносит и сосредоточивает в интервале в несколько лет перемены, которые на самом деле совершались за гораздо более длинный период времени. Возможно, что на следующий день после события, расшатавшего, отчасти уничтожившего или обновившего структуру некого общества, начинается другой период. Но это станет заметно лишь позже, когда новое общество в самом деле найдет в себе новые ресурсы и выберет другие цели. Историки не могут принимать всерьез эти линии раздела и при этом воображать, что они были замечены теми, кто жил в годы, через которые они проходят, как комедийный персонаж, восклицающий: «Сегодня начинается столетняя война!» Кто знает, быть может, тотчас после войны или революции, создавшей пропасть между двумя человеческими обществами, как будто исчезло некое промежуточное поколение, молодое общество, или молодая часть общества, в первую очередь занимается тем, чтобы вместе с его старшей частью стереть следы этого разрыва, сблизить крайние поколения и, несмотря ни на что, поддержать преемственность развития? Все-таки общество должно жить. Даже когда общественные институты претерпевают глубокие преобразования, и даже особенно в эти моменты, лучший способ укоренить их заключается в том, чтобы подкрепить их всеми еще доступными традициями. Поэтому тотчас после кризисов люди повторяют себе: надо начать с того момента, когда нас прервали, с исходной точки. И некоторое время, действительно, люди воображают себе, будто ничего не изменилось, потому что преемственность была возобновлена. От этой иллюзии вскоре освободятся, но она, по крайней мере, позволяет перейти от одного этапа к другому, не ощущая никакого перерыва в коллективной памяти.

На самом деле, в непрерывном развитии коллективной памяти нет отчетливых разделительных черт, свойственных истории, а есть только неравномерные и неопределенные границы. Настоящее (понимаемое как некий период времени, интересующий нынешнее общество) не противопоставлено прошлому тем же образом, каким отличаются друг от друга два соседних исторических периода. Ибо прошлое уже не существует, тогда как для историка оба периода одинаково реальны. Память общества простирается настолько далеко, насколько она может простираться, то есть до пределов памяти тех групп, из которых оно состоит. Забвение столь многих событий и фигур вызвано не желанием забыть их, не антипатией, отвращением или безразличием, а исчезновением тех групп, кото-

рые хранили память о них. Если бы продолжительность человеческой жизни была в два или три раза больше, поле коллективной памяти, измеряемое в единицах времени, было бы гораздо шире. Впрочем, нельзя с уверенностью сказать, что у этой расширенной памяти было бы более богатое содержание, если бы общество, связанное столькими традициями, развивалось с большими сложностями. Таким же образом, если бы человеческая жизнь была короче, коллективная память, покрывающая более ограниченный отрезок времени, быть может, не была бы беднее, поскольку в облегченном таким образом обществе изменения проходили бы быстрее. В любом случае, поскольку память общества исчезает медленно, на пограничных краях, по мере того как его индивидуальные члены, особенно наиболее пожилые, умирают, она без конца преобразуется, как без конца меняется и сама группа. Причем трудно сказать, в какой момент исчезло некое коллективное воспоминание и определенно ли оно выпало из сознания группы, именно потому, что ему достаточно сохраниться в ограниченной части общества, чтобы его всегда можно было извлечь оттуда.

В самом деле, существует несколько коллективных памятей. Это их второе отличие от истории. История едина, и можно сказать, что существует только одна история. Вот что мы имеем в виду: можно, конечно, различать историю Франции, историю Германии, Италии или же историю того или иного периода или того или иного региона, города (и даже индивида). Историков даже часто обвиняют в излишней специализации и в крайней склонности к изучению подробностей, в силу которых они отдаляются от целого и в некотором роде принимают часть за целое. Но вглядимся в их труд повнимательнее. В глазах историка детальные исследования оправданы тем, что многие подробности образуют некую совокупность, которая в свою очередь добавляется к другим совокупностям, и что в той полной картине, которая возникнет в результате всех этих последующих сложений, ничто ничему не подчинено, все факты одинаково интересны и одинаково достойны упоминания и записи. Такой способ оценки связан с тем, что историк не встает на точку зрения ни одной из существующих или даже существовавших реальных и живых групп, для которых, напротив, все события, места и периоды имеют далеко не одинаковое значение, поскольку они их по-разному затрагивают. Но историк стремится быть объективным и беспристрастным. Даже когда он пишет историю своей страны, он старается собрать совокупность фактов, которую можно будет противопоставить другой их совокупности, истории другой

страны, так, чтобы между ними не было разрыва и чтобы в полной картине истории Европы мы находили не собрание различных национальных точек зрения на факты, а, скорее, ряды и совокупности фактов такими, каковы они есть — не с точки зрения той или иной страны или группы, а вне зависимости от любого группового суждения. Тогда в такой картине сами разделения между странами являются такими же историческими фактами, как и другие. Таким образом, все они находятся на одном уровне. Мир истории подобен океану, в который впадают все частные истории. Неудивительно, что в период возникновения исторической науки, и даже во все периоды ее развития, было написано столько универсальных историй. Такова естественная ориентация духа истории. Таков путь, на который неизбежно вставал бы всякий историк, если бы его не удерживали в рамках более ограниченных работ скромность и недостаток сил.

Музой истории, конечно, является Полимния. Историю можно представить как универсальную память человеческого рода. Но универсальной памяти не существует. Носителем всякой коллективной памяти является группа, ограниченная в пространстве и времени. Собрать в единую картину всю совокупность прошлых событий можно, только изымая их из памяти групп, хранивших воспоминания о них, перерезая те нити, которыми они связаны с психологией тех социальных сред, в которых они произошли, оставляя от них одну только хронологическую и пространственную схему. Речь уже не о том, чтобы вновь пережить их во всей их реальности, а о том, чтобы вновь поместить их в те рамки, в которых события расставляет история, рамки, остающиеся внешними для самих групп. Это значит, что историю интересуют главным образом различия и она оставляет в стороне сходства, без которых, однако, не было бы памяти, поскольку люди помнят только факты, ставшие опытом для одного сознания, что позволяет памяти связать их друг с другом, словно вариации на одну или несколько тем. Только таким образом ей удается дать нам сжатое представление о прошлом, мгновенно объединяя народы и личности, медленные коллективные процессы и символически представляя их на примере нескольких внезапных изменений, несколькими приемами. Именно так она нам представляет единую и всестороннюю картину.

Чтобы, напротив, получить представление о множестве коллективных памятей, представим себе, как выглядела бы наша история, если бы, рассказывая ее, мы останавливались при упоминании каждой группы, с которой мы были связаны, чтобы рассмотреть ее саму по себе и сказать все, что мы о ней знаем. Недостаточно раз-

личать несколько групп: наших родителей, школу, лицей, друзей, коллег, светские знакомства, да еще то или иное политическое, религиозное или творческое сообщество, к которому мы, быть может, примыкали. Такие грубые деления удобны, но они соответствуют внешнему и упрощенному взгляду на действительность. Эти группы включают в себя гораздо более мелкие группы, занимающие лишь часть пространства, и мы общались лишь с тем или иным их местным отделением. Они преобразуются, делятся на части, так что, даже если мы остаемся на одном месте и не выходим за пределы какой-то группы, бывает, что в результате медленного или быстрого обновления ее членов она на самом деле становится другой группой, имеющей мало общих традиций с теми, кто изначально составлял ее. Так, если мы долго живем в одном и том же городе, у нас есть новые и старые друзья, и даже внутри одной семьи смерть, свадьба, рождение становятся точками нового отсчета и нового начала. Конечно, эти более новые группы зачастую являются всего лишь подразделениями расширившегося, разветвившегося общества, к которому привились новые части. Однако мы в них различаем разные зоны, и когда мы переходим от одной к другой, в уме у нас возникают разные ходы мысли и разные воспоминания. Дело в том, что большинство из этих групп, пусть даже они в настоящее время не разделены, представляют собой, как говорил Лейбниц, своего рода бесконечно и самыми разными способами делимую социальную материю.

Рассмотрим теперь содержание этих разнообразных коллективных памятей. Нельзя сказать, что коллективная память, в отличие от истории или, если угодно, от исторической памяти, удерживает только сходства. Чтобы могла идти речь о памяти, надо, чтобы части того периода, на который она распространяется, в какой-то степени отличались друг от друга. У каждой из этих групп — своя история. В ней можно различить фигуры и события. Но поражает нас то, что в памяти тем не менее на передний план выступают сходства. Рассматривая свое прошлое, группа чувствует, что она осталась той же, и осознает свою самотождественность во временном измерении. Как мы уже сказали, история опускает те промежутки, когда, по-видимому, ничего не происходит, когда жизнь повторяется в несколько отличных формах, но без существенных изменений, без разрывов и потрясений. Но группа, живущая прежде всего для самой себя, стремится увековечить те чувства и образы, которые составляют материю ее мысли. В таком случае главное место в ее памяти занимает то время, в течение которого с ней не произошло глубоких изменений. Весь смысл произошедших в се-

мье событий и различных действий ее представителей, на которые мы обратили бы особое внимание, если бы писали семейную историю, в ее глазах состоит в том, что они позволяют группе родственников демонстрировать свое своеобразие, которое отличает их от всех остальных и почти не подлежит изменениям. Если же, напротив, событие, инициатива одного или нескольких ее представителей или, наконец, внешние обстоятельства внесли в жизнь группы что-то новое, несовместимое с ее прошлым, то зародилась бы другая группа, со своей памятью, в которой сохранилось бы лишь неполное и смутное воспоминание о том, что предшествовало этому кризису.

История — это картина изменений, и она естественным образом убеждается в том, что общество все время меняется, потому что история устремляет взгляд на целое и потому что практически не проходит года без каких-либо изменений в той или иной сфере этого целого. А поскольку для истории все взаимосвязано, каждое из этих преобразований должно оказывать влияние на остальные части общества и готовить новое изменение. Ряд исторических событий предстает прерывистым, поскольку каждый факт отделен от предыдущего или последующего факта промежутком, когда, как может показаться, ничего не произошло. На самом деле те, кто пишет историю и обращает внимание в первую очередь на изменения и различия, понимают, что для того, чтобы перейти от одного к другому, должен произойти ряд изменений, которые история воспринимает только в их совокупности (в смысле интегрального исчисления) или как конечный результат. Такова точка зрения истории, поскольку она рассматривает группы извне и охватывает довольно длительное время. Коллективная память же, напротив, — это группа, рассматриваемая изнутри, причем за период, не превосходящий средний срок человеческой жизни, а очень часто за гораздо более короткое время. Она представляет группе ее собственный образ, который, конечно, развертывается во времени, поскольку речь идет о ее прошлом, но таким образом, что она всегда узнает себя в сменяющих друг друга картинах. Коллективная память — это картина сходств, и она естественно воображает себе, что группа остается, и остается одинаковой, потому что она устремляет свой взгляд на группу, а изменились отношения или контакты группы с другими. Поскольку группа все та же, надо, чтобы изменения были очевидными: изменения, то есть произошедшие в группе события, сами превращаются в сходства — их роль в том, чтобы с разных сторон показать одинаковое содержание — различные фундаментальные черты самой группы.

Впрочем, как могла бы существовать память и не парадоксально ли утверждать, что прошлое сохраняется в настоящем или настоящее вводится в прошлое, если речь не идет о двух зонах одной и той же области и если группа, по мере того как она углубляется в себя, осознает себя вспоминая и отделяется от других, не стремилась бы замкнуться в сравнительно неподвижной форме? Сомнения нет, она заблуждается, думая, что сходств больше, чем различий, но она совершенно не в состоянии осознать это, поскольку тот образ самой себя, который она имела раньше, в свою очередь, постепенно преобразовался. Но пусть рамки раздвинулись или сузились, но они ни в какой момент не распались, и всегда можно признать, что группа просто понемногу переместила свое внимание на такие свои части, которые раньше были сдвинуты на задний план. Главное, чтобы сохранились те черты, которыми она отличается от других, и чтобы они накладывали свой отпечаток на все ее содержание. Когда мы вынуждены отделиться от одной из этих групп, не на время, а потому, что она рассыпается, последние ее члены исчезают или смена места, карьеры, симпатий или убеждений вынуждает нас проститься с ней, и мы вспоминаем все время, проведенное в этой группе, разве эти воспоминания не предстают перед нами как будто на одной плоскости? Иногда нам кажется, что наиболее древние из них ближе всего или что все они озарены одинаковым светом, словно предметы, очертания которых сливаются в сумерках...

Перевод с французского Михаила Габовича

Харальд Вельцер

ИСТОРИЯ, ПАМЯТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПРОШЛОГО

Память как арена политической борьбы

В прежние времена считалось, что споры и конфликты по поводу политики памяти о Второй мировой войне, о «третьем рейхе» и о Холокосте будут затихать по мере вымирания тех поколений, которым довелось пережить эти события на собственном опыте. Но вопреки этим прогнозам, в большинстве европейских стран подобные споры, наоборот, становятся лишь более интенсивными. В ФРГ, например, пользуются повышенным спросом романы, посвященные периоду нацизма, а также возникают новые ситуации «конкуренции воспоминаний» между представителями «союзов изгнанных» и другими группами жертв тех лет. В Польше, равно как и в Нидерландах, и в Норвегии, уже несколько лет ведутся жаркие дебаты по поводу того, какую роль сыграла соответствующая нация в годы нацизма, в какой мере имело место противостояние фашистской Германии, а в какой — пособничество ей.

Многообразнейшие разновидности и все более громкие формы «конкуренции между жертвами» служат свидетельством того, что политика памяти превратилась в одну из арен внутренней и внешней политики, где заявление претензий по поводу незаслуженных страданий, причиненных тем или иным группам в прошлом, стало веским аргументом, используемым для обеспечения сегодняшних интересов. При этом, как можно заметить, элементы сложившегося нарративного канона, связанного с Холокостом, применяются в описаниях мучений других пострадавших групп. Такие «перестановки»[1] наблюдаются, например, когда изгнание судетских немцев или бомбардировка Дрездена описываются с использованием *тех же самых понятий* — «уничтожение», «спецотряды» (*Sonderkommando*), «жертвы всесожжения», — что и при описании истребления

[1] *Welzer H., Moller S., Tschuggnall K.* «Opa war kein Nazi!» Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis. Frankfurt a M., 2002.

евреев, и за счет этого ставятся в общий ряд военных преступлений, оказываясь сравнимыми с Холокостом по масштабу трагедии.

Одновременно мы наблюдаем, как память о Холокосте становится все более космополитичной, всеобщей[2], и в результате крайние проявления насилия, пережитые самыми разными обществами, интерпретируются как Холокосты («кампучийский Холокост», «армянский Холокост» и так далее). Оборотной же стороной такого универсалистского обращения с воспоминаниями оказывается (ре)национализация культурной и коммуникативной памяти, происходящая путем монополизации нарратива Холокоста и служащая легитимации идентификационных национальных притязаний.

И наконец, все более и более заметной становится разница между публичной культурой памяти, создаваемой школой, политикой и дидактикой мемориальных комплексов, с одной стороны, и приватной памятью, сохраняемой, например, в семьях, с другой: в то время как в Германии публичная культура коммеморации и памяти сфокусирована на преступлениях нацизма и на Холокосте, в центре семейных воспоминаний стоят страдания немцев, связанные с войной и изгнанием, бомбежками и пленом. Преследования и истребление еврейского населения практически не обсуждаются. В целом становится очевидно, что все многообразие взаимосвязей между культурной и коммуникативной или между публичной и приватной памятью пока еще очень слабо изучено.

Поскольку обращение с памятью стало политической ареной, связанной как с вышеупомянутым космополитичным использованием воспоминания о Холокосте, так и с легитимацией военных интервенций, огромное значение приобретает вопрос, какие формы присвоения дискурсов, связанных с памятью о прошлом, наблюдаются в различных европейских обществах. Происходит такое присвоение всегда в силовом поле, заданном историей, с одной стороны, и памятью — с другой.

О соотношении истории и памяти

Начнем с трех воспоминаний о войне. Дрезденцы старшего поколения, пережившие разрушительный налет союзной авиации на город 13—14 февраля 1945 года, твердо убеждены в том, что после бомбежки самолеты, летая на бреющем полете над улицами

[2] *Levi D., Sznaider N.* Erinnerung im globalen Zeitalter: der Holocaust. Frankfurt a M., 2001.

Дрездена, охотились на людей. Пять лет назад историк Хельмут Шнатц сделал в Дрездене публичный доклад, который вызвал скандал. Историк привел неопровержимые доказательства того, что это воспоминание дрезденцев — миф. Но его довод о том, что из-за высокой температуры воздуха, связанной с пожаром от бомб, американские самолеты просто не могли бы летать низко над горящим городом, нисколько не убедил слушателей, равно как и ссылки на тщательный анализ полетных заданий и бортжурналов британских военно-воздушных подразделений, где не обнаруживалось никаких подтверждений истинности воспоминания об «охоте». Наоборот, присутствовавшие на докладе свидетели тех событий восприняли приведенные факты как посягательство на их личные воспоминания о «серебристо посверкивавших истребителях "мустанг"» и отчаянно спасавшихся бегством людях и были немало возмущены. Даже пять лет спустя, в передаче Второго канала немецкого телевидения по случаю 60-летия бомбардировки, свидетели ее все еще бурно возмущались «враньем» историков.

Бывший американский президент Рональд Рейган однажды со слезами на глазах рассказывал на одном публичном мероприятии драматическую историю, которую помнил со времен войны. Был подбит бомбардировщик. Командир приказал экипажу прыгать с парашютом. Но бортстрелок, молодой парень, был так тяжело ранен, что не мог выпрыгнуть из самолета. И тогда героический пилот сказал: «Ладно. Значит, будем вместе сажать машину». Несколько журналистов заметили, что Рейган вспомнил вовсе не «подлинную» историю, а сцену из кинофильма «Крыло и молитва», снятого в 1944 году.

На одной встрече ветеранов вермахта, как рассказывают, встретились два «подлинных» пассажира последнего самолета, сумевшего вырваться из сталинградского котла. Они не знали друг друга, и каждый из них утверждал, что другой — лжец. Был ли хотя бы один из них на борту того самолета, так и осталось невыясненным. Но было очевидно, что оба были субъективно убеждены в том, что говорят правду.

У этих трех случаев, при всех различиях, есть ряд общих черт: все они связаны с воспоминаниями и с аберрациями памяти. Кроме того, эти воспоминания — пусть они неверны, или восходят не к тому источнику, или дополнены вымышленными деталями — отличаются высокой эмоциональной значимостью для их носителей. Эти воспоминания и связанные с ними чувства важны этим людям, им не хочется с ними расставаться. Далее, все они относятся к событиям, которые имели решающее значение для биографий

людей и которые, как те полагают, забыть невозможно. Парадоксальным образом именно это намерение «не забывать», вероятно, и приводит к тому, что подобные судьбоносные события претерпевают разнообразные трансформации, дополнения и унификацию: их приводят к тому стандартному формату, в котором и другие люди о них помнят. Ведь всякий раз, когда воспоминание вызывается из памяти, — например, в ходе рассказа — за этим следует новое его запоминание. При таком повторном запоминании, как указывает невролог Вольф Зингер, запоминается и контекст последней ситуации вызова из памяти — то есть изначальное воспоминание обогащается новыми нюансами, корректируется, фокусируется на тех или иных аспектах, переписывается[3]. Воспоминание — это всегда событие плюс воспоминание о том, как его вспоминали, поэтому разговоры о коллективно пережитых ключевых событиях обладают необычайно сильным воздействием на индивидуальные воспоминания каждого. Когда речь идет о таких сильных переживаниях, как те, что связаны с войной, регулярно можно наблюдать феномен стандартизации набора воспоминаний, существующих в обществе, — так, как будто все участники войны в какой-то период пережили одно и то же. Но ведь известно, что война была одной для того солдата, который был стрелком танка на Восточном фронте, и совершенно другой — для того, кто служил поваром в интендантской роте, а также что на войне отнюдь не только сражаются, но занимаются и множеством совсем других дел: меняют место постоя, беседуют по вечерам, охраняют тыловые коммуникации, бездельничают, ждут.

Но об этих скучных, невпечатляющих военных буднях практически никогда не рассказывают; рассказывают о необычном, о впечатляющем, о том, что связано с опасностью, с тяготами, с отвагой, с удачей. В ходе социальной коммуникации внутри коммеморативных сообществ — а таковыми могут быть и жители одного города, и военнослужащие одного подразделения — обмен историями производится так долго и истории при этом модифицируются и переоформляются до такой степени, покуда у всех членов сообщества не окажется примерно одинаковый набор примерно одинаковых историй. Все эти истории базируются на отдаленно схожих фундаментах личного опыта, однако в деталях зачастую оказываются ложными воспоминаниями, созданными коммуникацией, а не собственно опытом.

[3] *Singer W.* Bewußtsein aus neurobiologischer Sicht // *Rose S.* (Hg.). Gehirn, Gedächtnis und Bewußtsein. Eine Reise zum Mittelpunkt des Menschen. Bergisch-Gladbach, 1998. S. 309—334.

На сегодняшний день благодаря исследованиям памяти в когнитивной психологии и нейробиологии мы знаем, что человек может встраивать в историю своей жизни сведения, эпизоды и даже целые событийные ряды, происходящие не из его собственного опыта, а из совершенно иных источников — например, из рассказов других людей, из романов, из документальных и художественных фильмов, а также из снов, грез и фантазий. Этот феномен называется «забвением источника», потому что само событие человек помнит правильно, но путает источник, из которого получено воспоминание о нем[4]. В ложных воспоминаниях или в тех, которые заимствованы из других источников, особенно раздражает то, что события могут буквально «стоять перед глазами» у человека, как у тех пожилых дрезденцев, — «так, словно все было вчера». Именно визуальная репрезентация прошедшего события субъективно более всего убеждает человека в том, что он вспоминает то, что было в самом деле и было именно так, как он видит это своим мысленным взором. Дело, однако, не в том, что это событие сначала отразилось у него на сетчатке и потом врезалось в память, а в том, что нейрональные системы переработки визуальных восприятий и образов, порожденных воображением, частично совпадают друг с другом, так что даже события, представляющие собой исключительно плод фантазии человека, могут «стоять у него перед глазами» и казаться живыми и объемными воспоминаниями[5].

Для интеграции заимствованных воспоминаний в собственную историю человека важно, чтобы они соответствовали тому фоновому эмоциональному ощущению, которое у человека связано с той эпохой, к которой они относятся. Непосредственное переживание войны и насилия оставляет эмоциональные воспоминания, а это, как показал Джозеф Леду, воспоминания очень глубокие, биологически обусловленные и кодированные[6]. Определенные раздражители, которые похожи на былые переживания, провоцируют выброс нейротрансмиттеров, которые снова вызывают те эмоции, что связаны с глубоко врезавшимся воспоминанием: человек на-

[4] *Schacter D.L.* Searching for Memory. The Brain, the Mind, and the Past. New York, 1996; *Welzer H.* Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München, 2002.

[5] *Kosslyn S.M., Thompson W.L., Kim J.I., Alpert N.M.* Topographical representation of mental images in primary visual cortex // Nature. 1995. № 378. P. 496–498; *Kosslyn S.M., Ganis G., Thompson W.L.* Neural foundations of imagery // Nature Review Neuroscience. 2001. № 2. P. 635–642.

[6] *LeDoux J.* Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen. München, 1998.

чинает дрожать, потеть, страшиться, искать укрытия. Но к этому глубоко врезавшемуся эмоциональному воспоминанию сознание может отнести и совсем иные события и процессы, нежели те, которые исходно породили воспоминание. Поэтому те травматические воспоминания, которые человек много обсуждал с другими, не «истиннее» и не «аутентичнее» иных; одни только связанные с ними эмоции содержат, хранят в себе след исходного происшествия, а все прочее может быть чистой воды артефактом.

Короче говоря, воспоминания о важнейших исторических событиях представляют собой своего рода коллажи, которые формируются из множества источников, подвергаются изменениям при коммуникации, но сохраняют свою эмоциональную значимость. Интроспективным путем невозможно выяснить, является ли то или иное воспоминание истинным или ложным: и то и другое вызывают у вспоминающего абсолютно одинаковые чувства.

Другой феномен — специфика переработки информации памятью в разном возрасте. Мы можем описать жизненные фазы человека с более высокой и менее высокой плотностью воспоминаний. В особенности молодые годы представляют собой фазу повышенной плотности, когда человек приобретает целую гору воспоминаний («reminiscence bumps»[7]). Этот возраст характеризуется, во-первых, тем, что в силу специфики личностного развития очень многое человек переживает впервые: например, поступает на работу или идет в армию, серьезно влюбляется, заводит ребенка. Эта фаза совпадает с той стадией, когда система автобиографической памяти переживает свое полное развитие, то есть достигает максимальной способности перерабатывать воспоминания, связанные с самим человеком. То, что шесть лет войны и по сей день, шестьдесят лет спустя, так интенсивно притягивают наше внимание, связано не в последнюю очередь, несомненно, с тем обстоятельством, что у многих ныне живущих людей война пришлась как раз на период молодости. Но дело не только в том, что молодые годы вспоминают больше, чем другие периоды жизни: воспоминания молодости, как правило, имеют особое эмоциональное значение потому, что связанные с ними переживания зачастую предопределили всю последующую жизнь человека.

Неврологические исследования показали, что у пожилых людей воспоминания о более отдаленном прошлом более стабильные и богатые, нежели о недавних событиях; они приобретают более статичный, завершенный характер, становятся неподвластны изме-

[7] *Schacter D.L.* Op. cit.

нениям, а также, возможно, и рефлексии. Мартин Вальзер в вызвавшей ожесточенные споры речи по случаю вручения ему Премии мира, говоря о нацистском прошлом, сказал, что не может «переучивать свою память», внушая ей то, что узнал позже. В свете достижений науки это выглядит вполне правдоподобным. Исследования человеческой памяти могут объяснить и то, почему свидетели вспоминают пережитые в прошлом события совсем не так, как говорят о них исторические факты: эти люди, возможно, вовсе не отрицают и не «вытесняют» прошлое, просто у них имеется эмоционально кодированное представление о нем, которое почти или вовсе не может быть изменено за счет информации, полученной в более позднее время. Многие «конфликты воспоминаний», характерные для современных обществ и идущих в них политических споров, получают, таким образом, объяснение с точки зрения теории памяти.

Традирование — передача и присвоение прошлого

Но воспоминания не всегда бывают собственными: они передаются другим и становятся воспоминаниями из вторых, третьих, четвертых рук. В этом процессе эмоции тоже играют важнейшую роль. Когда, например, в семье рассказываются истории о войне или о «третьем рейхе», представители поколения внуков ощущают сильную эмоциональную потребность услышать о своих предках «хорошие» истории: что те не были нацистами, помогали тем, кого преследовали, и тому подобное. Эта потребность тем сильнее, чем больше молодежь знает о преступлениях национал-социалистов и чем тверже она убеждена в том, что Холокост был самым ужасным преступлением в человеческой истории. Проведенное мной и моими коллегами исследование на тему традирования прошлого в разговорах показывает, что и в тех случаях, когда бабушка или дедушка рассказывают истории, в которых предстают отъявленными антисемитами или даже военными преступниками, слушатели формируют собственные версии услышанного: словно вращая калейдоскоп, они приводят элементы и параметры рассказанной им истории в новое сочетание, так что антисемиты превращаются в героев Сопротивления, которые, рискуя жизнью, помогали преследуемым, или что-нибудь в этом роде[8]. Вот один пример:

[8] *Welzer H. et al.* Op. cit.

91-летняя Элли Круг[9] рассказывает, что до самого конца войны не знала, что такое концлагеря. Но потом через их деревню стали проходить бывшие узники лагеря Берген-Бельзен, и британские оккупационные власти обязали фрау Круг предоставлять этим людям постой. Она была очень недовольна:

Ну а потом хуже всех евреи были. Эти прямо издевались над нами. Сядут, знаете, и давай, обслуживай их. У нас такой сеновал большой был, там они спали ночью. А потом-то я по-другому делать стала. Все смотрела, чтоб мне ни евреи, ни русские не доставались. Очень уж мерзкие были. И вот я всякий раз вставала на улице за воротами, они мне говорят: «На постой!» А я: «Не, — говорю, — все уж полно!» И вот, если евреи приходили, я говорила: «У меня тут русских — битком, хотите — и вы заходите!» Они: «Нет-нет-нет!» А русские приходили — так я говорила, что у меня там евреи.

И сегодня, когда фрау Круг рассказывает о своей хитрости, с помощью которой ей удавалось не пускать на постой «евреев» и «русских», используемые ею эпитеты («хуже всех», «мерзкие») указывают на ее поныне ярко выраженные антисемитские и расистские взгляды. О том, что просившие постоя люди были бывшими узниками, пережившими лагерь Берген-Бельзен, она даже и не заговаривает. На первом плане в ее рассказе — неудобства, которые причиняли ей постояльцы, и ее хитрый способ не пускать на двор «евреев» и «русских».

Сын фрау Круг рассказывает историю, которую слышал от своей покойной жены. Та работала в имении неподалеку от Берген-Бельзена и там слышала, что владелица имения прятала у себя людей, бежавших из лагеря. Женщину эту он называет «бабушка»:

Один год она [жена] *была в Бельзене, в усадьбе. Туда они* [узники] *прямо и прибегали. Нескольких бабушка спрятала, они в деревянной лохани сидели. Потом пришли их искать, всюду нос совали: «Тут точно кто-то спрятался». Бабушку бы сразу расстреляли тогда. А она кастрюлю горячую сверху поставила, с вареной картошкой, на тот ящик, так что они до него не добрались.*

И в этой истории в центре описываемых событий — уловка: «бабушка» ставит на лохань, где прячется беглый заключенный, кастрюлю, в которой варилась картошка, и тем спасает жизнь ему

[9] Все имена изменены. Устная речь несколько подправлена для большей удобочитаемости.

и одновременно себе самой. А 26-летняя внучка Сильвия рассказывает собственную версию того, что делала ее бабушка:

А еще она как-то раз тоже историю рассказывала, мне очень както интересно показалось, что наша деревня-то по дороге была, которая на Берген-Бельзен шла, и что она как-то раз кого-то прятала, кто из-под конвоя сбежал, и его очень интересным способом прямо прятала, в каком-то рундуке для зерна, с соломинкой, так что он так выглядывал. И приходили потом люди, и искали его у нее на дворе, а она так и не выдала, и это, мне кажется, такой подвиг маленький, это я только в заслугу ей могу поставить.

В этой истории соединены составные части, которые нам уже встречались в рассказах бабушки и отца: «дорога в Берген-Бельзен», отважная женщина, короб, и даже сеновал, похоже, оставил след в рассказе внучки в виде соломинки. И здесь тоже в центре — уловка, с помощью которой героине удалось укрыть заключенного от преследователей. Только повествовательная матрица, в которую вписаны действующие лица и предметы, теперь ориентирована на другое послание: чужая бабушка вместе с ее коробом объявляется как бы своей, а сено превращается в драматургический элемент представления о том, как собственная бабушка перехитрила погоню. Тем самым внучка создает совершенно новый, собственный образ своей доброй бабушки, какого не было ни в рассказе самой пожилой женщины, ни в рассказе ее сына.

На этом примере становится видно, во-первых, что структурным признакам рассказа — в данном случае уловке — принадлежит роль чего-то вроде транспортной материи, способной переносить самую различную информацию. Во-вторых, становится заметно, что разные поколения, говоря об одном и том же историческом периоде, связывают с ним очень разные соображения.

Кроме того, наше исследование показало, что содержание воспоминаний в официальной и в приватной культуре памяти очень сильно различается: если на уроках истории, в музеях и мемориальных комплексах, в мероприятиях по случаю дней памяти войны и жертв нацизма в центре стоят Холокост и преступления национал-социалистов, то в семейной памяти главными темами являются страдания от бомбежек, плен и изгнание. Эмоциональное отношение к прошлому, которое создается в семье, порождает совсем иную картину истории, чем та, какую преподают на уроках истории. Историческое сознание обнаруживает не только когнитивные, но и эмоциональные измерения, которые могут находиться с когни-

тивными в резком противоречии. Иными словами, знания об истории и употребление этих знаний — не одно и то же.

Таким образом, мы видим, что история и память — две совершенно разные вещи; при усвоении их индивидом они претерпевают специфические смешения и порождают специфические выводы. Если историография ориентирована на факты и на истину, вырабатывает изощренные техники интерпретации источников, то память всегда связана с конкретной идентичностью: человек вспоминает то, что важно ему самому, что помогает ему справляться с сегодняшней жизнью. С этой точки зрения оказывается осмысленным и неразличение нашей памятью «истинных» и «ложных» воспоминаний. В функциональном плане воспоминание служит ориентации в современности — например, помогает принять решение на основе опыта. И если заимствованное воспоминание подсказывает человеку правильное решение, то это в функциональном отношении, несомненно, лучше, чем если бы человек на основе «правильного» воспоминания принял неверное решение.

Память вообще связана не столько с прошлым, сколько с настоящим. Как и все прочие системы памяти, автобиографическая память представляет собой функциональную систему, задача которой — помогать человеку справляться с жизнью в настоящем. Поэтому возмущение по поводу того, что люди часто «неправильно» что-то вспоминают, основано на недоразумении: неверно полагать, будто история и воспоминание имеют непосредственное отношение друг к другу. В то время как история занимается установлением имевших место фактов и выдвижением по их поводу поддающихся проверке утверждений, память абсолютно оппортунистична: она берет то, что ей полезно, и отбрасывает то, что представляется ей лишним или неприятным.

Травма и память

В настоящее время усвоение истории происходит главным образом через рассказы о страданиях. Традиционная форма рассказа о героях совершенно вышла во второй половине XX века из моды; у рассказов о злодеях нет будущего, потому что, как выясняется со временем, они слишком сильно подрывают представления коллективов и индивидов о самих себе.

Важнейшее значение в описанной ситуации приобретает понятие «травма». С ним произошло то же самое, что несколько лет назад произошло с такими понятиями, как «коллективная память»

или «идентичность»: никто уже не знал, что конкретно они означают, но употребляться они стали уже повсеместно, так что можно было прилагать их к чему угодно. Область употребления понятия травмы простирается на сегодняшний день так широко, что включает в себя и животных в кабульском зоопарке, которых травмировали военные действия, и футбольного вратаря, пропустившего важнейший одиннадцатиметровый удар, и внуков «изгнанных», глубоко страдающих от того, что их дедушки и бабушки были изгнаны или вынуждены бежать из восточноевропейских стран. И если президент германского «Союза изгнанных» Эрика Штайнбах сегодня говорит о травме изгнания, хотя отец ее родился под Франкфуртом-на-Майне и только во время войны приобрел ту землю, с которой недолгое время спустя был изгнан, — то речь явно идет о политике памяти. Что, впрочем, присуще дискурсу травмы как таковому.

Изначально понятие травмы бытовало в клиническом обиходе и долгое время понималось узко. Его использовали для описания психических последствий пережитого насилия, от которых страдали жертвы, в частности — те, кто пережил Холокост. Понятием этим обозначался четко очерченный спектр психических нарушений, которые приводили к тому, что травмированный человек сталкивался со значительными затруднениями в своей жизнедеятельности.

Холокост — травмирующее событие par excellence — приобрел свою нынешнюю значимость только в конце 1970-х годов. После того как на протяжении четверти века о нем предпочитали не говорить, в Германии этой темой стали спорадически заниматься в конце 1960-х — в первую очередь в связи с такими событиями, как процесс Эйхмана в Иерусалиме или процесс преступников Освенцима во Франкфурте. Потом, в 1970-х, на экраны вышел четырехсерийный телефильм «Холокост», который превратил эту тему в постоянную и всеобщую, так что в конце концов она вошла в учебные планы средних и высших учебных заведений.

Как показывает этот пример, воспоминание о коллективных исторических травмах и переработка их сильно зависят от того, каким образом эти воспоминания используются в настоящем. Будет ли то или иное событие вообще истолковано как травмирующее, зависит порой не столько от самого события, сколько от того, какое значение ему будет придано впоследствии, задним числом. Есть и другие примеры того, какое неодинаковое значение придавалось в культурной памяти разных обществ тем или иным катастрофам XX века: если в Германии воспоминание о Первой миро-

вой войне затмилось во многом более экстремальным опытом Второй, то в Англии по-прежнему большее значение имеет память о «Great War», то есть о войне 1914—1918 годов; в Испании для культурной памяти народа гораздо большее значение имеет гражданская война, закончившаяся установлением диктатуры Франко, нежели Вторая мировая. Японцам, по всей видимости, — как это ни удивительно для нас — важнее воспоминания о войне с использованием обычных вооружений, чем атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.

Воспоминания об исторических катастрофах привязаны не к объективным историческим фактам, а к конкретным идентичностям. Поэтому для формирования идентичностей исторические события порой извлекаются из нафталина, а то и просто выдумываются: в культурной памяти сербов, например, битва на Косовом поле играет столь же важную роль, как для швейцарцев — клятва на поляне Рютли; и при этом как то, так и другое воспоминание базируются на исторических основаниях, созданных задним числом. Иногда никто просто не помнит, что тот или иной исторический или общественный миф на протяжении многих веков был абсолютно иррелевантен для коллективной идентичности.

Нормативные критерии, по которым то, что достойно памяти, отличают от того, что достойно забвения, как правило, слабо связаны с тем, что на самом деле произошло; важно прежде всего то, как память об этом событии используется сегодня. Мы уже привыкли думать, что «помнить» — как-то лучше и здоровее, чем «забывать», хотя не в последнюю очередь именно пример Холокоста показывает: для того чтобы пострадавшие общества могли восстановиться, им может быть полезнее сперва забыть катастрофическое событие, а только потом, после длительной фазы консолидации (которая обычно занимает, видимо, около тридцати лет), снова сделать его предметом воспоминания и поминовения.

Воспоминание, переработка и забвение — точки одного континуума, который мы называем памятью. Если смотреть на дело под таким углом, то не существует некой общеобязательной точки зрения, стоя на которой мы могли бы сказать: вот это и это надо помнить, то и то нельзя забывать. Воспоминания нельзя людям продиктовать: индивиды и коллективы выбирают из принципиально неограниченного множества событий и образов прошлого те, которые им, глядя из их настоящего, кажется осмысленным помнить. Что именно это будет и как потом будут обходиться с тем или иным событием, заранее предсказать невозможно, как нельзя предвидеть и то, какое целительное или болезнетворное воздействие будет иметь воспоминание или забвение.

Глубинное воздействие исторического опыта, или Непрошедшее прошлое

Глубинное воздействие, которое Вторая мировая война оказала на жизненный опыт людей, становится тем заметнее, чем дальше в историю она уходит. Одержимость этим прошлым, от которого нельзя уйти, не снижается, а наоборот, нарастает, так что теперь уже говорят даже, что прошло-то ведь всего шесть десятилетий[10], то есть фаза действительного осмысления еще даже и не начиналась. На фоне таких заявлений наверняка не покажется поспешным предположение, что Вторая мировая война представляет собой экстремальный исторический опыт, «период полураспада» которого в биографиях одного или нескольких поколений пока еще невозможно вычислить. Ни историческая наука, ни социология, ни социальная психология не имеют в своем арсенале теорий или достаточных эмпирических знаний о том, на сколько поколений распространяется подобный опыт. Но сквозь все процессы и споры, связанные с политикой в отношении памяти, ясно просматривается тот факт, что исторический опыт и ментальность послевоенного общества в европейских странах подверглись многостороннему и непреходящему формирующему воздействию насилия. И главный вопрос — как именно это, по выражению Клауса Наумана, «глубинное формирующее воздействие, оказанное на немецкое общество пережитыми им в прошлом экстремальными проявлениями насилия», отразилось на чувствах, восприятиях, ориентациях и действиях не только военных поколений, но и последующих[11].

Таким образом, прошлое еще отнюдь не прошло, оно продолжает жить на уровне чувств, на уровне самосознания, на уровне политических ориентаций, только не как история с ее фактичностью, а как продукт интерпретаций, наделяющих его смыслами. И главный смысл, вкладываемый в него людьми, зависит от того, какие требования предъявляет к ним современность. Поэтому в прошлом на самом деле меньше прошедшего, чем многим кажется. И только этим обстоятельством объясняется то, что по поводу того или иного прошлого происходит столько конкурентной борьбы, конфликтов и боев. Если бы прошлое было всего лишь историей, оно было бы заморожено. И не болело бы.

Перевод с немецкого Кирилла Левинсона

[10] См. статью Томаса Шмида в газете «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» от 14.11.2003.

[11] *Naumann K.* Nachkrieg in Deutschland. Hamburg, 2001.

Теодор В. Адорно

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ПРОРАБОТКА ПРОШЛОГО»

Вопрос о том, что означает «проработка прошлого», нуждается в прояснении. Он возникает по поводу выражения, которое в последние годы стало в высшей степени подозрительным девизом. В том употреблении этого словосочетания, о котором идет речь, под проработкой прошлого вовсе не имеется в виду, что прошедшее перерабатывается всерьез и его чары рассеиваются под воздействием ясного сознания. Напротив, под прошлым хотят подвести черту и по возможности стереть его из памяти. Жест необходимости все забыть и все простить, приличествующий лишь тому, кто испытал несправедливость, практикуется сторонниками тех, кто виновен в совершении этой несправедливости. Когда-то, участвуя в одной научной полемике, я написал: в доме палача не говорят о веревке; в противном случае мы получаем скрытый ресантимент. Однако то, что тенденция бессознательной, а также не такой уж бессознательной защиты от чувства вины так нелепо соединяется с идеей проработки прошлого, является достаточным поводом для размышлений на тему, до сих пор наводящую такой ужас, что ее даже не решаются называть собственным именем.

От прошлого хотят избавиться: это справедливо, потому что в его тени жить невозможно и потому что если за вину и насилие всегда расплачиваться виной и насилием, то чувству страха не будет конца; и несправедливо, потому что прошлое, от которого хотят убежать, еще живо. Национал-социализм не мертв, и нам до сих пор неизвестно, то ли это просто призрак того, что было настолько ужасным, что и собственная смерть его не убила, то ли он так и

Перевод осуществлен по изданию: *Adorno Th.W.* Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit // *Adorno Th.W.* Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959—1969. Frankfurt a M.: Suhrkamp, 1971. S. 10—28.

не умер и готовность совершить невыразимое подспудно живет в людях, равно как и в окружающем их порядке.

Мне бы не хотелось вдаваться в вопрос о неонацистских организациях. Я рассматриваю вторую жизнь национал-социализма *в* демократии как потенциально более угрожающую, чем направленные *против* демократии фашистские тенденции. Просачивание национал-социализма в демократию — это объективное явление. Возвращение сомнительных фигур на властные позиции наблюдается лишь потому, что этому способствуют сложившиеся обстоятельства.

То, что прошлое в Германии не удается преодолеть не только кругам так называемых «неисправимых» (если это так), не вызывает сомнений. То и дело ссылаются на так называемый «комплекс вины», часто намекая на то, что он на самом деле возник лишь в результате конструирования представления о коллективной вине немцев. Бесспорно, в отношении к прошлому много невротичного: жесты защиты в отсутствие нападения; бурные аффекты без серьезного повода; отсутствие эмоций по отношению к самому серьезному; нередко и просто вытеснение осознанного или полуосознанного. Так, в групповом эксперименте, проводившемся в Институте социальных исследований, мы не раз сталкивались с тем, что в воспоминаниях о депортациях и массовых убийствах выбираются смягченные выражения, эвфемистические описания или о них вообще умалчивают. Повсеместно распространенное, почти добродушное выражение «хрустальная ночь», обозначающее погром ноября 1938 года, подтверждает эту склонность. Велико число утверждающих, что они ничего не знали о том, что происходило тогда, хотя повсюду исчезали евреи, и к тому же вряд ли следует предполагать, что пережившие события, происходившие на Востоке, могли все время молчать о том, что не могло не давить на них невыносимым грузом. Можно предположить, что между жестом ни-о-чем-незнания и тупым испуганным равнодушием существует некая пропорциональность. Во всяком случае, последовательные враги национал-социализма обо всем узнали очень рано.

Всем нам также хорошо известна готовность, с какой сегодня отрицаются или преуменьшаются имевшие место события. Трудно понять, как люди не испытывают стыда, приводя аргументы вроде того, что в газовых камерах было уничтожено не более пяти миллионов евреев, но никак не шесть. Иррациональным является также широко распространенный взаимный зачет вины — будто Дрезден сполна искупил Освенцим. В построении подобных расчетов, в суетливых попытках при помощи встречных обвинений освободить себя от мук совести есть что-то нечеловеческое. Разру-

шения во время военных действий, образцами которых, между прочим, являлись Ковентри и Роттердам, вряд можно сравнивать с административным убийством миллионов невинных людей. Но оспаривается даже и их невиновность, очевидная и несомненная. Непомерность содеянного заставляет оправдываться. Всего этого, успокаивает себя вялое сознание, просто не могло произойти, если бы жертвы сами не дали для этого какого-нибудь повода, и этот «какой-нибудь повод» может затем разрастаться до сколь угодно больших размеров. Ослепление не считается с вопиющим несоответствием между абсолютно фиктивной виной и в высшей степени реальным наказанием. Порой и победителей в войне называют виновниками того, что творили проигравшие, когда еще были у власти, а за преступления Гитлера, оказывается, должны отвечать те, кто стерпел его приход к власти, а вовсе не те, кто приветствовал этот приход ликованием. Идиотизм всего этого — воистину признак чего-то психически не преодоленного, некой раны, хотя мысль о ранах должна была бы больше относиться к жертвам.

При всем этом разговоры о комплексе вины заключают в себе что-то неправдоподобное. В психиатрии, из которой взят этот термин, сохраняющий все коннотации своего происхождения, он обозначает болезненность чувства вины и его несоответствие реальности, или, как выражаются психоаналитики, «психогенность». С помощью этого слова создается впечатление, будто чувство вины, от которого так много людей защищается, которое они срывают на чем-то или ком-то и которое искажают путем глупейшей рационализации, вовсе не соответствует никакой вине, но исходит из них самих, из особенностей их душевного строения. Тем самым ужасное и реальное прошлое низводится до простого воображения тех, кто чувствует смущение от этого прошлого. Но может быть, вина как таковая и вовсе является комплексом, а отягощение себя прошлым — болезненным поведением, тогда как здоровому и реалистично смотрящему на жизнь человеку всецело следует заниматься настоящим и реализовывать свои практические цели? Так извлекается мораль из формулы «Могло ли быть? Лишь видимость мелькала», которая, хоть и сформулирована Гёте, в решающей сцене «Фауста» вложена им в уста дьявола, чтобы разоблачить его глубинное начало, а именно разрушение памяти. Убитых лишают того единственного, что только и может преподнести им наше бессилие, — памяти. Правда, закоснелость тех, кто ничего не желает слушать о прошлом, похоже, согласуется с одной влиятельной исторической тенденцией современности. Герман Хеймпель много раз говорил об упадке в Германии сознания исторической преемственности. Оно представляет собой симптом общественного ослабле-

ния человеческого «я», корни которого Хоркхаймер и я попытались отыскать в «Диалектике Просвещения». Результаты эмпирических исследований, вроде того, что молодое поколение уже больше не знает, кем были Бисмарк и кайзер Вильгельм I, подтверждают подозрение в утрате истории.

Эта немецкая черта, ставшая очевидной лишь после Второй мировой войны, совпадает с неосведомленностью об истории американского сознания, известного еще с изречения Генри Форда «History is bunk» («История — это чушь»), — сознания, которое стало устрашающим образцом человечества без памяти. Это не просто продукт распада, не форма реакции человечества, которое, как принято говорить, подвергается воздействию слишком многих раздражителей и уже не справляется с ними, а нечто, неразрывно связанное с прогрессивностью буржуазного принципа. Буржуазное общество универсально подчиняется закону обмена «на равных», оправдывающихся расчетов с нулевой, в общем-то, суммой. Обмен по своему существу является чем-то вневременным, как и само ratio, — так же, как исключают из себя момент времени операции чистой математики. Подобным же образом конкретное время исчезает из индустриального производства. Последнее все больше развивается согласно одинаковым и порывистым, потенциально одновременным циклам и уже почти не нуждается в накопленном опыте. Такие экономисты и социологи, как Вернер Зомбарт и Макс Вебер, связали принцип традиционализма с феодальными общественными формами, а принцип рациональности — с буржуазными. Но это означает как минимум, что сами память и время ликвидируются прогрессирующим буржуазным обществом как своего рода иррациональный остаток, подобно тому как прогрессирующая рационализация индустриальных способов производства вместе с другими остатками ремесленного начала редуцирует и такие категории, как период ученичества, то есть накопления опыта. Если человечество избавляется от памяти и изнуряет себя приспособлением к настоящему, то это отражает объективный закон развития[1].

Забвение национал-социализма следует понимать, исходя скорее из общественной ситуации в целом, нежели как следствие психопатологии. Ведь даже психологические механизмы защиты от болезненных и неприятных воспоминаний обслуживают вполне соответствующие реальности цели. Сами защищающиеся выбалтывают это, когда, руководствуясь практическим смыслом, говорят о том, что слишком конкретные и настойчивые напоминания о про-

[1] Этот абзац был изъят из текста доклада при его первой публикации в 1963 году.

шедшем могут повредить имиджу немцев за границей. Подобное рвение плохо согласуется с высказыванием Рихарда Вагнера, который хотя и был изрядным националистом, но заметил, что быть немцем — значит заниматься каким-либо делом ради него самого (если только дело заведомо не направлено на извлечение выгоды). Уничтожение памяти является скорее достижением слишком энергичного сознания, нежели свидетельством его слабости перед всесилием бессознательных процессов. Забвение только что прошедшего сопровождается злостью оттого, что сперва приходится разубедить самого себя в том, что все знают, прежде чем можно разубедить других.

Разумеется, воспитанные в самом себе порывы и способы поведения не являются непосредственно рациональными, поскольку искажают факты, на которые ссылаются. Но они вполне рациональны в том смысле, что опираются на общественные тенденции и что всякий, кто реагирует таким образом, осознает свое согласие с духом времени. Подобная реакция непосредственно способствует преуспеванию. Тот, кто не озабочен ненужными мыслями, не ставит палки в колеса. Рекомендуется подпевать тому, что Франц Бём удачно назвал «необщественным мнением». Те, кто приспосабливается к настроению, которое хоть и сдерживается официальными табу, но именно поэтому становится таким заразным, одновременно доказывают свою принадлежность к целому и свою независимость. В конце концов, немецкое движение Сопротивления не имело массовой поддержки и вряд ли приобрело ее магическим путем вследствие поражения Германии. Вполне справедливо предположить, что демократия ныне укоренилась глубже, чем после Первой мировой войны: антифеодальный, вполне буржуазный национал-социализм посредством политизации масс в известном смысле подготовил, сам того не желая, процесс демократизации: каста юнкеров, как и радикальное рабочее движение, исчезла, и впервые возникло нечто похожее на гомогенное буржуазное общество. Однако тот факт, что демократия в Германию пришла слишком поздно и этот момент не совпал по времени с расцветом экономического либерализма, да к тому же ее ввели победители, вряд ли мог не повлиять на отношение к ней со стороны народа. Прямо об этом говорят редко, потому что пока при демократии все идет очень хорошо, а также потому, что подобные высказывания противоречат институциализированной в политических союзах общности интересов с Западом, прежде всего с Америкой. Однако недовольство, выражаемое в адрес re-education (переобучения), свидетельствует об этом вполне определенно. Можно говорить о том, что система политической демократии воспринята в Германии

как нечто такое, что в Америке называют a working proposition (рабочим предложением), что функционирует, допуская процветание или даже стимулируя его. Но демократия не укоренилась настолько, чтобы люди по-настоящему переживали ее как свое собственное дело, осознавая себя субъектами политических процессов. Ее воспринимают как одну систему из многих, словно бы на выбор предлагались коммунизм, демократия, фашизм, монархия. Но ее не воспринимают как идентичную самому народу форму управления, как выражение его зрелости. Ее оценивают по тому, приводит ли она к успехам или неудачам, от которых, в свою очередь, зависят интересы отдельных людей, но не воспринимают как единство собственного интереса с общим интересом. Впрочем, такое восприятие сильно затрудняет и парламентское делегирование народного волеизъявления в современном массовом государстве. В Германии среди самих немцев можно часто услышать странное мнение, что немцы пока еще не созрели для демократии. Собственную незрелость возводят в идеологию, подобно тому как это делают подростки, которые, когда их ловят за совершением актов насилия, оправдываются своей принадлежностью к группе тинейджеров. Гротеск этого способа аргументации свидетельствует о явном противоречии в сознании. Люди, которые столь ненаивно используют свою собственную наивность и политическую незрелость, чувствуют себя, с одной стороны, политическими субъектами, которые могли бы определять свою судьбу и обустроить общество в духе свободы. Но, с другой стороны, они сталкиваются с тем, что сложившиеся отношения накладывают на это стремление жесткие ограничения. И так как их собственное сознание не в состоянии преодолеть эти границы, то эту неспособность, которую им в действительности навязали, они приписывают или самим себе, или взрослым, или другим людям. Они как бы еще раз сами себя разделяют на субъект и объект. Господствующая ныне идеология и так определяет, что чем больше люди находятся во власти объективных отношений, которые они не могут изменить или верят, что не могут, тем больше они субъективируют эту неспособность. Опираясь на фразу, что все зависит только от людей, на людей сваливают все то, что зависит от отношений, вследствие чего сами эти отношения остаются незыблемы. Прибегая к языку философии, можно говорить о том, что в чуждости народа демократии отражается самоотчуждение общества.

Среди этих объективных обстоятельств самым важным, возможно, является развитие международной политики. Она как будто задним числом оправдывает нападение Гитлера на Советский Союз. Поскольку западный мир в своем единстве в значительной

мере определяет себя через защиту от русской угрозы, кажется, будто победители 1945 года разрушили испытанный оплот защиты от большевизма лишь по глупости и только для того, чтобы несколько лет спустя восстановить его. От напрашивающейся фразы «а Гитлер всегда об этом говорил» недалеко и до экстраполяции его правоты на все остальное. Только прекраснодушные ораторы могут обходить в своих речах историческую фатальность того, что в известном смысле та самая концепция, которая когда-то подвигла чемберленов и их свиту терпеть Гитлера как цепного пса, сдерживающего натиск с Востока, благополучно пережила падение Гитлера. Воистину это фатально. Потому что угроза с Востока, стремящегося поглотить предгорье Европы, очевидна. Тот, кто не противостоит этой угрозе, становится буквально повинен в повторении чемберленовской политики умиротворения. Забывают всего лишь (!) о том, что сама эта угроза вызвана именно действиями Гитлера, навлекшего на Европу именно то, чему согласно желаниям «умиротворителей» он, развязав экспансионистскую войну, должен был бы воспрепятствовать. Судьба политических хитросплетений исполнена вины в еще большей мере, чем судьба отдельного человека. Сопротивление Востоку имеет свою динамику, пробуждающую в Германии силы прошлого — не только идеологически, потому лозунг борьбы против большевизма издавна помогал маскироваться тем, кто о свободе не более высокого мнения, чем большевики, — но и вполне реально. Согласно одному наблюдению, сделанному еще при Гитлере, организационная сила тоталитарных систем навязывает их противникам нечто от собственной сущности этих систем. До тех пор пока будет сохраняться экономический разрыв между Востоком и Западом, фашистская карта имеет большие шансы завоевать массы, чем пропаганда с Востока, хотя, с другой стороны, пока нет ощущения, что уже не обойтись без крайних мер фашизма. Однако к обеим формам тоталитаризма предрасположены одни и те же типы людей. Совершенно ошибочно оценивают авторитарный характер те, кто выводит его из определенной политико-экономической идеологии. Хорошо известные колебания миллионов людей на выборах 1933 года между национал-социалистической и коммунистической партиями не являются случайностью и с социально-психологической точки зрения. Проведенные в Америке исследования показали, что эта структура характера не так уж тесно связана с политико-экономическими критериями. Скорее ее определяют такие элементы, как мышление в измерениях власти и беспомощности, неподвижность и неспособность реагировать на изменения, конвенционализм, конформизм, недостаток саморефлексии, наконец, вообще недоста-

точная способность к восприятию опыта. Люди с характером, завязанным на авторитете, идентифицируют себя с реальной властью как таковой, независимо от ее конкретного содержания. Они, в сущности, располагают лишь слабым «я» и поэтому в качестве эрзаца нуждаются в идентификации с большими коллективами, в которых они могли бы укрыться. То, что на каждом шагу вновь и вновь встречаются фигуры, появляющиеся, как в киносказке о чудо-детях, словно по волшебству, связано не с тем, что мир как таковой плох, и не с мнимыми особенностями немецкого национального характера, а с тождеством тех конформистов, которые заведомо связаны с рычагами любых аппаратов власти, потенциальным последователям тоталитаризма. К тому же наивно считать, что национал-социалистический режим означал лишь страх и страдание, хотя именно этим он обернулся даже для многих его сторонников. Очень многим при фашизме жилось совсем неплохо. Террор был направлен лишь против немногих более или менее строго определенных групп. После кризисного опыта предшествовавшей Гитлеру эпохи преобладало чувство «о нас заботятся», легшее в основу не одной только идеологии поездок в рамках организации «Сила через радость» и цветочных горшков в фабричных цехах. В противовес невмешательству прошлых лет гитлеровский мир до известной степени действительно охранял от стихийных бедствий общества, перед лицом которых люди раньше были предоставлены самим себе. Он насильственными методами предвосхитил современные способы управления кризисами, став варварским экспериментом по государственному регулированию индустриального общества. Повсеместно задействованная интеграция, организационное уплотнение сети общественных связей, в которую попадало все, обеспечивали также защиту от всеобщего страха провалиться сквозь общественные ячейки и уйти на дно. Бесчисленному количеству людей казалось, что холод отчужденного состояния в его бесчисленных формах был упразднен и заменен не важно как манипулируемым и навязываемым теплом соборности. Народное сообщество несвободных и неравных, будучи обманом, было одновременно и осуществлением старинной, правда, и исстари дурной буржуазной мечты. Система, удовлетворяющая потребности такими способами, конечно, заключала в себе и потенциал собственного крушения. Экономическое процветание «третьего рейха» базировалось во многом на вооружении ради той самой войны, которая привела к катастрофе. Но та ослабленная память, о которой я говорил, сопротивляется принятию этой аргументации. Она упорно прославляет национал-социалистический период, когда исполнялись коллективные властные фантазии людей, которые, взятые по

отдельности, не имели власти и которые представляли себя чем-то лишь в качестве такой коллективной власти. Никакой, даже самый ясный анализ не может задним числом изгнать из мира реальность этого исполнения фантазий, равно как и те инстинктивные энергии, которые были инвестированы в национал-социализм. Даже гитлеровская игра ва-банк не была такой уж иррациональной, как это представлялось тогда среднему либеральному разуму или представляется теперь при ретроспективном историческом взгляде на его провал. Расчет Гитлера использовать против других государств временное преимущество неумеренно форсированного перевооружения, в свете того, что он хотел, отнюдь не был неразумным. Тот, кто внимательно посмотрит на историю «третьего рейха», а особенно на историю войны, для того отдельные моменты, в которых Гитлер наносил поражения, вновь и вновь будут представать как случайные, а необходимым окажется лишь развитие в целом, в ходе которого все же взял верх больший технико-экономический потенциал остальной части мира, не захотевшей быть поглощенной. В известном смысле речь идет о статистической необходимости, а не об очевидной последовательной логике. Продолжающаяся симпатия к национал-социализму совершенно не нуждается ни в какой развернутой софистике, чтобы убедить себя и других в том, что все могло бы закончиться иначе, просто были совершены ошибки, а падение Гитлера — это случайность всемирной истории, которую мировой дух еще, возможно, исправит.

С субъективной стороны, то есть исходя из работы человеческой психики, национал-социализм способствовал непомерному росту коллективного нарциссизма, проще говоря, национального тщеславия. Инстинктивные нарциссические побуждения отдельного человека, которым очерствевший мир предоставляет все меньше возможностей для удовлетворения, но которые тем не менее продолжают существовать в неослабленном виде, пока цивилизация отказывает им в столь многом, находят суррогатное удовлетворение в идентификации с целым. Этот коллективный нарциссизм в результате краха гитлеровского режима пострадал сильнее всего. Ущерб ему был нанесен в сфере чистой фактичности, а отдельные люди не осознали его и потому не сумели справиться с ним. В этом заключается социально-психологический смысл разговоров о непреодоленном прошлом. Не было даже той паники, которая, согласно фрейдовской теории, изложенной в работе «Психология масс и анализ человеческого “я”», возникает там, где разламываются коллективные идентификации. Если не оставлять без внимания указание великого психолога, остается лишь один вывод: те идентификации и коллективный нарциссизм вовсе не были раз-

рушены, а продолжают существовать подспудно и неосознанно и потому приобретают особую мощь. Внутренне поражение во Второй мировой войне было ратифицировано столь же неполно, как и поражение 1918 года. Даже перед лицом очевидной катастрофы интегрированный Гитлером коллектив сохранил свое единство и был сплочен химерическими надеждами, например на тайное чудооружие, которым в действительности обладали другие. С социально-психологической точки зрения в связи с этим следует ожидать, что пострадавший коллективный нарциссизм только и ждет момента восстановления и поэтому цепляется за все, что позволило бы сперва привести прошлое в согласие с нарциссическими желаниями, а затем, быть может, преобразовать реальность так, чтобы отменить тот самый ущерб. В известной степени этого удалось добиться благодаря экономическому подъему, связанному с осознанием того, «какие мы молодцы». Однако я сомневаюсь в том, что эффекты так называемого экономического чуда, в котором хотя и все принимают участие, но о котором тем не менее все отзываются с некоторой долей ехидства, с социально-психологической точки зрения проникают настолько глубоко, как можно было бы подумать во времена относительной стабильности. Именно потому, что голод до сих пор охватывает целые континенты, хотя технически с ним очень просто покончить, никто не может в полной мере радоваться своему благосостоянию. Точно так же, как отдельные люди неприязненно посмеиваются, когда видят в кинофильмах кого-нибудь, аппетитно и вкусно обедающего и затыкающего салфетку за воротничок, человечеству не нравится собственное довольство, когда оно замечает, что за него приходится расплачиваться чужой нуждой. Потаенный ресантимент сопутствует любому счастью, даже своему собственному. «Сытость» стала заведомо бранным словом, хотя плохого-то в ней только то, что есть люди, которым нечего есть. Мнимый идеализм, который особенно в современной Германии фарисейски набрасывается на мнимый материализм, зачастую обязан тому, что он считает своей глубиной, на деле оказывающейся лишь подавленными инстинктами. Ненависть к довольству провоцирует в Германии недовольство процветанием, а прошлое озаряется в глазах ненавидящего трагическим светом. Это чувство беспокойства, однако, возникает вовсе не из мутных источников, но имеет вполне рациональные основания. Процветание — это дело конъюнктуры, и никто не верит, что оно будет продолжаться бесконечно. Даже если люди и утешают себя тем, что события «Черной пятницы» 1929 года и последовавший за ними экономический кризис вряд ли повторятся, то в этом имплицитно присутствует доверие к сильной государственной власти, от кото-

рой ожидают защиты даже тогда, когда экономическая и политическая свободы не функционируют. Но даже и среди процветания, даже при временной нехватке рабочей силы большинство людей, вероятно, втайне ощущают себя потенциальными безработными, адресатами благодеяний и именно поэтому более объектами, но не субъектами общества. В этом заключается в высшей степени легитимное и разумное основание их недовольства. А то, что в свое время оно может быть обращено на прошлое и использовано для возобновления зла, очевидно.

Сегодняшний фашистский идеал, вне всяких сомнений, сливается с национализмом так называемых малоразвитых стран, которые, правда, так уже не определяют, но называют развивающимися странами. Согласие с теми, кто ощущал себя обойденным в империалистической конкуренции, но хотел принять участие в разделе пирога, еще во время войны нашло свое выражение в лозунгах о западных плутократиях и пролетарских нациях. Трудно сказать, впала ли уже эта тенденция в антицивилизационное, антизападное подводное течение немецкой традиции, а если да, то в какой мере, и заметна ли уже и в Германии конвергенция фашистского и коммунистического национализма. Национализм сегодня устарел и одновременно остается актуальным. Он устарел, потому что перед лицом неизбежного объединения наций в большие блоки во главе с самыми сильными державами, что диктует хотя бы развитие военной техники, отдельные суверенные нации, по крайней мере в развитой континентальной Европе, утратили свою историческую субстанциальность. Идея нации, в которой когда-то сконцентрировалось экономическое единство интересов свободных и самостоятельных граждан, противостоявшее территориальной ограниченности феодализма, сама стала преградой, перекрывающей очевидный потенциал универсального общества. Но национализм актуален потому, что лишь традиционная и психологически значимая идея нации, по-прежнему являющаяся выражением общих интересов в международной экономике, обладает достаточной силой для того, чтобы мобилизовать сотни миллионов людей на осуществление целей, которые они не могут непосредственно рассматривать как свои собственные. Национализм полностью уже не верит самому себе, но политически он все же необходим как наиболее действенное средство, заставляющее людей упорно настаивать на объективно устаревших отношениях. Поэтому, как нечто, предстающее самому себе в несколько дурном свете и намеренно вводимое в заблуждение, он сегодня принимает уродливые формы. Будучи варварским наследием примитивных родовых союзов, он, правда, никогда не был свободен от них. Однако

они были обузданы до тех пор, пока либерализм и в действительности утверждал право отдельных личностей в качестве условия коллективного благосостояния. Поэтому только в эпоху, когда национализм уже давно перерос сам себя, он стал совершенно садистским и деструктивным. Такой уже была ненависть гитлеровского мира ко всему, что является другим, национализм как параноидальная система иллюзий. Однако и в наше время притягательность этих его черт вряд ли уменьшилась. Паранойя — мания преследования, заставляющая преследовать других, проецируя на них желания самого одержимого, заразительна. Коллективный бред, такой, как антисемитизм, подтверждает патологию отдельного человека, который психически больше не справляется с миром и оказывается отброшен во внутреннее царство видимостей. Эти представления могут даже, согласно утверждению психоаналитика Эрнста Зиммеля, освободить отдельного полусумасшедшего от необходимости совсем сойти с ума. Насколько открыто бредовость национализма раскрывается сегодня в разумном страхе перед новыми катастрофами, настолько же она способствует и распространению национализма. Мания — это суррогат мечты о человеческом обустройстве мира самим человечеством, мечты, от которой мир человечество упорно отучивает. Но патологический национализм неразрывно связан со всем тем, что произошло с 1933 по 1945 год.

То, что фашизм продолжает жить, то, что проработка прошлого, о которой столько говорят, до сих пор не удалась, то, что она выродилась в собственную карикатуру — пустое и холодное забвение, связано с тем, что еще продолжают существовать объективные общественные предпосылки, из которых фашизм произрос. Его сущность нельзя вывести из одних только субъективных предрасположенностей. Экономический порядок и, в соответствии с его моделью, также и почти вся экономическая организация способствуют, как и прежде, зависимости подавляющего большинства людей от данностей, над которыми они не властны, и тем самым — незрелости людей. Если люди хотят жить, то им не остается ничего другого, как приспособиться к этим данностям и смириться с ними. Они должны поставить крест на той самой автономной субъективности, к которой апеллирует идея демократии. Сохранить же себя они могут лишь в том случае, если откажутся от своего «я». Понять это ослепление они могут только ценой того мучительного напряжения сознания, которому препятствует устройство жизни, и не в последнюю очередь — раздутая до тотальности индустрия культуры. Необходимость такого приспособления, идентификации себя с существующим, данным, с властью как таковой, создает тоталитарный потенциал. Он усиливается за счет чувства неудовлет-

воренности и гнева, которое производит и воспроизводит необходимость приспосабливаться. И так как действительность, в конце концов, не дает той автономии и того возможного счастья, которое вообще-то обещает понятие демократии, то к ней относятся индифферентно, если и вовсе не питают к ней тайную ненависть. Форма политической организации переживается как не соответствующая общественной и экономической реальности. Поскольку людям приходится приспосабливаться, им хочется, чтобы и формы коллективной жизни также приспосабливались, тем более что от подобного приспособления ожидают рационализации государственного организма как гигантского предприятия, поставленного в условия отнюдь не мирной конкуренции. Для людей, постоянно переживающих реальное бессилие, лучшее непереносимо даже как видимость. Они предпочитают избавиться от обязанности автономного существования, в отношении которого у них возникает подозрение, что они не смогут соответствовать ему, и бросаются в плавильный котел коллективного «я».

Следуя той максиме, что сегодня преувеличение вообще стало единственным средством выражения истины, я, конечно, сгустил краски. Но мои фрагментарные и во многом рапсодические замечания не следует понимать как шпенглеровщину, которая и сама становится на сторону зла. Моим намерением было показать тенденцию, скрывающуюся за гладким фасадом повседневности, покуда она не прорвала пока еще сдерживающие ее институциональные дамбы. Угроза эта объективна, она связана в первую очередь не с отдельными людьми. Многое, как уже было сказано, свидетельствует о том, что демократия вместе со всеми своими установлениями проникает в людей глубже, чем во времена Веймарской республики. Подчеркивая то, что не так очевидно, я пренебрег тем, о чем следовало бы задуматься с особым усердием, а именно что в рамках немецкой демократии после 1945 года и вплоть до сегодняшнего дня материальная жизнь общества воспроизводилась в невиданно богатых формах, и этот факт тоже значим с социально-психологической точки зрения. Утверждение, что с немецкой демократией и действительной проработкой прошлого все обстоит не так уж и плохо, что требуется лишь время и другие благоприятные условия, наверное, не является чересчур оптимистичным. Но только в самом понятии «еще есть время» есть что-то наивное и одновременно созерцательное в дурном смысле этого слова. Ведь мы не простые созерцатели всемирной истории, имеющие возможность более или менее безобидно порезвиться на ее больших просторах. Да и сама всемирная история, чей ритм становится все более катастрофическим, похоже, не стремится предоставлять своим субъек-

там время, за которое все как-то могло бы само собой уладиться. Это непосредственно указывает на необходимость демократической педагогики. Прежде всего прояснение произошедшего должно противодействовать забвению, которое слишком легко соединяется с оправданием забытого. Так, родители, которым приходится выслушивать неприятные вопросы своих детей о Гитлере, говорят о хороших сторонах и о том, что в действительности все было не так плохо, — хотя бы затем, чтобы обелить себя. В Германии модно ругать политическое образование. Несомненно, оно могло бы быть и лучше, однако социология образования уже сейчас располагает данными, которые показывают, что политическое образование, там, где оно проводится всерьез, а не воспринимается как обременительная повинность, приносит больше положительного, чем принято считать. Но если мы воспримем объективный потенциал продолжения национал-социализма со всей подобающей, как мне кажется, серьезностью, то тогда с ограничениями сталкивается и просветительская педагогика. Будь она социологической или психологической, практически она воздействует лишь на тех, кто ей открыт и потому вряд ли предрасположен к фашизму. С другой стороны, укрепить сопротивляемость и этой группы воздействию необщественного мнения — тоже не будет лишним. Напротив, можно представить, что именно из этих групп сформируется что-то вроде кадров, деятельность которых в различных областях жизни поспособствует изменению целого. Шансы на это тем больше, чем более осознанно они будут действовать. Само собой разумеется, что просвещение не может ограничиваться этими группами. При этом мне не хотелось бы погружаться в трудный и крайне ответственный вопрос о том, насколько, стремясь к публичному просвещению, следует касаться прошлого. Не вызывает ли чрезмерная настойчивость в данном деле упрямое сопротивление и не приводит ли к результату, противоположному тому, на который рассчитывали? Лично мне представляется, что сознательное никогда не может приносить столько зла, сколько несет бессознательное, полусознательное и досознательное. По сути, все зависит от того, в каком виде представляется прошлое: становится ли оно лишь предметом укора, или же мы преодолеваем ужас, находя в себе силу постигать непостижимое. Последнее, правда, предполагает воспитание воспитателей, а оно чрезвычайно осложняется тем, что то, что в Америке называется *behavioural sciences* (науки о поведении), в Германии не представлено никак или крайне слабо. Следовало бы настоятельно требовать усиления в университетах позиции социологии, которая бы совпала с историческим исследованием нашей собственной эпохи. Педагогике, вместо того чтобы глубокомыслен-

но нести почерпнутый из вторых рук вздор о бытии человека, следовало бы взять на себя задачу, недостаточное выполнение которой приводит к столь усердным нападкам на *re-education*. Криминология же вообще еще не достигла в Германии современных стандартов. Но прежде всего следует иметь в виду психоанализ, который по-прежнему вытесняется. Однако он либо совершенно отсутствует, либо его заменили такими течениями, которые, хоть они и хвастаются, что преодолели XIX столетие, которое так любят ругать, в действительности отстают от теории Фрейда или даже превращают ее в ее же собственную противоположность. Точное и неразбавленное знание психоанализа актуально, как никогда прежде. Ненависть к ней непосредственно смыкается с антисемитизмом — вовсе не только потому, что Фрейд был евреем, но и потому, что психоанализ заключается как раз в той критической саморефлексии, которая доводит антисемитов до белого каления. Но насколько невозможно — хотя бы в силу фактора времени — нечто вроде массового анализа, настолько же оказалось бы целебным, если бы строгий психоанализ обрел свое институциализированное место и стал оказывать влияние на духовный климат в Германии, даже если бы он и состоял единственно в том, чтобы сделать само собой разумеющейся привычку не выплескивать недовольство вовне, но размышлять о самих себе и своем отношении к тем, на кого привыкло гневаться закоснелое сознание. В любом случае попытки субъективно противодействовать объективному потенциалу зла ни в коем случае не должны довольствоваться лишь корректировкой, едва ли способной сдвинуть с места всю тяжесть того, с чем следует бороться. Так, например, ссылки на великие достижения евреев в прошлом, какими бы верными они ни были, большой пользы не приносят, зато попахивают пропагандой. А пропаганда, рациональная манипуляция иррациональным — это прерогатива сторонников тоталитаризма. Их противникам не следует подражать им в том, что все равно неизбежно обернется неудачей. Славословия в адрес евреев, обособляющие их как отдельную группу, играют на руку антисемитизму. Последний же потому так трудно опровергнуть, что психическая экономия огромного числа людей нуждалась в нем и, в более смягченной форме, вероятно, нуждается в нем до сих пор. Все, что делается с помощью пропаганды, остается двусмысленным. Мне рассказали историю об одной женщине, которая, просмотрев инсценировку дневника Анны Франк, потрясенно заявила: «Да, но хотя бы *эту* девушку надо было пощадить». Вероятно, даже это было хорошо как первый шаг к пониманию. Но индивидуальный случай, который был призван просветить зрителей, представляя ужасное целое, вследствие своей индивидуально-

сти превратился в алиби этого целого, о котором эта женщина в результате забыла. Досадность таких наблюдений заключается в том, что даже они не позволяют предостеречь от постановок пьесы об Анне Франк или похожих пьес, потому что их воздействие все же — как ни отвратительно это звучит и каким бы надругательством над достоинством мертвых это ни выглядело — увеличивает потенциал лучшего. Я также не думаю, что встречами и контактами между молодыми немцами и молодыми израильтянами и другими дружественными мероприятиями можно многого добиться, какими бы желательными ни были такие контакты. Занимающиеся всем этим чрезмерно опираются на предпосылку, что антисемитизм имеет какое-то существенное отношение к евреям и бороться с ним можно при помощи конкретного опыта общения с евреями. Между тем подлинный антисемит определяется тем, что он вообще не хочет приобретать никакой опыт, что с ним невозможно заговорить. Если антисемитизм имеет преимущественно объективные социальные корни и заключается в самих антисемитах, то тогда последние, в полном соответствии с национал-социалистической шуткой, вынуждены были бы придумать евреев, если бы их не существовало. Но в той мере, в какой мы хотим бороться с ним внутри субъектов, не следует слишком многого ожидать от ссылки на факты, которые они зачастую не подпускают к себе или нейтрализуют, называя их исключениями. Скорее, предметом аргументации необходимо делать самих субъектов, к которым мы обращаемся. До их сознания следует довести механизмы, формирующие в них расовые предрассудки. Проработка прошлого, понятая как просвещение, по своей сути заключается в подобного рода обращении к субъекту, в усилении его самоуверенности и тем самым и его «я». При этом следует осознать наличие нескольких непробиваемых пропагандистских трюков, согласующихся с теми психологическими диспозициями, наличие которых у людей следует предполагать. Поскольку эти трюки неподвижны и ограничены числом, то не представляет большой сложности выкристаллизовать их, придать их широкой огласке и взять их за основу чего-то вроде профилактической вакцины. Проблема практического осуществления подобного просвещения могла бы быть решена, пожалуй, только совместными усилиями педагогов и психологов, не избегающих под предлогом научной объективности той насущной задачи, которая стоит сегодня перед их дисциплинами. Однако перед лицом объективного насилия, стоящего за потенциалом непроработанного прошлого, одного лишь субъективного просвещения недостаточно — даже если оно будет осуществляться гораздо более энергично и на совсем других, более глубоких уровнях, чем теперь. Если объективной угрозе мы

хотим противопоставить что-то объективное, то одной лишь идеи для этого недостаточно, даже если это идея свободы и человечности, которая, как мы уже поняли, в своем абстрактном виде значит для людей не очень много. Если фашистский идеал связан с интересами людей, хотя бы даже и ограниченными, то единственным действенным средством против него является убедительное одной своей истинностью указание на эти интересы, причем на самые непосредственные. Нужно быть философствующим психологом, чтобы, предпринимая подобные усилия, не считаться с тем, что, пусть войны и принесенных ею немецкому населению страданий и оказалось недостаточно, чтобы уничтожить тот потенциал, все же они являются противовесом ему. Следует напомнить людям о самых простых вещах: что явные и замаскированные фашистские новации приносят Европе войну, страдания и нужду в системе, основанной на насилии, и, в конце концов, способствуют русской гегемонии в Европе, короче говоря, что они приводят к политической катастрофе. Такие слова оказывают более сильное воздействие, нежели ссылка на идеалы или демонстрация страданий других людей, с которыми, как было известно еще Ларошфуко, относительно просто справиться. По сравнению с этой перспективой сегодняшнее чувство беспокойства означает не более чем каприз настроения. Несмотря на все усилия по вытеснению, Сталинград и ночные бомбардировки помнят настолько, что можно всем растолковать взаимосвязь между реанимацией той политики, которая привела к ним, и перспективой Третьей пунической войны. Даже если это и получится, опасность останется. Прошлое будет проработано лишь тогда, когда удастся преодолеть сами причины событий прошлого. Лишь потому, что эти причины продолжают действовать, чары прошлого до сих пор не рассеяны.

Перевод с немецкого Михаила Габовича
(черновик Михаила Хорькова)

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: ПАМЯТЬ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО

Лев Гудков

«ПАМЯТЬ» О ВОЙНЕ И МАССОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЯН

Предварительные замечания

Ушедший XX век, «век масс» или «век тоталитарных режимов и движений», принципиально изменил постановку вопроса о возможностях понимания прошлого и роли самого прошлого. Если еще на рубеже XIX—XX веков сама идея «понимания» мыслилась главным образом как герменевтическая проблема — как интерпретация одним индивидом письменно зафиксированных текстов другого индивида, то во второй половине XX века, после катастрофических событий двух мировых войн, масштабных социальных трансформаций, массовых репрессий, в проблеме обнаружились совершенно иные плоскости рассмотрения. Во-первых, резко увеличились число и многообразие самих источников свидетельств о прошлом, во-вторых, изменился тип социально-культурной репродукции. В домодерные, дототалитарные эпохи задачи постижения и объяснения актов и состояний людей в прошлом решались силами примерно одного культурного слоя или сословия, владеющего «всем» объемом исторической традиции, а сами средства толкования не выходили за рамки опыта и круга представлений класса людей, соответствующим образом образованных. После 1945 года вопрос о типах, адекватности и границах «понимания» утратил свою прежде неразрывную связь с неповторимо-личностным ха-

В основе статьи лежат два выступления на конференциях, посвященных коллективной памяти о Второй мировой войне, которые состоялись осенью 2004 года в Москве («Память о войне»: Малые банные чтения журнала «НЗ», 14—16 октября) и Берлине (Welche Geschichte formt die Gegenwart? Erinnerungskultur sechzig Jahre nach dem Kriegsende — IX Немецко-российские осенние дискуссии, 22—24 октября).

рактером понимания, воспоминания и сопереживания. Во многих работах, начиная с послевоенных экзистенциалистов и кончая уже современными постмодернистами, выдвинут тезис о невоспроизводимости опыта тех, кто «пережил Освенцим», будь то нацистские лагеря уничтожения или сталинский ГУЛАГ. Сам факт травматического молчания или неспособности выживших передать тем, кто не был с ними, или другому поколению все, что они чувствовали и думали, интерпретировался философами или интеллектуалами как свидетельство запредельности, невыразимости, невозможности для человечества «свидетельств» о том, что было с теми, кто оказался в таких ситуациях. Утверждалось, что речь должна идти о полной и принципиальной неадекватности повседневного языка и форм мышления для такого описания и понимания другими. Этическая абсолютизация этого момента невоспроизводимости, герметичности предельных состояний закрыла для анализа другие возможные стороны рассмотрения этой проблемы, например явной неэффективности модели индивидуалистического, персоналистического, непосредственно личного акта понимания как «психического вживания» или «проникновения» в сознание прошедших предельные испытания людей. Сама модель «трагического осознания и понимания» девальвируется тем фактом, что события этого рода касались и захватывали миллионы людей, что смерть или жизнь в условиях будничной смерти тривиализировались, индивидуальность, уникальность личности обесценивалась, обессмысливалась самим обстоятельством массового обезличенного исчезновения, низведения умирающего «рафинированного» сознания к уровню тех, кто вел в социальном или интеллектуальном плане полурастительное существование. Массовая смерть последних была столь же чудовищно-рутинной и поточно-арифметической, что и смерть высокообразованных индивидов. Банальность массового зла требовала принципиально других средств изучения коллективной или массовой памяти, другой этической или метафизической позиции, которых историки ранее не требовали и требовать не могли. Отсюда встает важнейший вопрос: в какой мере может быть осмыслен, усвоен и передан опыт тех людей, которые пережили трагические катаклизмы этого столетия? Что вообще остается (если остается) в памяти о массовых событиях, захвативших и перевернувших жизнь одновременно массы людей, таких, как войны, революции, репрессии, коллективизация, масштабные трансформации социального порядка и тому подобное?

Совершенно очевидно, что фиксируемая «история» XX века принципиально отличается и от средневековых хроник, и от «Все-

общих историй», которые писались в XIX веке, хотя бы только потому, что, во-первых, изменились, дифференцировались и многократно расширились те группы, которые брали на себя задачу сохранения и воспроизводства «прошлого», а во-вторых, изменилась сама техника удержания и сохранения прошлого — это уже не только архивы, музеи, галереи батальной или исторической живописи, не только многотомные обзоры событий или мемуары и семейные документы высших или образованных сословий. Сегодня здесь на равных с профессиональными историками действуют и архивы кинохроники, и средства массовых коммуникаций, и беллетристика, и школа, и армия, политическая демагогия, национальные ритуалы, символическая и идеологическая топонимика и многое другое. Поэтому, когда в публичных дискуссиях заходит речь об исторической «памяти», сохранившихся воспоминаниях еще живущих людей или их первой передаче другому поколению, а также — воспроизводстве рассказов о рассказах о том, как это «было», необходимо четко осознавать, с каким «прошлым» мы имеем дело, кто его держатель, как оно организовано и структурировано, какими средствами оно выражается. В особенности это относится к таким символическим событиям, как «война» (когда в России или в СССР говорят «война», то имеют в виду только одну войну, «войну» с определенным артиклем: Великую Отечественную войну, как ее называли в СССР и как сегодня ее называют в официальных контекстах в России, или Вторую мировую войну, если при этом учитывается и международный план дискурса).

Кроме того, необходимо проводить принципиальное различие между индивидуальными, частными воспоминаниями о прошедшей войне (соответственно, ясно видеть мотивы, побуждающие людей к приватной передаче пережитого, и особенности самих ситуаций воспоминания) и коллективными — групповыми или институциональными — представлениями о ней. И те и другие не представляют собой объективации реально происходившего (что-то вроде еще не снятого документального «фильма» о действительных событиях). Работа памяти — это не только процесс селекции событий и их деталей, но и их определенная конструкция (сюжетная или оценочная), производимая в соответствии с явной или латентной схемой их интерпретации. Вопрос о значимости или ценности воспоминаний заключается в том, *кто* предлагает эту схему: сам вспоминающий или — что гораздо чаще — его непосредственные или отвлеченные партнеры; кто выступает адресатом воспоминаний. Иначе говоря, для исследователя, тем более социолога культуры, встает задача выявить коммуникативную структуру вос-

поминаний, или, если быть еще более точным, представить воспоминание *как социальное взаимодействие*, в котором вспоминающий неявно обращается к значимому Другому (даже если этот Другой не более чем обобщенный, диффузный образ «молодого поколения», нравственного «суда истории», «публики», «общества», обладающего лишь одним социально-антропологическим качеством — это проекция рассказчика, но существующего в модусе идеального понимания, то есть слушателя, знающего «концы и начала»).

Процесс «вспоминания» — это всегда интерпретации, выстраиваемые в более или менее явной полемике, дополнениях или иллюстрациях общепринятых риторических изложений содержания или смысла соответствующих событий. Для социолога как методологически, так и содержательно очень важно отметить признаки этой схемы, ориентацию на нее у разных акторов в качестве коллективной или институциональной нормы «истории», «исторического события». Без этого, без раскрытия семантики значимости этой схемы невозможен переход к пониманию памяти как социального взаимодействия. Если индивидуальные воспоминания выстраиваются как цепочки биографических или семейных обстоятельств, то они привязаны к плану частной истории с ее ключевыми ценностями и масштабами оценок. Коллективные же представления конституируются некоторыми ценностями всего сообщества и воспроизводятся другими средствами, нежели рассказы частных лиц. Как правило, они лишены следов своего происхождения, производства, воспринимаясь как сами собой разумеющиеся мнения, возникшие «неизвестно когда», поскольку массовое или корпоративное сознание не просто не озабочено проблематикой генезиса этих представлений, а, напротив, всячески защищается от возможной их рационализации, вытесняет следы их идеологического производства, табуирует их священный статус в качестве символов коллективной идентичности. Поэтому коллективные представления нельзя рассматривать как сумму индивидуальных воспоминаний и конкретных деталей происшедшего, это всегда совершенно иначе выстроенные «реконструкции» исторических процессов и событий, функция которых связана либо с ритуалами коллективной (национальной, групповой) солидарности, либо с изложением коллективных мифов, идеологем, предназначенных легитимировать те или иные социальные институты или политические действия. Поэтому социолог, исследующий массовую «память», вынужден, вслед за Морисом Хальбваксом, постоянно спрашивать себя и других: какой институт, какая группа или социальная среда удерживает в своей памяти *это* «прошлое», каким образом оно

удерживается (воспроизводится), какие при этом используются образно-символические и технические средства? Или, иначе говоря, каковы «социальные рамки коллективной памяти»?

В данной статье рассматривается характер коллективной «памяти о войне» или роль представлений о войне в системе национальной идентичности нынешних россиян[1].

Двоемыслие и память

Первое, что приходится отметить, — это то, что массовое, то есть неспециализированное, «общее» или «низовое» сознание лишено «памяти». Общественное мнение не удерживает опыт отдельных людей, он не сохраняется, не передается, не откладывается. Все пережитое частным человеком, прежде всего — нерефлексивное страдание, уходит в никуда, если только оно не подверглось институциональной или специализированной проработке, если оно не пущено на другие каналы культурного воспроизводства, соответственно, если частные мнения не санкционированы какой-то инстанцией, имеющей ранг надындивидуального образования. Поэтому сегодня мы можем говорить не столько о памяти, сколько о воспроизводстве «памяти»: людей, которые пережили войну, сегодня осталось не более 6—7%, это главным образом пожилые и малообразованные женщины, у которых в массе своей нет ни средств, ни возможностей, а главное — нет мотивов, стремления к передаче подобного опыта.

Массовое отношение к войне практически не отличается от восприятия ее как традиционно стихийных, почти библейских бедствий — глада, мора, потопов или землетрясений, причины которых были малопонятны, а последствия — ужасны[2]. В таких аморфных и крайне неопределенных категориях, удерживающих лишь самое общее ценностное отношение к произошедшему, к тем уже далеким годам, сохраняется необработанный и неосмысленный

[1] В основе статьи лежат материалы ежемесячных общенациональных репрезентативных опросов населения России, которые проводятся с 1991 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с 2003 года — Аналитическим центром Юрия Левады. Объем выборки, если не указано иначе, составляет 1600 человек (взрослого населения).

[2] В мае 2001 года на вопрос: «Знаем ли мы правду об Отечественной войне?» — 68% опрошенных ответили — «думаю, что нет» (25% — «думаю, да», и 7% затруднились сказать что-то определенное).

массовый опыт войны. Люди считают «отечественную войну» (если исходить из частоты различных определений той войны, даваемых респондентами в наших опросах) прежде всего «великой», затем — «кровавой», «трагической», «ужасной», гораздо реже ее называют «героической», «долгой» и еще реже — «подлой».

Практически выпал, вытеснен из коллективной памяти (массового сознания) пласт переживаний будничной, беспросветной войны и послевоенного существования, подневольной работы, хронического голода и нищеты, принудительной скученности жизни[3]. Они рассеялись так же, как память об искалеченных инвалидах (или, как их называли в послевоенное время, — «самоварах», человеческих обрубках на колесиках, бывших непременным атрибутом уличной суеты еще в первой половине 1950-х годов). Эта жизнь оказалась тягостной и ненужной, как лишними были инвалиды в послевоенной жизни, брошенные на «произвол судьбы» (их стеснялись, от них отворачивались, с неприятным чувством вины и «безобразия жизни», их прятали, чтобы, не дай бог, они не попали в парадные официальные картинки мирной жизни). От всего этого в общественной памяти остался лишь подсознательный страх, часто выражающийся как страх новой войны, мировой или гражданской, определивший собой дальний горизонт массовых оценок качества жизни, вялое сопротивление попыткам героизации всего, что выходит за рамки военной тематики, пассивность терпения — короче, все то, что в советское время выливалось в привычный вздох: «лишь бы не было войны». Но в качестве «коллективного бессознательного» эти компоненты массового сознания никуда уже не исчезают, хотя их значимость постепенно снижается.

[3] Нежелание вспоминать о войне было довольно характерной реакцией фронтовиков до середины 1960-х годов. Ср. недавние воспоминания академика Александра Яковлева (последние книги, а также интервью с ним на Радио «Свобода» Владимира Тольца в передаче «Документы прошлого» от 13 февраля 2004 года). Дело не только в типичном проявлении «посттравматического синдрома», но и в отсутствии адекватных для выражения военного опыта речевых и риторических средств. Только после появления в конце 1950-х — начале 1960-х годов военной прозы (например, романов Константина Симонова и других), в том числе и «лейтенантской прозы» (Виктора Астафьева, Григория Бакланова, Юрия Бондарева, Константина Воробьева), военных и просто батальных фильмов (начиная с «Летят журавли» и экранизации симоновской дилогии), снятия запрета на песни военного времени и их реабилитации, появления генеральских мемуаров и тому подобного, начал постепенно вырабатываться соответствующий язык «фронтовых чувств».

Но как раз по отношению к этому диффузному состоянию памяти полным контрастом является предельно структурированное социальное отношение к войне, воплощенное и закрепленное в главном символе, интегрирующем нацию: Победе в войне, победе в Великой Отечественной войне. Это самое значительное событие в истории России, как считают ее жители, опорный образ национального сознания. Ни одно из других событий с этим не может быть сопоставлено. В списке важнейших событий, которые определили судьбу страны в XX веке, победу в ВОВ в среднем называли 78% опрошенных. Причем значимость Победы за последние годы, особенно с приходом Путина, только выросла. Если в 1996 году на вопрос: «Что у вас лично вызывает наибольшую гордость в нашей истории?» — так отвечали 44% опрошенных (самая большая группа ответов), то в 2003 году таких было уже 87%. Больше сегодня гордиться нечем — распад СССР и неудача реформ в постсоветское время, заметное ослабление массовых надежд и исчезновение перестроечных иллюзий стали содержанием травматического опыта национальной несостоятельности. Идет взаимосвязанный процесс: по мере эрозии и ослабления прежних предметов гордости советских людей — революции, строительства нового общества, становления «нового человека», показательных достижений советской индустриализации, военной мощи сверхдержавы и связанных с ней науки и техники[4] — растет символический вес Победы. На ее фоне быстро девальвируются как имперское культурное наследие (включая и «святую» русскую литературу), так и идеологические символы социализма (сохраняющиеся сегодня лишь у старших поколений в виде ностальгии по идеализированному прошлому). Эрозия захватывает все составляющие позитивного коллективного единства «мы». Актуализировав все комплексы ущемленности и неполноценности девальвацией, Победа торчит сегодня как каменный столб в пустыне, оставшийся после выветривания скалы. Она стягивает к себе все важнейшие линии интерпретаций настоящего, задает им масштаб оценок и риторические средства выражения. Напомню лишь о нескольких вещах. Самая недавняя телевизионная картинка: плакаты на казенном митинге солидарности с Путиным (проходившем на Васильевском спуске Красной площади после Беслана): «Выстояли в 1945-м, выстоим и теперь»[5]. Несколько более давние кадры — 1996 год: федеральные войска с огромным

[4] Их символическим выражением были советские успехи в космосе, в особенности — первый космический полет Юрия Гагарина.

[5] Запись автора; трансляции репортажей с митинга шли по Первому каналу и «России» почти в каждой новостной передаче 7 и 8 сентября 2004 года.

трудом взяли дудаевский дворец (бывшее здание обкома в Грозном), над ним развевается флаг России (аллюзия на знамя Победы над рейхстагом в 1945 году). Можно также сослаться на кажущиеся анекдотическими гневные рассуждения Жириновского о мотивах неправильного судейства на зимней олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (допинговый скандал 2002 года) — «это месть России за победу в Отечественной войне»[6] и тому подобное. Но шутовство Жириновского, как всегда, абсолютно точно отмечает болевые точки массового сознания — остаточные радикалы закрытого, параноидального мобилизационного милитаристского общества, в котором власть поддерживает ненависть своих граждан к внутренним и внешним врагам, культивирует образ врага и страх перед ним, делающие необходимой саму власть[7].

В первые послевоенные годы (конец 1940-х — начало 1950-х) еще наблюдался резкий разрыв между некодифицированным массовым, слишком свежим непосредственным и личным опытом войны, военного времени в целом (в котором было так мало картинно-героического — на первом плане была повседневная жизнь, голод, эвакуация, военная «работа») и официально-парадной, мобилизационной версией военных событий[8]. Но спустя уже 15 лет —

[6] Из телевизионного комментария Владимира Жириновского, данного им 22 февраля 2002 года после скандального обсуждения на заседании Госдумы ситуации на зимних Олимпийских играх 2002 года (запись автора). Об атмосфере вокруг этих игр см., например, NEWSRU.com от 22.02.2002 (http://newsru.com/arch/22feb2002/index.html), а также комментарии Ильи Мильштейна: *Мильштейн И.* Ура, мы ломим, гнутся янки // www.zeka.ru/olympics/articles.ura (18.2.2002).

[7] Еще один важный момент в отношении к «Отечественной войне 1941—1945 годов»: это единственная война из тех, что вели Российская империя, СССР и Россия на протяжении XX века, которая сегодня российским обществом признается как «справедливая». Согласно данным январского опроса (2005 года), соотношение мнений респондентов о справедливости и несправедливости той или иной войны выглядит следующим образом: война с Японией в 1904—1905 годах — 0,9 (34%:36%); Первая мировая война — 0,9; Гражданская война 1918—1922 годов — 0,7; война с Финляндией в 1939—1940 годах — 0,5; Афганская война (1979—1989) — 0,2%; Первая чеченская война (1994—1996) — 0,2; Вторая чеченская война, начавшаяся в 1999 году, — 0,3 (19% считают ее «справедливой» и 68% — «несправедливой»), и только ВОВ дает абсолютное преобладание мнений о ее справедливости — 4,9 (79% против 16%).

[8] Критика официальной, «лакировочной» версии войны первоначально касалась только лишь художественной трактовки войны. Наиболее резкой здесь

с начавшимся замещением социальных позиций невоевавшим поколением (рождения конца 1920-х — начала 1930-х годов) — стал заметным интенсивный процесс матрицирования массовых представлений о войне. Отмеченный началом официального, демонстративного почитания «ветеранов», появлением «лирической» тональности в описаниях войны (в первую очередь, в воспоминаниях) и различных государственных ритуалах, этот процесс соединял стереотипизацию коллективного опыта (выработку «обобщающих» клише и речевых формул, нормативно принятого, «высокого», официального языка коллективных высказываний о военных со-

была, конечно, критика таких фильмов, как «Падение Берлина» Михаила Чиаурели (1950), или ироническое отношение к «Сталинградской битве» Владимира Петрова (1949), «Подвигу разведчика» Бориса Барнета (1947) и прочим. Именно в противопоставлении этой версии развивалась более поздняя линия «психологического» или «реалистического» кино («Летят журавли» Михаила Калатозова (1957), «Баллада о солдате» Григория Чухрая (1959), экранизация симоновских романов Александром Столпером («Живые и мертвые» (1964)). Однако критика собственно военной официальной истории, поправляемой под каждого нового лидера страны, маршала обороны или даже, как пишет военный историк генерал армии Гареев, «начальника ГлавПУРа», стала возможной лишь в годы горбачевской перестройки. См.: *Гареев М.А.* Об изучении Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1992. № 1.

В отношении к фронтовикам и участникам военных действий у сталинского руководства сохранялась характерная двойственность и противоречивость: с одной стороны, риторика Победы над фашизмом стала важнейшей идеологической составляющей легитимации режима. С другой, власти опасались фронтовиков, учитывая впечатление, которое произвела на победителей повседневная жизнь в завоеванных странах, их надежды на роспуск колхозов, ослабление репрессий и тому подобное. Уже через два года были урезаны или отменены различного рода льготы фронтовикам, в том числе и наградные деньги за ордена и медали; день 9 мая, день Победы, стал обычным рабочим днем вплоть до прихода к власти Брежнева, сделавшего его праздничным выходным днем, сравнимым по торжествам с Первым мая. Собственно, именно Брежнев, стремясь заручиться поддержкой армии и КГБ после верхушечного переворота и устранения Никиты Хрущева, начал новую пропагандистскую кампанию сакрализации войны, консервации режима, включавшую реабилитацию Сталина, но прикрытую официальным культом ветеранов войны, в первую очередь — маршалов, генералитета. Напомню, что до этого субъективная или «лирическая» тональность в отображении войны воспринималась как мещанство, деидеологизация, утрата бдительности, партийной принципиальности и классового чутья.

бытиях, подхваченного публицистикой и закрепленного в поэтике официальной истории, масскоммуникативной риторики, массовой культуры) с соответствующими государственно-историческими понятиями о державной истории, национальной культуре, моральными оценками частной жизни и представлениями о пределах ее автономности[9]. Разгружая их от аффективной радикальности фронтового восприятия, послевоенные интерпретаторы тем самым рутинизировали военный опыт, ввели его в общий горизонт представлений закрытого, военно-бюрократического общества. Именно в эти годы начинают выходить тома официальной многотомной «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941—1945» (первый том — в 1960 году), появляются мемуары советских маршалов[10], быстро превращающиеся в предмет острого читательского дефицита (вплоть до 1980-х годов). Именно эти процессы стереотипизации дали огромному числу людей свой язык «высоких коллективных чувств», язык лирической государственности, который намертво закрепился впоследствии, уже к середине 1970-х годов, и на котором только и могут сегодня говорить о войне большинство россиян.

Отношение большей части нынешних жителей России к войне обусловлено всем характером советской культуры: оно — продукт пропаганды, функционирования СМК, школьного образования, общегосударственных ритуалов, огосударствленного искусства, прежде всего — кино и литературы, но также и тиражируемой в иллюстрируемых тонких журналах изопродукции членов Союза художников, транслируемых по радио военных песен и прочего. Это означает, что представления, переживания, знания целого поколения были идеологически обработаны и упакованы профессиональными интерпретаторами (партийными работниками, литераторами, режиссерами, редакторами, историками, комментатора-

[9] Можно в этой связи вспомнить впечатляющий успех фильмов Марлена Хуциева «Застава Ильича» («Мне двадцать лет») и «Июльский дождь», их парадигматическую роль для интеллигентского сознания в 1960-х годах.

[10] Особенно важными в этом ряду оказались искромсанные и многократно редактированные «Воспоминания» Георгия Жукова (1969), которому, как впоследствии и другим мемуаристам из числа военачальников, вписывали целые страницы о роли партийных работников и тому подобном. Интересно, что даже сегодня на русских «патриотических» сайтах, где Жукова называют «символом Победы советского народа», его воспоминания квалифицируются как «неоднозначные» и «часто используемые в антисоветской пропаганде» — см., например, www .patriotica.ru/authors/zhukov_.html.

ми), риторически оформлены, и только затем соответствующие конфигурации значений, получившие официальную санкцию авторитетных органов, приобрели статус самой реальности, «общезначимости», «безусловности», подчиняющей личный опыт отдельных людей. Сами по себе гибель людей в таких масштабах, которые не могли быть охвачены отдельным индивидуальным восприятием, разрушение социальных связей, самого уклада повседневной жизни, как это было во время войны, «автоматически» не становятся фактором, меняющим структуру массового сознания. Как и любой иной, этот «частный», индивидуальный опыт — опыт людей на войне и во время войны, даже пусть их огромного множества, не будучи специально обработанным, не воспроизводится и не составляет культурного или социального факта. Только получив соответствующее институциональное оформление и закрепление, став технически репродуцируемым, будучи вписанным или хотя бы соотнесенным с коллективными рамками событий прошлого и настоящего, опыт военного времени становится исторической «памятью» общества или отдельных групп и участников войны. Без этих механизмов (и направленной политики СМИ) специального поддержания и организации «памяти», ритуалов и инсценировок, разыгрывания военной тематики прошлое, даже столь значимое, быстро рассыпается и исчезает. Именно поэтому даже сегодня военная тематика (события Второй мировой войны), представленная в старых советских фильмах, ежедневно демонстрирующихся по основным каналам ТВ, или специальных передачах, посвященных войне и армии, составляет 6—8% всего эфирного времени. Ее объем резко увеличивается в периоды юбилейных мемориационных мероприятий, связанных с теми или иными памятными датами войны — боями под Москвой, Сталинградской битвой, освобождением Ленинграда, Курской битвой, майскими праздниками и тому подобным.

Война как символ

Таким образом, всякий раз, когда упоминается «Победа», речь идет о символе, который выступает для подавляющего большинства опрошенных, для общества в целом, важнейшим элементом коллективной идентификации, точкой отсчета, мерилом, задающим определенную оптику оценки прошедшего и отчасти — понимания настоящего и будущего. Победа 1945 года — не просто центральный смысловой узел советской истории, начавшейся Ок-

тябрьской революцией и завершенной распадом СССР; фактически это единственная позитивная опорная точка национального самосознания постсоветского общества. Победа не только венчает, но как бы очищает и оправдывает войну, одновременно «закрывая» от рационализации ее негативную, обратную сторону, табуируя тему войны, а вместе с ней закрывая и саму возможность объяснения причин и хода войны, анализа действий руководства, природы государственного режима, подчинившего подготовке к войне все сферы общественного существования. Триумф победителей маскирует двусмысленность самого символа. Победа в войне легитимирует советский тоталитарный режим в целом, бесконтрольную власть как таковую, задним числом, ретроспективно оправдывая «издержки» советской истории, форсированной военно-промышленной модернизации — репрессии, голод, нищету, массовую гибель людей после коллективизации, создавая безальтернативную версию прошлого, единственно возможные и значимые рамки интерпретации истории. Поэтому никакой другой связной и систематически выработанной версии истории, а соответственно воспроизводимой всеми социализационными институтами, сегодня нет. Сегодня нет той элиты, которая могла бы предложить другую, столь же систематическую точку зрения на события войны, вообще — другие оценки, другие моральные позиции в отношении прошлого.

Не случайно по мере роста символической силы Победы в войне восстанавливается авторитет товарища Сталина (и как главнокомандующего в этой войне, и как вождя народа). Сталин не просто возвращается, меняется (в сравнении с перестроечным временем) характер его роли. Чем выше статус событий «войны», телеологически организованных как цепочки событий, ведущих к предзаданной Победе, тем сильнее уходит память о сталинских репрессиях (значимость их для российской истории за последние 12 лет, по мнению опрошенных, упала с 29% до менее 1%; напротив, позитивные оценки роли Сталина с 1998 года к 2003 году выросли с 19% до 53%; на вопрос: «Если бы Сталин был жив и избирался на пост президента России, вы проголосовали бы за него или нет?» — 26—27% жителей России сегодня ответили: да, проголосовали бы)[11].

[11] На вопрос (январь 2005 года): «Как бы вы отнеслись к тому, чтобы к 60-летию Победы был установлен памятник Сталину?» — ответы распределились следующим образом — 29% респондентов сказали «положительно», 37% — «отрицательно» и 28% отнеслись к этой идее безразлично.

День Победы не стал днем поминовения, печальной памяти о погибших, человеческих страданиях и материальных разрушениях. Это именно день победы, торжества советской армии над гитлеровской Германией. При этом интенциональный смысл победы у россиян обращен исключительно к себе, он значим лишь в структурах российского самоопределения. Сегодня практически не осталось тех, кто испытывал бы ненависть к тем странам, которые были врагами: Германии или тем более — Италии, Японии, Румынии. Негативизм этого рода сохранялся еще не так давно только в старших поколениях, на периферии общества. Сегодня антиамериканские настроения выражены гораздо сильнее, чем, например, антигерманские, которые характерны для 8—10% населения (главным образом — пожилых людей). Половина россиян готова даже на то, чтобы поставить в стране памятник павшим с обеих сторон во Второй мировой войне (хотя опять-таки эта готовность в годы путинского правления несколько ослабла, снизившись с 57% до 50%, напротив, отрицательное отношение к подобной идее лишь усилилось — с 26% в 1991 году до 35% в 2003 году).

Свой триумф россияне не готовы разделять с кем бы то ни было еще в мире. 67% респондентов (2003 год) полагают, что СССР мог бы победить в этой войне и без помощи союзников. Более того, по мере роста собственно русского национализма и временного отдаления от тех лет война постепенно стала укладываться в традиционные рамки русского «миссионерства» и «соперничества с Западом». Параллели между событиями новейшей и древней истории («СССР, разгромив фашизм, защитил европейские народы от угрозы уничтожения», как в свое время «Русь, разгромив татаро-монгольские орды, стала щитом для Европы») оказываются общим местом как в националистической риторике позднего советского времени, так и в постсоветское время. Дополнительный тон такому пониманию придает идея, что русские победили противника, перед которым не устоял никто из самых развитых и богатых, благополучных, «цивилизованных» народов Европы.

И одновременно с этим полностью вытеснены из массового сознания ряд неприятных фактов, а именно: 1) агрессивная природа советского режима, коммунистический милитаризм и экспансионизм, ставшие причиной исключения СССР из Лиги Наций после нападения на Финляндию, 2) Вторая мировая война началась совместными действиями против Польши партнеров и (до поры до времени) союзников — гитлеровской Германии и Советского Союза, 3) цена войны, человеческая, социальная, экономическая, метафизическая; 4) ответственность руководства страны за раз-

вязывание войны и ее ход, последствия войны для других стран и тому подобное.

Война и табу рационализации

Структурообразующей для коллективной памяти ролью Победу в войне наделила многолетняя работа официальных социальных институтов в СССР — школы, армии, СМИ, системы пропаганды и идеологического воспитания. По существу, сегодня мы имеем дело с более или менее выраженной сталинской версией войны и всей истории советского времени, а значит — всей истории XX века. Такая интерпретация войны создана сталинским Генштабом и агитпропом ЦК КПСС.

За контроль над интерпретацией войны шла острейшая конкуренция между различными группами идеологов, не прекратившаяся по настоящее время (и сегодня различные политические партии — от партии власти[12] до ее оппонентов — коммунистов, патриотов, популистов и других претендуют на монопольное владение наследием войны, стремясь протянуть от победы свою собственную линию легитимации). Любые варианты и нюансы изложения, оценки трактовки войны появлялись исключительно внутри самой бюрократии (образованного слоя) в качестве реакции на официальную позицию. Любые ее версии, уже существующие или возмож-

[12] Можно ограничиться лишь самыми недавними примерами: один из лидеров правящей «Единой России», бывший министр внутренних дел, а ныне спикер Госдумы Борис Грызлов, защищающий нынешнюю политику полицейского укрепления «вертикали власти», 21 декабря 2004 года, возложив цветы к памятнику Сталину на Красной площади, призвал пересмотреть историческую оценку Сталина, указывая на то, что «перегибы» в его деятельности не должны закрывать для нас «незаурядность» личности этого человека, который как «лидер страны многое сделал для Победы в Великой Отечественной войне», человека, «который пользовался уважением и у союзников». То, что постеснялся открыто сказать Грызлов, а именно: что России, как раньше, в самые тяжелые и трудные времена, нужен авторитарный диктатор, договорили его критики и оппоненты, обвинявшие его (как и других членов путинского правительства) в ограблении пенсионеров и ветеранов войны. Секретарь ЦК ВКП(б) Александр Куваев, назвав Сталина «выдающимся государственником», «политиком, которого сегодня не хватает России», заявил, что «сегодня Россия в плачевном состоянии», а потому ей «нужен новый Сталин» (http://12—04.olo.ru/news/politics52445.html).

ные в будущем, являются лишь их дополнением, критикой, опровержением, пародированием и не могут быть ничем иным. В этом смысле сам факт выработки новой или уточняющей интерпретации, появление оригинальной перспективы рассмотрения войны и победы можно рассматривать как сигнал сбоя или дефекта в механизмах социальной и культурной репродукции советской системы, и напротив, реставрацию базовой версии войны, доминанты национальной истории — как восстановление и консервацию оснований советского режима и советского общества.

Доминантная конструкция войны или интерпретация военных событий представлена в киноэпопее «Освобождение», созданной в брежневское время Юрием Озеровым и Юрием Бондаревым[13]. Все прочие версии носили лишь характер жанровых разработок этой темы — от комедий или авантюрно-приключенческих боевиков до высоких образцов трагедии с характерной для них экзистенциалистской или этической тональностью изложения[14], выступали в качестве дополнения или аранжировки темы героического самопожертвования, испытания на верность, на подлинность человеческих ценностей и отношений («Проверка на дорогах» Алексея Германа), но не предлагали никакой иной версии понимания войны, кроме господствующей.

На протяжении долгого времени все, что связано с войной (а мы говорим главным образом об одной Войне, войне с именем собственным — Отечественной), подверглось в СССР сильнейшей сакрализации, блокировавшей любые попытки рационализации прошлого. Любая версия, расходящаяся с версией военно-государственного руководства, любой анализ военных событий и последствий войны, отклоняющийся от общепринятого, долгое время воспринимались (и в значительной степени воспринимаются сегодня) как покушение на святыни, как оскорбление памяти павших,

[13] В 1970—1972 годы вышло пять фильмов: «Огненная дуга», «Прорыв», «Направление главного удара», «Битва за Берлин» и «Последний штурм». Характерно, что схема военной эпопеи выстроена именно как история победы, тоталитарного триумфа. Первые, наиболее драматические годы войны, тем более — предыстория войны или ее социальные, моральные и человеческие коллизии в этой преимущественно батальной панораме, выстроенной с точки зрения верховного командования, отсутствуют.

[14] Среди множества образцов этого рода назову лишь «Иваново детство» Андрея Тарковского (1962), повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой» (1963) или Василя Быкова (например, «Мертвым не больно» (1966), «Круглянский мост» (1969), «Сотников» (1970)).

как кощунство по отношению к самым высоким национальным ценностям. В результате вместо моральной, интеллектуальной, политической или какой-то иной работы по рационализации негативного, травматического опыта происходило его «рубцевание». Каждая попытка переоценки войны в целом или отдельных ее моментов подавлялась советскими властями со всей возможной оперативностью и жесткостью. Частный, индивидуальный опыт (и соответственно, значимость его ценностей) загонялся в сферу «коллективного бессознательного», культурно не отмеченного, не рефлексированного. Речь идет не столько о возникновении психологической защиты от необходимости рационализации, сколько о сохранении определенного «курса ценностей» — соотношения частного и тотально-коллективного, государственного (или, словами Булата Окуджавы: «...нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим»). Моральное чувство людей, защищавшихся не просто от агрессии, а от такого врага, который, как считалось и официально утверждалось, вел войну на национальное и этническое уничтожение народов СССР, не просто усиливает торжество победителя. Представление людей о себе как жертве агрессии придало им непоколебимую уверенность в своей правоте и человеческом превосходстве, закрепленном Победой в этой войне. Рутинизацией этой уверенности стало и внеморальное, социально примитивное, архаическое, почти племенное деление на «наших и ненаших» как основа социальной солидарности, готовность к оправданию (но не поддержке!) любой агрессивной или репрессивной государственной политики в отношении других стран или территорий, противостоящих СССР или России (вторжение в Венгрию и Чехословакию в 1956 и 1968 годах, в Афганистан в 1979 году). В самое последнее время это же можно наблюдать на примерах воинственной риторики в отношении Грузии, стран Балтии и тому подобном (вспомним фильм «Наши» Александра Невзорова и тому подобное). Последствия этого мы можем во множестве случаев наблюдать сегодня в отношении к Чечне, в «Брате», «Брате-2», «Войне» и тому подобной продукции Балабанова и необозримого множества других арт-эпигонов. Право на насилие воспринимается как сила правого. Произвол становится легитимирующим принципом социальности, как это можно видеть и в деле «ЮКОСа» или Гусинского, в событиях вокруг «Норд-Оста» или Беслана. Разумеется, я лишь схематически указываю эту линию развития — деморализацию войны, но она реально существует и в повседневности, и в общественном дискурсе.

Война как культура

Война стала для России суррогатом «культуры» — смысловым полем, где отыгрываются важнейшие темы и сюжеты современности. Речь идет о том, что война дает модели для ценностного выражения основных конфликтов и драматических моделей взаимодействия. Война превращается в поле образцов для ритуалов групповой и национальной солидарности, испытания, проверки людей на подлинность, как это было с фильмами Германа или Тарковского.

В таких условиях высшие социетальные или общенациональные ценности могут артикулироваться только в экстраординарной модальности: взвинченной, экзальтированной ситуации (подвига, самопожертвования, спасения, миссии, прорыва в новую реальность и отречения от обыденности, повседневности, от «нормальной жизни»). Экстраординарность — модус и условие воспроизводства данных ценностей и соответственно данного сообщества. Напротив, повседневность не просто культурно не санкционирована и идеологически не обеспечена[15], но долгое время третировалась как низкое, разлагающее или даже враждебное начало («мещанство», «обывательщина» и прочее — универсальные жупелы всех идеологических кампаний советского времени). Разумеется, от «чрезвычайщины», возведенной в социально-политический культ, было недалеко до оправдания нескончаемого массового террора.

Державная интерпретация победы 1945 года стала не просто оправданием советского режима в прошлом и на будущее. Она долгое время позволяла властям эксплуатировать свой антифашизм в качестве своеобразной антитезы западному капитализму и либерализму («советская демократия»). Символика победы долгое время заслоняла и «искупала издержки» режима хронической мобилизацией, обосновывая необходимость громадной армии (ставшей образцом для других социально-политических институтов), возникновения и поддержания «социалистического лагеря», мили-

[15] Это обстоятельство меняло значимость и ценность других плоскостей существования, выражавшихся в языке неколлективных, некультивируемых значений. Если «война» (как тематическое разнообразие) стала «культурой», то повседневность, частность существования создавала ей негативный противовес, практически культурно не оформленный ни в литературе, ни в искусстве (в советское время повседневность впервые стала находить свой язык, может быть, только начиная с повестей Юрия Трифонова — «Обмен» (1969), «Предварительные итоги» (1970), «Другая жизнь» (1975)).

таризованной государственной экономики, неистовой гонки ракетно-ядерных вооружений под призывами к «мирному соревнованию» с Западом.

Табуированность и нерационализированность понимания и отношения к войне ведут к тому, что непобедная, негосударственная сторона войны, вся ее тяжесть, человеческий страх ушли в своего рода «подсознание» общества («слепое пятно» его официальной памяти). Символика победы включена в конструкции державного сознания, обеспечивающие приоритет всех «государственных интересов» и массовую «готовность» пассивно перетерпеть лихолетье, актуализируя ресурсы опыта крайнего существования. Она апеллирует к возможности повторения «военных» ситуаций, локальных или глобальных, одинаково неподконтрольных частному, домашне-семейному миру, не управляемых его средствами. Таким образом, два этих общих плана войны связаны с двумя планами национального состояния: государственно-патриотического энтузиазма — мобилизации (соответственно, мотивации «готовности исполнить требования партии и правительства в качестве внутренней потребности каждого», как призывала советская пропаганда) и желания «покоя», ценности стабильного существования, а при его отсутствии — хронической коллективной астении, усталости, страха потерять относительное благополучие частной жизни. Понятно, что первому состоянию соответствует всеобщая убежденность в том, что «русские свой национальный характер и душевные качества полнее всего проявляют в периоды переломов, в годы испытаний и войн», в чрезвычайных обстоятельствах катастроф и бедствий (ситуации «подвига», «массового героизма» на фронте и в труде), а не в «спокойные и благополучные времена». Это убеждение разделяет абсолютное большинство россиян (77% опрошенных), иначе говоря, оно стало нормой символической самоидентичности.

Трезвое понимание значительным числом опрошенных (почти половиной респондентов — 45%) того обстоятельства, что война велась «числом, а не умением», что победа достигнута огромным количеством жертв и потерь среди военных и гражданского населения, что ее условием, среди прочего, являлась крайне низкая ценность простой человеческой жизни, — все это мало влияет на массовые оценки действий властей. Представление о неизбежности массовых потерь и как бы даже «само собой разумеющейся» необходимости миллионных жертв входит в качестве составной части в общий семантический комплекс национального подвига и общего героизма. Характерно, что подобные «нормы» представлений о потерях переносятся и на войска союзников и даже на немецкую ар-

мию[16]. Массовое сознание россиян просто не в состоянии вообразить себе войны, в которой военачальники могли бы ставить своей целью любыми средствами сохранить жизнь своих подчиненных[17].

Моральная, интеллектуальная, политическая неспособность российского общества осмыслить травматические обстоятельства, связанные с развязыванием войны и способом ее ведения, безжалостностью по отношению и к мирному населению и к армии, обернулась спустя 13 лет после краха коммунизма тем, что значительная часть населения уже в путинской России постепенно стала возвращаться к официальной точке зрения на причины войны и цену победы, возрождая мифы о неизбежности войны, «внезапности» гитлеровской агрессии (удельный вес подобных ответов возрос более чем в полтора раза — с 21% до 38%) и тому подобное. В 2001 году почти половина опрошенных (47%) считала, что в конце 1930-х годов избежать войны было невозможно, не согласны с ними были 35% (материалы уже приводившегося выше опроса)[18].

[16] Сравнивая цифры потерь, которые называли респонденты в ходе различного рода опросов, с официальными данными о потерях, мы можем говорить о том, что размер людских потерь во Второй мировой войне опрошенные заметно завышали во всех случаях: советские, и так чудовищные, — в среднем на 21%, германские — вдвое, но более всего — потери США (в 30 раз).

[17] Об этом совсем недавно еще раз говорил Александр Яковлев в упомянутом выше интервью.

[18] На вопрос, почему миллионы солдат Красной армии оказались в плену во время Великой Отечественной войны, совершенно равное число опрошенных (по 58%, сумма ответов больше 100%, так как респондент мог назвать несколько вариантов ответа) соглашалось с тем, что это было связано с «внезапностью нападения Германией на СССР» и с «просчетами командования Красной армии». Характерно, что третьестепенными оказываются как старые, людоедские версии объяснения такого числа пленных, которые идут еще от Сталина («из-за трусости и предательства»), так и чисто антисоветские предположения («из-за надежд населения на то, что Гитлер принесет людям освобождение от советской власти») — и те и другие оказываются значимыми скорее для маргинальных групп (их назвали, соответственно, 8 и 5% опрошенных). Точно так же массовое сознание не в состоянии остановиться ни на какой позиции и в отношении к вопросу, почему в первые месяцы войны Красная армия терпела сокрушительные поражения: 41% объясняет это традиционным: «Красная армия была ошеломлена внезапностью нападения», но почти столько же — 40% — тем, что «руководство Красной армии было обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов», 37% соглашаются с тем, что СССР не успел подготовиться к войне, а 32% — с тем, что Красная армия была

Подобная смутность и противоречивость массового сознания для нас здесь очень важна. Это не выражение раскола общества на «партии» с четкими позициями и ясными убеждениями, а симптоматика «нечистой совести» и какой-то непроявленной то ли вины, то ли внутренней неудовлетворенности общепринятым отношением к проблематике войны. Приведем еще два примера, раскрывающих характер этого национального «подсознания»: 68% опрошенных полагают, что мы «не знаем всей правды о Великой Отечественной войне», и 58% считают, что версию о «внезапности» нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года придумали для того, чтобы «скрыть политические просчеты Сталина», которые стали причиной явной неподготовленности страны к войне. Подобные мнимые несогласованности в общественном мнении представляют собой выражение пассивности и покорности по отношению к официозу при одновременном глубоком недоверии к нему. Это означает, что в обществе нет той авторитетной в моральном или интеллектуальном, пусть даже — в социальном, плане группы или инстанции, позиция которой могла бы быть принятой большинством населения. Поэтому чем сложнее вопросы, относящиеся к пониманию войны или воспоминанию о войне, например тема ответственности руководства страны, тем путанее и неяснее становятся реакции общественного мнения. Так, чуть больше половины россиян (52%) знают о дискуссиях вокруг секретных протоколов к пакту «Молотова—Риббентропа», предусматривающих раздел Польши, раздел сфер влияния в Европе (хотя соотношение считающих, что это фальшивка и что они были на самом деле, составляет 1:4). При этом лишь чуть больше половины из «знающих» об этих протоколах полагают, что «это соглашение развязало руки Гитлеру в его планах Второй мировой войны» (54%), в то время как остальные склонны винить в этом Великобританию и Францию, согласившихся на «мюнхенский сговор». Более того, сегодня готовы одобрить сам пакт «Молотова—Риббентропа» даже большее число опрошенных, чем вообще знают, в чем состоит его существо (40% всех опрошенных против 23%; в данном случае действует мощная инерция старой советской версии о советско-германском договоре как вынужденном шаге Сталина, стремившегося выиграть время для подготовки страны к войне).

значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска, несмотря на все хвастливые декларации конца 1930-х годов о том, что «мы будем бить врага на его территории», и тому подобное (опрос в январе 2005 года).

Легитимационные функции войны

Война и ее жертвы сакрализовали в глазах российского общества не только армию как один из центральных, опорных социальных институтов, несущую конструкцию всего советского и постсоветского режима власти, но и сам принцип «вертикальной» конституции общества, мобилизационной, командно-иерархической модели социального порядка, не признающего автономности и самоценности частного существования, групповых интересов, не зависящих от всего «целого». Российское общество миновало период критической переоценки своего прошлого, в том числе — и военного, оставив в стороне дискуссии о «цене» победы, оценку предвоенной и послевоенной политики. Сегодня память о войне и победе включается главным образом механизмами консервации социального целого, удерживающими общество от усложнения, функциональной дифференциации. Воспоминания о войне нужны в первую очередь для легитимации централизованного и репрессивного социального порядка, они встраиваются в общий порядок посттоталитарной традиционализации культуры в обществе, не справившемся с вызовами вестернизации и модернизации, общества, не выдержавшего напряжения начавшихся социальных изменений. Российская власть поэтому вынуждена постоянно возвращаться к тем травматическим обстоятельствам своего прошлого, которые воспроизводят ключевые моменты национальной мобилизации. Непрожитая война оборачивается рецидивами государственной агрессии — чеченской войной и реставрацией репрессивного режима.

В заключение можно сказать, что «память» о войне как о целой эпохе, годах, с которыми связано множество частных или коллективных событий, сегодня сохраняется в России только в тех или иных манифестациях государственных институтов или связанных с властью социальных групп, претендующих на общественное или политическое влияние, выступающих в качестве идеологов или исполнителей государственного заказа.

Предстоящие пышные государственные празднества 60-летия Победы не станут поводом для рационализации российским обществом своего прошлого и настоящего. Объявленная программа торжественных мероприятий превратится в череду рутинных демонстраций приверженности к символам былого величия державы, символам, теряющим свою силу и значимость. Правильнее было бы сказать, что это будет принудительная имитация коллективной солидарности с властью, не имеющей ничего за душой, кроме казенного полицейского патриотизма и политического цинизма.

Александр Борозняк

ФРГ: ВОЛНЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

> Память — способность помнить, не забывать прошлого, свойство души хранить, помнить сознанье о былом. Память относительно прошлого то же, что заключенье, догадка и воображенье относительно будущего.
>
> *В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка*

В российской публицистике давно уже стала общим местом констатация того, что опыт тоталитарного прошлого «преодолен нами в гораздо меньшей степени, чем нашими бывшими противниками»[1]. При этом далеко не всегда учитывается сложность, неоднозначность «преодоления прошлого» в послевоенной (Западной) Германии как процесса, связанного и с переходом к демократии в ФРГ, и с серьезными противоречиями данного перехода.

В словосочетании «Bewältigung der Vergangenheit» — «преодоление прошлого» — стыдливо отсутствует указание на то, о каком именно «прошлом» идет речь. И дело здесь в том, что данный термин ведет свое происхождение с середины 1950-х годов предыдущего века, когда в ФРГ требование расчета с нацистской диктатурой не только не являлось очевидным, но, напротив, противоречило основным тенденциям общественного мнения. Немцы отворачивались от позорных страниц своей истории. В 1956 году профессор Гёттингенского университета Герман Хеймпель писал о «нависшей над современностью жестокой опасности забвения» гитлеризма. Он призывал западногерманских граждан выработать

[1] *Балла О.* Непреодоленное прошлое. Интеллектуалы сравнили свой исторический опыт // НГ-Ex libris. 20.01.2005.

«взгляд на историю, не обремененный тягой к оправданию», «преодолеть непреодоленное прошлое»[2].

Как освободиться от причастия буйвола?

Крах «третьего рейха» побуждал немцев к коренному повороту в жизни общества, к очищению от скверны нацизма, к осмыслению его корней и последствий, к новому обретению человеческих ценностей, затоптанных гитлеровским режимом. Но подавляющее большинство немцев восприняло окончание войны не как освобождение, но как поражение, как национальную катастрофу. Антифашистский импульс 1945 года («niemals wieder!» — «никогда больше!») чрезвычайно быстро оказался исчерпанным в условиях активного включения ФРГ в «холодную войну»[3]. Якорем спасения представлялась идея единоличной ответственности Гитлера, непричастности к его преступлениям немецкой правящей элиты. Этот тезис надолго определил главный вектор западногерманского исторического сознания.

Даже Нюрнбергский процесс принес не только страх, но и облегчение и «попутчикам» режима, и преступникам «среднего звена»: ведь осуждены те, кто виновен, остальные могут быть спокойны. Публикации о нацистских концлагерях были постепенно вытеснены с книжного рынка, их место заняли мемуары военных преступников, судебное преследование которых было фактически прекращено. По мнению Карла-Эрнста Йейсмана, ФРГ «появилась на свет как политический организм, наделенный памятью подростка» [4].

Немцам не удалось, говоря словами Альфреда Андерша, «извлечь из немыслимой милости тотального поражения силу, направленную на тотальное преображение»[5]. Никто не хотел вспоминать о неуместных теперь призывах Карла Ясперса: «Мы должны выяс-

[2] *Heimpel H.* Kapitulation vor der Geschichte. Guttingen, 1956. S. 90.

[3] В 1950 году некий чиновник из поселка Бремервёрде (Нижняя Саксония) требовал взорвать памятник 46 тысячам советских пленных, погибшим в соседнем концлагере Зандбостель. Обоснование: сохранение мемориала «может означать смертный приговор для жителей округа, если русские однажды вторгнутся на нашу территорию» (*Borgsen W., Volland K.* Stalag XB Sandbostel. Bremen, 1992. S. 248).

[4] *Jeismann K.-E.* «Identität» statt «Emanzipation»? // Aus Politik und Zeitgeschichte. 1986. H. 20/21. S. 6.

[5] *Andersch A.* Deutsche Kommentare // Der Ruf. Eine deutsche Nachkriegszeitschrift. München, 1962. S. 61.

нить вопрос о немецкой вине. Это касается нас самих. Это делается независимо от упреков, которыми нас осыпают извне, хотя мы и можем пользоваться ими как зеркалом [...] Мы чувствуем себя причастными не только к тому, что делается сейчас, не только совиновными в действиях современников, но и причастными к традиции. Мы должны взять на себя вину наших отцов. Мы все виноваты в том, что в духовных условиях немецкой нации дана была возможность такого режима»[6].

Это — цитата из надолго забытой (ставшей затем популярной, но через 20 лет!) книги «Проблема вины», в основу которой легли лекции, прочитанные в Гейдельберге зимой 1945—1946 годов. Осенью 1946 года Карл Ясперс с нескрываемой горечью писал своей ученице Ханне Аренд: «Мне трудно находиться за кафедрой, когда я вижу перед собой враждебные лица. Лишь после 1937 года я ощущал такой настрой в аудитории, как сегодня»[7].

Только в конце 1950-х «преодоление прошлого» постепенно стало осознаваться в ФРГ как знак длительного, многопланового общенационального извлечения уроков из истории «третьего рейха», как призыв к моральному очищению, к восприятию и осмыслению правды о фашизме и войне, как понятие-символ, порожденное чувствами стыда и ответственности за преступления гитлеризма.

Какие обстоятельства вызвали поворот в массовом историческом сознании ФРГ, открывший качественно новый цикл процесса восприятия неудобного прошлого? В рождественскую ночь 24 декабря 1959 года в Кёльне были осквернены фашиствующими хулиганами только что отстроенная синагога и памятник жертвам национал-социализма. Общественность — западногерманская и зарубежная — была встревожена. Раздавались призывы к удалению бывших нацистов из правительства Конрада Аденауэра. Мыслящих людей беспокоила нараставшая активность неонацистов, выступавших против самой идеи преодоления коричневого прошлого, принявших, как писал Генрих Бёлль, «причастие буйвола».

В январе и феврале 1960 года были созваны чрезвычайные заседания бундестага. В мае того же года Теодор Оберлендер, один из федеральных министров с «коричневым прошлым», вынужден был оставить свою должность. Полиция арестовала нескольких неофашистов, оказавшихся недавними выпускниками школ и

[6] *Jaspers K.* Die Schuldfrage. Von der politischen Haftung Deutschlands. München, 1987. S. 31, 53.

[7] *Arendt H., Jaspers K.* Briefwechsel 1926—1969. München, 1985. S. 98.

профтехучилищ. В печати появились статьи, настоятельно требовавшие пересмотра в антифашистском духе школьных учебников и системы преподавания истории в целом. «Досадно, — писала одна из газет, — что мы занялись этой проблемой через 14 лет после катастрофы»[8]. Хоть и с запозданием, но начало претворяться в жизнь принятое в 1958 году решение о создании Центрального ведомства ФРГ по расследованию нацистских преступлений.

Активную научную деятельность развернул Институт современной истории в Мюнхене, специально предназначенный для сбора, хранения и изучения документов «третьего рейха». Одной из главных тем исследований западногерманских ученых был нацистский государственный переворот, но немаловажные шаги были сделаны для изучения истории агрессии Гитлера (в том числе против СССР), военных преступлений, прежде всего геноцида еврейского населения Европы.

Произошли важные изменения в государственной системе политического воспитания ФРГ. В документе одной из правительственных организаций, принятом сразу после антисемитской выходки в Кёльне, указывалось, что причины эксцессов «следует искать в явной недостаточности масштабов преодоления национал-социализма»[9]. Дисциплина «политическое образование» вводилась во всех землях и во всех типах школ, началась подготовка соответствующих учебных пособий. Но плоды этой работы сказались далеко не сразу.

Этапным событием начала 1960-х годов стал Франкфуртский процесс над убийцами Освенцима — первый крупный процесс над нацистскими преступниками, проведенный правосудием ФРГ. На основе свидетельских показаний и архивных материалов был реконструирован механизм массового уничтожения в крупнейшем лагере смерти. Суду были представлены подготовленные Институтом современной истории экспертные заключения о геноциде против еврейского народа, о преступных действиях СС, о плановом уничтожении советских военнопленных и роли вермахта в этих злодеяниях. После процесса слово «Освенцим» стало шифром нацистского режима. Теодор Адорно следующим образом сформулировал современный категорический императив: «предотвратить возвращение Освенцима»[10].

[8] Frankfurter Neue Presse. 9.III.1959.

[9] *Bergmann W.* Antisemitismus in öffentlichen Konflikten. Frankfurt a M., 1997. S. 246.

[10] *Adorno Th.W.* Gesammelte Schriften. Bd. 10/2. Frankfurt a. M., 1977. S. 684.

В обстановке, когда определились контуры угрозы демократии, значительный резонанс в ФРГ вызвали публицистические выступления ученых, обладавших мировым авторитетом в сфере гуманитарного знания, — Карла Ясперса и Теодора Адорно. Люди, представлявшие цвет интеллигенции ФРГ, не страшились идти против течения, точно и глубоко осмысливали тревожную ситуацию в своей стране, указывали на антигуманную сущность фашистской диктатуры и на опасность ее забвения. Западногерманское общество нашло в себе силы и мужество услышать и понять своих духовных лидеров (к именам Адорно и Ясперса добавлю имена Петера Вайса, Генриха Бёлля, Вольфганга Кёппена, Гюнтера Грасса), воззрения которых оказали непосредственное влияние на смену вектора массового исторического сознания.

В конце 1960-х годов произошел качественный сдвиг в ходе научного исследования истории «третьего рейха». В трудах Фрица Фишера, вызвавших живую дискуссию, которая вышла далеко за пределы научного цеха, раскрывалась важнейшая проблема преемственности экономических и политических структур «третьего рейха». Широкий резонанс вызвали ставшие классикой книги о нацистском периоде, выпущенные Мартином Брошатом, Гельмутом Краусником, Хансом Буххаймом, Хансом Моммзеном.

Непримиримое отношение к нацистскому прошлому было важнейшим компонентом молодежного бунта конца 1960-х годов. Идеология «поколения 68-го» была достаточно путаной. Нередки были явно упрощенные оценки происхождения и характера фашистской диктатуры, а ФРГ понималась (чего не избежала и советская публицистика той поры) чуть ли не как прямое продолжение гитлеровского рейха. Но акции студентов привели к тому, что открылись новые поля дискуссий, новые, непредвзятые подходы к исследованиям «третьего рейха».

Постигая трагедию Холокоста

На арену научной и политической деятельности вышло новое поколение людей, родившихся уже после войны, не имевших непосредственного опыта нацизма, но непримиримых ко лжи о прошлом. Видимо, Ральф Дарендорф был едва ли не первым, кто указал на значимость данного фактора. В 1965 году он констатировал: «Сломлено глухое и долгое молчание [...] Новое поколение может ставить вопросы, не опасаясь, что ответы чувствительно затронут самих себя»[11].

[11] National-Zeitung (Basel). 8.I.1965.

Трудно переоценить влияние средств массовой информации на формирование антинацистского консенсуса в ФРГ. В январе 1979 года по телевизионной программе ARD прошла трансляция американского художественного сериала «Холокост», рассказавшего потрясенным немцам о трагедии «окончательного решения еврейского вопроса» в нацистской Германии и в оккупированных странах Европы. У экранов собралось более 20 миллионов зрителей, узнавших страшную правду, задумывавшихся (те, кто мог задумываться) не только о судьбе евреев, но и о молчании или бездействии миллионов равнодушных сограждан, которые стали свидетелями или соучастниками преступлений.

Графиня Марион Дёнхофф назвала телефильм «уроком истории для всех немцев»[12]. Телесериал стал прямым вызовом западногерманской исторической науке, он (как и Франкфуртский судебный процесс) явился стимулятором масштабных научных исследований по проблематике 1933—1945 годов. В Западном Берлине был создан Центр по изучению антисемитизма.

В конце 1970-х и в начале 1980-х годов исследователи, принадлежавшие к различным научным школам, обратились к «микрокосмосу» общественных отношений в нацистской Германии, к проблематике «истории повседневности», массового поведения и массового сознания, ментальности немцев в условиях «третьего рейха». Историческая наука вступала в прямое соприкосновение с реалиями «обыкновенного фашизма», с жизнью простых людей в годы диктатуры. Возникло движение историков-любителей, тематика нацистского режима заняла значительное место в конкурсах школьных исторических сочинений. Осуществилась идея Вальтера Беньямина: «Необходимо реконструировать историю, рассматриваемую с точки зрения жертв, приговоренных к молчанию»[13].

К началу 1980-х годов (по мере накопления и публикации документальных данных о периоде гитлеризма, по мере отработки методологического инструментария) в исторической науке и в обществе ФРГ сложилось, при всех расхождениях в частных оценках, определенное согласие по поводу того, что преступления фашизма вытекали из сущности самого режима, а развязанная Гитлером война носила неприкрыто агрессивный характер. Но одновременно не прекращались активные попытки демонтажа антинацистского консенсуса. Представители консервативных сил, одержавших победу на парламентских выборах 1982 года, шумно требовали

[12] Die Zeit. 2.II.1979.

[13] *Benjamin W.* Gesammelte Schriften. Bd. 2. Frankfurt a. M., 1980. S. 693.

«выйти из тени прошлого», «нормализовать» германскую историю, освободить немцев от комплекса национальной вины и национальной ответственности.

Дебаты о нацистском режиме, о его существе и характере, об уроках, извлекаемых современниками из двенадцати лет «тысячелетнего рейха», стали в ФРГ перманентным явлением. Но дискуссия, происходившая в 1986—1987 годах и получившая название «спор историков», занимает в развитии исторической мысли и исторического сознания ФРГ особое место. Никогда прежде полемика о коричневом прошлом не достигала такой остроты, никогда прежде не возникало столь сильного резонанса в обществе. Инициаторами дискуссии стали известные историки консервативного направления Эрнст Нольте и Андреас Хильгрубер.

Было ли установление и функционирование нацистского режима результатом акций германской политической, экономической и военной элиты или же ответом на воздействие внешних факторов? Нольте, базировавшийся на вульгарной трактовке концепции тоталитаризма, отвечал на этот вопрос следующим образом: Гитлер был всего лишь слепком со Сталина, а Освенцим — только «технически усовершенствованной» копией ГУЛАГа.

Одновременно предпринимались попытки пересмотреть происхождение Второй мировой войны и геноцида по отношению к еврейскому населению Европы. Нольте и его сторонники объявляли эти преступления «ответом» на мифическое «объявление войны» Гитлеру со стороны международных еврейских организаций. Тезис о нацистской диктатуре как орудии «превентивного убийства» был органично дополнен установкой о «вынужденной» войне Гитлера против СССР. Ханс Моммзен видел серьезную потенциальную опасность в том, что в ФРГ «оказалась зыбкой демаркационная линия» между респектабельной наукой и маргинальной неонацистской прессой[14]. Речь шла, по оценке Курта Зонтхаймера, о попытке сконструировать для немцев «подправленно-приукрашенную совесть»[15].

Вопреки ожиданиям правых политиков и публицистов, дискуссия привела к формированию широкого фронта ученых, которые, придерживаясь различных политических взглядов, объединились на общей платформе постижения исторической правды о нацистском режиме и его злодеяниях.

[14] *Mommsen H.* Suche nach der «verlorenen Geschichte» // Merkur. 1986. H. 9/10. S. 867.

[15] Rheinischer Merkur. 21.XI.1986.

Кто несет ответственность за преступления рейха?

В конце XX века политический ландшафт Германии и Европы неузнаваемо изменился. Произошли события, казавшиеся прежде абсолютно невозможными. Осенью 1989 года рухнула Берлинская стена, а через год с карты континента исчезли привычные контуры Германской Демократической Республики, возникло единое германское государство.

В течение полутора десятилетий, прошедших со времени объединения Германии, в стране развернулись дебаты, связанные с публикацией дневников Виктора Клемперера и книги американского ученого Дэниэла Голдхагена «Добровольные подручные Гитлера», но прежде всего — с передвижной выставкой о преступлениях вермахта. Общая тематика дискуссий: ответственность рядовых немцев за преступления нацизма.

С марта 1995 по ноябрь 1999 года в 32 городах ФРГ была представлена документальная экспозиция «Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941—1944 годах», подготовленная Институтом социальных исследований (Гамбург). Общее число посетителей выставки составило 860 тысяч. Издано более двух десятков книг, посвященных «Гамбургскому проекту», число газетных и журнальных статей об экспозиции не поддается учету. Выставка была предметом обсуждения в бундестаге, в земельных и городских парламентах ФРГ. Она стала полем политического противостояния. Выставка, ее неоднозначное восприятие ясно показали, что общественное сознание Берлинской республики вступило в принципиально новую фазу преодоления нацистского прошлого.

Для историков, для общественного мнения ФРГ обращение к криминальной роли германской армии играет особую роль. Слова «Освенцим» и «Холокост» давно уже стали предостережением для большинства немцев, однако признание «другого Холокоста» — злодеяний по отношению к народам СССР — отторгалось массовым сознанием. Восприятие ужасающей картины «войны на Востоке» вызывало аллергию и у историков, и у большинства граждан Федеративной Республики.

Базовые факты, которые легли в основу экспозиции, были известны, о них говорилось в трудах известных немецких историков, но нежелательные реалии решительно отторгались широкой публикой. Дело было не в уровне исторических изысканий, но в неготовности общественного мнения ФРГ воспринять полную правду о роли вооруженных сил в фашистских преступлениях. В социаль-

ном сознании доминировало представление о том, что вермахт вел против Советского Союза «чистую войну». Что же касалось очевидных преступлений на оккупированных территориях СССР, то они привычно относились на счет нацистских карательных формирований.

Гамбургская экспозиция, основным автором которой был яркий представитель «поколения 68-го года» Ханнес Геер, фактически явилась разновидностью масс-медиа. Она имела солидную научную основу, но ей изначально были присущи как предельная заостренность выводов, так и несомненная плакатность, фрагментарность, сознательный отказ от универсального подхода к истории вермахта. Именно эти особенности выставки и были использованы силами, пытавшимися (под видом уточнения подписей под десятком фотоснимков) поставить под сомнение главные выводы экспозиции.

В ноябре 1999 года директор Института социальных исследований Ян Филипп Реемтсма объявил о временном прекращении работы выставки. Он выразил надежду, что вскоре будет реализован новый проект, который по-прежнему «вовсе не будет нравиться всем критикам и станет предметом новых дискуссий»[16].

В течение двух лет (не трех месяцев, как предполагалось ранее) над вторым вариантом выставки трудилась группа ученых во главе с Ульрике Юрайт. Поиски новых решений доставались нелегко. Не у дел оказался Ханнес Геер, выразивший несогласие с пересмотром выставочной документации. Ян Филипп Реемтсма и Ульрике Юрайт отмечали: «Больше нет некомментированных фотоснимков. Фотографии и документы уравновешивают друг друга [...] Экспозиция стала дедуктивной и более аналитической»[17]. Центр тяжести был перенесен с рассмотрения отдельных преступлений к анализу действий вермахта как организации, как неотъемлемой составляющей нацистского режима. Экспозиция именовалась теперь «Преступления вермахта. Аспекты войны на уничтожение, 1941—1944».

Выставка в ее новой версии действовала с ноября 2001 по март 2004 года. Центральной темой экспозиции и дискуссий вокруг нее стала тема личной ответственности солдат и офицеров за совершенные злодеяния. Уходя от крайних позиций («все солдаты — преступники», или: «наши солдаты только выполняли свой долг»), авторы проекта убедительно противопоставили преступлениям

[16] Die Welt. 6.XI.1999.

[17] Süddeutsche Zeitung. 26.XI.2001; Frankfurter Allgemeine Zeitung. 27.XI.2001; Die Tageszeitung. 28.XI.2001.

кровавых палачей попытки немногих, безвестных прежде, военнослужащих вермахта, сохранивших человечность и оказывавших — вопреки строжайшим запретам и с риском для жизни — помощь жертвам нацистской оккупации: евреям, советским военнопленным. Если выставка в ее прежнем виде была, по словам Герхарда Цверенца, в известном смысле провокацией, открытым вызовом общественному мнению, то новая экспозиция стала «школой для широких слоев населения»[18].

В ноябре 2001 — марте 2004 года выставка была представлена в 11 немецких городах. Ее посетили более 400 тысяч человек. После 1995 года под прямым воздействием дебатов о выставке в ФРГ заметно интенсифицировались научные исследования по проблематике преступлений вермахта на оккупированных территориях СССР.

Вдумчивые наблюдатели констатировали этапное значение различий в восприятии широкой публикой первого и второго вариантов выставки. Как считает Михаэль Йейсман, выставка стала «хронометром, отмерившим время в двух часовых поясах»: сначала «в такт уходящей прежней Федеративной Республике», а затем уже — синхронно «формированию контуров нового самосознания»[19]. Это «новое самосознание» невозможно оценивать однозначно: с одной стороны, в общественном мнении утвердился антинацистский консенсус, но, с другой стороны, заметно выросло влияние течений, которые можно объединить в рамках понятия «новый немецкий национализм». ФРГ вновь оказалась в пороговой ситуации. Характерен призыв лидера одной из праворадикальных организаций: «вывести немцев из вавилонского плена манипулируемой историографии», «захлопнуть окошко, в котором продают билеты в Каноссу»[20].

Вполне обоснованными оказались опасения, высказанные Мартином Брошатом более полутора десятилетий назад: «Может случиться, что вскоре в коллективном сознании быстро произойдет эрозия нацистской эпохи. Часто я прихожу к заключению, что в понимании будущих историков преобладающими окажутся нормальные стороны этого времени»[21].

[18] *Zwerenz G.* An einer Mauer steht geschrieben... // Das Blättchen. 2002. H. 11. S. 21.

[19] Frankfurter Allgemeine Zeitung. 31.I.2004.

[20] Die Welt. 22.V.1989.

[21] *Broszat M., Friedländer S.* Um die «Historisierung des Nationalsozialismus». Ein Briefwechsel // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. 1988. H. 2. S. 372.

В Берлинской республике, предполагает Норберт Фрай, «самокритичный подход к нацистскому прошлому, кажется, отступает на второй план»[22]. Более определенно высказывается Штефан Райнеке: «Нацистское прошлое становится историей, второстепенным фактором, который больше не определяет наших действий [...] Это приводит к утрате масштаба и перспективы. Республика стала беднее, потому что нацистский период понимается только как универсальная метафора»[23]. И вот прямое доказательство: в 1999 году Йошка Фишер заявлял, что части бундесвера направляются в Косово якобы для «предотвращения нового Освенцима».

От памяти коммуникации к памяти культуры

Около двух лет назад в прессе и по телевидению ФРГ была развернута дискуссия о союзнических бомбардировках германских городов. Поводом для дебатов стал выход книги Йорга Фридриха, выдержавшей за короткое время несколько изданий[24]. Предмет дискуссии не вызывает сомнений. В ходе бомбовых ударов британской и американской авиации были разрушены многие немецкие города, погибло около 400 тысяч мирных граждан (в это число не входит несколько десятков тысяч так называемых «принудительных рабочих»).

Фридрих с большой выразительностью воспроизводит ужасы бомбовых налетов на немецкие города. Но его книга явилась на деле (независимо от намерений автора) попыткой отвести массовое сознание от постулатов национальной ответственности и национальной вины за развязывание Второй мировой войны и за преступные методы ее ведения. Рецензенты отмечали, что Фридрих сознательно уподобляет союзнические бомбардировки Холокосту и войне на уничтожение. Бомбоубежища Фридрих именует «крематориями» и «газовыми камерами», а соединения британских ВВС — «айнзацгруппами».

Ральф Джордано задает в связи с этим резонный вопрос: «Но разве все эти сцены не были повтором? Повтором того, что происходило на всем разрушенном немцами континенте, в особенности в Восточной Европе, в бесчисленных уничтоженных польских, бе-

[22] *Frei N.* Geschichtswissenschaft // Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. München, 2002. S. 374.

[23] Die Tageszeitung. 3.XII.2001.

[24] *Friedrich J.* Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg. Berlin, 2002.

лорусских, украинских и русских населенных пунктах — от Балтики до Кавказа»[25].

Пожалуй, никогда прежде столь четко не проявлялось в ходе «обращения с прошлым» стремление «нормализовать историю», стало быть, оказаться, как и другие страны Европы, в роли жертвы. Журнал «Der Spiegel», обычно безошибочно реагирующий на колебания вектора общественного мнения, так характеризовал нынешнюю ситуацию: «Пришло время, когда просто не годится дискутировать только о нацистском терроре, оставляя в стороне собственные беды»[26].

В 1970-е годы многие немецкие и зарубежные исследователи полагали, что теория тоталитаризма утратила свое значение. Однако в «новой ФРГ» происходит «тихое торжество» конструкции тоталитаризма. Ее нарочито упрощенная версия сводится к прямому уподоблению политических режимов «третьего рейха» и ГДР. Общеупотребительной стала формула «вторая германская диктатура», а к «12 годам "третьего рейха"» механически прибавляются «40 лет диктатуры СЕПГ». С точки зрения «новых правых», «подлинно тоталитарным государством» была ГДР, а не нацистская тирания (в недрах последней вдруг начали даже «открывать» элементы «гражданского общества» или называть ее «нормальной диктатурой»). В Берлине, в Мюнхене, в Бонне мне довелось быть участником дебатов о «двух германских диктатурах». Обсуждения шли под вполне корректным общим девизом «vergleichen, aber nicht gleichsetzen» — «сравнивать, но не уподоблять». Но на деле неизменно брала верх совсем иная тенденция...

Существует опасность того, предупреждает Юрген Хабермас, что «в слепящем свете второго прошлого поблекнет память о первом прошлом», а «груз короткого сталинистского и сравнительно длительного авторитарно-сталинистского периодов перевесит тяжесть нацистского времени»[27].

Современные дискуссии о нацистском прошлом — это, по существу, споры о перспективах Берлинской республики, споры о том, сохранятся ли в основе германской внутренней и внешней политики XXI века принципы демократического, социального и правового государства.

С уходом из жизни немцев, для которых нацистская диктатура являлась фактом собственной биографии, субстанция коллектив-

[25] *Giordano R.* «Ehe der zurückkehrende Bumerang den Werfer zerschmetterte...» // Praxis Geschichte. 2004. H. 4. S. 51, 52.

[26] Der Spiegel. 2002. H. 10. S. 37.

[27] Die Zeit. 13.V.1994.

ной памяти исчезает и замещается достаточно приблизительными коллективными представлениями. Только пятая часть современных германских граждан являлась свидетелем крушения гитлеризма. Процесс смены поколений накладывается на противоречивую структуру исторического сознания. В историческом сознании ФРГ происходит переход от «памяти коммуникации» к «памяти культуры».

Наступила, говоря словами Анны Ахматовой, «третья эпоха воспоминаний», когда

> Меняются названья городов,
> И нет уже свидетелей событий,
> И не с кем плакать, не с кем вспоминать.

Извлечение уроков из истории «третьего рейха» заняло целую эпоху в германском общественном сознании, эпоху, которая включила активную жизнь трех поколений. Эта эпоха, став уже объектом научной рефлексии (и получив наименование «постистории национал-социализма»), очевидно, завершается или уже завершилась.

Процесс преодоления прошлого отнюдь не соответствовал законам линейного развития. Очевиден его пульсирующий характер. Ритмы преодоления прошлого совпали с ритмами формирования гражданского общества в ФРГ, вхождения в жизнь новых поколений (age cohorts), смены соотношения политических сил в стране, расширения пространства познания «третьего рейха». Но противоположная тенденция отнюдь не прекратила существования. Историческое сознание ФРГ не раз оказывалось на заминированной тропе, ведущей к так называемой «нормализации» фашистского периода.

Решающий прогресс в деле преодоления нацистского прошлого в ФРГ был достигнут в пограничной зоне между историческим знанием и общественным сознанием. В рамках каждого цикла развертывались дебаты, далеко выходившие за стены академического и университетского цехов, будоражившие общество, прямо влиявшие на направленность и характер исторических исследований, на их новую оптику. В ходе дискуссий неизменно ставились (но уже на ином уровне) «проклятые вопросы» — о национальной вине и национальной ответственности.

Преодоление нацистского прошлого — это процесс, а не результат, и трактовать его нельзя одномерно: ни в категории «постоянные провалы», ни в категории «неизбежные успехи». Расчет с наследием «третьего рейха», противоречивый и незавершенный,

можно назвать значимой победой гуманистической мысли и демократического действия. Политическая культура ФРГ смогла (если использовать формулу Льва Толстого) «подняться на ту точку, с которой видишь себя».

Поучителен ли германский опыт для России? Да, потому, что переход наших стран от тоталитарных режимов к демократическому устройству — это незаконченные, разорванные в историческом времени и в историческом пространстве акты единой планетарной драмы.

Применим ли германский опыт в России? Существует слишком много оснований для того, чтобы ответ не оказался утвердительным. Длительность нацистского режима измеряется 12 годами, советский вариант тоталитаризма просуществовал по меньшей мере в два раза дольше. Крушение «третьего рейха» произошло под ударами извне, советский режим пал под воздействием неразрешимых внутренних противоречий. В СССР — при наличии «своего» Освенцима — не было «своего» Нюрнберга. Немцы учились извлекать уроки из своей истории в обстановке формирования и совершенствования гражданского общества, в условиях деятельности государства, обладающего социальной ответственностью. Что касается России, то маршруты движения к гражданскому обществу у нас надежно заблокированы, а нерешенные социальные проблемы побуждают изгонять из коллективной памяти ужасы и злодеяния сталинизма.

Вновь и вновь поколения немецких граждан неизбежно возвращаются к первоистоку, к проблеме, о которой говорил Карл Ясперс в 1945 году в нетопленой аудитории Гейдельбергского университета: «Требование переплавиться, возродиться, отбросить все пагубное — это задача для народа в виде задачи для каждого в отдельности [...] Без пути очищения, идущего из глубинного сознания своей вины, немцу не добыть правды [...] Где подлинное сознание вины колет как жало, там само сознание поневоле преобразуется»[28].

[28] *Jaspers K.* Op. cit. S. 54, 80, 83.

Моника Флакке, Ульрике Шмигельт

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Из мрака к звездам: государство в духе антифашизма

«Восставшая из руин и обращенная в будущее» — так начинался национальный гимн ГДР, так с первых же его строк были заявлены программные цели создания Республики[1]. Ссылка на христианскую метафору воскресения, обещания новой, вечной жизни означала, что ГДР претендовала на то, чтобы стать раем на земле.

Провозглашение Германской Демократической Республики 7 октября 1949 года стало результатом советской политики в отношении Германии в условиях обостряющейся холодной войны. Создать государство — значит также суметь объяснить, почему и зачем оно должно существовать. При этом, согласно Эрнесту Ренану, «забвение, и я скажу даже, историческое заблуждение, — существенный фактор в деле образования нации, так что прогресс исторических наук часто представляет опасность для национальности. Историческое исследование, в самом деле, выводит на свет факты насилия, сопровождавшие зарождение всех политических формаций, даже таких, последствия которых были весьма благодетельны»[2].

Моника Флакке курировала, а Ульрике Шмигельт сопровождала как научный сотрудник выставку «Мифы наций. 1945 год — арена воспоминаний», проходившую в Германском историческом музее на рубеже 2004—2005 годов. Статья написана для каталога к этой выставке. Перевод печатается с разрешения авторов.

[1] Слова гимна, написанного Иоганнесом Р. Бехером и Ханнсом Эйслером, с момента прихода к власти Эриха Хонекера, или даже раньше, больше не пели, звучала только мелодия. Формула «Германия — единое отечество» в первом куплете уже не вписывалась в политический курс руководства.

[2] *Renan E.* Qu'est-ce qu'une nation? [Цит. по: *Ренан Э.* Что такое нация. Лекция, читанная в Сорбонне. СПб., 1886. С. 10—11. — *Примеч. ред.*]

В советской оккупационной зоне — ГДР необходимо было забыть, что действительно произошло на войне. В 1945—1949 годы начало новой жизни для большей убедительности старались снабдить историческими корнями. Прошлую общую жизнь, в которой были совершены чудовищные преступления, необходимо было облечь в такой нарратив, который позволил бы легитимировать создание государства и заставило бы всех поверить в его миролюбие. Основанная 22 апреля 1946 года СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии), очень быстро ставшая под советским, вникающим во все детали контролем доминирующей в немецких органах управления советской зоны оккупации, основала миф о своем создании на антифашизме и освобождении от фашизма. Наряду с освобождением Красной армией, одной из основных тем национальной историографии стало движение Сопротивления под руководством коммунистов. Отцы-основатели ГДР, следуя советскому примеру, были едины в том, что величайшее поражение рабочего движения должно быть истолковано как победа, что жертвы террора являются героями, которые боролись за победу над фашизмом и положили свои жизни за социалистическое будущее. Это представлялось вполне убедительным, поскольку большинство членов СЕПГ первого призыва были участниками коммунистического подполья. Своей моральной репутацией коммунисты пользовались для того, чтобы вытеснить из политической жизни не только изобличенных нацистских функционеров, но и своих политических противников, а также те слои, которые являлись носителями гражданского общества. Убежденность коммунистов в том, что они создают лучшую Германию, основывалось на их собственном прошлом в рядах Сопротивления, так же как и на том, что в ГДР все руководящие посты занимали участники антифашистской борьбы[3]. Соответственно, общим прошлым было антифашистское Сопротивление, которое с освобождением Красной армией достигло своей цели и сделало возможным будущее в антифашистском социалистическом государстве. Эти главные мифы о создании Республики конструировали такое прошлое, которое нашло свой высший смысл в существовании ГДР. Именно так следует понимать приветственную телеграмму Сталина президенту Вильгельму Пику и премьер-министру Отто Гротеволю по случаю создания ГДР: «Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли германский и советский народы, что эти два народа обладают наибольшими потенциями в Европе для совершения больших акций миро-

[3] *Danyel J.* Der 20. Juli // *François E., Schulze H.* (Hrsg.) Deutsche Erinnerungsorte. Bd. 2. München, 2000. S. 233.

вого значения. Если эти два народа проявят решимость бороться за мир с таким же напряжением своих сил, с каким они вели войну, то мир в Европе можно считать обеспеченным»[4].

В статье, опубликованной в газете «Neues Deutschland» 28 февраля 1948 года, Вальтер Ульбрихт писал, что дело не в том, кто чем занимался во время нацизма, а в том, на чьей стороне он сегодня и насколько активно участвует в демократическом строительстве[5].

Сталин и Ульбрихт сделали из народа-преступника народ-победитель, народ-мученик, народ-жертву. В этих программных текстах не было виновных. Таким образом, «партайгеноссен» НСДАП и эсэсовцы оказались интегрированы в новую систему, в том числе и потому, что они нужны были для восстановления, а память о злоупотреблениях оккупационной державой — Советским Союзом своей властью в отношении гражданского населения была табуирована. Правда, наряду с этим имело место преследование несогласных со сталинистской политикой СЕПГ. Их всячески притесняли, изолировали, сажали в лагеря. Антифашизм[6] стал государственной доктриной, которая оказывала свое воздействие даже на обыденную речь, пропитывала ее. Рождение ГДР как духовной наследницы антифашизма вплоть до конца этой республики осенью 1989 года ежегодно отмечалось масштабными инсценировками у памятника советским воинам в Трептов-парке в Берлине и в бывшем концентрационном лагере Бухенвальд.

Освобождение

(Пере)интерпретация поражения германского рейха как освобождения немецкого народа от «гитлеровского фашизма» была заложена в работах живших в эмиграции, прежде всего в СССР, немецких коммунистов уже тогда, когда обозначилось поражение под Сталинградом[7]. В первые десять лет после окончания войны в окку-

[4] *Сталин И.В.* Телеграмма президенту Германской Демократической Республики господину Вильгельму Пику, премьер-министру правительства Германской Демократической Республики господину Отто Гротеволю // Правда. 14.10.1949. № 287(11394). С. 1.

[5] Neues Deutschland. 28.2.1948.

[6] Несмотря на крушение ГДР, миф об антифашизме продолжает существовать и обсуждаться. См. в Интернете: www.antifa.de, www.muenster.org/vvn-bda/vvn.html (по состоянию на 31 июля 2003 года).

[7] *Kumpfmüller M.* Die Schlacht von Stalingrad. Metamorphosen eines deutschen Mythos 1942—1943 bis 1992—1993. München, 1995. S. 136.

пированной Советским Союзом части Германии и затем в ГДР складывалась память об «освобождении», которая в визуальном плане выражалась главным образом в двух образах. Буквально врезанной в коллективную память была фотография советского военного корреспондента Евгения Халдея, сделанная после взятия рейхстага: солдат устанавливает красное знамя на крыше здания. Для советской пропаганды рейхстаг был «оплотом фашистской бестии». Знаменитой эта фотография стала в связи с тем, что зафиксировала момент, который в советском понимании вошел в историю как воплощение освобождения и победы Красной армии. Соответственно, профессионально «подготовленная» фотография Халдея использовалась для открытия темы «Освобождение» в постоянной экспозиции Музея германской истории или как массовый продукт, например на медали к 30-летию окончания войны.

Действительно глубокое воздействие, однако, производил памятник советским воинам в берлинском Трептов-парке, созданный в 1946—1949 годах после объявленного советскими оккупационными властями конкурса архитектором Яковом Белопольским и скульптором Евгением Вучетичем. В нем соединились триумф, скорбь и стремление к примирению. Центральная фигура памятника — гордо стоящий воин символизирует победу советских войск над фашизмом. Мечом в правой руке он разбил лежащую у его ног свастику, а на левой руке он держит немецкого ребенка. Эта фигура стала эмблемой освобождения во всех государствах Варшавского договора. Сооружение одновременно является братским кладбищем павших при штурме Берлина советских солдат. Подобных мемориалов в ГДР было множество, особенно вблизи полей крупных сражений, как, например, на Зееловских высотах или под Хальбе. Напротив, для солдат вермахта на территории ГДР не было специальных захоронений или тем более кладбищ.

Сделанная Халдеем фотография и монумент в Трептов-парке до конца ГДР оставались главными образами памяти об «освобождении». Собственные официальные образы на тему «Освобождение Красной армией» в ГДР не создавались, как будто пассивная историческая роль потребовала отказа от активности в визуальном оформлении памяти народа. Быть может, по этой причине студия ДЕФА не выпустила ни одного настоящего «фильма об освобождении». В документальных фильмах, которые обычно снимали к очередной круглой дате, использовали исключительно материалы советских военных корреспондентов. Правда, объясняется это и тем, что иные свидетельства были практически недоступны. Единственным снятым на студии ДЕФА фильмом, остро поставившим проблему окончания войны в Германии, была картина Конрада

Вольфа «Мне было девятнадцать» (1967). Режиссер не стал следовать предписанной установке, будто советскую армию повсюду встречали с радостью, а рассказал о страхе людей, о насилии со стороны советских солдат, что в ГДР было табуированной темой, и о том, что самые простые немцы из боязни перед русскими совершали самоубийство[8].

Концепция «Памятника советским солдатам, павшим при штурме Берлина», — официальное название сооружения в Трептов-парке — давала понять побежденным, что их освободили. Центральная фигура мемориала воплощала легенду о красноармейце, который в жестоком месиве боев на улицах Берлина спас маленькую немецкую девочку. Ребенок здесь служит олицетворением безвинного, ставшего орудием в руках империалистов и милитаристов немецкого народа, который, так же как и другие порабощенные Гитлером народы Европы, был освобожден Красной армией от господства национал-социализма. Таким образом, этот советский монумент не только выражал триумф победителя — с ним могли идентифицировать себя и «освобожденные». Правда, в то же время от них требовались благодарность и неявно, как некая ответная услуга, верность и послушание.

После создания ГДР в ознаменование 8 мая — официального «Дня освобождения» — сложился подобный богослужению ритуал с советским памятником в Трептов-парке в качестве «иконы» (в случае необходимости — в качестве макета на сцене театра варьете «Friedrichstadtpalast»). Ежегодно 8 мая, накануне советского Дня Победы, у монумента перед собравшимися юными пионерами и членами Союза свободной социалистической немецкой молодежи произносились речи и возлагались венки. Кроме национальных гимнов обоих государств исполнялись и другие произведения из социалистического репертуара, например советская песня-марш «Священная война» или песня на слова Иоганнеса Р. Бехера «Спасибо вам, советские солдаты». Именно эти мероприятия, их оформление и официальные сообщения о них позволяют понять, как поражение германского рейха во Второй мировой войне превратилось в победу над фашизмом и в освобождение немецкого народа, народов Европы и, наконец, всего человечества[9], стало мифом о рождении ГДР.

[8] Советский посол в Берлине даже пытался добиться запрещения фильма. См.: *Mönch R.* Konterbande nach Moskau. Enttäuschte Hoffnung der DDR: Ein Gespräch mit Jaecki Schwarz über Konrad Wolfs Film «Ich war neunzehn» // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 9.07.2003.

[9] Neues Deutschland. 8.05.1975.

Во время торжественного открытия мемориала 8 мая 1949 года Отто Гротеволь сказал: «Четыре года назад здесь бушевало пламя священной войны. Сегодня мы, немецкие антифашисты, вместе с вами [...] склоняем головы перед павшими советскими героями. Мы никогда не забудем победу советской армии, которая спасла немецкий народ от ужасов фашизма. И мы всегда будем воспитывать наших детей в духе благодарности великому Советскому Союзу, которому они обязаны жизнью»[10].

Сам выбор места для памятника должен был символизировать связь немецких антифашистов с освободителями. Говорят, что Вильгельм Пик предложил поставить его в Трептов-парке, так как отсюда начинались многие демонстрации берлинского пролетариата, здесь выступали Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Эрнст Тельман и другие вожди немецкого рабочего класса, — словом, это место овеяно революционными традициями[11]. 30 апреля 1946 года на месте захоронения советских солдат в Трептов-парке немецкие антифашисты поставили памятный камень с надписью «Незабвенные жертвы, принесенные за нас, благодаря которым мы вышли из мрака фашизма. Жертвы, ставшие для нас предостережением, вечная вам честь и вечная слава!»

Идея освобождения была заложена уже в условия конкурса на сооружение памятника, опубликованные военным советом советских оккупационных войск[12]. От архитекторов и скульпторов прежде всего требовалось выразить мысль об увековечении «интернациональной освободительной миссии советской армии»[13]. И совершенно в духе этих требований и соответствующей интерпретации истории памятник после торжественного открытия был включен в государственный церемониал ГДР в память об освобождении.

Государственный акт в честь 10-летия «освобождения от фашизма» описывался в «Neues Deutschland» от 8 мая 1955 года как «проявление международной значимости, добрых и дружественных отношений Германской Демократической Республики со всеми миролюбивыми государствами и особенно с великим Советским Союзом». В опубликованной здесь же, обращенной «ко всем нем-

[10] *Величко М.А.* Памятник воинам советской армии, павшим в боях с фашизмом. Берлин, Трептов-парк. М., 1961. С. 12 и сл.

[11] *Бартенев И.А.* Вечная слава. Памятник воинам советской армии, павшим в боях с фашизмом в Берлине. Л., 1967. С. 1.

[12] Berlin, Hauptstadt der DDR. Bauten unter Denkmalschutz. Berlin (Ost), 1985. S. 271.

[13] Ibid.

цам» речи Вильгельм Пик выдвинул тезис, отделяющий немецкий народ от «империалистов» и «милитаристов», которые привели его к катастрофе. Он говорил о «войне за мировое господство германских империалистов», которая «отозвалась чудовищным насилием против немецкого народа». И далее: «Только победа Советского Союза в грандиозной битве за Берлин положила конец преступлениям германских милитаристов. Таким образом, 8 мая принесло нашему немецкому народу избавление от бесконечной войны и ужасных разрушений»[14]. В тот момент, когда еще свежа была память о войне и поражении, обоснование идеи освобождения казалось необходимым. Но через 15 лет для Вилли Штофа такая интерпретация окончания войны считалась очевидной истиной, не требующей каких-либо разъяснений[15].

После канонизации воплощенный в советском памятнике образ, вплоть до нюансов интерпретации, оставался обязательным на все время существования ГДР. Таким он предстает, например, на памятной медали майсенской фарфоровой мануфактуры к 10-летию освобождения или на монете в 10 марок к его 40-летию. В последнем случае сочетание с гербом ГДР — молотом и циркулем — на обратной стороне монеты можно понять как присвоение этого образа, но прежде всего это связано с тем, что речь шла об официальном платежном средстве ГДР. Такое визуальное присвоение образа через сочетание с государственной символикой можно было увидеть и на 20 лет раньше, на плакате Петерпауля Вайса 1965 года. На нем пространство заполнено фрагментом, несущим основную смысловую нагрузку всего памятника: правая нога воина, перед ней меч и кусок разбитой свастики, а также часть цоколя. На заднем плане, подобно восходящему солнцу, обрамленные лучами молот и циркуль, государственный герб ГДР. В этом плакат формально схож с плакатом 1960 года, посвященным Бухенвальду. Характерно, что такое сочетание появилось на плакате, который анонсировал выставку «Освобождение» в Музее германской истории (Восточный Берлин). Ведь и сама экспозиция точно воспроизводила официальную версию германской истории.

На то, что центральная фигура мемориала служит кодом освобождения немецкого народа от фашизма, указывает и упрощенная интерпретация образа. Главные элементы, составляющие советскую память о войне — скорбь и триумф, — были вынесены за скобки. И тем не менее присвоение образа отвечало советским пред-

[14] Neues Deutschland. 8.5.1955.

[15] Ibid. 9.5.1970.

ставлениям: в связи с 25-летием ГДР Центральный комитет СЕПГ, Государственный совет и Совет министров Республики получили в подарок от командования Советской группы войск в Германии настольное украшение в виде именно этой фигуры. Советский памятник использовался в качестве официального образа мифа о создании ГДР, и тем самым Республика все более явно определяла себя как государство милостью Советского Союза. Однако сознание вечной благодарности предполагает и постоянное чувство долга. Так символ освобождения стал одновременно проявлением подчинения, следствием которого было постоянное воспроизводство политического и социально-психологического напряжения.

Бухенвальд

Наряду с мемориалом в Трептов-парке, другим важным для формирования национальной памяти местом стал бывший концентрационный лагерь Бухенвальд, а история о так называемом «самоосвобождении узников лагеря» прочно вошла в официальную мифологию. 11 апреля 1945 года 6-й танковый дивизион 3-й армии США подошел к концлагерю. После бегства эсэсовцев, еще во время боев узники — участники Сопротивления взяли лагерь под свой контроль[16]. В ГДР этот прецедент интерпретировался как самоосвобождение и стал одной из важнейших опор мифа о создании ГДР, придающей ей исторические корни и самосознание. К тому же в Бухенвальде в 1944 году был убит Эрнст Тельман, председатель Коммунистической партии Германии с 1925 года. То, что он выдержал столь длительное заключение, с 1933 по 1944 год, и сама его смерть должны были служить примером и напоминанием, прежде всего для молодежи[17].

Исходным моментом этой самостилизации, или, по выражению Ренана, подтверждения принесенных жертв, стала «Клятва Бухенвальда». В связи с возведением одного из первых памятников погибшим в концентрационном лагере Бухенвальд оставшиеся в живых узники и члены интернационального лагерного комитета 19 апреля 1945 года, вскоре после освобождения, дали торжественное обещание, ставшее позднее известным как «Клятва Бухенвальда»:

[16] www.buchenwald.de/media/index.html (по состоянию на 16 июня 2003 года).

[17] См.: *Nothnagle A.I.* Building the German Myth. Historical Mythology and Youth Propaganda in the German Democratic Republic 1945—1989. Ann Arbour, 1999. P. 93.

«Еще развеваются нацистские знамена, еще живы палачи наших товарищей. Поэтому здесь, перед всем миром, на месте, где совершались фашистские зверства, мы клянемся: мы не прекратим борьбы до тех пор, пока последний виновный не будет осужден судом всех наций. Наш лозунг — окончательный разгром нацизма. Наш идеал — построение нового мира без войн, мира свободы. Это наш долг перед нашими погибшими товарищами и их семьями»[18].

В 1958 году, в связи с открытием Национального мемориала «Бухенвальд», эта клятва была слегка, но все же отчетливо, изменена. Теперь, например, говорилось: «Наша цель — построение нового мира без войн, мира свободы»[19]. Подмена понятия «идеал» понятием «цель» прежде всего подчиняла клятву политической практике ГДР, которая видела своими врагами Федеративную Республику Германию и западный мир. В Бухенвальде напоминали о том, что в лице ГДР существует государство, за которое боролись и победили фашизм такие люди, как Эрнст Тельман и руководители «самоосвобождения», и которое родилось в результате освобождения и потому является исторически легитимным.

Клятва выполняла четыре задачи. Она напоминала о жертвах и мучениках, в то же время указывая на опасность, которая по-прежнему угрожает, и, следовательно, на легитимность ГДР как «антифашистского государства». Она добавляла к образу «освобождения» как акта милости со стороны Красной армии образ «освобождения» по собственной инициативе и собственными силами. Бухенвальд был, так сказать, подтверждением жертв, принесенных самими немцами. Поэтому образ Бухенвальда был чрезвычайно важен для самосознания ГДР. «Самоосвободители» Бухенвальда были как бы прообразом «народа ГДР», народа, который стремился выйти из роли жертвы и взять дело освобождения в свои руки. Лишь сделав первый шаг к самоосвобождению, он оказался достойным освобождения извне. Адекватное воплощение этой идеи нашел скульптор Фриц Кремер, автор мемориала в Бухенвальде.

Памятник Фрица Кремера

14 сентября 1958 года на горе Эттерсберг в окрестностях Веймара был торжественно открыт Национальный мемориальный

[18] *Knigge V.* Buchenwald // *Hoffmann D.* (Hrsg.). Das Gedächtnis der Dinge. KZ-Relikte und KZ-Denkmäler. Frankfurt a. M., 1998. S. 95.

[19] Ibid. S. 95 f.

комплекс «Бухенвальд». Веймар, как ни одно другое место в стране, олицетворял Германию «поэтов и мыслителей», к духовному наследию которых ГДР апеллировала до конца своих дней. Таким образом, с сооружением мемориала в Бухенвальде возникла связь между антифашизмом и веймарской классикой. Благодаря географической близости к Федеративной Республике Германии становилось ясно, что ГДР выступает хранительницей добрых немецких традиций. Восстание антифашистов позволило ей по праву принять это наследство. Основную смысловую нагрузку в новом мемориале несет памятник Фрица Кремера. Группа из одиннадцати фигур сооружена в форме пирамиды и представляет разные человеческие типы, каждый из которых выполняет определенную функцию. В центре стоит Дающий клятву, сбоку от него — Знаменосец. Ребенок и Сомневающийся — это будущее и право на неуверенность. На переднем плане — Падающий, он же — Жертвующий собой, который словно бросает свое тело навстречу эсэсовцам и оказывается сраженным последней пулей. Но за ним уже стоит Дающий клятву, готовый не только не забывать ужасы и зверства, но, уничтожив фашизм и создав ГДР, как бы подтвердить, что жертвы были не напрасны. Он напоминает о «Клятве Бухенвальда».

По поручению Комитета по подготовке открытия мемориала «Бухенвальд» к этому торжественному акту был нарисован плакат, содержащий множество аллюзий. Текст напоминает о жертвах и борцах Сопротивления. Бросается в глаза красный треугольник — опознавательный знак политических заключенных концентрационных лагерей. Тем самым устанавливается прямая связь с самоосвобождением, предпринятым политзаключенными. Охваченный пламенем главный монумент — башня с колоколом и скульптурная группа — вызывает ассоциацию как с Вечным огнем, этим всеобщим символом памяти, так и с очистительным пламенем. О том, что узниками Бухенвальда были не только немцы, напоминают флаги всех наций, обрамляющие красный треугольник. Этот изобразительный язык был обращен к памяти исключительно политических узников, даже возникало впечатление, будто все заключенные Бухенвальда были политическими. Напротив, тот факт, что самые большие жертвы понесли евреи, то есть люди, ставшие заключенными прежде всего из-за своей «расы», игнорировался. Гораздо яснее эту мысль передает плакат 1960 года, на котором на фоне лучей восходящего солнца — по аналогии с государственным гербом ГДР — фигуры памятника как бы шагают в будущее. В названии недвусмысленно возникает связь между освобождением от «гитлеровского фашизма», метафорой будущего (восходящее солнце) и созданием ГДР.

Распространявшаяся с 1972 года Комитетом участников антифашистского Сопротивления шкатулка показывает, как мало с течением времени изменялась визуальная программа. В нее вошли три медали, три памятных знака и три памятные монеты, посвященные теме «Сопротивление против фашизма», а конкретно — мемориалам в Бухенвальде, Заксенхаузене и Равенсбрюке. Среди них был знак, воспроизводящий мотив плаката 1958 года. Поскольку комментарии отсутствуют, напрашивается вывод, что к тому времени больше не было необходимости вновь и вновь напоминать о героях Сопротивления. В 1970-е годы «Бухенвальд» был уже прочно зафиксирован в национальной памяти, так как с 1958 года едва ли не каждый школьник должен был посетить мемориал.

К 1970 году была выпущена памятная почтовая марка, на которой были изображены только скульптурная группа Фрица Кремера и клятва. Марка напоминает о «25-й годовщине освобождения от фашизма», воспроизводя таким образом привычное обобщение. Клятва заканчивается словами: «Мы, верные единству, рожденному в страдании и сопротивлении, клянемся посвятить себя высокой цели взаимопонимания народов, во имя их безопасности, их независимости, мира и свободы! Мы даем клятву».

В 1988 году, незадолго до конца ГДР, в связи с 30-летием открытия мемориала «Бухенвальд» была выпущена еще одна почтовая марка с изображением памятника Фрица Кремера. Этот мотив охотно использовался также в школьных учебниках. Таким образом, с 1958 по 1989 год в концепции визуального ряда ничего не изменилось[20].

Несмотря на это, в концепции экспозиции мемориала в те же годы имели место политически обусловленные повороты. Так, в 1970-е годы в нее была включена тема уничтожения евреев. Однако официальная мифология о Сопротивлении и страданиях, о жертвах и героях под сомнение не ставилась.

После «поворота» [демократических преобразований в ГДР в 1989—1990 годы. — *Примеч. пер.*] монумент в Бухенвальде остается иконой Сопротивления, хотя и не в изначальном смысле: в 1993 году Дитер Шмидт предложил толковать памятник Фрица Кремера в духе сопротивления режиму ГДР[21].

[20] См.: *Knigge V.* Fritz Cremer. Buchenwald Denkmal // *Flacke M.* (Hrsg.). Auftrag: Kunst. 1949—1990. Ausst. Kat. Berlin, 1995. S. 114.

[21] См.: *Schmidt D.* Die Asche brennt auf seinem Herzen: Fritz Cremer — immer im Widerstand // Fritz Cremer — Ein Künstler im Widerstand. Ausst. Kat. Antwerpen; Wilrijk, 1993. S. 72.

Воздействию мифа об антифашизме способствовала также книга Бруно Апица «Голый среди волков». Она вышла почти одновременно с открытием бухенвальдского мемориала и тут же стала бестселлером. Бруно Апиц заслуживал абсолютного доверия: ведь он восемь лет был узником Бухенвальда и выжил. Его книга была издана миллионными тиражами и переведена на 25 языков. Наверное, она имела такой успех еще и потому, что облекала воспоминание о Второй мировой войне в форму эмоционального, трогательного повествования. В 1958 году многие читатели еще ясно помнили войну и национал-социализм, а также свое собственное участие в этих явлениях. Бруно Апиц облегчил их совесть. Он рассказал о человечности посреди варварства. «Голый среди волков» — это история о том, как незадолго до конца войны участвовавшие в Сопротивлении коммунисты и «самоосвободители» лагеря спасли маленького мальчика, польского еврея.

В 1962 году Франк Байер экранизировал книгу. В финальной сцене, которая послужила мотивом и для его плаката, хауптштурмфюрер СС приходит в барак и требует выдать ему ребенка. За его спиной смыкаются ряды узников. В этот момент становится ясно, что знаки поменялись: СС утратила свою власть над людьми. Ребенок осторожно выходит вперед. Интересно, что речь идет о спасении еврейского мальчика, хотя основной темой является Сопротивление коммунистов и их героизм. Таким образом Апиц и Байер обслужили миф об антифашизме и вместе с тем сохранили остатки памяти об уничтоженных евреях. Апиц умолчал о том, что эта правдивая история спасения ребенка на том не закончилась. Ведь вместо Стефана Ежи Цвейга в список на депортацию был включен подросток-цыган Вилли Блум[22].

ГДР и проблема уничтожения евреев

После падения Берлинской стены в 1989 году перед ГДР встал вопрос о том, как вести себя с Израилем и, соответственно, каким будет ее отношение к геноциду. Внезапно на повестке дня появилась и проблема вины, которая не обсуждалась со времени сталинской телеграммы 1949 года. До 1989 года ГДР отказывалась выпла-

[22] См.: *zur Nieden S.* ...stärker als der Tod. — Bruno Apitz' Roman Nackt unter Wölfen und die Holocaust-Rezeption in der DDR // *Köppen M., Scherpe K.R.* (Hrsg.). Bilder des Holocaust. Literatur — Film — Bildende Kunst. Köln; Weimar; Wien, 1997. S. 106. Списки депортированных хранятся в музее мемориала «Бухенвальд».

чивать Израилю компенсации, обсуждения проблемы геноцида не было. Незадолго до объединения с Федеративной Республикой Германией ГДР осознала свою ответственность перед Израилем, а тем самым и ответственность за убийство евреев Европы[23]. До тех пор считалось, что ГДР — антифашистское государство и не несет ответственности за «преступления против человечности».

С 1945 года в Германию из концентрационных лагерей и из эмиграции возвращались евреи, которым удалось выжить. Жизнь еврейской общины налаживалась и в советской зоне оккупации. Сперва в СЕПГ сложилась группа, представленная прежде всего Паулем Меркером, одним из руководителей партии, которая поддерживала идею выплаты евреям компенсаций. Однако очень быстро привилегированные места стали занимать также вернувшиеся из концлагерей коммунисты, участники Сопротивления. По их мнению, евреи, конечно, испытали нечеловеческие страдания, но не боролись. Такую точку зрения отражает часто воспроизводившаяся в школьных учебниках картина Ханса Грундига «Жертвам фашизма» (1946). Два изображенных на ней покойника четко дают понять разницу между погибшим борцом Сопротивления и другими жертвами. В то время как поза одного полна достоинства, будто на катафалке, лицо другого стыдливо прикрыто. Грундиг заимствовал материал христианской иконографии и отразил также идею воскресения, представление о «земле обетованной», которая по воле коммунистов станет реальностью в новом немецком государстве.

С началом холодной войны и в связи с тем, что отношение Советского Союза к Израилю становилось все более натянутым, и в ГДР поле деятельности еврейской общины мало-помалу сужалось. Евреи вынуждены были перейти к обороне. Они были бессильны против аргументации партии, которая в конце концов сделала из имущих граждан еврейского происхождения классовых врагов[24]. Они чувствовали, в том числе и в связи с «делом Сланского»[25] в Праге, нарастание угрозы, и большая часть ведущих деятелей ев-

[23] 8 февраля 1990 года ГДР впервые признала ответственность всех немцев за геноцид. В апреле 1990 года правительство ГДР попросило прощения у государства Израиль. См.: www.dhm.de/lemo/html/1990/ (по состоянию на 31 июля 2003 года).

[24] См.: *Groehler O.* Der Umgang mit dem Holocaust in der DDR // Der Umgang mit dem Holocaust. Europa USA Israel. Köln; Weimar; Wien, 1994. S. 241.

[25] В 1952 году в Праге начался суд над Рудольфом Сланским, которого обвинили в том, что он якобы создал «агентурный центр на службе империализма», приговорили к смерти и в начале 1953 года казнили.

рейской общины бежала в Западную Германию. В 1952 году Пауль Меркер, в адрес которого в ходе «дела Сланского» прозвучали обвинения, был арестован как агент американского империализма и сионизма, а в 1955 году осужден на восемь лет. Правда, в 1956 году, в ходе десталинизации, приговор был отменен[26], но Пауль Меркер больше не мог занимать никаких партийных постов. После смерти Сталина и во время последовавшей затем «оттепели» произошла либерализация в культурной жизни. В 1958 году в кинотеатрах ГДР шел фильм «Звезды». Режиссером-постановщиком был Конрад Вольф, сценаристом — Анжель Вагенштайн. Геноцид присутствовал в этом фильме как подтекст, а собственно темой было обращение солдата вермахта Вальтера в участника Сопротивления. Транспорт с евреями из Салоник по пути в Освенцим останавливается где-то в Болгарии. Караульный солдат Вальтер и учительница-еврейка Рут знакомятся через колючую проволоку. Вальтер влюбляется и решает помочь Рут бежать. Но план не удается. Потеряв Рут, Вальтер вступает в Сопротивление. Колючая проволока, которая на афише служит границей между героями фильма, символизирует не только концентрационный лагерь, но и невозможность быть вместе.

При каждом удобном случае в ГДР старались представить Федеративную Республику Германию как фашистское государство, например в ходе масштабных кампаний против Ханса Мария Глобке, Теодора Оберлендера или Генриха Любке [обремененных нацистским прошлым политиков. — *Примеч. ред.*][27]. Состоявшийся в 1961 году в Иерусалиме процесс над Эйхманом был для ГДР желанным поводом упрекнуть Федеративную Республику в том, что она не преодолела национал-социалистическое прошлое. Кампания, начавшаяся в ГДР в связи с процессом Эйхмана, не могла обойти стороной тему преследования евреев[28]. «Публикации» по этой теме «вообще имели шанс появиться» только «под набат политических кампаний»[29]. Свидетельством тому может быть изданная в Восточном Берлине в 1966 году небольшим тиражом книга Хельмута

[26] См.: *Illichmann J.* Die DDR und die Juden. Die deutschlandpolitische Instrumentalisierung von Juden und Judentum durch die Partei— und Staatsführung der SBZ/DDR von 1945 bis 1990. Frankfurt a. M., 1997. S. 82 ff.

[27] См.: Ibid. S. 133 ff.

[28] См.: *Timm A.* Der 9. November 1938 in der politischen Kultur der DDR // *Steininger R.* Deutsche Geschichte seit 1945. Darstellung und Dokumente in vier Bänden. Bd. 2: 1948—1955. Frankfurt a. M., 1996. S. 254.

[29] *Groehler O.* Op. cit.

Эшвеге «Знак "J". Иллюстрации, документы, свидетельства по истории преступлений гитлеровского фашизма против евреев Германии. 1933—1945 годы». Тем не менее ГДР и впредь в жесткой форме отказывалась обсуждать проблему компенсаций Израилю, ссылаясь при этом на Потсдамские соглашения.

Ставилась также проблема Освенцима. Президент берлинской Академии искусств Конрад Вольф устроил в Академии чтение пьесы Петера Вайса «Дознание», состоявшееся 19 октября 1965 года, то есть ровно через три месяца после завершения во Франкфурте-на-Майне суда над охранниками этого лагеря смерти. Одновременно чтения пьесы прошли в Альтенбурге, Эрфурте, Гере, Потсдаме, Магдебурге, Халле, Нойштрелице, Веймаре и Ростоке. Однако в ГДР не считали, что текст относится и к ее гражданам. Его понимали как обвинение против якобы продолжающегося господства фашизма, представленного прежде всего Федеративной Республикой Германией[30].

С поворотом ГДР к «широте и многообразию» при Хонеккере, но прежде всего в связи с попытками добиться международного признания и установить экономические отношения с государствами Запада, политика культуры стала заниматься новыми темами. В 1974 году наконец вышел фильм «Якоб-лжец», снятый по сценарию Юрека Беккера режиссером Франком Байером как совместная продукция студии ДЕФА и телевидения ГДР. Юрек Беккер, выросший в гетто в Лодзи, бывший узник Заксенхаузена и Равенсбрюка, уже в 1965 году переработал свой материал в сценарий, но ДЕФА от него отказалась. Затем на основе этой истории он написал свой первый роман, который смог опубликовать в 1969 году в издательстве «Aufbau» и за который получил множество литературных премий как на Востоке, так и на Западе. Герой, Якоб Гейм, случайно услышал по радио сообщение о военных победах Красной армии над германским вермахтом. Он рассказал об этом своим друзьям в гетто, чтобы их обнадежить. Поскольку друзья хотят знать о дальнейшем ходе событий, он начинает придумывать хорошие известия. В конце жители гетто сталкиваются с реальностью. Счастливого конца нет: людей увозят. На афише на это ясно указывает изображение Якоба, пускающего мыльные пузыри — ложные известия. Своей ложью он дал жителям гетто возможность выжить, пусть и на короткое время. Так на афише отразилась воля обитателей гетто к жизни. Этот фильм исключительно удачно

[30] См. коллекцию рецензий из различных газет ГДР: Stiftung Archiv der Akademie der Kunste. Berlin. Peter-Weiss-Archiv, 2811.

вписался в концепцию политики правительства ГДР потому, что оно смогло продемонстрировать перед заграницей свой антифашизм и либерализм. При этом свою роль, возможно, сыграло и то, что за год до этого ГДР приняли в Организацию Объединенных Наций и она стремилась создать позитивное впечатление о себе за рубежом. Фильм имел международный успех, он получил Национальную премию ГДР, первым из фильмов студии ДЕФА участвовал в Берлинале и был номинирован на «Оскар».

Чтобы ясно дать понять Западу, что ГДР является страной победившего антифашизма, Республика нуждалась в помощи еврейской общины, которую она по тактическим соображениям с 1960-х годов умеренно, но постоянно поддерживала. В 1980-е годы в Берлине была отреставрирована Новая синагога на Ораниенбургской улице и основан Еврейский центр. В 1988 году в ГДР вспомнили и о погроме в ноябре 1938 года [так называемой «хрустальной ночи» с 9 на 10 ноября 1938 года. — *Примеч. пер.*]. Однако политически тема геноцида оставалась «белым пятном». Вплоть до 1989 года понятия «Холокост», «Шоа» или «геноцид» на страницах школьных учебников отсутствовали[31]. Уничтожение европейских евреев интерпретировалось как крайнее проявление капиталистической системы. Память о том, что происходило в концентрационных лагерях, использовалась с оглядкой на «капиталистический Запад», на Федеративную Республику Германию или США. До 1989 года в ГДР не было никакой информации и о масштабах преследования евреев в нацистской Германии.

Несмотря на это, как показывает история Юрека Беккера, геноцид присутствовал в жизни страны. Один из первых примеров — стихотворение Иоханнеса Р. Бехера «Детские башмачки из Люблина», которое было опубликовано в 1944 году в Москве[32]. Рюдигер Штайнлен, анализируя детскую и юношескую литературу о Холокосте, так пишет об этом стихотворении: «Холокост описывается при помощи уменьшительных форм, напоминающих детский язык»[33].

[31] См.: *Küchler S.* DDR-Geschichtsbilder. Zur Interpretation des Nationalsozialismus, der jüdischen Geschichte und des Holocaust im Geschichtsunterricht der DDR // *Pingel F.* Unterricht über den Holocaust. Internationale Schulbuchforschung. Zeitschrift des Georg-Eckert Instituts. 2000. № 22.1. S. 42.

[32] Впервые стихотворение было опубликовано в октябре 1944 года в Москве, на страницах возглавляемого Бехером журнала «Internationale Literatur». См.: *Becher J.R.* Dichtung. Bd. 1. Berlin, 1952.

[33] *Steinlen R.* Sternenkinder und Tote Engel // *Köppen M., Scherpe K.R.* (Hrsg.). Op. cit. S. 65.

Оппозиция в ГДР, к которой принадлежали также художники и писатели, обратилась к проблемам геноцида и национал-социализма в 1970-е годы, поставив вопрос о вине как бы по ту сторону антифашистских заклинаний. Книга Кристы Вольф «Образы детства», по словам Стефана Хермлина, прервала «долгое молчание в ГДР о вытесненном, бытовом фашизме по ту сторону официальных прокламаций»[34]. Вышедшая в 1976 году в издательстве «Aufbau» книга ставит вопрос о вине, поместив преступников, которые, согласно официальному толкованию, жили, конечно же, в Федеративной Республике, в тесный круг собственной семьи. Однако до 1990 года и речи не было об официальном признании какой-либо собственной вины.

Выводы

Вплоть до ноября 1989 года ГДР рассматривала себя исключительно как государство, в котором антисемитизм и фашизм «искоренены»[35]. Вопрос о геноциде не ставился. Он не соответствовал представлениям, заложенным борцами Сопротивления в «Клятве Бухенвальда», но прежде всего не укладывался в политическую легитимационную концепцию, которой следовало советское руководство, а позднее и лидеры ГДР. Миф о создании ГДР стремился, таким образом, свести весь исторический опыт к антифашизму, разумеется, за счет отрицания и табуирования проблемы вины и вытеснения других вопросов, например личного опыта.

Перевод с немецкого Марианны Корчагиной

[34] *Prill M.* Artikel zu dem Roman von Christa Wolf // Kindlers neues Literaturlexikon CD-ROM. München, 1999.

[35] См.: Rundschreiben des Außenministers der DDR, Oskar Fischer, an alle diplomatischen Vertretungen vom 19. August 1988 // Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv. IV B 2/14/176, Bl. 122/123.

Мария Ферретти

НЕПРИМИРИМАЯ ПАМЯТЬ: РОССИЯ И ВОЙНА. Заметки на полях спора на жгучую тему

Прежде чем перейти к основной теме статьи, то есть к тому, что я назвала «непримиримой» памятью России о войне, я бы хотела сделать замечание методологического характера по поводу использования самой категории «память». На сегодняшний день как в западных странах, так и в России термин «память» подвергся инфляции. Его можно встретить на каждом шагу, как в газетах и журналах, так и во взвешенных научных трудах, но при этом, в большинстве случаев, авторы не заботятся о том, чтобы дать ему хоть какое-то определение. В результате часто говорят о коллективной памяти, о социальной памяти, о групповой памяти, о национальной памяти или о памяти общества, и чем дальше, тем больше вариантов — так, словно это взаимозаменяемые понятия, которые каждый молчаливо наделяет смыслом, наиболее устраивающим его с точки зрения поставленной задачи. Привести пример? Возьмем понятие коллективной памяти, которое иногда расширяется до такой степени, что начинает совпадать с тем, что понимается под памятью нации, а иногда, наоборот, используется, чтобы обозначить нечто вроде «противонаправленной» памяти общества, не согласного с официальной историей-памятью, как это случилось, например, в Советском Союзе эпохи перестройки, когда память стала символом исторической правды, противопоставленной лжи официальной истории. Проблема заключается в том, что памяти самой по себе, так же как и прошлого, не существует. Это всегда конструкция, результат непрерывной и неслышной активности, порой сознательного, а порой бессознательного взаимодействия многочисленных людей и разнонаправленных сил, которые снова и снова ткут воздушное покрывало прошлого. Парадоксально, но в обществе существует столько же видов памяти, сколько индивидуумов, семей, социальных групп, кланов. Память множественна,

и часто разные ее проявления разделены и конфликтуют между собой. И тем не менее можно без труда наблюдать нечто, что естественным образом называется памятью, а именно — и я использую термин как раз в этом значении — ту совокупность представлений о прошлом, которая в данном обществе, в данный исторический момент становится доминирующей и образует нечто вроде разделяемого большинством «здравого смысла». Понимаемая в таком значении, память предстает как один из источников национальной идентичности, то есть того чувства причастности к определенному сообществу, которое, как раз благодаря характерным для него общим местам и мифам, узнает себя в общем прошлом — и, следовательно, общем настоящем. Именно в этом значении я буду использовать категорию памяти, рассматривая заявленную мною тему — проблему памяти о войне в России, то, что я назвала непримиримой памятью, памятью, которая, кажется, вечно обречена на то, чтобы ее калечили.

Память о войне является, как то показывают все опросы общественного мнения, проведенные начиная с конца 1980-х годов группой исследователей, сформировавшейся вокруг Юрия Левады, а также конкурсы по истории XX века, организованные среди учеников средних школ обществом «Мемориал», одной из (если не единственной) цементирующих составляющих памяти в сегодняшней России и одной из опор национальной идентичности. Приблизительно три четверти населения считают войну и, особенно, победу над нацизмом наиболее важными событиями современной истории и воспринимают их как заведомо самый значительный, если не единственный предмет национальной гордости: несомненная стабильность этого показателя в исследованный период, который в остальном характеризуется многочисленными резкими поворотами в сфере памяти, свидетельствует о том, насколько память о войне является всеобщей и глубоко укорененной в обществе. Тем не менее, несмотря на эту всеобщность, она является неоднозначной, двойственной, это память, с которой чрезвычайно трудно сводить счеты, не впадая в обманчивые ловушки, создаваемые доминирующим «патриотическим» дискурсом, потому что в реальности — и это, на мой взгляд, центральный узел проблемы — сам опыт войны был в Советском Союзе трагически двойственным. Война народа до последней капли крови за освобождение страны от нацистских оккупантов, которые вели на востоке войну на уничтожение, чтобы поработить «неполноценных» славян, эта война действительно завершилась победой и освобождением русских земель от иностранного ига. Но именно победа была одновременно

предпосылкой ужесточения сталинской диктатуры, подавившей всякие надежды на внутреннюю либерализацию режима, которые зародились в ходе войны. Эта доблестная борьба против нацистского варварства во имя свободы в конце концов привела к еще большему подавлению этой самой свободы внутри страны. Память о войне, о победе, следовательно, неотделима от сталинизма: как ни поверни их, война и сталинизм, освобождение и гнет переплетены нераздельно.

На мой взгляд, коренное отличие памяти о войне в Советском Союзе, а потом и в России от памяти на Западе заключается как раз в том, как выковывается коллективная идентичность и транслируются ценности, поскольку не следует забывать, что каждая конструкция памяти является одновременно и системой трансляции ценностей и идентичности. Если, говоря схематически, в странах Западной Европы по целому ряду причин, которые здесь невозможно рассмотреть, память о войне была выстроена и положена в основу национальной идентичности разных стран, чтобы передать и укрепить в сознании людей те ценности свободы и демократии, которыми питался антифашизм и во имя которых он сражался, иначе обстояло дело в Советском Союзе. Здесь память о войне была выстроена так, что на первом плане оказывалась не борьба за свободу, но героизм советского народа. Воспевались возрожденная национальная мощь России, вновь обретенное величие Государства и заслуги его непогрешимого главы — Сталина. Другими словами, память о войне стала сначала в Советском Союзе, а потом в России носителем не демократических ценностей антифашизма (и здесь многое можно было бы сказать в связи с увеличившимся в последние годы числом ревизионистских подходов, которые сводят антифашизм к одной только «длинной руке» Москвы), но носителем традиционных националистических ценностей, которые, будучи вплетены в ткань социалистической риторики (так, миф о Москве — третьем Риме преобразовался в миф о спасительной миссии СССР, первого социалистического государства, по отношению ко всему человечеству), постепенно образовали идеологический костяк режима. Именно такое структурирование памяти о пережитом во время войны, в результате которого была подавлена любая альтернативная версия, иные воспоминания (например, о партизанской борьбе с ее духом свободы), и является причиной тех трудностей, с которыми сталкивается ориентированная на идеалы демократического типа Россия, когда хочет вернуть себе важнейшую часть собственной истории: но уверены ли мы, что не существует на самом деле *другой* памяти о войне, которую можно из-

влечь наружу и которая позволит построить национальную идентичность иного типа, несущую демократические ценности и способную приблизить Россию к Западу во имя общей истории и общего ценностного наследия?

Базовая конструкция памяти о войне осталась в России, несмотря на более поздние и вовсе не второстепенные переработки и изменения, той же самой, что была предложена в интерпретации событий со стороны советских властей уже во время войны и кристаллизовалась в связный и единый рассказ с наступлением мира, то есть в самый разгар сталинской эпохи. Немедленное переложение событий в набор упорядоченных воспоминаний было предназначено не только для того, чтобы сделать осмысленной в глазах миллионов потрясенных и ошарашенных людей чудовищную трагедию, пережитую страной. Его целью было также — и это тот аспект, который я бы хотела здесь выделить — придать новую легитимность режиму в момент, когда революция стала уже далеким и поблекшим воспоминанием, и подтвердить несомненное право Сталина на то, чтобы быть лидером страны. Именно отсюда берет начало сложное переплетение умолчаний, полуправды и откровенного обмана, характерное для советской памяти о войне, начиная с сокрытия истинного количества жертв до лжи относительно причин разорительных последствий немецкой оккупации, не говоря уже о бесконечной дозированной полуправде об отдельных сражениях и разного рода событиях, таких, как, например, блокада Ленинграда. И все это обильно расцвечивалось многочисленными мифами о воображаемых героях, иногда придуманных абсолютно на пустом месте. Только в последние годы, после развала СССР, стало возможным начать изучать историю войны и ее больные и темные места более свободно, постепенно заполняя бесчисленные историографические лакуны (я имею в виду, например, появившиеся исследования по истории ленинградской блокады). Но мне важно подчеркнуть другое. Речь идет о том, чтобы выявить составляющие, образовавшие, если можно так выразиться, арматуру советской памяти о войне, составляющие, которые возникали «по горячим следам», но наложили глубочайший отпечаток на все последующие этапы осмысления и которые еще сегодня строят нам ловушки. Именно эти составляющие, впрочем, позволяют измерить то расстояние, которое отделяет память о войне на Западе от памяти о ней в России, расстояние, которое порой кажется бесконечно большим, таким, что, основываясь только на памяти, можно подумать, что речь шла об участии в двух разных войнах.

Выделить следует три момента. Первый. Возврат к русскому национализму, который начался уже в 1930-е годы и достиг апогея во время противостояния с Германией: символичным с этой точки зрения является принятие нового гимна, «Союз нерушимый республик свободных», который в 1943 году сменяет унаследованный от международного рабочего движения «Интернационал»; эта замена однозначно свидетельствует о смещении источников легитимации режима от большевистской революции, уже поблекшей в памяти и даже в самой пропаганде как отдаленный акт основания с размытыми контурами, к идее о восстановлении великой мощи России, представленной, из уважения к декларируемым режимом ценностям, как мощь первого в мире социалистического государства. Второй. Прославление героизма советского *народа*, представленного как неразрывное, однородное и неопределенное единство, внутри которого гармонично переплавились существовавшие в былые времена общественные классы и этнические общины. Война стала тем моментом, когда — так, во всяком случае, мне кажется — действительно обрело плоть и кровь понятие советского народа, рождение которого было узаконено Конституцией 1936 года, торжественно заявившей о состоявшемся строительстве бесклассового социалистического общества: народа, который перед лицом предельной внешней опасности объединяется для того, чтобы как один человек подняться на защиту священной земли социалистического отечества. Ценности национализма и социализма сливаются воедино, позволяя окончательно преодолеть ранее существовавшие различия — вспомним сталинское обращение «братья и сестры», — и становятся основанием для такого особого феномена, как «патриотизм». Было бы интересно, заметим попутно, реконструировать историю термина «патриотизм», как он появился, как укоренился в дискурсе и как осел в сознании. Третий момент касается восприятия врага. Враг для СССР эпохи Сталина — это нацизм, один из вариантов фашизма, который, как навязчиво повторяла пропаганда начиная с 1920-х годов (оставляю здесь в стороне весьма интересные разногласия о сути фашизма внутри III Интернационала), есть не что иное, как высшая стадия капитализма, диктатура капитала, снявшего с себя все демократические маски. Того самого капитализма, новой атаки которого со времен Гражданской войны всегда ждали (и опасались) большевики, считая, что Октябрьская революция пробила мощную брешь в господствующей социально-экономической системе, вернув всем угнетенным надежду и побуждая их к восстанию. Именно это представление о неизбежности новой мировой войны, на этот раз об-

ращенной против государства победившего социализма, и породило тот синдром «осажденной крепости», который будет играть далеко не последнюю роль в дальнейшей истории страны. С точки зрения нашего изложения, следует подчеркнуть, что знак равенства, установленный между капитализмом и нацизмом, привел к тому, что нацизм оказался лишен своей самой сущностной черты, своей движущей пружины, а именно радикального расизма, который нашел выражение в политике систематического, поставленного на промышленные рельсы уничтожения иного, в политике, кульминацией которой был Холокост, уничтожение европейских евреев. Впрочем, Холокост оставался, во всяком случае до распада СССР (за частичным исключением короткого хрущевского периода), предметом величайшего вытеснения из памяти о войне: достаточно подумать, например, о том, как была вычеркнута память об истинной сути массового убийства в Бабьем Яре (еще в 1989 году Советский энциклопедический словарь сообщал, что речь идет о массовом уничтожении советских граждан, а не евреев), или о цензуре, которой подверглась «Черная книга» Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, посвященная свидетельствам об истреблении нацистами евреев на территории СССР.

Структурирование воспоминания как памяти торжествующих победителей вокруг этих трех, вполне определенных в ценностном отношении ключевых элементов с целью прославления вновь обретенной мощи Российского государства привело, среди прочего, к вычеркиванию из памяти огромного массива военного опыта как содержащего, целиком или частично, ценности альтернативные. Самым символичным примером, быть может, является тот дух свободы, который одушевлял фронтовиков и партизан и от которого, несмотря на значительное количество литературных и мемуарных свидетельств (Гефтер говорил даже о спонтанной десталинизации, произошедшей во время войны[1]), в памяти общества не осталось ни малейшего следа. Борьба за свободу, за которую сражались молодые люди, посланные во фронтовой ад, пусть даже и с надеждой на лучшее будущее, не закрепилась в памяти и растворилась в молчании именно потому, что, неся в себе иную систему ценностей, она находилась в противоречии с общественной памятью, которую подпитывало государство. Лишенная права на законных основаниях стать полноценной частью памяти, борьба за свободу внутри страны, индивидуальная и коллективная, борьба за раскрепоще-

[1] *Гефтер М.Я.* Десталинизация // 50/50. Опыт словаря нового мышления / Под общей редакцией Ю. Афанасьева и М. Ферро. М., 1989. С. 395.

ние, которая тем не менее существовала, хотя историю ее еще предстоит написать, была вынуждена находить себе выход только в борьбе за свободу внешнюю, от завоевателя, и таким образом оказалась спутанной, в плане системы ценностей, с патриотизмом — таким эвфемизмом в сталинском и постсталинском СССР окрестили национализм. Носитель авторитарных ценностей — иерархия, послушание, подчинение во имя не очень определенной любви к родине, — патриотизм был навязан как единственный контекст, в котором можно прославлять героизм народов СССР, и стал, в свою очередь, в послевоенное время инструментом подавления того самого духа свободы, который одушевлял бойцов. Борьба с космополитизмом, которая оправдывалась необходимостью расстроить заговор капиталистического Запада против бывшего союзника, а на самом деле направленная на то, чтобы задавить внутри страны тот самый дух свободы, который, возродившись с войной, тревожил сон кремлевского диктатора, одержимого, по словам многих, призраком декабристов, — вот красноречивый тому пример. Но только первый. Потому что похожим образом складываются обстоятельства и в конце оттепели, когда реакция на результаты либерализации в культуре, направленная главным образом против, пусть и очень осторожного, пересмотра прошлого в качестве одной из своих основных мишеней, избрала как раз новое прочтение войны, происходившее благодаря совместной деятельности писателей, которые показывали заплаченную за нее человеческую цену и ее темные стороны (Бакланов, Симонов), и историков (Некрич); и снова во имя патриотизма, во имя защиты вновь обретенного величия России был задавлен дух свободы, присущий фронтовикам, чье влияние на десталинизацию хрущевской эпохи еще предстоит исследовать во всей его полноте.

Примеров можно было бы привести множество. Что я хотела бы подчеркнуть здесь, так это неминуемые последствия подобного сведения памяти о войне к одному «патриотизму». В Советском Союзе это привело к растущему отрыву от памяти о войне тех, кто узнавал себя, пусть и смутно, в идеалах свободы и демократии, даже не отрицая при этом социализм (исключение составляло, вплоть до самой перестройки, диссидентское движение). Эта память постепенно оказалась, по мере того как голоса непосредственных участников слабели и угасали, в распоряжении исключительно националистов. С этой точки зрения примечательно смущение реформаторской интеллигенции перед лицом воспоминаний о войне во время перестройки, когда в знак отказа от того ее публичного использования, которое было характерно для брежневской эпохи,

было заморожено строительство гигантского монумента на Поклонной горе и были отменены военные парады на Красной площади в годовщину Победы. Но формальный отказ не стал началом новой рефлексии. Наступило молчание, за редчайшими исключениями, среди которых Алесь Адамович, одинокий и скорбный голос уцелевшего. Молчание это было одновременно свидетельством того факта, что память о войне, об антифашистской борьбе в частности, с присущими ей идеями свободы, была безвозвратно утрачена. Практически неразрывно сплетенная со сталинизмом по воле режима, подавившего всякие альтернативные формы памяти, война стала тогда жертвой нового проклятия, брошенного сталинской диктатуре. Память о войне снова была покалечена, еще раз лишена того порыва к свободе и к изменению, которым питались фронтовики. Одним из самых бросающихся в глаза проявлений забывчивости было появление в самом начале 1990-х годов исторического ревизионизма, достаточно близкого к аналогичному явлению на Западе (примером может служить Суворов[2]), ревизионизма, который проповедовал принципиальное равенство двух противоборствующих лагерей и призывал к своеобразному умиротворению памяти, основанному на сближении жертв обеих сторон, базирующемся на осознании жестокости соответствующих тоталитарных режимов и призыве «давайте любить друг друга» (достаточно вспомнить о предложениях поставить памятники нацистским солдатам, включая СС[3]). Конечной точкой этого процесса была реабилитация коллаборационизма, начавшаяся опять же в этот период с переоценки Власова и его армии, в которых стали видеть настоящее войско освободителей[4]. Тем не менее, хотя и справедливо учитывать специфику коллаборационизма в Советском Союзе и даже можно допустить, что он мог быть, хотя бы в некоторой степени, выражением стремления покончить с гнетом сталинско-

[2] *Суворов В.* Ледокол: кто начал Вторую мировую войну? День «М»: когда началась Вторая мировая война? М., 1994 (1-е изд. — 1992); *Афанасьев Ю.Н.* Другая война: история и память // Другая война. 1939—1945 / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996.

[3] *Афанасьев Ю.Н.* Реванш // Новое время. 1994. № 4; *Каравцев В.* «Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец» // Комсомольская правда. 22 февраля 1997 года.

[4] См., например: *Семиряга М.И.* Военнопленные, коллаборационисты и генерал Власов // Другая война. 1939—1945 / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996; *Он же.* Коллаборационизм: природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М., 2000.

го режима, коллаборационизм не может, по моему мнению, быть сведен только к этому. И по двум основным причинам. Все же совершенно не второстепенным является то, *с кем* сотрудничали коллаборационисты, поскольку это предполагало хотя бы частичную общность целей, и трудно поверить, что российские коллаборационисты были в полном неведении относительно политики нацистов, в том числе и системы массового уничтожения евреев. Боюсь, проще предположить, учитывая распространенность антисемитизма в Советском Союзе, что, даже если они и не разделяли таких целей, они не считали их достаточной причиной для того, чтобы заявлять о своем несогласии. Вторая проблема, связанная с предыдущей, касается тех ценностей, которые транслирует память о коллаборационизме, ценностей, которые, какой бы протест против сталинского режима в них ни содержался, трудно представить как вдохновленные принципами демократии и свободы.

Другим неизбежным следствием втискивания памяти о войне в тесные одежды «патриотизма» стало растущее ее отдаление сначала в СССР, а потом в России от памяти о войне, сложившейся, пусть и разными путями и под воздействием разных импульсов, в странах Западной Европы. В Западной Европе, даже с учетом всего многообразия и различий ситуаций в разных странах, память о войне конструировалась для того, чтобы донести до новых поколений идеалы свободы и демократии, во имя которых эта война велась и которые воплотились в Сопротивлении[5]. И не только это. По прошествии времени все большее и большее место стало зани-

[5] См., например: *Miccoli G., Neppi Modona G., Pombeni P.* (Red.). La grande cesura La memoria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra Bologna, 2001. Что касается Франции, см. ставшую уже классической книгу Анри Русco: *Rousso H.* Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours. Paris, 1987; *Idem.* Vichy. L'événement, la mémoire, l'histoire. Paris, 2001. О случае Италии, где Сопротивление в последние годы стало предметом ожесточенных дискуссий, существует бескрайняя литература. См., например: *Gallerano N.* Antifascismo, Resistenza, identità nazionale // Passato e presente. 1995. № 36, — одну из первых статей, в которой ставится эта проблема, и, шире, недавнюю обобщающую работу: *Peli S.* La Resistenza in Italia Storia e critica. Torino, 2004, а также исследование Марко Баттини о приостановлении процессов над коллаборационистами: *Battini M.* Peccati di memoria La mancata Norimberga italiana Roma; Bari, 2003.

[6] О связи между модерностью и Шоа можно сослаться на ставший классическим труд Зигмунта Баумана: *Bauman Z.* Modernity and the Holocaust. Oxford, 1989.

мать осознание того, чем была на самом деле трагедия Холокоста: катастрофой не только для судеб европейского еврейства, но и для западной цивилизации как таковой, для той модерности, которой так гордились на Западе и которая породила самое бесчеловечное варварство, когда-либо встречавшееся в истории, — именно в силу своей предельной рациональности[6]. Перевернутое зеркало модерности, Холокост был свидетельством того, как Запад дошел до необратимой черты, прикоснувшись к крайней точке. Неотделимая от памяти войны, память о Холокосте стала суровым упреком, чем-то вроде предостережения от безразличия, в пользу активной гражданской позиции, которая любой ценой воспрепятствовала бы повторению прошлого[7]. Конечно, можно спорить о неоднозначном применении на Западе «избытка памяти» о Холокосте, особенно начиная с 1980-х годов, о том, как это давало возможность замалчивать то, что антисемитизм был на самом деле широко распространен до Второй мировой войны во всех западноевропейских странах, и о том, что биение себя в грудь по поводу геноцидов прошлых позволяет тактично закрыть глаза на те, что совершаются у вас под боком, как, например, в Боснии[8]. Но все это не отменяет того факта, что именно благодаря ценностям, которые несла в себе память о войне, она сыграла первостепенную роль в строительстве послевоенных демократий и, шире, европейской идентичности второй половины XX века.

В отличие от российской памяти, которая при помощи патриотизма поставила на первый план *национальное* содержание события, не случайно названное Великой Отечественной, а не Второй мировой войной, память на Западе строилась на основе того, что воспринималось как специфическая черта войны с нацизмом, а именно что на карту были поставлены не только свобода народов и их интересы, но и нечто более существенное: свобода человека как таковая и защита западной цивилизации в целом, понимаемой как наследие ценностей, родившихся в эпоху Просвещения и

[7] Эту позицию очень ярко выразил немецкий философ Юрген Хабермас, выдвинувший понятие «конституционный патриотизм».

[8] О происхождении этой дискуссии см. спор двух крупнейших специалистов по проблеме геноцида евреев: *Mayer A.* Memory and History: on the Poverty of Remembering and Forgetting the Judeocide // Radical History Review. 1993. № 56. P. 5—20, и *Bartov O.* Intellectuals on Auschwitz: Memory, History and Truth // History à Memory. Studies in Representation of the Past. 1993. № 1. P. 87—119. Анализ проблемы см. в книге: *Conan E., Rousso H.* Vichy. Un passé qui ne passe pas. Paris, 1996. P. 409—411, 423; *Idem.* La hantise du passé. Paris, 1998.

Французской революции и положенных затем в основу послевоенной европейской демократии.

Сегодня, в начале нового тысячелетия и в канун шестидесятой годовщины Победы, как в Западной Европе, так и в России имеет место ситуация пересмотра и переосмысления. И тут и там память разделена и ощущаются, хотя и по-разному, отдаленные последствия порожденной распадом СССР волны. В течение 1990-х годов в разных странах имела место ревизия кодифицированных рассказов о войне, и во многих случаях она закончилась обвинением в адрес движений Сопротивления[9]. Самый вопиющий случай, вероятно, итальянский, когда правые под руководством Берлускони повели яростную атаку на всю борьбу за освобождение и все партизанское движение с целью лишить легитимности политические силы, которые опираются на ценности Сопротивления, и приступить к реабилитации, и весьма откровенной, фашистского режима[10]. В России с конца 1990-х годов имело место возвращение к старому советскому патриотизму узконационалистического толка (решающий поворот состоялся в 1995 году, в 50-летний юбилей Победы, когда был наконец открыт мемориальный комплекс на Поклонной горе и Ельцин возобновил большие военные парады). С тех пор эта идеология постоянно укрепляла свои позиции, как о том свидетельствует хотя бы подготовка к празднованиям в этом году. Память, какой она предстает сегодня, очень напоминает брежневскую эпоху и транслирует те же ценности авторитарного типа, сильно пренебрегая свободой, словно память о войне, в той мере, в какой она неотделима от сталинизма, не может порождать в России ничего, кроме национализма и культа великой державы.

Следует тем не менее спросить себя, не может ли существовать и другая память о войне, способная приблизить Россию к Западу и передать те свободолюбивые ценности, которые для нас неотделимы от воспоминания о конфликте. Чтобы построить такую память — и здесь я окончательно расстаюсь с костюмом историка, —

[9] Один из самых нашумевших примеров — книга Франсуа Фюре «Прошлое одной иллюзии»: *Furet F.* Le passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXe siècle. Paris, 1995; еще более радикальную позицию см. у Алена Безансона (русское издание: М., 2001).

[10] Нападки на Сопротивление, на котором Первая республика основала свою легитимность, начались в Италии в 1990-е годы. Среди публикаций, вызвавших эту полемику, следует упомянуть: *Galli della Loggia E.* La morte della patria. Roma; Bari, 1996; *Felice R. de.* Rosso e nero. Milano, 1995. Обзор историографии и текущих дебатов см. в: *Peli S.* Op. cit.

я думаю, следовало бы попытаться если не отделить войну от сталинизма, с которым она так прочно срослась, то хотя бы различать их, признавая трагическую связь между освобождением от нацизма и ужесточением режима, чтобы вывести из забвения, на которое он был обречен, тот самый дух свободы фронтовиков и партизанских подразделений, столь часто упоминавшийся в этом выступлении. Думаю, это был бы также путь к созданию общей европейской памяти о войне, способной транслировать те ценности свободы, гражданской активности и разделенной ответственности, которые, во всяком случае потенциально, являются нашим общим достоянием. Многие из моих старых друзей в России, число которых, к сожалению, год от года тает, участвовали в войне, уйдя на фронт еще почти мальчишками. Затем они склонили головы перед свирепостью сталинизма, чтобы ненадолго поднять ее во время оттепели, а затем оказаться придавленными неумолимой полицейской рутиной брежневской эпохи. Я всегда думала, что своей свободой молодого западноевропейца я обязана им, их мужеству и их самопожертвованию. И именно для того, чтобы почтить их память, память Виктора Данилова и Михаила Гефтера, я ставлю вопрос о создании другой памяти: эта другая память является также их памятью.

Авторизованный перевод с итальянского Елены Балаховской

Йорг Эхтернкамп

«НЕМЕЦКАЯ КАТАСТРОФА»? О публичной памяти о Второй мировой войне в Германии

I

Память о войне началась еще до ее конца. Более того, она способствовала тому, что война закончилась так поздно — капитуляцией 8 мая 1945 года. Значения, которыми наделялась война на ее последнем этапе и после ее окончания, были связаны, в том числе, и с коллективным опытом и его пропагандистской интерпретацией. Было бы упрощением выводить воспоминания о войне, тем более — культурно кодированные, из военного опыта, но все же этот опыт предрасполагал к определенным формам коллективной памяти.

Поэтому вначале необходимо хотя бы тезисно назвать некоторые основные аспекты военного опыта и памяти о войне с немецкой стороны[1]. С одной стороны, тот опыт периода до 1943 года, который сгустился в воспоминаниях, подпитывал надежды, в свете которых многим немцам (почти) до конца казалось вероятным или по крайней мере мыслимым, что положение чудом изменится. Не позже весны 1943 года, когда стратегическая инициатива перешла к антигитлеровской коалиции, а германский рейх перешел к обороне, у трезвого наблюдателя не могло остаться сомнений, чем закончится эта глобальная война. Но у большинства немцев еще были перед глазами внушительные, на их взгляд, достижения нацистского режима. Национал-социалистическая политика экспансии и тем самым позиция «фюрера» достигли своего апогея к лету

[1] См. подробный анализ и библиографию в книге: *Echternkamp J.* (Hrsg.). Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939—1945. Erster Halbband: Politisierung — Vernichtung — Überleben; Zweiter Halbband: Ausbeutung — Deutungen — Ausgrenzung. Stuttgart, 2004/05 (= Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Bd. 9/1—2).

1940 года со взятием Парижа. Можно предположить, что, если бы в тот момент состоялись свободные выборы, НСДАП одержала бы блестящую победу.

Национал-социалистическая пропаганда подкрепляла эти воспоминания лозунгами, призывающими к стойкости. Она изображала противостояние расовой войной, которую немецкое «народное сообщество» при всех обстоятельствах должно было вести с мнимыми иудо-большевиками и плутократами. Она силилась обосновать миф о фюрере — веру его сторонников во всемогущество Адольфа Гитлера, которая составляла ядро его харизматического господства (по Максу Веберу) над поликратией нацистского режима и сохранялась до последних месяцев войны, о чем свидетельствует, не в последнюю очередь, то облегчение, с котором немцы в большинстве своем реагировали на новость о провале покушения 20 июля 1944 года. Разве Гитлер не доказал за многие годы, что он знает, что делает? Разве не должно было вот-вот быть введено в действие решающее «чудо-оружие»? Неужели все жертвы должны были оказаться напрасными? Об этой «невозмутимости» населения свидетельствуют официальные шпионские отчеты Службы безопасности СС и «отчеты о настроениях» пропаганды вермахта 1945 года, так же как и частные дневники и письма последних военных месяцев[2].

С другой стороны, они показывают и то, что большинству немцев надоела война, давно пылавшая и на «отечественном фронте». Это относится в первую очередь к катастрофическим последствиям бомбежек, начавшихся в 1942 году. Частью военного быта стали ночи в бомбоубежищах, страх потерять свое жилище, эвакуация, но главным образом — опыт потери близких: редкая семья не оплакивала в последние военные месяцы одного или нескольких родных. Наконец, миллионы, убегая от наступающей Красной армии, покинули свои родные места; а бесчисленные женщины пережили травматический опыт изнасилования[3].

Неудивительно, что большинство немцев к концу войны ощущали в первую очередь одно: облегчение. Однако для других, судьба

[2] Ср.: *Boelcke W.A.* (Hrsg.). Meldungen aus dem Reich 1938—1945. Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS. Herrsching, 1984; *Wette W., Bremer R., Vogel D.* Das letzte halbe Jahr. Stimmungsberichte der Wehrmachtspropaganda 1944/45. Essen, 2001; *Echternkamp J.* Kriegsschauplatz Deutschland 1945. Leben in der Angst, Hoffnung auf den Frieden: Feldpost aus der Heimat und von der Front. Paderborn, 2005.

[3] *Zeidler M.* Kriegsende im Osten. Die Rote Armee und die Besetzung Deutschlands östlich von Oder und Neiße 1944/1945. München, 1996.

которых была неразрывно связана с судьбой нацистского режима, политический и военный крах стал глубоким, личным разочарованием. Для третьих он стал освобождением в буквальном смысле слова: для доживших до него узников лагерной системы и участников эвакуационных маршей, для жертв принудительного труда и для всех тех, кто стал жертвой расистских и политических репрессий режима. Но то, что пережили эти «другие», не принадлежавшие к «народному сообществу», не входило в военный опыт последнего. Да и от оккупации Восточной и Центральной Европы страдали другие. В этом смысле конец войны считался «немецкой катастрофой» — так было озаглавлено опубликованное в 1946 году исследование историка Фридриха Майнеке[4]. Все это определило память о войне большинства немцев после 1945 года. Вместо галопа по хронологии я предлагаю вкратце определить историческое значение конца войны и указать на болевые точки немецкой культуры памяти. После этого мы сможем набросать эскиз изменений в публичной памяти о войне в Германии.

II

Вспоминая конец войны спустя 60 лет, немцы знают его политические и социальные последствия. Общественности не только довольно хорошо известно, что привело к национал-социалистической мировой войне и какой характер с самого начала имела эта идеологически-расистская война. С безопасного расстояния более чем в полвека немцы могут надежно оценить и результат послевоенного развития Германии, которое стало возможным только вследствие краха нацистского режима и капитуляции вермахта, словом — вследствие конца войны. Именно в свете этого знания могут и должны выносить свои исторические оценки все, кроме позитивистов и догматиков.

В немецкой истории 8 мая 1945 года является главным переломным событием. С особой четкостью это помогает увидеть сравнение с концом Первой мировой войны в 1918—1919 годах и его последствиями для первого послевоенного периода в Германии XX века. Эта дата также указывает на горизонт опыта раннего послевоенного времени, на фоне которого развивалась общественная память о 1939—1945 годах. Германия — это теперь уже была лишь территория к западу от Одера и Нейсе. Была отсечена четверть территории рейха по сравнению с 1937 годом (то есть до начала экспансии); оккупированная Германия на многие годы утратила свой

[4] *Meinecke F.* Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen. Wiesbaden, 1946.

суверенитет. В отличие от 1918—1919 годов не могло быть ни малейшего сомнения в военном поражении и окончательности капитуляции, и потому на этот раз практически не оставалось места для мифов вроде тезиса об «ударе кинжалом в спину»* или серьезных сомнений в ответственности немцев за катастрофу. К этому добавлялся и перелом в социальной истории: с утратой восточных территорий (и земельной реформой в советской оккупационной зоне) прекратили свое существование и политически влиятельные крупные землевладельцы в «Остэльбии». Таким образом, в отличие от 1918—1919 годов, исчезло важное препятствие на пути к демократическому гражданскому обществу, на который и встала Западная Германия.

Конечно, на различных уровнях существовала и преемственность, как показала, например, история ментальностей или элит. Как в Восточной, так и в Западной Германии большое значение в политическом дискурсе сохранило понятие «нации», а в ФРГ почти неизменно продолжил свое существование антикоммунизм, и только публичное выражение антисемитизма стало «неприличным» хотя бы ввиду присутствия оккупационных властей. Но в общем и целом, тем более ретроспективно, глядя из периода после 1989 года, следует повторить: по меркам свободного и демократического общественного строя, зафиксированного германской конституцией (да и может ли здесь идти речь о каком-либо другом масштабе?), конец войны стал для немцев освобождением: освобождением от нацистской диктатуры, в которой, говоря словами Бертольта Брехта, «достаточно было подозрения, что кто-то подозрителен», освобождением от режима, от которого немцы без антигитлеровских союзников не смогли бы или не хотели избавиться, освобождением, наконец, доставшимся им очень высокой ценой. Капитуляция вермахта и крах нацистского режима создали в Западной Германии возможность предпринять вторую попытку установить демократический государственный и общественный строй, который оказался стабильным и стойким, в том числе, благодаря «экономическому чуду». С концом войны начался большой шаг на «долгом пути на Запад» (Хайнрих Аугуст Винклер).

Между тем такая форма памяти и на сегодняшний день не является общим местом — да и как могло бы быть иначе в плюралистическом обществе? Еще меньше она таковым являлась на протяжении прошедших десятилетий. Болевую точку образовывало (и

* Представление, будто Германия проиграла Первую мировую войну не на поле брани, а вследствие предательства гражданских политиков. — *Примеч. пер.*

до сих пор образует) понимание столь же центрального, сколь противоречивого факта: того, что безоговорочная капитуляция стала условием свободы — по крайней мере там, где из нее произросла свобода[5]. Поэтому следует задаться вопросом о том, как в Германии развивалась общественная память о Второй мировой войне.

III

В непосредственно послевоенный период внимание немцев на войну обращали сперва оккупационные власти. Так, например, газеты всех оккупационных зон подробно освещали процесс против так называемых главных военных преступников перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге с 14 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года и последующие Нюрнбергские процессы, в том числе против ведущих военных чинов. В отчетах о ходе судебных заседаний все больше стал преобладать мрачный образ войны и вермахта. Сообщения печати не оставляли сомнений в том, что вермахт самым различным образом участвовал в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Перед общественностью предстала целая палитра злодеяний — от знания преступных приказов, по крайней мере, руководством вермахта до присутствия солдат при массовых расстрелах и их возможной поддержки на уровне логистики и, наконец, до прямого участия в массовых убийствах или убийстве отдельных людей. Довольно подробно описывались и эксплуатация, издевательства, насильственный увоз и убийства населения оккупированных территорий[6].

Отчеты о процессах и комментарии к ним говорили о том, как выглядело пособничество вермахта нацистскому режиму. Что же касается военных преступлений, да и самой войны, то не оставлялось сомнений в их специфически нацистских мотивах и способах оправдания. «Лицензированная пресса» признала войну на Восточном фронте идеологической войной, в ходе которой все действовавшие дотоле правила ведения войны нарушались в той мере, в которой национал-социалистической идеологии удалось пронизать

[5] *Winkler H.A.* Umkehr nach dem Untergang // Der Spiegel. 2005. № 5. S. 62—67. Цит. S. 67.

[6] См.: *Echternkamp J.* Nach dem Krieg. Alltagsnot, Neuorientierung und die Last der Vergangenheit 1945—1949. Zürich, 2003; *Idem.* Wut auf die Wehrmacht? Vom Bild der deutschen Soldaten in der unmittelbaren Nachkriegszeit // *Müller R.-D., Volkmann H.-E.* (Hrsg.). Die Wehrmacht. Mythos und Realität. München, 1999. S. 1058—1080. [О вермахте см. статью Вольфрама Ветте в этом номере. — *Примеч. ред.*]

вермахт. Так, например, убийство русских пленных, отмеченных Службой безопасности как «зараженные большевизмом», обосновывалось со ссылкой на «конфликт двух мировоззрений»[7].

Эти ранние элементы культуры памяти были элементом проводимой оккупационными властями политики демилитаризации. Не следует преувеличивать ее эффект, но все же юридическая переработка войны и медийное освещение этой работы сталкивали общественность с фактами и интерпретациями, которые, по крайней мере в течение короткого отрезка раннего послевоенного периода, показывали неприукрашенную рожу войны. В гэдээровской политике истории взгляд на войну оставался сравнительно однозначным и в последующие годы. Образ Второй мировой войны создавался в рамках марксизма-ленинизма. Война, и прежде всего война на уничтожение на Востоке, считалась в первую очередь разбойничьим набегом германского монопольного капитала, лишь облекшего свои интересы в одеяния национал-социалистической идеологии. С упразднением капитализма в советской оккупационной зоне опасность войны была раз и навсегда устранена, в то время как на Западе ввиду преемственности капиталистического экономического и общественного строя, а также ввиду влияния, в первую очередь, США, она по-прежнему угрожала всем немцам. Так долгое время формулировалось кредо ГДР. 8 мая с самого начала отмечалось как День освобождения. Как часть дискурса СЕПГ антифашизм здесь соединялся в качестве легитимирующей ее господство идеологии с официальным жестом благодарности Красной армии. Другое дело, что все это лишь в редчайших случаях соответствовало индивидуальному опыту и воспоминаниям.

В плюралистическом обществе Западной Германии же публичная память была менее однозначной. Культурная кодировка памяти о войне является непрерывным процессом, подпитываемым, не в последнюю очередь, конкуренцией различных интерпретаций. Об этом говорит расслоение общества по поколенческим и политическим признакам. Основные черты культуры памяти быстро стали очевидными после создания Федеративной Республики Германии в 1949 году.

В глазах современников 1950-е годы были не столько началом табуизации войны, сколько периодом принудительной стыдливости, затруднившей рассказ о собственных переживаниях на войне. Между тем временное расстояние делало возможной новую периодизацию, объединяющую два противоположных периода — по-

[7] *Menter L.* Das Schießgewehr // Der Tagesspiegel. 27.12.1945. № 57. S. 3.

следние военные и послевоенные годы — в специфический комплекс переживаний. Война *и* послевоенное время превратились в воспоминаниях многих западных немцев в единый временной отрезок, полный лишений и страданий. Это вписывалось в широко распространенное представление о себе, немцах, как жертвах. Прежде всего гражданское население, для которого война по-настоящему началась только на ее конечном этапе, было убеждено, что как до, так и после 1945 года оно стало первой жертвой «судьбы». Ветераны боевых действий, организации которых вырастали как грибы, не пропускали ни одной возможности пожаловаться на «диффамацию» и оскорбление своего «достоинства» — причем не Гитлером, а союзными державами. Нюрнбергские процессы называли «правосудием победителей». Все это перерабатывалось в беллетристике, посвященной опыту произвола судьбы в период духовного и материального краха и поиска новых масштабов оценок.

Нехудожественные военные воспоминания того времени особенно наглядно показывают, какое значение (образованные) ветераны придавали осветлению и приспособлению к их позитивной самооценке того отрицательного образа, в котором они представали послевоенному обществу, вернее, того, что они воспринимали как такой образ. Они хотели показать, как было на войне «на самом деле». Здесь так же, как и в периодике, связанной с объединениями ветеранов, снова присягали мифу о военных событиях, о фронтовом духе, о таких солдатских добродетелях, как мужество, самоотверженность, преданность. Главное — внеисторическая конструкция «немецкого солдатства» маскировала специфический солдатский опыт вермахта. В тех местах, где павших Второй *и* Первой мировых войн чтили одним памятником и одновременно оплакивали жертвы обеих войн, также размывались контуры Второй мировой войны и вермахта, и оба явления вычленялись из того идеологического контекста нацистской системы, к которому они принадлежали. В этом отношении публичная память о Второй мировой войне в 1950-е годы способствовала историческому обоснованию перевооружения. Для противников же «ремилитаризации», представителей так называемого «движения “без меня”», Вторая мировая война стала устрашающим символом риска любого вооружения. В социальной практике, например на демонстрациях, указание количества умерших на транспарантах предостерегало от возвращения военщины.

О медленном темпе изменений в культуре памяти особо наглядно свидетельствует обращение с сопротивлением внутри армии и оценка 8 мая. Тех офицеров и генералов, которые, пусть поздно,

решились на убийство тирана, сегодня чествуют в годовщины символической даты 20 июля 1944 года, а для бундесвера они даже стали положительными образцами. Но путь к такому пониманию был долог. До середины 1960-х годов таких людей, как граф Клаус Шенк фон Штауффенберг, называли клятвопреступниками и предателями родины. Это можно было понять, ведь не означало ли бы признание заслуг отдельных офицеров умаления достоинства массы бывших солдат, которое следовало интегрировать в память общества? Ведь и союзники поначалу не были заинтересованы в том, чтобы представлять вермахт в положительном свете, но с перевооружением и интеграцией в западные структуры понемногу возрастала готовность признать покушение на Гитлера мужественным поступком, пусть даже в рамках попытки представить его участников спасителями «национальной чести» и родоначальниками демократической Германии.

Лишь очень постепенно к печали о собственных страданиях примешивалась и радость от удавшегося начала новой Германии. Федеральный президент Рихард фон Вайцзекер пусть не первый сказал об этом, но дал наиболее известную формулировку: «И тем не менее с каждым днем становилось яснее то, что мы сегодня должны высказать все вместе: 8 мая было днем освобождения. Этот день освободил всех нас от человеконенавистнической системы национал-социалистического деспотизма». Вайцзекер связывал бегства, изгнания и неволю не с концом войны, а с их исторической первопричиной — 30 января 1933 года. То, что в конце своей речи он призвал западных немцев, «насколько нам это возможно, взглянуть правде в глаза», говорит об уже упомянутой бризантности, присущей такой дифференцированной исторической оценке даже через 40 лет после конца войны[8]. В самом деле, и в 1995 году на страницах культурных приложений к газетам и не только там прошли жаркие дебаты о том, что означает 8 мая в немецкой культуре памяти. Следовало ли вспоминать о поражении и крахе? Или следовало с горечью осознать, что, как сформулировал еженедельник «Die Zeit», «лишь гибель могла стать освобождением»?[9]

[8] *Weizsäcker R. von.* Der 8. Mai 1945 — 40 Jahre danach // Von Deutschland aus. Reden des Bundespräsidenten. Berlin, 1985. S. 13—35. Цит. S. 14 f., 35.

[9] См. призыв примерно 300 консерваторов: 8. Mai — Gegen das Vergessen // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 27.4.1995; *Leicht R.* Nur im Untergang lag die Befreiung // Die Zeit. 8.5.1995. См. также: *Naumann K.* Der Krieg als Text. Das Jahr 1945 im kulturellen Gedächtnis der Presse. Hamburg, 1998.

IV

До сих пор, до 60-й годовщины конца войны, немецкая культура памяти остается отмеченной этим напряжением. При этом за последние годы, в ходе смены поколения, стало очевидно, что, подчеркивая в исторических оценках конец войны как положительный перелом, мы не обязаны забывать об ужасном опыте его современников. Социальная история, история повседневности и культуры давно пролили свет на субъективное измерение военных событий в рейхе, зачастую в локальном или региональном разрезе. В последние годы возрос общественный интерес к судьбе немцев на последнем этапе войны и в непосредственный послевоенный период. Изгнание, бегство и бомбежки стали излюбленными темами СМИ после того, как в 2002 году произвели фурор такие разные авторы, как Гюнтер Грасс с его новеллой «Траекторией краба» и Йорг Фридрих с его описанием бомбежек[10].

В 2004—2005 годах к тому же выходит множество экранизаций войны. Просмотренный уже 4 миллионами зрителей немецкий фильм «Крушение» захватывающе изображает последние дни Адольфа Гитлера в бункере под зданием ведомства рейхсканцлера. Критики обвиняют авторов фильма в том, что они сужают перспективу войны и лишь во время конечных титров упоминают о характерной особенности Второй мировой войны — том цивилизационном разломе, которым стал Холокост. В этой критике отражается специфика плюралистической культуры памяти: публичная борьба за надлежащее представление о прошлом, которое именно не было всего лишь «немецкой катастрофой».

Те, для кого война началась с ее конца, когда она по-настоящему затронула немцев в рейхе, рисуют искаженный образ. «Историзация» прошлого не должна означать оправдания его восприятия современниками. Необходимо осветить его в контексте его причин и следствий. То, что поражение было условием «освобождения», остается горьким, но неопровержимым фактом. Это суждение последующих поколений не умаляет страданий жертв и не отменяет скорби. Но оно предохраняет от лживого представления о равенстве вины.

Перевод с немецкого Михаила Габовича

[10] *Friedrich J.* Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940—1945. Berlin, 2002.

Иоахим Хёслер

ЧТО ЗНАЧИТ «ПРОРАБОТКА ПРОШЛОГО»? Об историографии Великой Отечественной войны в СССР и России

Шестьдесят лет прошло с тех пор, как красноармейцы и партизаны остановили яростный натиск немцев и Советский Союз отпраздновал победу над фашизмом. Как развивалась с тех пор научная проработка прошлого в Советском Союзе, а с 1991 года и в России?

Очевидно, что сразу после 1945 года для нее не было соответствующих политических, экономических и культурных условий. Сталинский режим, в свое время оказавшийся не способным оптимально вооружить страну перед лицом ожидавшегося нападения, в результате военной победы и приобретенного политического престижа был как никогда прочным. Восстановление страны потребовало от людей напряжения всех сил, невзирая на те физические или психические увечья, наедине с которыми их оставили государство и партия[1]. Поздний сталинизм не предоставлял никакого публичного пространства для того, чтобы ставить вопросы о ходе прошедшей войны. До 1953 года исторические науки целиком курировались режимом. Первым и единственным «историком» войны был сам Сталин. Выработанные при его жизни тезисы гласили: Советский Союз всегда придерживался политики коллективной безопасности; пакт о ненападении с гитлеровской Германией от 23 августа 1939 года был единственно правильным решением в безвыходной ситуации; коллективизация и индустриализация — то есть сталинский курс с конца 1920-х годов — явились необходимыми условиями обороноспособности страны; Сталин привел народ к победе; в войне погибло семь миллионов человек; победа над

[1] См. отчет об исследовании, проведенном Николаусом Катцером: *Katzer N.* Die belagerte Festung. Wiederaufbau, Nachkriegsgesellschaft und innerer Kalter Krieg in der Sowjetunion, 1945 bis 1953 // Osteuropa. 2000. № 3. S. 280—299.

фашизмом является выражением принципиального преимущества социализма над всеми другими общественными устройствами[2].

Сразу после смерти Сталина в исторических науках стали предприниматься усилия по оживлению исторических исследований и исторической коммуникации[3]. За восемнадцать месяцев до XX съезда КПСС, состоявшегося в феврале 1956-го, в журнале «Вопросы истории» начали высказываться требования положить конец приукрашиванию «периода социализма». Однако прежде чем это требование успело принести свои плоды, в течение года, последовавшего за XX съездом, партийное руководство заморозило исходящую от исторической науки попытку обновления. Доклад Хрущева, произнесенный вечером 25 февраля 1956 года после официального закрытия съезда, мог бы послужить хорошим основанием для будущих исследований событий войны, несмотря на содержащуюся в нем полуправду и прочие недостатки. Стоя на трибуне, Хрущев ссылался на документы, свидетельствовавшие о том, что Сталин игнорировал все предупреждения о предстоящем нападении немцев, что посредством репрессий он начиная с 1937 года ослабил армию и что из-за стратегических ошибок, совершенных им до и во время войны, он спровоцировал ненужные «колоссальные потери». Докладчик сделал вывод о том, что если бы не ошибки Сталина, то ситуация в 1941 году не была бы такой угрожающей и сражения не потребовали бы стольких жертв. Войну выиграл не Сталин, но «весь советский народ», утверждал Хрущев в феврале 1956 года. Однако 32 года спустя один ветеран войны подал за это же высказывание в суд на писателя Алеся Адамовича[4]. Как это могло произойти?

[2] *Кулиш В.М.* Советская историография Великой Отечественной войны // Советская историография / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996. С. 274—315 (в особенности с. 274—282); *Bonwetsch B.* «Ich habe an einem völlig anderen Krieg teilgenommen». Die Erinnerung an den «Großen Vaterländischen Krieg» in der Sowjetunion // Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert / *Berding H., Heller K., Speitkamp W.* (Hrsg.). Göttingen, 2000. S. 145—168 (в особенности S. 149—151).

[3] Здесь и далее см.: *Hösler J.* Die sowjetische Geschichtswissenschaft 1953 bis 1991. Studien zur Methodologie— und Organisationsgeschichte. München, 1995. S. 15—58; *Idem.* Sowjetische und russische Interpretationen des Stalinismus // *Plaggenborg S.* (Hrsg.). Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. Berlin, 1998. S. 35—68 (в особенности S. 36—37).

[4] Суд отклонил данное прошение. Об этом см.: *Adamowitsch A.* Der Sieg über Hitler — dank Stalin? Oder trotz Stalin? // Blätter für deutsche und internationale Politik. 1988. № 4. S. 500—501.

Политика истории и историческая наука следовали не указаниям доклада Хрущева, но тезисам, сформулированным в июне 1956 года в постановлении ЦК КПСС, направленном против десталинизации[5]. В этом документе фигурирует апологетическая формула, остававшаяся значимой на протяжении последующих трех десятилетий, а именно что «культ личности» не мог изменить «природу нашего общественного устройства». О преступлениях, ошибках и упущениях Сталина, связанных со Второй мировой войной, этот текст не упоминает. Доклад Хрущева оставался закрытым и — после того, как на многочисленных партийных собраниях был устно зачитан, — превратился в миф о «секретном докладе», в то время как июньское постановление ЦК КПСС 1956 года неоднократно публиковалось в СССР и за границей и интенсивно пропагандировалось[6].

Мужественное выступление Хрущева в феврале 1956 года нашло отражение в постановлении об амнистии репрессированных при Сталине советских военнопленных[7], в относительно более легком доступе к архивам, в издании новых научных журналов («Вопросы истории КПСС», «История СССР», «Новая и новейшая история», «Военно-исторический журнал»), в создании рабочей группы при академическом издательстве «Наука» под руководством Александра Самсонова (всего опубликовавшей 90 книг, из них 50 — военные мемуары), в завершении работы над «Историей Великой Отечественной войны» в шести томах, выходившей в свет с 1960 по 1965 год, и, наконец, в публикации 172-страничной книги Александра Некрича «1941. 22 июня»[8].

В шеститомном коллективном труде, созданном в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, критические формулировки Хрущева повторяются, но без подробностей. Несмотря на это, данную работу следует рассматривать как «наиболее серьезное описание» войны, созданное до распада Советского Союза[9]. Однако

[5] См.: *Кулиш В.М.* Указ. соч. С. 284—295.

[6] См.: *Hösler J.* Die sowjetische... S. 28, 46—49; *Idem.* Sowjetische und russische... S. 37—39.

[7] Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 29 июня 1956 года «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей», опубликовано: Военно-исторический журнал. 1991. № 8. С. 32—34.

[8] *Кулиш В.М.* Указ. соч. С. 284.

[9] *Bonwetsch B.* Op. cit. S. 152. Книга была переведена на немецкий: Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion. 6 Bände. Berlin, 1962—1968.

более сенсационной, чем этот труд, оказалась книга Некрича. Она была научно-популярной, но в ней приводилось много документов. В более резких тонах, чем кто-либо до него, Некрич описывает ужасные последствия развязанных Сталиным репрессий против «лучших командиров» Красной армии, страдавшую множеством стратегических, тактических и технических недостатков подготовку военных, ошибочную оценку Сталиным международного положения к началу 1941 года и игнорирование им всех сообщений из-за границы и данных собственной разведки о нападении 22 июня 1941 года[10]. Дискуссия вокруг этой книги, развернувшаяся в 1966 году, и последовавшие вслед за ней репрессии против Некрича, вынужденного в конце концов в 1976 году эмигрировать, явились прелюдией победы сталинистов над сторонниками Хрущева и ознаменовали начало конца едва начавшегося процесса проработки прошлого[11].

Еще в 1965 году Политбюро принимает решение о необходимости создания нового, двенадцатитомного труда по истории Второй мировой войны. Это сочинение, выходившее в свет с 1973 по 1982 год, как никакое другое стало символом многословной, но пустопорожней красочности, с середины 1960-х годов и вплоть до 1985 года отличавшей работы по военной истории. Толстые научные труды и литературно переработанные воспоминания о войне ставили своей целью остановить опасную «дегероизацию», подтвердить преимущество социализма и вновь показать Сталина величайшим военным вождем, сведя на нет его ошибки и преступления. Террор против Красной армии превратился в «необоснованные обвинения», а катастрофические военные поражения — во «временные неудачи». Но опущены были не только критические моменты; отсутствовали также и концептуальные вопросы, а приведенные выше оценки времен Сталина не подвергались никакой ревизии[12].

Исторические дискуссии, поощрявшиеся руководством КПСС с начала 1960-х годов в других областях, прежде всего в изучении Октябрьской революции, коллективизации и исторической методологии, в военной истории не приветствовались. В период с 1968 по 1974 год критические исследования были прекращены, рабочие

[10] *Некрич А.* 1941. 22 июня. М., 1965. С. 84—88, 111—158.

[11] *Hösler J.* Die sowjetische... S. 72—90; *Markwick R.* Rewriting History in Soviet Russia. The Politics of Revisionist Historiography, 1956—1974. N.Y.: Palgrave, 2001. P. 209—219.

[12] *Кулиш В.М.* Указ. соч. С. 295—305.

группы расформированы, а на некоторых действующих лиц наложены взыскания[13]. Партийное и государственное руководство СССР окончательно покончило с «системой предупреждения» [14] любого общества — с заботящимся об истине изучением истории.

Исследовательские подходы, свидетельствующие о критическом отношении к господствующему марксистско-ленинскому образу истории, развивались лишь в рамках трех методологически различных и социально едва связанных друг с другом течений: в работах Тартуско-московской школы вокруг Юрия Лотмана и Бориса Успенского, в публикациях медиевиста Арона Гуревича и философа Михаила Бахтина. В 1970-е годы наметилась частичная рецепция работ Фердинана де Соссюра, Клода Леви-Стросса, Мишеля Фуко, Жака Деррида, Ноама Хомского и других[15]. В случае Фуко этот процесс прервался после первого перевода одной из его книг в 1977 году[16] вплоть до 1990-х годов, когда он снова выплыл на гребне волны философской моды. Только совсем недавно исследователи стали изучать вопрос о том, уходит ли то, что сегодня в России называют «изучением ментальностей», «исторической антропологией» и «социальной историей», корнями в 1960-е или 1970-е годы[17].

Конец научной проработки прошлого после дела Некрича совпал с началом празднования Дня Победы. Спустя двадцать лет после окончания войны 9 мая было сделано выходным днем и стало сопровождаться празднествами, затмевавшими своим блеском даже годовщины Октябрьской революции. Наряду с мифом об основании Советского Союза вторым столпом легитимности стал миф о

[13] *Hösler J.* Die sowjetische... S. 71—184; *Markwick R.* Op. cit. P. 75—233.

[14] Цит. по немецкому переводу (Wo die Beeren reifen. Wien; Hamburg, 1982. S. 130). Оригинал: *Евтушенко Е.* Ягодные места // Москва. 1981. № 10—11.

[15] См. библиографию в статье: *Engelstein L.* Culture, Culture Everywhere: Interpretations of Modern Russia, across the 1991 Divide // Kritika. 2001. № 2. P. 363—393 (особенно: p. 387).

[16] *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977.

[17] См.: *Engelstein L.* Culture... P. 386—393; *Булавка Л.А., Бузгалин А.В.* Бахтин. Диалектика диалога versus метафизика постмодернизма // Вопросы философии. 2000. № 1. С. 119—131; *Кемеров В.Е.* О философской моде в России // Вопросы философии. 2000. № 11. С. 3—11; *Сенявская Е.С.* Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической науки // Военно-историческая антропология. Ежегодник 2002. М., 2002. С. 5—22; *Markwick R.* Cultural History under Brezhnev: from social psychology to mentalities (Paper for presentation to AAASS conference, Boston, December 2004).

«священной войне»[18]. Официальные памятные мероприятия были чуждым для стороннего наблюдателя образом ритуализированы и дополнились воздвигаемыми по плану монументальными памятниками и культивируемым в школах и общественных учреждениях культом героев, призванным прививать моральные ценности. Ритуалы напоминали о героях и долге сражаться за будущее коммунизма. «Ветераны выступали как герои войны, рабочие — как герои труда, а молодежь — наследницей героев. Из этой связи должно было родиться общество советских людей, государство советских героев»[19].

Многое говорит в пользу того, что официальные памятные мероприятия вполне смогли оказывать охватывающее несколько поколений социально интегрирующее воздействие. Свидетельства поколения, пережившего войну, описывали войну как лучшую фазу в советской истории, когда люди осознавали, за что они сражаются и умирают. Евгений Евтушенко в своих воспоминаниях говорит о том, что до войны люди были вынуждены жить «расколотой жизнью». Во время войны же они могли быть откровенными. «Война [...] облегчила душевные страдания русских, потому что им уже не приходилось притворяться». Это, по Евтушенко, стало одной из главных причин победы. Композитор Дмитрий Шостакович выразил ту же мысль, сказав, что люди снова могли скорбеть и плакать тогда, когда хотели[20]. Общий опыт опасности, страданий и радости победы сам по себе образовывал ощущение единства, которое дополняла политика памяти. Создавая историю успеха, она побуждала к самоидентификации и завышенной самооценке через нее. Активное участие людей, переживших войну и рожденных после

[18] Этот топос происходит от одноименного стихотворения Василия Лебедева-Кумача, положенного на музыку Александром Александровым и ставшего во время войны одной из самых популярных песен. В 1985 году в связи с 40-й годовщиной Победы в издательстве «Молодая гвардия» была опубликована книга под названием «Священная война». В своем выступлении 8 мая 1985 года Михаил Сергеевич Горбачев, незадолго до этого избранный генеральным секретарем ЦК КПСС, также использовал это выражение, см.: *Горбачев М.С.* Избранные речи и статьи. Т. 2. М., 1987. С. 188. См. также: *Altrichter H.* Der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg und der Aufstieg zur Weltmacht. 1945 aus russischsowjetischer Sicht // *Jasper G.* (Hrsg.). 1945—1995. Anfänge und Erfahrungen. 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Erlangen, 1998. S. 75—78.

[19] *Arnold S.R.* Stalingrad im sowjetischen Gedächtnis. Kriegserinnerung und Geschichtsbild im totalitären Staat. Bochum, 1998. S. 332.

[20] Обе цитаты см. в: *Bonwetsch B.* «Ich habe...». S. 147.

6. Заказ № 1423.

нее, в памятных ритуалах позволило сделать приятие политической системы переживаемым и зримым для множества людей[21]. При этом будущие исследования памяти должны будут по отдельности исследовать отношение к разным группам (фронтовикам, партизанам, военнопленным, солдатским вдовам, инвалидам, остарбайтерам, жертвам Холокоста и антисемитизма, населению оккупированных Гитлером территорий и так далее).

Сомнения в образе победы и героев появились, прежде всего, у тех, кто родился после войны, — под впечатлением от современной им политической реальности. Там, где потребность в исчерпывающей информации не получала удовлетворения и образовывался разрыв между официальным каноном и индивидуальным опытом, в приватной сфере стали развиваться альтернативные повествовательные структуры, которые могли социализироваться посредством литературы, музыки и публикаций в самиздате. Согласно Денису Козлову, попытки компенсировать расходившееся с официальным ощущение современности стали с начала 1960-х находить выражение в глубоких сомнениях в официальном образе истории, в ностальгическом взгляде на дореволюционную Россию и в безбрежной ориентации на факты, то есть в тех моментах, которые стали определять историческое мышление со времени конца перестройки[22].

Известно, что руководство КПСС при Горбачеве отрицало необходимость проработки прошлого даже тогда, когда уже получили хождение находившиеся прежде под запретом фильмы и романы. Лишь с начала 1987 года Горбачев стал рассматривать «устранение белых пятен» в историографии как неотъемлемую часть своей политики преобразований. Начавшаяся вслед за тем дискуссия охватила литературные и научные журналы, еженедельники и газеты, приведя к головокружительному росту их тиражей[23]. Помимо этого были бесчисленные телепередачи, кинофильмы, публичные диспуты и «круглые столы». В 1987—1989 годах казалось, что народ повторно учился читать[24]. По сравнению с этим «спор исто-

[21] См.: *Arnold R.* Op. cit. S. 335 ff. passim; *Bonwetsch B.* Op. cit. S. 147 f., 156—158; *Altrichter H.* Op. cit. S. 78, 83—85.

[22] *Kozlov D.* The Historical Turn in Late Soviet Culture: Retrospectivism, Factography, Doubt, 1953—91 // Kritika. 2001. № 3. P. 577—600. О возможностях пересечения диссидентского мышления с национализмом см.: *Kochanek H.* Die russisch-nationale Rechte von 1968 bis zum Ende der Sowjetunion. Eine Diskursanalyse. Stuttgart, 1999.

[23] *Davies R.W.* Soviet History in the Yeltsin Era. London, 1997. P. 221.

[24] *Schlögel K.* Im Widerschein des Feuers. Die dramatische Geschichte der Sowjetunion erfaßt die Lebenden // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 21.11.1987.

риков» в ФРГ в середине 1980-х годов представлял собой дискуссию в узком кругу специалистов. С середины 1988 года руководство КПСС было уже не способно контролировать публичные дебаты, которые отличались захватывающей детабуизацией всех ранее запрещенных тем, реперсонализацией истории и существенными импульсами со стороны литературы, кино и общественных инициатив, таких, как основанная в 1988 году организация «Мемориал». Однако со стороны институционализированных исторических наук подобных импульсов не исходило[25].

Никакая другая дискуссионная тема не привлекала такого большого числа участников, как Великая Отечественная война. Такие фильмы, как «Завтра была война» Юрия Карры и «Иди и смотри» Элема Климова, рассказывавшие о событиях войны с позиции детей и молодежи, в 1986 году посмотрели десятки миллионов человек. Зрители старше пятидесяти лет столкнулись с историей собственного поколения. Академик Александр Самсонов получил в 1986 году около 2500 откликов на свою статью; он вступил с читателями в диалог и затем опубликовал эту переписку[26].

В силу своего высокого эмоционального воздействия проблема Великой Отечественной войны была первой тематизируемой проблемой в исторической дискуссии и одновременно представлявшейся наиболее сложной для детабуизации. Особенное освобождающее воздействие произвели в тот момент: решение советского Генерального штаба, позволившего весной 1987 года опубликовать беседы Константина Симонова с маршалом Жуковым, первая советская биография Сталина, вышедшая из-под пера Дмитрия Волкогонова, опубликованная в 1989 году и рассказывавшая об ошибках и преступлениях сталинского режима, предшествовавших 22 июня 1941 года, а также публикация мемуаров Жукова без цензурной правки[27]. Постепенно, зачастую в очень мучительном процессе тематизировались все критические моменты, извлекались на свет документы, рассказывавшие о преступлениях, и передавались в свободное пользование исторической науке. К числу таких моментов относились: репрессии против Красной армии и ошибки

[25] *Hösler J.* Die sowjetische... S. 221—250.

[26] *Самсонов А.М.* Знать и помнить. Диалог историка с читателем. М., 1988.

[27] *Симонов К.* Глазами человека моего поколения // Военно-исторический журнал. 1987. № 6, 7, 9, 10, 12; *Wolkogonow D.* Stalin. Triumph und Tragödie. Ein politisches Porträt / Aus dem Russ. von Vesna Jovanoska. Düsseldorf, 1989. S. 459—553 (оригинал: *Волкогонов Д.* Сталин. Политический портрет. В 2 кн. М., 1989); *Жуков Г.К.* Воспоминания и размышления: В 3 т. М., 1990.

Сталина непосредственно перед немецким нападением (весна 1987 года), осуждение военнопленных как предателей и отступления как преступления (конец 1987 — сентябрь 1988 года), жертвы террора из числа активистов Коминтерна (1988 год), армия Власова (лето 1989 года), убийство около 15 000 польских офицеров под Катынью (осень 1987 — апрель 1990 года), цена победы (1987—1990 годы), секретные германо-советские протоколы пакта о ненападении (1987 — октябрь 1992 года) и другие[28].

Переоценка истории после 1987 года и русификация образа истории главным образом после 1991 года привели к тому, что, за исключением Великой Отечественной войны, никакое другое центральное явление советской истории более уже не вызывало позитивных ассоциаций и не удостаивалось сохранения в памяти общества. Начиная с середины 1990-х годов политика истории стремилась к тому, чтобы подвергнуть сомнению дихотомию, господствовавшую с определенного времени в дискуссиях о победе над фашизмом, а именно — была ли эта победа достигнута благодаря Сталину или вопреки ему. В центре репрезентативного изображения оказался «народ-победитель». Однако вместе с тем с жестом высочайшего научного авторитета указывалось на «существенную роль» Сталина как организатора и объединяющего символа в период борьбы за выживание и подчеркивалось единство народа с политической системой и ее высшим представителем[29].

Празднование 50-й и 55-й годовщин победы над фашизмом и открытие в 1995 году на западе Москвы парка Победы свидетель-

[28] *Bonwetsch B.* Der «Große Vaterländische Krieg» und seine Geschichte // *D. Geyer* (Hrsg.). Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. Göttingen, 1991. S. 167—187 (особенно S. 171—186); *Hösler J.* Die sowjetische.... S. 237—250, 262—266; *Пронько В.А.* Цена победы // Вторая мировая война. Актуальные проблемы. М., 1995. С. 313—323; *Altrichter H.* Op. cit. S. 90—92; *Lipinsky J.* Sechs Jahrzehnte Geheimes Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt. Sowjetrussische Historiographie zwischen Leugnung und Wahrheit // Osteuropa. 2000. № 10. S. 1123—1148.

[29] *Поляков Ю.А.* Историческая наука. Люди и проблемы. М., 1999. С. 176—193; Великая Отечественная война 1941—1945. Военно-исторические очерки: В четырех книгах. М., 1998—1999; *Падерин А.А.* Народ-победитель должен знать правду о войне // Отечественная история. 2000. № 3. С. 40—47; *Гордон А.Е.* Московское народное ополчение 1941 года глазами участника // Отечественная история. 2001. № 3. С. 158—163. О политике истории в 1990-е годы в России см.: *Fein E.* Geschichtspolitik in Rußland. Chancen und Schwierigkeiten einer demokratisierenden Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit am Beispiel der Tätigkeit der Gesellschaft MEMORIAL. Hamburg, 2000.

ствуют о дальнейшем развитии советской иконографии победы, развитой с середины 1960-х годов и приспособленной сегодня к новым политическим отношениям. На место прежнего однообразия и однозначности пришло множество форм, мест и действующих лиц. Обществом были востребованы уже и советско-коммунистические, и религиозные, и националистические, и фольклорные, и популярные толкования. Официальная политика в области истории пытается соединить вместе церковь и государство, военных и гражданских, старых и молодых, чтобы предложить лишившемуся иллюзий обществу «идеальную компенсацию нехватки материальных благ»[30]. Она находит широкий отклик в населении, подавляющее большинство которого, как и прежде, рассматривает победу над фашизмом как самое значительное историческое событие XX века[31].

Хотя в середине 1990-х годов наметилась определенная тенденция к ограничению доступа в архивы, положившая конец «архивной революции» и «золотому веку» для историков, сохраняющиеся сегодня возможности доступа к архивным документам, многочисленные издания источников и другие общие условия предоставляют необходимую базу для серьезных исследовательских проектов[32].

С начала 1990-х годов в центре дискуссий постоянно оказываются вопросы, связанные с предвоенным периодом (1939—1941 го-

[30] *Uhlig C.* «Russland — die Grossmacht — fürchtet niemanden und nichts». Die Vorstellungen der russischen Staatsführung von einer postsowjetischen Identität und die verschiedenartigen Versuche, diese der russischen Gesellschaft zu vermitteln // *Boskovska N. et al.* (Hrsg.). Wege der Kommunikation in der Geschichte Osteuropas. Köln; Weimar; Wien, 2002. S. 298; *Altrichter H.* Op. cit. S. 92—94; *Arnold S.R.* Op. cit. S. 391—400; *Davies R.W.* Soviet History... P. 73—75.

[31] Согласно опросам, в 1989 году этих взглядов придерживалось 75% населения, а в 1999-м — 85%. См.: *Tschepurenko A.* Die Russen über die Vergangenheit und ihre Erwartungen für das 21. Jahrhundert // Osteuropa. 2001. № 2. S. 136; *Levada J.* Homo Post-Sovieticus // Russian social science review. 2003. № 1. P. 32—67.

[32] *Zubkova E.* «Goldene Zeit» der Geschichtsforschung? Tendenzen der postsowjetischen Historiographie in Rußland // Österreichische Osthefte. 2002. № 1—2. S. 84; *Creuzberger S.* «Ich war in einem völlig anderen Krieg...». Die sowjetische und russische Historiographie über den «Großen Vaterländischen Krieg» // Osteuropa. 1998. № 5. S. 510—516; *Altrichter H.* «Offene Großbaustelle Rußland». Reflexionen über das «Schwarzbuch des Kommunismus» // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. 1999. № 3. S. 327—334; *Menning B.W.* A Decade Half-Full. Post-Cold War Studies in Russian and Soviet Military History // Kritika. 2001. № 2. P. 345—353.

ды). Стремясь освободиться от апологетической советской историографии, некоторые историки описывают «другую войну» (программное заглавие одного сборника 1996 года), в которой Сталин предстает провокатором войны, стремившимся с сентября 1939-го или самое позднее с мая 1941 года начать наступательную войну против Германского рейха и заранее запланировавшим разделение Германии и послевоенное устройство Европы. С 1944 года война была уже не Отечественной, но наполовину освободительной, наполовину захватнической[33]. Однако новые интерпретации страдают тем, что преуменьшают масштабы мобилизации гитлеровского руководства, вермахта и элит Германского рейха и их готовности к грабительской и захватнической войне до полного уничтожения СССР, к «крестовому походу» на Восток против «иудо-большевизма». Не обращают они внимания также и на то, что Москве с декабря 1940 года были известны фашистские планы нападения на СССР и что Сталин вел себя вполне рационально, полагая, что Германия не нападет до тех пор, пока ведет войну с Англией. Игнорируется также и тот факт, что немецкая сторона никогда не чувствовала со стороны СССР угрозы. Неудавшаяся же попытка советского руководства выработать стратегию превентивной обороны ошибочно интерпретируется как намерение подготовить мощный удар по Германии, отдельные, частично не проверенные источники чрезмерно переоцениваются, а агитационные речи Ста-

[33] См.: Другая война: 1939—1945 / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996; Война 1939—1945: Два подхода. Сборник статей / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. В 2 т. М., 1995; Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия. Сборник материалов / Под ред. Г.А. Бордюгова и В.А. Невежина. М., 1995; *Невежин В.А.* Синдром наступательной войны: Советская пропаганда в преддверии «священных боев» 1939—1941 гг. М., 1997. Побудителем острых дискуссий по данному вопросу стали скандальные публикации бывшего агента КГБ Владимира Резуна, пишущего под псевдонимом Виктор Суворов. См.: *Мельтюхов М.И.* Предыстория Великой Отечественной войны в современных дискуссиях // Исторические исследования в России: Тенденции последних лет / Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 1996. С. 278—307; *Voß S.* Stalins Kriegsvorbereitungen 1941 erforscht, gedeutet und instrumentalisiert. Eine Analyse postsowjetischer Geschichtsschreibung. Hamburg, 1998. Появление этой кажущейся новой концепции «другой войны» имеет своим основанием наблюдаемый с конца 1980-х годов бум исследований, исходящих из концепции тоталитарной модели; среди их авторов можно выделить Ю.И. Игрицкого, И.В. Павлову, Н.А. Попова, Б.С. Орлова, Н.В. Загладина, А.В. Бакунина и Н.С. Симонова. См.: *Hösler J.* Interpretationen... S. 45—51.

лина и советская военная пропаганда весны 1941 года наделяются статусом непосредственных источников[34].

В настоящее время нормализация ситуации продвинулась настолько, что как дискуссия между различными мнениями в России, так и диалог с международным научным сообществом выглядят само собой разумеющимися[35]. Эпоха драматизации закончилась. Упорное стремление воплотить в исследовании чьи-либо пожелания отступило на задний план. Сегодня исследуются повседневная жизнь и психология войны[36], военные преступления представителей Красной армии во время наступления на Запад[37], террор против «Рабоче-Крестьянской Красной Армии» в 1937—1938 годы[38], война с Финляндией 1939—1940 годов[39], сталинский антисемитизм[40], отношение советского руководства к Варшавскому восстанию 1944 года[41], коллаборационизм на советской территории[42],

[34] *Ueberschär G.R., Bezymenskij L.A.* (Hrsg.). Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion 1941. Die Kontroverse um die Präventivkriegsthese. Darmstadt, 1998; *Pietrow-Ennker B.* (Hrsg.). Präventivkrieg? Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion. 2. Auflage. Frankfurt a. M., 2000.

[35] См.: Война и политика: 1939—1941 / Под ред. А.О. Чубарьяна. М., 1999, в частности отчет М.Ю. Мягкова о дебатах, имевших место на заседании Ассоциации историков Второй мировой войны 30 декабря 1997 года.

[36] *Зинич М.С.* Будни военного лихолетья. М., 1995; *Сенявская Е.С.* 1941—1945. Фронтовое поколение: Историко-психологическое исследование. М., 1995; *Она же.* Человек на войне: Историко-психологические очерки. М., 1997; *Она же.* Психология войны в XX веке: Исторический опыт России. М., 1999.

[37] Репрессии против поляков и польских граждан (Исторические сборники «Мемориала», 1). М., 1997.

[38] *Сувениров О.Ф.* Трагедия РККА 1937—1938. М., 1998; Главный Военный Совет РККА. 13 марта 1938 г. — 20 июня 1941 г. Документы и материалы / Под ред. П.Н. Бобылева и др. М., 2004.

[39] *Барышников В.Н.* Начало Зимней войны // Война... / Под ред. А.О. Чубарьяна. С. 174—191; Советско-финляндская война 1939—1940: В 2 т. СПб., 2000—2001.

[40] *Костырченко Г.В.* Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. М., 2002. См. также: *Asher H.* The Soviet Union, the Holocaust, and Auschwitz // Kritika. 2003. № 4. P. 886—912; *Herf J.* The Nazi Extermination Camps and the Ally to the East // Kritika 2003. № 4. P. 913—930.

[41] См.: *Мельтюхов М.И.* Операция «Багратион» и Варшавское восстание 1944 года // Вопросы истории. 2004. № 11. С. 43—57.

[42] См.: *Кринько Е.Ф.* Коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны и его изучение в российской историографии // Вопросы истории. 2004.

террор против определенных национальностей[43] и так далее. При этом предпринимаются усилия по преодолению изолированного взгляда на Великую Отечественную войну[44]. Все это не могло произойти без издержек. Стороннему наблюдателю следует воздерживаться от того, чтобы клеймить защитные рефлексы консервативных историков (или тех, кого к ним относят), в свою очередь, столь же автоматически, как «постсоветские», «материалистические» или «марксистские», совершая тем самым то, что, собственно, и предполагалось подвергнуть критике: замену методически строгого анализа навешиванием ярлыков.

В условиях авторитарно управляемой демократии и той трудной ситуации, в которой сегодня живет и работает большая доля населения и, в частности, военные, а также продолжающейся дезориентации общества в России до сих пор не сформировалось широкого понимания фундаментальной инструментализируемости коллективной памяти и ценности рефлексивных практик воспоминания. Плюрализация репрезентации прошлого, особенно явственная в моменты годовщин Великой Отечественной войны, сама по себе не приводит к таким практикам, а, наоборот, препятствует им до тех пор, пока правительство, общество и наука не начнут критически относиться к жажде обязательных смысловых шаблонов[45]. Россияне «свалились в плюрализм воспоминаний» (Лангеноль), но при этом не преодолели традиционную легитимистскую модель, красной нитью проходящую сквозь все предлагаемые интерпретации, в которой величие и самобытность России рассматриваются как примордиальные черты. Это, как мне кажется, и есть главное

№ 11. См. также: *Перегожин В.А.* Вопросы коллаборационизма // Война и общество 1941—1945 / Под ред. Г.Н. Севостьянова. В 2 т. М., 2004 (в особенности т. 2. С. 293—305).

[43] Обзор см.: *Martin T.* Terror gegen Nationen in der Sowjetunion // Osteuropa 2000. № 6. S. 606—616. См. также: *Бугай Н.Ф.* Депортация народов // Война и общество 1941—1945 / Под ред. Г.Н. Севостьянова. С. 306—330.

[44] *Сенявская Е.С.* Психология...; *Золотарев В.А.* Проблемы изучения истории Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 2000. № 2. С. 3—11; *Сенявская Е.С.* Военно-историческая антропология...; *Тихвинский С.Л.* Обобщающее исследование истории мировых войн XX века // Новая и новейшая история. 2003. № 6. С. 18—35; Война и общество 1941—1945 / Под ред. Г.Н. Севостьянова.

[45] *Langenohl A.* Erinnerung und Modernisierung. Die öffentliche Rekonstruktion politischer Kollektivität am Beispiel des Neuen Rußland. Göttingen, 2000. S. 312—314.

препятствие на пути к дальнейшей научной переработке прошлого. Выходом из этого тупика смогут стать только рефлексивные практики памяти, носители которых «осознают их принципиальную незавершаемость и принимают их принципиальную обратимость, которая в конечном счете будет зависеть от логики коммуникативных актов, в ходе дебатов»[46]. При помощи нарративных структур, водружающих коллективные сущности, не удастся преодолеть ни эти легитимистские мотивы, ни новую поляризацию общества. «Коллективная идентичность» — это иллюзия реальности, подпитываемая интеллектуалами и правящими кругами[47]. Общество не может быть сведено к «мы» и вовсе не нуждается в этом. От открытого и цивилизованного обсуждения конфликтов интересов все только выигрывают. Научная проработка истории должна оцениваться по тому, стремится ли она — исходя из этоса науки, ставящего обнаружение истины на службу человеку, — разрушить «ясным сознанием» проклятие прошлого[48] и способствовать тому, чтобы мы больше узнали о причинах событий и конфликтах интересов.

Авторизованный перевод с немецкого Михаила Хорькова

[46] Ibid. S. 303.

[47] *Niethammer L.* Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur. Reinbek bei Hamburg, 2000.

[48] *Adorno Th.W.* Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit // Eingriffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt, 1969. S. 125—146. [Русский перевод статьи см. в настоящем сборнике. — *Примеч. ред.*]

Хельмут Кёниг

ПАМЯТЬ О НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМЕ, ХОЛОКОСТЕ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ

Спустя 60 лет после окончания войны Федеративная Республика Германия вошла в число победителей Второй мировой войны: участие бундесканцлера Шрёдера летом 2004 года в памятных торжествах, посвященных высадке союзнических войск в Нормандии, и в праздновании 9 мая 2005 года в Москве — таковы дивиденды продолжающейся на протяжении шести десятилетий политической и общественной полемики Федеративной Республики о ее предшественнике — тираническом и варварском режиме национал-социализма. Ни разу на протяжении всего послевоенного периода в официальной политике и саморепрезентации Федеративной Республики не допускалось каких-либо сомнений в том, что она строится как отрицание национал-социалистического режима. Шаг за шагом это негативное контрастное отношение к эпохе национал-социализма встраивалось в нормативный мемориальный фундамент ее политического строя. Наряду с целым рядом факторов международной политики, на которые немецкая политика не оказывала никакого влияния, такое четкое политическое отмежевание от прошлого режима помогло Федеративной Республике избавиться от имиджа некогда ненавистного военного противника и добиться на сегодняшний день равноправия и уважения в Европе и мире.

Это развитие поначалу вовсе не представлялось вероятным или тем более неизбежным. Это был долгий процесс, полный противоречий, неудач, разногласий и трудностей, на который влияла целая совокупность обстоятельств и факторов. Я прослежу некоторые этапы его динамики и обращу особое внимание на ту роль, которую играли, с одной стороны, память о войне, а с другой, память об уничтожении европейских евреев. Мы увидим, что в первое десятилетие существования Федеративной Республики доминировала память о войне. Для нее была характерна перспектива, которая позволяла бывшим фольксгеноссен рассматривать самих себя в

роли жертв (I). Только с начала 1960-х годов, в ходе «длинной волны» преодоления прошлого, в центре внимания оказался Холокост. Соответственно, память о войне отошла на второй план (II). Наконец, третий перелом в истории немецкой памяти был связан с крахом реально существовавшего социализма и концом ГДР. С этого момента жертвы сталинизма добиваются своего права на признание и включение в коллективную память Федеративной Республики. С этого же момента память о войне возвращается в общественное сознание Федеративной Республики (III).

I

В первые послевоенные годы и вплоть до основания Федеративной Республики в многочисленных заметках очевидцев и травелогах изображалось немецкое общество, охваченное страхом, потерянно блуждающее среди развалин величайшего немецкого самообмана и пытающееся попросту выжить[1]. Вопросы о собственной роли в национал-социализме, вопросы о том, что заставило бывших фольксгеноссен обольститься идеей тысячелетнего рейха и принять участие в смертоносной войне и в истреблении европейских евреев, — изначально отклонялись.

Пока союзнические армии не заняли немецкие города и села, среди фольксгеноссен сохранялась почти непоколебимая готовность следовать за уже побежденным в военном отношении национал-социалистическим режимом. Будущий министр-президент земли Баден-Вюртемберг Ханс Фильбингер выносил смертные приговоры дезертирам вплоть до последних недель войны, находясь на должности судьи военно-морского ведомства (и был вынужден уйти в отставку в 1978 году, когда эти факты стали достоянием общественности); исполняя приказы, части СС до последнего момента расстреливали бегущих молодых солдат и вешали их для устрашения на яблонях[2]; и даже 8 мая 1945 года солдаты СС расстреляли среди развалин Дрездена мирных жителей, пробиравшихся под белым флагом навстречу наступающим советским войскам[3]. Как только союзнические войска заняли города и села и взяли на себя

[1] См.: *Arendt H.* Besuch in Deutschland. Berlin, 1993; *Enzensberger H.M.* (Hrsg.). Europa in Ruinen. Augenzeugenberichte aus den Jahren 1944—1948. München, 1995; *Padover S.K.* Lügendetektor. Vernehmungen im besiegten Deutschland. Frankfurt a M., 1999; *Scherpe K.R.* (Hrsg.). In Deutschland unterwegs. Reportagen, Skizzen, Berichte 1945—1948. Stuttgart, 1982.

[2] *Mitscherlich A.* Ein Leben für die Psychoanalyse. Frankfurt a. M., 1980. S. 129 f.

[3] *Fetscher I.* Neugier und Furcht. Versuch, mein Leben zu verstehen. Hamburg, 1995. S. 123.

контроль за управлением, в немцах проснулись оппортунизм и чувство реальности. Униформа, партийные значки, книги и брошюры втайне уничтожались. Отныне не было больше нацистов и, как могло показаться, никогда и не было. Опасения союзников, что они столкнутся на территории Германского рейха с оборотнями или немецкими партизанами, оказались необоснованными. Известна только одна операция вервольфов в освобожденном еще в октябре 1944 года Аахене, жертвой которой стал назначенный союзниками главный бургомистр.

Удивительно, что в общей атмосфере неопределенности, нужды и беспорядка в Германии довольно скоро возникла дискуссия, получившая позже имя «дебаты о вине». Местом этих первых рефлексий и дискуссий о периоде национал-социализма стали журналы, в большом количестве основанные в первые послевоенные годы[4]. Сюда же относится целый ряд монографий, написанных большей частью во время войны в эмиграции и предпринимавших обстоятельные попытки самоопределения. Важнейшими из них стали «Немецкая катастрофа» Фридриха Майнеке и «Вопрос вины» Карла Ясперса, обе опубликованы в 1946 году. В целом, упомянутые реплики в дебатах о вине явились впечатляющими попытками выявления и изучения причин национал-социализма. Их центральным вопросом стал поиск отправной точки, от которой немецкая история пошла по неправильному пути и устремилась в бездну. Основное внимание сосредоточивалось на роли и значении Пруссии — земли, которую Контрольный совет союзников охарактеризовал как «колыбель милитаризма и реакции» и стер с политической карты мира.

При всем уважении к серьезности дебатов о вине, они не принесли особых аналитических плодов. Эти тексты ценны, в первую очередь, тем, что они являются впечатляющим свидетельством степени отчаяния и растерянности, которые вызвала «немецкая катастрофа» в головах ученых и интеллектуалов. Большинство из них искали убежища среди духовных ценностей западной цивилизации и высокой культуры и требовали основополагающего поворота к человеку, обновления и рефлексии. Однако бесполезно пытаться обнаружить попытки претворения этих постулатов в судебные процессы и юридические процедуры. Преступления и их исполнители остались неназванными, а геноцид против евреев не играл в тот момент никакой роли. Хотя прусский милитаризм открыто признавался некоторыми интеллектуалами причиной зла[5], но ведение

[4] *Eberan B.* Die Debatte um die Schuldfrage 1945—1949. München, 1983; *Laurien I.* Politisch-kulturelle Zeitschriften in den Westzonen 1945—1949. Frankfurt a M., 1991.

[5] *Meinecke F.* Die deutsche Katastrophe. Wiesbaden, 1949.

войны вермахтом в принципе считалось безукоризненным[6]. Очень часто гнусные преступления национал-социалистического режима растворялись в разговорах о судьбе, роке, беде и трагедии.

В свою очередь, союзники занимались практическими вопросами обращения с персональным, институциональным и ментальным наследием национал-социалистического режима. Проводя политику искоренения национал-социалистического прошлого, они взяли на себя великую задачу проверки всего населения, его классификации в зависимости от степени ответственности и причастности к злодеяниям национал-социалистического режима и привлечения к ответственности (главных) виновников и (главных) ответственных. Впервые весь масштаб преступлений и причастность к ним общественных и политических элит вскрылись во время Нюрнбергского и последовавших за ним процессов против главных военных преступников. Во время процессов были оглашены имена, реконструированы границы компетенций и степень ответственности, четко описаны преступления и вынесен приговор преступникам.

Однако политическое сознание молодой Федеративной Республики формировалось не благодаря признанию преступных деяний в процессах политической чистки и судебного преследования, а, наоборот, в ходе защиты и отказа от них. Молодую Федеративную Республику охватила «лихорадка пощады» (Роберт В. Кемпнер), которой заболели все политически и общественно значимые силы, образовавшие своего рода большую коалицию. Они делали все для того, чтобы осужденные и находящиеся в заключении преступники постепенно освобождались, и блокировали новые попытки судебного преследования. В первое десятилетие своего существования Федеративная Республика представляла собой не сообщество памяти, а сообщество забвения. Эта позиция была широко поддержана законодательными акциями, прежде всего амнистиями, объявленными сразу же после основания Федеративной Республики в 1949 году и затем повторно в 1954 году[7]. Одобрение практик забвения и безнаказанности сплотило в единый массив граждан Федеративной Республики — как стоявших в стороне от национал-социалистического режима и занявших теперь место у политического руля, так и бывших фольксгеноссен — преступников, сообщников, зрителей, а также возвращающихся из плена и изгнанных.

Однако описание этого процесса только исключительно как процесса забвения было бы неполным и неточным. Его стержнем

[6] *Jaspers K.* Die Schuldfrage. München, 1987.

[7] *Frei N.* Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. München, 1996.

являлось не забвение, а — согласно меткому определению Германна Люббе — «коммуникативное умалчивание»[8]. Характерной чертой эпохи немецкой послевоенной истории является не исключение национал-социалистического режима из современного индивидуального сознания, а исключение индивидуального и коллективного прошлого из общественной коммуникации. Другими словами: период национал-социалистического режима не был предан забвению, а рассматривался как политически нерелевантный. Таким образом, дальнейшие публичные дебаты считались попросту излишними.

Но и такая дифференциация еще не позволяет описать проблему с достаточной точностью. Во-первых, потому, что умалчивание о прошлом перечеркивалось официальными заявлениями и саморепрезентациями, которыми Федеративная Республика старалась развеять любые сомнения в том, что она строится как отрицание преступного режима—предшественника. Во-вторых, и в Федеративной Республике 1950-х годов, конечно же, изобиловали приватные и полуприватные воспоминания. И, наконец, в-третьих, нельзя сбрасывать со счетов те формы, которые придавали индивидуальным воспоминаниям общественное звучание и коллективные рамки. Для индивидуальной памяти имело большое значение обращение к войне, причем не только во внекоммуникационных внутренних мирах, снах и кошмарах бывших солдат вермахта, но также и в (полу)приватных небольших группах единомышленников. Кроме того, воспоминания о войне нашли публичный выход в солдатских историях и полуаутентичных повествованиях, публиковавшихся в иллюстрированных сборниках и журналах[9]. И они находили дополнительную поддержку в мемуарах бывших генералов, усердно создававших легенду о вермахте, не запятнавшем себя преступлениями.

Можно говорить о наличии культуры памяти, если рассматривать это понятие как дескриптивное, а не нормативное. Однако она не имеет ничего общего с самокритичной актуализацией в памяти содеянных в прошлом злодеяний, а концентрируется вокруг воспоминаний об ужасах войны, о ночных бомбардировках и изгнании и, в целом, о «тяжелых годах», начавшихся с поражения под Сталинградом и закончившихся только в 1950-е годы с наступлением эпохи экономического чуда. Общим элементом для всех этих

[8] *Lübbe H.* Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewusstsein // Historische Zeitschrift. 1983. № 236. S. 579—599.

[9] *Schornstheimer M.* Bombenstimmung und Katzenjammer. Vergangenheitsbewältigung, Quick und Stern in den 50er Jahren. Köln, 1989.

в принципе гетерогенных воспоминаний было то, что бывшие фольксгеноссен воспринимали себя не в роли соучастников и преступников, а в роли жертв.

Работа над нарративом индивидуального и автономного прошлого сочеталась с массированными попытками восстановления национальной памяти. Утверждение, что вермахт вел чистую войну, являлось стержневым элементом этой «работы над национальной памятью» (Алейда Ассманн). Злодеяния, которые не удавалось не признать, приписывались СС и гестапо. Этого утверждения продолжали твердо придерживаться даже тогда, когда уже были предъявлены факты, обнаруженные исследованиями по новейшей истории[10], и когда геноцид евреев постепенно проник в политическое сознание Федеративной Республики.

Упорство, с которым поддерживался миф о вермахте, бросается в глаза и требует пояснений. Можно предположить, что оно было связано со стремлением немцев облачиться в одежды жертвы. В свою очередь, это желание имело непреодолимую притягательность и силу потому, что оно коренилось в реалиях и пережитом опыте войны. Военные действия, по определению, характеризуются тем, что применение насилия распределяется принципиально симметрично между обеими сторонами. Солдаты воюющих друг с другом армий не только убивают своих противников, но и одновременно постоянно подвергаются риску быть убитыми. Этот принцип продолжает действовать и в тот момент, когда одна сторона имеет явное превосходство в солдатах и в качестве вооружений. Данный принцип применим также к солдатам армии, нарушающей правила ведения войны, игнорирующей разделение на сражающихся и мирное население и не соблюдающей положений *ius in bello* (военного права). Несомненно, солдаты вермахта подвергались риску и связанному с ним страху во время Второй мировой войны — и чем дольше она длилась, тем больше становились риск и страх. Когда же война вернулась к тем, кто ее развязал, и распространилась по всей Европе, немецкое мирное население испытало на себе все ее тяготы и ужасы.

В памяти 1950-х годов немцы рассматривали себя не виновниками преступления, а жертвами и побежденными в обычной войне. Тем самым они одновременно претендовали на статус *iustus hostis* (легитимного врага) согласно европейскому международному праву, то есть на статус полностью равноправного субъекта международного права, который выступил против своего военного противника и использовал свое право *ius ad bellum* (право на войну). Легитимность войны и военных действий с точки зрения данной

[10] *Messerschmidt M.* Die Wehrmacht im NS-Staat. Hamburg, 1969.

перспективы признается не односторонне, согласно принципам морали или принципам *bellum iustum* (справедливой войны), а распространяется в равной степени на обе стороны. Данное правило относится также и к ситуации окончания войны. С прекращением военных действий противники нормализуют свои отношения, как это происходило еще во времена Древнего Рима, когда побежденная сторона включалась в *pax romana*. На протяжении столетий завершение войны связывалось с принципами прощения и забвения[11].

Проблема позиции немцев после Второй мировой войны, имплицитно претендовавших в своей памяти на европейское международное право, заключалась в том, что сами они *de facto* попирали ногами это право и втянули своих противников в войну на уничтожение. Понадобилось полстолетия, чтобы Федеративная Республика учла этот факт, и распространенное утверждение о незапятнанности вермахта было осознано как то, чем оно являлось с самого начала, — то есть как легенда. Только в 1995 году выставке гамбургского Института социальных исследований «Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941—1944 годах» удалось развеять этот миф. С поразительной близорукостью Карл Шмитт постоянно и упрямо утверждал, что не немецкий вермахт, а союзники сняли ограничения в войне и ликвидировали *ius publicum europaeum* (европейское общественное право), когда они в 1945 году настаивали на преступности немецкого способа ведения войны[12]. Действительно, начиная с 1945 года мы имеем дело с новыми тенденциями в международном праве. С этих пор действует запрет на военную агрессию и нападение, а забвение и амнистию сменили судебные процессы и культура памяти.

К этому добавляется тот факт, что война на уничтожение, развязанная немецким вермахтом, является только одним из ужасающих результатов национал-социализма. Однако характерная для войны симметрия распределения риска ни в коем случае не может распространяться на Шоа — систематическое и поставленное на индустриальную основу уничтожение европейских евреев. Геноцид евреев был связан с полностью односторонним разделением на виновников и жертв. Преступники могли быть полностью уверены в том, что они никогда не подвергнутся нападению со стороны тех,

[11] *Fisch J.* Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses. Stuttgart, 1979.

[12] *Schmitt C.* Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947—1951. Berlin, 1991; *Idem*. Antworten in Nürnberg. Herausgegeben und kommentiert von Helmut Quaritsch. Berlin, 2000.

кого они приговорили к уничтожению. И наоборот, жертвы не имели никаких возможностей для собственной защиты и расправы над мучителями и убийцами. Такое асимметричное распределение средств власти и насилия принципиально отличает тыл от поля битвы и войну от геноцида[13].

Однако, рассматривая культуру памяти в Федеративной Республике 1950-х годов, для полноты картины следует добавить, что претензия на роль жертвы обладала специфическим смыслом. Имелась в виду не жертва, *приносящаяся* активно для достижения высшей, божественной или национальной цели, а пассивная жертва, которой становятся поневоле. В этом состоит ее ключевое отличие от национально кодированной семантики жертвенности, преобладавшей в XIX веке и достигшей своего ужасного триумфа при национал-социализме. В национальной семантике XIX — первой половины XX века самопожертвование во имя родины считалось долгом и наивысшим воплощением смысла человеческого существования. Память о павших собратьях подготавливала живых к самопожертвованию. Специфика семантики жертвенности в послевоенной Федеративной Республике состояла в том, что она не служила для подготовки возмездия, а определялась позицией пассивной жертвы, цель которой заключалась только в спасении от упреков и обвинений[14]. Национальная и националистическая жертвы подразумевали самопожертвование, в то время как в Федеративной Республике претензия на роль жертвы служила для самозащиты и самосохранения. Бывшие солдаты вермахта и фольксгеноссен были слишком утомлены и изнурены, чтобы готовиться к новым героическим поступкам и приключениям. Пассивная жертвенность и апатия в значительной степени помешали попыткам ревитализации специфического национального сознания в Федеративной Республике, от которых в той или иной степени отказались в конце 1950-х годов[15].

Тем не менее Шоа отсутствовала в немецкой культуре памяти первых послевоенных десятилетий. Напротив, воспоминание о войне и апроприация роли жертвы, по всей очевидности, обладали особой привлекательностью, так как они позволяли исключить из индивидуальной и коллективной памяти уничтожение евреев.

[13] *Geyer M.* The Place of the Second World War in German Memory and History // New German Critique. 1997. № 71. P. 5—40.

[14] *Koselleck R.* Die Diskontinuität der Erinnerung // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1999. Jg. 47. S. 213—222.

[15] *Wolfrum E.* Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung. Darmstadt, 1999.

II

Стремясь к познанию и оценке процессов в Федеративной Республике, которые берут свое начало на заре 1960-х годов, следует постоянно помнить об этой первой фазе обращения с преступным прошлым. Стратегия коммуникативного умалчивания все чаще становилась объектом критики. Воспоминания о войне и связанный с ними статус жертвы вызывали все меньше сочувствия в обществе, и общественное внимание постепенно сконцентрировалось на Шоа. Отныне в фокусе восприятия и памяти оказывались не немцы в роли жертв, а немцы как преступники.

Изменению климата в восприятии, оценке и памяти способствовал целый ряд обстоятельств. После волны антисемитских надписей в конце 1959-го — начале 1960 года обнаружилось, что Федеративная Республика, как и прежде, находится в поле зрения международного сообщества и за ее политическим и политико-культурным развитием ведется пристальное наблюдение. Стремясь ограничить негативные последствия, Федеративная Республика форсировала свои усилия в области политического просвещения. Кроме того, с начала 1960-х годов прошел целый ряд показательных судебных процессов против главных преступников и соучастников уничтожения евреев. Широкий общественный интерес в Федеративной Республике вызвали арест Эйхмана и состоявшийся над ним процесс в Иерусалиме, а также процесс над убийцами Освенцима во Франкфурте.

Тема преступного прошлого получила отклик в литературе. Пьеса Петера Вайса «Дознание» была поставлена осенью 1965 года одновременно в 15 театрах в ФРГ и ГДР. Пьеса Рольфа Хоххута «Наместник», премьера которой состоялась в 1963 году, вызвала бурные дебаты о роли католической церкви в период национал-социализма. В сфере гуманитарных и социальных наук в немецких университетах рос авторитет Франкфуртской школы. Ее виднейшие представители, Макс Хоркхаймер и Теодор В. Адорно, отказавшись в конце 1950-х годов от своей прежней политики невмешательства, выступали теперь решительно за критическую полемику с национал-социалистическим прошлым[16]. Психоанализ Фрейда предоставил в их распоряжение сложную концепцию «проработки», ставшую антитезой «коммуникативного замалчивания». Психоанализ относит замалчивание к разряду способов вытеснения отягощающего прошлого, в то время как настоящая полемика, то есть «проработка», возможна только в рамках (само)критического рассказа. В книге

[16] *Adorno Th.W.* Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit // *Adorno Th.W.* Eingriffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt a M., 1963.

«Неспособность к скорби» Александра и Маргариты Мичерлих[17] эта концепция применяется к истории Федеративной Республики. В конечном счете центральное значение отводится авторами конфликту поколений, принявшему в ФРГ довольно жесткие формы. Важную роль при этом сыграло предъявленное поколению родителей обвинение в связи с его поведением при национал-социалистическом режиме. В контексте поколенческого конфликта молодежь освободилась от антикоммунистических настроений, которые играли большую роль в стратегии коммуникативного замалчивания. В равной степени антикоммунизм утрачивал свое значение в ходе прогрессирующей в Федеративной Республике «вестернизации»[18], получившей широкую поддержку у населения.

Ограничивать изменения в обращении с национал-социалистическим прошлым сферой культуры памяти значило бы прибегнуть к упрощению. Изменения не сводились к областям символических практик, чистого сознания или коммуникации. В гораздо большей степени они определялись многочисленными инициативами, которые вылились в конкретные и осязаемые результаты в сферах материальной политики. Выше я уже указывал на судебные процессы. Сюда же следует отнести так называемые дебаты о сроке давности преступлений в немецком бундестаге, которые после неоднократных обсуждений закончились в 1979 году полной отменой срока давности для судебных преследований за убийство.

В результате перестройки культуры памяти группа преследовавшихся национал-социалистическим режимом получила наконец заслуженное внимание. В 1950-е годы и особенно после 17 июня 1953 года приоритетным объектом общественного внимания были лица, преследуемые сталинским режимом. Однако в новой ситуации они утратили свое особое значение. Телевизионный сериал «Холокост», транслировавшийся в конце 1979 года по немецкому телевидению и способствовавший распространению в Германии этого поначалу малопонятного термина, документировал и форсировал перестройку памяти. Отныне немцы находились уже не в статусе жертв, а в статусе преступников, сделавших всех остальных своими жертвами. Благодаря произошедшим изменениям исчезла возможность сглаживания преступного прошлого, нормализация которого достигалась с помощью апелляций к международному праву и содержавшимся в нем определениям военных действий.

[17] *Mitscherlich A., Mitscherlich M.* Die Unfähigkeit zu trauern. München, 1967.

[18] *Doering-Manteuffel A.* Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert. Göttingen, 1999.

Спор историков 1986—1987 годов продемонстрировал, что основополагающие перемены в культуре памяти не могли больше сдерживаться при помощи драматизирующих ссылок на предположительный риск для существования и сохранения Федеративной Республики. Одновременно, как бы в режиме покадровой замедленной съемки, в споре историков прокручивалась контроверза между воспоминаниями о войне, с одной стороны, и памятью о Холокосте, с другой. Так, например, обращение к пережитому и логике войны стояло на переднем плане в «Двойной гибели» Хильгрубера[19], в то время как другая сторона сформулировала тезис об абсолютной уникальности феномена уничтожения евреев.

Критическая, постнациональная ориентация культуры памяти с середины 1980-х годов не оставалась больше уделом маргиналов, а была воспринята политическим классом. В этом отношении речь федерального президента Вайцзекера 8 мая 1985 года в бундестаге явилась знаковым событием. С высокой трибуны было заявлено что, с точки зрения главы государственной власти Федеративной Республики, критическое воспоминание о национал-социалистическом прошлом и о варварствах нацистского режима не подрывает коллективной идентичности ФРГ, а должно быть включено в ее нормативный фундамент.

Переполох вокруг спора историков одновременно вскрыл основополагающие изменения роли памяти и практик вспоминания в легитимации политического строя. Культура памяти Федеративной Республики является поистине первым примером включения целым государством памяти о темном и преступном прошлом в общественное сознание. В мире национальных политий XIX — первой половины XX века идентичность брала начало в идеализированном прошлом, безжалостно ретушируя в нем все темные пятна. Национальная эра в Федеративной Республике окончилась с приходом саморефлектирующей памяти о национал-социалистическом варварстве в политическое сознание этого государства, вступившего с этого момента в постнациональную эпоху с точки зрения развития культуры памяти. Совершенно без каких-либо усилий и заслуг со своей стороны Федеративная Республика превратилась в лидера процесса, который наблюдается с начала 1990-х годов в других западных демократиях. Во многих странах те или иные идеализирующие национальные нарративы были подвергнуты и продолжают подвергаться резкой критике. Темные и позорные события собственного прошлого теперь уже не замалчиваются, а становятся предметом публичных обсуждений[20].

[19] *Hillgruber A.* Zweierlei Untergang. Berlin, 1986.

[20] *Flacke M.* (Hrsg.). Mythen der Nationen. 1945 — Arena der Erinnerungen. 2 Bde. Berlin, 2004.

Вероятно, это стало возможным благодаря тому, что Федеративная Республика имела своеобразный и важный опыт постнационального вспоминания. Вопреки всем ожиданиям консервативных скептиков, принимавших участие в споре историков, признание вины, открытое обсуждение позорного прошлого и отказ от мифов и уловок привели не к дестабилизации, а, наоборот, к большей стабильности самосознания и представлений о себе.

III

С начала 1990-х годов мы имеем дело с новым этапом истории памяти в Федеративной Республике Германии[21]. И здесь сходятся многие факторы. Во-первых, благодаря растущей временной дистанции наступил момент, когда национал-социалистическое прошлое из феномена новейшей истории превращается в историю. Поколение, ответственное за национал-социализм, в силу своего возраста не играет уже какой-либо роли в профессиональной жизни и уходит со сцены. Правда, вопреки частым опасениям или ожиданиям, это никак не сказалось на интенсивности дискуссии — пожалуй, самым ярким подтверждением тому являются многолетние дебаты о сооружении мемориала Холокоста в Берлине[22]. Происходит тем не менее изменение форм представления и обращения с национал-социалистическим прошлым. По сути, речь идет теперь только о символическом действии, о нормах коммуникации и об эстетической репрезентации, в то время как непосредственных политических выводов из национал-социалистического прошлого делается все меньше[23].

Во-вторых, развал реального социализма привел к тому, что в центральный феномен новейшей истории превратилось прошлое ГДР, став предметом целой волны решений, связанных с политической сферой и политикой прошлого, и приковав к себе внимание политической системы и политической общественности — начиная с вопросов о судебном преследовании преступлений против прав человека в ГДР и проблемы дальнейшей судьбы сотрудников и документов Штази и заканчивая проблемами культуры памяти и вспоминания. До сих пор еще не улеглись конфликты вокруг создания и оформления мемориалов в Бухенвальде и Заксенхаузене, то есть в тех местах, где построенные национал-социа-

[21] *König H.* Die Zukunft der Vergangenheit. Der Nationalsozialismus im politischen Bewußtsein der Bundesrepublik. Frankfurt a M., 2003. S. 49 f.

[22] *Kirsch J.H.* Nationaler Mythos oder historische Trauer? Der Streit um ein zentrales «Holocaust-Mahnmal» für die Berliner Republik. Köln; Weimar; Wien, 2003.

[23] *Bergem W.* (Hrsg.). Die NS-Diktatur im deutschen Erinnerungsdiskurs. Opladen, 2003.

листическим режимом концентрационные лагеря превратились после 1945 года в советские спецлагеря. Ожесточенные споры разразились вокруг вопроса о том, в каких формах и с какой интенсивностью должны поминаться жертвы того или другого режима. Нельзя не заметить и не услышать претензий на признание, предъявляемых, в том числе, теми группами жертв, которые пострадали, прежде всего, в первые послевоенные годы от сталинского режима и его верных немецких помощников в советской оккупационной зоне или ГДР.

В-третьих, хотя выставка «Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941—1944 годах» и развеяла окончательно легенду о не запятнанном преступлениями вермахте, она пришлась на период, в рамках которого реактивизируются воспоминания участников войны — в том числе благодаря самой выставке. Целая волна новейших публикаций актуализирует снова события войны и представляет их с точки зрения немцев. Роман «Траектория краба» Гюнтера Грасса (2002) и книга «Пожар» Йорга Фридриха (2002) являются самыми яркими примерами. Последовавшие за этим споры, достигшие своего апогея в дискуссии зимой 2004—2005 годов об оценке бомбардировок Дрездена 60 лет назад, не всегда обходились без резкостей тона. Однако они были крайне далеки от типичных для 1950-х годов односторонних претензий на роль жертвы, если не учитывать правоэкстремистские политические и историко-политические фантазии. Причем направленность дискуссии диктовалась не стремлением выставить немцев жертвами, а скорее желанием показать, что среди жертв имелись также и немцы.

Соперничество памятей между этими тремя позициями определяет современную структуру памяти в Федеративной Республике. Воспоминания о войне, память о Холокосте и память о сталинских преследованиях борются друг с другом за явно ограниченные ресурсы общественного внимания. Действительно, похоже, что мы имеем дело со своего рода игрой с нулевой суммой. Там, где одна из версий памяти добивается общественного внимания, у всех участников попеременно создается впечатление, что это происходит за счет ущемления других сторон. Стремление изменить что-либо в сложившейся ситуации в обозримом будущем можно отнести к разряду благих намерений. Тем не менее в перспективных планах культурной памяти должна стоять попытка подробно зафиксировать разорительные действия национал-социалистического режима и позаботиться о том, чтобы все жертвы получили надлежащее признание в памяти Федеративной Республики.

Перевод с немецкого Эллы Каплуновской

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИРИКА

Страницы Алексея Левинсона

Алексей Левинсон

ВОЙНА И ЗЕМЛЯ КАК ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Война, войны, войне...

Опросы общественного мнения, с которыми я знакомлюсь и знакомлю вас, уважаемый читатель, последнее время показывают одну тенденцию. Взгляды либеральные, демократические, в 1990-е годы разделявшиеся многими, порой всем обществом, давно уже начали терять популярность. Они остаются в общественном сознании в качестве следов, отдельных усвоенных фрагментов. Какое-то время они существовали как системные воззрения, которые были характерны для молодых, образованных, урбанизированных групп населения. Потом не стало и этого. Либеральные и демократические взгляды стали уделом не социально-демографических, а политических групп, сторонников определенных партий и лидеров. Далее пошел на убыль авторитет партий и политиков этого направления. Напротив, консервативно-фундаменталистские взгляды и подходы все чаще становятся общепринятыми, само собой разумеющимися.

И особенно ясно эти тенденции проявляются в оценках и переоценках прошлого.

На фоне таких тенденций вы поймете, уважаемый читатель, какой неожиданностью показались мне результаты очередного опроса, проведенного Левада-центром[1]. Спрашивали, «какие войны вы считаете справедливыми для России, какие нет». Все ясно, когда Великую Отечественную войну восемь из десяти человек назвали справедливой. Но лично я никак не ожидал, что семеро из десяти решатся назвать «несправедливыми» Афганскую и обе чеченские войны. Но назвали — 75%, 70% и 68% соответственно. И

[1] Февраль 2005 года, опрошено 1600 человек по выборке, репрезентирующей население РФ в возрасте 18 лет и старше.

«незнаменитую», по словам Твардовского, «финскую» 46% против 25% назвали «несправедливой».

Недавно я с грустью отмечал, что через 10 лет после своей кончины Андрей Дмитриевич Сахаров ушел из жизни как правозащитник. По результатам наших фокус-групп он остался в массовой памяти лишь как создатель атомной бомбы, имевший какие-то неприятности с властями. И вдруг, не диво ли: его приговор Афганской войне, произнесенный под топот съезда народных депутатов, оказывается, принят обществом!

Те же фокус-группы, как приходилось писать, еще несколько лет назад показали мне, что глубоко-глубоко в сознании россиян таится представление о том, что неправое дело творим мы на Северном Кавказе. Именно это тяжелое чувство (а не праведный гнев защитников своей страны) заставляет так ненавидеть и бояться кавказцев (в этих чувствах, напомню, сознавались те же семь-восемь из десяти опрошенных россиян). Но чувство неправоты было таимым, а тут оно открылось...

Вопросов, которые встали передо мной, было два: гражданский и профессиональный. Первый: должен ли я изменить мнение о позициях моих соотечественников по этим мучительным и ключевым для гражданского самоопределения темам? Второй: неужели этот обычный и стандартный по форме опрос открыл те слои массового сознания, которые обычно такому инструменту недоступны и поддаются именно что глубинным методам вроде фокус-групп или индивидуальных неформализованных интервью?

Знакомство с другими результатами февральского опроса не гасило, а умножало мои недоумения. Вот примыкающий блок вопросов о предыстории Второй мировой войны. Около 40% россиян ничего не знают о пакте Молотова—Риббентропа. Но среди остальных в соотношении два к одному задним числом не осуждают, а поддерживают подписание этого пакта. А вот родственные «современные» темы: возвращается синдром осажденной крепости и образ армии-спасительницы.

Итак, о враждебном окружении. В отличие от недавних лет, когда большинство не считало, что для России существуют «военные угрозы со стороны других стран» (главные опасности виделись внутри), теперь такое мнение возобладало среди 44% россиян (столько же продолжают считать, что внешней угрозы нет).

Об армии и боеготовности. По-прежнему большинство не хочет отдавать сына, внука, брата служить в армию, прежде всего из-за дедовщины. То есть недоверие к армии как общественному ин-

ституту остается. Но ушло объяснимое в таком контексте неверие в ее боеспособность. Сменилось уверенностью в нашей военной мощи. 44%, как говорилось, ощущают угрозу со стороны других стран, а 52% выражают уверенность, что от такой угрозы наша армия в ее нынешнем виде будет способна их защитить. 77% стоят за введение в школе «начальной военной подготовки».

Словом, контекст для описанных выше ответов о войнах совсем не совпадал с тем смыслом, который я в них увидел.

Вернемся к мнениям россиян о том, справедливой или несправедливой для России была каждая из восьми войн. Они приведены в таблице на с. 188. Я суммировал ответы: «определенно справедливая» и «скорее справедливая», «определенно несправедливая» и «скорее несправедливая». Доля затруднившихся с ответом варьирует от 29% в случае с «финской» войной до 5% в случае с Отечественной.

Нет сомнений, что преобладание определения «несправедливые» в отношении всех войн, кроме Великой Отечественной, в какой-то мере отражает распространившиеся в эпоху гласности трактовки отечественной истории, дававшиеся историками и публицистами из демократического лагеря. Но, повторю, влияние этих взглядов в других результатах опроса существенно меньше. Значит, действовали иные факторы. Такое подозрение высказывали и мои коллеги. Что это за факторы, вот в чем вопрос.

Родина как земля

Булат Окуджава, прошедший войну пехотинцем, сказал много позже о Сталине показавшиеся мне сперва загадочными слова: «Но суть его — пространство и разбой...»

Поговорим о пространстве.

Войны нынешнего столетия, как я слышал от специалистов, будут нетерриториальными. Но неспециалисты продолжают думать о войнах в понятиях прошлого столетия (и нескольких ему предшествовавших). Война — это битва за землю. За родную или за чужую. Чтобы не отдать своей земли ни пяди или чтобы захватить побольше их земли и объявить своей.

Вообще говоря, такой подход — это дискурс территориальных империй. Войны, которые велись иными политическими субъектами, например кочевыми племенами, островными государствами и прочими, могли иметь совсем иную интригу: не захват или утра-

Война	С Японией, 1904—1905 годов	Первая мировая, 1914—1918 годов	Гражданская, 1918—1922 годов	С Финляндией, 1939—1940 годов	Великая Отечественная, 1941—1945 годов	В Афганистане, 1979—1989 годов	Первая чеченская, 1994—1996 годов	Вторая чеченская, начавшаяся в 1999 году
Справедливая	34	38	33	25	79	13	17	19
Несправедливая	36	41	49	46	16	75	70	68

ту земель, а обложение данью или добычу трофеев, пленников, а то и невест. Да и наша страна, или выразимся осторожнее, наши соотечественники участвовали во множестве военных конфликтов, не предусматривавших территориальных приобретений для державы и не являвшихся защитой ее территории от захвата врагами.

Но тут-то и проступает важная деталь: в большинстве своем такие военные акции не получали в нашем обиходе, что казенном, что народном, статуса и имени «войн». Напомню, что военные действия в Афганистане и на Северном Кавказе так и не получили официального определения «войны».

Мифология или мистика земли не только как почвы, но и как пространства необычайно сильна в нашем так недавно раскрестьяненном обществе. Опросы последних десяти лет регулярно показывают, что подавляющее большинство жителей РФ или хочет иметь небольшой участок земли, или, во всяком случае, настаивает на своем праве иметь такой надел. Но землю в целом (и даже просто большие участки земли), то есть землю как территорию, это большинство не желает видеть ни в чьей собственности, разве что в государственной.

Исследования показывают далее, что Родину, Россию россияне представляют себе либо в виде маленького участка с домиком на нем, либо в виде огромной территории на карте мира.

Крестьянскому почвенно-земляному дискурсу комплементарен дискурс барский. При таком видении богатство — тоже в первую очередь земля, но земля с мужиками на ней. Потому быть почти самой большой по населению страной тоже было очень приятно. Но все-таки земля, территория, площадь — более важное, теснее связывающее с вечностью начало. Была бы земля, людишки народятся.

По наиболее часто встречающемуся мнению россиян об отечественной истории, таковая начинается с незапамятных, вне- и доисторических времен. Аналогично этому, пространственное представление о собственной стране — это представление о ней как «бескрайней», то есть бесконечно большой или хотя бы самой большой в мире.

Политические события конца 1980-х — начала 1990-х годов большинством россиян воспринимаются как трагедия. Отпадение от России находившихся под ее контролем территорий, земель трактуется как эквивалент поражения в войне — то ли Второй, то ли Третьей мировой. При этом молчаливо подразумевается, что победа в Отечественной войне была не только освобождением сво-

ей территории от оккупантов, но и приобретением новых земель. Нынешнее массовое сознание, избавившееся от наследия антицаристских большевистских настроений, легко продолжает Сталиным чреду российских властителей, завоеваниями наращивавших земельные владения империи. Горбачева с Ельциным, соответственно, ненавидят как растерявших это наследство. О надеждах на Путина, существующих в этом контексте, вы, читатель, догадываетесь. В недавних опросах граждане РФ охотно соглашались считать «своими» земли Украины и Абхазии.

Между тем такая имперская экспансия, оказалось, означает уничтожение пространства. Империя, которую звали территориальной, территорию свою не обустраивает. Заброшенность Калининградской области и Камчатки с Курилами нарочита. Дело не в том, что «руки не дошли». За годы после войны с Германией и Японией «рука Москвы» доходила много дальше и там бывала куда как щедра. Нет, это в полном смысле слова демонстративные фасады империи — западный и восточный. Своей пустотой они показывают суть империи, то есть результат осуществленного ею контроля над захваченными ею или охваченными ее влиянием территориями.

Эквивалентом пустоты является простота, ровность. В самом деле, советская территориальная экспансия означала пространственное выравнивание социального существования. В захваченных ею пределах униформировались как социальность, так и культура. В результате движение «вдоль» этого пространства не обещает никаких социальных и культурных перемен. Это движение бессмысленно. «Три года скачи, ни до какой границы не доскачешь...» Пространства по социальной горизонтали нет. Чтобы понять, насколько нешуточным является это обстоятельство, достаточно сравнить это с движением по социальной вертикали. Здесь каждый шаг вверх или вниз означает существенную перемену буквально во всех аспектах существования — материальных, духовных, эстетических и прочих.

Это вертикаль статусов — индивидуальных, корпоративных и коммунальных.

В первом случае имеется в виду, что с возвышением статуса индивида меняется среда, в которой он должен находиться (так везде). Во втором случае имеется в виду, что среды, обжитые какими-то группами, корпорациями, коим принадлежат индивиды, также различаются в зависимости от своего положения в иерархии этих сред. В третьем случае имеется в виду, что иерархизированы,

в свою очередь, и конструкции третьего порядка, составленные из корпоративных сред. Эти конструкции можно назвать городами. Их иерархия — шкала урбанизации. Там течет время, отсчитываемое переносом образца из старшей среды в нижележащие.

С позиций территориальности, пространственности, как уже говорилось, наши соотечественники судят и о войнах. В этом суждении спатиальный признак начинает переплетаться с историческим судом.

Перед вопросами об отдельных войнах выяснялись общие представления людей о том, какие войны могут называться справедливыми. Более двух третей (68%) опрошенных назвали справедливой войну, при которой «люди защищают от нападения свой дом, родных и близких, свою страну». Отметим присутствие названных выше двух представлений о родине как о «доме» и «стране». Еще примерно пятая часть (18%) назвала справедливой войну, которая ведется «против тех, кто стремится разрушить или расколоть страну, угрожает ее целостности». Здесь также звучит представление об угрозе для территории как высшей ценности. Важность именно такого измерения подчеркнута тем, что войну «во имя высших целей и идеалов, религиозных принципов, ради чести и славы собственного народа», то есть во имя принципов, а не земли, сочли справедливой в 11(!) раз меньше людей, это реже всего выбиравшийся ответ (6%).

Надо отметить, что около 30% выбрали вариант «все войны несправедливые, поскольку всегда сопровождаются насилием и жестокостью с обеих сторон». В отношении этих людей сказанное о пространственном дискурсе недействительно.

Ну вот, и невеселый вывод. Исследование вынесло на поверхность достаточно глубокие воззрения, но не те, о которых я думал. Не этические, а связанные с ценностью пространства как главного ресурса империи. Я прихожу к заключению, что справедливой наши соотечественники признали только ту войну, которая принесла большие приращения территории, продолжала «собирание земель»[2]. Прочие войны «несправедливы» в том смысле, что были

[2] Нельзя исключить, что помимо содержательных причин — доминирующих ценностных ориентаций — сыграла свою роль и словесная форма вопроса. Имеется в виду то, как могла влиять на понимание дела использованная предложная конструкция: «была ли справедливой для России такая-то война». Вдруг она сама провоцировала этот дискурс о состоявшихся или несостоявшихся приобретениях «для» державы.

либо неуспешны, либо, по сути, нетерриториальны, не умножали владений. (В принципе малая «финская» кампания прибавила карельских земель, но, видно, в исторической тени большой войны эта ее роль незаметна, а неожиданная и конфузная неуспешность Красной армии запомнилась.)

Повторю, что в оценке каждой из войн присутствует и собственно этическая, гуманистическая компонента. Из нее, и только из нее исходит, по косвенным оценкам, примерно пятая часть респондентов. Время, когда их подход будет преобладающим, еще не вернулось.

ФОРМЫ ПАМЯТИ

Ирина Щербакова
НАД КАРТОЙ ПАМЯТИ

Из чего складывается представление о войне у нынешних 15—20-летних?

Они — последнее поколение, у которого еще есть реальная возможность соприкосновения с живыми носителями коммуникативной памяти. Но то, что в минувшие десятилетия впитывалось их родителями из самой повседневной атмосферы, из пьяного разговора, из вечного вопроса: а ты с какого года? (и этот вопрос значил едва ли не самое важное: успел или не успел, воевал или не воевал), — сейчас уже практически исчезло.

Осуществляется ли сегодня в какой-то мере передача памяти, хотя бы на семейном уровне, или война уже полностью ушла в область мифов, превратилась в нечто уродливо-помпезное, присутствующее в жизни молодых в виде возникших повсюду в брежневскую эпоху однотипных мемориальных комплексов, Вечных огней и тому подобного, где им приходилось отстаивать на школьных линейках и митингах 9 мая? (В Москве на огромном пространстве Поклонной горы хотя бы прекрасно можно кататься на роликах...)

Попробовать узнать, что подростки думают о советском прошлом, как они представляют себе ключевые события нашей истории, — это и было одной из наших главных задач, когда в 1999 году общество «Мемориал» объявило ежегодный исторический конкурс для старшеклассников под названием «Человек в истории. Россия — XX век».

Конечно, полученные за эти годы 15 000 школьных работ в российских масштабах — не слишком большая цифра, это не социологические опросы, проведенные «от Москвы до самых до окраин». И все-таки сотни повторяющихся сюжетов, модели судеб, пересказы воспоминаний и само значение войны, которая предстает в их сочинениях как главное событие в советской семейной истории XX века, дают некоторую почву для разговора.

Две памяти

В представлениях сегодняшних подростков об Отечественной войне проявляется та двойственность, которая фактически с самого начала существовала в общественном восприятии войны — и, главное, в отношении к победе, к тому, какой она досталась ценой и какие принесла плоды.

В 1960—1980-е эти две памяти постоянно конкурируют между собой. С одной стороны, власть всячески пытается использовать память о войне и, главное, победу в ней как свой фактически последний реальный идеологический фундамент (в 1956-м и в 1968-м это проявилось очень наглядно — мы «их», венгров, чехов, освободили, а они, неблагодарные...). С другой стороны, эта память в те же годы — едва ли не главный источник десталинизации и критики режима — даже в подцензурных условиях. 9 мая и становится официальным праздником (в 1965-м), и продолжается оставаться реальным днем памяти о всенародной трагедии, о слезах «несбывшихся надежд», о непомерной цене, заплаченной народом за эту победу.

Собственное участие в войне в эти годы было очень важной частью биографии для сотен тысяч людей. Хорошо известен вечный образ из советских кинофильмов, а главное, из жизни тех лет — человека опустившегося, спившегося, единственным оправданием неудавшейся жизни которого служит сознание выполненного на войне долга.

И эти две памяти живут, часто неосознанно, в восприятии Отечественной войны нашими подростками, противореча одна другой и переплетаясь друг с другом.

С одной стороны, война для них — нечто абстрактно-застывшее, лишенное какой бы то ни было, пусть даже мифологизированной, но живой памяти, набор клише из брежневской эпохи, заученных формул, вроде: «великий подвиг советского народа», «никто не забыт и ничто не забыто», «у войны не женское лицо», «День Победы — это радость со слезами на глазах», «памяти павших будьте достойны» и так далее, которые немедленно возникают в их текстах, как при введении ключевого слова в веб-поиске, и повторение их — просто обязательное ритуальное действие, предваряющее любой разговор о войне.

Наши дети — жертвы этой выхолощенной и лишенной всякого человеческого содержания казенной «памяти». Они бесконечно воспроизводят ее язык, потому что этим языком говорят о войне их учителя, им написаны учебники, это тот язык, который они

привыкли слышать от ветеранов, сделавших участие в войне своей профессией.

Слава богу, иногда они сами чувствуют, что этот язык ни в коей мере не передает реального исторического опыта. Особенно когда видят разницу между человеческим рассказом и набором штампованных фраз:

> Обидно было, что во время публичных выступлений Василий Сергеевич превращался в «записного героя», то есть говорил, что положено было говорить; услышать от него какой-то реальный факт из окопного быта было невозможно.
>
> Я предполагаю, что даже если бы и власти разрешили ему «резать» правду-матку о войне, он бы на людях не стал бы ее «резать». Удивительно, на глазах менялся человек: с нами наедине был открытым, душевным, простым, прямо — родным отцом, а стоило выйти к трибуне — слушать его совершенно было не интересно.
>
> Неужели он боялся, что если скажет правду о жизни или о войне, то его неправильно поймут и больше не пригласят?
>
> *(Андрей Поляков, Брянск, из работы, посвященной судьбе Героя Советского Союза)*

Другая неофициальная, неказенная, народная память о войне возникает в их сознании в основном через призму семейной истории. Большинство наших авторов — школьники из небольших российских городков, поселков, деревень, и их деды и прадеды — в основном те самые рядовые, из которых сложились миллионные цифры военных потерь. Редко попадаются младшие офицеры, не говоря уже о командном составе. Но даже этих семейных цифр достаточно, чтобы увидеть масштаб: тут призвали всех — и мужа, и троих сыновей, не вернулся никто, здесь из пятерых детей — один. И места гибели, если известны, тоже повторяются — Ельня и Вязьма, Сталинград и Курск, Кёнигсберг и Будапешт...

Кстати, неслучайно в сотнях работ приводятся многостраничные списки ушедших из их родных мест на фронт и не вернувшихся с войны. Даже простое перечисление имен и фамилий — это тоже элементы живой памяти.

Сотни и сотни раз воспроизводят школьники в своих работах модель семейной крестьянской биографии (или, как говорят немцы, Meistererzählung) — пережили едва 1929—1932-й, если семья была покрепче, то, как правило, раскулачили, к концу 1930-х не-

много очухались, попривыкли как-то к колхозам, а тут сразу и война. Мало среди крестьянских дедов и прадедов наших авторов добровольцев, бросившихся на призывные пункты в патриотическом порыве. Призвали — пошел выполнять тяжелый долг, хорошо, если успел написать одно-два корявых письма, и погиб.

С фронта в совхоз не вернулись 643 человека, многие пришли покалеченные.

Здравствуйте, друзья-подруги,
Здравствуйте, родители!
Пришли втроем на двух ногах
Фашистов победители!

Эта частушка о трех инвалидах войны: Баркове Кузьме Антоновиче, Кальченко Алексее Николаевиче, Араптанове Гайсе Ирисовиче... С этого времени и до конца XX века в селе стало женщин больше, чем мужчин.

(Аксинья Козолупенко, село Свобода, Башкортостан)

В подавляющем большинстве память о войне передается нашим подросткам на коммуникативном уровне через женщин — прабабушек и бабушек. И таким образом, тема войны влечет за собой представление о конструкции российских семей, о том, как распределялись роли, как фактически целые поколения воспитывались лишь женщинами и какие это имело последствия.

Исследуя историю нашего рода, мы обратили внимание на то, что XX век в нашем роду — это век вдов. Мы решили проследить судьбы только троих. Нам хотелось не только описать их жизнь, но и проследить, как события страны отражались на их судьбе, как они влияли на их жизнь и жизнь их близких. Тема нашей работы — судьбы трех вдов XX века. Бабушка, узнав, что мы хотим описать, исследовать, заплакала.

(Александра Корсакова, Полина Корсакова, поселок Приволжский, Тверская область)

Услышанные истории

И поэтому сравнительно мало в их работах фронтовых эпизодов, а описания боев полны казенной риторики и мифологии. Для нынешних подростков большая редкость услышать такой рассказ:

Сталинград немцы бомбили до исступления. «Все время мрак, — говорит дедушка, — темно, потому что дым пороховой, и земля, лежишь на ней, а она волнами ходуном под тобой ходит, руку протяни — ничего не видать, часы разбиты, непонятно — какое время суток. Бывало так, что стукались друг об друга стрелявшие, наш и немец, оборачивались и в рукопашную».

Дедушка хорошо запомнил майора, который на Волге переправой руководил. Он был молодой и совсем не обращал внимания на снаряды, пули, он сильно кричал, ругался, кого-то торопил, кому-то быстро помогал, когда образовывался очередной затор... А дедушку на плащ-палатке приволокли к переправе два раненых бойца, и когда они его под бомбежкой тащили, один сказал: «Он мертвый давно уж, а мы тащим, оставь». «Нет, живой, он земляк мой из Башкирии, не оставлю, пока ноги идут, ни за что не оставлю», — другой сказал. Дедушка навсегда лицо его запомнил, только уже мертвое. Снаряд разорвался совсем-совсем близко, и этот солдат дедушку успел закрыть собой, упав на него, в последнем движении плащ-накидку распахнув над дедом...»

(Тимур Галлиулин, город Межгорье, Башкортостан)

Реальность таких рассказов заставляет нынешних подростков иногда задумываться над поведенческими мотивациями, которые проявляются в форме наивного вопроса — а ты, дедушка, за кого воевал? (Так трансформируется в их сознании призыв: «За Родину, за Сталина!», который на самом деле звучал главным образом в донесениях политруков.)

В военной реальности, если им, конечно, удается к ней прорваться, места для такой формулы нет.

В уголовном деле № 8705 по обвинению Хабибуллина Валиша Хусаиновича (начато 10 июня 1942 г., окончено 16 июня 1942 г.) имеются очень интересные свидетельства других солдат, допрошенных в качестве свидетелей:

Свидетель Минаев Федор Иванович, 1907 года рождения, красноармеец роты автоматчиков, не судим — показал:

Отношения с подсудимым обычные, 25.05.1942 мы были заняты на оборонных работах. За время отдыха, когда мы курили, Хабибуллин спросил: за кого мы воюем? Захаренко ответил, что мы воюем за Сталина, за Родину. Хабибуллин заявил: я за Сталина воевать не буду.

Минаев на вопросы суда ответил:

Мои показания на предварительном следствии правильны. Я помню, что Хабибуллин сказал, что он за Сталина воевать не будет.

Свидетель Захаренко на вопросы суда ответил:

Началось с того, что Хабибуллин сказал, что очень тяжелая жизнь на войне. Он спросил: за кого мы воюем? После того, как я ему разъяснил, за кого мы воюем, он сказал: если за Сталина, то не нужно воевать.

(Нина Бреденкова, село Борки, Тюменская область)

Большинство историй, которые они слышат, — о жизни в тылу, под оккупацией, о бегстве, пережитом их бабушками, о разбомбленных эшелонах, о потопленных баржах.

Это истории угнанных в Германию остарбайтеров, это очень тяжелая правда о партизанском движении, рассказать которую не берутся сегодня и взрослые историки, это картины непосильного фактически принудительного труда и постоянных репрессий в тылу — то есть все то, что жило в народной памяти, хоть и скрывалось, вытеснялось вплоть до 1990-х годов.

Когда подростки передают эти истории, происходит важная вещь, идущая вразрез с официальным советским образом войны, который сегодня насаждается гораздо активнее, чем это было еще несколько лет назад. Происходит несомненная деидеологизация этого образа, а патриотическая риторика, в которую они впадают, — на уровне заученного языка, а не на уровне нравственных оценок. Нет работ, где звучало бы осуждение прадеда, сдавшегося в плен, и для них не имеет значения — был ли он при этом тяжело ранен или просто оказался в безвыходном положении, главное — тяжесть перенесенных испытаний. Кстати, отчасти поэтому им так трудно бывает понять, где в рассказе об угоне или плене звучит явная мифология, где фигуры умолчания, где вытеснение, ведь все это связано с теми страхами, которые до сих пор испытывают многие рассказчики. А нынешним подросткам все-таки трудно бывает понять природу этих страхов.

Казенная память о «великом подвиге советского народа» существует как бы отдельно, а в реальной семейной памяти живет прабабушка, которая подчистила метрики двум младшим сыновьям, после того как погибли и муж, и старшие. И этот подлог вызывает полное понимание у правнучки, и она рассказывает об этом как о чем-то само собой разумеющемся.

Вести о гибели старшего сына и мужа повергли ее в безумство, и чтобы уберечь от гибели подросших сыновей Ивана и Петра, у которых подошел призывной возраст, она всеми правдами и неправдами изменила им даты рождения в метриках. Спасла парней от фронта. Так и осталось от огромной семьи четверо детей, да мать-горемыка.

(Анастасия Галка, город Пугачев)

Их нисколько не удивляют истории прабабушек и бабушек, угнанных в Германию, когда те рассказывают им то, что все эти годы скрывали; например, о возникавших порой человеческих отношениях с хозяевами-немцами. А вот реакция «своих» вызывает непонимание и возмущение.

Моя крестная, Екатерина Федоровна Богданова, была в немецких концлагерях. Ей чудом удалось выжить. Вернулась на родину, но вместо теплого приема и поддержки, в которой она тогда больше всего нуждалась, ее ожидали презрение и ненависть соотечественников.

Крестная говорит, что этого она никогда не забудет: вот как их встречали свои...

Ничего, кроме слов «предатели» и «изменники», Катина семья, как и она, вместе с другими русскими, освобожденными из лагеря, не слышали. Крестная рассказала, как встретили их в Бресте соотечественники: выходит она из вагона с пятилетней племянницей на руках и слышит первое «приветствие» по-русски: «Что, сука, нагуляла?» Она не могла понять — за что такие унижения. Ладно, от немцев: они были врагами, — но здесь свои, соотечественники. Просто в то время считалось, если человек вернулся из Германии, значит — изменник.

(Елена Грудинина, Мончегорск)

И похожих работ множество.

Такая же оценка звучит у них, когда речь заходит о бессмысленных жестокостях в нашей армии, о расстрелах так называемых дезертиров, о штрафбатах.

Дедушка запомнил и майора лет тридцати. Его арестовали, когда он из окружения с 4 бойцами вышел, шли по болотам. В Белоруссии он был ранен в грудь, а его встретили как изменника. Капитан отдал его под трибунал. Ночь под

караулом просидел, а наутро вышел, и ахнули все, потому что майор поседел сильно. Его расстреляли, а солдат направили в штрафбат... все до последнего солдата понимали — не за что майора расстреливать.

(Тимур Галиуллин)

И более того — один сочувствует прадедушке, который, не выдержав ужасов плена, все-таки пошел во власовцы и отсидел потом свое в ГУЛАГе, другой — деду, который, став старостой, метался между партизанами и немцами, и так далее.

Интерес именно к еще недавно запретным темам, к тому, что до сих пор не вписывается в официальную память, в той или иной степени чувствуется едва ли не во всех работах о войне, просто иногда нашим школьникам трудно прорваться к хорошим и правдивым источникам. (Надо еще помнить, что военные архивы до сих пор на самом разном уровне остаются едва ли не самыми закрытыми, и поэтому в отличие от работ, посвященных репрессиям, в работах о войне главный источник по-прежнему — память да, в лучшем случае, фронтовые письма и, если уж очень повезет, дневники.) И это, конечно, тоже почва и для мифологии — она особенно прорывается в воспроизводимых без критики рассказах о поимке шпионов и диверсантов. Это и неудивительно — ведь все-таки подавляющее большинство нынешних рассказчиков были в войну подростками, и истории с, по всей вероятности, мнимыми шпионами им, конечно, особенно запомнились.

Тем не менее в сотнях записанных рассказов сегодняшние подростки воссоздают совершенно уникальную по количеству мелких подробностей и деталей историю прежде всего тыловой повседневности.

Тут как ветром сдувает всю казенную патриотическую риторику, и возникают картины тяжелейшей, труднопредставимой западному европейцу военной жизни. Голод и холод, непосильный, по 12—14 часов труд подростков на военных заводах (где награда — стахановские сто грамм хлеба — прибавка к пайку), и никуда не уйти, не убежать, вернут с милиционером и еще посадят на полгода, на год.

Многие бабушки и дедушки откровенно рассказывают, как во время войны «попадали под указы», как получали срока за невыполнение трудодней, за опоздание на фактически принудительные работы, за так называемую спекуляцию. И мы читаем, как прабабушке дали восемь лет за буханку хлеба, вынесенную голодным детям, а сестра деда за торговлю сахарином получила пять лет и так

в лагере и умерла. Все эти, мягко говоря, негероические семейные сюжеты военного времени вызывают у наших авторов только сочувствие.

И еще одна чрезвычайно важная вещь — война и, главное, победа сегодня используются властью как чрезвычайно важный элемент исторического подкрепления державно-национальной идеи. К сожалению, усиливающийся поток советской патетики, подмена истории войны историей победы — все это не проходит мимо наших школьников: им рефераты писать, вступительные экзамены сдавать. Но как только они сталкиваются с реальными событиями и реальными судьбами — они не на стороне государства, требующего от их близких самоуничтожения, принесения себя в жертву, какими бы патриотическими лозунгами это государство ни прикрывало свои репрессивные действия. А их семейные истории, связанные с войной, с довоенной и послевоенной жизнью крестьянской и фабричной России, — это истории полнейшего бесправия.

Образ врага

Каким представляется им сегодня образ врага, немца, оккупанта?

Конечно, и здесь часто возникает патетика в духе 1970-х, однако совершенно отсутствует пафос мести. Скорее можно увидеть стремление дифференцировать, улавливать все, что не входит в рамки лубочных образов. Проявление человеческих чувств и даже иногда взаимной жалости не вызывает удивления и воспринимается порой как нечто само собой разумеющееся.

> В Боровском и Малоярославском районах жители не раз отмечали случаи нормальных, даже человеческих отношений между хозяевами и непрошеными постояльцами. Например, врач-хирург по собственной инициативе оперирует нарыв на руке местной жительницы. По рассказам, немецкие солдаты жаловались местной учительнице немецкого языка на свою подневольную жизнь... Русские женщины иногда по-человечески жалели этих немецких мальчиков. Так, во время бегства немцев из Боровского района в одной из деревень старушка подвезла к дороге, по которой мчались машины и техника, на санках молодого солдата с отмороженными ногами и хотела пристроить его к отступавшим. Сообразив, что

больной никому не нужен, она кричала и пыталась доказать, что его оставляют на верную гибель.

(Анастасия Антонычева, Дарья Воронина и др., Москва)

Очень часты рассказы о немецких военнопленных — это и понятно, бабушки и дедушки сегодняшних конкурсантов — это послевоенные подростки, и им, конечно, запомнились вызывавшие недавно такой ужас враги.

Часты были случаи, когда жители, причем сами голодавшие, подкармливали немецких военнопленных. Вспоминает Анна Корзун: «Не помню, кто первый в детдоме увидел немцев. Когда я увидела первого немца, то я уже знала, что это пленный. У нас только кончился обед, и я, видно, еще пахла обедом. Он стоял возле меня, нюхал воздух. Побежала и позвала девочек, у кого-то остался кусочек хлеба, и мы отдали ему этот кусочек. Он ничего не говорил, только благодарил «Данке шён, данке шён». Когда я дежурила на кухне, я оставляла им весь свой дневной кусочек хлеба, а сама вечером выскребала кастрюли. Все девочки им что-нибудь оставляли.

(Ольга Туровская, г. Байкальск)

Иногда даже сострадание переходит и на детей бывшего врага:

А как же там, на той стороне? Ведь как бы то ни было, а мы победили, все-таки мы поставили Германию на колени, и она так в прахе и руинах, уничтоженная и разоренная не меньше нашего, стояла пред всем миром и, опустив голову, просила прощения. Ведь были же и там сироты! Много сирот! И выпала им такая же горькая судьба, как и ему, хотя он на этой стороне, стороне победителей. О чем думали они, эти дети, вспоминая своих отцов? Возникал ли у них вопрос: зачем? ради чего? И через какие беды и обиды прошли они, пока как-то устроились в этом сложном и таком безразличном к судьбе несчастных мире?

(Кирилл Заводюк, Волгоград)

И такие проявления жалости и даже сочувствия встречаются очень часто. Иногда даже возникает ощущение, что векторы и смысл войны тоже теряются — нет реального врага, воюют два тоталитарных режима, и война осуждается вообще, как некое абст-

рактное зло. Правда, надо признать, что в самые последние годы такая позиция у школьников встречается реже и реже.

Ландшафты памяти

Сейчас, фактически через три поколения, совершенно очевидно, что народная память о войне регионально и даже этнически окрашена. Война оставила следы в разных местах и регионах, и сейчас, спустя многие десятилетия, чрезвычайно интересно посмотреть на это глазами нынешних подростков.

В местах, где прошла оккупация, — это история столкновения с врагом, это судьбы остарбайтеров и, конечно, партизанское движение. Кстати, как выясняют наши конкурсанты, во многих местах помнят не только немцев, но и венгров, румын и итальянцев. А на Дальнем Востоке и в Сибири возникает много рассказов о военнопленных японцах, о которых в Центральной России и не слыхивали.

История партизанского движения чрезвычайно мифологизирована, архивы до сих пор фактически закрыты, но память-то остается. Она весьма и весьма противоречива и часто также не совпадает с официальной советской картиной.

А что происходит с памятью о Холокосте? Она вытеснена почти полностью. И здесь мы сталкиваемся не просто с молчанием памяти (мы видим, как сегодня буквально уже в последний момент нарушаются это молчание и табу, связанные с войной). Но история гибели евреев, которая проходила на глазах у прабабушек и бабушек, в рассказах об оккупации фактически отсутствует. Это понятно. Даже роль наблюдателя в данном случае тяжела и неоднозначна, а власть делала все, чтобы вытеснить этот сюжет, никак не поддерживая, а даже уничтожая культурную память о нем. Конечно, главные места, связанные с Холокостом, теперь уже за пределами России, но есть ведь и российский Юг: Краснодар, Ростов, Таганрог.

И все-таки (особенно в последнее время) мы видим попытки приподнять завесу молчания, докопаться до правды и разбудить взрослую память. В таких случаях из пассивных, хоть и внимательных, слушателей наши конкурсанты превращаются в активных субъектов истории.

С памятью о Холокосте это происходит тогда, когда они совершенно случайно обнаруживают, что буквально ходят по местам

массовых захоронений, — это производит впечатление и заставляет начать поиски.

Но есть еще очень больной вопрос исторической памяти. Касается он еврейских захоронений в Краснодаре. Вернемся ко второму из трех памятников, о котором вспоминает отец. Это стела высотой 5—6 метров. Стояла она на месте того самого дота, где погребены 500 евреев города, ставших первыми, кого коснулся беспощадный фашистский террор. Там умнейшие люди довоенного Краснодара, их семьи, детишки. Памятник стоял на пересечении улиц — Солнечной и Московской. Машины были вынуждены объезжать его стороной. В начале 70-х годов, как рассказывали местные жители, стелу переставили на несколько метров в сторону. А когда в 1975 году в Первомайской роще устанавливали мемориал жертвам фашистского террора, памятник на месте еврейского захоронения убрали вовсе. Причем говорят, что произошло это ночью, возвращавшиеся вечером с работы видели возле памятника два подъемных крана. А на следующее утро на том месте была лишь ровная площадка.

(Павел Кривенко, Краснодар)

Еще раньше, когда я бывала в Городке, я видела в центре деревни разрушенное здание синагоги. Мы с подружками гуляли по заросшему еврейскому кладбищу. Мне всегда казалось, что эти следы прошлой жизни хранят какую-то страшную тайну. И только теперь, после разговоров со старыми людьми, все встало на свои места. Я и раньше слышала об уничтожении евреев в войну, но масштабы трагедии еврейского народа я начала осознавать только сейчас, услышав об этом из «первых уст». А ведь некоторые мои сверстники, да и взрослые, мало знают об этих событиях и с трудом верят, что такое могло быть.

(Снежана Караваева, Мончегорск)

Такие работы, как бы мало их ни было, вселяют надежду.

Конечно, питерские работы главным образом посвящены блокаде, а если о войне пишут подростки из Сибири, с Урала, это фактически история эвакуации (очень сильно изменившей жизнь этих регионов) или тяжелейшего труда — того, что на официальном советском языке называлось «подвигом тружеников тыла».

В советской мифологии подразумевалось, что память о войне — это то, что объединяет все советское многонациональное пространство, — вспомним фильмы прежних лет с обязательным набором стереотипов — и где все дружно воюют вместе: веселый грузин, молчаливый узбек, хитроватый украинец и так далее.

Но наш конкурс отчетливо показал, как память о войне разделяет. Если работа, например, написана школьниками из Калмыкии или Ингушетии, то в их памяти война — это прежде всего история депортации. Истории российских немцев — это тоже депортация и трудармия, которая мало чем отличалась от ГУЛАГа. А в Карелии память о войне — это память о финской оккупации, и как показывают приходящие оттуда работы, эта память не просто жива, она возрождается. В Коми это ГУЛАГ, работающий на победу из последних зэковских сил, в Татарстане это эвакуация, и так далее.

И тут особое место, конечно, занимает Чечня — хотя бы потому, что те чеченские школьники, которые прислали нам свои работы, сами свидетели войны — им есть с чем сравнивать. Для них война — это не только депортация — это сравнение. Более того, может быть, теперь им на фоне собственных реальных впечатлений, их собственной, пусть даже короткой памяти стала ближе память их дедушек и бабушек, тоже в детстве переживших кошмар депортации 1944 года. Эти «памяти» в некоторых работах так тесно сливаются, что иногда непонятно становится, от чьего имени идет речь. Воспоминания бабушек, дедушек (чаще, конечно, бабушек — это, кстати, объединяет их с остальными участниками конкурса — и здесь тоже очень часто носителем семейной памяти выступают именно бабушки) пишутся как бы от первого лица. И очень часто — мнимый или реальный рассказ о кошмаре депортации происходит в кошмаре бомбежек, в подвале — не важно, как это было в реальности, но в рассказах это очень часто так. Вероятно, для собственного выживания очень важны эти рассказы: наши выжили тогда, значит, мы выживем и сейчас.

Память о войне как повод для рефлексии

По сравнению с прошлыми годами количество работ о войне значительно увеличилось. И не только о главной войне в российской истории XX века, но и о других малых и незнаменитых войнах. Вероятно, это связано с постоянным присутствием войны в нашей сегодняшней жизни. Оказалось, что нынешние подростки ближе к этому, чем многие люди старших поколений, которым уже не гро-

зят призыв и отправка в «горячие точки». Может быть, поэтому сегодняшние школьники снова с таким вниманием выслушивают рассказы, связанные с войной.

> В литературе мы можем найти множество примеров героизма советских солдат и гражданского населения, подтверждающих, что война была народной, священной, что народ мужественно сражался и заслуженно победил. Это, безусловно, так. Но наряду с проявлениями самоотверженности и героизма борющегося с фашистами народа имели место и трусость, и предательство, и равнодушие, и жестокость... Война — это экстремальная ситуация, в которой необычайно ярко проявляются черты характера, как положительные, так и отрицательные. В то же время война по сути своей — это массовое убийство. Может ли в этих условиях сохраниться, не снизиться нравственный уровень народа в целом? Может ли человек остаться человеком, не переступить черту, за которой начинается аморальность и предательство? Не всегда и не всем это удавалось.
>
> *(Наталья Малыгина, Московская область)*

Но, возможно, такое оживление памяти о войне объясняется и тем, что для тех носителей памяти, которые еще доступны нашим конкурсантам, наступил наконец «момент истины», когда они готовы поделиться устными рассказами и записями, которыми прежде ни с кем не делились. Возможно, что им легче рассказывать тем, кто свободен от предвзятого отношения к событиям Отечественной войны, — то есть внукам и правнукам. Рассказывать о войне, увиденной глазами рядового, об отношении к пленным и о мародерстве, о заградотрядах и дезертирстве, то есть обо всем том, о чем не принято, да и просто страшно было публично вспоминать.

Может быть, прислушиваясь к этим рассказам, наши конкурсанты начнут осознавать и ценность этой семейной памяти, потому что сохранить что-либо другое было чрезвычайно трудно.

Что можно было взять с собой на память о прошлом депортированным, узникам ГУЛАГа и эвакуированным, попавшим под бомбежку и угнанным в Германию, кроме чудом уцелевших фотографий и документов? Какие семейные реликвии хранятся у миллионов российских семей, когда «24 часа на сборы и эшелоном в Сибирь», какие ценности — разве что машинку «Зингер» (главная семейная реликвия, объединяющая наше постсоветское пространство)? Их разглядывают, их описывают наши авторы. Но главная

и на самом деле настоящая ценность для всех нас — только память... К этой памяти они и обращаются.

> Мы записывали дорожные разговоры наших случайных попутчиков, нам дарили фронтовые письма, фотографии своих близких, даже давали читать дневники. Получилась пестрая картина из воспоминаний, дорожных разговоров, фронтовых писем, дневников. И за всем этим мы видели человека живого, страдающего.
>
> *(Екатерина Рощина, Евгений Черников, город Пугачев)*

Реальная цена победы на фоне собственной семейной истории кажется такой непомерной, что это может рождать и, как мы видим на многих примерах, безусловно рождает чувство причастности и семейного вклада, — и тут есть о чем вспоминать и думать. Даже спустя 60 лет.

Ирина Прусс

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ В ИСПОЛНЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА И ЕГО БАБУШКИ

На пятисотенном банкноте последней модификации красуется СЛОН — первый в советской России концентрационный лагерь: знаменитый Соловецкий монастырь изображен там именно таким, каким был в 1920-е годы.

На площади подмосковного города Дзержинска теперь встанет сброшенный в 1991 году с постамента в центре Москвы огромный памятник главному чекисту страны.

В Перми, «столице лагерей», недавно одно из зданий украсила мемориальная доска: «10 октября 1938 года организовано НКВД Пермской области». На возмущенные протесты правозащитников было спокойно и с достоинством отвечено, что «нынешнему поколению необходимо знать и свою историю, и ее ошибки».

Отдельные факты можно объяснить недомыслием одних, безграмотностью других, не слишком умной попыткой угадать тайные вкусы начальства третьих — но лучше не собирать эти факты вместе (а их еще много). Тайные симпатии начальства тут, несомненно, присутствуют, но в них никто и не сомневался, особенно с тех пор, как социологи сосчитали количество чекистов на всех уровнях власти. От прошлого никто из них не отрекался, включая и первое лицо государства. Интереснее другое: насколько амнезия поразила общественное сознание, которое, конечно, не сводится к симпатиям начальства, но и не слишком заражено антипатиями правозащитников.

Со времен перестройки картина советской истории в общественном сознании весьма существенно изменилась. Социологи ВЦИОМа (теперь Аналитический центр Юрия Левады) предложили опрошенным расположить события из истории XX века по степени их значимости для России[1]. Сравним результаты 1989 и 1999 го-

[1] *Дубин Б.* Конец века // Мониторинг общественного мнения, экономические и социальные перемены. 2000. № 4. С. 13—17.

дов. Победу в Великой Отечественной войне и в 1989 году, и через десять лет подавляющее большинство признало самым главным событием прошлого века; но это большинство за десять лет подросло почти на 10% (с 77% до 85%). Еще резче подскочила важность полета Юрия Гагарина в глазах россиян: с 35% до 54%. В списке значимых событий прорыв в космос вышел на третье место, обогнав потерявшую это место чернобыльскую катастрофу, память о которой, очевидно, начинает слабеть. Если ослабление памяти связывать только с числом прошедших лет, понятно, почему репрессии 1930-х годов потеряли в значимости для наших соотечественников еще больше: в 1989 году их как событие, важное для судьбы страны, отметило 30% опрошенных, а в 1999-м — только 11%.

Но против механического объяснения давностью лет свидетельствует явная выборочность событий, удаляемых на периферию общественного сознания: победа в войне и полет Гагарина тоже не приблизились к нам во времени, однако стали важнее...

Тенденциозность коллективной памяти прекрасно иллюстрирует Лев Гудков, анализируя отношение современных россиян к органам государственной безопасности[2]. По данным опросов, примерно треть взрослого населения страны привычно повторяет советский миф о неподкупности, мужестве, холодной голове, горячем сердце и чистых руках чекистов (к людям старшего возраста в этой группе примыкает радикально настроенная левая молодежь). Еще треть вообще не имеет на этот счет никакого определенного мнения. И только оставшаяся треть в основном образованных людей среднего возраста выразила понятное и естественное для людей, не пораженных выборочной исторической амнезией, отношение к этим самым органам и их роли в нашем советском прошлом.

Но стоит проникнуть сквозь тонкую еще пленку в сознании старших, отделившую их от событий прошлого столетия, как уткнешься как раз в то самое, что общество старается забыть.

Старшеклассники уже пятый год подряд присылают свои исторические исследования на конкурс «Человек в истории. Россия — XX век», организованный историко-просветительским и правозащитным обществом «Мемориал». Они чаще всего записывают воспоминания старших в своей семье (иногда — в соседской) и потом ищут документальные подтверждения этих рассказов, пытаются восстановить исторический контекст событий. Иногда восстанавливают историю церкви, мимо которой много лет бегали в школу, улицы, села, заброшенного кладбища, старой фотографии.

[2] *Гудков Л.* Массовая идентичность и институциональное насилие. Статья первая // Вестник общественного мнения. 2003. № 1. С. 33—39.

Разумеется, у них нет специальной задачи опорочить историю отечества — они просто пытаются взглянуть на эту историю через биографию конкретного человека, что предусмотрено условиями конкурса.

Работы приходят в основном из маленьких городов и сел, разбросанных по всей огромной стране; из двух столиц их приходит совсем мало. Это одна из загадок подобных конкурсов исторических исследований школьников по всей Европе: во всех странах, включившихся в сеть «Евроистория» (Eustory), самые активные авторы — провинциалы. Трудно предположить некую согласованность, подсказанную тенденциозность в выборе тем и их интерпретации: советы организаторов, их методические указания в основном сводятся к тому, как достичь максимальной достоверности и научности.

Довольно быстро организаторы конкурса по присланным работам, которых теперь набралось уже более 11 тысяч, смогли составить карту болевых точек советской истории. Эти точки «вылезали» немедленно, как только начинался серьезный разговор о прожитом. Есть темы «всеобщие»: коллективизация, Великая Отечественная война. Есть региональная коллективная память, сосредоточенная вокруг своих больных тем: если работа из Калмыкии — депортация, с Кубани — расказачивание, из Республики Коми — ГУЛАГ («Кажется, там каждый ребенок уже написал несколько работ», — говорит председатель оргкомитета конкурса Ирина Щербакова[3]).

Тексты из дальних и относительно мелких поселений позволяют взглянуть на российскую историю прошлого столетия глазами рядового человека провинциальной России. История при этом предстает в совершенно ином виде, нежели официально принятый на сегодня ее вариант.

Мы имеем дело как бы с двумя потоками коллективной памяти. На самом деле таких потоков не два, а гораздо больше; тем не менее, полагаю, можно обсуждать именно два типа коллективной памяти, имеющих принципиально разную природу и механизмы воспроизводства.

Проще всего один из них назвать «официальным» — для этого, кажется, чем дальше, тем больше появляется оснований. Уже из новых школьных учебников изымаются наиболее одиозные и трагические страницы советской истории — например, упоминания о репрессиях[4]. Однако такая установка власти встречает полное по-

[3] См.: *Прусс И.* Дуэт для многих голосов // Знание — сила. 2005. № 3.

[4] См. об этом подборку «Учебником по истории»: Неприкосновенный запас. 2004. № 4(36). С. 70—91.

нимание и поддержку в обществе. Легко представить себе, что на вопросы социологов, нами уже цитированные, отвечали те же самые люди, которые рассказывали своим внукам или соседским детям о коллективизации, раскулачивании, политических репрессиях и чьи рассказы легли в основу присланных на конкурс исторических исследований старшеклассников.

В каком соотношении находятся два эти столь несхожих потока? Каким образом сохраняется память о «другой» истории, которая так противоречит официальной и от которой, кажется, большинство уже готово отказаться? Как воспринимают эту двойственность в отношении общества к собственной недавней истории подростки — авторы конкурсных работ?

Совокупность работ даже при первом поверхностном взгляде дает некоторый сдвиг в официальном и общепринятом ранге событий. Например, Великая Октябрьская социалистическая революция по всем социологическим опросам, в которых провинция всегда достойно представлена, почитается как одно из важнейших событий XX века (не говоря уж об учебниках и вообще официальной историографии) и чаще всего прочно занимает второе место после победы в Великой Отечественной войне. Но в воспоминаниях не о государственной, а о личной своей истории, об истории своей семьи революция как таковая оказывается почти вытесненной из памяти. По самому общему впечатлению, первое место решительно принадлежит коллективизации; второе и третье делят война и репрессии.

И репрессии, которые в полуофициальных воспоминаниях и преданиях существуют прежде всего как преследования и уничтожение партийных, военных кадров, энкавэдэшников и интеллигенции (1937 год давно стал их символом), здесь становятся по преимуществу репрессиями против крестьян. Коллективизация у рассказчиков неразрывно связана с раскулачиванием.

Это память крестьянской России.

Серьезное исследование обнаружит и другие несовпадения официальной сетки главных событий века и опорных точек такой же сетки в памяти живых участников и свидетелей этих событий. Но уже ясно, что старательно вытесняемое из советской истории в ее обобщенном изложении составляет основное содержание другой советской истории, о которой рассказывали подросткам их бабушки и дедушки.

На первый план в этих рассказах, записанных старшеклассниками, выходят не победы на трудовом и военном фронтах, не дер-

жавное величие России в мире, а страдания людей от голода и от насилия как военного противника, так и собственного государства по отношению к своим подданным. Подростковые исследования ошеломляют обилием красочных, эмоционально очень насыщенных деталей: распятие живого человека с крестным отцом в роли палача; дети, которых топят взрослые дяди, заподозрив в воровстве еды во время массового голода; забрызганные кровью замученных подследственных стены; женщины, привезенные на север в легких среднеазиатских халатах, запертые на ночь в неотапливаемом бараке и к утру повымерзшие; больные, по приказу коменданта вынесенные из барака в лес и там умершие...

В личных воспоминаниях участников и свидетелей исторические события и переживания, с ними связанные, сохраняются именно в виде «картинок», образов, целостных, нерасчлененных впечатлений; во всяком случае, именно в таком виде их доносят до нас записи подростков. Можно допустить, что современные подростки, выросшие в телевизионной «культуре клипов», живее реагируют, выделяют и фиксируют прежде всего именно такие детали, образы, «картинки» — тем более что условиями конкурса предусмотрено особое внимание именно к деталям жизни и быта предшествующих поколений. Возможно, рефлексия по поводу рассказанного просто ими «не услышана».

Однако такое предположение сомнительно. Записанные профессиональными фольклористами рассказы пожилых людей также фиксируют резкое преобладание красочных образов над логическими и аналитическими замечаниями и выводами. В последнее время появились исследовательские работы, посвященные анализу так называемых «наивных текстов» — воспоминаний, рассказов, романов и стихов, написанных непрофессионалами и вообще людьми, не включенными в письменную культуру[5]. В одной из таких работ[6], посвященной анализу «наивных мемуаров», было по-

[5] Первыми обратили внимание на этот культурный феномен и на принципиальное отличие подобных текстов от созданных профессионалами или людьми «письменной культуры» Наталья Козлова и Ирина Сандомирская. См.: *Козлова Н., Сандомирская И.* «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения. М.: Гнозис, 1996.

[6] Сотрудницы Института высших гуманитарных исследований РГГУ Анны Минаевой, анализировавшей мемуары Виктора Малькова. Серию «Народные мемуары», представляющая воспоминания, написанные бывшими крестьянами, солдатами, военнопленными и так далее по собственной инициативе, с середины 1990-х годов издает Омский государственный университет (редактор Борис Осипов).

казано, как живой, красочный, своеобразный язык, которым авторы описывают детали и эпизоды своего крестьянского детства, жизни в ссылке, сменяется заимствованными из газет клише при всякой попытке обобщения и анализа.

И в текстах, записанных участниками конкурса, и в «наивных мемуарах» звучит совершенно особое отношение к государственной власти, родственное отношению к власти дореволюционных крестьян[7]. Советская власть выступает здесь вне всякого юридического и даже политического контекста, подобно некоей стихийной силе, способной творить как добро (наделение крестьян землей после революции), так и абсолютное зло (раскулачивание, коллективизация, пытки и бессудные расстрелы, ссылка стариков, женщин и детей и так далее). Никто из рассказчиков (как и авторов мемуаров) не говорит о причинах террора, не обсуждает его социальных или политических аспектов: это тяжелейшие условия жизни, предъявленные им как данность; их надо было как-то перетерпеть, вынести, выжить. Хотя они порой указывали на прямых виновников своих несчастий: доносчики-соседи, злые следователи, безжалостный комендант, жестокие порядки, установленные властями, советскими или фашистскими, — все это вплеталось в контекст чуть ли не эпический, в котором Зло безлико, всесильно, неизбывно. Даже чиновники, представляющие государство, в конце концов — люди маленькие и зависимые, которые сами боятся власти, хотя и не прочь при случае ее слегка обмануть. Поэтому упреки в адрес людей, помогающих власти осуществить зло (соседи, доносчики, чиновники, готовые нарушить инструкцию ради выполнения «плана по валу»), конкретные, живые, а в адрес власти их или не раздается вообще, или повторяются газетные клише времен перестройки.

Многим до сих пор важно, что их посадили — сослали — выгнали из дома «несправедливо» по преступным законам того времени, что они все-таки не подпадали под раскулачивание и могли бы спокойно оставаться в родном доме, если бы не зависть соседей, усердие чиновника и так далее. Люди могут быть добрыми и злыми, они в какой-то мере ответственны за свои поступки — но они действуют в рамках возможностей, предоставленных им властью, ответственность которой обсуждать столь же бессмысленно, как ответственность урагана, землетрясения или неурожая.

Метафора «естественности», выживания «травы», не требующего осмысления событий в терминах причинно-следственных свя-

[7] Эту особенность крестьянского сознания отмечали многие русские исследователи и публицисты XIX века — в частности, Глеб Успенский.

зей, часто возникает в попытках реконструировать традиционное общественное сознание — применительно к России крестьянское, потом советское[8]. Интересно, что близкий образ возник у одного из подростков, участников конкурса:

«Если вся Россия, как говорила Ахматова, делилась на тех, кто сажал, и тех, кого сажали, то, возможно, была и третья Россия, которая этого не ведала. Сделав ставку на выживание, не вникая в смысл и суть происходящего, пригнув так низко голову, что ее и заметить трудно, она пахала, сеяла, отдавала от трудов своих, сколько требовали, а сама жила малым... Ее, как высокую траву, не скосишь, не пустишь в расход: так она была низка, так незаметна. Ее можно было только примять...»[9]

Выживание — главная, не всегда достижимая ценность для рассказчиков; оно же становится и критерием успеха, удавшейся жизни. Из барака, где в одной комнате семья с пятью детьми, спят по двое в кровати, нет ни водопровода, ни центрального отопления, переехать в отдельную квартиру со всеми удобствами, полученную «от завода» за тридцатилетнюю беспорочную работу, — успешная советская карьера. Не потерять, вырастить детей, дать им образование — история о героически выполненном родительском долге. Это принципиально иные критерии успеха и карьеры, чем те, что учитываются и провозглашаются в «другой» истории.

Никто не заставлял этих людей отвечать социологам, будто бы зачеркивая всю свою биографию, как не заставлял и вспоминать самые тяжкие ее эпизоды. Какой барьер отделяет сегодня одну историю от другой?

«Однажды, прослушав его [главного героя исследования, смело сражавшегося во время войны. — *И.П.*] выступление 9 мая — в День Победы на Площади Партизан, я совершенно не узнал Василия Сергеевича... Он повторял то, что обычно пишут в газетах к 9 мая. А ведь он дожил до такого возраста, когда можно уже не бояться правды...»[10]

Знаменитое советское двуязычие создавалось таким вот умением по необходимости обращаться то к одному, то к другому пласту

[8] См., например: *Козлова Н.* Введение в социальную антропологию. М., 1996; *Она же.* Горизонты повседневности советской эпохи (голоса из хора). М., 1996, — интересные попытки если не реконструировать советское массовое сознание «молчаливого большинства», то по крайней мере осознать его отличие от сознания интеллигентского, задававшего нормативы письменной речи.

[9] Цит. по: *Рогинский Б.* «Что под обманчивым скрыто пеплом...» // Человек в истории. Россия — XX век. Конкурс 2001/2002. С. 454—455.

[10] Андрей Поляков, Брянск, школа № 60, 9-й класс.

памяти и каждый раз оставаться достаточно искренним, не задумываясь, как эти пласты соотносятся друг с другом.

Что заставляет сохранять и практиковать это умение, кажется, уже лет двадцать как потерявшее свою актуальность? Прежде всего — страх, что это именно только кажется. Старушки в Новочеркасске убегали от подростков, узнав, что тех интересуют их воспоминания о расстреле рабочих в 1962 году, а пойманные притворялись глухими. Из-за закрытой двери хозяин говорил старшекласснику, готовившему работу о заброшенном, изуродованном еврейском кладбище в Борисоглебске: «Я старый, больной человек, оставьте меня в покое»[11].

Социологи в деревнях и маленьких городах часто воспринимаются как начальство или, по крайней мере, посланцы начальства: известны случаи, когда им жаловались на плохую работу ЖЭКа, больницы, дорожных строителей, ожидая немедленного вмешательства. В любом случае общение с чужими официальными лицами предполагает некоторую отчужденную парадность и вызывает желание выглядеть «как полагается», «не хуже других». В годы перестройки такой общепринятый текст включал в себя преступления сталинизма, теперь, очевидно, текст изменился.

Совсем иное дело — общение с близкими, особенно из своей же семьи, с молодыми людьми, которым хочется передать свой опыт, предостеречь от возможных ошибок, передать «правильный» взгляд на мир, на власть, на отношения с друзьями и соседями. Цель высказывания здесь совсем иная.

Непосредственная память, сохраняемая в эмоционально насыщенных образах, очевидно, передается в основном в таком личном общении — если, конечно, у ее носителя нет навыка развитой письменной речи и решимости оставить свои воспоминания «для всех» (судя по всему, достаточно и одного последнего обстоятельства). В традиционном обществе это нормальный канал связи поколений, способный функционировать чуть ли не столетиями. В современном обществе опыт старших быстро устаревает и теряет прагматическую ценность. Сколько в таком случае еще будут сохраняться воспоминания, зафиксированные в двух десятках тысяч историчес-

[11] Алексей Евстратов, город Борисоглебск Воронежской области, школа № 5, 11-й класс. Лев Гудков считает, что страх по-прежнему создает «рамку восприятия» постсоветского человека, а чего бояться — всегда можно найти: террористов, чеченских бандитов, преступности и даже... инопланетян. См.: *Гудков Л.* Страх как рамка понимания // Мониторинг общественного мнения. 1999. № 6. С. 46.

ких исследований подростков и в десятке-другом «наивных мемуаров»?

Во всяком случае, дольше, чем кажется социологам, когда они анализируют свои данные: они считают, что память о репрессиях растворится в следующем поколении, как память о любом стихийном бедствии — непосредственное воспоминание о нем недолговечно, если не осмыслено как испытание или наказание (за поклонение чужим идолам, например), то есть не объяснено и не внесено в картину мира[12]. И участники конкурса, и профессиональные фольклористы свидетельствуют, что в определенных ситуациях личного общения подробности семейной истории, связанные с репрессиями, рассказывают не только сами жертвы и свидетели и даже не только их дети, но и внуки.

В конкурсных исследованиях события советской истории пропущены через двойной фильтр: восприятие старших дано нам в восприятии подростков. Как это обычно бывает в непрофессиональных текстах, особенности авторского подхода к этим событиям и к рассказчикам проступают очень явственно.

Многократно заявлен и в еще большей степени как бы подразумевается главный принцип, определяющий их восприятие и изложение истории. Любые претензии советской власти и любые инвективы в ее адрес в конце концов сосредоточены на одном: на глубоком равнодушии ее к человеку, который, по убеждению исследователей (это можно вычленить из множества текстов), и есть мера всех вещей и величайшая ценность, не сопоставимая с ценностью любой идеологии, любой «целостности государства».

«Упадет замертво истощенный, обессиленный боец в болото, схоронят его тут же, где посуше, и — аминь. Никого не накажут. А вот если красноармеец "замордует" работой свою лошадь, не докормит, не допоит ее, то солдатика того — к стенке, и — пулю в лоб»[13].

«В моей голове остался вопрос — кому и зачем нужно было массовое уничтожение невинных людей, семей?»[14]

«Никакие "благие" цели не могут оправдывать такие бесчеловечные, жестокие средства, какие были применены советской властью по отношению к собственному народу»[15].

[12] *Гудков Л.* Массовая идентичность... С. 36.

[13] Андрей Поляков.

[14] Людмила Пушкина, город Котлас Архангельской области: «Мои размышления при прочтении книги "Котлас — очерки истории"».

[15] Ксения Любимова, Пермь: «История спецпереселенцев в Ныробском районе».

«Какой же мощной зомбирующей силой обладал режим, блокирующий все "болевые" точки мозга, когда за глобальностью идеи терялся человек!»[16]

Не важно, насколько именно такой подход к истории подсказан им учителями, их научными руководителями и насколько это — самостоятельно выработанная ими идеология. Важнее констатировать, что общественное сознание явно сдвинулось в эту сторону. Относительно недавно на вопрос, зачем надо было уничтожать такое количество людей, был общепринятый ответ: ради победы социализма; ради того, чтобы победить в войне; ради сохранения «целостности государства». Участники конкурса твердо стоят на своей ценностной позиции не только в случаях, в общем-то для всех бесспорных и даже официально осужденных: коллективизация, сталинские репрессии. Пожалуй, впервые в одной из работ четвертого конкурса я прочла вопрос: зачем нужны были огромные жертвы и страдания ленинградской блокады? Почему нельзя было сдать город? А ведь это одна из священных коров войны, это до сих пор табуированный вопрос.

Эти и подобные им вопросы — табу не только для официальной пропагандистской версии; во всех конкурсных работах их задают исключительно и только авторы исследований, никогда — рассказчики. О тяготах ленинградской блокады написаны, рассказаны, сняты тонны литературы и километры кинопленки; но вопрос, зачем, ради чего именно были принесены такие чудовищные жертвы, просто не обсуждается.

Дети, как видим, начинают спрашивать.

Бросается также в глаза, что для современных подростков, по крайней мере конкурсантов, советская история едина и неделима: нет принципиальной разницы в отношении как к пушечному мясу к солдатам великой войны (теряющей свое официальное величие в изложении простых ее участников) и войны Афганской, во вранье сталинских и брежневских времен. Полагаю, современная молодежь вообще мало утруждает себя работой по различению оттенков разных периодов советской истории. Это, может, и не слишком исторично, но в такой широкоформатной оптике есть свои преимущества.

Более того, к советской истории юные исследователи легко и непринужденно «подверстывают» историю современную, постсоветскую. Типичен для многих работ такой ход мысли:

[16] Екатерина Конева, село Елбань Новосибирской области: «Затянувшееся затмение».

«К голоду 1921 года привела ошибочная аграрная политика советской власти. Но советская власть так и не покаялась.

Может быть, провал наших реформ сегодня объясняется прежним отношением к народу? Даже не к народу, а к электорату»[17].

В работах много чисто моральных суждений. Порой они обращены к героям исследований: как можно было не понять... или понять только тогда, когда коснулось лично тебя, а до того самому принимать участие... И восхищение их вызывают эпизоды, связанные не с трудовым или военным героизмом, как это принято в учебниках, а с мужеством противостояния насилию: дед отказался стать стукачом; профессор выступил на заседании кафедры, прославляя заслуги своего коллеги-еврея перед комиссией, готовой предъявить ему обвинение в космополитизме; в селе не нашлось ни одного человека, согласившегося свидетельствовать против своего священника, и его пришлось судить в другом месте.

Но львиная доля претензий подростков адресована государству. В отличие от старших, они именно на систему возлагают главную ответственность — и не только за прямое насилие, но и за вопиющую бедность, невыносимые, на их взгляд, условия быта, на которые власть обрекала людей, оставаясь совершенно равнодушной к их нуждам.

И все-таки во всем, что они пишут о советском режиме, есть много сходства с суждениями старших. Молодые люди почти никогда не анализируют политику советской власти социологически или политически. Пытаясь установить причины, по которым затевалась та или иная кампания, арестовывали и ссылали людей, посылали на верную смерть солдат, авторы чаще всего останавливаются именно на моральном суждении о преступной природе власти. В результате государство обретает черты и свойства человека, наделенного людоедским характером и гигантской силой, позволяющей проявлять этот характер в небывалом масштабе.

«Но машина, именуемая советской системой, не заплакала, не содрогнулась, повторила, организовала голод 1933 года... Бесчеловечные хлебозаготовки и наступивший вследствие их голод...»[18]

Красоты индивидуального стиля лишь подчеркивают общую практически для всех участников конкурса склонность очеловечивать систему (вместо того, чтобы «разбирать ее на части»).

[17] Алексей Епифанов, город Пугачев Саратовской области: «Голод 1921 года в Пугачевском уезде».

[18] Екатерина Рощина, Евгений Черников, город Пугачев Саратовской области: «Собирая... доброе основание для будущего...»

Не думаю, что их можно упрекать в этом. Смешно было бы требовать от подростков глубокого анализа феномена, который до сих пор не стал предметом серьезного изучения ни российских ученых, ни российских политиков. Более того, подростки по крайней мере не сомневаются в преступном характере советского режима. Ни подростки, ни руководившие ими учителя не могли опереться на научную литературу, на систему принятых в обществе представлений о сути тех общественных процессов, которые сделали возможным эту «другую» советскую историю, хранящуюся в памяти старших поколений и все реже объявляющую о себе публично.

Но непосредственная память все-таки не вечна, а возводимый все эти годы барьер между официально принятым изложением истории, из которой по возможности удалены страдания, унижения и насилие, и «другой» историей, основное содержание которой именно из них и состоит, — этот барьер становится все выше, делая проблематичной саму возможность перевода непосредственных эмоциональных впечатлений в осмысленную, «выстроенную» на основе разных аналитических моделей картину советского прошлого, которая могла бы стать предметом серьезной общественной дискуссии.

Кстати, сколько именно необходимо людей, которые помнят, что с ними и с их близкими происходило при советской власти, способны это рассказать, и сколько тех, кто способен их услышать, готов записать или хотя бы запомнить и передать дальше, — сколько таких людей нужно, чтобы коллективная память функционировала бесперебойно?

Жанна Кормина, Сергей Штырков

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
История оккупации в устных свидетельствах

Введение

Нынешние двадцатилетние получают информацию о войне из двух разных источников. Что-то им рассказывают их бабушки и прабабушки, пережившие блокаду, эвакуацию или оккупацию, а также родители, сами войну не видевшие, но знающие о ней от старших родственников. Наряду с семейными воспоминаниями существует другой источник знаний о войне, другой нарратор. Его рассказ изложен на страницах учебников истории, в книгах о героизме и страданиях советского народа-победителя, художественных и документальных фильмах, отражен в монументальных комплексах, речах выступающих на коммеморативных митингах. Эти два способа трансляции исторической памяти не дополняют друг друга, создавая правдивую картину происходившего; они являются разными историями войны. У этих историй различные адресные аудитории и разные культурные функции. Если первая обращена к слушателю как члену малой группы, семейной или соседской, то вторая — к гражданину страны, участвовавшей и победившей в самой грандиозной и кровавой в истории человечества войне. Один и тот же человек может становиться объектом воздействия и носителем обоих нарративных дискурсов, причем между ними зачастую не возникает взаимодействия, рождающего какие-то гибридные формы. В нашей статье мы попробуем проанализировать специфику устных рассказов об оккупации, сопоставляя их, иногда имплицитно, с официальной историей (grand narrative) войны.

Статья основана на интервью, записанных в 2000 и 2003 годах в Гдовском районе Псковской области[1]. Нашими информантами

[1] Мы благодарим Европейский университет в Санкт-Петербурге и Генеральное консульство Федеративной Республики Германии за финансовую поддержку полевых исследований.

были мужчины и женщины разных возрастов; часть из них встретили войну взрослыми семейными людьми, другие — детьми и подростками, некоторые родились во время войны, а кто-то и в послевоенное время. События войны остаются актуальными для этого «мнемонического сообщества»[2], рассказы о жизни деревни в военное время служат способом поддержания и репрезентации коллективной идентичности[3]. При этом различия в репрезентации и оценке событий времен оккупации зависят не от возраста рассказчика, а от того, насколько он(а) вовлечен(а) в продуцирование официального нарратива войны. Иными словами, зависимость определяется сегодняшними целями рассказчика, связанными с репрезентацией его или ее идентичности[4].

Между устными рассказами об оккупации и официальной историей существуют посредники, приспосабливающие местную историю к правилам grand narrative и «вписывающие» тем самым историю края в историю страны. Такими посредниками выступают институты, отвечающие за патриотическое воспитание и пропаганду: прежде всего школа и местная пресса[5]. Районная газета, вы-

[2] *Cappeletto F.* Long-term memory of extreme events: From autobiography to history // The Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol. 9. № 2. P. 245—227.

[3] Знакомство с локальной историей войны является обязательным механизмом включения новичка в деревенское сообщество. Председатель сельского совета, недавно приехавший в эту местность мужчина 35 лет, пересказывал нам услышанную во время покоса историю о том, что при немцах между деревенскими жителями поделили колхозную землю по числу душ.

[4] По этому поводу существует обширная литература, начиная с классической работы Мориса Хальбвакса (*Halbwachs M.* On Collective Memory / Edited and transl. by L.A. Coser. Chicago; London, 1992. Из относительно недавних исследований см., например: *Tonkin E.* Narrating Our Past. The Social Construction of Oral History. Cambridge University Press, 1992, особенно p. 121—136.

[5] Сюда же следует отнести публикации воспоминаний, написанных местными жителями, а также популярные работы по истории края. В нашем случае такими книгами являются книга воспоминаний участника партизанского движения «Дорога через фронт» (*Виноградов И.В.* Дорога через фронт. Записки партизана. Л., 1964 (1-е издание — Воронеж, 1961, 3-е — М., 1976)) и написанная в жанре исторической публицистики «Тайна линии "Пантера"» (*Климентьев М.И., Проценко А.Д.* Тайна линии «Пантера». Л., 1976). Обе книги популяризировались через «Гдовскую зарю»: подробно описывалась встреча гдовичей с автором «Дороги...», организованная в связи с переизданием книги (№ 31 за 1965 год), публиковались отрывки из работы Климентьева и Проценко (№ 12—17 за 1977 год).

писываемая практически каждой семьей, становилась действенным средством влияния на информационное поле, в котором находились и пребывают наши информанты. Материалы, освещающие местные события военного времени, начинают публиковаться в местной газете в начале 1960-х годов; обычно это воспоминания участников партизанского движения, аранжированные по правилам официального дискурса. Наряду с воспоминаниями появляются репортажи о праздновании Дня Победы, выступлениях ветеранов перед школьниками, приеме местных героев войны в почетные пионеры и другая информация, свидетельствующая о процессе конструирования истории по правилам grand narrative на местном материале.

Факты

В этой статье речь пойдет о Восточном Причудье (а конкретнее, о Гдовском районе Псковской области), которое было оккупировано в июле 1941 года. Немцы пришли так быстро, что практически никто из мужчин не успел уйти на фронт. Они были призваны после освобождения края в феврале 1944-го. Страна остро нуждалась в новых солдатах, и на фронт пошли не только недавние партизаны и мирные жители, но и многие бывшие полицаи, которым представилась возможность кровью искупить свой коллаборационизм.

Во время войны этот район находился в относительной близости от так называемого партизанского края, территории, которая была под контролем партизанских формирований. Из партизанского края велись активные диверсионные действия против оккупантов. Другой географической особенностью этого района, во многом определившей ситуацию, была его территориальная близость к Эстонии. На русском берегу Чудского озера издавна проживало значительное количество эстонских семей. Многие из них пострадали во время репрессий 1930-х годов; оставшихся по соглашению с эстонским правительством оккупационные власти вывезли в Эстонию. Естественно, долгое сосуществование русских и эстонцев породило связи и семейного, и экономического характера. У некоторых из отправленных в Эстонию женщин были русские мужья, служившие в советской армии; в 1944 году в относительно благополучную и сытую Эстонию ходили выполнять сельскохозяйственные работы или обменивать вещи на продукты голодавшие жители русских деревень, сожженных немецкими войсками в ходе карательных операций и при отступлении.

Чужие: плохие и хорошие

В официальном историческом нарративе есть тенденция репрезентировать войну как простое противостояние сторон. Согласно этой логике, на войне, так же как в детской игре в войнушку, есть две партии — «наши», русские (советские люди, патриоты, партизаны, доблестные советские войска, героический советский народ и проч.), и «они», немцы (оккупанты, фашисты, палачи, звери и проч., сюда же следует отнести и предателей, но о них отдельный разговор). За каждым из этих двух коллективных протагонистов закреплен, как в волшебной сказке, пучок функций — набор свойственных ему действий[6]. Антигерои несут разрушение (грабят, жгут, убивают), герои — сопротивляются, страдают и погибают, своей смертью приближая (и мотивируя) победу над врагом. Ниже работа этой нарративной схемы будет проиллюстрирована примерами.

В отличие от текстов официального дискурса, в устных рассказах действуют не идеальные, деиндивидуализированные персонажи, обладающие какими-то характеристиками в силу своей принадлежности к одной из партий, а живые люди, поступающие тем или иным образом в силу собственной индивидуальности и создавшихся обстоятельств. Они бывают хорошими и плохими, слабыми и сильными, чужими и своими, причем чужие могут быть хорошими, а свои — плохими.

Один из повторяющихся образов, возникающих в рассказах об оккупации, — плачущий немецкий солдат. Обычно это немолодой семейный человек; он демонстрирует русской крестьянке его возраста фотографию своих детей или матери или показывает на ее детей, объясняя, что у него дома остались такие же. Иногда он осуждает Гитлера и Сталина за то, что они затеяли войну. Он, как и его собеседница или ее муж, жертва войны. Хотя во время интервью пережившие оккупацию обычно сообщают, что они боялись немцев (потому что неясно, чего от них ожидать), в то же время приводят примеры, доказывающие (прежде всего самим рассказчикам) человеческую природу этих чужаков. Они любят яйца и молоко, ездят на мотоциклах и машинах (что довольно необычно для деревни 1940-х), ухаживают за девушками (иногда не безуспешно: по утверждению одной из наших информанток 1944 года рождения, ее одноклассница была рождена от немца), страдают от холода. Вот показательное описание постовых, охранявших мост через реку[7]:

[6] Ср.: *Пропп В.Я.* Морфология сказки. Л., 1928.

[7] Мы по возможности сохраняем диалектические и индивидуальные особенности речи рассказчиков. Пояснениями и добавлениями, заключенными в

Сами они в валенки обуты, таки длинны-длинны большунные. И на этых валенках одеты такие как решетки. Что как они не портились бы или что такое — не знаю. И стоя[т] смерзшие. У некоторых даже с носа так и текё [течет], это сопли-то, так и стоя[т] смерзшие. А мы-то с Ольгой-то идем и говорим, что: «Ой, бенны [бедные], хто бы пожалел, да йоны враги наши». Смеемся[8].

Эти немцы пришли в русскую деревню не по своей воле. Они просто солдаты, в силу жестоких обстоятельств делающие то, что от них требует безликое начальство. Немецкий солдат совершает, конечно, зло, но он лично редко заинтересован в этом.

Среди «чужих» местными жителями выделяются в особую категорию «белорукавники», именуемые также «каратели», «чухна» (местное название эстонцев), «эстонцы». Практически в каждом интервью сообщалось об их особом месте в категории чужих: «эстонцы были хуже немцев». На территории Гдовского района на самом деле действовал карательный отряд, укомплектованный эстонцами. Эти люди, в отличие от немцев, были не вполне чужими. По свидетельству одной из наших информанток, ее бабушка предотвратила разграбление дома, обратившись к ворвавшимся в него «белорукавникам» по-эстонски: «Это не племянники ли мои пожаловали?» Каратели ведут себя как мародеры. Их главная цель, по мнению рассказчиков, — пользуясь властью, нажиться на войне. В рассказах о действиях карателей особо выделяется сюжет преступлений против имущества, «добра».

И заставили, маму вывели за дом, наставили пистолет там, ружье, что, мы-то дома были [т.е. не видели]. «Показывай, где яма, где зарыто добро». Ну, мамы что делать? Дети останутся [одни, если она будет сопротивляться и погибнет]. Ну и показала, в подвале этакое добро. Они вырыли яму, принесли эту кучу. Там и довоенные, это, знаешь, платки пуховые, и отрезы на костюм. Жили наши неплохо перед войной, вот. Нарыли кучу этого добра. Ну вот, завязали их, это добро в узел большой. А я-то, это, пошли в комнату. Смотрю, [у] меня матка с Палкина[9] *приезжала и сатин подарила, такой красивый, на платье. Я сидела-сидела на скамейке, думаю: мои-то платья попаду[т] эстонцам! [Смеется.] Ха!.. вот така девчонка была! Сидела на скамейке, они в комнату за чем пошли, я — пырк! Хвать этот материал-то, и себе под задницу, и сижу ни в чем не бывало. И*

квадратные скобки, мы хотели помочь читателю в понимании содержания приводимых фрагментов интервью.

[8] О.С. Назаренкова, 1921 г.р.

[9] Городок в Псковской области.

так [у] меня сатин остался, и платье потом сшила. Ну вот. И вот они этот узел огромный добра увязли туда, за речку, а потом отправили себе в Эстонию своим родственникам. Вот. Еще хорошо, маму не убили. Вот она доказала[10]*, а машинку и обувь, другэ яму не показала, где обувь была и машинка. Так вот, машинка у меня швейна еще щас [сейчас] цела*[11].

Спасение ткани и швейной машинки помнится рассказчицей как маленькая победа ее семьи, сумевшей сохранить хотя бы часть своих запасов, а значит, своего будущего. Те, у кого не осталось подобных ценностей, не могли после войны выменивать у эстонцев вещи на продукты и были обречены на голод. В приведенном выше рассказе не менее важно ощущение моральной победы: слабым удалось провести тех, кто находится в сильной позиции. Подчеркнем, что эти эстонцы, по мнению рассказчиков, в отличие от немцев совершают зло по собственной воле, преследуя собственные интересы, обогащаясь и/или мстя простым людям за то, в чем виновно «начальство» или судьба. Возможно, именно поэтому «эстонцы были хуже немцев».

Следует сказать, что рассказчики различают «чухну-белорукавников», занимавшихся грабежами, эстонцев — бывших соседей, увезенных в Эстонию, и тех эстонцев, к которым ходили менять продукты и на заработки после войны. Отца другой местной жительницы, который был коммунистом, *белорукавники* увезли в Эстонию и должны были расстрелять; по ее убеждению, он спасся благодаря заступничеству своих бывших односельчан-эстонцев:

И как раз где его посадили, где-то там двое этих эстонцев жили. И как они услышали, что он там — ну, в общем... ну мы ж с этим[и] эстонцам[и] жили хорошо. Они работали. Мы все работали вместе. Родители. Я-то тогда еще [была маленькой]... Потом они стали допрашивать, и вот эти эстонцы-то сказали: он нам был как отец родной. Мы работали, и они как-то так это. Ну и вот. И он остался живой[12].

Таким образом, «чужие» эстонцы могут выступать в роли положительных героев. И все-таки они чужие: в рассказах их никогда не называют по именам. Данное наблюдение требует краткого нарратологического комментария. Вообще говоря, у рассказчика есть несколько способов дать понять слушателю, что герой повествования «свой». Называние имени лишь один из таких способов. К

[10] *Доказать* — диалектизм со значением «рассказать правду», «донести».

[11] О.А. Митрофанова, 1931 г.р.

[12] Г.П. Федорова, 1930 г.р.

другим можно отнести указание на родственные связи с героем («мой дядя» или просто: «он нам родней приходится»), определение его места в социальной иерархии во времена, предшествующие нарративной актуальности или последующие («до войны он бригадиром был» или: «она потом в школе учительницей работала»), а также локализация места проживания героев («они за три дома от нас жили»). Разумеется, рассказчик может использовать несколько способов указания на социальную «персону» действующих лиц, относимых к категории «своих», пытаясь тем самым придать своему повествованию достоверность.

В новой социальной шкале в качестве абсолютных чужих, конечно, выступают немцы. Их поступки не оцениваются с моральной точки зрения, в устных рассказах об оккупации они фигурируют главным образом в качестве страдающих от войны людей или механических исполнителей чужой злой воли. Их боятся, но не судят (в отличие от своих). Как ни странно, рассказчики даже демонстрируют к ним определенное уважение, например, приписывая им нелюбовь к *белорукавникам*:

А немцы их не любили, этих эстонцев, карателей. Они, как приедут, [если] здесь эстонский отряд, они их гнали туда, в Эстонию обратно[13].

Свои: освоение новых ролей

Ситуация войны предполагает появление новых социальных ролей, новой стратификационной системы в деревенском сообществе, оказавшемся на оккупированной территории. В частности, возникают возможности для повышения (пусть временного) своего статуса. При этом в рассказах одобряются «карьеры», сделанные невольно, по стечению обстоятельств, и не одобряются такие, которые являются результатом личного решения. По этому принципу противопоставляются, с одной стороны, полицейские и партизаны (хотя «карьера» партизана становится актуальной только в послевоенное время, превращаясь в символический капитал) и, с другой стороны, — старосты.

[13] Н.Ф. Митрофанов, 1928 г.р. Вообще говоря, подобная репрезентация образа «немцев» отражает отношение к ним как носителям власти, в принципе схожей с той, которая была до оккупации, в том смысле, что сами рассказчики понимают себя в обоих случаях как объекты власти, авторитет которой нужно признавать безотносительно к ее происхождению.

В рассказах о новых социальных ролях подчеркивается, что старостой (старшиной) становились против своей воли, путем назначения или выборов: «Он не по доброй воле старшина-то стал. Его народ выбрал. Народ. А он человек очень хороший был»[14]. В рассказах староста обычно предстает как идеальный член крестьянского сообщества, защитник интересов своей деревни. Он не выдает семьи, в которых есть партизаны и коммунисты, предупреждает о карательных операциях, спасая тем самым людей от гибели или от голода (они успевают припрятать запасы из дома, который будет сожжен), дает мудрые советы, например относительно того, как избежать угона на работы в Германию. Староста деревни Низовицы посоветовал забранным для отправки в Германию девушкам сказать немцам, что в их деревне недавно от тифа умерла женщина, — и молодежь деревни была распущена по домам.

Полной противоположностью старосты в рассказах об оккупации является полицейский, *белорукавник*. Это деревенский хулиган, получивший неограниченную власть и превратившийся в официальное лицо. Получив новый статус, он остается, по сути, все тем же хулиганом, то есть осуществляет бессмысленные разрушительные действия: например, разоряет ульи или рубит шомполом капусту в чужом огороде[15]. Преступления, совершаемые полицейскими, помещаются в тот же разряд хулиганства и объясняются порочной природой этих людей — например, он «вредный», «недобрый», у него «ни стыда ни совести». Смысл деятельности полицаев состоит в том, чтобы показать свою власть над своими соседями, односельчанами. И власть эта ничем не ограничена — в отличие от немцев, уважающих свое начальство. Примечателен следующий фрагмент интервью.

Соб.: А вот были в деревнях такие, которые стали полицаями служить, полицейские?

Инф. 1: А, были.

Инф. 2: А, были. Были-были, наши, наши стали полицейскими служить...

Инф. 1, 2 [говорят одновременно]: Такие вредные были, что...

Инф. 1, 2 [говорят одновременно]: А вот тут сосед этот, Сидоров такой горбатенькой, в этом доме его мать, отец, вот против, этот, Саша-то Сидоров...

[14] Е.В. Басова, 1925 г.р.

[15] Ярким примером хулиганского, бессмысленного ухарства полицейских может служить рассказанная нам в соседнем Сланцевском районе Ленинградской области история: несколько пьяных полицейских маршировали по деревне, распевая песню «Артиллеристы, Сталин дал приказ!».

Инф. 1: Да я знаю...

Инф. 2: Наши полицейские. Да они по десять лет сидели... но вышли живые. Вот. А тут еще один, Васю Лаврушкина Саша-то Сидоров бил, мы тут жили, а он тут бил на углу. А тут девки на Новый год что-то счуди́ли, ну на дороге санки стащили, ну, Новый год есть Новый год... знаешь, молодость...

Соб.: Святки!..

Инф. 2: Святки, они тут почудили. И вот он пришел, этот полицейский: «За что почудили, мало ли немцы поедут, [а вы] дорогу загородили». И давай этих девок, знаешь, в амбар да и шомполом на их, да и всё. Ну вот, а потом... а этот, Саша-то вот Васю это... и стал его шомполом бить. Он был, этот, полицейский, а этот был... староста... «А почему не доглядел?» И вот он стал его шомполом-то бить, а он говори[т]: «Саша, милый, брось меня!» Вот мы сидим сейчас под окошком, он стоит на колешках [на коленях], и тот сосед, и другой сосед, с одной деревни. Один полицейский, один... старшина... это был тоже Устинов, а это староста. Два было, и старшина, и староста, и полицейский, все местные. Вот. Этот его начал бить: «Саша милый, брось [отпусти] меня!» Вот я до сих пор помню[16].

Полицейский бьет шомполом не только якобы нарушивших порядок деревенских девушек, которые занимались традиционным (и в силу этого легитимным в глазах крестьян) делом — святочным ритуальным хулиганством, но и тех, кто, с его точки зрения, виноват в непорядке, — старшину и старосту. Рассказчицы, которые явно неоднократно обсуждали эту историю со своими односельчанами, особо подчеркивают абсурдность происходящего: сосед унижает соседа. Нарушаются этические нормы, предполагающие взаимопомощь и добрые отношения, на которых основана повседневная жизнь деревенского сообщества. Если верить рассказам наших информантов, никто из оставшихся в живых бывших полицейских не вернулся в деревню. И причину этого рассказчики видят не в боязни расплаты, а в угрызениях совести:

Он уехал, ему стыдно стало. Война кончилась, так стыдно стало, так уехал в Нарву. И там и умер. У его что-то, рак внутри, это от переживанья. Это недобрый, ён сам себя потом корил. Переживал... Кто умер, а кто еще живы, мы, вот, и здоровкаемся и разговариваем, а он такой был вредный, так уехал, ему стыдно, что колоть в гла́зы буду[т]. Что ён наврядил[17].

Оценивая события войны, вину за смерти и разорение рассказчики возлагают главным образом на своих — местных *белорукавни-*

[16] Ирина, 1955 г.р. (инф. 1), Нина Васильевна, 1928 г.р. (инф. 2).

[17] О.В. Гусева, 1921 г.р.

ков, партизан и просто односельчан, доносивших на соседей. Каратели-чужаки приходят по чьему-то доносу, «по накатке», так что и вина лежит прежде всего на доносчике, а не на них. В сохранности осталась та деревня, где «своих не выдавали». О том, кто кого предал, помнят, называя имена и сообщая послевоенные биографии этих людей. Многие из них выжили, и родная деревня внимательно следила за ними. Одна из наших информанток рассказала, как в 1956 году в Пярну случайно встретила своего двоюродного брата, служившего во время оккупации полицейским. Она попросила не записывать ее рассказ на диктофон, объяснив, что не хочет быть причиной возможных неприятностей для этого человека. Другими словами, она дала понять собеседникам, что, несмотря на негативное отношение к своему родственнику, она не хочет становиться доносчицей.

Показателен рассказ о разговоре между русскоязычным мужчиной, служившим у немцев (видимо, из РОА), и матерью информантки: осуждая поведение местных жителей, он сказал, что без помощи односельчан нельзя было бы узнать, кто коммунист, в чьей семье мужчины в лесу и тому подобное, — «сами закладываете своих»[18].

Еще один вариант новой социальной роли — партизаны. Относительно того, были ли в этой местности партизаны, мнения расходятся. Одни считают, что партизаны вообще были где-то поблизости, но «не в нашей деревне». Другие, женщины, чьи родственники-мужчины были во время оккупации в лесу, считают, что они были партизанами. О том, что эта территория была охвачена партизанским движением, говорят также местные носители официального дискурса — учительницы, занимавшиеся краеведением в рамках военно-патриотического воспитания школьников. Заметим, кстати, что обе они приезжие и не являются носительницами местной устной традиции.

Содержание концепта «партизаны» определяется, естественно, официальным дискурсом войны, именно на него ориентируется рассказчица в следующем фрагменте интервью (речь идет о допросе местных жителей после того, как поблизости от их деревни произошло нападение на машину с немцами):

Нас всех вызвали. Доказывайте партизан. Доказывайте партизан. Ну что мы: у нас нет партизан. Это шкурники. Партизаны — которые они воюют где-то, не вредят деревне. А это шкурники. Нам

[18] Ирина, 1955 г.р.

доказать — нам... ночью нас придут эти же. Убьют. Мы говорим: у нас нет партизан, не знаем мы партизан[19].

С ее точки зрения, односельчане, которые подвергли опасности деревню, недостойны звания партизана. С другой стороны, рассказчица объясняет отказ выдать виновников происшествия простой боязнью мести с их стороны. Если они убили немцев, почему не смогут убить своих.

Свое представление об идеальных партизанах рассказчица черпает из официального нарратива о войне. В 1960-х годах в местной районной газете «Гдовская заря» стали появляться воспоминания партизан. Тогда же в школах в рамках воспитательно-патриотической работы начался сбор данных о партизанском движении в родных деревнях и селах. Партизаны приравниваются к участникам войны. Они становятся героями. Наши рассказчики, однако, не готовы видеть героев в своих односельчанах. Это с одной стороны. С другой стороны, их знание того, что происходило в местных лесах, не совпадает с сюжетами, репрезентированными в героическом дискурсе. Герой — человек (точнее, персонаж), по определению обладающий абсолютно положительными характеристиками. А это в нашем случае подразумевает, что он «не вредит своей деревне».

Чтобы показать напряженность внутренней дискуссии относительно партизанского движения, обратимся к рассказам об одном трагическом событии — расстреле мужчин в деревнях Ореховцы и Низовицы.

Трагедия в Ореховцах

Два рассказа об этом событии мы записали более или менее случайно, во время этнографической экспедиции. Опросы строились по принципу биографических интервью с акцентом на времени молодости информантов; на него приходится их особенно активное участие в деревенской праздничной жизни, которая нас, в частности, интересовала. Обе рассказчицы сообщили эту историю по собственному почину, без специальных вопросов, в контексте рассказа «о том, как раньше жили». Обе они жительницы пострадавшей деревни, участницы и свидетельницы произошедшего. Одна из них в августе 1941 года была подростком (16 лет), другая ребенком (8 лет). Ниже приводится (в сокращенном виде) рассказ первой информантки.

[19] А. С. Бронзова, 1925 г.р.

Как война началася, немец вступил, в 41-м году 19 августа 29 человек забрали как заложников, и вот в Ямы[20] *10 километров туда увезли, и там их расстреляли. И тридцатую женщину. Вот нас вызвали... ну, машина пришла как козелок. А тогда машин-то до войны и совсем почти что не было. Шесть немцев их было. Они ничего не грабили, ничего не делали. Ходили по домам. Меняли. Кто если даст яйки — называли яйца «яйки», сметана, масло, творог если есть, они давали хлеб, сахарин. Сахару поесть. На обмен нам давали. И по деревне так прошли. И вот четверо пацанов прицепились к ним. Два братишки. Лет по десяти, наверно, им было. И еще два. Четверо. А один знал, что тут, когда война началась, партизанский отряд, кто, там, ушел в партизаны.*

...Ну и вот. ...Вот один [из мальчиков] прибежал. ...Гранаты у них [тех, к кому прибежал мальчик] были. Даны им как откуда. Сидели дома. Партизаны — это разве партизаны? Кто партизан был, так он и шел куда-то ближе к фронту где-то помогал. А еты шкурники. Прямо надо сказать. Соседи наши. Четверо было их таких. ...А немцы уехали за 7 километров в Низовицы... Там сейчас заросло все. Там было полянка такая. Леса. Они туда отправилися встречать их, с Низовиц когда поедут. И вот пацан один был, его брат тоже в этой был доле... Он знал, что он, значит, участвует как-то... в таких делах. И он оттуда с Низовиц сбежал. Убежал. Пешком. Стали собираться ехать. Было четверо, одного нет, трое только. Они там по деревне. Пошукали [поискали] — нет нигде его. Ну и вот. И вот там приехали оттуда, 3 километра. Дотуда 7 километров идти. Три километра проехали. И вот здесь с кустов их сразу первого шофера сбили. А мальчикам... а немцы-то их это... така машина, знаешь, как козелок, их туда под скамейку пихали, чтоб их не разбило [т.е. нападавшие не могли видеть мальчиков]. Ну и вот. А эти кричат, нашито: «Дети, вылезайте! Дети, вылезайте!» И что же вы скажете? Шесть было. Четверых убили. А двое осталися. И собачка была. Собачка жива осталася. Двое уползли. Один уполз вот в соседнюю деревню, там... [поскольку] ранили его, оказали помощь. А второй в кустах скрылся и лежал до самого утра. ...А этих — что вы думаете? Вот тоже хороши наши русские! Взяли разрубили на куски четверых немцев и подпалили. Представляете?

Ну вот. Вечером приезжает к нам машина немецкая. Спрашивают: «Были у вас?» Говорим: «Были. Уехали туда». «Обратно не вернулися почему?» А мальчики-то прибежали, мол, знаем, в чем дело-то. Одная этая хотела сказать выйти. А вторая сразу же, у которой

[20] Поселок Ямм Гдовского района Псковской области.

участвовал этакой ейный, там, брат: «Вот только скажи, тебе ночью это [же] буде». Никто не посмел сказать ничего. Наутро полный отряд немецкий выехал туда... Так вот нас тогда всех с домов — вот здеся [показывает] была площадка такая, и тут она и сейчас там есть площадка, всех с домов выгнали. Значит, все. А этих четверо, которы производили это дело, их не было. Они остались, ушли.

...Очередь доходит в которого дома вот нету [того дома, в котором есть отсутствующие] — они выходят: «У нас все». Мы сидим молчим. Мы не можем же сказать, что нету этого ейного. Хорошо: оны с нам[и] ничо немцы не сделают, а вечером придут эти нас убьют. Кака разница. И промолчали. И вот тогда взяли всех мужчин в машину садиться. ...Ну и вот. И расстреляли. А нас загнали в конюшни, где лошади стояли. Ну и... солому бросят туда кубыш: доказывайте партизан, мы вас всех сожгем. Доказывайте партизан, мы вас всех сожгем. А мы все плакали... И вот тогда еще женщина не была взята и двое парней и еще один мужчина в поле был. Тех тоже выгнали оттуда, а деревню зажгли. Ну вот[21].

Вина за расстрел всех мужчин деревни и сожженные дома, по глубокому убеждению этой женщины, лежит на четверых ее односельчанах, соседях. Одним из них был ее двоюродный брат. Несправедливость состоит и в том, что они не попали в число расстрелянных. Особый драматизм и специфичность этому повествованию придает то, что рассказчица указывает на невиновность убитых немцев, которые занимались сугубо мирным (в условиях войны) делом («Они ничего не грабили, ничего не делали. Ходили по домам. Меняли... они давали хлеб, сахарин. Сахару поесть. На обмен нам давали»). И с другой стороны, действия парней, напавших на немецких солдат, репрезентируются как бессмысленно жестокие («Вот тоже хороши наши русские! Взяли разрубили на куски четверых немцев и подпалили. Представляете?»).

У нашей второй рассказчицы был расстрелян отец, ее двоюродный брат был среди мальчиков, участвовавших в злополучном сборе яиц.

Инф.: Видите, в[у] нас в войну как в первый год войны всех расстреляли, и ребят, и... вот соседке Любы... так ей сразу двух сразу братовей и отца...

Соб.: Это немцы, что ли?

Инф.: Немцы. Сразу пришли. 31 человека, всех собрали.

Соб.: А почему они расстреляли-то?

Инф.: А, видите... Приехали вот как раз 18 августа — война-то у нас в июне началась — а в августе вот они приехали в деревню, здесь

[21] А.С. Бронзова, 1925 г.р.

яйцы собирать. Четыре немца. Ну, и поехали по... и ходили по нашей деревне, сколько[-то] собрали и поехали в Низовицы, вот 7 километров. И забрали ребятишек: «Кто с нам[и] поедет?» Вот трое ребятишек и село. К ним в машину — собирать яйцы. И вот один... одному не дали корзиночки собирать, он с Низовиц-то убежал, домой. А его там дорогой в лесу встретили партизаны. «Ты, — говоря[т], — откудова бежишь?» Ну он рассказал, что я вот с немцам[и] ехал. Ну вот... «Кто, что в[у] йих там? Сколько человек?» Ну, он сказал, и наши два парня... паренька, мой двоюродный братёнок был, братка. Вот... и они как подъехали, они и разбили эту машину — обратно-то поехали. ...Одного немца не убили, он доказал, что, как подъехала машина, начали стрелять и крикнули с кустов, что дети, вылезайте вон. А дети-то наши были. Вот... что, мол, партизаны знали, что дети были в машине. И нашу деревню... всю подчисто...

А мы вот здесь в скотнике сидели, в конюшне, все закрытые, вот. А вот на этой улице вот — теперь наш огород — были вся деревня собрана. Мы сидели на конюшне-то с утра. Вот 19 августа собрали нас всех. И мужиков в одну сторону вот туда, а нас вот на эту сторону дороги. Ой. Наш папа как-то встал. Их состроили в кучу. Он первый встал. И его первого начали бить. Стали спрашивать: «Кто у вас коммунист? Сперва доказывай, кто партизаны у вас». Он говори[т]: «Я не знаю». — «Кто коммунист?» — «А в [у] нас нет коммунистов», вот... Ну вот его и начали бить. Ой! Положили и всё по голове пытались ногами, при нас тут всё... Ну и других там. Ну а потом пригнали машины, всех в машины согнали. Вот я помню, папа крикнул: «Детушки, прощайте!»

Соб.: Партизаны-то кто был?

Инф.: А партизаны — мы и сами не знаем. Ну... кто-то, може[т] быть, и с нашей деревни кто-то был... Но только с нашей не бывши. С других деревён кто-то, кто-то был. А как они узнали, что здесь машина была? Не знаю. Може[т] быть, по дороге где или... не знаю. Даже и не знаю[22].

Рассказы различаются в деталях, касающихся количества немцев и мальчиков, поехавших с ними покататься. Однако количество погибших — тридцать и одна женщина или тридцать, включая одну женщину, — можно считать совпадающим. Совпадает частично интенция рассказчиков, проявившаяся в обоих нарративах, — например, важной частью обоих вариантов повествования является объяснение того, почему пострадала именно их деревня. Обе они полагают, что немцы посчитали напавших местными жителями,

[22] М.И. Светцова, 1933 г.р.

потому что те знали, что в машине находятся деревенские мальчики. Правда, для первой информантки это так и есть, а вторая просто не имеет своего мнения на этот счет[23]. Но для первой страдания деревни причинены жителями этой же деревни, второй же причина не важна; она рассказывает прежде всего о своем горе, связанном с гибелью отца.

В обоих случаях совпадает дата расстрела — 19 августа. Кроме того, что основные даты, связанные с войной, местные помнят довольно точно (оккупация и освобождение), на 19 августа приходится один из важнейших годовых праздников — Преображение Господне. Несомненно, этот факт является надежной мнемонической зацепкой для темпоральной локализации описываемых событий.

Обращает на себя внимание зачин рассказов. В обоих случаях прежде всего сообщаются два факта — дата трагедии и число погибших. Приблизительно так мог бы выглядеть предельно краткий рассказ об участии СССР в войне: дата вступления в войну и количество жертв. Эти цифры, собственно, и служили метонимическим обозначением grand narrative войны. Вероятнее всего, обе рассказчицы апеллируют к какому-то (нам, к сожалению, неизвестному) официальному источнику. Может быть, например, число погибших называлось каждый год 9 мая во время митинга у обелиска. На то, что такой нарратив должен существовать, указывает наличие цифры — 29 или 31. Одно дело сказать, что погибли все мужчины деревни, совсем другое — назвать точную цифру.

Эта история является достоянием пережившей трагедию деревни. Всего в десяти километрах ее пересказывают схематично и поясняют, что это чужая история, принадлежащая тем, чьи семьи или соседи пострадали. Вот типичный пример.

Соб.: Вы не слышали, что во время войны в Ореховцах произошло?

Инф. 1: Ой, там это... там каки-то партизаны были... вот из-за партизан там много расстреляли... их всех. Увели на станц... это, на Ямы, на Ямах там и расстреляли. Всех ореховских мужиков. Вот

[23] Точнее, первая рассказчица не скрывает факта виновности в произошедшем «своих». Она так поступает, скорее всего, потому, что в нападении на немцев участвовал ее родственник. Она прекрасно понимает, что ее собеседникам могут рассказать об этих событиях односельчане, и предпочитает сообщить о своих родственных связях сама. Вторая рассказчица находится в ином, с какой-то точки зрения более выгодном положении. Она «не знает», кто стал причиной экзекуции, и может, ссылаясь на свое незнание, утверждать, что виновники — неместные.

Шурика Павлова отца расстреляли, много, человек двадцать там их расстреляли.

Инф. 2: Да, да, я такое тоже слыхала. Что-то, из-за чего там и что, не могу сказать...

Инф. 1: Ну, что вот, как-то, партизанам что-то помогали, что-то такое вот, в этом смысле.

Инф. 2: Ну да, да.

Инф. 1: Вот это... вот это Шурик все знает. Вот в тот край сходите.

Инф. 2: Да Шурик, какой, он был титечный [грудной], что он там знал!

Инф. 1: Он все знае[т]! Вот спросите, он все знае[т], все помнит[24].

«Шурик», который во время расстрела мужчин деревни был грудным младенцем, по убеждению одной из участниц беседы, должен все помнить. Иными словами, в ее представлении, этот человек является носителем коллективной памяти, поскольку продолжает принадлежать этому коллективу (деревня Ореховцы), даже будучи в настоящее время односельчанином наших собеседниц. Ситуацию, когда сообщество становится виртуальным, но продолжает сохранять общую коллективную память, Франческа Капелетто в работе о массовых расстрелах мирных жителей во время Второй мировой войны в двух деревнях Италии называет «мнемоническим сообществом». Его объединяет не общность места проживания (многие свидетели драматических событий и их дети уехали из родной деревни), а общий исторический нарратив, который понимается членами сообщества как «наша история»[25]. Как «их история» такой нарратив оценивается и соседями, не претендующими на ее знание.

Героический дискурс

В 1970 году в праздничном номере газеты «Гдовская заря», посвященном Дню Победы, были опубликованы воспоминания одного из участников партизанского движения в Гдовском районе, А. Снеткова, скорее всего изрядно поправленные (если не составленные) профессиональным журналистом. Текст выдержан в эпической манере; посредством инверсии слов в предложениях, корот-

[24] Ирина, 1955 г.р. (инф. 1), Нина Васильевна, 1928 г.р. (инф. 2).

[25] *Cappeletto F.* Long-term memory of extreme events: From autobiography to history. P. 245—247.

ких рубленых фраз создается иллюзия его устного происхождения. В статье упоминается и ореховецкая трагедия.

«С каждым днем крепло народное сопротивление. Поехали както фашисты в деревню Низовицы за продуктами. Партизаны Кауров[26] машину подбили, многих фашистов перестреляли. Озверевшие оккупанты деревню Низовицы сожгли, а мужчин угнали в поселок Ямм, где и расстреляли»[27].

Дискурс героизма предполагает разработку особых нарративных схем и топики страдания. Мы назвали бы это явление «страстями» по аналогии с евангельским термином, подразумевающим добровольность мучительной смерти, становящейся гарантией спасения (в нашем случае Родины, мира). Нарративная традиция страстей в советском политическом дискурсе имеет давнюю традицию и восходит по крайней мере ко времени первой русской революции[28]. О том, насколько основательно могла быть усвоена топика, свойственная этому жанру, говорят рассказы о войне некоторых наших информантов. Бывшая учительница (приехала в деревню, о которой рассказывает, в 1970 году) строит свой рассказ об оккупации по принципу поименного перечисления погибших местных жителей, подчеркивая мученический характер их смерти. Это ее способ «вписать» местные события в grand narrative войны. Мужчину, который был до войны бригадиром, забрали и «очень издевались»: проткнули горло, выкололи глаз, вырезали на спине ремни; девушке (в каждом случае называется имя, указываются живущие ныне родственники и источник информации) «отрезали груди» и тому подобное. Рассказывая о расправе над мужчинами из деревень

[26] В тексте сообщается, что Кауров — председатель колхоза, командовавший во время войны отрядом народного ополчения.

[27] *Снетков А.* Явка — деревня Драготина // Гдовская заря. 1970. 9 мая. № 56 (6855).

[28] См., например: *Brooks J.* Thank you, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, New Jersey, 1999. P. 183; *Steinberg M.D.* Workers on the Cross: Religious Imagination in the Writings of Russian Workers, 1910—1920 // Russian Review. 1994. Vol. 53. P. 213—239; *Маркасова Е.В.* «Селькор под обстрелом»: стереотипы враждебного окружения и жертвенности в коммуникационном завоевании деревни (1920—1930-е годы), статья опубликована в Интернете: http://www.iek.edu.ru/groups/airo/markas.pdf, последний раз проверялась 17 января 2005 года. Подчеркнем, что мы здесь говорим о прямой генетической преемственности. Типологические параллели данному сюжету (герой жертвует собой ради спасения своего сообщества) настолько многочисленны, что не требуют отдельного комментария.

Низовицы и Ореховцы, информанты (оценивающие эту историю как не свою, принадлежащую другой деревне) также настойчиво говорят о мученической смерти — о том, что их заставили рыть себе могилы (устойчивый мотив в дискурсе «страстей») и закопали в них живьем. «*В Ореховцах там гораз очень плохо. И в Низовицах, я думаю. Мужчин обобрали [собрали] и заставили ямы копать. И их и зарыли. Считай, живьем*»[29]. Рассказ учительницы особенно показателен:

В Низовицах бы надо вам остановиться. Там уже, наверно, таких старожилов нет, но на памяти у них. Не 70 ли человек живыми зарыто в яму. Или расстреляно или что — не 70 ли человек. Как-то что-то там... кем-то из жителей или из партизан, не знаю толком, я там не очень, я только вот со своими-то учениками вот здесь блудила [ходила]. Убит какой-то или офицер, или солдат немецкий на машине. Вот так заложников взяли. Или расстреляли, или сожгли. Или живыми в яму закопали — ребята, не знаю[30].

Структура типичного нарратива «страстей» такова. Герой сталкивается с врагами — оказывает им сопротивление — гибнет. Резюме: насильственной (в идеале — мученической) смертью герой обеспечивает себе вечную славу (иными словами, вечное поминание). Сопротивление может принимать разные формы, от вооруженных действий (вспомните рассказы о пионерах-героях) до отказа от сотрудничества в любой, даже самой невинной (организация школьного обучения) форме. В таких рассказах происходит своеобразная «фольклоризация», стереотипизация персонажей и событий. Репертуар действий героя очевиден из его имени, указывающего на то, «свой» это или «чужой». Рассказы этого типа не предполагают нюансов, свойственных устным рассказам об оккупации. В них немец не может быть героем или помощником, а партизан — вредителем, несущим несчастье своему народу[31]. Статичные образы героев в официальном дискурсе сопровождаются не менее статичной нарративной схемой, выше обозначенной нами как «страсти». При этом авторы текстов официального дискурса не стремятся к описанию исторической действительности. Они изображают свою, особую реальность, продиктованную спецификой жанра. В 1974 году в той же газете были опубликованы воспоми-

[29] Е.В. Басова, 1925 г.р.

[30] Н.П. Исакова, 1932 г.р.

[31] В официальных сообщениях об оккупации в Причудье не встречаются упоминания об этнической принадлежности членов карательного отряда («чухна-белорукавники»), вероятно, по соображениям повышенной политической корректности.

нания еще одного партизана, А. Уралова, который связывает сожжение деревни Ореховцы с реакцией немцев на появление издаваемой партизанами газеты.

«В сентябре [1941 года] стала выходить районная газета "Колхозная трибуна"... Немцы пришли в ярость, узнав о газете — подлинной большевистской трибуне. Последовали массовые репрессии: расстрелы, уничтожение огнем деревень Низовицы и Ореховцы. А затем и карательные экспедиции против партизан. Но они не принесли врагу успеха»[32].

Заключение

Рассказы об оккупации вполне соответствуют утверждению Элизабет Тонкин о том, что смысл устного рассказа состоит в сообщении прецедента или предостережения морального характера[33]. Пожалуй, то же мы можем сказать и об «официальном» нарративе войны. Однако морализаторский пафос в повествованиях двух разных типов не совпадает. Крестьяне рассказывают о том, как не нужно поступать, газеты — о том, как нужно. Крестьяне не часто берутся оценивать поступки незнакомых им людей, публицисты работают с образами, в значительной мере стереотипизированными, применимыми к разным ситуациям, приобретающими иконические формы. И мы видим смысл данной статьи не в том, чтобы сказать о правдивости устных свидетельств и ложности газетных статей. Между событием, о котором нам рассказывают, и событием наррации стоит нарратор. Его рассказ живет не только по логике события, но и по логике той повествовательной традиции, которую он представляет. Эта статья является попыткой понять логику нарратора, пытающегося с помощью риторических приемов, предоставленных ему традицией, заставить слушателя или читателя уподобить рассказ событию.

[32] *Уралов А.* Незабываемое // Гдовская заря. 1974. 2 февраля. № 15 (7438).

[33] *Tonkin E.* Narrating Our Past. The Social Construction of Oral History. Cambridge University Press., 1992. P. 101.

Наталья Конрадова, Анна Рылева

ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ
Мемориалы Великой Отечественной

Настоящих, именных могил после войн бывает мало. В местах боев солдат хоронят в безымянных братских могилах, а родственники и односельчане устанавливают стелы со списками имен — «кенотафы», пустые могилы. Но универсальная необходимость памяти не терпит пустоты, и появляются символические «могилы неизвестного солдата».

Военные мемориалы существуют в виде формул, которые принадлежат конвенциональному языку исторической памяти. Памятник является одним из самых прямолинейных и «наивных» знаков идентичности, как вещь, служащая для коллективного воспоминания.

Всю вторую половину XX века российское общество осознавало Великую Отечественную войну как центральное историческое событие, и сегодняшняя политика памяти, помимо стремления к поиску новых смыслов и форм, демонстрирует крепкую советскую наследственность. Наиболее активными периодами установки памятников и создания музеев были юбилеи победы (двадцати-, тридцати-, сорокалетие и так далее), однако каждый юбилей приносил новую тенденцию, отчуждая память от самого события, «упаковывая» его.

Три сюжета — память о близких, мемориальные «формулы» и политический контекст «увековечивания» — были в центре внимания при предпринятом нами исследовании военных памятников.

Вторая мировая и Великая Отечественная

Россия прямо наследует от СССР сознание «страны-победителя, спасшей мир от нацизма». Поэтому и структура памяти о Ве-

ликой Отечественной войне, как единственный на сегодняшний момент «непротиворечивый» исторический сюжет, почти без изменений наследуется из советского публичного дискурса и занимает центральное место в сегодняшнем российском представлении о собственной истории.

В советской и постсоветской культуре война 1939(1941)—1945 годов почти никогда не называется мировой. В сознании россиян эта война принадлежит только российской истории. Противопоставление мирового и отечественного военного опыта через категорию «величия» войны хорошо представлено, например, в публицистике: «Эту самую страшную войну в истории XX века во многих постсоветских странах называют лишь Второй мировой [...] Для нас она навсегда останется Великой Отечественной»[1].

С этой точки зрения вполне понятно, почему образ выигранной войны плотно сосуществует с травмой распада Советского Союза и почему конец советской империи вписан в контекст советской военной доблести: «в 1990-е мы потеряли страну, за которую в 1940-е отдавали жизни». Отсюда — и политическая активность движения ветеранов, и бурная оппозиционная критика государственной политики по отношению к ним. По прошествии шестидесяти лет военная история продолжает быть актуальной — как ориентир и как «лакмусовая бумажка», как последний оплот национального самосознания.

Один из методов опосредованного изучения проблем коллективной памяти и образа национальной истории заключается в исследовании мемориальной деятельности: образного ряда, символики и функций монументов; активности по их строительству или, наоборот, сносу; общественного согласия и структуры отношений власти и локальных сообществ в вопросах установки памятников и отношения к ним.

Если можно формализовать и произвести «ревизию» функций публичных памятников, то эти функции, по всей видимости, будут условно делиться на «политические» (обозначение общественного согласия по поводу оценки события или человека — скорби, уважения и так далее); «социальные» (трансляция актуальных смыслов, подтверждение исторической идентичности и коллективности переживания) и «психологические» («визуальный ряд», организующий и физическое, и социальное пространство города или деревни, более доступный и суггестивный, чем вербальное выражение того же значения в публицистике или риторике). Исследование

[1] Российская газета. www.rg.ru/anons/arc_2001/0621/2.shtm.

этих функций в динамике дает представление сразу о нескольких проекциях общественного сознания: что хотелось сказать об отношении к событию, что в действительности было сказано, наконец, какие изменения претерпело первоначальное высказывание.

Военные памятники в Советском Союзе устанавливались тысячами, и хотя бы один монумент стоит в каждой деревне, из которых люди уходили на фронт, не говоря уже о мелких городах или районных центрах, где их бывает по нескольку. В процессе исследования памятников (их символического ряда, истории и «контекста») мы пытаемся понять, что происходило и происходит в локальных сообществах, как российские жители интерпретируют смыслы Великой Отечественной войны и на каком языке говорят о ней, существует ли массовая поддержка ее официального толкования, кто является инициатором «мемориализации», наконец, можно ли в современной мемориальной деятельности определить какую-либо тенденцию, говорящую об изменении оценки войны или отношения к ней.

На сегодняшний день серия экспедиций захватила несколько секторов Подмосковья — северо-восточный, от города Пушкина до Ногинска, куда немецкая армия не дошла и где не было боев, а также юго-западный, от поселка Снегири (41-й километр) до Можайска, где немецкая армия была остановлена и где шли партизанские бои. Далее планируется собрать материал по остальным секторам ближнего Подмосковья и Москвы, а затем обратиться к другим географическим зонам России. Параллельно идет исследование западноевропейского послевоенного мемориального опыта. К собственным наблюдениям мы добавили материалы интернет-ресурсов — как официальных (интернет-СМИ, порталы городских администраций и тому подобное), так и неофициальных (форумы региональных интернет-СМИ, персональные страницы, сайты общественных объединений и инициативных групп, сайты фотопубликаций и тому подобное)[2].

В этой статье мы старались как можно меньше обращаться к центральным, «официальным» мемориалам, ограничиваясь анализом местных памятников, которые, во-первых, устанавливались в массовом порядке и имели стандартное оформление, а во-вторых,

[2] «Неофициальный» Интернет — гораздо более разнообразный и массовый, чем «официальный», — необходимо выделить в особый вид источников. По «краеведческой» тематике, куда непременно входит и упоминание о военных мемориалах, существует огромное количество ресурсов, причем как в русском, так и в немецком сегментах Интернета.

лучше отражали реальную социальную ситуацию, поскольку инициировались «снизу».

Начало. 1940-е: личная память

Память о Великой Отечественной войне в первые послевоенные годы в СССР еще не была собственно «исторической памятью», пока война жила в повседневном опыте. Сразу после войны, с середины 1940-х годов в большинстве поселков появляются простые и дешевые бетонные стелы-кенотафы со списками имен ушедших на войну. Они были пирамидальной или прямоугольной формы, с красной звездой на вершине или на гранях. Принцип расположения такого памятника очень прост: он ставился у Дома культуры или на краю кладбища; в мелких деревнях — на главном перекрестке или у колодца, там, где позже появляются автобусные остановки и сельские магазины. Эти стелы были предназначены для «внутреннего употребления», заказывались на деньги, собранные местными жителями, и функционировали как могилы-кенотафы с перечислением имен погибших, но без реального погребения (*фото 1, 2*). Для памятников Великой Отечественной войны это была уникальная ситуация: в большинстве случаев в первые послевоенные годы государство практически не участвовало в финансировании стел и обелисков; инициатива также исходила от местных жителей. Уже через двадцать лет после окончания войны организация памятников была в основном централизованной, а их установка кардинально поменяла смысл, переориентировавшись на официальную политику местных и центральных властей. Однако такая ситуация еще возникнет дважды: в конце 1980-х, при установке памятников «воинам-интернационалистам», и в конце 1990-х (памятники погибшим в Чечне — «чеченцам»).

Что касается государственной мемориальной политики, то интерес к сохранению памяти о войне был инициирован Наркомпросом, который осуществлял руководство музеями с 1918-го по февраль 1945 года[3]. Впервые задача сбора материалов Великой Отечественной войны была поставлена в обращении «Ко всем работ-

[3] С 1932 года — Комиссариат по охране памятников при Всесоюзном центральном исполнительном комитете (ВЦИК), с 1936-го — Комиссариат по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР. После 1945 года эти функции были переданы министерствам культуры СССР, союзных и автономных республик; академиям наук СССР и союзных республик; городским и республиканским управлениям системы Госстроя.

никам музеев» от 15 июля 1941 года, а затем подтверждена в письме от 15 ноября 1941 года («О сборе материалов Великой Отечественной войны»)[4]. Предлагалось собирать живопись, графику, скульптуру и другие материалы. Таким образом, через три недели после начала войны идея ее мемориализации уже появилась в музейных документах. Можно ли интерпретировать эту заинтересованность в сохранении памяти как молниеносную оценку идеологического потенциала войны? Во всяком случае, важность музейной деятельности для советской власти осознавалась руководством с самого ее появления — с Октябрьской революции, когда среди первых же декретов о власти, земле и мире вышли декреты об охране памятников[5]. Работа с «коллективной памятью» на протяжении всех советских лет была одним из ведущих направлений идеологической и пропагандистской деятельности. Уже со второй половины 1942 года начинают создаваться выставки в краеведческих музеях, посвященные войне или отдельным ее событиям (часть из них со временем стали самостоятельными музеями)[6].

В крупных и богатых населенных пунктах в 1940-е и в начале 1950-х устанавливали скульптурные памятники, на которых был изображен, как правило, солдат с винтовкой и в плаще (иногда рядом изображали женщину). Фигуры демонстрируют траурную скорбь, рядом с солдатом иногда ставился щит — символ военной доблести, в руках солдат держит опущенный вниз автомат или снятую с головы каску (в знак траура), а женщина — цветы или венок[7] (*фото 3*). Эти солдаты, установленные в течение нескольких пос-

[4] О государственной мемориальной политике см.: *Златоустова В.И.* Государственная политика в области музейного дела (1945—1985 гг.) // Музей и власть / Отв. ред. С.А. Каспаринская. М., РИК. 1991. С. 226—298; *Фатигарова Н.В.* Музейное дело в РСФСР в годы Великой Отечественной войны (аспекты государственной политики) // Музей и власть / Отв. ред. С.А. Каспаринская М., РИК. 1991. С. 173—225.

[5] Более 15 декретов были изданы по инициативе Владимира Ленина в 1918—1924 годы и заложили основу советской государственной системы охраны памятников.

[6] В 1942 году открылась выставка в Ивановском краеведческом музее, в 1943 году в Ленинграде началась работа по созданию выставки «Героическая оборона Ленинграда» (по решению Военного совета Ленинградского фронта и Ленинградского горкома ВКП(б)) и так далее.

[7] Встреченный нами памятник с изображением умирающего солдата на фоне портретных рельефов (деревня Нестерово под Звенигородом, *фото 4*) является исключением и сделан, видимо, скульптором-любителем, как это

левоенных лет во множестве городов и поселков, похожи друг на друга, а часто и вовсе отлиты из одной формы. Такие памятники ставились в городских скверах или на географически выделенных местах (возвышение, поворот реки). Часто на этих же местах раньше, до периода массового сноса, стояли церкви или часовни, располагались кладбища. В последние пять-десять лет церкви отстраиваются снова, и памятники приобретают новое звучание.

Постепенно мирная жизнь «съедает» реальность военного опыта, он мифологизируется и фиксируется по-новому. С конца 1950-х и в 1960-е годы в административных центрах начали устанавливать мемориальные комплексы, в которые могли входить архитектурные (стела, гранитные блоки треугольной или прямоугольной формы и тому подобное) и скульптурные (фигуры солдат) элементы; чуть позже там же появляется Вечный огонь[8]. Ставили такие памятники чаще у зданий местной администрации, у въездных дорог, на привокзальных площадях. В этот период у монументов появляются несколько иные функции и смысл. Поскольку их устанавливала уже не община (местные жители), а администрация, то субъектом «высказывания» становился город как административная единица, направлено оно было «вовне», а его содержание

часто бывало — во-первых, в связи с нехваткой средств на профессиональную художественную работу, а во-вторых, благодаря инициативе самих ветеранов, которые часто становились авторами памятников. Такую ситуацию можно назвать универсальной для всех войн: в Германии на месте концентрационных лагерей (Вестенборк и других) памятники ставят бывшие заключенные; на территории Советского Союза мемориалы проектируют и устанавливают ветераны Великой Отечественной (по информации программы «Новости» телеканала «НТВ» от 8 марта 2005 года, разведчица Антонина Ефремова сделала эскиз и следила за постройкой мемориала на окраине Серпухова, где проходил фронт); участники штурма Сапун-горы (Севастополь, 1944 год) уже через несколько месяцев после освобождения Севастополя ставят на горе памятную стелу; ветераны войны в Афганистане и Чечне до сих пор являются главными инициаторами установки памятников «воинам-интернационалистам» по России (причем эти инициативы организуются не только через общество ветеранов-афганцев, но и непосредственно на местах, через региональную прессу и прямые собрания горожан).

[8] Происхождение и использование в военных памятниках Вечного огня требует отдельного подробного исследования, которое должно распространиться не только на мемориальную практику второй половины XX века, но и на историю олимпийских ритуалов, на символ огня в «третьем рейхе» и на другие сюжеты.

отчуждало личный и приобретало государственный, идеологический характер. Такие «административные» памятники устанавливались «на показ» (например, высшему начальству). Поэтому нередко они оказывались в местах, к которым трудно даже подойти, но которые заметны при проезде. Таким является мемориал в Котельниках, устроенный за оградой парка, близко к дороге, связывающей Котельники с Москвой (дороге с интенсивным движением) (*фото 5*).

В тот же период по всей России стали устанавливать большие памятники героям революции и Гражданской войны, связывающие эти исторические события с Великой Отечественной войной в одну сюжетную линию — сначала борьбы за власть Советов, а потом защиты созданного государства. Так, в 1956 году установлен памятник в Хабаровске «Борцам за власть Советов», в 1957 году (сорокалетие революции) — монумент «Борцам за революцию» и Вечный огонь на Марсовом поле в Ленинграде, в том же 1957 году — стела героям Гражданской войны на Площади павших борцов в Волгограде (рядом с братской могилой солдат Сталинградской битвы). Наследственность исторических сюжетов, важных для конструирования советской идентичности, особенно явно выражается в использовании одних и тех же визуальных мотивов — например, при изображении партизана, иконография которого не претерпевала изменений с 1812 года. В 1950-е годы «партизан» в папахе и с бородой снова возникает на памятниках — и в качестве борца за власть советов, и в качестве солдата Великой Отечественной. Воспетый еще в конце XIX века русский крестьянин, защищавший отечество, практически без изменений переходит в визуальный ряд современных мемориалов.

1960-е: монументальность памяти

В 1960-е годы поколение участников войны начало сменяться следующим поколением. В области установки памятников это отразилось явным образом. «Мемориализация» приобретает государственный размах[9]. На уровне мелких населенных пунктов все активнее устанавливают большие («внешние») памятники и ме-

[9] Это не означает, что местные общины перестали чтить «личную» память: в локальных сообществах все остается по-прежнему: жители ухаживают за стелами-кенотафами, 22 июня и 9 мая кладут венки.

мориалы, а в городах, имеющих ключевое стратегическое значение в истории Великой Отечественной войны, начинается строительство грандиозных мемориальных комплексов. С середины 1960-х годов в Ленинграде (1965—1975), Сталинграде (1967), Бресте (1971), подмосковном Дубосекове (1975), Курске (1983) и в других городах появляются уникальные памятники, созданные по специальному заказу большими бригадами художников (*фото 6*).

Именно в этот период складывается советский официальный ритуал, связанный с освоением и трансляцией идеологических смыслов войны и победы, с оправданием жертвы и установками на дальнейшее мирное развитие. Постепенно отдельные изобразительные типы и составляющие памятника складываются в узнаваемый, стандартный мемориальный «тезаурус»; в скульптуре и архитектуре, поэзии, музыке, литературе и изобразительном искусстве оформляется канон изображения и трактовки солдатского подвига, человеческой жертвы и победы советской идеологии. В этот период действительно можно говорить о «готовых к употреблению» визуальных образах, которые сопровождают военную тему. Это, во-первых, нефигуративные пластические композиции, обозначающие торжественность места и значимость события (гранитные или бетонные конструкции, стелы, стены); во-вторых, скульптура — солдаты (образ мужественного воина-защитника), женщины (образ женщины-матери, иногда с ребенком), партизаны, журавли (после того как в 1969 году песня Яна Френкеля и Расула Гамзатова о журавлях в исполнении Марка Бернеса стала популярной), символическая кремлевская стена (если речь идет о защитниках Москвы); наконец, Вечный огонь или изображение факела.

1980—1990-е: память внуков поколения 1940-х

В конце 1980-х и начале 1990-х начинается новый тип мемориальной деятельности. К мемориалам, построенным на двадцать лет раньше, пристраиваются новые элементы. Появляется множество памятников с изображением матери (часто мать с ребенком), а также солдат. Солдаты изображены либо в бою, либо умирающими после боя, их позы полны драматизма, динамичны и экспрессивны. Монументальности и статичности, характерных для изображений 1950-х, нет и в помине. Рядом с мемориалами строятся церкви и часовни.

В деревне Починки под Ногинском на единственном перекрестке находятся автобусная остановка, продуктовый магазин, стела одно-

сельчанам, погибшим на войне, а также небольшая придорожная часовня. На вопрос, давно ли появилась часовня, местные жители отвечали, что она там стоит со времени появления деревни. Позже выяснилось, что ее «восстановили» (а точнее, построили «с нуля») два года назад. Однако легитимность этой постройки не подвергается сомнению, и для ее подтверждения история сооружения ведется «с самого начала».

Военные мемориалы сегодня

Неизгладимое впечатление на того, кто начинает искать мемориалы Великой Отечественной, производит одно универсальное обстоятельство: каждый видел и знает о них, но мало кто может сказать, где именно они находятся. По нашим наблюдениям, молодежь в мелких поселках, как правило, не знает о существовании военных памятников, даже если каждый день проходит мимо.

Один из опрошенных молодых жителей села Макарово в районе Красноармейска не смог сказать, есть ли в селе памятник погибшим во время войны. Как выяснилось позже, окна его дома выходят прямо на стелу.

Старшее поколение, как правило, следит за чистотой и порядком (*«женщины весной моют»*), раз в год собирается у памятника, чтобы возложить цветы и послушать представителя местной власти. В городах мемориал является одним из мест прогулок или встреч (город Пушкино, памятник в центральном городском сквере, 1995 год, *фото 7)*. Мемориальные комплексы «старого типа» в крупных городах (с вымощенной площадью, большими гранитными композициями и Вечным огнем) днем становятся местом прогулок с детьми, а вечером — молодежных «посиделок» с пивом и обогревом у газовой горелки (Звенигород, Ногинск).

Наконец, в середине и конце 1990-х годов появляется новый тип памятника — героям-интернационалистам («афганцам»), участникам Чеченской войны, бойцам спецподразделений, жертвам политических репрессий. К старым могилам хоронят новые жертвы, чья смерть играет идеологически важную роль (погибшие при исполнении служебного долга во время захвата театрального центра на Дубровке, поселок Снегири), моряки затонувшей атомной подводной лодки «Курск» (мемориал на Серафимовском кладбище, Санкт-Петербург) и так далее. В этих захоронениях присутствует христианская символика, часто — иконописные образы, изображение ангела и тому подобное (*фото 8*).

Ситуация меняется ежедневно — в микромасштабе, на локальном уровне. Но если посмотреть на эти изменения в пределах полувека, начинают проступать некоторые закономерности развития мемориальной деятельности. В последние годы можно четко наблюдать тенденцию к центробежности мемориального дизайна, к потере смыслового центра, который обязательно присутствовал во время монументального строительства 1960—1970-х. Если еще в начале и середине 1980-х в России к кенотафам героев Великой Отечественной войны приписывали имена воинов-афганцев (как это делали в Германии, фиксируя имена жертв Второй мировой на стелах Первой мировой)[10], то уже в конце 1980-х каждому событию ставился отдельный памятник, однако чаще всего эти памятники концентрировались в одном мемориальном месте, первоначально освященном памятником Великой Отечественной (*фото 9*). Если в период массового строительства монументальных памятных комплексов (1960—1970-е годы) присутствовал единый сюжет, а композиция была иерархической (в центре находился главный монумент, стела или скульптурная группа, перед ним — Вечный огонь, вокруг, на гранитных плитах, — списки погибших), то в конце 1980-х и начале 1990-х годов иерархия нарушена, появляются не только памятники новым героям (или жертвам), но и новые памятники старым событиям.

В Красногорске на большом холме до 1950-х годов находилось старое сельское кладбище. После строительства жилых кварталов кладбище закрыли и уничтожили, на его месте сделали парк, а позже поставили памятник павшим воинам. С 1980-х годов на территории парка построили целый ряд памятников, в результате чего сегодня там можно видеть полноценный мемориальный «словарь» современности: военный мемориал 1970-х годов; камень «жертвам репрессий»; крест, поставленный жертвам войны в Дни славянской письменности; памятник солдату Великой Отечественной войны (1990-е годы); памятник и аллея памяти красногорцев, погибших в Афганистане; наконец, огороженный и снабженный табличкой 300-летний дуб — ровесник старого кладбища. Парк оказался удобным для мемориалов, поскольку является огороженной естественным образом территорией (вершина холма занимает несколько сотен квадратных метров), а

[10] В Германии, мемориалы которой нам частично удалось изучить, солдаты обеих войн — это, скорее, жертвы, отдавшие свои жизни; в отечественной традиции они — герои. Впервые мотив жертвы возникает только для интерпретации смерти «воинов-интернационалистов», да и то чаще, по привычке, образ «афганца» трактуется героически.

также в связи с тем, что был вписан в городской ландшафт еще до строительства первого советского памятника именно как мемориальное место.

Сегодня не существует единого мемориального стиля, единого «языка» и все символические системы, от коммунистической до православной, равны. На уровне теории коммунистическая идеология не приемлет христианства, в либеральную доктрину не вписывается национализм, а память о политических репрессиях не сочетается с великодержавной системой взглядов. Однако в условиях отсутствия жесткой связи между означающими и означаемыми, в ситуации подвижных, «плавающих» смыслов этот конфликт не осознается как проблема, а следовательно, не является ею. Патриарх освящает могилу Неизвестного солдата, первоначально служившую символом победы советской антихристианской идеологии; символ военной памяти — Вечный огонь — передают по эстафете участникам спартакиады, хотя первоначальная олимпийская идея Пьера де Кубертена означает антивоенную «добрую волю». Разность семантических рядов, из которых прямо наследуется или заимствуется символика, остается незамеченной. Список подобных «противоречий» бесконечен, да только противоречия эти — «академические», несущественные для практиков.

Сегодня любые дискурсы о войне снова становятся актуальными: и воспоминания ветеранов в местных СМИ[11], и правительственные церемонии возложения венков, и православные обряды, и советские кинофильмы о разведчиках, и современное искусство, массово тиражирующее «большой советский стиль»[12]. В этом хао-

[11] Ветераны и сегодня говорят о войне на языке газетных передовиц тридцатилетней давности. СМИ и публичная риторика советского периода формировали тот язык, на котором можно было говорить о личном военном опыте. Однако советские речевые клише о «родных лесах» и «фашистской гадине» являются единственным способом, который позволяет людям, не владеющим навыками публичных высказываний, выражать свои мысли и рассказывать истории.

[12] «Актуальное искусство» (этот уже устойчивый, хотя и локальный российский термин относится к одному из наиболее ярких и политически ангажированных течений современного российского искусства) процветает только в больших городах, где у него есть площадки и зритель. Искусство на сегодня является единственной областью высказывания табуированных значений — от порнографии до радикальной политической оппозиции. На сегодняшний день именно актуальные художники, которые поддерживаются местными властями как знак европейского качества и как искусство, производимое «на экс-

се символической деятельности нельзя не зарегистрировать устойчивую тенденцию к возрождению советской военно-мемориальной традиции и системы патриотического воспитания, во многом репродуцирующих прежнюю образную систему (и в риторическом[13], и в визуальном плане), изменение которой происходит лишь в замене «советского народа» на «российский». Организуются спартакиады, военно-патриотические игры, школьные краеведческие экспедиции, творческие конкурсы, посвященные войне. В то же время и в ритуалах празднования Дня Победы, и в новых памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, можно наблюдать попытку отхода к области «интимной», локальной, а не государственной, идеологизированной памяти. Снова акцентом становится жертва, а не только героизм, и тяжелый быт, а не только подвиг. Происходит возврат к первым послевоенным годам, к реставрации личного, еще не «упакованного» в государственное событие[14]. Устанавливаются памятники мирным жителям (Волгоград, 1995 год, к 50-летию победы), а в мемориалах, посвященных солдатам, все чаще появляется изображение матери и ребенка (Пушкино, Истра и другие).

В городе Руза в небольшом сквере у частной гостиницы стоит огромный валун — без надписи или других опознавательных знаков. Местные жители сообщили, что этот камень «ничего не означает» и его «из карьера просто так привезли». Потребность поставить памятник в этом случае продиктовало само место — сквер на перекрестке двух улиц, не занятый другими памятниками, но требующий какого-либо знака. Таким образом, мемориальная «привычка» стимулирует деятельность по установке памятников не меньше, чем другие необходимости идеологического или социального характера (фото 10).

Однажды сложившаяся система краеведения, куда обязательным элементом входила история Великой Отечественной, сегодня

порт», могут сказать и изобразить то, что никогда не появится в качестве знака гражданского согласия на площади города или у дороги.

[13] На сайте московского правительства объявлен журналистский конкурс. Цели конкурса сформулированы следующим образом: «патриотическое, духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения, воспитание чувства сопричастности к великой и славной истории нашего Отечества, внимание к ветеранам, память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне» (www.mosportal.ru/mdoo/4/2/index.htm).

[14] Об этом же говорят новые мемориальные проекты — например, проект НТВ и радиостанции «Эхо Москвы» «Рождение Победы», где информационные сводки сочетаются с личными воспоминаниями.

повторяется в том «стихийном» краеведении, которое процветает в Интернете: многочисленные фоторассказы о российских городах непременно включают, помимо архитектурных памятников XVIII—XIX веков, военные мемориалы[15].

В 1993 году с принятием Верховным Советом РФ Закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» произошло существенное изменение: впервые речь пошла о «защите отечества» в самом широком смысле — не только во время Великой Отечественной войны[16]. Тогда к уже имеющимся мемориалам добавляют новые мемориальные комплексы — в честь воинов, погибших в Афганистане, Чечне, при антитеррористических мероприятиях. Памятники Великой Отечественной оказываются для новых памятников своего рода мемориальным «ядром». По этому же закону все воинские захоронения, а также памятники и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, охраняются государством. В нем прописано, кто может быть увековечен, каковы формы увековечения и порядок захоронения; дано определение воинским захоронениям: «*Захоронения погибших при защите Отечества с находящимися на них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и другими мемориальными сооружениями и объектами являются воинскими захоронениями. К ним относятся: военные мемориальные кладбища, воинские кладбища, отдельные воинские участки на общих кладбищах, братские и индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии и урны с прахом погибших, места захоронений в акваториях морей и океанов, места гибели боевых кораблей, морских, речных и воздушных судов с экипажами*»[17].

Из приведенного текста видно, что в законодательстве упомянуты разного типа захоронения, в том числе братские (когда имена похороненных солдат неизвестны), но не рассматривается проблема кенотафа — могилы, где нет тела, но известно имя. И поскольку среди военных памятников, охраняемых государством, множество таких «пустых» могил, надо полагать, что они автома-

[15] Для примера приведем ссылки на сайты с фотогалереями Медногорска (http://mednogorsktoday.narod.ru/foto.htm), Долгопрудного (www.dolgopa.org/), Волоколамска (http://volokolamsk.narod.ru/).

[16] Практически вслед за законом вышел указ президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи».

[17] http://sience.garant.ru/public/defolt/.

тически считаются воинскими захоронениями. Российские законодатели так и не смогли определить статус пропавших без вести. По отношению к ним «применение таких форм увековечения памяти, как занесение фамилий и других сведений о них в книги Памяти, а также посмертное награждение орденами, медалями и памятными знаками, вызывает сомнение, поскольку не о всех без вести пропавших могут быть получены сведения, подтверждающие факт их гибели»[18].

В настоящее время ответственность за установку, охрану и содержание памятника несут в основном главы местных муниципальных образований. В Москве это Мосгордума и Главное управление охраны памятников Москвы. Показателен в этом смысле перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы[19]. Он содержит, в частности, указание завершить государственный учет и паспортизацию отечественных воинских захоронений как в РФ, так и на территориях стран, с которыми заключены межправительственные соглашения о воинских захоронениях; соорудить 11 крупных военных мемориалов в различных местах сражений (ответственность за сооружение возложена на местные администрации), а особо выделено указание соорудить храм-памятник без вести пропавшим и погибшим, места погребения которых не установлены (до апреля 2005 года).

Наблюдается и еще одна любопытная тенденция: высшее военное начальство словно «стесняется» неопознанных тел и «удаляет» братские могилы с территорий центральных официальных кладбищ, захоранивая их на периферии.

В сентябре 1999 года на Перепечинском кладбище города Химки было решено выделить специальную территорию для захоронения солдат, погибших при защите отечества. Его стали называть «российским Арлингтоном». Однако уже в октябре несколько десятков неопознанных военнослужащих, погибших в первой чеченской войне, похоронили не там, а подальше от Москвы — на Богородском кладбище недалеко от города Ногинска[20].

[18] Заключение по проекту федерального закона № 97700186-2 «О внесении изменений и дополнения в Закон Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"» (I чтение) и проекту постановления Государственной Думы.

[19] План утвержден президентом РФ Владимиром Путиным 28 августа 2003 года.

[20] АиФ Москва. 25 октября 2000. № 43 (381).

* * *

Отечественная мемориальная практика никогда не была изолирована от международного символического и ритуального опыта, хотя в советский период и «позиционировалась» как эксклюзивная. С первой четверти XIX века в России устанавливались памятники Отечественной войны 1812 года (*фото 11*), следующие европейской традиции (которая, кстати, появилась на Западе, в том числе, благодаря самому Наполеону и его египетскому походу). Источники некоторых символов и форм можно увидеть как в военных памятниках Европы или США, так и в древних культурах[21].

Наиболее интересным для сравнения с советскими мемориалами Великой Отечественной оказался послевоенный мемориальный опыт Германии, которая, как и Россия, пережила несколько этапов «мемориализации» (от национального объединения 1870-х и до сегодняшнего дня), демонстрируя определенные исторические закономерности. Особенно это касается Западной Германии, бывшей до последнего объединения 1989 года во «вражеском лагере»[22].

Мемориальный опыт Западной Германии

Первыми военными памятниками, которые ставились не только в крупных городах, но и «на местах», можно считать монументы

[21] Так, прямым источником формы стелы, вероятно, можно считать военно-мемориальный опыт Римской империи, который впоследствии Запад унаследовал вместе с римской воинской культурой. Римская империя, в свою очередь, пользовалась формами, существующими в завоеванных ею странах, в том числе в Египте (наследующем монументальное искусство Месопотамии), откуда, по всей видимости, и происходит практика установления стел с надписями и именами. Обобщая и поступаясь деталями, можно сказать, что истоки современных публичных военных монументов уходят корнями в древневосточную традицию, где они подтверждали централизованный характер власти, создавали ощущение единства общества (принадлежность к системе) и массово тиражировали главную идею государства — подчинение и защиту. См.: Древний Восток и мировая культура / Отв. ред. И.М. Дьяконов. М., 1981; *Byrd M.* The Napoleonic Institute of Egypt // Napoleonic Scholarship: The Journal of the International Napoleonic Society. Vol. 1. № 2. Dec. 1998.

[22] В российской культуре Западная Германия оставалась «врагом» до недавнего времени. И сегодня в прессе, в литературе и искусстве, в публичных выступлениях мелькают «рудименты» этого устойчивого языка и образной системы («били немцев» — а не «фашистов», «нацистов» и т.п.).

офицерам, павшим в годы наполеоновских войн (обелиск на Каролиненплац в Мюнхене посвящен памяти 30 000 баварцев, погибших в наполеоновской кампании в России; построен в 1833 году). Однако их осталось совсем немного, а массовыми военные памятники стали уже *после 1871 года*, когда начали повсеместно ставить стелы-кенотафы, записывая на них имена солдат, живших в данной местности и погибших или пропавших без вести[23]. В некоторых случаях их не устанавливали заново, а делали из уже существующих парковых скульптур (например, обелиск с орлом на вершине, построенный в 1856 году в городе Клеве и преобразованный в военный монумент после 1871 года[24]).

Традиция установки локальных военных мемориалов в Германии практически не претерпевала изменений до последнего времени. В *1920-е годы*, после Первой мировой войны, к памятникам 1871 года подписывали новые имена погибших[25]. Если же ставили новые стелы, то располагали их рядом со старыми, образовывая небольшие мемориальные комплексы. Как и монументы франко-прусской войны, это «локальные» памятники, они до сих пор стоят в каждом небольшом немецком городе — возле церквей или на кладбищах (иногда вместо стелы на внешней или внутренней стене церкви вешали памятную доску с именами ушедших). На таких памятниках можно обнаружить уже сложившийся символический набор: солдатская каска (иногда голова солдата в каске), широкий меч, крест («железный крест», у которого все «рукава» равны и на конце имеют расширение), дубовые листья. Надписи на них унифицированы, почти везде можно встретить слова: «Нашим павшим

[23] Западноевропейские и российские военные памятники локального уровня обнаруживают явное сходство. Это определяется общей военно-мемориальной традицией, ведущей начало от наполеоновских войн: кроме мелких отличий (например, крест вместо пятиконечной звезды), они идентичны и выполняют те же, «внутренние» функции — служат знаком памяти локального сообщества.

[24] Иконография памятника наполеоновским войнам также выглядит весьма устойчивой: в Москве, Смоленске и других российских городах с середины XIX до начала XX века устанавливались аналогичные стелы с орлом на вершине — символом победы над Наполеоном. См. Памятник героям 1812 года и памятник Софийскому полку (Смоленск — *фото 12*).

[25] Иногда на них же, уже в 1940-е годы, наносили имена солдат, погибших во время Второй мировой войны. Так произошло с каменным гротом в городе Вердене, где сделан мемориал (декорирован большим «железным крестом»), посвященный солдатам франко-прусской, Первой и Второй мировых войн.

и пропавшим без вести от жителей города» или «Нашим героям 1914—1918 годов». Эти посвящения фиксируют память, но, как правило, не дают ее эмоциональной оценки[26] (*фото 13, 14*).

Немного реже простой стелы в небольших немецких городах можно увидеть скульптурное изображение солдата (преклонившего колено или стоящего, часто с символическим мечом в руке, в форме немецкого солдата XIX века). На таких памятниках встречаются и более сложные, «поэтизированные» тексты: «Кто хранит в себе зародыш будущего, тот имеет право заклинать мертвое» («Wer in sich Zukunft birgt, darf das Tote beschwören» — *фото 15*). И еще реже попадаются уникальные скульптурные композиции (например, памятник 1891 года в Эссене, где изображен офицер, держащий знамя и одновременно склонившийся над тяжело раненным солдатом)[27].

Ситуация меняется в *1930-е годы*, во времена строительства «третьего рейха», когда правительство Гитлера активно занимается мемориальной деятельностью — в частности, идет массовая установка скульптурных памятников, посвященных воинам Первой мировой[28]. На этих памятниках часто изображались фигуры солдат (реже «Пьета» — мать, оплакивающая сына).

[26] Особенно хорошо заметна эта историческая нейтральность при сравнении с надписями Второй мировой — в тех памятниках, которые имеют надписи сразу про обе войны. Для обозначения «памяти» в первом случае используется немецкое слово «Andenken» («память», «воспоминание»), а во втором — «Gedenken» («память», «почитание»).

[27] В этот же период Веймарская республика активно строит большие памятники государственного значения — например, крепость-монумент в Танненберге (архитектор Вильгельм Крайз, Восточная Пруссия; была взорвана по приказу Гитлера в конце Второй мировой в связи с наступлением Красной армии); сооружение здания «Новой караульни» (Neue Wache) в Берлине (архитектор Хайнрих Тессенов, построена в 1816—1818 годы; в 1931-м перестроена в мемориал павшим в Первой мировой войне) и другие. Наше внимание сосредоточено на массовых стелах и монументах местного значения, поэтому мы лишь упоминаем эти грандиозные архитектурные сооружения как признаки тенденции мемориальной политики Германии между 1918 и 1933 годами. См., например: *Koselleck R.* Die Transformation der politischen Totenmale im 20. Jahrhundert // Transit. 2001/2002. № 22. S. 59—86; *Idem.* Les monuments aux morts, lieux de l'identité des survivants // L'expérience de l'historie. Paris, 1997.

[28] Поскольку установка памятников стала одним из важных направлений политики Гитлера уже в первые годы после его прихода к власти, очевидно, что нацистский режим, как и советская власть, по достоинству оценил идео-

В 1938 году нацистское правительство построило в баварском Вюрцбурге[29] *мемориальный комплекс, посвященный героям Первой мировой. Его композиция родственна советским военным мемориалам и включает Вечный огонь, стену с посвящением и центральную скульптурную группу. Шесть солдат несут седьмого в траурном марше, позади них — стена со списками погибших. Единственное композиционное отличие заключается в организации места для Вечного огня: он должен гореть на высоких столбах-воротах, установленных при входе на территорию мемориала, довольно далеко от самого памятника. Открытие мемориала было торжественным, на нем присутствовала администрация Вюрцбурга и представители центральной власти. После 1945 года он был превращен в мемориал обеих мировых войн, а сегодня находится на периферии туристических дорог и, хотя расположен в ста метрах от центрального туристического объекта — дворца-резиденции, практически не посещается. Местные жители либо не знают о его существовании, либо затрудняются сказать, когда именно и кем он был установлен (фото 16).*

Монументы 1930-х годов носят более драматический характер, чем посвященные тем же событиям монументы 1920-х, а надписи на них чаще бывают пафосными — они провозглашают «вечную память», «победу над смертью» и «жертву во имя жизни». В этот же период и инициатива возведения памятников, и финансирование, до 1930-х годов исходящие от общин или городских администраций (реже — ассоциаций ветеранов, клубов стрелков и тому подобного), становятся государственными, централизованными.

Первой реакцией на травму нацизма и войны в немецком обществе стала «амнезия»[30], а ограничения в мемориальной политике со стороны победивших стран лишь упрочили ее. Поэтому *с 1940-х и до 1960-х годов* большие монументы или мемориальные комплексы практически не строились и мемориальная практика по

логические возможности памяти и ее наиболее очевидного материального выражения — памятника. Увековечение героизма павших на Первой мировой всего за полтора десятка лет до «третьего рейха» — это не только поиски национальной идентичности, но и подготовка к новой, предстоящей боевой славе.

[29] Бавария — один из самых «богатых» военными мемориалами районов Германии, однако подобные примеры можно встретить и в других немецких землях. Принципиально различаются между собой Западная и Восточная Германия, однако восточные мемориалы мы здесь не рассматриваем.

[30] См. в настоящем сборнике статьи Александра Борозняка, Гельмута Кёнига и других авторов.

отношению к памяти о Второй мировой войне сводилась к установке небольших нейтральных монументов, а чаще, как было сказано выше, к приписыванию новых имен к старым. Надписи на «местных» кенотафах гласят: «Сыновьям города от местных жителей, в память», «Памяти жертв войны и всем в назидание», «Героям нашего отечества», «Жертвам Второй мировой войны от жителей города», «Прохожие, помните о жертвах войны» («Den Söhnen der Gemeinde Obersäckingen zum Gedenken», «Zur Erinnerung an die Kriegsopfer und an alle zur Mahnung» (город Бад-Зекинген), «Den Helden unserer Heimat» (город Болль), «Den Opfern des II. Weltkrieges» (город Гёшвайлер), «Die ihr hier vorübergeht gedenket der Opfer des Krieges» (город Гриссен)). В местах, где происходили крупные события (снос синагоги, строительство концентрационного лагеря, массовые расстрелы и тому подобное), поколение 1940-х ставило камни с информирующими надписями, в которых, как правило, не были указаны конкретные виновники происходящего. Таким образом, у действий против евреев, против иностранцев, насильственно пригнанных на работы, или участников Сопротивления как бы не было «субъекта». Речь шла о «кощунственных руках», разрушивших синагогу, или о «жертвах войны и насилия».

Сегодня информация о мемориальной политике Западной Германии — как «союзной» (первых послевоенных лет), так и внутренней (после разделения 1949 года) — крайне скудна. Ведомство по охране и уходу за памятниками земли Бавария сообщило, что в 1946 году союзным военным руководством был подписан декрет об уничтожении (до 1 января 1947 года) памятников, посвященных военным доблестям, а также национал-социалистической партии на территории Германии (этот декрет не коснулся обелисков и стел «местного значения», поминающих погибших на войне солдат). Действие декрета было отменено законом 1955 года «Высшей союзной комиссией»[31]. Однако до сих пор в Германии не существует ни свода (списка) памятников, ни централизованных каналов информации о датах и инициаторах установки, авторах и истории местных мемориальных объектов. (Для сравнения сообщим, что описью и изучением военных монументов в СССР занималось сразу несколько ведомств, в частности — аналогичное баварскому Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры, которое имело региональные отделения.)

С 1960-х годов новое поколение начинает новую мемориальную политику, и появляются новые памятники — «локальные» (в ос-

[31] См.: *Hammer F.* Die geschichtliche Entwicklung des Denkmalrechts in Deutschland. Tübingen, 1995.

новном это памятные камни), монументы в «исторических местах» (Дахау, 1968 год, и другие) и в крупных городах (Берлин — памятник на месте разрушенной синагоги, 1965 год; указатель с перечислением концентрационных лагерей «Эти страшные места мы не должны забыть» («Orte des Schreckens, die wir niemals vergessen dürfen»), 1967 год; Мюнхен — Площадь жертв фашизма и другие).

В 1990-е годы мемориальная волна в Германии достигает апогея. Этот период приходится на разрушение Берлинской стены и объединение Германии и на новую смену поколений, что приводит к принципиально новому подходу к решению проблемы «травматичной» немецкой истории. Уже с начала 1990-х появляется большое количество новых памятников. Однако по своей форме они редко выпадают из традиции минимализма стел и обелисков: как правило, это памятные камни с лаконичными информирующими надписями. В 1993 году в Берлине по заказу Берлинской мемориальной комиссии появляются художественные инсталляции художников Ренаты Стих (Renata Stih) и Фридера Шнока (Frieder Schnock) «Места памяти» — небольшие указатели с выписками из нацистских законодательных документов с пиктограммами на обратной стороне: «Евреи не могут быть членами общества Красного Креста» («Juden können nicht Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes sein»); «Еврейские юристы и нотариусы не имеют права практиковать в Берлине» («Jüdische Anwälte und Notare dürfen in Zukunft nicht in Rechtsangelegenheiten der Stadt Berlin tätig sein») и тому подобное (*фото 17*). В 2001 году в Нюрнберге открылся Музей нацизма и национал-социалистической партии — в здании Конгресс-холла, не достроенного нацистским правительством в 1930-е годы. Экспозиция музея информативна, дизайн лаконичен: только тексты, фотографии и видеоматериалы на фоне кирпичных стен здания. Наконец, самый крупный немецкий мемориал, посвященный убитым европейским евреям, обсуждался с середины 1990-х годов[32], в 1999-м был объявлен конкурс, а открытие состоится 8 мая 2005-го, в день празднования 60-летия окончания Второй мировой войны. Он построен на одной из центральных площадей Берлина и тоже состоит из простых камней, напоминающих надгробные плиты[33] (*фото 18*). Зри-

[32] *Young J.E.* Memory, Counter-memory, and the End of the Monument // The Holocaust and Historical Trauma in Contemporary Visual Culture. Brygghuset. Stockholm. 2000. January 30. www.arthist.lu.se/discontinuities/texts/young1.htm; www.arthist.lu.se/discontinuities/texts/young2.htm.

[33] Аналогичная идея, хотя и менее масштабная, еще в 1970 году была реализована в мемориале лагеря Вестерброк на границе Голландии и Германии,

тельский накал эмоций достигается не скульптурными изображениями умирающих солдат или экспрессивными надписями (как это было в практике нацистского правительства в 1930-е годы, в советской мемориальной деятельности с 1960-х годов и частично в настоящее, постсоветское время), а количеством и площадью всего комплекса.

созданном его бывшим заключенным, еврейским художником из Дании Ральфом Принсом (Ralph Prins). На лагерной площади он установил красные блоки с символом звезды Давида (памяти уничтоженных евреев) или пламени (памяти уничтоженных цыган).

Наталия Данилова

МЕМОРИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ (1979—1989 годы)

Горит звезда над городом Кабулом.
Горит звезда прощальная моя.
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула,
Когда на снег упал в атаке я...
И я лежу, смотрю, как остывает
Над минаретом синяя звезда.
Кого-то помнят или забывают,
А нас и знать не будут никогда...[1]

Прощальная звезда горела во время уже далекой войны, о которой даже те, кто знает о ней, не очень хотят вспоминать. Тем не менее война в Афганистане, несмотря на пессимизм автора стихов, взятых в качестве эпиграфа, заняла свое место в мемориальной истории России. Более того, она стала одним из первых опытов мемориализации *негероического* военного конфликта. В дальнейшем речь пойдет о «памяти камня» об Афганской войне, о смысле и значении афганских мемориалов[2], что, как кажется, должно помочь разобраться в отношении российского общества к войнам последних двадцати лет.

В литературе, посвященной анализу военных мемориалов, выделяют два подхода: культуральные исследования (cultural studies) и исследования военной памяти (war memory studies). В первом случае мемориальная культура рассматривается как совокупность символов и практик, формирующих значение мемориализируемо-

[1] См.: http://w3.vitebsk.by:8400/afgan/index.html, сайт Музея воинов-интернационалистов, город Витебск.

[2] Статья подготовлена при поддержке фонда CIMO (Renvall Institute of the Area and Cultural Studies, University of Helsinki, Paatos 13.12.2002 TM-02-744) и Центра независимых социологических исследований.

го события. Во втором — содержание, структура и элементы мемориальной культуры зависят от того, как определяется память о войне. В настоящее время в исследованиях военной памяти выделяют: государственно ориентированный, личностно ориентированный и объединительный подходы к памяти о войне[3]. В *государственно ориентированном* подходе память о войне понимается как политический феномен, инструмент строительства нации[4]. Такая интерпретация военных мемориалов закладывается в работах Эрика Хобсбаума и Бенедикта Андерсена. Сторонники *личностно ориентированного* подхода рассматривают военную память как явление индивидуальное, результат личной утраты, травматической реакции личности на смерть близких. В этом подходе психологическая травма личности (или коллективная травма представителей причастных к событию групп) определяет формы мемориализации войны[5]. Однако современные исследователи памяти более склонны к развитию третьего — объединительного — направления, некоторого аналога объединительной парадигмы в социологии[6]. В этом подходе строится многомерная модель анализа памяти о войне, репрезентацию которой одновременно определяют структурные условия функционирования общества (политика государства) и «чувства» отдельных людей и социальных групп, пострадавших от войны.

Одно из направлений объединительной парадигмы развивают французские исследователи памяти[7]. В их работах память о войне

[3] Типология приводится в коллективной монографии: *Ashplant T., Dawson G., Poper M.* (Eds.). The Politics of War Memory and Commemoration. London: Routledge, 2000.

[4] См., например: *Gillis J.* (Ed.). Commemorations: The Politics of National Identity. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994.

[5] См.: *Winter J.* Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press, 1995; *Winter J., Sivan E.* (Eds.). War and Remembrance in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[6] В социологии объединительный подход предполагает анализ нескольких уровней функционирования общества от уровня структур и институтов до уровня особенностей организации повседневной жизни граждан.

[7] *Nora P.* (Ed.). Realms of Memory: Rethinking the French Past. Vol. 1: Conflicts and divisions. N.Y.: Columbia University Press, 1996; На русском языке главы из книги представлены в кн.: *Нора П., Озуф М., Де Пюимеж Ж., Винок М.* Франция—Память / Пер. с фр. Д. Хапаевой; Науч. конс. пер. Н. Копосов. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999.

определяется как конструируемый, контекстуальный феномен — «место памяти» (понятие Пьера Нора), значение которого выкристаллизовывается в ритуале коммеморации. «Коммеморация определяется как процесс, который мобилизует разнообразные дискурсы и практики в репрезентации события, содержит в себе социальное и культурное видение памяти о коммеморативном событии, [...] служит выражением солидарности группы»[8]. Конструируемая природа памяти позволяет рассматривать военные мемориалы не только как застывшее воплощение национальной истории, но и как символы, отражающие параметры функционирования современного общества. Именно этот подход в статье применяется для анализа мемориальной культуры Афганской войны, которая понимается одновременно как конструируемый и структурно обусловленный феномен, зависимый от политики государства в отношении войны и ее участников, а также от коллективного чувства утраты, испытываемого участниками коммеморации. В соответствии с выбранным подходом наша работа делится на три части: первая часть посвящена социально-историческому контексту Афганской войны, вторая — анализу действий участников коммеморации и третья — основная — анализу мемориальных репрезентаций.

Политика государства

По официальным данным, война в Афганистане началась 25 декабря 1979 года. Целью советского военного присутствия в Демократической Республике Афганистан (ДРА) было провозглашено осуществление миротворческой операции для оказания помощи афганскому народу в стабилизации обстановки и отражении возможной агрессии извне. Однако такая формулировка не удовлетворила международное сообщество, что выразилось в осуждении действий Советского Союза на Генеральной Ассамблее ООН, а также бойкоте московской олимпиады 1980 года. В СССР наибольшую огласку получил протест академика Андрея Дмитриевича Сахарова. В открытом письме Сахаров писал: «...вторжение в Афганистан является одной из крупнейших ошибок советского руководства», в результате которой «наши солдаты оказались в роли

[8] *Sherman D.* The Construction of Memory in Interwar France. Chicago: The University of Chicago Press, 1999. P. 7.

карателей, убийц и насильников и одновременно жертв страшной, жестокой и бесчеловечной войны [...] против афганского народа»[9].

Концу афганской эпопеи способствовали общественно-политические и экономические реформы, начавшиеся в Советском Союзе в 1985 году. В ходе перестройки гласность и демократизация были провозглашены основными принципами реформирования советского строя. Во внешней политике реализация этих принципов означала остановку гонки вооружений, установление сбалансированной и дружественной международной политики и, прежде всего, окончание военных действий в Афганистане. В результате длительных переговоров в Женеве 14 апреля 1988 года было принято решение о выводе советских войск. Окончательный вывод войск был осуществлен 15 февраля 1989 года.

Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оставался в Афганистане в течение 9 лет, 1 месяца и 19 дней. По официальным данным, за годы войны в Афганистане прошли службу 620 000 военнослужащих, а в качестве гражданского персонала — 21 000 человек[10]. Для Советского Союза афганская кампания носила локальный характер, в том числе по численности людей, привлеченных к ведению и обеспечению боевых действий в Афганистане. В ней участвовало менее 1,5% граждан, призванных с 1979 по 1989 год на военную службу по всей стране[11]. Потери советской армии в ходе Афганской войны составили 15 051 человек[12].

Политика сначала советского, затем российского правительства в отношении Афганской войны неоднократно изменялась. Наиболее ярко динамику официальной политики отражают изменения в кодификациях войны в Афганистане и ее участников, закрепленные в правовых документах[13]. Анализ правового дискурса позволяет выделить четыре периода «официальной» оценки афганских событий. *Первый период* — с 1979 по 1983 год — характеризовался политикой замалчивания военного характера операции в Афганистане. В этот период правовой статус участников кампании ограничивался статусом военнослужащего ОКСВ без расшифровки специфи-

[9] *Сахаров А.Д.* Воспоминания: В 2-х т. М.: Права человека, 1996. Т. 1. С. 762.

[10] Россия и СССР в войнах XX века: статистическое исследование. М.: Олма-пресс, 2001. С. 535—536.

[11] *Galeotti M.* Afghanistan: the Soviet Union's Last War. London: England; Portland, Oregon: Frank Cass, 1994. P. 64.

[12] Россия и СССР в войнах XX века... С. 539.

[13] См. подробнее: *Данилова Н.* Военнослужащие, воины-интернационалисты, ветераны: динамика правового статуса // Социологические исследования. 2001. № 10. С. 77—85.

ки прохождения службы. Военнослужащие и гражданские лица, погибшие в этот период, были лишены права на захоронение с указанием места и условий гибели. Вопрос об увековечении памяти погибших в Афганистане и установлении надгробных плит с указанием места гибели обсуждался на заседании Политбюро ЦК КПСС от 30 июля 1981 года, однако «в связи с политической нецелесообразностью» решение по данному вопросу было отложено[14]. Фактически запрет на захоронение с указанием места гибели в некоторых регионах действовал до конца войны.

Второй период связан с принятием Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17 января 1983 года[15]. В соответствии с Постановлением участники Афганской войны получили право на льготы «за успешное выполнение заданий Правительства СССР»[16]. Постановление было принято через четыре года после начала войны, когда число потерь с советской стороны достигло семи тысяч человек[17]. Постановление предоставляло участникам войны статус «военнослужащих, проходивших службу в составе ограниченного контингента советских войск и временно находящихся в Демократической Республике Афганистан». Категориями «временно находились» подчеркивался как «временный» характер Афганской войны, так и «временный» правовой статус ее участников.

В ходе перестройки политика замалчивания сменяется политикой героизации действий участников Афганской войны. В репортажах описываются мужество и героизм солдат, подчеркивается романтика военных будней, значимость интернациональной помощи афганскому народу[18]. Воины-«афганцы» наделяются новым, «революционным взглядом», который должен помочь им стать активны-

[14] См.: *Ляховский А.А.* Пламя Афгана. М.: Вагриус, 1999. С. 271.

[15] Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 17 января 1983 года № 59 «О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в составе ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям» (с изменениями от 26 июля 1984 года).

[16] Цитата из удостоверения «О праве на льготы», которое выдавалось на основании Постановления 1983 года.

[17] Данные о потерях приведены по: Россия и СССР в войнах XX века... С. 539.

[18] Анализ дискурса героизации Афганской войны см. подробнее в: *Кинсбурский А., Топалов М.* Реабилитация участников Афганской войны в общественном мнении // Социологические исследования. 1992. № 1. С. 104—107; см. также примеры героической репрезентации войны: *Киселев В.* Гвардии рядовой // Комсомольская правда. 1986. 12.02.; *Алимов М., Киселев В., Феклистов Ю.* Здравствуй, сын, горжусь тобой // Комсомольская правда. 1986. 27.04, и другие.

ми участниками реформирования советского общества. Однако героическая риторика сравнительно быстро вытесняется критикой действий советских войск в Афганистане (*третий период* государственной политики, 1988—1994 годы). В июне 1989 года на Первом съезде народных депутатов СССР в очередной раз о своем осуждении действий советской армии в Афганистане заявляет Андрей Дмитриевич Сахаров. Его точка зрения находит поддержку только на Втором съезде народных депутатов СССР в 1990 году, когда было принято Постановление о моральном и политическом осуждении решения о вводе советских войск в Афганистан[19]. Несмотря на кардинальное изменение курса политики советского государства, анализ официального дискурса скорее свидетельствует о продолжении формирования привилегированного статуса участников Афганской войны. К 1989 году *воины-интернационалисты* (так в этот период обозначается правовой статус участников войны) получают дополнительные права и льготы в полутора десятках нормативных актов — в то время как до этого действовало одно Постановление 1983 года.

Следующий, *четвертый период* — с 1994 года по настоящее время — связан с принятием Федерального закона РФ «О ветеранах»[20]. Согласно закону участники Афганской войны получили статус *ветеранов боевых действий на территориях других государств*. С одной стороны, использование кода «ветеран» существенно повысило символический статус воинов-«афганцев», до этого момента *ветеранами* были только участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. С другой стороны, война в Афганистане по-прежнему не стала *войной* в полном смысле слова — этот статус закрепился лишь за Великой Отечественной войной. Следует отметить, что в соответствии с Законом 1994 года статус «ветеранов боевых действий» также получили участники других войн и боевых действий, которые велись Советским Союзом после окончания Второй мировой войны на территории других государств, а после 1999 года на территории Российской Федерации[21]. В резуль-

[19] Второй съезд народных депутатов СССР. Стенографический отчет, 12—24 декабря 1990. Т. IV. М., 1990. С. 432—454; см.: *Сенявская Е.С.* Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999. С. 99—100.

[20] Федеральный закон РФ «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ, принят Государственной Думой 16 декабря 1994 года (ред. 18 ноября 1998 года, 2 января 2000 года).

[21] Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О ветеранах"» принят Госдумой РФ 17 ноября 1999 года.

тате участники Афганской войны символически были объединены в одну группу с участниками остальных «малых» военных кампаний как вне, так и на территории России.

Итак, государственная политика в отношении Афганской войны изменялась по ходу ее замалчивания, установления запрета на информацию, героизации, публичного осуждения и, наконец, легитимации в Федеральном законе. Несмотря на колебания политического курса, Афганская война постепенно была включена в систему правовой кодификации войн и боевых действий. Пока в этой системе «настоящей» войной остается Великая Отечественная, а ее участники — «настоящими» ветеранами, но Афганская война уже заняла место где-то возле Великой Отечественной войны, получив статус *малой* версии *большой* войны. В результате эволюции правовых кодов исключительный статус воинов-интернационалистов постепенно преобразовался в коллективный статус участников большинства войн и вооруженных конфликтов.

Гражданское общество

Английский исследователь мемориализации Первой мировой войны Алекс Кинг отметил, что «война порождает две новые группы людей, чьи интересы глубоко затронуты в процессе коммеморации: группу боевых товарищей и родственников погибших»[22]. *Боевые товарищи* чувствуют долг и ответственность перед погибшими за увековечение памяти о них. *Родственники погибших* ощущают невосполнимость потери близкого человека. Участие в ритуале коммеморации дает им возможность хотя бы отчасти получить сопереживание общества через признание символической значимости их утраты. С точки зрения Кинга, из этих двух групп боевые товарищи имеют больше возможностей и символических ресурсов для участия в коммеморации.

Мемориализация Афганской войны не представляет исключения из вышеописанного правила. В увековечении памяти погибших в войне активно участвовали две указанные группы, среди которых именно организации боевых товарищей стали основными инициаторами сооружения мемориалов. Организации воинов-«афганцев» начинают создаваться примерно с 1985 года, в некоторых регионах — непосредственно с 1983 года, когда в политике совет-

[22] *King A.* Memorials of the Great War in Britain: the Symbolism and Politics of Remembrance. Oxford: Berg, 1998. P. 90.

ского государства наблюдаются небольшие изменения, в частности принимается Постановление 1983 года о льготах для военнослужащих ОКСВ. Длительное время препятствием для коллективных действий воинов-«афганцев» служила низкая численность группы. Но к 1985 году ситуация меняется. Через Афганскую войну прошло уже 300 000 человек, а число погибших достигает 12 000, что серьезно актуализирует потребность в увековечении погибших. Благоприятные внешние и внутренние условия для создания общественных организаций воинов-интернационалистов складываются примерно к 1986 году. В этот период, с одной стороны, власть в контексте перестройки начинает призывать к созданию организаций воинов-«афганцев», с другой стороны, среди самих «афганцев» назревает потребность в объединении. Встречи в кафе и ресторанах перестают удовлетворять запросы группы. С этого момента по всей территории СССР создается сеть клубов воинов-интернационалистов. С конца 1980-х на базе клубов образуются крупные общественные объединения воинов-«афганцев»: Союз ветеранов Афганистана (СВА — 1989 год), Российский Союз ветеранов Афганистана (РСВА — 1990 год) и Российский Фонд инвалидов войны в Афганистане (РФИВА — 1991 год). Пик создания крупных объединений воинов-«афганцев» приходится на 1989—1991 годы — в целом совпадая с периодом интенсивного роста неправительственных организаций в Советском Союзе.

История создания объединений *родственников погибших в Афганистане* менее насыщенна. В 1989 году родители участников, инвалидов и погибших в Афганской войне создают организации для защиты прав и интересов погибших и травмированных на войне сыновей. Отчасти интересы родственников погибших в Афганистане отстаивают организации солдатских матерей. Пик создания организаций солдатских матерей также приходится на 1987—1990 годы[23]. Организации родственников погибших в Афганистане активно сотрудничают с организациями воинов-«афганцев», инициируют совместные проекты по увековечению памяти погибших.

С момента их возникновения сакрализация памяти погибших является первоочередной задачей для «афганских» объединений. Сооружение мемориалов презентуется как «важнейшая» деятель-

[23] Подробнее об истории создания организаций солдатских матерей см.: *Данилова Н.* Право матери солдата: инстинкт заботы или гражданский долг? / / Семейные узы: Модели для сборки: Сборник статей. Кн. 2 / Сост. и редактор С. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 188—210.

ность, предпринимаемая «ради живых и во имя правды»[24]. Проиллюстрирую эту идею фрагментами с «афганских» сайтов:

...Называя себя «афганцами», мы не можем не помнить о наших боевых товарищах. О тех, кто не вернулся с войны...[25]

...Пули настигали их под Гератом, Кандагаром, Карабахом и Грозным, все эти долгие годы обрывая молодые жизни. Их подвиг должен остаться в нашей памяти и памяти наших детей. Пусть они не оборвутся во второй раз от бездушия и забвения. И пусть этот памятник послужит предостережением тем, кто готов, не задумываясь, начать новую бойню в очередной «Горячей точке»...[26]

...У каждого из прошедших тропами войны еще там, «за речкой», была мечта — вернуться живыми и сделать все, чтобы Память о погибших друзьях, честно исполнивших свой интернациональный и сыновний долг, жила Вечно...[27]

Примечательно, что мемориализация погибших в иерархии целей и задач общественных организаций воинов-«афганцев» приобретает бо́льшую значимость, чем деятельность по защите гражданских прав участников войны. Высокая значимость увековечения памяти погибших вызывает недоумение у западных исследователей истории «афганского» движения. С точки зрения Джима Риордана, общественные организации воинов-интернационалистов совершенно неверно распределяли ресурсы, когда вместо оказания помощи живым боевым товарищам, получившим инвалидность на войне, занялись сбором средств на сооружение памятников погибшим[28]. Однако, на мой взгляд, высокая значимость сакрализации погибших не только неудивительна, но и закономерна в ситуации неопределенной оценки войны, а также ограниченных политических возможностей для защиты интересов группы. В некотором

[24] Из Устава общественной организации «Ветераны последних войн — вместе» (Санкт-Петербург, 2002 год).

[25] См.: www.afganvet.spb.ru, сайт межрегионального объединения участников войны в Афганистане «Афганвет» (Санкт-Петербург), 2002 год.

[26] См.: www.ntagil.ru/rsva, материалы о деятельности регионального отделения РСВА в Нижнем Тагиле, 2002 год.

[27] См.: www.ab.ru/çafgan/ako_rsva.html, материалы о деятельности РСВА в Барнауле, 2002 год.

[28] *Riordan J.* Disabled «Afgantsy»: Fighters for a Better Deal // *Joyce W.* (Ed.). Social Change and Social Issues in the Former USSR. Selected Papers from the Fourth World Congress Soviet and East European Studies. N.Y.: St. Martin's Press, 1990. P. 136—157.

смысле деятельность по увековечению памяти погибших становится для оставшихся в живых единственным легитимным инструментом позитивного определения своего статуса.

Для сбора средств на строительство мемориалов организации воинов-«афганцев» проводят публичные акции по привлечению внимания общества к проблеме, организуют телемарафоны, инициируют открытые конкурсы проектов памятников погибшим на войне. Так, Омское объединение воинов-интернационалистов организует в городском транспорте сбор средств на афганский мемориал погибшим омичам[29]. На нижнетагильском региональном телевидении проводится телемарафон по инициативе нижнетагильского отделения РСВА. Примечательно, что в начале 1990-х сбор средств для увековечения памяти погибших в Афганской войне проходит в основном на региональном уровне и почти не получает поддержки федеральных органов власти. В этот период отношение государственных чиновников к инициативам ветеранов скорее характеризуется известной фразой: «Мы вас в Афганистан не посылали!»

Экономические реформы начала 1990-х (быстрый рост инфляции, экономические кризисы) создают серьезные препятствия для мемориальной деятельности. Вследствие ограниченности ресурсов сооружение мемориалов погибшим в период с 1991 по 1995 год приостанавливается и возобновляется только после 1995 года. Следует отметить, что именно ограниченность средств объясняет малые размеры «афганских» мемориалов. Ситуация меняется по мере стабилизации обстановки в стране и сближения интересов «афганских» и государственных структур. Уже к концу 1990-х участие представителей государственной власти, высокопоставленных чиновников, губернаторов становится неотъемлемым атрибутом коммеморации Афганской войны. К юбилейному 1999 году — 10-летие со дня вывода войск из Афганистана, 20-летие со дня ввода войск — по данным Российского Союза ветеранов Афганистана, число памятников на территории РФ достигает 332[30].

Братство, покаяние и триумф власти

Можно выделить три основных типа мемориалов, представляющих разные подходы к мемориализации Афганской войны: воен-

[29] См.: http://jancos.narod.ru/lavr.html, материалы о деятельности общественной организации воинов-«афганцев», Омск, 2003 год.

[30] *Пахомов В.* «Горячие точки» позабыть нельзя // Вечерняя Москва (Москва). 05.11.1996.

ное братство; покаяние или политический контракт; триумф власти или малая версия «большой» войны.

Военное братство

> Вечная память всем. Нашим землякам, не вернувшимся из Афгана. Братья! Третий — молча, за Память![31]

Мемориалы, посвященные теме военного братства, можно назвать типичной формой репрезентации памяти о погибших в Афганистане. Ценности братства, боевого товарищества, независимого от политических обстоятельств, определяют символическое поле мемориалов военного братства. Главными героями мемориалов становятся боевые товарищи. Их фигуры, скорбь по погибшим товарищам служат основным инструментом выражения *настоящего, истинного* горя. В этих мемориалах отрицается принципиальная возможность сопереживания утраты боевых товарищей. Символы, представляющие общество, родителей погибших, или традиционный для российской мемориальной культуры символ скорбящей матери отсутствуют в этих мемориалах. Такая репрезентация войны свидетельствует о локальности, замкнутости группы и ее памяти на саму себя. Причина замкнутости памяти объясняется самими участниками тем, что «война в Афганистане многих людей в СССР напрямую не коснулась [...] не стала общей бедой всего народа, а осталась бедой только тех, кто в ней участвовал. Для большинства же людей в СССР она осталась далекой и чужой, да и к тому же неизвестной и несправедливой»[32]. По замечанию военного историка Елены Спартаковны Сенявской, «после Афганской войны в армии широко распространилось мнение (и чувство): "Нас предали! Мы теперь никому не нужны..." И предательство это было осуществлено руководством собственного государства и "гражданским обществом"»[33]. Осознание предательства со стороны гражданского общества выразилось в отказе от использования в мемориалах символов причастности общества к войне. Осознание предательства государства привело к отказу от использования в мемориалах государственной и национальной символики.

[31] См.: http://svakontingent.ru/gazeta.htm, из интервью председателя Новосибирской областной организации РСВА В. Быкова, 2002 год.

[32] См.: www.rsva.ru/history.html, сайт Российского Союза ветеранов Афганистана (Москва), 2002 год.

[33] *Сенявская Е.С.* Психология войны... С. 209.

Идеи *воинского братства* передают такие символы, как фигуры скорбящих живых и погибших «афганцев», объятия, сомкнутые руки, сцены спасения (воин выносит с поля боя раненого товарища), специфическая форменная одежда времен Афганской войны, специфические символы смерти (например, «Черный тюльпан»).

В мемориале, расположенном в Мурманске (*фото 1*), ответственность перед боевыми товарищами передается в эпитафии: «Простите нас за то, что мы остались живы». На мраморной плите сбоку от надписи расположены склоненные лица двух воинов-«афганцев» — боевых товарищей погибших.

Символизирует общность, братство живых и погибших боевых товарищей мемориал погибшим в Афганистане, расположенный в Перми (*фото 2*). В центре мемориала — скульптурная группа из четырех воинов-«афганцев». «Афганцы» стоят, склонив головы и взявшись за плечи. Их круг разомкнут. Этот разрыв символизирует «пропавшее» звено, которое занимают погибшие боевые товарищи. Вокруг скульптурной группы размещены десять мраморных плит с именами погибших. Число плит символизирует годы войны: 1979—1989-й.

В пермском мемориале скульптурная группа воинов-«афганцев», так же как и в мурманском мемориале, представлена в форме военнослужащих воздушно-десантных войск (ВДВ). Символика ВДВ достаточно часто используется в мемориалах, посвященных Афганской войне. Десантная форма стала символом, идентифицирующим участника войны в Афганистане. Возможно, причиной такого распространения формы стал тот факт, что во время войны была введена новая форма — «экспериментальная», «афганка» (ее бытовые названия), которую носили не только военнослужащие ВДВ. Постепенно День десантника (2 августа) становится праздником и своеобразным Днем победы для воинов-«афганцев». Он начал праздноваться еще в ходе войны. Праздник признается большинством «афганцев» в качестве своего, близкого по духу, причем независимо от рода войск, в которых проходил службу военнослужащий. Можно выделить несколько причин выбора именно этой праздничной даты: во-первых, даты ввода войск длительное время не были официально объявлены; во-вторых, официальные даты войны были идеологически нагружены, связаны с принятием политических решений, отрицательно повлиявших на судьбу участников войны; в-третьих, среди частей ВС десантные войска в Афганистане были самими многочисленными; в-четвертых, позитивный символический код праздника. День десантника — праздник, посвященный героям, настоящим воинам, непосредственно не свя-

занный ни с каким конкретным историческим событием, а образующийся по критерию принадлежности к роду войск. Выстраивается цепочка от принадлежности к роду войск до принадлежности к клану «настоящих воинов». Потенциал праздника позволяет ему стать «своим» для большинства участников современных войн и военных конфликтов.

Места расположения мурманского и пермского мемориалов задают систему пространственного расположения мемориалов погибшим в Афганской войне. Так, в Мурманске мемориал расположен на военном кладбище, в Перми — в конце аллеи Славы, напротив памятника погибшим в Великой Отечественной войне. «Афганские» мемориалы включаются в пространство мемориализации Великой Отечественной войны, что символизирует преемственность, общность опыта ветеранов-«афганцев» и ветеранов ВОВ. Военное кладбище и аллея Славы (или какой-либо ее аналог, например площадь Славы) в гражданском пространстве города определяют возможные места расположения «афганских» мемориалов.

Идея преемственности и общности судьбы всех военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга, продолжается в санкт-петербургском мемориале погибшим в Афганской войне (*фото 3*). Мемориал установлен на Серафимовском кладбище — традиционном месте захоронения погибших военнослужащих, участников войн в Санкт-Петербурге. Он расположен в противоположном от главного входа конце, где находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Такое расположение памятника вновь должно подчеркнуть общность опыта погибших воинов. В центре афганского мемориала находится скульптурная группа из четырех взявшихся за плечи мужчин. Памятник символизирует боевое братство, сплоченность, общую судьбу и общую скорбь. Фигуры героев мемориала скрыты ниспадающей тканью.

К мемориалам *воинского братства* можно отнести также мемориал в Нижнем Тагиле (*фото 4*). В центре расположена фигура коленопреклоненного скорбящего воина, на плече которого висит автомат дулом вниз, в руках он держит головной убор. Памятник посвящен «воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты». Такой обобщенной формулировкой подчеркивается широта группы участников локальных войн — от Афганистана до Таджикистана и Чечни.

Несколько мемориальных комплексов погибшим в Афганистане получили название «Черный тюльпан». «Черный тюльпан» — это неформальное обозначение транспортных самолетов, которые уво-

зили погибших воинов из Афганистана в СССР. Примечательным является мемориальный комплекс «Черный тюльпан», расположенный в Екатеринбурге (*фото 5*). Основное значение мемориала передается общей композицией комплекса, который представляет собой изображение символического корпуса самолета, образованное с помощью изогнутых столбов, расположенных с обеих сторон от центральной скульптуры. В центре мемориала сидит воин в форме десантника, он склонил голову и одной рукой опирается на автомат. Одиночество и скорбь усталого бойца передают ценности товарищества и общности с погибшими товарищами.

На каждом из столбов написаны золотыми буквами имена и звания погибших. Следует отметить, что указание званий погибших является типичной чертой мемориалов погибшим в Афганистане, как, впрочем, и в целом российских военных мемориалов. Указание звания может рассматриваться как свидетельство дифференцированной оценки опыта военнослужащих разного ранга. Такая форма мемориализации погибших воинов отличается от британского опыта мемориализации погибших в мировых войнах и американских мемориалов погибшим во Вьетнаме[34]. В этих странах на военных мемориалах принципиально указываются только имена погибших, чтобы подчеркнуть идею «гражданского равенства» погибших военнослужащих перед государством и обществом. Особенно этот аргумент значим для призывников, граждан — солдат. Однако в российском обществе до сих пор идея гражданского равенства не получила признания, а воинский статус продолжает являться дополнительным дифференцирующим критерием оценки воинского долга.

То же имя («Черный тюльпан») получил памятник погибшим в Афганистане в Кирове. В центре памятника изображен черный тюльпан — цветок — в черной рамке. Вокруг тюльпана золотыми буквами написаны имена погибших[35]. Рядом с памятником установлены два камня из серого гранита: большой и малый, — символизирующие соотношение между Великой Отечественной и Афганской войнами как различающимися по масштабу, но равными по выполненному воинскому долгу и праву на достойную память.

Таким образом, мемориалы *воинского братства* представляют две основные оси памяти. С одной стороны, выбор символов воинского братства служит своеобразным гражданским протестом

[34] *King A.* Op. cit.; *Hass A.K.* Carried to the Wall: American Memory and the Vietnam Veterans Memorial. Berkeley: University of California Press, 1998.

[35] См.: http://afgan.smedia.ru/museum.htm, 2002 год.

воинов-«афганцев» против отношения к ним со стороны гражданского общества и государства. С другой стороны, пространственное расположение мемориалов, использование символов военной профессии, общность воинского долга свидетельствуют об установлении очевидных параллелей между статусом погибших в Афганистане и в Великой Отечественной войне.

Покаяние или политический контракт

Вторую группу мемориалов объединяет религиозная тематика с использованием соответствующих символов: маковки, контура церкви, креста; в мемориальные комплексы включаются часовни. Религиозные символы обыгрываются в памятнике погибшим в Афганской войне в Нижневартовске (*фото 6*), Минске, Севастополе, Омске и других городах.

В Санкт-Петербурге религиозная тема включена в оба мемориала. На Серафимовском кладбище адаптация религиозной темы была осуществлена посредством сооружения напротив мемориала часовни, в которой проходит служба по значимым для воинов-«афганцев» датам. На проспекте Славы (второй памятник погибшим в Афганистане в Санкт-Петербурге) церковь является частью мемориального комплекса.

Следует отметить, что православная символика абсолютно доминирует среди религиозных символов мемориалов, несмотря на то что среди участников войны были представители разных национальностей и конфессий. Существует два варианта интерпретации религиозной версии памяти Афганской войны. Во-первых, можно отметить общие черты между коммеморацией войны в Афганистане и коммеморацией погибших во Вьетнаме. С этой точки зрения обращение к религиозной тематике можно рассматривать как свидетельство своеобразного «покаяния» общества перед участниками войны, форму признания взаимных обязательств по отношению друг к другу. Религиозные символы, открытые не только для участников войны, позволяют разомкнуть границы группы и дать возможность обществу участвовать в увековечении памяти погибших. Возможно, в российском случае церковь, часовня, крест становятся чем-то вроде мемориала погибшим во Вьетнаме в Вашингтоне, где отражаются лица пришедших к мраморной зеркальной стене — символ общественного сопереживания трагедии.

Вторая, более прозаическая версия учитывает политическую роль православия. Мемориалы, обыгрывающие религиозную тему, появляются с конца 1990-х, а примерно с середины 1990-х право-

славие занимает прочное место в публичном политическом пространстве России. Специалисты обозначают этот период как «эпоху псевдорелигиозного возрождения», имеющего поверхностный и идеологический характер[36]. Принадлежность к православию в период трансформации российского общества становится символом «русскости», «русского своеобразия и духовной ценности»[37]. Как символ русской национальной истории и культуры православие заимствуется властью для укрепления своих позиций в обществе. Ветераны-«афганцы» в этом случае не являются исключением. Успешности политического контракта способствует анонимный, вневременной, «духовный» характер религиозных символов, использование которых позволяет уйти от политической оценки целесообразности конфликта. В действительности, вероятно, работают обе версии. Политическая составляющая православия позволяет установить контакт с властью, а духовная составляющая православия дает возможность использовать общий для государства, общества и ветеранов символ увековечения памяти погибших.

Иллюстрацией обоснования выбора православной символики служит история сооружения памятника в Омске (*фото 7*).

Этот памятник представляет собой обелиск, похожий на церковную маковку. Памятник посвящен всем павшим во всех войнах и локальных конфликтах последних лет. Объединение войн достигается через символическое изображение купола с тремя гранями, на каждой стороне которых указаны названия войн и боевых действий: Хасан, Даманский, Афганистан, Карабах, Чечня. Памятник был сооружен в августе 1996 года. Интересна история выбора проекта памятника. Конкурс проектов на сооружение памятника погибшим был объявлен в региональной газете «Молодой сибиряк» (1987 год). Один из первых проектов, который одобрили жюри и градостроительный комитет города, был предложен коллективом скульпторов (Н. Бабаева, И. Голенко, М. Хахаева). Проект представлял собой десятиметровую стелу, увенчанную фигурой сраженного воина. Над головой воина развевалась плащ-накидка. Однако именно эта деталь вызвала бурные негодования у «афганцев». «Откуда, вы скажите, скульптор Бабаева нашла плащ-накидку? Ее почти не носили [...] В боевых действиях ее не надевали, и солдат падать в плащ-накидке никак не может. Зачем выдумывать что-

[36] *Каариайнен К., Фурман Д.* Религиозность в России в 90-е годы // Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постсоветской России. М.: Летний сад, 2000. С. 7—48.

[37] Там же. С. 15.

то?» — спрашивал в своем письме воин-«афганец» Н. Буслаев. Ветераны были против замысла автора и предлагали свои варианты. «Я считаю, что нужно сделать не просто памятник "афганцам", а сквер воинам-интернационалистам, поставить там сгоревшие, изуродованные взрывами "вертушки" [вертолеты. — *Н.Д.*] и БТРы. Хорошо, если будут высечены имена тех, кто не вернулся в родной дом», — из письма «афганца». В результате в мемориале не находит отражения ни одна из версий памяти о войне, ни традиционная официальная, ни предельно историческая, а сооружается «скромный обелиск», в «котором есть душа»[38]. *Душу* мемориала могут почувствовать воины-«афганцы», но могут принять и общество и власть.

Представленная дискуссия отражает традиционный конфликт между участниками войны и обществом в выборе формы репрезентации памяти об Афганской войне[39]. Это обсуждение показывает конфликт между интересами государства, общества и участниками войны, когда осуществляются попытки мемориализации войны с помощью символов, не соответствующих исторической памяти выживших. Участники войны склоняются к воссозданию в мемориалах реалистичной атмосферы, точности деталей (формы, вооружения), непосредственно отражающих их опыт, а не выбору демонстративного проекта идеологизированной памяти о войне, хотя именно такие проекты реализуются в третьем типе мемориалов.

Триумф власти

Третье поле значений представляют мемориалы Афганской войны, которые воспроизводят традиционную для советского контекста форму мемориализации погибших воинов. Характерными чертами этих мемориалов являются монументальность и использование типичных для советского контекста символов воинской скорби: Вечный огонь, фигура скорбящей матери. Такого рода памятники устанавливаются в публичных местах, на площадях, проспектах славы и позиционируются рядом с мемориалами погибшим в Великой Отечественной войне. Связь с ВОВ типична для «афганских» мемориалов. Однако если в двух предыдущих типах репрезентаций связь с Великой Отечественной скорее косвенная, то в этом

[38] См.: http://jankos.narod.ru/lavr.html, сайт Н. Плотниковой (Омск, 2002 год).

[39] *King A.* Op. cit.

случае общность войн воспроизводится по принципу подобия. Мемориал погибшим в Афганистане начинает функционировать как символ строительства нации, инструмент государственной идеологии. Такой подход свидетельствует о реализации государственно ориентированного проекта памяти об Афганской войне.

Использование в мемориалах погибшим в Афганистане символов материнства встречается крайне редко. Это объясняется отчасти идеологической нагруженностью символа, отчасти его занятостью в структуре мемориального пространства погибшим в Великой Отечественной войне. Символ «скорбящей матери» подчеркивает неоплатную жертву, скорбь и боль по погибшим. Одним из мемориалов, в котором фигура матери занимает центральное место, является монумент «Боль» в Витебске, открытый 2 августа 1997 года. Основную часть памятника занимает коленопреклоненная фигура матери, которая склонила голову к израненному телу погибающего сына. Она держит сына на руках, пытаясь оградить его от жизненных бед и невзгод. Рядом с основной композицией по обе стороны аллеи, ведущей к памятнику, на гранитных пилонах расположены таблички в виде трассирующих очередей с фамилиями погибших и умерших от ран и болезней в мирное время. Вокруг мемориала разбит парк, в котором посажено 153 дерева по количеству погибших воинов[40]. Предположительно выбор такой формы мемориала определялся тем, что инициатором его сооружения выступила организация солдатских матерей, которая настояла на том, чтобы в мемориале была отражена именно роль матери. Кроме того, мемориал посвящен погибшим не только в войнах, но и погибшим в вооруженных силах в мирное время по причине разного рода несчастных случаев или халатности — категории, важной для организаций солдатских матерей, защищающих права военнослужащих.

Присутствует фигура матери в мемориальном комплексе, посвященном погибшим в Афганистане, который расположен на проспекте Славы в Санкт-Петербурге (*фото 8*). Фигура матери находится на входе в мемориальный комплекс. Она как бы символически открывает пространство гражданского мира, оплакивающего воинов. Мемориал состоит из нескольких частей: скорбящей матери, десяти плит из серого гранита, символизирующих годы Афганской войны, на которых выбиты имена погибших ленинградцев, Вечного огня и фигуры солдата, выводящего из ущелья тяжело

[40] См.: http://w3.vitebsk.by:8400/afgan/index.html, сайт Музея воинов-интернационалистов в Витебске, 2003 год.

раненного товарища[41]. Именно последняя — основная скульптурная композиция — вновь содержит идеи военного братства как основного символа Афганской войны.

Общность Афганской и Великой Отечественной войн передается не только пространственным расположением мемориала. Вечный огонь был зажжен от огня Пискаревского мемориала; представители вооруженных сил и ветераны Великой Отечественной войны участвовали в ритуале поминания погибших в Афганской войне.

В то же время официальность, парадность подобных мемориалов отчасти делает эти мемориальные комплексы менее популярными среди участников Афганской войны и родственников погибших. Происходит столкновение официальной (государственно ориентированной) формы сакрализации памяти погибших и индивидуальной памяти участников войны. Ситуация в Петербурге как раз демонстрирует это противоречие. Памятник на Серафимовском кладбище, символизирующий ценности воинского братства, оказывается ближе участникам коммеморации, чем Мемориал павшим в Афганистане жителям Ленинграда и Ленинградской области (официальное название памятника). Справедливости ради следует упомянуть о более прозаическом факторе меньшей популярности второго памятника: он расположен в отдаленном районе города. Однако несоответствие форм памяти государства и участников коммеморации, на мой взгляд, играет более важную роль.

Монументализм, символизирующий единство национальных и государственных интересов в презентации памяти об Афганской войне, присутствует в памятниках, расположенных в других регионах бывшего Советского Союза. Памятник казахстанцам, погибшим в Афганской войне, расположенный в Целиноградe (Астана, столица Казахстана), представляет собой гранитный монумент, на котором выбиты имена погибших[42]. *Героическую версию войны представляет памятник в Днепропетровске (*фото 9*), где специфика Афганской войны отражена только в форме военнослужащих.*

Вместо заключения. Перекрестки памяти Афганской войны

Военное братство, покаяние или политический контракт — эти значения описывают символическое поле памяти, представленной

[41] См.: www.afgan.ru, сайт организаций ветеранов Афганской войны (Санкт-Петербург, 2002 год).

[42] См.: www.afgan.kz/oksva/index.html, 2002 год.

в мемориалах погибшим в Афганистане. Каждое из этих значений формирует свое пространство памяти. Память личная, закрытая для посторонних (гражданского общества и государства), представлена в мемориалах воинского братства. В этом типе памятников в полной мере реализуется личностно ориентированный подход, выражающий символы личной утраты, общей судьбы с погибшими.

Закрытое пространство памяти Афганской войны трансформируется в мемориалах с религиозной символикой. Религиозная тема позволяет деполитизировать и раскрыть пространство памяти для представителей разных социальных групп — гражданского общества, непосредственных участников коммеморации (участников войны и родителей погибших) и, что важно, представителей официальной власти. Политический капитал православия как символа «русскости», национального единства позволяет построить консенсус между разными политическими акторами сакрализации памяти погибших в Афганистане.

Традиционная, героическая версия войны находит отражение в третьем типе мемориалов, которые сооружаются в соответствии с государственно ориентированным подходом к коммеморации. Специфика войны в подобных мемориалах теряется, а память о войне воспроизводится с помощью уже привычных форм: Вечного огня, фигуры скорбящей матери, ступеней, обозначающих годы войны.

Локальность войны, ее «несправедливость», неопределенность государственной политики, закрытость группы, общность воинов, погибших при выполнении воинского долга, православное покаяние, национальное российское самосознание и политический контракт с государством и гражданским обществом — все эти значения составляют память о погибших в Афганской войне. Эта мозаика религиозных, национальных, гражданских символов, ценностей воинского долга и боевого братства и формирует пространство «афганских» мемориалов в современной России.

Павел Полян

ЮБИЛЕЙ À LA GLAVPOUR?
Российский организационный комитет «Победа» как естественная монополия

Когда бы грек увидел ваши игры...

Старики и салаги: истоки и лица РОКП

Указом № 1441 президента Российской Федерации от 5 августа 2000 года была создана организация, именуемая «Российский организационный комитет "Победа"» (далее РОКП, или Комитет). Означенный Комитет призван был заменить и объединить две параллельно существовавшие до этого организации: Российские организационные комитеты по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными событиями военной истории Отечества и по делам ветеранов и по подготовке и проведению празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Указом утверждалось Положение о РОКП, органам исполнительной власти предписывалось оказывать ему всяческое содействие, при этом организационное обеспечение деятельности РОКП возлагалось на Организационное управление президента РФ, что сразу же сделало его идеологическим органом с высоким положением, но с весьма невнятным статусом и расплывчатым мандатом[1].

Уставные цели Комитета исключительно благородны — возрождение и укрепление патриотизма, повышение международного престижа российского государства. Но, поскольку задачи эти не только высокие, но и вечные, в Администрации президента резонно сочли, что одними ветеранами и одной только Великой Отече-

[1] Законодательная база Указа — Законы РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», «О днях воинской славы (победных днях) России» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

ственной войной (ВОВ) не обойтись. Потому РОКП вменил себе в обязанность заботу о ветеранах любых «боевых действий» как на территории СССР, так и на территориях других государств, то есть охватил вниманием ветеранов и Афганской, и Чеченских войн, но и это не все — в визире РОКП оказались еще и ветераны государственной службы! Таким образом, первоначальная целевая группа — ветераны ВОВ — сильно разбавлена ветеранами-«новобранцами», в итоге — контуры РОКП оказались весьма размыты, сам он внутренне неоднороден и противоречив.

Конфликт интересов при этом запрограммирован, как, впрочем, и то, кто из этого конфликта выйдет победителем: ведь ветераны-кагэбэшники — это все, что угодно, но только не салаги. Молодые и напористые, «ветераны» ограниченных контингентов и госслужбы используют стариков из формации ВОВ в качестве «живого щита» при выбивании средств и вместе с тем вытесняют их из различных совместных с ними программ и проектов.

Вместе с тем РОКП — это не фикция, а организация, контора. Постоянный аппарат РОКП структурно членится на рабочие группы (всего их девять, с высокопоставленными чиновниками в качестве координаторов). Весьма интересен и персональный (а точнее, функциональный) состав членов РОКП, возглавляемого, по должности, президентом РФ[2]. Поначалу у Владимира Путина не было первого заместителя, что, в свете нынешней моды, или установки на вертикаль, нельзя было рассматривать иначе как упущение. В июне 2004 года упущение было исправлено, и первым замом по просьбе ветеранов, высказанной на встрече с президентом в Министерстве обороны РФ в декабре 2003 года, назначили Сергея Иванова, министра обороны РФ, до этого являвшегося лишь рядовым членом правительства.

По мере своего роста РОКП раздувался, а его персональный состав подвергался изменениям. Так, число заместителей председателя постепенно выросло с пяти обычных заместителей до одного первого заместителя и семи просто заместителей. Но душой, или

[2] Точная дата сведений о персональном составе РОКП на сайте не названа. Кроме того, в составе Комитета происходили и текущие изменения, о которых мы располагаем только отрывочными сведениями. Состав РОКП по состоянию на 21 июля 2003 года представлен на: www.pobeda—60.ru/main.php?trid=1962. Но совершенно очевидно, что после административной реформы весны 2004 года многие позиции не соответствуют действительности — как в плане корректного обозначения должностей, так и в плане персоналий.

мотором, Комитета (то бишь его ответственным секретарем) является (или являлся[3]) Валерий Алексеевич Чернов, начальник Организационного управления президента РФ — того самого, при котором РОКП и организован.

Очевидно, что именно этой принадлежностью объясняется то, что с самого начала РОКП была щедро оснащена признаками весьма современной и активной организации. Сайт Комитета[4] был создан еще в 1999 году, то есть за год до официального рождения самого РОКП — не в президентскую, а всего лишь премьерскую бытность Владимира Путина. Причем создан не мальчишкой вебдизайнером, а компетентнейшим Главным управленим информационной разведки Федерального агентства правительственной связи и информации (в миру — ГУИР ФАПСИ).

Список «рядовых» членов РОКП первой формации насчитывал около 50 членов и открывался — и, видимо, не только по алфавиту, но и по праву — Виталием Азаровым, начальником Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил РФ, наследника Главпура (Главного политического управления вооруженных сил).

Отвлечемся от имен и алфавита, тем более что многие, как видно, входят или входили в состав РОКП по должности, и приглядимся к функциями и служебной принадлежности его членов.

Богаче других в ней представлены правительство СССР (11 человек, включая чиновников центрального аппарата) и Администрация президента (7 человек, не считая полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе и секретаря Совета безопасности РФ). Куда бледнее представлено Федеральное собрание (по 1 человеку от каждой палаты). Из муниципальных чиновников в РОКП замечены только двое, и оба москвичи, представители правительств Москвы и Московской области.

Довольно щедро представлены в РОКП общественные органи-

[3] В последнее время заседания вместо него вел другой чин Администрации президента — начальник департамента по обеспечению деятельности консультативных органов Управления президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам Рустям Латыпов. [Валерий Чернов в 2004 году покинул указанный пост. В настоящий момент он является министром по делам территориальных образований Московской области правительства Московской области и руководителем аппарата президента финансовой корпорации «УРАЛСИБ». — *Примеч. ред.*]

[4] www.pobeda—60.ru.

зации. Но вот только какие! Лишь три из них представляют непосредственно ветеранов ВОВ — Общероссийская общественная организация ветеранов войны и военной службы, Российская ассоциация героев и полных кавалеров ордена Славы и Ассоциация международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» (последняя представляет, скорее, интересы немецких ветеранов, ибо занимается поиском и захоронениями их «кригсакамераден»).

Зато представителей различных организаций ветеранов многоуважаемой госслужбы — не менее десятка. Среди них — Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, Советы ветеранов Федеральной службы безопасности РФ и ветеранов Службы внешней разведки России, координационные советы Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» и Международного союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы, совет Всероссийского центра социально-правовой помощи ветеранам (инвалидам) войн, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане, Российская ассоциация «Армия и культура» и Центральный совет Российской оборонной спортивно-технической организации. Пожалуй, самая экзотическая из представленных в РОКП организаций — это Национальный дельфийский совет России[5]. Представлена в РОКП и Федерация независимых профсоюзов России.

В РОКП, разумеется, включены и религиозные деятели — представители трех конфессий, признанных исконными для России, — православия (2), ислама (2) и иудаизма (1). Бросается в глаза фактический паритет православных иерархов с муфтиями.

А вот музеи или наука в РОКП представлены негусто. На всю науку, в том числе историческую, и в частности военно-историческую, нашлось одно-единственное место, занятое президентом Академии военных наук РФ. Музеям выделили тоже одно место — Центральному музею Великой Отечественной войны 1941—1945 годов; еще одно — почему-то — за Государственным Кремлевским дворцом.

Бросается в глаза и то, кого мы в составе РОКП не видим. Нет

[5] Дельфийское движение — это, по самоопределению, то же, что и олимпийское, но только в области искусств, а не спорта.

ни одного представителя от организаций, представляющих жертв нацистских преследований, а таких организаций все же немало — от Межреспубликанской ассоциации бывших узников фашизма[6] до Ассоциации бывших советских военнопленных. Нет даже представителя Российского фонда «Взаимопонимание и примирение» — государственной организации, выплачивающей (или не выплачивающей) компенсацию этим узникам из немецких или австрийских средств и уже этим одним поставленной на острие проблематики этих десятилетиями дискриминировавшихся у нас людей[7]. Нет никого из правозащитного спектра, даже «Мемориала» — первым во весь голос заговорившего об остарбайтерах и других узниках.

Но нельзя не признать: как соотношение между теми, кто в Комитете наличествует и кого в Комитете нет, так и представительские пропорции внутри самого РОКП в том смысле объективны, что отражают определенную реальность, сложившуюся вокруг 60-летия Победы.

Об этой самой «реальности» неплохо говорят повестки дня и решения заседаний РОКП. Всего их состоялось 17: в 2000 году — два[8], в 2001—2003-м — по четыре, в 2004—2005-м — три.

Классические пункты повестки дня — обсуждение проектов различных перечней и программ основных мероприятий, а также итогов их реализации, мер по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников ВОВ, освещение военно-патриотической темы в средствах массовой информации, деятельность религиозных объединений России по консолидации общества и патриотическому воспитанию граждан, меры по социальной защите инвалидов ВОВ и боевых действий.

На многих заседаниях обсуждались вопросы исторического плана или, точнее, вопросы, смежные между историей и идеологией.

Так, на третьем заседании РОКП (14 марта 2001 года) обсуждалась проблема хранения и использования архивных кинофотодокументов ВОВ. Росархиву было рекомендовано создать на общероссийском архивном сайте «Архивы России» тематический раздел

[6] Ее президент, Ирина Харина, сопровождала 27 января 2005 года Владимира Путина в его поездке в Освенцим.

[7] Правда, Наталья Малышева, в бытность председателем правления фонда (сейчас она работает в правительстве), говорила пишущему эти строки о том, что в состав РОКП включили и ее, но никаких официальных подтверждений этого нам встречать не приходилось.

[8] Первое — 4 октября 2000 года.

«Победа», что впоследствии и было сделано (http://victory.rusarchives.ru/). Кстати, приручение Интернета поручили и Минобороны: оно обязывалось создать на своем сайте раздел, посвященный военно-патриотической тематике.

На десятом его заседании были поставлены вопросы о снятии грифа секретности с документов периода ВОВ, связанных с без вести пропавшими военнослужащими и наградными материалами, а также о переиздании обзорного тома Всероссийской книги Памяти (с учетом электронной базы данных на участников ВОВ, сложившейся в Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан).

История присутствовала и на двенадцатом заседании РОКП (26 июня 2003 года). Цитирую два пункта из его решения:

«30. Поручить рабочей группе Оргкомитета "Победа" по координации подготовки и проведения информационно-пропагандистских и культурных мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отечества (координатор — Д.В. Молчанов) направить запрос в Министерство по делам печати, теле- и радиовещания России по поводу демонстрации в канун Дня памяти и скорби (21 июня 2003 г.) по каналу НТВ телепередачи из серии "Совершенно секретно" телефильма "Генералы и отступление", искажающего суть начального периода Великой Отечественной войны.

31. Предложить Минкультуры России, МПТР России, ВГТРК совместно с Минобороны России, Росархивом, другими заинтересованными министерствами и ведомствами, рабочими группами Оргкомитета "Победа" рассмотреть вопрос о возможности создания межведомственной комиссии по оценке исторической достоверности и морально-нравственного содержания художественных, документальных и телефильмов, радиопередач, художественной и мемуарной литературы, предлагаемой к освещению в государственных средствах массовой информации».

Именно эти пункты аукнулись первым публичным скандалом вокруг деятельности РОКП. В статье «В.П. Иванов как услуга» заместитель главного редактора «Московских новостей» Михаил Шевелев[9] атаковал лично Виктора Иванова, заместителя главы Администрации президента и заместителя председателя РОКП. В заслоне «исторической неправде» он совершенно справедливо усмотрел призыв к введению цензуры, но решительно непонятно, почему ответственность за этот призыв он возложил на Иванова, а не на его начальника. Да и подход главпуровский был свойственен

[9] Московские новости. 2003. № 28.

двенадцатому заседанию РОКП точно в такой же степени, как и остальным.

Вскоре главный редактор «Московских новостей» Виктор Лошак получил коллективное письмо от большой группы разгневанных маршалов, генералов и руководителей ветеранского движения (копия — министру Михаилу Лесину) с выражениями недоумения по поводу публикации. Их почему-то расстроили незнание Михаилом Шевелевым полного перечня заместителей председателя РОКП и его журналистская лень: «ни один ваш корреспондент не счел нужным поприсутствовать хотя бы на одном заседании Комитета», как же так?! (Так я с изумлением узнал, что пресса на заседаниях РОКП — дорогой гость!) В контексте кинокартины о Власове задорно и полемично прозвучал и личный выпад соавторов: «*Мы не знаем, где были в годы войны дед и отец автора. Хочется верить, что они были среди тех, кто с оружием в руках защищал мир от коричневой чумы фашизма. И очень жаль, что они не смогли привить ему чувства любви к Родине и отвращения к предателям Отечества*». Интересно, что группа ветеранов, и в их числе президент Академии военных наук, апеллируют не к собственной информированности и знаниям, а к несколько фантомному авторитету более чем «*...5 миллионов участников войны и ветеранов трудового фронта. Именно они знают подлинную историю Великой Отечественной войны и правду о предателе Родины генерале Власове. Их позицию не изменят подобные газетные статейки и кинофильмы*».

Виктор Лошак опубликовал это письмо, а в комментарии сам заметил: «*"МН"... выступают против монопольного права любой группы (и маршалы не исключение) на историческую правду, и тем более — на цензуру... У нас уже была и сейчас возрождается партия, монополизировавшая любовь к Родине и право задавать вопрос: "а где ты (или твои родители) был в таком-то году?" Не стоит возвращаться к практике штрафных батальонов из аутсайдеров любви к Родине*»[10].

Кстати, обсуждалась и подготовка к изданию поименной Книги Памяти воинов, погибших в период «странной войны» с Финляндией. Книга Памяти и память о погибших, безусловно, нужны, но помнить следует и то, что их, погибших, не было бы, не нападни СССР на своего меньшего соседа. Эта война, бесславная и в боевом отношении, — преступление, за которое СССР попросили из Лиги Наций, но она не только не вычеркнута из святцев, а просто сопряжена с другими «локальными войнами», в частности с Афган-

[10] Московские новости. 2003. № 29. Или: http://new.mn.ru/issue.php?2003-29-14.

ской (впрочем, такой же легитимной и славной!).

На шестом заседании РОКП (18 декабря 2001 года), отдавая очередное должное зуду монументальности и аппетитам монументалистов, решили установить на Поклонной горе памятные стелы 10 фронтов и 3 флотов[11]. Кроме того, сообщили о создании и запуске Российского информационного агентства «Победа» — независимого средства массовой информации, организующего свою работу в интересах РОКП и общественных объединений ветеранов.

На заседаниях РОКП обсуждалось и немало важных, интересных, иногда даже новаторских вопросов. Так, на тринадцатом заседании с интересной инициативой создания в рамках альтернативной гражданской службы специальных формирований по поиску и захоронению останков воинов, погибших в период 1939—1945 годов, выступили начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василий Васильевич Смирнов и первый заместитель министра труда и социального развития Российской Федерации Наталья Малышева.

Но нередко поддержку в РОКП искали и находили идеи совершенно курьезные, нелепые или неуместные. Так, среди намечавшихся в 2000 году мероприятий было и такое, как «Встреча ветеранов — участников Великой Отечественной войны 1926 года рождения в Государственном академическом Большом театре России». Идея, впрочем, отличная: ведь и ветеранские секции, перемешав для ясности, можно организовывать так же — по принципу годовых колец на секвойе.

Или другой пример. На восьмом заседании РОКП было решено поддержать проект художественного фильма об отечественных хоккеистах и цикла еженедельных теле- и радиопередач о ведущих спортсменах России под названием «Победитель». Спору нет, уже одним своим названием все это прекрасно вписывается в палитру дел и забот Комитета «Победа». К тому же нельзя полностью исключать и того, что среди мастеров клюшки и шайбы, скажем, из «Динамо», найдутся и ветераны-гроссмейстеры плаща и кинжала. Да и о ветеранах спорта (спортивных действий) нельзя забывать: ведь и президенты у нас в последнее время один спортивней другого!

Иные времена — иные песни. На одной новации, резко отличающей деятельность нынешнего РОКП от комитетов-предшественников, стоит остановиться чуть подробнее. Это то огромное

[11] Действительная их установка растянулась до 2005 года.

внимание, которое уделялось на заседаниях РОКП финансовой стороне дела. На первом же заседании было горячо поддержано предложение ветеранских общественных объединений об образовании консолидированного благотворительного внебюджетного фонда «Победа» для финансирования мероприятий, проводимых в связи с памятными событиями военной истории России, и о поиске спонсоров. В частности, заместителю председателя РОКП Владимиру Говорову рекомендовалось обратиться в Минатом России (организацию, кажется, бюджетную) с просьбой ускорить очередное перечисление денежных средств для внебюджетного (sic!) финансирования выполняемых Оргкомитетом (имеется в виду РОКП. — *П.П.*) мероприятий, а рабочей группе по вопросам внебюджетного финансирования мероприятий Оргкомитета (координатор — дельфиец Владимир Понявин) ежеквартально представлять в Минатом России отчеты об использовании этих средств. Наличие в составе РОКП столь первостепенных государственных чиновников позволяло скромно надеяться, что поиск этот будет небезуспешным.

Но особенно интересны следующие два пункта: «*Поручить координаторам соответствующих рабочих групп Оргкомитета до 20 января 2001 года определить собственников объектов и нематериальных активов, создаваемых при реализации проектов Перечня и требующих финансирования за счет внебюджетных источников. С целью своевременного включения затрат на проведение мероприятий Оргкомитета в Федеральный бюджет 2002 года рекомендовать заинтересованным министерствам и ведомствам, общественным объединениям представить свои обоснованные предложения до 1 марта 2001 года ответственному секретарю Оргкомитета*».

Чувствуете, какие перспективы открываются! Представители государства и общества (пусть небольшой, но все же явно не худшей его части) поистине едины в желании сколотить своеобразный общак, но, зная друг друга давно, все же беспокоятся о том, чтобы нерадивые чиновники не упустили столь уникальный шанс отстегнуть обоснованного размера средства.

Или другой пример. РОКП глубоко понимает нужды ветеранов и заботится о них. Ему очень по душе опыт создания на базе Московского дома ветеранов Центра социально-реабилитационного и культурного обслуживания ветеранов (инвалидов) войн и военной службы. Поэтому он рекомендует (а с такими председателем и секретарем и впрямь не просят, а по-начальственному рекомендуют!) Минтруду России и органам социальной защиты в субъектах Рос-

сийской Федерации, а также Минобороны России, МВД России, другим министерствам и ведомствам, имеющим в своем составе войсковые формирования, — *«оказывать всемерную помощь в создании и развитии региональных Домов ветеранов (инвалидов) войн и объектов социально-реабилитационного и культурного обслуживания ветеранов»*.

Вместе с тем ясно, что создание или развитие всероссийской региональной сети Домов ветеранов в середине 2000-х годов потребует не только средств, но и времени, так что ветераны формации ВОВ едва ли заедут в их номера. Эти усилия больше смахивают на заботу о ветеранах госслужбы завтрашнего дня, то есть о самих же себе.

На седьмом заседании РОКП была принята одна из программ Международного благотворительного общественного фонда «Победа — 1945 год» (далее ОФП-1945), а конкретно — «Жилищное строительство и реконструкция объектов реабилитации для инвалидов, ветеранов войн и военной службы». РОКП и ОФП-1945 — заказчики и разработчики, а головной исполнитель — Федеральная служба специального строительства РФ. Декларируемые цели и задачи — обеспечение жильем инвалидов, ветеранов войн и военной службы; развитие систем медицинского обслуживания и социально-психологической реабилитации инвалидов, ветеранов войн и военной службы; создание новых рабочих мест для ветеранов войн и военной службы.

Объем финансирования нешуточный — 35 миллиардов рублей из внебюджетных источников финансирования. Ожидаемые конечные результаты реализации — строительство и ввод в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров жилья; строительство 150 объектов здравоохранения и реабилитации; реконструкция и техническое перевооружение 250 объектов здравоохранения и реабилитации; создание новых рабочих мест. Это — основное блюдо, соус же вот какой: *«Государство и общество отдают себе отчет в том, что недостаточное внимание к ветеранам имеет необратимые нравственные последствия. Важно, чтобы все поняли, что помощь ветеранам — не благодеяние, а возвращение долга. Признание долга государством — свидетельство его демократичности. Признание долга обществом — свидетельство его здоровья. Высшая форма поддержки ветерана — это признание государством своего долга по отношению к нему, а обществом — выражение своего уважения, проявляемого всеми без исключения общественными институтами. Работа с ветеранами — высшая форма государственного строительства и самая тонкая сфера общественной жизни»*.

Это, однако, только слова, пустые и красивые. А что на самом деле?

А на самом деле вот что: в 2002 году обнаружилась картотека на 490 000 человек, о которых можно сказать: «награда героя не нашла». Форменное (оно же фирменное) безобразие, стоящее за этим печальным фактом, было настолько возмутительным, что РОКП экстренно создал межведомственную рабочую группу по поиску и вручению государственных наград участникам ВОВ и попросил на это у Национального военного фонда России 4,2 миллиона рублей (крайней датой завершения вручения ранее не врученных государственных наград называлось 1 марта 2005 года).

Засекреченный спурт

На четырнадцатом заседании «Информационное агентство ИМА-Пресс» утвердили основным разработчиком периодического электронного интернет-издания «Победа-60». Оно выходит с конца 2003 года, и с приветствием к его читателям обратился сам председатель РОКП Владимир Путин[12].

Одновременно с этим, начиная с пятнадцатого заседания, состоявшегося 24 февраля 2004 года, никакие решения или иные рабочие документы РОКП в сети более не публиковались[13].

Собственно, и сайта РОКП как такового больше не существует — все ушли в «Победу—60». На его сайте остался чистый официоз. Если на старом сайте были телефоны и электронные адреса самого РОКП, то на новом — только ИМА-Пресс. Попытки вступить в электронную переписку с представителями РОКП ни малейшего успеха не имели. Неужели по мере приближения 60-летия деятельность РОКП засекретили?

Впрочем, и на сайте «Победа-60» можно ознакомиться с программными документами, а именно с «Перечнем основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» (утвержден президентом РФ Владимиром Путиным, Москва, 28 августа 2003 года), а также с «Программой подготовки и празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» (утверждена решением Совета глав государств

[12] См.: www.pobeda-60.ru/main.php?trid=3062.

[13] Предложение посмотреть репортаж о пятнадцатом заседании — недоразумение или дефект: веб-страница раскрывается на все том же, последнем в 2003 году и в сети, четырнадцатом заседании.

Содружества Независимых Государств от 19 сентября 2003 года). При этом второй документ производит куда более серьезное и осмысленное впечатление, есть в нем — правда, единственное — упоминание и проблемы военнопленных. В частности, в нем записано: «*Продолжить работу по согласованию норм национальных законодательств, устанавливающих и обеспечивающих правовые основы социально-экономической политики в отношении инвалидов и ветеранов войны, тружеников тыла, семей погибших (умерших) военнослужащих, а также бывших военнопленных, незаконно репрессированных и членов их семей*».

Есть на сайте, в обзоре прессы, даже отчет о семнадцатом заседании РОКП без указания даты его проведения[14]. На нем обсуждались информационное обеспечение подготовки к юбилею, работа правительства Москвы накануне 60-летия Победы, участие в праздновании религиозных конфессий России, а также концепция парада на Красной площади 9 мая 2005 года[15].

Заместитель председателя правительства РФ Александр Жуков доложил РОКП о решениях, принятых 16 декабря на заседании кабинета министров. Он заявил, что в федеральном бюджете заложено достаточно средств, чтобы встретить юбилей на должном уровне и чтобы обеспечить достойную жизнь пожилым льготникам. Лучше бы он этого не говорил. Ибо на самом деле все не так.

Год Победы начался для ветеранов ВОВ с монетизации льгот — ощутимого удара по их тощим кошелькам. Так цинично привечать былых победителей могут только российские власти. За эти льготы ими было заплачено кровью. А действия правительства зело напоминали действия маршала Жукова у Зееловских высот 60 лет тому назад — за лобовое прогрызание эшелонированной в семь слоев обороны противника и опережение маршала Конева на пути к рейхстагу было заплачено сотнями тысяч солдатских жизней. Неудивительно, что большинство российских ветеранов ВОВ в январе вышли на демонстрации протеста.

Общероссийское же правительство радует ветеранов только 1—6-миллиардными обещаниями единовременных выплат инвалидам и участникам войны, вдовам и семьям погибших, но в особенности горячо — своими невероятными успехами в «*разработке норма-*

[14] См.: www.pobeda-60.ru/main.php?trid=5509. Если заседание состоялось в 2004 году, то это означает, что в 2004 году РОКП собирался не четырежды, как обычно, а трижды, а если в 2005 году — то дважды.

[15] Его сценарий, правда, был одобрен еще на шестнадцатом заседании РОКП 10.09.2004 (см.: www.pobeda-60.ru/main.php?trid=5460).

тивно-правовой базы улучшении социального положения этих пожилых людей». Кроме того, щедрой рукой финансируются установка квартирных телефонов и 50-процентная скидка на абонентскую плату, из чего вытекает горькая правда о том, что и спустя 60 лет государство наше мирится с тем, что часть ветеранов живет и умирает без телефона[16].

Но еще более макаберно прозвучало «позитивное» сообщение Сергея Иванова о том, что Минобороны уже вручило аж около 3500 ранее не врученных орденов и медалей. Со странной гордостью он заявил: «*Недавно мы нашли ресурсы — в основном моральные, потому что финансирования практически нет никакого, — и отыскали большую группу ветеранов, которым в январе 2005 года награды вручит сам Президент*»[17]. Странно, но непосредственно на заседании правительства 16 декабря 2004 года тот же Сергей Иванов называл совершенно другие цифры: тогда он сообщил, что начиная с 1999 года вручено около 90 000 таких наград и еще более 68 000 наградных документов передано семьям. Неврученными же остались около 1,5 миллиона наград, из них лишь 180 000 были заслужены в послевоенный период. А теперь сравним эти цифры еще и с третьими, уже называвшимися выше и на двенадцатом заседании РОКП в конце 2002 года: без наград — 490 000 героев, намечавшееся на их поиск и вручение финансирование — 4,2 миллиона рублей (к слову, и истекшее уже 1 марта 2005 года называлось тогда как крайняя дата завершения этого нескончаемого позорного процесса).

Не так уж и важно, какая из цифр верная. Какою бы она ни была, не меняется суть дела. А суть — в реальном, а не голословно-отчетном отношении к рядовым бойцам, фронтовикам и ветеранам Красной армии. Интересно, есть ли среди этих не нашедших героя наград хоть одна, не дошедшая до генерала или маршала?

И так во всем. Палочно-принудительный патриотизм главпуровского изготовления представляется бесперспективным даже министру культуры и массовых коммуникаций Александру Соколову: «*Молодежная политика начинается с вопросов молодых людей, которые они задают сами себе. Вопросы эти не высокоинтеллектуального плана, а такие: как живут родители, какова пенсия бабушки или дедушки, где я буду работать после института? Вот когда на эти вопросы можно будет получить адекватные ответы — вот это и станет зерном патриотического воспитания. Все то, что называ-*

[16] На общефедеральном фоне выигрышно смотрится столица. Валерий Шанцев с гордостью сообщил, что московские ветераны пока практически ничего не проиграли от монетизации льгот: им их Лужков сохранил.

[17] См.: www.pobeda-60.ru/main.php?trid=5460.

лось патриотическим воспитанием 20 лет назад, — сейчас не проходит, дает только обратный эффект»[18].

Но ничего другого, кроме *«патриотического воспитания, как 20 лет назад»*, идеологические недра Главпура ни родить, ни предложить не умеют и не сумеют. Это лишний раз доказывает история с полусиловым «выигрышем» Минобороны лакомой 57-й частоты под министерский телеканал «Звезда» с правом вещания на Москву и Московскую область (его пробные передачи начались, кажется, в конце февраля). По мнению чиновника N. из Минкульта, концепция канала — это «монополия на патриотизм» à la Glavpour, сопровождаемая неистребимым организационно-финансовым хаосом[19].

Единственный вариант, который подошел бы Главпуру, — это жанр и режим «естественной монополии», когда ни на идеологию, ни на историю, ни даже на источники к изучению истории никто, кроме них, не вправе покуситься. Так было всегда при советской власти, немножечко не так было при Ельцине, и все увидели, насколько это «нехорошо».

То ли дело было при генерале армии Алексее Епишеве, возглавлявшем Главпур 23 года — от Хрущева и до Горбачева! Взял и запретил военнослужащим выписывать «Новый мир» Александра Твардовского![20]

Postscriptum

...И вот юбилей позади, и ничто, с точки зрения российских властей, не могло его испортить и не испортило. Закрапавший было дождь заставил президентскую чету взять в руки сановные зонтики, но и этот антироссийский выпад был вскорости отражен — демонстрацию облаков над Кремлем быстро рассеяли. Худшие из наших ожиданий стали реальностью.

От абсолютного впечатления советскости происходящего не могли избавить ни штатский костюм военного министра, ни зака-

[18] www.pobeda-60.ru/main.php?trid=5460.

[19] О предыстории и истории «победы» телеканала «Звезда» на тендере за частоту и о том, как этой победой распоряжаются, см. в: *Бородина А., Сафронов И., Лантратов К.* Рыцарь плаща и канала // Коммерсант. 2005. 27 января. С. 2.

[20] См.: *Сулла А.* Генерал Епишев: на партийно-политическом Олимпе / Предисл. и пер. с англ. А.В. Фролова // Военно-исторический журнал. 1993. № 3. С. 62—70; № 4. С. 63—71.

муфлированный синим цветом мавзолей, ни триколорный авиапарафраз а-ля рюсс из пролета французских истребителей над Триумфальной аркой.

Война, товарищи, это война и ничего, кроме войны. Кульминацией этого стали старенькие, с иголочки, ветераны, рассаженные по стареньким, с иголочки, грузовикам, представлявшие фронты периода Великой Отечественной. Места и мысли (не грузовиков же!) не хватило не только на смертников из евреев и цыган, не только на прочих концлагерников, не только на военнопленных (организованных, как известно, не по фронтам, а по шталагам), не только на тыловиков, но и на партизан и даже на павших героев.

Заведомо неполные цифры потерь — в 8,7 миллионов безвозвратных и в 27 миллионов общегражданских — отныне деприватизировали и забетонировали: «Ну-ка, грядущие копалы-историки, валяйте, ломайте себе зубы о свои истины. А нам все равно, у нас теперь другие дела» — так, примерно, прозвучал кремлевский месседж.

Это «нам все равно», собственно, и стало ответом нынешней власти на казавшееся пусть и неравным, но, по крайней мере, реальным противостояние главпуровской и гуманитарной версий осмысления славно-бесславного военного прошлого и, соответственно, проведения юбилея. Российская государственность с ее советским гимном сделала свой выбор в пользу все более и более социально близкого концепта, но и зажимать оппонентов не стала. А зачем? Она именно тем и «победила», что не заметила!

Отдельные «перестрелки» если и были слышны, то в глубоком тылу сознания и телевидения — всякие там дискуссии о потерях у Познера, публикации дневников военнопленных в «Известиях», книжки о другой войне и о человеке на обочине той войны в «Новом издательстве», издательствах РОССПЭН и «Гешарим», в тех же «Известиях». Да еще выставка «Невольники Третьего Рейха», на открытии которой припертые вопросами журналистов и военнопленных Починок и Лукин вынуждены были, первый, лукавить, говоря, что военнопленным, как инвалидам по возрасту, полагается куча чести и кучка денег по президентскому указу № 362, а второй — и вовсе извиниться перед военнопленными — от имени своего ведомства по правам человека, по крайней мере. На экраны же телевизоров небоевые страдания советского народа, кажется, так и не пробились.

С днем победы тебя, Главпур!

Георгий Рамазашвили

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ИСТОРИЮ ЗАЧИЩАТЬ

ЦАМО РФ в преддверии 60-летия Победы

В этом году наша страна отмечает 60-летие победы над фашизмом, оплаченной жизнями миллионов наших соотечественников. Многие из них покоятся в братских могилах; многие так и не нашли последнего упокоения. В семьях, как правило, не знают подробностей того, как воевали и погибали их родственники. С уходом ровесников войны большинство имен уйдет в небытие. Государство, оказавшееся не способным предать земле тела своих погибших защитников, имело возможность, вернув в семьи память о павших, искупить это преступление. Для этого требовалось открыть военные архивы и снять гриф секретности с документов 1941—1945 годов. Страна, не знавшая пощады к своим живым гражданам, проявила столь же циничное бессердечие к павшим. Более того, даже в начале XXI века, когда предусмотренный Законом «О государственной тайне» 30-летний срок секретности превратился в ничего не значащую вывеску, хлопающую на ветру демократических преобразований, ведомственные архивы Министерства обороны удерживают многие миллионы документов военного времени в режиме нерушимой секретности. Архивисты, по сей день видящие в исследователях идеологических врагов, ведут необъявленную, но оттого не менее эффективную войну против военной истории, парализуя исследовательскую работу холодным оружием запретов.

После того как ведомственные архивисты «зачистили» военную историю, расставив на всех тематических перекрестках блокпосты секретности, в обществе преобладает пренебрежение к своим предкам. Семейные фотоальбомы выбрасывают на помойку. Метрополитен, использовавшийся во время войны в качестве бомбоубежища, обклеен объявлениями о скупке военных наград. Книжные прилавки заполнены мемуарами нацистских лидеров и популярными монографиями о вермахте. Всевозможные истории германских

специальных (преимущественно карательных) служб выдерживают по нескольку переизданий.

В это самое время в Центральном архиве Министерства обороны исследователи регулярно слышат: «Не рассекречено! Выдать не можем!»

Недостоверная история

Ведомственные архивисты полагают, что, скрывая от исследователей информацию, они борются с «клеветническими измышлениями» и «очернительством». Такое самооправдание не выдерживает никакой критики. Ни клеветникам, ни очернителям не требуются факты. Чем меньше достоверных сведений, тем проще фальсификаторам создавать ложные интерпретации истории. Это аксиома. В действительности же если одержимые секретностью архивисты кого и побеждают, то не псевдоученых, а научный подход к военной истории. В ситуации, когда на открытом хранении, и то с большим количеством исключений, находятся материалы не выше фронтового уровня, научно-справочный аппарат становится атрибутом необязательным. Вместо научных исследований наше общество получает псевдонаучные, лишенные фактов компиляции, по степени недостоверности мало чем отличающиеся от художественной фантастики. Состояние архивного дела в Министерстве обороны можно безошибочно диагностировать по информационной насыщенности новых исследований, появляющихся на книжных прилавках. Если в научный оборот практически не поступают новые архивные материалы, а большинство авторов занимается примитивным плагиатом, то можно уверенно сказать, что архив заражен опасным вирусом немотивированной секретности.

Великолепным примером пагубных последствий того, что документация военного времени до сих пор находится в ведении Министерства обороны, служит именно дефицит содержательных исследований.

Книг, в справочном аппарате которых преобладают ссылки на фонды РГВА (Российского государственного военного архива), не подчиняющегося Министерству обороны, несравнимо больше, чем книг, основанных на документации ведомственного ЦАМО. Причем даже в тех редких случаях, когда авторы ссылаются на фонды ЦАМО, они умудряются давать ложные ссылки, так как боятся, что архивисты в отместку откажутся повторно выдавать им цитируемые дела после выхода публикации.

Как анекдот можно рассказывать о том, что в книге маршала авиации Николая Скрипко «По целям ближним и дальним» при описании бомбардировочных налетов июня 1941 года автор дал ссылку на фонд полевого управления Сталинградского фронта. Одновременно при публикации было искажено несколько ссылок — вместо того, чтобы указать, что использованы материалы из Архива Генштаба Минобороны, военные цензоры в издательстве приписали эти цитаты документальным источникам ЦАМО.

Исследования, подготовленные к изданию на слабом научном уровне, лишенные справочного аппарата или же содержащие большое количество ложных сносок, делают историю описываемых событий недостоверной. В конечном итоге недостоверной становится и вся история Великой Отечественной войны. История наших предков. За косность и недальновидность ведомственных архивистов общество расплачивается слишком дорогой ценой.

Ведомственные архивисты не в ладах не только с почерпнутой информацией, но и с фотографическими документами, которые также являются свидетельствами военных событий. По необъяснимой причине ЦАМО не признает ни сканера, ни цифровых фотоаппаратов, с помощью которых можно было бы производить качественные фотокопии. Пресловутое недофинансирование тут ни при чем. При читальном зале вплоть до января 2005 года, нарушая не только законы, но и российскую Конституцию, работал сотрудник, который подвергал цензуре выписки из несекретных материалов. Даже если предположить, что цензору все эти годы платили всего лишь по 1000 рублей в месяц (цифра заведомо заниженная!), то, например, за пять лет самозабвенного нарушения российского законодательства цензору было заплачено 60 000 рублей. Этих денег хватило бы на то, чтобы купить сканер и компьютер, снабженный устройством, позволяющим записывать оцифрованное изображение на компакт-диски. Для стремящихся к благополучию архивов качественное копирование документов является важной статьей доходов. Но ЦАМО предпочитает по старинке производить, зачастую нарушая установленные сроки заказов, среднего качества фотокопии. Руководство ЦАМО не могло не знать, что покупка сканера очень быстро окупится и начнет приносить прибыль, но финансовое обеспечение цензора оказывалось важнее того, чтобы в книгах и журналах воспроизводились качественные фотоснимки. Что означает использование некачественной фотокопии? Потерю визуальной информации — особенно на снимках с мелкой детализацией.

Можно с уверенностью утверждать, что ведомственные архивисты относятся к фотографиям как к непозволительно убедительному визуально-информационному источнику. Качественный снимок содержит информацию, в достоверности которой невозможно усомниться. Фальсифицировать реальность фотографу значительно сложнее, чем начальнику штаба, составляющему боевое донесение. В изучении снимка исследователю не нужен посредник-штабист. Именно поэтому комиссия Министерства обороны, проводившая рассекречивание хранящихся в РГВА документов советско-финской войны, оставила на секретном хранении материалы аэрофотосъемки.

В годы войны гвардии майор в отставке Самуил Крылов летал в дальнебомбардировочных экипажах фотографом, снимая результаты бомбардировок. По прошествии почти 60 лет ветеран хотел сверить свои воспоминания с документами, уточнить даты и подробности. Работая над книгой воспоминаний «Записки ночного фотографа», он ездил в Центральный архив Министерства обороны. Крылов просил архивистов выдать ему документы Центрального управления Авиации дальнего действия; его интересовали аэрофотоснимки. Этих документов он не получил, хотя некоторые из снимков были сделаны им самим во время боевых вылетов. По логике архивистов Министерства обороны, фотографировать, рискуя жизнью, цель Крылов был обязан, а посмотреть на эти снимки и, возможно, заказать их фотокопии спустя 60 лет он права не имеет.

Заложники предрассудков

За многие годы работы руководители ЦАМО так и не смогли понять, что даже для осуществления запретительной политики нужны сотрудники с высоким образовательным цензом. Ставка на малоквалифицированные кадры, набранные зачастую по родственному принципу, привела к тому, что у архива нет научных консультантов, а уровень специальных профильных знаний инструктора и цензора читального зала настолько низок, что они лишь провоцировали бессмысленные скандалы, создавая архиву одиозную репутацию. Читальный зал, сотрудницы которого обращались друг к другу по отчествам, а посреди рабочего дня лузгали семечки и распевали: «Зачем ты в наш колхоз приехал?», напоминал сельский клуб. Руководство ЦАМО стало прививать архивистам хорошие манеры лишь после того, как в прессе появилось несколько нели-

цеприятных статей. Отрадно, что в 2005 году атмосфера в читальном зале заметно изменилась в лучшую сторону, и сотрудницы ведут себя демонстративно вежливо.

То, что архивисты не знают федерального архивного законодательства, для исследователей не новость. Удивительнее то, что архивисты, как правило, ничего не смыслят и в военной истории.

Приведу красноречивый пример. В мае 1942 года с боевого задания не вернулся бомбардировщик, пилотируемый Владимиром Тереховым. В октябре с оккупированной территории удалось вернуться в свою часть стрелку-радисту Константину Шашкину, а вскоре он был препровожден в НКВД. Соответствующую выписку из рассекреченного дела в моей тетради обнаружила цензор Усенко. В жизни цензора всегда было место подвигу, и она вымарала эту запись. У цензора Даниловны нашлось объяснение: «А может, это негативный факт его биографии, что он был в НКВД! Это тайна его личной жизни!»

Вместо того чтобы петь с другими сотрудницами читального зала песни о том, как «по деревне ходит парень возле дома моего», цензору не мешало бы почитать архивные документы. Те самые, которые она охраняла от дотошных исследователей.

Быть может, тогда она и узнала бы, что еще в декабре 1941 года вышел приказ Государственного комитета обороны, в соответствии с которым военнослужащие-окруженцы, сумевшие вернуться с оккупированной территории, должны были направляться в спецлагеря НКВД. Продолжить службу в войсковых частях они могли только после прохождения фильтрации.

Для того чтобы архив не позорился, а в читальном зале работали люди, обладающие не только отчеством, но и именем, руководству Архивной службы Вооруженных сил следует подвергать сотрудников ЦАМО принудительной фильтрации, в ходе которой проверять их образовательный уровень и профпригодность.

По мнению архивистов, бойцы и командиры РККА скомпрометированы тем, что попали в плен, проходили спецпроверку в НКВД или же служили в штрафбате. Эту информацию они противозаконно относят к «личной тайне» и «компрометирующим сведениям». Известно ли архивистам, что военнопленными в разное время были Черчилль, Тухачевский, Яков Джугашвили? Известно ли им, что бойцы штрафных батальонов искупали свою вину в кровопролитных боях? Почему же сведения об этом должны быть закрыты?

Уже не первый год по телевизору к майским праздникам или же очередной годовщине начала Великой Отечественной войны по-

казывают многосерийный телефильм «Неизвестная война», закадровый текст к которому читает Олег Табаков. В одной из серий сценаристы озвучили крайне сомнительную мысль: ужасный Сталин создал армию, в которой люди сотнями шли в штрафные части только за то, что не понравились лицом своим командирам. Не берусь судить о наземных частях, но все известные мне по авиационным полкам случаи говорят о другом: если не считать того, что могло быть сочтено антисоветской пропагандой, штрафниками оказывались те, кто совершил серьезные проступки — украл личные вещи погибшего товарища; в пьяной драке ударил однополчанина ножом; недобросовестно подготовил технику, что привело, например, к гибели сослуживцев. В отличие от сценаристов этого телефильма, я не берусь утверждать, что тысячи людей становились штрафниками по физиогномическим признакам, хотя и работал с военными документами.

В этой связи примечательно, что трибунальная картотека, по существу, недоступна исследователям, хотя заведомо понятно, что в трибунальную картотеку стали бы обращаться именно те, у кого уже есть сведения о том, что интересующий исследователя человек был осужден военным трибуналом. Стало быть, в трибунальной картотеке исследователь смог бы получить более точные сведения и избежать противопоказанных историческому исследованию домыслов.

Кстати, подробности трибунальных дел шестидесятилетней давности известны обществу едва ли не в меньшей степени, чем трибунальных дел последних двадцати лет. Сейчас даже из телевизионных передач можно узнать имена служащих дисбата и даже номера статей, по которым они были осуждены. Сложно не заподозрить в лицемерии Министерство обороны, разглашающее подробности современных нам судимостей военнослужащих, но скрывающее документацию военной прокуратуры 1941—1945 годов.

Преданные забвению

Историки, занимающиеся биографическими исследованиями, нуждаются в доступе к офицерским делам. В этих учетных документах собраны сведения, отражающие прохождение воинской службы. Отсутствие офицерского дела или же его недоступность вынуждают исследователей месяцами собирать в разных источниках все то, что должно быть сконцентрировано в персональном деле.

Архивисты утверждают, что предоставят исследователю офицерское дело при наличии нотариальной доверенности, составленной ветераном либо его прямым наследником. При наличии доверенности все документы, за исключением содержащих «личную тайну», будут исследователю предоставлены. Исследователь спешит за нотариальной доверенностью, но тут выясняется, что архивисты не имеют ни малейшего представления о том, что отнесено законодательством к понятию «личной тайны». Незнание законодательства позволяет архивистам расширительно интерпретировать этот термин, относя к личной тайне решительно все, что им вздумается. Например, служебные аттестации, должностные характеристики и даже выпускные оценки — то есть все то, что к личной тайне не относится ни при каких условиях. Хотя, согласно российскому законодательству, только данные об усыновлении, медицинское заключение о состоянии здоровья, реквизиты банковского вклада и информация об интимной жизни составляют так называемую «личную тайну», не подозревающие об этом архивисты относят к личной тайне, например, тройку, полученную в 1937 году курсантом имярек по истории ВКП(б).

Архивисты сообщили мне, что в ЦАМО нет личного дела лейтенанта Ивакина. Для того чтобы компенсировать его отсутствие, мне пришлось проверить в другом архиве более 80 дел, разыскивая сведения, необходимые для написания биографической справки. Поскольку этот человек погиб в звании лейтенанта, мне были известны наименования военных учебных заведений и частей, в которых он служил с момента призыва.

Сохранилось ли в действительности офицерское дело лейтенанта Ивакина, на данный момент проверить невозможно, поскольку в ЦАМО утверждают, что архив не располагает личными делами офицеров, не дослужившихся до звания старшего лейтенанта. В это крайне сложно поверить, поскольку любые офицерские дела должны были поступать в архив.

У меня была возможность убедиться в том, что устные ответы архивистов не всегда содержат достоверную информацию. Инструктор читального зала уверяла исследователей в том, что архив не располагает личными делами офицеров, завершивших службу в РККА до начала Великой Отечественной войны. К моему изумлению, когда я обратился с запросом в РГВА, где хранится военная документация предвоенного периода, мне письменно сообщили, что офицерские дела военнослужащих, уволенных из РККА до 1941 года, находятся в ЦАМО. И лишь в 2004 году начальник ЦАМО полковник Чувашин подтвердил в ответе на мое письмо,

что возглавляемый им архив располагает некоторым количеством тех самых офицерских дел, наличие которых отрицала инструктор читального зала.

Проверить слова архивистов практически невозможно, поскольку в ЦАМО нет ни путеводителя, ни перечня фондов. Такая же участь постигла и офицерские дела — нет ни печатного, ни компьютерного каталога этих дел.

Но если на офицеров сохранились личные дела и послужные карты, то изучать службу, например, сержантского состава куда сложнее. Выяснить последовательность службы в РККА младшего начальствующего состава удается очень редко, поскольку не сохранилось учетных документов. Остались лишь наградные и похоронные карточки, составленные зачастую настолько халтурно, что они не содержат даже того минимума информации, который должен быть указан при заполнении типографских граф. А учетно-послужные и красноармейские карты были уничтожены Министерством обороны в 1953 году. Безвозвратно пропала информация о сотнях тысяч военнослужащих, не дослужившихся до офицерского звания. Компенсировать это практически невозможно. И теперь архивисты ведомства, предавшего вечному забвению этих людей (наших отцов и дедов), создают бесконечные препятствия тем исследователям, которые, не имея ни малейшей поддержки со стороны государства, пытаются вернуть обществу память хотя бы о нескольких погибших.

Но это еще полбеды. Архивисты научились скрывать офицерское дело даже от того офицера, на которого это дело было заведено. Такой произвол не имеет уже никакого юридического обоснования, и архивисты договариваются до того, что охраняют «личную тайну третьего лица, составившего должностную аттестацию». С простонародной прямотой выдавая свои подлинные мотивы, ведомственные архивисты демонстрируют абсолютное невежество. Им попросту неизвестно, что, согласно действовавшему в РККА порядку, составленную аттестацию объявляли аттестуемому. Как свидетельствуют документы, офицер «в случае несогласия с объявленной ему аттестацией, имеет право обжаловать ее в 3-дневный срок [...]. Жалоба подается в письменном виде на имя Председателя аттестационной комиссии и в копии — непосредственному начальнику».

Может ли архивист, если он считает себя законопослушным, отказывать ветерану войны в праве ознакомиться с его собственным офицерским делом? Выясняется, что для ведомственных архивистов это является повседневной нормой. Вот уже много лет

мой знакомый ветеран не может добиться доступа к своему офицерскому делу. Несколько раз он приезжал в Подольск, тратя на дорогу в один конец не менее полутора часов, но дело ему не выдавали. Будем откровенны. Отказывая ветерану, архивисты надеются на то, что он не станет отстаивать своих прав, а даже если он попытается обжаловать их произвол, архив переживет старика. Такова мораль ведомства, готовящегося отмечать в 2005 году 60-летие Победы.

«Правопреемники» вермахта

Многие годы ведомственные архивисты изумляли исследователей своими выходками. Как известно, в советском плену было организовано антифашистское движение, получившее название «Свободная Германия». Активистами «Freies Deutschland» были подписаны многие пропагандистские воззвания, которые далее забрасывались в расположение вражеских войск. Имена участников движения известны по листовкам, радиообращениям, опубликованным мемуарам и исследованиям. В Красногорске существует Музей немецких антифашистов. Во всех архивах на территории Советского Союза советские пропагандистские листовки на немецком и русском языках находятся в открытом доступе. Повсюду, кроме ЦАМО. В 2000 году цензор Даниловна вырезала из моей тетради цитату из советской листовки на немецком языке, которую в 1942 году разбрасывали бомбардировщики над оккупированной территорией. Злобная антисоветская диверсия была вовремя предотвращена пламенным патриотом и отважным цензором. Удивительная смекалка, умение отличать классового врага, ловко притаившегося под личиной исследователя, сделали просто Даниловну опытным бойцом архивного фронта. Вплоть до отмены цензурирования рассекреченных материалов в декабре 2005 года, она бдительно следила за тем, чтобы исследователи не выписывали имен плененных или убитых солдат противника.

Нет никакого законного основания и для засекречивания допросов военнопленных, однако документы эти исследователям не выдаются. Зря. Приведу интересный пример. В ноябре 1942 года в советский плен попал немецкий летчик-ас Франц-Йозеф Беренброк из состава 51-й истребительной эскадры. Его мать была русской, и сам Беренброк родился в России. К моменту пленения он сбил 117 самолетов и был награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями. В ходе допроса Беренброк рассказал, что уровень

подготовки советских летчиков, участвовавших в воздушных сражениях в первые месяцы войны, был выше, чем уровень пришедших им на смену. Казалось бы, такой отзыв противника должен опровергать распространенное заблуждение, будто советские пилоты научились воевать лишь к концу войны, но это свидетельство, подобно многим другим, надежно сокрыто от исследователей сотрудниками ЦАМО. Копия показаний плененного Беренброка, ставшего одним из основателей «Союза немецких офицеров», попала мне в руки случайно — на обложке дела не было указано, что оно содержит текст допроса.

Между тем это интереснейшее свидетельство того, что, вопреки распространенным заблуждениям, советские ВВС могли в первые месяцы войны достойно сражаться с противником. Для ветеранов это не новость, но знают ли сегодняшние студенты, что в 1941—1942 годах удар вермахта пришелся по кадровой армии, уровень подготовки которой был выше, чем у многочисленных частей, формировавшихся в дальнейшем из наспех обученного по укороченной программе молодняка?

В ЦАМО трофейную документацию германского вермахта держат на секретном хранении, что является юридической несуразностью, так как документы вермахта можно было бы утаивать от исследователей только в том случае, если бы Министерство обороны РФ было правопреемником вермахта. Даже если предположить, что кто-то из военных архивистов спятил и вообразил себя правопреемником вермахта (остроумнее было бы сразу назваться Наполеоном), в российском законодательстве нет никакого обоснования засекречиванию трофейных материалов. Ни в Законе о государственной тайне, ни в «Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденном указом президента РФ № 1203 в 1995 году, ни слова не сказано о том, что трофейная документация вермахта может быть отнесена к секретной.

Над этим вывертом сознания можно смеяться, но допускаемый архивистами произвол, как и во всех других случаях, сказывается на изучении войны. Последовательно скрывая протоколы допросов военнопленных и трофейную документацию вермахта, архивисты переводят военную историю в категорию народных сказаний. Противник деперсонифицирован; он не имеет лица; он лишен количественных, социодемографических и тактико-технических характеристик. Он лишен идеологии. И если противника невозможно описать с помощью документов, то он имеет отношения к реальности не больше, чем марсианин из научно-фантастических

фильмов. С кем с 1941 по 1945 год воевала РККА, становится абсолютно непонятно. И воевала ли с кем-либо вообще?

При участии моего германского коллеги Себастьяна Ремуса мне удалось, сопоставляя советские и германские архивные документы, идентифицировать считавшуюся прежде безымянной могилу дальнебомбардировочного экипажа в южном пригороде Витебска Лучесе. Брат стрелка-радиста Василия Шумейко и племянники воздушного стрелка Григория Коляды узнали, при каких обстоятельствах в ночь на 29 апреля 1942 года погибли, выполняя боевое задание, их близкие родственники. Одним из документов, которые я использовал при идентификации могилы, была трофейная учетная карточка попавшего в германский плен капитана Сахно — именно в состав его экипажа входили Шумейко и Коляда. Меня интересовали место и дата пленения, поскольку в донесении германских зенитчиков было указано, что из подбитого самолета выпрыгнул один член экипажа, а трое других разбились. Именно выписку из учетной карты плененного капитана Сахно в четыре руки вымарали из моей тетради инструктор читального зала В.О. Попова и цензор Даниловна.

Хотя принципиально повлиять на изучение этого случая архивисты уже не смогли, но одной документальной ссылки они меня лишили, делая мою статью, опубликованную в витебской газете, чуть менее достоверной. Но сколько еще тайн можно было бы разгадать; сколько пропавших без вести разыскать, если бы трофейные материалы до сих пор не находились в ЦАМО на секретном хранении!

Парадоксальным образом руководство архива, скрывая трофейный фонд от исследователей, умудряется публиковать собранные в нем документы. У этого фонда есть индивидуальный номер: 500. Ссылками на него пестрит двухтомник «Битва под Москвой», выпущенный издательством «Олма-Пресс» в 2002 году. Ситуация, достойная рассмотрения в программе «Очевидное — невероятное»: документы, находящиеся на секретном хранении, щедро цитируются в книге, изданной тиражом 3000 экземпляров. Поскольку начальник ЦАМО полковник Чувашин назван издателями двухтомника консультантом, становится понятным, что трофейные материалы удерживаются на секретном хранении ради права первой публикации. Документы, которые недоступны исследователям, перестают быть секретными, когда в обмен на их публикацию начальник архива получает от крупного издательства статус научного консультанта.

Более того, в этом же двухтомнике щедро воспроизводятся документы из других фондов, которые исследователям без формы допуска недоступны. Их легко отличить по букве «а», добавляемой к номеру фонда: по этим ссылкам можно понять, что в фондах 48а и 96а хранятся документы, подписанные заместителем начальника Генштаба, а в фонде 132а собраны приказы Ставки. Быть может, опубликованные в книге документы переведены на открытое хранение? Ничего подобного. Руководство ЦАМО и издательство «Олма-Пресс» создали ситуацию юридического абсурда: документы опубликованы, но находятся на секретном хранении. Почему бы теперь двухтомник «Битва под Москвой» не продавать с пометкой «Приобретение книги разрешается только по предъявлении формы допуска»?

Политически сознательный подход

Хотя федеральное архивное законодательство не предоставляет ведомственным архивистам возможности беспрепятственно ограничивать исследовательскую работу, те подменяют закон такими субъективными основаниями, как, например, «моральное право». Был случай, когда исследователь хотел узнать, за что его отец получил звание Героя Советского Союза. Прежде чем дать исследователю ответ, архивисты узнали из офицерского дела, что летчик, сбив немецкого пилота, устроил с ним братание. В одной из характеристик было написано о том, что он будто бы потребовал после этого присвоить ему звание Героя.

«Вы понимаете, что я не мог сообщить такие сведения сыну этого ветерана?! Не буду же я сообщать, что он устроил братание со сбитым немецким пилотом!» — объяснял мне начальник читального зала подполковник Пермяков, который, как мне представляется, излишне негативно оценил событийный контекст этого эпизода. Чтобы не быть голословным, напомню, что в пропагандистских материалах военного времени подчеркивалось, что наша страна воюет не против немецкого народа, а против людоедского гитлеровского режима. Напрямую это было продекларировано, например, в приказе № 55 Наркома обороны Иосифа Сталина от 23 февраля 1942 года: «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается. [...] Иногда в иностранной печати болтают, что советские люди ненавидят немцев, именно как немцев, что Красная армия уничтожает немецких солдат, именно как немцев, из-за ненавис-

ти ко всему немецкому, что поэтому Красная армия не берет в плен немецких солдат. [...] Красная армия свободна от чувства расовой ненависти. Она свободна от такого унизительного чувства, потому что она воспитана в духе расового равноправия и уважения к правам других народов». Наиболее вероятно, что наш летчик усвоил эту нехитрую истину. Когда он сбил вражеского пилота, могло выясниться, что противник по социальному происхождению из рабочих. «Так ты из рабочих? Что же ты на классовых братьев полез?! Гитлер капут! Повернем наше оружие против общего врага!» — вот что мог сказать наш пилот.

В том, что пилот якобы потребовал присвоить ему звание Героя, тоже нет ничего крамольного. Не секрет, что командование зачастую не скрывало от офицерского состава, кого и к какой награде оно представляет. Могло случиться, что сменилось командование, а представление к наградам еще не было реализовано. Пилот подошел к новому командиру, чтобы узнать, не слышно ли о предстоящем награждении, а тот решил, по субъективным причинам, вписать ему в характеристику, что пилот требовал себе Звезду Героя. Это всего лишь моя версия, но она позволяет интерпретировать этот случай без негативной оценки.

Одним из источников информации являются наградные листы, содержащие описание боевых эпизодов. Чиновники Главного управления кадров (ГУК) МО РФ едва ли даже отдавали себе отчет в том, что, запрещая внутренней директивой знакомить архивных исследователей с нереализованными представлениями к наградам, они практически не добиваются той цели, которую этим ограничением преследуют. Наверное, в ряде случаев старики, которые могли узнать, что они были представлены к награде, так ни о чем и не узнают, поскольку к архивным фондам, содержащим эти нереализованные представления, архивные чиновники, с подачи ГУКа, их не подпустят. Но останутся миллионы наградных листов, формально реализованных и потому находящихся в открытом доступе, но, что самое интересное, во множестве случаев именно эти наградные листы утверждали награждение совсем не теми наградами, к которым участников войны первоначально представляли. Например, первоначально человек представлялся к званию Героя Советского Союза, а получил орден Отечественной войны или же представлялся к ордену Красной Звезды, а был удостоен по этому же представлению медали «За отвагу» — и все лишь потому, что вышестоящее командование решило подкорректировать итоговую резолюцию и присудило ему другую награду. По всем признакам эти реализованные представления содержат ту самую информацию, которую ГУК,

если верить сотрудникам ЦАМО, пытается скрыть, вводя никакими нормативными актами не обоснованные ограничения.

Получается, что ГУК, даже ограничив доступ к ряду наградных документов, не сумел полностью закрыть кажущуюся ему крамольной информацию, но успешно испортил многим историкам исследовательскую работу. В любых представлениях — и реализованных, и нереализованных — содержится описание боевых эпизодов, которыми историки преимущественно и интересуются.

А чем занимается 1-й отдел?

Как повелось еще с советских времен, 1-й отдел связан с государственной безопасностью и следит за тем, как учреждение соблюдает режим секретности. Именно 1-е отделы подводили под монастырь российских ученых, которых ФСБ обвиняло в разглашении государственной тайны. Сперва ученые согласовывали с 1-ми отделами своих институтов совместный проект с зарубежными партнерами, а через несколько месяцев после того, как товарищи из ФСБ ставили на проекте положительную резолюцию, другие товарищи из ФСБ объявляли ученых разгласителями государственной тайны.

ЦАМО, как режимное военное учреждение, ничем не отличается от научных институтов. В архиве есть своя секретная часть, а инструктором читального зала работает бывшая сотрудница 1-го отдела В.О. Попова, которую для конспирации называют «старшим научным сотрудником», хотя все ее «научные консультации» долгие годы исчерпывались встречным вопросом: «А зачем вам это вообще понадобилось?»

Более того, на ЦАМО отразились кадровые процессы, приобретшие государственные масштабы. Когда президентом России стал выходец из ФСБ, а министром обороны — другой выходец из ФСБ, начальник 1-го отдела ЦАМО полковник Ильенков пошел на повышение: теперь он возглавляет Архивную службу Вооруженных сил. Руководя 1-м отделом, Ильенков регулировал доступ исследователей к нерассекреченным материалам; эта же функция сохранилась за ним, когда он возглавил Архивную службу Вооруженных сил. Опираясь на свой опыт, утверждаю, что полковник Ильенков вовсе не радеет за то, чтобы документы рассекречивались и поступали в научный оборот. С августа 2003-го по февраль 2005 года, когда пишется эта статья, полковник саботировал рассекречивание фонда Центрального управления Авиации дальнего действия, о

котором я ходатайствовал, опираясь на статью 15 Закона «О государственной тайне». В результате я был вынужден обратиться в суд с намерением оспорить бездействие Архивной службы Вооруженных сил. Загадывать, какое решение примет суд, не буду, но очевидно, что для бывшего начальника 1-го отдела ЦАМО полковника Ильенкова приоритетной оказалась вовсе не профильная для архива исследовательская работа, а секретность.

Но 1-й отдел лишь выполняет приходящие из вышестоящих инстанций распоряжения. Своим правом устанавливать категорию секретности в Министерстве обороны пользуется 8-е Управление Генерального штаба, которое сами военные называют «филиалом ФСБ». Осенью 2001 года исследователи, работавшие в ЦАМО, получили возможность на себе ощутить деятельность 8-го Управления, комиссия которого приехала в архив проверять, как соблюдается режим секретности. «Восьмерочники» (так их называют в Минобороны) сверяли заголовки и даты дел, выданных исследователям, с темами заявленных ими научных работ. Один бедолага был уличен в том, что он получил дело за ноябрь 1941-го, хотя декларировал, что изучаемый им период датируется сентябрем—октябрем того же года. Комиссия запротоколировала это «нарушение режима секретности». Посвирепствовав в читальном зале, посланцы 8-го Управления потребовали от начальника ЦАМО полковника Чувашина игнорировать приказ министра обороны № 270 и требовать даже от исследователей, работающих с рассекреченными документами, форму допуска ФСБ и разрешение Генштаба. Те исследователи, которые появились в архиве в 2001 году только после работы комиссии, так и не были допущены к документам. Среди них было немало приехавших из других городов. Эта вакханалия продолжалась до начала 2002 года, когда группа исследователей обратилась с письменным ходатайством в разные инстанции, и руководство архива было вынуждено пойти на попятную.

Симптоматично, что 8-е Управление проигнорировало даже приказ министра обороны, в соответствии с которым к документам полкового и дивизионного уровня исследователей мог безо всякой секретности допускать начальник архива. В этой ситуации перепугались даже архивисты, поскольку они сообразили, что, как только опустеет читальный зал, начнутся сокращения штатов. Поэтому противозаконная инициатива 8-го Управления была воспринята ими как угроза их собственному благополучию. Вялые попытки архивистов ссылаться на приказ № 270 ни к чему не привели. Представитель комиссии коротко ответил: «А это плохой приказ».

Остается добавить, что именно 8-е Управление Генштаба, распоряжение которого значит для архивистов больше, чем приказ министра обороны, прославилось в последние годы, давая заключения по так называемым «шпионским делам», в ходе которых преследовались ученые и журналисты.

Идеологи в набедренных повязках

В одной из научно-популярных телепрограмм «National Geographic» рассказывается о действовавшем с 1927 года в городе Диксон-Маунтс штата Иллинойс музее. В его экспозиции были представлены раскопанные скелеты с погребальным убранством. В 1980-х индейцы племени оджибва стали требовать закрытия экспозиции. Обвешанный бусами активист антимузейного движения объяснял журналистам суть своих претензий: «Мы ведем духовный образ жизни. Мы сохранили наш язык, молитвенные песнопения, и многие из нас следуют традиционным учениям предков. Мы возражаем против осквернения кладбищ и останков наших предков, которые сейчас покоятся в открытой земле, представленные взору туристов».

Индейцы добились того, что в 1991 году экспозиция была закрыта, а останки преданы земле. Благодаря этому индейцы сохранили безальтернативность своих легенд, обезопасив их от возможных ревизий. Монополия на обладание историческими знаниями была сохранена за племенем оджибва. Историю племени закрыли от археологов, антропологов, остеологов, почвоведов и вещеведов, хотя без помощи новейших научных методик и современных технологий мы не узнаем, что представляли собой люди, погребенные на индейском кладбище: чем питались, сколько детей рожали, от каких болезней страдали, когда и как умирали.

Мотивы индейцев понятны. Изучать историю племени не следует — она изложена в легендах и молитвенных песнопениях. А работу археологов племя воспринимает исключительно как «осквернение кладбищ».

Позиция племени оджибва ничем не отличается от позиции, занимаемой Архивной службой Министерства обороны: Вооруженные силы — это духовная основа государства. Военные сохранили язык приказов, армейские уставы и поддерживают традиционную историю Великой Отечественной войны.

Только борются они не с музеями, а с архивами, так как исследователи могут предложить версию войны, отличающуюся от офи-

циальной. Архивным полковникам даже не потребовалось бить в бубен и надевать набедренные повязки. Они одержали тактическую победу, в долгосрочной перспективе равносильную грандиозному поражению. Практически исключив возможность того, что на основании документов появятся исследования, концепция которых не будет укладываться в сложившуюся еще в брежневские времена мифологию, ведомственные архивисты вытеснили изучение военной истории на периферию научной работы.

Убедив общество в том, что формировать собственное суждение о войне и военных могут только военные, они добились чудовищного падения престижа армейской службы. Офицеры массово демобилизуются, люди гражданские воспринимают военных так же, как охотников за скальпами, а молодежь карьеру крупье рассматривает как более престижную, чем генеральскую.

Это будет продолжаться до той поры, пока в Министерстве обороны не поймут, что именно исследователи культивируют в обществе интерес к армейской службе и военной истории.

Габриеле Фрайтаг

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМЕ: 60 ЛЕТ СПУСТЯ

Работа Фонда «Память, ответственность и будущее»

Международный военный трибунал, который с 14 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года вел в Нюрнберге процессы против главных нацистских военных преступников, рассматривал использование принудительного труда в военной экономике Германии как один из существенных пунктов обвинения[1]. Хотя «вывоз [...] на принудительные работы» был осужден как военное преступление, потребовалось более четырех десятилетий, чтобы общественность в Германии обратила внимание на эту тему — со всеми вытекающими политическими, законодательными и финансовыми последствиями[2]. Процесс Эйхмана в Иерусалиме и франкфуртские процессы над палачами Освенцима в начале 1960-х годов привлекли внимание западногерманских историков сначала к преследованию по расовым мотивам и к массовым убийствам европейских евреев в лагерях смерти, и только потом исследования Кристиана Штрайта о судьбе советских военнопленных и Ульриха

Статья отражает личное мнение автора. Автор благодарит Уту Герлант, Гюнтера Затхофа и Йенса Шляя, поддерживавших ее при написании этой статьи.

[1] Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Bd. XXII. Nürnberg, 1948. Репринт: München; Zürich, 1984. S. 552. Об осуждении использования принудительного труда — S. 552—558; об осуждении «Генерального уполномоченного по использованию рабочей силы» Фрица Заукеля — см.: Ibid. S. 644—647.

[2] Большая часть из 7,6 миллиона иностранных рабочих из гражданских лиц, а также военнопленных, которые в 1945 году были зарегистрированы на территории германского рейха как «занятые на работах», были депортированы в Германию из других стран. См.: *Herbert U.* Fremdarbeiter. Politik und Praxis des «Ausländer-Einsatzes» in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches. Neuausgabe. Bonn, 1999. S. 11.

Херберта об использовании на принудительных работах гражданских лиц из Восточной и Западной Европы вызвали дискуссии о принудительном труде как одном из важнейших элементов нацистской оккупационной политики[3].

Хотя представители средств массовой информации и отдельные политики начиная с середины 1980-х годов требовали материальной компенсации для лиц, угнанных на принудительные работы, законодательной базы для этого не существовало ни до, ни после воссоединения Германии. Это объясняется особенностями той политики в отношении компенсаций, которой придерживалась ФРГ. Государство платило возмещения жертвам национал-социализма начиная с 1950-х годов. Но до начала 1990-х не производилось ни выплаты компенсаций за принудительный труд, ни индивидуальных выплат жертвам нацизма из бывших государств—участников Варшавского договора. Поэтому не охваченной компенсациями оставалась, прежде всего, большая группа граждан восточноевропейских стран, как евреев, так и неевреев, трудившихся в свое время на принудительных работах.

При обсуждении юридических аспектов проблемы материальных компенсаций лицам, пригнанным на принудительные работы, главным был вопрос, следует ли рассматривать соответствующие требования как право каждого индивида или как репарационные требования со стороны целых государств. По этому вопросу споры шли десятилетиями. По достигнутой западными державами в Лондоне в 1953 году договоренности окончательный объем требуемых с Германии репараций должен был быть определен только при заключении мирного договора. Однако, отойдя от этой договоренности, правительство ФРГ в рамках ряда глобальных соглашений с конца 1950-х до середины 1960-х годов выплатило почти миллиард марок одиннадцати западноевропейским государствам, которые должны были по собственному усмотрению распределять эти деньги между гражданскими лицами — жертвами нацизма[4].

Советский Союз и Польша, ссылаясь на уже осуществленные Германией, то есть ГДР, платежи, отказались в 1953 году от притязаний на другие репарации. Но Польша, в отличие от СССР, в последующие десятилетия снова и снова подчеркивала, что этот

[3] *Streit Ch.* Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941—1945. Stuttgart, 1978; *Herbert U.* Op. cit.

[4] Соглашение было подписано 27 февраля 1953 года. *Adamheit U.* «Jetzt wird die deutsche Wirtschaft von ihrer Geschichte eingeholt». Die Diskussion um die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter am Ende des 20. Jahrhunderts. Berlin, 2004. S. 118—164, 81—86.

отказ не относился к индивидуальным компенсациям гражданским лицам, бывшим на принудительных работах[5]. Такая внешнеполитическая позиция польского правительства отражала и внутриполитическую установку, отличавшуюся от советской: людей, которые были угнаны на принудительные работы, в Польше считали жертвами нацизма, а не его пособниками, как в СССР[6].

В рамках воссоединения ФРГ и ГДР в 1990 году Германия, Польша и бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вместо официального мирного договора заключили так называемый договор по формуле 2 + 4. В этом договоре не содержалось никаких положений касательно репарационных платежей. В первой половине 1990-х годов Германия в качестве «жеста доброй воли» выплатила правительствам Польши, России, Беларуси и Украины примерно 1,5 миллиарда марок, которые должны были быть переданы бывшим жертвам нацизма в этих странах, а также в прибалтийских государствах и Молдавии. На эти деньги были основаны национальные фонды, которые организовывали выплаты небольших сумм тем, кто в свое время был угнан на работу в Германию. Во второй половине 1990-х годов германское правительство выделило еще 80 миллионов марок на осуществление подобных выплат в других бывших социалистических государствах Европы, а также на специальные платежи восточноевропейским евреям, претерпевшим от нацистов тяжкие телесные повреждения[7].

[5] Ibid. S. 86—88; *Kranz J.* Zwangsarbeit — 50 Jahre danach: Bemerkungen aus polnischer Sicht // *Barwig K., Saathoff G., Weyde N.* (Hrsg.). Entschädigung für Zwangsarbeit. Rechtliche, historische und politische Aspekte. Baden-Baden, 1998. S. 111—134. В особенности: S. 128.

[6] В Польше университеты, средства массовой информации и различные организации уже с конца 1940-х годов призывали бывших подневольных работников записывать свои воспоминания о преследованиях со стороны нацизма (*August J.* Erinnern an Deutschland. Berichte polnischer Zwangsarbeiter // Herrenmensch und Arbeitsvölker. Ausländische Arbeiter und Deutsche 1939—1945. Berlin, 1986. S. 109—129. Конкретно: S. 113). Судьба советских военнопленных и гражданских лиц, угнанных в Германию, которые были огульно объявлены собственным государством пособниками врага, оставалась табуированной темой в СССР вплоть до перестройки. См.: *Polian P.* Deportiert nach Hause. Sowjetische Kriegsgefangene im «Dritten Reich» und ihre Repatriierung. München, 2001. S. 166 f; *Полян П.* Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в Третьем рейхе и их репатриация. М., 1996.

[7] *Saathoff G.* Die politischen Auseinandersetzungen über die Entschädigung von NS-Zwangsarbeit im Deutschen Bundestag — politische und rechtliche Aspekte // *Barwig K. et al.* (Hrsg.). Op. cit. 1998. S. 49—63. В особенности: S. 56 f.

Начиная с 1950-х годов, параллельно с выплатами, осуществлявшимися федеральным правительством, отдельные немецкие фирмы по результатам судебных процессов выплачивали индивидуальные компенсации евреям в западноевропейских государствах, которые были на принудительных работах. В связи с нараставшим интересом немецкой общественности к этой теме фирмы в 1980-х и 1990-х годах стали делать пожертвования на благотворительные учреждения в Западной и Восточной Европе[8]. Однако ни правительство ФРГ, ни немецкие промышленные круги в 1990-е годы не считали себя обязанными с точки зрения международного права осуществлять индивидуальные компенсационные выплаты за принудительный труд в годы национал-социализма.

Только после того, как из других стран, прежде всего из США, стали раздаваться требования урегулировать финансовые претензии бывших подневольных тружеников, эта тема приобрела международную значимость. Американское правительство при президенте Билле Клинтоне рассматривало вопрос о компенсациях как приоритетный[9]. Важным фактором стали коллективные иски против немецких банков и предприятий, поданные в 1998 году в американские суды адвокатами еврейских и восточноевропейских подневольных рабочих[10]. Кроме того, шли образцовые процессы по искам с требованиями высоких индивидуальных компенсаций: они имели силу прецедента, и, если бы истцам удалось добиться успеха, пришлось бы ожидать следующих подобных исков. Немецкие предприятия, ведущие дела в международном масштабе, и федеральное правительство были вынуждены действовать[11].

[8] К 1990 году фирмы «I.G. Farbenindustrie», «Krupp», «AEG», «Siemens», «Rheinmetall» и «Feldmühle Nobel» выделили 55,5 миллиона марок на индивидуальные выплаты бывшим подневольным рабочим (*Brozik K.* Die Entschädigung von nationalsozialistischer Zwangsarbeit durch deutsche Firmen // *Barwig K. et al.* (Hrsg.). Op. cit. S. 33—47. В особенности: S. 46).

[9] *Spiliotis S.-S.* Verantwortung und Rechtsfrieden. Die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft. Frankfurt a M., 2003. S. 30 f.

[10] Согласно «Закону об исках о возмещении ущерба, нанесенного иностранным гражданам» (Alien Tort Claims Act), иски в американские суды могут подавать и лица, не являющиеся гражданами США. См.: *Gerlant U.* Entschädigungsforderungen // Zeitschrift für Weltgeschichte. 2003. № 2. S. 123—127. В особенности: S. 125.

[11] Иски были вчинены таким компаниям, как «Ford Werke AG Köln», «Deutsche Bank AG», «Dresdner Bank AG» и «Commerzbank AG». А против американской дочерней фирмы «Degussa AG» адвокаты вели в США от 55 до 60 процессов. См.: *Adamheit U.* Op. cit. S. 372—379.

Смена правительства в Бонне осенью 1998 года, когда к власти пришла коалиция социал-демократов и «зеленых», содействовала прогрессу в переговорах на эти темы как на национальном, так и на международном уровне. «Зеленые» были единственной политической партией в Германии, с 1980-х годов выступавшей за выплату компенсаций лицам, использовавшимся нацистами на принудительных работах. Создание соответствующего федерального фонда при участии немецких промышленных кругов было записано в качестве одной из целей в коалиционный договор СДПГ и партии «Союз 90/Зеленые»[12].

Одновременно немецкие предприятия, затронутые исками, поданными в США, объединились в «Инициативу немецких предприятий [позже: немецкой промышленности] по созданию фонда "Память, ответственность и будущее"». Целью этой организации было создание такого фонда, который финансировал бы индивидуальные гуманитарные выплаты бывшим подневольным рабочим, а также поддерживал бы перспективные проекты, направленные на укрепление взаимопонимания между народами, такие как международные встречи и образовательные программы[13].

На таком фоне в 1998—2000 годах шли очень непростые переговоры с участием представителей немецких промышленных кругов, правительств ФРГ, США и стран Центральной и Восточной Европы, американских адвокатов и представителей организаций жертв нацизма. В результате германское правительство и представители немецкой промышленности согласились выплатить бывшим подневольным рабочим и другим жертвам нацизма единовременную компенсацию из средств Федерального фонда, о чем публично объявили 16 февраля 1999 года федеральный канцлер Герхард Шрёдер и представители инициативной группы Фонда. В ходе переговоров общий объем платежей вырос с запланированных Германией двух миллиардов марок до десяти[14].

[12] *Saathoff G.* Op. cit. S. 55f; *Adamheit U.* Op. cit. S. 187—210, 279—294, 366 f., 401—416; *Spiliotis S.-S.* Op. cit. S. 62, 90—92.

[13] Инициатива была выдвинута в 1998 году такими фирмами, как «Allianz», «Deutsche Bank», «Fried.Krupp Hoesch-Krupp», «BMW» и «Volkswagen». Официального акта учреждения фонда не было. *Spiliotis S.-S.* Op. cit. S. 56—59, 62—67.

[14] Ibid. S. 65, 101—107, 177—179, 261. О том, как относилось к этим переговорам правительство США, см.: *Eizenstat S.* Unvollkommene Gerechtigkeit. Der Streit um die Entschädigung der Opfer von Zwangsarbeit und Enteignung. München, 2003.

Законодательные нормативы для выплаты компенсаций

Законодательной базой деятельности Фонда является «Закон об учреждении Фонда "Память, ответственность и будущее"» (Закон о Фонде) от 2 августа 2000 года. В состав попечительского совета входят представители промышленных кругов и правительства Германии, правительств Израиля, Соединенных Штатов Америки, Польши, Российской Федерации, Украины, Беларуси и Чешской Республики, а также представители адвокатов по коллективным искам о компенсации и представители ассоциаций жертв нацизма. Это свидетельствует о том, что учреждение данного Фонда являет собой результат совместных усилий нескольких стран и международных организаций.

«Федеральный фонд» — это учреждение публично-правового характера, подчиненное правовому надзору Министерства финансов ФРГ. Задачи Фонда заключаются в том, чтобы «предоставлять финансовые средства для обеспечения выплат лицам, использовавшимся на принудительных работах или претерпевшим иного рода противоправный урон во времена национал-социализма»[15]. При этом закон оговаривает, что жертвы нацизма не имеют правопритязания на подобные выплаты: компенсации представляют собой добровольный акт, выражение «политической и моральной ответственности» со стороны бундестага и компаний, объединившихся в «Инициативу по созданию фонда...»[16]. В Фонд были внесены в равных долях федеральным правительством и германскими фирмами 10 миллиардов марок (5,1 миллиарда евро), а также 100 миллионов марок (51,1 миллиона евро) инвестиционной прибыли компаний. В соответствии с Законом о Фонде, 8,1 миллиарда марок (4,1 миллиарда евро) из этой суммы были отведены на компенсации за принудительные работы.

Распределение средств

В ходе международных переговоров были определены не только общая сумма компенсационных выплат за принудительный труд, но и распределение ассигнований по отдельным категориям получателей. Это было сделано на основе оценок, представленных

[15] Закон о Фонде (Stiftungsgesetz) § 2. Abs. 1.

[16] Ibid. Преамбула.

ассоциациями жертв и государствами, участвовавшими в переговорном процессе[17]. Почти полностью завершенная на сегодня обработка ходатайств показывает, что распределение ассигнований соответствует пропорциям групп получателей в отдельных государствах. Но все-таки суммы, которые за одинаковые перенесенные страдания получают граждане, угнанные в свое время на принудительные работы из разных стран, в некоторых случаях различаются в зависимости от местожительства получателя. Особенно в республиках бывшего Советского Союза, где члены одной семьи сегодня живут часто в разных государствах, эта разница ощущается как несправедливая, что вполне понятно[18].

Так как максимальный объем выплат для каждой страны или организации—партнера Фонда был изначально зафиксирован, а число потенциальных получателей компенсации было определено по приблизительным оценкам, законом предусмотрен порядок произведения выплат в два этапа: чтобы гарантировать, что каждый заявитель по той или иной категории в соответствующей стране получит равную сумму, сначала производится первая выплата, которая, как правило, составляет от 50 до 75% всей предусмотренной компенсации. После того как все ходатайства будут обработаны, все организации—партнеры Фонда выясняют, достаточно ли выделенных им средств для покрытия всей суммы или же в отдельных категориях необходимо урезать вторую выплату. В нескольких странах после окончания обработки ходатайств выплаты для отдельных категорий получателей были, наоборот, увеличены.

Децентрализованный порядок выплат

Прием и обработка заявлений, а также выплаты компенсаций производятся децентрализованно организациями, связанными с Федеральным фондом специальным договором. Иногда это национальные фонды, которые были основаны в 1990-е годы, после того как правительство ФРГ перевело деньги для жертв нацизма в отдельные государства Центральной и Восточной Европы. Партнерами Фонда являются:

[17] *Spiliotis S.-S.* Op. cit. 2003. S. 94—96.

[18] Лица, которые были депортированы из своей страны и использовались на принудительных работах в частном или государственном секторе, получают в Беларуси 2556,46 евро, на Украине 2198,56 евро, а в Российской Федерации 2147,43 евро.

— Фонд «Польско-немецкое примирение» в Варшаве,

— Украинский национальный фонд «Взаимопонимание и примирение» в Киеве,

— Российский фонд «Взаимопонимание и примирение» в Москве,

— Белорусский республиканский фонд «Взаимопонимание и примирение» в Минске,

— «Немецко-чешский фонд будущего» в Праге,

— «Конференция по еврейским финансовым претензиям к Германии» (Conference on Jewish Material Claims against Germany, Claims Conference) во Франкфурте-на-Майне, Нью-Йорке и Иерусалиме,

— а также «Международная миграционная организация» (International Organization for Migration, IOM) в Женеве.

Пять национальных фондов ведают теми получателями компенсаций, которые на 16 февраля 1999 года (день, когда было объявлено о выплатах) имели постоянное местожительство в одном из этих государств. Claims Conference представляет интересы евреев, живущих вне вышеназванных пяти государств, а IOM — интересы неевреев, живущих вне этих государств.

Децентрализованный порядок проведения выплат освобождает Федеральный фонд от большой доли административной работы. Благодаря опыту, который большинство организаций—партнеров Фонда приобрели еще в 1990-е годы, занимаясь обработкой ходатайств и выплатами компенсаций бывшим жертвам нацизма, они могут быстро обработать поступившие заявления от бывших подневольных работников — а их больше 2 миллионов — и обеспечить лучший учет личных интересов заявителей. Одновременно эти же организации берут на себя часть ответственности за успешное осуществление выплат — этого ожидают от них не только Фонд, но и общественность, и ассоциации жертв нацизма.

Однако такая децентрализация таит в себе и проблемы для отдельных групп жертв, у которых складывается ощущение, что их организация не представляет должным образом их интересы. Прежде всего в странах Балтии в связи с этим возникло недовольство. Так как в 1990-е годы компенсации жертвам нацизма в Прибалтике выплачивались через российский и белорусский фонды, а в Молдавии — через украинский, по прагматическим соображениям было решено придерживаться этой схемы и при распределении средств из Федерального фонда. Кроме того, было постановлено, что жители других государств СНГ должны получать свои выплаты также через Россию, Беларусь или Украину — в зависимости от того, из какой республики они были во время войны увезены на

принудительные работы в Германию. В связи с тем что отношения между прибалтийскими государствами и другими бывшими республиками СССР напряженные, этот порядок вызвал в Прибалтике протесты. Поэтому в Эстонии, Латвии и Литве были созданы национальные пункты приема заявлений и жалоб, которые сотрудничают на договорной основе с организациями—партнерами Фонда[19].

Категории лиц, имеющих право на компенсации

Право на компенсации Закон о Фонде признает за определенными группами лиц, которые во времена национал-социализма привлекались к принудительному труду. Критерием для отнесения к той или иной категории является степень тяжести перенесенного преследования. Она определяется местом заключения, тяжестью принудительного труда и депортации (в соответствии с границами 1937 года). Длительность преследования роли не играет. Закон о Фонде предусматривает следующие категории[20]:

Категория А

Лица, являвшиеся согласно § 42 абз. 2 Федерального закона о компенсациях (BEG) узниками концентрационных лагерей и узниками гетто, принуждавшимися к работе. Компенсация в размере 15 000 DM (7669,38 евро).

Лица, являвшиеся узниками в сравнимых с концлагерями и гетто «других местах заключения» и принуждавшиеся к работе. Компенсация в размере 15 000 DM (7669,38 евро).

Категория В

Лица, которые были вывезены из своей страны на территорию Германии в границах 1937 года или на одну из оккупированных Германией территорий и были принуждены работать на промышленном предприятии или в государственном секторе и при этом содержались в заключении или в условиях, подобных заключению, или в сравнимых с ним особо плохих условиях. Компенсация до 5000 DM (2556,46 евро).

Расширительная оговорка:

По усмотрению организаций—партнеров Фонда жертвы противоправных действий со стороны нацистского режима, не подпада-

[19] В Эстонии эти функции взял на себя Эстонский Красный Крест, в Латвии — государственное ведомство социального страхования, а в Литве — Центр исследований геноцида.

[20] Stiftungsgesetz. § 11.

ющие под категории А или В, могут получать компенсацию в размере до 5000 DM (2556,46 евро).

Закон о Фонде признает право на компенсацию в первую очередь за теми, кто подвергался преследованиям в виде принудительного труда согласно категориям А и В. В понятие «концентрационный лагерь» входят учреждения, список которых был составлен при подготовке «Закона о компенсациях» в 1977 году, с дополнениями 1982 года. Понятие «гетто» означает изолированную и охраняемую жилую зону для евреев. По обеим формам заключения существуют исторические исследования, опирающиеся на документы. Утверждения об использовании принудительного труда делаются на основании данных, полученных в ходе исследований концентрационных лагерей и гетто. Новейшие исследования по нацистской оккупационной политике выявили большое число других лагерей для гражданских лиц, которые обнаруживают сильное сходство с перечисленными в списке 1977 года концентрационными лагерями по таким признакам, как строгая охрана, недостаточное питание и медицинское обслуживание. При обработке заявлений в отдельных организациях тоже обнаружились сведения о таких лагерях[21]. Для признания права на компенсацию заявитель должен доказать, что привлекался к принудительному труду в этих «других местах заключения».

Категория В включает лиц, которые во время войны были вывезены в Германию или на оккупированные ею территории и посланы для принудительной работы на предприятия либо, например, на транспорт, на расчистку развалин или на земляные работы. Но помимо этого для права на компенсацию имеет значение еще и критерий условий содержания. Тем самым категория В учитывает главным образом лиц, пригнанных на принудительные работы из славянских и прибалтийских стран. Бывшие подневольные работники из Западной и Южной Европы, если они не содержались в заключении, как правило, не имеют права на компенсацию, потому что по сравнению с вышеназванными группами жертв они, в соответствии с национал-социалистской системой «расовой иерархии», не содержались под строгой охраной, получали лучшее продуктовое довольствие и заработную плату и пользовались сравнительно (!) лучшим правовым статусом.

[21] *Schwarz G.* Die nationalsozialistischen Lager. Frankfurt, 1996. В Федеральном фонде имеется список примерно 4000 признанных «иных мест заключения», а также документы по многим из этих лагерей.

Расширительная оговорка предоставляет организациям—партнерам Фонда возможность выплатить деньги людям, которые не подпадают под вышеназванные категории, но перенесли принудительный труд, депортацию и/или расовое преследование. В первую очередь это относится к лицам, которые были депортированы в Германию и направлены на принудительную работу в сельском или домашнем хозяйстве. Вторая большая группа лиц, которые в некоторых организациях—партнерах Фонда получают компенсации в соответствии с этой оговоркой, — это те, кто были в детском возрасте вывезены вместе со своими семьями в Германию, однако по малолетству не привлекались к принудительному труду. Кроме того, так называемые «перемещенные» лица, которые были угнаны из своих населенных пунктов, но принудительную работу для нацистского оккупационного режима должны были выполнять в собственной стране, тоже получают в нескольких организациях—партнерах Фонда финансовую компенсацию. Расширительная оговорка создает важный инструмент, позволяющий учитывать специфику преследования различных национальных или этнических групп жертв нацизма. В то же самое время из-за того, что организации—партнеры Фонда имели право в соответствии с законом и в рамках объема выделенных средств самостоятельно определять подкатегории получателей компенсации, представители некоторых групп жертв в одной стране получают компенсационные выплаты, а в другой стране — остаются ни с чем.

Ввиду того что советских военнопленных постигла в годы войны особенно тяжкая судьба, со стороны российской общественности снова и снова раздаются требования финансовых компенсаций для этой группы жертв нацизма. Однако, согласно Закону о Фонде, они не получают никаких выплат[22]. Это объясняется тем, что денежные компенсации за плен относятся к упомянутой выше категории репараций. Исключения делаются для военнопленных, которые находились в концентрационных лагерях, или для тех, кто сумели сбежать из плена и затем как гражданские лица были направлены на принудительные работы.

Формы доказательства права на компенсацию

Заявители могут по-разному доказать, что подвергались преследованиям. Самая убедительная форма доказательства — это под-

[22] Stiftungsgesetz, § 11, Abs. 3, гласит: «Пребывание в плену в качестве военнослужащего не является основанием для получения компенсации».

линный документ военного времени или первых лет после войны. Личные документы, такие, как письма того времени или фотографии, тоже могут служить доказательством. Многие заявители получили справки о депортации и принудительных работах или заключении от Международной службы поиска (ISD) в городе Бад-Арользен, которая после Второй мировой войны была создана Международным Красным Крестом для поиска лиц, пропавших без вести. На средства Федерального фонда, в сотрудничестве с Федеральным архивом и Федеральной ассоциацией «Информация и консультации для жертв национал-социализма» в Кёльне был создан архивный центр, направляющий запросы, на которые не смогла ответить ISD, в земельные или городские архивы либо в архивы предприятий.

Для заявителей, которые не располагают подлинными или архивными документами, имеется возможность подтвердить факт своего участия в принудительных работах с помощью справок от организаций жертв нацизма или заверенных свидетельских показаний. Иногда заявители представляют также справки от немецких муниципалитетов или от тех лиц или учреждений, на которых они работали во время войны. Кроме того, заявители могут описать перенесенные ими преследования собственными словами.

Если сравнить друг с другом заявления из разных стран, то по разнице между представленными документами можно проследить послевоенную судьбу разных групп жертв. Претенденты на компенсацию из государств Западной или Центральной Европы, таких как Польша и Чехия, часто могут представить подлинные документы, которые подтверждают их привлечение к принудительным работам. А подневольные работники, которые после войны вернулись в Советский Союз, располагают такими бумагами лишь в исключительных случаях. Из страха перед обвинением в пособничестве фашистам эти люди после освобождения часто сами уничтожали подобные документы, или их отнимали у них в ходе репатриации в фильтрационных лагерях НКВД.

По иронии судьбы на сегодня самое важное доказательство привлечения советских граждан к принудительным работам в Германии представляют протоколы их допросов в органах НКВД, на основании которых многие из так называемых «остарбайтеров» подвергались потом репрессиям со стороны сталинской системы. Так как допросы производились под очень сильным политическим давлением и показания зачастую искажались как следователями, так и допрашиваемыми, к сведениям из этих протоколов нужно относиться с осторожностью. Это касается как утверждений о «доб-

ровольном» найме на работу в Германии, так и указаний мест работы. Советские власти принципиально обвиняли всех, кто был угнан на принудительные работы, в пособничестве оккупационному режиму. Поэтому многие люди, направленные в Германии на работу в промышленности, говорили советским органам власти, что работали в сельском хозяйстве. Этим они рассчитывали избегнуть подозрения в работе на военном предприятии. Именно этим страхом заявители порой обосновывают противоречия между сведениями в представленных ими документах и тем, что они указали в заявлении о выплате компенсации. Такие обоснования организации—партнеры Федерального фонда должны учитывать. Федеральный фонд принял решение в пользу заявителей, что компрометирующие сведения в протоколах допроса не являются достаточной причиной для отклонения ходатайств о компенсации.

Процесс выплаты компенсаций

Федеральный фонд начал выплачивать компенсации бывшим подневольным труженикам 15 июня 2001 года. К расчетному сроку 8 марта 2005 года Фонд перечислил 3,988 миллиарда евро для 1,618 миллиона лиц, имеющих право на компенсационные выплаты. Это составляет примерно 96% всех средств, отпущенных на эти цели согласно Закону о Фонде. Дополнительно попечительский совет Федерального фонда утвердил ассигнования в размере примерно 300 миллионов евро из доходов от процентов с капитала для увеличения общего объема выплат. Перечисленные компенсационные платежи распределяются между отдельными организациями—партнерами Фонда следующим образом:

Партнеры Фонда	Всего выделено (в евро)	Число получателей	Сумма в евро
Беларусь*	354 836 565,55	129 000	343,8 млн.
— в том числе Беларусь		120 000	323,1 млн.
— в том числе Эстония		9000	20,7 млн.
ЮМ	409 033 504,96	81 000	230,3 млн.
Jewish Claims Conference	926 460 888,73	143 000	1 063,2 млн.
Польша	926 460 888,73	482 000	970,1 млн.
Россия	426 928 720,80	235 000	329,9 млн.
— в том числе Россия		210 000	295,6 млн.

Продолжение таблицы

Партнеры Фонда	Всего выделено (в евро)	Число получателей	Сумма в евро
— в том числе Латвия		12 000	17,9 млн.
— в том числе Литва		11 000	14 млн.
— в том числе другие			
страны СНГ		2 000	2,4 млн.
Чехия	216 276 465,75	76 000	206,6 млн.
Украина*	881 467 203,18	472 000	843,8 млн.
ИТОГО	4 141 464 237,70	1 618 000	3 987,7 млн.

* Числа для Беларуси включают также платежи в другие государства СНГ, числа для Украины — также платежи в другие государства СНГ и Молдавию.

Всего, по расчетам организаций—партнеров Фонда, существует 1,63 миллиона лиц, имеющих право на компенсацию за принудительный труд. 85% из них Федеральный фонд уже перечислил второй транш. В мае 2005 года выплаты должны быть в основном завершены.

С большими накладными расходами и трудностями для всех организаций—партнеров Фонда связаны выплаты компенсаций правопреемникам бывших жертв. Вместо бывших подневольных рабочих и других жертв нацизма, имевших право на компенсацию и умерших после 15 февраля 1999 года, на деньги могут претендовать их родственники. При этом Закон о Фонде объявил национальный порядок наследования утратившим силу в пользу «особого правопреемства», не привязанного к конкретной стране. Право на получение денег имеют супруги и дети умерших в равных долях или, последовательно, внуки, братья, сестры и наследники по завещанию. Так как по состоянию на сегодняшний день больше 10% заявлений подано «особыми правопреемниками», организации—партнеры Фонда будут заниматься выплатами им до конца 2006 года. Заявления, статус которых до конца 2006 года не удастся выяснить, утратят свою силу.

Реакции получателей на компенсационные выплаты

Вопрос о том, какой жест будет уместен по отношению к жертвам национал-социалистского режима, вызвал в немецкой и меж-

дународной общественности очень острые дискуссии. Преследования, перенесенные жертвами, вообще нельзя «компенсировать» никакой, даже самой большой суммой денег, но выплачиваемые компенсации к тому же еще и весьма невелики по западным меркам. Тем не менее в силу того, что многие старые люди в бывших социалистических государствах очень бедны, для многих бывших жертв нацизма в Восточной Европе эти выплаты все же представляют некоторую материальную помощь. Процедура подачи заявления вынуждает многих из них снова болезненно переживать прошлое, зачастую уже вытесненное. Особенно тяжело это для тех бывших советских подневольных работников, которые из смеси стыда и страха перед репрессиями часто даже своим супругам, детям и внукам не рассказывали о пережитом. Но именно поэтому платежи из средств фонда «Память, ответственность и будущее» означают для многих также и подтверждение их судьбы «официальной инстанцией». Тем самым они могут приобретать помимо материального еще и символическое значение и восприниматься некоторыми бывшими подневольными работниками как форма запоздалой реабилитации в собственной стране.

Реакции людей на деньги из Германии разные. Был проведен выборочный письменный опрос получателей компенсаций, чтобы убедиться, что они в самом деле получили переведенные в организации—партнеры Фонда суммы. При этом опрошенные имели возможность высказать свои замечания. Первая — нерепрезентативная — партия из 380 анкет из России содержала следующие отклики: примерно 5% писали, что выплаченная сумма слишком мала. Несколько человек ясно дали понять, что компенсация ни в коей мере не сообразна перенесенным ими страданиям. Так, одна бывшая подневольная работница из Санкт-Петербурга пишет:

«Мы с моим мужем вместе три года тяжело работали в Шеренбеке в неволе. Он заболел там туберкулезом легких и умер в России в 1946 году. Я одна растила дочь. И за все это — 2147 евро? Ответьте мне, пожалуйста!»

Один получатель компенсации из города Дятьково иронично замечает:

«Я благодарю Вас за такую малую выплату, по такой жизни это копейки, а не деньги».

Заявительница из поселка Марьино лаконично замечает:

«Очень длительный процесс выплаты, многие не доживут, да и сумма смешная».

Наибольшее число претензий опрошенных относится не к размеру, а к двухступенчатой процедуре выплаты компенсации (14%).

Кроме того, имеются жалобы на разницу выплат по различным категориям или в различных организациях—партнерах Фонда.

Многие же, наоборот, выражают благодарность за выплаты (15%). При этом опрошенные часто подчеркивают, что полученные деньги позволят им купить крайне необходимые медикаменты. Порой эта благодарность изъявляется в весьма экзальтированных выражениях. Так, одна получательница из Москвы (Теплый Стан) пишет:

«Я довольна Вашей работой и заботой о нас. Большое Вам спасибо. Германия и Россия дружба!»

В нескольких анкетах проявляются очень противоречивые чувства, охватывающие людей при получении денег. Заявитель из Ижевска пишет:

«А воспоминания, как выгнали полуголых в холод и везли на открытой машине и издевались, били по чем попало, гоняли раздетыми, сейчас все болит, застужено и отбито, а как вспомнишь, просто хочется плакать, а когда вернулись на родину после освобождения, то дом наш был сожжен и жили в землянке. А Вам [...] по-братски большое спасибо за вашу заботу и старания к нам узникам и что вы нас не забыли. И дай вам бог хорошего здоровья и спаси вас господь и помилуй».

Чтобы понять «униженную» (и унизительную) благодарность бывших советских подневольных работников, надо, вероятно, помнить о репрессиях в послевоенное время и о долгом замалчивании ими собственной судьбы. Жертвы двух диктатур, они порой не сознают, что могут требовать законной компенсации за перенесенные страдания. Поэтому платежи они принимают с благодарностью как помощь «сверху». Только тщательный анализ реакций получателей компенсаций от всех организаций—партнеров Федерального фонда позволит составить дифференцированную картину их отношения к выплатам.

Авторизованный перевод с немецкого Кирилла Левинсона

Бернхард Шлинк
РОЛЬ ПРАВА В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОШЛОГО

I

То, что прошло, невозможно преодолеть. Можно это вспоминать, забывать или вытеснять. Можно за это мстить, наказывать, можно это искупать, можно в этом раскаиваться. Это можно повторить, осознанно или неосознанно. Можно воздействовать на последствия того, что произошло, с тем чтобы оно не отражалось на современности и будущем вовсе или каким-то определенным образом либо как раз неким определенным способом отражалось. Но что случилось, то случилось. Прошедшее недосягаемо и неизменимо. Нельзя «одолеть» его, как одолевают некую задачу: сначала задача стоит перед человеком, потом он над нею работает, и в ходе этой работы ее облик изменяется, и вот, наконец, он ее одолел, она выполнена и исчезает как задача. То, что в Германии вошло в употребление понятие «преодоление прошлого» («Vergangenheitsbewältigung»), для которого не находится эквивалента ни в английском, ни во французском языке, свидетельствует о тоске по невозможному: по тому, чтобы привести в порядок прошлое так, чтобы память о нем больше не тяготела над современностью.

В римском праве есть принцип «in praeteritum non vivitur»[1]. Его смысл с точки зрения практики права состоит в том, что денежного содержания можно требовать себе только на настоящее и будущее время, но не на прошедшее. А значение его с точки зрения философии права состоит в том, что наша жизнь протекает в со-

Перевод осуществлен по изданию: Schlink B. Die Bewältigung von Vergangenheit durch Recht // *König H., Kohlstruck M., Wöll A.* (Hrsg.). Vergangenheitsbewältigung am Ende des 20. Jahrhunderts. Leviathan-Sonderheft 18. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1998. S. 433–451.

[1] «В прошлом не живут» (*лат.*). Codex Iustiniani. Кн. 2. Гл. 4. Раздел 8.

временности и течет в будущее; она не течет в прошлом или в прошлое, и потому право может формировать и приводить в порядок только нынешнюю и будущую жизнь, но не прошедшую. За урон, нанесенный в прошлом, можно, правда, присудить компенсацию ущерба или вынести наказание, но компенсация представляет собой всего лишь замену поврежденного или утраченного имущества и не сделает утрату или повреждение неслучившимися, а наказание есть отрицание преступления только тогда, когда и преступление понимается как отрицание[2]. Даже так называемый обратно действующий закон не действует обратно, он действует в современности и на будущее; прошедшее он лишь использует как повод, и поскольку право часто вынуждено делать и делает это, то трудно сказать, в каких случаях можно говорить об обратно действующем законе[3].

Праву чужда идея, что можно регулировать и приводить в порядок прошедшее. С точки зрения права прошедшее должно быть завершено и с ним покончено. Спустя какое-то время гражданин должен смириться с действиями государства или другого гражданина, которым он не воспротивился. Спустя какое-то время решения администрации обретают силу за давностью действия, а судебное решение вступает в юридическую силу, и против них уже ничего поделать нельзя. Спустя какое-то время срок давности запрещает возвращаться к былому: по истечении этого срока государство больше не сможет преследовать преступление, а гражданин — добиваться своих интересов. Уголовное преследование невозможно в правовом государстве и тогда, когда былое деяние не считалось наказуемым во время его совершения; в трудном деле конституционно-правовой оценки обратно действующих законов твердой отправной точкой служит принцип «nulla poena sine lege»*.

То, что прошло, не может преодолеть никто. Право тоже не берется это делать. Уголовное преследование ничего не изменит в том, что произошло, и даже самое большое усердие при осуществлении уголовного преследования не сделает прошедшее лучше. Если «вторая вина» — вина умалчивания и замалчивания, а также нерешительного уголовного преследования нацистских преступле-

[2] *Hegel G.W.F.* Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Berlin, 1833. § 97.

[3] *Pieroth B.* Rückwirkung und Übergangsrecht. Verfassungsrechtliche Maßstäbe für intertemporale Gesetzgebung. Berlin, 1981. S. 97 ff.

* «Нет наказания без закона» (*лат.*).

ний[4] — порой настолько овладевает вниманием общества, что заслоняет первую вину, то это еще не значит, что если бы не было второй вины, то первая была бы меньше. Если то, что прошло, невозможно преодолеть, даже с помощью права, то это значит также, что уголовное преследование, которое сегодня обращено на коммунистическое прошлое, не компенсирует нерешительного уголовного преследования нацистского прошлого. Такое представление встречается у особо рьяных прокуроров и судей, которым кажется, что уголовное преследование нацистских преступлений осуществляется в постыдно недостаточном масштабе, и они думают, что должны поэтому проявлять особенное рвение в уголовном преследовании коммунистических преступлений. Но и былое недостаточное уголовное преследование тоже невозможно преодолеть.

Правда, можно включать право во все, что общество и политика делают с прошедшим. Право может поддерживать воспоминание, забвение и вытеснение. Воспоминание оно поддерживает в особенности посредством уголовного преследования, компенсаций, комиссий по выяснению истины и трибуналов правды, а также предоставлением возможности ознакомления с делами и архивами. Забвение и вытеснение право может поддерживать посредством амнистий и запретов на те или иные темы и тезисы. Право может сделать так, чтобы прошедшее перестало действовать или, наоборот, чтобы оно гарантированно продолжало действовать. Право может реабилитировать осужденных граждан, компенсировать понесенные наказания, восстанавливать порушенные карьеры, отменять имевшие место экспроприации, а может точно так же и сохранять в силе имевшие место приговоры, наказания, экспроприации и карьеры. Право использовалось и используется всеми этими способами. Ведь общественная и политическая культура есть иногда культура памяти, а иногда — культура забвения. Больше того, она всегда содержит в себе понемногу и того и другого. В качестве обращенной к прошлому культуры памяти она затемняет некоторые части прошлого, а в качестве обращенной к современности и будущему культуры забвения она некоторые куски прошлого удерживает и поддерживает. Культуры памяти — это культуры жертв; они отдают память и признание жертвам, которые умирали «внизу», и если наряду с этим кто-то «сверху» требует и себе памяти, то это некрасиво. И наоборот, культуры забвения — это культуры победителей, в них победители забывают те жертвы,

[4] Ср.: *Rückerl A.* NS-Verbrechen vor Gericht. Heidelberg, 1984. S. 105 ff.; *Werle G.* Der Holocaust als Gegenstand der bundesdeutschen Strafjustiz // Neue Juristische Wochenschrift. 1992. № 5. S. 2529—2535.

которых сами потребовали, но не те, которые сами принесли, и, при всей их обращенности к настоящему и будущему, у них все же есть свои иконы воспоминания.

В этом смысле существует и такая вещь, как преодоление прошлого. Прошлое — это не прошедшее, а его конструкция, причем такая, при которой удается осуществить его интеграцию в индивидуальную или коллективную биографию. Прошлое — это конструкт, и создавать этот конструкт — задача, над которой работают, и в ходе этой работы ее облик изменяется, и в конце концов она оказывается выполнена, но только временно, так как постоянно находятся новые куски прошедшего или возникают новые потребности интеграции. Прошлое — это задача, которую можно одолеть и которую одолевают. При этом получается конструкция прошедшего, которая представляет собой воспоминание с элементами забвения или же, наоборот, забвение с элементами воспоминания. Одолеть эту задачу, между прочим, не только можно, но и нужно: индивидуальные и коллективные биографии нуждаются в интеграции прошедшего — это условие целостности самовосприятия и саморепрезентации. Прошедшее должно быть интегрировано, чтобы нельзя было с его помощью разрушить современные самовосприятие и саморепрезентацию.

Преодоление прошлого может происходить как путем забвения, так и путем воспоминания — примеров этому много. С Античности до Новейшего времени существуют культуры забвения[5]; забывающее и вытесняющее обращение с преступлениями гражданской войны, сталинизма или нацизма в таких странах, как Испания, Россия или Австрия, можно критиковать как морально неприемлемое, однако едва ли можно утверждать, что оно не функционирует. Эти страны интегрировали совершенные во время жизни одного поколения зверства в коллективную биографию и сумели мирно перейти к следующему поколению. Если их современные проблемы связаны с их прошлым, то все же не со специфически моральным или юридическим качеством тех зверств, которые имели место в прошлом.

II

То обстоятельство, что право может стать инструментом как для воспоминающего, так для забывающего преодоления, как для куль-

[5] Ср.: *Meier Ch.* Erinnern — Verdrängen — Vergessen. Zum öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit in Geschichte und Gegenwart // Berichte und Abhandlungen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 3. Bände. Berlin, 1997. S. 59—99.

тур воспоминания, так и для культур забвения, не обязательно говорит о произвольности его использования. Оно не исключает, что право пребывает в отношениях особой внутренней близости к воспоминанию или к забвению и что оно только ценой будущих проблем может быть употреблено в качестве инструмента, действующего против того или другого.

Несколько примеров сразу приходят в голову. Чем меньше времени прошло после некоего события, тем легче оно вспоминается и тем труднее забывается, тем сильнее требование юридической проработки этого события и тем слабее готовность к тому, чтобы подвести под ним в правовом отношении черту. Правда, после первой волны воспоминания и юридической проработки свежих событий наступает усталость, которая задерживает следующие волны. В 1950-х годах воспоминание и юридическая проработка потому и не происходили, что немцы были истощены войной, разрушением и изгнанием, они устали от занятия прошлым, и вся их энергия была сконцентрирована на начале новой жизни и на восстановлении. Первая волна сошла бы даже еще раньше, если бы ее не породили и не поддерживали союзники. И после падения Берлинской стены утомленные переменами граждане новых федеральных земель вскоре не хотели уже ничего слышать о неприятностях и неправосудии в ГДР; судебные процессы на эту тему проходили благодаря влиянию старых земель. Немцы вообще не тот народ, который в воспоминании и правовой проработке склонен сводить счеты; Первая и Вторая мировые войны, экономический и политический крах ГДР воспринимались скорее как удары судьбы, которые нужно было вместе вынести, нежели как зло, которое какое-то меньшинство немцев причинило большинству и теперь должно за него отвечать и расплачиваться.

Важно не только когда произошло событие; оно может быть делом недавнего прошлого и при этом чем-то очень далеким, потому что тогда была война, а теперь снова мир, потому что это произошло далеко, во время революции или при старом режиме, а мы живем теперь снова дома, в упорядоченной жизни или при новом режиме. Два мира, далекий и близкий, мир старого и нового режима, мир революции и мир порядка, мир войны и мир мирного времени, могут даже при незначительном временном расстоянии быть все же настолько разными, что памяти трудно разместить и удерживать прошедшие события в системе координат нынешнего мира. Так как мир устроен скорее коллективно, нежели индивидуально, то коллективная потребность в забвении победит индивидуальное желание воспоминания скорее, чем индивидуальное желание забвения победит коллективную потребность в воспоминании.

Решающее значение для того, будет ли осуществляться воспоминание или забвение и будет ли право требовать/разрешать вспоминать или забывать, имеет наличие Другого, который помнит и требует помнить, расследовать, искупить, преследовать и карать в уголовном порядке былые преступления. Индивиду или общности трудно забыть или вытеснить произошедшее, если Другие связывают их имя с каким-то событием, поведением, преступлением. Сделать это тем труднее, чем более многочисленны и сильны Другие и чем в большей степени они являются не только современниками, но и жертвами того преступления; если жертвы достаточно многочисленны и сильны, то они могут оказывать на культуру общности формирующее воздействие и превратить ее в культуру жертв; и наоборот, культура общности не посчитается с немногочисленными и слабыми жертвами, утверждаясь как культура победителей. Кроме того, освободиться от идентификации с определенными событиями, поведением, преступлениями оказывается для общности тем труднее, чем большее число ее членов замешаны в них.

При этом замешанными могут быть не только виновники, соучастники, подстрекатели и пособники. Замешан может быть тот, кто знал о происходящем, кто все видел или нарочно смотрел в другую сторону, кто не оказал помощи жертвам и кто не изгнал, не преследовал и не осудил преступников, а относился к ним терпимо или даже уважительно. У древних германцев, если человек из одного рода ранил или убивал человека из другого рода, сородичи преступника могли либо изгнать его, либо, если они его не изгоняли, а оставляли в рядах своего сообщества, нести перед другим родом ответственность за его преступление[6]. Солидарность с преступником делает других сопричастными к его преступлению и вине: в этом — рациональное зерно представления о коллективной вине. Коллективная вина не является состоянием общности, как болезнь является состоянием тела. Вина не переносится от больных, виновных частей общности на здоровые, как бацилла, и не передается по наследству от одного поколения следующим, как ген. Идея коллективной вины имеет смысл только в том понимании, что общность, проявив солидарность с виновниками преступления, принимает на себя причастность к их вине и ответственность по отношению к жертвам преступления.

То, что преступников Третьего рейха не изгнали, не преследовали и не осудили, а относились к ним терпимо и уважительно, оставили на своих должностях и продвигали по службе, признава-

[6] *Schlink B.* Recht — Schuld — Zukunft // *Calließ J.* (Hrsg.). Geschichte — Schuld — Zukunft. Loccumer Protokolle. 66. Loccum, 1988. S. 63.

ли их как родителей и учителей, сделало поколение преступников и поколение их детей соучастниками и совиновниками преступлений Третьего рейха. Чтобы избежать этого, потребовались бы более последовательные изоляция, уголовное преследование и осуждение. Но осуществить их с должной последовательностью оказалось невозможно — как ввиду того, что преступников и соучастников, знавших, видевших и не смотревших, было очень много, так и по той психологической причине, что второе поколение — дети — не могут исключить из общества первое поколение — своих родителей. Поэтому в причастности к преступлениям есть нечто неизбежное и, если угодно, трагическое. Этим элементом неизбежности и трагичности объясняется то, что разговоры о коллективной вине иногда приобретают иррациональный оттенок и речь заходит о крови, о проклятии и о наследии. Но объяснить — не значит оправдать. Идея коллективной вины имеет в себе рациональное зерно, и это не кровь, проклятие или наследие, которое замешивает сообщество в преступление: это определенное поведение членов сообщества в определенной ситуации. Если ситуация отсутствует или исчерпывается и если поведение прекращается, то и соучастие не имеет места или прекращается. Это значит, что соучастие прерывается на третьем поколении. Третье поколение больше не стоит перед выбором — изгонять преступников или считать их по-прежнему членами своего сообщества; не изгоняя преступников, оно не рискует оказаться замешанным в их преступлении.

Преодоление коммунистического прошлого происходит, таким образом, в совершенно иных условиях, чем преодоление нацистского. В том, что касается последнего, немцы коллективно идентифицируются с преступлениями, которые они совершили по отношению к другим коллективам, особенно евреям; виновность в этих преступлениях описанным способом распространяется на них коллективно, их забвению и вытеснению противостоит заявляемое жертвами желание памяти и возмещения. В том же, что касается коммунистического прошлого, речь идет не о преступлениях, которые были совершены в отношении других коллективов, речь идет не о коллективной сопричастности вине и в обществе никакие жертвы не заявляют никакого желания памяти и возмещения, которое противостояло бы забвению и вытеснению. Нерешительное уголовное преследование преступлений Холокоста — это часть немецкой вины перед евреями. А если бы не состоялось уголовное преследование тех, кто стрелял в людей, пытавшихся перебраться через Берлинскую стену, то это было бы, конечно, мучительно для родственников жертв, но не имело бы коллективного измерения, а стало бы одним из многих постоянно и повсюду имеющих место

индивидуальных случаев, когда родственники жертв страдают от того, что преступников не преследуют с достаточной настойчивостью, не арестовывают или не выносят им суровых приговоров.

III

Этими соображениями еще не исчерпывается вопрос, обладает ли право, несмотря на то что его можно использовать в качестве инструмента для воспоминающего или забывающего преодоления прошлого, особой внутренней близостью к воспоминанию или к забвению. Три довода обычно приводятся в пользу воспоминания и против забвения или вытеснения, будь то нацистского, коммунистического или другого страшного, обремененного преступлениями и виной прошлого[7]. Нужно выяснить, что в этих доводах касается права.

Во-первых, говорят о памяти как о залоге избавления[8]; во-вторых, говорят о воспоминании и о связанной с ним работе переживания вины и траура как об условии открытости, доверия, индивидуальности и солидарности — в семьях, в рамках поколений и между ними и в политической культуре[9]; в-третьих, говорят о воспоминании как о предпосылке для того, чтобы то, что произошло, не повторилось[10].

Первый довод — самый темный. Утверждение, что в памяти — залог избавления, есть мудрость еврейской традиции и в рамках еврейской традиции представляется понятным; без своей памяти еврейский народ потерял бы свою идентичность в изгнании, в плену и рассеянии. Но что дает эта мудрость тем, кому надо сделать выбор между воспоминанием и забвением о преступлениях, совершенных представителями их собственного поколения или поколения их родителей? Что она может дать как мудрость для такого преодоления прошлого, которое не является просто преданием о прошлом или представлением прошлого, как у еврейского народа, для которого оно было и остается важным именно в таком виде?

Поэтому в спорах по поводу преодоления немецкого прошлого эту мудрость перетолковывали. Память из залога освобождения

[7] Ср.: *Garton Ash T.* The Truth about Dictatorship // The New York Review of Books. 19.02.1998. P. 35 f.

[8] *Wiesel E.* Chassidische Feier. Wien, 1974. S. 204.

[9] *Schwan G.* Politik und Schuld. Die zerstörerische Macht des Schweigens. Frankfurt am Main, 1997.

[10] *Garton Ash T.* Op. cit. P. 35: «Сколько раз повторяли в Германии слова Джорджа Сантаяны, что те, кто забывают прошлое, обречены пережить его снова?»

превратилась в залог примирения[11]. Примирение предполагает, что оставшиеся в живых жертвы и члены семей жертв прощают преступников; прощение предполагает, что преступники и те, кто разделил с ними вину, признают эту вину и подвергают себя, наряду с шансом на прощение, также риску осуждения; а признание своей вины предполагает воспоминание о преступлении. В этом заключается и социальная реституция, ибо преступники и те, кто стали соучастниками, признают оставшихся в живых жертв и их родственников как тех, чей приговор или прощение решают все. Поскольку прощение предполагает также, что виновные делают все, что в их силах, дабы ликвидировать последствия своего преступления, то в тех случаях, когда преступные действия были нацелены не только на умерщвление жертв, но и на изничтожение их мира, их следов, их памяти, воспоминание представляет собою также вклад в ликвидацию последствий преступления. Эти соображения по поводу преступления, вины, последствий преступления, осуждения и прощения в основе своей являются как юридическими, так и нравственными; виновные должны носить клеймо вины и отвечать за нее.

Другой вариант перетолкования этой мудрости называет залогом избавления борьбу против безразличия, а воспоминание — средством этой борьбы[12]. При этом безразличие опасно, так как оно — противоположность надежды, веры и любви. Оно делает людей нечувствительными к тому, что происходит в мире, в том числе и в особенности к несправедливости и беззаконию, и тем самым превращает их в соучастников этих беззаконий. Воспоминание может взломать безразличие, оно может заставить людей осознать последствия беззакония и тем самым сделать их чувствительнее к его корням; избавление — это состояние, в котором люди не позволяют происходить беззакониям. Таким образом, воспоминание становится тем, о чем идет речь в третьем доводе, — предпосылкой для того, чтобы произошедшее не повторилось и нечто подобное ему не произошло.

Второй довод, согласно которому память есть условие успешного функционирования семейной и политической культуры, тоже соединяет в себе различные соображения. Так, в нем заключено то мощное психологическое соображение, что забвение и вытеснение травматического прошлого ведет к тому, что это прошлое про-

[11] *Schwencke O.* Das Geheimnis der Versöhnung heißt Erinnerung // *Schwencke O.* (Hrsg.). Erinnerung als Gegenwart. Loccumer Protokolle. 25. Loccum, 1987. S. 7.

[12] *Wiesel E.* Erinnerung gegen die Gleichgültigkeit // Ibid. S. 157 f.

должает гноиться; что родители, которые умалчивают и замалчивают свои травмы в качестве виновников или жертв, не могут реализовать в жизни свою индивидуальность и не проявляют по отношению к своим детям открытости и доверия, в силу чего дети не учатся открытости и доверию и не могут выработать в себе сильную индивидуальность, способную одновременно и к компромиссу, и к сопротивлению. Далее, в нем заключено то мощное социологическое соображение, что без открытости, доверия и индивидуальности, которые приобретаются в семье, не бывает и способности к индивидуальности и солидарности в обществе. Далее, в нем заключено то мощное, переходящее из сферы фактического в сферу нормативного, политологическое соображение, что демократия построена и держится на открытости, доверии, индивидуальности и солидарности как демократических добродетелях граждан и что демократия, которая приходит на смену диктатуре, рискует потерять доверие к себе граждан — и теряет доверие жертв диктатуры, — если она не наказывает преступников и не принимает правовых мер к тому, чтобы они не могли остаться на своих постах и продолжать свою карьеру. Целью юридических санкций, и особенно наказания, является здесь превентивное подкрепление и утверждение гражданских добродетелей.

Третий довод связан со стремлением не допустить повторения преступлений и непосредственно соприкасается с такими целями уголовного наказания, как специальная и общая превенция, то есть предотвращение повторного свершения преступления путем воздействия на отдельного преступника и предупреждение подобных преступлений вообще — в такой ситуации, когда в виде исключения преступником стало общество, ибо почти все его члены если не сами совершали преступления, то, во всяком случае, их поддерживали, принимали или мирились с ними. Тут общая превенция нацелена также на предотвращение повторения преступлений обществом.

Конечно, в данном случае теория о предупреждении правонарушений как цели наказания в особой мере уязвима для тех возражений, с которыми она постоянно сталкивается[13]. Конформист, при прошлом политическом режиме совершивший преступления, которые были в духе той политической системы, остается и при новом режиме конформистом, и его не нужно отваживать от совершения таких преступлений, которые не отвечают духу этого ново-

[13] Ср.: *Roxin C.* Strafrecht. Allgemeiner Teil. 1. Bd.: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre. 3. Aufl. München, 1997. S. 52 f.

го режима. Не нужно его и ресоциализировать: он вел себя при прошлом режиме так, как ожидало от него сообщество, и точно так же он ведет себя и при новом режиме, соответствуя тому, чего ожидает от него сообщество теперь. При преследовании и наказании нацистских преступлений регулярно можно было наблюдать, что преступники после 1945 года вели самую обычную жизнь и в отношениях с соседями и коллегами бывали людьми весьма приветливыми, надежными, готовыми помочь. Но и общество, старая политическая система которого ушла в прошлое и в котором складывается или уже сложилась новая политическая система, тоже не нужно специально устрашать и ресоциализировать. Конечно, всегда сохраняется угроза того, что граждане свободной демократической системы из-за трудностей, связанных со свободой, забудут о ее выгодах, обвинят демократию в жизненных тяготах, которые, хоть и не вызваны демократией, но ею отображаются, и затоскуют по мнимой ясности, безопасности и порядку более авторитарной системы. Эту опасность все время надо распознавать и с нею бороться. Но качание маятника между желанием свободы и жаждой порядка слишком универсально, а институты — в том числе и более или менее преступные, — которых требует жажда порядка, настолько разнообразны, что не приходится говорить о повторении. О Холокосте нужно помнить не для того, чтобы он не повторился[14], и предупреждение может здесь быть нацелено только на то, чтобы нечто сравнимое с ним было задушено в зародыше и чтобы оттачивались необходимые для этого гражданские добродетели — необходимая политическая, моральная и правовая чувствительность и смелость.

IV

Праву внутренне присуще и то и другое: и воспоминание, и забвение. Право требует, чтобы преступники не освобождались от своей вины, чтобы они отвечали за нее и чтобы при их наказании было провозглашено, что подобные вещи делать нельзя, что с этим не будут мириться, а будут этому противодействовать. Одновремен-

[14] В этом заключается моральная дилемма, связанная с тезисом, что о Холокосте следует помнить как о событии, которое ни с чем не сопоставимо. Этот тезис об уникальности Холокоста претендует на моральный характер: сравнивать Холокост с другими событиями, согласно ему, аморально и потому невозможно. Но главный моральный смысл напоминания о событии заключается в недопущении повтора, а всерьез и осмысленно можно говорить только о недопущении подобных, сравнимых событий.

но право требует, чтобы прошедшее было завершено и исчерпано. Разумеется, завершено и исчерпано только через некоторое время или только при отсутствии закона, который уже тогда предусматривал для совершенного преступления то наказание, какое за него назначается сегодня. Но этим конфликт не разрешается; обществу не нужно никакого закона, чтобы хотеть кого-то признать виновным и наказать, и заявления о том, что общество не потерпит преступлений, подобных этому, могут делаться сколько угодно времени спустя после совершения. И то обстоятельство, что право может определять только нынешнюю и будущую жизнь, но не прошедшее, тоже не разрешает конфликта. Вынесение приговора и наказание происходят в современности и служат примером для современности и для будущего.

Поскольку и память, и забвение внутренне присущи праву, его инструментализация как в том, так и в другом направлении — не просто инструментализация. Она обеспечивает действие права — с одной стороны — и одновременно приводит право в конфликт с его другой стороной. Потому и вышел конфликт между уголовно-правовым преодолением нацистского и коммунистического немецкого прошлого, с одной стороны, и принципом срока давности и запретом на обратное действие закона — с другой. Когда началось преследование и осуждение нацистских и коммунистических преступлений, некоторые из них уже аннулировались или вот-вот должны были аннулироваться за давностью. Кроме того, в силу запрета на обратное действие закона за них можно было преследовать и карать только в том случае, если они были наказуемы уже во время их совершения. Конфликт становится особенно наглядным, если посмотреть на законодательство, судебную практику и правоведение взглядом юриста.

Такая преграда для преследования и осуждения преступлений, как срок давности, была частично снята изданными между 1946 и 1948 годами законами, которые предписывали, чтобы в отношении преступлений, которые по политическим причинам не карались в период между 1933 и 1945 годами, но которые справедливость требовала задним числом покарать, при расчете срока давности не засчитывалось время с 1933 по 1945 год[15]. Это положение основывалось на идее, что там, где уголовное преследование было по политическим причинам вообще приостановлено, преступления не

[15] Ср.: *Zimmermann S.* Strafrechtliche Vergangenheitsaufarbeitung und Verjährung. Rechtsdogmatische und —politische Analyse mit vergleichenden Ausblicken nach Tschechien, Ungarn und Frankreich. Freiburg im Breisgau, 1997. S. 67 f.

могли и аннулироваться за давностью[16]. Точно так же и Закон о сроке давности 1993 года предписывал не засчитывать при расчете срока давности время между 1949 и 1990 годами для преступлений, которые в течение этих лет не преследовались в ГДР по политическим причинам[17]. Истечение срока давности в 1960—1970-х годах для нацистских и в 1990-х годах для коммунистических преступлений было предотвращено продлением или отменой еще не истекших сроков давности[18].

В правоведческой науке имелись и имеются сомнения по поводу этих изменений закона в отношении срока давности. Некоторые правоведы утверждают, что нарушен если не запрет на наказание задним числом, закрепленный в соответствии с принципом «nulla poena sine lege» в Конституции[19], то укорененные в принципе правового государства постулаты гарантии правового порядка и защи-

[16] Ibid. S. 61; BGH, NJW 1962 2308; BGHSt 18, 367, 368. В соответствии с принятыми среди юристов сокращениями «BGH» означает «Федеральный верховный суд», NJW — «Новый юридический еженедельник» («Neue Juristische Wochenschrift»), а BGHSt — «Постановление Федерального верховного суда по уголовным делам» (Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen) с указанием тома, страницы, на которой начинается соответствующее постановление, и страницы, на которой находится относящийся к обсуждаемой теме пассаж.

[17] Ср.: *Kramer V.* Zur Verjährungsproblematik bei SED-Unrechtstaten. Kritische Betrachtung zum Beschluß des OLG Braunschweig vom 22.11.1991 // Neue Justiz. 1992. S. 235 f.; *Pieroth B., Kingreen Th.* Die verfassungsrechtliche Problematik des Verjährungsgesetzes // Neue Justiz. 1993. S. 385 ff.

[18] *Schreiber H.-L.* Die strafrechtliche Aufarbeitung von staatlich gesteuertem Unrecht // Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Berlin, 1995. S. 178; *Zimmermann S.* Op. cit. S. 177 ff. Правда, законами 1965, 1969 и 1979 годов законодатель отменил истечение срока давности только для фактов убийств, которые на тот момент еще не были обнаружены. Срок давности для убийств, которые квалифицировались как преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее за собой смерть потерпевшего, истекал в 1960 году. Герхард Верле (*Werle G.* Op. cit. S. 2531) говорит также об «амнистировании через заднее крыльцо», произошедшем за счет того, что в 1969 году были изменены меры наказания за пособничество убийству.

[19] Конституция (Основной закон) ФРГ. Статья 103, абзац 2. Ср.: *Grünwald G.* Zur verfassungsrechtlichen Problematik der rückwirkenden Änderung von Verjährungsvorschriften // Monatsschrift für deutsches Recht. 1965. S. 521ff.; *Grünwald G.* Zur Frage des Ruhens der Verjährung von DDR-Straftaten // Strafverteidiger. 1992. S. 336; *Pieroth B., Kingreen Th.* Op. cit. S. 390 f., 392.

ты доверия[20]. Федеральный конституционный суд не разделял этих сомнений; он счел соответствующими Конституции как законы 1946—1949 годов[21], так и продление или отмену еще не истекших сроков давности[22]. В самом деле, многое говорит в пользу того, что наказуемость, которая согласно статье 103, абзацу 2 Основного закона ФРГ должна быть определена законом прежде, чем будет совершено преступление, охватывает состав преступления и санкцию, но не условия уголовного преследования[23]. Гражданину необходимо четкое и надежное знание о том, какие из его деяний или упущений являются наказуемыми и какое наказание ему грозит, но не о том, как функционирует уголовное преследование. Это соответствует и принципу вины: гражданин не становится виновным тогда, когда не считает и в соответствии с действующим законодательством не должен считать свое поведение наказуемым, однако его вина не ставится под сомнение тем, что законы предвещают ему, что по истечении некоторого срока его наказуемое поведение больше не будет преследоваться.

С точки зрения конституционного права гораздо более проблематичным оказывается преследование и осуждение таких нацистских и коммунистических преступлений, относительно которых нет сомнений в том, что они в Третьем рейхе или в ГДР никогда не стали бы предметом преследования и осуждения. Ведь здесь пре-

[20] «Гарантия правового порядка» (Rechtssicherheit) — правовая ситуация, гарантирующая, что человека, который вчера подчинялся действовавшему праву, сегодня не могут обвинить за это подчинение. «Защита доверия» (Vertrauensschutz) — правовая практика, поощряющая гражданина к тому, чтобы полагаться в своих действиях на действующее право. — *Примеч. пер.*

См.: *Zimmermann S.* Op. cit. S. 214 ff.; ср.: *Buchner S.* Die Rechtswidrigkeit der Taten von «Mauerschützen» im Lichte von Art. 103 II GG unter besonderer Berücksichtigung des Völkerrechts. Ein Beitrag zum Problem der Verfolgung von staatlich legitimiertem Unrecht nach Beseitigung des Unrechtssystems. Frankfurt a M., 1996, S. 83 ff., 118 f.; *Schreiber H.-L.* Op. cit. S. 180.

[21] BVerfGE 1, 418. Сокращение BVerfG означает «Федеральный конституционный суд» (Bundesverfassungsgericht). Сокращение BVerfGE означает «Постановления Федерального конституционного суда» (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts), цифры за ним означают том и страницу, на которой начинается упоминаемое решение, а также страницу, на которой находится тот пассаж, о котором идет речь.

[22] BVerfGE 25, 269; BVerfG, NJW 1995, 1145.

[23] *Bemmann G.* Zur Frage der nachträglichen Verlängerung der Strafverfolgungsverjährung // Juristische Schulung. 1965. S. 339 f.

ступники исходили и при действовавшем тогда законодательстве могли исходить из того, что их поведение ненаказуемо. Если в Третьем рейхе привлекали к уголовной ответственности за самоуправство лиц, без команды убивавших евреев, то при этом подчеркивалось, что судили их не за убийство евреев — оно не было наказуемо[24], — а за неподчинение приказу. Если в ГДР незаконный переход границы предотвращался в крайнем случае с помощью стрельбы на поражение, то это было оправдано Законом об охране границы, и за это не только не полагалось наказания, а, наоборот, полагались благодарность и награда[25].

В отличие от Статута Международного суда в Нюрнберге и Закона № 10 Контрольного совета по управлению Германией, которые временно отменяли запрет на обратное действие права, в судебной практике Федеративной Республики Германии этот запрет всегда соблюдался[26]. Но чтобы тем не менее оправдать наказание нацистских преступлений, уже вскоре после 1945 года стали ссылаться на постулат правоведа Густава Радбруха, согласно которому если действующий закон находится в непереносимом противоречии со справедливостью, то этот закон должен как неправильное право уступить приоритет справедливости[27]. Нацистских преступников карали согласно действовавшему в Третьем рейхе уголовному праву, очищенному, однако, при посредстве «формулы Радбруха» от исключающих противоправность или вину обстоятельств, благодаря которым эти преступники в Третьем рейхе не могли бы быть наказаны[28]. Когда в конце 1950-х годов уничтожение евреев стало предметом судебных разбирательств, приказ Гитлера, по которому это уничтожение осуществлялось, был исключен из уголовного права Третьего рейха как исключающее противоправность обстоятельство не столько на основании формулы Радбруха, сколько в силу другого соображения, основывающегося на принципе

[24] Ср.: *Werle G.* Op. cit. S. 2535.

[25] Ср.: *Jakobs G.* Untaten des Staates — Unrecht im Staat. Strafe für die Tötungen an der Grenze der ehemaligen DDR? // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 1994. S. 5; *Schreiber H.-L.* Op. cit. S. 164.

[26] Ср.: *Werle G.* Op. cit. S. 2533.

[27] *Radbruch G.* Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht // Süddeutsche Juristenzeitung. 1946. S. 105—108 (переиздание: *Kaufmann A.* (Hrsg.). Gustav Radbruch. Gesamtausgabe. Heidelberg, 1990. 3. Bände. S. 83—93).

[28] Ср.: *Sagel-Grande I., Fuchs H.H., Rüter C.F.* Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945—1966. Amsterdam, 1979. 21. Bd. S. 444; *Werle G.* Op. cit. S. 2534.

правового государства: приказ этот был высказан Гитлером только устно, он не был опубликован, а был, наоборот, секретным, и потому он не имел обязательной силы закона. Однако, отдав этот приказ, Гитлер вместе с членами нацистского руководства был подлинным виновником уничтожения евреев; те, кто исполнял его на местах, с точки зрения уголовного права являлись только пособниками, если только в порядке самоуправства не нарушали приказ и не выходили за рамки своей роли винтиков в раскрученном главными преступниками механизме уничтожения[29].

Это соображение никак не соответствует нацистской правовой системе. Третий рейх не был правовым государством, и ему были чужды царящие в правовом государстве представления о формах права и о юридической недействительности закона, не отвечающего формальным требованиям. Воля и приказ вождя — высший закон и одновременно источник всякого права в нацистской правовой системе — не были подчинены никакой форме. Даже устный, неопубликованный, тайный приказ Гитлера устанавливал право[30]. В судебной практике Федеративной Республики Германии относились к этому настолько серьезно, что дополнительно все же ссылались на формулу Радбруха и считали, что приказ вождя, даже если считать его по форме правильным, не мог лишить силы ту сферу права — по общему мнению, неприкосновенную и основывающуюся на консенсусе всех цивилизованных народов, — которая включала в себя запрет на уничтожение евреев[31].

Такая же смесь из принципов естественного права и правового государства наблюдается в судебной практике ФРГ при обращении с правом ГДР. Ссылаясь на формулу Радбруха, западногерманские судьи игнорируют при рассмотрении дел о выстрелах у Берлинской стены оправдывающее обстоятельство — Закон ГДР об охране государственной границы, так как этот закон, по их утверждению, нарушал общее для всех народов убеждение в ценности и достоинстве каждого человека и противоречил основным представлениям о человечности и справедливости[32]. Наряду с этим в судебной практике ФРГ считается, что судья при оценке того, что было правом

[29] Ср.: Ibid. S. 2533.

[30] *Werle G.* Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich. Berlin; N.Y., 1989. S. 683; *Werle G.* Der Holocaust... S. 2534.

[31] BGHSt 2, 234, 237 ff..; ср.: *Sagel-Grande I. et al.* Op. cit. 21. Bd. S. 444; *Werle G.* Der Holocaust... S. 2534.

[32] BGH, NJW 1993, 141,144; BGH, NJW 1994, 2703, 2705; BGH, NJW 1994, 2708, 2709.

ГДР во время совершения преступления, должен руководствоваться не тем, что интерпретировалось и применялось тогда как право в ГДР: от него требуется, чтобы он ориентировался на «правильно интерпретируемый закон», то есть на закон, который истолкован в согласии с принципами правового государства и правами человека и в соответствии с принципом соразмерности наказания вине. При такой западногерманской интерпретации Закон ГДР об охране государственной границы не оправдывал стрельбу по людям, перебиравшимся через Берлинскую стену[33].

Аргумент, согласно которому действующим правом считается не то, что применялось как действующее право, а то, что с другой, более поздней точки зрения должно было бы применяться как действующее право, выходит за пределы естественно-правовой аргументации Радбруха. Но сам этот аргумент может претендовать на логичность только как естественно-правовой, как сталкивание естественно-правового представления о том, какое право должно действовать, с позитивно-правовым действующим правом[34]. Если считать, что обязательная сила закона в определенное время и в определенном месте — это что-то иное, нежели его интерпретация, применение и соблюдение, в которых этот закон в это время и в этом месте реально действует, то исчезает логически непротиворечивое понятие об обязательной силе действующего закона[35]. Таким образом, все держится на формуле Радбруха.

[33] BGH, NJW 1993, 141, 148.

[34] В этом смысле Алекси (*Alexy R.* Begriff und Geltung des Rechts. Freiburg im Breisgau; München, 1992. S. 201 ff., 204) исходит из критерия социальной эффективности в общем и целом как условия действия права, но отмечает, что это условие ограничивается «негативным определяющим признаком крайней несправедливости». Кауфман (*Kaufmann A.* Die Radbruchsche Formel vom gesetzlichen Unrecht und vom übergesetzlichen Recht in der Diskussion um das im Namen der DDR begangene Unrecht // Neue Juristische Wochenschrift. 1995. S. 84 f.) модифицирует свое понятие «действия права»: оно перестает быть абсолютным «при особо, непереносимо несправедливом, неправомерном праве, порочность которого очевидна и которое ни с какой мыслимой точки зрения не представляется справедливым».

[35] Ср.: *Dreier H.* Gustav Radbruch und die Mauerschützen // Juristen-Zeitung. 1997. S. 421—434, 431; *Günther K.* Anmerkung zum Urteil des Bundesgerichtshofs vom 03.11.1992 // Strafverteidiger. 1993. S. 18—24, 21 f.; *Jakobs G.* Op. cit. S. 5 ff.; *Kelsen H.* Reine Rechtslehre. Wien, 1960. S. 215 ff.; *Kelsen H.* Allgemeine Theorie der Normen. Wien, 1979. S. 111 ff.; *Schlink B.* Rechtsstaat und revolutionäre Gerechtigkeit // Neue Justiz. 1994. S. 435.

V

На нее же делает ставку и Федеральный конституционный суд. Но не только на нее. При уголовно-правовом преодолении нацистского прошлого этому суду пришлось заниматься лишь теми случаями временного прекращения, продления и отмены срока давности, место которых в системе конституционного права вызывает сомнения. При преодолении коммунистического прошлого он сталкивался с запретом на обратное действие уголовно-правовых норм. То, что этот запрет соответствует статье 103, абзацу 2 Основного закона ФРГ и, таким образом, имеет свое место в Конституции, сомнению не подлежит. И данное обстоятельство имеет важнейшее значение для внутреннего конфликта права. Помнящее право — это уголовное право, многообразное право реституций и компенсаций, это право государственной службы, когда речь идет о должностях и карьерах; а забывающее право — это процессуальное право с его положениями о сроке давности, о давности действия и о юридической силе. Это помнящее и забывающее право — право простое, которое законодатель* может простым парламентским большинством изменять в ту или иную сторону. Внутренний конфликт права здесь разрешается как обычный политический конфликт. Благодаря закрепленному в статье 103, абзаце 2 Конституции запрету на обратное действие уголовно-правовых норм внутренний конфликт права в своем центральном пункте разрешен самим правом; право более высокого порядка задает праву более низкого порядка границу, которую законодатель не может переступить простым парламентским большинством. Как во всех случаях, когда свободная, демократическая и основанная на принципах правового государства конституция устанавливает границы, она и в этом случае укрепляет позицию политически более слабой стороны против более сильной: от желания и потребности общества наказывать она защищает индивида, который заинтересован в том, чтобы не нести наказания, если он не считал и при действовавшем законодательстве не должен был считать свое поведение наказуемым.

Опираясь на формулу Радбруха, Федеральный конституционный суд не так уж много может противопоставить этому конституционно-правовому решению, хотя он, как и Федеральный вер-

* «Законодатель» (der Gesetzgeber) в немецкой юридической литературе — понятие, обозначающее любую законодательную власть, воплощенную в монархе, представительном органе (парламенте, учредительном или конституционном собрании) или народе (при референдуме). — *Примеч. пер.*

ховный суд, привлекает международно-правовой аргумент для усиления и конкретизации естественно-правового аргумента и утверждает, что в понятие справедливости, которой должно уступать неправильное право, входят, в частности, признанные международным правом права человека[36]. Этого, однако, недостаточно, так как формула Радбруха оказывается негодной, причем с двух точек зрения. Во-первых, она не годится для нынешней эпохи, ведь невозможно сегодня предполагать как нечто само собой разумеющееся, что все признают естественное право: можно только самому признавать его и призывать к этому других. Эпоха ренессанса естественного права в конце 1940-х и 1950-х годах[37] прошла, и теперь уже отнюдь не все его признают или считают необходимым признавать. Во-вторых, формула Радбруха не подходит к сегодняшним уголовным делам: ведь нельзя сказать, что если пограничник, стрелявший в перебиравшихся через стену людей, останется ненаказанным, то возникнет непереносимое противоречие между правом и справедливостью, раз то наказание, которого требует справедливость, заключается лишь в незначительном условном сроке лишения свободы[38].

Ввиду недостаточности формулы Радбруха, Федеральный конституционный суд превращает в нечто относительное закрепленный в статье 103, абзаце 2 Основного закона ФРГ запрет на обратное действие права[39]. Этот запрет, считает Федеральный конституционный суд, имеет абсолютный характер только в обычных случаях. Обычный случай — это когда преступление совершено при действующей Конституции и при действующей Конституции должно было бы быть наказано. Тогда его нельзя карать согласно статье уголовного кодекса, которая действует на момент назначения наказания, но не действовала на момент совершения преступления. А если преступление совершено при действии другой конституции, не признававшей разделения властей и основных прав человека, а караться должно при нынешнем Основном законе правового государства, то это не обычный случай, а исключительный, считает Федеральный конституционный суд, и потому здесь запрет на обратное действие права является не абсолютным, а только относи-

[36] BVerfGE 95, 96, 133 ff.

[37] *Kühl K.* Rückblick auf die Renaissance des Naturrechts nach dem 2. Weltkrieg // *Köhler G., Heinz M., Schapp J.* (Hrsg.). Geschichtliche Rechtswissenschaft. Ars Tradendo Innovandoque Aequitatem Sectandi. Gießen, 1990. S. 331 ff.

[38] Ср.: BGH, NJW 1993, 141, 142; BGH, NJW 1994, 2240.

[39] BVerfGE 95, 96, 132f.

тельным. Гражданин, который совершил преступление во время действия другой конституции, а наказание за него нести должен при нынешнем основном законе, не может рассчитывать на безусловную защиту своего доверия к действовавшему в момент совершения преступления праву. Его доверие будет защищено только в том случае, если действовавшее во время совершения преступления право не противоречило справедливости.

Если запрет на обратное действие понимать таким образом, как это делает Федеральный конституционный суд, то он превращается в пустышку. В конституционном государстве, где существует разделение властей и царят основные права человека, наказывать задним числом за то, что произошло в этом государстве раньше, юридически невозможно и без статьи 103, абзаца 2 Основного закона. Уже основные права, сформулированные в статьях 1—19, не позволяют задним числом запрещать поведение гражданина, так как запрет того или иного поведения пригоден и оправдан только ради достижения другого поведения, а запрет задним числом уже не сможет обеспечить другое поведение и поэтому непригоден и не может быть оправдан. Если же этот запрет вовсе не призван воздействовать на того, к кому он обращен, а имеет целью только устрашение других (и для этой цели пригоден), оправдать такой запрет все равно нельзя, потому что он использует того, на кого он направлен, лишь как объект и оскорбляет тем самым его человеческое достоинство.

В противоположность этому, запрет обратного действия рассчитан на изменения представлений о справедливости, о том, чего требуют государственный интерес и благо общества, и таким образом, в частности, на смену системы и режима. Это — ситуации, в которых вместе с представлениями о справедливости меняется также потребность общества в наказании, и общество стремится реализовать эту свою новую потребность задним числом, потому что те представления о справедливости, которые господствовали на момент совершения преступления, общество теперь считает неправильными, а те, которые господствуют теперь, — правильными. Если запрет на обратное действие права не применяется Федеральным конституционным судом в тех случаях, где действовавшее во время совершения преступления право противоречит представлению о справедливости, господствующему во время преследования и осуждения этого преступления, тогда запрет этот лишается своей роли защиты индивида от желания общества наказывать задним числом. Там, где современное представление о справедливости не отличается от прежнего, у общества не возникает потребности в

наказании задним числом и нет никакой причины сопротивляться этой потребности с помощью запрета на обратное действие права.

При такой точке зрения Федерального конституционного суда на запрет обратного действия права не только выглядит бессмысленным специальное временное прекращение его действия Статутом Международного суда в Нюрнберге и законом № 10 Контрольного совета по управлению Германией, но предстает в новом свете также и отмена этого запрета нацистами, обусловленная их стремлением ради утверждения нацистского представления о справедливости более сурово, чем это было возможно в Веймарской республике, наказать преступления, совершенные в период между 1918 и 1933 годами[40]. Даже если более суровое наказание, применявшееся нацистами, является, согласно нашему представлению о справедливости, неправомерным, отмена запрета на обратное действие права в Третьем рейхе не является, если последовательно придерживаться точки зрения Федерального конституционного суда, неправомерной, а предстает декларативным, по сути, излишним признанием относительности этого запрета при сменах политических систем и режимов.

Запрет на обратное действие безразличен к тому, добрые или злые намерения имели те, кто во время совершения преступления угрожали или не угрожали за него наказанием; он безразличен к намерениям тех, кто теперь хочет преследовать и осуждать это преступление; он безразличен к тому, совершалось ли преступление в свое время с добрыми или злыми намерениями; он безразличен к тому, способствует ли наказание в том или ином конкретном случае справедливости или вредит; он только категорически запрещает наказание, если потребность общества в таковом не обрела на момент совершения преступления форму закона. Этот запрет характеризуется формальностью. От этого он вовсе не становится формалистским и позитивистским; он не противостоит как выражение позитивистского представления о гарантии правового порядка естественно-правовым представлениям о справедливости и потребности в наказании. Идея гарантии правового порядка, то есть представление, что человека, который вчера подчинялся праву, сегодня не могут обвинить за это подчинение, являет собой одно из представлений о том, что есть или чем должно быть право. Другими подобными представлениями являются естественно-правовые представления о справедливости и потребность в наказании, с которыми оно может прийти в конфликт. Представление это не по-

[40] Ср.: *Werle G.* Justiz-Strafrecht... S. 167, 348 f., 418 f., 696.

зитивистское; позитивизм вообще ничего не говорит о послушании, о долге или праве послушания[41]. Запрет на обратное действие права в конституционно-правовом порядке либо установлен, либо не установлен, и как одно, так и другое состояние может описываться позитивистски. Если запрет установлен, тогда он гарантирует в одном из важных аспектов надежность того мира, в котором живут люди. Если речь идет о наказании некоего поведения, должно быть так, чтобы человек мог полагаться на право в таком виде, в каком оно действовало на момент осуществления этого поведения. Уголовно-правовой запрет на обратное действие не означает, что данное поведение было нравственно правильным, и не исключает последующих социальных или экономических санкций или отрицательных последствий для работы и карьеры человека. Он означает только одно: что уголовное право не может коснуться того мира, который ушел в прошлое.

VI

Там, где действует запрет на обратное действие права, общество уже не может интегрировать прошедшее в коллективную биографию посредством уголовно-правовой изоляции, а должно осуществлять интеграцию другим способом и интегрировать, в частности, тот факт, что уголовно-правовая изоляция невозможна. Но как, если общество как раз этого не может или не хочет? Если прошедшее настолько страшно, что общество может интегрировать его только через уголовно-правовую изоляцию?

Запрет на обратное действие права гарантирован Конституцией. Он не может быть отменен или изменен простым парламентским законодательным актом. Однако демократические институты, предусмотренные для изменения Конституции, могут если не отменить, то изменить его. Препятствием им будет — наряду с принципами уважения и защиты человеческого достоинства (статья 1 Основного закона) и подчинения судебной практики закону и праву (статья 20) — только статья 79, абзац 3, которая препятствует полной отмене запрета на обратное действие права, но не его изменению[42]. Релятивирование этого запрета, которое осуществлено в судебной практике только ценой его выхолащивания, можно

[41] *Dreier H.* Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kelsen. 2. Auflage. Baden-Baden, 1990, S. 182.

[42] BVerfGE 30, 1, 24 ff.; ср.: *Dreier H.* Op. cit. S. 433; *Grünwald G.* Zur verfassungsrechtlichen... S. 525; *Schlink B.* Das Abhör-Urteil des Bundesverfassungsgerichts // Der Staat. 1973. S. 94 f.

было бы обеспечить и без этой цены — посредством изменения Конституции, внеся в нее поправку, согласно которой запрет этот не имел бы силы применительно к преследованию нацистских или коммунистических преступлений.

На вопрос о наказании задним числом тогда пришлось бы отвечать не судебной практике, а законодателю — на основе политической дискуссии и публичности, подобающих законодательной деятельности, связанной с изменением Конституции. Как предмет изменяющего Конституцию законодательства он в особой мере заслуживал бы публичной дискуссии, ведь вопрос о том, следует ли прошедшее задним числом наказывать и таким образом изолировать или же надо интегрировать его в коллективную биографию другим способом, — это решающий вопрос для преодоления прошлого.

Судебная практика ФРГ не предоставила отвечать на этот вопрос законодательной власти, а ответила на него сама. Тому было, наверное, несколько причин. Во-первых, преступления Третьего рейха были настолько страшны, что реальным казался лишь один ответ на вопрос о возможности наказания задним числом; казалось излишним ждать этого ответа от парламента вместо того, чтобы получить его немедленно от судов, которым и предстояло карать. Во-вторых, судебная практика, релятивируя вместо законодательной власти запрет на обратное действие права для преступлений Третьего рейха, заботилась о сохранении лица. Если право на самом деле всегда основывалось на естественно-правовых принципах, если в Третьем рейхе преступления нацистов невозможно было преследовать и карать по уголовному праву, то, значит, право в Третьем рейхе было на самом деле правильным и только нацистские властители мешали судам вершить правосудие. То есть уголовное преследование в Третьем рейхе было просто затруднено, из чего и исходили при принятии законов о наказании нацистских преступлений в 1940-х годах. В-третьих, — если говорить о коммунистическом прошлом — важен был, вероятно, не столько старый тезис о тоталитаризме, приравнивавший друг к другу нацизм и коммунизм, сколько то обстоятельство, что запрет на обратное действие уголовного права уже был релятивирован. Сравнивать политические системы, с их одинаковым, похожим или различным тоталитаризмом и неправовым устройством, — не дело судов[43];

[43] BGH, NJW 1993, 141, 144f. Федеральный верховный суд, правда, признает, что «убийство людей на границе между ГДР и ФРГ нельзя приравнивать

суды занимаются отдельными преступлениями, и при этом для осуждения коммунистических преступлений вопреки запрету на обратное действие уголовного права они нашли прецедент, который могли с небольшими изменениями применять и применяли.

Таким образом, в рамках конституционного процесса дискуссия о преодолении нацистского и коммунистического прошлого посредством обратно действующего наказания не состоялась и соответствующего решения принято не было. Тем самым право было лишено возможности внести свой вклад в преодоление прошлого. Поскольку запрет на обратное действие права гарантирован Конституцией, именно на конституционном уровне должен был бы быть поставлен и решен вопрос о преодолении прошлого обратно действующим наказанием — как вопрос политический, вопрос особой важности, ответ на который требовал бы публичной политической дискуссии и политической разъяснительной работы. То, что этот вопрос не был таким образом поставлен и решен, явилось потерей для дела преодоления прошлого в Федеративной Республике Германии.

Ведь именно в этом заключается вклад права в преодоление прошлого: не то, каким способом общество конструирует прошедшее и интегрирует его в свою биографию, а то, как оно выбирает способ конструирования и интеграции. Право, конечно, всегда играет важную роль, независимо от того, какой выбор будет сделан: оно поддерживает забвение в забывающих культурах и память в помнящих. Но его собственная роль заключена в том, чтобы предписывать формы и процедуры, в которых принимается решение о способе конструирования и интеграции. Именно право определяет, что изоляция будет осуществляться не посредством «ночи длинных ножей», а посредством уголовных процессов; что уголовные процессы будут проводиться не как революционные трибуналы, а как судебные разбирательства; что это будут судебные разбирательства, в которых судьи не узурпируют право решения, а в духе правового государства проявят уважение к решениям законодателя; что решения законодателя по поводу Конституции будут прини-

к массовым убийствам, совершенным нацистами». Правда, далее в этом постановлении говорится: «Тем не менее остается в силе вынесенное тогда суждение, что при рассмотрении деяний, совершенных по приказанию государства, необходимо учитывать, преступило ли государство тот крайний предел, который ему, по всеобщему убеждению, положен в любой стране»; ср.: *Schlink B.* Rechtsstaat... S. 434.

маться не простым, а квалифицированным большинством, с соответствующей политической дискуссией, гласностью и разъяснительной работой, ведь в этой политической дискуссии речь идет о конструировании прошедшего и его интеграции в биографию общества. Уникальный вклад права в преодоление прошлого заключается именно в том, что оно предписывает формы и процедуры. В этом и его вклад в политическую культуру в целом.

Перевод с немецкого Кирилла Левинсона

Доротея Редепеннинг

RICORDA COSA TI HANNO FATTO IN AUSCHWITZ

Музыка против войны и насилия

Название музыкального электронного произведения, созданного Луиджи Ноно для пьесы Петера Вайса «Дознание»[1], — подходящий девиз для моей статьи, поскольку слово «Auschwitz» — «Освенцим» — стало формулой непостижимого; оно символизирует индивидуальную смерть и индивидуальные страдания, равно как и смерть и страдания миллионов; оно концентрирует в себе расистскую национал-социалистскую политику уничтожения, обозначает Холокост и геноцид, а в более широком смысле оно включает в себя все ужасы Второй мировой войны.

Европейские композиторы посвятили этой тематике самые разнообразные творения: это и богато оркестрованные представительные опусы, написанные для коллективных ритуалов памяти (как, например, «Реквием памяти павших героев» Юрия Левитина, 1946[2]), и сочинения, сбивающие слушателей с толку обилием диссонансов, вызывающим почти физическую боль, что должно способствовать сохранению памяти о страданиях (мемориальные композиции Луиджи Ноно), и, наконец, инструментальные произведения, принадлежность которых к этому тематическому кругу открывается лишь из контекста их создания и позиции автора, — таковы почти все инструментальные сочинения Карла Амадеуса Хартмана или Восьмой струнный квартет Дмитрия Шостаковича (1960), посвященный памяти жертв фашизма и войны. Кладя в

[1] «Die Ermittlung. Oratorium in elf Gesängen» («Дознание. Оратория в одиннадцати песнях»). Премьера прошла 10 октября одновременно в нескольких городах ФРГ и ГДР.

[2] Оратория на слова поэта-пропагандиста Василия Лебедева-Кумача.

основу сочинения литературное произведение[3] или комбинируя тексты различного происхождения, композитор получает возможность изобразить не просто конкретные воспоминания, а вневременные и универсальные истины. В качестве примера можно назвать «Дрезденский реквием» Рудольфа Мауерсбергера[4], в котором немецкий перевод католической панихиды в духе экуменизма соединяется с протестантскими траурными хоралами.

Для фиксации памяти используются авторские и народные песни, шлягеры и, прежде всего, музыка к кинофильмам, а также старые музыкальные произведения, исполняемые в сопровождении ритуалов памяти и таким образом получающие новые функции. Здесь, однако, речь пойдет о так называемой серьезной музыке, опубликованной после 1945 года[5]. Ее авторы обращались к темам плача и обвинения, предостережения и памяти двумя волнами: в первые послевоенные годы и снова в начале 1960-х годов.

Музыкальные композиции, затрагивающие тему политики агрессии и уничтожения, преступлений диктаторских режимов или обращающиеся к войне и ее последствиям, несут отпечаток внешних обстоятельств, которые могли оказать воздействие на авторскую концепцию. Так, художественный образ произведения во многом зависит от того, является ли композитор представителем «страны-победительницы» или «проигравшей страны», «страны-агрессора» или «страны-жертвы», воспринимает ли та или иная нация конец войны как повод для поминовения убитых или как праздник победы. Большую роль играет и то, насколько господствующая в стране политическая система управляет культурой памяти, то есть насколько она стремится прославить в коллективной памяти некоторые события и заставить забыть другие. Наконец, на произведении может отразиться и то, смирился ли поначалу его

[3] «Фуга смерти» Пауля Целана перекладывалась на музыку множеством композиторов, в том числе Петером Ружичкой (1968), Паулем-Хайнцем Диттрихом (1985), Виолетой Динеску (1993), Фелицитас Кукук (1993—1994) и рок-группой «Tau» (1982).

[4] Мауерсбергер с 1930 года до своей смерти в 1971 году был регентом хора дрезденской Kreuzkirche. Его реквием, возникший в 1947—1948 годы, с 13 февраля 1955 года — десятой годовщины бомбардировки Дрездена — каждый год в этот же день исполняется в рамках мемориального ритуала.

[5] Педагогически акцентуированный междисциплинарный подход к этой теме представлен в книге: *Mastnak W.* (Hrsg.). Polyaisthesis. V: Wagnis der Bildung — Klänge, Texte, Bilder, Szenen — 50 Jahre nach Kriegsende und Holocaust. München, 1996.

автор с национал-социализмом, итальянским фашизмом или сталинизмом или даже поддерживал их или же стал «внутренним эмигрантом»[6].

Говоря о внутримузыкальных критериях, следует помнить о том, что в европейской культуре существует консенсус по поводу того, как должно звучать выражение плача и траура. Эти специфические музыкальные образы складывались примерно с момента Французской революции; они являются общепонятными и равным образом используются в вокальных и инструментальных произведениях, как в крупных жанрах, так и в камерной музыке и песнях. Говоря идеал-типически, к таким средствам принадлежат преобладание минора, медленные темпы, низкие регистры, темные тембры, ритмы траурных маршей и мелодика, обладающая семантически нагруженными экспрессивностью и эмфазой благодаря использованию хроматизмов. Этот «инструментарий» использовался еще во время Второй мировой войны, например в таких траурных композициях, как произведение для оркестра Богуслава Мартину «Памятник Лидице», созданное в 1943 году в память об этом чешском городе, уничтоженном нацистами.

В ответ на миллионы смертей и чудовищные глобальные разрушения во время войны и после ее окончания возникает другой композиционный прием, которому отныне отдают предпочтение композиторы Запада. Они склоняются к тому музыкальному языку, который им представляется морально безупречным именно потому, что национал-социалисты считали его «испорченным»: атональности в целом и в особенности додекафонии. Так поступают, например, Арнольд Шёнберг, Луиджи Даллапиккола, Луиджи Ноно и Карл Амадеус Хартман. Их сочинения следуют часто цитируемой формуле Теодора Адорно о том, что «писать стихи после Освенцима — это варварство»[7].

[6] Этот термин впервые был применен к Карлу Амадеусу Хартману, который уединился в Мюнхене, оказывая молчаливое сопротивление. Позже он писал: «Потом пришел 1933 год, принеся горе и безнадежность, а с ним пришло и то, что, по логике, должно было родиться из идеи деспотизма, ужаснейшее из преступлений — война. В том году я осознал, что необходимо высказать свое отношение к той власти — не из отчаяния и страха перед ней, а в качестве ответной реакции». Цит. по: *McCredie A.D.* Zur Biographie Karl Amadeus Hartmanns // *Dibelius U. et al.* (Hrsg.). Komponisten in Bayern. Bd. 27: Karl Amadeus Hartmann. Tutzing, 1995. S. 32. С тех пор Хартман был связан тесной дружбой с Луиджи Даллапиккола.

[7] *Adorno Th.W.* Kulturkritik und Gesellschaft // *Adorno Th.W.* Gesammelte Schriften. Frankfurt; Darmstadt, 1997. Bd. 10/1: Kulturkritik und Gesellschaft I.

Представители противоположной тенденции выбирают именно «стихи», то есть такой музыкальный язык, который сознательно отсылает к времени до или по ту сторону варварства, аргументируя, что ужасу необходимо противопоставить красивое, благородное, морально «лучшее». Эту позицию отстаивает советская эстетика социалистического реализма, провозглашенная в 1934 году; вплоть до конца СССР от нее порой отклонялись, но она никогда принципиально не ставилась под сомнение. Выбор между двумя уровнями музыкального языка, отчетливо стоящий перед западноевропейскими композиторами, в официальном советском дискурсе о музыке отсутствовал, поскольку по законам соцреализма такие методы, как атональность и додекафония, считались признаками упадка культуры, а не средствами музыкального выражения морали[8].

Решение в пользу той или иной идиомы зависело не только от самого композитора, но и от политического и культурного контекста. Проще говоря, советскому композитору после 1945 года в голову бы не пришло написать атональное произведение в память о жертвах фашизма, в то время как немецкий или итальянский композитор воспринял бы «красивое звучание» как эстетизацию ужаса, умаление преступлений и издевательство над жертвами. Понимание того, что та эстетика, которую пропагандировали в первую очередь в Дармштадте[9], тоже строилась на огульном обвинении — только уже в адрес трезвучия и консонанса — и тем самым означала ограничение возможностей выражения, западноевропейским композиторам далось с трудом и только с конца 1960-х годов.

S. 30. В «Негативной диалектике» Адорно пересмотрел это мнение. См.: Ibid. Bd. 6. S. 355. («Многолетнее страдание имеет такое же право на выражение, как и истязаемый — на крик, поэтому, возможно, я ошибался, когда говорил, что после Освенцима невозможно писать стихи».)

[8] См. об этом: *Шнеерсон Г.* О музыке живой и мертвой. М., 1960 (второе издание — 1964). Критическое обсуждение этой позиции см. в: *Redepenning D.* Die «böse» Technik. Zur Funktion von Atonalität und Dodekaphonie in der sowjetischen Musik und Musikpolitik // Das Böse in der russischen Kultur. Kongreßbericht. Köln, 2003 (готовится к изданию).

[9] «Летние курсы международной музыки» были организованы в 1946 году в замке Кранихштейн под Дармштадтом с целью предотвратить возвращение духа фашизма при помощи создания международных культурных сетей. См. документацию в сборнике: *Stephan R. et al.* (Hrsg.). 1946—1996. Von Kranichstein zur Gegenwart. 50 Jahre Darmstädter Ferienkurse. Darmstadt, 1996.

Memento mori: триптих Даллапикколы

Большой вокальный триптих Луиджи Даллапикколы, состоящий из «Canti di Prigionia» («Песен плена»), оперы «Il Prigioniero» («Пленник») и «Canti di Liberazione» («Песен освобождения»), по праву считается выдающимся произведением[10], контрапунктным предостережением от итальянского фашизма. Истриец по происхождению, будущий композитор к концу Первой мировой войны вместе со своей семьей, считавшейся политически неблагонадежной, содержался под арестом в австрийском городе Граце; по собственному утверждению, благодаря своей биографии он с ранних лет остро воспринимал несправедливость и политическое насилие и выработал иммунитет против фашистского влияния[11]. Музыковед Юрг Штенцль, напротив, подчеркивает, что «величие Даллапикколы состоит не в том, что он с самого начала, даже с детских лет прямо шел по "единственно верному" пути, как бы неизбежно приведшему его к его триптиху. Величие Даллапикколы как раз в том, что из убежденного фашиста он превратился в убежденного антифашиста»[12].

В 1938 году, когда Муссолини провозгласил «расовые законы», Даллапиккола женился на еврейке. В этом же году он приступил к работе над «Песнями плена» для хора и инструментального ансамбля, состоящими из «Молитвы Марии Стюарт» (по Стефану Цвейгу), «Мольбы Боэция» (по четырем стихам из работы Боэция «Утешение философией») и «Прощания Джироламо Савонаролы» (по медитациям последнего о псалме «In te Domine speravi» («На тебя, Господи, уповаю»). «Maria Stuarda» впервые прозвучала 17 апреля 1940 года по брюссельскому радио, премьера всего цикла состоялась 11 декабря 1941 года в римском Театре искусств (Teatro delle

[10] *Wildberger J.* Luigi Dallapiccolas musikalische Sternstunde // Schweizerische Musikzeitung. 1975. № 115. S. 171—179.

[11] Genesi dei *Canti di Prigionia* e del *Prigioniero* (1950—1953) (frammento autobiografico) // *Dallapiccola L.* Parole e Musica. A cura di Fiamma Nicolodi. Milano, 1980. P. 399—420 (английский перевод: Notes for an analysis of the Canti di liberazione // Perspectives of New Music. 2000. № 1. P. 5—24. Ср. также: *Kämper D.* Gefangenschaft und Freiheit. Leben und Werk des Komponisten Luigi Dallapiccola. Köln, 1984.

[12] *Stenzl J.* Von Giacomo Puccini zu Luigi Nono. Italienische Musik 1922—1952: Faschismus — Resistenza — Republik. Buren, 1990. S. 151—162. Цитируется S. 151 f.

Arti)[13]. В тот же день Гитлер и Муссолини объявили войну Соединенным Штатам.

В основу одноактной оперы «Пленник», идея которой родилась в 1940 году, лег рассказ «Пытка надеждой» («La torture par l'espérance») из сборника новелл «Новые жестокие сказки» («Nouveaux contes cruels») Филиппа-Огюста Вилье де Лиль-Адана (1838—1889). Либретто было завершено в 1943 году, музыка была написана с 1944 по 1948 год. Безымянному герою рассказа, живущему во времена испанской инквизиции, тюремщик дает возможность бежать из темницы. Однако его задерживает Великий инквизитор, который, как оказывается, и был тем тюремщиком. Последнее слово, звучащее в опере, — горький вопрос пленника: «Свобода?» («La libertà?»).

«Песни освобождения», возникшие между 1951 и 1955 годами, основаны на текстах теолога-реформатора Себастиана Кастеллио (1515—1563), призывавшего к религиозной толерантности, на второй Книге Моисеевой (15:3—5) и на десятой книге «Исповеди» («Confessiones») Аврелия Августина. Опера впервые прозвучала в прямой трансляции по туринскому радио, хоровой цикл — 28 октября 1955 года в Кёльне. На обеих премьерах дирижировал Герман Шерхен, который симпатизировал коммунизму — он, к примеру, обратил внимание Карла Амадеуса Хартмана на соответствующие политические мелодии. Шерхен неустанно выступал в защиту морально безупречных композиторов, чьи произведения подвергались опале со стороны европейских диктатур.

«Песни плена», «Пленник» и «Песни освобождения», которые создавались на протяжении почти тридцати лет, обладают внутренним единством, и потому их по праву называют триптихом. Все три произведения написаны по принципу додекафонии[14], причем

[13] Эта премьера может послужить иллюстрацией удивительной толерантности — или безразличия — фашистского правительства. Это или подобное произведение, текст и композиционная техника которого столь однозначно противоречат официальной эстетике, ни в коем случае не могло бы быть исполнено в Германии или Советском Союзе. Возможно, современный язык композиции потому не натолкнулся на заведомое сопротивление, что «ось авангард — фашизм» (так называется книга Эвы Хессе: *Hesse E.* Die Achse Avantgarde — Faschismus. Zürich, 1991) в Италии проходила иначе, чем в СССР и национал-социалистической Германии.

[14] *Nicolodi F.* Luigi Dallapiccola e la scuola di Vienna. Note in margine a una scelta // Orizzonti musicali italo-europei 1860—1980. Roma, 1990. P. 231—283; *Montecchi G.* Il linguaggio della sopravvivenza: La dodecafonia di Dallapiccola fra metodo e metafora esistenziale // Musica — Realtà. 1997. № 54. P. 79—90.

Даллапиккола выстроил базовую серию таким образом, что на ее основе может прозвучать и средневековая секвенция «Dies irae, dies illa»[15]. Эта мелодия узнаваема и для неопытного слушателя, даже в таком призрачном оформлении. Вплетая эту вполне популярную мелодию во все три произведения, Даллапиккола придает им единую тему, отсылающую к общей европейской истории памяти об усопших. В контексте его сюжетов и его времени эта мелодия звучит как memento mori, что соответствует намерению композитора.

Инструментальный состав «Песен плена» — два рояля, две арфы, литавры, колокола и ударные — к тому же создает суровый, будто бы застывший тембр, усиливающий потрясение от нашей беспомощности перед лицом насильственной смерти. В «Пленнике» используются три базовые додекафонические серии, которые Даллапиккола обозначает как «серию молитвы» (заимствована из «Песен плена»), «серию надежды» (основана на двусмысленном мотиве «Fratello» («Брат»), с помощью которого тюремщик—Великий инквизитор обнадеживает пленника) и «серию свободы» — «свободы», которая получает музыкальное воплощение, но в рамках действия остается утопической. К этому добавляются хоровые интермеццо на латинском языке, комментирующие действие и выбивающиеся из него, которые призваны сбить слушателей с толку. В «Песнях освобождения» используется серия, в которой используются мотивные обороты двух предыдущих сочинений.

Мария Стюарт, Боэций и Савонарола были казнены за свои убеждения; обреченного на смерть пленника пытают ложной надеждой на свободу; наконец, трое авторов из различных контекстов, к которым апеллируют «Песни освобождения», становятся гарантами истинной надежды. На основе литургической мелодии «Dies irae» и взаимосвязанных, семантически нагруженных додекафонических серий Даллапиккола так компонует полагаемые им на музыку тексты, что актуальная тема насильственной смерти получает более широкий исторический смысл. Выбор додекафонического метода, вне зависимости от технических и эстетических соображений, является обращением к той технике, за которую композиторов в европейских диктатурах арестовывали, а в худшем случае и убивали.

[15] Эти стихи были написаны Фомой Челанским. С Тридентского собора они входят в католическую панихиду, а Вторым ватиканским собором (1962—1965) были из нее исключены. В музыке кошмарные образы «Dies irae» (Судного дня) особенно выразительно оформлялись в реквиемах начиная с XVIII века. Соответствующая мелодия (без слов) вошла в канон инструментальной музыки символом гибели и смерти.

«Победа» — эпиграф к творчеству советских композиторов?

Самое значимое советское произведение о конце войны — это не кантата и не оратория[16] из числа тех, которые в большом количестве возникли в конце 1940-х и начале 1950-х годов (в том числе и в результате ждановских постановлений о культуре[17]) и прославляли Сталина и Красную армию, а Девятая симфония Дмитрия Шостаковича. Его Седьмая симфония получила всемирную известность как музыкальный символ борьбы с фашизмом[18]; Восьмая считалась серьезным произведением и сравнивалась любителями творчества композитора (такими, как музыковед, академик Борис Асафьев) с творениями Данте и Микеланджело[19]. Современники—соотечественники Шостаковича воспринимали обе симфонии как мемориальные композиции о войне, и потому неудивительно, что его коллеги Арам Хачатурян и Юрий Шапорин еще в апреле 1944 года публично высказали предположение, что Седьмая и Восьмая симфонии являются частями еще не оконченной трилогии[20]. Поэтому естественно было ожидать от Шостаковича триумфальную Девятую, объединяющую военные симфонии в трилогию и одновременно венчавшую установленную Бетховеном, Брукнером и Малером традицию «девятки» советским произведением. Сам Шостакович подпитывал такие надежды, провозглашая 7 ноября 1944 года в «Советском искусстве»: «Во мне, как, вероятно, в каждом советском художнике, живет беспокойная мечта о произведении большой формы, в котором нашли бы свое выражение те огромные чувства, что владеют нами

[16] Вроде «Реквиема памяти павших героев» Левитина, «Героев бессмертных» Евгения Голубева (1946), «Русской земли» Василия Дехтерева (1950), «На страже мира» Сергея Прокофьева. В утвердительном ключе они рассматриваются в: *Хохловкина А.* Советская оратория. М., 1955.

[17] Постановления от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», от 26 августа 1946 года о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, от 4 сентября 1946 года о кинофильме «Большая жизнь», от 10 февраля 1948 года об опере Вано Мурадели «Великая дружба».

[18] Наиболее достоверно даты и факты жизни композитора приводятся в биографии: *Fay L.* Shostakovich. A Life. Oxford, 2000.

[19] *Хентова С.* Шостакович: В 2 т. Ленинград, 1985. Т. 2. С. 19.

[20] Там же. Т. 2. С. 207.

сегодня. Я думаю, что эпиграфом ко всему нашему творчеству ближайших лет будет короткое и великое слово "Победа"»[21].

В самом деле Шостакович несколько раз брал разбег для написания большой симфонической оды и даже играл друзьям отрывки из нее на фортепьяно: Исаак Гликман вспоминает ее первую часть, «величественн[ую] по своему размаху, патетике, захватывающему дух движению»[22]. Но то, что прозвучало на торжественной премьере 3 ноября 1946 года, в 28-ю годовщину Октябрьской революции, не имело с этим ничего общего: это была симфония в стиле неоклассицизма, длящаяся менее получаса, симфония, пренебрегающая великой традицией своего жанра, включая и предыдущие симфонии Шостаковича, наконец, симфония, очевидно, сознательно написанная в ми-бемоль мажоре, в полутоне от ре мажора — тональности великих девятых симфоний, или же пародирующая героический габитус, ассоциируемый с тональностью ми-бемоль мажор со времен «Героической симфонии» Бетховена[23]. Этот отказ, очевидный по внешней форме композиции, не препятствовал стихийному восхищению — три последних части по просьбе публики были повторены, да и реакция прессы была вполне положительной[24]. Пусть эта симфония очевидно не соответствовала официальным ожиданиям, все же, по всей видимости, существовала большая фракция вполне влиятельных музыкантов, обеспечивших произведению и его автору благоприятный климат. Однако этот климат испортился, самое позднее, с первым ждановским трибуналом, что доказывает злобная статья Израиля Нестьева[25]. Именно на этот более поздний период композитор ссылается в изданных Соломоном Волковым мемуарах, когда дает понять, что Сталин воспринял симфонию как личное оскорбление[26].

[21] *Шостакович Д.* Под знаком победы // Советское искусство. 7.11.1944. № 1(925). С. 3.

[22] Ср.: Письма к другу. Письма Д.Д. Шостаковича к И.Д. Гликману / Под ред. И.Д. Гликмана. СПб., 1993. С. 70. Сн. 3.

[23] Это наблюдение на посвященной Шостаковичу конференции в Бонне в 2004 году озвучил Хартмут Шик.

[24] Даниил Житомирский в «Советском искусстве» (30.11.1945) и Николай Тимофеев в «Советской музыке» (1946. № 1) опубликовали одобрительные рецензии. Симфония даже была выдвинута на Сталинскую премию, правда, не получила ее.

[25] Опубликовано 30 сентября 1946 года в газете «Культура и жизнь».

[26] *Volkow S.* (Hrsg.). Zeugenaussage. Die Memoiren des Dmitrij Schostakowitsch. Frankfurt, 1981. S. 186 f. (Первое издание: *Shostakovich D.D.* Testimony: The memoirs of Dmitri Shostakovich / Transcribed and edited by Solomon Volkov. N.Y.:

В советской историографии музыки для определения этой симфонии установились такие эпитеты, как «жизнерадостная», «легкая», «веселая»[27], скрывающие тот факт, что тональность ми-бемоль мажор образует резкий диссонанс по отношению к другим «девятым» и что помимо «жизнерадостности» существует и другая возможная интерпретация симфонии: ее можно истолковать как «антидевятую», провозглашающую смерть гуманистического послания Бетховена и традиции его музыкального выражения.

Об этом говорит нестабильная гармония первой темы в первой части симфонии, а также инструментовка второй темы: подчеркнутый затакт первого тромбона, тамбурин, литавры и треугольник: оркестровка, звучащая как пародия на военных или карнавальных барабанщиков и трубачей и получающая легкий вульгарный оттенок, когда медные инструменты повторяют тему пикколо. Медленная часть создает ощущение не только простоты, но и скудости и уныния — кантилены исполняются на деревянных духовых инструментах почти без сопровождения. Скерцо звучит как гротескный танец, ларго состоит из дважды повторяемого жеста-объявления трех тромбонов, за которым оба раза следует речитатив фагота. Назальный тембр напоминает человеческий голос (конкретно — «Ах друзья, довольно этих звуков, начнем более приятные и радостные!» из соло баритона в финале Девятой Бетховена) — скорее всего, умышленно.

Пример № 1: Соло фагота из ларго Девятой симфонии Шостаковича и баритонное соло из финала Девятой симфонии Бетховена.



Harper and Row, 1979. Русский оригинал рукописи до сих пор не издан. — *Примеч. пер.*).

Эту цепь музыкальных ассоциаций при помощи старой полифонической техники диминуции разрывает финал-рондо: сольный фагот, который только что говорил человеческим голосом, вдруг начинает исполнять танцевальную мелодию, о которой невозможно сказать, относится ли она к цирку или к канканам Жака Оффенбаха.

На этот раз Шостакович превосходит дерзкое, вызывающее звучание своих ранних произведений: к концу симфонии композитор прибегает к праздничной оркестровке, поистине достойной апофеоза и соответствующей тону парадов победы того времени. Но этот тон лишь усиливает мелодию цирка и канкана, завершающуюся, наконец, стреттой в очень быстром темпе. Так апофеоз превращается в пародию, в фарс, а симфония оборачивается признанием, что гуманистический оптимизм Бетховена и Шиллера, их «Радость, пламя неземное» и «Обнимитесь, миллионы!» перед лицом этой войны утратили свою действенность.

«A Requiem for those we love» — первые послевоенные годы

«Реквием» Пауля Хиндемита, написанный сразу после войны и впервые сыгранный 14 мая 1956 года в Нью-Йорке, основан на элегии Уолта Уитмена «When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd» («Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень»)[28]. Этот

[27] «Симфония отличается [...] некоторой "облегченностью" замысла, что сказалось и в ее тематизме, и в камерной трактовке цикла, приближающей это произведение скорее к жанру симфониетты. Жизнерадостная, веселая музыка симфонии оказалась все же написанной совсем в ином плане, чем предполагали советские слушатели, ожидавшие от талантливейшего композитора создания симфонии Победы» (История советской музыки. Издание Института истории искусств Академии наук СССР. Т. 3: 1941—1945. М., 1959. С. 352).

[28] Цикл из 16 стихотворений различной длины, датированный 1865—1866 годами и переработанный в 1888 году. Цикл открывает группа стихотворений «Memories of President Lincoln» («Памяти президента Линкольна»). См.: *Whitman W.* Leaves of Grass. Final Edition, 1891/92. О произведении Хиндемита см.: *Rugoff K.* Three American Requiems: Contemplating «When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd» // *Kramer L.* (Ed.). Walt Whitman and modern music: War, desire, and the trials of nationhood. New York, 2000. P. 133—150; *Coleman-Hull Ph.* A Visionary Backward Glance: The Divided Experience in Paul Hindemith's When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd: A Requiem «For Those We Love». // Ibid. 89—

стихотворный цикл об американской Гражданской войне и убийстве Авраама Линкольна (15 апреля 1865 года) представляет собой гимн просторам природы и соединяет патриотизм с пацифизмом. Контекстом выбора этого текста и первоначального названия — «An American Requiem» («Американский реквием») — был внешний параллелизм событий (Вторая мировая война и смерть президента Франклина Рузвельта 12 апреля 1945 года), а также тот факт, что Хиндемит 17 января 1946 года получил американское гражданство[29]. К этому добавляется давняя любовь к Уитмену[30]. Хиндемит положил на музыку английский оригинал цикла, а для исполнения на немецком языке сам перевел его. Полное название звучит как «When lilacs last in the dooryard bloom'd — A Requiem „for those we love" — Als Flieder jüngst mir im Garten blüht' — ein Requiem „für die, die wir lieben"».

Реквием состоит из одиннадцати частей, как и полный литургический реквием (включая «In Paradisum» — «В рай» и «Libera me» — «Избавь меня»). Однако Хиндемит подчеркивает, что его произведение «не следует форме церковного реквиема»[31]. Бросается в глаза, что композитор в этом произведении использует очень разные жанры, такие, как песня, введение и фуга, марш, соло, дуэты и «гимн смерти», а в центре вводит пассакалию. Фуга и пассакалия — строгие формы, сосредоточенные вокруг одной темы (в случае пассакалии это бас остинато или точное повторение мелодии в басу); это самые строгие из всех форм, возникших в европейской музыкальной культуре в XVII веке и оставшихся в употреблении. Песня (song) и гимн (carol) относятся к англоязычному фольклору. Таким образом, Хиндемит стремится слить воедино разные традиции и разные стилистические уровни, не лишая их своеобразия. Он этого добивается, комбинируя свое представление о расширен-

107. [Название стихотворения Уитмена и цитаты из него приводятся по переводу Корнея Чуковского. — *Примеч. пер.*]

[29] *Hindemith P.* Sämtliche Werke. Bd. VII, 2 / Hrsg. von Charles Jacobs. Mainz, 1986. S. IX. В своих письмах и высказываниях этого времени композитор подчеркивал американский аспект своего творчества и удивительно мало говорил о Второй мировой войне (Ibid. S. IX f.).

[30] В 1919 году он положил на музыку «Три гимна» Уитмена в немецком переводе (ор. 14). Как указывает Андреас Бринер, Хиндемит примерно в то же время купил несколько томов Уитмена и, скорее всего, уже тогда познакомился с циклом «Когда во дворе...». См.: *Briner A.* Paul Hindemiths Requiem // Musik und Kirche. 1995. № 65. S. 321—326.

[31] *Hindemith P.* Op. cit. S. IX.

ной тональности[32] с семантически нагруженными минорными трезвучиями и, в первую очередь в финальной части, используя медные духовые инструменты и колокола — тембры, традиционные для публичных траурных церемоний.

В связи со второй частью двойного заголовка — «Реквием *для тех, кого мы любим*» — сочинение Хиндемита заслуживает особого внимания. В середине восьмой части, «Sing on, you gray-brown bird» («Пой, серо-бурая птица»), встречается единственное отклонение от уитменовского текста: после строки «Appear'd the cloud, appear'd the long black trail» («Надвинулась туча, длинный и черный плащ», или в немецком переводе Хиндемита: «подавленное шествие») в партитуре поверх нот еще раз повторяется подзаголовок всей композиции.

Пример № 2: Традиционная еврейская мелодия (цит. по Г. Шуберту) / Хиндемит, Реквием, часть 8, такт 52 и сл.



Здесь Хиндемит точно цитирует традиционную еврейскую мелодию — прощальную песню, которая может означать и прощание навсегда[33]. При упоминании черного, или «подавленного», шествия композитор отклоняется от уитменовского контекста и поручает первым скрипкам мелодию еврейской песни. Таким образом он конкретизирует свое произведение, темой которого становится уже не война вообще, а преследование евреев в «третьем рейхе»: «the long black trail» у Хиндемита из уитменовского «черного плаща» превращается в «подавленное шествие» — вереницу идущих на

[32] См.: *Hindemith P.* Unterweisung im Tonsatz. I. Theoretischer Teil. Mainz, 1937. II. Übungsbuch. Mainz, 1939. Английский вариант: Craft of Musical Composition. Vol. I. London, 1942, Vol. II. London, 1941.

[33] Это наблюдение принадлежит Киму Ковальке: *Kowalke K.H.* For those we love: Hindemith, Whitman, and *An American Requiem* // Journal of the American Musicological Society. 1997. № 1. S. 133—174. Реферат этой статьи см.: *Schubert G.* Paul Hindemiths musikalische Reaktion auf den Holocaust: Das Zitat einer jüdischen Weise im Flieder-Requiem // Neue Zeitschrift für Musik. 1998. №3. S. 44—48.

смерть евреев. В своих высказываниях того времени Хиндемит ничего об этом не говорит; и только вставленный, словно цитата, в кавычках подзаголовок над инструментальным пассажем настораживает: Хиндемит называет свое произведение «When lilacs last in the dooryard bloom'd — A Requiem "for those we love"»; заголовок и текст принадлежат Уитмену; подзаголовок Хиндемита представляет собой цитату из первого куплета еврейской песни. В результате текст Хиндемита звучит как парафраз слов Уитмена «of him I love». Эти слова не только актуализируют произведение, но и указывают на действительного адресата посвящения. Строками из стихотворения глубоко уважаемого им Уитмена Хиндемит напоминает об убитых национал-социалистами евреях и тем самым делает признание, которое нет необходимости провозглашать словами.

К песне прибегают и Арнольд Шёнберг, и Карл Амадеус Хартман. Шёнберг, уже взрослым принявший в 1898 году крещение по евангелическому обряду, в 1933 году, в парижской эмиграции, вернулся к иудейской вере. В 1947 году по заказу Музыкального фонда Сергея Кусевицкого он сочинил мемориальное произведение «A Survivor from Warsaw» («Уцелевший из Варшавы»), премьера которого состоялась 4 ноября 1948 года. То, что оно является кантатой, видно по составу: чтец, мужской хор и большой оркестр. Текст основан на материалах, которые Шёнберг получил «прямыми и косвенными путями»[34]. От лица жертвы-наблюдателя рассказывается о непостижимой жестокости жизни в лагере. Случайно уцелев, окруженный телами убитых, он слышит, как узники рассчитываются перед отправкой в газовые камеры и как, перед лицом смерти, они запевают стихи «Шма Исраэль», предшествующие в еврейской литургии главной молитве раввина. Шёнберг инсценирует одновременность нейтрального рассказа и мучительно прорывающейся памяти, заставляя рассказчика говорить по-английски, как будто он выступает перед международным трибуналом[35], но при этом цитировать «фельдфебеля» на берлинском диалекте; терзаемые же и обреченные на смерть узники лагеря предстают как мужской хор, поющий в унисон. Потрясающий эффект этой кульминационной части произведения, которую образует все более быстрое выкрикивание номеров на фоне все ускоряющегося темпа,

[34] *Schönberg A.* Chorwerke II: Kritischer Bericht, Skizzen, Fragmente // Sämtliche Werke. Abteilung V. Reihe B. Bd. 18. Mainz, 1977. S. 61.

[35] Образцом могли стать и Нюрнбергские процессы, начавшиеся в ноябре 1945-го и длившиеся до 1949 года.

придают могущественное единство мужских голосов и древнееврейский язык. И то и другое цельно возвышаются над описанным контекстом, облагораживая иудейскую веру и жертв Холокоста.

Пример № 3: Шёнберг: A Survivor from Warsaw, такты 80—84 (Слушай, Израиль! (только голоса)).



«Уцелевший» сочинен при помощи додекафонической техники[36], и Шёнберг вполне осознанно подчеркивает «Шма Исраэль» как намек на литургическую интонацию и как характерную мелодию: уже в самом начале она, сыгранная на валторне, вполне отчетливо сопровождает слова «... the old prayer they had neglected for so many years, the forgotten creed!» («старая молитва, которой они столько лет пренебрегали, забытая вера!»). После этого ее легко узнать, когда она возвращается уже в качестве мелодии мужского хора. К этому добавляется тот факт, что национал-социалисты считали додекафонию «испорченным» приемом и, опираясь на псевдонаучные аргументы Макса Нордау[37] и Альфреда Розенберга[38], по методу судили и об авторе — кто его использует, тот и сам «испорчен». Таким образом этот прием облагораживался: использующий его композитор, становясь «испорченным», солидаризировался с жертвами нацизма. Вернувшись к вере своих отцов, Шёнберг не мог трактовать этот сюжет иначе как в рамках додекафонии. Но вне зависимости от этого, комбинируя мужской хор с тромбоном и в

[36] Подробный анализ с точки зрения техники серийной музыки см. в: *Schiller D.M.* Bloch, Schoenberg, and Bernstein. Assimilation Jewish Music. Oxford, 2003. P. 74—126.

[37] *Nordau M.* Entartung: 2 Bde. Berlin, 1892—1893. Идеи Нордау оказали большое влияние на национал-социализм, но при этом нацисты умалчивали об этом влиянии в связи с еврейским происхождением Нордау. Главным авторитетом для Нордау и адресатом посвящения его творения был итальянский врач и психиатр Чезаре Ломброзо, привлекший внимание за пределами профессионального круга тем, что постулировал связь между душевными заболеваниями, с одной стороны, и физическими недостатками и преступностью — с другой. Нордау читали и в Советском Союзе. См.: *Günther H.* Der sozialistische Übermensch. M. Gor'kij und der sowjetische Heldenmythos. Stuttgart; Weimar, 1993.

[38] *Rosenberg A.* Der Mythus des 20. Jahrhunderts. München, 1930.

целом прибегая к симфонизму, он возвращается к устаревшему звуковому пафосу конца XIX века. Поэтому Шёнберга иногда обвиняли в эстетизации ужаса[39].

Карл Амадеус Хартман, начавший свою карьеру в 1920-е годы как автор дерзких произведений, отчасти вдохновленных джазом, с 1933 года полностью ушел из музыкальной жизни Германии[40] и стал сознательно сочинять музыку «звукового сопротивления», подчеркивая этот замысел при помощи подзаголовков, комментариев к текстам, посвящений и отголосков преимущественно из еврейских мелодий и социалистических песен[41].

Такое название, как «Соната для фортепьяно, 27 апреля 1945 года», очевидным образом играет роль дневниковой датировки; в качестве «записи» Хартман добавил к нему фразу: «27 и 28 апреля мимо нас протащился людской поток из 20 000 дахауских "превентивно заключенных" — бесконечным было это шествие — бесконечной была боль — бесконечной была боль»[42].

[39] *Mäckelmann M.* Arnold Schönberg und das Judentum. Ein Komponist und sein religiöses, nationales und politisches Selbstverständnis nach 1921. Hamburg, 1984; *Strasser M. A survivor from Warsaw* as personal parable // Music and Letters. 1995. № 1. P. 52—63; *Föllmi B.A.*: «I cannot remember ev'rything»: Eine narratologische Analyse von Arnold Schönbergs Kantate *A survivor from Warsaw*, op. 46 // Archiv für Musikwissenschaft. 1998. № 1. S. 28—56.

[40] Как рассказывает Макс Зее: «Когда в 1935 году я вернулся в Мюнхен, я нашел Хартмана совершенно изменившимся. Прежний музыкальный enfant terrible, бесноватый создатель бурлесков и персифляжей, превратился в патетического композитора». См.: *McCredie A.D.* Op. cit. S. 35.

[41] Так, в написанном в 1939 году и впервые представленном в Санкт-Галлене «Concerto funèbre» («Похоронном концерте») в соло на скрипке цитируется песня «Вы жертвою пали». Она возникла в российской революционной среде в конце XIX века, после Октябрьской революции стала похоронным маршем для павших в бою коммунистов, а позже выполняла ту же функцию в международной левой среде.

Опера «Simplicius Simplizissimus» была написана в 1934—1935 годах на либретто Германа Шерхена, Вольфганга Петцета и Хартмана по произведению Ханса Якоба фон Гриммельсхаузена и сперва называлась «Des Simplizzissimus Jugend» («Юность Симплициссимуса»). Премьера этой мрачной притчи о деспотизме состоялась в 1948 году. В ней, а также в Первом струнном квартете и в других произведениях Хартман сознательно использует отголоски еврейских интонаций.

[42] Настоящая дата возникновения неизвестна. См.: *Heister H.W.* Ende und Neubeginn: Karl Amadeus Hartmann: 2. Klaviersonate «27. April 1945» // Die dunkle Last: Musik und Nationalsozialismus / Hrsg. von Brunhilde Sonntag. Köln, 1999. S. 318—335.

Тем самым произведение превращается в музыкальное напоминание. Дата — не указание на время создания произведения, а составная часть названия и указание на ситуацию: незадолго до прихода союзнических войск национал-социалисты попытались эвакуировать узников из концлагерей, насильственно гоня их в тыл; именно о таком марше смерти напоминает Хартман[43]. Одновременно композитор, симпатизировавший тогда коммунизму, пробуждает надежду, намекая в скерцо на «Интернационал», а в финале цитируя песню времен Гражданской войны «По долинам и по взгорьям», ставшую известной в немецком переводе Эрнста Буша как «Die Partisanen vom Amur».

Первая симфония с альтовым соло (1955) носит подзаголовок «Опыт реквиема»[44]. В нем используются выдержки из все той же элегии Уитмена «When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd». Произведение состоит из пяти частей: «Беда», «Весна», «Вариации» для оркестра, «Слезы» и «Мольба». В отличие от Хиндемита, Хартман использует немецкий перевод, который он к тому же видоизменяет. Вот что звучит у Хартмана в «Весне»:

Стихи Уитмена

When lilacs last in the dooryard bloom'd,
And the great star early droop'd in the western sky in the night,
I mourn'd, and yet shall mourn with ever-returning spring.
Ever-returning spring, trinity sure to me you bring,
Lilac blooming perennial and drooping star in the west,
And thought of him I love.

[Перевод Чуковского

Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень
И никла большая звезда на западном небе в ночи,
Я плакал и всегда буду плакать — всякий раз, как вернется весна.
Каждой новой весной эти трое будут снова со мной!
Сирень в цвету, и звезда, что на западе никнет,
И мысль о нем, о любимом.]

Текст Хартмана

Als jüngst der Flieder blühte vor der Tür
Und der Stern am Himmel früh in die Nacht sank,

[43] Союзники прибыли в Дахау 29 апреля 1945 года, через день после даты, указанной в названии хартмановской сонаты.

[44] Она была задумана в 1935—1936 годах как Симфонический фрагмент в пяти частях, в 1948-м переработана и впервые представлена с подзаголовком «Опыт реквиема», а с 1950 по 1955 год снова переработана и названа Первой симфонией, при том что Вторая—Шестая симфонии возникли раньше.

Trauerte ich, und werde trauern mit jedem
Frühling neu
So oft du, Frühling, wiederkehrst, Dreiheit immer wirst du uns bringen:
Flieder blühend jedes Jahr, Elend, ach, gibst du uns all.
Und Gedanken an den Tod, der uns nah*.

Хартман превращает уитменовский мотив любовного поминания в слова о «горе» и «смерти». Из музыки явствует, что имеются в виду мотивы на тему «vanitas» («суета, суета сует, пустота, тщетность, бесполезность, ложность, бессодержательность» — *лат.*), хорошо знакомые Хартману в связи с его работой над Гриммельсхаузеном. В свободном атональном контексте певческий голос исполняет своего рода хорал, в котором отчетливо проявляется минорный лад. Песенность мотива подчеркивается посредством повторения одной из строк мелодии, а специфические интервалы указывают одновременно на две линии традиции: поступенная мелодика — атрибут хоралов XVII века, в том числе и периода Тридцатилетней войны; ярко выраженный вводный тон (в данном случае — ми) и малые секунды отсылают к песням на идише, которые Хартман с 1933 года сознательно включал в свои произведения.

Пример № 4: Хартман, 1 симфония, «Весна», заключительные такты (только голос)

№ 122 // Еврейская народная песня / Под ред. М.Д. Голдина. СПб., 1994 (транспонировано)

№ 528 // Evangelisches Gesangbuch (транспонировано)



Эти сходства призрачны; но именно так оно и задумано композитором. Точная цитата означала бы окончательный выбор, Харт-

* Изменения Хартмана касаются двух последних стихов. Дословно он пишет: «Ах, горе, каждый год ты всем нам даешь цветущую сирень / И мысли о близкой нам смерти». — *Примеч. пер.*

ман же, очевидно, стремится к исторической, историко-культурной и даже конфессиональной открытости, которая и возникает в результате неоднозначности музыкальных аллюзий. Таким образом, он выступает за всеохватывающую человечность. Средства музыки в особой мере позволяют достичь этого эффекта, ведь пусть не текст, но мелодия и оркестровое сопровождение своей полисемантичностью придают посланию произведения гуманистический смысл, трансцендирующий время и пространство.

«I am the enemy you killed, my friend» — 1960-е годы

В первой половине 1960-х годов в европейской музыке возникает целый ряд композиций, специально написанных в память о жертвах Второй мировой войны. Это происходит параллельно с интернационализацией западноевропейской «новой музыки» в таких центрах, как Дармштадт и Донауэшинген, и через фестивали вроде «Варшавской осени» и независимо от «ангажированной музыки» многих молодых композиторов, сознательно отмежевавшихся от старшего поколения, сделав выбор в пользу додекафонии или так называемой сериальной[45] музыки, а также в пользу политических сюжетов. В Советском Союзе, где эстетический дискурс, несмотря на «оттепель», по-прежнему определялся соцреализмом, в эти годы тоже появляется большое количество мемориальных композиций. Можно предполагать, что художественную память пробудили и политизировали самые разные факторы, оказавшие как непосредственное, так и опосредованное влияние на композиторов: кубинский кризис 1962 года, потрясший весь мир и породивший коллективную панику; франкфуртский процесс 1963—1965 годов над убийцами Освенцима; война в Алжире, вызвавшая негодование в особенности средиземноморских интеллектуалов; война во Вьетнаме, которая все больше притягивала внимание Западной Европы после вступления в нее США в 1964—1965 года; или антисемитизм, вспыхивающий, в том числе, и в ФРГ.

О новом политическом сознании свидетельствует возникшая в 1961 году совместная продукция западн- и восточногерманских композиторов Бориса Блахера, Рудольфа Вагнер-Регени, Карла

[45] Русский язык, как и немецкий, различает два атрибута: «серийный» (в отношении мелодии) и «сериальный» (в отношении параметров музыкального оформления).

Амадеуса Хартмана, Ханса Вернера Хенце и Пауля Дессау «Еврейская хроника» (на слова Йенса Герлаха), в которой музыканты участвовали по убеждению, несмотря на разницу в эстетических позициях. Их объединяла уверенность в том, что «убийство миллионов человек не может быть искуплено, но на живущих сегодня наложена обязанность предотвратить повторение подобных ужасов»[46]. Фоном для этих заявлений послужили произошедшие тогда антисемитские выходки и стремление сопротивляться им; люди, отвечающие в обоих немецких государствах за политику культуры, тоже были едины в моральной оценке происходящего, и премьеры «Еврейской хроники», и «Дознания» Вайса состоялись почти одновременно в ФРГ и ГДР: 14 января 1966 года в Кёльне и 15 февраля того же года в Лейпциге.

О подобном политическом сознании говорит и «Tren ofiaram Hiroszimy» («Плач по жертвам Хиросимы», 1960) Кшиштофа Пендерецкого, изначально называвшийся «8'37''», по продолжительности сброса атомной бомбы, и большое хоровое произведение Пендерецкого «Dies irae» (1967), посвященное памяти убитых в Освенциме. «Эпитафия для Акити Кубоямы» для чтеца, звуков речи и магнитофонной пленки (1962) посвящена названному в заголовке рыбаку, умершему в 1954 году в результате радиоактивного загрязнения[47]. В «Gesang der Jünglinge» («Песнь отроков») Карлхайнца Штокгаузена (1955—1956) речь идет о трех молодых мужчинах, которых Навуходоносор в (считающейся апокрифом) Книге пророка Даниила велит бросить в печь (Дан. 3), также является мемориальной композицией, в которой звучит электронно обработанный голос мальчика.

В 1962 году состоялась премьера «Военного реквиема» Бенджамина Бриттена. Поводом стало повторное освящение разрушенного в 1940 году немецкой авиацией собора в Ковентри[48]. Бриттен

[46] *Eimert H.* Ein Bekenntniswerk von fünf Komponisten // Melos. 1966. № 33. S. 56—57.

[47] *Spangemacher F.* Hiroshima in der Musik. Bemerkungen zu einigen Kompositionen mit dem «Thema» der nuklearen Bedrohung // Schweizerische Musikzeitung. 1980. № 2. S. 78—88.

[48] Премьера состоялась 30 мая 1962 года в здании, соединяющем строение с современным дизайном. Она стала национальным и международным ритуалом памяти и мира. Как по музыкальным, так и по политико-пацифистским соображениям Бриттен пригласил в качестве солистов Питера Пирса, Дитриха Фишер-Дискау и Галину Вишневскую. Но в результате сопранная партия досталась Хизер Харпер, поскольку советские власти не выпустили из страны

актуализирует литургический текст, соединяя его со стихами погибшего на Первой мировой войне поэта Уилфреда Оуэна. За строкой из литургии «Dona nobis pacem» («Даруй нам мир») следуют слова Оуэна: «I am the enemy you killed, my friend» («Я тот враг, которого ты убил, друг мой»), а затем — примирительный дуэт со словами: «Let us sleep now» («Дайте теперь нашим душам покой»), спетый Питером Пирсом и Дитрихом Фишер-Дескау, выдающимися солистами, гражданами ранее враждебных стран. Этот финал производит сильное воздействие на слушателей и направлен на усиление выразительности пацифистской миссии произведения.

Инструментализация памяти в Советском Союзе

В советском контексте память о Второй мировой войне была включена в официальную культуру памяти[49]. Из нее чеканили «героизм», советский миф о прогрессе и «борьбу за мир», которая велась кровавыми методами в Венгрии, а позже и в Чехословакии. Напротив, память о жертвах сталинизма официально табуировалась, о чем свидетельствует, например, многолетний запрет на «Реквием» Анны Ахматовой и одноименное произведение Бориса Тищенко, написанное на этот текст[50]. Ранние работы Альфреда Шнитке — оратория «Нагасаки», представленная им в 1958 году в качестве экзаменационной работы, и завершенные в 1959 году «Песни войны и мира» для сопрано, хора и оркестра — вписываются в советское понимание гуманизма: Шнитке в «Песнях» следует установке на использование фольклора, таким образом под-

Галину Вишневскую, несмотря на ее международную известность, нечаянно придав тем самым этому событию особую значимость.

[49] О культуре памяти в Советском Союзе и бывшем «восточном блоке» см.: *Grüner F., Heftrich U., Löwe H.-D.* (Hrsg.). «Die Kunst ist der Zerstörer des Schweigens». Die nationalsozialistische Rassen- und Vernichtungspolitik: Formen künstlerischer Erinnerung in Osteuropa — Literatur, Film, Kunst und Musik (в печати), а также настоящий сборник.

[50] Поэма, возникшая в 1935—1940 годы, впервые появилась в печати в 1989 году в рамках празднования столетия со дня рождения Анны Ахматовой в Ленинграде. Произведение Тищенко, впервые исполненное по тому же поводу, было завершено в 1966 году. См.: *Redepenning D.* Requiem von Boris Tischtschenko auf Worte von Anna Achmatova // *Danuser H. et al.* (Hrsg.). Sowjetische Musik im Lichte der Perestroika. Laaber, 1990. S. 155—170.

черкивая требуемую властью народность, а звучащая в оратории критика сброса атомной бомбы на Нагасаки соответствовала антиамериканизму времен «холодной войны»[51]. Выступление за мир в оратории Юрия Левитина «Хиросима не должна повториться!» (1967) также может быть истолковано как антиамериканская пропаганда.

Парадным примером официальной советской культуры памяти может послужить монументальный реквием Дмитрия Кабалевского, написанный в 1962—1963 годы на высоко оцененные слова Роберта Рождественского[52] и посвященный композитором «памяти тех, кто погиб в борьбе с фашизмом». Богатый состав — хор, детский хор, меццо-сопрано и баритонное соло, а также длина постановки (около 90 минут) говорят о претензии композитора на репрезентативность. И здесь можно отметить точки соприкосновения с церковной панихидой: в Советском Союзе церковные ритуалы присваивались для собственных целей, а идея продолжения жизни в раю и воскресения в Судный день переносилась на сегодняшнее время, на советскую современность. Текст Рождественского использует древние русские фольклоризмы, языческие образы природы и архаичные слова. Все это он связывает с советскими идеями (индустриального) строительства будущего и словами о планетах и звездах, намекая на советский прорыв в космос. Эта внутренняя структура, с одной стороны, подчеркивает универсальные притязания, которые основаны на традиции, восходящей к седой древности, и именно поэтому позволят советским людям прежде всех овладеть будущим. С другой стороны, в этой внутренней структуре плач по умершим все сильнее уходит на задний план, уступая место представлениям о грядущем. Исполненные «хорошенькими» детскими голосками, эти музыкальные образы лишаются излома, противоречий, становятся «розовыми» и превращаются в китч[53].

[51] Советская пресса хвалила «Песни войны и мира», но резко критиковала оратории за богатство диссонансами. См.: *Головинский Г.Л.* История музыки народов СССР. Т. 5/1. М., 1974. С. 139—143. Позже Шнитке, по-видимому, рассматривал оба произведения как дань официозу — в списке работ композитора, включенном в Festschrift к его 60-летию (*Köchel J.* Alfred Schnittke zum 60. Geburtstag. Eine Festschrift. Hamburg, 1994), они не упоминаются.

[52] Поэма была написана в 1960 году, а в 1970-м выпущена отдельным иллюстрированным изданием «Художественной литературой». В 1961 году сочинение было переписано для Реквиема Кабалевского.

[53] Ср. типологию китча в: *Gelfert H.-D.* Was ist Kitsch? Göttingen, 2000.

Все это обрамляется столь же возвышенными, сколь и пустыми словами: героизм, героическая смерть, вечная память, вечная слава. Этот многословный текст, бедный содержанием и мыслями, стремится не побудить к рефлексии, а вызвать чувство общности и защищенности, включающее каждого и представляющее героическую смерть чем-то осмысленным. Финальный возглас «Убейте войну!» был устоявшимся образом послевоенных советских вокальных произведений, образом официально провозглашаемой миролюбивости. Таким образом, память об умерших в этом реквиеме служит пропаганде советских идеалов, и Кабалевский умело озвучивает эту пропаганду. Его музыка подчеркивает патриотически-пафосный тон стихотворения: центральные лозунги все время повторяются, создавая многочисленные припевы-девизы («Помните!», «Вечная слава героям!», «Родина», «Судьба», «Победа», «Будущее», «Солнце», «Слушайте!», «Будьте достойны»). Преобладание минора и простая мелодика, напоминающая народные песни, придают этому произведению определенную меланхоличность, угрюмость, строгость и театральный пафос. Мастерская драматургия как всего реквиема, так и отдельных его частей делает его легко понятным и придает ему образную отчетливость. Восклицания хора «Вечная слава героям!» чередуются с инструментальным тактом, который, по указанию в партитуре, должен звучать «подобно залпам траурного артиллерийского салюта». Большой хор, преобладание в оркестре медных инструментов, использование тамтама, ставшего с Французской революции инструментом музыкального плача по покойным героям, и мрачный минор создают торжественную звуковую атмосферу и одновременно своей строгостью и серьезностью апеллируют к секвенции «Dies irae» литургического реквиема. Словно панорамным движением камеры риторический вопрос меццо-сопрано («но зачем она им, эта слава, мертвым?») эффектно сменяется очень тихими мужскими голосами, за которыми, в свою очередь, следует взволнованный пассаж, переходящий в фугированную часть реквиема. Финал образует все усиливающееся «Вечная слава героям». Все это — театральная смерть, театральная память, призванная пробудить возвышенные чувства. Подобным же образом инсценирована и шестая, центральная часть произведения — «Сердце матери», в которой перегруженный фольклоризмами текст меццо-сопрано контрастирует с как бы утешающим припевом «Вечная слава героям», исполненным мужскими голосами, и комбинируется с вокализами женских голосов, своего рода хором плачущих матерей.

Пример № 5: Кабалевский, Реквием, 6 часть, т. 28—35 и т. 70—76.



При помощи такого приема страшнейшее индивидуальное горе превращается в красивую фольклорную сцену, в которой голоса хора на заднем плане напоминают ангелочков на социалистическом небе. При этом литературный и музыкальный китч выполнен профессионально, и можно предположить, что публичное исполнение перед множеством осиротевших родителей действительно могло произвести катарсический эффект.

Совсем иной предстает память в Тринадцатой симфонии Шостаковича для баса, мужского хора и оркестра по стихотворениям Евгения Евтушенко, созданной в 1962 году и впервые представленной 18 декабря того же года в Москве. Неофициальное название «Бабий Яр» заимствовано из первой части, в основу которой, в свою очередь, легло одноименное стихотворение. Поэт и композитор вспоминают массовое убийство тысяч украинских евреев национал-социалистами. Шостакович положил текст на строгую, простую музыку в глубоком, темном миноре; эта элегия служит введением и memento mori для четырех последующих частей, отражающих сегодняшний день. Евтушенко своим стихотворением выступил и против антисемитизма в Советском Союзе. О том, что официальные деятели культурной политики это поняли, свидетельствуют как тот факт, что пресса фактически игнорировала премьеру, так и те изменения, которые Евтушенко пришлось вне-

сти в текст[54]. Изменились вторая и двенадцатая из четырнадцати строф:

Мне кажется сейчас — я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне следы гвоздей.

И сам я как сплошной беззвучный крик
над тысячами тысяч погребенных.
Я каждый здесь расстрелянный старик.
Я каждый здесь расстрелянный ребенок[55].

Я тут стою, как будто у криницы,
дающей веру в наше братство мне.
Здесь русские лежат и украинцы,
лежат в одной земле.

Я думаю о подвиге России,
фашизму преградившей путь собой,
до самой наихрохотной росинки
мне близкой всею сутью и судьбой[56].

Поменяв евреев на украинцев, Евтушенко, строго говоря, последовал официальным антисемитским установкам. К тому же память о страданиях заменяется стереотипической памятью о советском героизме. Стихотворение и в целом не чуждо героически-патриотического тона. Но при этом сохранились все остальные пассажи, в которых обличается антисемитизм через все века вплоть до наших дней. Иными словами, изменения выглядят точечной ретушью, не отменяющей изначального смысла. Музыка Шостаковича остается неизменной, и ее гневный пафос звучит искренне, поскольку в отличие от Кабалевского он не пишет музыку к воображаемому фильму и не поддается сентиментальности — например, в эпизоде об Анне Франк. Отказ от еврейских интонаций в этой части, очевидно, стал вполне осознанным эстетическим выбором, поскольку с конца 1940-х годов Шостакович в своих инструментальных произведениях[57] постоянно ненавязчиво использовал характерные секунды и танцевальные ритмы, узнаваемые как еврейские и потому звучащие как напоминание.

[54] Стихотворение «Бабий Яр» вышло 19 сентября 1961 года в «Литературной газете», вызвав жаркие споры. Изменить слова потребовали только в связи с их переложением на музыку. См. об этом: *Fay L.* Shostakovich... P. 228—237.

[55] Первоначальный текст. Цит. по изданию Сикорского, № 2207. (Hamburg, 1971).

[56] Измененный текст. Цит. по советскому изданию Шостаковича (Т. 9. М., 1984).

[57] Открыто он это сделал в (Первом) концерте для скрипки и в Четвертом струнном квартете (оба были впервые исполнены и опубликованы уже после смерти Сталина) и в трио для фортепьяно, сочиненном в 1944 году в память об Иване Соллертинском. «Еврейский» пассаж из этого произведения Шостакович цитирует в Восьмом струнном квартете.

Musique engagée — Луиджи Ноно

Наиболее видная фигура западноевропейской «новой музыки» — Луиджи Ноно, артикулировавший в своих произведениях свои коммунистические убеждения то в гуманистическом, то в агитаторском аспекте[58]. Решающее влияние на него оказал Герман Шерхен, у которого он учился вместе с Бруно Мадерной и который познакомил двух молодых композиторов с Карлом Амадеусом Хартманом. Когда молодой Ноно выразительно говорит о своей «семье» и о «банде Шерхена»[59], он имеет в виду этот интернациональный круг, связанный солидарностью, основанной на общности сопротивления национал-социализму и итальянскому фашизму. Представители этого круга, в который входили приверженцы столь разных этических позиций, как Ханс Вернер Хенце, Яннис Ксенакис и Рольф Либерман, понимали работу композитора как этическую обязанность.

Уже ранней «Эпитафией для Федерико Гарсия Лорки», впервые представленной в Дармштадте в 1952 году, Ноно отдал дань традиции Сопротивления. В основу его «Canto sospeso» («Прерванной песни» — ключевого произведения европейской «новой музыки» после 1945 года[60]) легли письма молодых бойцов Сопротивления, приговоренных к смертной казни[61]. Придавая своему политическому убеждению благородную форму художественного произведения, Ноно продолжает линию, через камерную кантату его друга Мадерны «Quattro lettere» («Четыре письма»)[62] восходящую к триптиху Даллапикколы о плене и свободе. В 1962 году Ноно сочинил «Canti di vita e d'amore» («Песни жизни и любви»), цикл из трех частей для двух певцов-солистов и оркестра, а в 1965-м — электронную музыку

[58] Ноно был членом Итальянской коммунистической партии. В 1955 году он женился на дочери Арнольда Шёнберга Нуре.

[59] Zit. nach Stenzl, Von Giacomo Puccini [Fn. 12], S. 200.

[60] Произведение снабжено программным посвящением «a tutti loro» («всем тем»), премьера его состоялась 24 октября 1956 года в Кёльне. Дармштадтские летние курсы обеспечивали интенсивный международный обмен, в результате которого многие произведения Ноно, а также Бруно Мадерны и других впервые исполнялись в ФРГ.

[61] Основу составил вышедший в 1954 году в Турине сборник под названием «Lettere di condannati a morte della resistenza europea» («Письма приговоренных к смерти участников европейского Сопротивления»). Немецкое издание (Und die Flamme soll euch nicht versengen. Zürich, 1955) снабжено тонким предисловием Томаса Манна.

[62] Премьера состоялась в 1953 году в замке Кранихштейн.

для «Дознания» Петера Вайса, которую потом превратил в отдельное произведение «Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz» («Помни о том, что сделали с тобой в Освенциме»). «Песни жизни и любви», как говорит Ноно, посвящены «трем ситуациям наших дней, которые, будучи теснейшим образом связаны друг с другом, вдохновили меня к написанию этих песен. Любовь не как отмена реальности или бегство от нее, а *в сознании жизни*»[63].

Первая часть «Песен жизни и любви» озаглавлена «Sul ponte di Hiroshima» («На хиросимском мосту») и основана на вступлении Гюнтера Андерса к дневнику, рассказывающему о его поездках в Хиросиму и Нагасаки, «Человек на мосту»[64]. Средняя часть основана на стихотворении «Esta noche» («Сегодня ночью») Хесуса Лопеса Пачеко и названа именем его героини Джамилы Бупачи — алжирской девушки, подвергшейся жестоким пыткам со стороны французских оккупантов и ставшей символом борьбы за независимость Алжира[65]. Финал, в котором Ноно переложил на музыку стихотворение Чезаре Павезе «Passero di Piazza di Spagna» («Воробей с Испанской площади»), композитор называет просто «Tu» («Ты»). Это — «сердечный трепет, редкое выражение радости»[66].

Вот — текст Андерса:

«На одном из мостов города Хиросимы стоит человек. Он поет и перебирает струны. Взгляните на него. Там, где вы ожидаете увидеть его лицо, вместо лица вы увидите занавес: потому что у него больше нет лица. И там, где вы ожидаете увидеть его руку, вместо руки вы найдете стальную лапу: потому что у него больше нет руки. Пока нам не удастся [добиться того, ради чего мы здесь собрались[67]:] предотвратить ту опасность, которая, разразившись впервые, унесла двести тысяч жизней, этот робот будет стоять на мосту

[63] *Nono L.* Canti di vita e d'amore: Sul ponte di Hiroshima // *Nono L.* Texte, Studien zu seiner Musik / Hrsg. von Jürg Stenzl. Zürich, 1975. S. 128. Курсив в оригинале.

[64] *Anders G.* Der Mann auf der Brücke. München, 1959. Перепечатано в сборнике: *Anders G.* Hiroshima ist überall. München, 1982. В последний включены также переписка между Андерсом и Клодом Итерли, пилотом самолета, с которого была сброшена бомба на Хиросиму, и эссе «Die Toten. Rede über die drei Weltkriege» («Мертвые. Речь о трех мировых войнах», 1964).

[65] Ср.: *Beauvoir S. de, Halamis G.* (éd.). Djamila Boupacha Paris, 1962.

[66] *Nono L.* Op. cit. P. 128

[67] В основу положено заключительное слово Гюнтера Андерса на IV Международном конгрессе против ядерных и водородных бомб и за разоружение в Токио 20 августа 1958 года. В квадратных скобках указаны пассажи, сокращенные композитором.

и петь. И пока он будет стоять на этом мосту, он будет стоять на всех мостах, ведущих в наше общее будущее. Клеймом позора. И предвестником. Избавим же человека от этой должности. Сделаем необходимое, чтобы можно было сказать ему: "Ты уже не нужен, ты можешь уйти"».

Ноно предпослал этому тексту дополнительный лозунг: «...essi non devono giacere e basta. La loro non è una morte abituale, ma un monito, un avvertimento» («они не должны просто покоиться и все. Их смерть — не обычная смерть, а суровое предостережение»). Солисты поют только эти слова, текст Андерса на музыку не перекладывается. Ноно включил его в партитуру не с целью превратить произведение в «примитивную программную музыку»[68], а с тем, чтобы придать мыслям дирижера и музыкантов определенное направление и сформировать их интерпретацию музыки в духе этого текста. Внимание слушателей, слышащих только мотто самого Ноно, тоже направляется на эту тему. Решение о том, что этот текст не поется, задано самим сюжетом: о Хиросиме петь невозможно — или, говоря словами Адорно: «Писать стихи после Освенцима — это варварство».

Ноно подчинил свой музыкальный материал строгой организации. Основанным на додекафонии звуковым пластам придают узнаваемость особенности инструментовки, динамики, констелляции интервалов и темпа. Таким образом возникает последовательно структурированный и столь же последовательно диссонантный звуковой ряд — пассажи, в которых духовые инструменты играют форте и фортиссимо, причиняют слушателю почти физическую боль. Партии струнных пиано и пианиссимо благодаря подразделению инструментов на несколько групп и подгрупп и дроблению высоты звука на четверти тона становятся стабильными, но внутренне подвижными кластерами, вызывающими ужас.

Связывая три части (они исполняются attacca — без перерыва) и придавая им стилистическое единство, Ноно объединяет жертв Хиросимы с алжирской мученицей, а также с идеей любви, проглядывающей в третьей части. Несоизмеримое следует мыслить вместе — этот замысел Ноно иллюстрирует то, что двое солистов только три пассажа поют дуэтом: слова «un monito e un avvertimento» («суровое предостережение»), «s'aprira quella strada, le pietre canteranno» («откроется та улица, камни запоют») и «s'aprirà una porta» («откроется дверь»). За последними сразу же следует заключительный стих «sarai tu — ferma e chiara» («это будешь ты — твердая и ясная»).

Электронная композиция «Помни о том, что сделали с тобой в Освенциме» также состоит из трех частей. Ее разделы, названные

[68] *Nono L.* Op. cit. S. 128.

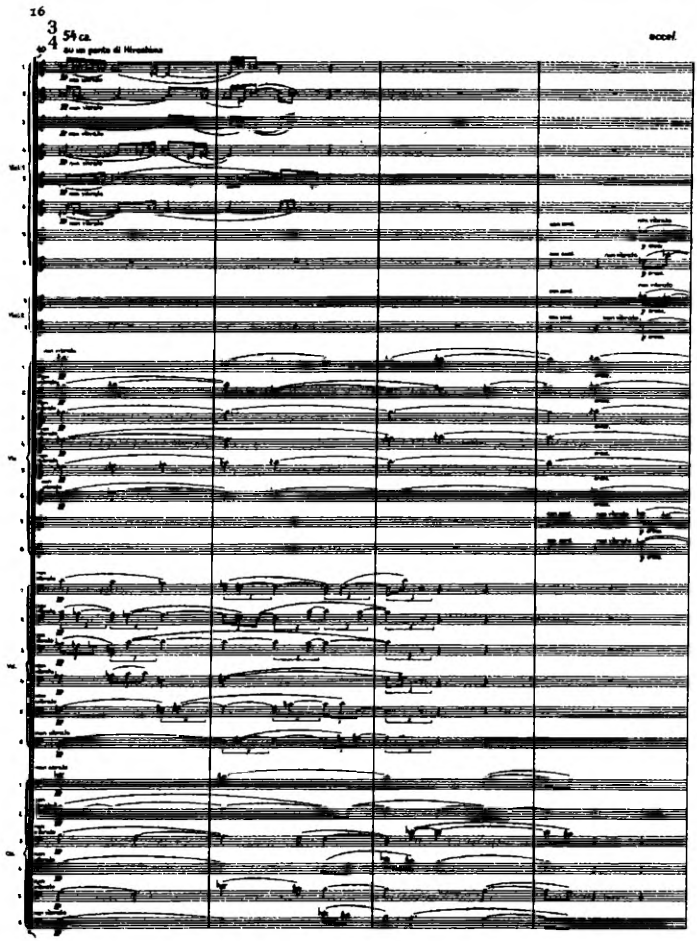
Ноно (и Вайсом) «Песней о лагере», «Песней о кончине Лили Тофлер» и «Песней о возможностях выживания», представляют как слияние массовых и индивидуальных судеб, так и виды на будущее, помнящее о свершившемся. Ноно недвусмысленно говорит о памяти, «которой требует политическое сознание в постоянной борьбе за отмену всех концентрационных лагерей и расовых гетто»[69]. В его электронное произведение, возникшее в миланской Студии музыкальной фонологии (Studio di fonologia musicale), основанной Бруно Мадерной и Лучано Берио, вошли как детские и сольные голоса, хоровая и оркестровая музыка, так и электронные звуки, при помощи которых Ноно стремится разделить текст на фонемы, в которых остается узнаваем звук человеческого голоса, но не возникает связного смысла. Комбинация звуков, из которой призрачно выделяются отдельные голоса и группы голосов, создает метатекст по ту сторону языковой коммуникации. Ноно ожидает, что таким образом возникнет «другая, возможно, более значимая и точная выразительность, чем та, которая присуща композиции, заведомо основанной на существующем тексте»[70].

Пример № 6: Nono: Canti di vita e d'amore, 1-я часть, т. 40—43 (см. с. 384).

Оба произведения Ноно о Второй мировой войне — образцы *musique engagée*, ангажированной музыки, продлевающей память и превращающей ее в напоминание и предостережение ныне живущим. В этих двух произведениях, как и во всех творениях Ноно, находит выражение убеждение в том, что память об ужасах Второй мировой войны может стать основой для критики войн современности и шире — преступлений против человечности. Исходя из традиции Просвещения, авторы такой музыки полагают, что человечество можно вразумить художественными средствами. Предпосылкой для такого эффекта становится звуковое оформление, сопротивляющееся всякой установке на примирение. Для этого необходим музыкальный язык, принципиально отличный от языка угнетателей и сбивающий слушателей с толку, чтобы не дать зажить ранам памяти. Произведение, перед которым стоит такая задача, не может быть «красивым» в общепринятом смысле. Западноевропейскому композитору второй половины XX века, страдающему от царящей в мире несправедливости и желающему облечь эти страдания в форму, полезную для всего мира, ничего не остается, как прибегнуть к атональности и додекафонии либо их про-

[69] *Nono L.* Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz // Ibid. S. 130.

[70] Ibid. S. 129.



должению — серийности, то есть к тем приемам, которые были объявлены вне закона преступным режимом.

Выводы и перспективы

Мемориальные композиции первых послевоенных лет стали памятниками жертвам, но вместе с тем они обобщают эту темати-

ку, проецируя ее в прошлое. Эти произведения абстрагируются от национальности и исходного контекста своих авторов, ссылаясь на нечто третье — еврейскую прощальную песню, аллюзии на хоралы Тридцатилетней войны или на песни на идише, мелодию «Dies irae» из католической или «Шма Исраэль» из еврейской литургии, гуманистическую идею Девятой симфонии Бетховена, — непосредственно осязаемое поверх национальных контекстов. К этому добавляется, причем независимо от выбора техники композиции, обращение к европейской традиции пафоса и апофеоза. При этом для чистоты морали произведения и для его художественного значения не важно, написано ли оно средствами додекафонии (Шёнберг и Даллапиккола), в ми-бемоль мажоре (Шостакович) или возникло в пространстве между расширенной тональностью (Хиндемит) и свободной атональностью. Таким образом, искусство становится «хранилищем памяти»[71], местом индивидуальной, коллективной и наднациональной памяти.

Мемориальные композиции 1960-х годов иногда включают в себя отсылки к недавним событиям и почти всегда связаны с настоящим. Говоря обобщенно, в Советском Союзе память об агрессии и войне на уничтожение национал-социалистов превращается в пропаганду собственной политической системы, объявляемой более морально совершенной и потому лучшей. Поэтому социалистическое строительство занимает столько места в произведениях Рождественского и Кабалевского; по той же причине в советских представительных произведениях — в кантатах и ораториях, а также в операх начиная с 1950-х годов — отображается не столько Великая Отечественная война, сколько современные советские темы. Даже в стихотворении Евтушенко «Бабий Яр», причем уже в первом его варианте, звучит патриотически-утвердительная нота — в двух заключительных стихах: «Еврейской крови нет в крови моей, / Но ненавистен злобой заскорузлой / Я всем антисемитам как еврей, / И потому я настоящий русский!», которые в Тринадцатой симфонии Шостаковича становятся апофеозом.

Продолжая обобщение, в кругу Дармштадтской школы, к ведущим авторам которой принадлежал Луиджи Ноно, «Освенцим» и «Хиросима», систематический геноцид и сброс атомных бомб становятся предысторией и музыкальными акциями против войн

[71] Формулировка принадлежит Кристофу Китлю: *Khittl Ch.* «Holocaustis non delectaberis» — «An Brandopfern hast du kein Gefallen» // *Mastnak W.* (Hrsg.). Polyaisthesis V. Op. cit. S. 224.

современности, против нарушений человеческого достоинства — а иногда и пропагандой «западного» коммунизма, как наглядно демонстрирует оратория Ноно «Призрак бродит по миру», основанная, в том числе, на выдержках из «Коммунистического манифеста» Маркса. Говоря идеал-типически, эти мемориальные произведения провозглашают общие идеалы — предотвращение войны, уважение прав человека, осуждение расизма и антисемитизма, — но при этом советские композиторы тем самым одновременно принимают мировоззрение своего режима (придавая ему, таким образом, ложную миролюбивую ауру), в то время как западные композиторы, как правило, выступают против политики своих стран. Утрируя мысль, можно сказать, что композитор вроде Ноно пишет, чтобы выразить свое сопереживание измученному человечеству, а композитор вроде Кабалевского пишет для утверждения определенной власти — и в этом моральная разница между ними. Технические приемы, а вместе с ними и эстетический ранг композитора оказываются под сомнением в тот момент, когда они служат внеэстетическому дискурсу и тем самым дезавуируют себя.

Одновременно теоретический спор о технике композиции обостряется до такой степени, что, без всякого сомнения, можно говорить об ответвлении «холодной войны» в эстетическом дискурсе. Для композиторов решающим фактором оказывается уже не то, что темой их произведений становится память, а то, при помощи какой техники она изображается. Ремесленный аспект, решение в пользу трезвучия или додекафонии, в пользу пафосного апофеоза или резкого диссонанса, идеологически накаляется до такой степени, что и сама тема — память об умерших и предостережение потомкам — объявляется художественно несостоятельной и морально порочной, если используется «чужая» техника. Примером могут послужить два текста, исторически-идеологическая привязка которых проступает с особой наглядностью. Говоря о музыке Дармштадтской школы, советский музыковед Израиль Нестьев утверждает, «что часть современных буржуазных художников отстаивает отживший мир насилия и мрака, смакует, возводит в фетиш его пороки. Именно на этой гнилой почве вырастает творчество современных додекафонистов [...] и прочих адептов формализма. Извращенное восприятие жизни, антигуманизм, аморальность ведут к самым уродливым формам музыки — грубой, бездушной, какофоничной. Эта псевдомузыка звучит, как [...] заупокойный звон по старому миру. [...] Лагерю музыкальной реакции сегодня противостоит широкий фронт композиторов, ненавидящих зло старого мира, твердо верящих в светлое будущее человечества, в красоту и благородство Человека. Наша советская музыка возглавляет этот

прогрессивный фронт. [...] ее объединяет общность идейных устремлений, единство конечных целей — борьба за коммунизм»[72].

С западноевропейской стороны композитор и социолог музыки Конрад Бёмер нападает даже не на советскую музыку, которую он считает недостойной обсуждения, а на этаблированные международные музыкальные мероприятия. По мнению Бёмера, Ноно «действительно коммунист, но не потому, что он чувствует себя обязанным какой-либо политической фракции», а потому, что «на него произвели столь глубокое впечатление Герника, Освенцим, Алжир или Вьетнам, что для него единственная реакция на них — такая, которая не допускает никаких уступок тому, против чего она направлена. Поэтому Ноно особо и не старается тронуть или, тем более, запугать сидящих в концертных залах буржуа. Они ему безразличны, как объекты обреченного на исчезновение исторического процесса». Его позиция скорее заключается в презрении к буржуазным институциям, поскольку во все из них, в том числе и в музыкальные, вписаны «Освенцим или Вьетнам — потому, что они [буржуа] процветают на периферии этих событий и где-то продолжают свою экспансию за счет воспроизводящейся беды [...] Порывая с буржуазным табу, запрещающим произносить названия человеческих боен в рамках культурных ритуалов, он подвергает сомнению содержание утвердительной буржуазной культуры»[73].

Композиторам было трудно не поддаться такому идеологизированному, исполненному взаимной язвительности дискурсу. Две противоположные техники — мир форм XIX века versus додекафония — поляризовались и, соответственно, табуировались. Преодоление этого противостояния впервые наметилось в 1969 году в переложении на музыку Григорием Фридом «Дневника Анны Франк», вышедшего в 1960 году в русском переводе. Эта мемо-

[72] *Нестьев И.* Несколько мыслей о творческих течениях // Советская музыка. 1956. № 5. С. 12.

[73] Из текста Конрада Бёмера о Луиджи Ноно в буклете к диску (Wergo 286038-2, © 1968. S. 16 f.), представляющего собой фрагмент более длинного эссе о Ноно, не вошедшего в собрание сочинений Бёмера (*Boehmer K.* Das böse Ohr. Texte zur Musik 1961—1991 / Hrsg. von Burkhardt Sull. Köln, 1993). В этом эссе автор называет Шостаковича «посредственностью». И в гораздо более поздней статье «Die Zukunft der (Kunst-)Musik» (Будущее музыки, 1991) Бёмер повторяет: «Шостаковича с Веберном, Булеза с Филом Глассом объединяет столько же, сколько сериал "Даллас" с фильмом Годара» (Ibid. S. 267). Это говорит не столько об указанных композиторах, сколько об узколобой и устаревшей эстетической позиции автора.

риальная моноопера[74], премьера концертной версии которой состоялась в 1972 году, отмечена структурной сложностью, многообразием и тщательным расположением тембров, аккуратностью работы не только с традиционными мотивами, но и с кластерами, а также оркестровкой. К этому добавляется то, что в советской музыке с 1934 года считалось немыслимым, — свободное атональное строение с использованием трезвучий лишь в нескольких пассажах и рудиментарное использование додекафонии — звуковое обличье, при помощи которого Фрид возвышает свою героиню. Напротив, Генрик Гурецкий, один из ведущих и признанных в том числе и на Западе представителей польского авангарда, в своей третьей симфонии, «Симфонии печальных песен» (1976), обильно использует трезвучия и мягкую оркестровку. В центре симфонии — молитва Богоматери Марии, нацарапанная 18-летней Хеленой Вандой Блазусяковной на стене гестаповской тюремной камеры в городе Закопане. Витающее ореолом над оркестровыми партиями сопрано говорит о том, что за страшной, беспросветной реальностью тем ярче сияет музыка, а с ней и католическая вера.

Такие произведения, которые не считались с табуированными правилами композиционной техники, привели к тому, что идеологический лед постепенно начал таять. Правда, симфония Гурецкого, после того как Морис Пьяла использовал ее в титрах своего фильма «Полиция» (1985), возглавила международные рейтинги уже в качестве «легкой» поп-музыки[75]. Мягкие звуки струнных, красивые колоратуры у сопрано, придающие тексту призрачность, — короче, ремесленный, внешний аспект эстетической концепции — сделали возможным такое восприятие, которое игнорирует важную часть произведения — художественно оформленную память. Когда искусство, с помощью текста, выступает против забвения и при этом допускает такое восприятие, то оно подавляет память.

Авторизованный перевод с немецкого Михаила Габовича

[74] «Монооперами» в советском контексте называли краткие оперы, которые возникли в 1960-е годы. В них, как правило, только одно действующее лицо, ограничено и количество инструментов. Они намеренно обходятся без пафоса, иногда используют осуждавшиеся официальной идеологией додекафонические серии, а основаны они на произведениях Гоголя и, прежде всего, Достоевского. Как по своей концепции, так и по реализации монооперы противоречили принципам соцреализма.

[75] Verstörte Kaste. Ein Nobody der Klassikbranche stürmt mit einer Sinfonie die britischen Pop-Charts // Der Spiegel. 1993. №10. S. 234.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ

Пьер Нора
ВСЕМИРНОЕ ТОРЖЕСТВО ПАМЯТИ

Мы живем в эпоху всемирного торжества памяти. В последние двадцать или двадцать пять лет все страны, все социальные, этнические и семейные группы пережили глубокое изменение традиционного отношения к прошлому.

Формы этого изменения многообразны: критика официальных версий истории и возвращение на поверхность вытесненных составляющих исторического процесса; восстановление следов уничтоженного или отнятого прошлого; культ корней (*roots*) и развитие генеалогических изысканий; бурное развитие всяческих мемориальных мероприятий; юридическое сведение счетов с прошлым; рост числа разнообразнейших музеев; повышенная чувствительность к сбору архивов и к открытию доступа к ним; возобновившаяся привязанность к «наследию» — тому, что в англоязычном мире называется «heritage», а во Франции — «patrimoine». В каком бы сочетании ни выступали эти элементы, мир затопила нахлынувшая волна вспоминания, прочно соединив верность прошлому — действительному или воображаемому — с чувством принадлежности, с коллективным сознанием и индивидуальным самосознанием, с памятью и идентичностью.

Франция едва ли не первой вступила в эту эпоху страстного, придирчивого, почти навязчивого вспоминания. Затем, после падения Берлинской стены и исчезновения Советского Союза, настал момент «обретения памяти» в Восточной Европе. Крах диктатур Латинской Америки, конец апартеида в Южной Африке и создание там Комиссии истины и примирения (*Truth and reconciliation commission*) стали вехами подлинной глобализации памяти; сведение счетов с прошлым проходило повсюду в очень различных и в то же время сопоставимых формах.

Статья впервые опубликована в журнале «Transit» (2002. № 22).

Начну с особого положения Франции в этом процессе. Оно связано со случайным совпадением во времени трех чрезвычайно важных и, судя по всему, независимых друг от друга явлений, под объединенным воздействием которых Франция в середине 1970-х годов устремилась от исторического самосознания к сознанию, опирающемуся на работу памяти. Дату можно назвать даже точнее: важнейшей вехой был 1975 год, когда особенно явно совпали результаты экономического кризиса, последствия постголлизма и исчерпанность революционной идеи.

Экономический кризис 1974 года, вызванный резким повышением цен на нефть, тоже был явлением мирового масштаба и охватил все промышленно развитые страны. Но во Франции он ощущался особенно остро, поскольку положил конец трем десятилетиям ускоренного подъема, интенсивной индустриализации и урбанизации, которые смели в ураганном порыве целый набор традиций, пейзажей, ремесел, обычаев, жизненных укладов, не менявшихся во Франции дольше, чем в соседних индустриальных странах. Когда этот стремительный подъем внезапно оборвался, Франция вдруг осознала не только масштабы убытков, нанесенных прогрессом, но и окончательную утрату фундамента, на который страна опиралась вплоть до первых послевоенных лет, в частности тысячелетней незыблемости своих аграрных основ.

Конец крестьянства был к этому времени уже пятнадцать лет как описан социологами и историками; но теперь он стал вдруг ощутим почти физически и болезнен как ампутация: это был подлинный конец «общности памяти». В 1975 году доля активного населения, занятого в сельском хозяйстве, опускается за роковой порог в 10%. Еще перед самой войной она составляла чуть менее половины. И в том же году неожиданный громкий успех таких книг, как «Конь гордыни» Пьера-Жакеза Элиаса — хроники традиционной бретонской деревни, «Монтайю, окситанская деревня» Эмманюэля Леруа-Ладюри и четырехтомника «История сельской Франции» под общей редакцией Жоржа Дюби и Армана Валлона, показал, что «память деревни» жива отныне только в ученой или сентиментальной реконструкции. Конец деревни, за которым вскоре последовал конец богослужения на латыни, — настоящий обрыв пуповины, все еще связывавшей Францию с тем, что историк Жак Ле Гофф назвал длинным, очень длинным Средневековьем; отныне этот разрыв способствует растущей популярности Средневековья и его памятников у широкой публики.

Итак, воображаемое вновь укоренилось в далеком прошлом — и кто знает, не способствовало ли этому избрание в 1974 году Ва-

лери Жискар д'Эстена на пост президента Французской Республики. Какие глубины французской натуры воплощал этот блестящий молодой экономист, выходец из крупной буржуазии, европеец в душе, сторонник «ослабления напряженности» в политической жизни, чей семилетний президентский срок начался под лозунгом «изменения», то есть модернизации? Вероятно, существует связь между энергичным началом нового президентства с его выраженно технократическим и парижским стилем — и погружением в утраченные и вновь обретенные глубины, куда так радостно устремились французы, — глубины, ко всеобщему удивлению вновь всплывшие на поверхность в 1980 году, который сам президент республики предложил объявить годом Наследия.

Это тем более вероятно, что избрание Жискар д'Эстена означало резкий разрыв с голлистской традицией во всех областях; в результате последствия наступления новой, постголлистской эры стали еще заметнее — таково второе существеннейшее явление. Эти многочисленные, весьма значительные и в то же время неявные последствия до сих пор не изучены в должной степени. В отношении реинтерпретации национального прошлого они проявились, если можно так выразиться, на коротких, средних и длинных волнах.

В краткосрочной перспективе смерть Освободителя в ноябре 1970 года тут же положила конец безраздельному господству в военной историографии «сопротивленческой» версии, провозглашенной генералом де Голлем сразу после освобождения Парижа. Согласно этой версии, все французы, за исключением горстки предателей и недоумков, восстали против немецкой оккупации. Три факта называют обычно на одном дыхании как признаки возвращения мрачных воспоминаний о вишистской Франции, ставших со временем «прошлым, которое не проходит»: это возмущенная реакция объединений участников Сопротивления на помилование президентом Помпиду полицая Тувье (1971), фильм (запрещенный к показу) Марселя Офюльса «Горе и жалость» (1972), где Франция представала в далеко не героическом свете, и перевод на французский язык книги Роберта Пакстона «Франция Виши» (1973), резко расходившейся с официальной доктриной.

В долгосрочной перспективе постголлизм означал возрождение более глубокого пласта прошлого. Режим Пятой республики, казавшийся вначале скроенным по личной мерке Генерала, пережил своего создателя; а когда Франсуа Миттеран, в бытность свою в оппозиции всех горячее на него нападавший, придя к власти, тут же принял этот режим, подтвердилось предчувствие, что генерал де

Голль выиграл свое историческое пари — восстановление равновесия институций, поколебленных падением абсолютной монархии со времен Революции. Это предчувствие Франсуа Фюре выразил в своей книге 1978 года «Постижение Французской революции» знаменитой формулой: «Французская революция завершена». Тем самым два последних века оказались заново встроены в долгое непрерывное существование государства-нации. Наметилась позитивная переоценка всего монархического прошлого, и недоказуемое тысячелетие Гуго Капета в 1987 году (так же, как в 1996 году 1500-летие Хлодвига) прошло, против всякого ожидания, с огромным всенародным успехом под лозунгом: тысяча лет Франции!

В еще более общей перспективе, уход последнего героя нации на вершины бессмертия оживил интерес ко всей их галерее. Возобновившееся преклонение перед «великим человеком», несомненно, повлияло на новый расцвет исторической биографии после долгого остракизма, пережитого этим жанром. На еще более глубинном уровне он обострил восприимчивость французов к «определенному представлению о Франции»: не только к ее истории, но и к ее пейзажам и кухне, ее различным регионам и традициям. Этой обостренной восприимчивостью можно объяснить резко возросшую популярность крайне правых и Национального фронта Жана-Мари Ле Пена. Но она проявилась и у левых, вернувшихся отныне к озабоченности судьбами нации — реальности, о которую разбился марксизм, как охотно подчеркивали сторонники тезиса об исчерпанности революционной идеи.

Таково третье явление, труднее уловимое, но от этого не менее важное и внесшее существенный вклад в реинтерпретацию французами собственного прошлого. Идейный крах марксизма, коренная дискредитация Советского Союза, быстрый упадок коммунистической партии, которая еще несколькими годами ранее имела на своей стороне около четверти голосов избирателей, утрата обаяния, которым обладали коммунисты для значительной части французской интеллигенции, — таковы важнейшие факты этих лет. В довершение картины, 1975 год — еще и год грандиозного успеха французского перевода «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына. Эта книга произвела громадное впечатление далеко не только во Франции, но здесь наличие насквозь пропитанной сталинизмом коммунистической партии делало его особенно острым. Во Франции, которая с 1789 года была родиной революций, конец революционной идеи, мощного вектора, указывавшего направление исторического времени в будущее, неизбежно повлек за собой

быстрое изменение восприятия прошлого. При революционной модели времени представляется известным, что из прошлого нужно сохранить, чтобы подготовить будущее. Известно также, что нужно отменить, что забыть, а при необходимости и насильственно уничтожить. В понятии исторического времени заключена в этом случае воля к разрыву с прошлым. Отрицательное отношение к такому разрыву реабилитировало идею традиции. Притом не традиции, для которой мы являемся наследниками и продолжателями, а традиции, от которой мы на самом деле навсегда оторваны и которая именно поэтому стала драгоценной, таинственной, исполненной неясного, взывающего к истолкованию смысла. Культ наследия в те же годы возник и мгновенно расцвел по той же самой причине. В этом весь секрет: исчезновение исторического времени, направлявшегося революционной идеей, вернуло прошлому свободу, неопределенность, весомое присутствие в настоящем — как материальное, так и нематериальное.

Эти три явления прежде всего, хотя далеко не только они, неожиданно войдя в резонанс, породили идею национальной «памяти». Эта идея совсем молода, ей всего лет тридцать, но она неустанно растет и расцветает.

«Мемориальная эпоха» — так я предложил назвать это движение памяти, настолько общее, глубокое и мощное, что стоит, вероятно, задаться вопросом о его причинах, даже если мы сумеем назвать лишь самые общие и очевидные. Мировое господство памяти возникает, мне кажется, на стыке двух крупных исторических явлений, характерных для современной эпохи. Первый феномен касается *времени*, второй — *общества*. Остановлюсь на них подробнее.

Первый феномен связан с тем, что сейчас принято называть «ускорением истории». Эта формула, предложенная Даниэлем Галеви, означает, что наиболее постоянны и устойчивы теперь не постоянство и устойчивость, а изменение. Причем изменение все более быстрое, ускоренное выталкивание во все быстрее удаляющееся прошлое. Нужно осознать, что означает этот переворот для организации памяти. Он имеет первостепенное значение. Этот переворот разрушил единство исторического времени, красивую прямую линию, соединявшую прошлое с настоящим и будущим.

В самом деле, представление, которое любая нация, группа, семья имела о своем будущем, диктовало ей, что она должна удержать из прошлого, чтобы подготовить это будущее; именно в этом заключался смысл настоящего, бывшего лишь связующей нитью. Несколько упрощая, можно сказать, что было три модели пред-

ставления о будущем, которые, в свою очередь, определяли лицо прошлого. Будущее представляли как реставрацию прошлого, как прогресс или как революцию. Сегодня от этих трех интерпретационных моделей, позволявших так или иначе организовать «историю», отказались. Над будущим нависла отныне абсолютная неопределенность. И эта неопределенность ставит перед настоящим — которое обладает небывалыми техническими возможностями сохранения — обязательство помнить. Мы не знаем, что нужно будет знать о нас нашим потомкам, чтобы разобраться в самих себе. И эта невозможность предвидеть будущее, в свою очередь, ставит перед нами обязательство благоговейно и неразборчиво собирать любые видимые знаки и материальные следы, которым предстоит (может быть) стать свидетельствами того, что мы есть или чем мы были. Иначе говоря, именно конец всякой телеологии истории — конец истории с известным концом — возложил на настоящее тот «долг памяти», о котором нам без конца твердят. В отличие от Поля Рикёра, который отказывается употреблять это избитое выражение и предпочитает ему выражение «работа памяти», я лично готов его принять, но только при условии придания ему гораздо более широкого смысла, чем тот, в котором оно обычно употребляется: смысла, связанного с материальным, механическим представлением о наследовании, а не с моралью, с утратой, а не с уплатой, между которыми существует огромная разница.

Ведь «ускорение истории» не только делает непредставимым будущее, оно симметрично отодвигает и прошлое — мы от него отрезаны. Теперь оно, по знаменитой формуле английского историка и демографа, «мир, который мы потеряли» («The world we have lost»). Мы больше не живем в нем, оно говорит с нами лишь через оставленные им следы — загадочные следы, смысла которых мы должны допытываться, потому что в них скрывается секрет того, что мы есть, нашей «идентичности». У нас нет больше общей почвы с прошлым. Мы можем обрести его лишь через реконструкцию — с помощью документов, архивов, памятников. Эта операция превращает «память» — тоже конструируемую — в модное имя для того, что прежде называли просто «историей». В этой глубокой и опасной инверсии смысла тоже проявляется дух времени. Слово «память» получило такой общий и экстенсивный смысл, что имеет тенденцию вообще попросту вытеснить слово «история» и поставить занятия историей на службу памяти.

Итак, «ускорение истории» воздействует на память в двух отношениях:

— во-первых, создавая эффект «аккумуляции», связанный с ощущением утраты; он проявляется как раздувание функции памяти и как гипертрофия учреждений и орудий памяти: музеев, архивов, библиотек, коллекций, компьютерных каталогов, банков данных, хронологий и прочего;

— с другой стороны, эффект автономизации настоящего между непредсказуемым будущим и канувшим во тьму, непрозрачным для нас прошлым. Настоящее — категория, в которой мы отныне осознаем себя, но это историческое настоящее, включающее рефлексию о себе и своей истинности. Именно разрывом исторической и временной преемственности объясняется, на мой взгляд, новая актуальность памяти — прошлое перестало быть гарантией будущего, а потому память превратилась в движущую силу, в обещание преемственности. Раньше существовала сплоченность прошлого и будущего, связующей нитью которых было настоящее. Теперь же существует сплоченность между настоящим и памятью.

Вторая причина расцвета памяти — социального порядка и связана с тем, что можно назвать «демократизацией» истории. Под этим подразумевается мощное движение освобождения и эмансипации народов, этносов, групп и даже отдельных личностей в современном мире. Речь идет о быстром возникновении разнообразных форм памяти меньшинств, для которых отвоевание собственного прошлого является необходимой составляющей утверждения собственной идентичности.

Эти памяти меньшинств возникают обычно при деколонизации трех типов: *всемирная* деколонизация, благодаря которой к историческому сознанию и отвоеванию/ конструированию собственной памяти пробуждаются общества, дремавшие в этнологическом сне колониального гнета; в классических западных обществах — *внутренняя* деколонизация сексуальных, социальных, религиозных, региональных меньшинств, находящихся на пути интеграции, для которых утверждение своей «памяти» — то есть, по сути, своей истории — равнозначно признанию их особости большинством, которое отказывало им в этом праве, и в то же время есть способ культивировать свою особость и верность распадающейся идентичности. Есть и третий тип деколонизации, характерный для стран, вышедших из-под гнета тоталитарных режимов XX столетия, будь то коммунизм, фашизм или просто диктатура: *идеологическая* деколонизация, способствующая тому, что освободившиеся народы обращаются к своей давней, традиционной памяти, отобранной, разрушенной или искаженной в свою пользу соответствующим

режимом: это случай России, Восточной Европы, балканских стран, Латинской Америки и Африки.

Этот бурный расцвет памятей меньшинств глубоко изменил соотношение и взаимоотношения истории и памяти. Точнее, он сделал актуальным малоупотребительное прежде понятие «коллективная память».

По сравнению с историей, которая во все времена находилась в руках власть имущих, ученых или профессионалов, память обладает новым престижем демократичности и протеста. Она явилась как отмщение униженных и оскорбленных, история тех, кто не имел права на историю. Если память и не гарантировала истины, она гарантировала верность. Что в ней ново и что связано с величайшей бедой эпохи — увеличением продолжительности жизни, живым присутствием свидетелей прошлого — так это претензия на истину более «истинную», чем истина истории: истину живой памяти о пережитом.

Напротив, история, ставшая научной дисциплиной, строилась хотя и *исходя из* памяти, но *против* памяти, которая считалась индивидуальной, психологической, обманчивой, не более чем свидетельством, нуждающимся в интерпретации. История была областью коллективного, память же — индивидуального. История была едина, а память, по определению, множественна — потому что индивидуальна по сути. Идея коллективной памяти, эмансипирующей и сакрализованной, перевернула это соотношение с ног на голову. Раньше индивиды имели память, а сообщества — историю. Идея, что памятью обладают именно сообщества, предполагает глубокое изменение места индивидов в обществе и их отношения к коллективу: здесь секрет загадочного, взывающего к объяснению успеха еще одной идеи, а именно идеи *идентичности*, без которой невозможно понять *the upsurge of memory* — рост памяти.

Слово «идентичность» претерпело смысловую инверсию, аналогичную и параллельную тому, что произошло со словом «история». Из индивидуального понятия она стала коллективным, а из субъективного — как бы логическим и объективным. Традиционно идентичность характеризует индивида в его уникальности, так что даже приобретает в основном административное и полицейское значение: наша «идентичность» подтверждается отпечатками пальцев, удостоверение личности называется по-французски «carte d'identité». Теперь это слово стало категорией группы, формой определения человека «извне». «Женщиной не рождаются, а становятся», — писала Симона де Бовуар. Эта формула годится для всех

идентичностей, создаваемых самоутверждением. Идентичность, как и память, стала *долгом*. От меня требуют самоопределения: кто я — корсиканец, еврей, рабочий, алжирец, негр. Именно здесь, на уровне обязательств, возникает связь между памятью и социальной идентичностью. С этой точки зрения они подчиняются одному и тому же механизму: эти слова стали практически синонимами, и их сближение характерно для новых механизмов исторической и социальной динамики.

Это превращение *исторического* самосознания в социальное сознание протекало во Франции особенно интенсивно, поскольку в этой стране связь с собственным прошлым и историей традиционно была существенной, определяющей. Особое значение эта связь имела в эпоху Третьей республики, когда история стала основой социальной и политической сплоченности. Через школу, через школьные учебники Эрнеста Лависса и детские книжки вроде знаменитой «Путешествия двоих детей по Франции» творилась великая эпопея национального сообщества, колоссальная сага с множеством разнообразных вариантов, обращенная ко всем и сглаживавшая любые особенности, будь то региональные, семейные, лингвистические, религиозные, социальные, сексуальные, если они не являются частью великой национальной истории. Таким образом, с одной стороны, был героический эпос со своими вершинами и спадами, временами величия и испытаний, неисчерпаемым набором персонажей, сцен, изречений, интриг, дат, добрых и злых сил — захватывающий семейный роман, начинавшийся с Верцингеторикса и битвы при Алезии и заканчивавшийся победой Республики и Декларацией прав человека, пройдя через крестовые походы, Людовика XIV, Просвещение, Революцию, наполеоновскую эпопею, колониальные завоевания, испытания войны 1914 года, — и наследником этой истории оказывался де Голль. С другой стороны, существовали частные принадлежности, индивидуальные приверженности. С одной стороны, коллективная национальная история. С другой стороны — воспоминания частного характера. Это была священная история, поскольку по характеру она не отличалась от религиозного катехизиса, который стремилась собой заменить. И это была история сакральная — как история родины, заслуживающей, чтобы ей жертвовали жизнью; легенда, действовавшая как мощнейший двигатель социальной интеграции и сплоченности. И были памяти групп, то есть меньшинств: рабочих, евреев («израэлитов», как говорили в то время), монархистов, бретонцев, корсиканцев и женщин. На этом разделении была постро-

ена и укреплялась в течение целого века традиционная французская идентичность; и эта опора оказалась разрушена. Разрушило ее соединенное воздействие двух факторов: внутренний распад мифа—носителя национальной идеи и эмансипация всех меньшинств.

Оба движения развивались параллельно и ускорились в ключевое десятилетие 1970—1980-го, из которого Франция вышла в корне изменившейся. Секрет гегемонии, тирании, почти одержимости «национальной памятью» как раз и заключается в переходе от *исторического* самосознания к *социальному* сознанию. Вместо национальной идентичности — торжество социальных идентичностей. Традиционная вера в величие и предназначение Франции была подорвана изнутри: войны — европейская, мировая, колониальная, 1914—1918, 1939—1945 годов, война в Алжире — не только реально ослабили страну, но и заставили втайне усомниться в правильности и законности классической национальной модели. Это сомнение выплеснуло на поверхность все, что прежде вытеснялось патриотическим чувством (революционный террор, пытки во время войны в Алжире), и проявилось кризисом всех учреждений национального воспитания: церкви, профсоюзов, партий, семьи; неуверенностью относительно того, чему следует учить; трудностью определения своей позиции между волнами децентрализации и интеграцией в европейскую общность. В то же время мощное движение внутренней деколонизации и эмансипации групповых идентичностей вело к тому, что каждое меньшинство на пути к национальной интеграции стремилось к собственной истории, к «своей памяти», к тому, чтобы «снова вступить во владение» ею, как тогда говорилось, и потребовать от нации ее признания. Поразительным примером может служить еврейство. Тридцать лет назад о «памяти» евреев вообще не говорили. Даже воспоминание о правительстве Виши не связывалось в первую очередь с антисемитским законодательством и с ответственностью французского государства за депортацию и уничтожение. Сегодня все обстоит наоборот, и «еврейская община» — словосочетание, прежде тоже неизвестное, — без конца требует от президента республики признания этой ответственности. Жак Ширак выполнил это требование, выступая 16 июля 1995 года в Париже на Зимнем велодроме, куда свозили евреев во время большой облавы в 1942 году. То, что называют во Франции «национальной памятью», — не что иное, как захват, опровержение, затопление основной исторической памяти видоизменяющими ее воспоминаниями отдельных групп.

Интересно было бы описать подробнее внутреннее устройство этой новой памяти. Я попытался сделать это во введениях и заклю-

чениях «Мест памяти». Поэтому здесь достаточно будет подчеркнуть напоследок прямые, непосредственные следствия нынешнего расцвета памяти. Два из них представляются мне наиболее важными.

Первое состоит во все более интенсивном использовании прошлого — политическом, туристическом, коммерческом. Это проявилось в резком подъеме мемориальных мероприятий, особенно заметном во Франции. Последнее десятилетие (1989—2000 годы) предстает кульминацией мемориальной эпохи. Его обрамляет с одного конца празднование 200-летия Революции, когда и без того уже весьма заметный феномен предстал во всем своем историческом, политическом, национальном, религиозном, идеологическом и символическом размахе, а с другого — празднование наступления третьего тысячелетия. Каждый год приносил новые мемориальные даты — от годовщины дела Дрейфуса до 1500-летия Хлодвига, от 80-летия прекращения боевых действий в 1918 году до 150-летия отмены рабства. Франция, насколько я знаю, единственная страна, где уже 20 лет существует Управление по национальным празднованиям. Это мемориальное изобилие имеет множество причин: все они доказывают, что прошлое утратило единый смысл и что настоящее, наделенное историческим самосознанием, неизбежно узаконивает множественность возможных версий прошлого.

Второй эффект новой организации памяти состоит в том, что у историка отбирается его традиционная монополия на интерпретацию прошлого. В мире, где существовали *коллективная история* и *индивидуальная память*, именно историк имел право исключительного контроля над прошлым. Так называемая научная история в течение последнего века мощно поддерживала эту привилегию. Только историк умел устанавливать факты, обращаться с доказательствами, наделять истинностью. Это было его профессией и его достоинством. Сегодня историк далеко не одинок в порождении прошлого. Он делит эту роль с судьей, свидетелем, средствами массовой информации и законодателем. Это очередной повод для того, чтобы громко и отчетливо противопоставить «долгу памяти», который некоторые из нас провозглашали двадцать или двадцать пять лет назад, «долг истории».

Дело в том, что подлинная проблема, которую ставит сегодня сакрализация памяти, — это понять, как, почему, в какой момент позитивный принцип эмансипации и освобождения, одушевлявший ее, оборачивается своей противоположностью и превращается в форму замкнутости, мотив исключения и орудие войны. Требование возвращения памяти — в принципе форма взывания к

правосудию. Но на практике она часто оказывалась призывом к убийству. Может быть, пора обратить против памяти обвинение, предъявлявшееся Ницше истории, и повторить сказанное в «Несвоевременных размышлениях», заменив слово «история» словом «память»: «...существует такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которая влечет за собой громадный ущерб для всего живого и в конце концов приводит его к гибели, будет ли то отдельный человек, или народ, или культура». Об этой стороне памяти мы тоже обязаны помнить.

Перевод с французского Марии Сокольской

Андреас Лангеноль

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ

Интернационализация памяти о Второй мировой войне в России и Германии

Международная конъюнктура исторической памяти в Европе начала 1990-х годов

Вплоть до 1980-х годов память о Второй мировой войне в европейских странах и в Советском Союзе была включена в символическую архитектуру системной конфронтации между Востоком и Западом, что и составляло ее характерную особенность. Правда, на официальных торжествах на первый план выступала память о жертвах войны и о победе над нацистской Германией. Этот мотив считался само собой разумеющимся, прежде всего в Советском Союзе, где память о «Великой Победе» над фашизмом играла роль центрального символа, олицетворяя собой моральное превосходство советского общественного строя в целом и коммунистической партии в особенности. Здесь, в СССР, такая память находила себе и определенное социокультурное соответствие (по крайней мере, непосредственно после 1945 года)[1]. Тем не менее мемориальные торжества 1960—1980-х годов всегда были явно связаны с системной конфронтацией между Востоком и Западом. Наиболее отчетливо эта связь выражалась в призывах к миру в Европе, которые повторялись на протяжении десятилетий, сопровождаясь ссылками на жертвы Второй мировой войны. Одновременно им сопутствовали взаимные обвинения в обострении гонки вооружений и уверения в мирном предназначении собственных ракет. В результате официальная мемориальная практика нормативно ссылалась не столько на побежденную нацистскую Германию, сколько на

[1] *Зубкова Е.Ю.* Общество, вышедшее из войны: Русские и немцы в 1945 году // Отечественная история. 1995. № 3. С. 90.

отношения между сверхдержавами, которые использовали историческую память для маневров по моральному оправданию собственных позиций.

После распада Советского Союза эта риторика отмежевания сменилась более нюансированными, но тем не менее по-своему проблематичными практиками *интернационализированной* памяти. Их пик приходится на официальные международные торжества, посвященные 60-й годовщине «Дня Д» (Нормандия, июнь 2004 года) и 60-летию окончания войны в Европе (Москва, май 2005 года). Эти празднества знаменуют собой предварительный финал определенного исторического развития, в ходе которого робкая поначалу транснациональная коммеморация в Европе и США превратилась в тесную систему циркуляции, вобравшую в себя в итоге и Россию. На уровне международной политики определяющим фактором этого процесса следует считать создание Европейского экономического сообщества, а затем его дальнейшее развитие в Европейское сообщество и Европейский союз. Центральная политическая мысль, заложенная в фундамент Европейского экономического сообщества (названного вначале «Montanunion» — Европейское объединение угля и стали), заключалась в том, чтобы исключить саму возможность существования военных экономик в Европе благодаря тесной взаимосвязанности хозяйственных ресурсов европейских стран. Поэтому в основу ЕС заложен вывод из общего исторического опыта вошедших в него стран: никогда больше не допустить войны в Европе. Президент Германии Роман Херцог в своей речи на международном европейском Дне Памяти 8 мая 1995 года по случаю 50-летия окончания войны подчеркнул, что 50 лет назад «было открыто окно в Европу». Правда, именно эти слова могли быть восприняты и как выражение стремления к забвению. Однако Херцог подразумевал всего лишь завершение на уровне интерпретации символико-политического интеграционного проекта, изначально имевшего целью формирование общей, европейской памяти. Таким образом ФРГ при помощи транснациональной циркуляции символов Второй мировой войны оказалась интегрирована в международные мероприятия памяти о тех страданиях, за которые она несет политическую ответственность. Имплицитно, как теперь понятно, эта возможность на уровне международных отношений была создана уже самим фактом основания Европейского экономического сообщества.

Реальное ее использование, вероятно, было ускорено перестройкой символического арсенала западных обществ, ставшей тенденцией периода примерно между 1950-ми и 1980-ми годами. В

эти годы произошел постепенный отказ от триумфаторской трактовки военного прошлого и в особенности от концепции «гибели на войне»[2]. Такой отказ не только связывал друг с другом поверх национальных границ различные пацифистские группы. В обстановке постоянной военно-ядерной угрозы, чреватой всеобщим уничтожением, стиралось значение самих этих границ. Сегодня репрезентация гибели на войне больше не относится как нечто само собой разумеющееся к символической оснастке этих обществ — напротив, в ее отношении наступил определенный символический кризис. Этот кризис очевиден уже из того, что павшие в бою стыдливо обозначаются как «casualties» (жертвы несчастного случая), и даже минимальное число убитых солдат из стран Запада заставляет представителей высшей государственной власти собираться вокруг цинковых гробов на аэродромах, а общественное мнение осуждает диверсии религиозных экстремистов-смертников как нечто неподвластное рассудку. Между тем не прошло и ста лет с тех пор, когда именно такую готовность к самопожертвованию требовали от солдат, которых сотнями тысяч натравливали друг на друга в Первую мировую войну.

Эта делегитимизация во второй половине XX века риторики триумфа способствовала символическому сближению между Германией, с одной стороны, и ее бывшим противником, с другой, — сближению, которое уже шло полным ходом к моменту, когда распался Советский Союз. Неудивительно, что мемориальные практики в постсоветской России реагируют на эту транснациональную структуру циркуляции символов принципиально иначе, чем это происходит в Германии.

Поездки представителей тех или иных стран на международные мероприятия в память окончания войны и их выступления на таких мероприятиях играют большую роль в интернационализации памяти. Как следует уже из самого термина «политический представитель», политики представляют не только *кого-то*, но и *что-то*. То, что к этому аспекту сигнификации относятся всерьез, пожалуй, лучше всего выражается в «высокой школе дипломатии». Символическая ценность отдельных действующих на этом поприще лиц в отношении их собственной страны, страны назначения и их взаимных связей является тем решающим моментом, который позволяет интерпретировать намерения тех или иных правительств. Дипломатия показывает, что политики *отдельных* государств уча-

[2] См.: *Mosse G.L.* Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York; Oxford, 1990.

ствуют в *транснациональной* циркуляции символов, и в случае с международными памятными мероприятиями это выражается с особой наглядностью, ибо то, как интерпретируются жесты и слова того или иного политического представителя, зависит не только от него самого, но и от их значения в символико-политической конфигурации мероприятия (в «протоколе»), а также от значимости репрезентанта в самой пославшей его стране. При этом мемориальные мероприятия особо щекотливы, поскольку проводятся в специфических, так сказать, наполненных воспоминаниями местах, провоцирующих в ходе ритуала памяти символическую конденсацию прошлого («lieux de mémoire» — «места памяти», в понимании Пьера Нора). Приглашение зарубежного политического представителя на памятное мероприятие создает транснациональный интерпретационный контекст, который, однако, должен доказать свою пригодность к интерпретации «на месте», поскольку связь воспоминаний с определенными местами устанавливается раньше всякой рефлексии. «Успех» подобного мероприятия — то есть признание специфического *соответствия* акта воспоминания вспоминаемому и вспоминающим — определяется стяжением в одну точку, в место памяти, определяющее время и место воспоминания и таким образом как бы выдвинутое из прошлого в настоящее.

Эта принципиальная щепетильность памятных мероприятий является предметом публичных споров. Споры о том, кто кого и в каком из возможных сочетаний приглашает, а также «удался» ли сам памятный акт, занимают общественное мнение как минимум в такой же мере, как и сам объект воспоминания. Благодаря памятным мероприятиям становится возможным обсуждение как бы на инструментальном уровне того, каким должно быть нормативное содержание сегодняшнего представления о прошлом. Они олицетворяют собой как память, так и метапамять: с того самого момента, когда какое-то событие впервые становится предметом памятного мероприятия, каждое новое публичное воспоминание о нем становится повторением, продолжением или же разрывом с тем, первым воспоминанием. Будучи ритуальными событиями с принципиальной установкой на повторимость, мемориальные мероприятия как таковые связаны со своей собственной историей, никогда не представляя только сам объект памяти, но всегда еще и его предыдущие репрезентации.

Глобальную кульминацию развития интернациональных мемориальных торжеств на сегодняшний день представляют собой два мероприятия в память окончания Второй мировой войны, следу-

ющие друг за другом с небольшим временным отрывом: день памяти о высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года — о «Дне Д» («day of decision», дне решения) в 2004 году и памятное мероприятие в Москве 9 мая 2005 года. Многочисленные поездки и встречи в связи с этими акциями раскрывают ту транснациональную, символическую циркуляцию, которая лежит в основе интернационализации памяти. Последствия их рассматриваются ниже на основе общественных откликов на эти мероприятия в Германии и России.

60-летие «Дня Д»: приглашение Путина и Шрёдера с точки зрения европейцев

1 мая 2004 года в число членов Европейского союза вошли десять новых государств, в том числе немало бывших социалистических «стран-спутников» или даже республик СССР. Эта критическая дата, с точки зрения западноевропейских политических деятелей, сделала желательными более тесное общение с Россией и заявления о намерении сотрудничать с ней. Соответственно, и обмен официальными визитами между Германией, Францией и Россией в канун торжеств памяти «Дня Д» оказался в контексте усилий по успокоению России. В результате в апреле Шрёдер и Ширак один за другим посетили Москву: канцлер гостил у Путина в Кремле 1 апреля, а уже на следующий день с кратким визитом в Москву прибыл французский президент. В европейской прессе последняя акция толковалась на трех разных уровнях. Во-первых, отмечалось, что Ширак сделал Путину «ответный подарок» за свое приглашение в Москву, в свою очередь пригласив его на международные памятные торжества. Во-вторых, подчеркивалось, что Ширак первым из высших зарубежных представителей смог посетить Главный центр испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова под Москвой. В-третьих, указывалось на уже упомянутую дипломатическую вереницу: за день до Ширака в Москве побывал Шрёдер, а днем позже — Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Приглашение Путина в Нормандию рассматривалось в контексте демонстративных усилий по снятию напряженности в отношениях между Европейским союзом (или шире — индустриально развитыми странами Запада) и Россией, о чем недвусмысленно свидетельствует следующее сообщение в газете «Neue Zürcher Zeitung» от 5 апреля:

«В ответ на жест главы Кремля Ширак пригласил Путина на празднование 60-летия союзнической высадки в Нормандии в знак уважения к военным усилиям, которые Россия — тогда еще Советский Союз — взяла на себя во время Второй мировой войны. Ширак указал на то, что решающий перелом в этой войне был достигнут под Москвой, Курском и Сталинградом. Далее руководители двух государств высказались за усиление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и за удовлетворяющее обе стороны решение вопроса отношения Москвы к Европейскому союзу после расширения ЕС на восток в начале мая».

В Европе приглашение Путина рассматривалось в контексте необходимости международного сотрудничества, особенно в области борьбы с терроризмом. В такой трактовке жест Ширака, отдающего дань советским достижениям в ряду общих усилий, предпринятых в годы Второй мировой войны, одновременно выступает как гарантия современного сотрудничества, которое также должно оправдать себя в области борьбы. Тот факт, что бывший противник — нацистская Германия — остается неназванным, наглядно демонстрирует, что с западноевропейской точки зрения историческое измерение памяти о Второй мировой войне отступает на задний план по сравнению с требованиями современной политики.

Совершенно иной представляется ситуация с приглашением канцлера Шрёдера, отправленным ему за несколько недель до начала памятного мероприятия. Это, так сказать, повторная попытка: десять лет назад Гельмут Коль уведомил Франсуа Миттерана, что не желает принимать участия в торжествах по поводу 50-летия сражения, в котором пали многие немецкие солдаты. Уже поэтому приглашение Шрёдера оказывалось гораздо теснее связанным с проблемой памяти как таковой, а точнее — ее *европеизации*, чем с контекстом современных дипломатических отношений. Европейским политическим деятелям, вероятно, казалась щепетильной ситуация, когда 1 мая новая группа стран вступает в ЕС во имя идеи европейского единства, а месяц спустя приходится вспоминать об охватившем Европу военном хаосе, который стал исторической предпосылкой для этой идеи. Этот хаос необходимо было осмыслить не ретроспективно, а перспективно, то есть имея в виду «окно в Европу», открывшееся, согласно Херцогу, с концом войны. Рассматриваемое таким образом, с позиции 2004 года, приглашение германского главы в Нормандию олицетворяло начало конца войны и тем самым — начало Европейского союза, а подходило оно для подобного толкования потому, что существовала метапамять о европейских памятных мероприятиях. Федеральный канцлер при-

соединился к символическому событию, имевшему уже собственный исторический вес и указывающему на значение Европы.

60-летие «Дня Д»: восприятие участия Шрёдера в Германии

Для европейского общественного мнения торжества в Нормандии оказались важной темой. Соответствующим образом воспринималось в Германии и в Европе и участие в мероприятии Шрёдера. Преобладали мнения и оценки, касающиеся того, как сам канцлер определял контекст своего участия в памятном мероприятии, — собственно предмет празднеств осмысливался мало. Это очередное свидетельство в пользу тезиса о том, что над памятью о Второй мировой войне в Западной Европе доминирует ее метапамять. 6 июня 2004 года Шрёдер дважды выступил публично: на главной церемонии международного памятного мероприятия в Арроманше и в программной статье на страницах газеты «Bild am Sonntag», где он связал свое выступление в Нормандии с ролью Германии в Европе. Оба текста определяются метапамятью. В массовой немецкой газете Шрёдер говорит о необходимости памяти, но также и о том, что «сегодня... мы, немцы, можем вспоминать об этой дате с поднятой головой. Победа союзников была не победой над Германией, а победой для Германии». Он отсылает к ставшему каноническим высказыванию Рихарда фон Вайцзекера из речи 8 мая 1985 года о том, что 8 мая означало для Германии не поражение, а освобождение, — освобождение от «преступного режима» и «гитлеризма», определившее перспективу для всей Европы, которая теперь стала «наконец единой» и смогла «жить и праздновать сообща».

В противоположность назидательному оттенку в тоне статьи, мемориальная речь канцлера отмечена напряженностью: с одной стороны, он признает различия, существующие в памяти о войне во Франции и в Германии, а с другой стороны, в заключение объединяет немцев, французов и всех европейцев: «Мы хотим видеть объединенную, мирную Европу, всегда помнящую о своей ответственности за мир и справедливость на собственном континенте и во всем мире». Политическая ответственность Европы территориально расширяется благодаря тому, что горькая память оккупированных нацистской Германией стран признается и превращается в европейский «урок», воплощением которого стала «именно» Германия: «Европа выучила свой урок, и именно мы, немцы, не соби-

раемся вытеснять его из памяти. Граждане Европы и ее политики несут ответственность за то, чтобы и где-либо за ее пределами не появилось ни малейшего шанса для разжигания войны, для военных преступлений и терроризма». Итак, немцы в речи Шрёдера наделяются обязанностью гарантов памяти и уроков истории. При помощи такой политической миссии разрешается противоречие между частными воспоминаниями и общим историческим уроком.

При сравнении двух мемориальных текстов обнаруживаются различные имплицитные отсылки к существующим в Германии традициям трактовки Второй мировой войны. В «Bild am Sonntag» находит выражение представление, определившее немецкие дебаты на протяжении всего послевоенного периода. Это тезис о том, что ответственность за преступления, совершенные в нацистской Германии, несет *режим*. Участие в торжествах на нормандской земле совместно с бывшими военными противниками демонстративно обосновывается статьей за счет семантического разделения «гитлеризма» и «Германии». Этому же служит и ссылка на речь Вайцзекера, из которой заимствовано вовсе не указание на отдельные группы жертв, а сама мысль о том, что 8 мая 1945 года было для Германии освобождением. Статья Шрёдера вписывается в интерпретационную преемственность, которая оказывается оборотной стороной установившегося на сегодняшний день консенсуса о принципиальном значении нацистской диктатуры в самовосприятии Федеративной Республики — при том, что образ диктатуры перестал играть какую-либо роль во внутриполитической дискуссии именно из-за всеобщего консенсуса в ее оценке[3].

Напротив, в речи находит свое продолжение традиция памяти, возникшая позднее и впервые значимо заданная федеральным президентом Херцогом в его выступлении об «окне в Европу». У Шрёдера эта трактовка служит прямо-таки закрытию гештальта: осмысление отличных друг от друга горьких воспоминаний о Второй мировой войне возможно только с точки зрения *современного* политического примирения и единения Европы. Однако, в отличие от Херцога, парафразировавшего Европу скорее как пространство возможностей, Шрёдер уверенно рисует ее как политический проект, в который немцы включены не на периферии, а в качестве активных (и даже, поскольку они «не вытесняют» и «не забывают», — ведущих) участников. Так, память о конце войны из самоограничительной топики, которая всегда была присуща ей в кон-

[3] Ср.: *Langenohl A.* In der PR-Abteilung der Deutschland-AG? Über den Entschädigungsfonds für NS-Zwangsarbeiter // *Willems H.* (Hg.). Die Gesellschaft der Werbung. Opladen, 2002. S. 301—322.

тексте национального государства (как для консерваторов, так и для левых), в *европейском* контексте превращается в фактор самолегитимации.

В газетных комментариях различные традиции, имплицитно присутствующие в текстах Шрёдера о 6 июня 2004 года, переводятся в эксплицитный контекст метапамяти. Это демонстрирует и европейская печать. По отзыву британской газеты «Guardian», федеральный канцлер «подвел весьма значимый символический итог». «Le Parisien» характеризует Шрёдера как того федерального канцлера, «который открыл решающую новую страницу в истории немецко-французских отношений — тем, что принял приглашение приехать в Нормандию (отклоненное десять лет назад его предшественником Гельмутом Колем), и тем, что выступил там с недвусмысленной и мужественной речью». Газета «Corriere della sera» также отдала должное удачному решению Шрёдера, испытывавшего сильнейшее давление ожиданий международной общественности, связать память с будущим, «не скрывая при этом собственную растроганность». Эти комментарии показывают, что участие Шрёдера в международном памятном мероприятии расценивалось и в контексте прежнего отношения Германии к собственному прошлому.

Эту двойную оценку того, уместным ли было подобное выступление федерального канцлера, отражает и дискуссия в самой Германии. Не считая возражений из рядов ХДС/ХСС, недовольных тем, что Шрёдер во время своей поездки не посетил ни одно немецкое военное кладбище, в целом его выступление было воспринято как подобающее случаю. Между тем вскоре оно вновь стало предметом критики, правда, уже из леволиберального лагеря. Руководитель Берлинского бюро еженедельника «Die Zeit» Гунтер Хофман в своей статье (2004. № 27) выразил не вполне отчетливое недовольство «историзацией» немецкого прошлого:

«Канцлер не выбрасывает прошлое за борт и не говорит по этому поводу неправильные слова, но фактически именно под красно-зеленой режиссурой огромными темпами продвигается "историзация" собственного прошлого. Но тогда возникает вопрос о том, насколько прошлое утрачивает свой конститутивный для самоидентификации республики характер?»

Недовольство Хофмана вызвано подозрением, что немецкие политики в некотором смысле *слишком хорошо* извлекли уроки из прошлого и именно потому способны с этим прошлым расстаться. Обращение Шрёдера и Фишера с национал-социализмом в историческом контексте немецких памятных мероприятий расценивается как подобающее, но при этом именно в отношении этого контекста воспринимается как *чересчур* подобающее. Выступление

Шрёдера, по мнению Хофмана, при всей его общей желательности, слишком необязательно. Ему соответствует германская политика в области прав человека, чересчур настаивающая на том, что Германия извлекла уроки из фашизма, и именно поэтому не замечающая собственные противоречия. Статья заканчивается хмурым пассажем: «Собственное прошлое, которое всегда в конце концов ускользало от всеобщего понимания, теперь предстает благоустроенным. Но странным образом вдруг ловишь себя на мысли, что хотелось бы видеть его менее упорядоченным».

Те, кто ловит «себя» на такой мысли, олицетворяют ту немецкую традицию толкования национал-социализма, которая представляет его конститутивным «другим» Федеративной Республики. Как доказывают Томас Херц и Михаэль Шваб-Трапп, «базовый нарратив» ФРГ противоречивым образом отсылает к национал-социализму: Федеративная Республика состоит с ним в формальном правопреемстве и одновременно содержательно от него отмежевывается[4]. Мне, однако, кажется, что этот дискурс звучит лишь в определенном политическом спектре — леволиберальном. Здесь интенсивной конфронтации с национал-социализмом придавалось определяющее значение: она выступала не как негативное поле для проекции собственной морально-политической позиции (как это происходило в официальном антифашизме ГДР), а как исторически определившийся, *объективный* именно вследствие непостижимости явления национал-социализма масштаб для оценки текущей политики. Западногерманское «Никогда больше!» было не самонадеянной констатацией, как в ГДР, но перманентным напоминанием об угрозе всякой политике в связи с опасностью возврата к варварству. И этим же оно отличается от констатации Шрёдером того, «что война европейских народов друг против друга стала невозможной». Леволиберальное недовольство интернациональным облачением немецкой памяти о Второй мировой войне выступает, таким образом, в виде сомнения, противопоставляемого интернационализации «облегченной» памяти.

Восприятие международных памятных торжеств в России

Российские комментарии визита Шрёдера в Нормандию были благоприятными. «Известия» сожалели, что Коль не проявил го-

[4] *Herz Th., Schwab-Trapp M.* Umkämpfte Vergangenheit: Diskurse über den Nationalsozialismus seit 1945. Opladen, 1997.

товности участвовать в памятных торжествах 1994 года, так как в этом случае, возможно, призыв к миру прозвучал бы еще сильнее. По сообщению пресс-службы российского МИД, Путин приветствовал участие Шрёдера и при встрече с канцлером подчеркнул, «что, по словам российских ветеранов, первыми союзниками советских войск в борьбе с фашистами были немецкие антифашисты. Глава российского государства отметил, что обе страны никогда не забудут историю, однако современное поколение в России и Германии не несет ответственности за то, что происходило раньше, и не может быть поражено в правах»[5].

Эти примирительные слова были помещены в контекст столь же примирительного жеста — передачи Шрёдеру 8 июля приглашения участвовать в главном памятном мероприятии, посвященном окончанию войны, проведение которого в Москве намечено на май 2005 года. Впрочем, оценка интернационализации памяти в российских откликах, по сравнению с немецкими, оказалась некоторым образом ближе к событиям, о которых вспоминали. Абстрагированности от исторических событий (в лучшем случае кратко упоминающихся), столь типичной для комментариев западноевропейских масс-медиа, в российских СМИ противостоит заметная конкретность. Она проявляется, например, в помещенном на сайте «Russland.ru» сообщении о выставке под названием «Общая Победа», организованной информационным агентством РИА «Новости» в Париже и открывшейся незадолго до торжеств в Нормандии. О французском вкладе в победу здесь говорится следующее: «Сражающаяся Франция представлена на выставке изображениями летчиков легендарной эскадрильи "Нормандия—Неман", которая может гордиться 273 сбитыми немецкими самолетами»[6].

Подобная, непривычная для западноевропейского контекста конкретика указывает на по-прежнему неизменно присутствующую в российских дискуссиях 1990-х годов идею «Великой Победы». Показательный пример — статья директора Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук Анатолия Уткина в «Литературной газете» (2004. № 48), представляющая собой крайне резкую реакцию на обращенный к зарубежным политикам призыв некоторых депутатов Европейского парламента отказаться от участия в московских торжествах в мае 2005 года[7]:

[5] www.ln.mid.ru/va_sob.nsf/0/466f32ae14f21b8ec3256eb6003b7c4b?OpenDocument.

[6] http://russlandonline.ru/rumed0010/morenews.php?iditem=108.

[7] Мне по своим источникам не удалось проверить, прозвучал ли такой призыв в действительности.

«Немцы, мол, уже не те, а зверства были по обе стороны того фронта; давайте забудем всех тех, кто надевает 9 Мая ордена и медали, — ведь столько лет прошло. Какое право имеют эти люди предлагать забыть незабываемое?! Ведь это *мы, наша страна спасла их дважды за прошлый век!*»

Непосредственно за этим обвинением приводятся многочисленные исторические факты, но также и центральные для Советского Союза и России символы памяти о Великой Отечественной войне[8]: вспоминаются те, кто закрывал своей грудью вражеские амбразуры и бросался с гранатами под танки, или повешенная эсэсовскими палачами школьница Зоя Космодемьянская. В конечном итоге инициатива членов Европарламента представлена как очередное доказательство сознательной политики забвения со стороны «Запада», якобы уже давно пытающегося принизить российско-советский вклад в победу над нацистской Германией: подобные же попытки, по мнению автора, и привели в свое время к «холодной войне».

Статья под заголовком «Нашу Победу — нам защищать!» отображает полемику, которая длится в России уже более десяти лет, но пик которой пришелся на первую половину 1990-х годов. Тогда представленные в статье топосы памяти использовались в общественных дебатах как средство защиты от тех, кто принижал историческое значение Великой Победы. Дебаты разгорелись на фоне дискуссии о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Антисоветски настроенные интеллектуалы, ссылаясь на новые исследования российских историков, доказывали тогда, что Сталин и КПСС вели «бездарную войну», бессмысленно увеличившую число жертв[9]. Некоторые в своей аргументации доходили до утверждения, будто Гитлер, осознанно или невольно, всего лишь опередил Сталина, планировавшего превентивный удар по Германии[10].

[8] Ср.: *Сенявская Е.С.* Героические символы: реальность и мифология войны // Отечественная история. 1995. № 5. С. 30—44.

[9] Ср.: *Ферсобин В.В.* Заметки бывшего сержанта гвардии о войне // Вопросы истории. 1995. № 5—6. С. 121—130; *Петров Б.И.* О стратегическом развертывании Красной Армии накануне войны // Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия / Под ред. В.А. Невежина. М., 1995. С. 66—76.

[10] Ср.: *Мельтюхов М.И.* Споры вокруг 1941 года: Опыт критического осмысления одной дискуссии // Отечественная история. 1994. № 3. С. 4—22; *Невежин В.А.* Речь Сталина 4 мая 1941 года и апология наступательной войны // Отечественная история. 1995. № 2. С. 54—69.

Попытки такого пересмотра вызывали бурный протест. Ведь они, хотя и не подвергали намеренно сомнению историческое значение Великой Победы, все-таки ставили под вопрос смысл огромных человеческих жертв, понесенных ради ее достижения[11]. Противостояние двух этих позиций приобрело в 1990-е годы характер «идеологической блокады усвоения уроков» (Макс Миллер), поскольку каждый лагерь оспаривал право другой стороны на публичное выражение ее мнения, упрекая ее в предательстве интересов народа. При этом антисоветски настроенные интеллектуалы обвинялись в том, что, с одобрения Запада, умаляли заслугу русского народа в победе, а сторонники ортодоксальной трактовки — в том, что умалчивали о преступлениях Сталина против этого народа.

Эта конфронтационная схема представлена и в статье Уткина, но место обвинявшихся прежде критиков из собственных рядов занимает теперь «Запад». Здесь артикулируется оскорбление, якобы нанесенное коллективной памяти о войне бывшими союзниками, в продолжение возмущения по поводу несостоявшегося приглашения России на торжества по случаю 50-летия высадки в Нормандии. Многие российские интеллектуалы и историки тогда заподозрили Запад в желании создать такое впечатление, «будто бы не было великой битвы под Сталинградом, ставшей символом начала стратегического поражения Германии, не было [...] многих других сражений на советско-германском фронте, приведших к коренному перелому в войне»[12].

Статья Уткина, несомненно, не репрезентативна для российских дебатов в целом. Тем не менее она маркирует ту символическую границу, которую, с российской точки зрения, преступать нельзя: интернационализация памяти должна ориентироваться на *признание определенной трактовки победы*. Благожелательные комментарии по поводу участия Шрёдера в торжествах на нормандской земле и его приглашение в Москву лишь мнимо противоречат этому. С российской точки зрения, политические представители Германии на самом деле являются скорее периферийными фигурами памяти о Великой Отечественной войне. Значимыми же являются бывшие западные союзники, от которых ожидается признание решающего вклада Советского Союза или России в общую победу.

[11] *Богомолов В.* Срам имут и живые, и мертвые, и Россия... // Свободная мысль. 1995. № 7. С. 79—103.

[12] *Чубарьян А.О.* Война и судьбы мира: проблемы исторических исследований // Свободная мысль. 1995. № 2. С. 53—54.

Именно в этот контекст помещается детальное и красочное изображение усилий советского / русского народа в его борьбе за достижение победы над нацистской Германией. Понесенные жертвы требуют от потомков не такого почитания, о котором говорил Шрёдер в своей речи 6 июня, вспоминая павших в десантной операции, могущего заключаться в признании различий в воспоминаниях. Эти жертвы требуют *однозначного* признания своего исторического свершения «навсегда». И в России память о войне далека от триумфаторской риторики и от оправдания «гибели на войне»; но эта гибель, в отличие от отношения к ней в Западной Европе, вспоминается во всей своей *монументальности*, а не теряется в игре приемлемых различий.

Итог

Можно задаться вопросом, легитимно ли вообще сопоставлять изменения в памяти о Второй мировой войне в России и в Германии — слишком очевидны различия между сравниваемыми предметами. С одной стороны — национальное государство, в формально-правовом отношении наследующее нацистской диктатуре, много десятилетий вписанное в западную систему международных отношений. Именно внутри этих связей оно постоянно и последовательно сталкивается с необходимостью критического рассмотрения своего преступного прошлого — не только войны, но и в первую очередь Холокоста. С другой стороны — остаточная часть поликультурной империи, в глазах которой память о Второй мировой войне угрожает памяти о Великой Отечественной, значение которой является масштабом для всякого поминовения. Каким образом сравнивать воспоминания потомков «нации преступников» (по выражению Райнхарда Козеллека) с воспоминаниями потомков «народа-победителя» (по словам Александра Панарина)?

Именно эти несопоставимость и своеобразие и оказываются втянутыми в неизбежные взаимоотношения благодаря международным памятным мероприятиям. В будущем их *придется* сравнивать, если мы хотим сохранить международную память о развязанной Германией Второй мировой войне и Великой Отечественной. В результате такого воспоминания, в которое оказываются втянутыми наносящие официальные визиты политики, не только возникают проблемы взаимного перевода памяти национальных государств в интернациональную память и наоборот, но и ретроспективно становятся проблематичными прежние мемориальные практики.

В этом смысле Германия и Россия сравнимы. В немецкой общественности перед вызовом стоит здешняя (леволиберальная) интерпретационная культура, поставившая в центр внимания память жертв нацистской Германии и невозможность обычного исторического постижения этой памяти. Такое осмысление оказывается проблематичным в результате ретроспективного, международно санкционированного толкования, по которому эти жертвы указывают на то, в принципе желанное, настоящее, которое объединяет бывших преступников с бывшими победителями. Именно таким образом проявляется гибридный характер самого разделения на преступников и жертв, которым питается историческая память ФРГ — начиная со спора о том, кто, собственно, является жертвой и кто преступником, и кончая модернизацией понятия «преступник», достигаемой замещением «вины» «ответственностью». В Нормандии Шрёдер осуществил перекодировку победителей в избавителей, а тем самым и преступников — в спасенных (а не в побежденных или жертв).

Российско-советская культура интерпретации Великой Отечественной войны также изначально была гибридной и полиморфной. Она тоже покоилась на одном центральном делении — на различении победителей и побежденных. Победили народ и партия, побеждены были немецкий и европейский фашизм. Сразу после окончания войны Советский Союз представлял собой «общество веры и надежды» на мир, который должен был наступить вслед за победой над варварством национал-социалистической Германии[13]. Между тем в ходе системной конфронтации Востока и Запада и образования блоков начиная со времен Брежнева место «побежденных» в официозно-публичной памяти о войне заняли «спасенные» — ведь их спасение легитимировало советскую гегемонию в Восточной Европе. Лишь к концу существования Советского Союза эта ассоциация с победителями и спасенными была потеснена внедрением третьего различия — между преступниками и жертвами. Антисоветские интеллектуалы и победителей, и спасенных стали воспринимать как жертв советского режима. О степени шокирующего воздействия, которое произвел этот вызов на постсоветскую культуру интерпретации, может свидетельствовать то обстоятельство, что возникшие в результате конфликтные модели продолжают существовать до сих пор. В данный момент они играют важную роль в критике интернационализации памяти Великой Отечественной войны. Эта критика направлена против аннулирования морального статуса победителя — статуса, который основан

[13] *Зубкова Е.Ю.* Общество... С. 98—99.

на убеждении в осмысленности жертвы, принесенной советским народом.

Таким образом, в Германии, как и в России, есть тенденция проблематизировать сам процесс введения памяти в новое, интернациональное русло. В этой тенденции отражается трудность интеграции прежних трактовок в новые условия. Речь идет о памяти о прежней мемориальной практике и возникающем в результате конфликте между памятью и метапамятью. При этом Германии в процессе ее интеграции в интернациональный контекст приходится легче, чем России: для нее существует перспектива *включения* в существующие памятные мероприятия, которые затем получат новое толкование в рамках общих проектов, устремленных в будущее. Впрочем, многие видят в этом и угрозу забвения нацистского прошлого. Нельзя исключить и то, что благодаря процессу интернационализации немецкой памяти дело дойдет до еще большего «приручения» леволиберальной мемориальной парадигмы. Ее центральная идея состоит в том, что любая германская политика должна соизмеряться с ответственностью за последствия немецких преступлений. Эта парадигма и так уже ослаблена благодаря надпартийному и именно потому не имеющему политических последствий консенсусу о том, что Освенцим «в каком-то смысле» важен для Германии.

В России, напротив, говорится скорее о необходимости самоутверждения в рамках международных памятных мероприятий. Простое присоединение к уже существующим практикам отвергается в связи с прежней практикой памяти о Великой Отечественной войне — его считают равнозначным символическому умалению исторической заслуги Советского Союза или России. Таким образом, интернационализация памяти ведет прежде всего к расширению той аудитории воспоминаний, которая обязана соглашаться с определенной, не подлежащей сомнению трактовкой войны и Великой Победы. Теперь речь идет уже не только об антисоветски настроенных критиках в собственной стране, но и практически обо всем западном мире (исключая, ироничным образом, Германию, с которой слабо соотносится постсоветская культура памяти). Результат таких ожиданий, обращенных к международной (западной) общественности, — заранее запрограммированные разочарования и фрустрации, которые порождались и еще будут порождаться международными памятными мероприятиями.

Авторизованный перевод с немецкого Игоря Ермаченко

Владислав Гриневич

РАСКОЛОТАЯ ПАМЯТЬ
Вторая мировая война в историческом сознании украинского общества

Украина мало отличается от большинства стран Центральной и Восточной Европы, в которых после падения коммунистических режимов начались кардинальные переоценки исторического прошлого. Тема Великой Отечественной войны со времени провозглашения в августе 1991 года независимости украинского государства до сегодняшнего дня пребывает в центре жарких общественных дискуссий и политической борьбы, достаточно четко отражая нерешенность проблемы не только выработки новой «украинской идеи», но и определения стратегических ориентаций в системе координат Запад—Восток. Собственно, Вторая мировая война остается тем водоразделом в исторической памяти украинцев, который раскалывает их политически, идеологически и ментально.

От Сталина до Хрущева: миф о войне как легитимация режима

В межвоенный период большевикам так и не удалось сформировать в УССР гомогенное общество с единой советской идентичностью. Ни перманентные чистки врагов, которые в Украине нередко охватывали целые этнические и социальные группы, ни формирование национально окрашенного советского патриотизма не имели значительного успеха. Преимущественно крестьянская по своему социальному составу Украина, пережившая в 1930-х годах колоссальную по своим масштабам и последствиям гуманитарную катастрофу — Голодомор, жертвами которого стали более 3,5 миллиона человек, оставалась в сталинской империи потенциально «слабым звеном». Присоединение западноукраинских областей к СССР накануне немецкого вторжения только прибавило советской власти проблем.

Победа в войне создала новые условия для легитимации коммунистического режима. Война с ее многочисленными реальными и мифическими проявлениями героизма и жертвенности представляла собой замечательный материал для создания патриотических символов и образцов коллективной памяти. Более того, общая борьба советских народов с врагом давала возможность, не игнорируя, а скорее наоборот, акцентируя внимание на местной специфике, создавать модель общего патриотизма — общей советской идентичности. Таким образом, миф о Великой Отечественной войне, базовую основу которого составляли идеологемы о морально-политическом единстве советского общества, о руководящей роли коммунистической партии, о единстве партии и народа, фронта и тыла, о пламенном советском патриотизме и массовом героизме, о дружбе народов СССР и тому подобное, призван был сыграть особую роль в единении советского общества.

Направленный на интеграцию всего населения СССР в единый советский народ, миф войны создавал общих врагов и общих героев, однако каждая национальная республика и каждый советский этнос творили свой малый миф, гармонически дополняющий это колоссальное идеологическое построение.

К созданию украинского советского мифа руководители республики приступили уже в ходе войны, причем используя для этого все присущие для официальной культуры памяти войны элементы: соответствующую интерпретацию истории, возведение военных пантеонов и мемориалов, учреждение новых праздников и памятных дат. Первый коммунист республики Никита Хрущев не только дал в своих речах и выступлениях идейные установки относительно роли и места Украины и ее компартии в Великой Отечественной войне, но и заложил основу для увековечения памяти о войне в пантеонах и мемориалах. По просьбе Хрущева и с личного разрешения Сталина в Киеве вскоре после его освобождения были захоронены герои обороны украинской столицы — генералы Кирпонос, Потапов, Тупиков (в 1957 году они были перезахоронены в специально построенном для этой цели Парке Славы, а сам парк превращен в ритуальное место поклонения, с Вечным огнем и Могилой неизвестного солдата). Несколько позднее в Киеве был похоронен и герой его освобождения генерал Николай Ватутин, который погиб весной 1944 года вследствие ранения, полученного в столкновении с украинскими националистами (до распада СССР причины смерти командующего I-м Украинским фронтом предпочитали особо не афишировать, и ныне надпись на памятнике «Генералу Ватутину от украинского народа» иногда интерпретируется некоторыми праворадикалами совершенно недвусмысленно).

Осенью 1944 года в ЦК компартии Украины была разработана и спущена «по вертикали» целостная программа сооружения в республике разнообразных памятников героям Великой Отечественной войны, монументов «Слава» и «Победа», а также в ряде населенных пунктов Сумской, Черниговской, Сталинской и Ворошиловградской областей памятников героям партизанской войны. На 1 октября 1947 года в республике было приведено в порядок 31 688 братских и 64 670 одиночных могил советских воинов, сооружено 2613 памятников, 9861 надгробье, установлено 52 549 могильных знаков. Все эти могилы и памятники были со временем превращены в ритуальные места поклонения.

В годы войны Хрущев также инициировал учреждение «общенародных, национально-государственных праздников украинского народа»: Дня освобождения Киева (6 ноября) и Дня освобождения Украины (14 октября), которые как памятные даты отмечаются до сего дня. Следует также отметить, что среди нерусских народов только для украинцев было сделано исключение в плане учреждения «национального ордена», названного в честь исторического героя украинского народа Богдана Хмельницкого.

Уже в бытность первым секретарем ЦК КПСС Никита Хрущев в 1961 году добился присвоения Киеву звания города-героя. Это почетное звание было учреждено в 1945 году и присвоено за героическую оборону в Великой Отечественной войне только Ленинграду, Севастополю, Волгограду-Сталинграду и Одессе. По ряду причин этот шаг дался Хрущеву не без определенных усилий, ведь оборона Киева ассоциировалась у бывших сталинских маршалов с самым масштабным в истории войны окружением, когда в плен попало около полумиллиона советских солдат. Кстати, неприятный осадок оставил и тот факт, что руководство обороной украинской столицы осуществлял генерал Андрей Власов — будущий предатель № 1 в сталинской империи.

Претензия партии на руководящую роль в советском обществе была серьезно поставлена под сомнение катастрофой 1941 года, что и обусловило особую табуированность событий начального периода в официальной культуре памяти о войне. Так, осенью 1945 года заместитель уполномоченного Совнаркома СССР по охране военной тайны в печати приостановил распространение журнала «Украинская литература» (№ 4—5) за 1945 год. После тщательной проверки из него была изъята повесть Зиновия Тетерюка «Записки военнопленного». В повести рассказывалось о мытарствах бывшего командира Красной армии, который добровольно сдался в плен и записался на работу по разминированию минных полей, установ-

ленных Красной армией. После многочисленных побегов из концлагерей и 13 месяцев скитаний на оккупированной территории герой повести перешел линию фронта и возвратился «к своим». Бедой автора стало «слишком правдивое» описание событий начального периода войны. Сцены добровольной сдачи красноармейцев в плен, либерального отношения немцев к военнопленным, которых нередко отпускали домой, отсутствие «героической борьбы советского народа и его Красной армии с фашистскими захватчиками» и даже намека на присутствие партизан — герой повести так и не смог их разыскать — вызвали возмущение у проверяющих. Они признали публикацию «серьезной ошибкой редакции и политически вредным произведением».

Подобный случай был не единичным. Несколько ранее власть отказала поэтам Константину Симонову и Евгению Долматовскому в просьбе снять фильм о 1941 годе. Позднее кинорежиссеру Сергею Герасимову запретили показывать в фильме «Молодая гвардия» (1948) сюжет о разгроме советского подполья в начале войны. В Украине дважды Герой Советского Союза партизан Алексей Федоров устроил настоящее шельмование писателя-партизана Юрия Збанацкого, который поставил под сомнение массовость партизанского движения и пытался описать сложности его становления в 1941 году.

Однако именно масштабное советское поражение на начальном этапе войны, а также проявленная при этом нелояльность к сталинскому режиму со стороны преимущественно крестьянского украинского населения стали причиной перманентной гиперболизации в украинской советской историографии партизанской темы. Постепенно она переросла в очередной советский миф «о всенародной борьбе в тылу немецких войск на оккупированной территории Украины». Появившиеся уже в первые послевоенные годы мемуары и романы участников партизанского движения Сидора Ковпака, Алексея Федорова, Петра Вершигоры и других переиздавались в республике колоссальными тиражами. Параллельно возрастало и количество украинских партизан. Озвученная Никитой Хрущевым на XVI съезде компартии Украины, несомненно, преувеличенная цифра 220 тысяч участников партизанского движения вскоре перестала устраивать новых украинских руководителей, поскольку выставляла республику в невыгодном свете по сравнению с Белоруссией, где количество партизан было вдвое большем. Накануне празднования 20-летия Великой Победы Киевский филиал Института истории партии начал сбор по областям сведений об участии граждан Украины в партизанском движении и подполье. Однако

данные, поступившие из областных архивов, вызвали в Киеве замешательство. Например, в Запорожской области отыскали только 337 партизан и 44 подпольщика, а также 285 лиц, содействовавших им в годы войны. Директор института Истории компартии при ЦК КП Украины Иван Назаренко не мог скрыть своего разочарования и с раздражением написал на одном из документов: «Неужели так было?» В Запорожье был послан сотрудник института, который «довел задачу ЦК» до местного руководства. Цифру пересчитали заново и... нашли еще 192 тысяч участников всенародной борьбы 1941 года, «многие из которых впоследствии стали партизанами». В результате подобной алхимии была выведена новая, абсолютно фантастическая цифра: соответственно 501 000 украинских партизан и 100 000 подпольщиков. В то же время власть предпочитала не фокусировать внимание на национальном составе партизанских отрядов, поскольку украинцы в них в процентном отношении составляли значительно меньшую часть, чем в составе республики в целом.

Затушевывание национального момента было характерным проявлением псевдоинтернационалистской историко-идеологической концепции «дружбы народов», направленной на формирование единой советской идентичности. Характерный в этом отношении случай произошел с Александром Довженко. В 1942 году он передал в издательство «Знамя» повесть «Победа», в которой рассказывал о героических действиях военной части, практически полностью состоявшей из украинцев. Партийный идеолог Георгий Александров (глава Агитпропа) раскритиковал произведение «за искусственный отрыв борьбы украинского народа от русского и других народов СССР» и запретил его печатать как «политически ошибочное и вредное».

Постепенно задачи украинских историков были ограничены темами воспевания подвига украинского народа и вклада Украинской ССР в общую победу над врагом. Интересно также и то, что, хотя украинская историография носила преимущественно краеведческий характер, она фактически была лишена национального колорита. В целом официальные советские историки не стремились выяснить, сколько же украинцев воевало в Красной армии, сколько их было мобилизовано на фронт в период войны, каков был национальный состав отдельных советских фронтов, генеральского и офицерского корпусов, не говоря уже об этническом контексте человеческих потерь, плена, коллаборации и т.п.

Проблемы национальных меньшинств и межнациональных отношений в годы войны также были табуированы. Депортации

крымских татар и немцев Украины, украинско-польская резня на Волыни оставались тайной за семью печатями — как, впрочем, и трагедия Холокоста. Вытеснение памяти о катастрофе еврейства было весьма характерным моментом советской исторической памяти войны. Так, впервые увидевший свет в период оттепели роман киевского писателя Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» вскоре был запрещен. Причина замалчивания этой темы в немалой степени также была связана с проблемой лояльности. Акцент на евреях как главных жертвах нацизма мог, с точки зрения власти, актуализировать в сознании масс старый антисемитский миф времен Гражданской войны о том, что «советская власть — еврейская власть», равно как и нацистский миф о «жидо-большевизме», от которого немцы якобы пришли освобождать украинцев. Посему власть предпочитала называть многочисленные захоронения евреев могилами «мирных советских граждан — жертв немецко-фашистского оккупационного режима». В решении Совнаркома УССР о возведении монумента в память о погибших в Бабьем Яре, принятом в середине 1945 года, ничего не говорилось о евреях, а в 1976 году, когда памятник наконец-то был воздвигнут, национальная принадлежность 100 000 погибших вообще не упоминалась. Только в годы перестройки и гласности о Холокосте заговорили в полной мере. Тогда же выяснилось, что в Бабьем Яре в одной могиле с евреями покоятся сотни расстрелянных немцами украинских националистов.

Особенность украинской исторической памяти войны заключалась в том, что она изначально была раздвоенной. Национально-освободительное движение, охватившее западные области Украины в годы немецкой оккупации и достигшее своего пика в период возвращения сталинского режима, создало за годы войны целую систему национальных мифов со своими героями и символами, пантеонами и праздниками, в основе которой лежала идея жертвенной борьбы украинского народа «против двух империализмов — сталинского и гитлеровского за независимую украинскую державу». Не случайно советская власть сразу после возвращения в Украину позаботилась об уничтожении всего, что напоминало бы местному населению об этой борьбе. Никите Хрущеву принадлежала идея превращения курганов-могил, насыпанных украинскими повстанцами для увековечения памяти героев, в памятники советским солдатам. С этой целью с курганов сбивали деревянные кресты и национальные символы тризубы, монтируя вместо них пирамидки с красными звездами.

Тема врагов и предателей заняла особое место в украинском советском мифе. На протяжении почти 50 лет коммунистическая

пропаганда формировала в Украине образ «украинско-немецкого буржуазного националиста — пособника фашистов». Деятельность Организации украинских националистов и созданной при ее участии Украинской повстанческой армии иначе как «антинародная, кровавая, преступная» не характеризовалась. Придуманные советскими публицистами хлесткие штампы типа: «жовто-блакитные вурдалаки», «штатные иуды», «отмеченные печатью проклятия», «союз тризуба и свастики» и тому подобные призваны были заклеймить и покрыть вечным позором украинское националистическое движение.

От неосталинизма до перестройки: миф о войне — «священная корова» коммунистической идеологии

Утверждение в общественном сознании советского мифа войны пришлось на брежневский период. Воспитанная в духе советского патриотизма молодежь, в условиях приглушенного скептицизма со стороны поколений, переживших катастрофу 1941 года и немецкую оккупацию, постепенно оказалась в плену этого блистательного мифа. Его активными проводниками в республике выступали советские ветераны войны. Вместе с восстановлением в 1965 году празднования 9 мая Дня Победы как выходного дня и права ношения орденов и медалей, ранее омраченного наличием на них профиля Сталина, они неожиданно получили почет и общественное признание.

Любые попытки отхода от официальной интерпретации были в советское время наказуемы. Автор данной статьи хорошо помнит, как уже в 1980-е годы его, сотрудника мемориального комплекса «Музей Великой Отечественной войны» в Киеве, вызывало «на ковер» руководство, чтобы предупредить о недопустимости использования в лекциях материалов из книги Евгения Долматовского «Зеленая брама» о трагедии 1941 года, только что вышедшей из печати[1].

Насколько прочным оказался монументальный советский миф, продемонстрировали события периода перестройки и гласности. Преобразования, по мнению их инициаторов, не должны были

[1] *Долматовский Е.А.* Зеленая брама. Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны. 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1985.

затронуть фундаментальных основ советского строя, в том числе и его основополагающего мифа. Критика сталинизма и тоталитаризма допускалась, но без покушения на интеграционные ценности советской истории. О том, что официальная власть не была заинтересована в установлении правды о войне, свидетельствуют инструкции Главлита, подготовленные уже в пик перестройки в 1990 году, рекомендовавшие не касаться тем, ставящих под сомнение советскую модель интерпретации войны.

Украинская компартия представляла собой в то время один из наиболее ретроградных отрядов КПСС, в котором долгое время не наблюдалось ни намека на демократизацию. В 1985 году, на заре перестройки, директор Института истории Украины Академии наук УССР Юрий Кондуфор и заведующий отделом истории Украины периода Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза бывший партизан Всеволод Клоков выступили в «Вестнике АН УССР» с программной методологической статьей, в которой обосновали мысль о том, что история УССР времен войны должна оставаться «неотъемлемой частью истории СССР, а выделение национального сюжета в противоположность положению о неразрывности и взаимозависимости исторического процесса развития каждой республики Советского Союза в целом было бы ошибочным»[2].

Однако общественные процессы внесли существенные изменения в такой подход. По мере обострения политической борьбы между сторонниками коммунистической партии и демократических сил тема Второй мировой войны все активнее включалась в противостояние. Следует отметить, что украинская академическая наука оказалась в этот период аутсайдером. Особая роль здесь принадлежала публицистам, журналистам, писателям и молодому поколению историков, которые откликнулись на вызовы времени. Две тенденции определили украинскую специфику данного периода. Во-первых, особое внимание стало уделяться роли и месту Украины и украинцев в войне. Поначалу эта тематика развивалась исключительно в контексте критики сталинизма, однако постепенно она все больше стала вписываться в процесс тех центробежных тенденций, которые нарастали в стране. К примеру, появившиеся в начале 1990-х годов публикации на тему создания Сталиным в 1944 году Наркомата обороны УССР акцентировали внимание общественности на эфемерном и фиктивном статусе украинской советской государственности.

[2] *Кондуфор Ю.Ю., Клоков В.І.* Деякі питання методології і завдання дослідження періоду Великої Вітчизняної війни // Вісник АН УССР. 1985. № 5.

«Архивная революция» — выведение из спецхранов партийных архивов значительного массива ранее засекреченных документов — также в немалой степени способствовала девальвации старых советских мифов о войне. Например, тезис об авангардной роли коммунистов в народной борьбе на оккупированной территории лопнул как мыльный пузырь, когда выяснилось, что почти четверть всех членов КП(б)У — более 140 000 человек — остались на захваченной врагом территории и в основной своей массе благополучно пережили немецкую оккупацию. Только в Ворошиловграде, по состоянию на 15 апреля 1943 года, легально, после регистрации в гестапо проживало 750 бывших коммунистов и 350 комсомольцев.

Вторая тенденция — откровенно антисоветская и националистическая по своему политико-идеологическому наполнению — была связана с актуализацией темы ОУН-УПА. В западных областях республики, как это имело место и в Прибалтике, зазвучали обвинения Красной армии в оккупации. В феврале 1990 года возле здания Верховной Рады в Киеве прошел несанкционированный митинг, организаторами которого стали правые политические объединения и партии. Выступавшие ораторы обвинили советскую армию в том, что она воспитывает манкуртов, назвали ее «оккупационной», призывали создать свою украинскую армию, апеллируя при этом к историческому опыту украинской военной истории княжеского и казацкого периодов, а также к истории Украинской повстанческой армии времен Второй мировой войны[3].

Особую роль в популяризации ОУН-УПА сыграла украинская диаспора. Заполнение существующего в Украине информационного вакуума по этой теме осуществилось при помощи поступлений из-за рубежа массы украинских эмиграционных изданий, написанных преимущественно в эпоху «холодной войны». Правда, среди массива зарубежной литературы были и новейшие вполне академические исследования — например, канадского профессора украинского происхождения Ореста Субтельного «Украина. История». Представлявшая украинскую историю периода Второй мировой войны в абсолютно новом «украиноцентричном формате», книга Субтельного была переиздана в Киеве уже в первый год украинской государственной независимости. В условиях отсутствия новой концепции украинской истории книга канадского профессора стала на несколько лет чуть ли не единственным официальным учебным пособием для студентов и школьников Украины.

Демократизация и гласность оказали решающее влияние на трансформацию общественного сознания в Украине. Закрашива-

[3] *Фросевич Л.* Мітинг без санкцій // Вечірній Київ. 1990. 6 лютого.

ние «белых пятен» украинской истории постепенно подрывало доверие к коммунистическому режиму. Динамика изменений политических настроений от критики Сталина к критике советской власти и коммунистической системы в целом, а далее — к формированию симпатий к идее независимой Украины и даже к украинскому национализму как альтернативе старой коммунистической идеологии оказалась весьма стремительной и совсем неожиданной для власти.

Вполне прогнозируемым, однако, стал рост популярности темы ОУН-УПА. Прежде всего, это касалось западных областей Украины, где уже в период перестройки прокатились многочисленные митинги с призывами возрождения национальной символики и признания Украинской повстанческой армии воюющей стороной. Подобные настроения наблюдались и в других регионах Украины. В Киеве, на майдане Незалежности (тогда еще площади Октябрьской революции) бойко торговали националистической литературой, флажками, значками с бандеровской и оуновской символикой, которые пользовались большим спросом.

О том, что в обществе наметился раскол, красноречиво свидетельствовало резко обострившееся к началу 1990-х годов противостояние по вопросу об ОУН-УПА. Осознавая всю взрывоопасность этого процесса, уже не правящая, но еще сохранявшая большие возможности КПУ предприняла ряд как легальных, так и нелегальных попыток организовать отпор лавинообразно нарастающей «антисоветской и бандеровской пропаганде». Областным партийным комитетам было приказано организовывать публикацию в прессе контрпропагандистских статей, выступлений ученых на телевидении и, несмотря на дефицит бумаги, осуществить издание серии заказных книг о «преступной деятельности ОУН и УПА».

В начале 1990-х годов в местные органы власти (переизбранные рады) пришли и оказались в большинстве национал-демократы, инициировавшие в Западной Украине легализацию национальной символики, переименование улиц в честь национальных героев, построение памятников и восстановление могил «павших за независимую Украину в годы Второй мировой войны». Местные коммунисты, не без помощи армейских и кагэбистских структур, пытались остановить этот процесс, в том числе и путем террористических актов. В июне 1991 года горсовет Червонограда прямо обвинил коммунистов в совершении преступлений: взрыве памятника Степану Бандере, срыве табличек на улице, названной в его честь, взрыве памятного знака погибшим в годы Второй мировой войны под городом Броды — воинам 14-й гренадерской дивизии

Ваффен СС «Галичина», которая приняла здесь боевое крещение в бою с Красной армией.

11 июня 1991 года на заседании Президиума Верховной Рады УРСР было рассмотрено заявлѐние группы народных депутатов по поводу «попыток политической реабилитации ОУН и УПА». Президиум поручил ряду комиссий по вопросам обороны и госбезопасности немедленно изучить эту проблему и вместе с научными и иными учреждениями и ведомствами подготовить соответствующие постановления с целью положить конец попыткам политической реабилитации ОУН-УПА. Однако подготовленная Институтом истории АН УССР научная справка разочаровала коммунистов в Верховной Раде. Вместо ожидаемого осуждения они получили позитивную оценку деятельности националистов, которые, как утверждалось в документе, «вели национально-освободительную борьбу за независимую и суверенную Украину». Автора документа — известного историка Виктора Коваля — обвинили в некомпетентности, а справку отправили на доработку. Созданная в институте группа из семи человек подготовила «нужный» документ, однако в Москве начался августовский путч, и документ остался невостребованным.

Независимая Украина: миф войны и война мифов

После провозглашения в августе 1991 года независимости Украины проблема ОУН-УПА не только не была снята с повестки дня, но и переросла в открытое политическое противостояние. Центральным местом этой проблемы оставался все тот же вопрос об официальном признании ОУН и УПА. В обществе развернулась дискуссия о том, чья борьба была главной и определяющей в истории украинской государственности — тех украинцев, которые воевали под красными знаменами, или тех, кого вдохновляли на борьбу сине-желтые[4]. Полярность оценок отражалась в активно распространяемых лексических штампах типа «советские ветераны — оккупанты, потерянное поколение, враги украинской независимости». В свою очередь, участников ОУН-УПА обвиняли в «коллаборационизме, предательстве украинского народа, пособничестве фашизму». Накануне и во время празднования 50-летия со-

[4] *Гриневич Л.* Історія ОУН, УПА на тлі політичної боротьби в сучасній Україні // Протистояння. Київ, 1999. С. 4—71.

здания УПА в 1992 году ряд областных и районных рад западных областей обратились в Верховную Раду с ходатайством об официальном признании участников национально-освободительной борьбы 1920—1950-х годов. В ответ руководство Организации ветеранов Украины направило в Верховную Раду серию протестов против «бандеризации Украины».

1 февраля 1993 года Президиум Верховной Рады Украины утвердил постановление «О проверке деятельности ОУН-УПА», в связи с чем кабинет министров Украины должен был создать специальную комиссию, формирование которой было возложено на Министерство юстиции. Однако ее создание растянулось на четыре года, и только в 1997 году при Институте истории Украины Национальной академии наук Украины была создана рабочая группа для подготовки исторического документа, оценивающего деятельность ОУН и УПА. В состав группы вошли сотрудники института (в том числе и бывшего отдела Великой Отечественной войны, переименованного в отдел истории Второй мировой войны), а также Службы безопасности и Государственного комитета архивов Украины. Замена термина «проверка деятельности» на «изучение деятельности» свидетельствовала об отказе ее организаторов от крайностей в оценке УПА, что, однако, вызвало ожесточенные протесты левых. 29 декабря 1997 года председатель комитета ветеранов Иван Хмель обратился к органам законодательной и исполнительной власти с требованием нацелить комиссию на «разоблачение преступной деятельности ОУН и УПА».

Баталии по этой проблеме ведутся на различных «театрах военных действий» — в залах парламента, на митингах, в средствах массовой информации, научных и околонаучных конференциях, на уровне местных органов власти. Постоянное зависание в парламенте решения проблемы ОУН-УПА привело к тому, что некоторые областные и районные рады народных депутатов западноукраинского региона стали принимать соответствующие решения на местном уровне, признавая ОУН и УПА и выплачивая из своего бюджета пенсии участникам национально-освободительной борьбы. Время от времени в средствах массовой информации высказываются сомнения по поводу уместности употребления в Украине термина «Великая Отечественная война» и даже предложения ликвидировать сам праздник Победы.

Ветеранов Красной армии и УПА уже давно разделяют праздники: советские ветераны празднуют 9 мая День Победы, комбатанты УПА — 14 октября День Украинской повстанческой армии. Случается, что празднования переходят в открытые столкновения,

как это было, например, в мае 1997 года во время празднования Дня Победы во Львове, которое закончилось дракой.

Раскол существует и в самом советском ветеранском движении. Откровенно прокоммунистическая ориентация руководства Организации ветеранов Украины, для которых борьба за память о войне означает сохранение последнего бастиона коммунистических ценностей и перспективу восстановления чего-то вроде СССР, привела к расколу организации. В октябре 1996 года в Киеве прошел учредительный съезд Всеукраинского объединения ветеранов Второй мировой войны, на котором было объявлено о желании «отмежеваться от проимперских действий и намерений возродить Советский Союз ветеранской организации, возглавляемой товарищем Герасимовым», а также «объединить усилия всех ветеранов, которые признают и поддерживают своими действиями Конституцию Украины и ее независимость и тем самым способствуют консолидации украинского общества».

В целом для современной Украины, декларирующей приверженность демократическим принципам, характерно наличие плюралистической историографии. Однако расколотым по линии политических симпатий и антипатий историкам в равной мере присущи как попытки перемоделировать в рамках «украиноцентризма» старую советскую схему Великой Отечественной войны, в основу которой положены все те же «героизм и жертвенность» с акцентом на подвигах героев-украинцев, так и интегральная националистическая концепция, сторонники которой пытаются выбросить из памяти войны все советское, заменив его героизмом ОУН и УПА. В конечном счете на смену старому мифу о войне пришли новые мифы. Подготовленная к 55-летию Победы согласно Указу президента Украины, но под патронатом Организации ветеранов Украины и при солидной финансовой помощи Москвы книга «Бессмертие» была призвана венчать многотомный мартиролог погибших в минувшей войне[5]. Однако из-за давления со стороны прокоммунистического руководства ветеранской организации эта работа так и не стала новым словом в отечественной историографии. Просочив-

[5] Безсмертя. Книга пам'яті України. 1941—1945 / Головна редакційна колегія (голова І.О. Герасимов, заступники голови І.Т. Муковський і П.П. Панченко, відповідальний секретар Р.Г. Вишневський). Київ: Пошуково-видавниче агентство «Книга пам'яті України», 2000. Это итоговый том «Книги пам'яті України», которую составляют 250 томов с именами погибших по всем областям Украины, Автономной республики Крым и городам Киев и Севастополь. На 2004 год вышло уже 225 таких книг.

шиеся на страницы книги упоминания об УПА вполне отразили напряженность, существовавшую в авторском коллективе относительно этого вопроса. Редакционная коллегия во вводной статье объявила, что не разделяет некоторых авторских оценок деятельности ОУН и УПА, в частности относительно их «борьбы на два фронта: против немцев и советских партизан». В то же время в научном введении отмечалось, что, «получив независимость из рук разрушенного советского режима, мы не должны забывать, что именно за это отдали жизнь также десятки тысяч наших сограждан, которые воевали в рядах ОУН и УПА». Как впоследствии установил канадский профессор Роман Сербин, именно из-за этой деликатной фразы тираж книги негласно увидел свет в двух редакциях: одна с вышеупомянутой фразой — для широких масс и другая, из которой были изъяты позитивные оценки ОУН-УПА, — для руководства Совета ветеранов.

В вопросе о признании ОУН-УПА украинская власть оказалась между Сциллой и Харибдой. Не имея четкой концепции формирования национальной идеологии, при наличии в парламенте коммунистического большинства, расколотой на Запад и Восток страны, власть до последнего времени не решалась делать резких движений относительно четких определений в проблеме ОУН-УПА. Леонид Кравчук, в прошлом главный идеологический боец компартии Украины против «украинских буржуазных националистов», после избрания на пост президента открыто демонстрировал свою причастность к национально-освободительной борьбе в Западной Украине. В одной из телепрограмм, подчеркивая всенародный характер этой борьбы, он рассказывал, как сам ребенком носил еду повстанцам. Однако официально признать ОУН-УПА воюющей стороной, приравняв их к ветеранам советской армии, Леонид Кравчук так и не отважился.

Леонид Кучма, сменивший Кравчука на президентском посту в июле 1994 года, использовав при этом недовольство русскоязычного электората «крайностями национализма», в отличие от уроженца западных областей Леонида Макаровича, не испытывал национальных чувств к украинскому повстанческому движению. В то же время в его ближайшем окружении находились горячие противники украинского национализма и сторонники пророссийской ориентации.

В своей речи 8 мая 1995 года на торжественном собрании, посвященном празднованию 50-летия Великой Победы, президент сделал акцент на идее об историческом единстве всех советских народов, прославлял героизм и патриотизм народа-победителя и

даже противопоставил значение Великой Победы для СССР и Запада. В выступлении не только отсутствовала жесткая критика сталинского режима, не только звучали позитивные оценки компартии, военных комиссаров, но и признавалась особая роль в победе Сталина. Насколько конъюнктурной в действительности была такая позиция верховного руководства Украины, свидетельствовал тот факт, что тремя годами позднее, 26 ноября 1998 года, к 65-летию годовщины голода в Украине, Леонид Кучма подписал Указ об установлении Дня памяти жертв Голодомора, фактически признав одним из его главных организаторов Сталина.

Дальнейшая консервация советской памяти о войне за счет легкого ретуширования старого мифа о Великой Отечественной войне произошла в 2000 году, когда во время помпезного празднования 55-летия Победы Верховная Рада с подачи Организации ветеранов Украины приняла Закон Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». День Победы стал официальным государственным праздником Украины, призванным сохранить советскую ритуальную символику. В то же время закон обходил молчанием «больную тему» о роли и месте в минувшей войне бойцов УПА. С учетом того, что новой парадигмы истории войны в Украине так и не было создано, а старая советская являлась насквозь фальшивой, парадоксальным выглядело прописанное в законе положение «о недопущении фальсификации истории Великой Отечественной войны в научных исследованиях, научно-методической литературе, учебниках и средствах массовой информации». Все это дурно отдавало старой советской практикой контроля за свободой слова и мысли.

Игра на двух полях исторической памяти стала привычным делом для высшей украинской власти, которая в равной мере отдавала должное как националистическим, так и советским датам и юбилеям. Более того, власть даже научилась подгонять эти праздники под свои конкретные конъюнктурные интересы. Например, при праздновании годовщины провозглашения Карпатской Украины Указом президента Кучмы звание Героя Украины было присвоено первому президенту Карпатской Украины Августину Волошину, погибшему в 1945 году в застенках НКВД. В то же время Леонидом Кучмой смело был учрежден День партизанской славы, что фактически противоречило советской традиции не разделять советских воинов, партизан и подпольщиков. В данном случае празднование в современной Украине Дня партизанской славы 22 сентября стало очередной уступкой левому электорату, ибо было призвано противопоставить советских партизан повстанцам УПА,

отмечавшим свой день памяти тремя неделями позже. 18 февраля 2002 года президент издал распоряжение «О праздновании 60-летия создания подпольной молодежной организации "Молодая гвардия"» и лично принял участие в торжествах по этому поводу. В то же время он проигнорировал 60-летие УПА, которое широко отмечалось на уровне общественных организаций в Украине в 2002 году.

Во время второго президентского срока, и особенно после разразившегося «кассетного скандала», связанного с убийством журналиста Георгия Гонгадзе, режим Кучмы оказался в международной изоляции. Это обстоятельство в значительной степени содействовало дальнейшему усилению политических ориентаций высшей власти Украины в сторону России. Педалирование темы российско-украинского боевого содружества в годы войны, а также общего советского прошлого стало привычным делом. Реанимацию в Украине бывшего Дня советской армии — 23 февраля, который в новой интерпретации назывался Днем защитника отечества, многие наблюдатели расценили не только как внутриполитическую пиар-акцию, приуроченную к президентским выборам 1999 года, но и как демонстрацию доброй воли в отношении России. Приезд в Киев осенью 2004 года российского президента Владимира Путина на празднование 60-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в самый разгар президентских выборов стал апогеем этой политики.

Следует отметить, что сторонники советских мифов фактически проиграли сражение за историческую память нового поколения. Из школьных и вузовских учебников уже давно выброшены старые совковые схемы. Министерство просвещения Украины легитимировало тему ОУН-УПА еще в первые годы независимости. Именно на этих учебниках было воспитано целое поколение участников Оранжевой революции. В числе главных компонентов украинской модели Второй мировой войны можно назвать такие, как перенесение акцента с 22 июня 1941 года на 17 сентября 1939 года — вступление СССР (и Украины) во Вторую мировую войну. Этому периоду уделяется значительное внимание как с точки зрения проблемы присоединения украинских земель, так и в плане осуждения их жестокой советизации сталинским режимом, приведшей к массовым репрессиям против местного населения. Сталин и Гитлер подаются в одной связке — как тоталитарные диктаторы, которые несут равную ответственность за развязывание войны. В большинстве школьных и вузовских учебников практически отсутствует название «Великая Отечественная война», которое заменено ней-

тральными и менее эмоциональными — «Вторая мировая» или «германско-советская». Отход от советской модели войны можно увидеть и в замене старых героических символов новыми. Штатные советские герои — Маресьев, Гастелло, Матросов, Космодемьянская и другие на страницах украинских учебников уступили место героям национально-освободительной борьбы. Во многих школьных учебниках помещены портреты командующего УПА Романа Шухевича и лидера ОУН Степана Бандеры.

Существующий политический и цивилизационный раскол украинского общества, в том числе и относительно памяти о войне, продемонстрировали последние президентские выборы. Играя на настроениях русифицированного Востока, к избирательному блоку Ющенко «Наша Украина» с целью его дискредитации был приклеен ярлык «нашизм», для этого же широко использовалась и фашистская символика. Плакаты с изображением Виктора Ющенко в эсэсовской форме развешивались на улицах Донецка, а видеоклип с кадрами Великой Отечественной и песней Иосифа Кобзона пророчили Украине в случае победы Ющенко гражданскую войну.

Вопреки прогнозам, разделения нации на бандеровцев и красных все же не произошло. По образному выражению Збигнева Бжезинского, на майдане Незалежности «украинский национализм обнялся с демократией». Новое руководство Украины заявляет о своей решимости порвать со старым мифологизированным прошлым и советскими традициями идеологического и политического раскола общества на своих и врагов. В инаугурационной речи президент Виктор Ющенко подал в одном смысловом ряду ГУЛАГ и Освенцим, Голодомор и Холокост, равнозначно осуждая преступления в Украине как сталинского, так и гитлеровского режима. На повестку дня ставится теперь вопрос о национальном примирении. Празднование 60-летия Победы, очевидно, станет первым шагом к этому. Однако, учитывая близость парламентских выборов и крайнюю политизированность проблемы ОУН-УПА в Украине, вряд ли стоит говорить о немедленном разрешении этого вопроса.

Эва-Кларита Онкен

ОТ ИСТОРИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ К ИСТОРИИ ОККУПАЦИИ

Восприятие Второй мировой войны и память о ней в Латвии после 1945 года

Конец Второй мировой войны для многих западноевропейских государств стал началом новой эры. Для латышей он означал возвращение Красной армии и продолжение советской оккупации. Без учета этого факта невозможно понять эволюцию латышской коллективной памяти о Второй мировой войне.

С началом государственной самостоятельности многие образы, использовавшиеся в советский период для идеологической интерпретации истории Второй мировой войны, получили новое толкование или вовсе исчезли. В коллективной памяти латышей оценка тех или иных персонажей или событий прошлого и соотнесение их с образами войны и спустя 15 лет после нового обретения независимости остаются неоднозначными и продолжают меняться.

В хаосе непосредственных послевоенных лет об автономной латышской историографии не могло быть и речи. История войны была историей освобождения Латвии Советским Союзом. В последние сталинские годы «цензура и фальсификация советской истории достигли своего апогея»[1]. Продолжающиеся бои с партизанами так же замалчивались, как и террор советских войск против гражданского населения. В изображении латышского прошлого не допускались национальные особенности. Исследования, учебные программы, киноиндустрия — все было подчинено идеологическому диктату Москвы.

Лишь в ходе ослабления цензуры и произвола после 1956 года снова стали появляться исследования «латышской истории». Воодушевленная московским курсом на десталинизацию, группа

Статья была написана для сборника «Mythen der Nationen. 1945 — Arena der Erinnerungen»

[1] *Davies R.W.* Soviet History in the Gorbachev Revolution. London, 1989. P. 1.

коммунистических руководителей предприняла попытку остановить русификацию политической и культурной жизни Латвии и добиться пересмотра «наиболее серьезных искажений латышской истории»[2]. Однако эти стремления были расценены как угроза для КПСС и легитимации ее власти над советскими республиками и подавлены еще в зародыше. Так называемых «национал-коммунистов» устранили из правительственного аппарата в 1959 году.

Вторая мировая война с точки зрения советской Латвии: история освобождений

И после 1960 года, во время оттепели, исследования новейшей истории продолжали управляться и контролироваться из единого центра — московской Академии наук СССР[3]. Советско-латышскую точку зрения на Вторую мировую войну можно наметить несколькими фразами: сперва произошли «социалистическая революция» и «добровольное» присоединение балтийских государств к Советскому Союзу. На изобразительном уровне этот тезис иллюстрировали фотографиями и фильмами о демонстрациях в Риге, а также об освобожденных в 1940 году политзаключенных. В послевоенных кинохрониках советской Латвии любили показывать освобожденных арестантов с сияющими лицами, поднимающих кулак для коммунистического приветствия. С конца 1950-х годов образ заключенных входит во все школьные учебники советской Латвии[4]. Художник Василий Шелков в 1967 году соединил этот мотив с образом демонстрации. На переднем плане его картины изображены мужчины с транспарантом «Мы требуем принятия Латвии в Советский Союз». Картина стала символом «социалистической революции».

В учебниках за мифом о добровольном присоединении чаще всего следовал рассказ о борьбе с фашистами и коллаборационистами. Со временем на уроках истории все больше внимания стали

[2] *Levits E.* Latvija padomju varā / *Blūzma V., Celle O.* (Red.). Latvijas valsts atjaunošana 1986—1993. Roga, 1998. Lp. 54.

[3] *Geyer D.* Perestrojka in der sowjetischen Geschichtsschreibung // *Geyer D.* (Hrsg.). Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. Göttingen, 1991. S. 14.

[4] *Plaude E., Kripēns J., Lielā E.* Latvijas PSR vēstures materiāli. Rīga, 1956. Lp. 155. И через тридцать лет латвийские школьные учебники почти дословно повторяют эту версию событий. Ср.: *Kanāle V.* Latvijas PSR vēsture, 11. klasei. Rīga, 1986. Lp. 4—5.

уделять «героической борьбе латышского народа и партизан под руководством коммунистической партии», как говорится в одном учебнике 1956 года[5], как латышскому вкладу в победу над фашистами. Но сколько бы ни чествовались латышские коммунистические деятели и партизаны, решающая роль Москвы и русского трудового народа и в последующие десятилетия оставалась центральным элементом историографии и «официальной памяти».

Исходя из «вступления» Латвии в Советский Союз, по советско-русской версии, немецкая оккупация Латвии в 1941 году была не чем иным, как оккупацией части СССР, которую необходимо было отменить. В латышской памяти все выглядело иначе. В июне 1941 года НКВД депортировал около 14 000 граждан Латвии (среди них 11 400 латышей) в Сибирь. После этого в конце июня значительная часть латышского населения приветствовала вермахт как освободителей. Для вновь отвоевавших Латвию советских властей это стало основанием для массового террора и создания по всей Латвии так называемых фильтрационных лагерей. В ходе процессов против военных преступников настоящие и мнимые «немецкие и латышские фашисты» приговаривались к ссылке и смерти. Надежды на восстановление немцами латышской государственности описывались как настроения латышских «буржуазных националистов», желающих вернуть себе утерянную власть при помощи «гитлеровцев»[6]. «Латышский фашист» оставался определяющим элементом советского образа истории, пусть даже в последующие годы уже не было приговоров, а бывшие коллаборационисты якобы жили уже не в Латвии, а на Западе.

Противоречащая официальному канону латышская память о сталинском терроре и депортациях выражалась в это время лишь в отдельных случаях. Однако некоторые художественные произведения того времени указывают на совершенную в отношении латышей несправедливость. Янис Паулюкс в 1946 году изобразил на своей картине «На чужбине» пожилую чету, лица которых выражают страдание от сибирского холода и ужасов ссылки. Паулюкс считается критическим по отношению к советскому режиму художником, а его работы послевоенного периода — «смелыми», и тем не менее его работы выставлялись и в Советском Союзе[7]. Позже к

[5] *Kanāle V., Stepermanis M.* Latvijas PSR vēsture. Mācību līdzeklis skolām. Rīga, 1967. Lp. 208.

[6] *Kanāle V.* Latvijas PSR vēsture... Lp. 119.

[7] Grove Directory of Art: Artists' Biographies. Macmillan Publishers Limited, 2000. www.artnet.com/ library/06/0658/T065844.asp.

этой теме обратились такие художники, как график Артурс Муцениекс. Однако его рисунок 1969 года под названием «Люди, будьте бдительны!» остается неопределенным: изображение человека за колючей проволокой явно указывает на страдания и неволю, но не говорится, о чьих страданиях и неволе идет речь.

Убийство почти всего еврейского населения Латвии национал-социалистами в советское время также принадлежало к табу историографии[8]. С одной стороны, еврейские жертвы не признавались таковыми, а назывались «советскими гражданами», с другой — с советской точки зрения, латышские преступники находились уже не в Латвии, а на Западе. Таким образом, зло становилось экстерриториальным, а огульная диффамация по отношению к живущим в изгнании латышам — постоянным компонентом историографии. Большую известность приобрел опубликованный в 1962 году под названием «Кто такие даугавские ястребы?» список мнимых и действительных латышских военных преступников[9]. Этот список не был доступен в самой советской Латвии, но был разослан всем советским послам, переведен на английский, шведский и немецкий и адресно разослан латышам-эмигрантам. В нем значилось несколько сотен имен живущих на Западе латышей, «около трех десятков» из которых действительно были причастны к убийству евреев[10].

«Немецкие времена» в памяти латышской диаспоры

По оценкам историков латышской диаспоры, в 1945 году среди 150 000 эмигрантов оказались и около половины всех латышей,

[8] *Vestermanis M.* Der Holocaust in Lettland. Zur «postkommunistischen» Aufarbeitung des Themas in Osteuropa // *Lorenz I., Herzig A.* (Hrsg.). Verdrängung und Vernichtung der Juden unter dem Nationalsozialismus. Hamburg, 1992. S. 101.

[9] *Avotimp E., Dzirkalis J., Petersons V.* «Kas ir Daugavas vanāgi?». Riga, 1962. «Daugavas vanāgi» с 1945 года было названием объединения бывших членов Латышского легиона (СС) в эмиграции. См.: *Kangeris K.* Piezomes pie jautājumu kompleksa «Latviešu Leģions». Stockholm. 27 Apr. 1998 // *Ezergailis A.* (Red.). Latviešu leģions. Varoņi, Nācisti vai upuri? Rīga, 1998. Lp. 119—120.

[10] *Ezergailis A.* Latviešu «kara noziedzinieki» Amerikas tiesās // Izglītība. 30.8. и 6.9.1991. Цит.: Izglītība. 30.8.1991; *Idem.* War Crimes Evidence From Soviet Latvia // Nationalities Papers. 1988. 1988. Vol. 16. № 2. P. 209—211.

имевших высшее образование, в том числе ряд видных историков[11]. Последние воспринимали себя и свою работу как противовес советской историографии[12]. Они стремились сохранить среди мировой общественности память о Латвии и передать молодым поколениям сознание «латышства»[13]. Многие организации, существовавшие в Латвии еще до войны, продолжили свое существование за рубежом — например, латышские скауты, которые в 1967 году к своему 50-летнему юбилею выпустили почтовые марки с призывом «Не забывайте Латвию!». На марке изображена карта Европейского континента, на восточном краю которого находится Латвия, как своеобразный оплот Европы. Такие художники, как Артурс Лангманис, старались обратить внимание на учиняющуюся на их родине несправедливость при помощи призывов и плакатов. Лангманис призывал Запад разбить «красную тиранию на Востоке». На его плакате изображена огромная тень красноармейца, грозящего народам Прибалтики кнутом. На заднем плане — карта с заштрихованными контурами Прибалтики, а на ее восточном краю — угрожающие буквы «СССР».

Историография в диаспоре сталкивалась с серьезными трудностями: работающие на Западе историки не имели доступа ко многим источникам. В фондах западных архивов по новейшей истории Латвии имелось множество пробелов. Поэтому латышские исследователи зарубежья во многом были вынуждены опираться на воспоминания современников, что порой приводило к сомнительным результатам. Они преуменьшали жесткость диктатуры Карлиса Ульманиса в 1930-е годы, но зачастую и оправдывали коллаборационизм при нацистской власти. Сотрудничество с одним оккупантом представлялось как борьба с другим, вследствие чего коллаборационисты объявлялись борцами сопротивления большевикам[14].

[11] *Misiunas R., Taagepera R.* The Baltic States. Years of Dependence 1940—1980. London, 1983. P. 109.

[12] *Skultāns V.* Pretrunas, patiesības viltojumi un idejisks nespēks. Daži aspekti komunistu melu technikā // Universitas. 1964. № 14. Lp. 38—41.

[13] Интервью с Ульдисом Германисом в: Diena 21.10.1995. В этом контексте следует упомянуть книгу Германиса «Переживания латышского народа», впервые вышедшую в Стокгольме в 1954 году и выдержавшую уже шесть изданий: *Ģērmanis U.* Latviešu tautas piedzīvojumi. Rīga, 1991.

[14] Мемуары о периоде оккупации написали, в том числе, бывший генерал-майор Латышского легиона ваффен-СС Рудольфс Бангерскис (Manā mūža atmiņa. Stockholm, 1957), бывший руководитель фашистской организации «Pērkonkrust», а впоследствии — участник антинацистского Сопротивления

Проблематичность доступа к источникам, кампании советских латвийских властей по дискредитации латышских ученых диаспоры и эмигрировавших бывших политиков, а также противоречивость восприятия политики самими эмигрантами не способствовали отстраненному и самокритичному осмыслению новейшей истории. В результате в коллективной памяти латышской диаспоры также возникли «белые пятна».

Такой табуированной или, по меньшей мере, крайне болезненной темой было убийство евреев во время немецкой оккупации[15]. «Немецкие времена» довольно часто становились предметом работ латышских ученых и писателей-эмигрантов, романов, рассказов и научных трудов. Но, как отметил Эзергайлис, убийство еврейских сограждан при этом упоминалось редко, а участие некоторых латышей в этих преступлениях — еще реже. Вместо этого встречается старая пропагандистская ложь национал-социалистов об «иудо-коммунистических преступлениях» против латышского народа в «год ужаса» — 1940/41-й, на основании которой многие авторы пытались оправдать совершенные злодеяния[16].

В отличие от своих коллег на родине, латышские художники и писатели в изгнании располагали большей свободой в художественном изображении прошлого, а следовательно — визуализации памяти. В центре их творчества находился советский террор 1940/41 года с его страданиями и жертвами. Именно эти картины сегодня прежде всего формируют латвийскую память. Самые известные из них — рисунки художника Сигисмундиса Видбергса. Его цикл «Baigais gads» («Год ужаса») был создан в 1952—1953 годы в США, где он и умер в 1970 году. На одном рисунке из этого цикла изображена сцена депортации. Его тема — страдания грубо разорванных семей. В 1990 и 1998 годах его работы выставлялись в Латвии и опубликованы в форме книги. В прессе отмечалась та интенсивность, с которой Видбергс отобразил ужасы депортации 14 июня 1941 года. Говорилось о том, что «каждый ребенок» должен научиться понимать ту боль, о которой говорят эти картины[17].

Густавс Целминьш (1947, более поздняя публикация: Latviešu tautas pretestības izpausmes pret okupācijas varu 1940—1945 // Jaunā Gaita. 1989. № 2 (172). Lp. 32, № 3(173). Lp. 40.

[15] *Ezergailis A.* Vācu laiki latviešu emigrantu apziņā // Literatūra un Māksla. 20.12.1991; *Idem.* The Holocaust in Latvia The Missing Center. Riga; Washington, 1996. P. 11—12.

[16] Ibid.

[17] *Leine L.* Baigais gads // Kurzemes Vards. 16.6.1998.

Для латышей диаспоры, воспринимающих себя как оплот защиты от советской пропаганды, многоплановое восприятие обеих оккупаций оказалось невозможным. Только в 1980-е годы молодые историки начали задаваться вопросами, которых раньше избегали. После открытия архивов в Латвии они продолжили свои исследования и сегодня активно участвуют в спорах об истории[18], однако примирение различных точек зрения обещает стать долгим и сложным процессом. Образы, прочно вошедшие в память латышской диаспоры, вроде изображений балтийских судеб или воспоминаний о детстве в немецких лагерях для беженцев, в коллективной памяти вновь независимой Латвии пока почти ничем не отзываются. В новых учебниках говорится о бегстве и эмиграции, но сама жизнь в изгнании остается покрытой мраком. Вторая мировая война — это то распутье, на котором расходятся воспоминания, и эмигрантское восприятие прошлого лишь отчасти совпадает с нынешним латвийским.

Интерпретации Второй мировой войны в Латвии после 1991 года: послушные приспешники или беззащитные жертвы?

«Борьба за независимость — это борьба за историческую истину», — объявил политик Маврикс Вульфсонс в 1990 году в интервью журналу «Der Spiegel»[19]. Сам он за два года до этого сделал решающий вклад в эту борьбу, впервые публично зачитав секретный протокол к пакту между Гитлером и Сталиным на собрании латвийского Союза писателей. Существование этого документа всегда отрицалось советскими властями, поскольку он доказывал, что в Прибалтике не было никакой «социалистической революции» и три республики в 1940 году были заняты вопреки международному праву. Параллельно к этому «исправлению» истории по всей Прибалтике состоялись так называемые «календарные демонстрации»: годовщины событий из прибалтийской истории, которые прежде нельзя было отмечать, теперь становились поводами для массовых демонстраций. В 50-ю годовщину пакта Гитлера—Сталина в 1989 году тысячи людей образовали живую цепь длиной почти в 600 километров, простирающуюся почти непрерывно от Таллина через Ригу до Вильнюса, чтобы обратить внимание на несправед-

[18] *Ezergailis A.* Latviešu «kara noziedzinieki»...

[19] Interview mit Mavriks Vulfsons // Der Spiegel. 1990. № 5 (36). S. 138.

ливость действий советской власти. С объемом знаний об исторической лжи советских властей возрастало и желание национального самоопределения[20].

Советские властители пытались политически легитимировать собственную власть, но память латышей о времени независимости и ужасах оккупации невозможно было стереть. У людей почти не было возможностей для письменного или художественного отражения своих воспоминаний, но они все вновь и вновь выражались в символических действиях[21].

Так, статуя Свободы в Риге никогда не утрачивала своего значения. Она была установлена в 1937 году по заказу авторитарного президента Карлиса Ульманиса, но считалась символом национальной свободы и самоопределения. На пьедестале изображены фигуры из латышской мифологии, а также солдаты войн освобождения. Руки Мильды подняты к небу, и в них она держит три звезды — символы объединенных латвийских провинций: Курляндии, Лифляндии и Латгалии. Советские власти никогда не трогали этого памятника, и все попытки истолковать Мильду как матушку-Русь, держащую в руках три прибалтийских государства, не увенчались успехом. Попытка осложнить доступ к ней при помощи перепланировки транспортных магистралей также не привела к желаемому результату. Таким образом, между официальной исторической пропагандой и индивидуальной памятью со временем возникло непреодолимое противоречие, создающее путаницу и требовавшее объяснений[22].

Холокост в коллективной памяти сегодняшних латышей

В ходе перестройки стало очевидно, что и подавлявшаяся ранее память, в свою очередь, односторонняя и полна пробелов. Противостояние государственно прописанной истории способствовало возникновению новых табу и укреплению стереотипов. Теперь же начали говорить о темах, которые не обсуждались в учебниках, а многими давно были забыты или вытеснены. К ним относилось и участие латышей в убийстве своих еврейских соотечественников.

[20] *Lieven A.* The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence. New Haven; London, 1993. P. 222.

[21] *Šilde B.* Resistance Movement in Latvia. Stockholm, 1972. P. 25.

[22] Ср.: *Peters J.* Sākam atcerēties, sākam stāstīt // Literatūra un Māksla. 20.05.1988.

Разгорелась краткая, но бурная общественная дискуссия на эту тему[23]. Официальные органы также высказались по этому поводу: в 1990 году Верховный Совет республики принял постановление «Об осуждении и недопустимости геноцида и антисемитизма в Латвии», в котором говорится: «С глубоким сожалением мы признаем, что среди тех, кто способствовал реализации оккупационного террора, были граждане Латвии. [...] Республика Латвия берет на себя ответственность за увековечение памяти еврейских жертв»[24]. В 1992 году 4 июля, день поджога синагоги в 1941 году, был объявлен национальным днем памяти, а на руинах бывшей Большой синагоги в Риге был торжественно открыт мемориал.

Но ни латышская общественность, ни цех историков не были к этому времени готовы к критическому осмыслению убийства евреев или тем более вопроса о латышском соучастии в нем[25]. К тому же интерес к латышским военным преступлениям, в особенности со стороны российских политиков, усилил оборонительный настрой латышских историков, подпитывая подозрение, что реанимация старых стереотипов о «латышских фашистах» проводится с целью дестабилизировать молодое государство[26].

Вплоть до второй половины 1990-х годов тема Холокоста обсуждалась преимущественно еврейскими и эмигрантскими историками, и пропасть между ними скорее еще увеличивалась, чем сужалась. Латышские историки, если вообще занимались темой Второй мировой войны, в основном стремились доказать несправедливость первой российской оккупации и исследовать «политику и практику геноцида» латышей[27]. Теперь, когда наконец стали доступны

[23] Упомянутая в предыдущей сноске книга, и прежде всего статья Эзергайлиса о расстрельных командах Виктора Арайса (Arāja komanda // L(PSR)ZAV. 1988. № 10. Lp. 113.), вызвала бурные дискуссии.

[24] Supreme Council of the Republic of Latvia. DECLARATION. About the Condemnation and Inadmissibility of Genocide and Anti-Semitism in Latvia. Riga, 19.9.1990.

[25] *Ezergailis A.* Anti-Semitism and the Killing of Latvia's Jews // *Gilman S.L., Katz S.T.* (Eds.). Anti-Semitism in Time of Crisis. New York; London, 1992. P. 273.

[26] *Vestermanis M.* Der Holocaust im öffentlichen Bewußtsein Lettlands // Jahrbuch für Antisemitismusforschung. 1996. № 5.

[27] Ср.: *Strods H.* Zem melnbrūna zobena. Rīga, 1994; *Gore I., Stranga A.* Latvija: neatkarobas mijkrēslis. Okupācija 1939. g. septembris — 1940. g. jūlijs. Rīga, 1992. О дискуссиях и спорах первых лет независимости см.: *Onken E.-C.* Revisionismus schon vor der Geschichte. Aktuelle Kontroversen um Judenvernichtung und Kollaboration in Lettland. Köln, 1998.

более точные данные о великих депортациях 1941 и 1949 годов, эти историки не желали обсуждать страдания других или тем более участие латышей в преступлениях. После всего, что претерпел латышский народ, считалось, что «можно обойтись без раскаяний и стыда за прошлое»[28].

Лишь в последнее время интерпретационная элита страны все более активно обращается к темам Холокоста и коллаборационизма. При помощи официальных дней памяти, научных конференций, публикаций и новых учебников усиленно пытаются обратить внимание общественности на убийство евреев во время Второй мировой войны. Так, президент Вара Вике-Фрейберга на международной конференции по Холокосту в Стокгольме в 2000 году объявила о готовности Латвии войти в организацию «Task Force of International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research» и тесно сотрудничать с Центром Симона Визенталя в области преследования военных преступников[29].

Все это говорит о том, что история еврейского населения Латвии и его истребления в будущем станет частью латышской истории. До сих пор, однако, в латышских учебниках на тему Холокоста в лучшем случае можно было найти изображения «других евреев» — например, знаменитого мальчика из Варшавского гетто. О Рижском гетто, выразительно изображенном в 1992 году в документальном фильме «Ebreju iela» («Еврейская улица») Херца Франка, до сих пор знают немногие. Этот фильм, не привлекший в Латвии большого внимания, показывает практически не изменившееся состояние бараков и задворок бывшего гетто в Московском предместье.

При помощи коллективных обвинений до сих пор не удалось создать в латвийском обществе пространство для обсуждения темы Холокоста. Поэтому в последнее время латышские и еврейские историки ищут другой путь, представляя вниманию общественности в качестве позитивных героев латышских «спасителей евреев», таких, как Жанис Липке, спасший 55 еврейских сограждан от на-

[28] Цит. по: *Vestermanis M.* Der Holocaust... S. 114. Вестерманис передает мнение своих коллег, высказанное в том числе в ходе дискуссии после показа фильма «Список Шиндлера» в 1994 году. Ср.: Latvijas cilvēktiecābu un etnisko stūdiju centra apkārtraksts. 1994. № 3. Okt./Nov. Lp. 7; *Onken E.-C.* Op. cit. S. 98—91.

[29] Remembrance and understanding of the Holocaust in Latvia. Речь на конференции о Холокосте в Стокгольме 27 января 2000 года. www.president.lv/english/2000/speech_txt/spch2701.html.

цистов и их местных пособников. Созданный в 1997 году музейный и документальный центр «Евреи в Латвии» при рижском еврейском общинном центре поставил себе задачу обратить внимание общественности на историю евреев в целом, но и здесь память о Холокосте играет центральную роль. На передней стороне буклета музея изображены разбитая звезда Давида и портрет пожилой женщины, а на обороте — фотография 1941 года разрушенной Большой хоральной синагоги. Таким образом организаторы музея решительно возражают против отказа общества от осмысления Холокоста. Сдержанную, но, возможно, не менее действенную форму напоминания выбрал художник Йосифс Эльгуртс, автор картины «Шоа» (1994). На ней изображена группа людей, по-разному выражающих свою боль. Отчетливо узнаваем как еврей лишь бородатый старик в кипе, но, судя по названию картины, можно предположить, что и остальные фигуры — еврейские жертвы. Тем не менее подчеркивание страданий жертв и отказ от обвинений в чей-либо адрес, возможно, следует воспринимать как жест примирения.

Реконструкция, конструкция и деконструкция истории оккупации

Перед Латвией сегодня стоит задача заново определить свою историческую позицию. В соответствии с сегодняшней историографией в страданиях латышей виноваты, прежде всего, советские оккупанты. Символом этого восприятия стал вагон для скота. В Западной Европе этот образ, в первую очередь, обозначает чудовищно жестокое уничтожение европейских евреев. Для жителей бывшего Советского Союза и Прибалтики он символизирует собственные страдания, сталинские массовые депортации, ссылку и убийство целых народов в ГУЛАГе. В июне 2001 года был торжественно открыт памятник жертвам депортаций, которым стал подлинный вагон того времени. Образ вагона для скота встречается сегодня и в школьных учебниках. Другой часто цитируемый образ, имеющий то же символическое значение, — используемый на обложках книг и плакатов к выставкам мотив уходящих к горизонту рельсов. С 1940 по 1949 год Латвия потеряла около 25% своего населения, в том числе около 10% латышского населения[30]. Почти

[30] *Vēbers E.* Demography and Ethnic Politics in Independent Latvia: Some Basic Facts // Nationalities Papers. 1993. № 2. P. 181. Подробный перечень людских потерь см. в каталоге Музея оккупации (Riga, 1998. Lp. 76). Здесь «относительные потери с 1939 по 1945 год» оцениваются в 30% всего населения.

каждая латышская семья потеряла родных. Память о сталинской депортации июня 1941 года играет в коллективном самосознании настолько центральную роль, что для других исторических перспектив остается очень мало места.

Трактовка Второй мировой войны латышскими авторами учебников и историками остается крайне проблематичной. Зачастую публикуются изображения без проверки источника. Так, в одном учебнике 1990-х годов используется фотография положенных в ряд трупов во дворе Центральной тюрьмы в 1941 году, которая в свое время использовалась немецкими оккупантами в целях пропаганды, о чем в учебнике не упоминается[31]. Другой пример: перепечатанная в 1997 году издательством «Tēvija» без комментариев брошюра «Год ужаса»[32]. Это антисемитское произведение, изданное в 1942 году во время немецкой оккупации геббельсовским пропагандистским аппаратом, содержит изображения изувеченных трупов, якобы иллюстрирующих преступления русских против латышского населения и призывающих латышей присоединиться к «борьбе против евреев и коммунистов». Новое издание подготовил Леонард Инкенс, член националистической партии «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» («За родину и свободу/LNNK»). Вслед за резкой реакцией еврейской общины и международных организаций руководство партии и президент Латвии Гунтис Ульманис осудили публикацию. Ее распространение не приостановили, ссылаясь на свободу слова и печати, но купить ее можно было только по специальному заказу. Латышские историки и политики хоть и критиковали брошюру за ее антисемитский характер, но подчеркивали, что тем не менее должна быть признана ценность приведенных иллюстраций в качестве свидетельства совершенных против латышей жестокостей[33].

Проверке и, возможно, новой интерпретации необходимо подвергнуть и образы, более сорока лет входившие в канон. В качестве примера можно назвать советскую фотографию концентрационного лагеря в Саласпилсе под Ригой. В советских латвийских учебниках он описывался как лагерь смерти, в котором убивали «советских граждан и солдат», а также «противников оккупации»[34]. Но

[31] *Kostanda O.* (Red.). Latvijas vēsture. Rīga, 1992. Lp. 299.

[32] *Kovalevski P., Noritis O., Goppers M.* (Red.). Baigais gads. Rīga, 1942.

[33] *Ozola E.* Aicina izvērtēt grāmatu Baigais gads // Neatkarīga Rīta Avīze. 1997. http://vip.latnet.lv/LPRA/izvertet_baigais_gads.htm; Union of Councils of Jews in the Former Soviet Union. A UCSJ Special Report: Falsified History: The Legacy of Nazism in Contemporary Latvia 12.3.1999.

[34] *Kanāle V.* Latvijas PSR... Lp. 118—119.

использовавшаяся в учебниках фотография могла быть снята и в любом другом лагере. В новейших латвийских учебниках напоминанием об ужасах этого лагеря служит рисунок его бывшего узника Карлиса Бушса. Точная категоризация лагеря остается неясной, ведь он был как лагерем смерти, так и трудовым лагерем и перевалочным пунктом для политзаключенных. Созданный советскими властями мемориальный комплекс продолжает сегодня действовать практически без изменений. Это укрепляет представление о том, будто в лагере в основном терзали латышей — противников немецкого оккупационного режима. Только в самое последнее время историки предпринимают попытки нарисовать более сложный образ этого лагеря[35].

Далее, перед историками стоит задача вернуть в память и связать с визуальными образами события и людей, бывших на протяжении сорока лет изгнанными из общественной памяти. Среди них — политики и интеллектуалы, пытавшиеся (с 1943 года — в рамках Латышского центрального совета, LCP) освободить страну от оккупантов. Деятельность и программы этих политиков по обустройству Латвии сегодня мало известны в Латвии, хотя в эмиграции они активно обсуждались. Тема Сопротивления до недавнего времени не вписывалась в жертвенную латышскую историографию, отмеченную жалостью к самим себе. Сегодня LCP вкратце упоминается в большинстве латвийских школьных учебников. Портрет его бывшего председателя Константинса Чаксте сегодня, пожалуй, знаком уже каждому латвийскому школьнику.

Латышский легион в коллективной памяти: «Мы не были агрессорами. Мы сопротивлялись агрессорам»[36]

Значимый пример смены парадигмы — отношение к так называемому добровольческому Латышскому легиону СС. Он занимает особое место в коллективной памяти латышей, поскольку многие из легионеров еще живы и активно участвуют в формировании общественного мнения[37]. В течение сорока лет они были обрече-

[35] *Strods H.* Salaspils koncentrācijas nometne (1941. g. oktobris — 1944. g. septembris) // Latvijas Okupācijas Muzeja Gadagrāmata 2000. Rīga, 2001. Lp. 122.

[36] Из выступления о «задачах легионеров» 16 марта 2001 года на рижском Братском кладбище. См.: Svētdienas Rīts. 17.3.2001.

[37] По подсчетам одного социолога и бывшего легионера, получается, что к концу войны в Легионе отслужило около 146 000 солдат, из них 98% были этни-

ны на молчание, ведь как коллаборационистов их, даже если не приговаривали к ссылке или другим наказаниям, по крайней мере подвергали опале и обделяли социальными благами.

Многие латыши до сих пор почитают этих мужчин как «последнюю национальную антибольшевистскую армию»[38]. Ежегодно 16 марта[39] проходят дни памяти павших легионеров, в которых до 1998 года участвовали и представители государства, что привело к резким международным протестам[40]. Только с 1998 года 16 марта было объявлено частным делом участников торжеств. В официальном пресс-релизе говорилось о том, что он, «так же, как и 14 июня [депортация. — *Э.-К.О.*] и 4 июля [поджог рижской синагоги. — *Э.-К.О.*]», символизирует «трагедию народа Латвии во Второй мировой войне»[41]. Латышей, мол, заставили сражаться на стороне как нацистов, так и Советов. Даже если официальная Латвия отстранялась от участия в коммеморации, все же следовало «допускать» собрания ветеранов.

Несмотря на демонстрируемую для внешнего потребления сдержанность, многие латыши рассматривают ветеранов Латышского легиона как борцов за национальное дело или хотя бы как невинные и трагические фигуры на шахматной доске мировых держав[42]. Часто подчеркивается, что Легион был создан недобровольно и незаконно, а тогдашнее политическое и военное руководство Латвии дало согласие против собственной воли[43]. Символом веры

ческими латышами. К 1993 году из них осталось в живых около 11 500 человек, средний возраст которых был около 70 лет. См.: *Tālivaldis V.* Latviešu leģionārs 50 gadu pēc kara Sociologisks aspekts // Latvijas Arhīvi. 1994. № 2. Lp. 32.

[38] *Biezais H.* Slēpenā Latvija // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1990. № 4. Lp. 5.

[39] По инициативе национал-консервативных сил в парламенте этот день был объявлен официальным днем памяти латышских солдат. См.: *Neiburgs U.* // Diena. 16.3.1999.

[40] В качестве одной из многих статей западных СМИ, обвинивших латышей в «отказе от осуждения солдат легиона СС», можно назвать: *Domedeit G.* Ein Land voller Opfer // Focus. 1998. № 13. S. 302.

[41] Press release. About March 16 — Latvian Soldier's Remembrance Day. Riga, 1998.

[42] Ср. учебник: *Kostanda O.* (Red.). Latvijas vēsture. S. 319. Конкретно о риторике этого учебника см.: *Henning D.* «Alle Geschichte ist die Geschichte vom Kampf der Letten». Zur Apodiktik eines neueren lettischen Geschichtsbuches // *Meier R.* (Hrsg.). Nationalbewegung und Staatsbildung. Die baltische Region im Schulbuch. Frankfurt am M. S. 125 ff.

[43] *Kurlovič G., Tomašuns A.* Latvijas vēsture vidusskolai II. Roga, 2000. Lp. 242.

15. Заказ № 1423.

(пожалуй, наивной) в независимость Латвии милостью Германии был значок, который легионеры носили на своей форме. На нем над латвийским флагом красуется слово «Latvija». Сегодня его изображают на тех книжных обложках и выставках, где преобладает апологетическая аргументация, например на обложке книги Эзергайлиса «Латышский легион — герои, нацисты или жертвы?».

Вполне многоплановую, но тем не менее апологетическую трактовку Легион получил в фильме «Akmens un Šķembas» («Камень и осколок») режиссера Роландса Калниньша, сделанном еще в 1968 году и ставшем крайне популярным в конце 1980-х годов. Бывший лейтенант Латышского легиона возвращается домой, в советскую Латвию 1960-х годов, и встречает бывшего товарища, с которым его связывают болезненные воспоминания о времени в Легионе. Наплывами показывается смесь из вынужденного повиновения немецким командирам, преследующим исключительно собственные интересы, желания бороться с совместным врагом — «большевиками» и раздора братоубийственной войны.

Намеченное еще в этом фильме и продолжающееся в сегодняшних дебатах представление об особом трагизме судьбы легионеров, а также постоянное подчеркивание того, что западные союзники после войны признали Латышский легион как военное подразделение невиновным в военных преступлениях[44], указывает и на вытеснение неприятных вопросов. Так, в Легионе служили многие инструкторы и офицеры из полицейских подразделений и команды Арайса, участвовавшие в расстрелах еврейских и других гражданских лиц.

Симптоматичным признаком смены плюсов на минусы стала и дискуссия об оценке «красных партизан» — сражавшихся с 1941 по 1944 год в лесах против вермахта латышских подразделений. До 1991 года советская латвийская историография превозносила их как «героических борцов с фашизмом». Сегодня же они считаются «бандитами», при том, что это слово в свое время использовалось советской пропагандой для обозначения «лесных братьев» — антисоветских партизан послевоенного времени. Последних сегодня чтят как «национальных сопротивленцев»[45]. Сегодня все чаще звучат призывы совместно вспоминать всех латышских участников военных действий, как на немецкой, так и на советской стороне, но это, по всей видимости, пока невозможно.

[44] *Neiburgs U.* // Diena 16.3.1999; *Stranga A.* // Diena 17.3.1998.

[45] Ср.: *Onken E.-C.* Demokratisierung der Geschichte in Lettland. Staatsbürgerliches Bewußtsein und Geschichtspolitik im ersten Jahrzehnt der Unabhängigkeit. Hamburg, 2003.

Заключение

В Латвии вновь и вновь можно услышать фразу, что Вторая мировая война закончилась только в 1991 году. В сегодняшнем восприятии советская власть после войны была всего лишь продолжением оккупации 1940 года. История Второй мировой войны, таким образом, становится историей мнимых «освобождений», сменяющихся оккупантов, закончившейся в 1991 году настоящим освобождением. Спустя пятьдесят лет после первой оккупации Латвии люди, мол, сами отвоевали свою независимость. Завоевание независимости одновременно стало обретением права на собственную интерпретацию своей истории. В 1994 году директор Института истории Янис Граудонис выдвинул следующее требование: «Латвийская история должна стать фактором, укрепляющим латышское национальное самосознание, пробуждающим гордость от принадлежности именно к этому народу и в целом служащим гарантом латышского народа и вечной латышской Латвии»[46]. В противовес этой точке зрения сегодня приходит сознание того, что образ истории в демократическом дискурсе постоянно воссоздается заново, что о его интерпретации можно и нужно спорить и что в сегодняшней полиэтничной Латвии существует множество «историй», каждую из которых необходимо принимать всерьез. Несмотря на все трудности, Латвия сегодня, через четырнадцать лет после восстановления независимости, постепенно вписывается в европейский исторический ландшафт, в центре которого находится стремление рассматривать прошлое вне всяких табу и в котором личное осмысление несправедливостей прошлого стало твердой опорой демократического правового государства.

Авторизованный перевод с немецкого Михаила Габовича

[46] *Graudonis J.* Latvijas vēstures institūts šodien // Latvijas Vēstures Institūta žurnāls. 1994. № 2(13). Lp. 6.

Сергей Романенко

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РАСПАВШЕЙСЯ ЮГОСЛАВИИ ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА?

«Титовская» Югославия, распавшаяся в 1991 году, относилась к числу тех государств, чьи существование и легитимность непосредственно были связаны с победой во Второй мировой войне антигитлеровской коалиции и антифашистского Сопротивления. И социалистическая югославская государственность в целом, и государственность каждой из входивших в нее республик опирались на решения органов власти, созданных коммунистами под руководством Йосипа Броз Тито в 1942—1945 годы. С 1945 по середину 1980-х годов единственной разрешенной и господствовавшей версией была официальная концепция истории — «титовская». Созданная по образцу «сталинской», она обслуживала как интересы отдельной личности, так и интересы режима в целом и просуществовала в неизменном виде вплоть до того момента, когда (уже после смерти в 1980 году самого Тито) созданные им государство и политический режим вошли в фазу стагнации и начали стремительно приближаться к краху и распаду.

История — «важнейшее партийное дело»

Йосип Броз Тито, в 1942—1945 годы воссоздав Югославию на фундаменте сербской государственности, был вынужден заложить в основу внешней политики сербские традиции и национально-государственные интересы — иной возможности просто не существовало ни исторически, ни политически. Большинство народов Югославии не имели своей государственности, а воспользоваться, например, традициями и идеологией независимой до 1918 года Черногории или, тем более, Независимого государства Хорватии (NDH — *хорв.*) времен Второй мировой войны по разным причи-

нам было невозможно. Национально-государственные интересы новой Югославии формировались и как некая сумма исторически сложившихся принципов и этнополитических претензий югославянских народов к соседним государствам под лозунгом полного объединения этнических территорий и национального самоопределения[1].

Основными чертами официальной и единственной до середины 1980-х годов исторической концепции, фундаментом которой была история Народно-освободительной борьбы (НОБ — *серб., хорв.*)[2], можно назвать классовый (пролетарский) подход в противовес «буржуазному»; интернационализм как альтернативу этническому национализму («братство и единство наций и национальностей»); югославизм как государственную идеологию; идеализацию партизанского движения, откуда вышло подавляющее большинство руководителей высшего и среднего уровня; антиколлаборационизм; стремление к независимости; отрицание возможности создания некоммунистической неантифашистской государственности; замалчивание политических репрессий против антикоммунистов и оправдание таковых по отношению к «информбюровцам», в 1948 году поддержавшим Сталина против Тито; огромную роль вождя и партии; отрицание важной роли СССР; негативное отношение к церкви; манипулирование статистическими данными (в том числе и о количестве жертв периода НОБ); а также — в более широком историческом контексте и по разным причинам — отрицательное отношение к Германии, Австро-Венгрии, Италии, Болгарии, Албании. Но, хотя в основе этой концепции лежали идеи борьбы с фашизмом за национальное освобождение и восстановление территориальной целостности и независимости Югославии, она была связана с коммунистической тоталитарной идеологией.

Моноэтнические компоненты югославского политического сознания соединялись и объединялись региональной формой поли-

[1] А те, со своей стороны, также выдвигали однотипные требования к югославянским народам и югославскому государству.

[2] На сербском и хорватском языках эта борьба называется «Narodnooslobodilačka borba». Но, как и в русском языке, слово «народный» имеет два значения — «народный» и «национальный». В советской историографической традиции, естественно, этот термин переводился как «народно-освободительная борьба». Между тем это устойчивое словосочетание без искажения его смысла можно было бы перевести и как «национально-освободительная борьба», поскольку в данном случае речь шла и о национальном освобождении от иностранных оккупантов и восстановлении независимости страны.

этнического национализма (славянской идеи) — югославизма. Формально провозглашенный коммунистический интернационализм не смог победить этнический национализм; наоборот, он стал его наиболее агрессивным выражением, опирающимся на силу государства. Это было результатом совпадения для народов Югославии во время Второй мировой войны социальной и национальной революций — национальное *объединение* воспринималось в неразрывной связи не только с долгожданным национальным *освобождением,* но и с новым обществом «социальной справедливости». Поэтому конфликт 1990-х годов был обусловлен внутренним развитием самого югославского государства.

Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ, до 1963 года — Федеративная Народная Республика Югославия — ФНРЮ), как и СССР, была государством идеологическим, марксистским. Следовательно, Союз коммунистов Югославии (СКЮ), так же как и КПСС, считал историю делом идеологическим и ни на одно мгновение не ослаблял «особой бдительности на архивно-идеологическом фронте». Играя на противопоставлении «сталинизму» в СССР, югославское руководство стремилось создать впечатление, что в стране существует большая свобода дискуссий, в том числе и в области истории. Действительно, на первый взгляд, архивные документы и воспоминания участников событий публиковались в большем объеме, но в целом проходили столь же жесткий отбор, как и в СССР: из большинства публикаций беспощадно «вымарывались» сведения и оценки, которые могли дать основу для сомнений в официальной государственной идеологии и роли Йосипа Броз Тито. Вторая мировая война и «народно-освободительная борьба» были в этом отношении одними из наиболее жестко «канонизированных» тем, поскольку были связаны с легитимностью государства и власти КПЮ-СКЮ и Йосипа Броз Тито.

Во второй половине XX века в социалистических (так же как и в начале XXI века в постсоциалистических) обществах и государствах историческая наука часто приносилась и по-прежнему приносится в жертву политике, идеологии и пропаганде. В угоду этноконфессиональным, классовым и «геополитическим» схемам или материальным интересам делались тенденциозные выводы; закрывались, приоткрывались и вновь закрывались архивы; политическая цензура делала невозможным свободное обсуждение острых проблем. Каждая из сторон стремилась и стремится представить свой вариант истории, свою политику как цепь непрерывных во-

енных, политических и нравственных побед, поглубже спрятав поражения, страдания простых людей, моральное убожество и преступления «исторических» деятелей. Именно поэтому многие события просто не попадали в «перечень» — они сознательно либо предавались забвению, либо засекречивались. Или же их трактовка была весьма тенденциозна.

Для понимания ситуации необходимо отметить: цензура была вызвана и политической необходимостью. После 1945 года за пределами Югославии оказалось довольно большое количество не только антикоммунистически, но и агрессивно националистически настроенных эмигрантов — сторонников Дражи Михайловича, Милана Недича, Димитрие Летича, Анте Павелича, Леона Рупника и других деятелей, в той или иной степени сотрудничавших с оккупационными властями во время войны[3]. Являясь противниками как коммунизма, так и идеи общего югославского государства, они стремились противопоставить режиму Тито не только террористические акты и политические программы, но и взгляд на историю «своего» народа в контексте его отношений с соседями, пытаясь в противовес мифу о Тито создать миф о своем национальном вожде, как правило, сотрудничавшем с оккупантами.

И в этом отношении титовская и антититовская — эмигрантская — историография были однотипны: и те и другие занимались политически ангажированным и исторически обусловленным мифотворчеством. Мифу о «братстве и единстве» разных народов они противопоставляли мифы о «величии» отдельно взятого народа, о неизбежности создания своего этнически «чистого» государства в максимальных границах. Идеологизированная мифология (в том числе и персонифицированная) стала неотъемлемой частью политической и психологической реальности. В 1990-е годы эта литература хлынула на книжные рынки независимых стран. И этот поток встретился с другим — исследованиями национальных историков, которые увидели преодоление «титоизма» лишь в том, чтобы изменить оценки политических деятелей. Открытие архивов при зачастую некритическом отношении к вновь открытым источникам и при запрограммированных властью, коммунистической или антикоммунистической, выводах ведет не к преодолению старых мифов, а к возникновению новых.

[3] См. об этом подробнее, например: *Романенко С.А.* Между национальной и пролетарской диктатурой: Милан Недич — Дража Михайлович — Анте Павелич — Йосип Броз Тито (61—87) // Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М.: Индрик, 2002. С. 61—87.

Закончилась ли Вторая мировая война?

В новосозданных постъюгославских независимых государствах мифология XIX — середины XX века причудливым образом переплетается с мифами «титовских» и «посттитовских» времен. Эти «старо-новые» мифы, прежде всего историко-этно-политические, выполняли и выполняют несколько функций: поддержки, самоидентификации, ориентации, размежевания (иными словами — нового самоопределения этносов и социумов), а также компенсации и защиты («психотерапевтическая функция», помогающая пережить тяжелые потрясения). Они же активно используются для манипулирования политическим сознанием.

До середины 1980-х годов история Второй мировой, или Народно-освободительной, войны, вернее, представления и воспоминания о ней, были фундаментом «братства и единства», наряду с советско-югославским конфликтом 1948—1956 годов. В обоих случаях автоматически возникало «черно-белое» деление на «своих» и «чужих». «Титовская» трактовка этих событий до определенного момента развития полиэтничного социума и многонационального федеративного государства была консолидирующим и примиряющим фактором. По мере нарастания социального и экономического кризиса и обострения межэтнических и межреспубликанских отношений она стала превращаться в свою противоположность — в дезинтегрирующий и конфликтогенный фактор. Люди, воевавшие вместе против фашистов и коллаборационистов, стали вспоминать некогда нанесенные (реальные или вымышленные) обиды и увязывать их с национальностью. Тем более не действовала концепция «братства и единства» на более молодые поколения. В новых условиях государству и обществу был нужен уже иной фундамент, нежели прежняя борьба и победа. Принадлежность к коммунистической партии или к иной национальности становилась обвинением. Самому Тито, например, многие сербы не могли простить того, что он хорват и коммунист, и обвиняли его в антисербской политике, сформулированной в Ватикане и Коминтерне[4];

[4] Имеется в виду позиция Коминтерна 1920-х годов, выступавшего против сохранения Королевства сербов, хорватов и словенцев и за самоопределение входивших в него народов путем создания Балканской федерации. См., например: *Улунян А.А.* Коминтерн и геополитика: Балканский рубеж. 1919—1938. М.: ИВИ, 1997. С. 39—104; Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции. В документах центральных российских архивов начала — середины 1920-х годов. Часть 1—2 / Под ред. Р.П. Гришиной. М., 2000—2003.

часть хорватского общественного мнения упрекала его в том, что он коммунист, отстаивающий интересы Сербии.

Однако — и в этом трагический парадокс — точно такую же роль стали играть и новые исторические концепции, которые, по сути, оказались не шагом на пути к новому историческому познанию, освобождению от мифов социалистического периода и преодолению опостылевшей многим жесткой официальной догмы, а шагом в прошлое, к возрождению мифов и предрассудков как королевской Югославии, так и периода с середины XIX века (а иногда и раньше) до образования Королевства сербов, хорватов и словенцев в 1918 году (с 1929 года — Югославии).

Именно прежние этнонационалистические и этноконфессиональные концепции, в том числе и в их радикальном варианте, стали основой нового мировоззрения. И это было закономерно. Распад СФРЮ и его последствия привели к краху социального и национального сознания граждан Югославии. Сознание, утратив социальную и государственную составляющие, оказалось деформированным. В нем оказалось нарушенным соотношение его форм и их функций. Причем особая тяжесть выпала на долю национального исторического сознания, часто воспринимаемого только как этноисторическое. Оно, во-первых, было деформировано предыдущими этапами развития национальных движений и совместного государства, а также псевдонациональных государств периода Второй мировой войны. Во-вторых, оно по своей природе и сути не может выполнять функции идеологии. На это опирались возникшие после распада СФРЮ в 1991 году режимы — Слободана Милошевича в Сербии, Франьо Туджмана в Хорватии, Алии Изетбеговича в Боснии и Герцеговине[5].

С другой стороны, для всех сторон, вовлеченных в конфликт, были характерны спекуляции на антифашистском сознании, сохранившемся в широких слоях населения, независимо от национальности. Невольно возникало ощущение, что история остановилась и неизменные народы решают в неизменных с XIX века или даже со Средневековья обстоятельствах одну и ту же задачу. Отсюда и появилась внедряемая в сознание теория о том, что Вторая мировая война еще якобы не закончилась. Тем самым нагнетается ощу-

[5] В данном случае речь идет только об однотипных политико-идеологических процессах на пространстве распадавшейся СФРЮ, а не о сравнении идеологии возникших там режимов и личностей их руководителей. Ср.: *Романенко С.А.* Югославия, Россия и «славянская идея». М.: Институт права и публичной политики, 2002. С. 401—509.

щение безысходности и бессмысленности исторического бытия своего народа, с одной стороны, и чувство постоянного вражеского окружения или конфликта с соседними народами — с другой.

Вместе с тем к явлению национализма и его проявлениям надо подходить исторически. Идеи и принципы, которые в середине XIX века в условиях Балкан имели демократическое содержание, в середине и второй половине века XX, в иных исторических условиях зачастую превращались в свою противоположность и отражали не демократические, а антидемократические тенденции. Эту эволюцию прошли как сугубо национальные концепции освобождения и создания своего государства (например, четническая и усташская идеологии второй половины XIX века разительно отличаются от теорий с тем же названием периода Второй мировой войны), так и югославизм.

Идея полиэтничного государства оказалась дискредитированной в глазах всех народов ее связью с тоталитарным коммунистическим прошлым — заслуги коммунистов в Сопротивлении и восстановлении Югославии оказались забыты, более того, ставились им в вину. Югославизм и коммунизм, опираясь на схожие лозунги «братства народов» или «братства всех трудящихся», создавали иллюзию решения социальных и этнических проблем, на деле лишь загоняя их внутрь.

Естественно, политики и идеологи сербского, хорватского, национальных движений других народов стремились найти новое историческое (как и правовое, этнодемографическое и другие) обоснование новых форм национального самоопределения. Для многих из них самоопределение стало неким неизменным, раз и навсегда данным правом этнической общности, неизменным вневременным принципом[6].

Полемика между представителями национальных историографий относительно событий 1941—1945 годов носила ожесточенный характер, поскольку была напрямую связана и с проблемой легитимности новосозданных независимых государств и их этнотерриториальных притязаний. В этой связи в центре сербско-хорватской полемики оказались два вопроса: какой народ внес больший вклад в НОБ, кого среди коммунистических партизан было больше — сербов или хорватов; а также вопрос о численности и национальной принадлежности усташского лагеря Ясеновац, где во время Второй мировой войны погибали не только сербы, но и хорваты-

[6] *Šibl M.* Narodni suverenitet i pravo na samoodrepenje // Što jest i što hoće HDZ. Zagreb: siječanj, 1990. S. 51—52. Ср.: *Denić B.* Etnički nacionalizam. Tragična smrt Jugoslavije. Beograd: Radio B-92, 1996. S. 123—126.

антифашисты, евреи, люди других национальностей.

Споры вокруг количества жертв во время Второй мировой войны резко обострились после 1991 года и стали одним из важнейших «фронтов» в пропагандистской войне, которую, наряду с войной реальной, вели режимы Слободана Милошевича и Франьо Туджмана. В подобных случаях чрезвычайно тонка профессиональная и нравственная грань между поисками истины и манипулированием в политических целях статистическими данными о реальных и вымышленных жертвах ради «обоснования» своих позиций и притязаний, создания негативного образа своего противника.

Официальная пропаганда новосозданных государств, прежде всего в Белграде, утверждала: Вторая мировая война не закончилась, а продолжается. Один из центральных тезисов официальной сербской национальной идеологии заключается в том, что хорватам как народу генетически присуще стремление осуществить геноцид над сербами. К этому выводу пришел и сербский академик Василие Крестич. По его утверждению, хорватским «национально-клерикальным кругам» во время Первой мировой войны не удалось добиться окончательного освобождения от сербов. «Они дождались Второй и полностью использовали представившуюся возможность. Их преступления не являются плодом той или иной системы, той или иной партии, общества или личности. Они являются результатом целого ряда обстоятельств, существовавших на протяжении длительного исторического периода. Геноцид, учиненный над сербами в Независимом государстве Хорватия в годы Второй мировой войны, является своеобразным феноменом в условиях многовекового совместного проживания сербов и хорватов»[7].

Своеобразным политическим (но не историческим и, тем более, не историографическим) «ответом» на подобного рода утверждение стал тезис национального хорватского лидера Франьо Туджмана (историка по профессии). 24 февраля 1990 года он заявил следующее: «Поборники гегемонистско-унитаристских или югославянских великодержавных взглядов в программных целях Хорватского демократического союза видят не что иное, как требование

[7] *Krestić V.* Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslavenska ideja u drugoj polovini XIX veka Beograd, 1988. S. 367—368. Ср.: Doprinos Hrvatske pobjedi antifašističke koalicije. Zagreb, 1995; *Jareb M.* Problematika Nezavisne Države Hrvatske u povijesnoj literaturi od 1990. do 1995. godine // Časopis za suvremenu povijest. 1996. № 1—2. S. 199—216; *Stefan Lj.* From Fairy Tale to Holocaust. Zagreb, 1993; *Џаџић П.* Нова усташка држава? Београд, 1990; *Марковић М.* Фашизм и «новый мировой порядок». [Б.м., б.г.]; Декларација против геноцида над српским народом. Београд, 1997.

восстановления Независимого государства Хорватия (НДХ). [Власть Анте Павелича опиралась на германские и итальянские вооруженные силы, оккупировавшие и разделившие королевскую Югославию. Основной внутренней политической базой этого государства были хорватские радикальные националисты, сотрудничавшие с оккупантами, — эсташи. — *С.Р.*] Но при этом они забывают, что НДХ было не только простым квислингским образованием и "фашистским преступлением", но и выражением политических устремлений хорватского народа к созданию собственного национального государства...»[8]

Тем не менее и Франьо Туджман не мог открыто и окончательно порвать с антифашизмом: в годы НОБ он воевал на стороне партизан Тито и отказ от принципов антифашистской борьбы мог поставить крест на его политической карьере (которую, впрочем, он сделал как националистический диссидент в 1970—1980-е годы).

Но полный отказ от наследия НОБ и титовских партизан оказался невозможным и по внешним причинам. Дело в том, что границы Словении и Хорватии, как с иностранными государствами, так и с бывшими республиками СФРЮ, были определены и имели легитимность исключительно в рамках Югославии. Поэтому критика «титовской» Югославии постепенно оказалась приглушенной. Не говоря уже о том, что только в составе ФНРЮ—СФРЮ Словения, Македония, частично — Хорватия обрели свою национальную государственность в виде республик социалистической федерации, а мусульмане-босняки — признание своей этнической индивидуальности.

Еще одной болезненной и острой проблемой стала (пере)оценка роли националистов и коллаборационистов в 1941—1945 годы. В связи с этим возникла проблема не только профессионального, но и этического характера: как пройти по тонкой грани между, с одной стороны, восстановлением исторической правды и отказом от ложных обвинений периода Йосипа Броз Тито, а с другой — обелением военных преступников и созданием новых мифологизированных «портретных галерей»?

Когда на Балканах Вторая мировая война станет историей?

Как же сегодня оценивают историки постъюгославских государств события Второй мировой войны, как эта оценка связана с

[8] *Tuđman F.* S vjerom u samostalnu Hrvatsku. Zagreb, 1995. S. 68.

развитием исторического сознания и исторической науки, где очень медленно, с постоянными остановками и возвращением назад, но все же происходит не только «детитоизация», но и «демилошевичизация» и «детуджманизация»?

Существенная роль в этом процессе принадлежит тем историкам, которые в труднейшие годы войны 1991—1995 годов, да и впоследствии, в ситуации, когда государство требовало единомыслия и подчинения «национальной идее», сумели сохранить свои гражданские и профессиональные позиции. А таких оказалось не так мало.

Сложность проблемы состоит в том, что оценка событий Второй мировой войны оказалась тесно связанной с событиями 1991—1995 годов. Властям все же удалось навязать массовому сознанию представление о том, что война после распада СФРЮ была продолжением Второй мировой войны.

Эта сложность связана еще и с тем, что, как отмечают сербские аналитики (например, Теодор Кульевич), в Сербии у культуры памяти отсутствует рациональная и просветительская роль. Даже после падения режима Слободана Милошевича прошлое по-прежнему господствует над настоящим, но в прошлом — массовые нарушения прав человека со стороны государства и военные преступления. Представители либеральной тенденции в сербской историографии, в гуманитарных науках вообще, полагают, что прошлое по-прежнему легко инструментализируется и приспосабливается к нуждам сегодняшнего дня. По их мнению, в 1990-е годы на Балканах произошел разрыв в памяти и обвал прошлого, оно погрузилось в хаос, и при этом произошла его усиленная инструментализация.

Представители националистической тенденции, наоборот, подчеркивают преемственность и неразрывность прошлого и настоящего, преемственность национального характера, национальных традиций, интересов и государственных институтов. Создан новый «порядок воспоминаний», в котором каждая политическая группировка и даже каждый человек в отдельности пытаются самоутвердиться и оправдаться, прибегая к новой картине прошлого. Необходимы критика монументальной истории и создание критической многослойной картины собственного прошлого.

Сербские и хорватские историки либерального, гуманистического направления согласны друг с другом в том, что в обеих странах во многом произошла замена антифашизма антитоталитаризмом, то есть фашизм и коммунизм отождествляются как однотипные тоталитарные, антигуманные идеологии и практики. Во

время гражданской войны 1990-х годов национализм вытеснил интернационализм, а в оппозиционной среде антитоталитаризм вытеснил антифашизм. Но после так называемой революции 2000 года (имеются в виду события в Белграде в октябре 2000-го, положившие конец правлению Слободана Милошевича), после кратковременной демократической эйфории в сербской публицистике и историографии произошел новый возврат национализма. С некоторыми оговорками эту же оценку можно применить и к Хорватии, где в январе—феврале 2000 года после смерти Франьо Туджмана власть также изменилась.

Столкновение с прошлым зависит от появления новых общественных импульсов, полагают сербские и хорватские ученые. Народам и обществам еще предстоит узнать и осознать темные стороны своего прошлого. Однако уверенности в том, что в настоящее время общественно-научная интеллигенция в Сербии и Хорватии способна к многослойному, дифференцированному, критическому и историчному отношению к собственному опыту, у них нет.

Белградский социолог Теодор Кульевич и загребский историк Невен Будак в одном из диалогов на радио «Свободная Европа» согласились друг с другом в том, что еще должно пройти относительно много времени, чтобы можно было по-научному серьезно изучать Вторую мировую войну. Несмотря на то что со дня ее окончания прошло уже шестьдесят лет, она все еще принадлежит так называемой «горячей памяти». И только тогда, когда воспоминание станет «холодным», возможно будет прийти к согласию относительно событий тех лет. Пока же национализм преобладает в культуре воспоминаний, ни одна национальная историография не может и не хочет отказаться от попыток создать некий «монумент» прошлому. Национальная историография прославляет своих героев, а все, что не было национальным, осуждает. Необходим переход от «монументальной» к критической историографии. Но ученые не питают надежды на то, что это произойдет в скором будущем. Пока этого не произойдет, историю и дальше будут переписывать и приспосабливать к потребностям сегодняшнего дня. Когда же в массовом сознании события тех лет потеряют политическую остроту и станут невозможны связанные с ними политические спекуляции, когда эти события будут восприниматься исключительно как *история*, тогда и можно будет с уверенностью сказать: Вторая мировая война закончилась.

Алессандро Портелли

МАССОВАЯ КАЗНЬ В АРДЕАТИНСКИХ ПЕЩЕРАХ: ИСТОРИЯ, МИФ, РИТУАЛ, СИМВОЛ

В этой статье речь пойдет о взаимосвязи между тем, что мы вправе считать фактами, и тем, что происходит в сфере памяти. К последнему, помимо прочего, относятся воображаемые события и ложные воспоминания. Событие, о котором я буду говорить, — это убийство немецкими оккупационными войсками в Риме в 1944 году трехсот тридцати пяти человек — заложников, узников и просто схваченных на улице — в ответ на устроенный накануне партизанами взрыв, убивший тридцать два немецких солдата.

Эхо этого расстрела распространяется в двух направлениях — в прошлое и в будущее. Само событие длилось меньше суток, однако оно определенным образом проливает свет на историю Рима и Италии на протяжении всего столетия. Оно освещает историю, показывая людей, ставших участниками исторических событий; но при этом, будучи вот уже много лет предметом ожесточенных споров не только среди историков, но и в обществе в целом, оно многое говорит нам и о человеческой памяти.

Начну с двух рассказов. Первое — это официальный британский рапорт из материалов трибунала над немецким командованием в 1946 году. Согласно этому документу, события развивались следующим образом.

23 марта 1944 года, приблизительно в 15 часов, когда подразделение немецкой полиции маршировало по Виа Разелла в Риме, из близлежащего дома была брошена бомба, в результате чего 32 немецких полицейских погибли, а другие были ранены. В итоге это-

Оригинал статьи опубликован как: The Massacre at the Fosse Ardeatine: history, myth, ritual, and symbol / *Hodgkin K., Radstone S.* (Eds.). Contested Pasts. The Politics of Memory. London: Routledge & Kegan Paul, 2003. P. 29—41. *Перевод печатается с разрешения автора.*

го акта насилия обвиняемые — командир 14-й армии фон Макензен и военный комендант Рима Курт Мэльцер приняли решение о репрессиях против населения Рима. Было решено, что за каждого погибшего немца будут убиты десять итальянцев; расстрел будет произведен в течение 24 часов с момента взрыва.

24 марта 1944 года в 14 часов жертвы были несколькими партиями привезены на грузовиках к Ардеатинским пещерам. Группами по пять человек их заводили в пещеру, и эсэсовцы стреляли им в затылок. Как показал подсчет по окончании расправы, расстреляно было 335 человек, что превышало изначально объявленное соотношение 10:1. После этого пещеры были взорваны. Население не было предупреждено о репрессиях; немецкие власти потребовали найти виновников взрыва бомбы только через продолжительное время после расстрела[1].

Это довольно точный отчет о событиях (правда, на самом деле бомбу бросали не из окна, но эта деталь нам сейчас не важна). Для нас в этом рапорте важно то, что население не было предупреждено о готовящихся репрессиях. Их провели срочно, менее чем за сутки, и цель немецких властей состояла не в том, чтобы наказать виновных, — они хотели наказать город. Поэтому возмездие должно было быть немедленным и максимально суровым.

Второй рассказ — это история из моей жизни. Я только что получил премию за книгу об Ардеатинских пещерах и, едва узнав об этом, позвонил жене, которая была у парикмахера. Она сообщила новость всей парикмахерской, и женщина, сидевшая рядом с ней, спросила: «А о чем книга?» «Об Ардеатинских пещерах», — ответила жена. «Ох, — воскликнула женщина, — про это я знаю все!» (Так говорят все, стоит лишь упомянуть Ардеатинские пещеры. Эти слова мгновенно вызывают поток чувств и воспоминаний.) «Все знаю. Все из-за этих партизан, которые бросили бомбу, а потом попрятались. А немцы их искали. Помню, весь город был увешан листовками: "Если виновные сами сдадутся властям, мы не станем применять репрессалии. Если же они не объявятся, мы уничтожим за каждого убитого немца десять итальянцев"».

На самом деле ничего подобного не было. Не было никаких предупреждений, никто не искал партизан и не предлагал им сдаться, чтобы избежать ответных карательных мер. Но версия, рас-

[1] Отчет опубликован в книге: Documenti della Resistenza a Roma e nel Lazio. A cura dell'IRSIFAR (Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza) e dell'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia). Roma: Biblink, 2001.

сказанная женщиной из парикмахерской, прочно засела в народной памяти; именно так запомнилась людям эта история. Говоря, что она сама помнит листовки (которых никогда не существовало), эта женщина не одинока; история в том виде, в каком она ее рассказала, распространена повсеместно. Почему это событие помнится так крепко и так неправильно, что это означает и как нам понимать разрыв между событием, произошедшим в действительности, и множественными вариантами воспоминаний об этом событии — об этом я и собираюсь говорить.

Вот что особенно поразительно: хотя фактический ход событий отражен в документах, эти документы вот уже полвека упорно игнорируют: люди помнят только миф о том, как немцы искали трусливых партизан, а те спрятались и тем самым позволили немцам расстрелять заложников. С одной стороны — историческая и судебная хроника, воспоминания очевидцев (в том числе уцелевших) и родственников казненных; с другой — искаженные, преувеличенные, превратившиеся в миф воспоминания обывателей. Между ними зияет пропасть. И в этой пропасти — вся сложность национального самосознания, основ итальянской демократии, устройства памяти, взаимодействия между личными воспоминаниями и памятью общества.

В заголовке этой статьи я привел четыре термина: история, миф, ритуал и символ. Конечно, все эти понятия тесно переплетены, и все же каждое из них, отдельно взятое, позволяет под особым углом увидеть смысл трагедии в Ардеатинских пещерах.

Первый аспект, конечно же, история. Когда я, заинтересовавшись этими событиями, говорил людям, что намерен собирать устные свидетельства об Ардеатинских пещерах, многие советовали мне, что еще можно предпринять. Одни, например, говорили, что я должен исследовать депортацию евреев из Рима. Другие — что мне следует начать с законов 1938 года о расовой чистоте, дискриминационных по отношению к еврейскому населению Италии. Я поступил еще лучше: я начал с 1870 года, когда Рим стал столицей Италии. Потому что место, где совершилось это кровопролитие, тоже очень важно. В конце концов, это не худшее преступление нацистских военных преступников в Италии: были и куда более страшные, с большим числом жертв. Более того, это даже не самое ужасное преступление в самом Риме: одна депортация евреев повлекла за собой 1500 смертей. К тому же эта расправа — не единственная в своем роде. В Государственном архиве в Лондоне хранятся документы о расследованиях британскими вооруженными

силами ста сорока пяти случаев массовых казней в Италии, и это еще далеко не полный список.

Расстрел в Ардеатинских пещерах имел такой резонанс именно потому, что произошел в главном городе страны. Более того, в Европе это единственная трагедия такого масштаба, произошедшая не в деревне, а в большом столичном городе. Это — столичная трагедия, и в этом состоит принципиальное отличие ее жертв. Жертвы других массовых казней, как правило, были социально однородны, насколько это свойственно сельскому населению. В данном же случае историческую и символическую значимость трагедии обусловили социальные различия в составе ее жертв. По сути, это был социальный срез всего итальянского общества. С географической точки зрения это были люди со всей Италии. Чтобы побеседовать с родственниками жертв, я проехал всю страну с севера на юг, от Милана до Саленто. Это были люди со всей Италии, потому что вся Италия стремилась в Рим: он притягивал к себе, как магнит.

Еще один эффект большого города состоял в том, что это были люди из всех слоев общества, от пьемонтских аристократов до уличных торговцев из еврейского гетто, от солидных представителей интеллектуальных профессий, врачей и адвокатов, до пролетариев — строителей и фабричных рабочих. Возраст жертв расстрела тоже разнился — от 14 до 74 лет. Эти люди отражали весь спектр политических убеждений, начиная с главного различия: одни занимались политикой, другие совершенно ею не интересовались. Очень многие жертвы были из числа политических заключенных, на момент взрыва бомбы сидевших в немецкой тюрьме; но этого было недостаточно, и немцы прибавили к ним схваченных на улице случайных прохожих. Когда же и этого оказалось мало, они добавили еще и «евреев, ожидавших отправки в Германию», как сказано в документе, который цитировался выше. Таким образом, как уже было сказано, в числе убитых были и далекие от политики люди, и политически активные. Что касается последних, то их политические пристрастия были самыми разными, от офицеров-монархистов до ультралевых коммунистов «Бандьера росса» — экстремистской группы, отколовшейся от коммунистического движения; их погибло шестьдесят человек. Среди казненных были коммунисты, социалисты, либералы, христианские демократы, даже бывший член кабинета Муссолини — еврей, ставший антифашистом и сотрудничавший с движением Сопротивления. Да, это был срез населения города и, следовательно, всей страны.

Сегодня историю вытеснил миф. И главную роль тут сыграл вопрос «кто виноват?». Именно он подпитывает этот миф — миф,

связанный с исторической дискуссией о характере Сопротивления в Италии. Италия — единственная страна, где через полвека после трагедии все еще не утихают споры о том, кем же были борцы за свободу — героями или преступниками; единственная страна, где обсуждается вопрос, преступление это или нет — бросать бомбу в марширующую колонну связанных с СС полицейских войск вражеской оккупационной армии.

В каком-то смысле это можно рассматривать как издержки позитивного аспекта нашего национального самосознания: так сложилось исторически, что итальянцы никогда не были воинственным народом; и, вероятно, по этой причине попытки представить партизан «героями войны» так в полной мере и не возымели успеха. Но для того, чтобы понять, почему это событие запомнилось людям так, а не иначе, очень важен еще и тот факт, что бомбу бросили коммунисты, — а все, что делают коммунисты, рассматривается как преступление, особенно с позиций 1990-х годов. Антикоммунистические настроения подпитывают уверенность в том, что поступок партизан был преступлением, террористическим актом. И этот миф очень живуч. Когда моя жена попыталась переубедить свою соседку по парикмахерской, говоря, что та ошибается, что расхожие представления об этой истории неверны и что я только что написал об этом целую книгу, та парировала: «Поговори он со мной — не стал бы ее писать!» Это миф, который упорно сопротивляется историческим фактам.

Действия партизан на Виа Разелла были хорошо организованной военной акцией, в которой приняло участие восемнадцать человек. Однако миф гласит, что все это сделал один человек (что само по себе превращает военную операцию в теракт) и что он, убив бедных эсэсовцев, до того терзался чувством вины, что впоследствии совершил самоубийство. (К счастью, человек, которому приписывают организацию этой операции, жив-здоров, и моя книга ему понравилась.)

Еще один аспект мифа — что во всей этой истории нет вины немцев — основан на другом мифе, точнее, национальном стереотипе: немцы строги, но справедливы. У немцев были правила, и они им следовали. Коэффициент 10:1 геометрически так совершенен, что кажется разумным; в нем заложена некая странная рациональность. «Бедные немцы, — гласит эта логика, — они были вынуждены так поступить, они не могли иначе, потому что таков был суровый закон войны, и они ему подчинялись. Они были суровы, но справедливы». Партизаны же, напротив, в этой картине

действуют украдкой, исподтишка, малодушно и безответственно. Мне думается, такая интерпретация выросла из непрекращающейся дискуссии о том, какая именно Италия восстала из руин Второй мировой. С одной стороны, основополагающим нарративом антифашистской итальянской демократии была идея «Республики, рожденной Сопротивлением»; и какой бы банальной ни стала эта фраза, в ней тем не менее содержится зерно истины. Итальянская конституция воплотила в себе многие ценности Сопротивления. Но если в основе итальянской послевоенной демократии лежит идея Сопротивления и героизма партизан, то, с другой стороны, есть и версия, согласно которой в массовой казни виноваты именно партизаны. Это — контрмиф, порожденный несовершенством нашей демократии. Демократия, выросшая из Сопротивления, была не единодушным выбором большинства, а, скорее, неким проектом, планом, мечтой, разделяемой далеко не всеми; эта демократия и сама испытывала на себе определенное сопротивление.

Итак, вот он, главный вопрос этой истории: что такое Италия — антифашистская демократия, порожденная Сопротивлением, или же что-то другое? Довольно большая часть населения Италии не приемлет того антифашистского этоса, который — теоретически — вдохнул жизнь в Итальянскую Республику. Инициатором ложного воспоминания стал главный институт страны — церковь: впервые эта версия событий появилась в передовице на первой странице газеты «Osservatore Romano», официального издания Католической церкви, в номере за 26 марта 1944 года; и, разумеется, то, что сказано в «Osservatore Romano», повторяют священники во всей стране. Почему же Церковь так поступила? Потому что Церковь в принципе не желает становиться на чью-либо сторону. Теоретически Церковь не за фашистов и не за антифашистов, что означает, что Церковь не является антифашистской; то же касается и христианско-демократической партии, правившей Италией на протяжении пятидесяти лет.

Одно из самых замечательных искажений, предлагаемых этим мифическим нарративом, связано со временем. Вообще, вопрос времени играет ключевую роль в этой истории. Расстрел произошел в течение суток после взрыва бомбы (вот почему в качестве названия для книги я выбрал заключительные слова из немецкого сообщения для печати — «Приказ уже исполнен»), а население узнало об акции партизан только после расстрела. Но спросите любого (а я опросил 200 человек в возрасте от 14 до 80 лет): «Сколько времени прошло между партизанской операцией и казнью залож-

ников?» — и в ответ вы услышите варианты от трех дней до полугода. Почему люди отвечают именно так? В первую очередь — потому, что для обвинения партизан в трусости нужны основания; поэтому люди дают немцам время на то, чтобы объявить о розыске партизан и предложить им сдаться. Вот версия 18-летнего школьника Марко Мачерони:

> «Немцы целую неделю рыскали по городу, особенно по еврейскому кварталу, и брали заложников. И все это время предупреждали, предупреждали: если виновные в террористическом акте на Виа Разелла не объявятся, то за каждого погибшего при этом взрыве немца они убьют одиннадцать итальянцев, одиннадцать или тринадцать, точно не помню» (интервью в Риме 22 апреля 1998 года).

Это — главный миф, который можно услышать в любой римской парикмахерской или школе. Но поскольку этот миф был оспорен, по крайней мере, в рамках общественного дискурса, возникли и альтернативные нарративы. Появился целый ряд неверных толкований, обусловленных политическими, мифическими, человеческими и, конечно же, идеологическими факторами. Здесь миф функционирует как набор взаимозаменяемых вариантов, каждый из которых предлагает аргументы в пользу предвзятого мнения: «Во всем виноваты коммунисты-партизаны». Таким образом, поскольку нет сомнений, что если бы партизаны сдались немцам, то массовой казни не было бы, новая версия мифа гласит: «Они должны были сдаться в любом случае, независимо от того, призывали их к этому или нет, знали они о готовящемся возмездии или нет». И еще один вариант, особенно популярный в наши дни: «Они обязаны были подумать о последствиях. Ведь немцы — это звери, дикие звери. Тронь зверя — и он придет в ярость».

Этот антинемецкий стереотип («Немцы — дикие звери. Немцы — бездушные машины») становится, по сути, составной частью мифа. Но немцы — не звери, а люди, и то, что они сделали, было не инстинктивной реакцией, а тщательно продуманным и реализованным политическим решением. Миф о том, что «партизаны обязаны были подумать», основан на еще одном допущении: что это была единственная вооруженная акция в Риме, в ходе которой погибли немцы. Это совершенно неверно. В Риме это была сорок третья по счету подобная акция. Поэтому представление о том, что в Риме не было движения Сопротивления, что взрыв бомбы на Виа

Разелла был единичным событием, единственной провокацией в безмятежном городе, — это миф, несущий в себе определенное значение. Он хорошо согласуется со стереотипным представлением о римлянах как о бездеятельных фаталистах, а о Риме — как о консервативной столице консервативного государства. Получается, что, поскольку никакого Сопротивления в Риме не было, в ответе за бомбу просто горстка безумцев. На самом же деле Сопротивление было: активное и пассивное, вооруженное и невооруженное. Согласно утверждениям немецкого командования, римляне «не хотели сотрудничать»; следовательно, город надлежало наказать. Если раньше не было массовых казней, то лишь потому, что немцы хотели, чтобы все было тихо. Они контролировали передачу информации; движение транспорта в Риме было выведено из строя, поэтому известия о других действиях партизан не могли распространяться. Немцы держали город в повиновении с помощью мифа о собственной неуязвимости и непобедимости. Но взрыв на Виа Разелла невозможно было сохранить в тайне. Он прогремел среди бела дня, в центре города. Немцы никак не могли его скрыть. (И тут нужно отметить еще один аспект мифа: если спросить любого представителя военного поколения, он непременно скажет, что сам был на месте событий, или должен был там быть, или что у него есть знакомые очевидцы.) Утаить такое было невозможно: взрыв стал наглядной трещиной в броне якобы неуязвимой армии оккупантов, и поэтому немцам срочно нужно было что-то предпринять. Некоторые из версий мифа даже гласят, что партизаны затем и устроили эту акцию, чтобы спровоцировать репрессалии: «Они сделали это нарочно, чтобы немцы убили узников, принадлежавших к другим партиям, или чтобы ответные меры немцев вызвали восстание».

Обратимся теперь к ритуалам, имеющим целью почтить память погибших. Очевидно, что здесь имеется внутренний конфликт. Событие можно рассматривать двояко: с одной стороны, как массовую казнь, в которой погибло одновременно 335 человек; с другой стороны — как 335 отдельных убийств. Каждая из точек зрения влечет за собой особые последствия: массовая казнь — памятники, поминальные церемонии, возложение цветов; отдельные убийства — личные воспоминания и личные утраты. Поскольку жертв объединяет лишь то, что все они — мужчины, очевидно, что поминали и оплакивали их в основном женщины: жены и матери; было и несколько отцов, но в целом это женская история. Конфликт между официальными и личными воспоминаниями назрел очень быстро.

Рим освободили в июне 1944 года. Командование союзников предложило: поскольку жертвы массового расстрела уже погребены, следует водрузить над местом погребения мемориал и тем самым увековечить их память. Но родственницы — жены, матери, дочери — выразили протест. Вот как рассказывает о реакции своей матери Вера Симони, дочь расстрелянного генерала военно-воздушных сил:

> «Но тут вмешалась моя мама. Она сказала: "Нет!" — иначе мы и по сей день в глубине души надеялись бы, что отец вернется. Она сказала: "Нет, я требую, чтобы все до единого тела были опознаны". Она обратилась к командованию. Те сказали: "Сударыня, мы бы хотели сделать, как вы просите, но это невозможно. Это просто неосуществимо". Тогда мы с мамой и сестрой отправились к генералу Поллоку, командующему вооруженными силами союзников, и он немедленно нас принял. Мама сказала ему: "Мы пришли вот с какой просьбой. Мы знаем, что вы собираетесь поставить монумент, но мы против. Мы отказываемся. Мы требуем опознания всех тел". Генерал смотрел на нас и, должно быть, думал: "Господи, передо мной люди, у которых, наверное, от горя помутился рассудок". Поэтому он сказал: "Знаете ли, это очень трудная задача". Но мама уже успела поговорить с доктором Аскарелли, патологоанатомом, и доктор побывал на том месте и сказал: "Это безумная идея, но ничего невозможного нет, особенно когда так велики потребность и желание". Так что мама сказала генералу: "Нет, это можно сделать, я говорила с профессором, и он сказал, что можно". Тогда генерал Поллок сказал: "Знаете что, дайте мне подумать". Он проводил нас к двери, и мы сказали — не только мама, но и я: "Послушайте, мы не сдадимся. Мы ничего не хотим, нам ничего не нужно для себя. Мы просто требуем опознания тел, потому что все остальные семьи в таком же положении, как наша". И я добавила по-английски: "We don't give up!"» (интервью с Верой Симони, 1922 года рождения, дочерью генерала Симоне Симони, расстрелянного в Ардеатинских пещерах; 5 апреля 1998 года).

Эта ситуация ясно подчеркивает разницу между погребением под землей — и настоящими похоронами, церемонией, при которой смерть осознается и неким образом становится ценностью или,

по выражению Эрнесто де Мартино, обретает значение. До этого семьи погибших не знали, что произошло с их близкими; они не могли знать этого наверняка в условиях, когда очень многие были депортированы или исчезали. И именно женщины начали ходить по городу и искать следы пропавших; мужчины, отцы, похоже, были слишком сокрушены горем, чтобы что-то предпринимать. Одна коллега с моего факультета рассказывает:

> «Кажется, мама с подругами отправилась к пещерам прямо на следующий день [после казни] или несколько дней спустя. Конечно, в том состоянии, в каком они были... и еще физиологические ощущения, эти запахи, разложение. Но мама всегда говорила мне правду, без прикрас и утайки. И она сказала, что сильнее всего ее ранило и ужаснуло то, что эсэсовцы смеялись. Может, это они от страха, кто знает? А на следующий день женщины образовали своего рода процессию [религиозный образ. — *А.П.*]. Мама пошла, и, по-моему, пошла жена Пило Альбертелли...» Пило Альбертелли — один из героев Сопротивления, он преподавал моей маме философию в школе. «И еще несколько женщин. И вот Лиа Альбертелли, жена Пило Альбертелли, написала об этом стихи:

Мы идем в темноте, на ощупь, под тяжелыми сводами.
Жирный, удушливый воздух забивается в рот.
Мы помогаем друг другу,
мы держимся за руки.
Мы — невесты, сестра, мать.
И вот в дальнем конце пещеры возвышается холм.
Мы взбираемся на него, и земля, осыпаясь, скользит у нас из-под ног.
И из рассыпающихся комьев
поднимается тяжелый запах, он все сильнее, сильнее.
Одна из нас поднимает клок волос, перепачканный кровью,
и ее пронзительный крик повергает нас на землю.
Они у нас под ногами,
мы идем по телам отцов наших детей.

Чтобы похоронить эти разлагающиеся тела, их нужно было вначале откопать — и опознать. Они пролежали там несколько месяцев. Людей расстреляли в марте; эксгумация началась в июле и продолжалась до конца сентября. Тела были сложены грудой, одно на другом, потому что в пещере не хватало места. Прежде чем рас-

стрелять, людей вынуждали взбираться на гору трупов тех, кто был расстрелян раньше.

А свидетельства... Я слышал и более страшные истории, но — вот рассказ Джузеппе Болджа. Его мать погибла в Риме во время американского или британского воздушного налета, а отец был убит в Ардеатинских пещерах. Я спросил, кого он винит в гибели родителей, и он сказал: «За отца — немцев, а за мать — союзников. Вина лежит на тех и на других». Он рассказал мне, что в двенадцать лет ему пришлось опознавать тело отца:

> «О таком лучше не рассказывать. Никто не поймет, кроме тех, кто... Это нелегко было сделать, потому что тела были навалены грудой, два штабеля трупов, по шесть, семь человек в ряд. И мы с сестрой пошли, осенью, в эти ужасные пещеры. Для меня это был негативный опыт [он так и сказал: «негативный». — *А.П.*]. Сейчас, пятьдесят три года спустя, я вижу все это словно вчера, вижу этих людей, вижу следы этой бойни. Помню повсюду черепа, кости, тела, которые невозможно было опознать. А папин труп мы опознали. Он был без головы. Многие были без головы, потому что им стреляли в затылок. Так что мы узнали папу по одежде, и еще по немецким часам — их выдавали работникам железных дорог...»

Итак, тела опознавали по одежде, каким-то деталям, фотографиям, документам. Процесс идентификации длился месяцами. Тем временем память об этом событии усваивалась горожанами и превращалась в народную память.

Таким образом, возникло два типа ритуала. Во-первых, это была непосредственная реакция тех, кто оплакивал погибших. Рим в 1944 году был южным городом, население его состояло в основном из первого поколения эмигрантов из южных деревень. Они принесли с собой чрезвычайно эмоциональную манеру оплакивания умерших, описанную в этнографической литературе о Южной Италии: рыдали, теряли самообладание, впадали в неистовство. Карла Каппони, партизанка, сопровождавшая вдову одного из расстрелянных, вспоминает:

> «Там были все ее родные, там был ее сын, и я понимала, что это ад, потому что родители вынуждены были опознавать своих детей по фрагментам тел. Это была душераздирающая

сцена. Они выносили тела с воем, с воплями. Что я могу сказать? Это была трагедия, с которой невозможно было справиться, невозможно было унять дрожь».

Думаю, что слово «трагедия» здесь нужно воспринимать буквально, потому что эти голоса и жесты — голоса и жесты средиземноморского театра, театра Древней Греции и итальянского юга. Это описанные в литературе архаичные формы причитаний по покойнику — сцены, какие можно было увидеть в Лукании: старухи-плакальщицы с платками в руках ритмично раскачиваются и воют, пока рыдание и вой не перерастают в мелодию, в поэзию, приносящую утешение.

Но при всем при том Рим был городом среднего класса, с соответствующими формами оплакивания умерших, когда скорбящие держат себя в руках, не давая горю выплеснуться наружу. Существует много свидетельств о том, как люди не позволяли себе плакать, или просто не могли заплакать, и горе их находило выход лишь годы спустя; а дети смотрели с изумлением — они никогда прежде не видели такого взрыва эмоций и тем более не видели, чтобы их родители, всегда такие сдержанные, захлебывались в рыданиях.

Однако кроме личного ритуала оплакивания был еще и общественный ритуал увековечения памяти погибших. На месте казни воздвигнут красивый мемориал. Церемонии, проходящие у его подножия, имеют своей целью возвысить событие, придать ему символический смысл и тем самым превратить эту ужасающе конкретную историю в абстрактную. Как сделать это в разгар «холодной войны», когда коммунисты внезапно стали врагами, а немцы союзниками, — это был особенно деликатный вопрос. Коммунисты напрямую ассоциировались с Сопротивлением — до такой степени, что некоммунистический элемент этого движения долгое время замалчивали; такое положение дел в целом вполне устраивало послевоенных коммунистов, поскольку давало им монополию на мученичество; но, с другой стороны, Сопротивление как бы загонялось в леворадикальное гетто, что придавало ему весьма двусмысленное положение в послевоенной политике. Между тем вооруженные силы страны — карабинеры, армия, военно-воздушные силы — активно участвовали в патриотическом Сопротивлении, и некоторые из них тоже погибли в Ардеатинских пещерах, но об этих жертвах мало кто помнит. Государственные институты Ита-

лии по ряду причин предпочитают не вспоминать тот факт, что они вели войну против фашистов и нацистов. Так или иначе, было принято решение максимально деполитизировать официальную церемонию. Публичное поминовение погибших оказалось во власти церкви и военных — институтов, ведающих вопросами смерти. Теперь каждый год, 24 марта, в день памяти жертв, у монумента проходят католическая панихида, иудейская молитва и пара военных маневров. Днем туда приходят с красными флагами делегации рабочих организаций. И посреди всего этого — просто люди, частные лица, пришедшие оплакивать не героев, но своих отцов, братьев, сыновей. Они в растерянности, они не знают, что им там делать. В официальных речах — ни слова о том, кто убил тех, кого поминают в этот день. Они просто «отдали свои жизни», они «пожертвовали собой».

Это не так. Эти люди не собирались жертвовать своей жизнью. Но социальная неоднородность жертв порождает дальнейшие проблемы. Одни из них — партизаны — сознательно рисковали своей жизнью, другие — нет: евреи или те, кого схватили на улицах, вовсе не собирались ставить свою жизнь под угрозу. Таким образом, всех их можно назвать мучениками и даже героями, но не всех — невинными жертвами. Как сказал один из сыновей погибших: «Мой отец не был невинной жертвой — он пытался бороться с немцами». Аналогичным образом выразилась одна женщина: «Я не желаю быть дочерью невинной жертвы!» Здесь нет единой, объединяющей всех категории — кроме разве что максимально абстрактной и безобидной категории «мучеников» свободы. О том же, какой выбор в действительности сделал каждый из этих людей, практически не упоминается.

Наряду с вариантом истории Сопротивления, делающим его, так сказать, собственностью коммунистов, существует и другой миф — миф о Сопротивлении как об общенародном движении, объединившем большинство итальянцев. Та идея, что к Сопротивлению должны быть причастны все, привела к поискам наименьшего общего знаменателя, коим стали патриотизм и демократия. Даже сами коммунисты пошли по этому пути, пытаясь представить движение Сопротивления как нечто безобидное и непротиворечивое — не в последнюю очередь потому, что в разгар «холодной войны» им необходимо было легитимировать себя как не просто законный, но основополагающий элемент итальянской демократии. Поэтому они стремились затушевать тот факт, что Сопротивление раздирали внутренние разногласия. Они старались не подчерки-

вать, что партизаны были вооруженными бойцами, которые не только умирали, но и убивали; между прочим, большинство памятников изображает как раз умирающих партизан. Сопротивление — единственная война, которую славят не за выигранные, но за проигранные сражения, потому что выигранные напомнили бы нам о том, что это все-таки была война. Таким образом, партизаны, принявшие участие в акции на Виа Разелла, полвека потом жили с ощущением, что, хотя партия защищала и поддерживала их, она не управляла их действиями по-настоящему. На самом деле, антипартизанские версии, такие, как «они обязаны были сдаться», распространены и среди левых — в силу того, что они выглядят здраво и разумно.

Как сложились жизни тех, кто пережил эту историю, и их семей? Именно этот вопрос побудил меня взяться за расследование. В 1994 году одного из преступников, капитана СС Эриха Прибке, разыскали в Аргентине, экстрадировали в Италию и судили; и тогда полемика вспыхнула с новой силой. По мере того как один за другим откликались родственники погибших, создавалось впечатление (судя по телевидению, прессе, иным средствам массовой информации), что массовая казнь — это просто чье-то личное дело. Она касалась преступников — нацистов — и их жертв, родственников этих жертв, еврейского сообщества, — но она больше не касалась нас, добропорядочных членов общества, как бы мы ни сочувствовали жертвам, которые словно бы застыли во времени. Отчасти, конечно, это так и было. Джузеппе Болджа, тот самый, который двенадцатилетним мальчиком опознавал тело своего отца, сказал: «Я вижу все это словно вчера». Но ведь с тех пор прошло полвека. Как жили эти люди, как носили в себе свою скорбь и свою память?

После массовой казни горожанам неуютно было видеть вдов, одетых в черное; их присутствие словно бы нарушало установившийся покой, хотя издали им, возможно, и сочувствовали. Аде Пиньотти было двадцать три года. Она пробыла замужем полгода; в Ардеатинских пещерах погибли ее муж и трое других родственников. Она вспоминает:

> «С тех самых пор, как это случилось тогда, в сорок четвертом, об этом нельзя было говорить. Просто невозможно. Я проработала сорок лет, и даже на работе, когда кто-то, бывало, спрашивал меня об этом, я не могла им отвечать, потому что они... их реакция была такой высокомерной. Они говорили: "Вините того, кто бросил бомбу!" И я делала вид,

что не слышу, потому что они всегда говорили об этом в такой манере. Или: "Не немцы виноваты, а тот, кто бомбу бросил, потому что если бы он объявился, то расстреляли бы одного его!" Ну кто это сочинил? Когда это немцы такое говорили? Ничего подобного не было. Нас никто не предупреждал. Не было никаких листовок. Листовки появились только тогда, когда их уже расстреляли».

Этот пример ложной памяти показывает, что римляне не просто пытались каким-то образом перенести происшедшее в область здравого смысла; это был еще и способ отвергнуть эту женщину, отгородиться от нее, не разделить ее боль.

Зримость вдовства несла с собой и другие последствия. В 1944 году не было принято, чтобы женщины работали и куда-то ходили; эти вдовы, выходившие на люди, были беспомощны — не было мужчин, которые могли бы их защитить. Многие вдобавок ко всему, что им довелось пережить, еще и подвергались сексуальным домогательствам, хотя в то время еще не было такого выражения. Я слышал такие истории от нескольких женщин, и это многое говорит о нравах общества, управляемого мужчинами. Однако были истории и другого рода, о взаимной поддержке. Например, одна женщина, потерявшая брата, рассказывала мне, как ходила в гости к невестке, вдове погибшего, и тайком подбрасывала ей в суп успокоительные таблетки; впоследствии она догадалась, что невестка, в свою очередь, подбрасывала такие же таблетки в ее тарелку. Есть еще истории детей, выросших в детских домах или в семьях, где царила скорбь. «Это было странное горе, — говорит женщина, потерявшая отца, и повторяет: — Странное горе». Она рассказывала, как однажды в середине 1960-х позвонила матери и спросила: «Что ты делаешь?» Та ответила: «Я плачу». Дочь спросила: «Что случилось?» — и в ответ услышала: «Я оплакиваю твоего отца». «Теперь?» — изумилась дочь. Мать сказала: «Раньше мне было некогда. Я работала на трех работах, вела хозяйство, вырастила четверых дочерей. Теперь я на пенсии, я могу поплакать». Многие дети оказались в приютах; те же, что жили в семьях, росли в атмосфере горя — ощущение пережитой травмы передавалось из поколения в поколение.

И, наконец, последний вопрос, рассматриваемый в этой статье, — вопрос о символах. В ходе своего расследования я опрашивал многих молодых людей. Люди постарше, узнавая об этом, реагировали одинаково: молодежь ничего не знает о прошлом, у нее

нет исторической памяти. В некоторых случаях это правда: историческая память у молодых так же коротка, как у их родителей и дедушек-бабушек — ведь именно от них они узнали неверную версию событий, которую теперь повторяют. У других молодых людей, к счастью, нет вообще никакой версии событий. Я говорю «к счастью», потому что они не затвердили ложного представления и им ничто не мешает узнать, что произошло на самом деле, как и почему. Таким образом, многие молодые люди не связывают автоматически в сознании бомбу и казнь, не воспринимают их как причину и следствие. Они не закрывают глаза на факт расправы. Возможно, им трудно вписать событие в исторический контекст, потому что они не знают, что тогда происходило; но они прекрасно понимают его символическое значение.

«Если честно, я плохо помню эту историю, — сказал мне один молодой человек. — По правде говоря, совсем не помню. Но это название мне о чем-то говорит. Ардеатинские пещеры. Да, что-то оно мне навевает...» (Здесь очень важно понять итальянское слово «fosse». Изначально в том месте были карьеры, а карьеры по-итальянски — «cave», «пещеры». Вскоре после войны название изменили на «fosse» — «ямы, рвы». — *А.П.*) «Ардеатинские пещеры... — продолжал мой собеседник. — У меня возникает образ огромного рва, куда сваливали в кучу людей. Вот что я представляю. Место, куда сваливали людей, изуродованных, расстрелянных». — «Как мусор?» — спросил я. «Да, вот именно. Как мусор. Отволокли и бросили, как мешок с картошкой или что-то в этом роде. Знаете, о чем я подумал? О том, что уничтожается ценность человеческой жизни, вот о чем. К человеку относятся как к вещи, как к штуке... не знаю, как к куче тряпья». «Как к штуке» — формулировка на удивление верная. Мы помним, что нацисты называли тех, кого они отправляли в концлагеря, «Stücke» — то есть «штуки». А в Ардеатинских пещерах они засыпали пещеры мусором, пытаясь таким образом перебить зловоние от разлагающихся тел.

Итак, что же видят молодые люди? Они видят образ абсурдной, нелепой, случайной смерти; смерти, которая не является результатом естественного процесса. И это вполне соответствует их личному опыту, их представлению о смерти. Работая над книгой, я понял, что мое поколение, дети послевоенного бума рождаемости, было уникальным в том смысле, что смерть для него была невидимой. Смерть молодого человека была событием из ряда вон выходящим; кроме того, господствовала этика среднего класса — смерть

нужно скрывать от детей. У современных юношей и девушек дело обстоит совершенно иначе. В классе, где учится мой старший сын, было три самоубийства. На улице, где я живу, я насчитал минимум двенадцать мемориалов, устроенных подростками в память сверстников, погибших в авариях, — цветы, фотографии, открытки с изображениями любимых футболистов. Подростки знают, что можно умереть от передозировки наркотиков. Со смертью они так или иначе знакомы. Но поскольку взрослые по-прежнему считают, что дети ничего не знают о смерти и что их нужно ограждать от этого знания, никто не помогает им осознать смерть и построить с ней отношения; они делают это сами, по своему разумению. Ардеатинские пещеры — один из символов смерти и один из традиционных школьных экскурсионных маршрутов. Иногда дети просто смеются над увиденным, но иногда выходят по-настоящему пораженными и взволнованными. Но волнует и поражает их не антифашизм и не другая политическая идея, а присутствие смерти. Первая книга о расстреле в Ардеатинских пещерах, написанная Робертом Кацем, называлась «Смерть в Риме» (*Katz R.* Morte a Roma. Roma: Editori Riuniti, 1967). Мне кажется, это очень правильное название, причем в более широком смысле, чем подразумевал автор. По сути, это книга о том, что значит смерть в современном городе, и о том, что значит память о смерти.

Я хотел бы завершить эту статью коротким рассказом о смерти, памяти, церемонии и смысле истории. Памятник жертвам Ардеатинских пещер — это еще и кладбище: триста тридцать пять залитых бетоном могил и высокая, чуть приподнятая бетонная плита. Итак, рассказ Модесто Де Анджелиса — одного из немногих мужчин в этой истории:

> «Мне всегда неуютно на торжественных церемониях, хотя и не нужно было выступать, можно было затеряться в толпе. Мне не нужно было подниматься на сцену, так что никто не мог показать на меня пальцем: мол, вот сын одного из казненных. Но слова, которые звучат на этих церемониях, сами слова, они бывают такие вымученные — и так утомляют... Так что однажды я сделал одну вещь — и с тех пор всегда так поступаю: я пришел туда весенним утром, в девять часов, когда мемориал уже открыт для посещения, но никаких посетителей еще нет. Ну, вы там были, вы видели эту огромную плиту. Весной там иногда поют птицы... Так вот, иногда я приходил туда, молился, а потом беседовал —

шепотом, хотя я и был там один, — с мертвыми, которых всегда называл про себя "мои мальчики". Но если и есть что-то, отчего мне по-прежнему горько, несмотря на все минувшие годы, — так это то, что я так и не смог прийти к ним однажды и сказать от всего сердца, веря в каждое слово: "Мы все-таки сделали это. *Вы* это сделали"».

Перевод с английского Евгении Канищевой

К статье *Натальи Конрадовой* и *Анны Рылеевой*
«Герои и жертвы. Мемориалы Великой Отечественной»



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7


АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
ПАВШИХ БОЙЦОВ
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
РОССИИ,
ОТДАВШИХ СВОИ ЖИЗНИ,
ЗАЩИЩАЯ КОНСТИТУЦИЮ
И ПРАВОПОРЯДОК

Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18

К статье *Наталии Даниловой*
«Мемориальная версия Афганской войны (1979 —1989 годы)»



Фото 1. Мурманск



Фото 2. Пермь



Фото 3. Санкт-Петербург. Серафимовское кладбище



Фото 4. Нижний Тагил



Фото 5. Екатеринбург



Фото 6. Нижневартовск



Фото 7. Омск



Фото 8. Санкт-Петербург, проспект Славы,
Парк воинов-интернационалистов



Фото 9. Днепропетровск

К статье *Георгия Рамазашвили* «Есть такая профессия — историю зачищать: ЦАМО РФ в преддверии 60-летия победы»



Фото 1. Результат работы цензора



Фото 2. Лейтенант Ивакин



Фото 3. Ответ начальника ЦАМО РФ полковника С. Чувашина на запросы, поданные Георгием Рамазашвили

К статье *Неи Зоркой* «Визуальные образы войны»



Фото 1. Плакат к фильму «Два бойца»

Фото 2, 3, 4.
«В шесть часов вечера после войны».
В главных ролях Марина Ладынина и Евгений Самойлов



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 4. Кадр из кинолетописи



Фото 5. Вера Марецкая в роли партизанки «товарища П.» — «Она защищает Родину»



Фото 6. «Радуга». Казнь Олены Костюк.
В роли партизанки Олены — Наталия Ужвий

Ирмела Хидзия-Киршнерайт

«ВОЕННАЯ ВИНА, ПОСЛЕВОЕННАЯ ВИНА»: ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО В ЯПОНИИ

Немецкое слово «Vergangenheitsbewältigung» труднопереводимо. При переводе на другой язык оно неизбежно обретает новые коннотации, при том что, по всей вероятности, не все исходные смысловые оттенки этого понятия могут быть переданы на другом языке. В японском это выражение впервые было употреблено в июле 1992 года, в серии передовиц газеты «Асахи», в которых оно появилось в контексте сравнения между Японией и Германией и обсуждения вопроса компенсаций[1]. Перевели его как «како-но кокуфуку», что означает «преодоление прошлого». Но эта калька с немецкого так и не прижилась в японском языке: видимо, большинству японцев чуждо представление, что в прошлом есть что-то, что необходимо «преодолевать». Прошлое некоторым образом само себя преодолевает, уходя с каждым днем все дальше и будучи вытесненным наступающим настоящим и все большими пластами прошлого. Или, говоря словами американского историка Кэрол Глук, «...фактическое присутствие послевоенного времени доказывало полное преодоление времени довоенного»[2]. Напротив, то, что в Германии непосредственно и в самом общем смысле ассоции-

Перевод осуществлен по изданию: Hijiya-Kirschnereit I. «Kriegsschuld, Nachkriegsschuld». Vergangenheitsbewältigung in Japan // *König H., Kohlstruck M., Wöll A.* (Hrsg.). Vergangenheitsbewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Leviathan. Sonderheft 18/1998. Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998. S. 327—349.

[1] См.: *Авая К., Хироси Т., Кэнъити М. и др.* Сэнсо сэкинин — сэнго сэкинин. Нихон то дойцу ва до тигау ка. [Ответственность за войну. В чем различие между Японией и Германией?] Токио: Асахи симбун. 1994. С. 5 и след.

[2] *Gluck C.* Das Ende der «Nachkriegszeit»: Japan vor der Jahrtausendwende // *Hijiya-Kirschnereit I.* (Hrsg.). Überwindung der Moderne? Japan am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996. S. 57—85.

16. Заказ № 1423.

руется с понятием «Vergangenheitsbewältigung», а именно «(внутренняя) проработка прошлого»[3] и конкретнее — просвещенное обращение с собственным проблематичным прошлым — Третьим рейхом (и более поздними периодами), имеет ближайший эквивалент в термине «сэнсо сэкинин» («ответственность за войну»), который является ключевым в дискуссиях о вине Японии за преступления, совершенные во время Второй мировой войны.

В данной статье вкратце будут представлены те поводы и темы, в связи с которыми в Японии встает вопрос об обращении с прошлым. Однако более подробно я остановлюсь на способах этого обращения, ведь именно в них с особой четкостью проступает специфика японского случая. Возьмем за отправную точку настоящее, то есть вторую половину 1990-х годов, и начнем с весьма выразительного, хоть и не очевидно связанного с нашей темой примера.

Предварительно следует заметить, что в Японии художественная литература по-прежнему является важным местом полемики о прошлом. Ни один другой «жанр» не имеет сколько-нибудь массового влияния, тем более что литературные произведения зачастую становятся основой для драматизаций, экранизаций, комиксов «манга» и иных способов популяризации, которые достигают широких слоев населения. Зачастую появление литературных изложений становится поводом для первого журналистского, политического, научного обсуждения тех или иных тем уже в юридической или историографической перспективе.

Тема Окинавы в коллективной памяти Японии занимает особое место, не только потому, что этот культурно самобытный остров, который сегодня вместе с соседними архипелагами образует самую южную префектуру страны, был включен в состав «метрополии» довольно поздно — в XIX веке, но и потому, что во время Второй мировой войны он стал единственным театром непосредственного столкновения с противником на японской земле и местом трагических массовых самоубийств гражданского населения под принуждением собственной армии. К тому же до возвращения его Японии в 1972 году остров Окинава был оккупирован американцами, и до сих пор здесь сосредоточиваются военные базы США на японской территории.

Окинава в японской литературе

Сто семнадцатой премии имени Акутагавы, присвоенной за произведения, вышедшие в свет в первой половине 1997 года, был

[3] Duden. 2. Auflage. 1989.

удостоен родившийся в 1960 году на Окинаве Сюн Мэдорума за повесть «Суйтэки» («Капли воды»), опубликованную в апреле 1997 года в журнале «Бунгаку» («Литература»). Премия считается главной наградой за литературный дебют, и к ней всегда проявляют большой интерес средства массовой информации. На этот раз ее получил окинавский автор за повесть, действие которой происходит на Окинаве и предметом которой стал последний этап войны, при том что обрамляющее действие происходит в сегодняшнем дне. Семидесятилетный мужчина по имени Токусё однажды, лежа в кровати, становится неподвижным и теряет дар речи. Одна его нога раскаляется и набухает, а из ее большого пальца начинает сочиться вода, так что его жене приходится ставить у ножек кровати ведро, чтобы она могла стекать. При этом больной остается в сознании, и однажды он замечает, что кто-то пьет воду из его ноги. Это тяжелораненый солдат, а за ним в очередь выстраиваются другие такие же солдаты. Как только один из них утолил жажду, он благодарит Токусё и исчезает, проходя сквозь стену, но вместо него из противоположной стены выступает следующий тяжелораненый и занимает очередь. Так продолжается каждую ночь. Главный герой начинает понимать, что ночные посетители — это те солдаты, которые, как и сам он в семнадцатилетнем возрасте, пятьдесят лет назад были призваны в армию и с тяжелыми ранениями брошены в пещере. Все остальные бежали от надвигавшихся американцев. Среди фигур, наведывающихся к нему по ночам, чтобы пить из его ноги, он узнает и товарища, которого ранило американской пулей в живот, когда тот ходил за водой. Токусё оставил его в пещере умирающим. Теперь он вспоминает и девочку из своей деревни, которая оставила ему в пещере драгоценную воду и пищу. Как он узнал гораздо позже, после этого она, следуя приказу, вместе с пятью другими девочками взорвала себя ручной гранатой, чтобы не попасть в руки оккупантов живыми. Менее чем в двухстах метрах от того места главный герой тогда во время бегства попал под обстрел, потерял сознание и был найден американскими солдатами, что спасло ему жизнь.

После экспозиции в первой части этих странных воспоминаний, вызванных загадочным заболеванием и призрачными гостями, во второй части происходит причудливый поворот фабулы, вызванный появлением двоюродного брата Токусё, ветреного парня, который предлагает свои услуги по уходу за больным. Когда он замечает, что вода, которую он выливает в поле, стимулирует рост растений, он начинает продавать ее в качестве средства для ращения волос и повышения потенции. Дело идет хорошо, пока на него

не обращают внимание налоговая инспекция и якудза, а покупатели начинают жаловаться на побочные эффекты вроде сыпи. Его избивают и доставляют в больницу. Тем временем больной постепенно приходит в себя и мысленно возвращается к повседневной жизни — к полевым работам, которыми он занимается совместно с женой. О ночных посещениях он, похоже, не сможет рассказать ни ей, ни кому-либо другому, но он решает показать ей ту пещеру, в которой он прожил войну. Таким образом, повесть завершается намерением старика хотя бы отрывочно поделиться с супругой памятью о важном отрезке своего прошлого и почтить память умерших в пещере цветами.

Повесть «Суйтэки», как уже говорилось, принесла автору литературную премию, с которой связано особое внимание со стороны общественности. О ней, например, подробно говорится в телевизионных новостях, где вообще очень редко сообщается о культурных событиях. Здесь не место обсуждать художественную ценность произведения, что, впрочем, было бы невозможно сделать, опираясь на сжатый пересказ его фабулы. В данном контексте эта повесть меня интересует лишь потому, что как выбор автором сюжета и тематики, так и обсуждение произведения японской общественностью позволяют сделать ряд важных выводов. Показательно, что в положительных в основном рецензиях выделялись не столько литературные достоинства повести, сколько тематические аспекты. Так, например, по традиции каждый из членов жюри пишет краткую мотивировку своего решения (почти все они — известные писатели, сами в свое время удостоенные той же премии), и эти тексты публикуются вместе с премированным произведением в журнале «Бунгэй сюндзю» («Литературные анналы»). Бросается в глаза, что почти все члены жюри подчеркнули проработку главным героем чувства вины в отношении брошенных им в пещере тяжелораненых товарищей. Писательница Таэко Коно к тому же считает этот текст, который она классифицирует как анти-реалистический, наиболее впечатляющим из всех, что ей приходилось читать за то время, что она входит в состав жюри, причем именно потому, что он не несет никакого послания и тем самым выделяется на фоне банальности других повестей о войне.

Между тем ни один из членов жюри не предложил своей интерпретации произведения, и, говоря о чувстве вины, все они имели в виду лишь индивидуальный проступок главного героя. Кэйзо Хино все же отметил, что чувство вины, которое испытывает главное действующее лицо, связано и с его двойственным поведением на протяжении более чем пяти десятилетий, прошедших с конца войны. Дело в том, что после некоторых колебаний он последовал

призыву властей и начал рассказывать свою историю в школьных классах, и даже стал испытывать удовольствие от этой деятельности (за которую получал вознаграждение), за что над ним насмехалась жена. Тот же Хино замечает, что и после исцеления от «капельной болезни» с Токусё не снимается вина. Сбивающее с толку временное превращение повести в сатиру, в которой двоюродный брат и связанные с ним целебные свойства воды лишены нарративной функции в рамках тематики памяти, комментирует только один из членов жюри.

Газетные статьи, опубликованные по поводу вручения премии и непосредственно после него[4], также не останавливаются на этой особенности[5]; многие из них ограничиваются интерпретацией текста как очередного доказательства энергичности периферии по сравнению с вялым культурным мэйнстримом[6]. По мнению Сина Осаная, редактора отдела культуры «Асахи симбун», окинавская литература стала примером появления в Японии постколониальной литературы, причем в стиле магического реализма южноамериканского образца, хотя, как считает он, сама категория «магического реализма» основана на европейской перспективе[7]. Автор «Майнити симбун» в выпуске от 20 октября 1997 года пишет о том, что повесть выражает не антивоенную идеологию и не озлобленность населения Окинавы, с которым Япония поступила «как с выброшенным камнем», а сжатый образ острова как территории, которая с момента ее возвращения Японии захвачена «духом наживы».

[4] Моя выборка состоит из 43 статей — девять из «Асахи симбун», двенадцать из «Майнити симбун», четыре из «Нихон кэйдзай симбун», девять из «Окинава таймс» и девять из «Йомиури симбун», — вышедших с июля 1997-го по март 1998 года. Чтобы разгрузить сноски, я указываю лишь те из них, которые непосредственно упоминаются или цитируются в статье.

[5] Комментатор, пишущий в «Майнити симбун» от 23 июля 1997 года, все же говорит о «черном юморе» и цитирует одного литературного критика, который усматривает новаторский прием в произведении Мэдорумы в «критике», которая оказывается «удачной» в связи с тем, что автор «отказался от простого реализма и окружил серьезную тему фарсом».

[6] Это наблюдение, которое особо подчеркивается прессой на самой Окинаве, связано с тем, что с 1985 по 1996 год авторы из этого региона были удостоены около восьми значимых литературных премий, включая четыре премии имени Акутагавы. Особенно бросается в глаза, что и в 1996 году последнюю получил окинавский автор.

[7] *Осанай С.* «Фухэнтэки» мэдзасу окинава но сакка [Писатели Окинавы, обращающие внимание на «универсальное»] // Асахи симбун. 28.8.1997 (утренний выпуск). С. 4.

Таким образом, в этой интерпретации, по крайней мере в неявной форме, делается упор на второй части повести[8].

Европейскому читателю не может не броситься в глаза, насколько авторы этих статей избегают оценочных и аналитических суждений; впрочем, это относится не только к освещению данного произведения — такова общая тенденция в обсуждении современной литературы в больших ежедневных газетах. Таким образом, об уровне интереса к тому или иному произведению со стороны общественности можно судить не столько по содержательным комментариям, сколько по факту его обсуждения в прессе и количеству рецензий. В особенности редакционные статьи без указания авторства призваны поддерживать интерес среди широкой читательской аудитории при помощи максимально нейтрального тона — такова широко применяемая в японских средствах массовой информации стратегия создания образа серьезности, понимаемой как беспристрастность. Поэтому индивидуальные оценки можно в лучшем случае нащупать между строк, например по тому, какой удельный вес при пересказе придается разным частям произведения. Так, в представлении произведения в «Майнити симбун» от 19 июля 1997 года цитируется фраза главного героя: «Я боялся, что до моей смерти придется сталкиваться лицом к лицу с воспоминаниями, которые я вытеснял в течение пятидесяти лет». Комментарий к тексту ограничивается словами «тяжелое произведение». Впрочем, некая оценка содержится в заголовке, который (по крайней мере, в моем изложении) рисует морально положительный образ автора[9].

[8] «Урэтэмасу» бунгэй суйтэки — Мэдорума Сюн-тё [«Продающаяся» литература — «Капли воды» Сюна Мэдорумы] // Майнити симбун. 20.10.1997 (вечерний выпуск). С. 7.

[9] «Ёроку» — Кэппэки дэ, хонэбутана сёсэцука — «Суйтэки» дэ Акутагавасё но Мэдорума Сюн-сан [«Дополнительные замечания» — Писатель-пурист с твердым характером — Сюн Мэдорума, лауреат премии имени Акутагавы за «Капли воды»] // Майнити симбун. 19.7.1997 (утренний выпуск). С. 1. Приведенный перевод названия статьи основан на моей интерпретации его направленности и звучит гораздо более заостренно, чем в оригинале. Японская формулировка более открытая, но это практически невозможно сохранить в переводе — получилось бы что-то вроде «чересчур аккуратный, упрямый писатель». По крайней мере первый из этих атрибутов подразумевает скорее отрицательную оценку, мой же вариант («писатель-пурист») позволяет воспринимать его как нейтральную или даже положительную характеристику. То же самое относится и к слову «упрямый». В контексте сообщения о присвоении премии имени Акутагавы и максимально нейтральном освещении самого произведения оба атрибута здесь получают положительную окраску.

Поскольку литература на протяжении длительных периодов в японской истории и вплоть до 1980-х годов, когда ее стали постепенно вытеснять или замещать новые формы популярной культуры, входила в число главных культурных жанров, то и для изучения вопроса о «преодолении прошлого» она может служить первостепенным источником информации. Это я постаралась показать на примере современного литературного текста и его рецепции в печатных массмедиа. Однако связь между литературой и «преодолением прошлого» особенно актуальна для непосредственного послевоенного времени: литературные трактовки предшествовавшего опыта стали появляться еще при американской оккупации, и всего за несколько лет в свет вышел целый ряд впечатляющих художественных произведений на эту тему.

«Ответственность за войну» и коллективная исповедь

В отличие от разбитой на четыре оккупационные зоны Германии, где возрождение литературной жизни шло медленными темпами, в Японии произошел настоящий взрыв интеллектуальной деятельности, практически полностью подавленной к концу войны цензурой. В литературных и других журналах, созданных с августа 1945 года или воссозданных после принудительного закрытия во время войны, зазвучали многочисленные новые голоса. Писатели марксистской ориентации, которых милитаристский режим заставлял молчать или же произвести так называемое «отречение» («тэнко»), были первыми из тех немногих, кто в 1946 году публично поставил вопрос о вине Японии за войну и об ответственности литераторов[10]. Правда, правительство принца Хигасикуни еще в конце 1945 года, то есть спустя две недели после капитуляции, выдвинуло лозунг «итиоку содзангэ» («совместная исповедь ста миллионов») и потребовало «коллективного раскаяния», взвалив тем самым на японский народ — за исключением одного лишь императора — ответственность за войну и поражение в ней[11].

[10] См.: *Hijiya-Kirschnereit I.* Post-World War II Literature: The Intellectual Climate in Japan, 1945—1985 // *Schlant E., Rimer J.T.* (Eds.). Legacies and Ambiguities — Postwar Fiction and Culture in West Germany and Japan. Washington, D.C.: The Woodrow Wilson Center Press; Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 1991. P. 99—122.

[11] См.: *Conrad S.* «Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit». Die Auseinandersetzung um die Interpretation der Vergangenheit unter Historikern in Japan nach 1945 //

Однако дискуссия, начатая литераторами, которые теперь вновь открыто заняли левые позиции, не вызвала интереса широкой общественности — в эти месяцы люди еще были заняты голым выживанием и начинающимся восстановлением страны. В ходе токийского процесса над военными преступниками союзники решили не привлекать к ответственности императора: так окончательно закрепился молчаливый консенсус о том, что этот вопрос в общем и целом решен.

Но самое большое значение, с японской точки зрения (и в этом пункте аргументация за последние десятилетия не претерпела изменений), имеет тот факт, что Япония как мишень первых двух ядерных бомб по крайней мере в такой же, если не в большей мере стала жертвой «преступлений против человечности», в какой она могла быть автором таких преступлений в оккупированных ею странах. Предъявляя такой «встречный счет», нередко в открытой форме[12], японцы, по крайней мере, признают, что и с их стороны были совершены преступления. Но по мере того как Япония в ходе вновь и вновь разгорающейся дискуссии о вине за войну прикрывалась ролью жертвы ядерного удара, меркло и ее самовосприятие как преступницы. Чтобы понять этот процесс, важно отдать себе

Schaumann W. (Hrsg.). Japanologie und Wirtschaft — Wirtschaft und Japanologie. Referate des 5. Japanologentags der OAG in Tokyo, 28./29. März. München: Iudicium, 1996. S. 245–256.

[12] См., например, запись от 16 сентября 1945 года из «Дневника поражения в войне» писателя Дзюна Таками, опубликованного в 1959 году: «...если поднимать вопрос о злодеяниях, то невыразимым злодеянием было сожжение заживо бесчисленных людей в наших городах при помощи зажигательных бомб, не говоря об атомных бомбах. Но злодеяния страны-победительницы никогда не подвергаются разбору, с презрением указывают лишь на злодеяния побежденной страны» (цит. по: *Keene D.* Dawn to the West. Japanese Literature of the Modern Era — Fiction. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984. P. 968).

Из более свежих примеров можно назвать интервью, данное в октябре 1990 года писателем и тогдашним депутатом от Либерально-демократической партии Синтаро Исихарой журналу «Плэйбой», в котором он назвал нанкинскую резню «ложью» и «изобретением китайцев». На дальнейшие расспросы американского интервьюера Исихара ответил, что американцы сбросили на Японию атомные бомбы и тем самым убили от двухсот до трехсот тысяч человек. Причину он, между прочим, усматривает в американском расизме по отношению к японцам. См.: *Lie J.* (Ed.).The Impoverished Spirit in Contemporary Japan. Selected Essays of Honda Katsuichi. New York: Monthly Review Press, 1993. P. 58–61.

отчет в том, что почти все японские преступления имели место на чужой территории — в Маньчжурии, Китае и Юго-Восточной Азии, и потому память о них было гораздо проще вытеснить, чем в случае Германии, где после войны, например, в порядке перевоспитания оккупационными властями проводились принудительные посещения концентрационных лагерей.

Проведенные союзниками токийские процессы над военными преступниками, которые впоследствии много критиковались, в том числе и либеральными японскими интеллектуалами[13], все же остались единственной попыткой отправления на японской земле правосудия относительно японских преступлений военного времени. Японские суды никогда не наказывали японских граждан, совершивших преступления в оккупированных странах либо в рядах собственной армии или против японского гражданского населения. При этом среди населения еще в 1950-е годы сохранялось знание о таких событиях, как нанкинская резня[14].

Художественная литература как медиум воспоминания

Одной из причин бурного развития японской литературы непосредственно в послевоенный период стало широко распространенное ощущение освобождения от парализующего давления регламентирующего все сферы жизни милитаризма. Это ощущение, кстати, артикулирует в своем дневнике уже цитировавшийся писатель Дзюн Таками. В Японии не было явления эмиграции, поэтому в отличие, например, от Германии, куда изгнанные за рубеж

[13] См., например, пьесу 1972 года «Ками-то хито-то но айда» («Между богом и человеком») Дзюндзи Киноситы, которая считается репрезентативным ответом японских интеллектуалов на процессы над военными преступниками (см.: *Hijiya-Kirschnereit I.* Kinoshita Junji «Kami to hito to no aida» (Zwischen Gott und Mensch // *Jens W.* (Hrsg.). Kindlers Neues Literaturlexikon. München: Kindler, 1990. Bd. 9. S. 399—401) и обсуждение этого вопроса в книге Сюнсукэ Цуруми (см.: *Hijiya-Kirschnereit I.* Review of: *Shunsuke Tsurumi*. A Cultural History of Postwar Japan, 1945—1980. London; New York: KPI Limited, 1987 // Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung. S. 325—334). О более широком контексте и дальнейшие примеры см. в: *Hijiya-Kirschnereit I.* Post-World War II Literature... P. 105.

[14] См.: *Hijiya-Kirschnereit I.* «Nanking» in der japanischen Literatur // DIJ Newsletter. 1997. Oktober. S. 1—2.

возвращались лишь постепенно, причем в разные оккупационные зоны, в зависимости от политических убеждений, здесь все потенциальные участники дискуссии уже были на месте, за исключением поздних репатриантов с ранее оккупированных Японией территорий и военнопленных. Если писатели, приобретшие известность до войны или во время нее, предпочли продолжать работать в новых условиях так, как будто ничего не произошло, и не испытывали необходимости высказываться на военные темы, то на сцене теперь появился и ряд молодых авторов, для которых опыт войны и послевоенного хаоса стал побуждением к литературному труду и основным материалом. Можно ли в их случае говорить о преодолении прошлого?

Литература первых послевоенных лет зачастую повествует о тягостной и безотрадной жизни в разрушенных городах — это «литература развалин», в центре которой находится раненое «я»[15]. Особый случай представляют собой литературные свидетельства о разрушенных атомными бомбами областях вокруг Хиросимы и Нагасаки, которые поначалу подвергались оккупационными властями цензуре, но при этом, ввиду вполне эффективного запрета на журналистские репортажи, принадлежат к первым документам об этой катастрофе, написанным с японской точки зрения[16].

Другой круг тем, как и следовало ожидать, — военные переживания, прежде всего фронтовые истории с вражеских земель. В центре этих текстов, помимо военного насилия, которое теперь впервые описывалось без цензурных ограничений, находились унижение и дегуманизация людей под знаком жестокой армейской системы, апеллирующей к своей божественной миссии и авторитету императора. Эти произведения, безусловно, были и остаются важным источником документированных воспоминаний, причем стремление приблизиться к сложной действительности, так же как и в (западногерманской) немецкой литературе, в отдельных случа-

[15] См.: *Gebhardt L.* Trümmerliteratur: Am Beispiel von Shiina Rinzô und Wolfgang Borchert // Japanstudien. Jahrbuch des Deutschen Instituts für Japanstudien der Philipp Franz von Siebold Stiftung. 1996. № 8. S. 337—353.

[16] Здесь нет возможности подробно осветить эту важную главу преодоления прошлого в Японии, значимую роль в которой сыграла литература. Однако эта тема уже многократно документировалась и анализировалась. См., например: *Itô N., Schaarschmidt S., Schamoni W.* (Hrsg.). Seit jenem Tag — Hiroshima und Nagasaki in der japanischen Literatur. Frankfurt am Main: Fischer, 1994; *Treat J.W.* Writing Ground Zero. Japanese Literature and the Atomic Bomb. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

ях отражалось в эстетических экспериментах[17]. Однако в той мере, в какой в японских нарративных произведениях речь идет о вине и ответственности, этот вопрос ставится применительно к отдельным индивидам, действующим во внеисторическом пространстве, фактически изъятом из политического контекста. В качестве исключения можно назвать роман Сёхэя Ооки 1952 года «Огни в поле» — пожалуй, самое известное описание военного опыта в японской литературе, принявшее форму написанных по настоянию врача заметок пациента невропатологической лечебницы. Одно это обрамление и обозначаемые с его помощью двусмысленность и интеллектуализм проекта (проявляющиеся, например, в явном разграничении повествующего и описываемого «я») выделяют это произведение на фоне большинства повестей и романов на эту тему[18].

При этом для «проработки» литературно оформленных воспоминаний в японской послевоенной литературе характерны следующие приемы (эта классификация разработана мной применительно к более широкому спектру литературных и документальных текстов): *сентиментализация*, *применение стратегий фатализма*, таких как обезличивание и дереализация, *эстетизация* и *трансформация истории в природу*[19].

Здесь, однако, необходимо отметить, что все эти приемы чрезвычайно широко распространены в японских литературных повествованиях, по крайней мере на протяжении всего XX века, то есть речь не идет о стратегиях, специально разработанных под эту те-

[17] Шлант и Раймер (*Schlant E., Rimer J.T.* (Eds.). Legacies and Ambiguities — Postwar Fiction and Culture in Postwar Germany and Japan. Washington, D.C.: The Woodrow Wilson Center Press; Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 1991. P. 9) интерпретируют проявляемое немецкой послевоенной литературой «повышенное внимание к формальным проблемам» как признак ее «ухода от сложностей поражения и осознания совершенных злодеяний».

[18] См.: *Hijiya-Kirschnereit I.* Nachwort // *Ôoka Sh.* Feuer im Grasland. Frankfurt am Main, 1994. S. 183—188; *Washburn D.* Toward a View from Nowhere: Perspective and Ethical Judgement in *Fires on the Plain* // The Journal of Japanese Studies. 1997. № 23(1). P. 105—131.

[19] См.: *Hijiya-Kirschnereit I.* Post-World War II Literature... P. 113. В этой статье я, помимо прочего, поставила перед собой задачу систематизации проработки военного опыта в японской литературе и разработала многоплановую матрицу для классификации соответствующих произведений по критериям: 1) дистанции от событий/мотивация рассказчика, 2) материала и тем, 3) фокусировки военного опыта (вплоть до его полного затемнения) и 4) жанра.

матику. Если принимать во внимание популярность и причины распространения автобиографической, так называемой «эгобеллетристики» (си-сёсэцу или ватакуси-сёсэцу) в Японии и ее коммуникативные функции[20], можно избежать ложного вывода, что указанные стратегии и приемы в связи с темой литературного преодоления прошлого занимают особое место.

Дзибунси

На той же культурной и социально-психологической почве, что и литературный жанр «си-сёсэцу», процветает и другая модель, которая, с японской точки зрения, особо пригодна для преодоления прошлого всеми слоями общества, вне зависимости от образования и социального статуса: нелитературный жанр «наивных историй» («дзибунси», дословно — «самоисторий»). В Японии очень поощряется индивидуальное писание, не в последнюю очередь при помощи школьного воспитания, поощряющего писание сочинений и дневников, и уже до войны, а в особенности в послевоенное время, существовали движения пишущих, организованные сетевым образом и производящие членские журналы и другие печатные произведения. Такие тексты «для пользования» о повседневности печатаются в бесчисленных популярных журналах в качестве писем читателей, прочное место они занимают и на радио и телевидении. Авторы таких рассказов, сообщающие веселые и печальные, курьезные и незначительные события из собственной жизни, утоляют, похоже, неиссякаемую жажду бытовых историй, которые, аналогично «си-сёсэцу», выполняют важные психогигиенические функции. В середине 1970-х годов сформировалось поощряемое всеми средствами массовой информации «движение за собственную историю» («дзибунси ундо»). Оно возникло в момент, когда итог своей жизни начало подводить поколение выросших в годы японского милитаризма мужчин и женщин, поколение, в сознательном возрасте пережившее войну, поражение и демократическую реконструкцию. Это движение усилилось в связи с концом эпохи Сёва, наступившим со смертью военного императора Хирохито в январе 1989 года: всем, кто прожил самый долгий в японской истории срок царствования императора (1926—1989), казалось,

[20] См.: *Hijiya-Kirschnereit I.* Selbstentblößungsrituale. Zur Theorie und Geschichte der autobiographischen Gattung «Shishôsetsu» in der modernen japanischen Literatur. Wiesbaden: Steiner, 1981.

пришло время обвести взглядом свое прошлое. Издательства и массмедиа призвали писать, и эти призывы нашли массовый отклик.

Показательно, однако, что эта ретроспектива в жанре «наивных историй» формулировалась как итог частных переживаний. Появлявшиеся таким образом на протяжении многих лет индивидуальные воспоминания представляют собой ценный материал для историков новейшего времени и исследователей ментальностей[21]. Многое в этих текстах подтверждает более ранние наблюдения. Представление о 1945 годе как о «Часе "Ч"», когда империя была стерта в коллективной памяти[22], культивируется и в частных набросках, в которых внимание уделяется скорее абсолютному обновлению, чем преемственности. «Преодоление прошлого», в соответствии с жанром и диспозицией пишущих, остается на частном уровне и выражается в таких категориях, как «судьба» и человеческая несостоятельность, личная травма и лечение временем.

Точки кристаллизации памяти

Это был краткий обзор огромного массива документов, написанных с индивидуальной точки зрения, которые конструируют историю своих авторов в указанном отрезке времени в плане самоопределения и осмысления собственной жизни, автотерапии и привязки собственной биографии к вышестоящим уровням места, эпохи и нации. В совокупности они служат захватывающе разнообразным и аутентичным резервуаром воспоминаний. Помимо этого в публичном дискурсе Японии после Второй мировой войны мы находим ряд тем, в связи с которыми «преодоление прошлого» артикулируется с особой остротой. Интересно, что и эти темы зачастую были открыты для журналистики и общественных дебатов авторами художественных произведений, таких как романы или драмы. В особенности это относится к документальному роману из трех частей «Акума-но хосёку» («Кухня дьявола») Сэйити Моримуры, вышедшему в 1982 году и разошедшемуся многомиллионным тиражом. Он поведал общественности об экспериментах с биологическим и химическим оружием, проводившихся над военнопленными пресловутым «отрядом 731». Преступления, совершенные

[21] См. диссертацию Петры Буххольц: *Buchholz P.* Schreiben und Erinnern. Über Selbstzeugnisse japanischer Kriegsteilnehmer. München, 2003.

[22] См.: *Gluck C.* Op. cit. S. 63.

этим подразделением, базировавшимся, прежде всего в Маньчжурии, но и в Японии, Китае и Юго-Восточной Азии, по приказу оккупационных властей оставались засекреченными и после войны, а их авторы не были привлечены к ответственности в ходе токийских процессов над военными преступниками: американцы хотели использовать данные, полученные в ходе этого блестяще скоординированного исследовательского проекта, в собственных целях и привлечь к сотрудничеству японских экспериментаторов. Японская общественность испытала двойной шок: помимо ужаса (местами, правда, сбивающегося на вуайеризм) от жестоких экспериментов, все подробности которых теперь стали известны, люди были поражены тем, что интерес победителей к результатам этих опытов воспрепятствовал прояснению событий и наказанию преступников.

Аналогичную просветительскую роль сыграл вышедший в 1957 году роман Эндо Сюсаку «Уми то докуяку» («Море и яд»), предметом которого стали вивисекции пленных во время войны, рассказ о которых ведется с точки зрения участвовавшего в них персонала клиники. В нем, по крайней мере потенциально, ставится вопрос об ответственности «попутчиков», хотя, как правильно предполагает Ивабути[23], наиболее вероятное прочтение романа в Японии сводится к идентификации с пассивно-покорным исполнителем приказов Сугуро, а тем самым читатель выстраивает себе алиби.

Отдельные авторы посвящали художественную прозу и драмы таким темам, как нанкинская резня, принудительный труд, так называемые «женщины для утешения армии» («дзюгун ианфу»), причем, как отмечает Ивабути[24], эти произведения появились намного раньше, чем литературные описания сравнимых преступлений, например в Германии. Эти темы не всегда подхватывались прессой и политической общественностью. Иногда проходили десятилетия, прежде чем та или иная тема оказывалась на повестке дня средств массовой информации, как это было в случае «женщин для утешения», внимание к которым стали проявлять лишь в начале 1990-х годов в связи с деятельностью транснациональных гражданских инициатив и под давлением из-за рубежа. В этом смысле литература и театр играли роль первопроходцев и «совести нации» — в соответствии с представлением о них, бытующем и в

[23] *Iwabuchi T.* Die Vergangenheitsbewältigung und die japanische Literatur. Tokyo: Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG), 1997. S. 12.

[24] Ibid. P. 15.

других обществах. Правда, следует оговориться, что таких просветительских произведений не очень много. В стране, в которой хранителями табу, касающихся роли армии и императора, выступают весьма активные и агрессивные праворадикальные группы, обращение к подобным темам требует определенной смелости.

В случае так называемых «женщин для утешения» с официальной стороны первым прорывом стало сделанное в 1993 году выступление секретаря правительства Конно Ёхэй, впервые признавшего, что имели место случаи принудительного призыва женщин и существовали организованные армией и другими японскими органами власти публичные дома — факт, до тех пор всегда отрицавшийся правительством. В апреле 1998 года был сделан следующий важный шаг — решение японского суда о выплате трем гражданкам Южной Кореи компенсаций в размере 300 000 иен (около 2000 евро)[25]. К тому времени японское правительство под возрастающим давлением создало фонд поддержки этих женщин, однако не только за рубежом, но и в самой Японии это было многими воспринято как неподобающая попытка уйти от ответственности. Тем временем японская сторона подала кассационную жалобу на решение суда Ямагути. Между тем 152 оставшиеся в живых и зарегистрированные южнокорейские жертвы ввиду их преклонного возраста и потребности в поддержке получили компенсации в размере 3,6 миллиона иен от собственного правительства, ожидающего возвращения этих денег в результате будущих переговоров с японской стороной. Таким образом, дело сдвинулось с мертвой точки как бы в последнюю минуту.

Другими точками кристаллизации памяти стали проводившиеся примерно с середины 1980-х годов с согласия обоих правительств групповые поездки китайцев японского происхождения («дзанрю кодзи», буквально: «оставшиеся сироты»), брошенных в детстве их репатриирующимися в Японию родителями или другими родственниками и теперь с помощью Красного Креста ищущих свои семьи в Японии[26]. Первые экспедиции такого рода привлекли огромное внимание со стороны японских СМИ; в последнее

[25] Суд, однако, не присудил компенсации выступавшим соистицами женщинам, бывшим на принудительных работах.

[26] По данным документальной передачи полугосударственного телеканала «NHK» от 15 февраля 1986 года, около 10 процентов более чем 2600 «дзанрю кодзи», приехавших в Японию к началу 1986 года, решили остаться там. В свое время исходили из общей цифры около 4500 известных случаев такого рода. При этом японское правительство не признает в качестве «дзанрю кодзи»,

время этот интерес заметно спал, хотя газеты продолжают довольно подробно писать о таких поездках. С середины 1980-х годов вышло несколько тысяч газетных статей на эту тему, которые следовало бы систематически проанализировать. При этом в центре внимания находились и продолжают находиться судьбы отдельных людей, в особенности трогательные встречи не видевшихся десятилетиями родственников. По моим наблюдениям, в разговоре об этих встречах журналисты особенно стараются воздерживаться от любых комментариев. Наряду с историями об удачном воссоединении семей (чаще всего кратковременном: не владеющие японским языком гости в большинстве своем предпочитают, пробыв в Японии несколько дней, вернуться в привычную обстановку) появляются краткие сообщения о неудачных поисках или еще более трагических случаях, когда японские члены семьи отказываются встретиться с приехавшим из Китая родственником, так что тот вынужден переждать время до отъезда в центральном общежитии для китайских групп, или об эпизодах, когда японские родители, братья или сестры после первой встречи отказываются помочь родственникам осуществить желание переехать в Японию. Такие случаи, чаще всего, тоже не комментируются, они не становятся поводом для рассмотрения этой проблематики в более широком контексте[27].

Наконец, очередным тематическим узлом является проблематика цензуры учебников. Дело историка Сабуро Иэнаги, судебная тяжба по которому продолжалась более трех десятилетий, пожалуй, является наиболее сенсационным из целого ряда случаев, когда авторы учебников пытаются в судебном порядке защититься от вмешательства Министерства образования в свое изложение японской истории. Обильно документированное дело Иэнаги началось

имеющих право на социальные пособия, китайско-японских метисов или чисто японских детей, рожденных в Китае после 15 августа 1945 года.

По данным «Асахи симбун» (вечерный выпуск от 16 февраля 1998 года, с. 1), с момента нормализации китайско-японских отношений в сентябре 1972 года до января 1998 года в Японию переселились в общей сложности 5862 японца по происхождению. 12 164 члена их семей (в первую очередь — супруги и дети) получили постоянный вид на жительство в Японии, однако без права на бесплатные уроки языка, помощь при поиске работы или другие интеграционные меры.

[27] Эта оценка опирается на общее наблюдение за японским телевидением и печатными СМИ, а также на выборку из 21 статьи на затронутую тему, опубликованной в «Асахи симбун» с 6 января по 26 апреля 1998 года.

в 1963 году, когда был наложен запрет на его первый школьный учебник истории. Из дальнейших, более поздних трудов изымались пассажи, в которых говорилось о темах вроде тех, что были затронуты выше, в том числе нанкинская резня, «отряд 731» и принудительная проституция. Хождение Иэнаги по судебным инстанциям началось в 1965 году и сопровождалось широкой публицистической дискуссией с участием представителей всех политических лагерей. Закончилось оно лишь в августе 1997 года, когда Верховный суд в Токио присудил ему возмещение ущерба и постановил, что запрет Министерства образования на упоминание «отряда 731» нарушает Конституцию. Другие процессы, например по делу историка Нобуёси Такасимы, чье описание в учебнике по обществоведению японского колониализма было подвергнуто цензуре в 1993 году, еще не завершились*.

Одной из реакций на бурные общественные дебаты о передаваемом в школьных учебниках образе истории стало основание двух объединений, призванных доводить до общества «правильную историю» («сэйси»): Исследовательское общество за либеральный образ истории (Дзиюсюги сикан кэнкюкай) было создано в июле 1995 года Нобукацу Фудзиокой, профессором педагогики Токийского университета, с целью «укрепить гордость японской историей». Фудзиока также играет центральную роль в Обществе взаимопомощи «Пишите новые учебники истории!» («Атарасий рэкиси кёкасё-о цукуру кай». Среди 78 членов-учредителей, представителей науки, публицистики и деловых кругов, были такие люди, как германист Кандзи Нисиё[28], популярная писательница Марико Хаяси и художник, автор комиксов Ёсинори Кобаяси. Сегодня в Обществе

* 22 апреля 1998 года Иокогамский окружной суд постановил, что два из четырех изменений текста Такасимы, произведенных Министерством образования, были противоправными, и обязал министерство выплатить автору компенсацию за моральный ущерб, однако не усмотрел противоправных действий в двух других изменениях. Как Такасима, так и министерство подали апелляции, в настоящее время дело рассматривается Верховным судом в Токио. — *Примеч. пер.*

[28] Нисиё подчеркивает несравнимость немецкого и японского военного и послевоенного опыта (*Нисиё К.* Котонару хигэки [Совершенно разные трагедии]. Токио: Бунгэй сюндзю, 1994) и, к примеру, описывает послевоенную историю Западной Германии как период охоты на ведьм, конструирования козлов отпущения и самообмана (см., например: *Нисиё К.* Указ. соч. С. 93; ср. также: *Seraphim F.* Der Zweite Weltkrieg im öffentlichen Gedächtnis Japans: Die Debatte zum fünfzigsten Jahrestag der Kapitulation // *Hijiya-Kirschnereit I.* (Hrsg.). Überwindung der Moderne... S. 26; *Fuhrt V.* Von der Bundesrepublik lernen? Der

уже более 500 членов, в том числе и политики, такие как бывший премьер-министр Накасонэ. Среди основных целей Общества взаимопомощи — восстановление эксплицитно японского исторического сознания («Нихон дзисин но рекиси исики») и критика «мазохистской» историографии послевоенного времени. К последней причисляется, например, упоминание «женщин для утешения» и нанкинской резни, о которых говорится в школьных учебниках, допущенных в апреле 1997 года. Общество взаимопомощи исходит из того, что такого рода события все равно не поддаются объективному и однозначному описанию и речь скорее должна идти о том, чтобы на уроках истории воспитывать положительное отношение к национальному прошлому. Все указания на теневые стороны этого прошлого считаются мешающими маневрами, нацеленными на подрыв государственности и общественного порядка[29].

К Обществу взаимопомощи в полной мере применимо наблюдение Виктора Кошманна об общем положении японских интеллектуалов в 1980-е годы: он отмечает, что постмодернистские позиции (в случае Фудзиоки и его группы в качестве таковой выступает отсылка к относительности любого «образа истории») сливаются с различными разновидностями фундаментализма, и констатирует, что эти «сторонники статус-кво с большим успехом, чем критические интеллектуалы — коих еще много, — пользуются политическим рупором, предоставленным СМИ»[30]. Подтверждением этому может послужить, например, то, что идеи Общества взаимопомощи и его руководителя Фудзиоки, которые и без того обладают отличными связями с консервативной прессой, тиражируются и в газетах, которые не принято считать консервативными. Так, 28 апреля 1998 года, после провозглашения решения суда по делу «женщин для утешения», «Майнити симбун», так же как и другие газеты, без комментариев напечатала декларацию Фудзиоки о том, что признание недоказуемого факта принудительной проституции стало началом конца Японии[31].

Vergleich mit Deutschland in der japanischen Diskussion über Kriegsschuld und Vergangenheitsbewältigung // Japanstudien. Jahrbuch des Deutschen Instituts für Japanstudien der Philipp Franz von Siebold Stiftung. 1996. № 8. S. 347.

[29] См.: *McCormack G.* Holocaust denial à la Japonaise // Japan Policy Research Institute Working Paper № 38. 1997. P. 2.

[30] *Koschmann J.V.* Intellectuals and Politics // *Gordon A.* (Ed.). Postwar Japan as History. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1993. P. 423.

[31] Куни но «цугунай» ни иссэки. «Каккитэки» то сиэнся ни мо одороки — «Симоносэки сайбан» ханкэцу [Вклад в «искупление» японской «вины» —

Если рассматривать ситуацию в более широком историческом контексте, то к ней применимо критическое замечание философа Кэнъити Мисимы[32] о роли, которую играла национальная элита начиная с эпохи Мэйдзи. Сравнивая ситуацию в Японии с продолжающейся в Германии критической дискуссией и саморефлексией, Мисима отмечает, что несколько поколений японских интеллектуалов были слишком заняты оправданием перед «Западом» того, что оправдать невозможно. Они слишком некритично участвовали в создании самовлюбленных рассказов и изобретении традиций. Порой они защищали и то, что самим им не особо нравилось, а когда это не было возможно, они — следуя известной тактике Андре Глюксмана — переключались на изобличение слабостей «Запада».

Связывая это наблюдение с дискуссией о военной и послевоенной ответственности Японии, можно сказать, что и здесь проступает описанная Мисимой модель: мышление по принципу конфронтации с «Западом» формирует внутрияпонскую дискуссию и любые самоопределения в ее рамках.

Терминологии, «оговорки» и «героический нарратив»

Спор о событиях и значениях прошлого по-прежнему идет полным ходом, тем более что он постоянно получает новые импульсы извне. Пусть в Японии существует мощное стремление считать прошлое завершенным, а следовательно, и преодоленным, тем не менее уже сам факт, что за десятилетия не был найден консенсус о его интерпретации, побуждает предпринимать все новые и новые поиски такого консенсуса. С особой наглядностью это показала дискуссия о пятидесятой годовщине капитуляции в 1995 году[33]. Если в самой Японии говорили о Великой Восточноазиатской войне («дайтоа сэнсо»), то оккупационная власть в декабре 1945 года объявила запрет на этот термин, несший в себе пропагандистскую нагрузку, и вместо этого ввела выражение «Тихоокеанская война»

Эпохальное решение по «делу Симоносэки» удивило даже сторонников истиц] // Майнити симбун. 28.4.1998 (утренний выпуск).

[32] *Мисима К.* Бунка то рэйсизуму — Тойцу дойцу-но титэки фудо [Культура и расизм — интеллектуальный климат в воссоединившейся Германии]. Токио: Иванами, 1996. С. 139 и след.

[33] См.: *Seraphim F.* Op. cit.

(«тайхэйё сэнсо») в качестве обязательного обозначения, сместив тем самым акцент на конфликт с Соединенными Штатами и передвинув агрессию против азиатских соседей на второй план. С тех пор различные обозначения войны используются параллельно, по девизу: «Скажи мне, как называется война, и я скажу, какого поля ты ягода». «Прогрессисты», в послевоенное время испытавшие сильное влияние марксизма, говорят о «пятнадцатилетней войне» («дзюгонэн сэнсо») и ведут отсчет от так называемого «маньчжурского инцидента» 1931 года, подчеркивая тем самым непрерывность военной агрессии[34]. Первым попыткам ревизионизма в конце 1950-х и начале 1960-х годов было присуще демонстративное использование старого обозначения, например в таких названиях книг, как «Смысл Великой Восточноазиатской войны» («Дайтоа сэнсо-но ими», автор Сюнпей Уэяма, 1965 год) или «Одобрение Великой Восточноазиатской войны» («Дайтоа сэнсо котэйрон», автор Хаяси Фусао, 1964 год). Спор о правильном обозначении еще не завершен. Один из новейших вариантов — предложение говорить просто о «той войне» («ано сэнсо»)[35].

Другие ключевые слова тоже подвергаются переинтерпретации. Так, например, из записок одного из участников переговоров о капитуляции в сентябре 1945 года стало известно, что еще японские авторы их итогового документа всеми средствами пытались избежать использования слова «капитуляция» для передачи английского «surrender» и вместо этого хотели написать «конец войны» («сюсэн»)[36]. Даже сегодня в разговоре о 1945 годе зачастую используется нейтральное обозначение «конец войны» («сюсэн») вместо более однозначной лексемы «поражение в войне» («хайсэн»). Повседневный японский язык даже в непосредственно послевоенное время, отмеченное «пацифизмом», на удивление мало чуток к милитаризмам: так, в самых различных контекстах говорят о «вторжении» («синню»), например, в связи с иммиграцией пуэрториканцев в США[37]. Напротив, японское Министерство образования в

[34] Здесь нет арифметической ошибки: в Японии принято начинать счет с первого, а не с нулевого года.

[35] *Hijiya-Kirschnereit I.* Leuchtet Japan? Einführende Gedanken zu einer proklamierten Zeitenwende // *Hijiya-Kirschnereit I.* (Hrsg.). Überwindung der Moderne... S. 21.

[36] Сюсэн хицува акаруми-ни — Момэта кофуку бунсё тёин ([Новые сведения о секретных переговорах в конце войны — Подписание спорного текста капитуляции] // Асахи симбун. 20.2.1986 (утренний выпуск).

[37] См.: *Hijiya-Kirschnereit I.* Das Ende der Exotik — Zur japanischen Kultur und Gesellschaft der Gegenwart. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988; 1995 (2. Auflage).

1982 году попыталось ввести в школьные учебники более мягкое обозначение вступления японских войск в Китай, заменяя «вторжение» «продвижением». Правительственные чиновники, депутаты и члены кабинета вновь и вновь осуществляют подобные понятийные манипуляции. Так, в 1988 году так называемый «инцидент Марко Поло», ставший поводом для эскалации военной агрессии, был назван «несчастным случаем», а война — оборонительным стремлением Японии освободить Азию от «белой расы». Еще в 1989 году тогдашний премьер-министр Такэсита заявил, что решение о том, была ли Япония военным агрессором, остается за будущими поколениями историков. От этих и других «оговорок» японские политики частично отказались лишь после массивных протестов соседних государств, но извинения ни в коей мере не препятствуют их повторению: в 1995 году формула о «войне за освобождение колонизованных азиатов» вновь появилась на повестке дня, и на этот раз в ее поддержку выступил 221 депутат парламента[38]. Невозможно избавиться от впечатления, что это заявление появилось просто из упрямства и в качестве преднамеренной провокации в ответ на растущее внимание со стороны международного сообщества. К тому же такого рода высказывания, пожалуй, в первую очередь адресованы собственному электорату, и их смысл и внешнеполитические последствия зачастую становятся понятными их авторам лишь задним числом, поскольку они воспринимают этот вопрос как внутреннюю японскую проблему[39]. Для властителей дум из широкого националистического лагеря такие провокационные терминологические манипуляции с использованием словаря 1930-х и 1940-х годов фактически превратились в разновидность спорта. Множество примеров можно найти в публикациях Синтаро Исихары, бывшего депутата от Либерально-демократической партии и соавтора получившей международную известность книги «Япония, умеющая говорить “нет”». Когда он пишет об азиатском финансовом и экономическом кризисе 1998 года и планах Всемирного валютного фонда, которые ему представляются нестерпимо покровительственными, Исихара не может удержаться от того, чтобы сформулировать свое контрпредложение по борьбе с господствующим положением доллара в терминах «Великовос-

[38] *Iwabuchi T.* Op. cit.

[39] Интересный анализ этих «оговорок» в рамках японской теории личности и модели взаимодействия «татэмаэ» (фасада, конвенции) и «хоннэ» (истинного намерения) производит Норихиро Като: *Като Н.* Хайсэнго-рон [После поражения]. Токио: Кодансн, 1997. С. 46 и след., 282 (примеч. 11).

точноазиатской сферы ненового процветания» («дайтоа эн кёэйкэн») — производное от лозунга довоенных и военных лет о «Великовосточноазиатской сфере совместного процветания»[40]. Вопрос в том, обрадуются ли азиатские соседи этому новому освобождению от империализма «белых» держав[41]...

Так, в конце 1990-х годов мы наблюдаем, с одной стороны, продолжение попытки переписать историю войны в Восточной и Юго-Восточной Азии (а не Тихоокеанской войны), а с другой — многоголосицу нарративов о прошлом, в которой слышны все политические лагеря, все поколения и самые различные группы, от женщин и этнических меньшинств до жертв атомных бомб и жителей Окинавы. «Прогрессисты», в 1960-е годы бывшие наиболее видной и общественно влиятельной группой, с укреплением консервативных сил, которое в Японии, аналогично другим регионам мира, началось в конце 1970-х годов, приутихли. С их точки зрения, Япония, от которой азиатские соседи все еще требуют «искреннего извинения», оказалась несостоятельной — в особенности в сравнении с Германией. Речь западногерманского президента фон Вайцзекера перед бундестагом по случаю сороковой годовщины немецкой капитуляции 8 мая 1945 года* нигде не цитируется так часто, как в Японии, где она вышла в популярной серии издательства «Иванами». Но в фундаментальной критике прогрессистами положения в Японии звучит и весьма пессимистическая нотка[42].

Роль средств массовой информации при этом с трудом поддается оценке. В Японии газеты (и контролируемые ими телеканалы) специфическим образом сплетены, с одной стороны, с дело-

[40] *Исихара С.* Отиэ, Нихон! Футатаби «No» то иэру Нихон [Тони, Япония! И снова: Япония, умеющая говорить «нет»] // Бунгэй сюндзю. 1998. Май. С. 94—104.

[41] Исихара видит один из главных антагонизмов в противостоянии «белых» и «цветных». В борьбе с господством «белых» на долю Японии как единственной «цветной» нации, успешно прошедшей модернизацию, выпадает роль лидера небелых (*Исихара С.* Указ. соч.) — идея не совсем новая. Кстати, его статья вышла в специальном разделе, который редакция журнала «Бунгэй сюндзю» несколько легкомысленно озаглавила «Синнитибэй сэнсо» [«Новая японо-американская война»]. [Ныне Исихара является губернатором Токио. — *Примеч. пер.*]

* В этой знаменитой речи впервые столь высокопоставленное лицо публично назвало 8 мая 1945 года днем освобождения, а не поражения. См. статью Йорга Эхтернкампа в настоящем сборнике. — *Примеч. ред.*

[42] См.: *Gluck C.* Op. cit. S. 79 f.; *Fuhrt V.* Op. cit. S. 346.

выми кругами и, с другой, с бюрократией, что порождает высокую степень конформизма. Институт пресс-клубов («кися курабу») приводит в действие неписаный кодекс поведения, включая и самоцензуру, несоблюдение которого осложняет доступ к информации. Вместе с тем существует широкий спектр оппозиционных и мини-СМИ. Политологи и исследователи СМИ в последнее время говорят о японских медиа как о «ловкачах», от которых можно ожидать любых неожиданностей и которые действуют как усилители или передаточные звенья самых разных проектов[43]. Но фактически проблематичные и табуированные темы доводятся до общественности скандальными и зачастую выглядящими несерьезно еженедельниками («сюканси»), альтернативными и мини-СМИ и зарубежной прессой — журналисты всех этих органов не имеют доступа к пресс-клубам и потому заинтересованы во взламывании невидимых ограничений, которые были названы «мозговыми картелями»[44].

Однако долгое время в коллективном сознании держалось то, что Кэрол Глук назвала «героическим нарративом», — возникшее в момент окончания войны и поддержанное союзническими оккупационными властями представление о том, что японский народ (так же, как и император) стал жертвой военной клики, члены которой и должны считаться основными преступниками[45]. Эта весьма удобная память, которая на протяжении десятилетий была как бы «заморожена», стала оттаивать лишь в 1990-е годы. Новшеством можно считать и то, что поколение родившихся после войны начинает интересоваться вопросом о вине и ответственности. Возможно, следует выбрать более осторожную формулировку: пример вышеописанной повести родившегося в 1960 году Сюна Мэдорумы показывает, как, вместе с проблемами периферии и меньшинств, на поверхность вновь может выйти и вытесненная история[46].

[43] *Pharr S.J., Kraus E.* (Eds.). Media and Politics in Japan. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1996. P. 19—43.

[44] *Hall I.P.* Cartels of the Mind. Japan's Intellectual Closed Shop. New York; London: W.W. Norton à Co., 1997. Само выражение принадлежит Чалмерсу Джонсону.

[45] См.: *Gluck C.* Op. cit. S. 62.

[46] Очередным примером нового интереса послевоенного поколения к «преодолению прошлого» могут послужить и эссе писателя Норихиро Като, собранные в его вышеуказанной книге. Ссылаясь на исследования Ханны Арендт, Гершома Шолема, Иэна Бурумы и других, он анализирует послевоенную Япо-

Травма «черных кораблей»

Но, с японской точки зрения, центральной главой в преодолении собственного прошлого (в той мере, в которой эта тема вообще считается актуальной), пожалуй, вовсе не является вопрос о военной вине. Наблюдая за общественным дискурсом в Японии за последние десятилетия, мы сталкиваемся с более глубокой травмой, способной вспыхивать в любой момент и в самых разных, неожиданных контекстах. Я называю это травмой «черных кораблей», которая, очевидно, мощным образом въелась в коллективное подсознание. «Курофунэ», «черные корабли», — это устоявшееся обозначение торговых судов из Европы и Северной Америки, которые с конца XVI по XIX век периодически появлялись у берегов Японии[47]. Указы 1633—1639 годов, которые запретили японцам ездить за море и ограничивали торговлю с европейцами в самой Японии (доступ получали лишь судна нидерландской Ост-Индской компании в Нагасаки), стали кульминацией изоляционистской политики эпохи Токугава или Эдо. Но «черные корабли» — это, прежде всего, тот ужас, который испытали жители залива Эдо в июне 1853-го при виде эскадры под командованием американского коммодора Перри, который в ультимативной форме призвал Японию к открытию границ. Внешняя угроза привела в Японии, и без того испытывавшей внутриполитические волнения, к острому конфликту между фракцией «патриотов», требовавших прогнать чужеземцев (и повысить политический авторитет императора), и теми, кто видел в открытии единственный путь к сохранению суверенитета Японии. Как известно, результатом этого ожесточенного спора стала так называемая Реставрация Мэйдзи 1867—1868 го-

нию как существо, похожее на Джекила—Хайда, не способное стать «субъектом, который может нести вину».

[47] «Черными» их называют якобы по их черной окраске. Однако современные описания заставляют предположить, что сегодня этот цвет, по меньшей мере, столь же часто ассоциируется с угрожающим черным силуэтом больших парусников или военных судов, как с дегтем. В любом случае значение этого понятия, по-видимому, колеблется между конкретным и метафорическим (черный = темный, угрожающий). Это явствует и из такого уничижительного обозначения американцев, как «черные чужаки» (дословно: «варвары цвета черной туши» — «бокуй»), причем «черное» может ассоциироваться со «злым». См., например, немецкий перевод романа Рётаро Сибы: *Shiba R.* Der letzte Shôgun. Berlin, 1998. S. 77. Здесь мы, однако, имеем дело с позднейшей семантизацией звукоподражательного иероглифа («боку», китайское прочтение «мэй»), оставшегося от старого китайского написания слова «Америка».

дов, положившая начало превращению Японии в современное государство.

В Японии и по сей день господствует убеждение, что в общем и целом это развитие следует оценивать как чрезвычайно успешное, тем более что многие видят в нем удавшуюся реализацию лозунга «догнать и перегнать» («ойцукэ ойкосэ») западные индустриальные страны. Тем не менее более чем вековое интенсивное взаимодействие с «Западом» (принимающее формы как присвоения, так и отторжения) не могло обойтись без сопутствующих социопсихологических явлений. В этой связи можно говорить о «модернизационных фрустрациях»[48]. В усилиях по отмежеванию и самоутверждению, предпринимаемых некоторыми японскими интеллектуалами, проступает «культурный отпор», направленный против самой модернизации «и, в особенности, против зачинщиков всего этого дела — западных держав»[49].

В коллективном образе «черных кораблей» выражается суть этой травмы. Она проступает не только в (ностальгической, а то и регрессивной) мечте о домодерной «модели "Япония"» — счастливом времени, когда японцы как бы оставались «наедине» — мечте, которой предаются даже японские постмодернисты[50]. Она становится подтекстом многочисленных высказываний в рамках политической, культурной и общественной жизни, и в большинстве случаев говорящие, скорее всего, даже не воспринимают ее как травму. Легче всего этот неразрешенный конфликт распознается, когда он кристаллизуется в образе «черных кораблей», что происходит на удивление часто. Это общее наблюдение можно было бы обосновать при помощи систематического мониторинга и анализа всех тех ситуаций в ток-шоу и публичных дискуссиях, научных и журналистских статьях, в которых, вне зависимости от контекста, вдруг начинают говорить о «черных кораблях»[51].

В конечном счете, похоже, вопрос о военной и послевоенной вине вписан в эту коллективную травму, и именно она в некото-

[48] *Mishima K.* Die Schmerzen der Modernisierung als Auslöser kultureller Selbstbehauptung — Zur geistigen Auseinandersetzung Japans mit dem «Westen» // *Hijiya-Kirschnereit I.* (Hrsg.). Überwindung... S. 86—122.

[49] *Miller R.A.* Sprachwissenschaft und nationale Identität in Japan — Die Forschung zu den Frühformen der japanischen Sprache // Ibid. S. 209—244.

[50] См.: *Gluck C.* The Past in the Present // *Gordon A.* (Ed.). Postwar Japan... P. 82.

[51] Я впервые писала о коллективной травме «черных кораблей» еще в 1986 году (*Hijiya-Kirschnereit I.* Das Ende der Exotik...). С тех пор я стала обращать внимание на это явление и встречала его все чаще. Однако, насколько мне известно, не существует ни одного систематического исследования на эту тему.

ром роде затрагивает экзистенциальное ядро нации. В этом смысле настоящее японское «преодоление прошлого» происходит в процессе преодоления необратимого «вторжения» «Запада» и столь же необратимой модернизации. По сравнению с этой монументальной задачей блекнет вопрос об ответственности за войну, которая, по наблюдению японского политолога Отакэ[52], до сих пор рассматривается как японскими элитами, так и населением в целом как оборонительное действие по отношению к США, а не как агрессия. В связи с этим во многом теряют значение оценки, подобные выводу Питера Дэйля о том, что в послевоенное время «...непосредственное прошлое оставалось когнитивно не преодоленным»[53]: такая задача большинством и не ставилась — в лучшем случае, она навязывалась ему извне. Именно американские историки в последнее время указывают на долю ответственности Запада за вытеснение Японией своего прошлого[54]. Однако главный призрак прошлого — «черные корабли» — похоже, и впредь будет бродить по коллективному бессознательному Японии.

Перевод с немецкого Михаила Габовича

[52] *Ôtake H.* Review of: Peter J. Katzenstein, Cultural Norms and National Security — Police and Military in Postwar Japan. Ithaca: Cornell University Press, 1996 // Journal of Japanese Studies. 1997. № 23(2). P. 518—523.

[53] *Dale P.* Ideology and Atmosphere in the Informational Society // Theory, Culture à Society. 1987. № 13(3). P. 29f.

[54] См., например: *Hicks G.* Japan's War Memories. Amnesia or concealment? Aldershot; Brookfield (USA); Singapore; Sydney: Ashgate, 1997. P. 133.

ЧАСТИЧНАЯ АМНЕЗИЯ

Илья Альтман

МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ ХОЛОКОСТА В РОССИИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Цель моей статьи — показать основные тенденции и особенности политики памяти об уничтожении советских евреев в годы нацистской оккупации. К сожалению, в научной литературе как в России, так и за рубежом эта тема практически не затрагивалась.

Одна из задач — рассмотреть влияние идеологических процессов в СССР, связанных с «еврейским вопросом», на возможность создания и публикации произведений о Холокосте. Вторая задача — описать роль художественных произведений, кино и документальных фильмов в сохранении памяти о трагедии евреев СССР.

Третья задача — анализ вопроса о «местах памяти»: увековечение памяти жертв Холокоста в специальных монументах, памятниках, музейных комплексах.

В заключение я прослежу современное состояние образовательных программ по теме.

Власть и тема Холокоста в СССР

На оккупированной нацистами и их союзниками территории СССР оказалось свыше 80 миллионов человек. Среди них — около 3 миллионов советских евреев. По разным оценкам, от 2,6 до 2,8 миллионов из них погибли[1]. Это почти половина всех еврейских жертв нацизма в Европе. Именно на советской земле началось их тотальное истребление. В годы Великой Отечественной войны и сформировалось, собственно, отношение советских властей к Холокосту и к памяти о его жертвах. Это отношение невозможно

[1] *Альтман И.А.* Жертвы ненависти. Холокост в СССР 1941—1945. М.: Фонд «Ковчег», 2002. С. 8, 303.

понять и оценить вне контекста нацистских злодеяний против мирного советского населения в целом (расстрелы заложников, публичные казни подозреваемых в связях с партизанами и подпольщиками, сожжение деревень и сел вместе с их жителями в ходе карательных операций и тому подобное). Всего, включая евреев, было уничтожено около 7 миллионов советских граждан.

С первых дней войны Кремль столкнулся с серьезной дилеммой: как отвечать на повседневную нацистскую пропаганду об «иудо-большевизме» и евреях как опоре советского режима? Одним из возможных вариантов было полное или частичное замалчивание темы. Другим — «маскировка» жертв-евреев под «мирных советских граждан». И тот и другой приемы будут использованы уже в ходе войны — но на более поздних ее этапах. Судя по информации в центральной прессе лета—осени 1941 года, власть не видела в этот период прямой опасности для себя в нацистской юдофобской пропаганде. Наоборот, Холокост служил примером человеконенавистнических взглядов нацистов.

Сведения об уничтожении советских евреев в 1941—1942 годы (включая статью о евреях — жертвах Бабьего Яра) публиковались в центральной советской прессе достаточно систематически. 24 августа 1941 года в Москве состоялся радиомитинг еврейской общественности. В программных выступлениях известных деятелей культуры и науки было четко заявлено, что уничтожение советских евреев — это целенаправленная политика нацистской Германии. Знаменитый актер и режиссер Соломон Михоэлс впервые публично заявил, что в планы нацистов входит истребление всего еврейского народа. Илья Эренбург говорил о себе «как о русском писателе», чей «родной язык — русский». «Но гитлеровцы напомнили мне и другое, — продолжал он. — [...] Я — еврей. Я говорю это с гордостью. Нас сильней всего ненавидит Гитлер. И это нас красит»[2]. Трансляция по всесоюзному радио выступлений выдающихся деятелей еврейской культуры имела важнейшее пропагандистское значение. Информацию о нем на следующий день поместила центральная пресса. Тексты всех выступлений визировал секретарь ЦК ВКП(б) и первый секретарь Московского горкома партии Александр Щербаков.

Некоторые исследователи называют единственным мотивом санкционирования властью этого радиомитинга ее заинтересованность в поддержке еврейских общин за рубежом, что могло приве-

[2] Еврейский антифашистский комитет в СССР 1941—1948. Документированная история. М., 1996. С. 71.

сти к оказанию эффективной военной и финансовой помощи со стороны США и Англии[3]. Но на данное решение влияли и другие факторы. Советская контрпропаганда еще в годы Гражданской войны столкнулась с постулатом о захвате в СССР власти евреями, о евреях — «опоре большевизма» и стремлении сыграть на юдофобских настроениях красноармейцев. В годы советско-финской войны этот прием безуспешно использовался в листовках, сброшенных над советскими войсками. Можно предположить, что в Кремле искренне верили в «дружбу народов» и явно недооценивали разлагающее влияние антисемитской пропаганды. Не было, очевидно, у властей и достоверных данных о том, как такая пропаганда повлияла на людей, оказавшихся в оккупации. Да и ярких фактов массовых расправ нацистов над другими категориями мирного населения (за исключением расстрела заложников и сожжения первых деревень в ходе антипартизанских карательных операций) в первые месяцы войны у советской пропаганды было немного.

Но с каждым месяцем информация о жертвах Холокоста становится все более завуалированной и краткой. Единственная за все годы войны реакция Сталина на Холокост проявилась в его речи в ноябре 1941 года накануне парада на Красной площади[4]. Выбор места и времени реакции «вождя народов» на Холокост весьма символичен. В симпатиях к евреям заподозрить его невозможно. Надежда на помощь союзников (США еще формально не вступили во Вторую мировую войну) — иллюзорна. Судьба страны решалась в Московской битве, и это выступление было программным. Пассаж о «еврейских погромах», напомнивших мрак Средневековья, был обращен к аудитории внутри страны, а не за рубеж. Но больше ни в ходе войны, ни после ее окончания Сталин не обращался к этому вопросу, что тоже символично.

Тема зверств нацистов по отношению к евреям находит отражение (уже в довольно сжатом виде) в ноте Молотова от 6 января 1942 года. 18 и 19 декабря 1942 года соответственно в газетах «Правда» (от имени советского правительства и за подписью Молотова) и «Известия» (от имени Информбюро Народного комиссариата иностранных дел) появляются Заявления об уничтожении евреев Европы и СССР. Оба документа ставили вопрос об ответственности нацистов и их пособников за совершаемые злодеяния. Но Заявления о судьбах советских евреев не включали призыва к по-

[3] *Redlich S.* Propaganda and Nationalism in Wartime Russia. The Jewish Antifascist Committee in the USSR, 1941—1948. N.Y., 1982. P. 171—174.

[4] Правда. 7 ноября 1941 года. С. 1.

мощи еще уцелевшим узникам гетто на территории СССР (их оставалось свыше 350 000)[5].

Лишь изредка на страницах центральной прессы в 1943—1945 годы упоминаются жертвы Холокоста. Систематически (хотя и вскользь) писал об этом Илья Эренбург, ставший одним из самых популярных военных корреспондентов. Писатель обычно включал полученные от своих читателей сведения в текст статей. Кстати, именно из-под пера Ильи Эренбурга в советской прессе появилась информация об уничтожении нацистами 6 миллионов евреев Европы («Правда», 17 декабря 1944 года).

В газетах «Правда» (8 августа 1943 года) и «Красная звезда» (10—12 августа 1944 года) опубликовали свои статьи о Холокосте соответственно член Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию нацистских злодеяний (далее — ЧГК) писатель Алексей Толстой (о гибели евреев на Кавказе) и самый популярный в годы войны поэт Константин Симонов (о лагере смерти Майданек). Эти публикации, которые прочли миллионы читателей, были очень важны для сохранения памяти о жертвах Холокоста. Но в целом это были исключения. После Сталинградской битвы тема «еврейских жертв» очень редко появлялась в официальных публикациях о злодеяниях нацистов и их пособников.

Именно в годы войны, впервые в официальном сообщении об освобождении Ростова-на-Дону и при включении в сборник, рассказывающий о зверствах нацистов, информации о Киеве, применяется ставший впоследствии традиционным эвфемизм: замена слова «евреи» на «мирные советские граждане»[6]. Таким образом, замалчивание темы становится все более очевидным, но отнюдь не тотальным.

Власть пыталась найти место «еврейской теме» в информационной деятельности специализированной организации. В начале февраля 1942 года при Совинформбюро, которым руководил Щербаков, создается Еврейский антифашистский комитет в СССР (далее — ЕАК). В него включили несколько десятков известных ученых, писателей, поэтов, деятелей культуры, военачальников и общественных деятелей. Возглавил ЕАК Соломон Михоэлс. Непосредственно курировал деятельность ЕАК заместитель Щербакова, заместитель наркома иностранных дел СССР Соломон Лозовский. Разумеется, лишь с санкции высших партийных чинов стали возможны воссоздание единственной еврейской общественной

[5] См.: *Альтман И.А.* Указ. соч. С. 393—397.

[6] Там же. С. 397—398.

организации (все остальные были ликвидированы в 1930-е годы); проведение пленумов ЕАК в престижных залах Москвы; его активная внешнеполитическая деятельность. Собственно, именно к ЕАК и его печатному органу на идиш газете «Эйникайт» стала постепенно отходить роль главных информаторов (как внутри страны, так и прежде всего за рубежом) о трагедии советских евреев. Этот Комитет сыграл реальную роль в документировании и сохранении, а также публикации[7] (к сожалению, преимущественно на идиш или за рубежом) свидетельств о Холокосте советских евреев.

В целом же советская пропаганда целенаправленно дозировала информацию о Холокосте. «Принципиальная позиция» — не выделять евреев из числа погибших — мотивировалась прежде всего тем, что это было бы выгодно нацистской пропагандистской машине, объявившей с самого начала об «освобождении» СССР «от евреев и коммунистов». Показательно, что именно заведующий Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Георгий Александров предложил еще в 1942 году рассмотреть «кадровый вопрос» в учреждениях культуры (прежде всего — в ведущих театрах и консерваториях страны), где руководящие должности занимали евреи. Руководство ВКП(б) использовало в еврейском вопросе двойной стандарт: внутри страны выгодно было не выделять тему Катастрофы и боевые заслуги евреев, чтобы ограничить возможности гитлеровцев в игре на антисемитских настроениях населения. В то же время необходимость моральной и финансовой поддержки зарубежных еврейских организаций вынуждала не препятствовать сбору и передаче на Запад тех материалов, в которых отражались подвиги евреев на фронте и в тылу, а также сведений о Холокосте. Именно такую деятельность и проводил ЕАК.

«Черная книга»

Важнейшим проектом ЕАК по увековечению еврейских жертв стала подготовка «Черной книги». Весной 1944 года при ЕАК для этих целей была создана Литературная комиссия. Ее первым председателем стал Илья Эренбург. Именно он был инициатором создания советского варианта «Черной книги» (параллельно в США готовилась ее английская версия).

Уже первые шаги по созданию «Черной книги» были нелегкими. Зависимость от политической конъюнктуры внутри страны и

[7] *Смоляр Г.* Минское гетто. М.: Дер Эмес, 1946; *Он же.* Мстители гетто. М.: Дер Эмес, 1947; *Суцкевер А.* Виленское гетто. М.: Дер Эмес, 1946.

за рубежом во многом определила судьбу советской «Черной книги». Руководство ЕАК получило санкцию на сбор материалов и сотрудничество с американской редакцией «Черной книги». Вопрос же об издании аналогичной книги в СССР остался открытым.

Инициаторы создания «Черной книги» хотели, чтобы о трагедии советских евреев узнал весь мир — ее планировалось издать на 11 языках. Эренбург привлек к работе над книгой известнейших советских писателей разных национальностей. Всеволод Иванов и Василий Гроссман, Лидия Сейфуллина и Маргарита Алигер, Виктор Шкловский и Вениамин Каверин, десятки их коллег и помощников по крупицам собирали и обрабатывали письма, дневники, свидетельства.

Илья Эренбург считал принципиально важным издать книгу, посвященную убийству еврейского населения именно на территории СССР.

6 сентября 1944 года он подал записку «в инстанции», озаглавив ее «Проект "Черная книга"». Показательно, что этот документ не имеет адресата — он направлялся в Центральный комитет партии. Возможно, писатель предполагал, что судьба издания будет решаться на самом высоком уровне. В нем говорилось: «В книгу войдут рассказы спасшихся евреев, свидетелей зверств, немецкие приказы, дневники и показания палачей, записки и дневники укрывшихся. Не акты, не протоколы, а живые рассказы должны показать глубину трагедии.

Чрезвычайно важно показать солидарность советского населения [...] Необходимо показать, что евреи умирали мужественно, остановиться на всех имевших место случаях сопротивления»[8].

Показательно, что в записке ничего не сказано о сотрудничестве ЕАК с заграничными организациями.

Прямого ответа из ЦК не последовало. Инициаторы издания советского варианта «Черной книги» оказались в весьма неопределенном положении — по словам Василия Гроссмана, «бродили впотьмах». Эту ситуацию хорошо отразил в своем выступлении 13 октября 1944 года на втором заседании Литературной комиссии сам Илья Эренбург: «В течение долгого времени не было выяснено: будет ли санкционировано издание этой книги. Мне не ясна и теперь формулировка.

Меня просили написать записку для представления о содержании и цели этой книги. Основываясь на нашем первом собрании,

[8] *Альтман И.А.* К истории «Черной книги» // Неизвестная «Черная книга». М.; Иерусалим: Текст, 1993. С. 18.

я это изложил и представил. Ответа прямого не последовало, но мне было сказано через Еврейский [антифашистский] комитет — сделайте книгу и, если она будет хорошей, она будет напечатана [...] Мне кажется, поскольку представлена возможность составить рукопись, то вокруг напечатания скорее можно будет дать бой»[9].

Таким образом, от составителей ждали «хорошей», то есть нужной в пропагандистском и политическом плане, книги, не гарантируя даже ее издание. Это не могло не возмущать Эренбурга, который отмечал: «Так как авторами книги являемся не мы, а немцы, а цель книги ясна, я не понимаю, что значит "если будет хорошей": это не тот роман, содержание которого неизвестно».

Не дожидаясь официального решения о судьбе книги, Эренбург соглашается на предложение ЕАК выпустить на идиш некоторые подготовленные им материалы. Они выходят двумя выпусками в конце 1944-го и начале 1945 года. Для их заглавия используется журнальное название публикации — «Народоубийцы».

Судьба «Черной книги» первоначально решалась «куратором» ЕАК — Совинформбюро. Комиссия, созданная в начале 1945 года, нашла существенный «изъян» в «Черной книге»: «В представленных очерках излишне много рассказывается о гнусной деятельности предателей народа из украинцев, литовцев и др., это смягчает силу главного обвинения, предъявляемого немцам, что должно являться основной и решающей задачей книги».

Пожалуй, впервые здесь сформулирован один из основных упреков к содержанию «Черной книги», существенно повлиявший впоследствии как на отбор свидетельств для окончательного текста, так и на редактирование и судьбу издания в целом.

Приближался Нюрнбергский процесс, что, видимо, диктовало необходимость взять за основу уже готовый материал под редакцией Ильи Эренбурга (рукопись под названием «Черная книга» была передана представителю советского обвинения на процессе и сохранилась в фонде ЧГК).

В начале 1946 года дополненная и отредактированная в соответствии с указанными выше поправками рукопись была перепечатана и разослана в Австралию, Англию, Болгарию, Венгрию, Италию, Мексику, Францию, Польшу, Румынию, США, Чехословакию, а также в Палестину.

По требованию советской стороны из американского издания убрали предисловие Альберта Эйнштейна. Имеет смысл процитировать фрагмент текста выдающегося ученого, чтобы понять, с чем не были согласны в Кремле в начале 1946 года:

[9] Там же.

«Цель этой книги ясна. Книга должна убедить читателя в том, что международная организация безопасности эффективна лишь тогда, когда она не ограничивается лишь защитой государственных единиц от нападения на них, но в состоянии защитить и национальные меньшинства каждой отдельной страны. Каждому отдельному человеку должна быть обеспечена защита от жестокого обращения и уничтожения [...]

Ни один народ, вовлеченный в катастрофу последних нескольких лет, не понес в процентном отношении таких потерь, как евреи.

Тот факт, что у евреев нет национальных границ и правительств и что их не рассматривают как нацию в формально политическом смысле, не должен служить препятствием к справедливости.

С евреями обращались как с целым, как если бы они были нацией. Их общественное положение (статус) как объединенной политической группы было доказано отношением к ним со стороны их врагов. Поэтому если мы стремимся к укреплению стабильности в международных отношениях, то евреев следует рассматривать как нацию в принятом смысле слова, и при организации мира еврейскому народу должно быть уделено особое внимание, дабы мы не совершили насмешки над справедливостью»[10].

Любопытно, но примерно ту же аргументацию будет использовать в ноябре 1947 года советский представитель в ООН, призывая голосовать за создание еврейского государства...

Создатели советского варианта «Черной книги» прекрасно осознавали ее мемориальный характер. Председатель ЕАК Соломон Михоэлс назвал «Черную книгу» памятником погибшим и чудом уцелевшим евреям, а также их спасителям. Он же поставил вопрос об «издании на родном языке» — идиш.

Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Материалы книги вошли в упоминавшееся выше американское издание[11], послужили основой румынской «Черной книги»[12], увидевшей свет в 1947 году. Между тем летом и осенью 1946 года издание в Москве фактически было приостановлено. 3 февраля 1947 года руководителю советской пропаганды Андрею Жданову был представлен отзыв Георгия Александрова, который категорически констатировал «нецелесообразность» издания «Черной книги».

[10] *Альтман И.А.* К истории «Черной книги» // Неизвестная «Черная книга». М.; Иерусалим: Текст, 1993. С. 25.

[11] The Black Book. N.Y., 1946.

[12] Kartea Neagra. Bucureşti, 1947.

По мнению Александрова, текст «Черной книги» дает «ложное представление об истинном характере фашизма», ибо создает впечатление, что «немцы воевали против СССР только с целью уничтожения евреев». Тщательно приведя все свидетельства из текста книги, когда евреи спасаются от гибели, выдавая себя за русских, украинцев и так далее, используя документы местных жителей, Александров приходит к парадоксальному выводу о том, что таким образом фальсифицируется история — не показаны злодеяния гитлеровцев против людей других национальностей. Рецензия заканчивается словами, что «Управление пропаганды считает издание "Черной книги" нецелесообразным».

О дальнейшей судьбе издания мы узнаем из второго письма Соломона Михоэлса Андрею Жданову от 18 сентября 1947 года: когда 33 печатных листа уже были изготовлены, «со стороны Главлита последовало распоряжение» о прекращении работ.

Михоэлс приводил аргументы, что книга не утратила актуальности, важна в идеологическом плане, предупреждая об опасности возрождения фашизма.

Однако участь книги была предопределена. Ее «оформили» партийные чиновники новой волны: пришедший на смену Александрову Михаил Суслов и Дмитрий Шепилов.

«Экспертная» оценка рукописи была дана в сверхкраткой справке, подготовленной заведующим отделом издательств Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Морозовым и датированной 7 октября 1947 года. В ней говорилось: «"Черная книга" была внимательно рассмотрена в Управлении пропаганды. Книга содержит серьезные политические ошибки. Издание книги на 1947 год Управлением пропаганды не утверждено. Исходя из этого, "Черная книга" не может быть издана»[13].

В январе 1948 года агенты МГБ убили Соломона Михоэлса. 20 ноября 1948 года ЕАК был закрыт. В конце 1948 года начались аресты его руководителей и сотрудников. «Дело ЕАК» длилось с 1948 по 1952 год и завершилось расстрелом — одним из последних при жизни Сталина — известных деятелей еврейской культуры 12 августа 1952 года. Участие в подготовке «Черной книги» значилось в обвинительном заключении и приговоре как большинства осужденных по «делу ЕАК», так и других дел периода «борьбы с безродными космополитами». Оно квалифицировалось как яркий пример «буржуазного национализма». В приговоре по «делу ЕАК»

[13] *Альтман И.А.* К истории «Черной книги». С. 27.

работа над «Черной книгой» называлась «ярким примером смыкания руководителей ЕАК в националистической деятельности с еврейскими националистами США»[14].

Любопытно, что «Черная книга» была вещественным доказательством сразу на двух, казалось бы, диаметрально противоположных процессах: Нюрнбергском и Еврейского антифашистского комитета.

На завершающем этапе следствия в обширный список людей, на которых собирался «компромат», были включены Илья Эренбург и Василий Гроссман. К счастью, Сталин в тот момент не был готов к уничтожению цвета ассимилированной советской еврейской интеллигенции. Но для темы Холокоста, как и вообще для «еврейской проблематики» в искусстве, науке, политике, конец 1940-х годов стал существенным рубежом.

Убийство Соломона Михоэлса и ликвидация ЕАК; закрытый судебный процесс и казнь его руководителей и активных сотрудников в августе 1952 года; кампания по борьбе с «космополитизмом» и «дело врачей» стали важнейшими вехами, которые на долгие годы сделали тему Холокоста идеологически уязвимой.

Наиболее жестоко это сказалось на увековечении памяти жертв. Строка Евгения Евтушенко «над Бабьим Яром памятника нет» могла бы стать эпиграфом к характеристике мест памяти о Холокосте в СССР. Если в годы войны ЕАК удалось провести фотовыставку о нацистских злодеяниях, то в послевоенный период этой теме не нашлось места в музейных экспозициях. Воссозданный в Вильнюсе еврейский музей (именно туда Эренбург сдал на хранение материалы к «Черной книге») в 1948 году был закрыт. Систематически пресекались любые попытки сохранить места памяти о Холокосте. Лишь в Минске, на установленном в 1947 году памятнике узникам гетто, еврейская символика осталась неприкосновенной. В ряде мест (например, в Невеле Псковской области, некоторых городах в Прибалтике) шестиконечные звезды «обрезали» — они стали пятиконечными. Сбор средств среди родственников для установки памятника стал «экономическим преступлением»; ряд его инициаторов поплатились партийными билетами или вынуждены были покинуть СССР.

Место слова «евреи» на памятниках жертвам Холокоста по всей стране прочно заняло словосочетание «мирные советские граждане». Лишь в порядке исключения (например, в Смоленске в сере-

[14] *Наумов В.П.* Неправедный суд. М., 1993. С. 31.

дине 1960-х годов) удавалось добавить слово «гетто», но не национальность жертв. Лишь иногда слова о «еврейских жертвах» со второй половины 1950-х годов проникали на памятники в небольших городах, преимущественно в Прибалтике (например, в Силене (Латвия) в 1957 году).

Символична история с созданием памятника еврейским жертвам в Бабьем Яре. Впервые идея создания здесь монумента возникла сразу после войны. Уже в 1946 году был подготовлен его проект. Однако строительство так и не началось. В конце 1950-х годов лишь усилия писателя Виктора Некрасова не позволили создать на месте массовой казни жилой район и спортивно-развлекательный комплекс. Публикация в 1961 году стихотворения Евгения Евтушенко «Бабий Яр» вновь привлекла к проблеме создания памятника внимание общественности. Однако установленный в 1976 году официальный монумент в той части Бабьего Яра, которая не имела отношения к массовым расстрелам, был совершенно лишен какой-либо связи с жертвами Холокоста.

Упоминание о еврейских жертвах на памятниках или в музейных экспозициях стало практически невозможным после «шестидневной войны» 1967 года и усиления «антисионистской пропаганды». Собственно, еще в 1963 году Управление пропаганды ЦК КПСС запретило издание на русском языке книги польского коммуниста Б. Марка о восстании в Варшавском гетто как пример именно «сионистской пропаганды»[15].

Не только еврейские жертвы, но и герои Сопротивления не получали общественного признания. Показательна история с Машей Брускиной — юной минской подпольщицей, казненной в октябре 1941 года. Фотография казни обошла все школьные учебники истории, но имя девушки известно не было. На фото, как и в белорусском Музее Великой Отечественной войны, ее называли «Неизвестная». На рубеже 1970—1980-х годов совместный поиск минских и московских журналистов позволил установить имя героини. Но официальный Минск не захотел признать в символе героизма белорусского народа еврейскую девушку. Когда на радиостанции «Юность» прозвучал очерк о Маше Брускиной, партийные идеологи Белоруссии добились увольнения подготовившей его журналистки Ады Дихтярь. В упомянутом выше музее имя Маши Брускиной (как одна из версий) появилось лишь в конце 1990-х годов.

[15] *Чарный С.* Советский государственный антисемитизм в цензуре начала 60-х годов (на примере судьбы книги Б. Марка «Восстание в Варшавском гетто») // Вестник Еврейского университета в Москве. 1997. № 2 (15). С. 76—81.

С начала 1970-х годов возложение венков с еврейской символикой к местам массовой гибели евреев (включая Бабий Яр) стало приравниваться к проявлениям антисоветской деятельности. Правда, в пылу массовой борьбы с сионистской идеологией сотни тысяч экземпляров книг типа «Фашизм с голубой звездой» и «Осторожно: сионизм» включали (нередко и искаженные) сведения о Холокосте в Европе и на территории СССР. О еврейских жертвах вспоминали (прежде всего — в Прибалтике), когда развенчивали деятельность лидеров антисоветских организаций за рубежом и сотрудников различных «радиоголосов», которые в годы войны находились на оккупированной территории СССР.

Негативные последствия (прежде всего — для престижа СССР за рубежом) замалчивания темы Холокоста были понятны, очевидно, самим партийным функционерам. Именно этим можно объяснить попытку отдать в начале 1980-х годов тему Холокоста «на откуп» созданному по инициативе Кремля Антисионистскому комитету советской общественности. Именно под его эгидой было издано несколько брошюр об уничтожении и сопротивлении еврейского народа в годы Второй мировой войны. Справедливости ради стоит отметить, что возглавлявший АКСО генерал Давид Драгунский еще в 1945 году ставил перед Еврейским антифашистским комитетом в СССР задачу увековечить память своих погибших родных и земляков на Брянщине, а также установить памятники и мемориалы в других городах СССР. Сам ли АКСО инициировал эту «непрофильную» для него тему, либо это было подсказано властью — еще предстоит выяснить. Тем не менее аналогии с инициативами ЕАК очевидны.

Символично, что одним из первых факторов возрождения еврейской общественной жизни в СССР в годы перестройки стал митинг памяти жертв Холокоста на Востряковском кладбище в Москве весной 1987 года. Изменение политического климата было использовано еврейскими «активистами».

Значительную роль в организации мемориальных мероприятий (траурные митинги, установка памятников с еврейской символикой, публикация воспоминаний) сыграли недавно созданные еврейские организации. На Украине, в России и Прибалтийских республиках именно эти организации (чаще всего — под названием обществ еврейской культуры) инициировали митинги памяти жертв Холокоста (например, в Харькове — 9 мая 1989 года с участием Евгения Евтушенко, баллотировавшегося в Верховный Совет СССР), установление памятников и мемориальных знаков с еврей-

ской символикой, помещение статей и публикаций на страницах только что созданных еврейских газет и журналов.

Впервые годовщина Бабьего Яра официально была отмечена в Киеве осенью 1991 года. В траурной церемонии на месте казни принимали участие руководители Украины. Непосредственно на главной улице города — Крещатике — была развернута документальная экспозиция «Евреи — Герои Советского Союза».

Замалчивание Холокоста в СССР было одним из важных направлений политики Кремля и местных властей весь послевоенный период. Известный американский политолог Цви Гительман[16] удачно определил советский вариант официального неприятия темы Холокоста: отрицался не сам факт уничтожения евреев нацистами и их пособниками, а необходимость выделения их в особую категорию жертв.

Однако в исторической науке (где эта тема практически исчезла вплоть до распада СССР) и в искусстве эти процессы проходили по-разному. Отличались они и в некоторых советских республиках.

Отражение нацистской политики истребления евреев в советской литературе и художественных фильмах

Можно выделить следующие периоды отражения темы Холокоста в советской литературе: годы войны; середина 1940-х — конец 1950-х годов; период «оттепели»; конец 1960-х — начало 1980-х годов; период перестройки.

В документальной прозе и поэзии военных лет тема Холокоста была представлена фрагментарно. В 1943 году выходит повесть Бориса Горбатова «Непокоренные», где отражена и тема Холокоста. Первые публикации появляются в ведущем литературном журнале «Новый мир» в 1944 году. Их авторы — будущие редакторы «Черной книги» Василий Гроссман (повесть «Треблинский ад») и Илья Эренбург (публикация «Народоубийцы»). Позднее они выходят отдельными изданиями, но «Народоубийцы» — только на идиш. Илья Эренбург, Маргарита Алигер и Лев Озеров также впервые опубликовали в литературных журналах и газетах стихи о Бабьем Яре.

[16] *Gitelman Z.* Preface // *Dobroszycki L., Gurock J.S.* (Eds.).Holocaust in USSR. N.Y., 1993. P. 3—4.

Сразу после войны вышел роман Ильи Эренбурга «Буря» (1946), в котором значительное место уделено теме еврейских жертв нацизма. Но эта тема была далеко не центральной в этих произведениях. С конца 1940-х и до начала 1960-х годов тема Холокоста практически отсутствует в опубликованных литературных произведениях. Во второй половине 1950-х годов Василий Гроссман работал над романом «Жизнь и судьба», который так и не был опубликован при его жизни. И хотя центральной идеей романа была идея о близости нацистского и сталинского режимов, тема Холокоста была в ней одной из самых важных. Заслугой романа является философски-художественное обобщение проблемы судьбы народов в современном мире. Важной его линией является судьба отдельного человека, преследуемого тоталитарным режимом.

В годы «хрущевской оттепели» появляются значительные документальные публикации по теме. Выходит русский перевод книги «Преступные цели — преступные средства», подготовленной в 1957 году в ГДР. Специальный раздел посвящен в ней уничтожению евреев Европы. В 1961 году на русском языке впервые появляется дневник Анны Франк с предисловием Ильи Эренбурга. О своей работе над «Черной книгой» писатель рассказал в специальной главе воспоминаний «Люди, годы, жизнь». Тема находит отражение в публикации многотомного «Нюрнбергского процесса». Фрагментарно ее освещают документальные публикации о нацистском оккупационном режиме в разных регионах страны.

В 1961 году молодой поэт Евгений Евтушенко опубликовал в «Литературной газете» стихотворение «Бабий Яр», которое вызвало бурную полемику в обществе. Автор поднял вопросы антисемитизма в России и проблему увековечения памяти, отсутствия памятников евреям и упоминания их имен в существующих мемориалах. В 1960-е годы тему Бабьего Яра затрагивали популярный автор романов о войне Виктор Некрасов и писатель Анатолий Кузнецов. Повесть последнего была (с существенными цензурными купюрами) опубликована в молодежном журнале «Юность», издававшемся многомиллионным тиражом. Автор назвал свое произведение «повесть-документ». Именно документальная военная проза была типична для советской литературы того времени. Эти произведения вызвали нападки официальных идеологов, и оба писателя были вынуждены покинуть СССР, а их книги — запрещены. Также оказались под запретом после эмиграции во Францию стихи Александра Галича, в том числе — посвященный Янушу Корчаку знаменитый «Кадиш».

Между тем очень подробно о Холокосте в Европе было сказано в культовой книге 1960-х годов «Брестская крепость». Ее автор — Сергей Смирнов — включил в эту документальную повесть главу «Мальчик из Бреста» — о судьбе одного из 19 уцелевших узников брестского гетто Романа Левина и его спасительнице, польской женщине Флории Будишевской. Этот очерк предваряет подробный текст об уничтожении европейских евреев в лагерях смерти на территории Польши.

В повести известного российского прозаика Бориса Васильева «В списках не значился», действие которой также происходит в Брестской крепости, одним из действующих лиц является узник гетто — еврейский музыкант.

В другой повести этого автора «А зори здесь тихие...», положенной в основу популярного советского фильма и пьесы в Театре на Таганке, также присутствует тема Холокоста. Родители одной из четырех героинь, Жени Гурвич, погибли в гетто.

В «Военных дневниках» Константина Симонова (журнальный вариант вышел в 1975—1976 годах; отдельное издание — в 1982 году) около 20 страниц посвящено Холокосту в СССР (Феодосия, Черновцы) и лагерю смерти Майданек.

В 1960—1970-е годы произведения о Холокосте появляются в республиках бывшего СССР. Они или целиком посвящены этой теме (Ицхак Мерас и Григорий Канович в Литве), либо затрагивали ее лишь частично (на Украине). С середины 1960-х до начала 1970-х годов выдерживают несколько изданий стилизованные под дневник воспоминания Маши Рольникайте «Я должна рассказать» — о судьбе сверстницы Анны Франк из гетто Вильнюса.

Несколько книг, где эта тема была одной из центральных, опубликовал в 1970—1980-е годы в Москве уроженец Молдавии Илья Константиновский. Но речь в них шла о событиях за пределами СССР.

В журнале на идиш «Советиш Геймланд» («Советская Родина») публиковались отдельные произведения о Холокосте; выходили также книги советских писателей и поэтов на еврейском языке, где говорилось о Холокосте. Но они становились доступны массовому читателю, лишь появляясь в переводе на русский язык. Так, Юнна Мориц перевела стихи Моисея Тейфа «Кемелех и земелех», посвященные его сыну, погибшему в Минском гетто. Это произведение заняло видное место в репертуаре известного режиссера и исполнителя Марка Розовского. Показательно, что в посмертных изданиях на русском языке репрессированных советских поэтов — членов ЕАК Ицика Фефера и Переца Маркиша отсутствовали их

произведения о Холокосте (в частности, стихотворение Фефера «Я — еврей», 1942 год).

Наибольший успех среди книг о Холокосте принадлежит роману Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок», опубликованному в 1978 году. Эта тема занимает центральное место в романе. Тем не менее она не встретила, на первый взгляд, значительных препятствий при прохождении советской цензуры. Между тем рукопись отвергли самые известные в СССР журналы: «Новый мир» (с формулировкой, что он «не ложится в планы журнала») и «Дружба народов». Роман в итоге был опубликован в отнюдь не прогрессивном «Октябре». Характерно одно из главных условий, на которых он был принят редакцией: «Во всех эпизодах романа Великой Отечественной войне будет придан характер общенародного, общенационального бедствия, а нацизму — идеологии, направленной против всего человечества, а не только против евреев».

Роман был переиздан во многих странах, в том числе (в 1980 году) в Израиле. В советских библиотеках выстраивались очереди за номерами журнала «Октябрь», где впервые появился роман, и за отдельной книгой, вышедшей в 1982 году. Но официальная советская критика практически «не заметила» «Тяжелый песок», что свидетельствовало: выход этого произведения — исключение из правил. Единственная рецензия появилась осенью 1979 года в журнале «Дружба народов».

Таким образом, с конца 1940-х годов и до начала горбачевской перестройки прежде всего произведения советских писателей и поэтов несли информацию о Холокосте и сохраняли память об этом величайшем преступлении. Напомним, что в эти же годы в Германии и других странах Европы появилось огромное число произведений о войне и страданиях жертв нацизма. Число же произведений о судьбах советских людей на оккупированной территории было сравнительно невелико. Сама тема «оккупации» всегда была под пристальным вниманием цензуры. С другой стороны, более 20 миллионов жертв, которые понес СССР в годы войны, служили идеологическим оправданием того, что советских евреев не выделяли в особую категорию жертв.

Лишь публикация в СССР на рубеже 1980—1990-х годов романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и первые издания «Черной книги» (издана тиражами 100 000 экземпляров в 1991 году в Киеве и Запорожье) сняли идеологическое табу с темы Холокоста. Она становится центральной в художественном фильме «Дамский портной», где одну из главных ролей блистательно исполнил замечательный русский актер Иннокентий Смоктуновский.

Постсоветские государства и Холокост

Ряд постсоветских государств — прежде всего Украина и Литва — еще в начале 1990-х годов на официальном уровне признали значение темы Холокоста. Первые президенты этих стран Леонид Кравчук и Алгирдас Бразаускас (родители которых за спасение евреев удостоены звания Праведников народов мира) при посещении израильского мемориала «Яд Вашем» официально принесли извинения за участие своих сограждан в уничтожении евреев. В Киеве и Вильнюсе ежегодно на государственном уровне проходят мемориальные церемонии в память о Бабьем Яре и ликвидации Вильнюсского гетто. Президент Беларуси участвовал в 2001 году в церемонии увековечения жертв и установления нового скульптурного комплекса на месте расстрела узников Минского гетто.

Местные власти Украины, Литвы, Латвии, Беларуси в 1990-е годы совместно с еврейскими организациями выявили тысячи мест массовых захоронений, на которых установлены памятники с еврейской символикой. К сожалению, в Молдове это делается только усилиями еврейских организаций и отдельных энтузиастов. В Единецком уезде сооружение такого памятника инициировал учитель местной школы Ю.В. Загорча, а его 12-летняя дочь отрезала косу и продала свои волосы, чтобы выручить деньги на памятник.

В Латвии, Литве и Беларуси память жертв Холокоста и еврейского Сопротивления увековечена прежде всего в соответствующих разделах еврейских музеев Риги, Вильнюса, Минска. Эта же тема представлена и в государственных музеях (например, в экспозиции 9-го Форта в Каунасе, Музеях Великой Отечественной войны Беларуси и Украины, ряде краеведческих музеев). В ряде государств созданы или реконструированы мемориалы жертвам Холокоста. В ряде крупных городов Украины (Львов, Одесса) проведена закладка камней будущих мемориалов и музеев. К сожалению, специальные государственные музеи по теме еще не созданы ни в одном из постсоветских государств.

В Украине, Латвии и Литве тема Холокоста узаконена в государственных образовательных программах. В Украине тема Бабьего Яра включена в программы средних школ и экзаменационные билеты. В Литве в 2003 году Министерство просвещения и науки приняло программу преподавания темы Холокоста. Очень большое внимание в этих государствах уделяется подготовке преподавателей. Ряд общественных организаций Литвы, Украины, Беларуси инициировали проведение ежегодных школьных конкурсов.

Официальное признание темы Холокоста является важным импульсом (и одновременно — следствием) развития историографии в постсоветских государствах. Еще в советской Украине в 1991 году стотысячным тиражом вышел сокращенный вариант «Черной книги». Впервые полностью — без цензурных купюр, отмеченных во вставках специальным шрифтом, — «Черная книга» была издана на русском языке в Литве в 1993 году.

Вопрос о признании памяти о жертвах Холокоста как составной части национальной памяти о своих согражданах-евреях встречает немало препятствий. В государствах Балтии официальное признание темы Холокоста сопряжено с требованием признания «советского геноцида». Все государственно-общественные комиссии в этих странах занимаются параллельным анализом этих двух проблем. В ряде публичных выступлений звучала тема «еврейской вины» и «еврейского покаяния» за геноцид.

Практически ничего не делается на официальном уровне по признанию значения памяти жертв Холокоста в Молдове. В образовательных программах и учебниках среднеазиатских и закавказских постсоветских государств также отсутствует тема Холокоста.

Россия и Холокост

Неонацизм, политический и этнонациональный экстремизм становятся все более осязаемыми реалиями в России. Замалчивание в течение десятилетий темы Холокоста оказало на представителей власти, российское общество, его образовательные структуры, историческую науку и даже на многих интеллектуалов гораздо большее воздействие, чем в любом другом постсоветском государстве на территории Европы.

С другой стороны, именно в России в конце 1991 года была создана первая на постсоветском пространстве специализированная общественная организация — Научно-просветительный центр «Холокост», он же — Фонд «Холокост»*.

Именно в России подготовлена первая в мире обобщающая монография о Холокосте на территории СССР (*Альтман И.А.* Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941—1945 гг. М.: Совершенно сек-

* О Центре, его работе и, в частности, о его борьбе за создание в России музея Холокоста и внедрение этой темы в образовательные программы см. рубрику «Новые институции» в номере 2—3(40—41)/2005 журнала «Неприкосновенный запас». — *Примеч. ред.*

ретно, 2002. 545 с.). В Санкт-Петербурге, Смоленске, Таганроге, Орле выпущено несколько краеведческих исследований по теме Холокоста. В Ярославле, Самаре и Москве издано несколько книг воспоминаний узников. Фонд «Ковчег» опубликовал два издания монографии о Холокосте в Германии в 1933—1939 годы. Несколько содержательных книг о Рауле Валленберге и реакции советского правительства на Холокост опубликовал Александр Безыменский.

В 1994—2002 годах в Москве прошли четыре международные научные конференции «Уроки Холокоста и современная Россия». Их организовал Центр «Холокост» (при поддержке Совета Европы, Министерства образования РФ, «Яд Вашем», Центра имени Соломона Михоэлса). Материалы основных докладов на этих конференциях опубликованы на русском и английском языках.

Однако эти конференции и исследования лишь незначительно повлияли на монографические исследования о Великой Отечественной войне. Правда, в специальных работах (Михаила Семиряги, Бориса Соколова, Бориса Ковалева), посвященных теме коллаборационизма и оккупационного режима, содержатся сведения и даже разделы о Холокосте. Вместе с тем в многотомном обобщающем исследовании о Великой Отечественной войне (1998 год) Холокост не выделен в отдельную проблему, а число его жертв — евреев СССР существенно занижено.

Важнейшим элементом сохранения памяти о Холокосте является внедрение темы в образовательные программы школ и вузов. Фонд «Холокост» ведет обширную работу в этой области. Но на подготовке преподавателей и внимании официальных образовательных структур негативно сказывается тот факт, что Россия не является членом международной организации «Таск Форс», проводящей образовательные программы в этой области для преподавателей, и, в отличие от своих соседей, не проявляет должного интереса к деятельности этой организации.

Несмотря на некоторые успехи Фонда в проведении в России памятных мероприятий, посвященных Холокосту, неоднократные попытки обращения к руководству России с предложением, чтобы Россия присоединилась к более чем 10 государствам мира, которые установили 27 января национальный День Холокоста, остаются без ответа. Это тем более парадоксально, что именно Красная армия освободила 27 января 1945 года лагерь смерти Освенцим.

Россия явно отстает от своих соседей по числу мест, где установлены памятники жертвам Холокоста. К началу 1990-х годов этой темой занимались энтузиасты в разных городах страны. В Санкт-Петербурге с конца 1980-х годов действовала группа по изу-

чению Катастрофы. Она проводила выездные экспедиции в ряд областей северо-запада и центра России; записывала устные свидетельства очевидцев; подготовила документальный фильм «Бабьи Яры Смоленщины»; установила в 1991 году в Пушкине памятник жертвам Холокоста (работы Вадима Сидура); организовала ежегодное проведение митингов в день расстрела евреев этого пригорода Ленинграда. В настоящий момент эта группа существует лишь номинально. По инициативе отдельных энтузиастов (как правило, родственников погибших и лидеров местной еврейской общины) были сооружены памятники и памятные знаки в Невеле (в начале 1990-х годов), Таганроге (1996 и 2001 годы), Пскове (2003), Ставрополе (2004), Калининграде (2002), Элисте (2000). В поселке Дубровка Брянской области учитель местной школы Татьяна Жукова инициировала установление памятника погибшим евреям.

В России создано или создается лишь несколько документальных и художественных фильмов по теме Холокоста. В большинстве из них принимал участие Центр «Холокост». Документальный фильм «Брестское гетто» был показан в 1995 году по Первому российскому каналу; он удостоен Гран-при фестиваля в Черногории; неоднократно демонстрировался в России и Беларуси. Документальный фильм известного кинорежиссера Александра Зельдовича «Процесс» (2003) также был показан по одному из российских телеканалов и принял участие в ряде фестивалей.

В 2002 году по российскому телевидению был показан фильм Павла Чухрая «Дети из бездны». Он был создан на основе видеосвидетельств Фонда Спилберга. Документальный фильм о Холокосте в серии «Прости-прощай XX век» подготовил Савва Кулиш (фильм покойного режиссера пока так и не вышел в прокат). Ряд фильмов, тесно связанных с тематикой Холокоста, подготовил кинодокументалист Владимир Двинский. Трагедии в польском городе Кельцы сразу после окончания войны посвящена лента Дмитрия Астрахана. Сейчас завершаются съемки 12-серийного художественного фильма по роману «Тяжелый песок», в котором участвует киностудия «Мосфильм». Очевидно, что в будущем именно через такие произведения о Холокосте узнает подрастающее поколение. Отметим, что в 2004 году ряд телевизионных каналов (в том числе — государственных) резко увеличил показ зарубежных фильмов о Холокосте («Пианист», «Побег из Собибора», «Братья Вельские» и другие).

Зарубежные партнеры проявляют большой интерес к совместной работе по теме Холокоста с российскими научно-просветительскими организациями. Фонд «Холокост» тесно сотрудничает

с Музеем «Яд Вашем» (Израиль) и шведским проектом «Живая история». Отдельные программы в России осуществлял Фонд Анны Франк (Нидерланды), подготовивший в первой половине 1990-х годов две передвижные документальные выставки по истории Холокоста и антисемитизма в Европе. Отдельные мероприятия проходили совместно с Фондом Спилберга (США), Советом Европы, Европейским бюро Центра Визенталя.

В заключение — об основных перспективах сохранения исторической памяти о Холокосте в России. Во-первых, широкое изучение темы Холокоста в школах и университетах возможно только при условии его включения в государственные стандарты и программы (как, например, в Украине и Литве) и продуманной государственной подготовки преподавателей. Сейчас подготовлен окончательный проект Стандарта по истории для средней школы. Благодаря нашим многолетним усилиям там есть термин «Холокост». Не менее важно включение темы в программы по литературе, а также в программы для университетов.

Во-вторых, необходимо создание государственного музея истории Холокоста, объединяющего образовательный центр и музейный проект.

Его задача — раскрыть истоки и последствия пропаганды и реализации на практике в XX веке идей расовой исключительности и ненависти, приведших к трагедиям многих народов и десяткам миллионов жертв. Будущий образовательный центр призван показать также пути морального и нравственного противодействия любым проявлениям этногеноцида. Он должен служить пропаганде идей толерантности и поиску взаимопонимания в современной России.

В России — в отличие от многих государств мира — до сих пор нет музейно-образовательного центра, посвященного осмыслению трагедии Холокоста — не только как еврейской, но и как общечеловеческой. Его создание, при поддержке и под патронажем российских государственных структур, будет соответствовать имиджу России как цивилизованного демократического государства. Он должен показать истоки и трагедию Холокоста в широком историческом контексте, имеющем ценностное значение для многих народов нашей страны. Сотрудничество с Фондом Стивена Спилберга «Шоа» и музеем «Толеранс» в Лос-Анджелесе поможет оснастить будущий музей самыми современными технологиями. Будущий музей необходим России и Москве и как постоянное место встреч представителей разных государств, прежде всего — молодежи и

педагогов, изучающих историю Холокоста и вопросы толерантности.

В-третьих, необходима государственная программа увековечения всех мест массового уничтожения евреев на территории России.

В-четвертых, нужно международное сотрудничество студентов и школьников — организация поездок по местам Холокоста на территории России, посещение зарубежных мемориалов, проведение международных конференций и конкурсов. Именно такие мероприятия позволят на уровне гражданского общества противодействовать забвению одной из самых страшных трагедий XX века.

Рихард Хаим Шнайдер

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО В ГЕРМАНИИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРТВЫХ ЕВРЕЕВ И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЕВРЕЕВ ЖИВЫХ

Аналитико-полемическое эссе

Чтобы понять всю праздность и нелепость немецких «ритуалов преодоления прошлого», достаточно сравнить израильский Йом ха-шоа с Днем памяти о Холокосте в Германии. Пожалуй, центральный и наиболее волнующий момент Йом ха-шоа — когда в предобеденный час во всем Израиле две минуты воют сирены и вся общественная жизнь останавливается. Прекращается дорожное движение, водители выходят из машин и молча застывают, так же как и пешеходы. В фабриках, школах, университетах, учреждениях, офисах, редакциях, магазинах, кофейнях, ресторанах, заправках — всюду люди замолкают и поминают шесть миллионов убитых нацистами евреев.

В Германии же до 1996 года не было национального дня памяти о Холокосте. Сам этот факт примечателен, сколько бы ни происходило различных мероприятий по этой теме по самым разным датам. В 1995 году, в 50-ю годовщину конца войны, тогдашний федеральный президент Роман Херцог объявил, что отныне должен быть национальный день памяти об убийстве европейских евреев. Была выбрана дата 27 января — день освобождения Освенцима. Решение в пользу именно этой даты до сих пор остается не совсем понятным. Существуют другие, лучшие даты — в качестве примера достаточно будет назвать годовщину Ваннзейской конференции.

Как бы то ни было, президент Херцог проявил добросердечность. Быть может, он выбрал 27 января под впечатлением от еврейского мероприятия в 50-ю годовщину освобождения Освенцима, в котором участвовал по личному желанию. В 1995 году это мероприятие вынужденно состоялось за день до официальных торжеств, поскольку тогдашний польский президент Лех Валенса хотел как бы представить Освенцим «польским лагерем» (это старый мотив польской послевоенной мифологии) и возражал против того,

чтобы проводимое в этот день памятное мероприятие стало еврейским, что гораздо больше соответствовало бы истории этого лагеря уничтожения.

Таким образом, с 1996 года немцы наконец получили собственный день памяти о Холокосте — но это не имело никаких последствий. 27 января не только не объявили выходным днем, в который не должны работать магазины и банки, даже не была введена минута памяти в общественной жизни Федеративной Республики; на этот день было лишь назначено специальное «мемориальное заседание» бундестага. Но поскольку, к несчастью, первый немецкий день памяти о Холокосте в 1996 году пришелся на субботу, а бундестаг в «шаббат» не заседает, в первом же году день памяти был перенесен. Гибкость — превыше всего...

Будем справедливы. В Германии очень даже стараются помнить о Холокосте. Вернее, помнить стараются официальные лица, ибо в населении доля испытывающих потребность в таком воспоминании очень мала. Статистика все чаще показывает, что, хотя большинство немцев политически корректно называет Холокост «чем-то очень плохим», при этом все меньше тех, кто осознает необходимость постоянного напоминания о нем. Напротив, говорят: «Надо же когда-нибудь покончить с этим».

В пользу того, чтобы положить конец воспоминаниям, приводится в основном два странных аргумента. Во-первых, говорится о том, что «ведь молодые поколения уже не несут вины» — как будто их кто-то обвиняет. Во-вторых, любят указывать на израильскую политику, ведь «то, что израильтяне делают с палестинцами, — это то же самое, что нацисты делали с евреями». Постоянно высказываемые в этой связи несуразности достаточно хорошо известны. Но они присутствуют в общественном пространстве — и показывают, что памятные мероприятия в Германии оказались тщетными. Ритуалы преодоления прошлого служат только цели показать миру, что немцы исправились, стали лучше и уже не имеют ничего общего с нацистским режимом. Но нельзя давать себя обмануть таким спектаклям; на самом деле все в Германии выглядит иначе.

Два примера: грустно было наблюдать за тем, как церемонились немецкие фирмы, когда им предложили отстегнуть пару миллиардов марок, чтобы хотя бы символически искупить вину перед доживающими свой век в нищете последними жертвами принудительного труда нацистского периода. Следует лишний раз напомнить, что 80% тех, о ком шла речь, *не были* евреями, хотя «глас народа» утверждал, будто *все* или по крайней мере большинство из тех, ко-

торым в конце 1990-х годов должны были выплатить компенсации, были евреями[1].

Второй пример: предвыборная борьба 2002 года и случай Мёллеманна, ознаменовавший смену парадигмы в истории антисемитизма в немецкой послевоенной политике, поскольку впервые ненависть к евреям стала движущей силой демократической центристской партии[2]. Удивительным образом тогдашнему заместителю председателя СвДП удалось при помощи вышеупомянутого вздора об Израиле поднять шумиху и привлечь избирателей на сторону своей партии. Этот факт грустен, неприятен и скверен сам по себе. Но гораздо важнее в данном контексте то, что определяющие сегменты германской общественности, от которых следовало бы ожидать громких протестов и поддержки еврейского сообщества, странным образом промолчали или пытались выпутаться при помощи расплывчатых, безучастных формулировок.

Впереди всех, как же иначе, большинство политиков. СДПГ выдала несколько ярких сентенций, но это ей далось без особых усилий: в конце концов, шла предвыборная кампания, и надо было воспользоваться любой ошибкой политического противника. В результате был сформулирован смехотворный принцип: с СвДП, в которой предоставляют свободу действий господину М., социал-демократы-де в коалицию никогда не вступят. Как будто об этом когда-либо серьезно шла речь. «Зеленые», действуя чуть отчетливее, гораздо резче высказались о СвДП и Мёллеманне. Известная

[1] Союзы германских предприятий согласились поддержать фонд в пользу жертв принудительного труда нацистского времени. Германия обязалась предоставить в распоряжение фонда в общей сложности десять миллиардов марок. Предприятия и государство должны были выплатить по пять миллиардов марок. Но долгое время внесенная немецкими фирмами в фонд сумма не превышала двух миллиардов. Эти деньги были выплачены почти исключительно крупными предприятиями вроде «Daimler», «Siemens», «Volkswagen», «Thyssen-Krupp», химическими концернами и банками. Более «мелкие» фирмы, например акционерное общество «Dynamit Nobel» в городе Тробсдорфе, гамбургская верфь «Blohm und Voss», текстильное предприятие «Hugo Boss» из города Метцингена, мюнхенская оптическая фирма «Rodenstock» и многие другие, месяцами медлили с выплатами и отрицали свою давно доказанную связь с нацистской системой. Прошло около двух лет, пока наконец не была более или менее выплачена вся сумма.

[2] О скандале вокруг антисемитских высказываний Юргена Мёллеманна см. рубрику «Очерки нравов» в: Неприкосновенный запас. 2002. № 4 (24). С. 109—121. — *Примеч. ред.*

представительница «зеленых» Клаудия Рот, которая, как правило, не стесняется в выражениях о палестино-израильском конфликте и редко бывает тонка в его оценке, подала на Мёллеманна в суд за его антисемитские высказывания. От двух «христианских» же партий не было слышно ничего — или, чтобы отдать должное одной-двум тихим голосам протеста, — практически ничего. Кандидат в канцлеры Эдмунд Штойбер наклонил голову, закрыл глаза и выдал несколько ничего не значащих фраз — в конце концов, на случай победы на выборах он нуждался в СвДП.

А остальные? Деятели искусства, интеллектуалы, церкви, наконец? Они молчали. Не сказали ничего. Ровным счетом ничего. В какой-то момент кардинал Леманн — когда скандал бурлил уже несколько недель — высказался в том духе, что следовало бы быть поосторожнее и пора уже кончать с этим[3]. Да уж.

Еврейское сообщество в Германии в те недели и месяцы в очередной раз чувствовало себя брошенным. Но нет — нашелся один, один-единственный немецкий политик, имевший мужество публично и предельно четко встать на сторону еврейских немцев: Йошка Фишер. Его «Я обвиняю» на страницах «Frankfurter Allgemeine Zeitung», несомненно, было и тактическим предвыборным ходом (а что *не* является таким ходом в период предвыборной борьбы?), но, как отчетливо показывает его статья, он вполне осознал знамение времени и извлек уроки из истории. Он занял ясную позицию. И эта позиция была на стороне евреев. Это имело больший вес, чем любая из тех тысяч и тысяч речей, которые немецкие политики с 1945 года произнесли на соответствующих торжественных мероприятиях, постоянно повторяя заклинание «Никогда больше!», все снова и снова уверяя, что они «извлекли урок из истории». Но в данном контексте речь не о том, чтобы осудить немецких политиков, интеллектуалов и церкви за недостаток гражданского мужества. Речь не о том, чтобы в очередной раз показать, что в Германии о Холокосте много говорится, но в решающий момент мало делается.

Эти два примера — среди бесчисленных других — приведены лишь как иллюстрация того, что ритуалы преодоления прошлого не

[3] Кардинал Леманн в июне 2002 года на волнах радиостанции «SWR» высказался в пользу того, чтобы положить конец этой «ужасной дискуссии», и добавил, что ее участники, возможно, сами виноваты, «если тут и там снова чуть сильнее вспыхивают антисемитские чувства». Под «дискуссией» кардинал имел в виду жаркие публичные споры о высказываниях и действиях Мёллеманна, в которые, естественно, вмешался и Центральный совет евреев Германии.

дают никаких, абсолютно никаких результатов. Они отделены от политической и общественной реальности и находятся в таком общественном пространстве, которое не дотрагивается до человеческих душ и сердец. Такая же участь ждет и совершенно бессмысленный мемориал Холокоста в Берлине, стоивший несколько миллионов евро, который будет открыт в этом году. Плакать хочется по каждому евро. Эти деньги были брошены на ветер из соображений престижа. А также из-за нечистой совести политиков, которым за более чем 50 лет не удалось укрепить в общественном пространстве национальную память о Шоа. На что только можно было пустить эти деньги! Неважно обстоит дело с воспитанием и просвещением в области Холокоста, некоторые мемориальные комплексы в бывших концлагерях находятся в катастрофическом состоянии и т.д. и т.п.

Нет, официальная память о Холокосте — что тыканье пальцем в небо. Те же политики, которые к подобным датам говорят елейные слова, жалким образом пасуют, когда им приходится в решающий момент выполнить то, чего они сами требуют в своих речах.

Всеобщая неспособность связать память о Холокосте и те «уроки», которые следует из него извлечь, с реальной повседневной жизнью последующих поколений оказывается губительной. Не потому, что таким образом может быть оскорблена память об убитых, а потому, что немецкое гражданское общество, оказывается, стоит на глиняных ногах. Любят говорить, что немецкая демократия — лучшая во всей Европе. Ну что же, и немецкий тоталитаризм был «лучшим» на Старом континенте. В этом смысле первое высказывание является скорее наблюдением о способности немцев к совершенству, чем указанием на демократические убеждения нации.

Не стоит обольщаться: многие силы в Германии — и Иракская война мая 2003 года в очередной раз показала это — выступают против войны из мечтательных и иррациональных, а следовательно, совершенно неправильных побуждений. Немецкий пацифизм сегодняшнего разлива не имеет ничего общего с глубокими гуманистическими убеждениями, а связан исключительно с непосредственным желанием ни во что не вляпываться. К тому же немецкий пацифизм питается паническим страхом отказаться от той удобной безопасности, которой немцы наслаждаются с 1945 года — благодаря США! Всегда, когда в воображении многих немцев возникает риск, что бомбы могут упасть на Берлин, а не на Багдад или что террористы могут вогнать самолеты во франкфуртские, а не только в нью-йоркские небоскребы; всегда, когда в германской

общественности вновь возникает вековая немецкая бацилла ожидания апокалипсиса, люди выходят на улицу демонстрировать, все равно против кого или чего, главное, чтобы за какое-нибудь «правое дело». Так, даже во времена внутриполитических кризисов на демонстрации выходят только в том случае, если они угрожают обманчивой идиллии немецкой мелкобуржуазности. Именно так, а не иначе следует понимать пустячно-романтические, патетические и мелодраматические шествия со свечами против правого экстремизма в начале 1990-х годов, которые хорошо смотрелись в вечернем выпуске новостей, но не требовали от каждого отдельного гражданина никаких действий помимо того, чтобы выйти на крыльцо собственного дома, держа в руках горящую свечу!

Сила любого ритуала — в самозаклинании. Об этом свидетельствуют ритуалы всех религий. Когда-то целые поколения всерьез верили в некий ритуал. Эта вера держалась веками и даже тысячелетиями, так что вера законсервировалась в ритуале. Законсервированная таким образом вера бесчисленных поколений придает ритуалу тот символизм и ту силу, которые исходят от него до сих пор, пусть даже те, кто совершает ритуал, не обязательно безоговорочно разделяют веру своих прародителей. Так дело обстоит с Рождеством и еврейской Пасхой, со Страстной неделей и Йом киппуром.

В ритуале памяти о Холокосте мы ничего подобного не находим. Ведь — о чем сегодня любят забывать — в начале Федеративной Республики то публичное воспоминание, которое знакомо нам с конца 1980-х годов, не существовало! Памятные мероприятия были исключительно делом еврейских общин, которые приглашали на них и политиков. Да, федеральный президент Теодор Хойсс мог возложить венок в Берген-Бельзене, да и Теодор Аденауэр чем-то таким отмечался, но это были исключения, которые не становились национальными мероприятиями, не повторялись в порядке установленной очередности и потому не стали частью общественного сознания.

Таким образом, ритуалы преодоления прошлого в Германии являются совсем недавним явлением, имеющим едва двадцатипятилетний стаж. И с самого начала им не была присуща сила веры, искренности. Они всегда были всего лишь знаками, необходимыми, чтобы доказать что-то внешним наблюдателям. Они были пресной упаковкой, а содержание не передавалось с верой и убеждением. Поэтому неудивительно, что эти ритуалы ничем не оканчиваются и не оказывают никакого влияния на настроения немцев — разве что отрицательное: ведь несмотря на возрастающее

удаление и самозащиту от памяти о «прошедшем», со временем мертвые евреи все больше возвращаются в Германию![4] Чем дальше в прошлое уходит Холокост, чем больше желание дистанцироваться от геноцида евреев, в котором виноваты родители или дедушки-бабушки, тем ощутимее становится присутствие мертвых евреев в общественном сознании Германии. Это явление неоднократно можно было наблюдать в широком масштабе: в 1979 году в связи с телесериалом «Холокост», давшим название убийству европейских евреев, в связи с фильмом Стивена Спилберга «Список Шиндлера» в 1990-е годы, а также в связи с книгой Дэниэля Джона Гольдхагена «Добровольные помощники Гитлера» или вызвавшей бурные споры выставкой о вермахте.

Шесть миллионов мертвых евреев бродят, словно призраки, по Германии, и чем агрессивнее пытаются от них избавиться, тем упрямее они остаются и обращают на себя внимание. Когда пытаются прикрыть «voids», пробелы, как их называет архитектор Дэниэль Либескинд, та пропасть, в которую бросили евреев, становится частью немецкого пространства[5]. Каждый еврейский музей, каждая отреставрированная синагога, превращенная в «место встречи» или «памяти», делает отсутствие евреев еще зримее.

В одной бывшей синагоге в Кракове представлена инсталляция, от которой становится тяжело на душе. Там, где раньше молились евреи, сегодня стоит телевизор, по которому беспрерывно показывают исторические кадры — евреев на улицах Кракова и других польских городов. Эти «духи» сегодня присутствуют больше, чем когда-либо. И еще многие поколения тщетно будут стараться избавиться от них.

Таким образом, если не удастся перевести уроки Холокоста в сегодняшнее, активное политическое действие все новых и новых поколений, склеить разлом между якобы прошедшим вчерашним и якобы никак не связанным с прошлым сегодняшним днем, то мертвые евреи обоснуются в Германии навсегда. Тогда они останутся. Не только как часть памяти, но и как вполне реальные привидения, наполняющие общественные пространства своим присутствием, а воздух в Германии — свинцовой тяжестью.

Но в то же время остается все меньше места для реально существующих в Германии евреев. 2005 год наверняка обозначит опре-

[4] См. также: *Zwerenz G.* Die Rückkehr des toten Juden nach Deutschland. 1986.

[5] По всему зданию Еврейского музея в Берлине, построенному Либескиндом, расположено множество застекленных полостей. Эти пустые пространства символизируют отсутствие евреев в Германии и Европе после Холокоста.

деленный рубеж в так называемой культуре памяти. Не потому, что после этого поблекнет память о Второй мировой войне и Холокосте, а потому, что через десять лет, к 70-й годовщине конца войны, уже не будет в живых свидетелей того времени. Большинство преступников уже давно умерли, но к 2015 году не станет и последних евреев, переживших войну еще детьми.

Так что в 2005 году в очередной, последний раз была бы возможность послушать, поспрашивать еврейских свидетелей той эпохи, вступить с ними в разговор и поучиться у них. Но произойдет ли это? Вряд ли. Можно исходить из того, что из евреев в мемориальной суете этого года сделают статистов. Конечно, они везде будут присутствовать в качестве почетных гостей. О них будут заботиться, им дадут выступить, им даже посвятят телевизионные передачи и наверняка откопают ту или иную биографию, о которой напишут статью или снимут фильм, чтобы показать на примере судьбы одного человека, как все было ужасно. Но как лишены смысла германские памятные мероприятия, так рискует его лишиться и медийная подача этой памяти.

Историзация Холокоста — это факт, против которого протестовать бессмысленно кому-либо, включая евреев. Время проходит — тут ничего не поделаешь. Но к ней прибавляется ставшее уже почти что «нормальным», банализующее изображение Холокоста в СМИ, которое не может оправдать проблематика «неизобразимости». Показывают всегда одни и те же картины: въезд в ворота Освенцима-Биркенау, рельсы, горы трупов. Все это уже не вызывает ужаса, а татуированное предплечье, протянутое навстречу камере, в эпоху массовых татуировок не вызывает даже дрожи. Не хватает, мол, слов или альтернативных образов, несколько жалобно и вместе с тем безразлично говорят, пожимая плечами, авторы и режиссеры. Они любят указывать на Примо Леви или Рихарда фон Вайцзекера, Эберхарда Фехнера или Стивена Спилберга[6]. Они, мол, уже все сказали и показали. Но эти попытки снять с себя ответственность не затрагивают сути вопроса. Почти никто за последние годы не предпринял усилий, чтобы отыскать «истинное» во всех истори-

[6] Рихард фон Вайцзекер, бывший федеральный президент, в 1985 году, в 40-ю годовщину конца войны, произнес речь, в которой недвусмысленно высказался о немецкой вине и 1945 годе как годе освобождения Германии. Эта речь считается образцовой и часто цитируется. Немецкий режиссер-документалист Эберхард Фехнер — автор трехсерийного фильма «Процесс» о так называемом «Процессе Майданека», который задал планку освещения Холокоста в документальном кино.

ях о Шоа. Ту истинность, которую, стоит только захотеть всмотреться, можно найти в лицах и душах переживших ее. Надо только взять на себя труд честно выслушать их, надо только набраться терпения, чтобы по ту сторону ритуализованного или даже пустословного рассказа, который эти люди развили за последние 60 лет в целях самообороны, познать истинность пережитого.

Разве какой-нибудь документалист после Клода Ланцманна и его девятичасовой эпопеи «Шоа» взял на себя труд глубже вглядеться в эту неописуемую бездну и положить все необходимое время как на поиски материала, так и на сам рассказ? Вряд ли мы когда-либо увидим, чтобы — прежде всего — телевидение потрудилось дать жертвам то пространство, которое им нужно, чтобы рассказать больше, чем привычные истории. Истинную историю этих людей не так просто втиснуть в обычные телевизионные форматы. Но какой канал сегодня еще позволит себе «подарить» несколько часов эфирного времени передаче, не повышающей рейтинг, да, быть может, еще и до 23 часов?

А евреи? Что происходит с реально существующими евреями в этом актуальном круговороте памятных мероприятий? Они подстроятся под пустословное, маскообразное, пустое. Ведь и официальная еврейская память разработала декоративные слова, которые произносятся в случае необходимости, поскольку в обществе ФРГ нет спроса на истинность. Евреи как-то к этому приспособились, не хотят делать слишком больно немцам-неевреям — потомкам убийц. Они примирились с этим и тем самым способствуют банализации памяти о Шоа. Вместо того чтобы противиться этой тенденции и отказаться от участия в этой игре, они готовы делать хорошую мину, чтобы спектакль был «укомплектован» и шел «политически корректно».

И наконец, немецкая память в 2005 году уже лишь отчасти связана с немецкими преступлениями, с убийством евреев Европы.

Немецкая память сейчас переходит в дискуссию о праве интерпретировать 1939—1945 годы. Если уже больше десятилетия все согласны, что 1945 год следует воспринимать как год «освобождения», то с некоторых пор полным ходом идет дискуссия о немцах как жертвах Второй мировой войны. Соответствующие публикации о страданиях немцев во время бомбардировок Дрездена, Гамбурга и других городов стали бестселлерами, в Мюнхене готовится выставка в память о 1945 годе, для которой население попросили предоставить какой-нибудь предмет, с которым связаны воспоминания. Что это значит? Можно представить себе эту выставку: каждый реквизит поведает нам о страданиях, нищете, лишениях и от-

чаянии немецкого гражданского населения. Немцы как страдающие, как жертвы — это ли новый официальный образ войны и ее конца?

Память тем временем превратилась в поле битвы за будущее право на интерпретацию; идет переосмысление истории или, по крайней мере, попытка такого переосмысления. Но там, где это происходит, для евреев уже не найдется места, они не нужны уже даже как статисты, поскольку одно их присутствие все же не дает исчезнуть старой немецкой вине.

К тому же они уже давно лишились необыкновенности, поскольку и они теперь уже по большей части — послевоенное поколение, и поэтому в чужих глазах они лишены «авторитета» переживших Шоа, хотя им было бы что рассказать о психическом разрушении их родителей: ведь они — дети жертв и проводили с ними в детстве и отрочестве день за днем и, главное, ночь за ночью. Даже евреи, родившиеся после войны, могли бы передать кое-что от той «истинности», пусть даже из их уст это будет звучать лишь как эхо. Это больше, чем ничего.

Но их не захотят слушать, так же как и последних переживших то время евреев. Не захотят слушать и жертв из других стран, на них уже нет времени, внимания, терпения. Германия в своей «памяти» слишком занята сама собой, чтобы суметь просто замолкнуть и послушать.

Перевод с немецкого Михаила Габовича

Вольфрам Ветте

ГИТЛЕРОВСКИЙ ВЕРМАХТ

Этапы дискуссии вокруг одной немецкой легенды

Более полувека у немцев был в основном позитивный образ вермахта в период национал-социализма и Второй мировой войны. В 1945 году решением держав-победительниц военная организация нацистского государства была полностью ликвидирована. Но легенда о ней осталась в сознании людей. И возникла эта легенда не случайно. В конце Второй мировой войны она родилась в среде высшего военного руководства Германии и в последующем систематически пропагандировалась. Начало положил преемник Гитлера на посту главы государства и верховного главнокомандующего вермахта гросс-адмирал Карл Дёниц, когда в последнем выпуске «Wehrmachtbericht» (доклада о состоянии вермахта) от 9 мая 1945 года заявил, что германский вермахт сражался «героически», «с честью», «изо всех сил», неся большие жертвы, всегда оставаясь верным воинской присяге, а «результаты его военных действий незабываемы»[1]. По меткому выражению, германский вермахт, конечно, проиграл Вторую мировую войну, зато добился победы после 1945 года, а именно в борьбе за представление о себе в глазах общественности — немецкой и международной.

Итак, апологеты вермахта, говоря чисто технически, очень хорошо сработали. Им удалось прочно внедрить в историческое сознание общества приукрашенный образ вермахта — «чистого», ничем не запятнавшего себя во время Второй мировой войны. За то, что у войны была «грязная», темная сторона, которую нельзя

Статья написана для сборника «Диктатуры: дискуссии в России и в Германии», который должен выйти в 2005 году одновременно на немецком и русском языках, и расширена по просьбе редакции «НЗ».

[1] Wehrmachtbericht vom 9.5.1945 // Die Niederlage 1945. Aus dem Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. München, 1985. S. 404.

отрицать, — массовое уничтожение евреев, цыган, советских военнопленных, гражданского населения оккупированных стран — несут ответственность другие организации нацистского государства, прежде всего СС.

В содержательном плане легенда о вермахте имеет несколько аспектов. Утверждается, что

— вермахт не был послушным орудием Гитлера, его командование довольно часто возражало диктатору;

— с 1939 по 1945 год вермахт не совершал военных преступлений, то есть не нарушал систематически международные военные конвенции;

— он не принимал участия в Холокосте;

— в целом он вел обычные военные действия; если же и имели место «эксцессы», что не оспаривается, то это были исключения, как говорится, «лес рубят — щепки летят».

Авторы легенды о вермахте преследовали далеко идущие цели. Процесс расплаты с периодом нацистской диктатуры, имеющий политический, юридический и морально-нравственный аспекты, надо было канализировать. Давалось «добро» на политический и нравственный расчет с Гитлером, государственной партией НСДАП, с осужденными в Нюрнберге главными военными преступниками, с СС и гестапо. Напротив, вермахт в общественном сознании должен был оставаться таким, каким его представлял себе Дёниц.

В окружении Дёница никто не видел повода стыдиться. Наоборот, придерживались старого солдатского принципа «Лучший способ обороны — это нападение». Тот, кто критиковал столь выгодно представленный вермахт, впредь считался осквернителем и предателем. Гитлера можно было выставлять как достойную сожаления «производственную травму» германской истории. Диктатор неправомерно использовал армию, но она ни в коем случае не должна была остаться в памяти в качестве «второй колонны» нацистского государства, как однажды сам Гитлер определил роль вермахта в созданной им системе.

Уже в конце войны, в 1945 году, в форме легенды о вермахте в мир была запущена великая, но не единственная ложь о периоде национал-социализма. Она была — и в этом состоит ее историческое значение — с благодарностью воспринята и запечатлена в душах миллионов бывших солдат вермахта и членов их семей. Если учесть, что через службу в вермахте прошли почти 18 миллионов солдат и полмиллиона женщин, то можно представить себе масштаб проблемы. С крахом нацистского государства те, кто вплоть до

момента самоубийства Гитлера видели и воспринимали себя частью национал-социалистической народной общности, должны были отказаться от многих ценностных и жизненных установок. Единственное, за что они могли ухватиться, чтобы сохранить преемственность, — это вновь востребованные в послевоенное время антикоммунистическая ориентация и воспоминание о вермахте, которому будто бы не в чем было себя винить.

Историческая наука в Федеративной Республике Германии сначала была не в состоянии скорректировать такое представление. Она интенсивно занималась падением Веймарской республики и захватом власти Гитлером, затем — структурой гитлеровского государства и событийной стороной Второй мировой войны. По сравнению с этими темами ведение войны вермахтом, так же как и Холокост, долгое время оставалось «белым пятном».

Оглядываясь назад, следует признать, что — если считать с окончания войны в 1945 году — прошло полвека, пока с приукрашенного образа германского вермахта не начал сходить глянец. Правда, с конца 1960-х годов систематически публиковались результаты отличавшихся критическим подходом исследований в области современной военной истории[2]. Но их замечали только профессионалы и едва ли — широкая общественность в самой Германии, тем более — за рубежом. Настоящий прорыв произошел в 1995 году[3], когда массовому зрителю была представлена выставка гамбургского Института социальных исследований под названием «Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941—1944 годах»[4]. Эта выставка покончила с представлением о том, будто вермахт вел совершенно обычную войну. Она продемонстрировала, что высшее армейское командование уже накануне нападения на

[2] Первопроходцем стал Манфред Мессершмидт: *Messerschmidt M.* Die Wehrmacht im NS-Staat. Zeit der Indokrination. Hamburg, 1969. Затем последовали работы: *Streit Ch.* Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen. Stuttgart, 1978; «Unternehmen Barbarossa». Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941. Paderborn, 1984. Обзор исследований можно найти в томе: *Müller R.-D., Ueberschär G.R.* Hitlers Krieg im Osten. Ein Forschungsbericht. Darmstadt, 2000.

[3] См.: *Naumann K.* Wenn ein Tabu bricht. Die Wehrmachtausstellung in der Bundesrepublik // Mittelweg 36. 1996. № 1.

[4] См.: Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941—1944. Hamburg, 1995; Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941—1944. Ausstellungskatalog. Hamburg, 1996; Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941—1944. Ausstellungskatalog. Hamburg, 2002.

Советский Союз отдало ряд противоречивших нормам международного права приказов, что на основе этих приказов против Советского Союза велась война на уничтожение — совершались убийства военных комиссаров, военнопленных, гражданского населения и что подразделения вермахта вопреки легенде непосредственно участвовали в Холокосте. С тех пор история вермахта почти на десятилетие стала предметом острой публичной дискуссии. Через пятьдесят лет после окончания войны военное поколение не имело больше сил направлять обсуждение темы так, как раньше. Настало время переосмысления, охватившего сотни тысяч немцев, которых живо интересовали история и политика. Этому способствовало изменение политической ситуации в целом — окончание противостояния Восток — Запад и объединение Германии, а также, не в последнюю очередь, смена поколений.

Сегодня распространенное среди немецкой общественности представление о вермахте периода Второй мировой войны несет на себе печать осознания того, что на нем лежит огромная ответственность за ведение на Востоке в 1941—1944 годы противоречащей международному праву войны на уничтожение. То, что в основных чертах знали уже со времени Нюрнбергских процессов над военными преступниками, было подтверждено немецкими историками и историками других стран. Факты ужасного обращения германского вермахта с советскими военнопленными больше нельзя было оспаривать. Все еще нуждается в исследовании вопрос о масштабах участия вермахта в уничтожении евреев[5]. Между тем молодое поколение немецких историков взялось за эту десятилетиями замалчиваемую тему[6]. При этом они отбирают и используют новые источники, позволяющие не только лучше понять региональные особенности политики уничтожения, но и глубже вникнуть в механизм истребления людей, который — как мы это сегодня понимаем — приводил в действие не один лишь приказ Гитлера, но и инициатива исполнителей.

Установлено, что высшее командование вермахта и сухопутных войск готовило войну на уничтожение на основе письменных при-

[5] Богатый материалом и содержательный сборник «Вермахт. Миф и реальность» (Die Wehrmacht. Mythos und Realität. München, 1999) в недостаточной степени принимает во внимание значение темы участия вермахта в уничтожении евреев. Лишь одна статья из 60, а именно Юргена Фёрстера «Вермахт, война и Холокост», открыто обращается к этой теме.

[6] Яркий пример: *Gerlach Ch.* Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 1944. Hamburg, 1999.

казов и во время войны обрабатывало солдат с помощью направленной на разжигание расовой ненависти пропаганды. Вопрос, почему генералы вермахта пошли за Гитлером по пути войны с расовой спецификой, можно считать выясненным[7]. Непосредственно в преддверии войны с Россией, 30 марта 1941 года, Гитлер выступил перед 250 генералами армии, направляемой на Восточный фронт, с основополагающей речью о характере предстоящей войны против Советского Союза. Следствием этого выступления стало сплочение военной элиты вокруг фюрера нацистского государства, который одновременно был верховным главнокомандующим вермахта. Генералы не высказались против расистски обоснованных планов завоевания и уничтожения, но проявили готовность следовать этим путем. Глубинные причины такого согласия относятся еще ко времени кануна Первой мировой войны и межвоенному периоду. Уже тогда у части немецкого общества, и особенно в военных кругах, присутствовали определенные антирусские и антисемитские настроения, которые позднее смешались с антибольшевизмом и стали существенным элементом идеологической подготовки Второй мировой войны.

Долгое время исторические исследования в Германии обходили тему антисемитизма в армии кайзеровской Германии, Веймарской республики, в годы национал-социализма. В них отрицалась преемственность существования этого образа врага, а ответственность за его неоспоримое наличие во время Второй мировой войны возлагалась на национал-социализм. Однако взаимосвязи очевидны. Речь идет о переписи еврейского населения 1916 года, о политических убийствах политиков-евреев в первые годы Веймарской республики, совершенных действующими и демобилизованными немецкими офицерами, об «арийском параграфе» союза солдат-фронтовиков «Стальной шлем» в 1920-е годы, о введении такого пункта в рейхсвере в 1934 году и о последующей политике уничтожения. В условиях господства национал-социализма антисемитизм впервые стал содержанием государственной пропаганды и в вермахте. Гитлер объединил традиционные для идеологии немецких правых образы врага с представлением о «еврейском большевизме», которое у него предполагало и традиционный антиславизм, и сделал это идеологической основой войны против России. Таким образом, становится понятно, почему в марте 1941 года Гитлер не встретил отпора со стороны немецкой военной элиты.

[7] См.: *Wette W.* Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden. Frankfurt a. M., 2002. Готовится перевод на английский и чешский языки.

18. Заказ № 1423.

Кроме того, между нацистским руководством и командованием вермахта не было видимых расхождений в том, что все «большие дела» и без того могут быть решены только военной силой. Это мышление в категориях политики насилия имело в прусско-германской армии столь же давнюю традицию, как и представление о том, что международно-правовые ограничения на ведение военных действий должны уступить место так называемой военной необходимости[8], а это среди офицеров вермахта вело ко всеобщему неуважению международных военных конвенций.

Опираясь на документы, касающиеся Польши, Сербии и России, специалисты по современной и военной истории показали, как в действительности шла на Востоке война вермахта против «еврейского большевизма»[9]. Они поставили проблему принципиального отличия войны германского вермахта на Западе, в том числе в Греции, Италии и Франции, от войны на Востоке, которое заключалось в отсутствии расистски обоснованной установки на уничтожение[10].

Сегодня точнее и больше, чем несколько лет назад, известно о «маленьком человеке» в форме вермахта — о многих миллионах рядовых солдат и нижних чинов, которые участвовали в завоевательной войне, войне на уничтожение, которую Германия вела на Востоке. Многие следовали идеологическим установкам генералов против воли, но были такие, кто воевал, исходя из собственных убеждений. Последние исследования показывают, что и на этом, нижнем уровне военной иерархии имелось значительное число сторонников режима. Лишь немногим хватало мужества, в пределах возможного, проявлять свое несогласие с этой войной.

С уходом военного поколения, в начале XXI века в немецком обществе начался процесс переосмысления прежних и поиска новых ориентиров. Миф о «чистом вермахте» потускнел, и это было необратимо. В 1990-е годы и в штаб-квартире германского бундесвера на Хардтхёэ в Бонне стали больше задумываться над тем, можно ли и впредь придерживаться существовавшей до сих пор некритической в своей основе интерпретации истории вермахта или в нее необходимо внести коррективы. В материалах внутрен-

[8] См.: *Messerschmidt M.* Völkerrecht und «Kriegsnotwendigkeit» in der deutschen militärischen Tradition // Was damals Recht war... NS-Militär- und Strafjustiz im Vernichtungskrieg. Essen, 1996.

[9] См. библиографию в книге: *Müller R.-D., Ueberschär G.R.* Op. cit.

[10] См.: Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert. Teil II: Deutsche Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg. Darmstadt, 2001.

ней министерской экспертизы «Вермахт в Третьем рейхе»[11] признавалось, что в мемуарах, написанных бывшими генералами вермахта в 1950-е годы, подчеркивалось неучастие армии в преступлениях национал-социализма и что примерно до 1975 года в общественном мнении господствовал принцип разделения вермахта, воевавшего, в общем-то, в соответствии с нормами международного права, и СС как инструмента гитлеровской политики уничтожения. Правда, историческая наука уже к середине 1960-х годов отказалась различать «чистый» вермахт и «грязные» СС. Однако и в середине 1990-х годов нельзя было еще с определенностью говорить о «едином представлении» исследователей о вермахте. Но, отмечалось далее, есть все более выдвигающееся на первый план направление, которое понимает вермахт «как непосредственный инструмент национал-социалистической политики уничтожения». Корректно были перечислены новые научные выводы: вермахт играл существенную роль в уничтожении евреев; в борьбе с партизанами он осуществлял геноцид; уничтожал военнопленных; отдавал и исполнял преступные приказы, юрисдикция которых вкупе с осуждением и жестоким наказанием дезертиров подавляла Сопротивление против национал-социализма. Наконец, общий вывод гласил: «Вермахт причастен к национал-социалистической политике насилия. В ходе войны он все больше втягивался в преступления Гитлера и его режима. Масштабы участия и вовлеченности все еще ставят перед исследователями проблемы и требуют дальнейшей научной работы»[12]. Политический вывод был сформулирован так: «Интеграция вермахта в национал-социалистическое государство, его — пусть и неправомерная — инструментализация в целях преступной политики режима, а также влекущее вину и наказание участие военнослужащих на всех ступенях армейской иерархии в злодеяниях нацизма не позволяют рассматривать вермахт в качестве основания традиции бундесвера»[13].

Выступая в октябре 1996 года в Мюнхене перед командным составом бундесвера, министр обороны Фолькер Рюэ (ХДС) недвусмысленно указал: «Вермахт как организация Третьего рейха, его верхушка, подразделения и солдаты были втянуты в преступления национал-социализма. Поэтому как институт он не может быть

[11] Bundesministerium der Verteidigung, Fü S I 3 — Az 50—00—00 vom 25. 4. 1995, betr.: Wehrmacht im Dritten Reich.

[12] Ibid. Ziffer 14.

[13] Ibid. Ziffer 16.

основанием традиции...»[14] Тем самым длившаяся десятилетия дискуссия на время закончилась, насколько слова министра вообще могут этому способствовать.

Сегодня германский вермахт времен национал-социализма предстает перед нами как гигантская машина уничтожения, которая принесла всему Европейскому континенту неисчислимые беды, нимало не заботясь о гуманности и международном праве. Если опираться на ценности гражданского общества, которые постепенно, в процессе длительных преобразований утвердились в послевоенной Германии и резко контрастируют с ценностными установками прежней культуры войны[15], то сегодня лишь небольшие группы военных, которые так или иначе оказывали сопротивление войне на уничтожение, могут надеяться на уважение потомков. Уже давно, хотя и все равно с опозданием, военные, которые участвовали в заговоре 20 июля 1944 года, получили признание как люди, не принявшие диктатора и дорожившие истинными интересами страны. Такая репутация время от времени подвергается сомнению, не только из-за того, что они не были демократами, но главным образом в силу того обстоятельства, что они — до того, как проявили мужество и готовность совершить покушение, — сами были «втянуты» в войну на уничтожение. В то же время многие граждане нашей страны сегодня с уважением относятся к дезертирам вермахта, к тем, кто уклонялся от военной службы или содействовал разложению армии и подрывал ее мощь, отказываясь следовать правилам этой войны. В последнее время интерес направлен на немногих военнослужащих вермахта, которые помогали и спасали жертв[16], доказывая тем самым, что и в этом — многократно представлявшемся как тотальная организация — аппарате насилия были возможны продиктованные гражданским мужеством действия против приказов и ожиданий командиров. Легенда о «чистом вермахте» разрушена.

Перевод с немецкого Марианны Корчагиной

[14] Цит. по: *Vogel W.* Die Wehrmacht ist kein Vorbild. Volker Rühes klares Wort zum Selbstverständnis der Bundeswehr // Die Zeit. 1.12.1996. № 49. S. 16.

[15] См.: Von der Kriegskultur zur Friedenskultur? Zum Mentalitätswandel in Deutschland seit 1945. Münster, 2000; *Jarausch K.* Die Umkehr. Deutsche Wandlungen 1945—1999. München, 2004.

[16] Retter in Uniform. Handlungsspielräume im Vernichtungskrieg der Wehrmacht. Frankfurt a. M., 2002; Zivilcourage. Empörte, Helfer und Retter aus Wehrmacht, Polizei und SS. Frankfurt a. M., 2004.

Франка Маубах

«ВОЕННАЯ ПОМОЩНИЦА» — ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ ФИГУРА КОНЦА ВОЙНЫ

Когда Ханне Рудольф в интервью рассказывает об отступлении и бегстве из Восточной Пруссии зимой 1944 года, тон ее воспоминаний становится напористым. В тот момент ей было 23 года и она состояла на должности помощницы при штабе, то есть стенографистки в составе подразделения транспортных войск. Впечатляющие образы из рассказа женщины, ныне жены пастора, все без исключения относятся к известному набору нарративных шаблонов, которые сформировались в конце войны. Вместе с тем они воспринимаются как проповедь о светопреставлении благодаря почти литературному, рельефному стилю и внезапному переходу к использованию настоящего времени, погружающего слушателя в происходящее:

> *Да, мы отступали* [из небольшого местечка в Восточной Пруссии, где располагалась ее военная часть. — *Ф.М.*]. *Пару раз останавливались в имениях на постой. А потом наступила суровая зима, с 20-градусными морозами. Мы вышли к заливу, к Фромборку*. Красивый собор Коперника. Мы простояли целый день в [потоке] беженцев... в огромном потоке беженцев. Я не знаю... я не могу вам это никак объяснить, люди тянулись потоком шириной с улицу[?]: с детскими колясками, с большими повозками, упряжками. Матери с детьми на руках. И этот страшный мороз. И вот мы прибыли во Фромборк.*

Статья основана на автобиографических интервью и других эгодокументах бывших «помощниц». Она посвящается Луцу Нитхаммеру к его 65-му дню рождения.

* *Нем.* — Frauenburg, *польск.* — Frombork. Речь идет о Висленском, или Калининградском, заливе *(нем.* — Frisches Haff, *польск.* — Zalew Wiślany). — *Примеч. пер.*

Всем частным лицам было разрешено двигаться дальше, а мы как моторизованное подразделение не получили смены, можем ли мы двигаться дальше или же должны обороняться. И здесь, собственно, происходит переломный момент в моей жизни. Если бы мы тогда не получили бы смены, а пришел бы сверху приказ, что мы должны остаться здесь, что мы должны защищать Кёнигсберг, то, возможно, я была бы тогда среди тех 90 000, которые там погибли. Только под вечер, после безумного ожидания, время от времени заходя в собор, а потом назад к людям... [...] И только под вечер, как только настала ночь, пришел приказ о смене. Нам разрешили переправиться на ту сторону, через замерзший залив на машинах. Лед в некоторых местах был уже некрепкий, так что наша кухня провалилась под тонкий лед. Она была тяжелее, чем наша машина, и потому утонула. Но мы все же добрались до спасительной суши Балтийской косы[1].

За исключением незыблемо возвышающегося над Фромборком собора, в этом эпизоде, рассказывающем о первом этапе бегства, все находится в абсурдном движении, которое стремится вперед и увязает одновременно. Едва снявшись с места, беженцы вынуждены были останавливаться, а на берегу Калининградского залива «огромный поток беженцев» полностью превращается в охваченную паникой людскую массу. Слова Рудольф об обороне «крепости Кёнигсберг» являются метафорой граничащего со смертью, бессмысленного сопротивления на потерянных позициях, угрозы для жизни, о которой говорят в сослагательном наклонении. Слово «спасение» несет также высокую метафорическую (религиозную) нагрузку и означает «поворотный момент» в биографии: возвращение в историю своей жизни после борьбы со смертью.

Вера сыграла функцию защитной силы и тогда, когда армия перестала выполнять эту функцию. Ханне Рудольф и ее сослуживица Кристель Ункель как помощницы не входили в состав регулярной армии, а принадлежали к так называемой «свите» вермахта; их статус был неопределенный, не существовало никаких четких предписаний, как поступать в ситуации поражения с женским персоналом, завербованным на время войны:

[1] Интервью с Ханне Рудольф 29 января 2002 года (запись на мини-диске, хранится в моем архиве; цитируется по принципу: номер записи/минута:секунда), 1/15:32—17:48. Имена всех интервьюированных изменены. (Балтийская коса = Frische Nehrung (*нем.*). — *Примеч. пер.*)

Поначалу мы были вместе с солдатами, но потом мы, девушки, были отсортированы и [предоставлены. — *Ф.М.*] *самим себе... Мы не имели больше никакой защиты... Это было страшно*[2].

В то же время квазигражданский статус оказался выгодным для женщин: сорвав с униформы нашивки или облачившись в гражданскую одежду, они практически ничем не отличались от основной массы женского гражданского населения; их военные функции были забыты и не повлекли за собой — в отличие от положения большинства мужчин — никаких последствий. В словах Рудольф звучит скрытое злорадство: «Потом, однако, мужчины оказались в плену... А мы, значит, были беженками, как и все другие женщины, бежавшие со своими детьми»[3].

Уход из армии состоялся все же не в форме официального увольнения, а в результате брутального акта — изнасилования Кристель Ункель американским солдатом. Ханне Рудольф едва удалось избежать этого традиционного неформального правосудия победителей. Ункель, в свою очередь, описывает в интервью эту сцену эмоциональнее и оценивает ее беспощаднее, полагая, что сослуживцы-мужчины предали ее, вместо того чтобы защитить, — речь идет не о чем ином, как о предательстве, имевшем экзистенциальные последствия. Когда обе женщины после бегства через залив оказались в Мекленбурге, их машину остановили солдаты союзнических войск. На вопрос, заданный солдатами сидящим в машине офицерам, не являются ли эти женщины их женами, офицеры ответили отрицательно, заявив, что это «стенографистки». Оккупанты тут же вытащили женщин из машины, после чего произошли описанные выше события. Дальнейший путь превращается для Ункель в экзистенциальные мучения: она почти не может ходить и все время метафорически сравнивает свои развалившиеся туфли с катастрофическим состоянием здоровья[4].

Все сцены, воспроизведенные в грубых чертах, относятся к стандартному нарративу, который часто присутствует в интервью с очевидцами о периоде конца войны, который с автобиографической точки зрения растягивается, по крайней мере, с середины

[2] Рудольф. 1/21:32—42.

[3] Рудольф. 1/23:27—36.

[4] Интервью с Кристель Ункель, 12 июля 2002 года.

1944-го до середины 1945 года[5]. Их временная структура практически не берется во внимание: последние боевые задания, отступление, бегство и изгнание предстают как постоянное, протекающее вдоль и поперек движение. Рассказы выпадают из рамок осмысленной хронологии жизни и предстают в сознании слушателя вневременными и внепространственными фрагментами, одиссеями, отмеченными странной одновременностью нервирующих задержек в пути и частыми сменами направления движения.

Этот феномен можно описать как массовый опыт автобиографической «постистории» или «постисторического» состояния. До сих пор «постистория» считалась элитарным понятием некоторых немногочисленных интеллектуалов, таких, как Арнольд Гелен, Эрнст Юнгер, Гюнтер Андерс или Жан Бодрийяр. Как установил Луц Нитхаммер в ходе своих исследований коллективных биографий и истории понятий, после 1945 года все они объявляли настоящее внеисторической эпохой. Они полагали, что технизированное массовое общество оказалось в состоянии несущейся неподвижности, кристальной и вечно продолжающейся саморепродукции. Если всмотреться в индивидуальный опыт пережитого в конце войны, приходится применить этот диагноз к его авторам, ведь положения «постистории» коренятся в той решающей субъективной роли, которую в биографии этих мыслителей сыграли национал-социализм и война. Воображение некой «постистории» предоставило возможность «проецировать» свое крайне субъективное восприятие бессмысленности и тем самым «разгрузить» его[6]. В своей конгениальной критике «постисторического» диагноза Нитхаммер предложил его сторонникам осознать себя вновь частью массы, и тогда последняя автоматически распадется, в свою очередь, на личности, «которые могут воспринимать, рефлектировать и изменять

[5] В автобиографической истории конкретные исторические даты зачастую либо не играют вообще никакой роли, либо оказываются сдвинутыми во времени. Так, война в сознании отдельных лиц могла начаться гораздо позднее или вовсе не отразиться — например, если война переживается на ее периферии, как это было в случае солдат моторизованной части, о которой рассказывает Рудольф: они «провели прекрасное и тихое время» (15:20—28) в Восточной Пруссии, пока их не настигла близившаяся к концу война. О «персональной периодизации» см.: *Wierling D.* Oral History // *Maurer M.* (Hrsg.). Aufriß der Historischen Wissenschaften: 7 Bde. Bd. 7: Neue Themen und Methoden der Geschichtswissenschaft. Stuttgart, 2003. S. 81—151; цит. S. 131.

[6] См.: *Niethammer L.* Posthistoire. Ist die Geschichte zu Ende? Reinbek bei Hamburg, 1989. S. 10, 163.

свою связь с общественно структурированными процессами»[7]. Таким образом, энергия и маленькие надежды собранных вместе субъективно воспринимающих и свободно действующих индивидов могут быть противопоставлены холостому ходу системы. «История снизу» предоставляет в этом случае рациональное средство от элитарного мировоззрения, не справившегося с жизненным опытом его носителей[8]. Если попытаться применить эту критическую перспективу к «низовому» опыту 1944—1945 годов, то оказывается, что и здесь конец войны зачастую предстает «постисторическим» миром, как показывает пример Ханне Рудольф. Однако ее история указывает и на то, что конец войны предстает не вечным холостым ходом и не началом новой эры, а лишь приостановленным на короткий, переходный момент временем. Ведь в большинстве случаев современники вновь обретают власть над историей. Объединяя солдатскую и гражданскую перспективы, фигура военной помощницы впечатляющим образом отражает тотальность конца войны, уравнивающую различия, окончательно стирающую границы между фронтом и родиной и переворачивающую с ног на голову сложившиеся военные устои. В своих рассказах бывшие помощницы часто высмеивают собственную роль, обличают бессмысленность своих задач и таким образом возвращают себе часть свободы действия. Этот тип памяти не в последнюю очередь является выражением жизненного периода, отмеченного виной и страхом.

Военные помощницы как часть «поколения помощниц»

В общей сложности во время войны было рекрутировано принудительно или по собственной инициативе около 500 000 помощниц, которые выполняли различные функции: как связистки они работали, как правило, телеграфистками и телефонистками в оккупированных немцами областях, обеспечивая постоянную связь между родиной, оккупированными территориями и фронтом; как штабные помощницы они находились в канцеляриях штабов и командных частей; как помощницы частей ПВО в 1944—1945 годах они находились вблизи от фронтовой полосы, обслуживая прожектор-

[7] Ibid. S. 169.

[8] Ibid. S. 170.

ные установки ПВО, освещающие воздушные цели[9]. Но «помощь» девушек использовал не только вермахт, но и СС, Немецкий Красный Крест, Союз противовоздушной обороны рейха и другие организации. В таком масштабе это происходило впервые, и потому феномен помощниц связан с новым типом индивидуального опыта. Можно вести речь о поколении помощниц, ядро которого составляли женщины, рожденные в первой половине 1920-х годов, бездетные, способные работать при любых условиях; многие из них были задействованы в нескольких военных операциях. Речь идет о единственном поколении женщин, прошедшем социализацию при национал-социализме и оказавшемся в условиях войны на ответственных постах. Представительницы этого поколения шли в помощницы добровольно или были рекрутированы принудительно. В обоих случаях их служебный статус регулировался изданными до войны законодательными актами[10] и служить они должны были всю войну. К ним примыкали также женщины более старшего возраста, которые по разным причинам (снова) обрели мобильность: потому, что дети уже выросли или же они никогда не были замужем.

Служба в ПВО как театр абсурда

В рамках назначения Геббельса «рейхсуполномоченным по всеобщей военной мобилизации» в конце июля 1944 года была прове-

[9] Событийная и организационная история отражена в книгах: *Gersdorff U. von.* Frauen im Kriegsdienst 1914—1945. Stuttgart, 1969; *Seidler F.W.* Frauen zu den Waffen? Marketenderinnen, Helferinnen, Soldatinnen. Koblenz; Bonn, 1978; *Idem.* Blitzmädchen. Die Geschichte der Helferinnen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Koblenz; Bonn, 1979; недавние публикации: *Kundrus B.* Nur die halbe Geschichte. Frauen im Umfeld der Wehrmacht 1939—1945 — Ein Forschungsbericht // *Müller R.-D., Volkmann H.-E.* (Hrsg.). Die Wehrmacht. Mythos und Realität. München, 1999. S. 719—738; *Zipfel G.* Wie führen Frauen Krieg? // *Heer H., Naumann K.* (Hrsg.). Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941—1944. Hamburg, 1997 (8-е издание). S. 460—474; на дефицит исследований указала недавно: *Hagemann K.* «Jede Kraft wird gebraucht». Militäreinsatz von Frauen im Ersten und Zweiten Weltkrieg // *Thoß B., Volkmann H.-E.* (Hrsg.). Erster Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg. Ein Vergleich. Krieg, Kriegserlebnis, Kriegserfahrung in Deutschland. Paderborn, 2002. S. 79—106; здесь S. 103—105. Ср. собрание воспоминаний: *Killius R.* Frauen für die Front. Gespräche mit Wehrmachtshelferinnen. Leipzig, 2003.

[10] Распоряжение о чрезвычайной службе от 15 октября 1938 года; Распоряжение о военной обязанности от 13 февраля 1939 года.

дена масштабная акция по призыву женского персонала в вермахт, которая должна была, выражаясь военным жаргоном, «освободить для фронта» солдат, прикомандированных к ПВО. Все посты у прожекторных установок ПВО были заняты женским персоналом. Только в течение одного октября 1944 года заступили на службу 100 000 женщин. За их призыв и внеслужебную организацию отвечала «Служба трудовой повинности женской молодежи рейха» («RAD w. J.»), поставлявшая вермахту как активисток, так называемых «дев» («Maiden»), так и незамужних, не достигших еще 25-летнего возраста «резервисток», то есть уже «служивших» «дев»[11]. Последние прошли через введенную в 1939 году обязательную полугодичную трудовую повинность, как правило, на крестьянских подворьях, а зачастую также прошли обязательную с 1941 года вспомогательную военную службу.

Последние боевые задания с военной точки зрения были уже бессмысленными. Действие становилось самоцелью и в лучшем случае просто отвлекало от неминуемого поражения. Наступила не только общая организационная неразбериха[12] — даже на ограниченном пространстве отдельных постов прожекторных установок в последние месяцы войны не функционировало почти ничто. Они часто являлись простыми свалками не нашедшей применения, непригодной или устаревшей техники: прожекторные установки не могли светить на необходимой высоте или вообще не включались из-за дефицита бензина и электричества, а радары «слепли» от сбрасываемой с самолетов союзнической авиации оловянной фольги. Когда же наконец удавалось как положено осветить вражеский бомбардировщик, то оказывалось, что у зенитчиков закончились боеприпасы. Поражает, что большинство помощниц, несмотря на катастрофические условия, «держались на посту» до последнего; массового дезертирства отмечено не было. Это нельзя объяснить одним только террором в отношении лиц, уклонявшихся от исполнения военного долга, или юношеским идеализмом. Некоторые помощницы, находясь даже в таком плачевном положении, про-

[11] Об этой практике см. исследование: *Morgan D.G.* Weiblicher Arbeitsdienst in Deutschland. Phil. Diss. Mainz, 1977.

[12] См.: *Seidler F.W.* Frauen... S. 68—74. Об институциональном контексте вспомогательной женской службы см. также: *Nolzen A.* Von der geistigen Assimilation zur institutionellen Kooperation: Das Verhältnis zwischen NSDAP und Wehrmacht, 1943—1945 // *Hillmann J., Zimmermann J.* Kriegsende 1945 in Deutschland, im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes. München, 2002. S. 69—96.

являли недюжинную инициативу и дослуживались в последние недели войны до командиров расчетов прожекторных установок[13]. Определяющую роль здесь сыграл тот фактор, что вермахт использовал контингент женщин RAD, уже имевших опыт военных лагерных сборов и обладавших чувством товарищеской поддержки. Такие женщины были знакомы с военной муштрой и солдатской дисциплиной. В случае помощниц ПВО речь в основном шла о женщинах, рожденных в 1920-е годы, прошедших социализацию при национал-социализме, знакомых с кодексом женской солидарности благодаря членству в Союзе молодых девушек при Союзе немецких девушек* и привыкших к разлуке с домом. Скорее не идеология, а именно этот габитус поддерживал мораль сопротивления, даже если одно было почти неотделимо от другого.

Хотя воспитанная в лагерях женская солидарность коренится в солдатской традиции, не следует спешить с выводом о том, что эта подготовка облегчала интеграцию женщин в скрепленную узами мужского братства военную среду. Скорее наоборот, раздельная половая социализация и закон войны привели к тому, что отношение к противоположному полу казалось хрупким, ломким и абстрактным, в то время как женская солидарность являлась непосредственным опытом, живой формой отношений и надежной опорой. Кроме того, сверстники-мужчины, в отличие от женщин, обладали передаваемой по мужской линии от поколения к поколению традицией солдатского опыта. За длившуюся в большинстве случаев всего несколько месяцев вспомогательную службу женщины едва успевали выработать лояльность по отношению к армии.

Столкнувшись с внутренней жизнью армии, помощницы были неприятно удивлены, несмотря на то что они с детства были знакомы с униформой, строевым шагом, муштрой и товарищескими отношениями. Эта глубинная ирритация, а также доминирующее ощущение бессмысленности службы определяют стиль нарратива

[13] Типичный случай вызванной войной женской инициативы и общественной активности и ее продолжения после войны прослеживается и интерпретируется Луцем Нитхаммером на примере судьбы Эльзы Мюллер (р. 1924): *Niethammer L.* Heimat und Front. Versuch, zehn Kriegserinnerungen aus der Arbeiterklasse zu verstehen // *Niethammer L.* (Hrsg.). «Die Jahre weiß man nicht, wo man die heute hinsetzen soll», Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet (LUSiR). 3 Bde. Bd. 1. Berlin; Bonn, 1983. S. 163—232; цит. S. 199—205.

* Союз носил название «Jungmädelbund», объединял девочек-подростков в возрасте от 10 до 14 лет и входил в состав союза «Bund deutscher Mädel». — *Примеч. пер.*

о ПВО. Воспоминания как образованных, так и малообразованных женщин передают перевернутый мир конца войны как театр абсурда. Примерами могут служить истории с униформой, играющие в интервью особую роль: помощницы ПВО носили мужскую униформу и благодаря этому принудительному «cross-dressing» играли роль противоположного пола, будучи даже внешне военно-гражданскими гермафродитами, продуктом скрещивания солдата и женщины. Изображая в этих костюмах солдат, они абстрагировались на какой-то момент от ситуации войны, в которой они оказались вынужденно, избавляясь от чувства страха, и даже иронизировали над командирами, подрывая таким образом авторитет последних. Свидетельства, содержащиеся в отрывке из автобиографии Кристы Мевес, повторяются во многих аналогичных воспоминаниях:

> *Она* [новая униформа. — *Ф.М.*] *вполне подходила; даже для меня, с ростом 1,81 м, у них нашлись форменные брюки, которые вообще-то предназначались для призывников-мужчин и которые налезли на мои ноги. Возникает мрачный юмор. Мы изображаем пантомиму с противогазной маской и пилоткой, мы пытаемся научиться завязывать галстук, мы примеряем парадно-выходную униформу. [...] Насвистывая трели, мы несемся по коридорам, мы появляемся в классах, щелкая каблуками, вытягиваемся по стойке смирно перед преподавателем и, приложив руку к пилотке, должны рапортовать: «Разрешите доложить, господин фельдфебель, занятие окончилось». Следующий акт: поворот на каблуках на 180 градусов и третий — выход из класса, чеканя шаг. Убогий фарс!*[14]

Лексикон фиктивного, абсурдно вырванного из действительности мира тянется красной нитью через весь рассказ. По ироническому замечанию другой бывшей помощницы ПВО, они светили прожекторами во время обучения «только понарошку», поскольку не хватало бензина; «нас там держали, играя с нами в войну, до тех пор, когда уже было поздно отправить нас назад на родину»[15].

[14] *Meves Ch.* Mein Leben. Herausgefordert vom Zeitgeist. Gräfelfing, 1999. S. 55—56. Похожие описания встречаются также в эгодокументах периода национал-социализма. См. почти идеал-типические, стилистически блистательно отражающие положение вещей записи в дневнике помощницы ПВО Урсулы Грацл-Мартин: *Gratzl-Martin U.* Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA). MSg 2/3040.

[15] *Kirsten-Herbst R.* Mädchen an der Front. Eine Flakhelferin erzählt. Asslar, 1985. S. 27.

Смена ролей как стратегия отступления

Более или менее четко сформулированное обвинение, что военное командование обращалось с помощницами безответственно, что их гнусно бросили на произвол судьбы, после того как они, подчиняясь долгу, держали позиции, тянется как топос практически через все доступные мне воспоминания бывших помощниц ПВО. Как правило, им еще до официального объявления о конце войны и до появления на их позициях солдат союзнических войск вручали увольнительные документы и советовали найти приют где-нибудь неподалеку или попытаться добраться до дома[16]. Это окончательно убедило женщин в том, что надеяться можно только на товарищеские отношения между женщинами, и они стали пробиваться домой по двое, как Хана Рудольф и Кристель Ункель, или небольшими группами. Во время опасного и хаотичного возвращения, когда еще (или уже) невозможно было ориентироваться во властных отношениях, помощницам помогал их промежуточный военно-гражданский статус. Меняя униформу на штатскую одежду, они мгновенно могли принять образ женской невинности и стать как бы невидимыми для союзников, которые автоматически подозревали каждого мужчину в военной или политической роли (хотя для женщин всегда сохранялась потенциальная опасность стать жертвой изнасилования). Этот камуфляж женственности отражают рассказы об изменении и утайке униформы, которые прочно вплетены в сцены воспоминаний, рассказывающие о возвращении с мест службы. В автобиографии бывшей помощницы ПВО Рут Кирстен-Хербст содержатся схожие с воспоминаниями Ханне Рудольф формулировки:

> *Потом мы увидели мужчин в гражданском и в американской униформе, идущих от дома к дому. Очевидно, они обыскивали все подворья и контролировали всех людей. С этого момента мы больше не были солдатами вермахта, не смели больше ими быть, а стали обычными беженцами, как и многие другие. Мы сняли нашу униформу и надели обычную одежду, у кого она была. Документы мы сожгли в кухонной печи, а вместе с ними*

[16] Всеобщий приказ об увольнении был издан 7 мая 1945 года, см.: BA-MA RL 7/547. Blatt 167. Те помощницы, которые служили на оккупированных немцами территориях и оказались в плену, как правило, быстро освобождались, пройдя процедуру проверки. С другой стороны, практически ничего не известно о помощницах, попавших в советский плен. См.: *Seidler F.W.* Frauen... S. 165 f.

и знаки отличия и наши шинели от RAD. Униформу мы спрятали на самом дне наших рюкзаков. Нам не хотелось ее сжигать вместе с документами и шинелями, ведь мы не знали, не будем ли мы вскоре рады любой теплой одежде. Мы также сохранили свои увольнительные, хорошенько спрятав их. [...]

К счастью, они [американцы, контролировавшие дома. — *Ф.М.*] *не интересовались нами. Тогда имелись другие, более важные и опасные персоны, чем молодые девушки. Мужчин проверяли гораздо строже*[17].

Как далеко могла заходить смена ролей, предоставлявшая во всеобщем хаосе некоторую свободу действий, иллюстрирует пример Зигрид Майснер. Она родилась в 1925 году в семье с ярко выраженными социал-демократическими симпатиями и дезертировала в марте 1945 года[18]. Майснер была принудительно рекрутирована в 1943 году и служила в Италии связисткой. После отступления в январе 1945 года она поступила в распоряжение службы коммутаторной связи одного из больших городов в Северном Рейне-Вестфалии, но уже спустя два месяца ее отозвали и направили в Баварию. Выполняя приказ, она прошла большую часть пути пешком вместе с тридцатью другими сослуживицами, при том что для женщин, находившихся все еще на службе, не было организовано ни транспортных средств, ни регулярного питания. И в данном случае, как и во многих других, продвижение по дорогам войны, очевидно, становится самоцелью, не подчиняясь уже рациональным законам. Наконец, когда Зигрид Майснер вместе со своей сослуживицей была временно приставлена к охране багажа на вокзале одного из городишек, она решила воспользоваться временной заминкой, чтобы сменить направление движения. Увидев отходящий в сторону ее родного саксонского города поезд, она спонтанно решила: «Теперь я смываюсь». Присоединившейся к ней сослуживице из Верхней Силезии она сказала: «Для меня все кончено»[19]. До сих пор она с глубоким чувством возмущения рассказывает о том, как их бессмысленно перевозили через всю страну. Сцена на вокзале является ключевой в ее воспоминаниях, поскольку она маркирует момент самостоятельно принятого решения вырваться из предписанной бессмыслицы. Начиная с этого момента Майснер прагматически меняла свои роли гражданского лица и связистки, с одной стороны, закрывая нарукавную нашивку с надписью

[17] *Kirsten-Herbst R.* Mädchen... S. 94.

[18] Интервью с Зигрид Майснер, 6 декабря 2003 года.

[19] Майснер. 1/23:56—25:15.

«Армейская помощница-связистка» от глаз армейского патруля и скрывая униформу от советских солдат в подвале у своей тети в Рудных горах. С другой стороны, она зарегистрировалась в близлежащей военной комендатуре как «отбившаяся», чтобы получить от вермахта продовольственные карточки и карманные деньги. До сих пор «возвращение» в историю своей жизни, обретение самой себя наполняет Зигрид Майснер, в общем-то стеснительную по характеру, удивляющим саму ее чувством гордости за мужество, проявленное ею тогда в крайне непростой ситуации.

Заключение

Именно служба и приключения помощниц в 1944—1945 годы идеал-типически символизируют специфику ситуации конца войны, а именно вырванный из временного измерения личный опыт: чистое, лишенное смысла действие и совмещение военной и гражданской сфер в «тотальной войне» как процесс стирания различий. Благодаря этим характеристикам фигура помощницы пользуется такой популярностью и сегодня, когда стремятся создать эффектную картинку конца войны. Именно поэтому, вероятно, вошло в обиход коллективное название «помощницы вермахта», расшифровать которое можно, только если обратиться к событиям конца войны. К 1 февраля 1945 года планировалось сформировать так называемый корпус помощниц вермахта, который должен был объединить вновь призванных и включить в себя уже находящихся на службе помощниц. Предполагалось создание упрощенной системы призыва, организации и службы в рамках тотальной войны, оставшееся, правда, лишь на бумаге[20]. До этого момента «помощницы вермахта» принадлежали к разным, едва сравнимым друг с другом объединениям, находившимся под патронажем отдельных родов войск (армия, люфтваффе, флот). Вплоть до конца войны термин «помощницы вермахта» почти не употреблялся. Чтобы подчеркнуть эти особенности, а вместе с тем и специфику самого феномена помощниц, необходимо каждый раз указывать конкретную группу, о которой идет речь, и обозначать их совокупность как «военные помощницы»[21].

[20] См.: *Seidler F.W.* Frauen... S. 165 и след.; см. также документы, опубликованные фон Герсдорфом: *Gersdorff U. von.* Frauen... S. 470—508.

[21] Эту корректную формулу использует первый специалист по истории организаций помощниц Франц В. Зайдлер. Зато Зайдлер, к сожалению, при-

Командование корпуса помощниц вермахта ориентировалось, в свою очередь, на группу помощниц, которая к 1945 году уже имела традиции и с годами выросла в стройное объединение, — на армейских связисток[22]. Они с 1940 года служили на оккупированных немцами территориях.

Таким образом, представляется необходимым сменить перспективу и обратиться к службе помощниц не в конце войны, а в ее начале. Принимая во внимание описанные в этой статье процессы, так и тянет присоединиться к расхожему мнению о том, что призыв женщин в армию являлся крайней мерой в условиях грозящего Германии поражения. Однако история помощниц берет свое начало в фазе победоносных «блицкригов». Сфера компетенций помощниц расширялась в течение всей войны и нередко выходила далеко за рамки «помощи» — они превратились в ключевых сотрудников, и как следствие приказом верховного командования вермахта их объявили солдатами[23]. Большая часть начавших службу раньше армейских помощниц-связисток на уровне личного опыта гораздо сильнее идентифицировали себя с армией, чем помощницы ПВО. Многие из них шли служить добровольно, руководствуясь мотивами, включающими в себя идеологию, стремление помочь делу победы, дух авантюризма и желание вырваться из родительского дома. Географическая экспансия и распространение власти национал-социализма повышали самооценку помощниц-связисток, нередко квартировавших в роскошных апартаментах и воображавших себя за границей перед местным населением «арийскими» женщинами и представительницами победившей силы. Вместо стереотипно цитируемой и лишенной истории фигуры помощницы как персонифицированного поражения, перед нами

меняет и широко распространенное до и после 1945 года клише о девушках легкого поведения: женщины, уходившие на войну, «могли быть только потаскухами». Как правило, связисток в армии, люфтваффе и на флоте, носивших на униформе нашивки с изображением молнии, называли «молниеносными девочками». См.: *Seidler F.W.* Blitzmädchen. Die Geschichte der Helferinnen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Bonn; Koblenz, 1979.

[22] *Gersdorff U. von.* Frauen... Dokument № 268. S. 522—529: Приказ главнокомандования сухопутных войск о создании корпуса помощниц вермахта от 16 апреля 1945 года.

[23] См.: *Gersdorff U von.* Frauen... Dokument № 218. S. 441—442: Приказ главнокомандования вермахта от 5 сентября 1944 года. Статус солдат получали и помощницы ПВО, по долгу службы непосредственно обращающиеся с оружием.

вдруг предстает фигура «победительницы», которая в своем самосознании стремилась к участию в историческом процессе и победоносном шествии национал-социализма. Если помощницы 1944—1945 годов сталкивались с концом истории, то связистки, входившие в 1940 году в побежденный Париж, воображали, что стоят в начале поистине исторического процесса.

Авторизованный перевод с немецкого Эллы Каплуновской

Ольга Никонова

ЖЕНЩИНЫ, ВОЙНА И «ФИГУРЫ УМОЛЧАНИЯ»

Нет, меня не сумели
Возвратить из Войны.
Память,
Душу мне
Войной не рви...
Юлия Друнина

Проблемы «ненаписанной истории»

Одной из особенностей Второй мировой войны была невиданная вовлеченность в вооруженный конфликт гражданского населения, в том числе женщин. Бесспорным лидером по масштабам женского участия в войне оказался Советский Союз. Женщины заменили ушедших на фронт мужчин на производстве и составили подавляющую часть медицинского персонала военных госпиталей. Они выполняли вспомогательные работы в действующей армии, входили в состав партизанских отрядов и, наконец, воевали наравне с мужчинами на передовой. Красная армия была первой европейской армией XX века, включавшей в себя отдельные женские боевые подразделения на регулярной основе. Официальная российская историография предполагает, что общая численность женщин, вовлеченных в боевые действия на стороне СССР, составляет 800 000 человек[1]. Известно, что в определенный момент женщины составили примерно 8% личного состава Красной армии[2]. К

[1] *Иванова Ю.Н.* Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах. М., 2002. С. 256.

[2] *Физелер Б.* Женщины на войне: ненаписанная история // Mascha + Nina + Katjuscha: Frauen in der Roten Armee 1941 – 1945. Berlin, 2002. S. 11–12.

сожалению, эта цифра представляет собой лишь голую констатацию факта. Как отмечает Беате Физелер, до сих пор неизвестны соотношение вольнонаемных и военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, их социальный, образовательный, национальный состав и семейное положение[3]. Официальная статистика не выделяет женщин в особую группу при подсчете военных потерь, умалчивает о количестве раненых, контуженых и ставших инвалидами женщин-комбатантов. Столь же «закрытой» является и тема участия женщин в партизанском движении, хотя и здесь их численность была не малой. Удельный вес женщин в партизанских соединениях на оккупированной территории достигал 9,8% (примерно 28 500)[4].

История участия женщин в Великой Отечественной войне пока остается ненаписанной, несмотря на рост интереса исследователей к этой теме в последние годы. Сегодня это в значительной степени связано с архивной политикой и позицией администрации военных архивов в России, весьма медленно и неохотно рассекречивающих материалы, касающиеся последней мировой войны. В связи с этим западные и российские исследователи вынуждены работать главным образом с корпусом опубликованных документов, источниками мемуарного характера, чаще всего происходящими из доперестроечного периода, фондами партийных и комсомольских организаций и материалами, собранными методами устной истории. Последний источник, особенно ценный в свете «закрытости» российских архивов, грозит скоро «иссякнуть»: поколение ветеранов Великой Отечественной — «уходящее поколение». Не задаваясь целью подвести общий историографический баланс темы «женщины в Великой Отечественной войне», все же можно отметить отдельные проблемы, уже сегодня достаточно четко обозначившиеся в исследованиях.

В 1980-е годы прошлого века внимание ученых привлекли женские авиационные подразделения Красной армии — 46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков, 586-й женский истребительный полк и другие. История советских летчиц нашла отра-

[3] *Физелер Б.* Женщины на войне: ненаписанная история // Mascha + Nina + Katjuscha: Frauen in der Roten Armee 1941 — 1945. Berlin, 2002. S. 11—12.

[4] *Fürst J.* Heroes, Lovers, Victims — Partisan Girls during the Great Fatherland War: an analysis of documents from the spetsotdel of the former Komsomol Archive // Minerva: Quarterly Report on Women and the Military. 2000. Vol. XVIII. № 3—4. P. 38—75.

жение в целом ряде специальных исследований и публикаций[5]. Советский опыт использования женщин в боевых действиях наиболее наглядно, на взгляд исследователей, демонстрировал несостоятельность представлений о войне как «мужской работе», сложившихся в военной истории. «Культурный поворот» (cultural turn) 1990-х годов, затронувший и военную историю, подогрел интерес к «женской теме» уже в рамках исследования феномена войны как опыта различных социальных, этнических и прочих групп общества. Гендерные аспекты истории войн стали все чаще привлекать внимание исследователей. Проблема женского участия в Великой Отечественной войне перестала быть только частью перформативной акции — попытки сделать «невидимых солдат» мировой войны видимыми. В современных исследованиях женского участия в войне акцент постепенно смещается на историю женского опыта войны, изучение женских моделей памяти о войне и государственной политики по отношению к женскому военному прошлому, проблемы конструкции и деконструкции женских военных образов, анализ особенностей женской военной психологии и женского поведения[6].

Изучение темы участия советских женщин в Великой Отечественной войне при помощи методик гендерных исследований неизбежно фокусирует внимание на проблеме «совместимости» женщины и войны. Советская и российская историография долгое время исходила из традиционалистских представлений о взаимоотношениях полов, характерных для позднего сталинизма и послесталинского СССР. Женщина считалась неприспособленной для войны в первую очередь из-за своих психобиологических особен-

[5] См.: *Pennington R.* «Do not speak of the Services You Rendered». Women Veterans of Aviation in the Soviet Union // The Journal of Slavic Military Studies. 1996. № 9 (1). P. 120—152; In the Sky Above the Front: A Collection of Memoirs of Soviet Air Woman Participants in the Great Patriotic War. Manhattan, Kansas, 1984; *Erickson J.* «Night Witches, Snipers and Laundresses» // History Today. 1990. № 40. P. 29—35; *Noggle A.* A Dance with Death: Soviet Airwomen in World War II. College Station: Texas AàM University Press, 1994; *Pennington R.* Wings, Women and War: Soviet Airwomen in World War II Combat. Lawrence, Kansas, 2001; *Idem.* Stalin's Falcons: the 586th Fighter Aviator Regiment // Minerva: Quarterly Report on Women and the Military. 2000. Vol. XVIII. № 3—4. P. 76—108; *Полунина Е.* Девчонки, подружки, летчицы. М., 2004, и др.

[6] См., например, исследования последних лет: *Шайде К.* Коллективные и индивидуальные модели памяти о «Великой Отечественной войне» (1941—1945 гг.) // Ab Imperio. 2004. № 3. С. 1—26; *Fürst J.* Op. cit.

ностей — слабости, меньшей устойчивости по отношению к стрессам, материнства. Кратко, но очень выразительно этот подход был сформулирован в названии книги Светланы Алексиевич «У войны — не женское лицо», впервые изданной в Минске в 1985 году[7]. Сегодня ряд исследователей пытаются разрушить сложившийся историографический шаблон. Некоторые из них показывают Великую Отечественную войну в длительной исторической ретроспективе, на протяжении которой русские женщины так или иначе участвовали в защите государства, формируя собственные образцы поведения на случай вооруженного конфликта[8]. Приверженцы другого направления анализируют женское участие в Великой Отечественной войне в контексте формирования новой советской идентичности, связывая войну с утверждением этой идентичности и преодолением не только традиционалистских гендерных представлений и репрезентаций, но и женской телесности[9].

Мобилизованный патриотизм

Одной из ключевых проблем в историографии Великой Отечественной войны является понимание роли «человеческого фактора». Соотношение добровольчества и принуждения, политического контроля и национального самосознания, пассивного участия и героической жертвенности в ходе войны и роль этих факторов в победе — вопросы поставленные, но не разрешенные. В этой связи пример женского участия в Великой Отечественной войне особенно интересен. Женщины в СССР не были военнообязанными, хотя военное законодательство СССР предусматривало в случае необходимости обязательное привлечение женщин в ряды Красной

[7] См.: *Алексиевич С.* У войны — не женское лицо. Минск, 1985. См. также советские и российские исследования, написанные в рамках этой концепции: *Мурманцева В.С.* Женщины в солдатских шинелях. М., 1971; *Она же.* Советские женщины в Великой Отечественной войне. М., 1987; *Галаган В.Я.* Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны. Киев, 1986; *Сенявская Е.С.* Психология войны в XX в.: Исторический опыт России. М., 1999.

[8] См.: *Иванова Ю.Н.* Женщины в истории Российской армии // Военно-исторический журнал. 1992. № 3. С. 86—89; *Она же.* Храбрейшие из прекрасных...

[9] *Гапова Е.* Между войнами: женский вопрос в национальных проектах // Социальная история: Ежегодник, 2003: Женская и гендерная история / Под ред. Н.Л. Пушкаревой. М., 2003. С. 206—207.

армии для несения службы во вспомогательных войсках[10]. Колоссальные потери советских войск на начальном этапе войны привели к тому, что в 1942 году в СССР была проведена массовая мобилизация женщин на службу в действующую армию и в тыловые соединения. Только на основании трех приказов наркома обороны Иосифа Сталина от апреля и октября 1942 года, сравнительно недавно рассекреченных и опубликованных в России, подлежали мобилизации и направлению в войска связи, ВВС и ПВО 120 000 женщин[11]. По мобилизации ЦК ВЛКСМ на военную службу были призваны около 500 000 девушек, 70% которых служили в действующей армии[12]. Женщины должны были заменить отправляемых на фронт красноармейцев во вспомогательных службах и выполнять работу связисток, вооруженцев, водителей автомашин и тракторов, телефонисток, разведчиц, пулеметчиц, номеров орудийных расчетов, кладовщиц, библиотекарей, поваров. В этом же году были изданы приказы о замене годных к строевой службе красноармейцев тыловых учреждений, управлений наркомата обороны, военных округов и штабов фронтов старшими возрастами, ограниченно годными и негодными к строевой службе и женщинами. Еще раньше — в 1941 году — был объявлен приказ о мобилизации всех служащих в армии по вольному найму, а в мае 1942 года — кадровых и вольнонаемных служащих гражданского воздушного флота, где также находилось немало женщин[13]. Численность мобилизованных женщин, хотя и не поддается точной оценке, по всей видимости, достигала сотен тысяч. Обратим внимание на то, что мобилизационная политика советского руководства поддается хоть какой-то реконструкции. А вот реакция женщин на мобилизацию — энтузиазм, попытки уклонения, механизмы адаптации — все это нам практически неизвестно.

В целом мобилизация женщин, проведенная в СССР, не расходилась с принципами, декларированными еще до войны. Согласно этим принципам и представлениям о будущей войне, женское участие в защите отечества было ограничено службой во вспомогательных и тыловых войсках, организацией противовоздушной обороны и работой на производстве.

[10] *Мурманцева В.С.* Советские женщины в Великой Отечественной войне. М., 1974. С. 119.

[11] Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. — 1942 г. Т. 13 (2—2). М., 1997. С. 212—215, 349—350.

[12] *Мурманцева В.С.* Советские женщины... С. 123.

[13] Там же. С. 213—214, 217—218, 230—231, 295—296.

В эти рамки не вписывался феномен, с которым сталинское руководство столкнулось с самого начала войны и который оно в конечном итоге сумело поставить на службу себе и стране, — феномен женского добровольчества. Именно женщины-добровольцы обычно представляют для исследователей основную проблему, заставляя мучительно доискиваться до причин, по которым они отправлялись на фронт выполнять «мужскую работу». Главным источником в этом случае становятся, как правило, эгодокументы и материалы, собранные методами устной истории. Научный анализ личных свидетельств осложняется тем, что в массе своей эти воспоминания возникли спустя много лет после завершения описываемых событий и потому нуждаются в особенно осторожном отношении и научной критике[14]. Анализ мотивов женщин, добровольно отправившихся на фронт, демонстрирует трудно классифицируемое разнообразие. Для некоторых двигателем было стремление отомстить за погибших родственников или мужа, для других — желание последовать примеру родителей и реализовать семейный этический кодекс, для третьих — патриотический этос, характерный для наиболее индоктринированной части советской молодежи[15]. Иной комплекс мотивов конструируется исследователями на основе анализа воспоминаний женщин, воевавших в партизанских отрядах. Поступками женщин, оказавшихся на оккупированных территориях, чаще всего руководили чувство самосохранения, стремление выжить, случай в образе советского командира и вспыхнувшего вопреки войне чувства. Саморефлексия комсомолок, мобилизованных ЦК ВЛКСМ для борьбы с врагом по ту сторону фронта, наполнена патриотическими образами и эмоциями, хорошо знакомыми по властному патриотическому дискурсу межвоенного периода[16].

Обращает на себя внимание тот факт, что патриотический этос присутствует в большей части женских воспоминаний о войне. Исключение не составляют и воспоминания женщин, пострадав-

[14] Уже упоминавшиеся наиболее значительные собрания женских воспоминаний о войне можно дополнить. См.: Женщины на защите Отечества в 1941—1945 гг.: Воспоминания женщин-фронтовиков. М., 1995, а также коллекции воспоминаний и интервью с женщинами-ветеранами в Интернете: www.gender.ehu.by/memory/docs/interwiews/ и др.

[15] См.: *Алексиевич С.* У войны не женское лицо. Повести. М., 1989. С. 25—27, 30 и др.

[16] *Fürst J.* Op. cit.

ших от сталинского террора[17]. Очевидно, что феномены женского участия и женского добровольчества Великой Отечественной войны невозможно осмыслить, не включив их в более широкий контекст формирования новой советской идентичности в период между двумя мировыми войнами. В западной историографии гендерные аспекты образования идентичности и социальной мобилизации получили концептуальное осмысление в рамках исследований конструирования нации[18]. Методы, разработанные для анализа западноевропейского нациеобразования, не поддаются прямолинейной экстраполяции на историю межвоенного СССР. Тем не менее они позволяют интерпретировать патриотический этос. Патриотизм вполне можно рассматривать как важный составной элемент советской идентичности и ключевой компонент технологии социальной мобилизации советского общества[19]. В сочетании с наивно-романтическими представлениями о войне, «шапкозакидательскими» настроениями и неадекватным образом внешнего врага, формировавшимися довоенной пропагандой, советский патриотизм превращался в порой неосознаваемый и нерефлексируемый внутренний двигатель женского добровольчества. Феномен массового женского участия в войне невозможно рассматривать в отрыве от системы дисциплинирования и военного обучения гражданского населения, созданной в СССР между двумя мировыми войнами. Большинство женщин-красноармеек получили первоначальную боевую подготовку накануне и в годы Великой Отече-

[17] См., например, воспоминания детей репрессированных, размещенные на сайте Международного фонда «Демократия» (фонда Александра Николаевича Яковлева): www.idf.ru/10/doc.shml.

[18] См., например: *Higonnet M.R., Jenson J., Michel S., Weitz M.C.* (Eds.). Behind the Lines: Gender and The Two World Wars. New Haven, 1987; *Gallagher J.* The World Wars through the Female Gaze. Carbondale, 1998; *Hagemann K., Pröve R.* (Hg.). Landsknechte, Soldatenfrauen und Nationalkrieger: Militär, Krieg und Geschlechterordnung im historischen Wandel. Frankfurt a M.; New York, 1998; *Grayzel S.R.* Women's Identities at War: Gender, Motherhood, and Politics in Britain and France during the First World War. Chapel Hill, 1999; *Dombrowski N.A.* (Hg.). Women and War in the Twentieth Century. Enlisted without Consent. New York; London, 1999; *Hagemann K.* Von Männern, Frauen und der Militärgeschichte // L'Homme. 2001. № 12. S. 144—153; *Hagemann K., Schüler-Springorum S.* (Ed.). Heimat-Front: Militär und Geschlechterverhältnisse im Zeitalter der Weltkriege. Frankfurt a. M., 2002, и др.

[19] См., например: Chapter 3: Imagining the Motherland... // *Petrone K.* Life has become more joyous, comrades: Celebrations in the time of Stalin. Bloomington, 2000. P. 46—73.

ственной войны в специально созданной для этих целей парамилитаристской организации «Осоавиахим» («Союз Обществ содействия обороне, авиации и химической промышленности»).

Мобилизовав патриотически настроенных женщин, власть оказалась совершенно не готова инкорпорировать их в армейский организм. Женщины, как правило, оказывались один на один с фронтовой повседневностью — не слишком удобной военной формой, отсутствием общих и специальных женских средств гигиены, необходимостью совместного проживания с мужчинами, дефицитом медицинского и гинекологического обслуживания.

Женские воспоминания о войне и официальная мемориальная культура

Женские воспоминания о войне и официальная культура памяти о Великой Отечественной войне существуют как бы в двух различных измерениях. Нельзя сказать, что власть абсолютно обошла своим вниманием фактор женского участия в боевых действиях и партизанском движении. Уже в годы войны методами официальной пропаганды стал формироваться образ женщины-героини, прототипом которой чаще всего была партизанка или санитарка[20]. Этот образ имел весьма опосредованное отношение к женской военной повседневности, женскому восприятию войны и женскому героизму[21]. К тому же он не стал доминирующей гендерной репрезентацией военного времени. Иконография Великой Отечественной войны при изображении женщины в плакате, кино, литературе, популярной песне и прессе была сфокусирована на образе Родины-матери — женщины старшего возраста, своим героическим трудом приближающей победу. Знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня», чрезвычайно популярное в годы войны, акцентировало образ жены, ожидавшей бойца в глубоком тылу. Разрыв с довоенной традицией, когда репрезентация «милитаризованной» девушки стала весьма популярной в советском обществе, был окончательно закреплен в послевоенный период.

Принудительная демобилизация, не учитывавшая намерений и желаний фронтовичек, выбросила большое количество женщин в

[20] *Физелер Б.* Женщины на войне... С. 13.

[21] См.: Героини Отечественной войны (З.А. Космодемьянская и др.). Очерки. Красноярск, 1942; Девушки-воины. Очерки о девушках — героинях Великой Отечественной войны. М., 1944; *Мишакова О.П.* Советские женщины в Великой Отечественной войне. М., 1943, и др.

теперь уже мирное послевоенное общество, озабоченное своими проблемами, живущее незнакомой им мирной жизнью и в соответствии с традиционалистским гендерным порядком. «Вернулась, и все надо было начинать сначала», — вспоминала одна из респонденток Светланы Алексиевич[22]. Многие фронтовички оказались в этом обществе нежданными гостями, бывшими «военно-полевыми женами», боевые заслуги которых унизительно трансформировались в обывательском восприятии в «половые заслуги». Многие исследователи считают точкой отсчета в политике советского руководства по отношению к женской памяти о войне речь председателя президиума Верховного Совета Михаила Калинина, в июле 1945 года рекомендовавшего демобилизованным женщинам не хвалиться своими военными заслугами[23]. Фронтовички превратились в официальной мемориальной культуре в «фигуру умолчания». Отсутствие в послевоенном СССР интеграционной политики в отношении женщин привело к тому, что некоторые из них даже были вынуждены скрывать свое военное прошлое ради налаживания «нормальной» жизни. В результате психологической травмы военного времени и послевоенной политики по отношению к прошлому участницы боевых действий оказались в стрессовой ситуации, в результате которой даже спустя много лет они не хотели вспоминать о войне[24].

И все же фронтовички не были полностью исключены из ритуалов воспоминаний (коммеморации), прочно вошедших в мемориальную культуру СССР в эпоху Леонида Брежнева. Именно брежневское «правление» примечательно тем, что в СССР впервые получила право на жизнь «женская» память о войне. Сегодня почти забылся тот факт, что день 8 марта стал нерабочим в 1965 году. Революционный и феминистский, День женской солидарности был «переозначен» к 20-летию победы в Великой Отечественной войне. Отныне в этот день официально чествовали всех советских женщин и женщин—ветеранов войны в благодарность за их «заслуги в деле коммунистического строительства» и «защиты Родины». Тем самым женщины на государственном уровне были включены в мемориальную культуру войны. В этот же период появилось первое основательное исследование, посвященное женщинам в Великой Отечественной войне. В подтверждение легитимности женской истории войны автор монографии Вера Семеновна Мурманцева процитировала в своей книге высказывание генерального секретаря о том, что «образ женщины-бойца с винтовкой в руках

[22] См.: *Алексиевич С.* У войны не женское лицо. Повести. М., 1989. С. 22.

[23] См.: *Физелер Б.* Женщины на войне... С. 13.

[24] См.: *Алексиевич С.* У войны не женское лицо. Повести. М., 1989.

[...] будет жить в нашей памяти как светлый пример самоотверженности и патриотизма»[25]. На протяжении почти двух «брежневских» десятилетий советский кинематограф пополнился множеством кинокартин разных жанров, в которых тема женщины на войне была центральной или развивалась параллельно с главной («Женя, Женечка и Катюша» (1967), «Крепкий орешек» (1968), «Песнь о Маншук» (1969), «Белорусский вокзал» (1970), «А зори здесь тихие» (1972), «В небе „Ночные ведьмы“» (1981) и др.). Даже в условиях советской цензуры в этих фильмах оставалось место для неформального, женского взгляда на войну. Благодаря популярности кинематографа, этот взгляд постепенно «вплетался» в канву коллективной советской памяти о Великой Отечественной войне. В 1980-е годы Светлана Алексиевич начала работу над книгой женских воспоминаний о войне, которой суждено было стать первой доперестроечной репрезентацией альтернативной памяти. В последующие годы по книге Алексиевич был поставлен целый ряд спектаклей, первым из которых была постановка Анатолия Эфроса в Театре на Таганке в 1985 году. А недавно — в 2004 году — книга была переиздана «без купюр»[26].

И все же наиболее распространенной в советское время формой коммеморации о войне были встречи и вечера ветеранов, на которых они делились своими воспоминаниями с младшими поколениями — школьниками и юношеством. Эта форма была максимально приближена к повседневной жизни каждого советского человека, превратилась в ритуал, повторявшийся из года в год в дни различных юбилеев и праздников. В связи с тем что этот вид коммеморации обязательно включал в себя назидательно-воспитательный компонент, возможность презентации альтернативных моделей воспоминаний о Великой Отечественной войне была практически исключена. Кармен Шайде демонстрирует подобную трансформацию индивидуальных воспоминаний под воздействием официальной культуры памяти на примере деятельности Марины Павловны Чечневой — известной летчицы 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков. Чечнева, написавшая диссертацию, посвященную участию женщин в Великой Отечественной войне, несколько книг о своих боевых подругах и воспоминания о войне, «дистанцировалась от культуры памяти критического толка и обратилась к таким ценностям, как любовь к Родине, чувство долга, коллективное сознание, самоотверженность и абсолютная дисципли-

[25] *Мурманцева В.С.* Советские женщины в Великой Отечественной войне. С. 262.

[26] *Алексиевич С.* У войны — не женское лицо... М.: Пальмира, 2004.

на»[27]. Впрочем, близость образцов толкований и восприятия войны к официальным встречается в воспоминаниях и других летчиц. Это можно объяснить еще и тем, что летчицы отдельных женских подразделений представляли собой своеобразную элиту среди женщин, мобилизованных на защиту СССР. Несмотря на опыт тяжелых физических нагрузок, стрессов, утрат и физических страданий, некоторые стороны военной повседневности были им неизвестны. Для женщин других групп — партизанок, узниц гетто и концлагерей, жительниц оккупированных территорий и блокадного Ленинграда, подпольщиц и красноармеек мужских боевых подразделений — тяжелые случаи дискриминации по половому или национальному признаку, сексуальные преследования, изнасилования, пытки, голод и голодная смерть близких и родственников стали составляющей их опыта войны. Из-за травматичности такого опыта и отсутствия государственных мероприятий по психологической адаптации женщин в подавляющем большинстве женских воспоминаний о войне он остался неартикулированным. Светлана Алексиевич вспоминает, что большинство ее респонденток в ответ на вопрос о сексуальных взаимоотношениях женщин и мужчин во время войны замолкали и отказывались говорить[28].

Попытки власти сохранить героический образ Великой Отечественной войны после перестройки привели к тому, что женские воспоминания о войне не стали предметом обсуждения даже в разрушительные для советского прошлого 1990-е годы. Типичный тому пример — «переписывание» истории Зои Космодемьянской при активном участии газеты «Аргументы и факты», которое не только не привело к нормальной научной дискуссии, но и вызвало ответную попытку реставрировать однополярный взгляд на «героическое» и «не героическое» в войне[29]. Обет молчания был нарушен относительно недавно и за пределами России. Работу по собиранию и анализу воспоминаний женщин-евреек, прошедших нацистские гетто и переживших Холокост, и женщин, угнанных на работу в Германию, начал Центр гендерных исследований Европейского гуманитарного университета в Минске[30]. Белорусские исследовательни-

[27] *Шайде К.* Коллективные и индивидуальные модели. С. 3.

[28] См.: Mascha + Nina + Katjuscha..

[29] Подробно об этом см.: *Горинов М.М.* Зоя Космодемьянская // Отечественная история. 2003. № 1. С. 77—92. К сожалению, автор статьи, реконструируя историю Зои на основе архивных источников, не предлагает новой интерпретации фактов, а ограничивается банальным морализаторством. В связи с этим его полемику с «очернителями» памяти Зои Космодемьянской вряд ли можно считать продуктивной.

[30] См.: www.gender.ehu.by/memory/docs/interwiews.

цы, в какой-то степени являющиеся наследницами и продолжательницами дела Светланы Алексиевич, пытаются показать «другую войну», — войну, рассказанную женщинами. В прошлом году Центр выпустил необычный календарь на 2005 год, каждая страничка которого посвящена одной теме — женщинам на линии фронта[31]. Альтернативные модели военного опыта были представлены на выставке «Катя, Нина и Катюша: женщины в Красной армии, 1941—1945 годы» («Katja, Nina und Katjuscha: Frauen in der Roten Armee 1941—1945»), организованной в Германии немецко-русским музеем Берлин—Карлсхорст[32]. В России женские воспоминания о войне нашли отражение в проектах Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, посвященных индивидуальной и коллективной памяти о блокаде Ленинграда[33]. В 2003 году во время презентации первых результатов проекта были организованы выставка основных символов «блокадной памяти», «круглый стол» «Блокада и память. Блокада и история» и две радиопередачи, посвященные проекту. Женские воспоминания о войне сегодня можно найти на различных веб-страницах, созданных накануне 60-летнего юбилея Победы[34], в сборниках и проспектах выставок региональных архивов и научных изданиях. Наверное, можно говорить о том, что благодаря деятельности ученых и существованию Интернета в России и СНГ появляются новые и, главное, доступные всем желающим «места памяти» в виде архивов интервью и фотоколлекций. Пока что эти «места памяти» фрагментарны и распылены. Масштабы «виртуальных» собраний документов на постсоветском пространстве еще нельзя сравнивать с размахом презентации «женской» памяти о войне некоторых других стран-участниц. Более десятка сайтов представляют только англоязычные ресурсы по этой теме. В их числе — интернет-энциклопедия по истории женщин в годы Первой и Второй мировых войн и фотогалерея британского Имперского военного музея (Imperial War Museum)[35]. В то же время отношение к «женской» памяти о войне в России нельзя считать уни-

[31] См.: http://gender.ehu.by/ru/strip.php?id=834.

[32] Выставка проходила с 16 ноября по 23 февраля 2003 года в помещении немецко-русского музея Берлин—Карлсхорст и была организована при содействии Светланы Алексиевич. См.: www.museum-karlshorst.de/html/museum/sa/maschashtml.

[33] См.: www.eu.spb.ru/eugrant/0206.htm.

[34] См., например: http://kolokol.ru/symbols; www.pobeda-60.ru/ и др.

[35] См.: www.spartacus.schoolnet.co.uk/women.htm, а также другие ссылки, более или менее полное собрание которых можно найти на сайте проекта «Женщины. Память. Война».

кальным. В Германии — стране, проделавшей огромный труд по изучению и преодолению «нацистского прошлого», история женщин в вермахте также считается историографическим «дефицитом»[36]. А интерес к женским воспоминаниям о войне — достояние недавнего прошлого. Пока он находит выражение в сборниках воспоминаний, документальном кино и Интернет-публикациях[37]. Нашумевшая и вызвавшая неоднозначные отклики выставка «Преступления вермахта. Аспекты войны на уничтожение, 1941—1944» («Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941—1944») тематизировала историю женщин на войне главным образом как историю жертв вермахта на оккупированных территориях[38].

Женские воспоминания о войне пока что остаются именно отдельными воспоминаниями, не превращаясь в групповую, коллективную память. В одном из своих интервью Светлана Алексиевич, живущая ныне во Франции, размышляла о причинах этого феномена: «Какие слова найти, чтобы от мысли о войне человека тошнило... Вот женщины и говорят об этом, у их войны другие слова, запах другой и цвет другой. Для них война — это прежде всего убийство. О такой войне мужчины нам не рассказывают, и вот почему они долго не хотели, да и не хотят по сей день, чтобы женщины говорили...»[39]

Великая Отечественная война осталась в памяти последующих поколений войной, у которой не было «женского лица». Почти миллионная армия женщин, принимавших участие в боевых действиях, в официальной мемориальной культуре «растворилась»,

[36] В годы Второй мировой войны во вспомогательных службах вермахта было задействовано около полумиллиона женщин. См.: *Seidler F.W.* Blitzmädchen. Die Geschichte der Helferinnen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Bonn, 1996.

[37] Кроме книги Зайдера, упомянутой выше, в последнее время в Германии были опубликованы: *Killius R.* Frauen für die Front. Gespräche mit Wehrmachtshelferinnen. Leipzig, 2003; *Schmidt I.* Die Mitläuferin. Erinnerungen einer Wehrmachtsangehurigen. Berlin, 1999. В 2000 году был снят фильм Флориана Опитца «Blitzmädchen im Einsatz», а 3 февраля 2005 года один из немецких телеканалов (SWR) показал документальный фильм «Frauen in Uniform. Die Wehrmachtshelferinnen im Zweiten Weltkrieg».

[38] Выставка была организована гамбургским Институтом социальных исследований и показана в 11 городах Германии с ноября 2001 по март 2004 года. Тема «Женщина и война» прозвучала и в публичных дискуссиях и докладах, сопровождавших выставку.

[39] См.: www.litwomen.ru/autogr45.html.

превратившись в невидимых солдат великой войны. Героические репрезентации мужественных женщин-партизанок и сражавшихся наравне с мужчинами летчиц не могли адекватно передать всю полноту женской военной повседневности. Пафосность и монументализм мифа о Великой Отечественной войне до сих пор сторонятся женского взгляда и альтернативных моделей интерпретации военного опыта. Современная российская власть, следуя советской традиции, продолжает беречь свои военные «тайны» от ученых. Сегодня велик риск того, что женский опыт войны окончательно превратится в «фигуру умолчания». Женский мемориал Великой Отечественной пока остается неформальным, воплощаясь в военной лирике Юлии Друниной, воспоминаниях женщин-фронтовичек и кинодраме 1972 года «А зори здесь тихие».

Вместо заключения

Как свидетельствуют ученые, Вторая мировая война в коллективной памяти стран Восточной Европы продолжает сохранять особый статус центрального по своему значению мемориального комплекса, который сложился задолго до «бархатных революций» 1989—1990 годов[40]. Современные официальные интерпретации Великой Отечественной войны также демонстрируют наличие прочной связи с образами и мифами войны советского времени. «Память о тех событиях абсолютно священна...» — обозначил свою позицию российский президент на церемонии вручения наград ветеранам войны[41]. 8 марта 2005 года, принимая в Кремле защитниц Отечества, в том числе и женщин—ветеранов Великой Отечественной, Владимир Путин в очередной раз подтвердил свою приверженность устоявшейся системе ценностей. В этот день о «другой» войне и «женской» памяти вновь не было сказано ни слова.

[40] К этому выводу пришли исследователи, собравшиеся на международную научную конференцию «"Transformationen" der Erinnerungskulturen». Конференция проходила в Германии, в городе Реклингсхаузене с 21 по 24 февраля 2005 года. Информацию о конференции см.: www.interagenda.info/home/termin-550.html.

[41] См.: www.novoteka.ru/event/462086/.

Беате Физелер

«НИЩИЕ ПОБЕДИТЕЛИ»
Инвалиды Великой Отечественной войны в Советском Союзе

Горечь победы

1945 год принес Советскому Союзу величайший триумф окончательной победы над немецкими захватчиками, хотя и ценой, пожалуй, самой страшной трагедии в его истории. Война не только унесла около 27 миллионов человеческих жизней, но и оставила несчетное количество вдов, сирот и инвалидов. В сталинское время все, что могло бы бросить тень на военные заслуги Советского Союза, замалчивалось или отрицалось. Несмотря на то что эти, в сущности, трагические и между тем включенные в исторический большой нарратив Великой Отечественной войны события заняли видное место в национальной памяти, сохранялось официальное молчание о потерях и лишениях и, таким образом, об изувеченных жертвах войны. Этому сопутствовала героизированная политика истории, которую практически не занимал вопрос о социальных затратах войны и в особенности об инвалидах[1].

По мнению очевидцев[2], инвалиды принадлежали к числу самых нуждающихся среди «нищих победителей». Аркадий Шевченко, в

[1] В новейшей четырехтомной истории ВОВ инвалидам войны, вдовам и сиротам посвящено всего несколько страниц: Великая Отечественная война 1941—1945. Т. 3. М., 1998—1999. С. 356—358. Всего несколько строк о них мы находим в издании: Мировые войны XX века: В 4 т. Книга 3: Вторая мировая война. Исторический очерк. М., 2002. С. 465. Впервые отдельные материалы по теме «инвалиды войны» были включены в сборник документов: Советская жизнь, 1945—1953. М., 2003.

[2] Например: *Herling G.* Welt ohne Erbarmen. Wien, 2000 (оригинальное издание: Inny Świat. Zapiski sowieckie. London, 1953); *Bardach J.* (and *Gleeson K.*). Surviving Freedom. After the Gulag. Berkeley, CA, 2003.

19. Заказ № 1423.

частности, вспоминает: «Мужчины возвращались домой с фронта, кто без рук, кто без ног, разные ранения были обычным делом. Ветераны надевали свои орденские колодки, попрошайничая на уличных углах. Они появлялись на открытых рынках и старались сбыть свои медали и шинели, короче — все то, что им удалось сохранить с войны»[3]. До сих пор можно услышать рассказы о том, как в конце 1940-х — начале 1950-х из Москвы и других крупных городов инвалидов высылали в отдаленные регионы, чтобы огромная проблема обеспечения меньше бросалась в глаза[4].

Таким образом, даже после распада Советского Союза проблема инвалидов войны все еще связана, с одной стороны, с многочисленными табу и, с другой стороны, с различными впечатлениями и предположениями. Будучи нежелательным предметом исследования, тема инвалидов войны изучалась несистематически, не говоря уже о широком осмыслении проблемы в целом. Даже когда в ходе «архивной революции» появилась возможность восполнить белые пятна, эта проблематика оказалась лишь вскользь затронутой все разрастающимся потоком публикаций о Второй мировой войне[5]. Как следствие, история инвалидов — жертв Великой Отечественной войны не только не стала темой научных исследований, но и не нашла отражения в сознании многих современников, переживших войну.

Масштабы проблемы

Ни в одной из и без того редких речей Сталина военной и послевоенной поры не упоминается огромная армия инвалидов. Само

[3] *Schewtschenko A.* Mein Bruch mit Moskau. Bergisch-Gladbach, 1985. S. 71 (первое издание: *Shevchenko A.N.* Breaking with Moscow. New York, 1985).

[4] *Kravtschik G.B.* Dornenwege. Ein Leben unter Stalin. Bremen, 1989; *Leder M.* My Life in Stalinist Russia. An American Woman Looks Back / Ed. by Laurie Bernstein. Bloomington, IN, 2001; *Одесский М., Фельдман Д.* Выйти живым из строя. Русская литература, поэтика болезни, здоровья и труда // Дружба народов. 1994. № 3. С. 191.

[5] В качестве исключения можно назвать: *Зинич М.С.* Будни военного лихолетья 1941—1945. М., 1994; *Палецких Н.П.* Социальная помощь инвалидам Великой Отечественной войны на Урале в 1941—1945 гг. // Очерки горнозаводского Урала. Челябинск, 1996. С. 91—108. В то же время в новейшем исследовании в связи с обеспечением инвалидов повторяются пропагандистские фразы военных лет: *Кондакова Н.И.* Война, государство, общество. 1941—1945. М., 2002.

по себе существование бесчисленных искалеченных ветеранов было упреком и, возможно, даже угрозой режиму и его вождю, который считал славную во всех отношениях победу исключительно собственной заслугой. Инвалиды войны с трудом вписывались в лучезарную картину военного триумфа, поскольку наряду с миллионами погибших они слишком очевидно «олицетворяли» ту ужасную цену, которую советскому народу пришлось заплатить за победу.

Согласно одной из новейших публикаций Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, во время войны было демобилизовано около 3,8 миллиона солдат с ранениями и по состоянию здоровья, из них 2 576 000 покинули армию как непригодные к службе инвалиды[6]. Остается неизвестным, сколько из них было вылечено или умерло от ранений. Последующие подсчеты проводились уже не военными учреждениями, а народными комиссариатами (с марта 1946 года —министерствами) социального обеспечения, которые ограничивались республиканским уровнем. Переписью офицеров ведали военные комиссариаты. Официальные данные этих учреждений никогда не были опубликованы, в нашем распоряжении нет даже приблизительных цифр[7]. Поэтому масштабы проблемы инвалидов войны остаются до сих пор неопределенными.

Существуют, правда, данные, согласно которым весной 1945 года на территории всего Советского Союза насчитывалось около 2 миллионов инвалидов войны[8]. Поскольку после войны к ним добавились лица из демобилизованных, репатриированных и партизан, то количество инвалидов должно было бы существенно превышать эти показатели. По самым минимальным предположительным подсчетам, оно должно было бы составлять 2,7 миллиона. Таким образом, число советских инвалидов могло равняться 8% общего состава армии (34 миллиона солдат) — довольно низкий показатель, если учитывать невероятную жестокость развязанной немцами войны на уничтожение, а также беспощадное обращение

[6] *Krivosheev G.F.* (Ed.). Soviet Casualties and Combat Losses in the Twentieth Century. London, 1997. P. 91—92.

[7] *Зинич М.С.* Будни военного лихолетья... С. 21; *Шишкин А.П.* Спорные вопросы санитарных последствий войны // Советская медицина и здравоохранение в годы Великой Отечественной войны. Материалы научной конференции, май 1990 г., г. Москва. М., 1991. С. 129.

[8] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 511. Л. 106.

с человеческими жизнями в Красной армии[9]. Эта пропорция не отражает реального числа ранений и заболеваний и должна трактоваться исключительно как результат сознательно жесткой практики признания инвалидности[10].

Инвалидность — гибкая категория

Правовая и идеологическая семантика категории инвалидности, сложившаяся в 1930-е годы в ходе сталинской «революции сверху», кардинально изменила смысл понятия «инвалидность», замкнув его на производстве, а не на здоровье[11]. Высшей целью отныне провозглашалась мобилизация рабочих сил для строительства социализма. Соответственно инвалидность (а вместе с ней и право на государственную пенсию) давалась с этого момента не за обычные телесные увечья, а только при полной потере трудоспособности, причем на срок не больше одного года.

Заточенное под трудовую политику определение инвалидности нашло отражение во введенной в 1932 году трехступенчатой системе. Согласно новой классификации к первой группе инвалидов относились лица, полностью утратившие трудоспособность и нуждающиеся в постоянном уходе. На вторую группу инвалидности

[9] *Кондратьев В.* Не только о своем поколении. Заметки писателя // Коммунист. 1990. № 7. С. 123; *Prusakowa A.A.* Das Zentralmuseum des Großen Vaterländischen Krieges in Moskau // *Hinz H.-M.* (Hg.). Der Krieg und seine Museen. Frankfurt a M., 1997. S. 82; *Temkin G.* My Just War. The Memoir of a Jewish Red Army Soldier in World War II. Novato, CA, 1998. P. 117, 120.

[10] Совершенно неизвестно, сколько женщин было среди инвалидов Великой Отечественной войны, тем более что данные Генерального штаба вообще не учитывают категорию пола. Даже данные о количестве женщин, служивших в Красной армии, сильно различаются между собой: *Erickson J.* Foreword // *Krivosheev G.F.* (Ed.). Soviet Casualties... P. XI; *Мурманцева В.С.* Женщины в солдатских шинелях. М., 1971. С. 9.

[11] Трудовое устройство инвалидов. Пособие для инспекторов отделов социального обеспечения. М., 1952. С. 29, 56; см. также: *Burton Ch.* Medical Welfare During Late Stalinism. A Study of Doctors and the Soviet Health System, 1945—1953. Ph.D. Dissertation. University of Chicago, IL, 2000. P. 268—269; *Ewing S.* The Science and Politics of Soviet Insurance Medicine // *Gross Solomon S., Hutchinson J.F.* (Eds.). Health and Society in Revolutionary Russia. Bloomington, IN, 1990. P. 89; *Schwarz S.M.* Arbeiterklasse und Arbeitspolitik in der Sowjet-Union. Köln, 1953. S. 339.

могли претендовать те, кто признавался нетрудоспособным, но не нуждался в постороннем уходе. Наконец, третья группа включала в себя лиц, частично потерявших трудоспособность, но вполне способных выполнять при облегченных условиях труда малоквалифицированную, низкооплачиваемую работу[12]. Если раньше в задачу врачей входило определение степени инвалидности или процента потери трудоспособности, то теперь они были обязаны устанавливать степень остаточной трудоспособности. Таким образом, действовавшая ранее связь между болезнью и трудоспособностью утратила свою силу[13]. Трудоустройство приобрело приоритетное значение среди всех мер социального обеспечения инвалидов и даже превратилось в их единственную цель[14].

В период Второй мировой войны новые, ориентированные на производство принципы применялись в массовом порядке к солдатам, демобилизованным из-за нарушений опорно-двигательного аппарата[15]. Определением степени инвалидности ведали Врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК), подчинявшиеся Наркомсобесу[16]. Уже 9 августа 1941 года глава Наркомсобеса Анастасия Гришакова потребовала от ВТЭК особой строгости при обследовании инвалидов[17]. Запрещалось давать инвалидность тем лицам, кто еще мог работать по старой профессии, даже в случае потери одного глаза или конечностей. Лишь в тех случаях, когда нарушения функций были настолько сильными, что пострадавшие были способны выполнять только малоквалифицированную работу, с урезанной заработной платой и облегченными условиями труда, разрешалась выдача инвалидности третьей группы[18].

[12] Трудовое устройство инвалидов... С. 56.

[13] Там же. С. 52—53.

[14] О военном периоде см., например: Возвращение к трудовой деятельности инвалидов Отечественной войны. Сборник постановлений и инструкций / Под ред. Н.М. Ободана. Л., 1943.

[15] Очередные задачи органов социального обеспечения. Материалы Всероссийского совещания руководящих работников социального обеспечения (май 1945 года). М., 1945. С. 25; ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 29. Д. 166. Л. 116—117; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 511. Л. 107. Тема психических заболеваний на войне полностью замалчивалась.

[16] *Madison B.Q.* Social Welfare in the Soviet Union. Stanford, CA, 1968. P. 81.

[17] Инструктивное письмо о работе ВТЭК в условиях военного времени, 9 августа 1941 г. // ГАРФ (РСФСР). Ф. А-413. Оп. 1. Д. 234. Л. 182—183.

[18] Там же. Л. 182.

Поскольку врачебные комиссии поначалу неохотно следовали этим предписаниям, в июне 1942 года инструкции были ужесточены[19]. Народный комиссариат социального обеспечения предписывал привлекать к труду инвалидов второй группы (в принципе совершенно нетрудоспособных) в качестве тыловых и вспомогательных работников. Кроме того, с мая 1943 года были наполовину сокращены интервалы между осмотрами таким образом, что инвалиды первой группы должны были проходить контроль каждые шесть месяцев, а инвалиды второй и третьей групп — каждые три месяца[20]. При повторной проверке учитывалось не только улучшение состояния здоровья, но и индивидуальные способы компенсации и приспособления к увечьям. При этом участию в производственной деятельности приписывался оздоровительный эффект, а сама работа в советском сознании ассоциировалась с реабилитационным процессом и процедурами[21].

В результате массивного давления сверху в первые два года войны многочисленные инвалиды третьей группы лишились инвалидности и предусмотренных для них пенсий[22]. В данном случае, помимо потребности в рабочих руках, определенную роль сыграли затраты на резко возросшее число инвалидов. С осени 1943 года органы социального обеспечения активно занялись сокращением доли инвалидов второй группы. Систематические досрочные массовые медицинские обследования по всей стране привели к снижению квоты с 52,7% (1942) до 35,4% (1944) и в итоге до 21,1% в 1948 году[23]. Эта политика коснулась сотен тысяч инвалидов, многие из которых имели несколько ранений. Отныне они подлежали обязательному трудоустройству и усиленному государственному контролю, нацеленному на пресечение «спекулянтства», якобы распространенного среди вернувшихся с фронта инвалидов.

Грубая государственная политика трудовой мобилизации достигла своего апогея в формуле, согласно которой все полученные на войне увечья, в отличие от приобретенных на производстве,

[19] Справочник по врачебно-трудовой экспертизе инвалидов войны / Под ред. А.Я. Авербаха и М.В. Широковой. М., 1943. С. 12—17.

[20] ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 46. Д. 3378. Л. 2.

[21] См. статью «инвалидность»: БСЭ. Т. 17. М., 1952. С. 611.

[22] ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 44. Д. 977. Л. 214; Ф. 5446. Оп. 44. Д. 976. Л. 135; ГАРФ (РСФСР) Ф. А-413. Оп. 1. Д. 359. Л. 15; Ф. А-413. Оп. 1. Д. 361. Л. 123; РГАСПИ. Ф. 603. Оп. 1. Д. 11. Л. 47.

[23] ГАРФ (РСФСР). Ф. А-413. Оп. 1. Д. 234. Л. 85; Ф. А-413. Оп. 1. Д. 460. Л. 2, 4; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 21. Л. 84—86; Ф. 17. Оп. 1 122. Д. 71. Л. 195—198; Ф. 17. Оп. 131. Д. 36. Л. 3, 10.

являются не чем иным, как локально ограниченными дисфункциями, которые легко компенсируются и не имеют особых негативных последствий для организма[24]. Против этого утверждения посыпались протесты, однако в распоряжении инвалидов не было официальных средств для обжалования заключений ВТЭКов. Не считая попыток запугивания или подкупа, оставался только единственный путь — традиционные челобитные. Жалобы инвалидов, особенно на перевод в третью группу, не предусматривавшую освобождение от трудовой повинности, доходили не только до местных, региональных и центральных органов соцобеспечения, военных органов или профсоюзов, но и до ЦК, Верховного Совета, Совета министров, газет и журналов или отдельных известных людей. По данным различных учреждений, число жалоб резко возросло после окончания войны. Разрозненность архивных документов не позволяет проследить количественную динамику жалоб[25]. Судя по документированным случаям, только единичные жалобы имели успех, при том что жесткие экспертные заключения ВТЭКов, как правило, полностью отвечали установкам политического руководства. Однако инвалиды ни в коем случае не признавали себя бестелесными «производственными единицами» и требовали соответствующую материальную компенсацию как жертвы войны, из-за которой они вынуждены страдать всю оставшуюся жизнь[26].

Другим из упоминавшихся оснований для частых жалоб были регулярные контрольные обследования. Хотя неизлечимые инвалиды подлежали с января 1944 года только одному обследованию ВТЭК в год[27], они воспринимали это условие как намеренное издевательство: «Каждый год они вызывали тебя, хотя они все прекрасно понимали — начиная от Сталина и до простого врача, — что за год ноги не вырастут. Самая настоящая подлость! Это подлинное преступление перед народом, инвалидами... там были вообще без рук и без ног. Без обеих рук, и все равно тебя вызывали»[28].

[24] Заявление народного комиссара социального обеспечения Сухова в мае 1945 года. См.: Очередные задачи органов социального обеспечения... С. 25.

[25] См., например: ГАРФ (РСФСР). Ф. А-413. Оп. 1. Д. 838. Л. 72—74; Ф. А-413. Оп. 1. Д. 774. Л. 1—3; Ф. А-413. Оп. 1. Д. 1930. Л. 20; ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 29 Д. 330. Л. 67—68; Ф. 5451. Оп. 29. Д. 800. Л. 21.

[26] В качестве типичного примера см.: Заявление в Совет министров СССР, 4 декабря 1946 г.: ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 48. Д. 3241. Л. 26.

[27] ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 46. Д. 3378. Л. 3.

[28] *Arnold S.R.* «Schwierige Momente können auch wunderschön sein». Interview mit Viktor Petrovič Litz am 1.2. 1992 in seiner Wohnung in Moskau // Deutsche Studien. 1993. Bd. 118. S. 142—143.

Государственные пенсии и материальное обеспечение

Пострадавшие на войне и признанные инвалидами имели право на государственные пенсии, которые, однако, особенно в первые два года войны из-за нехватки кадров и организационных проблем, подсчитывались неправильно и перечислялись нерегулярно. Пенсии по инвалидности были невысокими и крайне дифференцированными[29]. Размер пенсии зависел, во-первых, от величины получавшегося до мобилизации заработка, во-вторых, от военного звания и, в-третьих, от группы инвалидности. Рабочие имели преимущества перед крестьянами, офицеры перед солдатами, а тем, кто был призван со школьной скамьи или (в большинстве случаев) не мог доказать своих доходов, выплачивалось одинаковое небольшое пособие[30]. Тем не менее выплата пенсий была единственной функционировавшей (по меньшей мере, с 1943 года) программой в арсенале государственной политики социального обеспечения инвалидов. Однако, в отличие от других аспектов этой политики, пенсии практически никак не использовались государством в пропагандистских целях. Считалось, что чрезмерное выпячивание государственного пенсионного обеспечения будет способствовать распространению «иждивенческого сознания» (Versorgungsmentalität)[31].

Пенсий, которые выплачивались инвалидам первой группы, то есть неспособным к труду и нуждающимся в постороннем уходе, не хватало ровным счетом ни на что. Две другие группы получали еще меньше. Государство изначально сделало ставку на активную поддержку инвалидов их семьями и даже требовало ее от жен, используя «морально-педагогические» рассказы, публиковавшиеся в женских журналах[32]. Однако не все инвалиды могли рассчитывать на

[29] В то же время дотация пенсионных пособий инвалидов Великой Отечественной войны была выше, чем у инвалидов Первой мировой и Гражданской войн.

[30] Постановление СНК СССР № 1269 от 16 июля 1940 г. // Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР. 1940. № 19 (№ 465); О дополнении постановления Совнаркома СССР от 16 июля 1940 г. // Там же. 1940. № 30 (№ 729).

[31] См., например: Трудовое устройство инвалидов Отечественной войны // Правда. 1944. 8 апреля; Всенародная забота о защитниках родины // Правда. 1945. 23 мая.

[32] *Attwood L.* Creating the New Soviet Woman. Women's Magazines as Engineers of Female Identity, 1922–53. Houndmills; Basingstoke, 1999. P. 155–158; *Krylova A.*

помощь родственников. Многие добровольно отказывались от нее, например, потому, что не хотели быть обузой для родных, другие же были брошены своими семьями на произвол судьбы. Сотни тысяч уроженцев оккупированных территорий, вернувшихся только в 1943—1944 годы в свои родные места, поначалу были полностью предоставлены самим себе. Поэтому многие из них оказались в тяжелейшем положении, которое усугублялось еще и тем обстоятельством, что выдача продовольственных карточек инвалидам осуществлялась нерегулярно и карточная система не всегда функционировала.

Чтобы хоть как-то облегчить нужду, в целом ряде городов инвалидам выдавались единовременные финансовые и материальные пособия. Поскольку это сильно ударило по местным бюджетам, то локальным властям пришлось обратиться к населению за помощью в сборе пожертвований, одежды и проведении благотворительных мероприятий[33]. Тем самым была возрождена своеобразная филантропическая деятельность, широко распространенная в свое время в царской России и частично разрешенная в 1920-е годы при НЭПе. Во времена хронического дефицита даже сталинский режим допускал временный возврат к «буржуазным» практикам. Частные лица и церковь инициировали разного рода сборы пожертвований, но еще чаще «добровольно-принудительная» инициатива исходила от местных партийных органов, комсомола или профсоюзов. Во многих городах эти организации и местные военкоматы старались обеспечить дополнительную поддержку инвалидов. Однако деревня, в которой проживало более 50% всех инвалидов, осталась практически ни с чем. В сельской местности облегчить нужду были призваны крестьянские кассы взаимопомощи. Но они, во-первых, учреждались не везде и, во-вторых, были уже безнадежно перегружены пособиями вдовам и сиротам.

Без дополнительной поддержки членов семьи или собственных доходов могла выжить только небольшая группа инвалидов, которая быстро освоила искусство заявлений и жалоб — не всегда легальную стратегию, обращение к которой тем не менее провоцировало само государство заведомой неразберихой в вопросах полномочий и справок. Некоторым инвалидам удалось получить

«Healers of Wounded Souls»: The Crisis of Private Life in Soviet Literature, 1944—1946 // Journal of Modern History. 2001. Vol. 73. P. 307—331.

[33] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 145. Л. 36; Ф. 17. Оп. 122. Д. 157. Л. 81—82; Ф. 17. Оп. 88. Д. 470. Л. 77—83; Ф. 603. Оп. 1. Д. 8. Л. 192—194; Ф. 603. Оп. 1. Д. 13. Л. 80.

денежную и материальную помощь от разных учреждений одновременно. Самым ловким оказался профессиональный вор и мошенник Веньямин Борухович Вайсман. После того как после побега из лагеря ему ампутировали в 1944 году обе обмороженные ноги и одну руку, он выдавал себя вплоть до своего ареста 30 мая 1946 года за инвалида войны и дважды Героя Советского Союза. Обвешанный многочисленными орденами и медалями, он получил от 32 министров или их заместителей, а также от ЦК КПСС свыше 50 000 рублей наличными и товаров на сумму 30 000 — 40 000 рублей. При этом даже чрезвычайно экономный министр финансов Арсений Зверев выдал Вайсману талоны на товары, общая стоимость которых превышала 20 000 рублей. Кроме того, он получил ордер на квартиру в Киеве, направление на регулярные лечебные процедуры и ножные протезы новейшей конструкции. Но Вайсман являлся исключением[34]. Только немногим удалось победить советскую систему при помощи ее же оружия и отрезать большой кусок от (для большинства весьма скудного) собесовского пирога.

Профессиональная реинтеграция

Для основной массы инвалидов оставался только один выход (не считая попрошайничества) — устройство на работу. На это была направлена и государственная политика. Хотя в ноябрьском постановлении правительства 1941 года подтверждалось *право* инвалидов войны на трудоустройство на предприятия, в учреждения и кооперативы, уже спустя некоторое время это право превратилось не только в *обязанность*, но и в *принудительную меру*. Партия и правительство ожидали от инвалидов, что они будут трудиться в тылу так же, как и на фронте, где, собственно, было их место.

Однако почти повсеместно инвалиды, вернувшиеся на производство, были предоставлены самим себе. По закону предусматривалась многоступенчатая система помощи и реинтеграции, включая необходимую переквалификацию. Но на деле «реинтеграция» инвалидов становилась непосредственным результатом того без-

[34] ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 170. Л. 65—69, 77—79; ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 3874. Л. 60—61. Подробно феномен мошенничества (и случай Вайсмана) описан в статье: *Fitzpatrick S.* Making a Self for the Times: Impersonation and Imposture in Twentieth-Century Russia // Kritika. 2001. Vol. 3. № 2. P. 469—487; *Idem.* The World of Ostap Bender: Soviet Confidence Men in the Stalin Period // Slavic Review. 2002. Vol. 61. № 3. P. 535—557.

выходного положения, в котором они оказались. Они были попросту вынуждены соглашаться на любую работу, которая им предлагалась. Ни немногочисленные и плохо оснащенные учебные заведения собесов, ни предприятия, находившиеся под прессом выполнения плана, не были в состоянии или вовсе не стремились обеспечить переквалификацию инвалидов. В конечном счете больше половины инвалидов остались поначалу вообще без переподготовки, и предположительно 15% прошли (сомнительную) переквалификацию[35].

В результате большинство инвалидов должно было довольствоваться подсобной работой[36], оплата которой достигала всего лишь трети обычного заработка. К тому же работа сторожем и вахтером не предусматривала доплат за перевыполнение нормы. Кроме того, низкое положение в трудовой иерархии означало ограниченный доступ к имевшимся на предприятиях ресурсам социального обеспечения. Особенно отчетливо это было заметно при распределении жилой площади, которая в годы войны приобрела особую ценность. Хотя согласно постановлению правительства инвалиды войны должны были в первую очередь обеспечиваться жильем, предприятия заботились прежде всего о здоровых, квалифицированных рабочих руках, в которых они нуждались. Для инвалидов оставались бараки со вшами, без воды и электричества, без отопления и даже нередко без кроватей[37].

Тем временем пресса и радио восхваляли почти полную реинтеграцию инвалидов третьей группы и прославляли их как героев труда. Наркомат социального обеспечения распространял истории об успехах инвалидов войны, которые, будучи передовиками производства, добились высоких достижений[38]. Безусловно, такие случаи были, но они обрастали слухами, которых в конечном счете оказывалось гораздо больше, нежели реальных историй. Источни-

[35] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 71. Л. 196; Ф. 17. Оп. 131. Д. 36. Л. 10.

[36] Материальное обеспечение при инвалидности, старости, за выслугу лет и по случаю потери кормильца. Сборник указов, постановлений и распоряжений правительства, приказов и инструкций министерств и ведомств. М., 1948. С. 510—511.

[37] РГАСПИ. Ф. 17 Оп. 121. Д. 299. Л. 66; Ф. 17. Оп. 122. Д. 100. Л. 7, 60, 97, 114, 127, 130, 151, 228; Ф. 17. Оп. 122. Д. 101. Л. 145; Ф. 17. Оп. 121. Д. 425. Л. 29; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 44. Д. 976. Л. 148.

[38] ГАРФ (РСФСР). Ф. А-413. Оп. 1. Д. 250. Л. 3, 51, 54—55; *Шепелев В.* Забота об инвалидах Отечественной войны // Красная звезда. 1944. 31 августа; Очередные задачи органов социального обеспечения. С. 8—9.

ки говорят как раз об обратном — например, о том, что наибольшая часть инвалидов-ветеранов, как правило с тяжелыми увечьями, принадлежала одновременно и к «поколению победителей», и к «проигравшим». Платой за «службу родине» для многих стали социальная деградация, жизнь в нищете и отсутствие крова над головой.

По окончании войны, когда миллионы демобилизованных устремились на рынок труда, повсеместно резко увеличились увольнения инвалидов, вынужденно принятых на работу во время войны. Даже в кооперативах инвалидов, с одной стороны окруженных вниманием пропаганды, а с другой — стремившихся к выполнению плана, было занято практически такое же количество инвалидов, как и в среднем на всех советских предприятиях[39]. Некоторые директора колхозов, пытаясь избавиться от малопродуктивных инвалидов, доносили на них как на «тунеядцев» в органы и приговаривали их тем самым к депортации[40]. Генеральный прокурор СССР был даже вынужден отметить в конце 1940-х годов растущую дискриминацию инвалидов войны. На эту тенденцию он указывал, в частности, в своем докладе Верховному Совету. Однако никаких реальных изменений политики за этим не последовало[41].

Стратегии выживания и формы протеста

Если верить свидетельствам современников и художественным произведениям, распространение алкоголизма среди инвалидов войны было, как правило, следствием разочарования, поскольку, несмотря на свой молодой возраст, они ощущали себя «лишними» людьми. Другая часть инвалидов изобретала способы активного выживания, которые были в ходу и в других европейских обществах, прошедших через войну. По меньшей мере вплоть до денежной реформы в декабре 1947 года неотъемлемой частью картины повседневной жизни советских городов, формировавшей общественное восприятие, были инвалиды, просящие милостыню на

[39] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 604. Л. 2; Ф. 17. Оп. 121. Д. 425. Л. 102; ГАРФ (РСФСР). Ф. А-339. Оп. 1. Д. 2268. Л. 18, 21; ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 29. Д. 397. Л. 146.

[40] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 673. Л. 17—20; Ф. 17. Оп. 118. Д. 394. Л. 240, 246, 248.

[41] ГАРФ. Д. 7523. Оп. 65. Д. 588. Л. 37.

вокзалах, рынках, перед (кино)театрами и в других общественных местах или агрессивно попрошайничающие и пытающиеся при помощи разных мелких нелегальных махинаций свести концы с концами[42]. Как показали Джули Хесслер и Джеффри Джоунс, мелкие скупщики и спекулянты могли в первые послевоенные годы заниматься своим бизнесом, не опасаясь преследований милиции[43]. Теневая экономика допускалась потому, что она выполняла важную роль в снабжении населения. Фронтовики-инвалиды обладали к тому же определенной «свободой шутов». Однако сразу после отмены в конце 1947 года карточной системы государство усилило борьбу со спекуляцией и криминалом. В конце 1940-х годов органы милиции с возрастающей жесткостью преследовали тех, кто так или иначе обосновался в серых зонах советского общества. Среди арестованных оказывались также и калеки, которым отныне грозили принудительные работы в лагерях для инвалидов ГУЛАГа.

В отличие от других государств—участников войны, в Советском Союзе запрещалась организация ассоциаций ветеранов и инвалидов. Все спонтанно возникшие объединения такого рода были закрыты сразу же по окончании войны[44]. Роль информационных бирж и мест встречи ветеранов и инвалидов какое-то время играли небольшие кафе, пивные и рестораны, получившие в народе название «Голубой Дунай». Но и они были закрыты государственными органами в 1948 году[45]. Несмотря на многочисленные свидетельства о широком недовольстве среди инвалидов войны при Сталине, до коллективных протестов, насколько известно, дело тогда не дошло. Как правило, сцены возмущения разыгрывались в местных собесах, и недовольство направлялось против мелких представителей власти, или находились другие виновные. Примером тому может служить антисемитизм послевоенной поры, распространенный также и среди инвалидов. Он подпитывался дурными слухами

[42] *Zubkova E.* Die sowjetische Gesellschaft nach dem Krieg. Lage und Stimmung der Bevölkerung 1945/46 // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1999. №47. S. 363—383.

[43] *Hessler J.* A Social History of Soviet Trade. Trade Policy, Retail Practices, and Consumption, 1917—1953. Princeton, NJ, 2004; *Jones J.* «People Without a Definite Occupation»: The Illegal Economy and «Speculators» in Rostov-on-the-Don, 1943—48 // *Raleigh D.J.* (Ed.). Provincial Landscapes. Pittsburgh, PA, 2001. P. 236—254.

[44] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 71. Л. 145; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 444. Л. 24; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 172. Л. 10.

[45] *Zubkova E.* Russia After the War. Hopes, Illusions, and Disappointments, 1945—1957. Armonk, N.Y., 1998. P. 27.

о «шкурничестве» евреев на войне и подогревался тем обстоятельством, что многие врачи и руководители ВТЭКов были евреями и в глазах пациентов несли ответственность за массовую практику снижения степени инвалидности и незаслуженные издевательства с регулярными контрольными комиссиями. Все это происходило в то время, когда в ходе кампании против «космополитов» разжигались антиеврейские настроения и проводились многочисленные аресты. Накануне «дела врачей» руководство ВТЭК стало жертвой доносов[46]. Однако произошедшие события не оказали ровным счетом никакого воздействия на практику признания инвалидности.

Культ войны и забота об инвалидах

Даже в брежневский период большинство инвалидов войны не обеспечивалось должным образом, несмотря на сформировавшийся к тому моменту высокопарный культ войны. Конечно, после первых шагов, сделанных в хрущевский период, руководство страны продолжало расширять льготы участникам войны, список которых с 1965 года регулярно пополнялся каждые пять лет, как правило, к «круглым датам». Инвалидам войны предоставлялись более обширные льготы по сравнению с ветеранами — например, бесплатный проезд в общественном транспорте, один раз в год бесплатный проезд по железной дороге, а также разного рода налоговые льготы, внеочередное обеспечение жильем и телефонами, льготные тарифы платы за квартиру и коммунальные услуги, покупка вне очереди мебели, ковров, телевизоров, холодильников и так далее[47]. Сомнительно, правда, могли ли выпячиваемые пропагандой достижения действительно компенсировать ограничения профессиональной пригодности и сокращение заработка, которые коснулись инвалидов за двадцать лет, прошедшие после войны[48]. И все же государство, освобождаясь от догм сталинского периода, признало теперь их право на запоздалую компенсацию. Тем не

[46] ГАРФ (РСФСР). Ф. А-339. Оп. 1. Д. 5903. Л. 4.

[47] *Глазунов А.Д.* Забота Советского государства об инвалидах войны. М., 1981. С. 49—64. Замена с 1 января 2005 года вышеперечисленных льгот денежными пособиями вызвала многочисленные демонстрации.

[48] *Voronitsyn S.* The Lot of Disabled Servicemen and War Widows in the USSR Thirty-Five Years after Victory over Germany // Radio Liberty Research. № 167. München, 1980. P. 1. По сравнению с инвалидами с рождения или в результате несчастных случаев инвалиды войны имели целый ряд привилегий.

менее даже в новых условиях многие инвалиды войны оставались «нищими победителями» и страдали от несоответствия между социально-политическими обещаниями и их исполнением. Прежде всего это касалось обеспечения функциональными, надежными протезами и инвалидными колясками.

Большая часть военного поколения пережила годы перестройки как время деградации системы социального обеспечения ветеранов и инвалидов и девальвации их почетного общественного статуса, который, как и культ войны, утратил свое былое значение. В глазах участников войны приобретение политической свободы не могло возместить эту двойную потерю. Несмотря на новые свободы и гласность, инвалиды войны не фигурировали ни в исторических дебатах, ни в обновленной историографии. На то были разные причины. С одной стороны, с точки зрения официального нарратива войны их следовало считать не жертвами, а скорее любимцами режима. С другой стороны, в (пост)советском обществе инвалидам всегда уделялось ограниченное внимание. В этих условиях вряд ли можно было бы ожидать, что тема инвалидов войны будет критически рассмотрена историографией. Поэтому история инвалидов осталась одним из белых пятен в книге истории войны, а при ближайшем рассмотрении — темным пятном прошлого[49].

Авторизованный перевод с немецкого Эллы Каплуновской

[49] Более подробно об этом см.: *Fieseler B.* Die Invaliden des «Großen Vaterländischen Krieges» der Sowjetunion. Eine politische Sozialgeschichte 1941—1991. Köln, 2005 (в печати).

Йорг Ганценмюллер

«ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ» КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ
Блокада Ленинграда в немецком сознании

Долгое время блокада Ленинграда занимала второстепенное место в немецком сознании. В то время как битва за Сталинград превратилась после Второй мировой войны в многоликий миф[1], Ленинград оставался в определенном смысле второстепенным театром военных действий, каковым он, собственно, и являлся в стратегических планах вермахта и Красной армии[2]. Распространенные в Германии поверхностные представления о блокаде находятся в глубоком противоречии со значимостью этого события: около миллиона людей умерло в ходе немецкой блокады от голода и его последствий — что почти в два раза превышает число немецких гражданских лиц, погибших за всю войну во время бомбардировок союзнической авиации. Тем не менее основными городами, которые постигла катастрофа во Второй мировой войне, в Германии до сих пор считаются Сталинград, Дрезден и Хиросима. Осведомленность немцев об осаде Ленинграда настолько скудна, что описания событий блокады в немецких школьных учебниках постоянно пестрят ошибками[3].

[1] См.: *Kumpfmüller M.* Die Schlacht von Stalingrad. Metamorphosen eines deutschen Mythos. München, 1995.

[2] См.: *Ganzenmüller J.* Das belagerte Leningrad 1941—1944. Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern. Paderborn, 2005 [в печати].

[3] Пролистывая западногерманские школьные учебники, постоянно сталкиваешься с тем, что на картах линия фронта доходит до Ленинграда, но не окружает и не отсекает город от тыла, — см., например: *Rückert B., Oberhettinger H.H.* Politik und Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Paderborn; München, 1978. S. 136; *Goerlitz E. et al.* Zeiten und Menschen. Ausgabe K. Bd. 4/II: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft im 20. Jahrhundert. Teil I: Von 1919 bis 1945. Paderborn, 1982. S. 165. В другом учебном пособии начало осады

За последние годы изучение немецкой культуры памяти послевоенной поры обрело свою конъюнктуру. Однако предметом исследования большинства работ являются не конкретные события или места, а в целом вся Вторая мировая война или «третий рейх»[4]. Единственное исключение представляет тема Холокоста. Правда, и здесь в центре исследовательского интереса находится память о великой трагедии в целом, а не об отдельно взятой бойне или лагере уничтожения[5]. Не в последнюю очередь данное обстоятельство дает важное основание для изучения памяти об осаде Ленинграда в разделенной Германии. Какие образы и представления о Ленинграде во Второй мировой войне сформировались в Германии? В каком контексте упоминается Ленинград в нарративах Второй мировой войны? Результаты моих исследований не структурированы хронологически, так как память о блокаде практически не менялась с 1950-х вплоть до 1980-х годов. Источниковую базу исследования составляют различного рода публикации, которые рассматривают эту тему: мемуары, исторические очерки о «третьем рейхе» и Второй мировой войне, научные и литературные публикации об осаде Ленинграда и не в последнюю очередь школьные учебники в Западной и Восточной Германии. В большинстве материалов Ленинград не упоминается вообще или только вскользь. Для содержательного анализа мною привлекаются прежде всего такие тексты, в которых можно найти более или менее подробные описания блокады. Центральным является вопрос об интерпретативных шаблонах в

оказывается хронологически сдвинутым на декабрь 1941 года — см.: *Heinloth B.* (Hrsg.). Geschichte. 4. Ausgabe B. München, 1982. S. 148.

[4] См., например: *Assmann A., Frevert U.* Geschichtsvergessenheit — Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart, 1999, прежде всего S. 158—172; *Moeller R.G.* War Stories. The Search for a Usable Past in the Federal Republic of Germany. Berkeley, 2001; *Hoffmann D.* Vom Kriegserlebnis zur Mythe // *Flacke M.* (Hrsg.). Mythen der Nationen. 1945 — Arena der Erinnerungen. 2 Bde. Berlin, 2004. Bd. 1. S. 151—172; *Flacke M., Schmiegelt U.* Aus dem Dunkel zu den Sternen: Ein Staat im Geiste des Antifaschismus // Ibid. S. 173—189. [Перевод статьи см. в этом номере «НЗ». — *Примеч. ред.*] Исключением является битва за Сталинград — см., например: *Jahn P.* (Hrsg.). Stalingrad erinnern. Stalingrad im deutschen und im russischen Gedächtnis. Berlin, 2003.

[5] См., например: *Herbert U., Groehler O.* Zweierlei Bewältigung. Vier Beiträge über den Umgang mit der NS-Vergangenheit in den beiden deutschen Staaten. Hamburg, 1992; *Herf J.* Zweierlei Erinnerung. Die NS-Vergangenheit im geteilten Deutschland. Berlin, 1998; *Berg N.* Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung. Göttingen, 2003.

этих публикациях: представлено ли в них именно воспоминание о блокаде Ленинграда или же речь идет о символах иных нарративов, фактически не связанных с этим событием?

1. Ленинград как конечный пункт провалившегося блицкрига

В ранних обзорах Второй мировой войны и «третьего рейха» блокада Ленинграда затрагивалась крайне редко. В лучшем случае северная столица упоминалась только в связи с провалившимся блицкригом и, как правило, в одном ряду с советской столицей: немецкое наступление остановилось в конце концов на подступах к Ленинграду и Москве[6]. Также и в западногерманских школьных учебниках упоминание об осаде Ленинграда на протяжении длительного периода отсутствовало[7]. Школьникам сообщался только тот факт, что Ленинград стал конечным пунктом немецкого наступления на севере Советского Союза. Здесь можно выделить два нарративных варианта. В одних школьных учебниках немецкое наступление до Ленинграда рассматривается как военный успех вермахта. Так, например, в учебнике «История» Издательства Юлиуса Бельца (*Julius Beltz-Verlag*) 1963 года значится:

> «Первые недели кампании принесли превосходно сражающимся немцам целый ряд блестящих побед [...] Передовые группы танковых армий дошли до ворот *Ленинграда* и *Москвы*» (курсив оригинала)[8].

Это описание дает школьникам возможность идентифицировать себя со сражающимися в России предками, так как в качестве

[6] Например: *Mau H., Krausnick H.* Deutsche Geschichte der jüngsten Vergangenheit 1933—1945. 4. Auflage. Tübingen; Stuttgart, 1960 (первое издание — 1953). S. 151 f.; *Buchheim H.* Das Dritte Reich. Grundlagen und politische Entwicklung. 3. Auflage. München, 1959 (первое издание — 1958).

[7] Описание Второй мировой войны в западногерманских школьных учебниках было поначалу крайне сжатым и фрагментарным — об этом см.: *Borries B. von.* Vernichtungskrieg und Judenmord in den Schulbüchern beider deutschen Staaten seit 1949 // *Greven M.Th., Wrochem O. von* (Hrsg.). Der Krieg in der Nachkriegszeit. Der Zweite Weltkrieg in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik. Opladen, 2000. S. 215—236, здесь S. 221—231.

[8] *Lasius R., Recker H.* Geschichte. Ein Lese- und Arbeitsbuch. Bd. 3: Das Zeitalter der Weltmächte und Weltkriege. Weinheim; Bergstraße, 1963. S. 96.

действующего лица фигурирует не вермахт, а «превосходно сражающиеся немцы». В формулировке «блестящие победы» присутствует нескрываемая гордость за военные успехи. Авторы выпущенного в этом же году издательством «Вестерманн» (*Westermann-Verlag*) учебного пособия «История нашего мира» буквально восторгаются успехами немецкого наступления:

> «"Невозможного" не было. Был форсирован Донец, потом Днепр [...] В центре передовые части армии подошли *близко к Москве*. На севере со стороны суши был окружен *Ленинград*. Многие немцы в Германии уже представляли себе близкую окончательную победу» (курсив оригинала)[9].

Как и в предыдущих случаях, обе советские столицы изображаются, в конечном счете, как две точки на географической карте, в которых прошел испытание военный потенциал немецкого вермахта.

Второй тип нарратива рассматривает Ленинград скорее как переломный пункт в войне и в то же время как начало конца немецкой кампании в России. Так, в «Основах истории» издательства «Клетт» (*Klett-Verlag*) середины 1970-х годов говорится:

> «Немецкий поход на Россию [...] начался в 1941 году с больших успехов, но он *не стал блицкригом*. Тяжелые человеческие и материальные потери не сломили силу сопротивления русских. На севере немецкое нападение остановилось на подступах к Ленинграду» (курсив оригинала)[10].

[9] *Hagener C.* Geschichte unserer Welt. Bd. III: Von 1890 bis zur Gegenwart. Braunschweig, 1963. S. 144. В учебниках Ленинград — если название города вообще упоминается — символизировал вплоть до начала 1990-х годов кульминационный пункт немецких военных успехов — см.: *Ebeling H.* Die Reise in die Vergangenheit. Ein geschichtliches Arbeitsbuch. Bd. IV: Unser Zeitalter der Revolutionen und Weltkriege. Braunschweig, 1965. S. 235; *Immisch J., Voelske A.* Zeiten und Menschen. Geschichtliches Unterrichtswerk. Ausgabe C. Bd. 4: Die neueste Zeit. Vom Zeitalter des Imperialismus bis zur Gegenwart. Paderborn, 1978. S. 150; *Hug W., Hoffmann J., Krautkrämer E., Bahl F.* Unsere Geschichte. Bd. 4: Von der Oktoberrevolution bis zur Gegenwart. Frankfurt a. M., 1991. S. 132.

[10] *Dittrich J., Dittrich-Gallmeister E.* Grundriß der Geschichte für die Oberstufe der höheren Schulen. Gekürzte, zweibändige Ausgabe B. Bd. 2: Die moderne Welt. Von der bürgerlichen Revolution bis zur Gegenwart. Stuttgart, 1975. S. 254. См. также: *Kirchhoff H.G., Lampe K.* (Hrsg.). Geschichte und Gegenwart. Arbeitsbuch

И здесь Ленинград остается только лишь географическим названием. Оба варианта описания полностью замалчивают конкретные события в городе и на фронте. Подобного рода отстраненная позиция отражает характер восприятия в немецком «тылу». Ленинград не удостоился в национал-социалистической пропаганде статуса великой битвы, сравнимой с боями под Москвой или Сталинградом. Мирное население в Германии знало о Ленинграде в лучшем случае по сводкам осени 1941 года, сообщавшим об успехах немецкого наступления. В сводках Ленинград упоминался только как оперативная цель, которую немецкие войска сумели достичь, не овладев, однако, городом. Таким образом, память о Ленинграде как о конечном пункте немецкого наступления на севере сопряжена с восприятием современников, ограниченным кругом читающего газеты и слушающего радио мирного населения «третьего рейха». Ленинград не упоминался в сводках и не оставил никаких следов в коммуникативной памяти немецкого тыла. Память немецкого мирного населения запечатлела совершенно иной опыт войны: бомбардировки городов, оккупация союзническими войсками, а также бегство и изгнание[11]. На фоне такого драматического опыта и переживаний Ленинград остался абстрактным местом в событиях войны.

2. Ленинград как символ антагонизма между вермахтом и национал-социализмом

В 1950-е и 1960-е годы историографию Второй мировой войны формировали бывшие генералы вермахта. В своих воспоминаниях они особо подчеркивали наличие огромной дистанции между вермахтом и национал-социализмом, постоянно обвиняя одного только Гитлера во всех преступлениях и стратегических просчетах в войне. Военные успехи они приписывали собственному коман-

Geschichte. Ausgabe A. Bd. 4: Von 1850 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Paderborn, 1991. S. 207.

[11] Ян Ассманн проводит различие между коммуникативной и культурной памятью. Коммуникативная память охватывает воспоминания, которые индивидуум разделяет со своими современниками, тогда как в культурной памяти прошлое перетекает в символические образы, за которые память может уцепиться, – см.: *Assmann J.* Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München, 1992. S. 50–55.

дованию и действиям армии[12]. Осада Ленинграда не являлась исключением. В воспоминаниях Эриха фон Манштейна северная столица представляет одну из «потерянных побед». Вследствие легкомысленного приказа — остановить наступающую на Ленинград 4-ю танковую группу — Гитлер упустил шанс взятия города, так как, согласно Манштейну: «Утраченную минуту не может вернуть даже сама вечность»[13]. Вальтер Шаль де Больё, начальник штаба 4-й танковой группы, которой командовал генерал-полковник Эрих Хёпнер, находился осенью 1941 года под Ленинградом. Он подчеркивает, что если бы выдалась такая возможность, то Хёпнер использовал бы ее, проигнорировал бы запрет Гитлера и вошел бы в Ленинград[14]. Для того чтобы профессионально выполнить военную задачу — к такому заключению должен прийти читатель книги, — нужно было бы нарушить приказы Гитлера.

Ранние исторические очерки Второй мировой войны часто шли по пути, который наметили мемуары бывших офицеров вермахта. В них подчеркивалось, что отказ от взятия Ленинграда являлся единоличным решением Гитлера. Так, Вальтер Гёрлитц утверждает: «Он [Гитлер] решил не занимать огромный город, а блокировать его, несмотря на то что сопротивление русских было почти сломлено»[15]. В доказательство, что это решение противоречило представлениям вермахта, Гёрлитц цитирует далее «желчный» приговор фон Лееба: «Гитлер действовал в России так, словно он был заодно с русскими»[16]. Отто-Хайнрих Кюнер пишет, что уже само на-

[12] См.: *Wette W.* Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden. Frankfurt a. M., 2002. S. 197—244; *Gerstenberger F.* Strategische Erinnerungen. Die Memoiren deutscher Offiziere // *Heer H., Naumann K.* (Hrsg.). Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941—1944. Hamburg, 1995. S. 620—629; *Wegner B.* Erschriebene Siege. Franz Halder, die «Historical Division» und die Rekonstruktion des Zweiten Weltkrieges im Geiste des deutschen Generalstabes // *Hansen E.W., Schreiber G., Wegner B.* (Hrsg.). Politischer Wandel, organisierte Gewalt und nationale Sicherheit. Beiträge zur Geschichte Deutschlands und Frankreichs. München, 1995. S. 287—302. Об определяющей роли объединений ветеранов в публичных инсценировках войны см.: *Kühne Th.* Zwischen Vernichtungskrieg und Freizeitgesellschaft. Die Veteranenkultur der Bundesrepublik (1945—1995) // *Naumann K.* (Hrsg.). Nachkrieg in Deutschland. Hamburg, 2001. S. 90—113.

[13] *Manstein E. von.* Verlorene Siege. Bonn, 1955. S. 293 f.

[14] *Beaulieu W.Ch. de.* Der Vorstoß der Panzergruppe 4 auf Leningrad 1941. Neckargmünd, 1961. S. 141.

[15] *Görlitz W.* Der Zweite Weltkrieg 1939—1945: 2 Bde. Stuttgart, 1951. Bd. 1. S. 277.

[16] Ibid.

падение на Советский Союз он лично считает одним из самых «непостижимых шагов» Гитлера[17]. Затем он характеризует оперативное планирование Гитлера как «странное» и «фантастическое». Неоднократно ссылаясь на разногласия между Гитлером, с одной стороны, и Хальдером и фон Браухитчем — с другой, Кюнер стремится провести границу между руководством вермахта и немецким диктатором[18]. Чтобы продемонстрировать ситуации, когда разногласия превращались в «настоящий конфликт», в качестве примера Отто-Хайнрих Кюнер ссылается на приказ от 16 сентября 1941 года 4-й танковой группе[19]. Чрезвычайно подробно он описывает недоумение среди офицеров, вызванное приказом Гитлера — немедленно остановиться и не занимать Ленинград. Кюнер цитирует, в частности, генерала Райнхарда, который, находясь во главе моторизованного армейского пехотного корпуса на южных окраинах Ленинграда, докладывал, что никто ему не мешает войти в город и занять его[20]. Растерянность Райнхарда Кюнер иллюстрирует цитатой без всяких библиографических ссылок:

> «Да не может этого быть! Это неправильно! Это невозможно! Исключено! Это заблуждение! [...] Да ни один разумный человек не станет требовать этого от меня и от моей армии! [...] Я не желаю этого понимать, генерал-полковник Хёпнер [sic!] будет вне себя от ярости. И вот что я вам еще скажу, такого шанса мы не получим больше никогда [...] Мы никогда не возьмем Ленинград!»[21]

Приказ Гитлера об остановке наступления приводится здесь как пример ведения войны фюрером, мотивы которого имели «не рациональный, а эмоциональный характер»[22]. В отличие от него,

[17] *Kühner O.-H.* Wahn und Untergang 1939—1945. Stuttgart, 1956. S. 117.

[18] Ibid. S. 118.

[19] Ibid. S. 124 f.

[20] Об этих событиях см.: *Ganzenmüller J.* «...die Stadt dem Erdboden gleichmachen». Zielsetzung und Motive der deutschen Blockade Leningrads // *Creuzberger S. et al.* (Hrsg.). St. Petersburg — Leningrad — St. Petersburg. Eine Stadt im Spiegel der Zeit. Stuttgart, 2000. S. 179—195.

[21] Цитируется по: *Kühner O.-H.* Wahn und Untergang. S. 125. В данном виде эта цитата не сохранилась. Однако отсутствие понимания у Райнхарда подтверждается в военном журнале группы войск «Север»: Eintrag vom 13.9.1941. BA-MA, RH 19 III/ 167. См. также: Ibid. Eintrag vom 17.9.1941.

[22] *Kühner O.-H.* Wahn und Untergang. S. 126. Исключение составляет рассказ Херберта Михаэлиса. Согласно его описаниям, Гитлер остановил нападение на

командование вермахта исполняло свое военное ремесло рационально и трезво и не стало бы следовать решениям Гитлера. Предсказание Райнхарда, что Ленинград никогда не будет взят немцами, связывает стратегические просчеты с концом войны и однозначно возлагает вину за поражение на одного-единственного человека — Гитлера.

Немецкая стратегия под Ленинградом, как центральный конфликт между Гитлером и генералитетом, в результате поражения стала составной частью коммуникативной памяти командования вермахта. Таким образом, в послевоенный период офицеры старались дистанцироваться как от национал-социализма, так и от полного поражения в войне. Все без исключения разногласия по оперативным и политическим вопросам выдавались за глубокие и принципиальные противоречия между Гитлером и вермахтом. Ленинград играл в этих воспоминаниях роль одного из многочисленных примеров.

Многие историки охотно следовали этому нарративу. Представители школы «национальной истории» усматривали в национал-социализме принципиальный разрыв с немецкой историей, обозначая его даже как «ненемецкий» или «внеисторический»[23]. В этот образ вкладывалась также интерпретация, согласно которой офицерам удалось не запятнать себя этой «сатанинской фальсификацией подлинной немецкой традиции»[24]. За исключением деструктивного вмешательства Гитлера и преступлений СС, вермахт, в общем-то, вел конвенциональную войну. Таким образом, стратегия осады Ленинграда не являлась составной частью политики уничтожения со стороны национал-социализма, а должна была считаться «нормальным военным ремеслом». Все, что разрушало этот образ, подлежало ретушированию. Голод в осажденном городе вообще не нашел отражения в мемуарах Эриха фон Манштейна. В конечном счете, он описывает действия своей 11-й армии летом 1942 года как военную задачу — занять город на Неве[25].

Ленинград только в тот момент, когда стала очевидна его безрезультатность: *Michaelis H.* Der Zweite Weltkrieg 1939—1945. Frankfurt a. M., 1972. S. 278.

[23] См.: *Berg N.* Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung. Göttingen, 2003. S. 105—142.

[24] Так характеризовал национал-социализм Герхард Риттер в 1948 году. Цитируется по: Ibid. S. 129.

[25] См.: *Manstein E. von.* Verlorene Siege. S. 290—300.

3. Осада Ленинграда как «обычный и неоспоримый метод ведения войны»

В борьбе за монополию на интерпретацию событий блокады Ленинграда большую роль сыграло наделение некоторых понятий определенными смысловыми значениями. Так, например, Вернер Хаупт, принимавший непосредственное участие в осаде Ленинграда в составе 18-й армии, вводит в название и предисловие своей книги понятие «900-дневная битва». Одновременно он утверждает, что события, связанные с этим названием, вошли в историю[26]. Тем самым Хаупт пытается придать новый смысл понятию «900 дней», которое, по меньшей мере после выхода классического труда Гаррисона Солсбери, используется на Западе как синоним страданий жителей Ленинграда во время блокады[27]. При помощи слова «битва» Хаупт пытается вывести на передний план военное противостояние, оттесняя на второй план страдания голодающего населения. Одновременно он старается сгладить ситуацию в голодающем городе. Хотя он и сообщает, что население в октябре и ноябре 1941 года голодало, однако, как считает Хаупт, налаженное затем снабжение по Ладожскому озеру функционировало, по меньшей мере, в таком объеме, что городу не пришлось капитулировать из-за голода и «жителям не [пришлось] покидать город, чтобы сдаться»[28]. В действительности же положение в период с декабря 1941-го по февраль 1942 года было настолько критическим, что из Ленинграда пришлось эвакуировать по льду Ладожского озера не менее 1,3 миллиона жителей. Кроме того, Хаупт не обмолвился ни словом о миллионе погибших от голода. В его одностороннем описании рисуется следующая историческая картина: в этой войне вермахт вел себя по-рыцарски, проявил готовность пощадить ленинградцев, и людям в осажденном городе было не так уж и плохо. Напротив, ленинградцы причисляются к активным бойцам в стане противника. «Способное на фантастическое сопротивление население» оказало вместе с Красной армией сопротивление вермахту сразу же, «как только оно преодолело боязни и страхи»[29]. К этому утвержде-

[26] *Haupt W.* Leningrad. Die 900-Tage-Schlacht 1941—1944. Friedberg, 1980. S. 6.

[27] *Salisbury H.E.* 900 Tage. Die Belagerung von Leningrad. Frankfurt a. M., 1970 (американский оригинал — 1969).

[28] *Haupt W.* Leningrad. S. 92 f.

[29] Ibid. S. 6 f.; сходно аргументирует Курт фон Типпельскирх, который подчеркивает, что на подмогу яростно сопротивлявшимся защитникам города пришли «фанатичные ленинградские фабричные рабочие», см.: *Tippels-*

нию прилагается целый ряд фотографий из жизни осажденного города. На них изображены не голодающие люди, а, как правило, обороняющееся население: отряды резервистов, уходящие на фронт, зенитная установка и женский батальон ленинградского народного ополчения[30].

Вплоть до середины 1980-х годов в Западной Германии доминировала точка зрения, что вермахт прибег к голодомору Ленинграда только потому, что он не мог захватить город[31]. Такие авторы, как Йоахим Хоффманн, категорически отказывались рассматривать голодную смерть миллиона ленинградцев как военное преступление:

> «Какими бы трагичными ни были события, моральные претензии в адрес немецких войск не имеют под собой никаких оснований, так как осада и обстрел обороняемого города и его укреплений по-прежнему принадлежали к обычным и неоспоримым методам ведения войны»[32].

Осада Ленинграда трактуется в рамках этой формулировки как «рядовое событие войны». Подобная форма воспоминаний была призвана скрыть то обстоятельство, что блокада возникла никак не по соображениям военной необходимости, а была прежде всего средством геноцида. Таким образом, и в этом нарративе не нашлось места для памяти о жертвах.

4. Ленинградский фронт как место памяти о страданиях немецкого солдата

В своих воспоминаниях бывшие участники осады полностью оставляют за скобками человеческие страдания, разыгравшиеся в

kirch K. von. Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Bonn, 1959. S. 205. Подобную же характеристику фон Типпельскирх применяет для описания производства вооружений в осажденном Ленинграде, которое поддерживалось благодаря «фанатичному рвению», см.: Ibid. S. 284.

[30] *Haupt W.* Leningrad. S. 97.

[31] См., например, основополагающую работу Военно-исторического исследовательского учреждения (Militärgeschichtliches Forschungsamt): *Boog H. et al.* (Hrsg.). Der Angriff auf die Sowjetunion. Frankfurt a. M., 1991. S. 625—644 (первое издание — Stuttgart, 1983).

[32] Ibid. S. 877.

Ленинграде. При этом командиры на местах имели полное представление о положении в городе. Вермахт требовал составления регулярных докладов о состоянии дел в Ленинграде, в которых повседневная жизнь города описывалась без прикрас. Массовая гибель ленинградцев от голода не являлась тайной, а происходила в определенной степени на глазах у солдат вермахта. Даже если приходится сомневаться в том, какой информацией обладал отдельный солдат, то официальные заявления четко обозначали цель немецкой стратегии блокады. 8 ноября 1941 года фюрер хвастался в своей речи по случаю годовщины гитлеровского путча 1923 года, что его войска могут без труда завоевать Ленинград, но он сознательно приказал взять город измором[33].

Однако в коммуникативной памяти бывших солдат и офицеров вермахта сохранился прежде всего не голод советского мирного населения, а страдания немецких солдат[34]. Немецкий солдат изображается единственной жертвой битвы за Ленинград: он был вынужден сражаться против численно и материально превосходящего его противника, расплачиваться за ошибки недальновидного руководства и переносить суровый климат российского севера[35]. Этот нарратив повторяется как в послевоенных материалах по истории отдельных дивизий, так и в мемуарах участников войны[36].

Экзистенциальный опыт фронтовой повседневности находится в центре немногочисленных литературных обработок воспоминаний о сражениях под Ленинградом. Пожалуй, самым значительным примером является роман Герта Ледига «Сталинский орган»

[33] См.: *Domarus M.* Hitler. Reden und Proklamationen 1932—1945. Kommentiert von einem deutschen Zeitgenossen: 2 Bde. München, 1965. Band II, 2. S. 1775.

[34] См.: *Kühne Th.* Die Viktimisierungsfalle. Wehrmachtsverbrechen, Geschichtswissenschaft und symbolische Ordnung des Militärs // *Greven M.Th., Wrochem O. von.* (Hrsg.). Der Krieg in der Nachkriegszeit. Der Zweite Weltkrieg in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik. Opladen, 2000. S. 183—196, в частности — S. 184—187.

[35] См.: *Haupt W.* Leningrad. S. 79—109. Кроме того, автор издал фотоальбом группы войск «Север», содержащий бесчисленные фотографии, на которых запечатлен тяжелый военный быт немецких солдат. Жизни внутри блокадного кольца в альбоме посвящены только две фотографии и короткий текст — см.: *Haupt W.* Leningrad, Wolchow, Kurland. Bildbericht der Heeresgruppe Nord 1941—1945. Friedberg, 1976.

[36] См., например: *Zydowitz K. von.* Die Geschichte der 58. Infanterie-Division 1939—1945. Kiel, 1952; *Stachow H.G.* Fiasko an der Newa. Die Belagerung von Leningrad 1941—1944. Ein Augenzeugenbericht. München, 1998.

[«Катюша». — *Примеч. пер.*]. Действие книги разворачивается летом 1942 года в сорока километрах к югу от Ленинграда. Однако сам город в романе не фигурирует вовсе. Гораздо больше описывается жестокость позиционной войны, которая гремела на северном участке фронта два с лишним года. Сражения показаны с точки зрения солдат-фронтовиков обеих воюющих сторон, переживающих войну как мученичество и в конце концов оказавшихся преданными каждый своим руководством[37].

Популярные картины Второй мировой войны встречаются в многочисленных копеечных солдатских брошюрах. Напечатанные в них рассказы повествуют о немецких солдатах прежде всего как о жертвах. Однако если в романе Ледига война изображается как ад, из которого все пытаются выбраться, то в этих изданиях она порой представляется как приключение, в котором каждый мог доказать свое мужество и геройство. В этих поучительных рассказах осажденный Ленинград не упоминается, а действие оказывается оторванным от своего исторического места. Такие взаимозаменяемые истории могли бы происходить на любом участке советско-немецкого фронта[38].

Несмотря на литературную обработку, сражения под Ленинградом так и не вошли в культурную память в Федеративной Республике как символ немецкой жертвенности. Не Ленинград, а несравненно более чудовищная битва за Сталинград стала метафорой страданий немецких солдат во Второй мировой войне. Именно благодаря тому, что исторические события блокады лишились своей специфики в результате литературной обработки, воспоминания солдат не смогли получить символического оформления и не стали частью немецкой культурной памяти. Таким образом, позиционная война под Ленинградом осталась только частью коммуникативной памяти участников войны. Элизабет Домански отметила фрагментарность воспоминаний о Второй мировой войне в Герма-

[37] *Ledig G.* Die Stalinorgel. Hamburg, 1955.

[38] См., например: *Sandner W.* Winterschlacht vor Leningrad (= Der Landser. № 2341); *Idem.* In der weiRen Hulle (= Der Landser. № 1909). О содержании и читателях «солдатских» тетрадей см.: *Geiger K.F.* Kriegsromanhefte in der BRD. Inhalte und Funktionen. Tübingen, 1974; в иллюстрированных периодических изданиях Федеративной Республики, имевших миллионную читательскую аудиторию, фигурируют похожие картины войны — см.: *Schornstheimer M.* «Harmlose Idealisten und draufgdngerische Soldaten»: Militdr und Krieg in den Illustriertenromanen der fünfziger Jahre // *Naumann K.* (Hg.). Nachkrieg in Deutschland. Hamburg, 2001. S. 634—650.

нии, которую мирное население воспринимало совершенно иначе, чем солдаты вермахта[39]. Память об осаде Ленинграда протекает вдоль аналогичных разломов.

5. Ленинград в сознании ГДР

Коммуникативная память в ГДР не имела никаких возможностей для открытой артикуляции. В лучшем случае опыт пережитого солдатами вермахта мог обсуждаться и курсировал в частной сфере. Официальная историческая политика стремилась к укреплению идентификации с бывшим противником — Красной армией. Во многих случаях это означало прямое заимствование советских героических нарративов. Осада Ленинграда играла роль символа советского сопротивления и победы Красной армии. В таком изложении немецкая стратегия блокады не выглядела уже частью национал-социалистической войны на уничтожение, а трактовалась как беспомощная реакция на «героическое сопротивление советской армии» и «героизм работающего в тяжелейших условиях жизни населения Ленинграда»[40]. Поскольку линия фронта проходила в непосредственной близости от городской черты, этот пример особенно подходил для демонстрации мнимого единства народа и государства:

> «Шестьсот тридцать две тысячи человек погибли от голода в городе Ленинграде [...] Они погибли от мук, но они не сдались. Перед лицом неминуемой смерти они не только не стали обузой для защитников, но и сражались с ними плечом к плечу. Ни одна армия мира, и меньше всего социалистическая, опирающаяся на народ, не смогла бы удержать город, если бы его жителей охватило отчаяние. Шестьсот тридцать две тысячи мужчин, женщин и детей умирали

[39] См.: *Domansky E.* A Lost War. World War II in Postwar German Memory // *Rosenfeld A.H.* (Ed.). Thinking about the Holocaust. After Half a Century. Bloomington; Indianapolis, 1997. P. 233—272, в частности — p. 235, 243.

[40] *Schumann W., Drechsel K. et al.* Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Bd. 2: Vom Überfall auf die Sowjetunion bis zur sowjetischen Gegenoffensive bei Stalingrad (Juni 1941 bis November 1942). Berlin (Ost), 1976. S. 53. Этот нарратив перекочевал затем и в школьные учебники — см., например: *Bleyer W. et al.* Geschichte. Lehrbuch für Klasse 9. Berlin (Ost), 1988. S. 161.

> как солдаты, глядя в лицо врагу. Ленинград пал бы без их молчаливого самопожертвования»[41].

Преданность народа «своему» советскому государству предстает в этом нарративе особенно глубокой, потому что люди были готовы идти за него на смерть. Это ли не лучшее доказательство крепкой опоры социалистического государства в народе?

Поскольку Ленинград играл одну из ведущих ролей в советской памяти о войне, то и в ГДР блокаде уделялось гораздо больше внимания, чем на Западе. Восточногерманские историки уже в самом начале распознали и четко обозначили намерения Гитлера «сровнять с землей» Ленинград и Москву. Однако стратегия голодомора соотносилась при этом не с национал-социалистической политикой уничтожения, а с замыслами «немецкого империализма» уничтожить «социалистический общественный и государственный строй»[42]. К примеру, Хельмут Бергшикер расценивал разрушительные планы Гитлера как доказательство того, что «третий рейх» не руководствовался расистскими мотивами:

> «В конечном счете ленинградские потомки истинно германского викинга Рюрика были неподходящим объектом для развернувшейся кампании по "истреблению евреев и азиатов". План Гитлера является однозначно циничным доказательством того, что вермахт превратился в инструмент классовой борьбы не на жизнь, а на смерть, которую тайные хозяева Германии — промышленные магнаты и банкиры — вели против социалистического города. Даже новые повелители Европы не представляли себе возвращения Ленинграда в лоно капитализма»[43].

В рамках такой интерпретации немецкая стратегия блокады была призвана доказать классово-антагонистический характер советско-германской войны и, согласно марксистскому канону, одновременно продемонстрировать якобы необратимый характер исторического прогресса. Став социалистическим, Ленинград уже никогда больше не мог превратиться в капиталистический город.

[41] *Bergschicker H.* Leningrad. Stadt, die den Tod bezwang. Berlin (Ost), 1966. S. 157.

[42] *Schumann W., Drechsel K. et al.* Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Bd. 2. S. 53.

[43] *Bergschicker H.* Leningrad. S. 127.

Вопреки этому идеологически перегруженному нарративу, который не имел никакого отношения к реальному опыту войны, в отличие от Западной Германии блокада Ленинграда глубоко укоренилась в культурной памяти восточных немцев. Это объясняется в первую очередь тем, что описания жизни блокадников были включены в школьные программы и, кроме того, вошли в сюжеты целого ряда литературных произведений для юношества, знакомство с которыми должно было оставить у подрастающего поколения читателей неизгладимое впечатление[44]. Тогда же вышел в свет немецкий перевод «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина[45]. Этот документальный рассказ, основанный на воспоминаниях людей, переживших блокаду, до сих пор является самым впечатляющим свидетельством о жизни и смерти в осажденном городе.

Политическое руководство ГДР стремилось к тому, чтобы главным мотивом в истории осажденного Ленинграда оставались страдания жителей города. Антифашизм играл роль основополагающего, созидательного мифа в строительстве второго немецкого государства. Соответственно в поражении национал-социалистической Германии усматривалось освобождение от фашизма, жертвой которого, согласно такому подходу, в конечном счете стал и сам немецкий народ[46]. Таким образом, у Советского Союза был заимствован не только героический миф, сформировавший память о войне в Восточной Германии, но и сама внутренняя солидарность «сообщества жертв» национал-социализма. Таким образом, граждане «другого» немецкого государства участвовали в коммуникативной памяти ленинградцев[47].

[44] См.: *Schulenburg B.* Tanja — Geschichte eines Mädchens aus Leningrad während der neunhunderttägigen Blockade. Berlin (Ost), 1981; *Dementjew N.* Eingeschlossen — Ein Tag in einer belagerten Stadt. Berlin (Ost), 1981. В целом Вторая мировая война представлена более подробно в восточногерманских школах по сравнению со старой Федеративной Республикой — см.: *Borries B. von.* Vernichtungskrieg und Judenmord... S. 217.

[45] *Adamowitsch A., Granin D.* Das Blockadebuch: 2 Bde. Berlin (Ost), 1984, 1987.

[46] См.: *Herbert U.* Zweierlei Bewältigung // *Herbert U., Groehler O.* Zweierlei Bewältigung... S. 7—27, в частности — S. 22 f.; *Flacke M., Schmiegelt U.* Aus dem Dunkel zu den Sternen. S. 174—178.

[47] О соотношении советской официальной историографии и коммуникативной памяти ленинградцев см. подробнее: *Ganzenmüller J.* Das belagerte Leningrad... Kapitel VII.

Заключение: от разделенной к общей памяти

На протяжении последних пятидесяти лет блокада Ленинграда не являлась неотъемлемой составляющей немецкой культурной памяти. Город на Неве постоянно фигурировал в общественной памяти, но только лишь как вспомогательный элемент других нарративов: от «чистой войны» вермахта вплоть до «классовой борьбы между советской властью и крупным капиталом». Напротив, история, напоминающая о жертвах, рассказывалась крайне редко.

В то время как в ГДР политическое руководство обладало монопольным правом интерпретации истории Второй мировой войны и формирования культурной памяти, в Федеративной Республике существовали многочисленные формы общественной памяти, в основе которых лежал разнообразный военный опыт. Предание забвению Ленинграда в Западной Германии не было результатом сознательного замалчивания военных преступлений, а объясняется, скорее всего, господством других нарративов, оттеснявших блокаду на второй план или включавших ее в ткань своих повествований.

Тем не менее с начала 1990-х годов в этой области произошли определенные изменения. Не только историография уделила в последнее время значительно больше внимания блокаде Ленинграда[48], но и в общественной сфере эта тема приобрела огромную популярность. Одновременно соединяются до сих пор разделенные формы памяти Восточной и Западной Германии. В многосерийном документальном фильме Второго канала немецкого телевидения «Проклятая война» блокаде Ленинграда была посвящена отдельная серия. В этом документальном фильме были показаны как фронтовой быт осаждавших, так и страдания осажденных ленинградцев, донесенные до телезрителя через интервью с теми, кто пережил

[48] См., например: *Rambow A.* Überleben mit Worten. Literatur und Ideologie während der Blockade von Leningrad 1941—1944. Berlin, 1995; *Ganzenmüller J.* «...die Stadt dem Erdboden gleichmachen». Zielsetzung und Motive der deutschen Blockade Leningrads // *Creuzberger S. et al.* (Hrsg.). St. Petersburg — Leningrad — St. Petersburg. Eine Stadt im Spiegel der Zeit. Stuttgart, 2000. S. 179—195; *Hürter J.* Die Wehrmacht vor Leningrad. Krieg und Besatzungspolitik der 18. Armee im Herbst und Winter 1941/42 // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 2001. Jg. 49. S. 377—440; *Hass G.* Leben, Sterben und Überleben im belagerten Leningrad (1941—1944) // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 2002. Jg. 50. S. 1080—1098.

блокаду[49]. Приблизительно в это же время на телеканале NDR демонстрировался часовой документальный фильм, а в издательстве «Ровольт» (*Rowohlt-Verlag*) вышел сборник документов и статей, в которых представлены как немецкий, так и советский взгляды на блокаду[50].

Сегодня жизнь в осажденном Ленинграде стала постоянной темой научных исследований и телевизионных документальных передач[51]. Целый раздел выставки «Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941—1944 годах», привлекшей многочисленных посетителей, был посвящен немецкой политике голодомора в Советском Союзе и включил блокаду Ленинграда в ее контекст[52]. Немецко-русский музей Берлин—Карлсхорст подготовил к шестидесятилетию освобождения Ленинграда выставку, главной темой которой стала жизнь блокадного города[53].

Совместное возложение венков канцлером Герхардом Шрёдером и президентом Владимиром Путиным в апреле 2001 года на Пискаревском кладбище — главном месте памяти жертв блокады Ленинграда — имело значение и как политический символ признания, и как дань памяти о страданиях ленинградцев во время немецкой блокады. В связи с 60-летней годовщиной окончательного освобождения Ленинграда Красной армией 27 января 1944 года в немецкой прессе появилась целая серия репортажей, а служба новостей Первого германского телеканала в нескольких выпусках своих программ подробно сообщала о торжествах в Санкт-Петербурге. Таким образом, блокада Ленинграда постепенно завоевывает свое место и в немецкой памяти.

Авторизованный перевод с немецкого Эллы Каплуновской

[49] См. сопровождающую книгу: *Knopp G.* Der verdammte Krieg. Das «Unternehmen Barbarossa». München, 1991. S. 139—167, цитата — S. 166.

[50] Blockade. Ein Film von Thomas Kufus. NDR, 1993; Blockade. Leningrad 1941—1944. Dokumente und Essays von Russen und Deutschen / *Leetz A.* (Hg.). Reinbek bei Hamburg, 1992.

[51] См., например, недавно опубликованное исследование: *Hass G.* Leben, Sterben und Überleben im belagerten Leningrad; а также: Die hungernde Stadt, Filmbericht von Christian Klemke und Jan N. Lorenzen. MDR, 2003.

[52] Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941—1944. Ausstellungskatalog / Hamburger Institut für Sozialforschung (Hrsg.). Hamburg, 2002. S. 308—327. [О выставке см. также статьи Александра Борозняка и Вольфрама Ветте в этом номере «НЗ». — *Примеч. ред.*]

[53] Blockade Leningrads 1941—1944. Dossiers / *Jahn P.* (Hg.). Berlin, 2004.

ГУМАНИТАРНАЯ ЭКОНОМИКА

Страницы Евгения Сабурова

Евгений Сабуров
ОЖИДАНИЯ И ПАМЯТЬ

Современная гуманитарная экономика оперирует понятиями, еще недавно казавшимися совершенно ей неприсущими. От оценки рисков веры — доверия уже начинаешь уставать. Никого не удивляет и такая фраза: «инвестиции в переводе с экономического на человеческий язык означают надежду». Или, например, такое рассуждение: как только началось дело «ЮКОСа», инвестиционный климат в стране настолько испортился, что надежда на российское экономическое чудо исчезла. Кстати, «экономическое чудо» — это тоже термин. Спор идет о том, чудо — это более 7% или более 10% устойчивого ежегодного роста ВВП?

Не избежала пристального экономического взгляда и главная богословская добродетель — любовь. Правда, экономической оценке подвергается не сама любовь — уж больно расплывчатое и синтетическое понятие, — но ее отсутствие. Считают цену зависти или ненависти. Успешно считают, очень впечатляюще. Российский обыватель готов, например, перебиваться с хлеба на квас, лишь бы засадить в кутузку очередного «олигарха». Становится понятно, что никакой Ленин не соблазнил малых сих. Малые уж больно недобрые. И даже можно посчитать их недоброту. Хоть в рублях, хоть в долларах. Или евро. По курсу.

А вот с памятью дело обстоит не так. Тоже вроде гуманитарное понятие, которое так и просится на операционный стол под экономический скальпель. Но что-то не получается.

Например, станем рассматривать память как исторический опыт. Помогает ли этот опыт при принятии экономических решений? Одно время в экономике была модной теория рациональных ожиданий. Она проста как огурец. Предположим, Центральный банк снизил ставки рефинансирования. Деньги подешевели. В таком случае, ясное дело, будет инфляция. Рабочие сразу требуют

повысить им зарплату, а предприятия повышают цену на свою продукцию. Все это происходит, и больше ничего. С какой радости надо было снижать ставку рефинансирования? А в расчете на дураков. Руководство ЦБ думало: выпустим побольше денег, их с удовольствием возьмут и начнут больше строить, больше производить за ту же цену и на ту же зарплату. Нашел дураков! Сторонники теории рациональных ожиданий даже не считают людей уж очень умными. Скорее они исходят из того, что опыт — ум дураков. Ведь это все уже было тысячу раз!

Ан нет! Не правы сторонники теории рациональных ожиданий. А ЦБ прав. Люди не только не способны понять простую экономическую арифметику. Они не способны воспользоваться собственным весьма недавним опытом.

На этом феномене основана возможность государственного регулирования в экономике. Удешевляя или, наоборот, удорожая деньги, снижая или повышая налоги, финансовые власти влияют на инфляцию и занятость. Если бы сторонники теории рациональных ожиданий были правы, то это было бы просто невозможно. Противники теории рациональных ожиданий очень скептически относятся к тому, что человек владеет историческим опытом и способен опираться на него при принятии решений.

Но так ли это? Может быть, хватит ругаться и говорить о непроходимой тупости народа? Может быть, дело обстоит совсем не так и мы, наоборот, недооцениваем память?

Прежде всего вызывает сомнение сам термин «рациональность». Вернемся к нашему примеру. ЦБ снизил ставки рефинансирования. Казалось бы, стоит потребовать повышения зарплаты, но мы этого не делаем. Тогда инвесторы начинают вкладывать «лишние» деньги в производство, в строительство, в науку. Наши доходы не растут, но вокруг появляется много новых товаров, расширяется наш выбор, наши возможности. Теперь мы начинаем требовать повысить зарплату. У одних нервы не выдерживают раньше, у других позже. Я не уверен, что это менее рациональное поведение.

Может быть, люди так умны, что понимают — действовать согласно теории рациональных ожиданий вовсе не рационально? Может быть, память, исторический опыт влияют на экономическое поведение человека очень сильно, но сам выбор осуществляется по другим критериям, чем это представляют себе и сторонники, и противники теории рациональных отношений?

В конце концов, теория рациональных ожиданий подразумевает, что самое рациональное поведение — это поддержание status

quo. Действительно, если, прочитав в газете о решении Федеральной резервной системы, европейского и российского ЦБ о снижении ставок рефинансирования, тут же помчаться в свой профсоюз и начать судорожно мобилизовывать коллег на забастовку, это будет означать, что я ничего не хочу приобрести и ничего не хочу потерять. Если же я вспомню, что такие действия ранее привели к росту экономики, появлению новых рабочих мест и новых товаров, то не рациональнее ли мне подождать. Конечно, до определенного предела. Посмотреть, приглядеться.

Если я вижу, что «лишние» деньги идут на военные авантюры, съедаются, не давая никакого развития, то инфляция неизбежна. Если я вижу, что это повторяется раз за разом, то любые попытки «подстегнуть» экономику со стороны госорганов окончатся провалом. Если же опыт подсказывает мне, что кое-что получается, то я запасусь терпением и буду следить за происходящим с доверчивым вниманием. И не важно, будут ли финансовые власти действовать дискретно, как прописано в кейнсианских рецептах, или же постепенно, согласно «правилам игры» монетаристов.

Мне кажется, что действия финансовых властей в области денежно-кредитной политики — это приглашение к танцу. Приглашают нас. А мы, как девушка, оцениваем кавалера и то ли даем повести себя в танце, то ли отказываем. Нарвавшись на грубость и обман, мы в следующий раз призадумаемся над нашим решением. Мы, конечно, очень хотим потанцевать, но не с каждым же рылом!

Оба решения — и экономическое поведение по принципу «хуже бы не было», и «давай попробуем» — рациональные решения. Они зависят от азартности народа, от степени его доверия правительству, но и азарт, и доверие основываются на памяти.

Доверие редко сваливается с неба. Как правило, оно следствие памяти. Память вызывает ожидания. Ожидания диктуют рациональность. Сегодня в России народные ожидания очень пессимистичны. Любые действия — даже повышение зарплат людям, занятым в бюджетной сфере, — вызывают озабоченность. Все уверены, что их хотят обмануть. Прогноз оказывается действенным экономическим фактором. Сами экономические ожидания сводят на нет все попытки подстегнуть развитие. Выбирается рациональность, полностью соответствующая теории рациональных ожиданий. Никакого развития не происходит — инвестировать народ не желает.

Каждый народ имеет опыт внезапной влюбленности. Девушка бросается навстречу приглянувшемуся кавалеру. Брошенная и оскорбленная, она может найти в конце концов достойного партне-

ра и превратиться в прекрасную женщину. Но что вы хотите от России, которая столько раз с энтузиазмом бросалась в объятия смазливым правительствам и каждый раз оказывалась после вечеринки в канаве?

Народ не может поставить на себе крест. Пусть ожидания беспросветны. Пусть настоящее неприглядно. Тогда память начинает создавать приемлемое прошлое. Девушка вспоминает прошлых кавалеров. Она начинает их мифологизировать. Это ужасно. Это значит, что девушка уже не верит в счастливый исход своих поисков. Ложная память способна поддерживать убогий уют. Однако, когда нужно принимать экономическое решение, память используется только самая что ни есть правдивая. Не инвестируют. О великой супердержаве России говорят. Но в нее не инвестируют.

ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ВОСПОМИНАНИЕМ И НАПОМИНАНИЕМ

Илья Кукулин

РЕГУЛИРОВАНИЕ БОЛИ

(Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940—1970-х годов)

Нечитаемая война

Проблема, которой посвящена эта статья, в силу ряда причин оказалась на периферии исследований по истории литературы и культуры. Эту проблему можно сформулировать следующим образом: каким образом травматический, с трудом поддающийся описанию опыт Великой Отечественной/Второй мировой войны был интерпретирован в русской подцензурной и неподцензурной литературе, как он осмыслялся на протяжении послевоенных десятилетий и как он «вернулся», оказался насущно необходимым в русской литературе 1990-х годов.

Рассмотрение интересующей нас проблемы позволяет выявить механизмы разграничения допустимого и недопустимого (того, что читатели и писатели считали «литературно легитимным» и «литературно нелегитимным») в советской культуре и особенности освоения и трансформации советской литературой повседневности, в том числе и травматической, дискомфортной, «не предусмотренной» господствующей идеологией. Великая Отечественная война была самым значительным вторжением такой «внесистемной» повседневности в жизнь миллионов людей.

Неподцензурная и неофициальная литература в дальнейшем выступают как близкие понятия, но не синонимы. Под неофициальной литературой понимаются произведения, написанные для публикации в советской печати, но выдвигающие в качестве главной задачи не социально-идеологическую адаптацию, а претворение неотчужденного личного и/или коллективного опыта. Неподцензурная же литература представляет собой корпус текстов,

Благодарю Евгения Добренко и Ивана Ахметьева за ценные консультации.

авторы которых сознательно выходили за пределы системы советских эстетических координат, то есть нарушали фундаментальные основы советской эстетики (о сути этих основ будет сказано далее); даже если эти тексты и предлагались к публикации, напечатать их было невозможно.

В одной из своих работ, посвященных анализу современных социальных процессов в России, Лев Гудков пишет, что «непобедная, негосударственная сторона войны, вся ее тяжесть, человеческий страх ушли в своего рода "подсознание" общества ("слепое пятно" его официальной памяти)»[1], — однако применительно к искусству это высказывание мне кажется неточным: неофициальное искусство — в первую очередь литература — еще во время войны начало вырабатывать новые методы постижения «непобедного», «негосударственного», частного опыта. Характерно, что Лев Гудков сделал оговорку — *«официальной* памяти»; но парадоксальным образом подцензурная литература в СССР была основой структур не только официальной, но и неофициальной памяти. В условиях, когда были запрещены не одобренные официально источники информации о прошлом, литература, воспринимавшаяся не только как официально санкционированное, но и как неизбежно «личное» высказывание, неизбежно приобретала характер косвенной легитимации частной биографической памяти. Советским писателям часто требовался не столько эзопов язык, сколько система умолчаний, особенности персонажей и расстановка смысловых акцентов, дающие читателю возможность домысливать в определенном направлении. Даже публиковавшиеся произведения о войне (включая и те из них, которые входили в официальный советский канон) во многом прямо или аллюзийно отсылали к личному опыту многих читателей, которые с энтузиазмом «вычитывали» из этих текстов то, о чем не говорилось в газетах и по радио. Произведения, которые особенно явственно функционировали «в двух регистрах», официальном и неофициальном, — это поэма Александра Твардовского «Василий Теркин», многие стихотворения и проза Константина Симонова, лирика Михаила Исаковского или — в первые послевоенные годы — повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»[2].

[1] *Гудков Л.* Победа в войне: к социологии одного национального символа // *Гудков Л.* Негативная идентичность. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 38.

[2] См. подробнее: *Вишневецкий И.* Частная война: голоса, которые я слышу // Новое литературное обозрение. 2002. № 55. С. 249—257.

«Вычитывание» входило в систему необходимого для функционирования советской культуры негласного договора между читателем, писателем и властью о границах дозволенного и правилах чтения; на наш взгляд, окончательно этот договор и сформировался в первой половине 1940-х годов. Напомню, что в первые месяцы войны партийно-государственная элита была вынуждена дать согласие на расширение цензурных рамок, окончательно допустить в литературу определенным образом — в духе советской риторики — перекодированные «неидеологические» мысли и эмоции. Подробный и убедительный анализ этого процесса предложили Евгений Добренко[3] и Мариэтта Чудакова[4].

Я не ставлю своей целью рассмотреть здесь неканонические или новаторские концепции Второй мировой войны, созданные в русской литературе 1940—1990-х годов. Историософия интересна мне только постольку, поскольку на ее формирование оказывала влияние вначале стихийно, а позже сознательно складывавшаяся новая литературная антропология — неконвенциональные, зачастую негероические и даже антиисторические образы «человека на войне». Поэтому в фокус моего внимания не попадают ни роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», ни стихотворный цикл Вячеслава Иванова «Римский дневник 1944 года», ни многие другие значительные произведения.

Расслоение литературы

Некоторые особенно проницательные или исторически чуткие люди еще в конце 1930-х годов ждали войны на территории СССР (а не «малой кровью и на чужой территории»)[5]. Тем не менее со-

[3] *Добренко Е.* «Грамматика боя — язык батарей». Литература войны как литература войны // *Добренко Е.* Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. München: Verlag Otto Sagner, 1993. С. 210—312.

[4] *Чудакова М.* «Военное» стихотворение Симонова «Жди меня» (июль 1941 года) в литературном процессе советского времени // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 223—259.

[5] См., например, стихотворение Александра Ривина 1940 (?) года: «Вот придет война большая, / заберемся мы в подвал. / Тишину с душой мешая, / ляжем на пол наповал...» (Ривин пропал без вести в первые месяцы войны). Даниил Хармс весной 1941 года умолял свою приятельницу, писательницу Наталью Гернет, уехать из Ленинграда, поскольку город «ждет участь Ковентри» (см.: *Гернет Н.В.* О Хармсе // Нева. 1988. № 2. С. 204).

ветская литература оказалась совершенно не готова к оборонительной войне — как и вся советская пропагандистская машина. В 1941—1945 годах советская литература оказалась перед необходимостью переработать, объяснить и контекстуализировать множество психологических коллизий, не предусмотренных советскими идеологическими схемами.

Советская литература, как она сформировалась во второй половине 1930-х годов, была устойчивой системой, служившей целям одновременно пропаганды и социокультурной адаптации[6]. Из литературы «вытеснялись» не только упоминания о государственном терроре и о фактах, «неудобных» с точки зрения советской идеологии, но в ней определенным образом «перекодировались» любые дискомфортные переживания: смерть в основной части советской литературы описывалась прежде всего как жертва, а болезнь — как испытание, которое требовалось преодолеть, чтобы «встать в строй» (см., например, случай Николая Островского)[7], любовь могла быть неразделенной, но не могла приносить чувства одиночества. Переживания, связанные с телесностью, могли быть следствием ранения или болезни, но не фоном повседневного существования человека[8], поэтому у классиков соцреализма «повседневная телесность» становилась, как правило, атрибутом отрицательных героев (ср. псевдотолстовское описание грязного тела унтер-офицера Фенбонга из романа Александра Фадеева «Молодая гвардия»). На материале кинематографа этот процесс вкратце описала Оксана Булгакова: «Из [художественного] арсенала должны исчезнуть физиологические и невротические проявления, все знаки сексуальности,

[6] Обоснованию этого тезиса посвящена вся упомянутая выше книга Евгения Добренко «Метафора власти»; этот же тезис важен для понимания других его работ. См. также: *Дубин Б.* Слово — письмо — литература. М., 2001. С. 135—154, 262—272; *Он же.* Интеллектуальные группы и символические формы. М., 2004. С. 59—132.

[7] Об этом писали Давид Фельдман и другие исследователи. В послевоенной соцреалистической литературе такое отношение к болезни и травме сохранилось: см., например, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.

[8] Такие описания становились поводом для одного из самых сильных обвинений в советской критике 1930-х годов — в «биологизме»; даже такой проницательный литературовед, как Лев Пумпянский, счел, что в романе Юрия Олеши «Зависть», где описания телесных переживаний играют существенную роль, присутствует излишний «биологический уклон» — во многом на основе этих описаний (см.: *Пумпянский Л.В.* Основная ошибка романа «Зависть» // *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция. М., 2000. С. 552, 556).

аномалии, патологии [...] представление которых — даже такое остраненное, как в "физиологичной" опере Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", — подвергается резкой критике. [...] Между тридцатыми и пятидесятыми годами [...] постепенно устанавливаются ограничения в представлении физиологичности»[9]. Столь же неприемлемы были описания или анализ «неконвенциональных», неформализуемых страхов, а вместе с ними игнорировался и анализ субъектности персонажей. Постижение ситуации современного человека было подменено риторически-идеологическим проектированием, имевшим целью формирование и поддержание новой — специфически советской — коллективной идентичности. Эту проективную и в то же время психологически-ограничительную функцию советской литературы можно назвать риторической редукцией субъекта. Цель этой редукции проанализировал Евгений Добренко: она служила подавлению разнообразия личностей, представленного в культуре, снижению возможностей культуры как независимого поля коммуникации и рефлексии в обществе[10].

Принципиально, что редукция распространялась не только на описываемого, но и на пишущего субъекта: писатель должен был научиться «не видеть» и не анализировать многое и в самом себе либо, как вариант, не фиксировать результаты анализа в своем творчестве[11].

Рассматривая историю российской литературы о войне, можно выделить два наиболее значимых круга проблем, обсуждение которых изначально (то есть с точки зрения довоенной советской литературы) было фактически табуировано. Первый круг проблем можно условно назвать антропологическим, второй — социальным. К первому относятся прежде всего неконтролируемые и непредсказуемые переживания: страх, физический и психологический

[9] *Булгакова О.* Фабрика жестов. М., 2005. С. 205.

[10] *Добренко Е.* «Грамматика боя — язык батарей». С. 212.

[11] Примером второго является творчество одиозного советского писателя Аркадия Первенцева (1905—1981). Его проза 1940-х годов, как известно, выдержана в ортодоксально-сталинистских традициях, однако в (недавно опубликованных) дневниках военных лет он фиксировал явления, «не укладывающиеся» в официально принятую картину мира, — например, подробно описывал панику и массовый исход мирного населения из Москвы 16 октября 1941 года, отчаяние, а иногда и агрессивное поведение беженцев и прочее. См.: *Первенцев А.* Москва опаленная. Дневник войны // Москва. 2001. № 6 (www.moskvam.ru/2001/06/pervenc.htm).

дискомфорт (боль, голод, холод), чувство крушения всей довоенной картины мира, агрессивные проявления «животного» начала в человеке в экстремальных обстоятельствах (столь же частые, как и героизм). Особая военная антропология формируется также через новое ощущение телесности — тело человека на войне или в тылу оказывается болезненным и тяготящим и в то же время воспринимается как часть единого страдающего коллективного тела.

Доминантой социального круга проблем является государственное давление на все сегменты общества, многократно усиливавшее собственно тяготы войны: террор и принуждение на фронте (политотделы, заградотряды) и в тылу (депортация народов, «превентивные аресты» и аресты за «пораженческие разговоры» и прочее), репрессии в отношении военнопленных, людей, бывших в окружении или живших на оккупированной территории.

Для нашего анализа больший интерес представляют проблемы антропологические, хотя очень часто они неразрывно связаны с социальным контекстом. Литературное осмысление новых чувств, мыслей, эмоций — происходившее почти всегда с вольным или невольным учетом социального контекста — выводило пишущего за пределы любых идеологических схем, а это, в свою очередь, могло привести к рефлексии советской идентичности, что стало бы для автора и понявших его читателей выходом за пределы советской редуцирующей системы. Не важно, ставилась ли в произведении под вопрос идентичность субъекта как советского или как новоевропейского человека: любая проблематизация идентичности для советской пропаганды была разрушительной.

Впервые связь пережитых страданий и кризиса идентичности стала предметом искусства и философии после Первой мировой войны. «Солдаты Ремарка и Хемингуэя вынесли из войны трагическое разочарование в патриотических ценностях. [...] Война научила их верить лишь в экзистенциальные основы — в жизнь, в смерть, в любовь» (Петр Вайль, Александр Генис[12]). Вероятно, предельным выражением того кризиса стала работа Мартина Хайдеггера «Бытие и время» (1926), где доказывалось, что открытым и подлинным неотчужденным существованием человека является только жизнь в осознаваемом присутствии смерти и что

[12] *Вайль П., Генис А.* 60-е. Мир советского человека. М., 1996. С. 95—96. Мысль эта высказывалась задолго до Вайля и Гениса; их я здесь и далее цитирую потому, что в их книге многие результаты дискуссий 1960—1980-х годов представлены в наиболее лапидарной, афористичной форме.

эта позиция дает основания для критики порядка повседневной жизни[13].

Описание некомфортного, шокирующего опыта в литературе можно разделить на два типа: опыт, дискомфортный эмоционально (страх, боль, ненависть, нравственные конфликты) и дискомфортный экзистенциально (проблемы идентичности, ощущение крушения и последующего трудного обретения смысла жизни, саднящая невосполнимость потерь). В советской литературе военного периода эти два типа переживаний совмещаются в рамках одного произведения или творчества одного писателя, и отделить одно от другого крайне трудно.

Трудно, но возможно — анализируя механизмы цензуры (внутренней и внешней) и искусственно организованного взаимодействия между литературой и обществом, существовавшие в СССР.

Главная гипотеза этой работы состоит в том, что вся послевоенная история «военной темы» в советской литературе до перестройки была историей адаптации эмоционально дискомфортного опыта для нового обоснования советской идентичности — и историей отвержения опыта, дискомфортного экзистенциально. При этом этот второй тип постоянно возвращался в «литературное сознание» в превращенных формах. В 1990-е годы он был неявно «реабилитирован», но так и не был отрефлектирован и опознан.

Два типа описания страданий и ужасов войны отличаются не по материалу, а по точке зрения, по отношению к материалу. В советской цензурно-редакторской практике и то и другое квалифицировалось как «ремаркизм» и «натурализм», но экзистенциально дискомфортное письмо вызывало гораздо более резкое отторжение.

Рождение нового субъекта

В первые же месяцы войны дискомфортные и даже катастрофические переживания стали частью культурного сознания — без разделения на эмоционально и экзистенциально дискомфортные. Важнее было то, что эти переживания были опознаны и описаны как *личные*, как неотъемлемый элемент повседневной жизни каждого, а не как то, что происходит с умозрительными героями, которые воюют в абстрактном, созданном усилиями пропаганды пространстве.

[13] *Хайдеггер М.* Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. М., 1997. С. 249—266.

Русской литературной традиции были известны описания неконтролируемых чувств страха и растерянности человека на войне — в первую очередь в «Севастопольских рассказах» Льва Толстого, отчасти в прозе Всеволода Гаршина; бессмысленная жестокость и разгул животных инстинктов во время Гражданской войны стали предметом изображения и эстетической рефлексии в прозе Артема Веселого, Исаака Бабеля и Бориса Пильняка. Но для авторов и подцензурной, и неподцензурной литературы имела гораздо большее значение рефлексия *нового*, порожденного именно *в эти годы и этой войной* самоощущения человека.

Обращение литературы к такого рода рефлексии повлекло за собой первостепенное — по своей эстетической и философской значимости — открытие. Его можно было бы назвать открытием алогичной (или абсурдной) психологии человека и описать следующим образом.

1. Люди на фронте и в тылу, в панике отступления или эвакуации, открывали в себе множество неконтролируемых переживаний, которые далеко не всегда подчинены очевидным причинно-следственным отношениям.

2. Военные реалии и переживания привели к возникновению нового понимания смерти. В глазах участников военных действий или страдающего от тягот войны мирного населения человеческое существование выглядит донельзя хрупким и эфемерным, а смерть, которая может настигнуть любого и в любой момент, становится наглядно случайной. (В ситуации массовых арестов 1930-х годов исчезновения людей также выглядели непредсказуемыми, но для оставшихся на свободе это были именно исчезновения, а не мучительное умирание на глазах у друзей[14].) Как следствие — внимание к субъекту определялось уже не столько теми или иными его качествами, а, во-первых, лишь тем, что он постоянно находится перед лицом смерти, и, во-вторых, тем, что противостояние может мгновенно закончиться ее победой.

Как я их всех люблю
(и их всех убьют).
Всех —
командиров рот

[14] См. очень точный, на наш взгляд, анализ этого переживания на материале Первой мировой войны (когда массовая и бессмысленная смерть на войне, как уже сказано выше, впервые стала фактом культурного сознания): *Слотердайк П.* Критика цинического разума / Пер. с нем. А. Перцева. Екатеринбург, 2001. С. 461.

«Ро-та, вперед, за Ро-о...»
(одеревенеет рот).
Этих. В земле.
(Ян Сатуновский. «Как я их всех люблю...», 1942)

Поэзия Сатуновского — редкий пример прямого, ничем не смягченного описания нового восприятия смерти. Неопубликованные стихи Сатуновского не существовали в публичном пространстве, но именно выход из нормативной эстетики позволил Сатуновскому наиболее резко и точно сформулировать новый тип переживаний, с которыми работала и подцензурная литература.

3. При такой смене оптики принципиально важным оказалось фиксировать ежедневные «мелкие» ощущения, саму ткань повседневного восприятия мира. Один из самых ярких примеров такого письма о войне — повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» (1944).

«Из-за вокзала медленно, торжественно, будто на параде, выходят самолеты. Я никогда еще не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных высотах. Все небо усеяно плевками зениток.

Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться [...]»[15].

Следствием такого отношения к описываемой реальности становится деидеологизация текста. В повести Некрасова идеология присутствует как факт сознания героев (в блиндаже висит портрет Сталина), но не сознания автора (портрет Сталина упоминается среди других предметов в блиндаже как рядовая деталь обстановки и никак не комментируется)[16]. Это обратная сторона некрасовского внимания к «ткани» повседневной жизни.

4. Во время войны произошла радикальная переоценка довоенной жизни, «на фоне» которой воспринималось происходящее. Она была переоткрыта, фактически создана заново — и присутствовала как явный (или же едва различимый) «второй голос» в большинстве произведений о войне.

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся,

[15] *Некрасов В.П.* В окопах Сталинграда. М.: Русская книга, 1995. С. 59—60.

[16] Именно за эту неидеологичность Андрей Синявский в эссе о творчестве Некрасова назвал его «первым нашим светским писателем». См.: Синтаксис. 1987. № 19. С. 5—7; перепечатано: Знамя. 1990. № 5. С. 51.

Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.

Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение,
И обратно не все увеличится
В нашем горем испытанном зрении.
(Константин Симонов.
«Будто смотришь в бинокль перевернутый...», 1941)

Важнее памяти о *реальной* довоенной жизни в этом и иных произведениях военных лет был *вновь создающийся образ* «прежнего», безвозвратно потерянного типа существования. Новый герой постоянно соотносил свой военный опыт с этим умозрительным образом, его восприятие войны неизбежно формировалось в двойной системе координат: одну ось задавало восприятие действительности с позиции довоенного наблюдателя, «человека из другой жизни», другую — с трудом поддающийся осмыслению, впервые претворяемый в слове военный опыт. Пожалуй, самый яркий и емкий пример такого двойного зрения дал в своем стихотворении Ион Деген — врач, который писал стихи и прозу во время войны и прекратил занятия литературой в конце 1940-х годов, когда убедился в безуспешности попыток напечатать что-либо из написанного. Это стихотворение не могло быть опубликовано, однако было широко известно без упоминания имени автора (об авторстве Дегена стало известно только в начале 1990-х годов) и ходило в списках по всем фронтам:

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей!
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони,
Ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Нам еще наступать предстоит.

Нельзя сказать, чтобы это стихотворение было негероическим или пораженческим: строка «нам еще наступать предстоит» показывает, что лирический субъект собран и готов воевать дальше. Но шокирует прямое описание того, насколько редуцируется, «прагматизируется» этическое самоощущение человека в ситуации, когда смерть стала «рабочим» элементом повседневной жизни.

Стихотворение Дегена — персонажное, оно написано от лица одного из многих выживших бойцов и обращено к одному из погибших. Это своего рода эквивалент «альбомной» фронтовой лирики, только традиционная «этикетность» альбома вывернута тут наизнанку; вероятно, именно это качество и обеспечило стихотворению Дегена многократное рукописное и «изустное» тиражирование[17]. Эстетический метод Дегена близок брехтовскому «очуждению», цель которого — спровоцировать адресата на социально-критическую рефлексию[18], однако Деген радикальнее Брехта: его рефлексия заставляет читателей не просто «увидеть со стороны» переживания персонажа, но и обнаружить в собственном внутреннем опыте схожие мысли и чувства. Обращение к нелицеприятным с точки зрения традиционных гуманистических ценностей сторонам психологии «военного» человека выглядело в стихотворении Дегена манифестарным (хотя вряд ли эта манифестарность входила в авторский замысел). Конечно, многие искренне скорбели по погибшим друзьям, и стихотворения, в которых выражалось отношение к утрате близкого человека как к уникальному событию (например, написанное в 1942 году стихотворение Константина Симонова памяти Евгения Петрова — «Неправда, друг не умирает, / Лишь рядом быть перестает...»), не были лицемерными. Но цель дегеновского стихотворения — не только выразить скорбь, но «поймать» читателя и самого автора на новом отношении к жизни и смерти и тем самым — осознать его, легитимизировать, не объясняя и не оправдывая. Для тех воевавших, кто был склонен к психологической рефлексии, эта «не оправдывающая» легитимация, не умалявшая значения гуманистической позиции, была поистине катарсической.

В сознании многих людей сосуществовали две модели осмысления их собственного катастрофического опыта (они могли в ряде случаев взаимно дополнять друг друга, а могли и входить в острое противоречие). Первая модель формировалась под воздействием пропагандистской установки на то, что все страдания оправданы

[17] Персонажи романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» (1994, подробнее см. далее) поют песню на эти стихи. Неизвестно, пели ли эти стихи в действительности, но упоминание Астафьева выглядит вполне логичным: особенно популярные стихи, которые на фронте переписывались или передавались из уст в уста, часто пытались класть на музыку.

[18] См., например: *Брехт Б.* Театр: В 5 т. Т. 5. Ч. 2. М., 1965. С. 183—196 (из работы «"Малый органон" для театра»), 272—274 («Театр эпический и диалектический»), 337, 377—380 (наброски к трактату «Покупка меди»).

или, во всяком случае, оплачены грядущей победой. Этот лозунг отвечал искренним убеждениям сотен тысяч людей: им хотелось верить, что их и чужие страдания заранее оправданы общим будущим торжеством (правда, «теневая» сторона этого коллективного настроения была выражена циничной поговоркой «Война все спишет» и соответствующим ей отношением к миру). Вторая модель отталкивалась от представления о том, что и позитивный, и страшный опыт, полученные во время войны, имеют самостоятельное значение; на основании этой модели и создавалась принципиально новая эстетика изображения войны. Нетрудно видеть, что эти модели основаны соответственно на идеях эмоционально-дискомфортного и экзистенциально-дискомфортного письма.

Особый взгляд на войну формировался в творчестве тех авторов, которые еще до 1941 года поставили задачу воссоздания новой повседневной психологической реальности и рефлексии субъекта, существующего в мире постоянного бытового кошмара. При этом описание такого человека априори предполагало известную степень остранения (хотя, наверное, достигавшегося иначе, чем это сделал Деген). Здесь в первую очередь нужно назвать имена Яна Сатуновского, Георгия Оболдуева и Лидии Гинзбург. Так, герой Сатуновского наблюдает за собой в стихотворении 1939 года:

* * *

Вчера, опаздывая на работу,
я встретил женщину, ползавшую по льду,
и поднял её, а потом подумал: — Ду-
рак, а вдруг она враг народа?
Вдруг! — а вдруг наоборот?
Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель?
Обыкновенная старуха на вате,
шут её разберёт.

Новация Сатуновского в зрелых стихотворениях (а зрелое творчество Сатуновский отсчитывал от стихотворения 1938 года «У часового я спросил...») состояла в указании на то, что «центром кристаллизации» в поэзии являются не какие-то маркированные или сильные чувства, но *любое* переживание, особенно такое, в котором человек вырывается из плена идеологически навязанных и общественно-привычных структур существования. Понятно, что при описании военного опыта такой автор имел уникальные возможности.

В 1950—1960-е годы Сатуновский был близок к «лианозовской школе»; другой представитель этой «школы», Игорь Холин (1920—

1999), также писал «неканонические» стихотворения о войне — но уже позже, в 1960-е годы, в цикле «Река войны».

Ни звезды
Ни креста
Ни черта
Волосы
Вместо травы
Торчат
Из земли
На братской могиле
(«Ни звезды...»)

Пожалуй, самая высокая степень рефлексии при формулировании позиции отказа от риторики борьбы и победы в военной литературе свойственна «Запискам блокадного человека» Лидии Гинзбург[19] — одного из самых неутопических и антиидеологических авторов в русской литературе XX века. Лидия Гинзбург — единственная в русской литературе, кто прямо поставил перед собой задачу подробного описания сдвига эмоций, изменения всего строя чувств и человеческих взаимоотношений в воюющей стране и в осажденном городе:

«Для многих режим, рабочий порядок всегда был недостижимой мечтой. Не давалось усилие, расчищающее жизнь. Теперь жизнь расчистило от всяческой болтовни, от разных заменителей и мистификаций, от любовных неувязок или требований вторых и третьих профессий, от томящего тщеславия [...] Мы, потерявшие столько времени, — вдруг получили время, пустое, но не свободное»[20].

Важная черта, роднящая Сатуновского с Гинзбург, — восприятие повседневной личной рефлексии как микроисторического события. Гинзбург считала, что во время войны такое самоощущение

[19] Хотя «Записки» были завершены позднее, в 1960 — 1980-е годы, при их написании Гинзбург основывалась на своих записях военного времени, поэтому я считаю возможным рассматривать «Записки» как рефлексию настроений, свойственных Гинзбург именно в этот период (тем более что процитированный далее фрагмент перекликается по содержанию со многими записями 1930-х годов — с мыслями об изменении жизни благодаря второй работе и подработкам, о неизбежно частичной и конформистской самореализации советского интеллигента, о восприятии свободного времени и другом).

[20] Цит. по изд.: *Гинзбург Л.* Записки блокадного человека // *Гинзбург Л.* Человек за письменным столом. Л., 1990. С. 529.

стало более распространенным, чем в 1930-е годы, — вероятно, поэтому «Записки блокадного человека» Гинзбург настолько «социальны» и апеллируют к коллективному самоощущению гораздо активнее, чем ее «интровертные» записи и эссе 1930-х годов. Можно сказать, что для Сатуновского, Гинзбург и немногих им подобных война была личным испытанием, но не временем стилистического кризиса: они к ней были эстетически готовы.

«Очеловечение» и кризис идеологии[21]

Официальная риторика, которая призвана была мобилизовать население на упорный, почти каторжный труд и исключительные проявления личного героизма, оказывалась эффективной прежде всего потому, что накладывалась на естественные человеческие стремления выжить, победить и отомстить за погибших. Так, например, Ольга Берггольц, во время репрессий 1930-х потерявшая мужа (им был расстрелянный поэт Борис Корнилов) и нерожденного ребенка, с началом войны испытала прилив сил и ощущение новой солидарности с обществом: она вновь почувствовала, что ее личные стремления и цели общества (которые она ошибочно отождествляла с целями партийной элиты) совпадают — см., например, написанное в первые дни войны стихотворение «Мы предчувствовали полыханье...» (1941).

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена, —
встала бы на зов Твой из могилы,
все бы мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,

[21] «"Очеловечение" идеологии» — термин из цитировавшейся выше работы Евгения Добренко.

Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час,
и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — *я не могу иначе*,
я и Ты по-прежнему — одно.

Контекстуализация новых психологических моделей в подцензурной литературе происходила в «рамке» призывов к напряженной борьбе во имя победы и отмщения и была апроприирована официальной пропагандой, отождествившей общество, сталинскую Россию и Россию дореволюционную, «вечную». Стихийный яростный патриотизм, родившийся в первые месяцы войны («...Россия, мати! Свете мой безмерный, / которой местью мстить мне за тебя!» — Сергей Наровчатов, «В те годы», 1942), было тем более легко использовать, так как в предвоенные годы основой советской пропаганды стала имперско-националистическая идеология в социалистической «перекодировке», оформившаяся после заключения «пакта Молотова—Риббентропа». Пример пропагандистского использования стихийного патриотизма можно найти, например, в публицистике Алексея Толстого:

«Навстречу тотальной войне стала сила народной войны. Навстречу развязанному зверю встала собранная, воодушевленная любовью к родине и правде, нравственная сила советского народа. Навстречу террористической организации рабского и принудительного труда встала организация свободно отданного, безгранично могучего всенародного труда.

Вот я сижу на высоком и крутом берегу Волги, у подножия памятника Валерия Чкалова [...] Направо от него — древний белый кремль [Нижегородский. — *И.К.*] с приземистыми башнями. Отсюда в самую тяжелую из годин поднялся народ на оборону государства»[22].

Литература, критика и публицистика редко фиксировали зазор, сформировавшийся между тоталитарной идеологией и проявлениями личного неофициального патриотизма. Один из случаев, когда в поэзии оказалось продемонстрировано частное восприятие войны, принципиально отличное от партийно-государственного, — «Молитва», знаменитое стихотворение Николая Глазкова, написанное 22 июня 1941 года:

[22] *Толстой А.Н.* Нас не одолеешь! // *Толстой А.Н.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1961. С. 492.

Господи, вступися за Советы,
защити страну от высших рас,
потому что все Твои заветы
нарушает Гитлер чаще нас.
[...]
Чтобы мы, пророки и поэты,
за Отечественную войну
воздвигали памятник Победы
«не нам, не нам — а имени Твоему».

Глазков мог писать в стихах от имени «я» (частного человека) или от имени «мы» («пророков и поэтов»), но в любом случае высказываемая точка зрения была маркирована как неофициальная, негосударственная, не общепринятая (ср. его строку-манифест «я на мир взираю из-под столика»). Утверждением этой точки зрения в данном стихотворении Глазков неумышленно поставил под сомнение — в первый же день войны — советскую легитимацию воюющего субъекта: вместо призыва к «священной войне» в стихотворении утверждается, что «заветы» нарушают все, что, следовательно, у «Советов» есть свои грехи и дело только в том, что Гитлер еще хуже советской власти.

Люди на фронте и в тылу, работавшие на спасение страны, своих детей и государственной элиты, нуждались в нравственной поддержке[23] и в создании смыслового пространства, где переносимые ими страдания получили бы объяснение. Таким смысловым пространством стали кино и литература. Однако, несмотря на невероятную популярность кино в годы войны, эстетически ведущую роль занимала литература. «...Между тридцатыми и пятидесятыми годами [...] кино объявляется "важнейшим" из [искусств], но часто оно перенимает роль средства консервации, медиума трансляции и популяризатора более высоких искусств — литературы, театра, оперы, балета, музыки», — пишет Оксана Булгакова[24]. По сравнению с кино, симфонической музыкой или оперой для создания и восприятия литературных произведений не требовалось значительной материальной базы (стихи же на войне и вовсе писались буквально «на коленке»), функционирование литературы было по сравнению с кинематографом намного более приватным и спонтанным, поэтому она оказалась лучше приспособлена для разнообразного усвоения и разработки переживаний тех лет.

[23] Мариэтта Чудакова сравнила интимную любовную лирику, легализованную во время войны, с фронтовыми «ста граммами», которые выдавали перед атакой (*Чудакова М.* «Военное» стихотворение Симонова «Жди меня»... С. 239).

[24] *Булгакова О.* Указ. соч. С. 205.

В подцензурной печати времен войны советские идеологические руководители допустили своего рода «сублимированную замену» дискомфортного опыта — в первую очередь этой заменой стали необычные для довоенной литературной практики описания интимной частной жизни (что было необходимо для мужчин и женщин, истосковавшихся по своим семьям) в стихотворениях Константина Симонова и в песнях военных лет (например, «Темная ночь» — стихи Владимира Агатова, музыка Никиты Богословского); очевидно, что и поэма Твардовского о всегда готовом выпить и пошутить, живущем «не по уставу» Василии Теркине могла быть написана и опубликована тоже только в результате изменения цензурного режима.

Отчасти доверительная интонация произведений Симонова и Твардовского была следствием личного отношения к творчеству, реальности современного города и даже к сталинским пропагандистским лозунгам, которое принесли с собой представители нового, сформировавшегося именно в годы войны поколения советских литераторов (по классификации Мариэтты Чудаковой — третьего[25]). Дебютировавшие в самом конце 1930-х Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Михаил Луконин и некоторые другие воспринимали официальную советскую риторику как естественное продолжение романтической мифологии революции и гражданской войны.

Стихи Луконина, Семена Гудзенко, Кульчицкого и некоторых других авторов оказались «проходимым» (в отличие от Сатуновского и Дегена) вариантом жесткой «телесной» поэзии («...и выковыривал штыком / из-под ногтей я кровь чужую» — из стихотворения Семена Гудзенко «Когда на смерть идут — поют...»). В качестве альтернативы советскому пропагандистскому субъекту предлагалось «неофициальное» частное лицо, которое в результате войны получило новое подтверждение своей неофициальности, но и своей советскости. Это была манифестация выстраданной позиции, которая противостояла пустой демагогии официальных литературных «начальников» (в диапазоне от Александра Корнейчука до Петра Павленко, автора сценария фильма «Падение Берлина»). Война оказывалась общезначимой инициацией, которая

[25] В работе «Заметки о поколениях в Советской России» (Новое литературное обозрение. 1998. № 30. С. 83) Мариэтта Чудакова разделяет это поколение на «фронтовиков» и «задержанных», но это разделение относится в первую очередь к ситуации 1946—1953 годов, применительно же к войне стоит говорить о других границах или рассматривать это поколение в советской подцензурной литературе как единое целое.

может хотя бы частично компенсировать национальную катастрофу. Слово «частично» здесь очень важно: эти поэты понимали, что погибших не вернешь.

И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, —
это наша судьба, это с ней мы ругались и пели...
[...]
А когда мы вернемся — а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы,
пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем —
все долюбим, ровесник, и ремесла найдем для себя.
(Семен Гудзенко. «Нас не нужно жалеть...», 1945)

Описание жестокостей войны у Гудзенко уравновешивалось именно этой утопией победы, предвосхищавшей послевоенное сталинское искусство с его культом изобилия[26]. Своего рода контрастной парой к процитированному стихотворению Гудзенко можно считать стихотворение Николая Панченко:

Девчонка парикмахершей работала.
Девчонку изнасиловала рота.
Ей в рот портянки потные совали.
Ласкали непечатными словами.
Сорвали гимнастерку с красной ленточкой:
была девчонка ранена в бою.
Девчонку мы в полку прозвали «деточкой»,
невенчанную женщину мою.
(Николай Панченко.
«Девчонка парикмахершей работала...»)

[26] Мифологическую основу этого культа изобилия проанализировал Владимир Паперный в своей книге «Культура-Два» (российское издание: М.: Новое литературное обозрение, 1996); однако стихотворение Гудзенко показывает, что послевоенная сталинская культура (фильм «Кубанские казаки», «Книга о вкусной и здоровой пище» и прочее) имела свою психологическую специфику: она была адресована людям изголодавшимся, надеявшимся на вознаграждение за победу и готовым принять картины изобилия как — хотя бы иллюзорную — психологическую компенсацию.

Разница — не в том, что герой Гудзенко рассчитывает вернуться к любимой женщине, а герой Панченко нашел доступную «деточку» на фронте, разница — в позиции. Панченко неоднократно писал о том, что в результате войны человек необратимо теряет эмоциональную свежесть («расстрелянное сердце»), привыкает держаться за сиюминутные отношения, не дорожа ни прошлым, ни будущим. Предвосхищая окончание боев, он писал в 1944 году совершенно иначе, чем Гудзенко:

И где-нибудь,в чужой квартире,
мне скажут:
— Милый, нет чудес:
в скупом послевоенном мире
всем сердца выдано в обрез.
(«Баллада о расстрелянном сердце»)

Это и есть рефлексия идентичности. Пусть и наивная[27].

После войны: принудительная амнезия

Историю осмысления и адаптации «военной темы» в литературе можно описать как многолетнее «перетягивание каната» между нонконформистски настроенными писателями и партийно-идеологическими элитами. «"Человечность" нужна была власти лишь в той мере, в какой она мобилизовывала массы, но стоило поэзии отклониться от проложенного властью русла, немедленно следовала ответная реакция»[28]. Элиты приняли новые, сложившиеся во время войны «правила игры» и поддерживали тех авторов, которые адаптировали травматическую память в рамках советско-риторических моделей. Писатели более совестливые и готовые к эстетическому и этическому поиску на протяжении всех послевоенных десятилетий стремились писать о том опыте, который замалчивался в результате риторической редукции, оставался в «слепых зонах», — и тут же становились объектами погромной критики, в результате

[27] Как вспоминает Николай Панченко, «Балладу о расстрелянном сердце» он многие годы после войны боялся записывать и помнил наизусть. «Писать те стихи, что я писал на фронте и потом, было достаточно опасно, но во мне жила неискоренимая потребность в этом. Дома, по возвращении, я очень часто стихи прятал за обоями. Напишу стихотворение — и спрячу или сожгу его» (Николай Панченко: «Только большие деревья притягивают молнию». Беседу вел Павел Нуйкин // Культура. 2004. 22—28 апреля).

[28] *Добренко Е.* Цит. соч. С. 285.

чего описанный ими опыт оказывался табуированным. Принципиально важно, что это вытеснение встречало поддержку читателей, приученных к лицемерию и считавших, что литература должна быть утверждением идеала, особенно «в трудных условиях».

Война дала толчок трансформации советской литературы и привела к перерождению ее риторически-проектной составляющей. Вскоре после войны, как известно, эта составляющая была возрождена на новом уровне и резко усилена. При этом именно в послевоенные годы экзистенциальные проблемы впервые стали объектом самостоятельного осмысления. Тем более жесткой оказалась реакция властей.

Характерный пример такого осмысления, завершившегося погромной критикой, — история повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» (1948), опубликованной в журнале «Знамя». Напомню сюжет: молодой лейтенант во время беспорядочного отступления в 1941 году теряет свою часть, особисты арестовывают его как дезертира (хотя юноша отчаянно хочет воевать дальше), основную часть повести его конвоирует в военно-полевой суд (скорее всего, для последующего расстрела) солдат-казах, который изо всех сил старается возбудить в себе ненависть по отношению к своему «подопечному», но невольно проникается к нему сочувствием; в финале лейтенант чудом (из-за нападения фашистов) спасается от расстрела и храбро воюет дальше.

Повесть была подвергнута настолько жестокому критическому разгрому, что даже доброжелательные читатели впоследствии неточно помнили ее содержание: ходившая в писательских кругах сочувственная эпиграмма на Казакевича утверждала, что он дерзнул «с сочувствием писать о дезертире». Нападки на Казакевича, конечно, были вызваны в первую очередь не описанием экзистенциального опыта, а самим сюжетом: тот факт, что на войне и вообще в СССР к смерти могут приговорить невинного человека (пусть даже и по ошибке, а не в результате злого умысла), был запрещен к упоминанию в печати (удивительно, что повесть Казакевича вообще опубликовали). Однако в результате вместе с повестью оказалось «подавленным», насильственно забытым описание экзистенциальной тоски и одиночества человека, который ждет смерти от «своих».

Еще один пример — рассказ Андрея Платонова «Возвращение (Семья Иванова)»[29] — о распаде семей во время и после войны,

[29] Первая публикация — под названием «Семья Иванова» — в журнале «Новый мир» (1946. № 10—11). В дальнейшем перепечатывался под названием «Возвращение».

когда мужчины были надолго оторваны от своих жен. Во время войны «утешительные» стихи о разлуке писал Константин Симонов — но упоминание этой кровоточащей темы в стихах даже такого известного поэта вызвало у «бдительного» читателя гнев и недоумение, как же такое разрешили напечатать[30]. Тем более резкий удар обрушился на вечно находившегося под подозрением Платонова, который сочувствовал своим героям, но, в отличие от Симонова, прямо, не прибегая к эвфемизмам, описывал происходящее[31]. Героиня рассказа, беседуя с вернувшимся с войны мужем, пытается объяснить ему и самой себе, почему ей, матери двоих детей, во время разлуки нужна была поддержка другого мужчины.

«— ...Я не стерпела жизни и тоски по тебе, — говорила мать. — А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула». Сам же Алеша допрашивает свою жену о том, «было или не было», с тем большим озлоблением, что его совесть нечиста: возвращаясь, он по дороге влюбился в девушку Машу и «откладывал [...] час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, — может быть, потому, что хотел погулять еще немного на воле»[32].

Во время войны тема распада семей стала предметом фольклора. Так, например, известную песню «Темная ночь» переделали: «Ты меня ждешь, / а сама с лейтенантом живешь / и у детской кроватки тайком / сульфидин принимаешь [...] ([...] сульфидин считался тогда противозачаточным средством)»[33]. Как и во всяком фольклоре, тем более в пародийном, социально-психологически значимый факт был назван, но не отрефлектирован. Эстетическая же рефлексия — в том числе и рефлексия идентичности, — произведенная в рассказе Платонова, была запрещена.

[30] См. подробнее: *Чудакова М.* Военное стихотворение... С. 240 (примеч. 47), 241–244.

[31] Резко критические статьи о «клеветническом» рассказе Платонова опубликовали Владимир Ермилов, Александр Фадеев, Зоя Кедрина и другие. Написанная в 1942 году пьеса Виктора Розова «Вечно живые», где не было ни нормативного описания коллизии распавшейся семьи, ни счастливого финала, была опубликована только в 1956 году в известном «оттепельном» альманахе «Литературная Москва». В 1957 году по этой пьесе был снят фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».

[32] Цит. по изд.: *Платонов А.* Избранное. М.: Просвещение, 1989. С. 326, 314.

[33] *Чудаков А.* Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия. М., 2001. С. 262.

Но еще более важным, чем прямой запрет, методом «вытеснения» была *редукция темы*, сведение ее к соцреалистическому нормативному описанию. История семейной драмы, начавшейся во время войны и благополучно завершившейся в послевоенные годы, была одним из типовых сюжетов литературы конца 1940-х—1950-х годов; самым известным произведением такого рода стал роман Галины Николаевой «Жатва» (1950), по которому был поставлен популярный фильм «Возвращение Василия Бортникова» (режиссер Вс. Пудовкин, 1952). Герой романа Николаевой был тяжело ранен и смог вернуться в родное село только через несколько лет после войны; жена, считая его погибшим, вышла замуж за другого, но после возвращения Василия семья вновь объединилась, а Василий вновь стал председателем колхоза. Для сравнения напомню финал рассказа Платонова «Возвращение»: Иванова уговаривают вернуться в семью его дети, и очевидно, что теперь ему придется заново и иначе строить отношения и с женой, и с детьми (Иванов никак не может смириться с тем, что его сын вырос и старается сам быть главой семьи).

Многие пришедшие с войны солдаты и особенно офицеры, как неоднократно отмечалось в воспоминаниях, испытывали чувство разочарования, крушения надежд на возможную либерализацию режима (одни ожидали большей свободы печати и публичных дискуссий, другие — роспуска колхозов...) и горечь от того, что воевавшие не были награждены по заслугам. Это парадоксальное и трагическое состояние — солдаты победившей армии, возвратившись, почувствовали себя побежденными — в наиболее афористической и фольклорной форме выразил Михаил Исаковский в стихотворении «Враги сожгли родную хату...» (1946), которое было опубликовано в журнале «Знамя» (1946. № 7), а потом, как известно, было положено на музыку Матвеем Блантером и стало народной песней[34]. Многие люди в послевоенные годы были убеждены в том, что эта песня — запрещенная, и хотя формально запрещена она не была, но по радио многие годы не исполнялась, а главное — выраженное в ней чувство в самом деле прямо противоречило всему, что утверждалось в послевоенной советской пропаганде[35]. Стихотворе-

[34] См. подробный разбор этого стихотворения в: *Вишневецкий И.* Указ. соч. С. 251—253.

[35] Композитор Юрий Бирюков без указания на источник приводит слова Михаила Исаковского: «— В первый раз в зрелые годы я почувствовал крутое сопротивление песне. Редакторы — литературные и музыкальные — не имели оснований обвинять меня в чем-либо. Но они были убеждены и тщились убе-

ние Исаковского — о том, что переживание личной катастрофы может оказаться сильнее чувства общей победы. Беспросветное горе солдата никак не компенсируется тем, что он «пол-Европы прошагал» и получил «медаль за город Будапешт»; горе вырывает человека из торжествующего, спаянного общей идеологией коллектива, и эта индивидуализация в стихотворении Исаковского не осуждается и ничем риторически не компенсируется. Своим стихотворением Исаковский возвратил право на существование — хотя бы и только в одном произведении — подлинно фольклорной, то есть негосударственной, неидеологической (в данном случае!) трагедии.

Иначе о том же чувстве возобновившейся несвободы — более ретроспективно и с точки зрения интеллигента — написал Борис Пастернак в финале романа «Доктор Живаго», завершенного в середине 1950-х годов:

«Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание»[36].

Наиболее последовательная и бескомпромиссная рефлексия чувства «победы-поражения» была выражена в написанных в 1947 году стихотворениях Георгия Оболдуева, формально не объединенных в цикл, но содержательно близких. Эти стихотворения не предназначались для печати, как и остальное «взрослое» творчество Оболдуева[37]. Особенно показательно стихотворение «Мы победили (песенка английского солдата)»[38] — своего рода энцик-

дить других, что Победа исключает трагические песни, будто война не принесла народу ужасного горя. Это был какой-то психоз, наваждение. Неплохие люди и, может быть, самомалейшая часть их — карьеристы и трусы, державшиеся за должности и кресла, а вот, не сговариваясь, шарахались от песни. Был один — даже прослушал, заплакал, вытер слезы и сказал: "Не можем". "Что не можем?" Я думал, он не может не плакать, а оказывается, пропустить песню на радио не может. Вот чертовщина!» (*Бирюков Ю.* Слеза катилась, слеза несбывшихся надежд...: Эту песню многие годы не допускали к народу // Трибуна. 2005. 21 января. С. 28).

[36] Цит. по изд.: *Пастернак Б.* Доктор Живаго. М.: Тройка, 1994. С. 418.

[37] Оболдуев изредка публиковался как детский поэт.

[38] Это ироническое стилизующее название отсылает к реалии времен войны и первого послевоенного года: по радио тогда регулярно передавали переведенные на русский язык английские и американские эстрадные песни с «военной» тематикой, часто более ироничные, чем аналогичные советские песни

лопедия обид, накопившихся у возвратившихся с фронта победителей[39].

Вот они мы, вернулись, чать,
А не сыграли в ящик!
Теперь уж, чур, не жульничать:
Слав ставьте настоящих.
Настроены умы
На радости и почести,
Мы победили, мы...
Подайте, сколько можете!
[...]
Возможно ль без мошенничеств,
Когда свистят стихии?
Пусть несколько средь женщин есть
Таких-сяких, какие
Поотдали внаймы
Своих сердец жилплощади:
Ан, вот — вернулись мы.
«Подайте, сколько можете».
[...]
С позиции эзоповой
Явясь за Пенелопой,
Покрепче рот захлопывай:
Что выдадут, то лопай.
Так будем же немы:
Да сохранятся ножницы
Меж тем что́ — вы, что́ — мы!..
Подайте, сколько можете.

Что́ — боя, что́ — тюрьмы
Мгновенья да не множатся:
Увоевались мы!!

(«Шестнадцать новобранцев, нестройно ставши в ряд, / На бравого сержанта испуганно глядят...» (в оригинале — песня «This is the Army, Mr. Jones» из музыкального шоу 1942 года Ирвинга Берлина «This Is The Army»), или, например, переложенная с английского «песня американских летчиков» («Был озабочен очень / Воздушный наш народ...») и другие из репертуара Леонида Утесова (в оригинале — песня 1943 года «Coming in on a Wing and a Prayer», стихи Гарольда Адамсона, музыка Джимми Мак-Хью)).

[39] Рефрен стихотворения Оболдуева отсылает к стихотворению Иннокентия Анненского «Шарики детские» (последние строки: «Вам, сударики, шарики, / А нам бы, сударики, на шкалики!..) и к песне Пьер-Жана Беранже «Нищая» (в русском переводе Дмитрия Ленского, положенном на музыку Александром Алябьевым) с рефреном «Подайте ж милостыню ей!».

И всё же — обезножившись,
Слепы, немы, хромы —
Мы счастливы в убожестве,
Мы победили, мы...

Подайте, сколько можете!

Ретроспективно описывая ощущения человека на фронте, Оболдуев внес в военную лирику принципиально новую, но впоследствии никем не подхваченную идею: всякий солдат, поскольку он может убить и быть убитым, оказывается включен в историю мировой культуры, которая сама по себе является трагедией.

И шаги раздались, и солдат подошел к мертвяку;
Взял кисет, что лежал в стороне; усмехнулся невзрачно;
Постоял, поглядел; не спеша завернул табачку;
Еще раз ухмыльнулся мужчина недобрый и мрачный.

И батальные сцены с Гомера до наших времен,
И подробности старых картин, и позднейшие фрески
Пробежали в сознаньи свидетелями похорон
Непонятно и чуждо, как надпись по-древнееврейски.
(«Похоронка»)

Качая звук, как будто взятый под педаль,
Гудят небес негромкие раскаты:
Визгливым воем раздираемая даль
Упрется в точку — и мертвы солдаты.

Подкрадываются, карабкаются вверх
Глиссанды флажолетов в малых нонах:
Незримо вспыхивает черный фейерверк, —
И кровь течет по саблям трав зеленых.

И все-таки он жил: смерть в медальон ввинтя,
Прошел беспечно по кровавой тюре.
Ура: так как с огнем шутящее дитя
Всегда весомо в мировой культуре.
(«Медальон»)

Процитированные стихотворения Оболдуева были опубликованы только в 1991 году и с тех пор не переиздавались[40].

[40] *Оболдуев Г.* Устойчивое неравновесье. М., 1991. В настоящее время к печати готовится полное комментированное собрание стихотворений Оболдуева.

Произошедшее в 1940 — 1950-е годы соединение усилий авторов, критики и цензуры, с одной стороны, и части читателей, которые хотели бы забыть все страшное, что связано с войной, с другой, привело к тому, что катастрофический опыт не был интегрирован в общественное сознание, приобрел черты непроработанной коллективной травмы (в психоаналитическом смысле). Эта травма не была вполне осмыслена даже в «лейтенантской прозе» 1950—1960-х годов (творчество Юрия Бондарева, Василя Быкова, Григория Бакланова, Бориса Балтера, повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!» и другое). Оговорю, что исследование этого масштабного и до сих пор не вполне изученного и контекстуализированного литературного движения не входит в задачу данной статьи. Существенно, однако, что страшные переживания, признание своей и чужой слабости в «лейтенантской прозе» были, как правило, «уравновешены» опытом взросления героев. «Искусство 60-х сделало художественное и историческое открытие, сказав, что войну выиграли мальчишки»[41]. «Центральный персонаж фронтовой лирической повести — это либо бывший студент, либо вчерашний школьник. [...] В повестях Бакланова, Бондарева и их ровесников-единомышленников свежим и взволнованным взглядом юности воспринимается в о й н а. И это порождает драматическую парадоксальность самого плана изображения — он образуется сложным сплавом натуралистической и лирической поэтики. [...] В поэтике фронтовой лирической повести огромная смысловая роль принадлежит парным оппозициям натуралистических и лирических образов» (Наум Лейдерман, Марк Липовецкий[42]). Эта тенденция локализовала осмысление травмы. «Война стала полигоном, на котором проверялись моральные качества советского человека»[43]. В литературу был введен опыт дискомфортный эмоционально, но не экзистенциально.

Иную смысловую перспективу могли бы задать те редкие произведения, в которых описанного Лейдерманом и Липовецким «равновесия» не было: на войне герой открывал собственную алогичность и смертность, которые не отменяются ни взрослением, ни победой (повесть Константина Воробьева «Убиты под Москвой», 1961; другой неразрешимый конфликт в повести связан с тем, что герой чувствует невольное сострадание к убитому им немцу), или

[41] *Вайль П., Генис А.* Указ. соч. С. 90.

[42] *Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н.* Современная русская литература: В 3 кн. М.: Эдиториал УРСС, 2001. Кн. 1. С. 113—115.

[43] *Вайль П., Генис А.* Указ. соч. С. 92.

обнаруживал, что вызванный войной раскол в обществе остается незаживающей раной (рассказ Виктора Астафьева «Солдат и мать», 1959). Однако подобные произведения воспринимались в общем контексте прозы 1960-х годов, а наиболее радикальные из них, проблематизирующие понятие советского субъекта, — как, например, повести Воробьева — подвергались критическому разгрому[44], и названный в них опыт вновь оказывался «вытесненным»[45].

(Виктор Некрасов, во многом предвосхитивший «лейтенантскую прозу», в 1960-е годы продолжал писать произведения, в которых развивалась неявная рефлексия советского субъекта и осмысление повседневной текучей реальности — но уже не на военном материале: например, этой же цели служат его написанные тогда эссе о путешествиях во Францию и Италию.)

С социально-психологической точки зрения стратегия авторов «лейтенантской прозы» была почти единственно возможной, и заслуга их велика: они больше, чем кто бы то ни было, сделали для того, чтобы в сознании читателей был легитимизирован фронтовой, «окопный» опыт, осмысленный с неофициальной точки зрения. Им пришлось преодолеть очень сильное сопротивление: были советские критики, которые многие годы специализировались на погромной критике «лейтенантской прозы», обвиняя ее в «абстрактном гуманизме», «ремаркизме» и культивировании не «точки», но «кочки зрения». В память об этих нападках остались полемические строки из стихотворения Давида Самойлова «Перебирая наши даты» (1961):

> А гуманизм не просто термин,
> К тому же, говорят, абстрактный.
> Я обращаюсь вновь к потерям,
> Они трудны и невозвратны.

Сама идея травматической памяти как составной части жизни была заново обоснована в советской литературе именно благодаря «лейтенантской» и «лагерной» прозе 1960-х.

[44] Критик Г. Бровман обвинил повесть Воробьева в пацифизме и бессмысленном нагнетании ужасов (Москва. 1964. № 1).

[45] Еще одной почти запрещенной в советской литературе темой был Холокост (Шоа) — уничтожение евреев. Попытки публично его назвать — цикл Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная на эти стихи 13-я симфония Шостаковича, роман Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок» — неизменно становились общественным событием и в то же время — малодоступным «дефицитом», который нужно было «доставать».

Проза и поэзия, в которых ставятся экзистенциально дискомфортные проблемы, обычно стихийно отторгаются любой читательской аудиторией (не только советской) и требуют для своей интеграции усилий критиков и философов (такова была, например, роль Жана-Поля Сартра в литературной судьбе повести Камю «Посторонний» и прозы и драматургии Жана Жене). Такие произведения получают общественную поддержку там и тогда, где и когда общество испытывает кризис идентичности и нуждается в культурных средствах для проживания этого кризиса: в побежденных Германии и Японии, в США 1960-х годов и так далее. В СССР 1950—1960-х годов, несомненно, имел место скрытый, «тлеющий» кризис идентичности, связанный с шоком от войны, эрозией советской идеологии и представлений о легитимности советского строя, — но в подцензурной литературе этот кризис был в значительной степени замолчан, подавлен, его рефлексия отвергалась самими участниками культурного процесса. Был он скрыт и не осознан и в большей части «лейтенантской прозы». Опознать этот кризис можно лишь косвенно — по тому, насколько популярными среди интеллектуалов 1960-х годов оказались инокультурные, переводные книги и фильмы, повествующие о порожденных войной проблемах кризиса общественной идеологии, личной идентичности и смысла жизни: фильм Анджея Вайды «Пепел и алмаз», проза Генриха Бёлля, Ремарка и Хемингуэя, роман Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей».

1970-е: Малая земля и партизанский лес

Социальная ситуация освоения военного опыта принципиально изменилась в конце 1960-х — начале 1970-х годов, после прихода к власти Брежнева и нового поколения советско-партийной элиты. Руководители нового призыва (если не говорить о таких «вечных» деятелях, как Анастас Микоян) были в среднем младше, чем хрущевская элита, и во время войны, как правило, не занимали руководящих должностей (Хрущев, напомним для сравнения, был тогда первым секретарем ЦК КП (б) Украины, членом военных советов Юго-Западного направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Воронежского и 1-го Украинского фронтов, в 1943 году был произведен в генерал-лейтенанты). Если во время войны эти люди находились на работе в тылу, они знали: их ровесники находятся на фронте и погибают. Для новых советских руководителей военный экстремальный опыт был *главной эмоциональ-*

ной ценностью, которую они могли разделить с большинством людей своего поколения.

В условиях замалчиваемого, но ощутимого кризиса советской идеологии в 1970-х годах единственным объединяющим общество мифом мог стать миф о войне и победе[46]. Правда, для того чтобы этот миф объединял элиты и не находившихся у власти людей, было введено неявное обоснование идеологии через генерационную солидарность. Нарастающая в советском обществе консервативная тенденция придала мифу отчетливо ретроспективный характер: миф о победе стал апологией поколения, прошедшего войну, объяснением априорной правоты старшего поколения, которое выстрадало на войне подлинные ценности. Одновременно это было очень эффективным средством подавить, вытеснить из общественного сознания результаты молодежного брожения 1960-х и появившиеся в это десятилетие настроения, связанные с желанием модернизации, психологического обновления общества, сближения с Западом. Прямо эта задача решается, например, в пьесе Сергея Михалкова «Забытый блиндаж» (1962), где юный любитель всего западного (даже название радиоприемника «Нева» он читает как написанное латиницей «Хеба»), мальчик без осознанной моральной позиции, оказывается посрамлен своим нравственно зрелым сверстником во время разговора в блиндаже времен войны, который юноши-туристы случайно находят в лесу.

Очевидно, что в таком контексте эмоционально дискомфортный опыт войны оказывался чрезвычайно нужен, а экзистенциально дискомфортный — по-прежнему (или еще больше, чем в хрущевское время) опасен. Война стала легитимирующим «мифом основания» — она-то и должна была обосновывать советскую идентичность. Пропаганда — поддержанная в этом пункте большинством населения СССР — утверждала, что Главная Трагедия, то есть война, осталась в прошлом и что именно пережитые несчас-

[46] См. фундаментальное исследование этого процесса: *Tumarkin Nina*. The Living And The Dead: The Rise And Fall of the Cult of World War II In Russia. N.Y., 1994. Наиболее важным историческим событием с точки зрения современного постсоветского общества является двуединство войны и победы, легитимирующее общество как целое. См. об этом: *Драгунский Д.* Нация и война // Дружба народов. 1992. № 10. С. 177; *Гудков Л.* Победа в войне: к социологии одного национального символа // *Гудков Л.* Негативная идентичность. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 20—58; *Левинсон А.* Люди молодые за историю без травм // Неприкосновенный запас. 2004. № 36. С. 64.

тья дают старшему поколению априорную правоту и право на моральные поучения. «Победителей не судят, но сами-то они судят с тем большим азартом, чем дороже стоила победа»[47].

В 1979 году в журнале «Юность» была опубликована (пролежавшая в редакции несколько лет) повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось» — история современных Ромео и Джульетты, протест против лицемерия общества, отрицающего право подростков на личную жизнь и личную трагедию. Учительница-ханжа в этой повести говорит юной героине фразу, редуцированно представленную в заглавии: «Вам и не снилось горе!» Вам — это позднесоветскому (как выяснилось позже, последнему советскому) поколению 1970-х. Под «горем», что было понятно для тогдашней аудитории, подразумевалась Великая Отечественная война[48].

И Щербакова, и ее читатели знали, что писательница замахнулась на один из устоев позднесоветской идеологии: на априорную правоту старших поколений. Мысль о том, что бывают и другие виды безысходного несчастья, виновником которых является не внешний враг, а лицемерие общества, была для советской литературы достаточно нетривиальной (в неподцензурной литературе это было описано гораздо раньше: можно вспомнить, например, описание атмосферы общего лицемерия в повести Андрея Синявского «Суд идет», 1956)[49].

Элитам «брежневского призыва» была необходима новая литература о войне, которая легитимировала бы их собственный катастрофический опыт и позволила бы структурировать солидарность военного поколения как «спасшего страну». Для этого потребовалось вновь актуализировать военную тему в литературе и в кинематографе и вновь напомнить о жестокости и экстремальности

[47] *Вайль П., Генис А.* Указ. соч. С. 96.

[48] Впоследствии Щербакова писала о себе: «Я боюсь войн, потому что это мы любим их развязывать. [...] Я боюсь и стыжусь за целое, частью которого я являюсь» (Галина Щербакова о себе // Сайт журнала «Новый мир» [http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/sherb/sherb.html]).

[49] По воспоминаниям писательницы, после публикации повесть была подвергнута атакам в печати со стороны школьных учителей, для ее осуждения специально собрали читательскую конференцию в одном из московских педагогических училищ и пр.; в то же время Щербакова получила огромное количество писем в поддержку повести — в том числе с вопросами вроде «откуда Вы знаете мою историю?». («Люди столько не живут, сколько я хочу рассказать». С Галиной Щербаковой беседует Михаил Бутов // Новый мир. 1999. № 1).

войны. Однако реактуализация темы войны привела к последствиям, не предусмотренным советскими идеологами.

В подцензурной литературе 1970-х можно выделить два типа памяти о войне и ее интеграции в общественное сознание (я говорю сейчас только о процессах, первоначально энергично поддержанных «сверху»). Первый — это эпические масскультные семейные саги наподобие многотомных романов Анатолия Иванова и Петра Проскурина; эти романы, как известно, стали основой для телесериалов и приобрели огромную популярность. Действие в них охватывало несколько десятилетий, война была одним из главных эпизодов в истории семьи, рода — тяжелым испытанием, которое не изменяло главных коллективных ценностей. «Война [в этих эпопеях] выступает как символическое время предельных испытаний, служащее мерилом [...] для наиболее существенных интегративных значений. [...] "Война" [...] принимает на себя значение поддержания символов национальной общности — единства, самоопределения и др.»[50]. В этих как-бы-эпических произведениях «народная», «неофициальная», а по сути — нерефлективная и националистическая память о войне одновременно имитировалась и программировалась, что было особенно действенным благодаря телевизионным экранизациям.

Второй тип памяти — проза непосредственно о войне, сочетающая традиции «лейтенантской прозы», психологизм, часто — сентиментальность и подчеркивание временного разрыва между войной и «нынешним» мирным временем[51]. Самый, пожалуй, известный пример такой прозы — повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». В лучших произведениях новой военной литературы сказывалась проблематика подцензурной, но неофициальной по самоощущению части литературы 1970-х, с ее вниманием к одиночкам и малым группам: в 1970-е годы гораздо чаще, чем в 1960-е, в военной прозе участвуют не солдаты и лейтенанты из фронтовых частей, а партизаны, десантники, поисковые отряды (или, как девушки из повести Васильева, — взвод зенитчиц, оказавшийся в лесу один на один с группой хорошо обученных диверсантов), отъединенные от армии, действующие на свой страх и риск.

Вообще в советской культуре 1970-х чрезвычайно актуальными стали образы одиночки или малой группы, противостоящие соци-

[50] *Гудков Л., Дубин Б.* Социальный процесс и литературные образцы // *Гудков Л., Дубин Б.* Литература как социальный институт. М., 1994. С. 134.

[51] См., например, сборник, в который включены такого рода произведения: Повести о войне (Приложение к журналу «Дружба народов»). М., 1975.

уму. Прямая артикуляция этой тематики на современном материале была в подцензурной культуре невозможна (в неподцензурной литературе тех лет такое противостояние чаще всего воспринималось как изначально данное условие, было своего рода постоянным фоном произведений), но возможна была ее локализация в сюжетах военных лет. В массовой культуре это привело к популярности сериала по сценарию Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны»; в интеллектуальной литературе — к формированию постоянной «партизанской» тематики Василя Быкова.

Главным непредсказуемым — и не слишком замеченным цензурой — последствием пропагандистского внимания к трагедии войны оказалось «переворачивание» проблематики, навязанной идеологическими инстанциями: если *единственный* экстремальный опыт, о котором можно писать, — это опыт Великой Отечественной войны, то, следовательно, война может быть метафорой для описания *любого* экстремального опыта, любой ситуации риска, любых безвыходных, трагических переживаний. Использование войны как материала для построения тотальной метафоры экзистенциального опыта произошло, в частности, в прозе Василя Быкова и в «военных» песнях Владимира Высоцкого[52].

Трактовки военной темы в творчестве Быкова и Высоцкого были вроде бы идеологически безупречны (единственный текст Высоцкого, опубликованный при его жизни в официальной печати, — «На братских могилах не ставят крестов...»). Но таким образом в их произведениях легитимировался не исторический, а современный опыт. В одном из автокомментариев в концертных записях[53] Высоцкий говорит, что война его интересует потому, что там человек всегда находится в ситуации риска и испытания. В военных песнях Высоцкого парадоксально и очень продуктивно сочетаются две черты: форсированное выражение личной или коллективной обреченности («Як-истребитель», «Спасите наши души»), характерное для Высоцкого и в песнях на другие, «невоенные» темы («Охота на волков»), и готовность к личному отчаянному действию, которое только и приводит к тайным сдвигам в мире («Мы

[52] В песнях Булата Окуджавы происходит другая генерализация проблемы: он постоянно возвращается к мысли о том, что война может вторгнуться в любое проявление мирной жизни, что она всегда рядом, — и это также противоречило идеологии 1970-х, которая относила войну к абсолютно мифологическому прошлому и делала ее основной легитимацией сегодняшнего режима.

[53] Эти spoken words открывают первую пластинку в двойном виниловом альбоме Высоцкого «Сыновья уходят в бой» (1987).

толкаем землю»). Необходимость описать состояния обреченности и абсурдного азарта, их возможную потусторонность по отношению к повседневной нравственности привела к появлению в творчестве Высоцкого песни, написанной от лица фашистских солдат, — отстраненной, но психологически-анализирующей («По выжженной равнине / За метром метр / Идут по Украине / Солдаты группы "Центр"...»). Заметим, что, в отличие от Дегена, Высоцкий испытал прямое влияние Брехта — хотя бы потому, что еще в середине 1960-х играл в поставленном Юрием Любимовым спектакле по пьесе Брехта «Добрый человек из Сезуана»[54]; так что вполне возможно, что и песня от лица фашиста, и песни от лица советских солдат были написаны под воздействием брехтовской концепции «очуждения».

Следующим шагом после Высоцкого (сделанным явно с оглядкой на его работы) стали некоторые песни Егора Летова, где цитаты из литературы и песен военных лет используются для метафорического описания экзистенциального опыта, не имеющего отношения к исторической войне:

> Они сражались за Родину
> Публично целовались на виду у всей Вселенной...
> («Они сражались за Родину»[55])

«В. Быков не только в белорусской, но и во всей советской литературе оказался самым последовательным в своей преданности военной теме», — констатировал критик Дмитрий Бугаев[56]. Произошло это потому, что военная история стала у Быкова основой для метафизических притч. Наиболее жесткие произведения Быкова написаны в конце 1960-х и в 1970-х годах: «Круглянский мост» — 1968-й, «Сотников» — 1970-й, «Пойти и не вернуться» — 1977 год. Переход от претворения экзистенциально дискомфортного опыта к превращению этого опыта в притчу Быков совершил еще в 1960-е годы. Герой его ранней повести «Западня» (1963), лейтенант Климченко, попадает в фашистский плен, где русский коллаборационист Чернов предлагает ему прочитать по радио обраще-

[54] Более точный перевод названия — «Добрый человек из Сычуани»; под этим названием пьеса Брехта публиковалась в СССР в 1970-е годы.

[55] Песни о Великой Отечественной войне помещаются в альбомах Егора Летова в контекст, в котором они воспринимаются как развернутые религиозно-метафизические метафоры (например, песня Давида Тухманова «Туман», включенная в альбом «Сто лет одиночества»).

[56] *Бугаев Д.* Глубина и мощь правды // *Быков В.* Повести. Л., 1987. С. 602.

ние к бойцам своего батальона с призывом перейти на сторону гитлеровцев. Когда лейтенант отказывается, Чернов читает этот текст сам от его лица, после чего Климченко отправляют обратно на советскую территорию. Бойцы и командир верят его объяснениям, и Климченко получает возможность воевать дальше (здесь отчетливо видна ориентация Быкова на проблематику Эммануила Казакевича). Такой финал, своего рода deus ex machina, был совершенно невероятен для всех воевавших — в том числе и для Быкова — и воспринимается как необходимая условность; смысловым же центром повести является описание отчаяния человека, который верен своим принципам, но эта верность никого не может спасти и никем не может быть подтверждена.

Окончательное становление поэтики Быкова произошло в 1970-е годы, что, вероятно, связано не только с новой актуальностью военной проблематики, но и с тем, что жанр метафизической притчи был тогда чрезвычайно востребован в советской литературе, особенно неофициальной. Таким образом, Быков использовал официальную конъюнктуру в целях, этой конъюнктуре противоречивших. В отличие от Высоцкого, Быков получил знаки официального признания: Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии... Однако трактовка войны «по Быкову» была достаточно «диссидентской» и связывала ситуацию 1940-х с ситуацией 1970-х. Быков, вероятно, был единственным в советской литературе писателем-экзистенциалистом в точном понимании этого слова[57]. Проблематика наиболее известной повести Быкова «Сотников» (за которую он и получил Ленинскую премию) может быть вкратце изложена так: сильный и надеющийся на свою силу (Рыбак) всегда ненадежен, а слабый и «прижатый к стенке» (Сотников) готов на все, так как лишен надежды и опоры. Присутствует в «Сотникове» и подспудная идея борьбы с непобедимой лживой системой. На связь этой идеи с проблематикой 1970-х указывает навязчивая для повести мысль о круговой поруке: партизаны Сотников и Рыбак постоянно нечаянно «подставляют» людей, которые с ними никак не связаны и которым и без того приходится плохо.

[57] О близости проблематики Быкова экзистенциализму еще в начале 1980-х годов говорила Галина Белая в лекциях на факультете журналистики МГУ. Наум Лейдерман и Марк Липовецкий подчеркивают, что в действиях героев Быкова наиболее важное — процесс выбора «в условиях, которые, кажется... исключают самую возможность выбора» (*Лейдерман Н., Липовецкий М.* Современная русская литература. Кн. 2. С. 176).

Характерно, что в произведениях зрелого Быкова метонимией экзистенциально безвыходной ситуации часто становится телесный дискомфорт: у Степки из повести «Круглянский мост» постоянно болит нога, потому что у него плохой, натирающий ногу сапог (трофейный), а Сотников болен с высокой температурой и старается не столько выполнить задание, сколько физически дойти до намеченной деревни. Оба эти дорогих Быкову героя все время отстают от решительных и уверенных в себе других партизан (Бритвина и Рыбака соответственно).

Под видом адаптации эмоционально дискомфортного опыта Быков и Высоцкий реабилитировали опыт экзистенциально дискомфортный, но относящийся не только к войне, но и к 1970-м годам. Это были не «фиги в кармане», а взгляд на войну из локализованной современности и использование памяти или представления (у родившегося в 1938 году Высоцкого) о войне как — отчасти вынужденном, отчасти свободно избранном — средстве исторического осмысления 1970-х.

1990-е: Оживляющая боль истории

В 1990-е годы произошел выход некоторых писателей из советской парадигмы описания войны (сама парадигма, правда, для многих читателей остается вполне действенной и при желании актуализируется в подновленном виде, как это произошло в дни празднования 60-летнего юбилея Победы в 2005 году); кроме того, к этой теме неожиданно обратились молодые поэты, которые, казалось бы, не испытывали потребности ни в идеологическом прикрытии, ни в иносказательном описании экстремального опыта, — Елена Фанайлова, Линор Горалик, Игорь Вишневецкий, Арсений Ровинский. Произошло полное «выворачивание наизнанку»: война стала наиболее значимой и емкой метафорой экзистенциально дискомфортного опыта. Если в 1970-е война понималась как источник советской идентичности, то в 1990-е — как точка кризиса любой идентичности и даже как способ описания любой подобной точки. Очевидно, что ближайшими предшественниками новой концепции войны как раз и являются Быков и Высоцкий 1970-х (а для молодых литераторов отчасти — Егор Летов начала 1990-х; именно предшественником, а не источником).

Из произведений писателей старшего поколения, основанных на этих новых принципах, следует отметить повесть Василя Быкова «Стужа» (1992) и особенно роман Виктора Астафьева «Прокля-

ты и убиты» (1990—1994). Повесть Быкова отчетливо показывает связь новой парадигмы с рефлексией советской идентичности, понятой в «перестроечном» духе: по сюжету, чудом оставшийся в живых тяжелораненый боец диверсионной группы в фашистском тылу получает убежище в сарае у крестьянина и, оставшись наедине с собой, на грани жизни и смерти, вспоминает довоенную жизнь и свое активное участие в коллективизации, разрушившей белорусскую деревню. Постепенно он приходит к необходимости отказаться от советской идеологической идентификации и выстраивать свою жизнь на новых основах.

Роман Астафьева «Прокляты и убиты» следует рассматривать в контексте всей его поздней прозы, в которую, кроме романа входят повести «Так хочется жить» (1995), «Обертон» (1996) и «Веселый солдат» (1998). Во всех этих произведениях Астафьев радикализировал собственную стилистику и пересмотрел как общепринятые, так и выработанные прежде им самим традиции воссоздания травматической памяти.

Описание военного опыта в «Прокляты и убиты», как я полагаю, *изобретено заново* в контексте «крушения кумиров» и формирования новых границ литературы. Астафьев не только сказал ранее недопустимое по цензурным причинам, но включил иные механизмы памяти и вспоминания, нашел новую для себя эстетику — с оговоркой, что уже начиная с 1950-х годов он периодически пытался расширить возможности литературы о войне и преодолеть цензурные табу[58]. Формирование поэтики «Проклятых...» имело в основе, кажется, два психологически различных стремления: артикулировать собственный (или известный от однополчан, из писем и других документов) вытесненный, «запретный» опыт и обнародовать «нецензурные» мысли о русской истории XX века, которые обсуждались Астафьевым или его друзьями на протяжении нескольких десятилетий. Получился «слоеный» роман, в котором невербализуемый опыт военных лет интерпретируется с помощью организующих описание метафор — таковы, например, сквозные для первой части романа образы-лейтмотивы зерна, теряющегося и находимого, терзаемого, мучимого людьми хлеба и тому подоб-

[58] Постоянная тема Астафьева начиная с 1950-х годов: во время войны русские воевали не только с немецкими нацистами, но и с русскими — а это является следствием революции и коллективизации. На эту предпосылку до начала 1990-х годов Астафьев мог только намекать, в «Прокляты и убиты» об этом сказано прямо. Об этом уже писал Андрей Немзер (*Немзер А.* Замечательное десятилетие. М.: Захаров, 2003. С. 269).

ные — восходящие к Новому Завету, интерпретированному в «почвенном» духе. Использованные в романе разнотипные идеологические схемы так или иначе трансформированы в смысловом поле личной идеологии Астафьева, исследование которой не входит в задачу этой статьи.

Меня будет интересовать только трансформация личного невербализуемого опыта в позднем творчестве Астафьева. В романе «Прокляты и убиты» чрезвычайно важное место занимает опыт массовой болезни, психологически и физически мучительного сосуществования разных людей в казарме, ощущения смерти на войне как бессмысленного кошмара (сцена расстрела братьев Снегиревых). Это неожиданно сильно напоминает самоощущение героя романа Курта Воннегута «Бойня номер пять»[59], но воннегутовский персонаж отвечает только сам за себя и его самоощущение на протяжении всего романа основано на одних и тех же принципах, а у Астафьева компетенция повествователя все время «прыгает» между точкой зрения частного лица и высказыванием нравственной истины в последней инстанции. Отчасти, вероятно, это связано, с одной стороны, с тем, что позиция Астафьева, прямо выраженная в автокомментариях к роману, — это позиция участника, которому открыта лишь небольшая часть реальности: «Всю правду о войне знает только Бог»; с другой — с тем, что он усвоил позицию писателя-судьи, отчасти, вероятно, из прозы Толстого и Солженицына, отчасти — из позиции «ветерана войны», которому по этой причине известно то, что неизвестно другим.

Советская идентичность у Астафьева не только рефлектируется, но и становится объектом ожесточенной критики. Правда, на место этой советской идентичности постоянно «подставляются» другие идеологические конструкты, в первую очередь — абстрактная и идеологизированная «русскость» персонажей, среди которых, по сообщению автора, есть люди самых разных национальностей и культур. Нравственно-оценивающая инстанция в романе расщепляется на два голоса: голос судьи-идеолога-повествователя и голос Ашота Васконяна, нравственно бескомпромиссного полуармянина-полуеврея, который воспринимает войну как общий грех человечества и как бесконечный и безвыходный абсурд (тот факт, что самые жесткие пацифистские реплики, с которыми повествователь, кажется, вполне солидарен, передоверены Васконяну, заслуживает отдельного обсуждения).

[59] Как ее проанализировал Андрей Аствацатуров. См.: *Аствацатуров А.* Поэтика и насилие (о романе Курта Воннегута «Бойня номер пять») // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 209–222.

Еще одним способом критики советской идентичности в романе является постоянное «объективистское» сравнение условий в немецкой и советской армиях и психологии воюющих с обеих сторон. Это, как мне кажется, — элемент критической рефлексии Астафьева относительно романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (одного из важных подтекстов романа «Прокляты и убиты»), где такое постоянное сопоставление двух сражающихся тоталитарных режимов также является способом исследовать самосознание людей. Но у Астафьева это сравнение имеет подчеркнуто лично-пристрастный характер: немцы были агрессорами, и надо было с ними сражаться, но они воевали в лучших условиях, чем *я* и *мы* (близкие повествователю герои), о них больше заботились офицеры... но и у них в армии была сильна тайная полиция, и так далее.

1990-е годы стали временем перелома в истории памяти о войне. С одной стороны, именно в это десятилетие — и в начале 2000-х — умерли многие писатели военного поколения (Булат Окуджава, Анатолий Рыбаков, Юрий Давыдов[60], Владимир Богомолов, Виктор Астафьев, Василь Быков, Евгений Носов). Война перемещалась из сферы личного опыта в область истории, известной из предания и литературы, а не из личного переживания. Сергей Стратановский в своем стихотворении середины 2000-х годов[61] описал феномен «медиатизации войны». Историческая память современного человека оказывается культурно сконструированной с помощью литературных произведений и образов масс-медиа. Более того, современный контекст, в котором существует эта сконструированная память, оказывается *зоной забвения и вытеснения* (здесь поэтическая философия Стратановского вполне согласуется с концепцией телевидения, разработанной Полем Вирильо). Медийное вытеснение памяти о жертвах оказывается их вторичным убийством, подобным уничтожению жертв в лагерях смерти: это не просто тотальное забвение[62], но и утилизация трупов для нужд промышленности.

[60] Хотя Давыдов никогда не писал романов о Великой Отечественной войне, в финале его последнего романа «Бестселлер» (2000) смерть главного героя, публициста Владимира Бурцева, в оккупированном Париже в 1942 году оказывается «параллельна» описанию военного марша под дождем, в котором участвует промокший до костей пехотинец Юрий Давыдов.

[61] Стихи в Петербурге. 21 век. Поэтическая антология / Сост. Л. Зубова и В. Курицын. СПб.: Платформа, 2005. С. 387.

[62] В документальном фильме Клода Ланцманна «Шоа» (1979) один из выживших евреев рассказывает, что, когда он в составе похоронной команды

* * *

dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith
Paul Celan

О всесожженье в Освенциме
Фильм-обвиненье
прерывается врезкой рекламной
О новейшей косметике
из коллекции дамы экранной
В зону смерти
вторгается светская блажь

Что же в коллекции?
Одеколоны для шеи
Хна для волос Лорелеи,
пудра для щек Маргариты
И флакончики с лаком,
и коробочки с пеплом посмертным
Пеплом волос Суламифи

Самоощущение человека на войне стало одной из главных метафор для литераторов поколения 1990-х, наследующих традициям неподцензурной и неофициальной литературы. В качестве источников этого самоощущения воспринимались семейная память, литература и кино и, наконец, неожиданное чувство трансцендентной связи с теми, кто каждый день существовал внутри обжитого, насыщенного деталями кошмара.

Семейная память в литературе 1990-х устойчиво воспринимается как антигосударственная и антиидеологическая, а семейные архивы — как хранилище неконвенциональной идентичности[63]. Идентичность в неподцензурной литературе или в постсоветском обществе всегда оказывается неконвенциональной, «не по правилам»: она дает человеку чувство обретенного пути, историчности собственного существования и именно поэтому вырывает его из

хоронил убитых в газовых камерах, нацисты запрещали евреям даже в разговорах между собой произносить слова «трупы» и «умершие», заставляя называть их «фигуры», «куклы» или «труха».

[63] Стихийная эмансипация семейной памяти началась в 1950-е годы. Официальная пропаганда с самого начала стремилась подменить этот процесс его имитацией. «Советские семейные романы — вплоть до Иванова и Проскурина — это протезы для семейной памяти или, точнее, ее виртуальные заменители» (*Добренко Е.* Частное письмо к автору статьи, февраль 2005 года).

общества и даже противопоставляет обществу. В стихотворении Елены Фанайловой «Памяти деда» свидетельством этого выпадения из общества становятся деформации языка, а возвращение с войны (не вообще с войны, а именно с Великой Отечественной) — событием, повторяющимся в своей универсальности: растерянность и нежность вернувшегося домой солдата служат метафорой для описания растерянности и нежности его внучки, имеющих и другую основу, и другие поводы. Но именно этим мучительным, неочевидным родством и создается история.

Я как солдат приходя с войны говорит жены:
Проверь мне полные карманы набитые ржи
Подай нам полные стаканы налитые ржой
И больше не исчезай
[...]
Они стояли на своём, отчётливо так видны
Я помню кости, сжатые добела
Я знаю о чём говорю, наложив в штаны,
Пока другие праздновали Берлин.
Я ехал кумом и королём, и мы по третьей нальём
За всех, кто стали гнильём.
А та, что приедет потом с дитём — её прогони,
Но матом не нажимай и мне ничего не скажи,
Поскольку битва шла не только за урожай.
Я как солдат прихожу домой и ни боже мой
Такая стоит надземная тишина
Хоть делай ремонт, хоть смотри в трюмо
Хоть в раме дверной
Накроет оно: кто я здесь и кто здесь он

Одной из главных идей молодой литературы 1990-х стало преодоление отчуждения людей друг от друга и от истории, которая отныне воспринимается как «возня / государственных насекомых с помятыми хоботками, / измазанными в пыльце войны, страха, фаллоцентризма» (Станислав Львовский, из стихотворения «натыкаясь в книге на имена...», 1996). Для поэтов 1990-х военный опыт стал метафорой прорыва к истории сквозь барьер отчуждения.

солдаты спят и видят Сталинград
и Сталина летящего в ракете
и радуются и животворят
и мучаются как больные дети
когда они услышат в первый раз
простой как объявление в газете

давным-давно подписанный приказ
из слов не существующих на свете
(Арсений Ровинский.
«солдаты спят и видят Сталинград...»)

Непропагандистское, нередуцированное описание войны для Астафьева было целью. Для молодых авторов 1990-х воображаемая нередуцированная война становится *мерой подлинности переживания* — потому, что подлинный военный опыт скрыт и невыносим, потому, что он требует сперва поиска, а после — внутреннего согласия с алогичностью мира и личной душевной жизни.

«Что именно возвращается? Ну, возвращаются какие-то станки, девочка, плачущая на тюке с тряпками, колтун в длинных волосах, которых у меня нет, глазок на картофелине, "Марина, собаки!", несколько ломких немецких фраз и несколько ломких русских фраз, — не "млеко-яйки", а что-то другое, — какой-то "ахтунг", какой-то "дас машинен", какое-то "откривай рот". Самолет летит, в нем мотор гудит, ууууу! — но не бомбоубежище, — скирд? Я даже не знаю, что такое "скирд", Сережа. Понимаешь, это во мне какая-то странная память, — не генетическая память и не инкарнационная память, — наверное, даже и не память совсем, а внутренний такой склад информации — о том, что суждено было мне, но с чем я разминулась — случайно, совсем случайно, настолько случайно, что оказалась как бы обучена и подготовлена, обучена нескольким этим немецким словам, подготовлена к работам с этими дас машинен, — но что-то сдвинулось-склинилось в небесных сферах, и душа моя промахнулась на сорок-пятьдесят лет, и не было меня на Украине в тот момент, когда мне положено было быть угнанной на работы в Германию, — меня еще нигде не было на этот момент, — но душа-то, душа, — она была, я говорю тебе, подготовлена, обучена, пригнана-подогнана, и как ей здесь жить, здесь же нигде не написано, какая сторона наиболее опасна при артобстреле?» (Линор Горалик. Из цикла «Электрификация», 6).

В литературе 1990-х преодоление самоотчуждения личности предстает как бесконечный процесс, а средствами этого преодоления являются борьба за цельность, неотчужденность эмоциональной и исторической жизни. Герой поэзии 1990-х борется за то, чтобы осознать свое максимально конкретное, автопсихологическое «я» частью постоянно меняющегося многоязычного мира и частью истории. Это дает ему возможность любить, потому что

преодоление самоотчуждения создает возможность памяти и привязанности[64].

Что мы потеряли

История освоения и вытеснения травматических переживаний в «литературе о войне» связана не только с обретениями и открытиями, но и с потерями. Часть опыта, не интегрированного в общественную память, не осмысленного публицистами и учеными-гуманитариями, оказалась потеряна навсегда — даже если тексты физически сохранились. В русской литературе оказалась безвозвратно утрачена возможность появления текстов, эстетически и этически параллельных «Бойне номер пять» или роману Бёлля «Где ты был, Адам?». И хотя создание «лейтенантской прозы» являлось коллективным подвигом, правила игры в советском литературном поле были заданы настолько жестко, что многие аспекты изменения психологии человека на войне так и остались «вытесненными», эстетически и этически не претворенными.

Эта «подавленность» вернулась в «светлое поле» культурного сознания в 1990-е годы; пользуясь психоаналитическими терминами, произошел частичный катарсис. Неотчужденная память о войне предстала перед литераторами разных поколений как задача, которую надо решать заново и в новых условиях. Решение было затруднено тем, что именно в литературе о войне особенно «зияющим» оказалось отсутствие традиции рефлексии субъекта. Способами преодолеть «зияние», создать заново методы такой рефлексии стали интерпретация семейной памяти как основы неофициальной (антиофициальной) идентичности и стремление к личной историчности.

[64] См. подробнее: *Кукулин И.* Прорыв к невозможной связи // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 453—457.

Фолькер Хаге

ЧУВСТВА, ПОГРЕБЕННЫЕ ПОД ОБЛОМКАМИ

Как немецкие писатели справлялись с темой бомбежек

«Над городом летели самолеты — зловещие птицы». Такими словами начинается роман «Голуби в траве», опубликованный в ФРГ в 1951 году. В нем писатель Вольфганг Кёппен рисует образ страны через несколько лет после окончания войны. «Заход на цель, уход от цели, упражнения в смерти, гулкий грохот, трясущаяся земля, воспоминание в руинах». И далее: «В бомбовых отсеках самолетов пока еще ничего не было. Авгуры улыбались. Никто не взглянул на небо». Яростное начало романа, описывающего общество, живущее между экономическим подъемом и страхом новой войны. В газетах — угрожающие заголовки («Война за нефть», «Обострение конфликта», «Авианосец в Персидском заливе», «Испытания ядерного оружия в Нью-Мексико», «Атомные заводы на Урале»). Народ живет в разделенной стране, «в поле напряжения» между Востоком и Западом — «на стыке, а может быть — на переломе». Ведь «и здесь, и там копили порох, чтобы взорвать земной шар»[1].

Кёппен разъяснял в предисловии ко второму изданию своего романа, что писал его вскоре после валютно-финансовой реформы, «когда на западе взошло немецкое экономическое чудо». Голова у него «от голода и грохота бомб была еще немного дурная», и «все чувства жаждали удовольствия, ведь скоро могла начаться третья мировая война»[2]. И Кёппен не одинок в этом своем наблюдении. В то время многие писатели были охвачены страхом атомной войны — страхом, постоянно сопровождавшим культурную жизнь в Германии, начиная с осени 1945 года и до самого конца 1980-х, до окончания холодной войны.

[1] *Koeppen W.* Gesammelte Werke 2 / *Reich-Ranicki M. (Hrsg.)* Frankfurt a. M., 1990. S. 11.

[2] Ibid. S. 9.

«В войнах будущего главным оружием станут атомные бомбы и Фау-2» — в этом был убежден уже в ноябре 1945 года и Ханс Хенни Янн[3]. Эрнст Юнгер, когда узнал в августе 1945 года о первой атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму, искал убежища в библейских сравнениях. «Похоже, радиацией можно рушить стены, — записал он в дневнике. — Это посильнее, чем иерихонские трубы». Вероятно, не только Юнгер в те дни думал о том, что произошло бы, «если бы мы смогли затянуть войну», то есть если бы Вторая мировая война не закончилась в Европе уже в мае 1945 года: «Нас бы тогда тоже удостоили нескольких таких штучек, ко всеобщему и искреннему удовлетворению»[4].

Томас Манн, находясь в США, уже в день бомбардировки Хиросимы, 6 августа, записал в дневнике: «Первое нападение на Японию с использованием бомб, в которых действуют силы взорванного атома (уран)». Эта тема стала главной в его дневнике на несколько последующих дней. Он писал об «ужасном разрушении города», об «огромном выбросе пыли в небо»[5]. Бертольт Брехт в начале сентября, также в дневнике, выразил свое отвращение еще более откровенно: «Для тех, кто ждут с нетерпением своих мужей и сыновей, радость от победы в Японии, похоже, отравлена. Этот суперпук заглушает все колокола победы»[6].

Еврейский писатель и философ Гюнтер Андерс, который тоже выжил благодаря эмиграции в США, посвятил в последующие десятилетия всю свою жизнь и свое творчество угрозе атомной войны. До самой смерти он не уставал напоминать человечеству о том, что бомба может уничтожить Землю. Слова «Хиросима» и «Освенцим» стали для него символами кошмара XX века. Он ездил в эти ужасные места — в Хиросиму и Нагасаки в 1958 году, в Освенцим в 1966-м — и опубликовал очерки о своих путешествиях в книгах «Человек на мосту» (1959) и «Надпись на стене» (1967). Вторая книга (с главой об Освенциме под названием «Экскурсия в Аид») — это дневник, который охватывает период с 1941 по 1966 год[7].

[3] *Jahnn H.H.* Briefe. II. 1941—1950 / *Bitz U., Schweikert U. (Hrsg.).* Hamburg, 1994. S. 263.

[4] *Jünger E.* Tagebücher III. Strahlungen II. Sämtliche Werke. 1. Abt., Band 3. Stuttgart, 1979. Stuttgart, 1962. S. 505 f.

[5] *Mann Th.* Tagebücher, 1944—1.4.1946 / *Reich-Ranicki M. (Hrsg.)* Frankfurt a. M., 1986. S. 238 f.

[6] *Brecht B.* Journale 2. Werke. Band 27. *Hecht W. et al.* (Hrsg.). Berlin; Frankfurt a.M., 1995. S. 232.

[7] Там же и заметки под названием «Возвращение в Европу. 1950 год», сравнимые с записками Макса Фриша и до сих пор оставшиеся почти незамеченными.

Если осознание совершенных нацистами преступлений и массовых убийств приходило к немцам после образования ФРГ лишь медленно и с трудом, то ощущение новой угрозы — атомной — возникло быстро и непрерывно крепло. Пожалуй, не будет большой ошибкой предположить, что многие немцы, участвовавшие в международном движении против ядерной бомбы (в первых рядах которого был и Андерс, опубликовавший в 1959 году свои «Тезисы о ядерной эпохе»), вспоминали о том страхе, которого они натерпелись во время ночных авианалетов, то есть что в их воображении картины грядущих ужасов смешивались с воспоминаниями об уже пережитых. Возможно, за мотивами людей в Германии, протестовавших в массовом порядке против атомных вооружений (это был первый случай появления крупной внепарламентской оппозиции в ФРГ), скрывались их отложенный протест против реальных бомбардировок германских городов и неосознанное возмущение по поводу атомной бомбардировки, например, Берлина или Дрездена, которая хоть в реальности и не состоялась, но, возможно, лишь потому, что война успела чуть раньше закончиться[8].

Как бы то ни было, нельзя не заметить, что именно в немецкой литературе особой любовью авторов стала пользоваться разработка сценария атомной войны. Писатели, старательно прорабатывая каждую деталь, рисовали ожидающиеся кошмары, рассказывали во всех красках об апокалипсисе, наступление которого считалось во времена холодной войны вполне реальной перспективой. Об этом, кстати, почти забыли после того, как закончился конфликт между Западом и Востоком, длившийся полвека после Второй мировой войны, но так и не приведший к обмену ядерными ударами, которого так боялись.

Ряд апокалиптических видений в немецкой литературе открывается романами Ханса Хельмута Кирста «Никому не уйти! Сообщения о последних днях Европы» (1957) и «Дети Сатурна» (1959) Йенса Рена. Похоже, особое призвание Провидения к написанию такого рода опусов ощущали писатели, которые по основной специальности были врачами, — например, Йозеф Голльвицер (псев-

[8] Родившийся после войны писатель Дурс Грюнбайн писал 6 августа 2000 года в своем дневнике: «Представим себе, что они реализовали бы свой план — испытать бомбу не на восточноазиатском плацу, а в самом сердце Европы. Свой магический груз они сбросили бы над родным Дрезденом, на улицах которого волки в то время выли, призывая свой коллективный конец. Что было бы, если...» (*Grünbein D.* Das erste Jahr. Berliner Aufzeichnungen. Frankfurt a. M., 2001. S. 109).

доним), автор романа «6 августа» (1975), и Удо Рабш, написавший «Юлиус, или Черное лето» (1983). У Рабша ядерная катастрофа помещена в самое близкое будущее. Его герой Юлиус бродит по зараженным радиацией центральноевропейским ландшафтам, через обугленные леса и спаленные деревни. В том же году, что и роман Рабша, появились еще два подобных произведения: «Счастливая поездка» Маттиаса Хоркса и «Бункер» Герхарда Цверенца.

На все эти романы публика почти не обратила внимания, и они были быстро забыты. Поздний представитель этой породы — «Крыса» (1986) Гюнтера Грасса — удостоился большего внимания только благодаря своему знаменитому автору, да и то был большинством критиков отвергнут. Я перечисляю эти книги здесь прежде всего как свидетельства определенного настроения, некогда широко распространенного среди немецких писателей как на Западе, так и на Востоке. Наиболее известные из них (если не считать Грасса), правда, предпочитали не вдаваться в эпическое живописание ядерного кошмара, а высказываться в публицистическом стиле или намеками, как это делает Криста Вольф в своем рассказе «Кассандра» (1983).

«Мы живем с бомбой» — таков был лейтмотив, сформулированный Генрихом Бёллем уже в 1966 году. «Она у каждого из нас в кармане, вместе со спичками и сигаретами. Благодаря ей, бомбе, время получило другое измерение, которое почти исключает длительные сроки»[9]. Примерно пятнадцать лет спустя Бото Штраус писал: «Никто не может долго разгуливать с этим всечеловеческим переворотом в голове». Из сознания угроза, вероятно, может часто ускользать, «а вот из подсознания — пожалуй, нет»[10]. В первой половине 1980-х годов эти страхи еще раз усилились в связи со спорами о довооружении.

«То, что ядерные штабы планирования планируют с нами сделать, — ужасно», — говорила Криста Вольф летом 1982 года, выступая перед студентами во Франкфурте-на-Майне. «А мы пишем по-прежнему в формах, к которым привыкли. Это значит: мы еще не можем поверить в то, что мы видим. А то, во что поверим, не можем высказать. [...] Смотреть открытыми глазами на реальное состояние мира психически невыносимо»[11]. Двумя годами позже ее коллега из ФРГ, Петер Хертлинг, выступая там же, во Франкфур-

[9] *Böll H.* Werke. Essayistische Schriften und Reden. Köln, 1979. S. 44 f.

[10] *Strauß B.* Paare, Passanten. München, 1981. S. 166 f.

[11] *Wolf Ch.* Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra. Darmstadt; Neuwied, 1983. S. 85, 97.

те, высказывался еще более патетически: «Мы пишем — хотим ли мы это признать или нет — апокалиптическую литературу, мы настойчиво рассказываем о людях, живущих перед грозящим нам всем сценарием»[12].

Дети бомбежек

На этом фоне, вероятно, неудивительно, что более молодые немецкие авторы, которые в детстве сидели в бомбоубежищах или подростками помогали зенитчикам, о своем опыте поначалу не говорили. Зачем говорить о прошедшей войне, если вот-вот, кажется, будет новая? Это чувство было характерно отнюдь не только для Германии. Ведь не одним немцам выпало в детстве видеть эскадрильи бомбардировщиков. Например, голландец Харри Мюлисх (родившийся в 1927 году в Харлеме) юношей наблюдал, — правда, с радостью, — как самолеты союзников летели над его страной в направлении на Ганновер или Берлин, а его земляк Сеес Ноотебоом (рожденный в 1933 году в Гааге) видел в мае 1940 года, как бомбардировщики «Heinkel» и пикирующие бомбардировщики «Stuka» разбомбили аэродром Ипенбург поблизости от его родного дома («мой отец поставил кресло на балкон и смотрит»), а потом пошли на Роттердам («горизонт окрашен красным»). Для ребенка это было незабываемое впечатление: «Шестилетний мальчик был охвачен беспрерывной дрожью; чтобы она прекратилась, ему поливали спину ледяной водой. Тем самым писался роман моей жизни, мне не нужно было ничего для этого делать»[13].

В Германии первая волна послевоенных романов, повествовавших — в основном конвенционально и без рефлексии — о пережитом на фронте и в бомбоубежище, прошла и схлынула, не получив большого отклика. Значительных в литературном плане произведений среди них почти не было, если не считать романов Вольфганга Борхерта («Там за дверью»), Герта Ледига («Возмездие») и Ханса-Эриха Носсака («Гибель»). В 1960-е и 1970-е годы немногие пытались сделать бомбежки темой для литературных произведений, поскольку, очевидно, никто уже больше и не ожидал обращения к такой теме. В 1967 году малоизвестный автор по имени Ханс Юрген Фрёлих (1932—1986) выпустил роман под названием «Веселое

[12] *Härtling P.* Finden und Erfinden. Darmstadt; Neuwied, 1984. S. 51.

[13] *Nooteboom C.* Wie wird man Europäer? Aus dem Niederländischen von Helga von Beuningen. Frankfurt a. M., 1993. S. 11.

подземелье», но описанный там подземный и как бы выключенный из времени мир восприняли в основном как некое абстрактное место действия[14]. Никому не захотелось понять, что за этим миром стоял вполне конкретный травматический опыт автора: ребенком Фрёлих провел в своем родном Ганновере некоторое время в бомбоубежище, дверь в которое засыпало взрывом. Зная это, невозможно не услышать в романе эхо тех событий. Воспоминание прорывается на поверхность по частям — в курсивных вставках (например: «*остается только страх и крики из подвала*»), как бы перебивая рассказ-притчу, а под конец и перекрывая его. Это, пожалуй, можно сравнить с психоаналитическим процессом. Последняя фраза романа звучит двусмысленно: «И вот теперь я лежу здесь и все кончено»; ее можно интерпретировать и как окончание литературного эксперимента, и как прорыв наружу воспоминания, связанного со страхом смерти[15].

Хуберт Фихте (1935—1986), который провел детство в Гамбурге, а в 1942—1943 годы был отправлен матерью на некоторое время в сиротский приют в Баварии, вернулся домой незадолго до больших налетов на Гамбург в июле—августе 1943 года. Сначала бомбежки фигурируют в его произведениях лишь на заднем плане: в двух первых романах — «Сиротский приют» (1965) и «Палитра» (1968) и в одном коротком рассказе в его дебютном сборнике «Отъезд в Турку» (1963)[16]. И только в романе «Имитации Детлева» (1971) тема эта начинает звучать в полный голос, в специальной главе, написанной в своеобразной форме: лирический герой Фихте по имени Йеки в 1968 году начинает собирать материалы об «операции "Гоморра"», через 25 лет после самого события. Он ищет информацию в книгах и сравнивает прочитанное с собственными воспоминаниями. «Йеки хочет прочитать все об этом террористическом нападении», — пишет автор, а затем как бы обсуждает с самим собой уместность этого понятия, которое использовали и нацисты: «Кто упрекнет меня за это слово? Оно вбито мне в чере-

[14] Типично такое краткое описание этой книги в каталоге одной публичной библиотеки: «Растительное существование группы людей, случайно оказавшихся вместе в лабиринтах подвала, становится метафорой жизни среди угроз, окружающих ее в наше время». Цитата из каталога Гамбургской публичной библиотеки (Hamburger Öffentliche Bücherhalle, 1968).

[15] *Fröhlich H.J.* Tandelkeller. Frankfurt a. M., 1967. S. 92, 215.

[16] Повторное издание в книге: *Hage V.* (Hrsg.). Hamburg, 1943. Literarische Zeugnisse zum Feuersturm. Frankfurt a. M., 2003. См. также послесловие к этой книге.

пушку силой нескольких десятков тонн тротила. Оно больше не является для меня сокращенным обозначением пропаганды доктора Геббельса. Для меня это — зебры на Юлиус-Фосселер-штрассе. Запах трупов возле инвалидного дома. Утрата понятия "надолго". Словарь нелюдей? А кто такие нелюди?»[17] В этом фрагменте перед нами снова трудный процесс реконструкции, повторного овладения материалом, почти не поддающимся пересказу.

Столь же впечатляющий, строгий по композиции и компактный текст о бомбежках представляет собой главка «Воздушный налет на Хальберштадт 8 апреля 1945 года» в сборнике Александра Клюге «Новые рассказы. Тетради 1—18» (1977). В предисловии к книге автор, родившийся в 1932 году, пояснил, что он лично пережил этот налет, в том числе и взрыв фугасной бомбы в непосредственной близости от себя: «При мне 8 апреля 1945 года на расстоянии 10 метров упала такая бомба»[18]. Но в своем тексте Клюге — ученик Адорно — рассказывает не об этом. Складывая вместе, как кусочки головоломки, фотографии, таблицы и прочие изображения, он пытается собрать воедино события того дня, сопоставлять осколки разных восприятий, строго разделяя их на «стратегию снизу» (на земле) и «стратегию сверху» (с точки зрения нападавших). Соблюдать различие между документом, цитатой и художественным вымыслом автору трудно, и он осознает это. Но кончается все простой фразой, которую Клюге вкладывает в уста одному свидетелю: «Когда жестокость доходит до определенной точки, то уже все равно, кто ее совершил: надо лишь, чтобы она прекратилась»[19].

Автобиографический момент отступает в текстах Клюге на задний план. О том, как он сам справлялся с переживаниями 8 апреля 1945 года, он рассказал подробнее в одном интервью. Тогда, ребенком, говорил он, сначала он подумал только о том, состоится ли теперь урок игры на фортепьяно или что он потом сможет рассказывать друзьям... Но: «Такие переживания сказываются спустя много времени», — говорит далее Клюге. Через десятилетия это воспоминание становится все интенсивнее[20]. В хвалебной рецензии на «Новые рассказы» Ханс Магнус Энценсбергер писал в свое время, что повествовательная манера Клюге, возможно, не особенно

[17] *Fichte H.* Detlevs Imitationen «Grünspan». Frankfurt a. M., 1982. S. 34, — то же перепечатано в сборнике: *Hage V.* (Hrsg.). Op. cit. (17-я глава романа).

[18] *Kluge A.* Neue Geschichten. Hefte 1—18. «Unheimlichkeit der Zeit». Frankfurt a. M., 1977. S. 9.

[19] Ibid. S. 106.

[20] Интервью, взятое автором у Клюге 26 сентября 2000 года.

нравится читающей публике, но позволяет автору отыскивать те «душевные движения и чувства, которые были засыпаны обломками во время непрекращающейся бомбардировки и часто десятилетия спустя снова обнаруживаются в самых неожиданных и "самых запретных" местах, словно неразорвавшиеся бомбы, в которых скрыты огромные энергии»[21].

Как эти авианалеты действовали на детей, которые жили тогда в бомбардируемых городах и потом стали писателями? Какие они имели последствия? И оставили ли они в самом деле так мало следов в литературе: один кафкианский роман у Фрёлиха, одну главу в романе у Фихте, один рассказ-монтаж у Клюге? Дабы стало понятнее, какого масштаба это был стресс, надо, вероятно, вообразить, что было бы, если бы детей тогда при случае брали с собой на фронт — показать им для наглядности, как выглядят позиции под обстрелом «катюши» или что-нибудь в этом роде. Абсурдная фантазия, не правда ли? Однако это качественно не сильно отличается от того, что им приходилось пережить дома. Там они приобрели опыт, который, крайне мягко говоря, был «абсолютно новым», по хладнокровному выражению Вальтера Кемповски[22]. И в самом деле, следы его можно обнаружить. Если внимательно прислушиваться и присматриваться, то отзвуки пережитых бомбежек и налетов штурмовой авиации мы найдем у многих немецких авторов, которые пережили войну детьми или подростками.

У Кристы Вольф (год рождения — 1929) есть автобиографический рассказ «Изменение взгляда», написанный в мае 1970 года, то есть через 25 лет после освобождения. В нем она описывает, как она девчонкой бежит из разрушенного Берлина на запад («форсированным маршем в Шверин, там американцы, и всякому, кто был еще способен задавать вопросы, вообще-то должно было бы показаться странным, как все рвались навстречу тому врагу, который уже несколько дней стремился нас убить»). Авианалет на беженцев изображается как сцена из фильма: «Сначала я увидела белые звезды на крыльях, потом, когда они развернулись на второй заход, очень близко увидела головы пилотов в летных шлемах и наконец даже неприкрытые белые пятна их лиц [...], и мне показалось не-

[21] *Enzensberger H.M.* Ein herzloser Schriftsteller // Der Spiegel. 02.01.1978. № 1. При всей своей благорасположенности к автору, рецензент все же не смог удержаться от того, чтобы слегка поддеть его: «Одной из издержек такого рода литературы является то, что ее принадлежность к литературе всегда будет неочевидной».

[22] Интервью, взятое автором у Кемповски 25 февраля 2000 года.

естественным, что я на секунду задумалась о том, доставляло ли им удовольствие то, что они делали». И с большим самообладанием описывает Криста Вольф, как рядом с нею умирал мужчина, «которому штурмовики выстрелили в живот». Ее сухой комментарий: «Так я в шестнадцать лет впервые увидела мертвеца, и надо сказать, для того времени это было довольно поздно»[23].

У авторов еще более молодых, рожденных в годы войны, эта тема звучит совсем иначе. Если они и рассказывают о бомбежках, то не так легко. Например, австриец Герхард Рот в январе 1945 года, когда ему еще не было и трех лет, пережил нападение штурмовика на битком набитый людьми поезд. Этот свой опыт он перенес в литературу лишь в закодированном виде, в сказочной миниатюре, включенной в его толстый роман «Заурядная смерть» (1984).

Его земляк Петер Хандке, тоже родившийся в 1942 году, видел воздушные налеты как в Берлине (откуда был родом его отец), так и у себя на родине в Каринтии (бомбы падали даже на его родную деревеньку Альтенмаркт). В одном интервью он говорил, что военный страх, который он познал маленьким ребенком («когда бомбы падали на Южную Каринтию или на Берлин»), он еще долго носил в себе как травму[24]. «Теперь я вспоминаю, что той ночью летали бомбардировщики», — читаем мы в его дебютном романе «Шершни» (1966)[25], а на первых же страницах рассказа «Короткое письмо для длинного прощания» (1972) герой говорит: «Сколько себя помню, я был как будто рожден для того, чтобы ужасаться и пугаться. Деревянные поленья лежали вразброс по всему двору, тихо освещаемые солнцем, после того как меня унесли в дом от американских бомбардировщиков»[26]. Больше мы на эту тему в произведениях Хандке почти ничего не найдем — и тем не менее очевидно, что яростный протест автора против войны в Косове подпитывался, помимо всего прочего, и этими детскими страхами, тем более что Хандке осуждал прежде всего именно бомбардировки балканских населенных пунктов самолетами НАТО.

О детских страхах Рольфа Дитера Бринкмана (1940—1975) стало известно только после его смерти из написанной в 1971-м, а опубликованной в 1987 году книги его дневников и набросков «Разведка местности». Автор, у которого во время пребывания в Риме

[23] *Wolf Ch.* Gesammelte Erzählungen. Darmstadt; Neuwied, 1980. S. 13 ff.

[24] Цит. по: *Haslinger A.P.* Handke. Jugend eines Schriftstellers. Salzburg; Wien, 1992. S. 22.

[25] *Handke P.* Die Hornissen. Frankfurt a. M., 1966. S. 12.

[26] *Handke P.* Der kurze Brief zum langen Abschied. Frankfurt a. M., 1972. S. 9.

никак не получалось написать второй роман (его первый и единственный — «Больше никто не знает» — вышел в 1968 году), спорил в своих частных записках с собственным поколением: «Они не могут даже боль изобразить, они не умеют изображать ни радость, ни желание, ни ярость, ни ненависть, ни презрение, ничего; они что, больше не чувствуют этого, больше не испытывают этого? Такие бронированные? Такие боязливые? Конченые?» А потом мысль его делает интересный скачок и — внезапно: «После душной тесноты и постоянного оглушения с 1940 по 1945 год, эта атмосфера страха, эта смерть, люди исчезали внезапно, больше не возвращались, завешенные окна, воздушная тревога, бункер, песок сыпется с потолка, мне приходится почти постоянно держать рот открытым, мать, поющая от страха, снова и снова». Потом из памяти вдруг встает картина: ему чуть больше четырех лет — «а теперь опустошение /: порушенные города [...], застывшие тела, это война, никто этого не видит??? /: чтобы разорвать эти отрицательные обратные связи, которые пущены в ход, нужны сила и мужество, кому же нравится ходить по своему собственному застывшему аду?»[27]

Свой собственный застывший ад: редко можно с такой наглядностью, как в этих нескольких фразах, спрятанных в беспорядочном коллаже из заметок, набросков, фотографий, наблюдать взаимосвязь между глубоко подействовавшим на человека потрясением и длительным параличом, — потрясением, которое не способствует творчеству, а препятствует повествованию, литературному труду.

Только в 1980-е годы постепенно наступила фаза нового обращения к прошлому. В самом деле, это десятилетие для многих молодых людей стало временем первого приближения к травматическому опыту после того, как в течение какого-то времени он замалчивался и вытеснялся. Волна ранних романов о войне и воздушных налетах спала после 1960 года, и произведения эти были по большей части быстро забыты. В силу этого и оказался возможным вопрос, который писатель и литературовед В.Г. Зебальд впервые сформулировал в 1982 году: «Почему в немецкой литературе практически никогда не писали о воздушных налетах на германские города, пережитых миллионами немцев в последние годы войны, и о радикальном изменении общественных форм жизни, вызванном этими разрушениями катастрофического масштаба?»[28] Кста-

[27] *Brinkmann R.D.* Erkundungen für die Präzisierung des *Gefühls* für einen Aufstand. Reinbek, 1987. S. 222.

[28] *Sebald W.G.* Zwischen Geschichte und Naturgeschichte // Orbis litterarum. 1982. № 37. S. 366.

ти, в исторической науке в Германии тоже уже назрели перемены[29]. Историк из ГДР Олаф Грёлер работал над крупным исследованием, посвященным этой теме; когда его книга «Бомбовая война против Германии» наконец вышла в 1990 году, его государства уже не было, поэтому солидное исследование осталось почти незамеченным.

Потом, в 1990-е годы, после объединения Германии, потребность во взгляде назад стала актуальнее. Из людей, которые пережили Вторую мировую войну взрослыми, многие уже умерли, да и те, кто были тогда детьми или молодыми людьми, постепенно старели — особенно родившиеся в конце 1920-х годов, так называемое поколение тех, кто помогал зенитчикам. Стали появляться воспоминания, часто как бы между прочим, в связи с совсем другими темами — например, эссе «Взгляды на гражданскую войну» (1993) Ханса Магнуса Энценсбергера (год рождения — 1929). Автор пишет, что и теперь, «пятьдесят лет спустя», он все еще видит себя «сидящим в подвале, завернутым в одеяло». Он и по сей день смог бы отличить лай зенитки от воя авиамины. «Иногда во сне меня мучает завывающий звук сирен — отвратительная мелодия»[30].

Людвиг Харig (год рождения — 1927) писал в 1990 году в автобиографическом романе «Горе тому, кто пойдет не в ногу»: «Никогда я не смогу приезжать на вокзал в Мерциге без того, чтобы вспоминать тот день, когда мы там, под налетом штурмовиков, выпрыгивали из поезда и кидались сломя голову на рельсы». Группа американских самолетов атаковала людей на платформе, старая женщина звала свою дочь, которая хотела закрыть собой детскую коляску и упала: «И вот она лежала без движения, я не знал, была ли она уже мертва, но потом по ней полоснула очередь и прошила ее по всей длине от левой лопатки вниз до бедра, и тогда мне стало понятно, что ей больше нельзя было ничем помочь»[31].

Гюнтер Кунерт (год рождения — 1929) описывает в своих воспоминаниях под заголовком «Взрослые игры» (1997), как он подростком в Берлине наблюдал женщину, которая в поисках своей сестры с криками рылась в развалинах и извлекала на свет «почерневшие и деформированные остатки тел»[32]. Гюнтер де Брюйн (год рождения — 1926) в «Промежуточном итоге» (1992) рассказывает,

[29] Историческая наука занималась темой бомбардировок еще меньше, нежели беллетристика, если не считать повсеместно наличествующих в разбомбленных городах старательных местных историков-краеведов.

[30] *Enzensberger H.M.* Aussichten auf den Bürgerkrieg. Frankfurt a. M., 1993. S. 63.

[31] *Harig L.* Weh dem, der aus der Reihe tanzt. Frankfurt a. M., 1993. S. 213.

[32] *Kunert G.* Erwachsenenspiele. Erinnerungen. München, 1997. S. 75.

как он молодым человеком стоял перед обломками дома, «в котором родился и вырос», после того как во дворе взорвалась авиамина (его сестра до утра помогала уносить мертвецов и раненых). Во всех случаях вывод один и тот же: «Мое детство кончилось — теперь, наверное, уже бесповоротно»[33].

А у некоторых возникало чувство, будто в ужасные мгновения они как бы застыли и обречены оставаться вечными детьми, как выразился Вольф Бирман (год рождения — 1936), в возрасте шести лет вместе с матерью бежавший, спасаясь из огненного ада, в который превратился Гамбург после «операции "Гоморра"». В 1995 году Бирман сказал, что об этой ночи он мог бы написать роман, если бы умел писать романы[34]. В одном разговоре он предположил, что той ночью был заложен фундамент для того, чтобы впоследствии он стал писать песни и стихи, — среди которых, между прочим, есть два о бомбежках: «Ян Гат под небом в Роттердаме» и «Эльба около Гамбурга», написанные в 1988 и 1993 годы. В последнем стихотворении о том, что пережил Бирман той ночью, говорится так: «Часы моей жизни остановились ровно на шести с половиной»[35].

Бирман находился в «сложной ситуации противоречивых интересов» (по его собственному выражению): его жизни грозили те бомбы, которые его мать, жена еврея, убитого в Освенциме, вообще-то приветствовала. На заданный в этой связи дополнительный вопрос он ответил так: «Было бы интересно изобразить одни и те же события с позиции маленького мальчика и женщины-работницы, которая знает, что ее муж только что ушел в дымовую трубу в Освенциме и, став дымом в этом задымленном небе, уже смотрит сверху. Если бы мне пришлось написать роман, это было бы его изощренным фокусом, благодаря которому все это дело становится интересно и для других людей. Потому что просто демонстрировать раны, просто показывать, как плохо это все было и как ужасно, — это первая наивная и человеческая реакция, но недостаточно для большой литературы. И если уж писать о чем-то таком, то недостаточно того, что был такой большой пожар и было так страшно»[36].

В 1990-е годы — это было неоднократно описано — в Германии разрушились многие политические и вытекающие из них культур-

[33] *Bruyn G. de* Zwischenbilanz. Eine Jugend in Berlin. Frankfurt a. M., 1992.

[34] *Biermann W.* Alle Gedichte. Köln, 1995. S. 181.

[35] Ibid. S. 157.

[36] Интервью, взятое автором у Бирмана 8 февраля 2000 года.

ные представления, за которые цеплялись, в частности и в особенности, интеллектуалы и писатели. Это стало особенно отчетливо заметно в спорах по поводу войн в Заливе (1991) и в Косове (1999), где впервые с 1945 года в Европе снова производились бомбардировки — на сей раз самолетами НАТО. Как раз эти воздушные удары и спровоцировали дискуссию, причем теперь слово взяло прежде всего поколение немецких военных детей и было ясно видно, насколько сильно на аргументацию противников бомбовых ударов влияли детские воспоминания и их позднейшая интерпретация.

Дитер Форте, родившийся в 1935 году в Дюссельдорфе, занял однозначно пацифистскую позицию: война всегда только частично приводит к той цели, ради которой она, как утверждают, ведется; она приносит людям мучительную смерть, а оставшихся в живых метит навсегда. И вот: «Я пережил войну ребенком, многомесячные бомбардировки, длящиеся неделями боевые действия, я жил в тотальном страхе перед бомбами, обрушивавшимися на меня, и этот страх — по сей день во мне». Возможно, именно это «первобытное ощущение войны во мне» повинно в том, что Форте ни на йоту не верит ни одному военному или политику[37].

Трилогия Форте «Дом на моих плечах» появилась в 1990-е годы: «Образец» (1992), «Мальчик в окровавленных ботинках» (1995) и «В воспоминании» (1998). Второй том содержит одно из самых убедительных изображений бомбежек во всей немецкой литературе. В третьем описывается время сразу после войны, жизнь среди развалин, а заканчивается он почти удивленным ретроспективным взглядом из современности. Прежде всего именно эти два тома представляют собой результат мучительного погружения Форте в собственное детство с его ужасами. Автору понадобились десятилетия, чтобы набраться смелости и подступиться к этой теме, — как и другим авторам из «поколения детей в крупных городах», которые, как пишет Форте, «могут вспомнить, если сумеют, если найдут для этого язык, а этого приходится ждать всю жизнь»[38].

В одном более позднем интервью Форте описывал это таким образом: когда он писал, что-то в нем открылось. «И пришло все воспоминание. Не только поверхностно сохраненное, а все воспоминание, целиком. И ужас, и страх, который во мне. Это был настоящий прорыв. Я писал, писал, страницы рукописи едва можно

[37] Ответ на опрос журнала «Der Spiegel» под заголовком «Территория ненависти. Немецкие писатели о натовской бомбардировке» // Der Spiegel. 12.04.1999. № 15.

[38] *Forte D.* Schweigen oder sprechen. Frankfurt a. M., 2002. S. 33, 71.

прочесть. [...] По сути, все это еще никуда не делось, и, вероятно, поэтому люди не хотят ничего слышать об этом». Рассказать об этом — вот в чем видит Форте содержание своей жизни, «все предыдущее было только обходным путем»[39].

И, очевидно, шок этого опыта сказывается до сего дня. Так, примечательно, что даже авторы, которые родились в годы войны, то есть у которых воспоминания о ночных бомбардировках относятся в основном к раннему детству, пишут о них наглядно, хотя и фрагментарно. Моника Марон, родившаяся в 1941 году в Берлине, описывает в автобиографической книге «Письма Павла» (1999) сцены в бомбоубежище, которые она пережила, по всей видимости, в возрасте трех или четырех лет. В самом начале рассказа, имеющего подзаголовок «Семейная история», встает вопрос, почему она именно сейчас захотела написать о жизни своего дедушки-еврея, «почему только теперь, почему теперь все еще». Ее ответ: «У воспоминаний — свое время»[40].

У Вольфганга Хильбига, который родился в 1941 году в Саксонии, над вопросом о воспоминаниях — по прошествии более полувека — размышляет герой романа: «А однажды лопнула лампочка, и звук этот проник в его сон, хотя он спал очень крепко. И ему показалось, что он смутно вспомнил взрыв, который слабо донесся, как бы из удаленной местности... примерно так должны были звучать разрывы авиамин на улицах в последние годы войны, когда он с матерью искал укрытия в подвале»[41]. Хильбиг неоднократно подтверждал, что речь идет о его личном опыте: «Те первые воспоминания, которые, как мне кажется, у меня есть, почти всегда окрашены заревом пожара и дымом от бомб, сброшенных на маленький промышленный городок, где мы жили»[42]. Развалины и руины были местом его детских игр.

«Европа в руинах» — этим названием своей книги Энценсбергер в 1990 году возвестил о начале десятилетия воспоминаний. Книга представляет собою коллаж из путевых записок 1944—1948 годов, из книг и репортажей тогдашних посетителей мира развалин, из текстов, которые давно были забыты и частично не были никогда переведены. «Если бы кто-нибудь тогда сказал пещерным жителям Дрездена или Варшавы, что их ждет такое будущее, как в 1990 году, — пишет издатель и составитель книги в сопроводитель-

[39] Интервью, взятое автором у Форте 17 февраля 2000 года.

[40] *Maron M.* Pawels Briefe. Frankfurt a. M., 1999. S. 7.

[41] *Hilbig W.* «ICH». Frankfurt a. M., 1993. S. 193.

[42] *Hilbig W.* Über Umwege und Rückzüge // Buchreport. 1.06.2002.

ной статье, — они посчитали бы его сумасшедшим. Но точно так же и сегодняшние люди уже не могут представить себе свое собственное прошлое»[43].

Споры вокруг Зебальда

В конце 1990-х годов впервые был публично поставлен вопрос, в достаточной ли мере и подобающим ли образом немецкая литература занималась темами бомбежек. Поставил этот вопрос В.Г. Зебальд (1944—2001) в серии лекций о поэтике, которые он читал в 1997 году в Цюрихе. Зебальд — писатель и эссеист, дотоле известный главным образом в узких кругах и ценимый как меланхоличный рассказчик чужих судеб, прежде всего еврейских биографий, как автор, который о самом себе упоминал разве что в качестве сборщика материала. Он прибыл из Англии, где давно жил и работал преподавателем в университете. Не лишено пикантности было то обстоятельство, что именно перед изумленной швейцарской публикой он заговорил о немецкой проблеме, названной им «семейной тайной, на которую наложено своеобразное табу»[44].

Во всяком случае, его тезисы на тему «бомбы и литература», которые он через два года выпустил книгой, с самого начала вызвали большой интерес. Зебальд выражал уверенность в том, «что позднейшие поколения, если бы решили полагаться только на свидетельства писателей, едва ли смогли бы составить себе представление о ходе, о масштабах, о природе и о последствиях катастрофы, произведенной в Германии бомбардировками». Он говорил о «неспособности целого поколения немецких авторов записать и ввести в нашу память то, что они видели». Его вывод: «Конечно, имеется тот или другой текст, но все же то немногое, что донесла до нас литература, как в количественном, так и в качественном отношении не идет ни в какое сравнение с экстремальным коллективным опытом того времени»[45].

Тезис Зебальда о всеохватном и передаваемом по наследству табу относится к состоянию Германии в момент окончания войны. Как позорная «семейная тайна», считал он, воспринимались «самые

[43] *Enzensberger H.M.* (Hrsg.). Europa in Ruinen. Augenzeugenberichte aus den Jahren 1944—1948. München, 1995. S. 7.

[44] *Sebald W.* Luftkrieg und Literatur. München, 1999. S. 18.

[45] Цитируется по изданию: *Sebald W.* Luftkrieg und Literatur. München, 1999. S. 8, 81f.

мрачные аспекты финального акта разрушения, который пережило абсолютно подавляющее большинство населения Германии», как тайна, «в которой, возможно, нельзя было признаваться даже самим себе». Воздействие ее, в особенности на литературу, он оценивал так: «По некоему негласному и для всех обязательному уговору нельзя было описывать то подлинное состояние материальной и моральной уничтоженности, в котором пребывала вся страна»[46].

Эти слова не остались без возражений, в том числе и решительных. Здесь нет возможности излагать в деталях весь спор, который разгорелся уже в 1998 году вокруг цюрихских лекций[47]. По существу, возражения Зебальду сводились к двум пунктам:

1. Основной тезис ошибочен: то, что воздушная война не нашла себе места в немецкой послевоенной литературе, — это (по выражению Гюнтера Франценa)[48] «парадоксальное мнение» Зебальда и еще нескольких других знатоков литературы[49]; на самом деле немецкие писатели очень даже «занимались этой темой». Последнее утверждение обычно подкреплялось тем или иным именем или названием книги, которое оставалось до тех пор еще не упомянутым в дискуссии (называли, например, Эберхарта Паница)[50].

2. Ни о каком табу не может идти речи, никогда не было запрета говорить и писать о бомбежках, а все остальное — это «вздор» (Йост Нольте)[51].

На первый аргумент Зебальд мог реагировать сравнительно спокойно: он говорил, что после лекций в Цюрихе, которые были для

[46] *Sebald W.* Luftkrieg und Literatur. München, 1999. S. 18.

[47] Избранные тексты, относящиеся к этому спору, опубликованы в: *Hage V., Moritz R., Winkels H.* (Hrsg.). Deutsche Literatur 1998. Stuttgart, 1999. S. 249—290.

[48] *Franzen G.* Diktierte Reue. Unerwünschte Trauer // Freie Assoziation. 1999. № 2. S. 215.

[49] Среди прочих имен Франценназвал (там же) Франка Ширрмахера, который писал: «Те, кто ребенком или подростком пережил эти ночные бомбежки, молча сойдут со сцены. Всесокрушающая сила войны и насилия, однако, переживет их в литературе разве что формально: разрушая литературное повествование и его субъекты» (*Schirrmacher F.* Luftkrieg. Beginnt morgen die deutsche Nachkriegsliteratur? // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 15.01.1998 (также в: Deutsche Literatur 1998. S. 266).

[50] *Güntner J.* Der Luftkrieg fand im Osten statt. Anmerkungen zur einer fehllaufenden Literaturdebatte // Neue Zürcher Zeitung. 24.01.1998 (также в: Deutsche Literatur 1998. S. 273).

[51] *Nolte J.* Sebald oder Neues über Untergänge // Die Welt. 24.01.1998 (также в: Deutsche Literatur 1998. S. 270).

него «незавершенным собранием различных наблюдений, материалов и тезисов», он ждал дополнений и исправлений, однако таковых не последовало[52]. Он, правда, без специального объявления задним числом включил роман Ледига «Возмездие» в печатное издание лекций, но все прочие указания (например, на произведения Форте, Кемповски, Ремарка или Паница) игнорировал. На самом деле в этом и заключается самый уязвимый пункт теории Зебальда: если собрать вместе отдельные указания и поискать еще примеры, то в конце концов складывается такая картина разработки темы бомбежек в истории немецкой литературы, которая уже хотя бы по чисто количественным соображениям заставляет скорректировать тезис Зебальда. Конечно, многие вещи можно разыскать только ценой настойчивых поисков, с трудом добывая старые издания через букинистические магазины, и то если повезет, — особенно произведения первых послевоенных лет. Пробел, который заметил не только Зебальд, был и остается не столько проблемой производства литературы, сколько проблемой ее рецепции: романов и рассказов о бомбежках было опубликовано много, только они были быстро и основательно преданы забвению, если вообще оказались замечены публикой (классический пример: «Возмездие» Ледига).

На самом деле воздушная война повсюду оставила свои следы — в воспоминаниях и в намеках тех, кто ее пережил, в облике городов и в немецкой литературе тоже. Для доказательства этого было бы вполне достаточно тех произведений, что процитированы или упомянуты выше, однако этот перечень далеко не полон.

Что же касается второй категории возражений, выдвинутых против тезиса Зебальда в 1998 году, то есть по вопросу о табу, то это, пожалуй, наиболее интересно. Для начала надо бы сказать, что речь идет о Западной Германии: в ГДР проблематика табу была совершенно иная. «О Дрездене говорили, — вспоминает, например, Моника Марон в одном интервью. — Это был всегда англо-американский налет, такова была устойчивая формулировка. Но все прочее было табу, — например, изнасилования». А Форте, который в остальном занял по отношению к книге Зебальда однозначно критическую позицию, в этом вопросе, наоборот, с ним согласен: «Собственно, обо всем ведь умалчивали, те немногие попытки, которые были предприняты, быстро растворялись в самодовольной литературе, травма стала табу»[53].

[52] Ср.: *Sebald W.* Luftkrieg und Literatur. München, 1999. S. 81.

[53] Там же — критика Форте в адрес Зебальда и его «Luftkrieg und Literatur». Перепечатано в: *Forte D.* Schweigen oder sprechen. Frankfurt a. M., 2002. S. 31—36 (впервые в: Der Spiegel. 05.04.1999. № 14).

Во всяком случае, что касается беллетристики, то нельзя не заметить, что тема бомбежек разрабатывалась практически полностью в стороне от того, что можно считать каноном немецкой послевоенной литературы. Сложно сказать, в чем тут было дело: то ли разработка темы, которая, по мнению Зебальда, была табуирована, помешала успеху соответствующих произведений и их авторов, то ли, наоборот, добившиеся позже успеха и известности авторы с самого начала благоразумно избегали вторгаться в эту небезопасную область. Один из них, Гюнтер Грасс, через некоторое время косвенно, но все же недвусмысленно согласился с тезисом Зебальда — не называя того, впрочем, по имени: в 2000 году в одной своей речи он говорил о последствиях «безрассудно начатой и преступно ведшейся войны». Такими последствиями стали «разрушение немецких городов и гибель сотен тысяч мирных граждан под ковровыми бомбардировками, изгнание и бедствия двенадцати миллионов беженцев из восточных районов Германии». Эта тема, говорит Грасс, «до сих пор остается только на заднем плане», и «даже в послевоенной литературе воспоминание о многочисленных жертвах ночных бомбардировок и массового бегства нашло лишь незначительное место»[54].

Сам нобелевский лауреат в своих произведениях, однако, писал не о бомбежках. Он — в новелле «Траектория краба» (2002) — обратился к теме беженства и изгнания. Правда, то, что в этой книге сказано о невыполненной «задаче его поколения» (сформулированной неким «стариком», весьма похожим на самого Грасса), вполне можно отнести и к бомбардировкам: «О таких страданиях, — говорит он, нельзя было молчать все эти годы только потому, что важнее казалось признание собственной вины и горячее покаяние, нельзя было отдавать то, что замалчивалось, на откуп правым и реваншистам. Это упущение безмерно...»[55]

«Избегаемая тема», чувство, что «следует скорбеть об одних погибших, не поминая других»[56], — не именно ли это входит в понятие табу? Ведь оно использовано в данном случае не в религиозном смысле, как передаваемый из поколения в поколение и подкрепленный угрозой наказания запрет, а подразумевает нечто вроде неписаного закона, некую существующую в обществе безмолвную

[54] *Grass G.* Ich erinnere mich. Was ein Schriftsteller mit den Deutschen teilt // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 04.10.2000.

[55] *Грасс Г.* Траектория краба. Новелла. М.: Изд-во АСТ; Харьков: Фолио, 2004. С.133.

[56] Там же. С. 70.

договоренность об определенных вещах не говорить вовсе или говорить с осторожностью. Если отбросить негативное значение этого слова, то за запретом-табу могут скрываться и некое невысказанное осознание, и некая обоснованная сдержанность, и более или менее бессознательная робость и страх прикосновения. То, что менее щепетильные авторы в послевоенное время набросились на тему бомбежек, не видя в этом большой проблемы, не обязательно говорит против данного соображения. Не опровергает его и то обстоятельство, что, с другой стороны, возможно, многих авторов принудило к молчанию не столько действие табу, сколько осознание того, что разработка этой темы представляет огромные трудности с точки зрения техники писательского дела.

Во всяком случае, кто бы из более молодых авторов ни подступался впоследствии к этому сюжету, все явно делали это не без колебаний: некоторые останавливались на половине, как Бирман, который набросал общий контур пережитого в стихах и одном автобиографическом очерке, но заявляет, что не смог бы написать об этом романа. Александр Клюге считает необходимым для писательской работы «внутреннее чувство пропорций»: «Без главы "Истребление работой", посвященной концлагерю под Хальберштадтом, которым я раньше много занимался, я не смог бы рассказать и про воздушный налет». Зебальд тоже говорит, что смог подступиться к теме бомбежек только благодаря тому, что тыл у него был укреплен его предыдущими книгами: только на основании того, что там описаны страдания эмигрантов и преследуемых, он решил, что может позволить себе и об этой теме «кое-что заявить» и что «одобрение с нежелательной стороны, которого приходилось ожидать, меня бы не слишком сильно задело»[57].

Неприятное чувство в связи с этой темой не ослабнет еще долго, а может быть, и никогда. Оно знакомо каждому, кто вообще занимается подобной материей (многие ведь не хотят даже отдаленно ею интересоваться), оно неразрывно с ней связано: масса мертвецов слишком невообразима, отдельные судьбы слишком непостижимы, темная притягательная сила скелетов в шкафу слишком страшна, чтобы можно было так просто говорить и размышлять обо всем этом. Если бы был только один большой авианалет подобного рода — например, на Дармштадт, где 11 сентября 1944 года за 20 минут погибло более 12 000 человек, — тогда это было бы, возможно, такое событие, память о котором можно и нужно было бы

[57] Интервью автора с Клюге (26 сентября 2002 года) и Зебальдом (22 февраля 2000 года).

сохранять и передавать, как когда-то о знаменитом землетрясении в Лиссабоне. Но 600 000 погибших на земле и еще 100 000 в воздухе (не следует забывать: летчики союзников погибали в непостижимо большом количестве столь же ужасным образом) — тут любая форма рассказа в конце концов наталкивается на границы своих возможностей.

Уже хотя бы поэтому бомбежки и война в воздухе были в течение всех послевоенных десятилетий не особенно популярной темой и вне литературы, хотя, может быть, в каждой семье это было поразному. Ведь насколько трудно было военному поколению в течение первых лет после 1945 года представить себе, что когда-нибудь вокруг будет вообще что-нибудь, кроме развалин, настолько энергично и последовательно это поколение отказалось вспоминать и думать о прошедшей войне в тот самый момент, когда в ФРГ раньше ожидаемого появились первые признаки нового благосостояния. На задаваемый снова и снова вопрос, можно ли «народу-преступнику» интересоваться жертвами в собственных рядах, лучше всего, вероятно, отвечать просто указанием на то, что есть разница — обращаются ли писатели (или кто-то другой), как это достаточно часто бывало сразу после конца войны, к этим страданиям своего народа прежде, чем была сделана хотя бы попытка принять к сведению все то зло, которое причинили немцы всему миру, — или же это происходит полвека спустя, когда совершенный немцами геноцид отрицает уже только исчезающе малая кучка сбитых с толку людей. И когда на вопрос, кто же виноват в разрушении немецких городов, на чьей совести это военное преступление, в первую очередь называют одно имя: «ужасный человек», как назван Гитлер в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна[58]. Или, как сказал Бертольт Брехт в своем стихотворении 1944 года:

Вот города, где мы когда-то наше «Хайль!»
Планеты разрушителям кричали.
И наши города — всего лишь часть
Всех городов, что мы наразрушали[59].

Перевод с немецкого Кирилла Левинсона

[58] *Mann Th.* Doktor Faustus. Frankfurt a. M., 1980. S. 642.

[59] *Brecht B.* Gedichte 2. Sammlungen, 1938—1956. Werke, Band 12. Berlin; Frankfurt a. M., 1988. S. 258.

Клаус Штедтке

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Напоминание о романе Василия Гроссмана, посвященном XX столетию

С поражением гитлеровской Германии во Второй мировой войне 60 лет назад закончились также и нацистское господство, и Холокост. В связи с этим в 2005 году отмечается множество памятных дат. Структура же нашей памяти изменяется: заканчивается эпоха свидетелей — людей, которые помнят то время, потому что видели его. Коммуникативная память уступает место памяти культурной, которая, за отсутствием социальной интеракции участников и жертв событий, вынуждена опираться на различные материальные знаковые системы (книги, памятники). Память становится «делом институционализированной мнемотехники»[1]. Это относится, в частности, к нашей памяти о выдающихся событиях XX века, которые оказали на нас формирующее воздействие и эффект которых мы еще чувствуем на себе. Культурная память уже переместила проблематику «преодоления прошлого» в новый контекст, далеко выходящий за пределы Германии[2]. Кроме того, в международной политике после роспуска Восточного блока снова ставится вопрос об отношении войны и мира, а также о возможностях демократизации стран, в которых прежде правили самодержавно-тоталитарные режимы.

Одна из функций литературы — реконструкция социальной интеракции. Эта функция тем значительнее, чем большее количество позднейших читателей соединяют изображение событий про-

[1] См. об этом: *Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 52 и след.

[2] *König H.* Die Zukunft der Vergangenheit. Der Nationalsozialismus im politischen Bewußtsein der Bundesrepublik. Frankfurt a. M., 2003. S. 167—168.

шлого и связанных с ним соображений с собственной современностью. Поэтому имеет смысл напоминать о книгах, содержание которых обладает как историческим, так одновременно и актуальным значением. Пятьдесят лет назад вышло в немецком переводе обширное исследование Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма» (английский оригинал — 1951 год, русский перевод — 1996 год), которое остается «по сей день наиболее авторитетным классическим произведением из всех построенных на историческом материале и основанных на теории исследований тоталитаризма»[3]. За время, прошедшее после выхода в свет этой книги, и она сама, и все то исследовательское направление, к которому она относится, были подвергнуты фундаментальной критике[4]. Не в последнюю очередь это было обусловлено распадом Советского Союза. Однако исторические последствия тоталитарных режимов, равно как и очарование тоталитаризма, еще сохраняющее свою силу во многих странах мира, не следует недооценивать[5].

Российский писатель Василий Гроссман оставил нам произведение, не только значительное в литературном отношении, но и сравнимое — в плане критики тоталитаризма — с научно-аналитической работой Арендт. Речь идет о его романе «Жизнь и судьба», рукопись которого он отдал в 1960 году в журнал «Знамя». С точки зрения последующих поколений, Гроссман не только был «одним из самых глубоких свидетелей нынешнего века»[6], но и далеко опередил своих современников в деле сравнительного рассмотрения фашизма и сталинского террора.

После смерти Сталина советское правительство пыталось продолжать свою прежнюю политику без харизматического руководителя. Но поскольку советская система сохранялась в неизменном виде, идея «коллективного руководства» могла быть только временным выходом из затруднительного положения. Для настоящей

[3] Pipers Wörterbuch zur Politik / *Nohlen D.* (Hg.). München; Zürich, 1989. Bd. 1. S. 1033.

[4] См. об этом: *Beyme K. von.* Systemwechsel in Osteuropa. Frankfurt a. M., 1994. S. 31—34.

[5] *König H.* Die Zukunft der Vergangenheit... S. 170. О соотношении патриотизма и склонности к тоталитаризму см.: *Mailer N.* Heiliger Krieg: Amerikas Kreuzzug. Reinbek bei Hamburg, 2003.

[6] *Furet F.* Das Ende der Illusion. Der Kommunismus im 20. Jahrhundert. München; Zürich, 1996. S. 596. Русское издание: *Фюре Ф.* Прошлое одной иллюзии. М., 1998. С. 531.

демократизации не имелось еще никакой общественной базы[7]. И все же распад Советского Союза начался именно тогда. «Оттепель» — эпоха кратковременной либерализации — была по меньшей мере первым шагом в сторону «перестройки». Однако многие писатели и художники после XX и XXII съездов КПСС переоценили готовность партийного руководства к коренной переделке системы. Им указали на их ошибку, примером чему была судьба Бориса Пастернака и Александра Солженицына. Когда Василий Гроссман в 1962 году написал исполненное надежд письмо Никите Хрущеву по поводу публикации своего романа, состоялась беседа между писателем и главным идеологом Михаилом Сусловым, который категорически отверг возможность публикации книги. Официальные рецензенты рукописи утверждали, что этот роман «вреднее», чем «Доктор Живаго», и публиковать его можно было бы разве что через 250 лет[8]. В итоге публикация его в Москве состоялась почти тридцать лет спустя[9].

Изначально Василий Семенович Гроссман был советским писателем еврейского происхождения, верным линии партии. В 1934 году этот инженер-химик, чувствовавший призвание к писательскому ремеслу, был открыт Максимом Горьким. В 1930-е годы он писал рассказы и очерки о шахтерах Донбасса, о революционере, нашедшем свой путь в партию большевиков, — одним словом, прогрессивную советскую прозу в духе времени. Его рассказ «В городе Бердичеве» (1934) лег в основу сценария фильма «Комиссар» (1967), премьера которого состоялась в 1987 году на Московском кинофестивале[10]. Во время войны Гроссман был корреспондентом армейской газеты «Красная звезда». Он участвовал в Сталинградской битве и прошел с Красной армией до самого Берлина. Помимо военных событий фронтового корреспондента интересовала прежде всего судьба евреев на оккупированных немцами территориях, их обреченность на планомерное уничтожение фашистами. Новелла «Народ бессмертен» (1942) и очерк

[7] См.: Рождение и крах оттепели // Наше отечество. Опыт политической истории. М., 1991. Т. II. С. 429 и след.

[8] Ср.: *Бочаров А.* Василий Гроссман: Жизнь. Судьба. Творчество. М., 1990. С. 185.

[9] *Гроссман В.С.* Жизнь и судьба. М., 1988. Первая публикация романа состоялась на Западе, в Лозанне, в 1980 году.

[10] Ср.: Geschichte des sowjetischen und russischen Films / *Christine Engel* (Hrsg.). Stuttgart; Weimar, 1999. S. 264—265.

«Треблинский ад» (1944) принесли Гроссману известность как литератору[11].

После войны, в эпоху так называемой «ждановщины», Гроссман впервые вступил в конфликт со сталинской политикой в области культуры, принявшей форму кампании против «космополитизма» и «сионизма». Появившаяся в 1946 году пьеса Гроссмана была сочтена «вредной», а работа над «Черной книгой» об уничтожении евреев на оккупированных территориях Советского Союза, в создании которой он участвовал, была заморожена. Первая часть его романа о войне, первоначально называвшегося «Сталинград», сначала была отклонена цензурой, однако позже, в 1952 году, все же вышла под заголовком «За правое дело».

Взявшись за продолжение романа, Гроссман начинает отказываться от стереотипов официальной советской военной литературы. В политическом плане этой перемене в его творчестве способствовали XX съезд партии (1956) с его критикой культа личности, а также временная либерализация культурной политики. Но внутренний импульс был, несомненно, дан его собственным военным и послевоенным опытом. Роман «Жизнь и судьба», задуманный изначально просто как продолжение «Сталинграда», стал превращаться в самостоятельную книгу и сделался главным произведением автора.

Гроссман уходит от стереотипов социалистического реализма, включая патриотический пафос победителя, и возвращается в плане художественного стиля к русской повествовательной традиции XIX века. В композиции и стилистике романа обнаруживаются явные заимствования из «Войны и мира» Толстого. Точка зрения всеведущего рассказчика, стоящего над событиями[12], которая проявляется прежде всего во вставных философско-исторических экскурсах и комментариях, а также отдельные фигуры и сцены «Жизни и судьбы» напоминают толстовский роман-эпопею.

Гроссман за время работы над романом проделал путь от советского писателя к антисоветскому. Это заметно по отсутствию един-

[11] Эта статья — одно из первых описаний немецких концлагерей — появилась в ноябре 1944 года в журнале «Знамя», потом в 1945 году в Вене под заголовком «Die Hölle von Treblinka».

[12] Об этом говорится в рецензии, появившейся после выхода романа в свет в СССР (1988): «...он впервые встал выше схватки двух сражающихся армий, двух непримиримо враждующих государств... В конечном счете, убежден он, столкнулись два тоталитарных по своему характеру государства» (*Бочаров А.* Указ. соч. С. 254).

ства в композиции книги. Не случайно после выхода романа в свет в 1988 году в позднесоветской критике разгорелись бурные споры на эту тему. Одни рассматривали «Жизнь и судьбу» как военный эпос в духе Толстого, в то время как другие подчеркивали неразрешенные антагонизмы и противоречия, а также глубокий аналитический аспект книги.

Такая интерпретация романа в духе Толстого позволяла вписать автора в хоть и антисталинскую, но вполне советскую партийную линию в области культурной политики, проводившуюся с «оттепели» вплоть до «перестройки»: роковая, но все же «закономерная» связь между национальной историей, русским народом и отдельной судьбой сохранялась; за автором, при всей его критике режима, признавали веру в силу и разумность революционных идеалов и в идею единства русской нации. Кроме того, писатель, согласно этой версии, показал своих персонажей как часть народа, в противоположность мотиву обособления и отчуждения, царящему в западной литературе о войне. Такая интерпретация романа опиралась прежде всего на сцены героической защиты Сталинграда от гитлеровской армии, на картины русской природы, а также чувства героев по отношению к родине и к семье[13].

Наличие несовместимых, не соответствующих друг другу элементов в романе и его «полифоничность», идущие скорее не от Толстого, а от опыта общения с тоталитарными идеологиями, говорят, однако, о том, что правильнее была бы другая трактовка этого произведения: линия справедливой народной войны против преступного агрессора приобретает дополнительное значение, как только Гроссман показывает, что здесь противостоят друг другу два тоталитарных и человеконенавистнических режима. Вот сцена из романа, которая весьма ясно это иллюстрирует: в немецком лагере для военнопленных штурмбанфюрер СС Лисс объясняет старому коммунисту и бывшему делегату Коминтерна Мостовскому тождество между нацистской и советской системами: «Проиграв войну, мы выиграем войну, мы будем развиваться в другой форме, но в том же существе»[14]. Мостовской знает, что он говорит с фашистом и

[13] В монографии Бочарова приводится обзор дискуссии по поводу романа «Жизнь и судьба». Сам Бочаров считает, что концепцию Гроссмана «можно поименовать *народоцентристской*», и, таким образом, сам склоняется скорее в сторону интерпретации, подчеркивающей элементы гармоничности и целостности в романе. (Ср.: *Бочаров А.* Указ. соч. С. 219, 238, 241, 245.)

[14] *Гроссман В.С.* Жизнь и судьба. М., 1998. С. 301.

врагом, но его коммунистические убеждения в этот момент по меньшей мере пошатываются. Эта ключевая сцена в середине романа — немецкий лагерь для военнопленных, в котором находится Мостовской, описывается уже в начале — сводит проходящие сквозь весь текст аналогии между двумя тоталитарными системами к одной формуле, которая звучит (по крайней мере, для советского человека того времени) рискованно. Несколько раньше, в советском исправительном лагере, Магар, бывший сотрудник ЧК, объясняет старому партийному работнику и тоже убежденному коммунисту Абарчуку: «Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис под базисом». На следующий день Абарчук узнает, что Магар повесился[15].

Лагерные и тюремные сцены — столпы, на которых держится конструкция романа. Сталинградская битва, изображенная в поворотный момент до и после капитуляции 6-й армии, становится историческим центром, вокруг которого вращаются события. Победоносная народная война против гитлеровской армии одновременно означает победу диктатора Сталина и его террористической системы: «Сталинградское торжество определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался»[16].

Большинство фигурирующих в романе персонажей к началу войны имеют за плечами горький опыт 1930-х годов и вспоминают о жертвах «уничтожения кулачества как класса» и политических «чисток», причем человека при чтении этих воспоминаний ни на минуту не покидает ощущение аналогии с фашистским террором[17]. Жизнь персонажей романа обусловлена их судьбой в сталинской террористической системе, которая преследует их вплоть до укромных уголков частной жизни и воспоминаний.

Ханна Арендт расценивала гитлеровскую Германию и сталинский Советский Союз равным образом как тоталитарные государства и при этом выделила в качестве их важнейшего признака террор под прикрытием идеологии тотального мирообъяснения[18].

[15] *Гроссман В.С.* Жизнь и судьба. М., 1998. С. 144.

[16] Там же. С. 494.

[17] «Одна из самых глубоких мыслей „Жизни и судьбы“ состоит в тонком раскрытии тайного сообщничества между нацизмом и коммунизмом, даже в войне, которую они вели между собой» (*Фюре Ф.* Указ. соч. С. 532).

[18] Ср.: *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма. М., 1998. С. 597—622. Далее следует не прямое цитирование, а пересказ мыслей Ханны Арендт, с указанием страниц книги, на которых они изложены.

Одной из основных предпосылок тотального господства она называет атомизацию общества, превращение его в лишенную структуры массу, которая должна следовать только за «вождем», своим единственным ориентиром[19]. Идеологическими средствами массу приводят в постоянное движение[20], чтобы поддерживать ее бесструктурное состояние и предотвращать всякое самостоятельное мыслительное или организационное уплотнение вне пределов того, что предписано идеологией. Приведение всего населения к единомыслию происходит в пространстве, как можно более глухо отгороженном от внешнего мира[21], в тоталитарном государстве — в немецком концлагере или в советской исправительно-трудовой колонии. Индивид, который теряет свою индивидуальность и свой статус правоспособной личности, познает на себе страх и отчаяние, чувство абсолютной изоляции и заброшенности. «Я» погружается в «ничто» между тотальным приспособлением и/или физическим уничтожением.

Действующие лица в романе Гроссмана — жертвы, которые не способны раскусить тоталитарную систему, определяющую их судьбу, и находят в ней тем или иным образом свою гибель. Они ведомы своей совестью и своим чувством, своими моральными или политическими убеждениями, они выполняют военные или научные задачи и в конце концов начинают сомневаться — в законности своих действий, а потом и в самих себе. Их охватывает чувство собственной неполноценности. Но объяснить себе те абсурдные проявления насилия, которым они подвергаются, они в конечном счете не могут.

Как автор соединяет художественный замысел романа с нравственно-философской критикой тоталитарной системы? Он заставляет своих персонажей спорить между собой: они говорят о еврейском законе и о христианской милости, о ноосфере как своего рода биоэнергии, которая переносит принцип разума на космос, и о мировой коммунистической революции[22]. Кроме того, автор на метауровне вводит в текст короткие экскурсы и комментарии, задающие смысл описываемых событий: о гении, о творчестве, о дружбе, о месте добра в мире и о различных формах антисемитиз-

[19] *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма. М., 1998. С. 414 и след., 421 и след.

[20] Там же. С. 480 и след.

[21] Там же. С. 453 и след.

[22] Ср.: *Аннинский Л.* Мироздание Василия Гроссмана // Дружба народов. 1988. № 11. С. 261.

ма. Тоталитарному произволу военного и послевоенного времени он противопоставляет европейскую идейную и культурную традицию.

Пронизывающее весь роман авторское мировоззрение выражено наиболее полно устами одного из героев — ученого. Значительную часть повествования Гроссман посвящает семье еврейского физика Штрума, который в начале антисемитской кампании по борьбе с космополитизмом оказывается в изоляции, потом после звонка Сталина обретает статус привилегированного научного работника, но в конце концов терпит моральный крах, подписывая официальное письмо, в котором содержатся антисемитские клеветнические утверждения. Физика является для Штрума сначала главной наукой XX века, «так же, как в 1942 году направлением главного удара для всех фронтов мировой войны стал Сталинград»[23]. Наука и война, кажется, дополняют друг друга. Но вера Штрума в науку оказывается поколебленной, когда он читает письмо матери, которое она написала ему незадолго до того, как была убита в еврейском гетто. Потрясенный, он начинает сомневаться: «Бывали минуты, когда наука представлялась ему обманом, мешающим увидеть безумие и жестокость жизни»[24]. Наука и техника могут, как показал фашизм, использоваться и для уничтожения людей. Между принципами фашизма и принципами современной физики очевидно существует ужасное соответствие. Кроме того, Штрум сомневается, явилось ли его новаторское теоретическое открытие плодом рационального мышления или, может быть, скорее родилось в подсознании, в хаосе свободной игры мыслей. В беседе со своим учителем Чепыжиным он обнаруживает скептический взгляд на свои сомнения и считает «болтовней» то, что тот говорит о естественной победе разума[25]. Может быть, над миром воцарится не «ноосфера» — происходящий из биоэнергии принцип разума, — а безжизненный робот, противоречивый символ прогресса и одновременно террора.

Мысли различных персонажей о человеческой судьбе сходятся в одной точке: в желании свободного развития индивидуальности как воплощения человеческой жизни. Комкор Новиков, чьи танкисты идут в бой «за правое дело», размышляет: «Человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью —

[23] *Гроссман В.С.* Указ. соч. С. 62.

[24] Там же. С. 72.

[25] Там же. С. 520.

завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете»[26]. Отсюда черпает Новиков свою уверенность в победе в битве за Сталинград. Доброта, говорится в тексте бывшего толстовца Иконникова-Моржа (образ, близкий к юродивым и блаженным из русской литературной традиции), «сильна [...] пока она в живом мраке человеческого сердца»[27], укрытая от какой бы то ни было фиксации или обобщения в идеологиях или государственных учреждениях. Бывший комиссар Крымов, попав на Лубянку, мучительно осознает, что позади — «Жизнь без свободы! Это была болезнь!»[28]. Когда его, бывшего политработника, в тюрьме лишают и убеждений, и человеческого достоинства, он становится свидетелем в высшей степени человеческого поступка: его жена, которая бросила его ради офицера-танкиста, возвращается, становится перед тюрьмой в очередь просительниц, которые надеются получить справку о своих арестованных родственниках или передать им письмо, и, после долгих напрасных усилий, посылает ему передачу: «лук, чеснок, сахар, белые сухари. Под перечнем было написано: "Твоя Женя"»[29].

«Что будет?» — спрашивает себя старуха Александра Владимировна в конце романа, стоя среди сталинградских руин, и, несмотря на все пережитые горести, приходит к оптимистическому выводу: «...не дано мировой судьбе, и року истории, и року государственного гнева, и славе, и бесславию битв изменить тех, кто называется людьми»[30].

Моральное противостояние тоталитарного государственного макромира (судьба) и сопротивляющегося, борющегося за свободное развитие индивидуального микромира (жизнь) выглядит в романе отчасти умозрительным и плакатным. Главной книге Гроссмана не достался такой бурный международный успех, какой имели «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и романы Александра Солженицына. Вероятно, дело было в том, что его надпартийная моральная философия проистекает в основном из его теоретической, рефлексивной позиции и не получает достаточного эстетико-художественного оформления. Но все же дальновидность Гроссмана выходит за пределы той поверхностной критики культа личности, которая прозвучала на XX и XXII съездах партии.

[26] *Гроссман В.С.* Указ. соч. С. 62. С. 377.

[27] Там же. С. 310.

[28] Там же. С. 473.

[29] Там же. С. 636.

[30] Там же. С. 646.

Отличительной особенностью романа «Жизнь и судьба» является прежде всего способность автора к прогностическому анализу, который показал, что победа над фашизмом — безусловно, необходимая — одновременно есть победа Сталина и тоталитарного советского государства, начало новой войны между государством и народом. На этот раз народ сражается против власти тоталитаризма в собственной стране, и бой этот, очевидно, еще отнюдь не закончен — даже после распада Советского Союза.

Авторизованный перевод с немецкого Кирилла Левинсона

ВОЙНА НА ЭКРАНЕ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ

Михаил Габович: Почему нам показалось интересным устроить именно такую дискуссию с участием представителей радио-, теле- и печатной журналистики и независимого экспертного сообщества?

С одной стороны, цикл радио- и телепередач «Рождение Победы» часто критикуется за то, что в нем воспроизводятся официальная советская хроника и весьма односторонний образ событий Второй мировой войны. С другой — это единственная в сегодняшних российских массмедиа попытка систематического осмысления военного опыта на материале индивидуальных, личных воспоминаний. Поэтому мы решили попросить Елену Немых представить этот проект, рассказать о том, как он возник, как делается, и пригласить для дискуссии, помимо присутствующих в зале историков, представителей одного из социальных институтов, ответственных за воспроизводство памяти, — средств массовой информации.

Елена Немых: Я руководитель и режиссер телевизионной версии «Рождения Победы», в создании которой участвует довольно большое количество людей.

На «Эхе Москвы» проект существует уже второй год. В апреле 2004 года главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов предложил руководству НТВ сделать его видеоверсию. Запуститься мы должны были 8 мая 2004 года, ровно за год до 60-летия Победы, но проект оказался гораздо сложнее, чем можно было представить, поскольку телевидение — это совсем не то, что радио.

Дискуссия состоялась 15 октября 2004 года в рамках конференции «Малые Банные чтения», организованной журналом «Неприкосновенный запас» при участии журнала «Osteuropa» и поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте.



У нас было несколько задач: сделать проект интересным, заметным, найти какое-то визуальное выражение и в то же время подчеркнуть все лучшее, что уже сделало «Эхо Москвы». Вот и вся предыстория. 8 мая программа стартовала, несмотря на все трудности. По причинам, связанным с нашей телевизионной «кухней», она сперва выходила в несколько ином формате, чем сейчас. Мы записывали меньше интервью и «крутили» выпуски чаще. Сейчас мы определили некий оптимальный порядок выхода — три раза в день. Передача идет после новостей НТВ в десять часов утра, в час и в четыре часа дня. Отсчет будет продолжаться до 9 мая.

Естественно, ближе к празднованию 60-летия Победы проект будет несколько расширен: мы планируем взять лучшие интервью и соединить их в фильмы. Планируется выпустить как минимум 700 разных роликов. Это то количество интервью, которое нам показалось оптимальным, чтобы максимально полно отразить те воспоминания, которые хранятся в памяти каждого советского, русского человека, любого человека.

Алексей Симонов: Этот проект — один из возможных, в известной степени — допустимых, вариантов изображения памяти о войне в сегодняшних средствах массовой информации. Я не хочу оценивать проект, потому что сегодня столкнулся с ним в первый раз, хотя мне показалось до некоторой степени искусственным совме-

щение вполне игрового изобразительного содержания с документальным фоном.

Для меня вопрос стоит шире. К 50-летию Победы был сформирован полк ветеранов, который снова должен был пройти по Красной площади, салютуя руководству страны. Мне это казалось кощунственным — я этого начисто не принимал. Я считал, что по прошествии 50 лет ветераны могли бы разместиться на трибунах, а молодое, по сравнению с ними, руководство могло бы пройти перед ними церемониальным маршем, если было бы в состоянии пронести свои животы. (Ну, выбрали бы таких, которые могут пройти.) Руководители могли бы с воинскими почестями и другими знаками внимания отнестись к тем, кто одержал эту победу. Для меня тема 50-летия этим закончилась, но год назад я столкнулся с ней снова. Упоминаю об этом, потому что это имеет значение для дальнейших рассуждений.

«Свободу слова» Савика Шустера впервые решили сделать в записи: НТВ собиралось показывать в записи передачи, посвященные 9 мая, в том числе и свои традиционные передачи. Сочли, что так будет удобнее. Тогда еще были остатки «Свободы слова», и передача выходила в прямом эфире. Записывалось это 28 апреля, и меня пригласили на это действо в очень занятном составе — Сергей Михалков, Клара Лучко, два фронтовых оператора и я — единственный представитель другого поколения. Все вспоминали про Парад Победы, про День Победы — 9 мая 1945 года. Я действительно был на Красной площади 9 мая 1945 года. Помню мало что, потому что видел только ноги и не выше бедра, но тем не менее мы тогда ухитрились потеряться, и я считал, что тема мне доступна.

Первое, что я увидел, когда вошел: зал блистал золотом. В нем сидела целая, так сказать, дивизия. Места были заполнены ветеранами Великой Отечественной войны, и все — в парадной форме, и все как один были абсолютно убеждены в том, что сегодня 9 мая. То, что дело происходило 28 апреля, для них не имело совершенно никакого значения. Они уже настолько привыкли к ритуальности события, что готовы были войти в этот ритуал и остаться там. Это было главным состоянием этих людей.

Клара Лучко была крайне мила и интересна. У нее были очень интересные воспоминания: тогда она была молодой женщиной и действительно помнила этот день. Сергей Владимирович Михалков сообщил, что в этот день состоялся Парад Победы. Один из фронтовых операторов рассказал совершенно фантастическую историю, о которой я никогда до этого не слышал: что в этот день счастья и радости затоптали довольно большое количество людей. Его камера, присланная с Центральной студии документальных фильмов,

стояла на полуторке, и поэтому сам-то он был в безопасности, но людей, поддавленных или совсем задавленных, складывали прямо в этот грузовик. По окончании парада они смогли наконец выехать и первым делом поехали в Склифосовского — отвозить этих людей. После этого было сложно эту тему не подхватить.

Я не стал упрекать более чем 80-летнего Сергея Владимировича в фактической ошибке или ошибке в датах, но просто сказал, что хорошо бы вспомнить, что Победа достаточно длительное время не праздновалась. Ее начали праздновать только 10 лет спустя, после смерти Сталина. Я хотел попытаться в этот день вспомнить, почему это произошло, — во всяком случае, представить свою версию.

Версия у меня на самом деле была достаточно примитивная: Иосиф Виссарионович хорошо читал исторические книги и помнил, что после вхождения российских войск в Париж в 1814 году прошло всего 11 лет до декабристского восстания. Допустить повторение этого исторического казуса — а в его власти тоже был народ, который победил в этой войне и пришел победителем в Берлин, — он никоим образом не хотел. И поэтому, извинившись перед присутствующими, я воспроизвел стихи Бориса Слуцкого. Это был тост Сталина на колоссальном банкете победителей:

Сталин взял бокал вина
(может быть, стаканчик коньяка),
и сказал, и мысль его должна
сохраниться на века:
за терпенье!

Это был не просто тост
(здравицам уже давно пришел конец).
Выпрямившись во весь рост,
великанам воздавал малец
за терпенье.

Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть.

— Вытерпели вы меня, — сказал
вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал: «Ура!»
Вот каковская была пора.

Страстотерпцы выпили за страсть,
выпили и закусили всласть.

После этого меня совершенно недвусмысленно собрались бить: ветераны заявили ведущему, что этого подонка, который вообще непонятно как примазался к известной военной фамилии Симонов, надо быстро отсюда удалить. «Мы его там дождемся», — и так далее, и тому подобное. Савик Шустер очень активно и достойно меня защищал. Все это не имеет никакого значения, кроме одной детали: когда мы вернулись в комнату, в которую приводят основных выступающих, выяснилось, что начальство НТВ уже слышало про имевшийся во время записи скандал и попросило пленку наверх. Я присутствовал при обсуждении: «Что мы будем делать, если нас заставят выкинуть этот эпизод — противостояние Симонова и ветеранского зала?» Вот тогда я понял, что нельзя больше говорить о войне. Во всяком случае, говорить о ней, возвращая историю к тому жанру, в котором она воспроизводилась 50 лет, категорически нельзя. Нельзя потому, что она способствует новому авторитаризму, новому тоталитаризму, если хотите. Такое возвращение истории войны, в ее блистательных мифах, — очень большая опасность для сегодняшнего и будущих поколений. Я считаю, что чем больше мы будем воспроизводить мифы советского времени, тем опаснее будет эта память, потому что на ней будут учить новому патриотизму. А любой новый патриотизм, опирающийся на ложь, будет ложным патриотизмом, каким бы искренним он ни был.

Константин Эггерт: Я думаю, что мы должны были прийти к вопросу, который поставил Алексей Кириллович. Мне кажется, что война действительно по-прежнему осмысляется через идеологему, возникшую в позднесталинский период и развившуюся при застойном социализме. Наверное, стоит задать вопрос о том, почему это произошло и почему именно о военный период спотыкаются те, кто пытается нащупать, если угодно, идеологию новой России.

Есть такой британский историк — Энтони Бивор. Его книга «Сталинград» была издана в России несколько лет назад провинциальным издательством, с довольно большим количеством ошибок и опечаток и в не очень хорошем переводе[1]. (Во всем мире она разошлась миллионными тиражами и переведена на множество языков.)

Полтора года назад Бивор, бывший военный, написал книгу «Падение Берлина». Писал он ее года три, используя при этом Центральный архив Министерства обороны Российской Федера-

[1] *Бивор Э.* Сталинград. Смоленск: Русич, 1999.

ции в Подольске. Книга написана в жанре популярной истории, но содержит справочную информацию, которой могут позавидовать некоторые современные академические издания. Автор отслеживает последние три месяца войны — с марта по май 1945 года — на том пространстве, которое для немцев было восточным фронтом, а для Советского Союза западным. Это довольно подробное описание не только того, что делали военачальники, но и того, как себя ощущали рядовые участники этой битвы. В чем-то, в отдельных элементах, это схоже с проектом НТВ и «Эха Москвы», о котором чуть позже. В этой книге содержатся, в общем, совершенно не новые для Запада факты о том, что происходило в Восточной Пруссии и восточных провинциях собственно Германии, когда туда входила советская армия. Речь идет о мародерстве и насилии над мирным населением, убийствах, грабежах и так далее.

Мне было очень интересно прочесть эту книгу. Я получил ее до того, как она вышла в свет, и мне сразу стало интересно, на чем основывается этот довольно подробный и на самом деле очень жуткий материал. Основывается он на донесениях, которые Энтони Бивор нашел в подольском архиве. Причем это документы на уровне донесений Берии Сталину и высших чинов НКВД — Берии. Это даже не воспоминания Льва Копелева, который был офицером и мог наблюдать происходящее лишь на узком участке фронта. Это не главное содержание книги, но часть того нарратива, который в ней приведен. Там есть масса чудовищных историй и о немецкой стороне.

Когда эта книга вышла, мне показалось очень интересным сделать радиопрограмму об освещении традиций военной историографии в России и в Западной Европе. Я пригласил, в том числе, одного высокопоставленного сотрудника Института отечественной истории Российской академии наук, который приехал ко мне в студию и перед программой сказал: «Вы знаете, мы уже приняли на ученом совете заявление по поводу выхода этой книги». Я говорю: «Позвольте, ведь книгу всего четыре дня назад выпустили. Вы уже получили экземпляр?» «Нет, — говорит он, — мы ее даже не видели, но мы ее осуждаем, потому что там содержится злобная клевета на советского солдата».

Потом — надеюсь, прочитав книгу, — аналогичное мнение высказал посол России в Великобритании, написавший гневное письмо в газету «Дейли телеграф» о том, как очерняют великую победу. Ответы вроде: «Во-первых, вы книгу не читали. Во-вторых, вот, пожалуйста, книга — здесь есть сноски на конкретные документы», — думаю, никогда не убедят этих людей, даже тогда, когда кни-



Константин Эггерт

га выйдет на русском языке[2]. В эфире я спросил у господина Бивора: «Чем вы объясняете такую агрессивную реакцию неприятия? Ведь в конце концов, рассказ о мародерстве советской армии — это только часть книги». И Энтони Бивор, для нашей страны, в общем, сторонний наблюдатель, сказал: «Мне кажется, что в стране, где не все в порядке, в стране, где не все сыты, в стране, где граждане не уверены в будущем, они ищут что-то в прошлом, чтобы зацепиться за это и придать своей жизни какое-то достоинство. Наверное, тогда, когда Россия пройдет тот путь или хотя бы какую-то часть пути, пройденного после войны Великобританией или Германией, отношение будет более спокойным и взвешенным».

Мне кажется, это интересная тема для дискуссии — возникнет ли такое отношение? В истории Второй мировой или Великой Отечественной войны помимо восточнопрусских и бранденбургских страниц есть еще немало неприятного — и наверное, неплохо, что НТВ в одном из клипов упоминает именно об этом. А моя мама, которой за восемьдесят, говорила мне, что фронтовики, возвращаясь с войны, рассказывали истории похлеще того, что звучит на НТВ. Это только одна страница. Существуют страницы героические, существуют позорные. Прямо сейчас в продаже находится книга «Коллаборационизм» ныне покойного Михаила Семиряги — всеобъемлющее исследование о том, что происходило на оккупированных нацистами территориях — не только в Советском Союзе, но и в других странах Европы. Позволю себе заметить, что только в Советском Союзе и на постсоветском пространстве эта тема является табу.

Потребность переходного общества в мифах естественна. Вопрос в том, как эти мифы преодолеваются и ради чего их следует преодолевать. В странах Центральной и Восточной Европы это преодоление, прошедшее не без шероховатостей и ухода маятника в другую сторону, все-таки состоялось, причем во многом за счет того, что мыслящая часть общества сознательно на это пошла. В России этого не случилось именно потому, что в какой-то момент, и довольно рано, эта часть общества, политическая элита, то есть те, кто формулируют идеологию, мифологемы, идеи, решили, что этого делать никоим образом нельзя.

Будем откровенны, сегодня история советского периода — это пустыня. Говорить хорошо, скажем, о Сталине неприлично даже для тех, кто относится к нему не так плохо. Что касается брежнев-

[2] На момент публикации книга уже вышла в издательстве «АСТ». — *Примеч. ред.*

ского периода, то, конечно, жили неплохо, не было концлагерей, массовых убийств и так далее, но и гордиться особенно нечем; все это в глубине души понимают. А вот война — это единственное, чем можно гордиться. Поэтому в обществе существует тенденция «не допустить пятен на единственном светлом моменте нашего прошлого». Эта боязнь сродни защитному рефлексу, но это фальшивый защитный рефлекс. Это как больной, который говорит: «Я буду глотать только сладкое лекарство, а горькое мне не давайте», — хотя оно, может быть, значительно более эффективно.

Мне кажется, что в действительности на уровне очень узких кругов интересующихся — историков, интеллектуалов, части студенчества — некая мыслительная работа уже проделана. Вышло большое количество новых изданий, в которых трактуются в том числе и запретные темы: коллаборационизм, потери во время войны, роль заключенных и рабского труда, заградительные отряды и штрафбаты. Но эта тенденция совершенно незаметна в широком общественном масштабе — с одной стороны, конечно, потому, что политическая элита не хочет выводить это на массовый уровень, а с другой стороны, потому, что общество будет отторгать это. Вопрос в том, когда и как может произойти слом этой тенденции.

Сергей Пархоменко: Попытаюсь вернуть разговор к проблемам, связанным с прессой, средствами массовой информации, разного рода просветительской, издательской и прочей деятельностью. С этим сейчас возникают ужасные проблемы, потому что люди, которые издают книги, уже сейчас должны сдавать книги, которые должны выйти к празднику 60-летия Победы. Люди, которые выпускают документальное кино, должны сейчас с ним запускаться — времени осталось немного. Периодические издания, журналы, если они планируют какие-то длинные акции, сериалы, специальные публикации, должны сейчас начинать их готовить. Но как-то неизвестно, что будет к 60-летию Победы. Сейчас запустят проект, а в мае 2005 года он окажется совершенно не в струе, не будет соответствовать последнему постановлению Государственной Думы и лично товарища Грызлова Бориса Вячеславовича. Бог знает, что Грызлов Борис Вячеславович скажет, а книга-то уже вышла.

И в самых разных редакциях, телекомпаниях, фондах (я являюсь членом президиума одного из последних на территории Российской Федерации либеральных политологических фондов) люди сидят и говорят: «А что к Победе будем делать?» И в этот момент начинают стонать: «А куда оно эволюционирует? А что с этим происходит?»

Вот прошло уже 60 лет, наверное, должна появиться какая-то трезвость, должно быть некоторое отстранение. Наверное, можно уже научиться замечать в истории войны что-то общечеловеческое. Уже можно не закусывать так сильно губу, не переходить на визгливые интонации, отнести это в музеи. Можно погрузить память о войне в широкий исторический контекст.

Некоторое время тому назад я совершенно случайно оказался в маленьком шотландском городе под названием Стирлинг. Там есть древний замок, в котором испокон веков располагается штаб полка каких-то элитных высокогорных шотландских стрелков. Эти шотландцы успели повоевать везде, где побывала британская армия за последние двести с лишним лет. Они воевали в Южной Африке, они завоевывали Джакарту и так далее. Ну и, разумеется, они были под Балаклавой, и, разумеется, у них есть знамя, которое было прострелено, вероятно, Львом Толстым лично. В замке выставлен крест, который лейтенант шотландских стрелков такой-то героически сорвал с вершины русской церкви где-то под Балаклавой. А главная их героиня, дочь полка и талисман, — зовется «леди Кохана». Они не знают, что такое «кохана» — им в голову не приходило помотреть, что по-украински это просто означает — «любимая». Ее так местные малоросские бабы когда-то назвали. Так вот: была легендарная «леди Кохана» женой одного из офицеров этого полка и приехала за ним на фронт под Балаклаву. Прославилась она тем, что, когда зулусский батальон, приписанный тогда к полку шотландцев-хайлендеров, должен был подняться в атаку и зулусы напугались русского обстрела, она спустилась в окоп, отняла у своего мужа хлыст и хлыстом подняла этих зулусов в атаку. Выгнала их из окопов под русские пули. Можете себе представить, что это была за баба!

Замечательное ощущение — быть в этом музее, быть представителем другой страны. Я же представитель врага! Это мой крест, это мой классик простреливал это знамя, а леди Кохана выгоняла зулусов под пули моего прадеда. Я — с другой стороны. Я вроде как немец на Мамаевом кургане. И при этом чувствую себя спокойно. Совершенно не колотит никого: ни меня, ни смотрителя этого музея. Пора уже научиться спокойно думать и удивляться этому. Но Евгений Григорьевич Ясин — глава того самого либерального фонда, который я здесь упомянул, — сказал: «Вы не понимаете, что у этой страны, кроме этой победы, ничего больше нет? Поэтому давайте мы будем очень осторожны. Давайте будем помнить о том, что мы прикасаемся к чему-то единственному, что у этой страны больше никоим образом не повторится».



Сергей Пархоменко

Я совершенно намеренно употребляю ненавистное мне словосочетание. Я знаю, что тем, кто говорит «эта страна», сразу отвечают: «Уезжай в свой Израиль». Это происходит почти автоматически. Я провоцирую. Но мне искренне жаль, что за 60 лет вокруг замечательного праздника, этого замечательного феномена русской истории, не состоялось ничего такого, стабильности чего хватило бы на шесть месяцев. Такого, про что можно было бы быть уверенным: оно никуда не денется к маю 2005 года. О чем можно совершенно спокойно говорить, потому что это истина, потому что мы с этим живем уже много лет, и будем жить вечно, и будем *так* относиться к этому событию, *так* будем его понимать.

Видимо, за предстоящие шесть месяцев все можно перевернуть как угодно, все можно как угодно переврать, перетолковать, переидеологизировать, поставить на службу той партии, которая к этому моменту окажется во главе государства или просто останется единственной партией на политической «поляне». Это исключительное ощущение неуверенности в трактовках и есть чрезвычайно важный факт и фактор сегодняшней российской политики и общественной жизни.

М.Г.: После этого первого раунда, в ходе которого мы узнали, что плохо и как должно быть, я хотел бы еще раз передать слово Елене Немых, поскольку она единственный человек из присутствующих, который в настоящее время занимается созданием крупномасштабного проекта по освещению памяти о войне в средствах массовой информации.

Елена, хотелось бы услышать вашу реакцию на прозвучавшие мнения и попросить немного конкретнее рассказать о принципах отбора материала, возможных ограничениях, связанных с работой на телевидении, и так далее.

Е.Н.: До сих пор я не высказывала своего мнения, поскольку хотела выслушать сперва мнения уважаемых мной старших товарищей. Но теперь я хочу все-таки сказать о своем отношении к проекту «Рождение Победы». Честно говоря, я не предполагала, что возьмусь за него. Это было достаточно спонтанное решение, мне этого очень не хотелось. Объясню, почему. Для этого мне вкратце придется рассказать свою семейную историю.

У меня оба деда воевали и оба погибли в 1941 году. Погибли они, по странному стечению обстоятельств, практически в одном месте — под Тулой. Один из моих дедов был из семьи раскулаченных и репрессированных, он попал в штрафбат. Когда мне еще не

было 10 лет, бабушка рассказывала, как она провожала деда, а он плакал и потихонечку ей на ушко сказал: «Ты знаешь, нам вообще не дают оружие». То есть их без оружия выгнали в чисто поле, под танки. Вот это, наверное, и есть та правда, которую поприветствовали бы мои старшие товарищи.

Другой мой дед, мамин папа, был начдив, у него все было прекрасно, он был красным командиром. Он тоже попал под Тулу и там погиб. В 1975 году было празднование очередного юбилея Победы и нас нашли «красные следопыты». Я как сейчас помню: нас нашли «красные следопыты». Это были пыльные брежневские времена, тогда это было полным официозом. Нас привезли под Тулу, там маршировали пионеры и играли оркестры, я первый раз увидела фронтовиков. Мне это было глубоко противно — потому, что официоз никак не сочетался с моим отношением к истории семьи, потому, что я знаю, что было потом с моей бабушкой, которая осталась одна с пятью детьми на руках.

Что я хочу этим сказать? У меня два деда, мне сложно было разделить их в своем сознании. Когда я стала погружаться в проект «Рождение Победы», мне было важно найти интонацию, верную для них обоих. А это и оказалось сложным. Что я могу возразить своим оппонентам? Когда Горбачев принес нам свободу слова, а при Ельцине появились независимые средства массовой информации, возникла новая правда о войне и всплыло много историй, которые все это время замалчивали. Мне кажется, истина лежит где-то посередине. Были все эти истории, но и подвиг был, и ходили они в атаку под красным знаменем, хотя для многих сейчас это знамя КПРФ и Зюганова. Самое сложное сейчас — найти истину. Но 9 мая для очень многих граждан все равно День Победы. Это, может быть, единственный праздник, связанный скорее не с идеологией, а с национальным самосознанием. Да, во времена Брежнева он был фальшивым. Когда мы начинали работать над «Рождением Победы», оказалось очень сложно работать с этим материалом.

Почему возникли эти ролики? Я не знаю, насколько наша концепция считывается при просмотре программ — надеюсь, что ближе к Дню Победы это станет понятнее. Все действие происходит в кинотеатре, мы показываем фрагмент, стилизованный под советские фильмы о войне. Я писала сценарии, естественно с помощью военного консультанта, ко всем 60 роликам и прибавить к ним ничего не могу. Они действительно отчасти придуманные и, наверное, никакого отношения к действительности не имеют. Но это же ролики — без слов под музыку смонтированный видеоряд, понят-



Елена Немых

ный любому зрителю. А вот сопровождаются они настоящими, документальными историями. Они очень разные — есть и те, в которых рассказывают, как необученных солдат выгоняли под танки, а есть, где, наоборот, шли умирать с именем Сталина на устах. Правда в том, что было и то и это — было смешное и грустное, ужасное и восхитительное, если можно применить такой термин к войне.

И здесь нельзя не учитывать мнение общества. По крайней мере, нам, телевизионщикам, нельзя. Ведь проблема не в том, что правительство что-то навязывает, — общество устало бесконечно слушать, какой русский или советский народ такой-растакой. Ни в одной другой стране этого нет, я в этом уверена. Вот так прилюдно себя пороть десять лет, честно вам скажу, надоело. Мне кажется, что важно осмыслить войну и найти истину на другом уровне, в ходе своего рода дискуссии. Я сейчас искренне говорю о своих чувствах, своих мыслях.

М.Г.: Есть ли такие истории, которые вы в принципе не готовы освещать в своей программе?

Е.Н.: Нет.

М.Г.: Даже если человек расскажет, что он был рад приходу немцев?

Е.Н.: Да. Я могу просто зачесть кое-что из того, что было или будет в эфире. Рассказывает Вячеслав Пьецух, писатель: «Отец мой до 43-го года пребывал в штрафном батальоне. За довольно отчаянный, нелепый поступок. Он на ТБ-3 сделал петлю Нестерова. Этот поступок был инкриминирован как попытка вредительства. В 43-м году его отправили на фронт. Отец всю войну провоевал на ночном бомбардировщике типа ПЛ-2. В Польше его сбили, он умудрился посадить самолет на аэродроме противника. Выскочив из самолета, он немножко побился, разумеется, немножко даже обгорел, сел на первый попавшийся самолет и улетел».

Михаил Казаков, актер: «У меня был старший брат Владимир. Он хотел быть профессиональным военным до войны — учился в артиллерийской школе. Во время войны он посылал маме и всем нам письма, такие треугольнички приходили. И вот проходит год, как он воюет, он пишет: "Мама, до войны я хотел быть профессиональным военным, мама, я не хочу быть профессиональным военным, я теперь знаю, что такое война. Я хочу быть историком". Проходит год: "Мама, я писал тебе, что хочу быть историком, нет, история, как я теперь понимаю, — ложь, которая пишется. Я не хочу быть историком, я хочу быть кинорежиссером". Это было последнее письмо».

Александр Абдулов, актер: «Мой дядька рассказывал мне страшную историю, когда за ним ехало два танка, и стреляли они не по нему, а рядом — они его гоняли как зайца и потом взяли в плен. Его в концлагере освобождали американцы, а первый, кого он увидел [вернувшись назад. — *Ред.*], был молодой следователь, который сидел с овчаркой. Следователь, который не воевал, новобранец такой. И первое, что он сказал моему дядьке: "Сволочь, продался американцам?" Дядька сказал: "Я заплакал, я не знал что сказать"».

Если бы мы выбирали только такие истории: «вот, давайте, так сказать, новенькое о войне расскажем — как они вместо того, чтоб бежать с именем Сталина, например, извините, блевали в углу от страха», — это бы тоже была неправда. Мы стараемся дать максимально полную картину. Вот история, которая могла бы быть взята из советской газеты. Рассказывает Александр Бессмертных, дипломат: «Наступило время, когда отец, приходя, стал меня все время спрашивать: "А не пришла ли бумажка — такая вот розовенькая бумажка? Я ее очень жду". Ничего не приходило, но однажды по-

чтальон принес конверт, в котором была эта розовая бумажка. Я с нетерпением ждал отца, и когда он появился на пороге, я радостно вручил ему конверт и сказал: "Вот, наконец она пришла, эта розовая бумажка". Мать услышала, заревела, заплакала, села на стул. Оказывается, это была бумажка из военкомата. То есть отец призывался на фронт. Отец погиб в рукопашном бою. Это случилось 8 марта». Я понимаю, что, может быть, многие люди, рассказывающие такие истории, передают мифы, существовавшие в их сознании. Но мифы — это тоже часть правды. Я считаю, что чем больше мы запишем людей, тем полнее будет мозаика; она составит настоящую картину, которую представляла эта победа.

К.Э.: Вы ограничиваетесь гражданами постсоветских государств, людьми, жившими на территории СССР?

Е.Н.: Нет. Никаких ограничений нет. Сперва, естественно, прибежала пиариться на фоне Победы куча политиков — те, кто и без того в каждой передаче сидит и высказывается. Мало того, я вас уверяю, их истории были банальными. Если это был человек с «патриотическими» убеждениями, он говорил про «наш подвиг», если с «непатриотическими» — «Все было непросто». А историй не было. Мы собираем семейные истории, и наша задача — уложить это в минуту. Это очень сложно.

К.Э.: У меня не дед, а отец воевал, я сын пожилых родителей. Он был фронтовым разведчиком и относительно недавно умер. Матери он рассказывал, что страха натерпелся столько, что мало не покажется. И, в общем, не стеснялся об этом говорить.

Вы говорите о том, что хотите создать многостороннюю правду. А вы бы поставили, например, рассказ человека, который воевал в РОА, во власовской армии?

Е.Н.: Почему нет? Интервью идет ровно 40 секунд. Если за 40 секунд будет яркая и понятная история, мы, конечно, ее дадим. Если она будет запутанная и без определенных комментариев непонятная, то, скорее всего, она не пойдет.

К.Э.: Тогда надо сразу сказать, что, поскольку Власова в истории нет, не будем про Власова.

Е.Н.: Это неправда. О «власовцах» сделано несколько документальных фильмов. Но в ролике понятно и быстро за 40 секунд

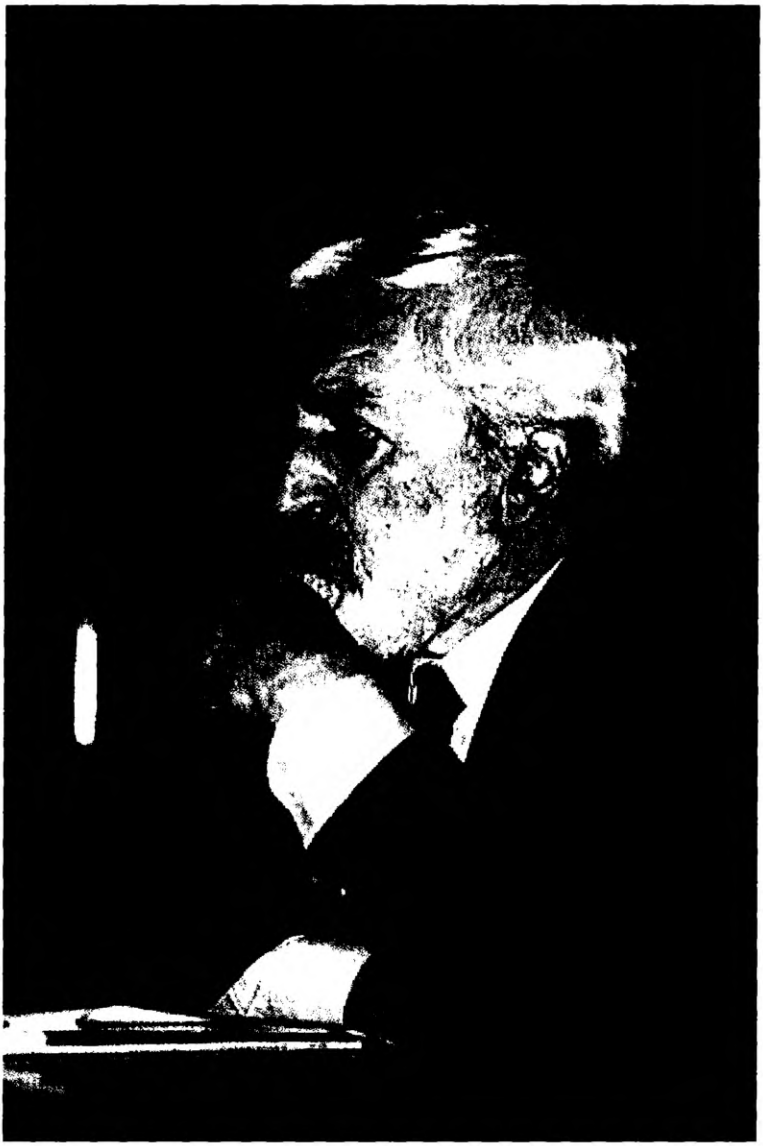
объяснить историю «власовцев» сложно. Хотя и такая история у нас была. А так никаких ограничений нет, кроме временных. В этом нет никакой политики.

А.С.: Возникает следующая проблема: являются ли 700 воробьев базой для создания одного бегемота? Это просто проблема жанра. Действительно, вещи сугубо проблемные, связанные с историей Великой Отечественной войны, в 40 секунд уложить категорически невозможно. Сам жанр это исключает. Одно объяснение, что человек был солдатом РОА и к тому же остался в живых, пройдя через лагеря и все прочее, — это уже больше 40 секунд, и дальше рассказывать будет нечего. То есть жанр изначально предполагает некую сентиментальную ограниченность, при том что поле для нее чрезвычайно широкое. Но жанр здесь работает скорее на официальную идеологию.

Есть и другая, куда более важная проблема. Лена сказала, что мифы — это часть истории. И да, и нет. Я бы сказал, что мифы — это замена истории. Михаил Сергеевич [Горбачев. — *Ред.*] пришел, открыл шкафчик, выпустил оттуда гласность, и гласность захватила всю страну, все стали учить друг друга демократии, главным образом на отрицательных примерах советской истории. Судя по результату, мы с задачей не справились. Мифы оказались сильнее этого десятилетия, когда мы пытались так или иначе их ниспровергнуть. Потому что у мифов была куда более прочная и более серьезная база. Мифы возникали на почве стабильно нищенского существования страны и стабильной «гордости паче благополучия». Вот на этой гордости и держались все эти мифы о бедных, победивших всех богатых. Преодолеть это, к сожалению, никому не удалось.

Я тоже упомяну своего отца, который, как известно, был не только писателем этой войны, но и в значительной степени ее историком. Отец умер в 1979-м, 25 лет назад. Десять лет спустя мы выпустили его книгу «Глазами человека моего поколения» — книгу, которую он не написал — большую часть того, что было потом опубликовано, он успел только продиктовать. Часть мы расшифровали из записей, сделанных им в предпоследней больнице.

Главная претензия к книге, которую высказывала буквально вся российская пресса, заключалась в том, что она недостаточно радикальна, в ней не отдается отчет истинному злодейскому значению Сталина со всеми вытекающими отсюда последствиями. Юрий Карабчиевский, впоследствии покончивший с собой, написал: «Я знаю поэзию Симонова, а теперь прочитал и эту книгу. Этот поэт



Алексей Симонов

изменил себе. Был хороший поэт, а стал поганый историк». То есть вычеркнул всю симоновскую прозу с 1945 по 1979 год. Просто вычеркнул, никогда не читая.

На примере отношения к отцу я понимаю, сколь радикальны и несправедливы мы были по отношению к этому времени. Однако для того, чтобы избавиться от этого радикализма, надо, чтобы климат менялся. Без этой перемены отдельные всполохи новой температуры не могут создать другого контекста. Контекст все время оставался старый, мы не смогли его сменить.

Мне кажется, это принципиально важное соображение, потому что все, что будут делать по отношению к 60-летию, все равно вписывается в старый контекст и не создает нового. Что произошло с немцами? Насколько я понимаю, денацификация, через которую прошло немецкое общество, была связана и с запретом на профессию, и с серьезной проблемой национального покаяния. Я не знаю, смогли бы сами немцы пройти этот путь, если бы не американцы, которые их на этот путь призвали и контролировали движение по нему.

У победившей нации не могло быть оккупантов, победившей нации некому было идеологически помочь, она должна была с этим справиться сама. И справлялась, первые восемь лет вообще забыв о празднике Победы и занимаясь «ленинградским делом», «делом Еврейского антифашистского комитета» и так далее, — много замечательных достижений было у этой власти еще при жизни великого вождя и учителя. Через восемь лет к власти пришли, с одной стороны, люди, по локоть измазанные кровью, может быть, кто-то и больше, а с другой — люди, для которых эта война действительно была единственной сколько-нибудь серьезной идеологической опорой, даже при всем романтизме и вере в торжество социализма. Проблему заморозили, и размораживать ее еще придется. Я боюсь, что только делать это будут уже мои дети.

С.П.: Мы еще не говорили о радиоверсии «Рождение Победы» на «Эхе Москвы». Легко и приятно говорить, что она мне очень нравится в этом исполнении, где она гораздо проще, длится не 40 секунд и без кинематографической стилизации. Людей, которые приходят говорить что-то важное и скучное в эфире, ловят в коридоре на выходе и говорят: «Минуточку. Вы у нас про войну еще не говорили? Тогда идемте». Сажают их в пустой студии перед микрофоном и просят что-нибудь такое сказать. Так ловят в коридоре самых неожиданных людей — в том числе иностранных дипломатов и министров, голливудских кинозвезд... Война есть у всех, нет

людей, у которых бы не было войны. Не было ни одного случая, чтобы человека поймали, а он сказал: «Я ничего об этом не знаю, у меня ничего с этим не связано, это не вызывает у меня никаких ощущений».

Е.Н.: Можно, я возражу? Мы делаем проект совместно с «Эхом Москвы», всегда посылаем туда камеру, и они для нас же ловят людей в коридорах. Так вот есть такие люди. Например, Игорь Губерман категорически отказался говорить на эту тему.

С.П.: Но не потому, что ему нечего сказать. Есть люди, которые отказались именно потому, что для них с этим связано что-то важное, может быть, даже слишком важное, чтобы доверять это микрофону.

Е.Н.: Может быть, что-то такое, что человек не смог озвучить.

С.П.: Дело не в отношении, важно его наличие или отсутствие. Отсутствия отношения [к этой теме. — *Ред.*] не бывает: эксперимент, который длится уже много месяцев, дает именно такой результат.

Мне чрезвычайно интересен вопрос: являются ли мифы частью истории. Я бы, пожалуй, не согласился. Семейные мифы являются, а вот просто мифы, скорее, нет, поскольку есть разница между историей и мифом.

История, которую я рассказал «Эху Москвы», состояла из одних мифов. Меня тоже поймали в коридоре, привели в студию, и я вспоминал о своем дедушке. Он воевал всю войну, закончил ее в Кёнигсберге. 15 мая 1945-го, через неделю после победы, его посадили в поезд и повезли домой, в Москву, и выдали почему-то огромное количество еды и питья. Они были поражены этой щедростью — ехать-то меньше суток, а сколько жратвы... Когда они приехали в Москву, поезд стоял на Белорусском вокзале, и там не было ни одной живой души. Они не могли понять, почему их никто не встречает, почему такой пустой перрон, почему поезд оцеплен и им не дают выйти. Они постояли в Москве, в которой в тот момент была вся семья, в том числе моя мама, только что родившаяся. А потом поезд погудел, поехал дальше и приехал в Маньчжурию.

Что в этом рассказе правда, а что в нем вымысел? В сущности, я думаю, почти все туфта. Про еду — туфта, понятно. Про питье — туфта, про вокзал — туфта. Так наверняка скажет профессиональ-

ный историк, который ни в одном архиве не найдет следов таких вот обстоятельств. Получается, что вся эта история — преувеличение, красивая выдумка, миф. Надо ли про это рассказывать?

Я считаю, что надо, потому что именно это — моя личная история Второй мировой войны, это и есть подлинная история моей семьи.

Мне кажется, что оба проекта интересны, но очень по-разному. Один — потому, что ставит чрезвычайно важный социологический эксперимент, другой — потому, что рисует на истории узоры из жизни, которая к истории не имеет никакого отношения. В этом смысле он очень сегодняшний, он адресован Борису Вячеславовичу [Грызлову. — *Ред.*].

К.Э.: Многие мои друзья выражают самые разные мнения по поводу одной детали этого проекта. На «Эхе» истории накладываются на сводки Совинформбюро. Одни говорят — и это позиция редактора проекта, — что такой подход создает впечатление аутентичности, передает атмосферу той эпохи. Другие мои знакомые говорят, что это как раз де-факто часть того, что адресовано Борису Вячеславовичу, потому что теперь уже всем ясно, даже тем, кто придерживается консервативных воззрений, что сводки Совинформбюро — это, мягко говоря, не совсем правда.

С.П.: На этом месте можно было поставить музыку. Шумовой фон придуман очень здорово, он характерный и узнаваемый. Проблема в том, что по техническим причинам не смогли поставить настоящую запись: как я понял, проблема в том, что таких записей просто нет. Поэтому эти тексты дали нескольким сотрудникам, которые, по-моему, читают очень хорошо, с хорошей актерской интонацией. Я никогда в это не вслушиваюсь и другим не советую. Никакой смысловой нагрузки там нет, содержания, адресованного кому бы то ни было, тоже. И когда я говорю, что телевизионная версия адресована Борису Вячеславовичу, речь не о том, что на радио что-то есть, а на телевидении нет. Я считаю, что у этих двух проектов разные интонации. Одна из них продуманна, другая — случайна. А содержание — честное слово, никакого заговора здесь нет, ей-богу.

Е.Н.: Интересно, почему, когда я говорю про технические моменты, связанные с телепроизводством, в этом видится заговор или тенденциозность, а когда говорится про проект на «Эхе Москвы»,

получается, что использование сводок «Информбюро» — это цитата, просто шумовой фон?

С.П.: Веласкес и Лактионов — оба художники. И оба рисовали картины. Маслом.

Е.Н.: И что?

С.П.: Масло. Холст. Но один — Лактионов, а другой — Веласкес.

Е.Н.: Я поняла: «Эхо Москвы» — это Веласкес.

М.Г.: Прежде чем начнутся вопросы из зала, хотелось бы попросить Константина Эггерта озвучить обещанную гипотезу.

К.Э.: Гипотеза довольно-таки стандартная. Особенно часто я слышу ее от друзей из Германии: «Вы не волнуйтесь — у нас, в Германии, тоже пятнадцать или даже двадцать лет ни о чем таком не говорили, нацистов выпустили из тюрем, они работали в разных замечательных конторах, у Аденауэра вообще что ни сотрудник, то бывший офицер вермахта. Бывший федеральный президент Рихард фон Вайцзекер — и тот воевал. Но вот у нас случился 1968 год, и возникло новое отношение к истории. Дети стали задавать отцам разные неприятные вопросы. И на самом деле национальное покаяние состоялось только в 1970—1980-е годы и в какой-то степени продолжается до сих пор». (Оставим в стороне, что уже в начале 1980-х появились работы Эрнста Нольте, была предпринята попытка ревизионистского освещения германских историй; что сегодня, приехав в Берлин, можно узнать, что на самом деле это столица Пруссии, хотя десять лет назад слово «Пруссия» было практически под запретом; что публикуются романы не кого-нибудь, а Гюнтера Грасса, про гибель лайнера «Вильгельм Густлофф» и так далее.)

Мне кажется, что в России такого не произойдет. По одной простой причине — в 1968 году было много людей, которые могли рассказать, как это было в действительности. К тому моменту, когда мифологема войны в определенной степени начнет меняться, когда Борис Вячеславович перестанет давать социальный заказ на ту или иную интерпретацию, — мало кто останется, мало кто сможет рассказать, как все было на самом деле. Эта тема отойдет в область преданий, которая может показаться новому поколению

просто столь же неважной, как реформы Петра Первого. Ну были, а что было точно, не знаем.

Моя гипотеза заключается в том, что, если это переосмысление произойдет, оно произойдет в результате крупного национального кризиса, когда потребность в этом окажется очень острой.

Дина Хапаева: Я хочу обратить внимание присутствующих на такой момент: когда мы говорим о Великой Отечественной войне, мы забываем о роли, которую миф о ней играет в более широкой мифологической системе.

Здесь много говорили о том, что война — «наше все». Но я хочу вам напомнить, что у нас есть другое «наше все» — а именно Пушкин, миф о котором после падения советских идолов — Ленина, Дзержинского, Кирова и прочих — выдвинулся на роль важнейшего национального мифа. Не забудем также про православие, которое тоже стремительно становится нашим «всем». Эти три мифа борются за право стать национальным объединяющим мифом. В этом смысле, конечно, миф о войне в советское время давал фору и Пушкину, и православию, просто потому, что он изначально формировался как основа национального единства: война должна была предстать в качестве великой жертвы, которую принес народ на алтарь советского отечества. Все мы понимали и понимаем, что война — это очень травматично, очень страшно, там было очень много нехорошего, но тем не менее это наше славное прошлое. Единение в кровавой жертве, заставляющее забыть раздоры, — распространенная в мифологии фигура.

Но миф о Великой Отечественной войне — это миф-заместитель, и в этом состоит его подлинное значение. Он позволял воздать должное «страданиям народа», но только той части страданий, которая была окрашена в героические тона, и умолчать, оттеснить в тень ту, о которой не могло быть и речи. Мне кажется, что самое опасное в грядущих торжествах и обсуждаемой передаче — как раз нежелание понять, что миф о войне — это миф, возникший, чтобы отвлечь наше внимание от другого, не героического, а страшного и позорного прошлого, того, за которое наше общество до сих пор не хочет признать свою ответственность и вину. Это — ГУЛАГ, наше непоправимое прошлое.

Николай Копосов: Я хочу сказать две вещи. Во-первых, передача, о которой идет речь, — это аналог, на уровне СМИ, того, что в профессиональной историографии и социологии называется «life

stories» (истории жизни) или «oral history» (устная история). Эти направления исследований, возникшие в основном в 1960—1970-е годы, в значительной степени рождаются из стремления нормализовать прошлое.

Баварский проект, другие знаменитые проекты немецкой устной истории — это попытка прийти к некоторому примирению с прошлым, когда «неподвластное», трагическое прошлое «вставляется» в прошлое обычного человека, в его банальную повседневную жизнь, в жизнь человека, который делал вид или, может быть, искренне не замечал того, что вокруг него имеет место террор. Я согласен с господином Симоновым в том, что такого рода понимание не позволяет уйти дальше от старых представлений — неправдивых, уводящих внимание от гораздо более принципиального анализа войны.

Во-вторых, касательно принципиального анализа войны, мне странно, что до сих пор не была упомянута единственная серьезная попытка подкопаться под основы мифа о войне — работы Виктора Суворова. Я знаю, что к нему относятся по-разному, лично я его большой поклонник. Он показывал, что Гитлер напал на Сталина прежде, чем Сталин успел напасть на Гитлера. Мне кажется, что Суворов является большой отсутствующей фигурой современных дебатов о войне.

К.Э.: Я не знаю, что верно в гипотезе Суворова, поскольку его документальный аппарат слаб. Для того чтобы сказать, что с 1 сентября 1939-го по 22 июня 1941 года война была прежде всего захватнической агрессией двух тоталитарных диктатур, Суворов не нужен. Для этого существует довольно большое количество исторических фактов, свидетельств, приведенных в очень серьезных книгах. Это вопрос нежелания расставаться с мифологемой, что война началась 22 июня 1941 года. Для Советского Союза она началась 17 сентября 1939 года, когда его войска вошли на территорию Западной Белоруссии и в Западную Украину.

Реплика из зала: Что массмедиа противопоставляют правительственному мифу? 21 мая на НТВ в один вечер с «Рождением Победы» уже второй раз был показан фильм «Золотой глаз» из бондианы, где персонификацией зла является потомок русских казаков. Как соотносится ваш проект с общей программной политикой НТВ — будут ли повторяться подобные казусы?

Е.Н.: Телевидение более дорогостоящий продукт, чем радио, и более сложный; более коммерческий, к сожалению. То, что может

позволить себе радио, не может позволить себе телевидение. Мне, например, безумно не нравится, что мы идем после рекламного блока. Я представляю себе реакцию тети Мани, которая сидит где-нибудь далеко и между прокладками, извините, слушает воспоминания о войне. На мой личный взгляд, это чудовищно. Но есть финансовая ситуация, которую я изменить не могу, потому что именно на эти деньги мы создаем нашу передачу. Любой выезд камеры, любая запись стоит денег. Поэтому в сочетании Бонда с этими воспоминаниями злого умысла не было. Группа, которая делает наш проект, будет прилагать все усилия, чтобы он дожил до юбилея. Я не знаю общих программных установок. Мы делаем свою программу, я вас уверяю, ориентируясь на свои внутренние убеждения.

Ирина Прохорова: На самом деле, когда мы говорим о том, что нам нечем гордиться и потому миф о войне — это последнее, что у нас есть, мы фактически разделяем критикуемую нами же точку зрения. Мы все время невольно попадаем в одну и ту же ментальную ловушку, а именно — «колеблемся вместе с партией», то есть ставим знак равенства между историей страны (и ее различных социокультурных групп) и историей режима. Если нынешней правящей элите нечем гордиться, это ее проблема, а нам нетрудно найти предмет для гордости. Наша славная история — история борьбы с мракобесием на всех фронтах (этическом, эстетическом, политическом).

Вообще-то эта война дала толчок стремительной трансформации общества, приведшей к частичной десталинизации 1956 года и в конечном итоге к радикальной модернизации 1991 года. Это, мне кажется, довольно продуктивный взгляд на войну и ее последствия. Празднование Победы — также хороший повод, чтобы заново сформулировать претензии к власти, которая, говоря старым советским языком, так и не воздала должное своему народу. У нас до сих пор по всей стране лежат сотни тысяч неопознанных и незахороненных останков солдат, их кости валяются прямо на поверхности. Официозным парадам и салютам можно противопоставить мощное общественное движение — создание специальных комитетов по идентификации и погребению людей. (У меня, например, как и у многих сидящих в этом зале, дед пропал без вести.) Лучший способ разрушить миф о войне — это восстановить справедливость по отношению к людям, которые, действительно, своими телами устилали путь к победе, расплачиваясь жизнями за бездарность военачальников. Но этого же не делается. И получа-

ется, что либо мы бездействуем, предаваясь пассивной игре в деконструкции, либо попросту пляшем под дудку нарождающейся неоконсервативной идеологии.

К.Э.: Речь идет о том, чтобы заменить историю политических режимов народной историей. Эта тенденция в 1980—1990-е годы была присуща западной исторической науке. Народная история — это часть исторического нарратива, но не целое, потому что без истории политических режимов обойтись невозможно.

Самая эффективная организация по поиску останков погибших — это британская Комиссия Содружества по военным захоронениям. У нее есть целый штат людей, которые по всему миру ищут останки британских солдат и военных стран Содружества — новозеландцев, австралийцев, канадцев. Это государственная организация, существующая на государственные деньги. Если британский морской пехотинец в джунглях Бирмы свалился с моста и погиб под пальмой, его спустя 60 лет находят и хоронят с почестями. Это делают не энтузиасты, не юные следопыты. Потому что, если это будет происходить массово, это будет тоже подрывать миф, поскольку непонятно, почему эти солдаты на низком пятачке валяются? Потому что такие были командиры. Если создавать альтернативную историю, все равно получится политический проект.

А.С.: В 1939 году отец написал стихотворение «Военное кладбище в Севастополе». С тех пор это кладбище практически исчезло. Его превратили в свалку, и французское, и итальянское кладбища. От английского остались одни воспоминания. Это российский способ отношения к истории. Это не только вопрос советской власти, но отношение, навязанное этой бесчеловечной системой, начиная, может быть, даже не с 1917 года, и существующее здесь не в качестве мифа, а как основная жизненная практика. До тех пор нет никакой победы, и праздновать победу безнравственно, пока не похоронен последний из погибших на этой войне. Но предлагаемая вами замена истории на частные истории уже изжила себя. С конца 1960-х годов мой отец пытался создать музей устной истории войны. Он писал бумаги в ЦК партии, в Политбюро — и все без результата! Только после перестройки обнаружили ответ Главпура: «Подобный музей может создать прецедент *различных* взглядов на эту войну. Он вреден».

Илья Кукулин: Я хотел бы привести здесь выражение Мераба Константиновича Мамардашвили, что, пока мы не проработаем

для себя то, что произошло в 1937 году, в наших головах будет 1937 год. И, аналогично, пока мы не проработаем для себя образ Великой Отечественной войны во всей его полноте, во всей его тяжести, во всей его невыносимости, в наших головах будет происходить то же самое.

Но вернусь к «Рождению Победы». Ведь что является здесь образцом для стилизации? Исключительно кино 1960-х годов, которое тогда было знаком освобождения, но потом сделалось своего рода визуальным клише.

Мария Майофис: Я бы тоже хотела обратиться к проблеме визуального ряда. Кто кого как видит? При всем старании донести антураж повседневной жизни 1940-х годов при помощи этих фильмов, соблюдение деталей будет неточное, неверное. Узнают ли себя в нем люди, которые тогда жили? Разве что ветераны, о которых говорил Алексей Кириллович [Симонов. — *Ред.*], которые, сидя в зале 28 апреля, считали, что уже 9 мая. То есть те, для кого эти воспоминания уже очень абстрактные. Кто себя в этом узнает? Возможно, молодое поколение в предельно широком смысле — то есть те, кто не жил тогда, хотели бы видеть то время так. Это для меня особенно прискорбно, потому что я бы, например, хотела видеть другое визуальное отображение того времени.

Реплика из зала: Меня очень огорчило, что Сергей Пархоменко назвал сводки Информбюро на «Эхе Москвы» музыкой. Они, конечно, несут в себе содержание. Меня огорчает, что представители СМИ до такой степени неаналитично относятся к тому, что они делают. Передачи на «Эхе Москвы», конечно, лучше, чем телевизионные выпуски. Но в целом, к сожалению, и та и другая выполняют одну и ту же роль: подтверждения государственного мифа о войне, который нам навязывают и который нам пытаются вернуть вместе с той ползучей или уже не ползучей реставрацией советских мифов, которые были так хорошо знакомы нашему поколению. Индивидуальные истории, казалось, должны были взорвать эти мифы своим разнообразием и индивидуальностью, своей частностью, неогосударствленностью, но на самом деле они работают совершенно иначе.

Позиция: «Мы делаем этот проект, а что там еще, за его рамками, я не знаю и знать не хочу» — в этой ситуации мне кажется неприемлемой. Война работает здесь так же, как православие, о чем уже говорила Дина Хапаева. Так, что по своему воздействию это общий идеологический ряд, и мне кажется совершенно очевидным,

и не анализировать это таким образом невозможно. Другой вопрос, как этому можно противостоять.

Еще одно соображение связано с вопросом о том, будет ли сказана вся правда о войне, может ли произойти переосмысление войны с уходом тех, кто о ней помнит. Как заметил Константин Эггерт, это возможно в результате кризиса — будем надеяться, что это будет не слишком глубокий кризис. Это не зависит от присутствия живых свидетелей, это зависит от того, как конструируют прошлое историки. Чтобы мы согласились принять деконструкцию привычных мифов и замену их на новые мифы или, скажем мягче, новые образы, на новом уровне включающие в себя разные стороны войны — темные и светлые, необходима работа над нами самими. Если представители средств массовой информации или историки не в состоянии анализировать собственное сознание и собственные позиции, то ничего не выйдет.

В конце 1980-х или начале 1990-х годов Николай Копосов предпринял попытку проанализировать ментальность советских историков. Многие тогда занимались ментальностью применительно к разным историческим эпохам, но, когда это было обращено на них самих, они оказались совершенно не готовы к подобному анализу. Никто из нас не хочет оказаться в роли подопытного кролика, все хотят быть экспериментаторами.

Е.Н.: Я не понимаю утверждения о том, что «нет анализа изнутри». То, что я говорила, — про 10 лет избиения самих себя — это правда, это мои мысли. Может быть, они вам не нравятся или вы считаете, что это не так. Мало того, я считаю, что и дальше нужно критиковать, рисовать новый образ войны. Но я не могу делать проект так, как я его не вижу. Я закончила ВГИК в 1996 году, со мной училось много замечательных людей, которые сейчас снимают о войне художественные картины — сериалы. Конечно, можно сказать, что они не имеют на это права, и, наверное, они создадут картины, которые вы не хотите видеть. Но зрители-то есть разные — вам не нравится, а кому-то нравится. Вы назовете это слащавым, но для нас, я имею в виду поколение — внуков победителей, — это ностальгия по неким впечатлениям детства. Да, у нас и у меня не может быть воспоминаний о войне. А что, здесь у кого-нибудь есть воспоминания о самой войне? Если исходить из вашей точки зрения, можно вообще смело перестать снимать фильмы о войне, забыть, что она была, поставить точку и сказать: «Вот, мол, не выразили правду — давайте вообще ничего не делать». Здесь все намного сложнее, чем просто желание соответствовать государ-

ственной политике. В государственном аппарате тоже есть разные люди с разными взглядами. Жить в негативе тяжело, невозможно, но это не значит, что нужно что-либо обелять, очернять и не знать историю

Вопрос из зала: Будете ли вы в программе показывать интервью с немцами?

Е.Н.: Я уверена, карикатурный образ немца, а-ля советские фильмы конца 1940-х — пройденный этап. Я постараюсь точнее подойти к образу немецкого солдата.

С.П.: О неаналитичности. У вас память лучше, чем у меня, по всей видимости. Когда началась реставрация? Проект на «Эхе Москвы» старше, чем реставрация. Он шел еще при Гусинском, Ходорковский еще не сидел — а проект уже был. Не потому сводки включены в передачу, что кому-то хочется поучаствовать в проекте реставрации, а потому, что эти сводки вам так заметны и вас так пугают, и сейчас проект уже осуществляется, и создает неожиданный контекст. Представьте себе эту программу в 1992 году. Вы бы ни за что не прочли эти сводки таким образом, потому что тогда еще и в помине не было никакой реставрации.

Реплика из зала: Они меня не пугают, но они с самого начала производили описанное впечатление.

С.П.: Они производили это впечатление потому, что вы напуганы другим, и напуганы правильно.

А.С.: Ты говоришь: «Это мой личный проект, мое личное отношение к теме, его я и ставлю в основу передачи...»

Е.Н.: Это не совсем так. Я основываюсь на личном ощущении. Если я занимаюсь проектом, чтобы его сделать, я не могу основываться на чужом ощущении. Но естественно, я действую в рамках канала, жанра и телевизионной специфики. Личное мнение высказывают люди, которые участвуют в этом проекте. И эти мнения разные. Кому-то они могут не нравиться, а кому-нибудь нравиться. Я лишь слежу за пропорциями этих мнений. За золотой серединой. В этом и есть мое личное отношение.

А.С.: Во всяком случае, так я понял.

В 1984 году готовилось 40-летие великой Победы. В начале 1985-го, в апреле, в Минске состоялся всесоюзный кинофестиваль. Все знали, кто приехал за первым призом, — Евгений Матвеев с фильмом «Победа», его личной точкой зрения на Победу. И все знали, что этой картине отдадут первый приз. Одновременно на фестивале присутствует картина, сделанная литовской киностудией, называется она «Отряд». И вдруг приходит сообщение, что картину «Победа» посмотрел генеральный секретарь, а он новый, только что избранный, по фамилии Горбачев, и картина ему не понравилась. После чего на фестивале начинается состязание точек зрения. В конечном итоге главный приз Минского фестиваля получила картина «Отряд», а не картина «Победа». Если мы возвращаемся к тому, что правда и неправда о войне становятся вопросом только личной точки зрения, я считаю это очень опасным. Потому что кроме личной точки зрения существуют еще и какие-то потуги на объективную историю. Коррекция личной точки зрения объективной историей, как мне кажется, обязательна.

К.Э.: Я не могу сказать, что в восторге от проекта НТВ, наверное, я хотел бы видеть в нем более разнообразные точки зрения: и немцев, и членов РОА, и людей, живших в оккупации.

Тем не менее из корпоративной солидарности я хотел бы сказать: нельзя путать телевидение с журналом «НЗ». Для многих присутствующих написать статью на 17 000 слов нормально, а у меня, если корреспондент регулярно будет выходить с репортажами больше трех минут, его направят на переподготовку. Телевидение, радио, газета, все массмедиа — это не только средства выражения мысли, но и организации с определенным бюджетом. Мне кажется, что требовать от телевидения, даже в лучших его образцах, глубинного осмысления чего бы то ни было не приходится. Приходя в «Макдоналдс», вы не требуете, чтобы вам принесли омара. Это разные жанры интеллектуального осмысления действительности, как есть разные жанры пищеварения. У меня есть множество вопросов к этому проекту, но не стоит превращать эту дискуссию в истерику.

По поводу конкурирующих мифов: мне кажется, что тема войны для формирования мифов, контрмифов, идеологий и контридеологий не сравнима с вопросом, хорошим или плохим поэтом был Пушкин и какую роль сыграло православие в российской истории. Хотя бы потому, что война — это очень реальная драма, очень реальная трагедия.

И последнее: Сергей совершенно прав, когда говорит о политическом фоне, но давайте представим, что он изменился. Готовы ли мы признать за Институтом истории Российской академии наук и лично господами Ржешевским и Сахаровым право писать то, что они пишут, в рамках другого, демократического, замечательного контекста? Думаю, что мы должны быть готовы признать это право. Разговор не просто об идеологии, а о том, как она переходит в массовое сознание, сознание пресловутой тети Мани. А этим занимаются не только телевидение и книги, но и школа и другие образовательные институты вплоть до детских садов. Но это уже совсем другая тема.

«УВЛЕКАТЕЛЬНО, КАК ТРИЛЛЕР»

Исторические документальные фильмы на Втором канале немецкого телевидения

«Чтобы в прайм-тайм заинтересовать действительно большую аудиторию историей, необходимы изображения и язык, способные растрогать, захватить и быть понятными зрителю — в частности, только что вернувшемуся домой от станка рабочему. Просвещение должно иметь широкий охват». Следуя этому кредо, Гидо Кнопп и его команда производят документальные фильмы на исторические темы, в основном о национал-социализме и Второй мировой войне. Рейтинг этих передач порой превышает рейтинги развлекательных программ. Сериал «Помощники Гитлера» посмотрели 6,86 миллиона человек, или 21% числа телезрителей. Один этот сериал был продан телеканалам в 50 странах. Больший мировой успех из всей продукции Второго канала имел только детективный сериал «Деррик».

ZDF — Второй канал немецкого телевидения, штаб-квартира которого находится в Майнце, был основан в 1961 году как общественно-правовой телевизионный канал. Он имеет 3640 сотрудников и является крупнейшим в Германии телеканалом. Его продукция не должна служить коммерческим целям. Расходы покрываются доходами от рекламы, а также взносами, обязательными для всех телезрителей и радиослушателей в Германии. Согласно Государственному договору 1991 года, передачи канала призваны представлять «объективный обзор международных событий и, в особенности, развернутую картину немецкой действительности, способствовать единству жителей объединенной Германии, [...] служить интеграции всего общества в духе мира и свободы, а также взаимопониманию между народами и содействовать сосуществованию, свободному от дискриминации».

За соблюдением этого договора следит Телевизионный совет, в который входят 77 членов, среди которых представители федера-

ции и земель, партий, церквей, союзов (таких, как профсоюзы и союзы работодателей), а также науки, культуры и образования. Особенно широкий отклик получили передачи Гидо Кноппа о «третьем рейхе», Адольфе Гитлере и его помощниках, о Второй мировой войне, уничтожении евреев и нацистском обществе: сериал «Проклятая война» в 1995 году посмотрели 3,75 миллиона зрителей, то есть 18,3%; «Гитлер — подведение итогов» — 5,03 миллиона (22%). С 1997 года ZDF показывает эти фильмы в прайм-тайм — в 20.15. Последние работы Кноппа увидели от 3,4 до 5,0 миллионов зрителей (10,4—16%).

С 1984 года в Германии не проходит и года без появления новых передач производства «исторической фабрики» Гидо Кноппа. Можно без преувеличения утверждать, что эти передачи оказывают влияние на образ истории и культуру памяти в Германии.

Но этот успех достается определенной ценой. Кто хочет добиться высокого рейтинга, должен владеть драматургией телеразвлечений. Здесь не обойтись без приемов заострения, концентрации внимания на отдельных личностях и драматизации. Гидо Кнопп своими документальными фильмами создал совершенно специфический жанр. Он подает историю при помощи смеси из свидетельств очевидцев и исторических кадров, сопровождаемых драматической музыкой и закадровыми комментариями. Центральную роль играют воспоминания современников. Их высказывания предстают авторизацией прошлого — истинность и аутентичность их слов не подвергаются сомнению. Слово получают и современники из числа преступников, причем их историческая роль открыто не обсуждается. Человеческое любопытство порой удовлетворяется при помощи бестактного «взгляда через замочную скважину» — такие средства использовались прежде всего в сериале «Женщины Гитлера». В результате история сводится к эмоционально окрашенной истории повседневности, что осложняет дифференцированную реконструкцию событий.

Фирменный прием Кноппа — особое обращение со звуком и изображением. Главный принцип — сжатость: сцены кратки, речь ограничивается заголовками и минимальными текстами. Ни одному персонажу не дают сказать более трех фраз, ни одна связная сцена не длится дольше минуты. Таким образом, эти фильмы превращаются в легкоперевариваемый продукт. Этот же расчет объясняет еще одну характерную особенность документальных передач ZDF. Все, к чему нет исторических кадров, в качестве «сценической цитаты» реконструируется актерами. Таким образом, Кнопп сознательно идет на стирание границ между документальным и

игровым кино. Почему он считает, что иначе нельзя, остается неясным. Но Кнопп горячо отвергает упреки в тривиализации истории. Он утверждает, что хочет соединить «качество с рейтингом и серьезность с популярностью», чтобы его фильмы были «увлекательными, как триллер», если это позволяют освещаемые события, — ибо «в потоке медийной продукции могут устоять лишь привлекательные, захватывающие, трогательные программы об исторических событиях».

Сдерживает ли Кнопп свои обещания, на примере документального сериала «Холокауст» исследует филолог и кинокритик Ханно Лёви.

Редакция «Osteurora»

(Перевод с немецкого Михаила Габовича)

Ханно Лёви

ХОЛОКОСТ КАК ФИЛЬМ УЖАСОВ

Замечания о жанре одного документального фильма, показанного на Втором канале немецкого телевидения

В ночном небе сияет полная луна. Приглушенные звуки литавр предвещают беду. В кадре — человек, фотографирующий табличку с датой: 22.6.41, потом — будильник. Ночь страшных снов, ночь бесноватых, вампиров и оборотней. А дальше? Перед зрителем проходят цветные кадры нападения Германии на Советский Союз и интервью с уцелевшим свидетелем событий — Цви Кацем. Кац говорит, что не боялся немцев. «Что могло сравниться с немецкой культурой?» На экране — пикирующие бомбардировщики. Тихий голос за кадром подсказывает ответ: «Воля к уничтожению». Война на уничтожение. Граф Генрих Эйнзидель, бывший летчик-ис-

требитель, рассказывает о мечтах немецких офицеров: поместье в восточных землях, русские крепостные.

Потом появляется «он». На протяжении всех шести серий его называют, как правило, этим кратким словом. Аудиоряд — Вагнер. Гитлер стоит один во дворе с большими окнами. Кадр цветной, съемка в профиль. Во взгляде Гитлера — мрачная решительность. Голос за кадром сообщает: «Он с самого начала мечтал об этой войне. Но вину за нее он перекладывает на евреев».

Только после этого появляются титры — наплывающие друг на друга кадры, группирующиеся сперва вокруг Гитлера, снятого с нижнего ракурса: колонны солдат, тоже снятые снизу, развевающийся флаг со свастикой, потом еще колонны, на этот раз сверху, руки вскинуты в нацистском приветствии. Центр следующего визуального ряда — депортированная девушка, выглядывающая из теплушки. Этот известный кадр из Вестерборка комбинируется с горящей синагогой, светящейся надписью «ХОЛОКАУСТ», желтой звездой и колонной напуганных евреев с поднятыми вверх руками. Потом камера скользит над поездом вправо, дверца захлопывается, на нее наплывает название фильма, в кадре — уходящие поезда, панорамная съемка. Этот визуальный ряд построен по принципу строжайшей симметрии: Гитлеру противостоит депортированная девушка, свастике — еврейская звезда, колонне немецких солдат — колонна евреев. Руки у тех и у других вскинуты, только по-разному. После чего панорамная съемка вводит заключительный мотив катящихся по рельсам поездов. Знакомая иконография.

Пролог настраивает на историю о нечистой силе. В ночь полнолуния начинается «его» господство. Фильм и то рокочущий, то шепчущий голос за кадром то и дело поминают «его». «Еще не всем евреям вынесен смертный приговор. Но миллионы уже в его власти. Он уничтожит их всех», — слышим мы в первой серии. В пятой говорится: «Одна лишь цель еще достижима для Гитлера — уничтожение евреев. Он хочет любой ценой довести его до конца». «Довести до конца» — многозначительные слова. «Довести до конца» можно «дело». Об этом «деле» в то время много говорили. Преступление как дело. Этот человек с мрачным взглядом, выпяченным подбородком, с осанкой, говорящей о его одиночестве, будет сопровождать нас все шесть серий.

«Охота на людей», «Решение», «Гетто», «Фабрика смерти», «Сопротивление» и «Освобождение»: шесть драматических путешествий во времени по пятьдесят с лишним минут каждое. Логика

сериала вызывает недоумение. Почему история Холокоста начинается с нападения на Советский Союз? Вторая серия, «Решение», рассказывает не только о приближении к окончательному решению о полном физическом истреблении, принятому к концу лета или к осени 1941 года; авторы возвращаются здесь к «захвату власти», описывая радикализацию режима в 1930-е годы. Рассказ о процессе концентрации, изоляции, унижений и голодомора в гетто в одноименной серии также начинается уже в 1939 году.

Является ли такая композиция сериала выражением определенной идеи — интерпретации Холокоста как части войны на уничтожение, жестокость которой была отчасти обусловлена особенностями противника — тоже способного на преступление, как показано в первой серии, «Охота на людей», на примере злодеяний советского НКВД? Или в ее основе — все та же неугасимая луна, все та же история ночного кошмара, которую нельзя рассказать, не зафиксировав исходный пункт: страшную ночь, когда все началось... Как бы то ни было, такое построение порождает странную двусмысленность. Поскольку рассказ о Холокосте начинается здесь с истории войны, *историческое* повествование в фильме склоняется вроде бы к функционалистской интерпретации: исходные мотивы преступников — а не только практика все более радикальных решений — объясняются динамикой войны. С другой стороны, *визуальный ряд и композиция* создают впечатление намеренного выбора другой крайности: объяснение произошедшего все время упирается в волю Гитлера.

Историческая редакция Второго канала затратила беспрецедентные усилия на создание этого фильма. Историки и журналисты на протяжении двух лет работали в 50 архивах, отыскивая такие фотографии и кинопленки, которые, как подчеркивает редакция, еще не превратились в «иконы». Комиссия, состоящая из известных историков, должна была следить за тем, чтобы фотографии и кадры, уже служившие в бесчисленных документальных фильмах иллюстрацией чего угодно, были «реконтекстуализованы», то есть возвращены в исходный исторический контекст, опознаваемы как источники. Были проведены сотни интервью, некоторые из которых чрезвычайно интересны: с уцелевшими жертвами уничтожения, но также и с преступниками, их пособниками и пассивными зрителями — в рамках гигантского проекта «Глаза истории», где история XX века будет представлена в тысячах интервью. Наконец, «покровителем» сериала на втором канале стал Симон Визенталь — тем самым продукция как бы получала штемпель «кошерности».

Создатели сериала ставили перед собой высокие цели. «Задача данного проекта, — сообщает Гидо Кнопп на сайте телекомпании, — стремление к подлинности. Каждый метр отснятой пленки, каждый новый документ, каждое свидетельство очевидцев должны быть четко локализованы в историческом контексте: время и место действия должны быть в каждом случае указаны в точности».

В отличие от известных фильмов той же телекомпании: «Гитлер — подведение итогов», «Помощники Гитлера», «Генералы Гитлера», «Воины Гитлера» и, наконец, «Женщины Гитлера» и «Дети Гитлера» — от использования привычной этикетки «Гитлер» на этот раз решили отказаться. Конечно, ради нового, более действенного, языкового и политического спецэффекта. Очевидно, по предложению Эберхарда Йекеля, консультанта фильмов о Гитлере, фильм решили назвать «Holokaust» — через «k». Гвидо Кнопп обосновывает такую «германизацию» этого якобы американского слова не только «лингвистическими», но и — прежде всего — «историческими» соображениями. «Истребление европейских евреев — часть немецкой истории. Называя его непохоже [sic!] написанным словом, мы как бы дистанцируемся от него в языковом, историческом, моральном отношении. Если мы в самом деле готовы нести историческую ответственность за это преступление, то написание Holokaust — символический акт присвоения собственной истории». Перед этим, конечно, бледнеет слабое возражение, что Holocaust через «c» — это прежде всего латинское, то есть средневековое европейское, написание этого слова (и «американский культурный империализм» здесь ни при чем), а написание через «k» означает прежде всего приближение к исходному греческому написанию, а вовсе не «германизацию». С одним, однако, не поспоришь — перед нами «акт присвоения истории». «Holokaust» должен заменить «Holocaust» — под которым подразумевается, надо думать, американский фильм 1979 года, в свое время привлекший внимание не только к этому понятию, но и к самой теме — тоже, конечно, в соответствии с требованиями момента. Этой задаче подчинена с неумолимой последовательностью композиция фильма.

При этом «Холокауст» — действительно строго документальный исторический фильм, основанный на тщательных разысканиях. В нем много поразительного материала, впервые извлеченного из архивов. В нем также немало выступлений нацистских преступников, сопровождающихся порой критическим комментарием и поданных так, чтобы ярче выступала сомнительность их самооправданий и автопортретов. Некоторые известные кадры возвращены

с помощью интервью и документов в исходный исторический контекст и тем самым получили значение серьезных источников. И тем не менее «Холокауст» — прежде всего драма: переплавленная, гомогенизированная история с четким сюжетом, которому оказывается безоговорочно подчинен документальный материал, при всей исторической верности в деталях. Так что же за история рассказана в этом фильме? И какими художественными средствами она рассказана?

Большую часть экранного времени занимают интервью с очевидцами той эпохи, сопровождаемые историческими кадрами, граммофонными записями, фотографиями и документами. Кроме того, авторы заново отсняли многие исторические места в формате супер—8 и в некоторых случаях на крупнозернистой пленке, так что новые кадры зачастую трудно отличить от исторических — как оно, видимо, и задумано. Все это сопровождается музыкой и звуковым фоном композитора Клауса Долдингера, где тревожные, угрожающие элементы, как в триллере, с некоторой назойливостью чередуются с лирически-сентиментальными, основанными на повторяющейся скрипичной мелодии — в зависимости от того, требуется ли от зрителя напряженное ожидание или слезы сочувствия. Голос за кадром, комментирующий происходящее лаконичными энергичными фразами, переходит от мрачного рокота к вкрадчивому шепоту. Эти модуляции сохраняются и тогда, когда текст комментария на самом деле сообщает точные сведения или формулирует кричащие противоречия.

Все элементы, нарушающие повествовательность визуального и словесного ряда, тщательно исключены. В фильме нет географических карт и иных «объективирующих» вспомогательных средств, указывающих на «информационный» жанр. В отличие от сардонического Клода Ланцманна (во французском фильме «Шоа» 1974—1985 годов) или иронического Марселя Офюльса (в американском фильме «Отель "Терминус"», 1988), авторы «Холокауста» полностью растворяются в своем фильме, стараясь оставаться невидимыми, ничем не выдать своего присутствия и собственной точки зрения. Перед нами — только очевидцы событий, которые с замечательной последовательностью вырываются эстетическими средствами из контекста повседневности. Все интервью отсняты на одном и том же темном фоне. Луч света из-за спины высвечивает то слева, то справа голову интервьюируемого, создавая мистическую атмосферу. Мы видим всякий раз не просто «стариков», мы

видим людей, овеянных тайной, тайной травматических воспоминаний. Визуально жертвы, палачи, пособники, пассивные зрители неотличимы друг от друга. Все они теперь — «оставшиеся в живых»: настоящего у них нет. Исключения из этого правила — те немногие преступники, которые и по сей день считают, что ничего преступного не делали, — представляют собой подлинно тревожащие, но, к сожалению, крайне редкие эпизоды фильма.

Фильм, напротив, построен так, чтобы всеми возможными средствами гомогенизировать образ жертв, палачей и их опыта. «Что делает с людьми Освенцим? С жертвами и палачами?» — рокочет голос за кадром при показе «фабрики смерти» — Освенцима, как будто «сделан» был не Освенцим, а «люди», которым пришлось вынести опыт фабрики смерти. В таком контексте по-другому начинают звучать повести жертв, рассказывающих о своей искалеченной и разрушенной жизни. Рассказы о чувстве вины за то, что выжил, — это, как правило, всего лишь беспомощные попытки уцелевших придать случайности, сохранившей жизнь именно им, хоть какой-нибудь смысл, сохранить перед лицом событий хоть какую-то фикцию собственного выбора, пусть даже в негативном смысле: как выживание за счет чужой гибели. Но, глядя на экран, невозможно избавиться от ощущения, что за упором на подобные сцены стоит нечто иное, чем сочувствие глубокой боли испытавших страшную травму людей. Утрата человеческого облика сближает жертв с палачами, как и палачи, со своей стороны, сближаются в фильме с жертвами.

В конце первой серии этот мотив в своеобразном переплетении намечен рассказом Симона Визенталя. Визенталь повествует о том, как один из преступников со слезами рассказывал ему о сожжении евреев в синагоге. Умирающий во львовском лазарете просит позвать к нему еврея — он хочет исповедаться. Этот умирающий преступник просит у Визенталя прощения и рассказывает о горящих людях, выскакивавших из окон синагоги, об отце, в прыжке прикрывавшем рукой глаза своему ребенку, и о том, что они стреляли в этих людей. Визенталь описывает эту сцену с противоречивым стыдом и пугающей наглядностью. Он вынул руку из рук умирающего, даже не взглянул на него больше и молча вышел из палаты. Сопровождающая рассказ музыка, сперва угрожающая, прерывистая, переходит в печальное, жалобное соло скрипки. Первая серия кончается так же, как началась: ночной сценой, похожей на дурной сон. Авторы наложили на нее картины горящей в ночи синагоги, из окон которой вырывается яркое пламя, — кадры, с которыми мы

уже встречались в титрах. Серия кончается покаянием палача и бесслезным стыдом и оцепенением выжившего.

Далее, в серии «Фабрика смерти», Ханс Франкенталь рассказывает про самосуд в Освенциме. И вновь полная луна, вновь это лунное сияние: оно служит переходом к рассказу Романа Фристера о гомосексуальном насилии среди заключенных, жертвой которого был и он. Он рассказывает о своем стыде. О стыде за то, что его уговорили за кусок хлеба, и о стыде за то, что насильник (другой заключенный) украл его шапку. О стыде за поведение другого, который надеялся таким образом избавиться от своей жертвы и тем самым от свидетеля преступления — потому что явиться на утреннюю поверку без шапки означало смерть. Фристер рассказывает о стыде за то, что он спас свою жизнь, передав смерть дальше, неизвестному заключенному, чью шапку он, в свою очередь, украл, о стыде за то, что «нацисты меня — их жертву — принудили делать то, чего я в обычной жизни ни за что не стал бы делать». Рокочущий голос задается вопросом, что делает с людьми Освенцим, и Рут Элиас рассказывает, как убила своего новорожденного ребенка, чтобы остаться в живых. Серия «Фабрика смерти» также завершается эмоциональной кульминацией. Моррис Венециа, попавший в лагере в «зондеркоммандо», рассказывает, как эсэсовец убил младенца, который выжил в газовой камере. «Это было чудо, а немец взял и пристрелил его». Облака плывут в закатном небе над воротами Биркенау — легкий рапид. Нереальная сцена. Чудо и его противоположность — бесовство.

В каждой серии последнее слово остается за жертвами, словно остатки стыда заставляют авторов признать, что «присвоение» этой истории имеет свои границы. Но речь в этом последнем слове идет всегда о «немцах» — раскаивающихся, как в двух первых сериях («Решение» также кончается рассказом жертвы о подавленном, павшем духом преступнике), бесчеловечных, как убийца чуда в «Фабрике смерти», или отважных, как укрыватель евреев в Берлине из серии «Сопротивление».

Но в двух случаях серия заканчивается рассказом жертвы о непоправимом душевном увечье: в серии «Гетто» — признание Марселя Райх-Раницкого, что не до слез, когда каждый день смотришь смерти в глаза, и — в серии «Освобождение» — звучащие под печальную мелодию слова Романа Фристера, завершающие фильм: «У меня украли мою жизнь и искалечили мне душу. А искалечить душу — преступление не менее тяжкое, чем убить тело».

Цель такого сближения опыта жертв с опытом палачей — вызвать у зрителя общее потрясение перед ужасом, который пришлось

пережить всем этим людям. Обращение с историческими кинокадрами заходит еще дальше на пути к эстетике вчувствования. Когда исторический материал монтируется с сегодняшними съемками, то задачей становится не противопоставление, то есть не визуализация времени, а его гомогенизация. Оптическое сходство кадров смешивает временные уровни, превращает время в пространство визуального поиска.

Зато обещание поместить документы в исторический контекст выполняется далеко не всегда. Хотя известные кадры расстрела в литовской Лиепае действительно сопровождаются рассказом участников именно этих событий — уцелевшей жертвы и солдата, сам визуальный источник, точка зрения этих кадров, ее историческая обусловленность не становятся в фильме предметом обсуждения.

Во многих случаях авторы, очевидно, подразумевают под помещением документов в исторический контекст нечто иное, чем четкое указание места, времени и действующих лиц. Когда Самуэль Пизар рассказывает о том, как жгли евреев в синагоге в Белостоке, авторы показывают пылающую синагогу в Риге, которую мы уже видели в титрах, со словами «повсюду пылают синагоги», — видимо, это должно означать, что данный кадр символизирует все подобные акты, где бы они ни происходили. Но это не мешает зрителю видеть «собственными» глазами то, что видел Пизар: пылающую синагогу в Белостоке. А в конце серии он неизбежно видит — путем многоступенчатого отождествления — глазами Визенталя то, что видел умирающий преступник: синагогу во Львове. Но на экране перед ним все то же: рижская синагога.

Когда Розела Гольденштейн рассказывает о том, как ее разлучили с матерью, сопровождающий этот рассказ визуальный ряд — вид из окна избы: немецкий солдат оттаскивает ребенка от пожилой женщины (матери или бабушки) — никак не может считаться указанием на точный контекст события. Мы узнаем только, что эти кадры сняты партизанами. Крайняя форма композиционного отождествления с видением жертв (и участников Сопротивления) — эпизод в серии «Фабрика смерти», где объектив камеры супер-8 скользит по березовой роще Освенцима-Биркенау, плавно переходя в одну из немногочисленных исторических фотографий, оставленных еврейскими «зондеркоммандо» Освенцима. Эти кривые, смазанные, нерезкие фотографии, сделанные из укрытия простейшими самодельными аппаратами, запечатлели обнаженных женщин на пути в газовую камеру и сожжение трупов. Место игровых сцен, от которых решено было в этом фильме полностью отказаться, занимает более эффективный ход: отождествление с пер-

спективой камеры как символ крепнущего владычества визуального ряда над историей.

Отождествление с испытующим взглядом, с нами — зрителями и нашим интересом к зрелищу диктует и композицию сцены, где разглашается «тайна» Освенцима. Сначала мы видим полную луну над домом в Катовице и ярко освещенные окна во тьме. Мы узнаем, что Гиммлер после посещения Освенцима в июле 1942 года говорил на застолье об уничтожении и один из гостей «проболтался». Теперь мы сами пытаемся при лунном свете проникнуть в чудовищную тайну. И свое участие в раскрывающейся перед нашими глазами тайне мы покупаем, идя на поводу у композиции фильма. Визуальное могущество, санкционированное озаряющим ночь светом полной луны, — сомнамбулическое могущество. Мы видим сон наяву.

Вместо того чтобы обратиться к источникам того времени, например письму немецкого солдата, сухо сообщающего домой: «Сюда, то есть в Освенцим, прибывает еженедельно 7000—8000 евреев, которые вскоре погибают "смертью храбрых". Люблю я путешествовать», — рокочущий голос без конца задается вопросом, кто что знал. При этом авторы постоянно дают понять, что многие знали больше, чем признают сегодня. И в то же время мы снова и снова слышим, что многие ничего, а многие очень мало знали о происходившем за линией фронта, «в тылу». Как будто солдаты все время войны находились на передовой, полностью поглощенные боями. Во многих эпизодах авторы комментария не жалеют усилий, чтобы разоблачить легенды, распространяемые преступниками, пособниками, пассивными зрителями. И тем не менее достаточно нескольких затушевывающих фраз — и легенда о противоположности фронта и тыла восстановлена в правах, а точность многих пассажей комментария растворяется в туманном полузнании и незнании, догадках и наивности. В особенности этому способствует прием, чье дезориентирующее воздействие замечаешь далеко не сразу. Вопрос о знании и незнании — так чаще всего кажется — обращен прежде всего к «пособникам», солдатам, исполнителям отдельных акций; но в *едином* повествовательном потоке, в который сливаются в этом фильме сменяющие друг друга рассказы очевидцев, на него удивительно часто отвечают уцелевшие жертвы; их незнание или попытки уйти от полного «понимания» убийственной истины как бы свидетельствуют о незнании преступников и их «соплеменников».

Граф Кильмансегг узнал об Освенциме только после войны. Барон фон Бёзелагер в начале войны тоже совершенно не думал о

евреях, вообще об этом стало известно много позже. Даже если комментарий порой противоречит этой точке зрения, композиция предательски подтверждает ее. Мы перед этим всякий раз слышим от уцелевших, что они тогда даже представить себе не могли Освенцим. Как будто тот не слишком удивительный факт, что жертвы не могли себе представить собственного уничтожения, что-нибудь говорит о знании или, точнее, о сознании преступников. И вообще: какое имеет значение, *знали* ли преступники об Освенциме в то время, когда Освенцим не стал еще центральным местом, а тем самым и центральным символом уничтожения? Преступники и их «соплеменники», во всяком случае, ясно представляли себе (как желанное будущее) нечто, чего жертвы по очень понятной причине не *могли* себе представить: мир без евреев.

Но в конце «Холокауста» все знают и не знают, подозревают и не догадываются — кроме, конечно, одного: «он» и его ближайшие приспешники, Гиммлер и Лей, Франк и Гейдрих, Геббельс и еще несколько человек, перечисленных поименно, — они знали. В этой связи можно вернуться к вопросу о сюжете. Вопрос этот приводит в конце концов к «главному герою», выступающему во всех сериях. Гитлер в этом фильме очень редко показан в общении — исключение составляют сцены в Верховном главнокомандовании вермахта. В основном он представлен в одиночестве, в визуальной изоляции. Одиночка, движимый безумием и ненавистью, который хочет довести до конца свое «дело» — любой ценой. Его появления не всегда логически связаны с темами фильма. Гитлер у рождественской елки — голос за кадром сообщает: «Убийца справляет Рождество с детьми своих помощников». В серии «Фабрика смерти» нам показывают его на какой-то железнодорожной станции в январе 1943 года, только чтобы сообщить, что он *не* говорил со своим румынским союзником маршалом Антонеску о массовых убийствах с применением газа.

Так визуальный ряд и композиция закручивают повествование вокруг классического персонажа фильма ужасов, безумного ученого, вроде сумасшедшего профессора из фильма «Тарантул»; этот типаж бесконечно варьируется и в других жанрах — таков, например, истерический генерал военной авиации США в фильме Кубрика «Доктор Стрейнджлав», отсылающий в боевой полет эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием.

Документальные фильмы редко рассматриваются с точки зрения теории жанра — хотя такой анализ позволяет заметить много интересного. Например, трилогия Клода Ланцманна, центральный

фильм которой, «Шоа», рассматривается обычно отдельно, начинается с вопроса «Почему Израиль?» и завершается фильмом об израильской армии — «Цагал». Мир, по которому ведет зрителя «Шоа», эта бездна неизлечимой травмы, эта встреча с мертвыми, за которых, по словам Ланцманна, должны говорить живые, это путешествие по живой памяти заканчивается обретением государственного суверенитета и ответственностью, которую оно налагает. Может быть, это звучит вызывающе, но даже «Шоа» свидетельствует не только о Холокосте, но и о стремлении евреев превратить уничтожение в *«роман»*, из полной бессмыслицы сделать выдержанное испытание, из «невыносимой» травмы — *идентичность*. Если в фильме Ланцманна эта линия подана в сложной переработке, под знаком постоянного вопрошания, то в таких фильмах, как «Последние дни» («The Last Days», США, 1998) Джеймса Молла, выживание предстает как осмысленный триумф. Здесь уничтожению венгерских евреев, последней главе в истории Холокоста, противопоставлено возрождение жизни спасенных, духовная победа над злом.

Напротив, «Холокауст» стремится рассказать *трагическую* историю, в том роде «трагизма», какой возможен в фильме ужасов: историю о запутавшихся, без вины виноватых людях, гонимых судьбой, попутанных или искалеченных бесом, превращающим людей в нелюдей. Образцом служит трагедия: эта история ставит перед собой «высшие» цели, с высоты которых «роман» выживания может показаться американской банальностью. Но Холокост как «трагедия», возможно, намного «банальнее», чем кажется на первый взгляд. Сложность, неоднозначность добра и зла, присущая «трагическому», — не является ли здесь этот жанр лишь средством выстраивания сюжета, в котором преступники исчезают в сонме обреченных? «Что делает с людьми Освенцим — с жертвами и с палачами?» Освенцим как судьба и Гитлер как ее воплощение?

Но трагизм, ужас безысходности перед лицом персонифицированной, как в трагедии, судьбы, имеет еще один оттенок — невысказанное стремление, пронизывающее фильм. Его поддерживают печальные мелодии скрипки, приобретающие примирительное звучание в завершениях серий и в особенности в конце всего фильма. Все мы страдали. Все мы были слабы. Но всех нас объединяет любовь. Выражаясь жанровыми категориями: комедия.

Морис Филип Реми, автор сценария и режиссер, высказал это почти открыто — не в самом фильме, а на сайте телекомпании. Заметка Реми об этом фильме начинается с рассказа об интервью,

которое он брал у недавно скончавшегося Ханса Франкенталя, бывшего узника Освенцима из Германии. Но, как и в фильме, здесь не упоминается послевоенное время, продолжение травмы после 1945 года в немецком обществе, ничего не желавшем знать и признавать, — как раз Ханс Франкенталь мог бы об этом многое порассказать. И все-таки: Ханс Франкенталь, вспоминает Реми, сказал ему: «Никто не может гордиться этой страной». Фраза, которую Реми не захотел оставить без комментариев. В конце интервью, рассказывает Реми, он вновь спросил Франкенталя о чувствах, которые он испытывает к Германии. Ответ глубоко взволновал его. Здесь Реми делает интригующую паузу. Он рассказывает, что камера была к этому моменту уже отключена и ответ Франкенталя пропал. Не будем забывать: Реми пишет об ответственности немцев. И толкует Холокост как безумную реакцию на унижение Гитлера (и Германии?): «Его безумие питалось опытом 9 ноября 1918 года».

Но в конце статьи Реми возвращается к Хансу Франкенталю. Итак, его ответ пропал для фильма, но сохранился, к счастью, на включенной для верности магнитофонной пленке. Так что для Мориса Филипа Реми «Холокауст» кончается звуковой дорожкой, которая для нас, правда, остается воображаемой. «Я люблю Германию, — слышно там «сквозь душившие его слезы», — люблю эту страну. Здесь хорошо живется, я люблю эту страну, нужно только присматривать, чтобы эта страна не вздумала больше делать глупостей».

Эта лунная ночь завершается не травмой. И даже, если верить Реми, не трагическим катарсисом перед лицом смерти. Она завершается патриотическим примирением, любовью. Все как в комедии: вначале было много глупостей и недоразумений, в конце же — слезы и приятное чувство, что *на самом деле* ничего не случилось, во всяком случае, ничего непоправимого.

А полная луна? Это очередное недоразумение. В ночь на 21 июня 1941 года на небе едва проглядывал тоненький месяц — до новолуния оставались считанные дни. Но такой картинкой не начнешь историю о бесах, о ночи оборотней. Может быть, не случайно последние упорные нацисты боролись за выживание после «гибели» под именем «оборотни»?

Перевод с немецкого Марии Сокольской

Нея Зоркая
ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ВОЙНЫ

«Историческую эпоху полнее и глубже всего можно познать не в период ее расцвета, но в пору ее демонтажа» — эта мысль, принадлежащая Сергею Аверинцеву и примененная им к изучению античности, успешно ложится на характеристики различных этапов жизни советского общества. В этом смысле период войны можно считать временем «демонтажа» сталинского социализма, а в искусстве — первым ударом по «социалистическому реализму».

Заверения о «социалистическом процветании», о «политическом и моральном единстве советского народа под руководством коммунистической партии», о «незыблемости границ» и прочие постулаты, провозглашенные в пик торжества сталинизма (разгром партийных оппозиций, завершение коллективизации, первые «демократические» выборы в Верховный Совет, пышное празднование 60-летия Сталина в 1940-м и так далее), проходят трагическую проверку 1941—1945 годов. Киноэкран, который справедливо называют «зеркалом реальности», демонстрирует этот процесс с особой наглядностью, но и в его внутренней противоречивости.

Действительно, если брать в расчет лишь схемы и дикторские тексты экранных военных сюжетов, если читать и слушать лишь официальный советский дискурс после 22 июня 1941 года — дня вторжения, перед нами предстанет целостный однородный ландшафт агитационного, пропагандистского искусства в чистом виде. Кино стопроцентно подчинено задачам мобилизации народа на разгром агрессора. И только!

Об этом — газетные столбцы, начиная с опубликованной уже вечером 22-го статьи «К оружию!» корифея советского кино Александра Довженко, радиопередачи, речи на митингах.

«Все для фронта! Все для победы», «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — эти общегражданские лозунги начертаны пря-

мо на экране в первых же фильмах, выпущенных уже в августе 1941-го как прямой отклик на войну. Короткометражные ленты длительностью в 10—20—30 минут объединялись в программы из нескольких сюжетов под названием «Боевые киносборники».

Сюжеты их являли собой прямую экранную параллель «малых» жанров и форм, воцарившихся одновременно в других видах искусства — в газетном очерке, агитационном стихотворении, плакате, карикатуре, театральном скетче, массовой песне и другом. Это агитационные жанры и формы, ориентированные на быстроту отклика, простоту восприятия, эмоциональную реакцию. Патриотическое звучание фильмов, абсолютно четкое разграничение добра и зла («мы» и «они»), концепция войны как «вероломного нападения» обнаруживают себя полностью уже в скороспелых опусах. Эти свойства сохранятся неизменными и в последующих более зрелых произведениях, и далее, до окончания войны, более того — до конца СССР, ибо тема Великой Отечественной войны станет, без преувеличения, главной темой всего советского киноискусства почти на полвека.

Именно эти кардинальные и устойчивые свойства трактовки материала и темы войны на советском экране дали основания историкам кино и гражданским историкам выработать суммарную и расширительную характеристику военного кинематографа как агитационно-пропагандистского — и только.

Подобный взгляд на весь корпус фильмов, снятых в годы войны, долго существовал и в российской кинолитературе, и в немногочисленных западных работах на интересующую нас тему. Таково наиболее распространенное клише оценки военного кино — выбиваются из него лишь немногие работы аналитического характера, например книга русского киноведа Юрия Ханютина «Предупреждение из прошлого» (М.: Искусство, 1968) и сборник-каталог «Der Krieg gegen die Sowjetunion. Eine Dokumentation», составленный немецким киноведом Эрикой Грегор (Berlin, 1992) из ярких критических эссе и ценных сопутствующих материалов.

Однако корпус фильмов 1941—1945 годов, если распознать в них *«глубокий экран»* (выражение кинорежиссера Григория Козинцева и название его знаменитой книги), обнаружит и динамику массового сознания, отражающуюся в сознании кинематографистов, и исключительный драматизм, и эволюцию киноязыка, которая предвосхищает сдвиги периода «оттепели» и так называемое «шестидесятничество» в советском искусстве.

24. Заказ № 1423.

Да, тяжелейшая, изнурительная война, стоившая советскому народу неисчислимых жертв, закончилась победой. Но, как покажет в дальнейшем сама история, великий слом войны, после которого на теле СССР осталась глубокая трещина, уже тогда предрек неизбежную гибель не только гитлеровскому рейху с его претензиями на тысячелетие, но и сталинскому государству.

Имперский послевоенный триумф генералиссимуса со всей пышной орнаментикой и нищетой за позднеампирным фасадом не продлится и восьми лет, оборвавшись со смертью тирана. А далее — три десятилетия, когда видимая стабильность (регулярные перепады от «оттепелей» к «замерзаниям», локальные войны, кампании, сменяющие одна другую, и спускаемые сверху панацеи типа «продовольственной программы» — не в счет!) таит под собой роковую обреченность советского строя.

В этом смысле кинематограф военных лет обозначает собой самый ранний акт финала советской эпохи, начатой в октябре 1917 года и задуманной как торжество мировой социалистической революции.

Для того чтобы увидеть, оценить и адекватно воссоздать те глубинные перемены, которые произойдут в советском кино во время войны, следует четко реконструировать старт. Ведь кинематографисты занимали среди советской художественной интеллигенции особое положение: они были фаворитами Сталина. Вождь обожал кино — постсоветская искусствоведческая литература и мемуаристика то и дело возвращаются к этой патерналистской страсти «верховного зрителя», одинокого в своем ночном кремлевском кинозале, откуда фильму и его создателю мог поступить мгновенный и окончательный приговор.

В марте 1941-го огромное и щедрое правительственное награждение как бы подвело итог постепенному превращению кино в искусство государственное, официально закрепленное при Кремле: Сталинскими премиями была отмечена целая обойма фильмов 1930-х.

Итак, кинематографическая отрасль процветает. А народ обожает кино! Специальная тема истории, культурологии, социологии — культ киноискусства в 1930-е годы. На экране ищутся и отыскиваются примеры для подражания, любимые герои, модели поведения — от выбора жизненного пути («сделать жизнь с кого бы») до моды прически или спортивной майки.

На фоне тотального коммунального быта и скудного существования киноэкран давал образ изобилия, счастья и свободы. Экран

реализовал «Великую утопию», внушал народу иллюзию, что именно такова его жизнь — ну пусть не в его деревне, но в другой, в той, которая показана в кино.

Народ любил, боготворил киноартистов — в пышном ореоле славы высились кумиры экрана.

Типическое явление времени — идентификация киноперсонажа и актера, а также вера в киногероя как в реальное лицо. Киногерой, жизненный прототип и исполнитель роли сливаются воедино, перетекают один в другой, замещают друг друга. Тому множество свидетельств и воспоминаний. Во время первых выборов в Верховный Совет СССР несколько заводов избрали кандидатом в депутаты... Максима, то есть героя кинотрилогии о рабочем парне Нарвской заставы, который становится большевиком-подпольщиком и далее советским наркомом. Не Бориса Чиркова, артиста, исполнителя роли, а самого вымышленного киногероя Максима. Когда Чирков появлялся в каком-нибудь публичном месте, люди восторженно аплодировали ему, кричали: «Максим!»

Было бы слишком просто отнести это лишь к инфантильному массовому сознанию и эстетической необразованности. Речь должна идти о безотказной суггестивной силе экранного образа-имиджа, что важно для нашей темы о роли кино в военные дни. Ведь предвоенный сталинский киноэкран сливался с действительностью, замещал ее. Рамка кадра переставала выполнять свою функцию «отчуждения» (термин Брехта). Сознательно высветленное и тщательно профильтрованное киноизображение своей исконной документальностью и убеждающей фотографичностью уверяло, что «жить стало лучше, жить стало веселей» (Сталин). Что на голодной Украине колхозники объедаются пельменями, как в фильме «Крестьяне», что будни так же праздничны, как в музыкальных комедиях «Трактористы», «Волга-Волга» или «Светлый путь». Это в текущей современности, а в революционной истории на экране возвеличены такие великие и простые герои из народа, как талантливый самоучка-командир Чапаев из одноименного фильма-фаворита или большевистский народный комиссар Максим.

Удивительно ли, что самой первой короткометражкой, снятой в дни войны и вышедшей на экран еще до «Боевых киносборников» 31 июля 1941 года, стала киноновелла «Чапаев с нами»?

В финале фильма «Чапаев» (1934) раненый красный герой погибал под белыми пулями, переплывая реку. Финал был доснят. На дальнем берегу реки в этой новой версии Чапаева ждали бойцы, уходя на передовую. Поднимаясь к ним на берег, легендарный ге-

рой Гражданской войны произносил горячую речь, призывая бить гитлеровских агрессоров.

В «Боевом киносборнике № 1» аналогичная операция была произведена с выше упоминавшимся Максимом. Здесь был продолжен финал «Трилогии о Максиме». Режиссерский прием обнажался: Максим на глазах у зрителей «сходил» с экрана — прямая иллюстрация этого перетекания друг в друга кино и реальности.

Обращаясь к зрителям — и к тем, кто у «экрана на экране», и к тем, кто непосредственно в зрительном зале, Максим поет свою знаменитую песенку «Крутится-вертится шар голубой» на новые слова, опять-таки призывая беспощадно бить врага.

А в «Боевом киносборнике № 4» в качестве своего рода ведущей этого киноальманаха выступала почтальонша Стрелка из комедии «Волга-Волга», она же «суперстар» советского экрана актриса Любовь Орлова. Колеся на своем стареньком велосипеде, который так полюбился зрителю вместе с его хозяйкой, по приволжскому бездорожью, Стрелка теперь развозит колхозникам письма от фронтовиков, то есть действует в новых условиях войны.

Так первыми «агитаторами», с экрана мобилизующими народ на отпор врагу, становятся не герои уже вовсю горящих боев, не реальные живые полководцы (многие из них в эти дни еще находились в лагерях и тюрьмах, репрессированные в террор 1937 года) и не прославляемые стахановцы, а некие экранные тени, едва ли не материализовавшиеся, став кумирами советской толпы.

Еще одна крайне любопытная подробность, связанная с экранными лицами первого периода войны: на экране почти нет изображений Сталина. Ни в хронике, ни даже на портретах и плакатах внутри кадров, то есть неотъемлемых знаков бытовой обстановки. Хитрый режиссер собственной славы, Сталин спрятался в дни поражений. Он появится лишь после Сталинградской битвы, и его патологический по напору восточный культ будет нарастать до самой его смерти.

Пока же экраном владеют кинозвезды.

Конечно, престиж кинозвезд перед войной и во время ее был общемировым явлением — о том, как восторженно встречали в американских воинских частях и госпиталях киноартистов, выступавших с благотворительными концертами, пишет в своих мемуарах Ингрид Бергман; и еще поразительное свидетельство: стены амстердамского чердака, где пряталась от нацистов Анна Франк, ныне музей ее памяти, все оклеены портретами, вырезанными из журналов: Грета Гарбо, Чаплин, Гэри Купер...

Но идентификация киногероя — живого лица, но превращение экранного персонажа из прошлых лет в военного лидера — это специфика СССР.

Сюжеты с реанимацией Чапаева, Максима, Стрелки делались мастерами высокого ранга, интеллектуалами и высокообразованными людьми: Арнштамом, Козинцевым, Герасимовым, Александровым. И делались всерьез, без расчета на зрительскую инфантильность.

Григорий Козинцев пишет: «С первых дней войны я трудился над маленькими фильмами. В Ленинграде горели бадаевские продовольственные склады, начались бомбежки, а мы сочиняли и снимали для фронта. Говорят, что бойцы охотно смотрели "Случай на телеграфе", смеялись. Шутка тогда была нужна людям. Действие фильма происходило у окошка телеграфа. Расталкивая очередь, пробивался вперед, оттиснув старичка пенсионера и домохозяйку с сумкой, запыхавшийся человек в военном французском мундире и треуголке. Торопясь, он протягивал бланк: "берлин гитлеру тчк пробовал зпт не советую тчк наполеон". Наполеон Бонапарт скрещивал руки на груди и бросал зловещий взгляд на телеграфистку. «Два семьдесят, — подсчитывала девушка, не обращая внимания на смысл слов и внешность клиента. — Гражданин, не задерживайте, следующий!..»

Это было действительно забавно: в жанровую картинку московского почтового отделения вторгался картинный и эффектный персонаж исторического маскарада — Наполеон.

Но, строго говоря, это была игра. Все это было, по сути дела, продолжением той огромной *военной игры*, в которую играло советское искусство в целом и кино в первую очередь на протяжении 1930-х годов, выпуская фильмы так называемой «оборонной тематики».

«Если завтра война» — название картины режиссера Ефима Дзигана (1938) — может объединить целый блок фильмов, в которых моделировалась очень близкая по ощущению война, причем война именно с гитлеровской Германией. Война на пороге — это всеобщее клише предвоенных лет.

Стратегическая концепция будущей войны, разработанная советскими военачальниками и внедренная в сознание народа, была войной «малой кровью», «войной на вражеской территории», как пелось в массовой песне:

> Чужой земли мы не хотим ни пяди,
> Но и своей врагу не отдадим!

Шло чудовищное отступление, гитлеровский «блицкриг» завоевывал все новые территории России и Украины, Белоруссия была под ярмом оккупации. Первая и знаменательная, судьбоносная победа советской армии под Москвой далась России огромной ценой. А на киноэкране продолжалась военная игра, где деревенские старушки и дети разоблачали переодетых германских шпионов, в оккупированных городах Восточной Европы действовало мощное подпольное Сопротивление, а в любом фронтовом поединке советский боец легко побеждал неловкого врага.

Правда, здесь вступает в силу один важный, но внеэстетический фактор: советская цензура. Многоступенчатая (редсовет киностудии, Госкино, военная цензура и так далее) и свирепая цензура не только стояла на страже идеологической чистоты, но простирала свою власть на фильм в целом. Уже в первый год войны были запрещены и не выпущены на экран несколько названий. Самый талантливый сатирический сюжет «Юный Фриц», выполненный ленинградским коллективом, — экранизация стихотворения Самуила Маршака — был запрещен цензурой по обвинению в «формализме». Был закрыт во время производства начатый режиссером Григорием Рошалем интересный по замыслу фильм о биографии Гитлера «Убийца выходит на дорогу». Название во множественном числе — «Убийцы выходят на дорогу» — перешло к снимавшемуся рядом фильму «Школа подлости» — яркой и самостоятельной экранизации Всеволодом Пудовкиным пьесы Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Картина корифея советского кино, отснятая, она была запрещена на долгие годы.

Во всех названных жертвах цензуры была сделана попытка проникнуть в сущность германского нацизма, понять, что же произошло с Германией и немцами. Но этот аналитический аспект оказался нереализованным, и на военном экране продолжала развертываться «киновойна», война-игра в духе «оборонных картин» предшествовавших лет.

В «Боевых киносборниках», которые делались ведущими кинорежиссерами и играли замечательными актерами, существовали отдельные удачи, меткие реплики. Сегодня многое в них ностальгически трогает своей искренностью, молодостью. Но — увы! — мифологический кинематограф, воспевший некую идеальную страну постоянного праздника, обожаемое народом и поистине «самое важное и самое массовое» из всех искусств, соприкоснувшись с реальным трагическим началом войны, потерял очень многое, по-

бледнел. Тем не менее — продолжал существовать. И жил на экране далее, когда производство киноальманахов, составленных из сюжетов-агиток, прекратилось.

Здесь, однако, есть и причины, так сказать, «уважительные», коренящиеся в народном сознании и исконных потребностях, обостренных и стимулированных горестями и ужасами войны. И войны как таковой, и отчаянным позором поражений первых месяцев. Потребности в утешении, в надежде, в отвлечении от несчастья. И у советских людей, привыкших к своему искрометному экрану-празднику, эту любовь не подавила война. И хотя наверняка публике хотелось вообще хотя бы на полтора часа забыть о ней совсем, война все же непременно *присутствовала* решительно во всех фильмах, снятых в 1941—1945 годах, кроме исторических лент или сказок.

Правда, чаще это была сознательно-условная война, «закоулки», «заповедные уголки», которые она чудом пощадила. Правда, советские кинематографисты не решались на то, на что способны оказались французы, которые, скажем, в фильме «Парижский романс» («Romance de Paris»), где главную роль играл Шарль Трене, а действие происходило в 1941 году, *вообще* игнорировали факт оккупации. Сверкает огнями ночная Эйфелева башня, цветут парки, и талантливый маляр с чудесным голосом становится звездой кафешантана. Нет ни патрулей, ни продовольственных карточек, ни здания гестапо на площади Иены... Сопротивление, отношение к врагу переданы этой презрительной фигурой умолчания.

У русского Ивана Пырьева же в фильме «В шесть часов вечера после войны» (1944) Москва мирная, Москва подсвеченных Кремлевских башен и нарядных набережных отнесена была к первому и непременному дню Победы, о котором мечтали герои, проходя дорогами войны. И сама война была здесь не такая уж страшная, а — главное — ясно видимая в своем победоносном окончании. И героиня, верная, преданная, как все героини тех лет, русские красавицы, которые умели ждать своих любимых «как никто другой», пели песни любви и разлуки под белыми березами, на которые красиво падал белый снег.

Это было откровенно условное кино, счастливый симбиоз мелодрамы и оперетты, макет Кремля в кадре не скрывал своей фанерности. Здесь не было и тени претензии на «правду жизни», и зрители на фронте и в тылу горячо любили этот фильм.

Рядом с ним шли на экранах такие чемпионы проката, как «Актриса» Леонида Трауберга — про опереточную певицу, которая

считала, что театр войне не нужен, пошла работать нянечкой-сиделкой в госпиталь, там влюбилась в раненого и ослепшего командира, который оказался давним поклонником певицы. Героиня убеждалась, что театр нужен, командир излечивался, прозревал, и прямо в кадре обе ипостаси героини — примадонна оперетты и больничная няня — соединялись.

Антошу Рыбкина — веселого повара из «БКС № 3» с его неразлучной шумовкой, белым кухонным колпаком и лирической песенкой «Там ждет меня далекая подруга синеокая» — зрители заприметили сразу. Режиссер Константин Юдин «растянул» водевиль до полного метража, где изначальная ситуация: сноровка повара помогает Антоше уничтожить гитлеровский десант — превращается в целую серию трюков, главным из которых является тот, где славный повар, переодетый в костюм немецкого ефрейтора, попадает в тыл врага и там совершает несколько героических деяний. Юмор этой комедии оказался вполне плоским, а приключения скучноватыми, но, видимо, острой была тяга военной аудитории к «лечащему смеху».

Итак, можно констатировать устойчивость топосов и стереотипов кинематографа 1930-х в изображении войны — тянется шлейф войны «павильонной», «победоносной войны на вражеской территории».

Устойчива и физиономистика. В мужских лицах — типаж «социального героя», человека из «простонародья», то есть рабоче-крестьянского происхождения, скрашен лукавым и умным прищуром, мужественностью.

Кинематограф 1930-х — мужской по преимуществу — подобрал себе и соответствующих подруг. Блондинки, милые, курносенькие, в светлых кудряшках, крепенькие, белозубые, веселые, — они вытеснили с экрана строгих красавиц с гладкими черными волосами, пулеметчиц и учительниц, героинь Гражданской войны. Блистательная Любовь Орлова, эта звезда № 1, и другие блондинки образовали хоровод, но несколько в стороне от него, чуть одиноко, воспетая поэтом героиня стихотворения «Жди меня» и одноименного фильма-иллюстрации актриса Валентина Серова. Всем им пытались подражать девушки от Смоленска до Владивостока.

Правда, и в этой сфере массового успеха, наиболее стабильной, — даже здесь можно было бы заметить определенную эволюцию. Это ход кино от агитационного к развлекательному, от социально ангажированного — к лирическому и бытовому. Правда, по этому законному желанию народа хотя бы немного отдохнуть, успокоиться и утешиться после страшных испытаний ударили раз-

громные сталинские постановления и кампании, не замедлившие явиться уже в 1946 году — о репертуаре драматических театров, в 1947-м — об опере и о кино.

Но принципиальные внутренние перемены, позволяющие нам выдвинуть тезис о том, что именно в фильмах военного периода обозначилась трещина в монолите эстетической системы советского кино, происходят на ином плацдарме. Внутри этой самосогласованной системы рождается под прямым влиянием военной действительности *другое кино.*

Слезы, страдание, страх, унижение получают допуск в кинокадр.

«...Когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение», — писал в своем романе «Доктор Живаго» Борис Пастернак.

Искусству война, несмотря на цензурное ужесточение, давала больше свободы — таков трагический парадокс времени. Страдание, боль, разлуки, потери, слезы, голод, страх — все это, изгнанное с экрана в 1930-х, вынуждена была легализовать война. Тяжкие поражения первых месяцев, оставленные города и села, пылающая огнем земля, кровь сотен тысяч, зияющая неподготовленность страны к войне (вопреки громким заверениям пропаганды!) решительно изменяют общий тонус экрана. И если в первом полнометражном фильме о военных событиях — «Секретаре райкома» Ивана Пырьева (1942) — деяния русских партизан еще похожи на приключенческую ленту, а сами они — на ковбоев, то далее советский экран предлагает зрителю совершенно иное изображение военной действительности: натуралистическое, резко контрастное, беспощадно жестокое. Но есть в нем подлинность чувств, искренность, неподдельность. Прямо отвечая на запрос дня, военный фильм несет в себе, глубоко внутри, заряд новых возможностей, не ограниченных временем, — заряд будущего кинематографа «оттепели» и «перестройки».

Здесь несомненна лидирующая роль хроники и документального фильма, их эстетическое воздействие. Военная цензура поначалу не допускала горькой правды поражений, остерегала народ от зрелища горя и смерти — жупел «натурализма» сопутствовал и разрешительным удостоверениям для выпуска хроникальных материалов и художественных сюжетов на экран.

«То, что в угоду вкусу, в угоду эстетическим требованиям века считалось запретным, как слишком страшное, слишком гнусное, слишком жестокое физиологическое, — говорил Довженко, — то

просится сегодня на экран [...] Сегодня требуют экрана виселицы, переполненные несчастными, пылающие здания, люди, закопанные живыми в землю. Содрогается земля от стонов бесчисленных немецких жертв. Не забудьте нас! Не гнушайтесь ужаса нашей смерти!..»

Это не красноречие. Тон упомянутой в начале первой бодрой статьи Довженко, написанной 22 июня 1941-го, быстро снизился, погрустнел. Военные записные книжки Довженко — фронтового корреспондента полны душераздирающих фактов, кровоточащих свидетельств, горчайших наблюдений. Многие из них вошли в сценарий «Украина в огне», который не стал фильмом, ибо был категорически запрещен начальством во время съемок.

Вехой в кинодокументалистике явилась лента «Разгром немецких войск под Москвой» о первом контрудare Красной армии в декабре 1941 — январе 1942-го — раннем успехе советского оружия на подступах к столице. Как известно, Гитлер не сомневался в падении Москвы, но его победоносный марш был приостановлен на подступах к столице. И в собственно военном, и в психологическом отношении, то есть в сознании народа, это стало важнейшей вехой: вера в победу обретала реальные очертания, первая — трагическая — страница войны была перевернута, дышать стало чуть легче. Вот этот момент обнадеживающей смены настроения и зафиксировал с большой чуткостью «Разгром немецких войск под Москвой».

Фильм был сделан режиссерами Леонидом Варламовым и Ильей Копалиным на основе съемок пятнадцати фронтовых операторов, которые работали в исключительно тяжелых условиях — под обстрелом, в тридцатиградусный мороз — зима 1941/42-го выдалась необыкновенно суровой.

Это был сбой сокрушительного вражеского штурма. Пусть Москву и миновали позор и горькая доля оккупированных европейских столиц, страдания народа на огромной территории захваченных советских республик оставались неисчислимыми. Но внушал он и яростный гнев: впервые в истинных ее масштабах открылась миру бесчеловечность гитлеровского нашествия, оставлявшего за собой обугленные трупы, расстрелянных детей и стариков, сожженные города и села, осквернение национальные святыни и памятники культуры. Скорее всего, премия «Оскар» за лучший документальный фильм 1942 года была присуждена «Разгрому немецких войск под Москвой» («Москва наносит ответный удар» в американском прокате) не столь за изысканное «вертовское» мастерство документалистики (здесь было не до него!), а за обжигаю-

щую, ослепляющую правду о гитлеровских злодеяниях на российской земле.

Сценарист Алексей Каплер и режиссер Фридрих Эрмлер признавались, что их фильм «Она защищает Родину» (1943) оформился под прямым воздействием «Разгрома немецких войск под Москвой». Действительно, их фильм о русской партизанке еще был связан с эстетикой и мифологией 1930-х, но уже совсем иной по своей резкости и беспощадной жестокости.

«Не было на селе женщины счастливее Прасковьи Лукьяновой», — гласила первая надпись пролога картины, и в быстром монтаже проносились по экрану иллюстрации богатой и веселой колхозной жизни (как бы цитаты из предвоенных колхозных картин): закрома зерна, дом молодой трактористки-ударницы — полная чаша, любящий красавец-муж, маленький сынишка...

Вражеское нашествие злобно вторгается в жизнь женщины. Муж, смертельно раненный на фронте, умирает. Процветающее село оккупировано, гонят толпу крестьян, и какой-то гитлеровец выхватывает ребенка из рук Прасковьи и бросает его, схватив за ножку, под гусеницы танка.

В дальнейшем ходе фильма у этого страшного кадра появится парный кадр-ответ. Точнее — целый эпизод мщения и возмездия.

Прасковья уже не та круглолицая хохотушка, что в начале, а суровый вожак партизанского отряда «товарищ П.». С запавшими, горящими исступленной ненавистью глазами, истая Пифия мести, она встречает на дорогах войны убийцу своего ребенка и, как одержимая, кидается к рулю брошенного гитлеровцем танка и пускается в погоню за жалким ничтожеством в военной форме — а оно с поднятыми руками и вихляющимися ногами убегает, петляя, от русской бабы, пока гусеницы танка, как те, под коими погиб ее мальчик, не вдавливают пигмея в землю — метафора раздавленного мерзкого насекомого.

Это ужасно? Несомненно! Это трудно смотреть? Безусловно! И не случайно и по выходе в свет в грозном 1943-м, и позже фильм Эрмлера вызывал упреки в натурализме (которые, впрочем, преследовали режиссера Эрмлера еще со времен его знаменитого немого «Обломка империи»).

Здесь изуверство расправы было оправдано силой гнева и страдания, переданных актрисой с огромной выразительностью.

В 1943-м это были и общенародная боль, и общенародное чувство — страстная глубинная жажда возмездия. Помню и я, автор этих строк, как школьницей-старшеклассницей смотрела картину в прифронтовой Москве, в кинотеатре «Художественный» на Ар-

батской площади. Мертвая тишина стояла в зале, пока Прасковья гналась на танке за убийцей ребенка, и потом облегченный общий вздох разрядки был знаком некоего катарсиса. Заметим, однако, что таких безумных глаз, как у мстительницы Прасковьи, советский экран долго не увидит — подобная аккумуляция гнева не повторится, страсти смягчатся. Только у героини «Человека № 217», восточной рабыни германских буржуа, будут такие же горящие глаза. Да еще — тридцать лет спустя — у мальчишки-партизана по имени Иван, героя-разведчика, в котором, чему поражаются взрослые офицеры, «ненависть не перегорела» и о котором в своем знаменитом эссе о фильме Андрея Тарковского «Иваново детство» Жан-Поль Сартр напишет: «Ребенок безумен, как безумна сама война».

В фильме «Она защищает Родину» закладывается несколько образных «блоков», которые будут воспроизводиться в ряде последующих фильмов, снятых и в военное, и в послевоенное время. Эти «блоки» весьма важны для нашей темы визуализации войны — подобных ранее не знал советский экран.

Это (вслед за парной секвенцией преследования) — «дуэль» в кадре, некий смертельный поединок оккупанта и жертвы, преимущественно женщины.

Это зловещий образ оккупированной территории как поля смерти.

Это умиротворенное пространство партизанского лагеря в русском лесу — некая «Малая земля», оазис родины во вражеском тылу.

И, наконец, это ликующий образ Победы, завершающий буквально все фильмы о войне: Победа реализуется в воинском наступлении: сметающая врага танковая атака, крылатая эскадрилья советских самолетов, шквал пехоты. И счастливые толпы освобожденных жителей. И даже — непременно! — ликование природы: рассвет после ночной тьмы, восход солнца, чудесное и редкое явление: радуга на зимнем небе. И в этом стереотипе финала сказываются уже далеко не только пропагандистское воплощение лозунга «Враг будет разбит! Победа будет за нами!», как это было в «оборонных» или ранних военных картинах, и не трансформация кинематографического хеппи-энда, но страстное, всенародное, объединяющее всю огромную страну ожидание Победы, которая в массовом сознании читалась как окончание войны, освобождение от оккупации, возврат к мирной жизни, путь домой, встреча с родными и близкими.

В талантливой, несколько странной и обаятельной картине Бориса Барнета «Славный малый» (1942), снятой во время эвакуации «Мосфильма» в Алма-Ате, даны две контрастные топографии. Партизанский среднерусский лес, где на поляне расположился лагерь, пронизан солнечными лучами; печка под открытым небом заменяет домашний очаг. Здесь куют подковы, мастерят из сбитых вражеских самолетов всякие полезные вещи, варят, парят, влюбляются, ревнуют — словом, *живут* и, возвращаясь с опасных заданий, попадают *домой*.

А за пределами леса по пустынной равнине течет свинцовая осенняя река, там оккупанты — сама природа словно бы тоже вторит военному разделу российской земли... (Кстати, картина «Славный малый» также была запрещена к выпуску в прокат без объяснения причины. Скорее всего, ею была для военной цензуры недопустимость того, что членом партизанского отряда стал сбитый французский летчик, к тому же влюбившийся в русскую партизанку.)

Образ оккупации постепенно становится воплощением жестокой силы, организованности, железного порядка. Куда делись все анекдоты о жадных и трусливых, низколобых обжорах из «Боевых киносборников»!

Нагнетаются зловещие тона. Центр захваченного поселка, городка — комендатура. Часовой на вышке, охрана, собаки, чужая «лающая» речь — фрагменты немецкого языка, всегда без перевода, входят в аудиовизуальный ряд, символизируя власть пришельцев-победителей.

И перед новым хозяином, уверенным в своем праве полновластного господина этой дикой страны, беззащитное население — женщины, старики-инвалиды, дети — все мужчины на фронте или в партизанских лесах.

Разрабатывается иной, нежели в картине Эрмлера, поединок гитлеровца и женщины, уже не мстительницы, а пленницы. Силы предельно неравные. Возникает тема героического противостояния насилию, «героизма слабого», по слову Пудовкина, сказанному им о картине Барнета «Однажды ночью» (1944). Та же дуэль мучителя и жертвы в центре знаменитого фильма Марка Донского «Радуга» (1944) по одноименной повести Ванды Василевской.

Название следующей картины Донского — «Непокоренные» (1945) — определяет общий пафос этого экранного цикла. Выйдя в прокат уже в последний год войны, фильмы о советских людях в

оккупации повествовали о всенародном страдании и унижении, стимулируя ожидание конца мучений.

Оккупанты вводят свой порядок, внедряя его в сознание населения посредством грозных приказов на русском языке. Порядок предельно жесток — по сути дела, каждый населенный пункт равен концентрационному лагерю, жители — заключенным, недаром у них на груди болтаются бирки с номерами.

Первый кадр «Радуги» уже символичен: огромный часовой на переднем плане и виселица с повешенными вдали. Символичен и пейзаж: мирное украинское село сковано льдами, засыпано снегом, пустынно, мертво, замерзшие хаты обросли сосульками, лишь порой вышагивает по улице немецкий патруль. Злая зима — метафора смертельной неволи. В фильме «Однажды ночью», действие которого происходит летом и в небольшом городе, неволю символизирует тьма, постоянная ночь.

Всем предписано неукоснительно выполнять любые требования местной оккупационной власти, обеспечивать гарнизоны продуктами (молоком, салом, скотом) и помещением — хозяева изб, где на постое вражеская армия, ныне — прислуга, бессловесные рабы. Во главе канцелярии комендант со своими военными приспешниками, денщиками, а контакт с населением осуществляют предатели: старосты, полицаи, холуи и доносчики — презренные ничтожества, которых ждет народная расправа и позорная смерть.

Оккупационный режим отличается крайней бесчеловечностью, его запреты посягают на элементарные нормы любого общежития. За малейшее нарушение запрета в вывешенных на стенах и столбах приказах обещана смерть — эти плакаты на крупных планах, как и устрашения и угрозы на дощечках на шеях убитых и повешенных, тела которых специально оставлены на виселицах. В оккупированном городе из фильма «Однажды ночью» смерть грозит любому, кто прячет раненых бойцов или партизан. В «Радуге» виселица ожидает крестьянку, если начальство узнает, что по утрам она тайком ходит за околицу на свидание со своим убитым сыном — ледяная зима, и тело юноши избежало тления, скульптор-мороз сделал мраморными прекрасные черты лица.

«Радуга»: На колючей проволоке повис восьмилетний мальчонка, настигнутый пулей лишь за то, что хотел передать кусок хлеба несчастной женщине на сносях, схваченной немцами и подвергнутой чудовищным пыткам. Конвойный гоняет ее, раздетую, по снегу, комендант грозит застрелить и стреляет в ее новорожденного младенца, поскольку она не выдает местонахождение партизанского отряда.

То есть: оккупационный порядок злобно рвет кровные связи, злодейски глумится над священной для любой нации или социума материнской любовью.

Но, несмотря на нестерпимый гнет и страх, люди ведут тайную борьбу.

В фильмах, снятых в 1943—1944 годах, советские люди уже не угощают гитлеровских офицеров отравленными кушаньями, как это делала героиня-колхозница в ранней короткометражке «Пир в Жирмунке», — правда оккупации оказалась страшнее вымышленных в первые месяцы войны мелодраматических эффектов.

Скромный «героизм слабого» опирается на круговую поруку. У беспомощных, забитых, подавленных существует немой язык всеобщей солидарности в горе. В отличие от оккупационного режима подавления здесь, на низах, торжествуют взаимопомощь и самоотверженность.

Уборщица немецкой канцелярии, расположившейся в захваченной школе-десятилетке, юная Варя, сама вчерашняя школьница, прячет и выхаживает на чердаке трех раненых бойцов — за подобное «преступление против Германии» объявлена смерть.

Все действие фильма — это Варина конспирация, ее тайные посещения чердака, ее прислушивания, прятанье, быстрые и неслышные пробеги по лестнице с едой для раненых, ее дежурства милосердной сестры у ложа умирающего красноармейца. Действие внутреннее — мучительное преодоление страха, собственного бессилия. В роли Вари Барнет снял студентку-дебютантку, в чьем облике находили сходство со звездой немых фильмов Гриффита лирической Лилиан Гиш. Напрашивалось и сравнение с кроткими героинями Достоевского — Соней Мармеладовой, Неточкой Незвановой, бескорыстными, нежными, готовыми умереть за других.

Характерный поворот и в физиономистике. Веселые блондинки-спортсменки уходят с экрана, женские лица изможденные, скорбные, утонченные, пусть это и простые крестьянки в платках и рубищах.

Главную роль в «Радуге» — партизанку Олену — играла великая украинская актриса Наталия Ужвий, красавица с огромными светлыми глазами и мраморными классическими чертами лица. Это ее героине, родившей сына-первенца, чтобы сразу его потерять от руки садиста-коменданта, приходится претерпевать чудовищные мучения и пытки: босую ее гоняют по снегу и пристреливают на краю оврага.

Донской говорил, что в этом образе он хотел воплотить «украинскую Мадонну». Рядом еще две несчастные матери. Одна —

многодетная, у которой на глазах убивают старшего, восьмилетнего. Вторая — суровая, словно бы высеченная из камня, пожилая, которая ходит на рассвете на свидание со своим убитым сыном, — символ освобождения. Триптих страдающих матерей еще окружен выразительными, прекрасными лицами крестьянок. Возникает коллективный портрет популяции «восточных рабов», редкостно красивой, благородной, одухотворенной.

В свой следующий фильм, «Непокоренные», Донской, продолжив тему народного страдания, включил эпизод массового расстрела евреев в киевском овраге Бабий Яр. Снимали в освобожденном к тому времени Киеве, на подлинном месте кровавых деяний. Это было первое в истории запечатление одного из позорнейших событий XX века — документальная (пусть фильм и игровой) ценность этих кадров, не говоря об их эмоциональной силе, исключительна. Но важна не только страшная акция на дальнем плане кадра (так это было снято: месиво тел, каратели) — две фигуры на первом плане, тихий диалог воздействовали не меньше.

Диалог вели два великих актера — Амвросий Бучма в роли старого украинца, рабочего Тараса, и Вениамин Зускин — в роли врача-еврея. Это последняя кинороль артиста, погибшего в сталинской тюрьме.

«Радуга», чья российская премьера состоялась 24 января 1944 года, быстро попала за рубеж и заслужила выдающееся международное признание.

«Наше зрение не может перенести эту ослепляющую, как снежное поле, правду», — признавался рецензент французской газеты «Монд». Французы сравнивают кадры «Радуги» с трагедией селения Орадур-сюр-Глан, которое гитлеровцы сожгли вместе с жителями, с камерой пыток в Савойе, с виселицами на авеню Виктуар в Ницце — нацизм повсюду оставил свои кровавые следы...

Молодой итальянский кинематографист Джузеппе де Сантис, в ближайшем будущем один из лидеров итальянского неореализма, пишет о картине восторженную рецензию, подчеркивая, что обнаженный трагизм жизненного материала у Донского неизбежно должен повлиять на стилистику всего мирового кинематографа, прошедшего школу войны. В то же самое время Роберто Росселлини снимает фильм «Рим — открытый город», тоже об антифашистском Сопротивлении, столь же смело раздвигая границы ранее дозволенного в искусстве.

Американский посол в Москве попросил разрешения отправить копию «Радуги» президенту США. Через некоторое время на имя

Донского пришла телеграмма: «В воскресенье в Белом доме смотрели присланный из России фильм "Радуга" [...] Она будет показана американскому народу в подобающем ей величии [...]

Франклин Рузвельт».

И снова и снова душераздирающие кадры военных картин заставляли задумываться о катастрофическом разрыве между словами и истиной, между пропагандой и реализмом. Почему так нестерпимо трудна жизнь советских солдат — только ли враг виноват в этом? Почему у пожилых добровольцев-ополченцев в руках винтовки 1890-х? И как могло получиться так, что первое в мире непоколебимое социалистическое государство и его могучая армия разрешили агрессору дойти до Волги?

Начав как агитационно-пропангандистское, советское кино военных лет стало *народным киноискусством*. Таков баланс и главный вывод.

Изабель де Кегель

НЕОБЫЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В НОВЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМАХ

Тема Великой Отечественной войны богато представлена в советском кинематографе[1]. При этом допустимый тематический диапазон строго регламентировался. Обязательным мотивом было героическое сопротивление советского народа немецким агрессорам и оккупантам, в то время как тема военнопленных, по крайней мере вплоть до хрущевской «оттепели», была полностью табуирована: вернувшиеся из немецкого плена считались предателями[2]. Не подлежало кинематографической трактовке и широко распространенное, прежде всего на первом этапе оккупации, явление коллаборационизма. Нежелательно было также изображать другие формы предательства, например доносы на партизан немецким властям. Одним из немногих исключений из этого правила стал выдающийся фильм Ларисы Шепитько «Восхождение» (1976)[3].

В 2005 году, году шестидесятилетия советской победы в Великой Отечественной войне, снова преобладает эта традиция «героического дискурса», причем в отношении как самой Великой

[1] См. статью Неи Зоркой в настоящем сборнике, а также: *Karl L.* «Von Helden und Menschen»: Der Zweite Weltkrieg im sowjetischen Spielfilm und dessen Rezeption in der DDR, 1945—1965. Diss. Tübingen. 2002. http://w210.ub.uni-tuebingen.de/dbt/volltexte/2003/790.

[2] Еще во время «оттепели» эти строгие правила были немного ослаблены: в фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека» (1959) впервые затрагивалась таубированная тема военнопленных. См.: *Karl L.* Op. cit. S. 123—129.

[3] О «Восхождении» см.: *Binder E., Engel C.* (Hrsg.). Eisensteins Erben. Der sowjetische Film vom Tauwetter zur Perestrojka (1953—1991). Innsbruck, 2002. S. 233—237. Выражаю благодарность Хансу-Иоахиму Шлегелю и Вольфгангу Кисселю, обратившим мое внимание на некоторые из упомянутых в настоящей статье фильмов.

Отечественной, так и нынешней чеченской войны[4]. Ввиду той чудовищной угрозы, которую представляли для советских граждан ведущаяся вермахтом война на уничтожение и немецкая оккупация, гордость за 1945 год и интенсивная забота о памяти вполне оправданны. Война принесла разорение большой части Советского Союза, унесла жизни миллионов людей: потери были практически в каждой семье, война стала частью семейной истории. По всем этим причинам образ Великой Отечественной войны стал, пожалуй, единственным элементом советского восприятия истории, до сих пор не подвергшимся серьезному пересмотру — консенсус о нем остается настолько прочным, что этот образ стал положительным компонентом и даже опорным пунктом российской исторической идентичности[5].

Правда, со второй половины 1980-х годов совершались попытки деконструкции мифа о Великой Отечественной войне. С небывалой интенсивностью разгорелся спор о бездарности и цинизме политического, а отчасти и военного руководства, которое, невзирая на потери, настаивало, например, на захвате тех или иных городов к юбилейным датам, не говоря уже об «обезглавливании» Красной армии в ходе «чисток» 1937—1938 годов. Демонтажу подвергались и мифы о партизанах, например о Зое Космодемьянской[6]. С 1995 года, с 50-летним юбилеем победы, критическая дискуссия о Великой Отечественной войне была «спущена на тор-

[4] Ср., например, фильм «Личный номер» Евгения Лаврентьева (2004) о совместной борьбе российской и западных спецслужб (и прежде всего российского агента Смолина, бежавшего из чеченского плена) с терроризмом, а также фильмы «Мужская работа» Тиграна Кеосяна (2001), «Война» Алексея Балабанова (2002), «Спецназ I» (2002) и «Спецназ II» (2003) Андрея Малюкова. Простые схемы «друг—враг» взламываются в фильмах «Кавказский пленник» Сергея Бодрова (1996) и «Дом дураков» Андрея Кончаловского (2002). Российские фильмы о Чечне анализируются в статьях: *Саркисова О.* Скажи мне, кто твой враг... Чеченская война в российском кино // Неприкосновенный запас. 2002. № 6(26). С. 94—102; *Зверева Г.* «Работа для мужчин»? Чеченская война в массовом кино России // Там же. С. 102—110.

[5] См. статью Льва Гудкова в настоящем сборнике.

[6] Оказалось, что она была разведчицей и участвовала в сталинской политике «выжженной земли». См., например: *Сенявская Е.С.* Героические символы: реальность и мифология войны // Отечественная история 1995. № 5. С. 38 и след.; *Rathe D.* Soja — eine „sowjetische Jeanne d'Arc"? Zur Typologie einer Kriegsheldin // *Satjukow S., Gries R.* (Hrsg.). Sozialistische Helden: eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR. Berlin, 2002. S. 50 f.

мозах» деятелями официальной политики истории. Была частично реактивирована культура памяти брежневской эпохи[7]. С тех пор критические голоса заметно притихли[8].

Тем примечательнее, что в последние годы в России возник ряд фильмов, представляющих необычные, дифференцированные взгляды на Великую Отечественную войну. В качестве примеров можно назвать фильмы «Свои» Дмитрия Месхиева (2004), «Последний поезд» Алексея Германа-младшего (2003), «Кукушка» Александра Рогожкина (2002) и «Цветы времен оккупации» Игоря Григорьева (2001)[9].

Эта линия, проходящая параллельно доминирующему в памяти о Великой Отечественной войне «героическому дискурсу», показывает, что культура памяти в современной России вовсе не однородна. Фильм Дмитрия Месхиева «Свои»[10] порывает с двумя из вышеназванных табу: он обращается к темам военнопленных и коллаборационизма, воздерживаясь от однозначных оценок. У

[7] Лучший пример — торжественное открытие в 1995 году огромного комплекса «Парк Победы» на Поклонной горе в Москве, задуманного еще в брежневские времена. См.: *Тумаркин М.* Невыносимая легкость официоза // Сегодня. 26.6.—2.7.1995; *Dmitrieva M.* Der neue visuelle Raum in Moskau: Entstehung eines postsowjetischen Stils // Das neue Rußland in Politik und Kultur. Bremen, 1998. S. 169 f; *Wittwer B.* Moskau: Offizielle Selbstdarstellung in der neuen Monumentaldekoration // *Guntermann I., Justus U., Wawrzinek S.* (Hrsg.). Kultur im Umbruch. Transformationsprozesse und Systemwandel in Rußland und der Sowjetunion im 20. Jahrhundert. Bochum, 1999. S. 161—165.

[8] О переоценке Великой Отечественной войны в поздне- и постсоветской России см.: *Langenohl A.* Erinnerung und Modernisierung. Die öffentliche Rekonstruktion politischer Kollektivität am Beispiel des Neuen Rußland. Göttingen, 2000; *de Keghel I.* Konstruktionsversuche neuer historischer Identitäten im Rußland der Transformationszeit. Münster et al., 2005. S. 208—218.

[9] В Беларуси военная тема в последнее время также подхватывалась в сенсационно неортодоксальном фильме «Оккупация. Мистерии» Андрея Кудиненко (2003). Белорусские власти запретили публичные показы этого фильма, выстраивающего альтернативную официальной историографии версию партизанской войны. См.: *Шевчук И.* Андрей Кудиненко: Временная приостановка — это как приговор. http://www.naviny.by/ru/print/?id=29457.

[10] Дмитрий Месхиев-младший — сын выдающегося оператора Дмиртия Месхиева-старшего. Он учился во ВГИКе, в классе Марлена Хуциева, известного режиссера периода «оттепели». Спектр его работ простирается от экранизаций литературных произведений и комедий до эротических фильмов, см.: www.kinox.ru/kinox/index.asp?comm=5&kw=6056, www.timelife.ru/4-2-1.html.

Месхиева бывшие военнопленные и коллаборационисты не предстают просто предателями, обходится он и без героев.

Действие фильма разворачивается в августе 1941 года, вскоре после начала войны, во время стремительного наступления немецких войск и беспорядочного отступления ошарашенной Красной армии. Безнадежное положение советской армии становится ясным в самом начале фильма, когда немецкие подразделения с легкостью занимают советскую позицию и берут в плен многочисленных советских солдат. Поспешно убежав из части и переодевшись в гражданское, трое из главных героев фильма — Толя, которого чаще называют «чекистом», еврейский политрук Лифшиц и снайпер Митя Блинов — без боя сдаются немцам. Смена одежды оказывается в особенности важной для политрука — у немцев есть приказ на месте расстреливать всех «комиссаров». При этом с советской точки зрения трое солдат совершают преступление: по сталинскому приказу № 270 им следовало совершить самоубийство вместо того, чтобы сдаться в плен.

Впоследствии они убегают от конвоя, доставляющего их в немецкий лагерь для военнопленных. В близлежащей деревне они находят убежище у отца Мити. Как оказывается чуть позже, именно он был назначен немецкими оккупантами деревенским старостой. Хитрый старик объясняет беглецам, что старостой он стал не по собственной инициативе, а по желанию жителей деревни, потому что он «не дурак» и может о них позаботиться — что, впрочем, вполне правдоподобно.

Фильм примечателен во многих отношениях. Во-первых, несмотря на название, остается совершенно непонятным, кто «свои», а кто «чужие». Персонажи фильма (почти все они — мужчины) все время подстерегают друг друга, чтобы понять, кто с кем заодно и кто кого может выдать. Показателен в этом отношении первый разговор между старостой и чекистом, во время которого чекист все время держит руку на спрятанном в кармане ноже, готовый в любой момент перерезать старику глотку, если тот окажется не «своим», а «врагом».

Чекист не напрасно подозревает старосту. Тот отрекся от советской власти, еще когда был «раскулачен». Судя по его необычному — тем более для деревенского жителя — знанию иностранных языков, этот старик — «бывший человек», человек Старого порядка, получивший образование еще в царское время. К тому же он демонстративно дает беглецам читать Библию — «запрещенную книгу», как с отвращением констатирует чекист. Тем самым старик дает понять, что ему нет дела до коммунистического мировоззре-

ния, и ориентируется он на христианские ценности. Конфронтация между стариком и чекистом становится выражением глубокого раскола, берущего начало в годы Гражданской войны и пронизывающего советское общество во время Второй мировой. Это соответствует мнению автора сценария Валентина Черных о том, что Гражданская война в СССР закончилась лишь в 1942 году, когда страна перед лицом внешней угрозы обрела новое единство[11].

Беглецы тоже представляют собой весьма разнородную группу. Простого деревенского парня, прошедшего огонь и воду сентиментального чекиста и еврейского интеллектуала, образ которого в фильме странным образом остается бесцветным, не связывает практически ничто, кроме их щекотливого подпольного положения. Соответственно между ними постоянно происходят острые столкновения. Однажды чекист приставляет Мите нож к горлу, потому что подозревает его в сговоре со стариком с целью выдать двух товарищей; однако Мите удается убедить его в обратном.

Одна из причин беспрестанных перемен в положении персонажей — в их постоянных конфликтах с собственной совестью. Отчетливее всего это видно в случае старосты, который колеблется между обязанностями представителя немецкой власти и отцовскими чувствами. К концу фильма конфликт достигает апогея: старику приходится решать, спасти ли своих двух дочерей, взятых в заложницы русским полицмейстером, или сохранить жизнь сыну, продолжая скрывать беглецов, и отдать тем самым дочерей на верную смерть.

Показательно, что и в рядах Красной армии не царит единодушие. Когда советских солдат уводят в немецкий плен, один из красноармейцев грозит еврейскому политруку, что сообщит немцам о его национальности, если тот не отдаст ему свой паек. Таким образом, политрук даже в собственной армии не застрахован от антисемитизма и предательства.

Второй признак фильма — изображение войны с субъективной точки зрения людей, борющихся за выживание, причем в своих действиях они руководствуются не столько политическими, сколько личными мотивами, например, когда чекист увлекается любовницей старосты и тем самым становится не только мировоз-

[11] *Месхиев Д.* Просто родину любить надо // Огонек. 2004. № 26 (http://old.ogoniok.com/win/200426/26-48-49.html). Черных известен, в первую очередь, как автор сценария фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1979). См. также интервью Месхиева Марии Дубовой в «Новых известиях» (30.6.2004), www.newizv.ru/print/?id_news=7728.

зренческим, но и личным соперником старика. Или когда женщина бросает полицмейстера, потому что в деревню вернулся ее жених Митя — один из беглецов. В результате, с одной стороны, обостряется конфликт между чекистом и старостой, а с другой, полицаи проявляют особую жестокость при поиске беглецов.

В-третьих, и «чужие» — немцы представлены вовсе не как фашистские монстры. К подобному образу врага больше всего приближаются немцы, которые в начале фильма захватывают советскую позицию, и конвоиры, сопровождающие военнопленных, а позже — стреляют в беглецов и преследуют их. Однако по большей части показывается более-менее нормальная «повседневность» при оккупации: на крыльце комендатуры двое немецких солдат беседуют о своей жизни в Германии. Немецкие солдаты, сидящие в открытом кузове грузовика, с вожделением смотрят на стоящих у дороги русских женщин, а те отвечают им приветливыми взглядами. Вообще немцы в этом фильме появляются крайне редко — по сути, только в батальных сценах и в качестве патрулей в лесу и в городке. В остальном порядок обеспечивают русские полицаи — картина, которая не вписывается в классические советские представления о героическом сопротивлении оккупантам.

В связи со сменой одежды и других предметов временами даже стираются границы между русскими и немцами. Убив двух патрулирующих немецких мотоциклистов, беглецы усаживаются на мотоцикл с коляской, надевают стальные шлемы убитых и разъезжают по округе, горланя песни и куря, — необыкновенная картина, поскольку «наши» русские становятся похожими на «чужих» немцев, пока не снимают шлемы и не сбрасывают мотоцикл с коляской в ущелье, чтобы замести следы.

Четвертая особенность фильма — изображение жестокого насилия и одичания военного времени. Когда немцы занимают советскую позицию, голову лежащего на земле красноармейца расплющивают танковые гусеницы. Камера сверху показывает, как вздрагивает его туловище, с высоты кажущееся крохотным. Таким образом, наглядно показывается, как мало для военной махины значит человеческая жизнь.

Помимо этого опосредованного, «технизированного» насилия в фильме содержится множество весьма выразительных примеров насилия, осуществляемого «вручную»: чекист незадолго до бегства из немецкого плена перерезает глотку потенциальному предателю (вышеупомянутому антисемиту): слышен клокот хлынувшей крови. Когда на беглецов нападает немецкая овчарка, они ее убивают: несколько мгновений слышно, как она скулит (при этом ее не вид-

но, что характерно для кинематографического языка «Своих»). А когда Митя зарезает полицая так, как раньше забивал только свиней, его жертва кричит, словно животное на бойне. Особенно поначалу Митя и Лифшиц с трудом преодолевают страх перед убийством, который потом оборачивается истерической агрессивностью в отношении уже убитых жертв. Чекист, напротив, убивает равнодушно и привычно. Чувства обуревают его в других ситуациях — например, когда раненый Лифшиц с оружием в руках остается лежать на земле, ожидая верной смерти от рук приближающихся немцев.

Отношения между полами в деревне также отмечены одичанием: для нежности и разговоров практически не остается ни времени, ни места. Сексуальные контакты нередко вплотную приближаются к изнасилованию. Четкий пример — первая встреча между вернувшимся Митей и его невестой Катей: едва переступив порог ее дома, он стоя задирает ей юбку и пытается совокупиться с ней. Она отталкивает его и изъявляет желание сперва поговорить. Не менее грубыми становятся попытки полицаев сблизиться с Катей и другими женщинами, и встречают они столь же резкий отпор. Выразительно изображаются и моменты невыполненного желания: когда чекист впервые видит сожительницу старосты и наблюдает, как она с утра выходит из дома, потягивается, кормит кур, слышно его ускоренное, взволнованное дыхание.

Режиссер Месхиев в ряде интервью анализировал свое произведение. В частности, он объяснял, почему в этом необычном фильме нет «хороших» и «плохих», так же как и героизма или урапатриотизма. Чтобы подготовиться к съемкам, он не читал книг, а разговаривал с жителями деревень Псковской области, где и снималась картина. На него также оказали влияние рассказы его родственников об их военном опыте, например об обмене продуктами с немцами, о сравнительно мирном быте, о романах немцев с русскими женщинами[12]. Из этих историй он понял, как сложна жизнь на войне, и прежде всего в оккупированной немцами части страны. Эту сложность и двусмысленность повседневности, в ко-

[12] Дмитрий Месхиев: «Гордиться можно не только теми, кто бросается грудью на амбразуру» // Народная воля. 23.11.2004 (http://press.promedia.by/press.article.php?articleID=3). Особо выразительна история деревенской девушки, которая завела роман с немецким переводчиком и, несмотря на свою любовь, по приказу партизан заманила его в лес, якобы на свидание. Однако партизаны пощадили его — вероятно, поняв, что они действительно любят друг друга.

торой почти все не так, как кажется на первый взгляд, он и стремился показать. Не всех, кто был на службе у немцев, можно назвать предателями. И не все, кто защищал родину, действительно были героями. Как говорит Месхиев, он хотел сделать фильм о людях, вынужденных жить в это ужасное время[13]. Интересно при этом, что Месхиев ни в коей мере не является специалистом по военной теме и к тому же раньше снимал отнюдь не только авторское кино. Как и многие другие успешные молодые режиссеры, он снимал рекламные ролики. Однако, по собственному признанию, он хорошо знаком с советскими фильмами о Великой Отечественной войне[14]. Одним из главных образцов для своего фильма он называет «Проверку на дорогах» (1971) Алексея Германа-старшего. При этом он воспринимает свою работу как российский ответ на фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» (1988), в котором также описывается «ад войны»[15].

Предлагая столь многоуровневое изображение военного быта, Месхиев не сомневается в том, что, «возможно, война — это единственное событие прошлого века в нашей стране, которым наша страна может безоговорочно гордиться»[16]. В интервью Месхиев заметно смягчает тот неоднозначный эффект, который производит его фильм, объявляя всех персонажей, кроме немцев, «своими», на чьей бы стороне они ни были: полицаи, беглые военнопленные, деревенские жители, староста[17]. В некоторое противоречие с дифференцированной картиной, которую он рисует в своем фильме, вступают и патриотические заявления Месхиева, сделанные, например, в разговоре с журналистом Александром Архангельским: «Просто родину любить надо»[18]. Сюда же вписывается и неожиданно патриотичный финал фильма, когда староста вновь отправляет Митю в путь, говоря ему: «Иди, сынок... Родину защищать».

При всем скепсисе, который не могут не вызывать как отчасти инсценированное «возрождение российского кино», так и выска-

[13] Там же.

[14] Дмитрий Месхиев: «Режиссер — не прыгун в высоту» // Аргументы и факты Петербург. 7.7.2004 (www.aif.ru/online/spb/586/06).

[15] *Месхиев Д.* Просто... Похоже, «Спасти рядового Райана» сегодня для молодого поколения стал эталоном для фильмов о войне, что видно по обсуждениям «Звезды» в Интернете. См., например: http://gazeta.narod.ru/vpech/v15.xhtml.

[16] *Месхиев Д.* Просто...

[17] Дмитрий Месхиев: «Гордиться...»

[18] *Месхиев Д.* Просто...

зывания Месхиева, следует все же зафиксировать, что этот фильм необычен как по своему содержанию, так и по эстетике. В нем показаны борьба за выживание отдельных людей в сложной структуре взаимоотношений оккупированной деревни и жестокое насилие, сопровождающее военные действия. Съемка в темно-коричневых тонах на крупнозернистой пленке — дань весьма популярному в сегодняшней России стилю «ретро» — придает фильму почти документальный характер, а мастерская работа оператора и искусное использование звуков и музыки создают гнетущую атмосферу и интенсивность. Соответственно фильм «Свои» на Московском кинофестивале 2004 года был удостоен «Золотого Георгия» как лучший фильм, «Серебряного Георгия» за режиссуру получил Месхиев, а известный украинский актер Богдан Ступка, сыгравший старосту, за лучшее исполнение главной мужской роли[19]. Подчеркивался и высокий уровень исполнителей других главных ролей — звезд современного российского кино, таких как Константин Хабенский[20].

«Свои» — лишь один из многих необычных военных фильмов последнего времени. Другой пример — «Последний поезд» Алексея Германа-младшего. По собственному признанию, Герман снял этот фильм в память о немецком солдате, который, вопреки всем инструкциям, спас двух его родственников от депортации. Соответственно в фильме речь идет не о тех, кто из убеждения совершал насилие, а о тех, кто был откомандирован на войну против своей воли, чтобы умереть бессмысленной смертью. Все фигуры в фильме Германа — не важно, носят ли они советскую или немецкую форму, — устали от войны и больны. Изнуренный кашель главных героев становится лейтмотивом фильма, который в остальном полон молчаливых сцен, когда тишину нарушают только скрип снега под солдатскими сапогами или короткие, зачастую бессмысленные разговоры. Центральное действующее лицо — немецкий врач Пауль Фишбах, который полностью теряется в военной обстановке. Последний поезд в тыл уезжает без него, и он, потерявшись в метели, блуждает по распадающейся линии фронта, чтобы наконец исчезнуть в «белом аду». Для Германа это лишь один из многих

[19] Успех фильма, однако, относителен: на фестивале у фильма не было серьезных иностранных соперников.

[20] Дмитрий Месхиев: «Гордиться...»; Свои // Киноман. www.cinema.vrn.ru/reviews/svoi.shtml. У фильма, однако, есть и слабые стороны. Например, не совсем понятно, почему сын образованного, по всей видимости, старика изъясняется простым деревенским языком.

примеров судьбы интеллектуалов на войне. Однако его фильм показывает не только жестокую смерть, но и бессмысленные убийства с обеих сторон. Так же как у Месхиева, здесь нет героев. Черно-белые кадры создают ощущение безнадежности, они подчеркивают бледность солдатских лиц, рисуют подавленный образ зачастую окутанного туманом или дымом ландшафта[21].

Третий фильм, «Кукушка» Александра Рогожкина, так же как и «Свои», ставит в центр внимания проявления человеческого. Финский снайпер и советский солдат после окончания советско-финской войны находят убежище в хижине лапландки Анни. Ни один из троих еще не знает о том, что война закончилась, так что солдаты видят друг в друге врагов — тем более что немцы, взявшие в плен финна, одели его в форму эсэсовца. В фильме подчеркивается сложность, даже невозможность коммуникации между тремя персонажами, каждый из которых говорит на своем языке и не понимает других[22]. Но и вне зависимости от языковых трудностей они остаются в плену своих образов врага[23]. Что крайне нетипично для постсоветского кинематографа, в котором женщины чаще всего исполняют второстепенные роли[24], лапландка здесь выступает миротворцем, к тому же определяет, кто из двух мужчин становится ее любовником. С их помощью она исполняет свое желание родить себе детей, чтобы украсить одинокую хуторскую жизнь. Замечательны шаманские сцены, основанные на этнографических штудиях, когда Анни при помощи лечебного ритуала исцеляет финна Вейко от ранения[25].

[21] О фильме «Последний поезд» см.: www.kinoshock.ru//history/2003/films/full/show/?id=165àprint=1.

[22] Ряд характерных черт фильма (национальные стереотипы вкупе с вавилонским разноязычием) играли центральную роль и в более ранних фильмах Рогожкина — в весьма популярных кинокомедиях «Особенности национальной охоты» (1995) и «Особенности национальной рыбалки» (1998). Финского главного героя этих фильмов играл исполнитель роли Вейко в «Кукушке» Вилле Хаапсало. Благодарю Ларса Карла за эту информацию.

[23] Трагикомедия «Кукушка», www.exler.ru/films/14-10-2002.htm; *Дарахвелидзе Д.* Слушаем кукушку, да не слышим, www.film.ru/article.asp?ID=3426.

[24] *Binder E.* Die Nebendarstellerin. Frauenrollen im russischen Film der neunziger Jahre // *Engel C., Reck R.* (Hrsg.). Frauen in der Kultur. Innsbruck, 2000. S. 223—232.

[25] При этом Рогожкин, однако, ориентировался на этнографические исследования чукчей, а не саами. См.: *Васильева Ж.* Вавилонская башня наоборот,

Отрицательно выделяется на фоне новейшей кинопродукции на военную тему только фильм Николая Лебедева «Звезда» (2002) — ремейк известной экранизации написанной в 1947 повести Эммануила Казакевича[26]. Действие фильма происходит летом 1944 года, в нем изображается работа разведгруппы, действующей в немецком тылу[27]. Критики связывают с этой картиной «возрождение военно-патриотического жанра». Они видят в ней острый сюжет безо всякой психологии и критикуют ее за несовременный стиль, не отвечающий вкусу молодого поколения, — в отличие, например, от фильма Алексея Балабанова «Брат-2». Тем не менее они опасаются, что фильм способствует «милитаризации сознания». По слухам, фильм щедро поддержала президентская администрация[28]. Продюсер, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, напротив, подчеркивает, что ни в плане логистики, ни в плане людских ресурсов авторы фильма никакой помощи не получали[29]. В 2003 году фильм получил Государственную премию, что можно трактовать как выражение благосклонного отношения со стороны власти[30].

При всей радости от качественного и количественного подъема российской киноиндустрии за последние годы следует все же отметить, что, несмотря на успех российских фильмов на национальных и международных кинофестивалях, доля их на общем рынке кинопоказов в стране составляет менее пяти процентов, и потому немногие из этих фильмов смогут быть увидены большим количеством россиян[31]. Российские фильмы показывают лишь в

которую построил Александр Рогожкин // Литературная газета. 2002. № 30. www.lgz.ru/archives/html_arch/lg302002/Polosy/art9_3.htm; большое спасибо Татьяне Безродной, обратившей мое внимание на эту статью.

[26] Режиссер Александр Иванов, снят в 1949-м, выпущен в 1953 году.

[27] www.videoguide.ru/card_film.asp?idFilm=23486.

[28] О новом фильме «Звезда», www.svoboda.org/archive/11_cult/0502/11.050802-1.asp.

[29] Там же.

[30] Фильм «Звезда» удостоен Госпремии, http://nw.com.ua/index.php?i=26àn=1503.

[31] По утверждению кинокритика Даниила Дондурея, в начале 1990-х годов всего 2—3 процента кинопоказов в Российской Федерации приходились на российские фильмы. См.: *Дондурей Д.* 90-е: кино снимали для другой страны // Либеральные реформы и культура / Под ред. Д.В. Драгунского. М., 2003. С. 96. О положении российских фильмов на сегодняшнем рынке проката см.: *Schweizerhof B.* Zurück in die Zukunft // Freitag. 2004. № 29. 9.7.2004.

некоторых кинотеатрах, причем зачастую всего несколько дней. Широкая публика, в лучшем случае, может увидеть их благодаря видеоверсиям, появляющимся, как правило, одновременно с экранным вариантом или даже раньше, или по телевидению[32]. В этом отношении у такого фильма, как «Свои», богатые перспективы: как и другие новейшие фильмы, он возник как совместное производство с телевидением (в данном случае — с Первым каналом). Впрочем, он получил также поддержку Министерства культуры.

В общем и целом новейшие российские фильмы вполне соответствуют тем высоким ожиданиям, которые порождает великая традиция советского военного кино. Они внушают надежду на то, что юбилейный, 2005 год будет не только отмечен утверждающим чествованием, но и заставит вновь задуматься о прошлом.

Авторизованный перевод с немецкого Михаила Габовича

[32] О роли телевидения в современной России см.: *Дубин Б.* Телевизионная эпоха: жизнь после // *Дубин Б.* Интеллектуальные группы и символические формы. Очерки социологии современной культуры. М., 2004. С. 185—208.

Авторы

Теодор Визенгрунд **Адорно** (Theodor Wiesengrund Adorno, 1903—1969). Философ, социолог, музыковед, один из основателей Франкфуртской школы.

Илья Александрович **Альтман** (р. 1955) — историк, сопредседатель Центра «Холокост».

Александр Иванович **Борозняк** (р. 1933) — историк, профессор Липецкого государственного педагогического университета.

Харальд **Вельцер** (Harald Welzer, р. 1958) — директор Центра междисциплинарного исследования памяти, город Эссен.

Вольфрам **Ветте** (Wolfram Wette, р. 1940) — профессор новейшей истории Университета имени Альбрехта Людвига (город Фрайбург), почетный профессор Липецкого университета. Автор книги «Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden» («Вермахт. Образы врага, война на уничтожение, легенды». Frankfurt a. M., 2002).

Йорг **Ганценмюллер** (Jörg Ganzenmüller, р. 1969) — историк, научный сотрудник Института истории Университета имени Фридриха Шиллера (Йена). В 2005 году выходит его книга «Das belagerte Leningrad 1941—1944. Eine Stadt in der Strategie von Angreifern und Verteidigern» («Осажденный Ленинград в 1941—1944 годах. Место города в стратегии атакующих и защитников». Paderborn, 2005).

Владислав Анатольевич **Гриневич** (р. 1959) — старший научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины.

Лев Дмитриевич **Гудков** (р. 1946) — социолог, заведующий отделом социально-политических исследований Аналитического центра Юрия Левады.

Наталия Юрьевна **Данилова** (р. 1975) — социолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге, ассоциированный сотрудник Центра независимых социологических исследований (Санкт-Петербург).

Нея Марковна **Зоркая** (р. 1924) — киновед, культуролог, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, профессор Российского государственного гуманитарного университета.

Изабель **де Кегель** (Isabelle de Keghel, p. 1964) — специалист по современной российской культуре, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы Бременского университета.

Хельмут **Кёниг** (Helmut König, 1950) — политолог, профессор Рейнско-вестфальского технического университета в Аахене. Автор книги «Die Zukunft der Vergangenheit. Der Nationalsozialismus im politischen Bewußtsein der Bundesrepublik» («Будущее прошлого. Национал-социализм в политическом сознании Федеративной Республики», 2003) и составитель специального выпуска журнала «Leviathan» «Vergangenheitsbewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts» («Преодоление прошлого в конце XX века», 1998).

Наталья Александровна **Конрадова** (р. 1974) — старший научный сотрудник сектора «Языки культур» Российского института культурологии, автор ряда статей, посвященных наивному творчеству, интернет-культуре, а также российской военно-мемориальной традиции. Обозреватель информационно-аналитического канала «Полит.ру».

Жанна Владимировна **Кормина** (р. 1971) — историк, антрополог, заведующая кафедрой гуманитарных наук Санкт-Петербургского филиала Государственного университета — Высшей школы экономики.

Илья Владимирович **Кукулин** (р. 1969) — литературный критик, редактор отдела «Практика» журнала «Новое литературное обозрение».

Андреас **Лангеноль** (Andreas Langenohl, p. 1970) — социолог, славист, преподаватель Гисенского университета.

Алексей Георгиевич **Левинсон** (р. 1944) — социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Автор постоянной колонки «Социологическая лирика» в журнале «Неприкосновенный запас».

Ханно **Лёви** (Hanno Loewy, p. 1961) — филолог и исследователь кино. Директор Еврейского музея города Хоэнэмс (Австрия). В 1995 году основал Институт им. Фрица Бауера во Франкфурте-на-Майне и до 2000 года был его директором.

Франка **Маубах** (Franka Maubach, p. 1974) — историк, аспирантка Исторического института Йенского университета.

Елена Анатольевна **Немых** (р. 1964) — режиссер телекомпании «НТВ» (проект «Однажды в России» с Александром Зиненко, ряд фильмов из цикла «Новейшая история» и другие), автор сценария и режиссер проекта «Рождение Победы», член гильдии неигрового кино.

Ольга Юрьевна **Никонова** (р. 1969) — доцент, сотрудник Центра культурно-исторических исследований Южно-Уральского государственного университета.

Пьер **Нора** (Pierre Nora, p. 1931) — историк, издатель, член Французской академии, составитель семитомного издания «Les lieux de mémoire» («Места памяти», 1984—1986), отдельные тексты из которого изданы на русском языке в сборнике «Франция. Память» (СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999).

Эва-Кларита **Онкен** (Eva-Clarita Onken, p. 1971) — политолог, старший исследователь Таллинского университета и приглашенный лектор Тартуского университета. Автор книги «Demokratisierung der Geschichte in Lettland. Staatsbürgerliches Bewusstsein und Geschichtspolitik im ersten Jahrzehnt der Unabhängigkeit» («Демократизация истории в Латвии. Гражданское сознание и политика истории в первое десятилетие независимости», Hamburg, 2003), в которой дается подробный анализ споров об истории в постсоветской Латвии, в том числе в контексте этнополитической динамики.

Сергей Борисович **Пархоменко** (р. 1964) — журналист и издатель, генеральный директор издательств «Иностранка» и «КоЛибри», ведущий еженедельной аналитической программы «Суть событий» на ра-

дио «Эхо Москвы», основатель и первый редактор журналов «Итоги» и «Еженедельный журнал», автор нескольких сотен публикаций на темы современной российской политической жизни.

Павел Маркович **Полян** (р. 1952) — географ, историк и литератор (под псевдонимом Нерлер). Сотрудник Института географии РАН, член Союза писателей Москвы, заместитель председателя Мандельштамовского общества.

Алессандро **Портелли** (Alessandro Portelli, p. 1942) — профессор американской литературы Римского университета, специалист по устной истории.

Ирина Владимировна **Прусс** — журналистка, сотрудница редакции журнала «Знание — сила». Круг интересов — социология, советская история.

Георгий Рамазович **Рамазашвили** (р. 1975) — архивный исследователь, журналист. Печатался в журналах «Искусство кино», «Индекс. Досье на цензуру», «Отечественные архивы», «Политический журнал», газетах «Совершенно секретно», «Московские новости» и других. В 2004 году добился отмены приказа Минобороны № 270 «Об утверждении наставления по Архивной службе в Вооруженных силах РФ» 1996 года. В дальнейшем вынудил руководство Архивной службы Вооруженных сил отменить цензурирование выписок из рассекреченных материалов и разрешить российским исследователям, наравне с зарубежными историками, пользоваться персональным компьютером.

Доротея **Редепеннинг** (Dorothea Redepenning, p. 1954) — музыковед, профессор Гейдельбергского университета.

Сергей Александрович **Романенко** (р. 1956) — историк, политолог и журналист, ведущий научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук.

Анна Николаевна **Рылева** (р. 1962) — старший научный сотрудник сектора «Языки культур» Российского института культурологии, один из авторов энциклопедического издания «Историко-культурное наследие Воронежа», а также автор ряда статей, посвященных проблемам памятников и наивного искусства; член Союза журналистов Москвы.

Евгений Федорович **Сабуров** (р. 1946) — экономист, профессор Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. В 1991 году — заместитель председателя Совета министров и министр экономики Российской Федерации, в 1994 году — руководитель правительства Республики Крым. Поэт, драматург. Книги стихов «Пороховой заговор» (1995), «По краю озера» (2001). Автор постоянной колонки «Гуманитарная экономика» в журнале «Неприкосновенный запас».

Алексей Кириллович **Симонов** (р. 1939) — президент Фонда защиты гласности, автор книг «Конец праздника непослушания» (2004), «Температура гласности» (2002), «Частная коллекция» (1999), а также многочисленных публикаций в периодической печати, участник проекта по мониторингу нарушений прав СМИ.

Мария **Ферретти** (Maria Ferretti, p. 1958) — историк, специалист по истории СССР в 1920-е годы. Преподаватель Университета региона Тушия в городе Витербо (Италия). Автор книг «La memoria mutilata La Russia ricorda» («Искалеченная память. Россия вспоминает». Milano: Corbaccio, 1993) и «La battaglia di Stalingrado» («Сталинградская битва». Firenze: Giunti, 2001).

Беате **Физелер** (Beate Fieseler, p. 1955) преподает восточноевропейскую историю в Бохумском университете.

Моника **Флакке** (Monika Flacke, p. 1953) — историк искусства, заведующая отделом искусства XX века и фотографий Германского исторического музея (Берлин).

Габриеле **Фрайтаг** (Gabriele Freitag, p. 1965) — историк, научный сотрудник Фонда «Память, ответственность и будущее» (Берлин).

Фолькер **Харе** (Volker Hage, p. 1949) — редактор литературного раздела журнала «Der Spiegel». Преподавал в различных университетах Германии и США. Среди его публикаций — «Zeugen der Zerstörung. Die Literaten und der Luftkrieg» («Свидетели разрушения. Писатели и бомбежки», 2003), «Propheten im eigenen Land. Auf der Suche nach der deutschen Literatur» («Пророки в собственном отечестве. В поисках немецкой литературы», 1999). Редактор книги Дитера Форте «Schweigen oder sprechen» («Молчать или говорить», 2002), составитель сборника «Hamburg 1943. Literarische Zeugnisse zum Feuersturm» («Гамбург, 1943 год. Литературные свидетельства об огненной буре», 2003).

Морис **Хальбвакс** (Maurice Halbwachs, 1877—1945) — философ, социолог, профессор Коллеж де Франс.

Иоахим **Хёслер** (Joachim Hösler, p. 1961) — преподаватель истории Восточной Европы отделения истории и наук о культуре Марбургского университета.

Ирмела **Хидзия-Киршнерайт** (Irmela Hijiya-Kirschnereit, p. 1948) — профессор японистики Свободного университета Берлина. С 1996 года — директор Немецкого института японских исследований в Токио. Автор и составитель ряда книг по японской литературе и культуре и издатель книжных серий по японской культуре в немецких издательствах «Insel» и «Otto Harrassowitz».

Бенрхард **Шлинк** (Bernhard Schlink, p. 1944) — профессор публичного права и философии права Университета имени Гумбольдта (Берлин), судья Конституционного суда земли Северный Рейн-Вестфалия. Писатель, автор многочисленных художественных произведений, два из которых (роман «Чтец» и цикл рассказов «Любовник») переведены на русский язык.

Ульрике **Шмигельт** (Ulrike Schmiegelt, p. 1966) — славист, историк искусства.

Рихард Хаим **Шнайдер** (Richard Chaim Schneider, p. 1957) — режиссер и журналист. Автор ряда книг об Израиле и евреях Германии и Эфиопии, в том числе «Wir sind da. Die Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis heute» («Мы существуем. История евреев в Германии с 1945 года по сегодняшний день», 2000). Его документальный сериал о евреях в послевоенной Германии отмечен рядом премий.

Клаус **Штедтке** (Klaus Städtke, p. 1934) — славист, профессор в отставке Бременского университета. Составитель «Истории русской литературы» (Russische Literaturgeschichte. Stuttgart; Weimar, 2002).

Сергей Анатольевич **Штырков** (p. 1968) — антрополог, фольклорист, преподаватель факультета этнологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Ирина Лазаревна **Щербакова** (p. 1953) — руководитель образовательных программ общества «Мемориал», координатор проекта «Школьный конкурс».

Константин Петрович **Эггерт** (р. 1964) — главный редактор московского бюро Русской службы Би-би-си, член Королевского института международных отношений в Лондоне и редакционного совета журнала «Pro et Contra» Московского центра Карнеги.

Йорг **Эхтернкамп** (Jörg Echternkamp, p. 1963) — историк, сотрудник Института военной истории (Потсдам).

SUMMARY

The Memory of World War II 60 Years Later: Russia, Germany, Europe

This volume is the second (revised and enlarged) edition of a double issue of the Moscow-based journal *Neprikosnovenny Zapas*, or *NZ*, devoted to the memory of the Second World War in Russia, Germany and Europe 60 years after the end of recent history's greatest armed conflict. The original issue was prepared jointly, and published simultaneously in two languages, by NZ and the Berlin-based monthly *Osteuropa*. The Russian version is more comprehensive, presenting a number of original articles not featured in its German counterpart, as well as translations of a number of French, German and English texts on collective memory and World War II. In this second edition, in addition to minor alterations, two articles that had been shortened for the journal version (Kukulin and Redepenning) are published in full, and three new texts (Schlink, Hijiya-Kirschnereit and de Keghel) have been added. Those texts that have not been reprinted in the book version (book and journal reviews, the New Institutions section, and an interview with a survivor of the Siege of Leningrad) can be accessed at www.nz-online.ru.

The first, theoretical section features a chapter from Maurice Halbwachs's posthumously published book *Collective Memory*, where he developed and revised the ideas first outlined in his classic *The Social Framework of Memory*. Entitled *Collective Memory and Historical Memory*, the excerpt explains Halbwach's distinction between historical, collective, and personal memory, and shows how personal memory always draws on collective structures to test, correct and supplement its own recollections of past events. Harald Welzer, director of the Centre for the Interdisciplinary Study of Memory in Essen, provides an update which focuses specifically on personal memories of the Second World War, drawing on recent work in psychology and neuroscience (*History, Memory, and the Presence of the Past: Memory as a Political Arena*). We also publish a Russian translation of Theodor Ador-

no's seminal 1959 lecture *What Does 'Working through the Past' Mean?*, a critical analysis of collective strategies of guilt denial prevalent in post-war Western Germany.

The next section, RUSSIA AND GERMANY: REMEMBERING AND OVERCOMING THE PAST, is devoted to general surveys of the public memory of the Second World War in Russia and Germany. It starts with a detailed interpretive article by sociologist Lev Gudkov, who draws on survey data collected since 1989 to define the role of the memory of the Great Patriotic War in the structure of Russian identity. Gudkov illustrates the paramount and unrivalled significance of the war among all other events of Russian history, as judged by public opinion, and unveils the mechanisms that block all attempts at a critical reappraisal of the war or at including the grassroots, everyday vision of wartime life into the official heroic picture, which serves to legitimate the Soviet and post-Soviet political regime (*The 'Memory' of the War and Russians' Mass Identity*). Historian Alexander Boroznyak provides a critical survey of the memory of the war in the Federal Republic of Germany and its evolution since 1945. He shows how the debate on WWII and German guilt has developed in waves corresponding more or less to successive wartime and post-war generations (*Waves of Historical Memory in the FRG*). Art historians Monika Flacke and Ulrike Schmiegelt look at the other side of the Iron Curtain and describe the ways in which the East German state built its identity on the idea of antifascism and a denial of East Germans' involvement in Nazi crimes. They make special reference to the visual and symbolic means employed to institutionalize that vision, such as the famous statue in Berlin's Treptow Park, or the Buchenwald memorial (*The GDR. From Darkness to the Stars: A State in the Spirit of Antifascism*). After these general surveys, we continue with critical appraisals of commemorative traditions in Russia and Germany. Maria Ferretti argues that while in post-war Western Europe, there was a consensus to build the new democratic polities upon a shared memory of democratic anti-fascism, the memory of the Great Patriotic War in Russia served only to prop up the totalitarian regime (*Implacable Memory: Russia and the War*). Jurg Echternkamp stresses the tensions between views of 1945 as a national catastrophe and as a national liberation that have prevailed in Western Germany ever since the event (*A 'German Catastrophe'? On the Public Memory of the Second World War in Germany*). In his essay on the historiography of the Great Patriotic War in the USSR and Russia, Joachim Hösler asks, echoing Adorno, *What Does 'Working through the Past' Mean?*, reviewing the debate on the war among Soviet and Russian historians from the earliest appearance of critical voices in the 1960s through the 'revelations' of Perestroika to new work published since some state archives were opened in the early 1990s. Finally, Helmut Kunig takes another critical look at the evolution of the memory of WWII in Western Germany, stressing especially

how the myth of an untainted Wehrmacht and the idea of Germans as victims of the war for a long time made it difficult to come to terms with collective guilt and responsibility (*The Memory of National Socialism, the Holocaust, and the Second World War in the FRG's Political Consciousness*).

Alexei Levinson analyses recent survey data showing that Russians believe all of Russia's wars throughout the 20th century, with the sole exception of the Great Fatherlandic War but including the two Chechen wars, to have been ‚unjust'.

Next we turn to FORMS OF MEMORY, a choice of articles on the different ways in which the memory of the Second World War has expressed itself in Germany and Russia. Irina Shcherbakova, the supervisor of a Russia-wide essay competition for schoolchildren organised by *Memorial*, describes how the Great Patriotic War presents itself to 15—20-year olds today, how the memory of the war is passed on from generation to generation, and what regional and thematic variety is displayed in the over 15,000 essays that have been submitted since 1999 (*Looking at the Memory Map*). Irina Pruss draws upon the same sources to make more general observations on how the memory of WWII ‚functions' with post-Soviet teenagers. She especially stresses the co-existence of an 'official' and an 'unofficial' memory of the war, the former always coming to the fore in public contexts and the latter being confined to the private sphere (*Soviet History as Seen by Contemporary Teenagers and Their Grandmothers*). Zhanna Kormina and Sergei Shtyrkov present the findings of their anthropological fieldwork in rural areas of the Pskov region, which was occupied by the Germans between 1941 and 1944. Through their interviews with local inhabitants of all generations, they reconstruct patterns of social behaviour, collaboration and resistance, and public and private memories of the occupation and subsequent liberation (*Nothing is Forgotten, No-One is Forgotten: A History of the Occupation through Oral Testimonies*). Historians of culture Natalia Konradova and Anna Ryleva contribute a richly illustrated piece describing the history and social functions of WWII memorials in Russia and Germany, drawing especially on their fieldwork in small towns around Moscow (*Heroes and Victims. Memorials of the Great Patriotic War*). In another illustrated article, Natalia Danilova traces *The Memorial Version of the Afghan War, 1979—1989*, by showing how the commemoration of that 'lesser' conflict has evolved in the shadow of the 'Great' war, and how veterans' associations have set up memorials expressing their particular vision of duty, loyalty, and death. Pavel Polian provides a critical examination of the state-sponsored committee officially in charge of the 60th anniversary festivities in May 2005, and shows how its activities (or lack thereof) express Russian top-level bureaucrats' view of war veterans and victims of the war (*An Anniversary à la Glavpour? The Victory Committee as a Natural Monopoly*). Georgy Ramazashvili tells the story of censorship and

secrecy in the main Russian archive for military history, and his struggle against it (*The Central Archive of the Ministry of Defence on the Eve of the 60th Anniversary of Victory*). Gabriele Freitag, a research fellow with the German foundation in charge of paying compensations to foreigners who were deported to Germany by the Nazi regime to do forced labour, describes the foundation's work and reactions by some of the recipients (*Nazi Forced Labour 60 Years on. The Work of the Foundation for Memory, Responsibility, and Future*). The German judge, legal theorist and writer Bernhard Schlink provides a detailed theoretical examination of the idea of *Overcoming the Past through Law*, drawing on examples from post-war Western Germany and the post-unification debate about the crimes of the East German regime. Dorothea Redepenning, in a wide-sweeping comparative essay, looks at how West and East European composers have tried to express the horrors of the Second World War and the Holocaust in their music, and how the rigid dichotomy of 'anti-heroic' dodecaphonic music in the West and large triumphant works in the USSR has slowly softened and yielded to a more pluralistic musical culture (*Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz: Music Against War and Violence*).

This naturally introduces the next section, entitled THE INTERNATIONALISATION OF MEMORY. This starts with an article by French historian Pierre Nora, Reasons for the Current Upsurge in Memory, which takes the French case as a starting point for general reflections about the replacement of historiography by memory in public representations of the recent past. Andreas Langenohl describes the international circulation of symbols of WWII as it is displayed in official commemorative ceremonies such as the anniversaries of D-Day or the end of the war (*State Visits. The Internationalisation of the Memory of the Second World War in Germany and Russia*). The other articles in this section are 'country profiles' that show how the memory of WWII has evolved in a number of European countries apart from Germany and Russia. Vladislav Grinevich writes about Ukraine (*A Split Memory. The Second World War in the Historical Consciousness of Ukrainian Society*), Eva-Clarita Onken deals with the Latvian case (From a History of Liberation to a History of Occupation. The Perception and Memory of WWII in Latvia after 1945), Sergei Romanenko tackles former Yugoslavia (*Has the Second World War Ended on the Territory of Disintegrated Yugoslavia?*), and Alessandro Portelli analyses an episode that mirrors the complexity of the memory of WWII in Italy (*The Massacre at the Fosse Ardeatine: History, Myth, Ritual, and Symbol*). Irmela Hijiya-Kirschnereit, in *War-Time Guilt, Post-War Guilt: Overcoming the Past in Japan*, provides an in-depth analysis of Japanese literary and journalistic debates about responsibility for Japan's war crimes and those of its adversary, the United States of America.

The next section, PARTIAL AMNESIA, starts with an essay by historian Ilya Altman which traces *The Memorialisation of the Holocaust in Russia: Past, Present, and Perspectives.* Starting with the tragic story of the Jewish Antifascist Committee's Black Book and ending with the creation of the Holocaust Centre in Moscow and a range of Holocaust museums in the former Soviet republics, Altman reviews the stages of the difficult and unfinished process of making the Holocaust a part of the collective memory of WWII in the USSR, Russia, and the other successor states. Journalist and director Richard Chaim Schneider casts a highly critical glance at commemorations of the Holocaust in Germany, which he portrays as a highly self-centred and hollow practice that takes no notice of Jewish concerns (*German Rituals of Coping with the Past, the Return of the Dead Jews, and the Disappearance of the Living Jews. An Analytico-Polemical Essay*). Wolfram Wette tackles the most tenacious German myth about WWII, the idea that the Wehrmacht wasn't fought a 'clean war' and wasn't involved in Hitler's crimes against humanity (*Hitler's Wehrmacht: Stages of the Debate on a German Legend*). Two articles deal with the role of female soldiers on both sides of the Second World War: Franka Maubach presents her research on *The Wehrmacht's 'Helpers': A Paradigmatic Figure of the End of the War*, while Olga Nikonova provides a survey of recent work on women in the Red Army (*Women, the War, and Preterition*). Beate Fieseler recalls another neglected minority: *'Poor Winners': The Invalids of the Great Patriotic War in the Soviet Union.* Finally, Jurg Ganzenmьller draws attention to *A Secondary Theatre of the Memory War: The Leningrad Blockade in German Memory.*

Yevgeny Saburov reflects upon the economic equivalents of concepts such as love, hope, and memory, and argues that the memory of Russia's former greatness acts as an obstacle to investment into its future.

There follows a section on literary reminiscences of the war. Ilia Kukulin provides a detailed survey of reflections of the war in Soviet official and unofficial literature, quoting from a range of works that have only published in recent years (*Regulating Pain: Preliminary Notes on the Transformation of the Traumatic Experience of the Great Patriotic / Second World War in Russian Literature in the 1940s—1970s*). Volker Hage looks at German writers' treatment of the bombings of German cities in the final years of the war (*Buried Feelings: How German Writers Coped with the Bombings*). Klaus Stдdtke contributes a short essay on Vassily Grossman's novel *Life and Fate*, which he portrays as a theory of totalitarianism comparable with the work of Hannah Arendt.

Our final thematic section, THE WAR ON THE SCREEN, opens with the transcript of a debate on Russian media and WWII that took place in October 2004 at a conference organised by NZ. Journalists Yelena Nemykh, Konstantin Eggert and Sergey Parkhomenko, as well as Alexei Simonov, president of

the Glasnost Foundation, discuss a documentary radio and TV interview series called *The Birth of Victory*, as well as wider issues of the post-Soviet Russian media and their treatment of the Great Patriotic War. As a counterpoint, German media critic Hanno Loewy analyses a recent German documentary on the Holocaust, and shows how the mediatic dramatisation of the Holocaust at the hands of German TV guru Guido Knopp leads to a dangerous trivialisation of this difficult topic (*Full Moon Holocaust: Theoretical Notes on the Genre of a ZDF Documentary*). Cinema historian Neya Zorkaya analyses the *Images of the War* that were presented in war-time Soviet movies and shaped cinematic representations of the war for decades to come. Finally, Isabelle de Keghel discusses *Unusual Perspectives: The Great Patriotic War in Recent Russian Films*, dwelling particularly on Dmitry Meskhiev's *Nashi*.

Содержание

Предисловие ко второму изданию 5
Введение 7

ЧТО ТАКОЕ КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ?

Предварительные замечания 13
Морис Хальбвакс. Коллективная и историческая память 16
Харальд Вельцер. История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы 51
Теодор В. Адорно. Что означает «проработка прошлого»? 64

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: ПАМЯТЬ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО

Лев Гудков. «Память» о войне и массовая идентичность россиян .. 83
Александр Борозняк. ФРГ: Волны исторической памяти 104
Моника Флакке, Ульрике Шмигельт. ГДР: Из мрака к звездам. Государство в духе антифашизма 118
Мария Ферретти. Непримиримая память: Россия и война. Заметки на полях спора на жгучую тему 135
Йорг Эхтернкамп. «Немецкая катастрофа»? О публичной памяти о Второй мировой войне в Германии 147
Иоахим Хёслер. Что значит «проработка прошлого»? Об историографии Великой Отечественной войны в СССР и России 156
Хельмут Кёниг. Память о национал-социализме, Холокосте и Второй мировой войне в политическом сознании ФРГ 170

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИРИКА

Алексей Левинсон. Война и земля как этические категории 185

ФОРМЫ ПАМЯТИ

Ирина Щербакова. Над картой памяти 195
Ирина Прусс. Советская история в исполнении современного подростка и его бабушки 210

Жанна Кормина, Сергей Штырков. Никто не забыт, ничто не забыто. История оккупации в устных свидетельствах 222
Наталья Конрадова, Анна Рылева. Герои и жертвы. Мемориалы Великой Отечественной 241
Наталия Данилова. Мемориальная версия Афганской войны (1979—1989 годы) 262
Павел Полян. Юбилей à la Glavpour? Российский организационный комитет «Победа» как естественная монополия 282
Георгий Рамазашвили. Есть такая профессия — историю зачищать: ЦАМО РФ в преддверии 60-летия Победы 297
Габриеле Фрайтаг. Принудительные работы при национал-социализме: 60 лет спустя. Работа Фонда «Память, ответственность и будущее» 314
Бернхард Шлинк. Роль права в преодолении прошлого 330
Доротея Редепеннинг. Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz. Музыка против войны и насилия 355

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ

Пьер Нора. Всемирное торжество памяти 391
Андреас Лангеноль. Официальные визиты. Интернационализация памяти о Второй мировой войне в России и Германии 403
Владислав Гриневич. Расколотая память: Вторая мировая война в историческом сознании украинского общества 419
Эва-Кларита Онкен. От истории освобождения к истории оккупации. Восприятие Второй мировой войны и память о ней в Латвии после 1945 года 436
Сергей Романенко. Закончилась ли на территории распавшейся Югославии Вторая мировая война? 452
Алессандро Портелли. Массовая казнь в Ардеатинских пещерах: история, миф, ритуал, символ 463
Ирмела Хидзия-Киршнерайт. «Военная вина, послевоенная вина»: преодоление прошлого в Японии 481

ЧАСТИЧНАЯ АМНЕЗИЯ

Илья Альтман. Мемориализация Холокоста в России: история, современность, перспективы 509
Рихард Хаим Шнайдер. Преодоление прошлого в Германии, возвращение мертвых евреев и исчезновение евреев живых 531
Вольфрам Ветте. Гитлеровский вермахт: Этапы дискуссии вокруг одной немецкой легенды 541

Франка Маубах. «Военная помощница» — парадигматическая фигура конца войны 549
Ольга Никонова. Женщины, война и «фигуры умолчания» 563
Беате Физелер. «Нищие победители»: инвалиды Великой Отечественной войны в Советском Союзе 577
Йорг Ганценмюллер. «Второстепенный театр военных действий» культуры памяти. Блокада Ленинграда в немецком сознании 592

ГУМАНИТАРНАЯ ЭКОНОМИКА

Евгений Сабуров. Ожидания и память 611

ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ВОСПОМИНАНИЕМ И НАПОМИНАНИЕМ

Илья Кукулин. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940—1970-х годов) 617
Фолькер Хаге. Чувства, погребенные под обломками. Как немецкие писатели справлялись с темой бомбежек 659
Клаус Штедтке. Жизнь и судьба. Напоминание о романе Василия Гроссмана, посвященном XX столетию 679

ВОЙНА НА ЭКРАНЕ

Дискуссия. Память о войне в современных российских СМИ 691
«Увлекательно, как триллер». Исторические документальные фильмы на Втором канале немецкого телевидения 722
Ханно Лёви. Холокост как фильм ужасов. Замечания о жанре одного документального фильма, показанного на Втором канале немецкого телевидения 724
Нея Зоркая. Визуальные образы войны 736
Изабель де Кегель. Необычные перспективы: Великая Отечественная война в новейших российских фильмах 754

Авторы 766
Summary 773

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 60 ЛЕТ СПУСТЯ
Россия, Германия, Европа

Редактор
М. Габович
Дизайн обложки
П. Конколович
Корректор
Э. Корчагина
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlo.magazine.ru

Формат 60x90/16
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 49. Заказ № 1423.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Чебоксарская типография № 1».
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

#SL

Неприкосновенный запас

Дебаты о политике и культуре

Периодичность: 6 раз в год.

«НЗ» — журнал о культуре политики и политике культуры, своего рода интеллектуальный дайджест, форум разнообразных идей и мнений.

Среди вопросов и тем, обсуждаемых на страницах журнала:

— идеология и власть;

— институции гуманитарной мысли;

— интеллигенция и другие сословия;

— культовые фигуры, властители дум;

— новые исторические мифологемы;

— метрополия и диаспора, парадоксы национального сознания за границей;

— циркуляция сходных идеологем в «правой» и «левой» прессе;

— религиозные и этнические проблемы;

— проблемы образования;

— столица — провинция и др.

Подписка по России:

«Сегодня-пресс»
(в объединенном каталоге «Почта России»):
подписной индекс 42756

«Роспечать»:
подписной индекс 45683

Издания
«Нового литературного обозрения»
(журналы и книги)
можно приобрести в следующих магазинах Москвы:

«Ад маргинем» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;
тел.: 951-93-60
«Библио-глобус» — ул. Мясницкая, 6; тел.: 924-46-80
«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21; тел.: 332-47-28
«Гнозис» — Зубовский бульвар, 17, стр. 3, к. 6;
тел.: 247-17-57
«Графоман» — 1-й Кругицкий пер, 3; тел.: 276-31-18
Книжная лавка писателей при Литфонде —
ул. Кузнецкий мост, 18; тел. 924-46-45
Книжная лавка при Литинституте —
Тверской бульвар, 25; тел. 202-86-08
«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8;
тел. 238-50-01
«Москва» — ул. Тверская, 8; тел. 229-64-83
Московский Дом книги — ул. Новый Арбат, 8;
тел.: 203-82-42
Книжный клуб 36,6 — Рязанский пер,3;
тел.: 261-24-90, 265-13-05
«Фаланстер» — Б. Козихинский пер., д. 10;
тел.: 504-47-95
«У кентавра» — Миусская пл., 6; тел.: 250-65-46
Интернет- магазин «Озон» — www.ozon.ru
Интернет- магазин «Болеро» — www.bolero.ru

Настоящий сборник представляет собой второе, исправленное и расширенное издание специального выпуска журнала "Неприкосновенный запас", подготовленного совместно с берлинским журналом "Osteuropa". Авторы сборника, представители самых разных научных дисциплин и профессий (философии, истории, социологии, антропологии, права, музыковедения, литературоведения, киноведения, журналистики), анализируют развитие памяти о Второй мировой войне в России, Германии и других странах за последние десятилетия. Особое внимание уделяется определению памяти как особого предмета научного изучения и осмысления.

политология **социология** философия **история**

ISBN 5-86793-405-5